

В. В. Розанов

Легенда о Великом
инквизиторе
Ф. М. Достоевского

Легенда о Великом
инквизиторе
Ф. М. Достоевского

Литературные
очерки

О писательстве
и писателях



В. В. Розанов

Собрание
сочинений

В. В. Розанов

Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского

Легенда
о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского

Литературные очерки

О писательстве
и писателях

Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина

Москва
Издательство "Республика"
1996

Составление
А. Н. Николюкина

Подготовка текста
Е. Н. Горбуновой
и *А. Н. Николюкина*

Комментарии
А. Н. Николюкина, А. В. Панова
и *С. Р. Федякина*

Указатель имен
В. М. Персонова

*Федеральная целевая программа
книгоиздания России*

Розанов В. В.
Р64 Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского. Лит. очерки. О писательстве и писа-
телях / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. — М.: Республика,
1996. — 702 с.
ISBN 5—250—02509—9

В настоящий том входят две книги В. В. Розанова — "Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского" и "Литературные очерки", а также никогда не переиздававшиеся статьи разных лет о писателях и деятелях русской культуры (Л. Толстом, К. Леонтьеве, Вл. Соловьеве, Д. Мережковском, Л. Андрееве, А. Суворине, Иоанне Кронштадтском, К. Победоносцеве).

Представленные в томе произведения отражают оригинальный и пронизательный взгляд писателя на национальное своеобразие русской литературы и философии. Издание рассчитано на интересующихся русской литературой, философией и культурой.

Р 030108000—016
079(02)—96

ББК 83.3(0)5

ISBN 5—250—02509—9

© Издательство "Республика", 1996



Легенда о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского
Опыт критического комментария

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Читатель да не посетует, что главный труд, здесь предлагаемый и который он мог бы, судя по заглавию книги, ожидать один встретить в ней, сопровождается двумя небольшими критическими этюдами о Гоголе. Они вызваны были многочисленными возражениями, какие встретил в нашей литературе взгляд на этого писателя, мною побочно выраженный в "Легенде об Инквизиторе". С этими возражениями я согласиться не мог, и два небольших очерка, написанные мною в объяснение своего взгляда, помогут и читателю стать в этом спорном вопросе на ту или другую сторону.

Главный же очерк, комментарий к знаменитой "Легенде" Достоевского, сопровождается впервые здесь приложениями, которые, как ключ, введут читателя в круг господствующих идей нашего покойного писателя и дадут также возможность отнестись критически к моим объяснениям его творчества.

СПб., 1894

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Отзыв о Гоголе, стр. 10—14, вызвал очень много протестов сейчас же по напечатании "Легенды". Кажется, и до сих пор он остается в литературе одиноким, непризнанным. Верен ли он? Ложен ли? Едва ли что можно возразить мне, имея в руках *документы* написанного Гоголем. Гоголь был великий *платоник*, бравший все в идее, в грани, в пределе (художественном); и, разумеется, судить о России по изображениям его было бы так же странно, как об Афинах времен Платона судить по отзывам Платона. Но в характеристике своей я коснулся души Гоголя и, думаю, тут ошибся. Тут мы вообще все ничего не знаем о Гоголе. Нет в литературе нашей более неисповедимого лица, и, сколько бы в глубь этого колодца вы ни заглядывали, никогда вы не проникнете его до дна; и даже по мере заглядывания все менее и менее будете способны ориентироваться, потеряете начала и концы, входы и выходы, заблудитесь, измучитесь и воротитесь, не дав себе даже и приблизительно ясного отчета о виденном. Гоголь — очень таинствен; клубок, от которого никто не держал в руках *входящей* нити. Мы можем судить только по объему и весу, что клубок этот необыкновенно содержателен... Поразительно, что невозможно забыть ничего из сказанного Гоголем, даже мелочей, даже ненужного. Такою мощью слова никто другой не обладал. В общем рисунок его в равной мере реален и фантастичен. Он рассказывает полет бурсака на ведьме ("Вий") так, что невозможно не поверить в это как в метафизическую быль; в "Страшной мести" говорит об испуге тоном смертельно боящегося человека. Да, он знал загробные миры; и грех, и святое ему были известные не понаслышке. В то же время в портретах своих, конечно, он не изображает действительность, но *схемы* породы человеческой он изваял вековечно; грани, к которым вечно приближается или от которых удаляется человек...

Достоевский как *творец*-художник стоит, конечно, неизмеримо ниже Гоголя. Но *мусть* Гоголя у него значительно проясняется, и из нее вытекли миры столь великой сложности мысли, какая и приблизительно не мерцала автору "Переписки с друзьями". Идеей содержание Достоевского огромно, хотя через 20 лет по его смерти, взяв карандаш, всегда можно отметить, где он не дошел до нужного, переступил требуемое. И вообще виден конец и пределы сказанного им, которых в год смерти его решительно невозможно было определить. Можно сказать, что мы должны идти далее Достоевского, ибо время и самый предмет удивления и восхищения как-то прошли... Видны ясно его ошибки; и, напр., вся его путаница о Европе и России (в их взаимоотношении) теперь представляется очевидною aberrацией ума. Вопросы, поставленные Достоевским, гораздо глубже, чем казались ему. Они все суть более метафизические вопросы, чем исторические, каковыми он склонен был сам считать их. Россия подошла ныне к таким проблемам, взглянув на которые оба наши писателя почувствовали бы нечто сходное с тем, что почувствовал добрый Бурульбаш, взглянув в окно старого замка к Пану-Отцу ("Страшная месть"). Они зажмурились бы и спустились

скорее вниз. Ясно, однако, чувствуется, что центр всемирной *интересности* и *значительности* передвинулся к нам (Россия), — и почти весь вопрос теперь в силах нашего разума, просто в нашей талантливости. Талантливый *момент* придвинул к нам Бог; сумеем ли около него мы *сами* быть талантливыми...

Одна частности, которую следует оговорить. Дойдя до критики страдания людей, в частности — *младенцев*, я пытался тогда, в 1891 г., рационализировать около этой темы. Это ошибка, и хотя я оставляю эту страницу (66) нетронутой, но читатель должен на нее посмотреть как бы на зачеркнутую. В "Пушкинской речи", так запомнившейся в России, Достоевский спросил: "Чем успокоить дух, если позади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок?.. Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обесчещенного старика возвести это здание. Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на одну минуту, что люди, для которых выстроили это здание, согласились бы принять от вас такое счастье?"...

Речь эта, и в частности приведенное место ее, чрезвычайно запомнились. Действительно, тут поставлен некоторый кардинальный вопрос: можно ли вообще на чьих-нибудь костях, и даже проще — на чьей-нибудь *обиде*, воздвигнуть, так сказать, нравственный Рим, вековечный, несокрушимый? Или, еще острее поворот спора: если некоторый нравственный Рим, с предположениями на вековечность, построен на чьих-нибудь костях, но так искусно и с такими оговорками положенных, что не минуто, не год, но века человечество проходило мимо этих костей, даже не замечая трупика, отворачиваясь от него, презируя его, хотя о нем и сознавая все вдумая: то вправе ли мы долее считать и надеяться, что этот уже воздвигнувшийся Рим вековечен, имеет вечное и согласное себе благословение в сердцах человеческих и благоволение свыше?.. Вот вопрос, вот критерий.

Лет шесть назад мне пришлось выслушать рассказ приезжего с моей родины, смеющийся почти рассказ, и просто в качестве новости, известия, именно повода к рассказу за чашкою чая. Неподалеку от Костромы, в перелесках, которыми начинаются необозримые заволжские леса, найдено было тельце младенца-мальчика, около года, одинокое, но цельное и нетронутое. Привезли его в Кострому, и как неизвестные тела нельзя предавать земле без вскрытия, то его и вскрыли. Нашли в желудке и костях и тканях особенное перерождение, которое происходит от голодной смерти. Дело было летом, и, очевидно, мальчик все ползал около деревьев, может быть, залезал в кусты, может быть, сваливался в ямку и из нее карабкался; и по крайней мере это длилось неделю. В конце, вероятно, он потерял голос, но первые дни, верно, кричал: "Мама! Мама!" Боялся он? Не боялся ночью? Как он относился к чувству голода, т. е. что понимал об этом? Что такое боль голода, сильна ли? Ведь это не местная и не острая боль? Ничего не умею представить себе о душе и *воображении*, *сознании* мальчика, но кое-что, верно, было, уж по крайней мере коротенькое-то это "мама! мама!". Но "мама", верно, была уже далеко, хотя, может быть, день-то и постояла поблизости за деревом, тоже следя, куда поползет мальчик и как он будет ее искать. К годовому ребенку любовь уже совершенно сформировавшаяся, не одна инстинктивная, но и сознательная, сердечная, острая, шемящая, — и этим только и можно объяснить, что она не имела сил убить его (верно, тайного своего ребенка), а оставила в лесу с тупой надеждой, что кто-нибудь пройдет мимо, пожалеет и поднимет. Но, верно, он отполз в сторону, и люди проходили дорогой, а в сторону не заглянули.

По всей обстановке видно, что до году мальчик скрывался где-нибудь на стороне, а затем по каким-нибудь обстоятельствам матери пришлось взять его, и вот она понесла было домой, но не донесла, ноги задрожали, ум помутился; ведь за-это и родной отец привычно выгоняет дочерей вон из дому, что же скажут чужие, не отцы, соседи, священник? И руки разжались, и младенец выпал на дорогу; но не нашлось для него "дочери фараоновой", которая спасла Моисея из воды. Явный случай этот есть вариант частого у нас случая гибели и погубления тайно рождаемых детей, в той же мере обрекаемых на *небытие*, как египетский закон не требовал ведь собственно и именно убийства израильских детей, а только чтобы еврейки не рождали *мальчиков* детей. Девочек же они могли рождать так много, как и христианки могут много рождать детей при сумме таких-то формальностей, которые, увы, не в их распоряжении, и они оказываются во множестве, и не по своей воле, так сказать, не получившими билета на вход в семейный сад. Все христиане знают а priori, что, положим, в следующем 1903 году будет убито младенцев приблизительно столько же сотен, сколько в этом 1902 году; но *это не возбуждает вопроса*. Это так же мало для всякого интересно, как для египтян мало было интересно число еврейских младенцев, которые, в силу такого-то закона, попадут в Нил и иногда хуже, чем в Нил. На почве этой коллизии Моисей и египтяне и разошлись. Теперь, если взять вопрос Достоевского, в приведенной выше речи, и прикинуть его не к мужу Татьяны ("Евг. Онег."), как он сделал, т. е. факту литературному и предполагаемому, но к костромскому мальчику, т. е. явлению очевидному и постоянному, калейдоскопически вертящемуся, то мы и увидим, что, так сказать, нравственный Рим, нами доверчиво принятый и в котором мы живем, так же раскалывается, как еврейско-египетский союз-сожитие, ибо он построен именно на крови детской, о которой в "Легенде" заговорил Достоевский; на страдании без вины: и не стариков страдании, не взрослых, не людей какого-либо чина и состояния, но именно и специально одних только детей. Мы живем в эре похуленного рождения; потрясенного абсолюта *полов*, т. е. *жизни*, т. е. опять же *рождения*. И костромской факт, в общей его картине и смысле, есть продукт этого похуления, и вне нашей эры его не существует. Ибо где слава и честь — там не умирают, не умерщвляют; а где позор — там уж непременно умрут. Явилась и непременно должна была явиться у нас некоторая доля как бы *апокрифических* рождений, не попадающих в тесный канон; и как апокрифические книги не велено читать, предосудительно держать, одобрительно уничтожить: так дети апокрифические не прямо, но косвенно указываются к вычерку из "книги живота". Моисей и его судьба, но без дочери фараоновой, а priori вырисовываются. И вырисовывается нужда, сердечная принужденность, подумать о вторичном "Исходе", аналогичном Моисееву. Ибо, как и сказал Достоевский: "Позвольте, согласились ли бы вы принять такую гармонию?" Но он совершенно не подумал, как далеко простирается его вопрос и как самые дорогие ему идеи закручиваются и идут ко дну именно около детей. Он взял в пример необъяснимости вообще страданий абсолютную правду, чистоту: *дитя*. Ему в ответ кидается: дитя-то и есть преимущественная *скверна*, первая *вина* человека, их строжнейшей *грех*. Около этого вопроса "Легенда" Достоевского, которая могла бы казаться только теориею, рассуждением и таковою действительно была для него, наливается, так сказать, соком и кровью практики и вдруг переходит в совершенно реальную проблему.

И что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая...

Это не литературный спор, но *бытийственный*. Исходная точка возможного нового *бытия*.

О ЛЕГЕНДЕ "ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР"

И рече Бог: "Се Адам бысть яко един от Нас, еже разумети доброе и лукавое. И ныне да не когда прострет руку свою, и возмет от древа жизни, и снесет, и жив будет во век". И изгна его Господь Бог из Рая сладости — делати землю, от неяже взят бысть.

Быт. III

В одной фантастической повести Гоголь рассказывает, как старый ростовщик, умирая, призвал к себе художника и неотступно просил его срисовать с себя портрет; когда работа уже началась, художник вдруг почувствовал непреодолимое отвращение к тому, что делал, и к этому отвращению примешался какой-то страх. Ростовщик, однако, все следил за работой, какая-то тоска и беспокойство светились в его лице, — но, когда он увидел, что по крайней мере глаза окончены, в этом лице сверкнула радость. Художник отошел на несколько шагов, чтобы посмотреть на свою работу; но едва он взглянул на нее, как колена его задрожали: в глазах начатого портрета светилась жизнь, настоящая жизнь, та самая, которая уже потухала в его оригинале и каким-то тайным волшебством перенеслась в эту копию. Палитра и кисть выпали из его рук, и он с ужасом выбежал из комнаты. Через несколько часов ростовщик умер. Художник окончил жизнь в монастыре.

Этот рассказ, почему-то, невольно припомнился нам, когда мы задумали говорить о знаменитой легенде Достоевского. Сквозь всю фантастичность в нем как будто мелькает и какая-то правда, и, верно, она-то вывела его на свет сознания из ряда других полузабытых рассказов и связала мысль о нем с занимающим нас предметом. Не выразил ли в нем Гоголь некоторой тайны художественной души, быть может, сознав ее в себе самом? Эта жизнь, перешедшая в создание, это тоскливое желание не умереть прежде, чем совершился такой переход, — все это как будто напоминает нам что-то главное в жизни самих художников, поэтов, композиторов. Только воплощаемое и воплощающий здесь разделены, и этим замаскирована скрытая аллегория. Соедините их, — и вы получите изображение судьбы и личности всякого великого творческого дарования.

Там, "откуда не возвращался никто", есть, конечно, жизнь: но нам ничего не рассказано о ней, и, по всему вероятно, это жизнь какая-то совсем особенная, слишком абстрактная для наших живых желаний, несколько холодная и призрачная. Вот почему человек так прилепляется к земле, так боязливо не хочет отделиться от нее; и, так как это ранее или позже все-таки неизбежно, он делает все усилия, чтобы расставание с нею было не полное. Жажда бессмертия, земного бессмертия, есть самое удивительное и совершенно несомненное чувство в человеке. Не оттого ли мы так любим детей, трепещем за жизнь их более, нежели за

свою, уже увядающую; и когда имеем радость дожить и до их детей — привязываемся к ним еще сильнее, чем к собственным. Даже в минуту совершенного сомнения относительно загробного существования мы находим здесь некоторое утешение: "Пусть мы умрем, но останутся дети наши, а после них — их дети"¹, — говорим мы в своем сердце, прижимаясь к дорогой нам земле. Но *это* бессмертие, эта жизнь нашей крови после того, как мы станем горстью праха, слишком не полна: это какое-то разорванное существование, распределенное в бесчисленных поколениях, и в нем не сохраняется главного, что мы в себе любим, — нашей индивидуальности, цельной личности. Несравненно полнее существование, которое достигается в великих произведениях духа; в них создающийся увековечивает свою личность со всеми своими особыми чертами, со всеми изгибами своего ума и тайнами своей совести. Порою он не хочет раскрыть какой-нибудь стороны своей души, и, однако, жажда в нем бессмертия, индивидуальной, особой от других жизни, так велика, что он скрывает, запрятывает среди прочего и все-таки оставляет в своих произведениях отражение этой стороны: проходят века — и нужная черта вскрывается и встает полный образ того, кто уже не страшится более смутиться перед людьми. "Строй выше себе пирамиду, бедный человек", — говорит как будто полный этих ощущений Гоголь².

Во всяком случае, чувство радости, которое испытывается при этом созидании, служит хоть каким-нибудь просветом среди того сумрака, который обычно окружает душу великих поэтов, художников, композиторов. Так глубоко и так часто непреодолимо разьединенные с живым, окружающим их миром людей, их радостей и печалей, они чувствуют себя соединенными через века с иными поколениями людей, мысленно живут в их жизни, помогают им в труде их и радуются их радостям. Странная, несколько фантастическая жизнь, черты которой, однако, мы наблюдаем, вчитываясь во все замечательные биографии. Недаром покойный проф. Усов, натуралист, но и вместе знаток искусства, назвал мир его — "миром иллюзии"³. Замечательно, что у каждого почти творца в сфере искусства мы находим один центр, изредка несколько, но всегда немного, около которых группируются все его создания: эти последние представляют собою как бы попытки высказать какую-то мучительную мысль, и, когда она наконец высказывается, — появляется создание, согретое высшею любовью творца своего и облитое немеркнущим светом для других, сердце и мысли которых влекутся к нему с неудержимою силой. Таков был у Гете "Фауст", Девятая симфония у Бетховена, "Сикстинская Мадонна" у Рафаэля. Это высшие продукты психической деятельности, их любит человечество и знает, как то, к чему способно оно в лучшие свои минуты, которые, конечно, редки во всемирной истории, как редки и минуты особенного просветления в жизни каждого человека.

На одном из подобных созданий мы и хотим остановиться. Оно, однако, проникнуто особою мучительностью, как и все творчество из-

¹"Подросток", Ф. М. Достоевского. Изд. 3. СПб., 1882, стр. 454.

²"Арабески", ч. 2. Жизнь.

³См.: "Воспоминания о воззрениях С. А. Усова на искусство" Н. Иванцова, в кн. III "Вопросы философии и психологии". М., 1890.

бранного нами писателя, как и самая его личность. Это — "Легенда о Великом Инквизиторе" покойного Достоевского. Как известно, она составляет только эпизод в последнем произведении его, "Братья Карамазовы", но связь ее с фабулою этого романа так слаба, что ее можно рассматривать как отдельное произведение. Но зато, вместо внешней связи, между романом и "Легендою" есть связь внутренняя: именно "Легенда" составляет как бы душу всего произведения, которое только группируется около нее, как вариации около своей темы; в ней схоронена заветная мысль писателя, без которой не был бы написан не только этот роман, но и многие другие произведения его: по крайней мере не было бы в них всех самых лучших и высоких мест.

I

Еще в 1870 г. в письме к Ап. Н. Майкову от 25 марта, Достоевский писал, между прочим, о замысле большого романа, который он обдумывал в течение последних двух лет и теперь хотел бы написать, пользуясь свободным временем. "Идея [этого романа], — говорил он в письме, — та самая, о которой я вам уже писал. Это будет мой *последний роман. Объемом в "Войну и мир"*, и идею вы бы похвалили, — сколько я, по крайней мере, соображаюсь с нашими прежними разговорами с вами. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой; в 2 года *план у меня весь созрел*). Повести совершенно отделены одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Первую повесть я и назначаю Кашпиреву¹: тут действие еще в сороковых годах. Общее название романа есть: "Житие великого грешника", но каждая повесть будет носить название отдельно. *Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие. Герой в продолжение жизни — то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист. Вторая повесть будет происходить вся в монастыре. На эту вторую повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут, наконец, что не все писал пустяки. Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич: хочу выставить во 2-й повести главною фигурой Тихона Задонского, конечно под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в монастыре на покое. 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развращенный (я этот тип знаю), будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг наш, образованный), и для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходитя с Тихоном (вы, ведь, знаете характер и все лицо Тихона). Тут же, в монастыре, посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не посидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, напр. за границей, на французском языке, брошюру,*

¹ Редактор журнала "Заря", приглашавший Достоевского написать к осенним месяцам этого года какую-нибудь повесть.

— очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать гости и другие. Белинский, напр., Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубова, и шнок Парфений (в этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства). Но главное — Тихон и мальчик. Ради Бога, не передавайте никому содержания этой второй части... Я вам исповедуюсь. Для других пусть это гроша не стоит, но для меня — сокровище. Не говорите же про Тихона. Я написал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. Авось, выведу величавую, положительную (курсив Достоевского), святую фигуру. Это уж не Констанжогло-с и не немец в Обломове¹; и не Лопуховы, не Рахметовы². Правда, я ничего не создам, а только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя важным подвигом. Не сообщайте же никому. Но для второго романа, для монастыря — я должен быть в России”³.

Кто не узнает в торопливых и разбросанных строках этого письма первый очерк ”Братьев Карамазовых”, с его старцем Зосимою и с чистым образом Алеши (очевидно, разделенная фигура Тихона Задонского), с развитым и развращенным, правда уже не мальчиком, но молодым человеком Иваном Карамазовым, с поездкою в монастырь (помещик Миусов, очевидно, — переделанная фигура Чаадаева), со сценами монастырской жизни и пр. Но всегдашняя нужда расстроила предположения Достоевского. Связаемый срочными обязательствами, в которые он входил с редакциями и книгопродавцами, он принужден был усиленно работать, и хотя из написанного им за это время было много прекрасного, однако все это не было осуществлением его задушевной мечты и уже созревшего плана. Очевидно, он все дождался досуга, который дал бы возможность обработывать неторопливо. Кроме денежной нужды, этому чрезвычайно препятствовала и его впечатлительность: он не мог, хотя на время, закрыть глаза на текущие дела, тревоги и вопросы нашей жизни и литературы. С 1876 г. он начал выпускать ”Дневник писателя”, создав им новую, своеобразную и прекрасную форму литературной деятельности, которой в будущем, во все тревожные эпохи, вероятно, еще суждено будет играть великую роль. Чрезвычайный успех этого издания, можно было опасаться, совершенно не даст ему возможности сосредоточиться на какой-нибудь цельной работе, и, как многие планы, замысел большого романа, уже обдуманного несколько лет назад, мало-помалу заглохнет, самый энтузиазм к нему рассеется.

Но судьба, так часто злая извне к великим людям, всегда бережно обходится с тем, что есть в них внутреннего, глубокого и задушевного. Мысль, которой предстоит жизнь, не умирает с носителями своими, даже когда смерть застигает их неожиданно или случайно. Хотя бы перед самым наступлением ее, повинуюсь какому-то безотчетному и не-

¹ ”Почем мы знаем: может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша литература, а не Лаврецкий, не Чичиков, не Рахметов и проч”. Приписка Достоевского к письму.

² Два последние — герои романа ”Что делать?”.

³ См.: ”Биография и письма”. СПб., 1883, отд. 2, стр. 233—234.

удержимому влечению, они отрываются от всего побочного и делают то, что нужно, — самое главное в своей жизни.

Беспорядочный, страстный, перед тысячами ожидающих глаз¹, Достоевский вдруг умолкает и замыкается в себя, "чтобы заняться одною художественною работою"²; он успокаивает читателей "Дневника", что это не более как на один год, ему необходимый для работы, после чего он вновь возвратится к ежемесячной беседе с ними. Но предчувствию, выраженному семь лет назад³, суждено было сбыться: предпринимаемая художественная работа стала действительно его "последним романом", и даже последним неоконченным литературным трудом. В 1880 и 1881 годах было выпущено только по одному номеру "Дневника" — в минуту особенного оживления⁴ и в промежуток отдыха между первым большим отделом романа и его вторым отделом, который должен был "представлять собою почти самостоятельное целое". В этот краткий промежуток отдыха ему суждено было окончить свои дни. Последние томы романа, "обширного, как "Война и мир", не были написаны. Четырнадцать книг, составляющие четыре части (с эпилогом) "Братьев Карамазовых", представляют собою выполнение, уже доведенное до конца, первого отдела обширной художественной эпопеи. Вот что пишет он об общем плане ее в предисловии к "Братьям Карамазовым": "Хотя жизнеописание (героя, которое служит содержанием романа) у меня одно, но романов два. Главный роман — второй: это деятельность моего героя уже в наше время, или в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще тридцать лет назад — и это почти даже и не роман, а лишь *один момент из первой юности моего героя*. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным".

Очевидно, даже внешний план долго вынашиваемого произведения был сохранен в "Братьях Карамазовых"; и все нужное к его выполнению было также сделано теперь: в 1879 г. Достоевский ездил в знаменитую Оптину Пустынь, чтобы обновить свои воспоминания о монастырской жизни. В старце монастыря этого, отце Амвросии, нравственно-религиозный авторитет которого и до сих пор руководит жизнью тысяч людей, он, вероятно, нашел несколько драгоценных и живых черт для задуманного им *положительного* образа. Но первоначальный план подвергся некоторым изменениям и принял в себя много дополнений. Положительный образ старца, который Достоевский хотел вывести в своем романе, не мог стать центральным лицом в нем, как он первоначально думал это сделать: установившийся и неподвижный, этот образ мог быть очерчен, но его нельзя было ввести в движение передаваемых событий. Вот почему старец Зосима только показывается в "Братьях Карамазовых": он благословляет на жизненный подвиг своего любимого послушника, Алешу Карамазова, и умирает. Вместо его, централь-

¹ Об успехе "Дневника писателя" см. цифровые данные в его "Биографии и письмах", отд. I, стр. 300.

² См.: "Дневник писателя" за 1877 г., декабрь: "К читателям".

³ См. выше, в письме к Ап. Н. Майкову.

⁴ По поводу Пушкинского праздника единственный № за 1880 г., с "Речью о Пушкине" и объяснениями к ней.

ным лицом всего сложного произведения должен был стать этот последний¹. Нравственный образ Алеши в высшей степени замечателен по той обрисовке, которая ему придана. Видеть в нем только повторение типа кн. Л. Н. Мышкина (герой "Идиота") было бы грубою ошибкой. Кн. Мышкин, так же как и Алеша, чистый и безупречный, чужд внутреннего движения, он лишен страстей вследствие своей болезненной природы, ни к чему не стремится, ничего не ищет осуществить; он только наблюдает жизнь, но не участвует в ней. Таким образом, пассивность есть его отличительная черта; напротив, натура Алеши прежде всего деятельна и одновременно с этим она также ясна и спокойна. Сомнения², даже чувственные страсти³ и способность к гневу⁴ — все есть в этом полном человеческом образе, и с тем вместе есть в нем какое-то глубокое понимание разностороннего в человеческой природе: он как-то близок, интимен со всяким человеком, с которым ему приходится вступать в сношения. Брат Иван и Раkitин, развращенный старик, его отец, и мальчик Коля Красоткин — одинаково доступны ему. Но, вникая в чужую внутреннюю жизнь, он внутри себя всегда остается тверд и самостоятелен. В нем есть неразрушимое ядро, от которого идут всепроницающие нити, способные завязаться, бороться и побеждать внутреннее содержание других людей. И между тем, этот человек, так уже сильный, является перед нами еще только отроком — образ удивительный, впервые показавшийся в нашей литературе. Нет сомнения, что оборванный конец (или, точнее, главная часть) "Братьев Карамазовых" унес от нас многие откровения человеческой души, что там были бы слова, действительно проясняющие путь жизни. Но этому не суждено было сбыться; в той части романа, которую мы имеем перед собой, Алеша только готовится к подвигу: он более выслушивает, чем говорит, изредка вставляет только замечания в речи других, иногда спрашивает, но больше молча наблюдает. Однако все эти черты, только обрисовывающие тип, но еще не высказывающие его, положены так тонко и верно, что и недоконченный образ уже светится перед нами настоящей жизнью. В нем мы уже предчувствуем нравственного реформатора, учителя и пророка, дыхание которого, однако, замерло в тот миг, когда уста уже готовы были раскрыться, — явление единственное в литературе, и не только в нашей. Если бы мы захотели искать к нему аналогии, мы нашли бы ее не в литературе, но в живописи нашей. Это — фигура Иисуса в известной картине Иванова: также далекая, но уже идущая, пока незаметная среди других, ближе стоящих лиц и, однако, уже центральная и господствующая над ними. Образ Алеши запомнится в нашей литературе, его имя уже произносится при встрече с тем или иным редким и отрадным явлением в жизни; и, если суждено будет нам возродиться когда-нибудь к новому и лучшему, очень возможно, что он будет путеводною звездой этого возрождения.

¹ Это высказано положительно и в предисловии к "Братьям Карамазовым".

² См. его думы и слова после кончины старца Зосимы.

³ Один разговор с Раkitиным, где он, "девственник", признается, что ему слишком понятны "карамазовские бури".

⁴ Разговор с братом Иваном о страданиях детей.

Но если Алеша Карамазов только обрисован в романе, но не высказался в нем, то его брат, Иван, и обрисован и высказался ("Легенда об инквизиторе"). Таким образом, вне предположений Достоевского, не успевшего окончить своего романа, эта фигура и стала центральной во всем его произведении, т. е. собственно она осталась таковою, потому что другой и его заслоняющей фигуре (Алеши) не пришлось выступить и, без сомнения, вступить в нравственную и идейную борьбу с своим старшим братом. Таким образом, "Братья Карамазовы" есть действительно еще не роман, в нем даже не началось действие: это только пролог к нему, без которого "последующее было бы непонятно". Но, судя по прологу, целое должно было стать таким мощным произведением, которому подобное трудно назвать во всемирной литературе: только Достоевский, способный совмещать в себе "обе бездны — бездну вверх и бездну вниз", мог написать не смешную пародию, но действительную и серьезную трагедию этой борьбы, которая уже тысячелетия раздрает человеческую душу, — борьбы между отрицанием жизни и ее утверждением, между растлением человеческой совести и ее просветлением. Он только, переживший эту борьбу и в чистом энтузиазме, с которым создавал "Бедных людей"¹, и в шумном кружке Петрашевского, и в джунглях Сибири, среди каторжников, и в долгом уединении в Европе, мог сказать нам одинаково сильно и "pro" и "contra"²; без лицемерия "pro" и без суетного тщеславия "contra".

По отношению к характерам, которые выведены в "Братьях Карамазовых", характеры его предыдущих романов можно рассматривать как предуготовительные: Иван Карамазов есть только последний и самый полный выразитель того типа, который, колеблясь то в одну, то в другую сторону, уже и ранее рисовался перед нами то как Раскольников и Свидригайлов ("Преступл. и наказ."), то как Николай Ставрогин ("Бесы"), отчасти как Версилон ("Подросток"); Алеша Карамазов имеет свой прототип в кн. Мышкине ("Идиот") и отчасти в лице, от имени которого ведется рассказ в романе "Униженные и оскорбленные"; отец их, "с профилем римского патриция времен упадка", рождающий детей и бросающий их, любитель потолковать о бытии Божиим "за коньячком", но главное — любитель надругаться над всем, что интимно и дорого человеку, есть завершение типа Свидригайлова и старого князя Вальковского ("Униженные и оскорбленные"). Только Дмитрий Карамазов, нелепый и в основе все-таки благородный, смесь добра и зла, но не глубокого, является новым лицом; кажется, один капитан Лебядкин ("Бесы"), вечно утормоленный и возбужденный, может еще хоть несколько, конечно извне только, напомнить его. Новым лицом является и четвертый брат, Смердяков, это незаконное порождение Федора Павловича и Лизаветы "смердящей", какой-то обрывок человеческого существа, духовное Квазимодо, синтез всего лакейского, что есть в человеческом уме и в человеческом сердце. Но эта повторяемость главных характеров не только не вредит достоинству "Братьев Карамазовых", но и возвышает их интерес: Достоевский есть прежде всего психолог, он не изображает нам быт, в котором мы ищем все нового и нового, но только душу

¹ См. об этом воспоминания в "Дневн. писат." за январь 1877 г.

² Это название носят две центральные книги в "Братьях Карамазовых".

человеческую с ее неуловимыми изгибами и переходами, и в них мы прежде всего следим за преемственностью, желаем знать, во что разрешается, чем заканчивается то или иное течение мыслей, тот или иной душевный строй. И с этой точки зрения, как завершающее произведение, "Братья Карамазовы" имеют неисчерпаемый интерес. Но чтобы понять его вполне, нужно сказать несколько слов о том общем смысле, который имеет деятельность Достоевского.

II

Известен взгляд¹, по которому вся наша новейшая литература исходит из Гоголя; было бы правильнее сказать, что она вся в своем целом явилась отрицанием Гоголя, борьбою против него. Она вытекает из него, если смотреть на дело с внешней стороны, сравнивать приемы художественного творчества, его формы и предметы. Так же как и Гоголь, весь ряд последующих писателей, Тургенев, Достоевский, Островский, Гончаров, Л. Толстой, имеют дело только с действительною жизнью, а не с созданною в воображении ("Цыганы", "Мцыри"), с положениями, в которых мы все бываем, с отношениями, в которые мы все входим. Но если посмотреть на дело с внутренней стороны, если сравнить по содержанию творчество Гоголя с творчеством его мнимых преемников, то нельзя не увидеть между ними диаметральной противоположности. Правда, взор его и их был одинаково устремлен на жизнь: но то, что они увидели в ней и изобразили, не имеет ничего общего с тем, что видел и изображал он. Не составляет ли тонкое понимание внутренних движений человека самой резкой, постоянной и отличительной черты всех новых наших писателей? За действиями, за положениями, за отношениями мы повсюду у них видим человеческую душу, как скрытого двигателя и творца всех видимых фактов. Ее волнения, ее страсти, ее падения и просветления — вот что составляет предмет их постоянного внимания. Оттого столько задумчивого в их созданиях; за это мы так любим их и считаем постоянное чтение их произведений за средство лучшего очеловечивающего воспитания. Теперь если, сосредоточив как на главном на этой особенности свое внимание, мы обратимся к Гоголю, то почувствуем тотчас же страшный недостаток в его творчестве этой самой черты — *только ее одной и только у него одного*. Свое главное произведение он назвал "Мертвые души" и, вне всякого предвидения, выразил в этом названии великую тайну своего творчества и, конечно, себя самого. Он был гениальный живописец внешних форм и изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, как за этими формами ничего, в сущности, не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их. Пусть изображаемое им общество было дурно и низко, пусть оно заслуживало осмеяния: но

¹ Он подробно развит, между прочим, у Ап. Григорьева в статье "Взгляд на современную изящную словесность, и ее исходная историческая точка". См.: Сочинения, стр. 8—20.

разве уже не из людей оно состояло? Разве для него уже исчезли великие моменты смерти и рождения, общие для всего живого чувства любви и ненависти? И если, конечно, — нет, то *чем же* эти фигуры, которые он вывел перед нами как своих героев, могли отозваться на эти великие моменты, почувствовать эти общие страсти? Чтó было за одежду, которую одну мы видим на них, такого, что могло бы хоть когда-нибудь по-человечески порадоваться, пожалеть, возненавидеть? И спрашивается, если они не были способны ни к любви, ни к глубокой ненависти, ни к страху, ни к достоинству, то для чего же в конце концов они трудились и приобретали, куда-то ездили и что-то переносили? Гоголь выводит однажды детей, — и эти дети уже такие же безобразные, как и их отцы, также лишь смешные и осмеиваемые, как и они, фигуры. Раз или два он описывает, как пробуждается любовь в человеке, — и мы с изумлением видим, что единственное, чтó зажигает ее, есть простая физическая красота, красота женского тела для мужчины (Андрей Бульба и полячка), которая действует мгновенно и за первым мгновением о которой уже нечего рассказывать, нет всех тех чувств и слов, которые мы слышим в заунывных песнях нашего народа, в греческой антологии, в германских сказаниях и повсюду на всей земле, где любят и страдают, а не наслаждаются только телом. Неужели же это был сон для всего человечества, который разоблачил Гоголь, сорвав наконец грезы и показав действительность? И не правильнее ли думать, что не человечество грезило и он один видел правду, но, напротив, оно чувствовало и знало правду, которую и отразило в поэзии всех народов на протяжении тысячелетий, а он сам грезил и свои большие грезы рассказал нам как действительность:

“И почему я должен пропасть червем? — говорит его герой в трудную минуту, оборвавшись в таможне. — И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю? И что скажут потом мои дети?” Вот, — скажут, — *отец — скотина: не оставил нам никакого состояния*”.

“Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, известно почему, приходит сам собою: а чтó скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе: мыло ли стоит, свечи ли, сало”¹.

Какой ужас, какое отчаяние, и неужели это правда? Разве мы не видели на деревенских и городских погостах старух, которые сидят и плачут над могилами своих стариков, хотя они оставили их в рубище, в котором и сами жили? Разве, видя отходящим своего отца, *где-нибудь* дети подходят к матери и спрашивают: “Остаемся ли мы с состоянием”? Разве ложь и выдумка вся несравненная поэзия наших народных причитаний², нисколько не уступающая поэзия “Слова о полку Игоря”? Какие

¹ “Мертвые души”. Изд. 1873 г., стр. 258.

² См. “Причитания северного края”, собранные г. Барсовым. “Плач Ярославны”, самое поэтическое место в “Слове”, есть, очевидно, перенесенное сюда народное причитание. Сравни язык, образы, обороты речи.

образы, какая задушевная грусть, какие надежды и воспоминания! И каким тусклым, безжизненным взглядом нужно было взглянуть на действительность, чтобы просмотреть все это, не услышать этих звуков, не задуматься над этими рыданиями. Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидал он в ней. Вовсе не отразил действительность он в своих произведениях, но только с изумительным мастерством нарисовал ряд карикатур на нее: от этого-то и запоминаются они так, как не могут запомниться никакие живые образы. Рассмотрите ряд лучших портретов с людей, действительных в жизни, одетых плотью и кровью, — и вы редкий из них запомните; взгляните на очень хорошую карикатуру, — и еще много времени спустя, даже проснувшись ночью, вы вспомните ее и рассмеетесь. В первых есть смешение черт различных, и добрых и злых наклонностей, и, пересекаясь друг с другом, они взаимно смягчают одна другую, — ничего яркого и резкого не поражает вас в них; в карикатуре взята одна черта характера, и вся фигура отражает только ее — и гримасой лица, и неестественными конвульсиями тела. Она ложна и навеки запоминается. Таков и Гоголь.

И здесь лежит объяснение всей его личности и судьбы. Признавая его гений, мы с изумлением останавливаемся над ним, и когда спрашиваем себя: почему он так не похож на всех¹, что делает его особенным, то невольно начинаем думать, что это особенное — не избыток в нем человеческого существа, не полнота сил сверх нормальных границ нашей природы, но, напротив, глубокий и страшный изъян в этой природе, недостаток того, что у всех есть, чего никто не лишен. Он был до такой степени уединен в своей душе, что не мог коснуться ею никакой иной души: и вот отчего так почувствовал всю скульптурность наружных форм, движений, обликов, положений. О нем, друге Пушкина, современнике Грановского и Белинского, о члене славянофильского кружка в лучшую, самую чистую пору его существования, рассказывают, что "он не мог найти положительного образа для своих созданий"; и мы сами слышим у него жгучие, слишком "зримые" слезы по чем-то неосуществимом, по каком-то будто бы "идеале". Не ошибка ли тут в слове и,

¹ В "Выбранных местах из переписки с друзьями" можно, в сущности, найти все данные для определения внутреннего процесса его творчества. Вот одно из ясных и точных мест: "Я уже от многих своих недостатков избавился тем, что *передал* их своим героям, их осмеял в них и заставил других также над ними посмеяться... Тебе объяснится также и то, почему я не выставлял до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои *добродетельных людей*. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь постоянством и не завоеешь силою в душу несколько добрых качеств, — мертвечина будет все, что ни напишет перо твое". ("Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ", письмо третье.) Здесь довольно ясно выражен субъективный способ создания всех образов его произведений: они суть *выдавленные* наружу качества своей души, о срисовке их с чего-либо *внешнего* даже и не упоминается. Так же определяется и самый процесс создания: берется *единичный* недостаток, сущность которого хорошо известна из субъективной жизни, и на него пишется иллюстрация или иллюстрация "с моралью". Ясно, что уже каждая черта этого образа отражает в себе по-своему этот только недостаток, ибо иной цели рисуемый образ и не имеет. Это и есть сущность карикатуры.

подставив нужное, не разгадаем ли мы всей его тайны? Не идеала не мог он найти и выразить; он, великий художник форм, сгорел от бессильного желания вложить хоть в одну из них какую-нибудь живую душу. И когда не мог все-таки преодолеть неудержимой потребности, — чудовищные фантазмагии показали в его произведениях, противоположенная Улинька и какой-то грек Констанжогло, не похожие ни на сон, ни на действительность. И он сгорел в бессильной жажде прикоснуться к человеческой душе; что-то неясное говорят о его последних днях, о каком-то безумии, о страшных муках раскаяния, о посте и голодной смерти¹. Какой урок, прошедший в нашей истории, которого мы не поняли! Гениальный художник всю свою жизнь изображал человека и не мог изобразить его души. И он сказал нам, что этой души нет, и, рисуя мертвые фигуры, делал это с таким искусством, что мы в самом деле на несколько десятилетий поверили, что было целое поколение ходячих мертвецов; — и мы возненавидели это поколение, мы не пожалели о них всяких слов, которые в силах сказать человек только о бездушных существах. Но он, виновник этого обмана, понес кару, которая для нас еще в будущем. Он умер жертвою недостатка своей природы, — и образ аскета, жгущего свои сочинения, есть последний, который оставил он от всей странной, столь необыкновенной своей жизни. "Мне отмщение и Аз воздам" — как будто слышатся эти слова из-за треска камина, в который гениальный безумец бросает свою гениальную и преступную клевету на человеческую природу.

Что не сознается людьми, то иногда чувствуется ими с тем большею силою. Вся литература наша после Гоголя обратилась к проникновению в человеческое существо; и не отсюда ли, из этой силы противодействия, вытекло то, что ни в какое время и ни у какого народа все тайники человеческой души не были так глубоко вскрыты, как это совершилось в последние десятилетия у всех нас на глазах? Нет ничего поразительнее той перемены, которую испытываешь, переходя от Гоголя к какому-нибудь из новых писателей: как будто от кладбища мертвецов переходишь в цветущий сад, где все полно звуков и красок, сияния солнца и жизни природы. Мы впервые слышим человеческие голоса, видим гнев и радость на человеческих лицах, знаем, как смешны иногда они бывают: и все-таки любим их, потому что чувствуем, что они люди и, следовательно, братья нам. Вот в ряде маленьких рассказов Тургенева те же деревни, поля и дороги, по которым, может быть, проезжал и герой "Мертвых душ", и те же мелкие уездные города, где он заключал свои купчие крепости. Но как живет все это у него, дышит и шевелится, наслаждается и любит. Те же мужики перед нами, но это уже не несколько идиотов, которые, чтобы разнять запутавшихся лошадей, неизвестно для чего влезают на них и колотят их дубинами по спинам; мы видим дворовых и крепостных, но это не вечно пахнущий Петрушка и не Селифан, о котором мы знаем только, что он всегда бывал пьян. Какое разнообразие характеров, угрюмых и светлых, исполненных прак-

¹ См. о нем в "Литературных воспоминаниях" И. С. Тургенева ("какое умное и какое *больное* существо") и также Ф. И. Булаева: "Мои досуги". М., 1886, т. 2, стр. 235—239, с историческими словами Гоголя, обращенными (за несколько дней до смерти) к *кошки* Щепкину: "*Оставайтесь всегда таким*".

тической заботы или тонкой поэзии. Всматриваясь в черты их, живые и индивидуальные, мы начинаем понимать свою историю, самих себя, всю окружающую жизнь, — что так широко разрослась из недр этого народа. Какой чудный детский мир развертывается перед нами в грезах Обломова, в воспоминаниях Нечки Незвановой, в "Детстве и отрочестве", в сценах "Войны и мира", у заботливой Долли в "Анне Карениной": и неужели все это менее действительность, чем Алкид и Фемистоклос, эти жалкие куклы, злая издевка над теми, над кем никто не издевался? А мысли Болконского на Аустерлицком поле, молитвы сестры его, тревоги Раскольниково и весь этот сложный, разнообразный, уходящий в безграничную даль мир идей, характеров, положений, который раскрылся перед нами в последние десятилетия, — что скажем мы о нем в отношении к Гоголю? Каким словом определим его историческое значение? Не скажем ли, что это есть раскрытие жизни, которая умерла в нем, восстановление достоинства в человеке, которое он у него отнял?

III

Достоевский прежде всех других заговорил о жизни, которая может биться под самыми душевными формами, о человеческом достоинстве, которое сохраняется при самых невозможных условиях. В крошечном и прелестном рассказе "Честный вор"¹ мы видим две фигуры, из тех, мимо которых ежедневно проходим, не замечая их. Бедный угол, простые речи, случай, какие слишком часты, — все это как луч из какого-то далекого мира падает на нашу душу: мы забываем на минуту свои мысли и желания и внимательно присматриваемся к этому лучу. Образы, которые мы знали раньше только снаружи, просвечивают перед нами, и мы видим сердце, которое в них бьется. Несколько минут прошло, луч снова исчез, мы опять возвращаемся к обычному течению своих идей, но что-то уже переменялось в них, что-то стало в них невозможно более и что-то стало навсегда неизбежно: неизбежна — тревога за человеческое существо, как бы далеко оно ни отстояло от нас, невозможно — презрение к человеку, где бы мы его ни встретили. Среди всей мудрости, которую мы впитываем в себя, на всей высоте своих понятий, мы вдруг иногда останавливаемся и спрашиваем: так же ли чист наш внутренний мир, так же ли тепло в нас сердце, как в тех убогих и бедных людях, которых мы на минуту видели и навсегда запомнили? И слова апостола: "Пусть языком твоим говорят ангелы, но если в словах твоих не будет любви, то они будут медью звенящей и кимвалом бряцающим" — становятся ясны для нас, как никогда; мы понимаем, что в них дано мерило добра и зла, с которым мы никогда не погибнем и которое приложимо к всякой мудрости.

¹ Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Изд. 1882 г., т. 2, стр. 463 и след. Ниже указывая томы, мы всегда будем разуметь издание этого года, первое посмертное и до сих пор лучшее.

Кто пробуждает в нас понимание, тот возбуждает в нас и любовь. Вслед за автором мы идем и спускаемся в тусклый мир человеческого существования, которое было до сих пор скрыто от нас, и вместе с ним рассматриваем живые существа, которые там копошатся. "Вы думали, что они перестали страдать, что они ничего более не чувствуют, — говорит он нам, — прислушайтесь к языку их, всмотритесь в их лица: разве вы сами умеете так чувствовать, разве в трудную минуту вы встречали в окружающих такое участие, каким они согревают друг друга в этом мраке и в этом холоде? И посмотрите, какая вера в них живет, как далеко они от слабых жалоб, как мало обвиняют и терпеливо несут свой крест. Вы думали, что они только трудятся и питаются, предоставив мысли и желания вам? Нет, в них живут все ваши страсти, и они понимают многое, что непонятно вам. Это — люди, совершенно такие же люди, как вы, многое сохранившие, что вы потеряли, и немногое не успевшие приобрести, что вы приобрели. Вы видели их: теперь ступайте и, если можете, забудьте этот мир".

И когда вы в нерешительности останавливаетесь, он смотрит на вас пронизывающим взглядом и продолжает: "Отчего вы не идете, что удерживает вас? Помните же то, что в вас пробудилось, и не забывайте никогда в ваших соображениях: *совесть* — она живет и во всех людях, и также в этих. Вы видите не руки, которые устали, не ноги, которым холодно, не желудки, которые пусты. Вы видите перед собой миллионы человеческих душ и, когда вздумаете, что их нужно только согреть, накормить и успокоить, — вспомните, как забыли вы теперь о сне и пище, которые вас ожидают. Я сказал все. Теперь идите и занимайтесь вашей философией или древностями. Я же останусь с ними и, если не сумею разделить их труд, — разделю их горести и когда-нибудь, быть может, порадоюсь их радости".

Сквозь философские и исторические интересы, которые вновь вас окружают, сквозь блеск всего мира красоты, который приковывает вас в искусствах и литературе, вы с тех пор чувствуете иногда что-то тревожное, и вам припоминается странный человек, который однажды завел вас в мир, так не похожий на все, что вы знали, и остался там, сказав свои угрюмые слова. Силен ли он, и что он там сделает, над чем пронеслись тысячелетия и улеглась наша цивилизация? В свободные минуты вы берете томы его рассказов, чтобы внимательнее всмотреться в его лицо, попробовать силу его мышц и крепость его мысли.

Перед вами проходит ряд его повестей и рассказов. Сколько смешного и серьезного, подчас невозможно нелепого¹: точно человек, который, готовясь что-то сказать, предварительно брызгает слюною и издает невнятные звуки. Но вот речь устанавливается, вы забываете ненужное и вникаете в ее смысл. Какое богатство чувства, какое понимание всего, самого важного, что нужно понять человеку. Вот проходит перед нами грустная и смешная идиллия ("Слабое сердце"), вот благоуханная поэзия "Белых ночей" и жгучая страстность неоконченной повести, с ее безумным музыкантом, бегущим по темным улицам города со своею малолетнею дочерью ("Неточка Незванова"). А вот исполненный не-

¹ Напр., "Роман в девяти письмах" и "Хозяйка" в Сочинениях, т. 2.

поддельной веселости рассказ "Маленький герой" (т. 2); мы справляемся и узнаем, что он был написан в крепости, за несколько недель до суда, приговора и, быть может, казни. "Да, этот человек серьезен, — думаем мы невольно, — что бы ни было в его внутреннем мире, этот мир крепок, если творческая работа продолжается в нем и перед зияющей могилой". Но самое любопытное — это то, что он возвращается не исключительно в том мире, где мы оставили его, он легко поднимается вверх и только занимается здесь почти исключительно детским миром (княжна Катя в "Неточке Незвановой", дочь откупщика в "Елке и свадьбе"). Глядя на мир этот, светлый и невинный, он так же ясен и оживлен, как и там, среди убогих бедняков; и та же тревога за этот мир видна в нем, как за тех, забытых людьми, людей: как недоверчив и сумрачен делается его взгляд, когда подходят к этому играющему миру взрослые. Вот Юлиан Мастакович, рассчитывающий по пальцам лета девочки и проценты к капиталу, на нее положенному, цифру которого он случайно узнал на детском вечере:

"Триста, триста... — шепчет важный сановник, — 11, 12... 16 — пять лет; положим по 4% на 100 — двенадцать, пять раз 12 = 60, да на эти 60... Да не по четыре же держит, мошенник, может, восемь, аль десять берет..."¹

Счет прерывается; он на цыпочках подкрадывается к занятому кукольный ребенку и целует его в голову:

"А что вы тут делаете, милое дитя", — говорит он взволнованным шепотом.

Детский вечер кончается при оживленном удивлении гостей, с умилением смотрящих на приветливый разговор важного сановника с ребенком богатого откупщика. Глаза читателя закрываются и снова открываются через пять лет: пасмурный день (как всегда у Достоевского), приходская церковь, прекрасная, едва расцветшая девушка и встречающий ее жених. Шепот в народе о богатстве невесты и хоть несколько постаревшие, но известные черты жениха объяснили рассказчику все, — и он вспомнил о детской елке пять лет назад, в морозную ночь, накануне Нового года.

На этом же вечере, среди веселых детских фигурок, он отмечает загнанного мальчугана, сына гувернантки в хозяйском доме, с его мучительным желанием подойти и поиграть с другими детьми, которые от него сторонятся. Детский ум уже понимает различия положений, а детская натура влечет переступить через них. Он робок и заискивающ, — такой веселый вечер повторится не скоро, — и вот он жметя к детям, затаивает обиды от них и угодливо льстит, лишь бы они его не отгоняли от себя. Вы чувствуете, что мишура и богатство — все это, как дымка, стоит в стороне; и взор автора неподвижно устремлен на то, что живет и движется под всем этим, — на человеческую душу, ее первые страдания, начальные искажения.

"Но силен ли он?.." В несколько фантастическом очерке, сюжет и тон которого повторится потом в "Униженных и оскорбленных", рассказан случай встречи одного уединенного мечтателя с оставленною девушкой.

¹ Сочинения, т. 2, стр. 485—486.

Какие странные встречи, какие задумчивые и горячие признания, и как крепко держат друг другу руку эти два одинокие и чистые существа. Во всей нашей литературе нельзя найти повести, столь же ушедшей куда-то глубоко-глубоко во внутренний мир человеческой души, откуда не слышны более людской жизни, не видно их шумной суеты. Только безлунные светлые ночи севера смотрят на них, да они сами смотрятся чистою совестью в чистую совесть друг друга. Но вот, какая-то тень мелькает мимо их, когда он говорит ей какие-то бессвязные речи, указывая на небо. Это была четвертая ночь, четвертая их встреча. Она жмется к нему, рука ее дрожит. Знакомый голос, который она так любила, которому привыкла робко повиноваться, зовет ее: с криком бросается она к тому, о ком думала, что потеряла его навеки, — к своему надтреснувшему счастью, с верой в пробуждение и возврат горячей любви. Мечтатель остается один; он возвращается домой. Как постарелым показалось ему все в его одиноком углу, — и он сам, и стены его комнаты, и соседний дом. В страстном и молящем письме она объясняет ему все и просит не упрекать ее и не забывать — как и она сама сохранит о нем постоянную память. Письмо выпало у него из рук, и он закрыл лицо:

“...Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так неприветливо и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, также одиноким и с тою же Матреной, которая нисколько не поумнела за все эти годы.

Но чтобы я помнил обиду мою, Настенька! Чтобы я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье; чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства; чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю... О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна хоть за минуту блаженства и счастья, которое дала другому, одинокому, благодарному сердцу”¹.

Не правда ли, слова эти сотканы как будто из лунного света? В них то же спокойствие, то же самоограничение, та же готовность светиться только чужим счастьем.

И вдруг этот тон: “Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень”², — слышится мутный рокот из подполья. Перевертываем несколько страниц: “...я убежден, что не только очень много сознания, но даже всякое сознание — болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что: отчего так бывало, что как нарочно в те самые, — да, в те самые минуты, в которые я наиболее способен был сознать все тонкости “всего прекрасного и высокого”, мне случалось уже не сознать, а делать такие неприглядные деяния, которые хоть и все делают, но которые как нарочно приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал,

¹ “Белые ночи”. Сочинения, т. 2, стр. 539.

² “Записки из подполья”. Сочинения, т. 3, стр. 443.

что их совсем бы не надо делать? Чем более я сознавал о добре и о всем этом "прекрасном и высоком", тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней". Перелистываем дальше: "...законный, непосредственный плод сознания — это инерция. Усиленно повторяю: все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены. Как это объяснить? А вот как: они, вследствие своей ограниченности, ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают; таким образом, скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, — ну, и успокоиваются, а, ведь, это главное. Ведь, чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну, а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следовательно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще первоначальнее, и т. д. в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы".

Мелькают постыдные признания и гениальная диалектика, показываются золотые булавки, которые скучающая Клеопатра втыкает в груди своих невольниц, топчется "поэзия" известных стихов:

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падную извлек... —

и на бессильно опустившемся теле девушки, возрожденной и потом истерзанной, выскакивает какая-то гнусная фигура, без имени и без образа, и кричит: "Я — человек"².

Да, думаете вы, этот человек силен. Душа, в которой зародились столь различные звуки и образы, и все эти мысли, — способна побороться со всем, с чем человек в силах бороться. Он может быть не выслушан, может быть непонят: никакой пророк не обратит песок пустыни в чутких слушателей. Но на безбрежных равнинах истории не вечно же будет лежать песок, — и тогда жатва его придет.

Одновременно с этим писателем, который так привлекает нас, выступает группа других. Вот задумчивый сквозь сон Гончаров, с его артистической любовью к человеку, при ярком освещении солнца, среди безграничного мира Божия следит, не замечая ни этого солнца, ни этого мира, один уголок его и медленно рисует свой узор. Вот суетный и слабый Тургенев, столь даровитый, так много думавший, вводит нас в чарующий мир своего слова, роняет мысли, так запоминающиеся, и выводит ряд образов, несколько бледных и, однако, всегда привлека-

¹ Сочинения, т. 3, стр. 446.

² См.: "По поводу мокрого снега" в "Записках из подполья". Сочинения, т. 3, стр. 472—538. Единственную аналогию с этим произведением, одним из глубочайших у Достоевского, представляет "Племянник Рамо" у Дидро. Первоначальный очерк характера "героя подполья" представляет, но исключительно с комической стороны, Фома Фомич в повести "Село Степанчиково и его обитатели" (Сочинения, т. 3).

тельных. Наконец, вот и Толстой, для мощи которого, кажется, нет пределов, открывает необъятную панораму человеческой жизни всюду, где завершилась она в твердые формы. Мы колеблемся; погруженные в выполнение своей миссии, ни одним взглядом не отрываясь от нее, эти великие художники неотразимо влекут к себе всех. Сравнительно с созданиями их, как неправильно все то, что создает писатель, за которым мы хотели бы последовать: его образы нередко искажены, его речи недостает гармонии; это как будто хаос, к которому еще не приложены мера и число, или как будто уже смешались в нем все числа и меры. Особенно сильно наше колебание при взгляде на мир Толстого: здесь не одна невыразимая прелесть созданий влечет нас, тут есть нечто другое, более глубокое и удерживающее. Для нас очевидно, что он прикоснулся к Элевзинским таинствам природы, и слушает глухие звуки, и всматривается в неясные тени, припав к Матери-земле, из которой растет все живое. Он старается уловить смысл всякого рождения и каждой смерти, в узком пределе которых заключено бедное существование человека. Но древние предания говорят нам, что и там, в настоящих Элевзиниях, для посвященных открывался смысл жизни и умирания, только издали и в аллегорических образах. По-видимому, этим одним навсегда суждено ограничиться человеку.

Как ни привлекателен мир красоты, есть нечто еще более привлекательное, нежели он: это — падения человеческой души, странная дисгармония жизни, далеко заглушающая ее немногие стройные звуки. В формах этой дисгармонии проходят тысячелетние судьбы человечества. И если мы посмотрим на всемирную литературу, мы увидим, что ничей взор в ней не был устремлен с таким проникновением на причины этой дисгармонии, как взор писателя, которого мы избираем. Оттого, среди всего хаоса его произведений, мы ни у кого не найдем такой цельности и полноты, есть что-то кощунственное в нем и вместе религиозное. Он не избирает ни одной картины в природе, чтобы любить ее и воссоздавать; его интересуют только швы, которыми стянуты все эти картины, он, как холодный аналитик, всматривается в них и хочет узнать, почему весь образ Божьего мира так искажен и неправилен. И с этим анализом он непостижимым образом соединил в себе чувство самой горячей любви ко всему страдающему. Как будто то искажение, которое проходит по лицу Божия мира, особенно глубоко прошло по нем самом, тронуло его внутренних мир, и, как никто другой, он ярко почувствовал и все страдание, которое "суцая тварь" несет в себе, и приблизился к пониманию его скрытой сущности. Отсюда вытекает глубокая субъективность его произведений и их страстность: он не извне зовет нас пойти и разделить с ним его интересы, которыми мы можем заняться наравне со всякими другими, его голос доходит до нас как будто издали, и, когда мы приближаемся, мы видим одинокое и странное существо там, где никого другого нет, и оно говорит нам о нестерпимых мучениях человеческой природы, о совершенной невозможности выносить их и о необходимости найти какие-нибудь пути, чтобы из них выйти. Отсюда — болезненный тон всех его произведений, отсутствие в них внешней гармонии частей и мир неутолимого страдания, который он открывает, переплетенный с мыслью о его непонятных причинах, о его непостижимых целях.

Это-то и сообщает его произведениям вековечный смысл, неумиряющее значение. Было бы анахронизмом в настоящее время разбирать характеры, выведенные, напр., Тургеневым, хотя со времени их создания прошло немного лет: они ответили на интересы своей минуты, были поняты в свое время, и теперь за ними осталась привлекательность исключительно художественная. Мы их любим, как живые образы, но нам уже нечего в них разгадывать. Совершенно обратное мы находим у Достоевского: тревога и сомнения, разлитые в его произведениях, есть наша тревога и сомнения, и таковыми останутся они для всякого времени. В эпохи, когда жизнь катится особенно легко или когда ее трудность не сознается, этот писатель может быть даже совсем забыт и не читается. Но всякий раз, когда в путях исторической жизни почувствуется что-либо неловкое, когда идущие по ним народы будут чем-либо потрясены или смущены, имя и образ писателя, так много думавшего об этих путях, пробудится с нисколько не утраченной силой.

Туда, куда зовет он, — в мир искажения и страдания, к рассмотрению самых швов, которыми скреплена природа, можно пойти действительно, забыв и мир красоты, открываемый в искусствах и поэзии, и холодные сферы науки, слишком далекие от нашей бедной земли, которой забыть мы никак не можем. Ведь идти туда — значит удовлетворить глубочайшим потребностям своего сердца, которому как-то сродно страдание, оно имеет необъяснимый уклон к нему; и пойти с такою целью — это значит ответить на главный запрос ума, который он снова и снова высказывает сквозь все, чем пытается развлечь его наука и философия.

IV

В 1863 г. Достоевский оставил на несколько дней Париж, в котором он проводил тогда свое время¹, чтобы посетить Лондон и его всемирную выставку. В несколько беспорядочной по виду, но, в сущности, глубоко связанной и сосредоточенной статье он передает о впечатлении, которое оставил в нем этот "день и ночь суетящийся и необъятный как море город", с визгом и завыванием его машин, с бегущими по крышам кварталов рельсами, с хаосом движений своих и мощью замыслов. "Отравленная Темза, воздух, пропитанный каменным углем, великолепные скверы и парки, и страшные углы города, как Вайтчепель, с его полуголым, диким и голодным населением" — все сложилось у него в цельную картину, части которой неразъединимы. Как и повсюду, мимо частных и бегущих интересов, он задумывается над общим смыслом этой картины, ее вековечным значением; "Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со

¹Это была первая его заграничная поездка. Свое первое впечатление от Европы он описывает прямо в "Зимних заметках о летних впечатлениях" (Сочинения, изд. 1882 г., т. 3) и косвенно во многих своих романах, где общее чувство его к Европе выразилось даже цельнее и ярче; сюда относится, напр., в "Подростке", стр. 453 и след., имеющее большое автобиографическое значение.

всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут *что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество...* Вам отчего-то становится страшно. *Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? — думаете вы; не конец ли тут? Не это ли уж в самом деле "едино стадо"...* Дух ваш теснит: все это так торжественно, победно и гордо. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, *покорно текущих сюда со всего земного шара, — людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце (говорится о Хрустальном дворце выставки), и чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся.* Вы чувствуете, что много надо векового духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, т. е. *не принять существующего за свой идеал*"¹.

Во всем, что открывается его наблюдению, он высматривает самостоятельно возникшее и, следовательно, мощное, все же заимствованное и, следовательно, слабое он упускает. В Риме он хотел видеть папу, но в Лондоне он даже не взглянул на Собор св. Павла. Зато он посетил "шабаш белых негров", как называет он ночь с субботы на воскресенье в рабочих кварталах города: "Полмиллиона работников и работниц, с их детьми, разливаются, как море, и празднуют всю ночь, до пяти часов, *надеясь и напиваясь за всю неделю.* Все это несет сюда свои еженедельные экономии, *все наработанное тяжким трудом и проклятием...* Толстейшими пучками горит газ, ярко освещая улицы. *Точно бал устраивается для этих белых негров.* Народ толпится в открытых тавернах и на улицах. Тут же едят и пьют. Пивные лавки разубраны, как дворцы. Все пьяно, но без веселья, а мрачно, тяжело, — и все как-то странно молчаливо. Только иногда ругательства и кровавые потасовки нарушают эту подозрительную и грустно действующую на вас молчаливость. Все это поскорее торопится напиться до потери сознания... Жены не отстают от мужей и напиваются вместе с мужьями; дети бегают и ползают между ними"². Он замечает, что в этой потере сознания есть что-то "систематическое, покорное, поощряемое". Своим обобщающим умом он стремится уловить скрытый смысл и этого факта, связать его с тем, что он видел днем и что так гордо своею законченностью, своим совершенством: этот пот, этот угрюмый разврат, эта жажда забыться хоть на несколько часов в неделю, все это мерещится ему, как миллионы человеческих душ, *положенных в угол возводимой башни, которая, правда, чуть не достигает до неба, но зато как страшно давит на землю!* Для этих париев "долго еще не сбудется пророчество, долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд, и долго еще будут они взывать к престолу Всевышнего: — *Доколе, Господи!*"³.

¹"Зимние заметки о летних впечатлениях", гл. 5: "Ваал". Сочинения, т. 3, стр. 406.

²Там же, стр. 407.

³Там же, стр. 408.

Библейские образы — это ведь только величайшее обобщение фактов, до какого могли додуматься история и философия; "пальмовые ветви и белые одежды" — это только жажда радости и света для миллионов задавленных существ, теперь — необходимых придатков к чудовищным машинам с совершенно ненужными остатками какого-то в себе сознания. Достоевский понимает факт во всей его целостности и полноте: он видит не ноги, которым холодно, не руки, которые устали; он видит человека, который раздавлен, и спрашивает: разве он не так же алчет и достоин духовной радости, как и все мы, которые не можем без нее жить?

Но это только задавленные существа, но еще не извращенные: образ Божий в них померк, но по крайней мере не искажен. Он посетит Гай-Маркет, квартал, где ночью толпятся тысячами публичные женщины. Ярко освещенные улицы, кофейни, разубранные зеркалами и золотом, где в одно и то же время "и сборища, и приюты; жутко входить в эту толпу. И так странно она составлена. Тут и старухи, тут и красавицы, перед которыми останавливаешься в изумлении. Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки. Все это, не уместясь на тротуарах, толпится на улицах, тесно, густо. Все это ждет добычи и бросается с бесстыдным цинизмом на первого встречного. Тут и блестящие дорогие одежды, и почти лохмотья, и резкое различие лет, — все вместе. В этой ужасной толпе толкается и пьяный бродяга, сюда же заходит и титулованный богач. Слышны ругательства, ссоры, зазыванье и тихий, призывный шепот еще робкой красавицы. И какая иногда красота!" Он описывает поразительной наружности молодую женщину, с задумчивым развитым лицом, которая пила джин; около нее сидел молодой человек; очевидно непривычный посетитель этого квартала. "Что-то затаенное было в ее прекрасном и немного гордом взгляде, что-то мыслящее и тоскующее. Она была, она не могла не быть выше всей этой толпы несчастных женщин своим развитием; иначе что же значит лицо человеческое?"¹ Видно было, что молодой человек отыскал ее здесь или что это было условленное свидание. Оба были задумчивы и грустны и говорили отрывками, часто умолкая; очевидно, что-то важное оставалось между ними недосказанным. Наконец он встал, заплатил за водку, пожал ей руку и пошел; она, с красными пятнами на бледном лице, затерялась в толпе промышляющих женщин. "*В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысл своих малолетних дочерей. Маленькие девочки, лет по двенадцати, хватают вас за руку и просят, чтобы вы шли за ними. Помню, раз я увидел одну девочку, лет шести, не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках. Она шла как бы не помня себя, не торопясь никуда, Бог знает зачем, шатаясь в толпе; может быть, она была голодна. На нее никто не обращал внимания. Но что больше всего меня поразило, — она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния в лице, что видеть это маленькое создание, тоже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она все качала*

¹ Там же, стр. 409.

свою исключенную головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг всплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монету, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать, точно боясь, что я отниму у нее деньги¹.

И мы можем повторить: "Доколе, Господи!" Всемирная выставка, Хрустальный дворец и там где-нибудь лекция знаменитого физика с блестящими опытами — стоит ли все это горя крошечного создания, будущего себя худыми ручонками в грудь, и этих женщин, которые ведут малолетних дочерей отдать всякому, кто горит за это монету. Скажут: "Так всегда было, и даже хуже"; это уже говорят в оправдание и ссылаются на каннибальство диких народов, не желая вернуться к которому мы должны, будто бы, терпеть свое зло, специфический яд цивилизации. Но это неправда, и не всегда так было. У народа, жившего под заповедями Божиими, не было ни каннибальства, ни матерей, торгующих детьми: там были матери, собирающие колосья, нарочно оставленные на полях богатыми людьми². И этого не было бы у нас, *не смело бы быть*, если бы оставленные нам слова: "Ищите *прежде* царствия Божия и все остальное приложится вам" — мы не читали с конца, не применяли бы наоборот.

"Но когда проходит ночь и начинается день, тот же гордый и мрачный дух снова царственно проносится над исполинским городом. Он не тревожится тем, что было ночью, не тревожится и тем, что видит кругом себя и днем. Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден. Вера его в себя безгранична; он *презрительно и спокойно, чтоб только отвязаться, подает организованную милостыню*. Он не прячет от себя диких, подозрительных и тревожных явлений жизни. Бедность, страдание, ропот и оупление массы его не тревожат нисколько" (там же, с. 411).

Всем этим фактам, равно и тревоге по поводу их, можно дать следующую формулу: в нормальном процессе всякого развития *благоденствие самого развивающегося существа есть цель*; так, дерево растет, чтобы осуществлять полноту своих форм, — и то же можно сказать о всем другом. Из всех процессов, которые мы наблюдаем в природе, есть только один, в котором этот закон нарушен, — это процесс истории. *Человек есть развивающееся в нем, и, следовательно, он есть цель*: но это лишь в идее, в иллюзии: *в действительности он есть средство, а цель — это учреждения, сложность общественных отношений, цвет наук и искусств, мощь промышленности и торговли*³. Все это

¹ Там же, стр. 410.

² См. кн. Руфь.

³ В истории есть один факт, особенно удобный для пояснения этой мысли: в Германии, ко времени крестьянского и рыцарского восстаний, уже значительно распространилось римское право, вытеснив местные феодальные юридические обычаи. Тягость от него для всего народонаселения была так велика, что восставшие, плохие юристы и только простые люди, требовали, между прочим, отмены римского права в судебной практике. Но кто же усомнится, что, будучи правом, как и средневековые судебные обычаи, оно неизмеримо превосходит не только эти последние, но и вообще все когда-либо появлявшееся во всемирной истории в сфере права. Дальнейшее распространение его поэтому и не прекратилось, оно

неудержимо растет, и никогда не придет на мысль бедному человеку хоть когда-нибудь не дать переступить через себя всему этому, не лечь перед торжествующею колесницею Ваала и не обрызгать колес его кровью¹. И народы стелются перед нею; задавив миллионы у себя, колесница уже переходит в другие страны, к тем каннибалам, которые до сих пор наивно в одиночку пожирали друг друга и которых теперь, по-видимому, готовится зараз пожрать Европа.

С величайшею способностью к обобщению в Достоевском удивительным образом была соединена чуткая восприимчивость ко всему частному, индивидуальному. Поэтому он не только понял общий, главный смысл того, что совершается в истории, но и почувствовал нестерпимый его ужас, как будто сам переживая все то личное страдание, которое порождается нарушением главного закона развития. Тотчас за "Зимними заметками о летних впечатлениях"² появились сумрачные "Записки из подполья"³, о которых уже упоминали мы выше.

Чтение их невольно вызывает мысль о необходимости у нас комментированных изданий, комментированных не со стороны формы и генезиса литературных произведений, как это уже есть, но со стороны их содержания и смысла, — для того, чтобы решить, наконец, вопрос: верна ли данная мысль, или она ложна, и почему? И решить это совокупными усилиями, решить обстоятельно и строго, как это доступно только для науки. Например, "Записки из подполья" важны каждою своею строкою, их невозможно почти свести к общим формулам; и вместе утверждения, которые в них высказаны, нельзя оставить без обсуждения никакому мыслящему человеку.

было естественно и, так сказать, внутренне необходимо. Этот пример показывает, что *усовершенствование* отдельных отраслей жизни вообще не необходимо связано с уменьшением человеческого страдания, что оно имеет внутреннюю закономерность и извне *автономно*; а потому и совершается в истории независимо от всего прочего.

¹ Частный пример и здесь может с удобством пояснить общий исторический процесс: 1) необходимо, чтобы в стране, для поддержания ее международного положения, существовало несколько сот тысяч мужчин, специально занятых военным искусством и, для большего усовершенствования в нем, — освобожденных от забот семьи; 2) нужно, чтобы люди, поддерживающие страну на высоте ее духовного и материального процветания, как можно лучше подготовились для выполнения своей миссии и глубже вошли в сложный и трудный мир чистых и прикладных наук. Образуется громадный контингент людей, семья для которых возможна и удобна только в позднем возрасте. По причинам, объяснять которые было бы излишне, возникает соответствующий им контингент бессемейных женщин; с тою разницею, однако, что для первых семья есть нечто позднее и ее временное отсутствие есть удобство, а для вторых семья становится навсегда закрытою, и они являются безличным средством для удобного существования других. Как большая река привлекает к себе маленькие речки и ручьи и испарениями с бассейна своего родит влагу и дождь, в конце концов опять в нее же собирающиеся, так к этому крупному потоку бессемейного существования приливают многие другие мелкие течения его, в значительной степени порождаемые просто его массивностью, легкостью, удобством для каждого и привычностью.

² Появились в 1863 г. в журнале "Время".

³ Появились в 1, 2 и 4 №№ журнала "Эпохи", который сменил приостановленное "Время" в 1864 году.

В литературе нашей никогда не появлялось писателя, идеалы которого были бы так совершенно отделены от текущей действительности. Удержать ее и лишь кое в чем исправить — эта мысль никогда не останавливала Достоевского даже на минуту. В силу обобщающего склада своего ума, он со всем интересом прикинул ко злу, которое скрывается в общем строе исторически возникшей жизни; отсюда его неприязнь и пренебрежение ко всякой надежде что-либо улучшить посредством частных изменений, отсюда вражда его к нашим партиям прогрессистов и западников. Созерцая лишь общее, он от действительности непосредственно переходил к предельному в идее, и первое, что находил здесь, это — надежду с помощью разума возвести здание человеческой жизни настолько совершенное, чтобы оно дало успокоение человеку, завершило историю и уничтожило страдание. Критика этой идеи проходит через все его сочинения, впервые же, и притом с наибольшими подробностями, она высказана была в "Записках из подполья".

Подпольный человек — это человек, ушедший в глубину себя, возненавидевший жизнь и злобно критикующий идеал рациональных утопистов на основании точного знания человеческой природы, которое он вынес из уединенного и продолжительного наблюдения над собой и над историей.

Общий смысл этой критики есть следующий: человек несет в себе, в скрытом состоянии, сложный мир задатков, ростков еще не обнаруженных, — и обнаружение их составит его будущую историю столь же непреодолимо, как уже теперь действительно присутствие этих задатков в нем. Поэтому предопределение нашим разумом истории и венца ее всегда останется только набором слов, не имеющим никакого реального значения.

Между этими задатками, насколько они обнаружались уже в совершившейся истории, есть столько непостижимо странного иррационального, что нельзя найти никакой разумной формулы для удовлетворения человеческой природы. *Счастье* не составит ли принципа для построения этой формулы: а разве человек не стремится иногда к *страданию*, разве есть наслаждения, за которые Гамлет отдал бы муки своего сознания? *Порядок* и *планомерность* не составят ли общих черт всякого окончательного устройства человеческих отношений: а между тем, разве мы не любим иногда *хаос*, разрушение, беспорядок еще жаднее, чем правильность и созидание? Разве можно найти человека, который делал бы в течение всей своей жизни только *хорошее* и *должное*, и разве не испытывает он, долго ограничивая себя этим, странного *утомления*, и не переходит, хоть на короткое время, к поэзии безотчетных поступков? Наконец, не исчезнет ли для человека всякое счастье, когда для него исчезнет ощущение *новизны*, все неожиданное, все прихотливо изменчивое, согласуя с чем теперь свой жизненный путь, он испытывает много огорчений, но и столько радостей? Однообразие *для всех* не противоречит ли коренному началу человеческой природы — *индивидуальности*, а *недвижность* будущего и "идеала" — его свободной воле, жажде *выбрать* то или иное по-своему, иногда вопреки внешнему, хотя бы и разумному, определению? А без свободы и без личности будет ли счастлив человек? Без всего этого, при вековом отсутствии новизны, не проснутся ли с неуправляемой силой в человеке такие инстинкты, которые

разобьют алмазность всякой формулы: и человек захочет страдания, разрушения, крови, всего, но не того же, к чему на вечность обрекла его формула; подобно тому как слишком долго заключенный в светлой и теплой комнате изрежет руки о стекла и выйдет не одетый на холод, лишь бы только не оставаться еще среди прежнего? Разве не это ощущение душевного утомления кидало Сенеку в интриги и преступления? И разве не заставляло оно Клеопатру втыкать золотые булавки в груди черных невольниц, жадно смотря им в лицо, на эти дрожащие и улыбающиеся губы, в эти испуганные глаза? Наконец, *неподвижное* обладание достигнутым идеалом удовлетворит ли человека, для которого *желать, стремиться, достигать* — составляет непреодолимую потребность? И разве рассудочность исчерпывает, вообще, человеческую природу: а, очевидно, она одна может быть придана окончательной формуле самым ее творцом, разумом?

Человек в цельности своей природы есть существо иррациональное; поэтому как полное его объяснение недоступно для разума, так недоступно для него — его удовлетворение. Как бы ни была упорна работа мысли, она никогда не покроеет всей действительности, будет отвечать мнимому человеку, а не действительному. В человеке скрыт *акт творчества*, и он-то именно привнес в него жизнь, наградил его страданиями и радостями, ни понять, ни переделать которых не дано разуму.

Иное, чем рациональное, — есть мистическое. И недоступное для прикосновения и мощи науки — может быть еще достигнуто религиею. Отсюда развитие в Достоевском мистического и сосредоточение интереса его на религиозном, что все мы наблюдаем во втором и главном периоде его деятельности, который открылся "Преступлением и наказанием".

V

Признают Достоевского глубочайшим аналитиком человеческой души. Таким он сделался вследствие того, что в ней увидел сосредоточение всех загадок, над которыми думает человек, и разрешение всех трудностей, преодолеть которые в истории до сих пор не дано было ему.

Мы назвали выше гр. Л. Толстого художником жизни в ее завершившихся формах, которые приобрели твердость; духовный мир человека в пределах этих форм исчерпан им с недостижимым совершенством: все малейшие движения сердца, все незаметные ростки мысли в формах установившейся жизни, установившегося духовного строя изображены в его произведениях с отчетливостью, которая не оставляет ничего желать. Но два великие момента в исторически развивающейся жизни, зарождения и разложения, не тронуты им; моменты эти несомненно носят в себе нечто болезненное, часто заключают в себе неправильное и иногда преступное. От всего этого он как-то непреодолимо отвращается. Напротив, Достоевский к этому непреодолимо влечется: он восполняет гр. Толстого; в противоположность ему, он аналитик *неустановившегося* в человеческой жизни и в человеческом духе.

Его совершенная отдельность от текущей действительности, отсутствие каких-либо органических связей с нею, симпатий к ней есть, конечно, главная причина того, что он исключительно останавливается на моментах зарождения и разложения. Полный ожиданий или сожалений, он вечно обращен был к будущему или давно прошедшему, но никогда к настоящему. Поэтому следовать, как, разлагаясь, — умирает настоящее или как, среди этого умирания, — брезжит новая жизнь, всегда было для него высшим удовлетворением. В длинном ряде его романов, от "Преступления и наказания" и до "Братьев Карамазовых", мы видим установившиеся типы только мелькающими, почти издали; на первом плане движутся люди, не принадлежащие ни к какой определенной категории, встревоженные и ищущие, разрушающие или создающие.

От этого психический анализ его носит некоторые особенности: это есть анализ человеческой души *вообще*, в ее различных *состояниях, стадиях, переходах*, но не анализ индивидуальной, обособленной и завершившейся внутренней жизни (как у графа Л. Н. Толстого). Не образы законченные, каждый со своим внутренним средоточием, движутся перед нами в его произведениях, но ряд теней чего-то одного: как будто различные трансформации, изгибы одного рождающегося или умирающего духовного существа. Поэтому размышление, а не созерцание есть главное, что возбуждают в нас выводимые им лица. Он вскрывает перед нами тайники человеческой совести, пожалуй, развязывает и вскрывает в пределах своих сил тот мистический узел, который есть средоточие иррациональной природы человека.

Но, во всяком случае, в порядке возникновения его интересов психический анализ был только вторичное и обусловленное; он и развивается, начиная лишь с "Преступления и наказания". Главным и все обуславливающим для него было: человеческое страдание и его связь с общим смыслом жизни. Именно оно является уже, но как образ только, в первом его произведении — "Бедные люди", и оно же обсуждается диалектически в последнем ("Братья Карамазовы").

Как выше уже замечено было, коренное зло истории заключается в неправильном соотношении в ней между целью и средствами: человеческая личность, признанная только средством, бросается к подножью возводимого здания цивилизации, и, конечно, никто не может определить, в каких размерах и до каких пор это может быть продолжаемо. Ею раздавлены уже всюду низшие классы, она готовится раздавить первобытные народности, и в воздухе носится иногда идея, что данное живущее поколение людей может быть пожертвовано для блага будущего, для неопределенного числа поколений грядущих. Что-то чудовищное совершается в истории, какой-то призрак охватил и извратил ее: для того, чего никто не видел, чего все ждут только, совершается нечто нестерпимое: человеческое существо, до сих пор вечное средство, бросается уже не единицами, но массами, целыми народами во имя какой-то общей далекой цели, которая еще не показала ничему живому, о которой мы можем только гадать. И где конец этому, когда же появится человек как *цель*, которому принесено столько жертв, — это остается никому не известным.

С мощною идеею этой, которая не высказывается, но совершается, управляя фактами, Достоевский и вступил в борьбу, также не столько сознавая ее отчетливо, сколько чувствуя, ощущая.

Критика возможности окончательного идеала была только первую половину задачи, выполнение которой предстояло ему. Показав иррациональность человеческой природы и, следовательно, *мнимость конечной цели*¹, он выступил на защиту не относительного, но абсолютного достоинства человеческой личности, — каждого данного индивидуума, который никогда и ни для чего не может быть только средством.

Сюда примкнул ряд его религиозных идей. Замечательным и счастливым было то совпадение, которое оказалось между результатом его беспристрастного анализа человеческой природы и между тем, что требовалось задачами его борьбы. Первое, показав иррациональность человеческого существа, обнаружило в нем присутствие чего-то мистического, без сомнения переданного ему в самом акте творчества. И это в высшей степени согласовалось с необходимостью взгляда на человека как на нечто неизмеримо высшее, чем мы думали о нем, религиозное, священное, неприкосновенное. Как агрегат физиологических функций, между которыми одна есть сознание, человек есть, конечно, только средство, — по крайней мере всякий раз, когда такового требует иное и большее число подобных же физиологических агрегатов. Совершенно иное увидим мы в нем, признав его мистическое происхождение и мистическую природу: он носит отблеск Творца своего, в нем есть Лик Божий, не померкающий, не преклоняющийся, но драгоценный и оберегаемый.

Нужно заметить, что только в религии открывается значение человеческой личности. В праве *личность* есть только фикция, необходимый центр, к которому относятся договорные обязательства, имущественная принадлежность и пр.; значение ее не выяснено и не обосновано здесь, и если она определяется так или иначе, то подобное определение является первичным, произвольным: оно есть условие, на которое можно и не согласиться. Сама *личность*, в праве, — может служить предметом договора; и рабство вообще есть естественное последствие чистого, беспримесного юридического строя. В политической экономии *личность* совершенно исчезает: там есть только рабочая сила, к которой лицо есть совершенно ненужный придаток. Таким образом, путем знания, путем науки недостижимо восстановление *личности* в истории: мы можем ее уважать, но это не есть необходимость, мы можем ею и пренебрегать, — и это в особенности, когда она дурна, порочна. Но уже самое введение этих условий подкашивает абсолютность *личности*: для греков дурны были все *варвары*, для римлян все *не граждана*, для католиков — *еретики*, для гуманистов — все *обскуранты*, для людей 93-го года — все *консерваторы*. Этой обусловленности и с ней колебаниям, сомнениям кладет грань религия: личность *всякая*, которая жива, абсолютна как образ Божий и неприкосновенна.

Вот почему, что касается, в частности, до рабства, то при религии оно тем более усиливалось, чем слабее она или искаженнее становилась;

¹ Таким образом, "Записки из подполья" составляют первый, как бы краеугольный камень в литературной деятельности Достоевского, и мысли, здесь изложенные, образуют первую основную линию в его мирозерцании.

напротив, при праве оно усиливалось с его последовательностью, чистотою, беспримесностью. В истории наиболее страшно оно было у римского народа, самого совершенного в понимании права: здесь рабов крошили на говядину, которую откармливали рыбу в прудах; наиболее же гуманно оно было у древних евреев, живших под строгою религиєю: в юбилейные годы там все рабы должны были возвращаться на свободу, т. е. они были предметом временного пользования, но не владения в строгом смысле, не собственности.

В "Преступлении и наказании" впервые и наиболее обстоятельно¹ раскрыта Достоевским идея абсолютного значения личности. Среди безысходного страдания, при виде гибнущих и готовящихся погибнуть, возмущается целомудренная душа главного героя этого романа, и он решается переступить закон неприкосновенности человека. Гениальная диалектика подставлена под факт; он совершен. И тотчас же, как произошло это, началось мистическое взаимодействие между убившим, убитою и всеми окружающими людьми. Все, что совершается в душе Раскольникова, иррационально; он до конца не знает, почему ему нельзя было убить процентщицу. И с ним вместе и мы не понимаем умом, диалектически, состояний его совести, качеств его поступка. Но цельным существом своим мы совершенно ясно ощущаем необходимость всех последствий совершенного им факта. Едва разбил он отраженный Лик Божий, правда обезображенный его носителем, — и он почувствовал, как для него самого померк этот Лик и с ним вся природа. "Не старушонку я убил, себя я убил", — говорит он в одном месте. Точно что-то переместилось в его душе, и с этим перемещением открылось все в новом виде и закрылось навеки то, что он знал прежде. Он почувствовал, что со всеми живыми, оставшимися по сю сторону преступления, у него уже нет ничего общего, соединяющего; и никогда не будет. Он переступил по другую сторону чего-то, ушел от всех людей, кажется — туда, где с ним одна убитая старушонка. Мистический узел его существа, который мы именуем условно "душою", точно соединен неощутимую связь с мистическим узлом другого существа, внешнюю форму которого он разбил. Кажется, все отношения между убившим и убитою кончены, — между тем они продолжают; кажется, все отношения между ним и окружающими людьми сохранены и лишь изменены несколько, — между тем они перерваны совершенно. Здесь, в этом анализе преступности, в обнаружении как бы покровов, скорлуп душевности, окружающих каждое "я" и то взаимодействующих, то перестающих взаимодействовать, и разгадана глубочайшая тайна человеческой природы, раскрыт великий и священный закон о непереступаемости человеческого существа, его абсолютности. Насколько доступно это мистическое явление не столько объяснению, сколько простому обозначению словами, мы можем его выразить таким образом: то, что мы наблюдаем в человеке, его поступки, слова, желания, все, что о нем знают другие и он знает о себе, не исчерпывает полноты его существа;

¹ Таким образом, роман этот, в литературном отношении наиболее строгое и, следовательно, лучшее произведение Достоевского, составляет второй краеугольный камень в развитии его мировоззрения. Идея, связанная в этом романе, положительно защищается, но в отрицательных формах, еще в "Бесах".

в нем есть еще иное сверх этого, и притом главное, чего никто не знает¹. Привязываться, любить в человеке мы должны это главное: поэтому-то и любим мы его иногда вопреки всему, что видим в нем; напротив, ненавидеть в человеке мы можем только внешнее и не главное, какое-то обезображение, которому он подверг себя. Но когда, смешивая то и другое или, точнее, ничего не зная о существовании в человеке за его наружными проявлениями еще чего-то, мы разбиваем его образ — мы разбиваем целое, которого не подозревали. Мы вдруг касаемся главного, о чем не думали, и испытываем неожиданное, что не входило в наши соображения. Таким образом, только переступив личность человека, мы постигаем все ее значение: для нас открывается мистический и иррациональный смысл ее, но уже поздно. Сделав ненужным подобный опыт, обнаружив со всею убедительностью в гениальном изображении состояние преступной совести, Достоевский оказал великую историческую услугу.

Собственно, разрешением этих двух вопросов он заканчивал выполнение своей задачи, насколько она относилась к человеку как существу страдающему и погрязшему. Но за ними поднимался теоретический интерес, и, следуя ему-то, он вступил в безбрежную область рассматривания того, что мы назвали швами мироздания. Первый проблеск этого стремления мысли мы находим уже в "Преступлении и наказании".

В невыразимо тяжелой сцене между Раскольниковым и Соней, в душевной комнате у этой последней, он ей сказал о возможности для нее заражения и болезни и о необходимости тогда гибели родной семьи, для прокормления которой она отдала себя:

" — А копить нельзя? на черный день откладывать? — спросил он вдруг, останавливаясь перед ней.

— Нет, — прошептала Соня.

— Разумеется, нет. А *пробовали?* — прибавил он чуть не с насмешкой.

— Пробовала.

— И сорвалось! Ну, да, разумеется! Что и спрашивать!

И опять пошел по комнате. Еще прошло с минуту.

— Не каждый день получаете-то?

Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей в лицо.

— Нет, — прошептала она с мучительным усилием.

— С Полечкой (маленькая сестра ее), наверно, то же самое будет, — сказал он вдруг.

— Нет! Нет! Не может быть, нет! — как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили, — Бог, Бог такого ужаса не допустит!..

— Других *допускает же!*

— Нет, нет! Ее Бог защитит, Бог!.. — повторила она, не помня себя.

— Да может, и *Бога-то совсем нет*, — с каким-то злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее. Лицо Сони вдруг страшно изменилось"².

¹ Факты атавизма или также факт рождения от обыкновенных родителей гения обнаруживают и фактически присутствие в человеке такого, чего не знает ни он в себе, ни в нем другие.

² "Преступление и наказание", изд. седьмое, стр. 293—294. Страшный смысл

В том же романе между Раскольниковым и его alter ego, его вторую и дурную половиной, Свидригайловым, происходит разговор на тему о привидениях и загробной жизни.

— Я согласен, — говорит Свидригайлов, — что привидения являются только больным; но, ведь, это только доказывает, что привидения могут являться не иначе как только больным, а не то, что их — нет, самих по себе. Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир. Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно верить.

— Я не верю в будущую жизнь, — сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, — сказал он вдруг.

— Это помешанный, — подумал Раскольников.

— Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани; закоптелая, а по всем углам пауки — и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников (раньше он ничего не хотел говорить с Свидригайловым).

— Справедливее? А почему знать, *может быть, это и есть справедливое*, и, знаете, я бы так непременно нарочно сделал, — отвечал Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило Раскольникова при этом безобразном ответе¹.

Мы чувствуем душную атмосферу каких-то странных идей и чувств. Если в том же романе есть диалектика, оправдывающая преступление, и все-таки в целом своем душа несет кару за него, то здесь мы видим диалектику, которая восходит до признания "новых миров", а чувство в вопросах вечного воздаяния спускается до каких-то пауков. "Дрожащая тварь", как называется здесь раза два человек, ни мелочностью преступлений своих, ни своими бесполезными добродетелями не заслуживает ни больше этого, ни меньше.

слов о "попытке копоть" заключается в *торопливости*, в *жадности* к разврату, которое делает и вынуждена делать эта девушка, лишь извне растленная. Здесь Достоевский с какою-то адскою мукою следит, как физическая нужда, ударяя в душу, как бы продырявливает ее и раскрывает для вступления уже внутреннего порока.

¹ Там же, стр. 264—265.

Религиозный вопрос затем уже не исчезает в произведениях Достоевского: в каждом романе он касается его, но так, что мы живо чувствуем, как он только откладывает его до минуты, когда в силах будет сделать это без внешних помех, неторопливо и свободно. Наконец минута эта настала, и появились "Братья Карамазовы".

VI

Самый период времени, когда появился этот роман, был в высшей степени замечателен: шли последние годы прошлого царствования. Заговоры анархистов, колебания правительства, шумная и влиятельная пресса — все распространяло в обществе тревогу и ожидания. Борьба партий достигла высшего напряжения, но из них та, которая совпадала с двухвековым направлением нашей истории — мы разумеем партию западников и приверженцев реформ, — пользовалась неизмеримым преобладанием в литературе и в обществе. Собственно, что всем надеждам и уже почти требованиям этой партии суждено сбыться — в этом слабо сомневались даже противники ее; и все, к чему еще усиливались эти последние, состояло в том, чтобы хоть на некоторое время задержать ее окончательное торжество.

В это-то время, почти один вслед за другим, выступили со своим окончательным словом три наиболее влиятельные писателя: Тургенев, гр. Л. Толстой и, последним, Достоевский. Каждый, кто только раскрыл бы эти произведения и даже не анализировал их, тотчас почувствовал бы, до чего сомнительна минута, в которую они появляются, как все неверно в обществе, настроением которого они вызваны.

Как и всегда, Тургенев в "Нови" ответил текущим стремлением времени и только смягчил их несколько и ограничил. Разносторонность и широта его образования, отсутствие первородной крепости и хоть невысказанное, но ясное безразличие ко всему, кроме искусства, — все это заставило его и теперь, как прежде, попытаться войти в круг идей и стремлений, с которыми, очевидно, у него не было ничего родственного. Он, однажды высказавший, что в Венере Милосской есть нечто более несомненное и вечное, чем в принципах первой французской революции, на склоне лет своих и вопреки всему, чему отдавал жизнь, захотел войти во вкусы людей, для которых весь мир красоты и искусства не заключал в себе никакой значительности и смысла. Но эта противоестественная попытка, как и можно было ожидать, вышла до того вымученною и жалкою, что все, для кого он был дорог своими прежними произведениями, не могли смотреть на нее иначе, как с чувством глубочайшей печали. Эту печаль, это сожаление о себе не мог не ощутить и сам творец, и она именно придавала оживление и особый колорит его самым последним произведениям. Каждый, как человек, так и писатель, в дарах природы своей несет и горечь и сладость своей жизни. Тургеневу первому из наших писателей привелось снискать европейскую известность; и когда он достиг ее и уже не было времени стремиться еще к чему-нибудь, он вдруг увидел, что достиг чего-то самого малого: все же значительное и ценное от него ускользнуло.

Напротив, оба другие писатели, которые до тех пор несколько заслонялись Тургеневым, заговорили с силою, как никогда прежде, и голос их зазвучал противоречиво всему, чего хотело общество и что оно думало. И если нужно в истории искать примера, где значение и влияние личности было бы несомненно и отчетливо видно, ясно, — то нельзя найти лучшего, как в последнем фазисе деятельности этих двух писателей. В самый разгар увлечения внешними реформами, в минуту безусловного отрицания всего внутреннего, религиозного, мистического в жизни и в человеке, они отвергли, как совершенно незначущее, все внешнее, — и обратились к внутреннему и религиозному. И общество, сперва удивленное и негодующее, но и очарованное их словом, вначале поодиночке и потом массами, точно поволоклось ими в противоположную сторону, чем куда шло; в жизни его совершился перелом, и мы стоим теперь на совершенно иных путях, нежели те, на каких стояли еще так недавно.

В "Анне Карениной" с недостижимым совершенством формы соединилось глубокое и строгое содержание. Более, нежели в "Войне и мире", над всеми группами выведенных лиц здесь господствует мысль художника, это теснее сжимает их и придает всему произведению больше единства и цельности. Группы и сцены менее широко разбрасываются, не так свободно живут, все устремляется как будто к одному невидимому центру, который впереди. Взамен эпического спокойствия, которое царит в "Войне и мире", придавая всем событиям и лицам этого романа размеренную неторопливость, в "Анне Карениной" мы ощущаем присутствие чего-то встревоженного и ищущего. Это сообщает всему произведению лиризм. Оставляя "Войну и мир", читатель испытывает ясное удовлетворение; напротив, окончив "Анну Каренину", он чувствует себя встревоженным и смущенным. Ощущение горести, душевного ужаса, ненависти к жизни и жалости к судьбе человека — все это смешивается в нем, становится невыносимо; и, не имея силы бороться с собою, он ищет помощи у великого художника, который так возмутил его покой. И этот последний не заставил долго ожидать своего слова; "Анна Каренина" оказалась только великим прологом к учению, которое то прямо, то в аллегориях вот уже десять лет развивает ее автор. Переходя от сомнения к вере и из веры падая опять в сомнение, твердый только в отрицаниях и колеблющийся в утверждениях, он всем рядом своих последних трудов как бы олицетворяет ищущий разрешения скептицизм: "Что я верю в какого-то Бога, это я чувствую; но в *какого* Бога я верю — вот что темно для меня", — как будто говорит он всем смыслом своих последних трудов.

Резко отличаясь по форме, растянутый, эпизодический, роман Достоевского глубоко однороден с "Анной Карениной" по духу, по заключенному в нем смыслу. Он также есть синтез душевного анализа, философских идей и борьбы религиозных стремлений с сомнением. Но задача взята в нем шире: в то время как там показано, как непреодолимо и страшно гибнет человек, раз сошедший с путей, не им предустановленных, здесь раскрыто таинственное зарождение новой жизни среди умирающей. Старик Карамазов — это как бы символ смерти и разложения, все стихии его духовной природы точно потеряли скрепляющий центр, и мы чувствуем трупный запах, который он распространяет собою. Нет более

регулирующей нормы в нем, и все смрадное, что есть в человеческой душе, неудержимо полезло из него, грязня и пачкая все, к чему он ни прикасается. Никогда не появлялось в нашей литературе лица, для которого менее бы существовал какой-нибудь внешний или внутренний закон, нежели для этого человека: беззаконник, ругатель всякого закона, пачкающий всякую святыню, — вот его имя, его определение. Наше общество, идущее вперед без преданий, недоразвившееся ни до какой религии, ни до какого долга и, однако, думающее, что оно переросло уже всякую религию и всякий долг, широкое лишь вследствие внутренней расслабленности, — в основных чертах верно, хотя и слишком жестоко, символизировано в этом лице. Вскрыта главная его черта, отсутствие внутренней сдерживающей нормы, и, как следствие этого, — обнаженная похоть на все, с наглой усмешкой в ответ каждому, кто встал бы перед ним с укором. Среди зловония этого разлагающегося трупа возрастает его порождение. Между всеми четырьмя сыновьями его можно найти внутреннее соотношение, которое подчинено закону противоположности. Смердяков, этот миазм, эта гниющая шелуха "павшего в землю и умершего зерна", есть как бы противоположный полюс чистого Алеши, который несет в себе новую жизнь, подобно тому как свежий росток выносит из своей темной могилки на свет солнца жизнь и закон умершего материнского организма. Тайна возрождения всего умирающего прекрасно выражена в этом противополжении. Третий сын, Иван Федорович, сдержанный и замкнутый, представляет собою противоположность Димитрию, раскидывающемуся, болтливому, несущему в себе добрые стремления, но без какой-либо нормы, — тогда как эта норма в высочайшей степени сосредоточена в Иване. Как Димитрий тяготеет к Алеше, так у Ивана есть нечто связующее и общее со Смердяковым. Он "высоко ценит" Алешу, но, конечно, — как свою противоположность, и притом равносильную. Но с Димитрием у него нет ничего общего; все отношения этих двух братьев чисто внешние, и это важнее, чем то, что они в конце становятся даже враждебными. Напротив, со Смердяковым у Ивана есть что-то родственное: они с полуслова, с намека понимают один другого, заговаривают так, как будто и в молчании между ними не прерывалось общение. Их связь, таким образом, несомненна, как и связь Алеши с Димитрием. И как в Алеше выделилась в очищенном виде мощь утверждения и жизни, так и в Иване в очищенном же виде сосредоточилась мощь отрицания и смерти, мощь зла. Смердяков есть только шелуха его, гниющий отбросок, и, конечно, зло, лежащее в человеческой природе, не настолько мало, чтобы выразиться только в уродстве. В нем есть сила, есть обаяние, и они сосредоточены в Иване. Димитрию суждено возродиться к жизни; через страдание он очистится; он, уже только готовясь принять его, ощутил в себе "нового человека" и готовится там, в холодной Сибири, из рудников, из-под земли, запеть "гимн Богу". Вместе с очищением в нем пробуждается сила жизни: "В тысяче мук — я *есмь*, в корче мучусь — но *есмь*"¹, — говорит он накануне суда, который, он чувствовал, окончится для него обвинением. В этой жажде бытия и в неутолимой же жажде

¹ Сочинения, т. 14, стр. 294.

стать достойным его хотя бы через страдание опять угадана Достоевским глубочайшая черта истории, самая существенная, быть может центральная. Едва ли не в ней одной еще сохранился в человеке перевес добра над злом, в которое он так страшно погружен, которым является каждый единичный его поступок, всякая его мысль. Но под ними, под всею грязью, в тине которой ползет человек целые тысячелетия, неутолимая жажда все-таки ползти и когда-нибудь увидеть же свет — высоко поднимает человека над всею природою, есть залог неокончательной его гибели среди всякого страдания, каких бы то ни было бедствий. Здесь и лежит объяснение того, почему с таким содроганием мы отвращаем лицо свое при виде самоубийства, отчего оно кажется нам сумрачнее даже убийства, нарушает какой-то еще высший закон, — и религия осуждает его как преступление, которого нельзя искупить. С рациональной точки зрения мы должны бы относиться к нему индифферентно, предоставляя каждому решать, лучше ли ему жить или не жить. Но общий и высший закон, конечно мистического происхождения, принудительно заставляет нас всех — *жить*, требует этого как *долга*, бремени которого мы не можем сложить с себя. Если Димитрий Карамазов, порочный и несчастный, возрождается к жизни вследствие того, что в основе его все-таки лежит доброе, — то Иван, которому извне открывается широкий путь жизни, несмотря на высокое развитие, несмотря на сильный характер, все-таки стоит при начале того уклона, по которому скользнул и умер Смердяков. Мощный носитель отрицания и зла, он долго и сильно будет бороться со смертью, этим естественным выводом из отрицания; и все-таки вечные законы природы преодолеют его мощь, силы его утомятся, и он умрет так же, как умер Смердяков.

Поразительно последние дни этого четвертого брата, переданные в первом, втором и третьем свиданиях с ним Ивана. Мы и здесь, как в "Преступлении и наказании", каким-то особым приемом, тайна которого была известна только Достоевскому, опять погружаемся в особую психическую атмосферу, удушающую, темную, — и, еще ничего не видя, еще не дойдя до самого факта, испытываем мистический ужас от приближения к какому-то нарушению законов природы, к чему-то преступному; и уже содрогаемся от ожидания. Эта ненависть, с которой он смотрит теперь на Ивана, внушившего ему, что "все позволено"; эта книга "Иже во святых отца нашего Исаака Сирина", сменившая под его подушкою французские вокабулы, и какие-то припадки иступления, о которых передает встревоженная хозяйка, хотя мы сами не замечаем в нем ничего особенного; наконец, эта пачка бумажек, которую он тащит у себя из-под чулка, а Иван дрожит, еще не зная — отчего, и пятится к стене; и самый рассказ о том, как совершилось убийство, с этою беспричинною боязнью жертвы к своему убийце, к своему незаконному сыну и доверенному лакею, к малосильному трусу и идиоту — все это поразительно, тягостно до последней степени и еще раз вводит нас в мир преступности. Замечательно, что как закон природы, нарушенный здесь, выше, чем тот, который нарушен в "Преступлении и наказании", так и атмосфера, окружающая преступника, как-то еще удушливее и теснее, нежели та, которую мы ощущаем около Раскольникова. Вот почему последний не наложил на себя рук; ему еще было чем жить, и через несколько лет искупления, он вышел же из своей атмосферы к свету

и солнцу. Смердякову нечем было жить; и хотя и для него, может быть, было где-нибудь солнце и свет, но совершенно ясно, что он не мог дойти до них и упал при первых же шагах задушенный. Последнее его прощание с Иваном, отдача ему денег, из-за которых совершилось убийство, слова о Провидении — все это вводит нас в душу человека в последние часы перед самоубийством: тайна, еще никем не изображенная, никому из живых не переданная.

Здесь нам хотелось бы сказать несколько слов о характере припадков двух братьев, одного отцеубийцы и другого, замешанного в отцеубийстве. Последний, как известно, жалуется на посещение его бесом, "дрянным, мелким бесом"; первый говорит о Провидении, о посещающем его Боге. Ранее оба были атеистами, и притом довольно убежденными. Вчитываясь в рассказ Достоевского, не трудно заметить, что именно галлюцинации составляют *главную* муку Ивана Федоровича. Вспомним, как он говорит Алеше: "Это он тебе сказал"; как оживляется всякий раз, когда неясные слова собеседника дают повод думать, что говорящий также знает о возможности появления беса ("Кто он, кто находится, кто третий?" — испуганно спрашивает он Смердякова); наконец, вспомнил ледяной холод, который вдруг прилип к его сердцу, когда он подошел к своему дому после третьего свидания со Смердяковым, с мыслью, что вот уже там его дожидается "посетитель", и — почти плачущий тон его жалоб после галлюцинации: "Нет, он знает, чем меня мучить... он зверски хитер"... "Алеша, кто смеет предлагать мне такие вопросы... Это он тебя испугался, чистого херувима" — и пр. Если мы вспомним холодный и суровый тон этого атеиста, его действительно мощную натуру, то это превращение сильного человека в жалующегося ребенка, в плачущую женщину всего яснее может дать нам понять о степени мучительности его галлюцинаций. "Завтра крест, но не виселица" (стр. 360, т. XIV), — решает он, готовясь рассказать все на суде после той же галлюцинации. По аналогии, мы должны допустить, что предмет главного мучения и для Смердякова составляло нечто подобное. Собственно раскаяние и воспоминание об убийстве должно бы быть сильнее в первые дни после него, и, между тем, Смердяков в это время еще совершенно спокоен; болезнь и иступление начались несколько недель спустя; и они так же, как у Ивана Федоровича, не непрерывны, но происходят время от времени. Разница только в том, что "третий этот", в присутствии которого он уверен даже при посетителе, — есть Бог, "самое это Провидение-с", хотя и говорит он тут же как о чем-то не относящемся к предмету на вопрос Ивана о Боге: "Нет, не уверовал-с". Очевидно, то, о чем они беседовали в свое время и что порешили, было нечто совершенно другое, нежели оказавшееся, когда закон природы был ими нарушен. Поэтому, ощутив один то, что он называет "бесом", а другой то, что он называет "Провидением", они ощутили нечто совершенно неожиданное; все же прежние слова их о загробном существовании и о Боге оказались ни к чему не относящимися. Продолжая аналогию с Иваном, мы должны думать, что именно ужас ожидания "посещения" и приводил Смердякова в иступленное смятение, он и привел его к самоубийству. Как и всегда человек, он скользнул по уклону меньшего страдания. Перенести физическую боль удушья, очевидно, было для него легче, нежели еще раз почувствовать ледяное прикосновение мучащего его призрака.

Припадки Смердякова, очевидно более тяжелые, нам не описаны, и сделано только подробное описание припадка Ивана Федоровича. Есть известие, что, когда печатались "Братья Карамазовы", один доктор-психиатр написал Достоевскому письмо¹, в котором удивляется глубокому соответствию его художественного описания с тем, что открывается в припадках для объективного наблюдения; последнее, конечно, не знает внутреннего содержания галлюцинаций, которое именно дается у Достоевского. Этот последний обставляет свое описание несколько насмешливым тоном, но, вчитываясь в весь ряд его сочинений, мы видим, как постоянно он обставляет в начале и конце легкою ирониею и свои любимые идеи², — по крайней мере делал это всякий раз, когда ожидал, что они могут подвергнуться насмешке. Он не хотел, очевидно, слишком восстанавлять против себя читающую массу, — но и оставить невысказанным то или другое ему тоже было трудно. Иван Федорович во все время галлюцинации не верит ее объективности, т. е. не верит, пока болен; и, напротив, ее реальности он верит все время, как здоров, когда уже более ее не испытывает; и даже ее только боится, об ней одной думает. Слишком уже серьезны слова больного именно в здоровом-то его состоянии, и слишком упорно сосредоточен делается автор, как только подходит к ним. Все это заставляет нас видеть двойственное и скрытое в Достоевском, когда он передает "кошмар Ивана Федоровича": едва ли он хотел нам дать только описание галлюцинации, чуть ли под насмешливым тоном у него не скрыто действительное убеждение; и весьма тонкое соображение Свидригайлова (см. выше) о возможности "иных миров, клочки которых открываются человеку в болезненном состоянии", едва ли не есть мысль самого Достоевского. По крайней мере вот слова, которые он влагает старцу Зосиме, уже без всякой иронии:

"Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горным и высоким, *да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных*. Вот почему и сущности вещей нельзя постичь на земле. *Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад Свой*, и возшло все, что могло взойти, но *взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего с таинственным миром иным*; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее"³.

Удивительны слова эти и по глубине заключенной в них мысли, и по красоте образов, кажется очень близко соответствующих скрытой действительности вещей, и по силе убежденности. Это уже во второй

¹ Если письмо это сохранилось, было бы любопытно видеть его напечатанным.

² Такова, напр., в "Братьях Карамазовых" речь прокурора на суде, которая вся ведется в тоне, иронизирующем над прокурором; и, однако, многие из мыслей этой речи содержат повторение мыслей, высказанных Достоевским от своего имени в "Дневнике писателя".

³ "Братья Карамазовы", глава "Из бесед и поучений старца Зосимы". Сочинения, т. 13, стр. 357.

раз¹ наша художественная литература, так неизмеримо опередившая вялое движение наших наук, поднимается на высоту созерцаний, на которой удерживался только Платон и немногие другие. В том, что ощущает преступник, Достоевский, несомненно, видел прикосновение к "мирам иным", вдруг становящееся отчетливым, осязаемым, тогда как для всех других людей, не переступивших законов природы, оно есть, но не сознается, оно вполне неощутимо и безотчетно.

Что Достоевский был далек от какой-нибудь грубой ошибки и что мы также не впадаем в нее, вскрывая его невысказанную мысль, в этом нас убеждает решение, которое мы должны дать на два вопроса, невольно возникающие при чтении как "Преступления и наказания", так и при описании свиданий отцеубийц в "Братьях Карамазовых": отчего мы так понимаем верность изображенного душевного состояния преступников, хотя сами не испытали его? И отчего, совершив преступление и, следовательно, вдруг упав среди окружающих людей на всю его высоту, преступник *в каком-то одном отношении*, напротив, поднимается над ними всеми? Смердяков, дрожащее насекомое перед Иваном до преступления, — совершив его, говорит с ним, как власть имеющий, как господствующий. Сам Иван изумляется этому и произносит: "Ты серьезен, ты умнее, чем я думал". Раскольников, только *primus inter pares* между другими людьми перед преступлением, положительно выходит из их уровня после него; один Свидригайлов, тоже убийца, говорит с ним, как равносильный, насмешливо указывая, что у них есть "какая-то общая точка соприкосновения". Все это требует объяснения, и мы выскажем то, которое нам кажется вероятным. Если для нас, никогда не совершавших убийства, душевное состояние преступника понятно и, читая Достоевского, мы удивляемся не прихотливости его фантазии, но искусству и глубине его анализа, то не совершенно ли ясно, что у нас *есть какое-то средство оценки*, имея которое мы произносим свой суд над правдоподобием в изображении того, что должно бы быть для нас совершенно неизвестным. Не очевидно ли, что таким средством может быть только уже *предварительное* знание этого самого состояния, хотя в нем мы и не даем себе отчета; но вот другой изображает нам еще не испытанные нами ощущения, — и в ответ тому, что говорит он, в нас пробуждается знание, дотоле скрытое. И только потому, что это пробуждающееся знание сливается, совпадая, с тем, которое дается нам извне, мы заключаем о правдоподобии, об истинности этого последнего. В случае несоответствия мы сказали бы, что оно ложно, — сказали бы о том, о чем; по-видимому, у нас не может быть никакой мысли, никакого представления. Этот странный факт вскрывает перед нами глубочайшую тайну нашей души — ее сложность; она состоит не из одного того, что в ней отчетливо наблюдается (напр., наш ум состоит не из одних сведений, мыслей, представлений, которые он сознает); в ней есть многое, чего мы и не подозреваем в себе, но оно осязимо начинает действовать только в некоторые моменты, очень исключительные. И, большею частью, мы до самой смерти не знаем истинного содержания своей души; не знаем и истинного образа того мира, среди которого живем, так как он

¹Разумеем известное стихотворение Лермонтова "По небу полуночи ангел летел" и др.

изменяется соответственно той мысли или тому чувству, какие к нему мы прилагаем. С преступлением вскрывается один из этих темных родников наших идей и ощущений, и тотчас вскрываются перед нами духовные нити, связывающие мироздание и все живое в нем. Знание этого-то именно, что еще закрыто для всех других людей, и возвышает в некотором смысле преступника над этими последними. Законы жизни и смерти становятся ощутимыми для него, как только, переступив через них, он неожиданно чувствует, что в одном месте перервал одну из таких нитей и, перервав, — как-то странно сам погиб. То, что губит его, что *можно ощущать только нарушая*, — и есть в своем роде "иной мир, с которым он соприкасается"; мы же только предчувствуем его, угадываем каким-то темным знанием.

Мы сказали, что в "Братьях Карамазовых" великий аналитик человеческой души представил нам возрождение новой жизни из умирающей старой. По необъяснимым, таинственным законам, природа вся подлежит таким возрождениям; и главное, что мы находим в них, — это неотделимость жизни от смерти, невозможность осуществиться для первой вполне, если не осуществилась вторая. Здесь и находит свое объяснение эпитафия, взятый Достоевским для своего последнего произведения: "Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода" (Ев. от Иоанна, XII, 24). Падение, смерть, разложение — это только залог новой и лучшей жизни. Так должны мы смотреть на историю; к этому взгляду должны причастаться, смотря и на элементы разложения в окружающей нас жизни: он один может спасти нас от отчаяния и исполнить самой крепкой веры в минуты, когда уже настает, кажется, конец для всякой веры. Он один соответствует действительным и мощным силам, направляющим поток времен, а не слабо мерцающий свет нашего ума, не наши страхи и заботы, которыми мы наполняем историю, но нисколько не уводим ею.

Но широко задуманная Достоевским картина осталась недорисованною. С пониманием мрака, хаоса, разрушения, без сомнения, связано было в душе самого художника некоторое отсутствие гармонии, стройности, последовательности. Собственно, в "Братьях Карамазовых" изображено только, как умирает старое; а то, что возрождается, хотя и очерчено, но сжато и *извне*; и как именно происходит самое возрождение — это тайна унесена Достоевским в могилу. Судя по заключительной странице "Преступления и наказания", он всю жизнь готовился к этому изображению, и оно должно было наконец появиться в последующих томах "Братев Карамазовых"; но, за смертью автора, этому не суждено было сбыться. Важнейшую задачу своей жизни он только наметил, но не выполнил.

Но то, что стояло в преддверии к ней, выполнено им с широтою замысла и с глубиною понимания, которые не имеют себе ничего подобного как в нашей литературе, так и в других. Мы разумеем "Легенду о Великом Инквизиторе". Уже выше замечено было, что, умирая, всякая жизнь, представляющая собою соединение добра и зла, выделяет в себе, в чистом виде, как добро, так и зло. Именно последнее, которому, конечно, предстоит погибнуть, но не ранее как после упорной борьбы с добром, — выражено с беспримерной силою в "Легенде".

В маленьком трактире, за перегородкою, впервые сходятся два брата: Алеша, мечтательный и религиозный юноша, любимый послушник старца Зосимы, так спокойно свернувший с обычной жизненной колеи на путь монастырского уединения, и старший его годами и опытностью Иван. Из всех четырех братьев только они были единоутробные, Димитрий же и Смердяков были им братьями лишь по отцу. Уже четыре месяца прошло, как они встретились, впервые после долгой разлуки, — и вот только теперь, накануне новой разлуки, быть может навсегда, они сходятся и говорят с глазу на глаз. В течение этих месяцев Алеша с любопытством рассматривал своего брата, об убеждениях и высоком образовании которого он знал; и, в свою очередь, подмечал на себе иногда его долгие взгляды. Они молчали друг с другом, и, однако, только друг с другом им было о чем высказаться, тогда как с прочими они говорили или безучастно, или подчиняясь (Алеша с Зосимою), или господствуя (Иван с Миусовым). Их соединяла некоторая исходная точка; и хотя именно начиная от нее они разошлись в противоположные стороны и потом уже не соприкасались ни в чем, однако сближение в ней одной было значительнее, жизненное, чем сближение боковыми ветвями или вершинами своего духовного развития, которое одно было у них со всеми окружающими. Это хорошо выражено в следующем вводном эпизоде их беседы:

— Ты что́ беспокоишься, что я уезжаю, — говорит Иван Алеше. — У нас с тобой еще Бог знает сколько времени до отъезда. Целая вечность времени, бессмертие!

— Если ты завтра уезжаешь, то какая же вечность?

— Да нас с тобой чем это касается? — засмеялся Иван. — Ведь, *свое-то мы успеем все-таки переговорить*, свое-то, для чего мы пришли сюда? Чего ты глядишь с удивлением? Отвечай: мы для чего здесь сошлись? Чтобы говорить о старике и о Димитрии? о загранице? о роковом положении России? об императоре Наполеоне? Так ли, для этого ли?

— Нет, не для этого.

— Сам понимаешь, значит, для чего. Другим одно, а нам, желторотым, — другое; *нам прежде всего надо предвечные вопросы решить*. Вся молодая Россия только лишь о вековых вопросах теперь и толкует. Именно теперь, как старики все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Ты из-за чего все три месяца глядел на меня в ожидании? Чтобы допросить меня: "Како веруеши или вовсе не веруеши"?..

— Пожалуй что и так, — улыбнулся Алеша. — Ты, ведь, не смеешься теперь надо мною, брат?

— Я-то смеюсь? Не захочу я огорчить моего братишку, который три месяца глядел на меня в ожидании. Алеша, взгляни прямо: я, ведь, и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты, разве только вот не послушник. Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют, — иные то есть? *Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира — сорок лет опять не будут знать друг друга: ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то?*

О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о перedelке всего человечества по новому штату, — так, ведь, это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных мальчиков только и делают, что о вековых вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?

— Да, настоящим русским вопросы о том: есть ли Бог и есть ли бессмертие, или, как вот ты говоришь, вопросы с другого конца — конечно, первые вопросы и прежде всего, да так и надо, — проговорил Алеша, все с тою же тихою и испытующею улыбкой вглядываясь в брата”.

На этом-то ”так и надо” и сошлись братья. Приведенное место навсегда останется историческим, и, кажется, действительно было время, когда люди сходились и расходились на ”вековых вопросах”, роднясь на интересе к ним ближе, нежели даже на узах родства, вне говоря уже об общности положения или состояния. Счастливое время и счастливые люди: от них далеко было нравственное растление. Но, кажется, все это минуло, и, быть может, довольно прочно. Как это сделалось, что самое интересное очень скоро стало у нас самым неинтересным, — об этом произнесет свой суд будущая история. Несомненно только, что умственный индифферентизм, равнодушие ко всяким вопросам никогда еще не было так беззащитно, как в подрастающих на смену нам поколениях.

Чувствуя общность в главном, братья уже не стесняются друг друга в остальном, и Иван высказывает перед послушником Алешей свою натуру: жажда жизни есть главное, что он находит в себе. ”Не веруй я в жизнь, — говорит он, — разуверься в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, быть может, бесовский хаос¹, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, — а я все-таки захочу жить², и уж как припал к этому кубку — то не оторвусь от него, пока весь не осилю. Впрочем, к тридцати годам, наверно, брошу кубок, хоть и не допью всего, и отойду... не знаю куда”. Эта жажда жизни непосредственна и безотчетна: ”Центростремительной еще силы много в нашей земле”, — замечает он, затрудняясь в ее объяснении. ”Я живу, потому что хочется жить, хотя бы и вопреки логике”. Есть что-то родственное в человеке с жизнью природы и с тою другою жизнью, которая развертывается на ее лоне и которую мы зовем историею; и человек липнет ко всему этому: нити, гораздо более прочные и жизненные, нежели холодные связи умозаключения, привязывают его к земле, и он любит ее необъяснимо, высокою любовью: ”Дороги мне клейкие, распускающи-

¹ В ”Бесах” Кирилов перед самоубийством говорит: ”Вся планета наша есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке; самые законы планеты — ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек!” (изд. 1882 г., стр. 553). Очевидно из повторений и страстности тона, что Достоевский вложил здесь свое собственное сомнение, с которым он долго и трудно боролся.

² В ”Биографии и письмах” можно найти очень много указаний на необыкновенную живучесть самого Достоевского, которая одна дала ему силу вынести все, что ему выпало на долю в жизни. ”Кошачья живучесть (во мне), не правда ли”, — заключает он одно из своих писем.

еся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иногда не знаешь, за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки, по старой памяти, чтить его сердцем...”

“Я думаю, что *все должны прежде всего на свете жизнь полюбить*”, — говорит задумчиво Алеша.

— Жизнь полюбить больше, чем *смысл* ее?”

Алеша, говорит, что “да” и что за непосредственной любовью к жизни всегда последует и понимание ее смысла, — ранее или позже.

С любовью к жизни дремлющей природы, к “клеяким весенним листочкам”, у Ивана нераздельна любовь и к той другой природе, которая живет полным сознанием: мы говорим о человеке и чудном мире, им созданном. “Я хочу в Европу съездить”, — говорит он. У него были две тысячи руб., оставленные по завещанию воспитательницей его и Алеши, которая их подобрала из жалости, ради памяти к их матери, когда их бросил отец. Теперь, окончив университет, он собирался съездить за границу, думая употребить на поездку эти деньги.

“Отсюда и поеду, Алеша, — продолжает он. — И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но *на самое, на самое дорогое кладбище*, вот что! Дорогие там лежат покойники; *каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними*¹, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими”².

Эти проникновенные слова вскрывают перед нами великое сердце, и великий ум, и всю ту грусть, которую не может не носить в себе такая душа. Грусть вытекает здесь из силы любви и вместе из высокого сознания, которое от нее неотделимо и ей противоречит. Отрицать диалектически, не испытывая привязанности, или быть привязанным безотчетно, не понимая, — это два отношения к Европе, одинаково легкие и потому исключительно почти господствующие у нас. Редкие поднимаются до соединения того и другого, и, конечно, подобное соединение не может не вызывать самого глубокого страдания. Но в нем одном — истина, и, как это ни трудно, каждый, кто хочет быть правым, должен усиливаться развить в себе способность и к этому чувству любви, и к этому сознанию, что любимое — уже умирает.

Всякий, кто носит в себе великий интерес к чему-нибудь постороннему, что с ним лично не связано, не может не быть искренен и правдив. Его мысль слишком сосредоточена на этом интересе, чтобы заниматься всем тем мелочным, чем обычно старается обставить себя человек, чтобы скрыть свою незначительность. От этого истинное величие всегда бывает так просто; и от этого же, конечно, оно никогда не получает при жизни признания, которое всегда достается ложному и потому драпиру-

¹ Здесь также вложено чувство самого Достоевского к Европе; сравни в “Подорожке” слова Версилова, стр. 453—454, и заметку в “Биографии и письмах”, стр. 295.

² “Братья Карамазовы”, т. I, стр. 259.

ющемся величию. Душевное одиночество, неразделенность своих мыслей — есть только необходимое последствие этого положения вещей, и оно, в конце концов, обращается и в замкнутость, в нежелание делиться. И, между тем, потребность высказаться все-таки существует, — и здесь-то и лежит объяснение тех моментов встреч и глубоких признаний, которых еще за минуту нельзя было предвидеть и которые оставляют в собеседниках впечатление на всю жизнь.

“У меня нет друзей, Алеша, — говорит Иван, — и я бы хотел с тобой сойтись”. Все то, что проводило такую непереступаемую грань между им и другими, вдруг падает теперь; Алеша шутит с ним, с которым никто не шутил, и он сам говорит ему, смеясь “как маленький кроткий мальчик”: “Братишко, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя; я, *может быть, себя хотел бы исцелить тобою*”. Алеша смотрит на него с удивлением; никогда он не видал его таким.

VIII

“С чего же начинать, с Бога?” — спрашивает Иван и развивает идею о несовместимости Бога страдающего с человечеством страдающим и Бога справедливого с преступлением неотмщенным.

“Один старый грешник¹, — так начинает Иван, — сказал в прошлом веке, что если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать. И не то странно, не то было бы дивно, что Бог в самом деле существует; но то дивно, что такая мысль — мысль о необходимости Бога — могла залезть в голову такому дикому и злему животному, как человек: *до того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того она делает честь человеку*”.

Испорченность человека и святость религии есть, таким образом, то, что прежде всего стремится он утвердить. Религия есть нечто высокое: и сделать ее возможною для человека, стать способным войти в ее мирозерцание — это есть высшая цель, высшее удовлетворение, которого может достигнуть он. Но достигнуть этого *правдиво, искренно* он может не вопреки своим способностям усвоения, но только следуя им, как они устроены ему Творцом, о котором учит сама же религия.

Таким образом, здесь нет и тени враждебности, высокомерия или презрительности к тому, что сейчас будет оспариваться с такою силой; и в этом лежит глубочайшая оригинальность самого приема. Во всемирной литературе, где подобные оспаривания были так часты, мы чувствуем, что подходим к чему-то особенному, что еще никогда не появлялось в ней, к точке зрения, на которую никто не становился. И мы чувствуем также, что эта точка зрения есть единственно серьезная со стороны нападающей и, пожалуй, единственно угрожающая для стороны нападаемой.

И эта оригинальность в движении мысли сохраняется и далее: бытие Божие, недоказуемость которого для *ума* человека (как в философии, так и в науке) обыкновенно ставится первым преткновением для религиозно-

¹Первому эта мысль приписана Вольтеру.

го мирозерцания, здесь переступается как возражение, нисколько не останавливающее. То, что всего более силится защитить религия, что она затрудняется защитить, — вовсе не подвергается нападению, уступает без оспаривания. И строгую научность этого приема нельзя не признать: *относительность* и *условность* человеческого мышления есть самая тонкая и глубокая истина, которая тысячелетия оставалась скрытою от человека, но наконец — обнаружена. Поразительным, ярким свидетельством этой относительности в самое недавнее время явилось сомнение, исчерпывается ли *действительное* пространство тем, которое одно *знает* человек, одно для него *мыслимо* и *представимо*. Возникновение так называемой неевклидовой геометрии¹, которая разрабатывается теперь лучшими математиками Европы и в которой параллельные линии сходятся, а сумма углов треугольника несколько меньше двух прямых, есть факт бесспорный, для всех ясный, и он не оставляет никакого сомнения в том, что *действительность* бытия не покрывается *мыслимым* в разуме. К тому, что немислимо и однако же существует, может относиться и бытие Божие, недоказуемость которого не есть какое-либо возражение против его реальности. Исходя из этой относительности человеческого мышления, Иван отказывается судить, правы или нет утверждения религии о Том, Кто есть источник всякого бытия и определитель и законодатель всякого мышления. "Я смиренно сознаю, — говорит он, — что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум евклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что *не от мира сего*. Да и тебе советую никогда об этом не думать: *есть* ли Он или *нет*. Все это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях. Итак, принимаю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость Его, и цель Его, — нам совершенно уже неизвестные; верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы, будто бы, все сольемся; верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое Само "бе к Богу" и которое есть Само — Бог"².

IX

"Но я мира Божьего не принимаю", — так оканчивает он свое признание. Мы опять встречаемся с оборотом мышления, совершенно неизвестным: тварь не отрицает Творца своего, она Его признает и знает; она

¹ Она была открыта впервые Лобачевским, и Казанский университет, в котором он был профессором, почтил его память изданием полного собрания его сочинений от своего имени и на свои издержки (один том, Казань, 1883). Здесь содержатся его труды: "Воображаемая геометрия", "Новые начала геометрии с полною теориею параллельных" и "Пангеометрия". Подробности о неевклидовой геометрии и указания на литературу ее — см. проф. Вященко-Захарченко: "Начала Евклида, с пояснительным введением и толкованиями". Киев, 1880.

² Разумеются начальные слова Ев. от Иоанна: "В начале бе Слово (Λογος = разум, смысл, слово как мысль *выговоренная*) и Слово бе к Богу и Бог бе Слово. Сей бе искони к Богу. Вся тем быша и без Него ничто же бысть, еже бысть". Гл. I, ст. 1.

восстает против Него, отрицает творение Его и с ним — себя, ощутив в порядке этого творения несовместимое с тем, как именно сама она сотворена. Воля высшая и мудрая, из непостижимого Источника излитая в мироздание, в одной частице его, которая именуется человеком, восстает против себя самой и ропщет на законы, по которым она действует.

"Я тебе должен сделать одно признание, — говорит Иван, — я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. Я вот читал когда-то и где-то про *Иоанна Милостивого* (одного святого), что он, когда к нему пришел голодный и обмерзший проходной и попросил согреть его, — лег с ним вместе в постель, обнял его и начал ему дышать в гноящийся и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его. Я убежден, что он это делал с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя эпитимии. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался... Отвлеченно еще можно любить ближнего, и даже иногда издали, но вблизи — почти никогда".

В словах этих слышится страшная ненависть, в основе которой лежит какая-то великая горечь. "Никто же плоть свою возненавидит, но всякий питает и греет ее", — сказано о человеке, сказано как общий закон его природы. Здесь мы именно видим ненависть против своей плоти, желание не "согреть и напитать ее", но, напротив, растерзать и истребить. Пример взят неудачно, от какой-то смятенной горопливости: конечно, со счастьем, с радостью делал свое дело Иоанн Милостивый, и почти не нужно объяснять этого. Но эта ошибка в мелькнувшем образе ничего не поправляет; мы пропускаем ее и слушаем далее.

"Мне надо было поставить тебя, — продолжает Иван, — на мою точку. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей... Во-первых, деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом (мне, однако же, кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом). Во-вторых, о больших я и потому еще говорить не буду, что, кроме того, что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие: они съели яблоко, и познали добро и зло, и стали "яко божи". Продолжают и теперь есть его. *Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем не виновны.* Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу говорить. *Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, — но, ведь, это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь, на земле, непонятное? Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному!* Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные плотоядные, карамазовцы — иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи, напр., лет, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой. Я знал одного разбойника в остроге: ему случалось, в прежнее время, резать и детей. Но, сидя в остроге, он их до странности любил. Из окна острога он только и делал, что смотрел на играющих на дворе детей. Одного маленького мальчика он приучил приходиться под окно, и тот даже сдружился с ним...

Ты не знаешь, для чего я это все говорю, Алеша? У меня как-то голова болит, и мне грустно”.

”Ты говоришь с странным видом, — с беспокойством заметил Алеша, — точно ты в каком безумии”.

Причиной страдания из жажды сострадать есть черта полярности души человеческой, таинственная и необъяснимая, которую вскрывает здесь Достоевский. Сам он, как известно, часто и с величайшей мучительностью останавливается в своих сочинениях¹ на страданиях детей, изображая их так, что всегда видно, как и страдает он их страданием, и как умеет проникать в это страдание: рисуемая картина, своими изгибами, как нож в дрожящее тело, глубже и глубже проникает в безвинное, быющее существо, слезы которого жгут сердце художника, как струящаяся кровь жжет руку убийце. Можно чувствовать преступность этого, можно жаждать разорвать свою плоть, которая так устроена; но пока она не разорвана, пока искажение души человеческой не исправлено, было бы напрасною попыткой закрывать глаза на то, что это *есть* или, по крайней мере, встречается по какому-то необъяснимому закону природы. Но, конечно, высказав это признание, можно прийти к ”безумию” от сознания, что еще история человеческая не кончается и еще тысячелетия предстоит этой *неустроенной* плоти жить, мучить и страдать.

”Выражаются иногда про зверскую жестокость человека, — продолжает Иван, оправившись, — но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек. Тигр просто грызет, рвет — и только это и умеет”. Напротив, человек в жестокость свою влагает какую-то утонченность, тайное и наслаждающееся злорадство. От этой черты не освобождает его ни национальность, ни образование или, наоборот, первобытность, ни даже религия; она вечна и неистребима в человеке. Клеопатра, утонченная гречанка, когда ее утомляло однообразие все только счастливой жизни, разнообразила его то страницей из Софокла или Платона, то изменяющеюся улыбкой на побледневшем лице невольницы, в которое она смотрела и оно смотрело ей в глаза, между тем как рука ее впускала булавку в ее черную грудь. Турки, магометане и варвары, притом занятые хлопотливым восстанием, все-таки урывают время, чтобы испытать высшее для человека наслаждение — наслаждение безмерностью чужого страдания; вот они входят в избу и находят испуганную мать с грудным ребенком. Они ласкают младенца, смеются, чтоб его рассмешить, им удается, младенец рассмеялся. В эту минуту турок наводит на него пистолет

¹ В ”Униженных и оскорбленных” — характер и судьба Нелли, в ”Бесах” — разговор Ставрогина с Шатовым и его же разговор с Кириловым, когда тот играл мячом с малюткой, в ”Преступлении и наказании” — дети Мармеладова; в ”Братьях Карамазовых” — две главы: ”Надрыв в избе” и ”На чистом воздухе”, где детское страдание почти нестерпимо даже в чтении (”Папочка, папочка, милый папочка, как он тебя унизил!” — говорит Илюша в истерике отцу своему). Есть что-то жгучее и страстное в этой боли. В той же главе люди все называются ”больными” и ”детьми” (стр. 244). Вслед за этими сценами и начинается ”Pro и Contra”, великая диалектика всякой религии и христианства, которая, будучи задумана много лет назад, все-таки выплилась, кажется, у автора вдруг, вне всякой связи с ходом действия в романе.

в четырех вершках расстояния от его лица. Мальчик радостно хохочет, тянется ручонками, чтобы схватить пистолет, и вдруг артист спускает курок прямо ему в лицо и раздробляет ему головку. Кстати, турки, говорят, очень любят сладкое¹.

— Брат, к чему это все? — спросил Алеша.

— Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, — то создал он его по своему образу и подобию”.

”А ты удивительно умеешь оборачивать словечки, как говорит Полоний в ”Гамлете”, — засмеялся Иван. — Пусть, я рад; хорош же Бог, коль его создал человек по образу своему и подобию”.

И он продолжает развивать картину человеческого страдания. В мирной Швейцарии, трудолюбивой и протестантской, всего лет пять назад, случилась казнь преступника, замечательная своими подробностями. Некто Ришар еще младенцем был отдан своими родителями, прижившими его вне брака, каким-то пастухам, которые приняли его как будущую рабочую силу. Как вещь он был отдан им, и как с вещью обращались с ним. В непогоду, в холод, почти без одежды и никогда не накормленный, он пас у них стадо в горах. ”Сам Ришар свидетельствует, что в те годы он, как блудный сын в Евангелии, желал ужасно поесть хоть того месива, которое давали откармливаемым на продажу свиньям; но ему не давали даже и этого и били, когда он крал его у свиней. И так он провел все детство свое и свою юность до тех пор, пока возрос и укрепившись в силах, пошел сам воровать. Дикарь стал добывать деньги поденною работой в Женеве, добытое пропивал, жил как изверг и кончил тем, что убил какого-то старика и ограбил. Его схватили, судили и присудили к смерти”. Уже приговоренного, уже погибшего — общество, религия и государство окружают вниманием и заботою. В тюрьму приходят к нему пасторы, и впервые раскрывается перед ним свет Христова учения; он выучивается чтению и письму, он сознается в преступлении и сам пишет суду о себе, что он — изверг ”и вот, наконец, удостоился, что и его озарил Господь и послал ему благодать”. Общество умиляется и волнуется; к нему идут, его целуют и обнимают: ”И на тебя сошла благодать, ты брат наш во Господе!” ... Ришар плачет; новые, никогда не испытанные впечатления сошли ему в душу и размягчили и умилили ее. Дикарь и звереныш, воровавший корм у свиней, он вдруг узнал, что и он человек, что он не всем чужой и одинокий, что и ему есть близкие, которые его любят, согревают и утешают. ”И я удостоился благодати, — говорит он, растроганный, — умираю во Господе”. — ”Да, да, Ришар, умри во Господе, ты пролил кровь и должен умереть во Господе. Пусть ты не виновен, что не знал совсем Господа, когда завидовал свиному корму и когда тебя били за то, что ты крал его (что ты делал очень нехорошо, потому что красть не позволено), но ты пролил кровь и должен умереть”. И вот наступает последний день. ”Это лучший из дней моих, — говорит он, — я иду к Господу”. — ”Да, — говорят ему, — это счастливейший день твой, ибо ты идешь к Господу!” Позорную колесницу, на которой везут его на площадь, окружа-

¹ Там же, стр. 268. Намек на любовь турок к ”сладкому” имеет более общее значение: повсюду уклон человеческой природы к жестокому Достоевский связывает с ее уклоном к страстному и развратному.

ют несметные толпы народа, и все глядят на него с умилением и любовью. Вот остановились перед эшафотом: "Умри, брат наш, умри во Господе, удостоившийся благодати!" — говорят окружающие. С ним прощаются, его покрывают поцелуями, он всходит и кладет голову в шейник гильотины; нож скользит, и голова, так долго бывшая во мраке и, наконец, озаренная, падает отрезанная к ногам озаривших его и плачущих братьев"¹. Соединение чувства любви и этой теплой крови, которая еще более согревает и возбуждает его, есть услаждение неустроенной души человека, в своем роде столь же утонченное, как и соединение играющей невинности с насмешливым замыслом через минуту раздробить на куски эту невинность.

Человек не только страдает и развратен сам, он вводит растление и муку всюду, где может, во всю природу. Приноравливая к себе, он исказил самые инстинкты животных², он вымучил у них и у растений небывалые формы, принуждая их к противоестественным скрещиваниям³, которым не знал бы и границ, если бы не встретил упорного сопротивления в таинственных законах природы. Гнусный беззаконник, он стоит перед этими законами, все еще усиливаясь придумать, как бы нарушить их, как бы раздвинуть все грани и переступить через них своим развратом и злом. Он торопливо хватается в природе всякое уродство, каждую болезнь, — и хранит и бережет все это, — увеличивает еще⁴. Он перемешал климаты, изменил все условия жизни, смешал несмешивавшееся и разделил родственное, снял с природы лик Божий и наложил на нее свой искаженный лик. И среди всего этого разрушения сидит сам, ее властелин и мучитель, и, мучаясь, слагает поэзию о делах рук своих.

Переходя от далеких стран и иных типов страдания на родную почву, к нашему родному страданию, Иван останавливается мельком

¹ В Женеве была составлена брошюра с подробным описанием этого случая и, переведенная на иностранные языки, рассыпалась в разных странах, между прочим и в России, бесплатно при газетах и журналах. Достоевский замечает, что подобный факт, в высшей степени местный (в смысле национальности и религии), совершенно невозможен у нас: "хотя, — тонко оговаривает он далее, — кажется, и у нас прививается с того времени, как повеяло лютеранскою проповедью в нашем высшем обществе" (стр. 269). Замечание это очень глубоко: между различными способностями души человеческой есть некоторая соотносительность, и, тронув развитием, образованием или религиею которую-нибудь из них, мы непременно изменяем и все прочие в соответствии с нею, по новому типу, который она принимает под воздействием. Слезливый пиетизм, это характерное порождение протестантизма, также нуждается в возбуждении себя преступным и страдающим, но только на свой манер, как и иные типы душевного склада, вырабатываемые в других условиях истории. В католических странах, например, невозможен описанный случай с Ришаром; зато в протестантских странах возможна эта изощренная, многообразная и извилистая система мук, которая придумана была там инквизициею. Всюду по-своему и, однако, везде человек терзается человеком.

² Байрон в одном месте справедливо и глубоко называет прирученных, домашних животных — "развращенными".

³ См. поразительные подробности об этом, напр., у Богданова "Медицинская зоология", т. I. М., 1883, § 37—38.

⁴ См. Данилевского: "Дарвинизм. Критическое исследование". СПб., 1885 (о голубиных породах).

и на поэзии этой. Правда, не поняв всего уродства, какое вносит человек в природу, нельзя и понять всей глубины зла, которое он несет с собой. "У нас хоть нелепо рубить голову брату потому только, что он стал нам *брат* и что на него сошла *благодать*, но у нас есть свое, почти что не хуже. У нас — историческое, непосредственное и ближайшее наслаждение истязанием битья. У Некрасова есть стихи о том, как мужик сечет лошадь по глазам, по "кротким глазам". Это кто ж не видал, это русизм. Он описывает, как слабосильная лошаденка, на которую навалили слишком, завязла с возом и не может вытащить. Мужик бьет ее, бьет с остервенением, бьет, наконец, не понимая, что делает; в опьянении битья сечет больно, бессчетно: "хоть ты и не в силах, а вези, умри да вези!" Клячонка рвется, — и вот он начинает сечь ее, беззащитную, по плачущим, по "кротким глазам". Вне себя она рванула и вывезла и пошла "вся дрожа, не дыша, как-то боком, с какою-то припрыжкой, как-то неестественно и позорно".

Именно в неестественности и позорности, которые внес человек в младенческую природу, и заключается здесь ужас. Но если битье лошади по "кротким глазам" может распалить кровь, то неизмеримо больше распалют ее крики ребенка, своего ребенка, который в вас же ищет защиты от вас. — "Образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца лет семи, розгами". Отец выбирает прутья с сучьями: "Садче будет", — говорит он. "Секут минуту, секут, наконец, пять минут, секут десять минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок, наконец, не может кричать, задыхается: "Папа, папа, папочка, папочка"¹. В другой раз почтенные, образованные и чиновные родители возненавидели почему-то своего ребенка, пятилетнюю девочку, били ее, пинали ногами и, наконец, даже дошли до того, что "в холод запирали ее на всю ночь в отхожее место; и за то, что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься), — за это обмазывали ей лицо калом и заставляли ее есть этот кал: и это мать, мать заставляла! И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте!"... "Понимаешь ли ты это, — говорит Иван, — когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к "Боженке", чтобы Тот "защитил его", — понимаешь ли ты эту ахиною, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахиная так нужна и создана? Без нее, говорят, и пробить бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познать это чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да, ведь, весь мир познанья не стоит, тогда, этих слезок ребеночка к "Боженке". Я не говорю про страдания больших, — те яблоко съели, и черт с ними, и пусть бы их всех черт взял, но эти, эти! Мучаю я тебя, Алеша? Ты как будто бы не в себе? Я перестану, если хочешь".

¹Здесь, очевидно, говорится о процессе г. Кронеберга и г-жи Жезинг, разбор которого, и защитительная речь г. Спасовича, был сделан Достоевским в февральском выпуске "Дневника писателя" за 1876 г. (Соч., т. XI, стр. 57—83).

— Ничего, я тоже хочу мучиться”, — пробормотал Алеша.

“Одну, только одну еще картинку”, — продолжает неудержимо Иван и рассказывает, как в мрачную пору крепостного права один дворовый мальчик, лет восьми, за то, что зашиб нечаянно ногу камнем любимой гончей собаке помешика, был, по приказанию этого последнего, растерзан псами на глазах матери¹. С бесчисленными собаками своими и псарями проживавший на покое генерал выехал в морозное утро на охоту. Собрана была “для вразумления” вся дворня, и впереди ее поставили мать ребенка: сам он был взят от нее уже с вечера накануне. Его вывели и раздели донага; “он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть”. — “Гони его”, — кричит генерал; “беги, беги!” — кричат псари, и, когда он в беспомощности бежит, генерал бросает на него всю стаю борзых и через минуту от мальчика даже ключев не осталось. “Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства — расстрелять? Говори!

— Расстрелять, — тихо проговорил Алеша, с бледною перекосившеюся какою-то улыбкой, подняв взор на брата.

— Bravo, — завопил Иван в каком-то восторге, — уж если ты сказал, значит...

— Я сказал нелепость, но...

— То-то и есть, что но... — кричал Иван. — *Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит, и без них, может быть, в нем совсем ничего бы и не произошло*². Мы знаем, что знаем!”

— Я ничего не понимаю, — продолжал Иван, как бы в бреду, — я и не могу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте...

— Для чего ты меня испытываешь? — с надрывом горестно воскликнул Алеша, — скажешь ли мне наконец?

— Конечно, скажу, к тому и вел, — говорит Иван и выводит свое заключение: — Слушай, я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра, — я уж ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузил. Я — клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено... О, по моему, по жалкому, земному, эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравнивается, — но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это; ведь жить по ней я не могу же согласиться!³ Что мне

¹ Факт этот действителен, как, впрочем, и все приведенные; он сообщен был в одном из наших исторических журналов.

² Параллельное место см. в “Братьях Карамазовых”, главу “Кошмар Ивана Федоровича”, где бес объясняет шутовско, что он существует “единственно для того, чтобы происходили события”, и, несмотря на желания свои, никак не может примкнуть к “осанне” остальной природы, ибо тогда тотчас же “перестало бы что-нибудь случаться”.

³ Это — чрезвычайно высокое место, одно из грустных и великих признаний человеческого духа, справедливости которого нельзя отвергнуть. Его мысль

в том, что виновных нет и что я это знаю, — *мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя*¹. И возмездие не в бесконечности, где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже, на земле, и чтоб я его сам увидел. Я веровал, я хочу сам и видеть; а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресит меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. *Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страстями моими, унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. На этом желании жиждуются все*² религии на земле, а я — верую. *Но вот, однако же, детки, — и что я с ними стану тогда делать? Это вопрос, который я не могу решить...* Если все должны страдать, чтобы страдать, — чтобы страданиями купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они и зачем им покупать страданиями

состоит в том, что *есть дисгармония между законами внешней действительности, по которым все течет в природе и в жизни человеческой, и между законами нравственного суждения, скрытыми в человеке. Вследствие этой дисгармонии, человеку предстоит или, отказавшись от последних и с ними от своей личности, от искры Божией в себе, — слиться с внешнею природою, слепо подчинившись ее законам; или, сохраняя свободу своего нравственного суждения, — стать в противоречие с природою, в вечный и бессильный разлад с нею. Первый проблеск этой мысли у Достоевского мы находим в 1864 г., в "Записках из подполья" (отд. I, гл. IV, стр. 450—451, т. III, изд. 82 г.), где она выражена нервно и беспорядочно, но очень характерно: "Боже, да что мне за дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробую такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я не примирюсь с ней потому только, что тут каменная стена, что у меня сил не хватило. Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение, и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она — дважды два четыре?! О, нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей — каменных стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем неизбежных логических комбинаций до заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной стене как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноват, и вследствие этого, молча и скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться тебе выходит не на кого; что предмета не находится, а может быть, и никогда не найдется; что тут подмен, подтасовка, шулерство ("дьяволов водевиль", в "Бесах"), но, несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и, чем больше вам неизвестно — тем больше болит". В издевательстве и страдании последних слов уже лежит зародыш идеи "Легенды о Великом Инквизиторе". См. *Приложения*.*

¹ Т. е. при страдании и преступности если нет возмездия и с ним удовлетворения, то я, ища удовлетворения, истреблю свою плоть как преступную и страдающую. Здесь объяснение самоубийства. Параллельные места в "Дневнике писателя", 1876 г., октябрь и декабрь. См. *Приложения*.

² В этих словах признается, что религии, и без какого-либо исключения, вытекли из недр человеческой души, из присущих ей противоречий и жажды хоть как-нибудь из них выйти, а не даны человеку извне. Т. е. их происхождение признается мистическим *только лишь в той степени*, в какой мистична самая душа человека, но не более. Этот взгляд противоречит всем обычным теориям о происхождении религии, как абсолютно мистическом, так и натуральном.

гармонию? Для чего они попали тоже в матерьял и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но *не с детками же солидарность в грехе?! И если правда, в самом деле, в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, — то уж, конечно, правда эта не от мира сего и мне непонятна.* Иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить¹; но вот же он не вырос, его восьмилетнего затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, какво должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и над землею сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее воскликнет: *Прав Ты, Господи, ибо открылись пути Твои!* Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со слезами: *Прав Ты, Господи, то уж, конечно, настанет венец познания, и все объяснится.* Но вот... *этого-то я и не могу принять.* И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь, может быть, и действительно так случится, что, когда я сам доживу до того момента² или воскресну, чтобы увидеть его, то и сам я воскликну, пожалуй, со слезами, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: *"Прав Ты, Господи!" Но я не хочу тогда восклицать.* Пока еще время, спешу себя оградить, а потому *от высшей гармонии совсем отказываюсь.* Не стоит она слезенок хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезами своими к "Боженьке"! Не стоит, *потому что слезки его остались неискупленными.* Они должны быть искуплены, иначе *не может быть и гармонии.* Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обняться хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены³. *Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за*

¹ В философии и так называемом "нравственном богословии" существует подобное объяснение, но оно, действительно, совершенно неудовлетворительно.

² Параллельное место см. в главе "Кошмар Ивана Федоровича", где бес говорит (стр. 350): "Я, ведь, знаю, что тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть... Я ведь знаю, в конце концов я примирюсь, дойду и я мой квадриллион и узнаю секрет. Но пока это произойдет, — будирую и, скрепя сердце, исполняю одно назначение: губить тысячи, чтобы спасся один... Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая — моя".

³ В "Прилож." см. подобн. мысль о "Хрустальном дворце".

любви к человечеству не хочу! Я хочу оставаться лучше со страданиями неотмытыми. Лучше уж я останусь при неотмытом страдании моем и неотмытом негодовании моем, хотя бы я был не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю”.

Х

”Это бунт, — тихо и потупившись проговорил Алеша”.

Приведенное слово — самое горькое, какое выдавилось у человека за его историю. Не отвергая Бога, он отвергает свое лицо от Него; не сомневаясь в конечном воздаянии за свои муки, — не хочет более этого воздаяния. Что-то до того драгоценное извращено в нем, до того святое — оскорблено, что он поднимает свой взор к небу и, полный горести, молит, чтобы, наконец, это оскорбление не искупалось, это извращение — не снималось: Ты, Который вложил в мою природу похоть терзать ближнего и силою похоти этой вырвал детей моих и истерзал, зачем дал любовь к ним, которая даже против Тебя возрпталала? Зачем смесил Ты мою душу, перервал в ней все начала и все концы, так что не могу ни любить я, ни ненавидеть, ни знать, ни оставаться в неведении, ни быть праведным только, ни только грешным? И если смесил ее плод, который вошел в меня от древа познания добра и зла, зачем взрастил Ты это древо на соблазн мне или почему не оградил его гранью непереступаемою? Наконец, почему, создавая меня, вложил в меня менее крепости послушания, нежели похоти к соблазну? Верно, в воздаяние; но вот дети мои погибли, — и пусть воздаяние идет мимо меня. Погаси во мне сознание и с ним дай забвение, смеси снова с землею, от которой взял меня. Но если сознание мое не потухнет, хочу лучше плакать о растерзанных детях моих, нежели созерцать торжество правды Твоей. Не хочу утешения, хочу в муках сердца моего всю вечность разделять муку моих погибших детей.

Здесь сказывается надломленность человеческих сил, неспособность их продолжать тот путь, по которому от скрытого начала к скрытому же концу ведется человек Провидением. Он шел по этому пути тысячелетия и покорно выносил все в надежде, что конечное познание и конечное торжество правды Божией утолит когда-нибудь его сердце. Но вот наконец это страдание возросло до такой силы, что он невольно останавливается, не может далее идти. Он оглядывается на весь пройденный путь, припоминает все, взвешивает бремя свое и остаток сил своих и спрашивает: куда я иду и могу ли дойти? Безумие была надежда моя, и зло в воле той, которая внушила мне ее.

Без сомнения, высочайшее созерцание судеб человека на земле содержится в религии. Ни история, ни философия или точные науки не имеют в себе и тени той *общности* и *цельности* представления, какое есть в религии. Это — одна из причин, почему она так дорога человеку

и почему так возвышает его ум, так просвещает его. Зная целое и общее, уже легко найти себя, определить себя в частностях; напротив, как бы много частностей мы ни знали — а они одни даются историей, науками, философией, — всегда можно встретить новые, которые поставят нас в затруднение. Отсюда — твердость жизни, ее устойчивость, когда она религиозна.

Три великие, мистические акта служат в религиозном созерцании опорными точками, к которым как бы прикреплены судьбы человека, на которых они висят, как на своих опорах. Это — акт *грехопадения*: он объясняет то, что есть; акт *искупления*: он укрепляет человека в том, что есть; акт вечного возмездия за добро и за зло, окончательного торжества правды: он влечет человека в будущее.

Попрясти судьбы человека можно, только поколебав которую-нибудь из этих основных точек. Без этого, каким бы бедствиям человек ни подвергался: войне, голоду, мору, уничтожению целых народностей, он все это вынесет, потому что во всем этом самое существо его сохранится; будут гибнуть люди, но останется человек, и люди возрождаются; перемена коснется проявлений, но не коснется проявляемой сущности; листья будут оборваны, но сохранится завязь и плодник. Одного не вынесет человек — это разрыва своего бытия и сознания с тремя мистическими актами, верую в которые он живет. Без всяких бедствий, в полном довольстве, он погибнет как-то замешавшись; проявления, просуществовав некоторое время, исчезнут, потому что исчезнет скрытая за ними сущность; люди не возрождаются, потому что умрет человек.

Отсюда понятна та ненависть, с которою смотрит человек на всякое враждебное приближение к этим опорным точкам своего существования. "Не прикасайся, я этим живу", — как будто говорит он всякому, кто пытается к ним подойти, кто их хочет взвесить или измерить, поправить в чем-нибудь, дополнить или очистить. В этом чувстве инстинктивной ненависти лежит объяснение всех религиозных преследований, какие когда-либо совершались в истории, — преследований, вызывавших наиболее сочувствия в широких массах народных, как бы они жестоки ни были.

Именно эти три акта, три опорных точки земных судеб человека, источник ведения его о себе, источник сил его, — и колеблются с помощью диалектики, часть которой мы привели. Акт искупления, второй и связующий два крайние акта, здесь еще не затронут. Но подвергнут сомнению первый акт — грехопадение людей, и отвергнут последний, — акт вечного возмездия за добро и зло, акт окончательного торжества Божеской правды. Он отвергнут не потому, что он невозможен, его не будет; но потому, что он *не нужен более*, не будет принят человеком.

Нужно заметить, что в столь мощном виде, как здесь, диалектика никогда не направлялась против религии. Обыкновенно исходила она из злого чувства к ней и принадлежала немногим людям, от нее отпавшим. Здесь она исходит от человека, очевидно преданного религии более, чем всему остальному в природе, в жизни, в истории, и опирается положительно на добрые стороны в человеческой природе. Можно сказать, что здесь восстает на Бога божеское же в человеке: именно чувство в нем справедливости и сознание им своего достоинства.

Это-то и сообщает всей диалектике опасный, несколько сатанинский характер. Уже о первом отпавшем Ангеле сказано, что он был "выше

всех остальных”, стоял ”ближе их к Богу”, т. е. был особенно Ему *подобен*, — конечно, *по чистоте* своей, *по святости*. Некоторый религиозный характер лежит на этой диалектике, и то чувство преданности, которое внушает к себе всякая религия, и та ненависть, которую вызывает против себя каждый, кто ее затрогивает, становится как бы покровом и над ней, хотя она именно направлена против религии. Пытаться разрушить эту диалектику, всю исходящую из любящего трепета за человека, кажется, можно, только не любя его. Ею подкапываются опоры бытия человеческого, и это сделано так, что невозможно защищать их, не вызывая в человеке горького чувства оскорбления. Он сам невольно вовлекается в защиту своей гибели, не временной или частной, но всеобщей и окончательной.

Построить опровержение этой диалектики, столь же глубокое и строгое, как она сама, без сомнения, составит одну из труднейших задач нашей философской и богословской литературы в будущем, — конечно, если эта последняя сознает когда-нибудь свой долг разрешать тревожные сомнения, бродящие в нашем обществе, а не служить только удостоверением в немецкой грамотности нескольких людей, которые почему-либо обязаны действительно быть с ней знакомы. Не делая попытки к такому построению, мы выскажем только два замечания.

Отказ принять воздаяние или даже только видеть торжество Божией правды основывается, в приведенных выше словах, действительно на одной верной, тонко подмеченной особенности человеческой души: всякий раз, когда ее страдание слишком велико, оскорбление нестерпимо, — в ней пробуждается жажда не расставаться с этим страданием, не снимать с себя этого оскорбления. Есть что-то утоляющее самое страдание в сознании, что оно не *заслужено* (как страдания детей, предполагается) и что оно не вознаграждено; и как только это вознаграждение является, *исчезает утоление* и *боль* страдания *становится нестерпимой*. Таким образом, вознаграждение приходит *новою, другою радостью*; но оно вовсе не *становится на место прежней горечи*, нисколько не вытесняет ее. И это закон души человеческой, как она дана, устроена. Нельзя отрицать, что в черте этой есть много благородного и вытекает она из сознания человеком в себе достоинства, из некоторой гордости и вместе смирения, но без какой-либо дурной примеси.

Так; и пока человек остается в тех формах своего духовного и физического бытия, в какие заключен теперь, какие одни знает в себе, он действительно захочет остаться ”лучше с неотмщенным страданием своим”, нежели принять за него возмездие и примириться с ним. Но думать, что эти формы его бытия есть нечто абсолютное и вечное, ничем не обусловленное, было бы величайшею ошибкою. Тесно, слишком тесно дух человеческий связан в идеях своих, в понятиях и чувствах с таинственною организацией его тела; он прикреплен к ней, связан и обусловлен ею, как рождающийся, но еще не рожденный связан с чревом своей матери. Но это связанное состояние есть только временное; и если течение наших идей изменяется со всякою переменой в нашей организации, то мы и представить себе затрудняемся, что почувствует наш дух и что подумает он, когда станет от нее свободен и чист. Как невозможно, действительно невозможно для него теперь примирение, так, быть может, необходимо и невольно будет оно тогда. И станет

”земля новая и небо новое”, сказано о последнем дне, в который ”отрет Бог всякую слезу”¹, и в этих словах указано разрешение затруднения, которое *пока* для нас непреодолимо.

Далее, страдания детей, столь несовместные, по-видимому, с действием высшей справедливости, могут быть несколько поняты при более строгом взгляде на первородный грех, природу души человеческой и акт рождения. Выше уже сказали мы, что в душе человеческой сверх того, что в ней выражено ясно и отчетливо, заключен еще целый мир содержания, *невыраженный, непроявленный*. Когда человек совершает что-либо преступное, то *исполнение* им этого есть только вторичное и менее важное, первичное же и главное есть то *душевное движение*, которое ему предшествовало, из которого родился преступный акт. Оно кладет особую складку, проводит неизгладимую черту на человеческой душе, подвергает ее некоторому искажению. Спрашивается, на том ли только проводится эта черта, то ли одно приемлет в себя искажение, что ясно выражено в душе: память с заключенными в ней сведениями, текущие желания, мелькнувшие чувства? Ясно, что нет: *зло* входит в нее, как *в целое*, искажается она в полноте своего содержания, — как в ясной его части, так и в непроявленной еще. О всем преступном мы знаем, что и зарождается оно в человеке неясными путями, идет из темных недр его души. Далее, в акте *рождения*, без сомнения, передается родившим рожденному не только его организация, но и то, что служит как бы ее законом и скрепляющим центром, т. е. самая *душа*. *Наследственность* характеров, особых дарований или порочных наклонностей слишком общезвестный теперь факт, чтобы мы могли теперь в этом сколько-нибудь сомневаться. Множественность актов рождения и индивидуальные особенности рожденных дают основание думать, что в каждом порознь акте передается некоторая часть того сложного содержания, которое входит в душу рождающего; причем, когда передаются части выраженные — наблюдается наследственность, когда *передается невыраженное* — она, по-видимому, *отсутствует*. Каждая *часть*, именно в силу таковой природы своей, содержит в себе *способность восстанавливаться до целого*, вызывать появление недостающих частей, которые все, равно как и порядок их, предустановлены в ней именно ее прежним отношением к целому, из которого она вышла; как, напр., в самой малой дуге, оставшейся от окружности, предустановлены все исчезнувшие ее части, и по ней они могут быть восстановлены. Эти восстанавливаемые части психического организма каждого рождаемого организма могут быть рассматриваемы как нечто новое; но среди них, без сомнения, есть и *прежняя часть*, не возникшая, но только *перешедшая*. Она несет в себе общее искажение, которое было присуще душе родившего, а иногда и некоторое особое, глубокое зло, некоторое *преступление*, которое в ней было *частью*, терявшеюся между другими, а теперь *осталось одно и восстановило около себя целое*. А неся в себе преступление, она несет и *вину* его, и неизбежность *возмездия*. Таким образом, беспорочность детей и, следовательно, невиновность их есть явление только кажущееся: в них уже скрыта *порочность отцов их* и с нею — их *виновность*; она только не проявляется, не выказывается в каких-нибудь

¹ Откровение св. Иоанна, XXI, 1 и 4 ст.

разрушительных актах, т. е. не ведет за собою новой вины: но *старая вина*, насколько она не получила возмездия, *в них уже есть*. Это возмездие они и получают в своем страдании. Проступок, совершенный отцом, может быть настолько тяжел, что и не может быть возмещен на нем, ни даже посредством его смерти: он растлил, положил, ребенка, развернул существо чистое, которое к нему доверчиво приблизилось. Может ли за это преступление ответить он существом своим? Нет, и преступление его остается скрытым, ненаказанным. Но вот проходят поколения, и возмездие является — в страдании, которое, по-видимому, непонятно и нарушает законы правды. В действительности же оно восполняет ее.

Одно очень глубокое явление в духовной жизни человека получает здесь свое объяснение: это — *очищающее значение всякого страдания*. Мы несем в себе массу преступности и с нею — страшную виновность, которая еще ничем не искуплена; и, хотя мы ее не знаем в себе, не ощущаем отчетливо, она тяготит нас глубоко, наполняет душу нашу необъяснимым мраком. И всякий раз, когда мы испытываем какое-нибудь страдание, искупляется часть нашей виновности, нечто преступное выходит из нас, и мы ощущаем свет и радость, становимся более высокими и чистыми. Всякую горесть должен человек благословлять, потому что в ней посещает его Бог. Напротив, чья жизнь проходит легко, те должны тревожиться воздаянием, которое для них отложено.

Возможность такого объяснения не приходила на мысль Достоевскому, и он думал, что страдания детей есть нечто абсолютное, *приведшее вновь в мир без всякой предшествующей вины*; отсюда понятен его вопрос: кто может простить виновника этого страдания? С этим затруднением связан вопрос об искуплении, втором и центральном мистическом акте, с которым соединены судьбы человека. По имени Искупителя самая религия наша называется "христианством"; оно и вовлекается в обсуждение здесь в дальнейшей диалектике. Оспаривается искупление, как ранее оспаривалось грехопадение и вечный суд. Эта вторая часть его диалектики, которую, в противоположность первой, *библейской*, можно назвать по ее предмету *евангельской*, и заключена в несколько причудливую форму "Легенды об Инквизиторе".

С критикою акта искупления у Достоевского соединилось изложение скрытой идеи католицизма¹. Именно, идея эта, раскрывая свое содержание, в нем высказывает свой *суд над жизнью и учением Христа* и одновременно обосновывает необходимость своего появления на земле. Анализируя природу человека и сопоставляя ее с учением Христа, престарелый инквизитор, раскрывающий идею своей Церкви, находит несоответствие между первою и вторым. Дары, принесенные Христом на землю, слишком *высоки и не могут быть вмещены человеком*; а поэтому человек и не в силах принять их, т. е. как уразуметь слово Христа, так и привести в исполнение Его заветы. От этого несоответствия требований и способностей, идеала и действительности, человек должен оставаться вечно несчастным: только немногие, сильные духом, могли и могут спастись, следуя Христу и понимая тайну искупления. Таким образом, Христос,

¹Едва ли не первый очерк этой идеи находится в "Идиоте" (1868 г.), стр. 537—538 (изд. 1882 г.), и очень часто к ней возвращается Достоевский в "Дневнике писателя" (напр., за 1877 г., май — июнь, гл. III). См. *Приложения*.

отнесшись к человеку с столь высоким уважением, поступил "как бы *вовсе не любя его*". Он не рассчитал его природы и совершил нечто великое и святое, но вместе *невозможное, неосуществимое*. Католицизм и есть *поправка к Его делу*, есть понижение небесного учения *до земного понимания*, приспособление божеского к *человеческому*. Но, совершив это, он скрыл тайну изменения в себе; народы же, следуя ему, думают, что следуют Христу. Выносить эту тайну обмана, одна сторона которого обращена к Богу, другая к человечеству, стоит глубокого страдания; и его приняли на себя немногие, руководящие Западною Церковью, ради избавления от страдания всего остального человечества и ради устроения земных его судеб. Таким образом, и здесь любовь к человеку есть движущее начало всей диалектики, а ее орудием является анализ его природы.

Общий же смысл всего этого заключается в том, что самого *акта искупления не было*: была лишь *ошибка*; и религии как хранительницы религиозных тайн — *нет*, а есть лишь иллюзия, которую необходимо человеку *быть обманутым*, чтобы хоть как-нибудь устроиться на земле.

И как окончательный вывод из этой диалектики — отсутствие в действительности религии и абсолютная невозможность ее за отсутствием внешнего для нее основания: мистических актов грехопадения, искупления и вечного суда.

Переходим теперь к детальному обозрению этой мысли, которой только тему мы изложили. На восклицание Алеши: "Это бунт" — Иван отвечает проникновенно:

"— Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова. *Можно ли жить бунтом, а я хочу жить*. Скажи мне сам прямо, я зову тебя, — отвечай: представь, что это ты сам возводишь¹ здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой: но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь только крохотное созданище, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачком в грудь, и на неотмщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!

— Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша.

— И можешь ли ты допустить идею, что *люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв — остаться навеки счастливыми?*"

Вот к какой великой и благородной черте человеческой совести, которая одна возносит ее обладателя над безжалостною природой к ми-

¹ В "Пушкинской речи" ("Дневник писателя", 1880) Достоевский, разбирая характер Татьяны и отказ ее, ради удовлетворения своего чувства любви, оскорбить старика мужа, спрашивает и *уже от себя лично*: "Разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье... в высшей гармонии духа. Чем успокоит его, если позади стоит несчастный, безжалостный, бесчеловечный поступок... *Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо... Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии?*" (т. XII, стр. 424). Из этого сопоставления очевидно, что все, что говорит Иван Карамазов, — говорит сам Достоевский.

лосердному Богу, сведен вопрос о восстании против самого Бога. Нельзя колебаться в ответе: если человечество скажет: "Да, могу принять", то оно тотчас же и перестанет быть человечеством, "образом и подобием Божиим", и обратится в собрание зверей; ответ же отрицательный утверждает и оправдывает отказ от вечной гармонии, — и тем все обращает в хаос...

Алеша в смятении; он отвергает возможность принять мировую гармонию на этом условии и вдруг проговорил, засверкав глазами: "Брат, ты сказал сейчас: есть ли во всем мире Существо, которое могло бы и имело право простить? Но Существо это есть, и Оно может все простить, всех и вся *и за все*, потому что Само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о Нем, а на Нем-то и созиждется здание, и это Ему воскликнут: *Прав ты, Господи, ибо открылись пути Твои*".

— А, это *Единый безгрешный* и Его кровь, — говорит Иван и, вместо ответа, предлагает брату рассказать одну легенду, которая вырисовалась в его уме при размышлении обо всех этих вопросах. Алеша приготовлялся слушать, и Иван начинает.

XI

Сцена переносится в далекую страну, на крайний запад, века раздвигаются, и открывается XVI столетие, эпоха смещения и борьбы различных элементов европейской цивилизации: первых путешествий в новооткрытую Америку и религиозных войн, Лютера и Лойолы, шумливых гуманистов и первых генералов ордена иезуитов. Шум и смятение этой борьбы происходят, однако, в центре материка; там же, за Пиренеями, в Испании, только видят далекую борьбу, крепче замыкаются в себе и остаются неподвижны. Еще дальше, в темной глубине времен, виднеется бедная обожженная солнцем страна, где совершилась великая тайна искупления, была пролита на землю кровь за грехи этой земли, для спасения страждущего человечества. Пятнадцать веков уже прошло, как тайна совершилась; погибла чудовищная империя, и на ее остовах возник мир иных и свежих народов и государств, которые просветились новой верою, укрепились искупляющею кровью своего Бога и Спасителя. С неугасимою жаждою и надеждою они ждут Его, ждут исполнения обетования, которое оставил Его ученик: "Се, грядущего скоро"¹ — и о времени которого Он сам изрек на земле: "О дне же сем и часе не знает даже и Сын, но токмо Отец мой небесный". Даже с большею еще верою ждут Его, ибо "пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залогов с небес человеку":

Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес... —

и только безграничное упование в святыню слова поддерживает человека. "Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение. Как

¹ Апокалипсис, XXII, 12: "Се грядущего скоро, и возмездие Мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его".

раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, подобная светильнику¹, пала на источники вод, и стали они горьки". Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к Нему; по-прежнему ждут Его, любят Его, надеются на Него, жаждут пострадать и умереть за Него, как и прежде. И "вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: *бо, Господи, явися нам!* столько веков зывало к Нему, что Он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим".

Сцена сдвигается, и рассказ сосредоточивается. Открывается Севилья, на знойные улицы которой спускается тихий вечер. Толпы народа расходятся туда и сюда; вдруг появляется Он, — "тихо, незаметно, в том самом образе человеческом, в котором ходил 33 года между людьми пятнадцать веков назад". По виду, по внешности Он ничем не отличается от остальных, — но, странное дело, "все узнают Его. Народ непобедимую силой стремится к Нему, окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди них с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к Нему, даже лишь к одежам Его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: *"Господи, исцели меня, да и я Тебя узрю"*, — и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой Его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет Он. Дети бросают перед Ним цветы, поют и вопиют Ему: *"Осанна!"* — *"Это Он, это сам Он,* — повторяют все, — *это должен быть Он! это никто как Он!"* Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. *"Он воскресит твое дитя"*, — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный паптер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка, она повергается к ногам Его: *"Если это Ты, то воскреси дитя мое!"* — восклицает она, простирая к Нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают к ногам Его, Он глядит со страданием, и уста Его тихо еще раз произносят: *"Талифа куми"* — *"И возста девица"*. Девочка подымается в гробе, садится и смотрит², улыбаясь, удивленными, раскрытыми глаз-

¹"Т. е. церкви", — замечает Достоевский. Образ звезды, падающей с неба, взят из Апокалипсиса, VIII, 10—11, как и некоторые дальнейшие сравнения, которыми изображается судьба христианской Церкви на земле. В настоящем месте высказывается взгляд на реформацию как на *подобие* Церкви, которое увлекает людей своим кажущимся сходством с нею и через это отвлекает их от Церкви истинной: "источники вод" — здесь "чистота веры", заражаемой "подобием" Церкви.

²Поразительна жизненность, влитая Достоевским в эту удивительную картину: мы как будто не читаем строки, но перед нами проходит видение — вторичного появления, и уже почти в наше время, Христа среди народа. В биографии Д-го есть некоторые места, которые до известной степени могут объяснить эту странную, непостижимую жизненность фантастической, сверхъестественной сцены. "Однажды, — рассказывается там, — Достоевский находился в обществе

ками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания”.

В это самое время проходит мимо собора девяностолетний старик, с исхудалым лицом, в грубой волосяной рясе, кардинал Римской церкви и вместе Великий Инквизитор страны. Он останавливается, издали наблюдает все происходящее, и взгляд его омрачается. Крики народа доносятся до него, он слышит рыдания стариков и “осанна” из детских уст, видит поднимающегося из гроба ребенка; и вот, обертываясь, он подзывает жестом священную стражу и указывает ей на Виновника смятения и торжества. И народ, “уже приученный, покорный и трепетный”, раздвигается; воины подходят к Нему, берут Его и уводят. Толпа склоняется до земли перед сумрачным стариком, он благословляет народ и проходит далее. Пленник приводится в темное подземелье Святого Судилища и запирается там.

Вечер кончается, и настает “тихая и бездыханная” южная ночь. Воздух горяч еще и сильнее наполнен ароматом цветущего лавра и лимона. Среди тишины вдруг закрипели ржавые петли тюремной двери, она отворяется, и в подземелье входит старик Инквизитор. Дверь запирается за ним тотчас, и он остается наедине со своим Пленником. Долго он всматривается в Его лицо, ставит тусклый светильник на стол, подходит ближе и шепчет:

“Это Ты? Ты? — Но, не получая ответа, быстро прибавляет: — Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты мог сказать? Я слишком знаю, что Ты скажешь. Да Ты и права не имеешь ничего прибавить к тому, что уже сказано Тобою прежде. *Зачем же Ты пришел нам мешать?* Ибо Ты пришел нам мешать, и Сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это или только подобие Его, но завтра же я осужу и сожгу Тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, завтра же, по одному моему мановению, бросится поджечь Твоему костру угли, — знаешь Ты это? Да, Ты, может быть, это знаешь”, — прибавил он

людей, чуждых и даже враждебных ко всякой религии. Неожиданно среди говорящих кто-то упомянул об И. Христе, и сделал это без достаточного уважения. Достоевский вдруг страшно побледнел, и на глазах его показались слезы. Это было еще в дни его молодости, и, очевидно, уже тогда он проникновенно вдумывается в Его образ”. Затем, во время его ссылки, *Евангелие* было единственной книгой, которую он мог читать, и, постоянно перечитывая евангельские рассказы, очевидно, он вжил в них до ясности ощущения всего того, о чем там передается... Наконец, воскресение девочки, описываемое так, что мы как будто видим совершение самого факта, также имеет биографическое объяснение. Вот что читаем мы в его жизнеописании (см. “Биография и письма”, отд. I, стр. 296): “Рождение дочери (22 февраля 1862 г.) было большим счастьем для обоих супругов и очень оживило Федора Михайловича. Все свободные минуты он проводил у ее колясочки и радовался каждому ее движению. Но это продолжалось менее трех месяцев. Смерть ее была страшным неожиданным ударом. Федор Михайлович всю жизнь не мог забыть свою первую девочку и всегда вспоминал о ней с сердечною болью. В одну из своих поездок в Эмс он нарочно съездил в Женеву, чтобы побывать на ее могиле”. Без сомнения, он живо представлял, когда писал приведенную выше сцену, свое чувство, если бы любимая девочка каким-нибудь чудом вдруг поднялась из гроба.

в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего Пленника.

В этих напряженных, порывистых словах уже взяты все вариации последующей диалектики: признание Божественного сохранено до ясности ощущения Его, до созерцания; и ненависть к Нему простирается до угрозы — завтра же истребить Его, сжечь и растоптать. Это — величайшее в истории соединение и одновременно разъединение человеческой души с ее Предвечным Источником. Вдали, как в перспективе, показывается какое-то странное отношение к народу, к миллионам пасомых душ: в этом отношении есть, несомненно, тревожная забота, т. е. уже *любовь*, и вместе *презрение*, и какой-то *обман*, что-то скрытое. В молчании Пленника и в словах: "да, Ты, может быть, *это* знаешь" — скользит кощунственная мысль, что для самого Спасителя открывающаяся сцена обнаруживает что-то новое и неожиданное, какую-то великую тайну, которой Он не знал ранее и начинает понимать только теперь. И тайну эту хочет Ему высказать человек: "дрожащая тварь" чувствует в себе такую силу убеждения, вынесенного из всей своей судьбы, что не боится встать с ним и за него перед своим Творцом и Богом.

Во всем дальнейшем исповедании, которое высказывает старик, раскрывается движущая идея Римской церкви; но очень трудно отрешиться от мысли, что эта идея есть вместе и исповедание всего человечества, самое мудрое и проникновенное сознание им судеб своих, и притом как минувших, так, и это главным образом, будущих. Западная Церковь, конечно, есть только романское понимание христианства, как Православие — греко-славянское его понимание и протестантизм — германское. Но дело в том, что из этих трех ветвей, на которые распалась всемирная Церковь, только первая возросла во всю величину своих сил; другие же две лишь возрастают. Католицизм закончен, завершен в своем внутреннем сложении, он отчетливо сознал свой смысл и непреодолимо до нашего времени стремится провести его в жизнь, подчинить ему историю; напротив, другие две Церкви чужды столь ясного о себе сознания¹. Вот почему, повторяем, невозможно удержаться от того, чтобы не обобщить до крайней степени, до объема всего человечества и всей истории, странное признание Инквизитора, высказываемое наедине Христу.

Он начинает с утверждения, что все заветное Христом учение, как оно сохранено Провидением, есть нечто вечное и неподвижное, и как

¹ Протестантизм, открыв свободу для индивидуального понимания христианства, не только в настоящем не представляет чего-либо законченного, окончательного, но и в будущем, очевидно, никогда не получит подобного завершения. Что касается до Православия, то до сих пор оно находилось в столь тяжелых исторических условиях, так извне стеснено было то варварством (монгольское иго), то магометанством (турецкое иго), то, наконец, самим католицизмом, что отстоять бытие свое и как-нибудь выполнить все нужное для душевного спасения среди обделенных и приниженных народностей — составило пока весь его исторический труд; о том же, чтобы возвести свое скрытое внутренне содержание к свету ясного сознания, — оно еще не имело средств озаботиться. Попытки славянофилов (как Хомякова, Ю. Самарина) и самого Достоевского выяснить особенность и идею Православия в истории объясняются этим его состоянием и были бы невозможны при другом положении дела.

изъять из него ничего нельзя, так нельзя и ничего к нему надбавить. Оно вошло уже, как камень во главу угла, в воздвигнувшуюся часть всемирной истории, и было бы поздно теперь что-нибудь поправлять, уяснять или ограничивать в нем: это пошатнуло бы пятнадцать веков жидкительной работы. И это не только по отношению к человечеству, которое не может же постоянно перестраиваться, но и в отношении Бога — чем было бы новое Откровение, *дополнение* к сказанному, как не сознание *недостаточности* сказанного уже, и кем же? сказанного самим Богом! Наконец, и это самое главное, подобное дополнение было бы нарушением человеческой свободы: Христос оставил человечеству образ Свой, которому оно могло бы следовать свободным сердцем, как идеалу, соответствующему его (скрыто божественной) природе, отвечающему его смутным влечениям. Следование это должно быть свободно, в этом именно состоит его нравственное достоинство. Между тем, всякое новое откровение с неба явилось бы как *чудо* и внесло бы в историю *принуждение*, отняло бы у людей свободу выбора и с ним нравственную заслугу. Поэтому, смотря на Христа и думая о втором обещанном пришествии Его на Землю, Инквизитор говорит: "Теперь Ты не приходи хоть вовсе"... "не приходи до времени по крайней мере", — поправляется он, думая о незавершенности пока своего дела на земле.

Он все время странно задумчив; перед ликом Спасителя контраст между великими заветами Его и действительностью представляется ему особенно ярким и вызывает в нем грустную иронию. Он напоминает Христу, как часто, пятнадцать веков назад, он говорил людям: "Хочу сделать вас *свободными*", и добавляет: "Вот, Ты теперь увидел этих свободных людей". Ирония замечания этого относится не только к тем, кого хотел возвысить Христос своим учением, но и к Нему самому: "Это дело, — продолжает он, — нам дорого стоило, но мы dokonчили его — во имя Твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко".

Здесь говорится про начало авторитета, которое всегда и глубоко проникало Римскую Церковь и было причиною гораздо большей ее нетерпимости ко всяким отступлениям от догмы, нежели какая была присуща другим Церквам. В XVI веке, к которому относится описываемая сцена, необходимость авторитета и нерассуждающего подчинения была особенно сильно сознаана Римом ввиду угрожающего движения Реформации, нарушившей тысячелетнее духовное единство Западной Европы. Явления, в которых оно выразилось, были: введение инквизиции и цензуры книг; проводниками этой идеи выступили: Тридентский собор и орден иезуитов с его учением о безусловном подчинении¹ старшим, о совершенном подавлении индивидуальной воли². Но, как и повсюду в рассматриваемой "Легенде", указание на основную черту католицизма сделано потому только, что она ответила собою на некоторую вековечную нужду человечества и, следовательно, выразила в себе вечную же необходимую особенность его истории. Это становится ясно из дальнейших объяснений Инквизитора; он говорит:

¹ "Будь в руке старшего тебя покорен, как посох в руке странника" и пр.

² "Cadaver esto", т. е. будь безличен, инертен, как труп.

”Только теперь, когда мы поборолли свободу, стало возможным помыслить в первый раз *о счастье людей*. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми?” — спрашивает он.

Христос принес на землю *истину*; Инквизитор же говорит, что земная жизнь человека управляется законом *страдания*, вечного убегапия от него или, когда это невозможно, — вечного следования по пути наименьшего страдания. Между истиною, которая безотносительна и присуща только абсолютному Богу, и между этим законом страдания, которому подчинен человек вследствие относительности своей природы, лежит непереступаемая бездна. Пусть, кто может, влечет человека по пути первой; он будет следовать всегда по пути второго. Это именно и высказывает Инквизитор: не отрицая высоты принесенной Спасителем истины, он отрицает только соответствие этой истины с природою человека и, с тем вместе, отрицает возможность следования его за ней. Другими словами, он отвергает, как невозможное, построение земных судеб человека на заветах Спасителя и, следовательно, утверждает необходимость построения их на каких-то *иных* началах.

К ним он тотчас и переходит. Но прежде чем обратиться к их рассмотрению, отметим факт коренного изменения в воззрении Достоевского на человеческую свободу, которое произошло у него со времени ”Записок из подполья”. Там, так же как и здесь, свободная воля человека выставляется как главное препятствие к окончательному устройению человеческих судеб на земле; но, в силу этого, отрицается только необходимость и возможность подобного устройства, а сама свобода остается человеку, как его драгоценнейшая черта. Во взгляде на эту свободу там есть что-то одобрительное, и в этой одобрительности слышен бодрый тон еще не усталого человека. Достоевский с видимым удовольствием рисует себе картину, как в момент всеобщего благополучия, наконец достигнуто, вдруг явится человек ”с ретроградною и насмешливою физиономией”, который скажет своим счастливым и только несколько скучающим братьям: ”А что, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, — единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять на своей глупой воле пожить”¹. С тех пор многое в воззрениях Достоевского изменилось, нет прежней бодрости в его тоне, и также нет более насмешливости и шуток. Сколько страдания за человека выносил он в себе и сколько ненависти к человеку — об этом свидетельствует весь ряд его последующих произведений, и между ними ”Преступление и наказание”, с его безответными мучениками, с его бессмысленными мучителями. Усталость и скорбь сменили в нем прежнюю уверенность, и жажда успокоения сказывается всего сильнее в ”Легенде”. Высокие дары свободы, истины, нравственного подвига — все это отстраняется, как тягостное, как излишнее для человека; и зовется одно: *какое-нибудь* счастье, *какой-нибудь* отдых для ”жалкого бунтовщика” и все-таки измученного, все-таки болящего существа, сострадание к которому заглушает все

¹ ”Записки из подполья”, отд. I, гл. IX. См. также гл. X, о предпочтительности временного ”курятника” в общественно-историческом строе, именно потому, что он не окончателен и не убивает навсегда свободу, перед ”хрустальным зданием”, которое ненавистно именно своею неразрушимостью.

остальное в его сердце, всякий порыв к божескому и высокочеловеческому. "Легенду об Инквизиторе" до известной степени можно рассматривать как идею окончательного устройства судеб человека, что безусловно было отвергнуто в "Записках из подполья"; но с тою разницею, что, тогда как там говорилось об устройении *рациональном*, основанном на тонком и детальном изучении законов физической природы и общественных отношений, здесь говорится об устройении *религиозном*, исходящем из глубочайшего проникновения в *психический строй человека*.

"Тебя предупреждали, — говорит Инквизитор Христу, — Ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но Ты не послушал их и отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми". И затем он высказывает свою идею, следя за которою серьезно, невозможно не ощутить некоторого ужаса, который тем сильнее возрастает, чем яснее чувствуешь ее неотразимость. Нити всемирной истории, как она совершилась уже, будущие судьбы человека, как их можно предугадывать, мистический полусвет и непостижимое соединение неутолимой жажды веры с отчаянием в бытии для нее какого-либо объекта, все это сплелось здесь удивительным способом и в целом своем образovalo слово, которое мы не можем не принять как самое глубокое, самое проникновенное и мудрое, что — с одной возможной для человека точки зрения — было когда-нибудь им о себе подумано.

XII

"Страшный и умный Дух, Дух самоуничтожения и небытия, — так начинает Инквизитор, — Великий Дух говорил с Тобою в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы *искушал* Тебя... Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил Тебе в трех вопросах, и что Ты отверг, и что в книгах названо *искушениями*? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее, громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса Страшного Духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтобы внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных — правителей, первосвященников, ученых, поэтов — и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события¹, но и выражали бы, сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих *всю будущую историю мира и человечества*, — то думаешь ли Ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены Тебе тогда могучим и умным Духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь

¹Какая яркость в ощущении его действительности; мы отмечаем этот тон, потому что, варьируя, он изменяется в разных местах "Легенды" до совершенной ясности ощущения, что "события" никогда не было.

по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, но с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая, — и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неизвестно; но теперь, когда прошло пятнадцать веков, — мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более”.

Пятнадцать веков минувшей истории здесь названы потому только, что самый разговор Инквизитора с Христом представляется происходящим в XVI столетии; но он писался в XIX в., и, если бы возможно было сделать это без грубого нарушения правдоподобия, Инквизитору следовало бы согласиться на все девятнадцать веков: все, о чем он говорит далее и на что указал словами — “это не могло быть видно тогда”, — обнаружилось окончательно только в наше, текущее столетие, и никаких даже предвестников этого не было еще в эпоху, когда происходила описываемая сцена. Как это ни странно, перенесение исторических противоречий, раскрывшихся в XIX веке, в беседу, происходящую в XVI веке, не производит никакого дурного впечатления и даже не замечается: в разбираемой “Легенде” все временное до того отходит на задний план и выступают вперед черты только глубокого и вечного в человеке, что смешение в ней прошлого, будущего и настоящего, как бы совмещение всего исторического времени в одном моменте, не только не является чем-то чудовищным, но, напротив, совершенно уместно и кажется необходимым. Уже в приведенных словах Инквизитора мы чувствуем, что он как будто сам забывает, что обращает свою речь к другому; она звучит как *монолог*, как *исповедь веры* 90-летнего старика, и чем далее она развивается, тем яснее выступает из-за его “высокой и прямой фигуры” небольшая и истощенная фигурка человека XIX века, выносившая в душе своей гораздо более, нежели мог выносить старик, хотя бы и “вкушавший акриды и мед в пустыне” и сожигавший потом еретиков сотнями “ad majorem gloriae Dei”¹.

Инквизитор с точки зрения трех искушений, как бы образно представивших будущие судьбы человека, начинает говорить об этих судьбах, анализируя смысл самых искушений. Таким образом, вскрытие смысла истории и как бы измерение нравственных сил человека делается здесь в виде обширного толкования на краткий текст Евангелия. Вот как записано о самом искушении и первом “вопросе Духа” у Евангелиста Матфея: “Тогда Иисус возведен был духом в пустыню искушаться от Дявола. И постился дней сорок и ночей сорок, но напоследок взалкал. И приступил к Нему Искуситель, и сказал: *Если ты Сын Божий, то скажи, чтобы камни эти стали хлебами*. Он же, отвечая, сказал ему: *Написано: не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих*” (IV, 1—3).

“Реши же Сам, — говорит Инквизитор, — кто был прав, Ты или тот, который тогда вопрошал Тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не

¹ К вящей славе Божией (лат.)

буквально¹, но смысл его тот: "Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, — ибо никогда и ничего не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!"² А видишь ли сии камни в этой нагой и раскаленной пустыне? *Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою и прекратятся им хлебы Твои. Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение: ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами. Ты возразил, что человек жив не единым хлебом: *но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя Дух Земли, и сразится с Тобою, и победит Тебя, и все пойдут за ним, восклицая: "Кто подобен Зверю сему, — он дал нам огонь с небеси!"**

Здесь в апокалиптическом образе представлено восстание всего земного, тяготеющего долу в человеке, против всего небесного в нем, что устремляется вверх, и указан победный исход этого восстания, которого мы все — грустные свидетели. Нужда, гнетущее горе, боль несогретых членов и голодного желудка заглушит искру божественного в человеческой душе, и он отвернется от всего святого и преклонится, как перед новою святынею, перед грубым и даже низким, но кормящим и согревающим. Он осмеет, как ненужных людей, своих прежних праведников и преклонится перед новыми праведниками, станет составлять из них новые календари святых и чтить день их рождения, как "благодетелей человечества". Уже Ог. Конт на место христианства, которое он считал отживающею религиею, пытался изобрести некоторое подобие нового религиозного культа, с празднествами и чествованием памяти великих людей, — и культ служения человечеству все сильнее и сильнее распространяется в наше время, по мере того как ослабевает служение Богу. Человечество обоготворяет себя, оно прислушивается теперь только к своим страданиям и утомленными глазами ищет кругом, кто бы

¹ Действительно, очень замечательно, что ведь Дух искушал Богочеловека не когда-нибудь *посреди* его служения на спасение рода человеческого, но *перед* вступлением на это служение, и, следовательно, он, древний борец с Богом и враг рода человеческого, как бы соблазнял его на другие возможные способы спасения, указывая иные пути для этого, чем учение Его божественное и крестная смерть. Искушения относились именно к целому служению Иисуса Христа, и поэтому хлебы, чудо и власть, Искусителем предложенные, суть действительно три модуса иного, не небесного, не божественного, не благодатного и таинственного спасения.

² Впервые мысль эта, очень глубокая, была высказана Достоевским в 1847 г., в одном из самых беспорядочных его произведений — "Хозяйка", см. стр. 347 "Сочинений", т. 2, изд. 1882. Вот эти слова: "Слабому человеку одному не сдержаться... Только дай ему все, он сам же придет, все назад отдаст; дай ему полцарства земного в обладание, попробуй, — ты думаешь, что? Он тебе тут же в башмак спрячется, — так умалится. Дай ему волошку, слабому человеку, — сам ее свяжет, назад принесет" и пр. Это показывает, до какой степени рано у Достоевского зародились все его основные идеи, лишь в утверждении или отрицании которых он позднее десятилетия колебался, но ничего существенно нового не открывал в них.

утолил их, утишил или, по крайней мере, заглушил. Робкое и дрожащее, оно готово кинуться за всяким, кто что-нибудь для него сделает, готово благоговейно преклониться перед тем, кто удачною машиной облегчит его труд, новым составом удобрит его поле, заглушит хотя бы путем вечной отравы его временную боль. И, смятенное, страдающее, оно точно утратило смысл целого, как будто не видит за *подробностями* жизни своей *главного* и *чудовищного* зла, со всех сторон на нее надвигающегося: что, чем более пытается человек побороть свое страдание, тем сильнее оно возрастает и всеобъемлющее становится, — и люди уже гибнут не единицами, не тысячами, но миллионами и народами, все быстрее и все неукротимее, забыв Бога и проклиная себя.

Мы приведем величественный образ из Откровения Св. Иоанна, — откровения о судьбах Церкви Божией на земле и также рода человеческого, около нее волнующегося, ее усиливающегося поглотить; образы здесь выражают иносказательно циклы в развитии этих судеб и своим характером определяют их общий, отвлеченный от всех подробностей смысл: "стал я на песке морском и увидел выходящего из моря Зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем, а на головах его — имена богохульные. И дал ему Дракон¹ силу свою, и престол свой, и власть великую. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена; но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за Зверем, и поклонились Дракону², который дал власть Зверю, говоря: *Кто подобен Зверю сему? и кто может сразиться с ним?* И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно; и дана была власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небесах. И дано было ему вести брань со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом людей, и над родом, и языком и племенем. И поклоняется ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо — да слышит. Если кого в пленение возьмет — в пленение пойдет, если кого оружием убьет — подобает ему быть оружием убитым. Здесь — терпение и вера святых" (Апок., XIII).

Знание, кормящее, но уже не просвещающее человека, великий промен духовных даров на вещественные дары, чистой совести — на сытое брюхо, представлены в этом поразительном образе. С заботою об "едином хлебе" закроются алтари, исчезнет великая устрояющая сила, и люди вновь примутся за возведение здания на песке, за построение своими силами и своею мудростью Вавилонской башни своей жизни. На все это указывает Инквизитор в проникновенных словах и тут же предсказывает, чем все это кончится:

"Знаешь ли Ты, — говорит он, — что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что *преступления — нет*, а стало быть, — *нет и греха, а есть лишь только голодные*". "Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!" — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым *разрушится*

¹ Т. е., по Апокалипсису, отпавший от Бога Первый Дух.

² Мы ожидали бы "Зверю", — но как удивительно выдержана точность апокалиптических образов, соответствие их действительному смыслу!

храм Твой¹. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание², воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня; и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же Ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, — *ибо к нам же, ведь, придут они, промучившись тысячу лет с своего башнею!*³. Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся — ибо мы будем вновь гонимы⁴ и мучимы, — найдут нас и возопиют к нам: "Накормите нас, ибо те, которые обещали нам⁵ огонь с небеси, его не дали". И тогда уже *мы и достроим их башню*, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя Твое, — и солжем, что во имя Твое. *О, никогда, никогда без нас они не накормят себя!*" Никакая им наука не даст хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: "Лучше *поработите* нас, но *накормите* нас"⁶. Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого — вместе немыслимы: ибо никогда не сумеют они

¹ Разумеется, теория *относительности преступления*, по которой оно ничем не выделяется из ряда других фактов, совершаемых человеком, и, как все они, вызывается влиянием среды, воспитания и вообще внешних обстоятельств. Воля, всецело определяемая этими обстоятельствами, бессильна не совершить какого-нибудь факта, в данном случае преступления, поэтому не свободна и, следовательно, невиновна ("греха нет"). "Преступление и наказание", "Бесы" (некоторые своими эпизодами) и, наконец, "Братья Карамазовы" могут быть рассматриваемы как художественно-психологическая критика этой идеи XIX века, к которой как-то влекутся в нем самые высокие умы, и ее отвержение, как не соответствующей природе вещей, не истинной. См. об этом выше.

² В силу теории о невиновности индивидуальной воли, все преступления, как и всякое зло, относятся, как к причине своей, к неправильному устройству общества. Отсюда вопрос о борьбе со злом сводится к вопросу о лучшем устройстве человеческого общества, — что вводит теоретическую мысль как зиждующее начало в историю на место бессознательных сил, в ней действующих. Сравни выше, в гл. IV, стр. 35 и далее, выдержки из "Зимних заметок о летних впечатлениях".

³ Достоевский часто и настойчиво указывал (напр., в "Бесах"), как наука, отвергнув свободную волю в человеке и абсолютность в преступлении, доведет людей до антропофагии, — и тогда-то, в отчаянии, "заплачет земля по старым богам" и люди вновь обратятся к религии. Таким образом, обращение к Богу, думал он, увенчает историю, и это тем непременно совершится, чем большие бедствия ожидают человечество в будущем.

⁴ Здесь говорится о периоде нестерпимых гонений, которые самоустраиваясь и несчастное человечество воздвигнет против религии на некоторое время, и именно перед тем, как обратиться к Богу. Преследования — не против Церкви, но против самого религиозного начала в человеке, — бывшие в конце прошлого века во Франции и теперь вспыхивающие то здесь, то там, могут быть рассматриваемы как первые и легкие предвестники попытки искоренить его вовсе, искоренить всюду на земле.

⁵ Т. е. рациональные теоретики устройства человека на земле без религии, и в частности теоретики новых форм организации труда и собственности.

⁶ Отчаяние экономических бедствий приведет (и уже приводит) к забвению всех других идеалов, которые первоначально были неотделимы от идеала равномерного распределения богатств: так, уже теперь крайние демократы становятся индифферентны к заветам политической и общественной свободы (конституционализму), а равно и к успехам наук и просвещения, готовые безразлично

разделиться между собою!¹ Убедятся тоже, что не могут быть никогда свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени — с земным? И если за Тобою, во имя хлеба небесного, пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного?"

XIII

"Или Тебе дороги, — продолжает Инквизитор, — лишь десятки тысяч великих и сильных, — остальные же миллионы, многочисленные, как песок морской, слабые, но любящих Тебя, должны лишь послужить матерьялом для великих и сильных?"

Этими словами начинается поворот в его мысли, обращение ее к вечному смыслу истории, который несовместим с абсолютною правдой и милосердием. Пока этот смысл только мельком указывается, но затем на нем именно Инквизитор и оснует свое отрицание.

Слишком известен взгляд, по которому высший цвет культуры вырабатывается только немногими избранными, людьми высших способностей; и для того, чтобы они могли выполнять свою миссию свободно и неторопливо, им доставляется обеспечение и досуг трудом и страданиями нищенской жизни огромных народных масс. Мы пройдем мимо этот взгляд, слишком грубый, чтобы на нем останавливаться, и приве-

соединиться и с военным деспотизмом, и с торжеством Церкви над государством, лишь бы сила, военная ли, церковная ли — для них все равно, — разрешила экономический вопрос, "накормила всех".

¹ При заботе "о хлебе едином" померкнет совесть в людях и с нею — страдание: так как невозможно этих чувств ни возвести "к хлебу", ни из "забот о нем" вывести. Каждый возьмет себе наибольшее, на что имеет право по количеству и качеству своего труда, и гений потребует, чтобы были удалены с пиришества неспособные, потому что они отнимают у него излишнее. В вопросе об устройении общества на экономических началах распределение продуктов производства, по праву — "suum cuique", по правде сердца человеческого — "Бог за всех", представляет главное и, в строгом смысле, неразрешимое затруднение. Именно оно является уже теперь предметом нескончаемых разногласий среди теоретиков общественной жизни; и если они так непримиримы в мысли, так несогласимы в книгах, то трудно и представить себе, к какому хаосу столкновений приведет неразрешимость этого вопроса в действительности, где господствуют страсти, где негодование и гнев не утихают по надобности и жалость имеет свою убедительность, где, наконец, всякая диалектика разбивается о честное непонимание людей сердца. Уже теперь можно предвидеть, что, согласно внутренним своим желаниям разрешившись, социальный кризис встанет перед диаметрально противоположными лозунгами "убрать неспособных, спрятать, свести на нет, поработить", и — "не надо гениев, излишни гении... и оскорбляют бедность нашу красотой своей духовной, и опасны". Философия Ницше, на наших глазах получающая распространение в Европе, есть раннее, но очень уже смелое выражение первого лозунга.

дем, чтобы сделать ясною последующую речь Инквизитора, слова из Откровения Св. Иоанна "о малом числе избранных и оправданных" в день Последнего Суда. Очевидно, этот именно высокий и проникающий в сердце образ имеет он в виду, развивая далее свою мысль:

"И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.

И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гусях своих.

Они поют как бы новую песнь пред Престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться этой песне, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.

Это те, которые не осквернились с женами — ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу.

И в устах их нет лукавства, они непорочны пред Престолом Божиим" (Апокал., гл. XIV, ст. 1—5).

Какой чудный, зовущий идеал в этом образе; как поднимает он в нас тоскующее желание; как мало удивляемся мы, только взглянув на него, глубокому и быстрому перевороту, какой совершило Евангелие на переходе из древнего мира в новый.

И, все-таки, именно потому, что красота идеала так велика, что один уже порыв к нему дает счастье, — в нас тотчас пробуждается неодолимая жалость к тем "многочисленным, как песок морской" человеческим существам, которые, выделив из себя эти "сто сорок четыре тысячи", — остались где-то забытыми и затоптанными в истории¹.

Это чувство жалости наполняет и душу Инквизитора, и он говорит твердо: "Нет, нам дороги и *слабые*", и быстро мелькает в его уме мысль о том, как он и те, которые поймут его, устроятся с этими слабыми: но уже устроятся совершенно одни, *без Него*, хотя, за отсутствием другой устроящей идеи, *во имя Его*:

"Они порочны и бунтовщики, — говорит он, — но под конец они-то и станут послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать, — так ужасно им станет под конец быть

¹ В главе "Кошмар Ивана Федоровича", которая вообще представляет вариации на "Легенду о Великом Инквизиторе", бес говорит: "Сколько надо было погубить душ... чтобы получить одного только праведного Иова" ("Бр. Карамазовы", т. 2, стр. 355. Изд. 1882 г.). Оставляя в стороне поверхностную мысль, будто для "свободного досуга" немногих, которые "возделывали бы науки и художества" (их истинно возделывают люди бедные и в постоянном труде живущие), нужен подавляющий, чрезмерный труд остальных, — мы укажем на другое, действительно существующее соотношение между "спасением одного" на счет гибели многих: спасаются через *трудное*, что, будучи чрезмерно для многих, и, между тем, ломая о себя и их, — губит их. Единичный пример лучше всего объяснит нашу мысль: высокое просвещение хорошо, всеми чтится и всех манит к себе; и так как в детстве ни о ком еще нельзя решить, способен он или нет к нему, то тысячи и десятки тысяч детей уродуются о трудную, сложную школу, чтобы выделить из себя несколько десятков истинно просвещенных людей; около которых остальные толпятся менее, чем только непросвещенною массою — массою *развращенною*.

свободными! Но мы скажем, что послушны Тебе и господствуем во имя Твое. Мы их обманем опять, ибо Тебя уже мы не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать”.

И затем он переходит к неугасимым требованиям человеческой души, зная которые и отвечая на них, можно и следует воздвигнуть окончательное, вековечное здание его земной жизни: “В вопросе о хлебах, — говорит он, — заключалась великая тайна мира сего; приняв *хлебы*, Ты бы ответил на всеобщую вековечную тоску человеческую — как одиночного существа, так и целого человечества вместе — это: “*пред кем преклониться*”. Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, — сыскать поскорее то, перед чем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все эти люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно *все вместе*. Вот эта потребность *общности* преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека одиночно, как и целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом¹. Они созидали богов и зывали друг к другу: “Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим”. И так будет до окончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно — падут пред идолами. Ты знал, Ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой; но Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось Тебе, чтобы заставить всех преклониться пред Тобою бесспорно, — *знамя хлеба земного*, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал Ты далее, — и все опять во имя свободы! Говорю Тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом давалось Тебе бесспорное знамя: дашь хлеб — и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба; но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо Тебя, — о, тогда он даже бросит хлеб Твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом Ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого заключается не в том, чтобы *только жить*, а в том, *для чего жить*. Без твердого представления себе, *для чего* ему жить, человек не согласится жить

¹ В “Подростке” Макар Иванович — старик, сходный по типу со старцем Зосимою в “Бр. Кар.,” говорит: “Невозможно и быть человеку, чтобы *не преклониться*, не *снесет* себя такой человек, да и *никакой* человек. И Бога отвергнет — так идолу поклонится, деревянному, или златому, или мысленному”. — Под “идолами”, перед которыми падут люди, отвергнув Бога истинного, разумеются идолы “мысленные”: разум обожествляемый и его продукты — философия и точные науки; или, наконец, идолы совсем грубые, каковы некоторые частные идеи этого самого разума, этой науки или философии: напр., идея утилитаризма. В этом месте “Легенды”, однако, говорится о преклонении мистическом, религиозном, напр. перед Христом, Магометом и пр.

и скорее истребит себя, чем останется на земле, — хотя бы кругом его все были хлебы¹. Это так. Но что же вышло? Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, Ты увеличил им ее еще больше! Или Ты забыл, что спокойствие и даже смерть человека дороже² свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот, вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда — Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, — и это Кто же? Тот, Который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того, чтоб овладеть людскою свободой, Ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека навеки. Ты возжелал *свободной любви человека*, чтобы свободно пошел он за Тобою, прельщенный и плененный Тобою. Вместо твердого древнего закона³, — свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою⁴, — неужели Ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и Твой образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут, наконец, что правда не в Тебе, — ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал Ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам Ты и положил основание к разрушению Своего же Царства, и не вини в этом никого более”.

Другими словами, учение, пришедшее спасти мир, — своею высотой и погубило его, внесло в историю не примирение и единство, но хаос и вражду. История не закончена; и, между тем, она должна закончиться, именно этого ищут народы в своей жажде найти предмет общего и согласного поклонения. Они и истребляют друг друга для того, чтобы,

¹ Черта, верно подмеченная и одна своим идеализмом уравнивающая все низкое, что в этой же “Легенде” приписывается человеку.

² Без сомнения, это обмолвка, и нужно читать “удобнее, выгоднее, нужнее и лучше”.

³ Т. е. Закона Ветхозаветного, который от Новозаветного действительно отличается дробностью, раздельностью, твердостью указаний и точностью мер наказания, за нарушение его назначаемого (см. Второзаконие). Можно сказать, перелагая все на юридические термины, что в Ветхом Завете даны *правила*, в Новом — *принципы*.

⁴ В трех этих строчках выражено понятие Достоевского о сущности христианства и указан руководительный принцип для деятельности христианина: *всегда мысленно предстоящее дело относить к Христу и спрашивать себя: совершил ли бы Он его или, видя, одобрил ли бы*, не нарушая при этом в своей мысли *цельности* Его образа, как Он передан нам евангелистами, *совокупности* всех черт его. Мы думаем, этот принцип есть истинный, и при соблюдении Его Евангелие никогда бы не могло быть подвергнуто тем насильственным применениям, каким, посредством уловления из него отдельных выражений, оно подвергалось в истории. Так, на выражении “*compelle intrare*” — “*понудь их (позванных) войти*” (на брачный пир жениха, в “Притче о званых и незваных”) основывала свое право на существование католическая инквизиция; или на выражении: “*Мое царство не от мира сего*” и до сих пор многие основывают требование безучастного отношения Церкви к греху, к преступлению “мира” (целого общественно-исторического строя).

хотя путем гибели многих непримиренных, наконец соединились оставшиеся. Христианство не ответило этой потребности человеческого сердца, предоставив все индивидуальному решению, ложно понадеявшись на человеческую способность к различению добра и зла. Даже древний, не столь высокий, но точный и суровый закон более удовлетворял этой потребности: побиение камнями извергало всякого, кто отступал от него, и люди оставались в единстве, хотя насильственным. Еще лучше ответило бы этой потребности, правда, уже совсем грубое средство — “земные хлебы”, *закрытие* от глаз человека всего *небесного*. Напитав его, оно усыпило бы тревоги его совести.

Мы не отойдем, кажется, далеко от истины, если скажем, что с искушением прибегнуть, овладевая судьбами человечества, к “земным хлебам” здесь разумеется один страшный, но действительно мощный исход из исторических противоречий: это — *понижение психического уровня* в человеке. Погасить в нем все неопределенное, тревожное, мучительное, упростить¹ его природу до ясности коротких желаний, понудить его *в меру* знать, *в меру* чувствовать, *в меру* желать — вот средство удовлетворить его, наконец, и успокоить...

XIV

Все более и более склоняя свою речь к переходу от хаоса, в который ввергло человечество Христианство и его учение о свободе, к изображению будущего, и окончательного успокоения его на земле, Инквизитор обращается к разбору двух остальных искушений дьявола. Вот слова, в которых они записаны у евангелистов Матфея и Луки:

“Тогда берет Его дьявол у Святой Град и поставляет Его на крыле храма и говорит Ему: “Если Ты Сын Божий — бросься вниз; ибо о Том написано: *Ангелом своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею*”. Иисус же сказал ему: “Написано также — *не искушай Господа Бога Твоего*”.

“И вновь берет Его Дьявол и, возведя на высокую гору, показывает все царства Вселенной во мгновении времени; и говорит Ему: “Все это дам Тебе, если, падши, поклонись мне”. Тогда Иисус говорит ему: “Отойди от меня, Сатана! Ибо написано — *Господу Богу твоему поклоняйся и Ему Единому служи*”.

“Тогда оставляет Его Дьявол, и се Ангелы приступили и служили ему” (Матф., гл. IV, ст. 5—11, Луки, IV, 5).

Инквизитор, сказав об элементах саморазрушения, которыми наполнено Христианство, продолжает, обращаясь к Христу: “Между тем, то ли предлагалось Тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и *пленишь совесть* этих слабосильных бунтовщиков для их счастья. Эти силы: *чудо, тайна и авторитет*. Ты отверг и то, и другое, и третье, и Сам подал пример тому. Когда страшный

¹ В “Бесах” одно из лиц, только почти называемое (Шигалев), высказывает идею этого упрощения человеческой природы, понижения в ней психического уровня. Ее можно считать ранним и более подробно мотивированным изложением данного места “Легенды”. См. *Приложения*.

и премудрый Дух поставил Тебя на вершине Храма и сказал Тебе: "Если хочешь узнать, Сын ли Ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про Того, что ангелы возьмут и понесут Его, и не упадет, и не преткнется, и узнаешь тогда, Сын ли Ты Божий, и докажешь тогда, какова вера Твоя в Отца Твоего", — то Ты, выслушав, отверг предложение, и не поддался, и не бросился вниз. О, конечно, Ты *поступил тут гордо и великоленно, как Бог*, но люди-то, но слабое бунтующее племя это — оно-то боги ли? О, Ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, движение броситься вниз, Ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в Него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасти пришел, и *возрадовался бы умный Дух*, искушавший Тебя".

Удивительно неверие в мистический акт искупления, выраженное в *первых* отмеченных нами словах, соединенное с совершенною верою в искушение Иисуса и даже в мистическое значение этого искушения, в попытку Дьявола помешать пришествию Его как Спасителя в мир, которая выражена в *последних* отмеченных словах.

"Но, повторяю, — продолжает Инквизитор, — много ли таких, как Ты? И неужели Ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтобы отвергнуть чудо — и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных, основных и мучительных душевных вопросов¹ своих оставаться лишь с свободным решением сердца? О, Ты знал, что подвиг Твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен² и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя Тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергает и Бога³, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных⁴, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству⁵, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда

¹ Говорится об отношении человека к мистическому акту Искупления, верою в который он жив будет, — и нужно бы эту веру, эту жизнь подкрепить чем-нибудь более, нежели как только подкрепляет ее высота Христова лика.

² Опять, какая удивительная вера звучит в этих словах!

³ Говорится, и с справедливим презрением, о том, как в истории — и до нашего времени — борьба против религии почти отождествлялась с борьбою против чудесного, равно и обратно; и как, едва распутав что-нибудь, прежде казавшееся в природе сверхъестественным, человек трусливо перебежал от веры к неверию.

⁴ Говорится о позднейших открытиях науки и, еще более, о технических изобретениях, которым так дивится человек в наше время, так снова и снова любит повторять себе о них, едва веря, что они есть и что их нашел он сам — человек.

⁵ Говорится о той особенной заинтересованности, с которою во времена безбожия люди прислушиваются ко всему странному, исключительному, в чем бы нарушился закон природы. Можно сказать, что в подобные времена ничто не ищется людьми с такою жадностью, как именно чудесное, — но лишь с неприменным условием, чтобы оно не было также и божественным. Увлечения спиритизмом, о которых с насмешкою упоминается в "Дневнике писателя", без сомнения, напомнили Достоевскому общность и постоянность этой психической черты в человеке (срав. суеверное состояние римского общества, когда оно впало в совершенный атеизм во II—III веках).

кричали Тебе, издеваясь и дразня Тебя: *сойди со креста — и уверуем, что это Ты*. Ты не сошел: потому что, опять-таки, не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим¹. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко, ибо — конечно, они невольники, хотя созданы бунтовщиками. Озрись и суди; вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого Ты вознес до Себя? *Клянись, человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал..*² Столь уважая его, Ты поступил как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него потребовал, и это кто же? Тот, Который возлюбил его более Самого Себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его”.

Из чрезмерной высоты заветов Спасителя вытекло непонимание их человеком, сердце которого извращено и ум потемнен. Над их великою непорочностью, чудною простотою и святостью, он наглумится, надругается, — и это одновременно с тем, как преклонится перед вульгарным и грубым, но поражающим его пугливое воображение. Мощными словами Инквизитор рисует картину восстания против религии, только малый уголок которого видела еще всемирная история, и проницающим взглядом усматривает то, что за этим последует:

“Человек слаб и подл. Что в том, что он теперь³ повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует! Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу⁴ ребятишек — он будет дорого

¹ Говорится о неизъяснимой высоте Христианства, с его простотою и человечностью, над всеми другими религиями земли, в которых элемент чудесного так преобладает над всем остальным, которые исторически возникли из страха перед этим чудесным.

² Основная мысль “Легенды”. Ниже мы также отметим несколько фраз, в которых как бы сконцентрирован ее смысл или, точнее, указаны ее *исходные пункты*.

³ Говорится не о реформационном движении, современном диалогу “Легенды”, потому что дух глубокой веры, проникший это движение, был слишком высок для презрительного отзыва о нем (см. несколько слов об этом духе у Достоевского в “Речи о Пушкине”, по поводу стихов: “Однажды странствуя среди пустыни дикой” и проч.). Без сомнения, слова “Легенды” вызваны антирелигиозным движением отчасти XVIII, но главным образом нашего XIX века, в котором на борьбу с религией также мало тратится усилий и серьезности, как и на борьбу с какими-нибудь предрассудками.

⁴ И приходит, напр., в наше время по отношению к недавнему антирелигиозному движению, и во всякое другое, более серьезное время по отношению ко всякому же предшествующему восстанию против религии. Так, сама реформация как индивидуальное искание Церкви возникла после кощунственно относившегося к религии гуманизма; а за эпохою французской революции настали времена Шатобриана, Жозефа де Местра и других с их вычурными идеями и смятением чувства. Истинное отношение к этим и аналогичным движениям верно указано Достоевским: это не вера настоящая, простая и сильная, но испуг и смятение вчерашних кощунствовавших школьников; это не Бог, в человеке действующий, а человек, подражающий наружно движениям и словам тех, в ком Он истинно действовал, кого истинно призвал к Себе когда-то (праведники).

стоять им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю¹. Но догадаются, наконец, глупые дети, что хотя они бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие². Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются, наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел *посмеяться* над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, — ибо природа человеческая не выносит богохульства и, в конце концов, сама же всегда и отмстит за него³.

Затем, подводя общий итог совершившемуся в истории, Инквизитор переходит к раскрытию своей тайны, которая состоит в *поправлении Акта Искупления* через принятие всех трех советов "могучего и умного Духа пустыни", — что, в свою очередь, совершилось ради любви к человечеству, для устроения земных судеб его. Оправдание им этого преступного исправления возводится к тому образу немногих искупаемых, которых мы привели выше из XIV гл. Апокалипсиса; припоминая его, он говорит:

"Итак, беспокойство, смятение и несчастье — вот теперешний удел людей после того, как Ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк Твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч⁴. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест Твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаюсь акридами и кореньями, — и, уж, конечно, Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя Твое⁵. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? *Чем виновата слабая душа, что не в силах вмес-*

¹ Говорится не о временах первой французской революции, как можно бы подумать, но о том, что непременно совершится в будущем, — о попытке насильственно подавить в целом человечестве религиозное сознание. Слова эти соответствуют некоторым уже приведенным выше местам "Легенды".

² Достоевский, всегда стоя выше своих героев (на которых никогда не любит, но, скорее, выводит их для выражения своей мысли), любит наблюдать, как, несмотря на великие свои силы, они ослабевают под давлением душевных мук, как они не выдерживают своей собственной "широты" и преступности, хотя прежде возводили это в теорию (последний разговор Н. Ставрогина с Лизью в "Бесах", последнее свидание Ив. Карамазова со Смердяковым). Почти повсюду изображение очень сильного человека, если он не оканчивает раскаянием (как Раскольников), у Достоевского завершается описанием как бы расслабления его сил, унижением и издевательством над "прежним сильным человеком".

³ В гл. VII Апокалипсиса делается предварительное исчисление спасаемых, по 12 тысяч в каждом из колен Израилевых, которые в XIV гл. и называются все в общей цифре 144 тысячи.

⁴ Какое удивительное, глубокое и верное понимание истинного смысла духовной свободы; свободы *от себя, от низкого* в природе своей, во имя высшего и святого, что почувствовал и признал своею лучшею стороною вне себя. На эту свободу указывается здесь в противоположность грубому ее пониманию: как *независимости низкого в себе* от руководства ли, или подчинения какому-нибудь высшему, вне лежащему началу.

ть столь страшных даров?¹ Да неужто же и впрямь приходил Ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут — тайна, и не понять ее”.

XV

Здесь, на этой непостижимости, что Тайна Искупления, совершившись в высоких формах, оставила *вне себя безвинно слабых*, и начинается вступление диалектики Инквизитора в новый, высший круг: отвержение самого Искупления; как выше, в исповеди Ив. Карамазова, на непостижимости тайны безвинного страдания основывалось отвержение им будущей жизни, Последнего Суда. Отрицания *бытия* этих актов — нет; есть, напротив, яркость их ощущения, доходящая до ослепительности; есть против них *восстание*, есть *отпадение* от Бога, второе на исходе судеб, после завершившейся истории, но во всем подобное тому первому отпадению, какое совершилось и перед началом этих судеб, — однако с сознанием, углубленным на всю их тяготу.

“Если же — *тайна*, — говорит Инквизитор, — то и мы вправе были проповедовать *тайну* и учить их, что не свободное решение сердец их важно² и не любовь, а — *тайна*, которой они повиноваться должны *слепо*, даже *мимо их совести*. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг Твой и основали его на *чуде, тайне и авторитете*. И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки³. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь Ты пришел нам мешать? И что Ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви Твоей, потому что сам не люблю Тебя. И что мне скрывать от Тебя? Или я не знаю, с Кем говорю? То, что имею сказать Тебе, все Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих. И я ли скрою от Тебя тайну нашу? Может быть, Ты именно хочешь услышать ее из уст моих,

¹ Вторая центральная мысль “Легенды”.

² Это положение, как известно, составляет действительно особенность католического учения, и она именно повела ко всему формализму в Западной Церкви и к нравственному растлению народов, ею пасомых. Из него вытекло так называемое учение о “добрых делах”, которые, как бы ни совершались, хотя бы совершенно механически, — для души одинаково спасительны (отсюда — индульгенция, т. е. отпущение грехов первоначально шедшим, в Крестовых походах, положить жизнь за веру и Церковь, потом каким-нибудь образом способствующим этому и, наконец, вообще делающим денежные пожертвования на нужды Церкви: откуда уже только один шаг до продажи за различную цену спасающих от греха писанных бланков). На этом именно средстве оправдания и разошелся протестантизм со старою Церковью, противопоставив ее формальному способу спасать души людей через мертвенное дело — оправдание *верою*, т. е. актом живого внутреннего движения.

³ Т. е. свобода и свободное различение добра и зла.

слушай же: мы не с Тобой, а с *Ним*, вот наша тайна!.. Мы взяли от Него то, что Ты с негодованием отверг: тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч Кесаря”.

С этих только слов начинается раскрытие частной католической идеи в истории. Все, что было сказано раньше, имеет совершенно общее значение, т. е. представляет собою *диалектику Христианства* в его основной идее, одинаковой для всех верующих, в связи с раскрытием природы человеческой, осуждением ее и к ней состраданием. Но, развиваясь далее и далее и, наконец, заканчиваясь мыслью о религиозном устройении человеческих судеб на земле, *окончательно и всеобщем*, эта диалектика, до сих пор совершенно абстрактная, — совпала с историческим фактом, ей отвечающим, и невольно вовлекла его в себя, цепляясь оборотами мысли с выдающимися чертами действительности. Этот факт — Римско-католическая церковь с ее универсальными стремлениями, с ее внешне объединяющею мощью; христианское семья, выросшее на почве древнего язычества.

Инквизитор, оговариваясь, что дело их еще ”не приведено к окончанию”, что оно ”только началось”, высказывает, тем не менее, твердую уверенность, что оно завершится: ”Долго еще ждать этого, — говорит он, — и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей¹. А, между тем, Ты мог бы еще и тогда взять меч Кесаря. Зачем Ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего Духа, Ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: *пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться*, наконец, всем в бесспорный общий и согласный муравейник². Ибо потреб-

¹ Мысль исключительно Достоевского и вовсе не принадлежащая Риму, который если и стремился в древнее и новое время к всемирному господству, то вовсе не для ”счастья людей”. Из этого примера лучше всего можно видеть, как влетает Достоевский в исторический факт, как его душу, *свою особенную и личную мысль*.

² Это уже язык и мысли, специально выработавшиеся у Достоевского и звучащие несколько странно в устах Инквизитора, в XVI веке. ”Муравейник”, ”Хрустальный дворец” и ”Курятник” — это три образные выражения идеи всемирного соединения людей и их успокоения, которые впервые обсуждаются у Достоевского в ”Записках из подполья”. ”Курятник” — это бедная и неудобная действительность, которая, однако, предпочтительнее всего другого, потому что она хрупка, всегда может быть разрушена и изменена, и, следовательно, не отвечая второстепенным требованиям человеческой природы, отвечает главной и самой существенной ее особенности — свободной воле, прихотливому желанию, которое не погашается в индивидууме. ”Хрустальный дворец” — это искусственное, возведенное на началах разума и искусства, здание человеческой жизни, которое хуже всякой действительности, потому что, удовлетворяя всем человеческим нуждам и потребностям, не отвечает одной и главной — потребности индивидуального, особенного желания; оно подавляет личность. В ”Записках из подполья” отвергается вторая формула и оставляется первая, за отсутствием для человека третьей — ”Муравейника”: под этим названием разумеется всеобщее и согласное соединение живых существ какого-либо вида, основанное на присутствии в них одного общего и безошибочного инстинкта построения общего жилища. Таким инстинктом наделены все живущие обществами животные (муравьи), но его лишен

ность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей¹. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно *всемирно*. Много было великих народов с великою историею, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингисханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную; но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру Кесаря, Ты основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы и взяли меч Кесаря, а, взяв его, конечно, — отвергли Тебя и пошли за *Ним*".

Таким образом, в советах "могучего и умного Духа", искушавшего в пустыне Иисуса, заключалась тайна всемирной истории и ответ на глубочайшие требования человеческой природы; советы эти были преступны, но это потому, что самая природа человека уже извращена. И нет средства иначе как через преступление ответить на ее требования, нет возможности другим способом устроить, сберечь и пожалеть племя извращенных существ, как приняв это самое извращение в основу; собрать их рассыпавшееся стадо извращенною мыслью, ложь которой ответила бы лжи их природы.

XVI

Большого отчаяния, чем какое залегло в эту странную и очень трудно опровержимую идею, никогда не было. Можно сказать, что это — самая грустная мысль, когда-либо проходившая через человеческое сознание, и приведенная страница — самая тяжелая в целой всемирной литературе. Полным отчаянием она и кончается — падением лжи, за которою не стоит никакой правды, разрушением обмана, которым еще только и могут жить люди. Это высказано как толкование на таинственные слова XII, XVII и XVIII глав Откровения Св. Иоанна, в которых, по толкованиям богословов, аллегорически представлены, под образом "Жены", судьбы Ветхозаветной и Новозаветной Церкви на земле. Вот эти слова:

"И явилось на небе великое знамение: "Жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения.

человек; поэтому в то время, как они строят всегда одинаково, повсюду одно и постоянно мирно, человек строит повсюду различное, вечно трансформируется в своих желаниях и понятиях; и едва приступит к построению всеобщего — разойдется в представителях своих, единичных личностях, и притом со смертельною враждою и ненавистью. Эти три формулы необходимо постоянно помнить при чтении сочинений Достоевского. Детальное изложение их см. в *Приложениях*.

¹Нужно различать это "соединение" от "всеобщего преклонения" перед чем-нибудь человеческой совести, о котором говорилось раньше. То было внутреннее, душевное соединение людей, здесь говорится об их внешнем соединении, о согласной общественно-исторической жизни. Между этими двумя понятиями есть соотношение, но не тождество; соответствуя друг другу, как душа и тело, они суть части одного третьего — всемирной гармонии человеческой жизни.

И другое знамение явилось на небе: вот большой красный Дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем; хвост его увлек с неба третья часть звезд и поверг их на землю.

Дракон сей стал перед Женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и Престолу Его.

А Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там тысячу двести шестьдесят дней...”

Далее описывается судьба Дракона. ”И низвержен был великий Дракон, древний Змей, называемый Диволом и Сатаной, обольщающий всю вселенную... И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его; потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей, даже до смерти...”

Когда же Дракон увидел, что он низвержен на землю, то начал преследовать Жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были Жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню, в свое место, от лица Змея, и там питалась в течение времени, времен и полвремени. И пустил Змей из пасти своей вслед Жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла Жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил Дракон из пасти своей.

И рассвирепел Дракон на Жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа”.

Затем образы меняются; является новое видение, о котором было говорено уже выше: из вод морских выходит Зверь, которому Дракон передает свою силу и власть. Очевидно, именно через него он восстает на брань с ”сохраняющими заповеди Божии”. Вся земля следит за ним с удивлением; народы преклоняются перед его чудною мощью, потому что он творит всякие знамения и даже низводит с небес огонь. Он кладет свою печать на людей, и ее принимают все, ”имена которых не написаны в книге Агнца”. Видение снова меняется: показывается Агнец, ”закланный от создания мира”, и с ним сто сорок четыре тысячи, искупленных его кровью, которые не осквернились земною скверною. Пролетает Ангел, в руках которого Вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. За ним следует другой Ангел, восклицая: ”Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы”. Это первое предвозвестие великого падения, изображение которого еще впереди, но оно уже надвигается. Появляется светлое облако, и на нем ”подобный Сыну Человеческому”, держащий острый серп. Ангел говорит ему: ”Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, — ибо жатва на земле созрела”. И великая жатва совершается. Потом открывается новое видение: победившие Зверя и образ его и начертание его и число имени его стоят, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: ”Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто

не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, — ибо открылись суды Твои!” Вслед за этим выходят семь Ангелов, держащих семь фиалов гнева Божия, и изливают их на землю. Муки постигают людей, поклонившихся образу Зверинуму и принявших начертание его, вся природа извращается в свойствах своих, и страдания все возрастают. “И они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу”. Когда пятый Ангел излил свой фиал, — “Царство Зверя стало мрачно, и люди кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих; и не раскаялись в делах своих”. Когда излился на землю последний фиал гнева Божия, из таинственного храма на небесах, где стоит Престол Бога, послышался голос, говорящий: “Свершилось”, и вслед за тем открывается видение суда над блудницею:

“И пришел один из седми Ангелов, имевших фиалы, и сказал мне: “Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, *сидящею на водах многих*.”

С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле”.

“И повел меня в духе в пустыню; и я увидел Жену, *сидящую на Звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами*.”

И Жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью и нечистотою блудодействия ее.

И на челе ее написано имя: Тайна, Вавилон Великий, Мать блудницам и мерзостям земным.

Я видел, что Жена упоена была кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых, — и, видя ее, дивился удивлением великим”.

Видя его удивляющимся, Ангел делает ему пояснения:

“Воды, которые ты видел, где сидит блудница, — суть люди и народы, и племена, и языки.

И десять рогов, которые ты видел на Звере, *сии возненавидят Блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне*. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его.

Жена же, которую ты видел, — есть великий город, царствующий над земными царями”.

Вслед за этим наступает видение и самого суда торжествующей блудницы, “введшей волшебством своим в заблуждение все народы” (XVIII, 23) и “растлившей землю своим блудодейством” (XIX, 2). Цари земные, которые с нею блудодействовали, и торговцы, обогатившиеся от нее, “стоят вдали, от страха мучений ее плача и рыдая”, и, ударяя в груди свои, восклицают горестно и изумленно: “Какой великий город был подобен этому!”

Чтобы стал более понятен смысл всех этих слов, заметим, что после суда над блудницею сходит на последнюю брань со Зверем и с народами, которые поклонились ему, поражены были язвами, но еще не побеждены, “Господь господствующих и царь царствующих”, и о Нем повторяются (XIX, 15) слова, сказанные о младенце, рожденном Женою, которого хотел поглотить Дракон, но он был взят к Богу.

Теперь мы будем продолжать речь Инквизитора уже без перерывов. Сказав, что он и с ним единомышленные, отвергнув Христа и приняв советы Дьявола, овладеют совестью людей, и мечом и царством Кесаря, он так представляет отношение к себе человечества, для которого все это сделано:

”Пройдут еще века бесчинства свободного ума их, их науки и антропофагии, — потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией”.

Наука, как точное познание действительности, не заключает в себе никаких неодолимо сдерживающих нравственных начал, — и, возводя, при помощи ее, окончательное здание человеческой жизни, никак нельзя отрицать, что, когда потребуется, не будет употреблено и чего-нибудь жестокого и преступного. Идея Мальтуса (разделяемая даже таким мыслителем, как Д. С. Милль), что единственное средство для рабочих классов удержать на известной высоте заработную плату заключается в воздержании рабочих от брака и семьи, чтобы не размножить свое число, другими словами, — в низведении громадной массы женщин на степень только придатка к известной мужской функции, может служить примером жестокости и безнравственности, до которой может доходить теоретическая мысль, когда ей не закрывает уста незыблемый религиозный закон. И в самом деле, так как наукою же найдены безболезненные способы умирать (увеличенные дозы анестезирующих средств), то почему не явиться второму Мальтусу, так же одушевляемому ”любовью к ближнему”, как и первый, который скажет, что ”пусть браки будут, но дети от них пусть поедаются”, — что может делаться ”не непременно родителями”, не будет стоить никакого страдания и станет ”выгодным для всего человечества”.

”Но тогда-то и приползет к нам Зверь, — продолжает Инквизитор, — и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. Но мы сядем на Зверя и воздвигнем чашу и на ней будет написано: *Тайна*. Но тогда лишь, и только тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у Тебя лишь *избранники*, а мы успокоим *всех*. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, *устали, наконец, ожидая Тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву, — и кончат тем, что на Тебя же и воздвигнут свободное знамя свое*. Но Ты сам воздвиг это знамя”.

Какие удивительные слова, какое глубокое понимание всего антирелигиозного движения великих европейских умов в последние столетия, с признанием мощи их и великодушия, с грустью за них, но и вместе с указанием их заблуждения.

”У нас же *все* будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе Твоей повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей *для нас и нам покорятся*. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудами и неразрешенными тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые,

истребят себя самих¹, другие, непокорные, но малосильные и несчастные, истребят друг друга², а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: "Да, вы были правы, вы одни владели тайной Его, и мы возвращаемся к вам: спасите нас от себя самих"³.

В абсолютной покорности и безволии масс откроется это спасение. Ничего не привнесут нового им мудрые, взявшие у них свободу; но что прежде было недостижимо — они достигнут, мудро направив их волю и распределив их труд:

"Получая от нас хлеба, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлеба, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать без всякого чуда; увидят, что не обратили мы камней в хлеба, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлеба, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлеба".

Это говорится о нашем времени, когда, при свободном соперничестве, несмотря на необъятные массы производимых продуктов, — необъятные народные массы едва влачат скудное существование, и все уходит куда-то, расточается, пропадает вследствие несогласованности между собою человеческих желаний и действий. Напротив, когда укоротятся желания роскошествующих теперь и согласуется в одно целое труд всего человечества, даже если он и не будет обременителен, как теперь повсюду, — произведенных продуктов хватит для безбедного существования всех.

"Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться!"⁴ И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. *Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы*⁵. О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо Ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но *что детское счастье слаще всякого*. Они станут робки и станут прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что

¹ Теоретическая мысль, оправдывающая "самоистребление", изложена Достоевским в "Дневнике писателя", по поводу одного самоубийства. См. *Приложение*.

² Соответствующую мысль см. в "Бесах", слова Кирилова Петру Верховенскому перед самоубийством: "Убить *другого* будет самым низким пунктом моего своеволия, и в этом (предложении) — весь ты. Я не ты: я хочу высший пункт и себя убью", стр. 552, изд. 82 г.

³ Основная задача истории, — которая при слиянии в одно субъекта и объекта (и спасаемый, и спасающий есть человек) неразрешима и разрешается лишь при их разделении (в религии, где спасаемый есть человек и спасающий его есть Бог).

⁴ "В мире одного недостает, одному нужно устроиться — *послушанию*", — говорит Достоевский в "Бесах" (устами Петра Верховенского). Изд. 1882 г., стр. 374.

⁵ Эти и тотчас ниже отмеченные слова составляют третью центральную мысль "Легенды".

смогли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и смеху, светлой радости и счастливой детской песенке¹. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хорами, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех²; они слабы и бессильны, они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя³. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи перед Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, все судя по их послушанию, — и они будут нам покоряться с веселием и радостью. Самые мучительные тайны их совести, — все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного”.

Едва ли в последних словах не содержится указание и на возможность регулировать самое народонаселение, его рост или умаление, — все смотря по нуждам текущего исторического момента. Общая же мысль этого места состоит в том, что весь размах страсти будет удален из человечества, людям будут оставлены лишь подробности и мелочи греха, а его во всей его глубине возьмут те, которые в силах сдерживать всякий размах и вынести всякую тягость. Таким образом и неразрешимые противоречия истории, и непостижимые тайные движения человеческой души — все то, что мешает человеку жить на земле, — будет сосредоточено на плечах немногих, которые в силах выдержать познание добра и зла. Можно сказать, — история умолкнет, и останется только тайная история немногих великих душ, которой, конечно, никогда не будет суждено стать рассказанною.

XVII

”И все будут счастливы, — заканчивает Инквизитор, — все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие *тайну*, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое,

¹Это ”расслабление” человеческой природы, в сущности, тождественно искусственному ”понижению” ее психического уровня и только совершится не насильственно, но мирно.

²Преступное в истории, став предусмотренным и разрешенным в пределах необходимого, тотчас утратит свой опасный и угрожающий характер.

³Вся эта картина будущей полубезгрешной жизни повторяется Достоевским еще раз в ”Подростке”, в разговоре Версилова с своим сыном.

— и за гробом обрящут лишь смерть¹. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо *если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они*".

Гордость слов этих, так просто сказанных, неизъяснима: за ними чувствуется мощь, действительно свободно озирающая нескончаемые пути истории и твердо взвешивающая в своей руке меру человеческого сердца и человеческой мысли. Мы не удивляемся, слыша далее такие слова, относящиеся к приведенному выше Откровению Св. Иоанна:

"Говорят и пророчествуют, что Ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими: но мы скажем, что они спасли лишь себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет Блудница, сидящая на Звере и держащая в руках своих тайну, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее "гадкое" тело. Но я тогда встану и укажу Тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред Тобою и скажем: *суди нас, если можешь и смеешь*. Знай, что я не боюсь Тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благоволил свободу, которую Ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников Твоих, в число могучих и сильных с жадной "восполнить число". Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые *исправили* подвиг Твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренному для счастья этих смиренных. То, что я говорю Тебе, сбудется, и царство наше соиздается. Повторяю Тебе, завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгрести горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто более всех заслужил наш костер, то это — Ты. Завтра сожгу Тебя. *Дixi*".

Инквизитор останавливается. Среди глубокого безмолвия тесной сводчатой тюрьмы он глядит на своего Узника и ждет Его ответа. Ему тягостно молчание и тягостен проникновенный и тихий взгляд, которым Он продолжает еще смотреть на него, как и во все время речи. Пусть бы что-нибудь горькое и страшное сказал Он, но только не оставлял бы его без ответа. Вдруг Узник приближается к нему и молча целует его в его бледные, старческие уста. "Вот и весь ответ". Инквизитор вздрогнул, что-то зашевелилось в его губах. Он подходит к двери, отворяет ее и говорит Ему: "Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!" Узник выходит на "темные стогна града". Севильская ночь также бездыханна. С темных небес яркие звезды льют тихий свет на безмятежную землю. Город спит; и только старик стоит и смотрит на дремлющую природу, у отворенной двери, с тяжелым ключом в руке. На его сердце горит поцелуй, но... "он остается в прежней идее", и... его Царство соиздается.

Так оканчивается поэма. Века снова сдвигаются, умершие уходят в землю, и перед нами снова маленький трактир, где двое братьев час тому назад заговорили о разных тревожных вопросах. Но, что бы они ни говорили теперь, мы их не будем более слушать. Душа наша полна иных

¹ Сравни тон и мысли в указанном уже выше месте "Подростка".

мыслей, и в ушах все звучит точно какая-то мефистофелевская песнь, пропетая с надзвездной высоты над нашею бедною землей.

Мы расчленили ее на части и вдумались в каждое ее слово; но вот они прозвучали все, и у нас остается только воспоминание о целом, в котором мы еще не отдали себе отчета.

Прежде всего нас поражает необыкновенная сложность ее и разнообразие, соединенные с величайшим единством. Самая горячая любовь к человеку в ней сливается с совершенным к нему презрением, безбрежный скептицизм — с пламенной верою, сомнение в зыбких силах человека — с твердою верою в достаточность своих сил для всякого подвига; наконец, замысел величайшего преступления, какое было совершено когда-либо в истории, с неизъяснимо высоким пониманием праведного и святого. Все в ней необыкновенно, все чудно. Точно те зыбкие струи добра и зла, которые льются и переливаются в истории, сплетая ее многосложный узор, вдруг соединились, слились между собою; и, как в тот первый момент, когда человек впервые научился различать их и начал свою историю, мы снова видим их нераздельными — и, так же, как он тогда, поражены ужасом и недоумением. Где Бог, и истина, и путь? — спрашиваем мы себя, потому что вдруг, как никогда еще, чувствуем неудержимую свою гибель, ощущаем приближение страшного и отвратительного существа, о котором нам так много передавали в поэзии и прозе, что мы серьезно начали считать его простой забавой фантазии, и вдруг теперь слышим его леденящее прикосновение и звук его голоса. Один человек, который жил между нами, но, конечно, не был похож ни на кого из нас, непостижимым и таинственным образом почувствовал *действительное* отсутствие Бога и присутствие *другого* и перед тем, как умереть, передал нам ужас своей души, своего одинокого сердца, бессильно бьющегося любовью к Тому, Кого — нет, бессильно убегающего от того, кто — есть. Всю жизнь он проповедывал Бога, и из тех, которые слышали его, одни смеялись над его постоянством и негодовали на его привязчивость, другие ей умилялись, на него указывали. Но он будто не слышал ни этого негодования, ни этого умиления. Он все говорил одно, и только удивительно было всем, почему он, с такою радостною, утешительною идеею в сердце, сам так беспросветно сумрачен, так тосклив и тревожен. Он говорил о радости в Боге, он указывал на религию, как на единоспасительную для человека, и слова его звучали горячо и страстно, и самую природу, о которой он никогда не упоминал обыкновенно, он как будто начинал любить в это время, понимать ее трепет, красоту и жизнь¹. Точно как и она увяла от дыхания какого-то ледяного ощущения в душе его и оживала, когда он забывался от него хоть в звуке своих слов. Были и признания в его словах, но они все были непоняты. Он проговаривался, что человек, у которого действительно нет Бога в душе, тем и страшен, что "приходит с именем Бога на устах"². Эти слова читали, но их смысла никто не уразумевал. И он сошел в могилу, не признанный, но тайну души своей не

¹Сравни описание природы (точнее, — скудные слова о ней) в "Бедных людях", в "Записках из подполья" и пр. со словами о ней старца Зосимы ("Братья Карамазовы") и Макара Ивановича ("Подросток").

²"Подросток", стр. 363 (изд. 82 г.).

унес с собою; точно толкаемый каким-то инстинктом, вовсе не чувствуя еще приближения смерти, он оставил нам удивительный образ, взглянув на который мы наконец все понимаем. "И ты с ним", эти слова, которые обращает горестно Алеша к своему брату, когда выслушал его рассказ, мы неудержимо обращаем к самому автору, который так ясно стоит за ним: "И ты с ним, с могучим и умным Духом, предлагавшим искушающие советы в пустыне Тому, Кто пришел спасти мир, и которые ты так хорошо понял и истолковал, как будто придумал их сам!" Признание в частном письме, которое делает Достоевский задолго до написания романа и которое мы указали выше, и слова, написанные им в своей записной книжке незадолго до своей смерти: "моя осанна сквозь горнило испытаний прошла", и ссылка при этом именно на "Легенду"; наконец, совершенная отдельность легенды от романа и вместе центральное ее положение не только в нем, но и во всем длинном ряде его произведений — все это не оставляет в нас более сомнений насчет истинного ее смысла. Душа автора, очевидно, вплелась во все удивительные строки, которые мы выписали выше, лица перемешиваются перед нами, сквозь одно из-за другого, мы забываем говорящее лицо за Инквизитором, мы видим даже и не Инквизитора, перед нами стоит Злой Дух, с колеблющимся и туманным образом, и, как две тысячи лет назад, развивает свое искушительное слово, так кратко сказанное тогда. И в самом деле, ему нужно говорить подробнее: его слушают теперь люди, и нельзя перед ними в двух-трех словах замыкать всю историю.

XVIII

Тонкая, искушительная и могучая диалектика его так и начинается, как она должна была начаться. Он называется "клеветником", — с клеветы на человека и начинается его речь.

Человеческая природа — есть ли она в основе своей добрая и только искажена привнесенным злом? или она от начала злая и только бессильно стремится подняться к чему-то лучшему? — вот затруднение, решив которое в одну сторону, он основал на нем всю свою мысль. Человек померкающая ли искра, или он — холодный пепел, который можно только зажечь со стороны; что такое он в сокровенной своей сущности — вот на что мы должны ответить, прежде чем решимся бороться с ней далее.

Только раз дрогнула его речь, только однажды он оговорился: это когда заметил, что за тем, кто поманит человека истиной, он побежит, "бросив даже и хлебы". — "В этом Ты был прав", — оговорился он. В мимолетном смущении этом не раскрылась ли, чтобы вновь закрыться, настоящая истина? И если — да, то существуют ли какие-нибудь способы вывести ее к свету нашего ясного сознания?

Искусительно развивается его диалектика: он берет самое важное — отношение человека к Богу и этим отношением измеряет низость и постоянство его падения. Стоя перед ликом Бога, между Ним и человечеством в его тысячелетних судьбах, он указывает на Его святой образ и, показав, что даже и над Ним сумел надругаться человек, спрашивает

о мере его истинного достоинства. Кажется, что защищать себя — значит здесь не чувствовать святости образа, уже одною попыткою к оправданию — лишаться всякого на него права; как, подобным же образом, ранее одна попытка не отказаться от правосудия Божия казалась ужасающим оскорблением для безвинно страдающих в роде людском. Чудная, в самом деле, речь перед нами: Божество и соединенный с Ним человек непреодолимо разъединяются, и всякое усилие помешать этому кажется восстанием именно против Божества или против самого человека.

Но фактами временного отпадения человека от Бога нельзя разрешить вопроса о добре и зле, заложенном как основа в его природе. Разве не столько же есть фактов неудержимого влечения человека к Богу? Разве те мученики, которых накануне своего монолога сжег Инквизитор, не горели за то самое, что не преклонились перед его бесовскою мыслью и до конца сохранили верность истине? Разве рыдания, которые раздались в народе, когда ему почудилось, что "Он, Он Сам сошел к ним увидеть их горести и страдания", ничего не говорят нам о человеческом сердце? Разве пятнадцать веков колеблющегося ожидания ничего не значат? Кто смеет, взяв минуты человеческого падения, даже если бы они тянулись века, — скажем яснее, прямо отвечая на скрытый вопрос автора: кто может, видя падение и низость своего века и негодование возводя в право, сказать клевету на *всю человеческую историю* и отвергнуть, что *в целом своем* она есть чудное и высокое проявление если не человеческой мудрости (в чем можно сомневаться), то бескорыстного стремления к истине и бессильного желания осуществить какую-то правду?

Но и фактами высоты человеческого духа, как бы много их ни было набрано, можно только поколебать доказывающее значение обратных фактов, но вовсе нельзя разрешить вопроса, какова именно природа человека, к которой, как к узлу своему, восходят эти ряды столь противоположных, взаимно отрицающих друг друга, явлений.

Есть иной и твердый способ, могущий пролить самый отчетливый свет на это затруднение, от решения которого в ту или другую сторону зависит так много наших надежд и верований. Устраняя смешанные и противоречивые факты истории, как бы снимая нарост их с человека, можно взять его природу в ее *первозданной чистоте* и определить ее необходимое соотношение с вечными идеалами, стремление к которым никогда не может быть заподозрено: *с истиною, с добром и свободою*.

В сознании человека что *предшествовало* одно другому — *ложь* правде или *правда* лжи? Вот простой вопрос, ответ на который кладет начало непреодолимому разрешению и общего вопроса о всей человеческой природе. Мы не можем здесь колебаться: *ложь* сама по себе есть нечто *вторичное*, она есть *нарушенная правда*, и ясно, что прежде, нежели нарушиться, правда уже *должна была существовать*. Она есть, таким образом, *первозданное*, от начала родившееся; *ложь* же есть *прившедшее, появившееся потом*. Ее происхождение все *в истории*; происхождение же правды *в самом человеке*. Она исходит от него, и вечно исходила бы одна, если бы на пути своем он не встречал препятствий, отклоняющих его от нее. Но это показывает только, что причина всякой лжи лежит вне его. Первое движение человека всегда есть движение к истине,

и мы не можем представить себе иного, если он свободен, т. е. если чист от всяких привходящих влияний, действует в силу одного устройства своих способностей. Можем ли мы представить себе, чтобы первый человек, взглянув на мир, окружающий его, и почувствовав первый восторг в себе, сказал ложь об этом мире: притворился, что он не видит его, или, подавив в себе чувство благоговения, сказал, что он ощущает гадливость. И так же всякий раз, когда человек не боится, не достигает, когда никакое стороннее желание не отвлекает его от простого созерцания, — не произносит ли он об этом созерцаемом одной истины? И когда под влиянием страха или повинуюсь какому-нибудь влечению, он произносит ложь, разве он не ощущает всякий раз некоторого страдания, некоторой внутренней боли, происходящей оттого, что его мысль на пути к своему внешнему выражению подверглась некоторому искажающему влиянию? Разве, чтобы произвести его в себе, чтобы нечто подавить в истине или прибавить к ней, не требуется всякий раз некоторое усилие; и откуда было бы оно, если бы уже от начала человеческая природа была безразлично наклонна как ко лжи, так и к истине?

Итак, между разумом человека, с одной стороны, и между истинною как вечно достигаемым объектом — с другой, существует не простое отношение, но *соотношение*. Вторая так же неощутимо предустановлена в первом, как для линии, к которой склонилась другая линия, неощутимо предустановлена точка далекого с ней соединения. Ложь и заблуждение, т. е. зло, есть только препятствие к этому соединению или отклонение от него; но оно не есть нечто самостоятельное, в самом себе замкнутое или цельное, что разрывалось бы истиной. Истина безотносительна; это есть простое и нормальное взаимодействие между разумом человека и миром, в котором живет он; напротив, ложь всегда относительна и частична: именно она относится к какой-нибудь частной мысли, правильность которой нарушает. Поэтому как мир целен, так может быть цельное мирозозерцанье, т. е. система гармонически соединенных истин; напротив, ложь не может быть устроена ни в какую систему, и особенно в такую, в которой и принципы построения были бы ложные. При всякой попытке создавать непременно ложные мысли и непременно ложно соединять их, разум почувствует нестерпимое страдание и, — даже заглушая его, все-таки не достигнет своей цели, где-нибудь в построение введет невольно правильность; напротив, создание истинных мыслей и соединений их в правильную систему всегда доставляло и доставляет разуму величайшее наслаждение, и оно тем выше становится, чем ближе строяемое им к чистой и безупречной истине. Это страдание и это наслаждение есть показатель истинной природы человека; они определяют ее как *благу*, но только в первозданном состоянии; напротив, как изменившуюся в истории, они показывают ее померкнувшей.

Вот почему, если в науке или философии мы иногда находим как будто нечто злое, чему непреодолимо противится наша природа, мы можем без предварительного исследования думать, что та часть ее, которая вызывает подобное смущение, содержит в себе нечто ложное. И более внимательное изучение этой части, изучение способа ее происхождения, всегда и наверное открывает, что под нею лежит не чистая мысль, но мысль, искаженная каким-нибудь приведшим чувством, каким-нибудь страхом или влечением. Так, в упомянутом законе Мальтуса

истина только основа его, что в *некоторые* времена количество народонаселения увеличивается в геометрической прогрессии, а количество продуктов производимых — в арифметической; но совершенно ложно противоестественное требование, будто бы рабочие классы должны воздерживаться от браков. Под этим требованием лежит забота, как бы роскошествующие не потеряли права на роскошь, и страх, как бы бедные не начали, наконец, умирать с голоду. О первой можно сказать, что она суетна, о втором — что он поспешен, потому что иные и более глубокие законы, законы самой рождаемости, очевидно, оберегают людей от подобного бедствия; и хотя исторического времени прошло уже достаточно, чтобы закон Мальтуса начал действовать, однако никогда и нигде еще родители не начинали пожирать детей своих, не оставались безбрачными, но всегда и всюду находили пищу себе и детям своим.

Чистая же мысль, в абстрактной своей деятельности, может создать только благое; и всякая наука и философия, насколько они не изменяют природе своей, — благи и совершенны перед человеком и перед Богом. Смещение областей мышления и чувств, искажение первого вторым или второго первым порождает все зло, какое когда-либо могло поднимать ропот даже и на свою природу, сетовать на слишком большую глубину сознания или на неустойчивость страстей своих.

Напротив, когда области эти не извращены вмешательством друг друга, они являются нам как чистые от зла. Рассмотрев первую из них, область мышления, мы перейдем ко второй.

Чувство в первоначальной природе своей стремится ли к *доброму* и причиняет его, или оно стремится к *злому* и ищет его? Вот вопрос, ответ на который продолжит начатое нами обнаружение первоначальной природы человека. И здесь, опять, разрешение затруднения не может возбуждать колебаний. Жажда причинить другому зло есть всегда *ответная*, и она вызывается уже страданием, перенесенным от другого. Таким образом, характер *дурного чувства* так же необходимо *вторичен и произведен*, как и характер лжи. Как невозможно представить себе, чтобы первый человек, взглянув на природу, *солгал* о ней, так нельзя допустить, чтобы тот же первый человек, ощутив около себя второго и уже каким-нибудь образом узнав, что *такое боль и страдание*, захотел бы его *подвергнуть им*; чтобы он не оттолкнул его от дерева, которое грозит его задавить, не предупредил бы его о глубине воды, в которой сам раз тонул, или не позвал к себе под одинокий куст во время палищего зноя полудня. И повсюду, как в этих примерах, раз мы найдем человека не воспринявшим из окружающего или из прошедшего какого-нибудь зла, мы найдем его природу *расположенною только к добру*. Оно есть *первое*, к чему влечется человеческое чувство, зло же всегда есть второе и привходящее извне. Чувства внутреннего страдания или внутренней радости и здесь могут служить такими же верными указателями истины, как в сфере сознания. Первое смутно и непреодолимо овладевает человеком и возрастает по мере того, как его душою овладевает зло; напротив, светлая ясность сопровождает благожелательную жизнь, какими бы физическими бедствиями она ни угнеталась. Страдание здесь вытекает из несоответствия зла с человеческою природою, а ясность духа — из их гармонии.

На ответном происхождении всякого зла основывается и глубокое учение о несопротивлении ему: действительно, насколько учение это выполняется, настолько выделяется, исчезая, из жизни зло. Удержание себя от того, чтобы отвечать на зло злом, подсекает его в корне; оно утишает в отдельных точках ту взволнованность друг за друга цепляющихся страстей, которою переполнена уже вся жизнь и оплетена воля каждой личности. Трудное вначале и совершенно незаметное по своим последствиям, оно с каждым шагом делается легче, и его следствия — ощутительнее. Страсти, переставая возбуждать друг друга, постепенно утишают, и каждое причиненное зло, не возбуждая никакого ответа, неизбежно умирает. Для тех, кто привык думать, что история и вся прелесть жизни состоит именно из игры страстей и что лучше уже переносить зло, нежели лишиться его свободной и оболстительной красоты, можно заметить, что радость ощущения внутренней чистоты своей и ощущения гармонии со своим духом всей окружающей жизни с избытком вознаградит человеческое сердце за то утраченное, чем так мучительно и слепо наслаждается оно теперь.

Относительно третьей стороны человеческой природы, *воли*, вопрос о ее первоначальной чистоте или испорченности разрешается исследованием: находится ли она в соответствии с последним великим идеалом, к которому может стремиться человек, — *свободою*. И здесь мысленный опыт дает ясное разрешение. Свобода есть внешняя деятельность, соответствующая внутренней, и она является осуществленною вполне, когда первая без остатка есть следствие второй. Ясно, что, если бы человек мог быть разобренным с прошедшим и окружающим, его внешняя деятельность, которая, однако, должна иметь свою причину, могла бы иметь ее только во внутренней психической деятельности, т. е. его воля вне посторонних влияний безусловно свободна. В действительности же, когда он соединен с прошедшим и окружающим, его внешняя деятельность перестает гармонизировать с внутренней, и притом всегда в той именно мере, с какою силою действует на него внешность. Это значит, что *уменьшение человеческой свободы*, ее подавленность или извращение, *идет не изнутри его природы, но извне*. Страдание, которое всегда сопровождает это чувство подавленности, и здесь указывает на истинный характер этой стороны человеческого духа.

Истина, добро и свобода суть главные и постоянные идеалы, к осуществлению которых направляется человеческая природа в главных элементах своих — *разуме, чувстве и воле*. Между этими идеалами и первоначальным устройством человека есть соответствие, в силу которого она неудержимо стремится к ним. И так как идеалы эти ни в каком случае не могут быть признаны дурными, то и *природа человеческая в своей первоначальной основе должна быть признана добротою, благою*.

XIX

Это и подкапывает основание диалектики Инквизитора. "Иго мое благо и бремя мое легко" (Матф., XI, 30), — сказал Спаситель о своем учении. Действительно, исполненное высочайшей правды, призывая всех людей

к единению в любви, оставляя человеку свободно следовать лучшему, оно всем смыслом своим отвечает глубочайшим образом первозданной природе человека и будит ее снова сквозь тысячелетний грех, который обременил ее игом тягостным и ненавистным. Покаяться и последовать Спасителю — это и значит снять с себя ненавистное "иго"; это значит почувствовать себя так радостно и легко, как чувствовал себя человек в первый день своего творения.

Здесь и лежит тайна нравственного перерождения, совершаемая Христом в каждом из нас, когда мы обращаемся к Нему всем сердцем. Нет иного слова, как "свет", "радость", "восторг", которым можно было выразить это особенное состояние, испытываемое истинными христианами. От этого-то уныние признается Церковью таким тяжким грехом: оно есть внешняя печать удаления от Бога, и, что бы ни говорили уста человека, ему подпавшего, его сердце далеко от Бога. Вот почему всякие утраты и все внешние бедствия для истинного христианина и для общества людей, живущих по-христиански, — то же, что завывание ветра для людей, сидящих в крепком, хорошо согретом и светлом доме. Христианское общество бессмертно, неразрушимо, — настолько и до тех пор, пока и в какой мере оно христианское. Напротив, началами разрушения проникнута бывает всякая жизнь, которая, став однажды христианскою, потом обратилась к иным источникам бытия и жизни. Несмотря на внешние успехи, при всей наружной мощи, она переполняется веянием смерти, и это веяние непреодолимо налагает свою печать на всякий индивидуальный ум, на каждую единичную совесть.

"Легенду об Инквизиторе", в отношении к истории, можно рассматривать как мощное и великое отражение этого особенного духа. Отсюда вся скорбь ее, отсюда — беспросветный сумрак, который накидывает она на всю жизнь. Будь она истинною, — человеку невозможно было бы жить, ему оставалось бы, произнеся этот суровый приговор над собою, — только умереть. Да этим отчаянием она и кончается. Можно представить себе тот ужас, когда человечество, наконец устроившееся во имя высшей истины, вдруг узнает, что в основу устройства его положен обман и что сделано это потому, что нет вообще никакой истины, кроме той, что спастись все-таки нужно и спастись нечем. В сущности, смысл этого именно утверждения и имеют последние слова Инквизитора, которые в день страшного восстания народов он готовится обратиться к Христу: "Суди меня, если можешь и смеешь". Сумрак и отчаяние здесь — сумрак неведения. "Кто я на земле? и что такое эта земля? и зачем все, что делаю я и другие?" — вот слова, которые слышатся сквозь "Легенду". Это и высказано в конце ее. На слова Алеши брату: "Твой Инквизитор просто в Бога не верует" — тот отвечает: "*Наконец-то ты догадался*".

Это и определяет ее историческое положение. Вот уже более двух веков минуло, как великий завет Спасителя: "Ищите *прежде* Царствия Божия, и все остальное приложится вам" — европейское человечество исполняет наоборот, хотя оно и продолжает называться христианским. Нельзя и не следует скрывать от себя, что в основе этого лежит тайное, вслух невысказываемое сомнение в божественности самого завета: Богу веруют и повинуются ему слепо. Этого-то и не находим мы: интересы

государства, даже успехи наук и искусств, наконец, простое увеличение производительности — все это выдвигается вперед без какой-либо мысли о противодействии им; и все, что есть в жизни поверх этого, — религия, нравственность, человеческая совесть, — все это клонится, раздвигается, давится этими интересами, которые признаны высшими для человечества. Великие успехи Европы в сфере внешней культуры все объясняются этим изменением. Внимание к внешнему, став *безраздельным*, естественно углубилось и утончилось; последовали открытия, каких и не предполагали прежде, настали изобретения, которые справедливо вызывают изумление в самих изобретателях. Все это слишком объяснимо, слишком понятно, всего этого следовало ожидать еще два века назад. Но слишком же понятно и другое, что с этим неразъединимо слилось: постепенное затемнение и, наконец, утрата высшего смысла жизни.

Необозримое множество подробностей и отсутствие среди их чего-либо главного и связующего — вот характерное отличие европейской жизни, как она сложилась за два последних века. Никакая общая мысль не связует более народов, никакое общее чувство не управляет ими, — каждый и во всяком народе трудится только над своим особым делом. Отсутствие согласующего центра в неумолкающем труде, в вечном созидании частей, которые никуда не устремляются, есть только наружное последствие этой утраты жизненного смысла. Другое и внутреннее его последствие заключается во всеобщем и неудержимом исчезновении интереса к жизни. Величественный образ Апокалипсиса, где говорится о "подобии светильника", ниспадающего в конце времен на землю, от которого "стали источники ее горьки", гораздо более, чем к реформации, применим к просвещению новых веков. Результат стольких усилий самых возвышенных умов в человечестве, оно никого более не удовлетворяет, и всего менее тех, которые над ним трудятся. Как холодного пепла остается тем больше, чем сильнее и ярче горело пламя, так и это просвещение тем более увеличивает необъяснимую грусть, чем жаднее приникаешь к нему вначале. Отсюда глубокая печаль всей новой поэзии, сменяющаяся кошунством или злобою; отсюда особенный характер господствующих философских идей. Все сумрачное, безотрадное неудержимо влечет к себе современное человечество, потому что нет более радости в его сердце. Спокойствие старинного рассказа, веселость прежней поэзии, какую бы красотою это ни сопровождалось, не интересует и не привлекает более никого: люди дико сторонятся от всего подобного, им невыносима дисгармония светлых впечатлений, идущих снаружи, с отсутствием какого-либо света в их собственной душе. И одиночке, злобно или насмешливо высказываясь, они оставляют жизнь. Наука определяет цифры этих "оставляющих", указывает, в каких странах и когда они повышаются и понижаются, а современный читатель, где-нибудь в одиноком углу, невольно думает про себя: "Что в том, что они повышаются или понижаются, когда мне нечем жить, — и никто не хочет или не может дать мне то, чем можно жить!"

Отсюда — обращение к религии, тревожное и тоскливое, с пламенной ненавистью ко всему, что его задерживает, и вместе с ощущением бессилия слиться в религиозном настроении с миллионами людей, которые оставались в стороне от просветительного движения новых веков. Пламенность и скептицизм, глухое отчаяние и риторика слов, которого,

за неимением лучшего, заглушается потребность сердца, — все удивительным образом смешивается в этих порывах к религии. Жизнь иссякает в своих источниках и распадается, выступают непримиримые противоречия в истории и нестерпимый хаос в единичной совести, — и религия представляется как последний, еще не испытанный выход из всего этого. Но дар религиозного чувства приобретается, быть может, труднее всех остальных даров. Уже надежды есть, бесчисленные извивы диалектики подкрепляют их; есть и любовь с готовностью отдать все ближнему, за малейшую радость его пожертвовать всем счастьем своей жизни, а, между тем, — веры нет; и все здание доказательств и чувств, нагроможденных друг на друга и взаимно скрепленных, оказывается чем-то похожим на прекрасное жилище, в котором некому обитать. Века слишком большой ясности в понятиях и отношениях, привычка и уже потребность вращаться сознанием исключительно в сфере доказуемого и отчетливого настолько истребили всякую способность мистических восприятий и ощущений, что, когда от них зависит даже и спасение, она не пробуждается.

Все отмеченные черты глубоко запечатлелись на "Легенде": она есть единственный в истории синтез самой пламенной жажды религиозного с совершенною неспособностью к нему. Вместе с этим в ней мы находим глубокое сознание человеческой слабости, граничащее с презрением к человеку, и одновременно любовь к нему, простирающуюся до готовности — оставить Бога и пойти разделить унижение человека, зверство и глупость его, но и вместе — страдание.

XX

Нам остается отметить еще последнюю черту этой "Легенды": ее отношение к великим формам, в которые уже вылилось религиозное сознание европейских народов. В своем характере, в своем происхождении оно, это отношение, в высшей степени независимо: очень похоже на то, что человек, разошедшийся с религиозными формами какого бы то ни было народа и какого бы то ни было времени, начинает тревогами своей совести приводиться к мысли о религии и развивает ее самостоятельно, исключительно из этих тревог. Строго говоря, в ней только мелькают имена христианства и католицизма; но из первого взято для критики только высокое понятие о человеке, а из второго — презрение к нему и страшная попытка сковать его судьбы и волю индивидуальной мудростью и силой. Бурно, неодолимо развертывающаяся мысль, как будто почуяв в двух фактах истории что-то подобное себе, потянула их к себе, искажая и перемалывая их в оборотах диалектики, ничем, кроме законов души, в недрах которой она зародилась, не управляемой.

Абстрактный, обобщающий склад этой души сказался в том, что "Легенда" только опирается на внутренние потребности человеческой природы, но отвечает не им, а историческим противоречиям. Устроить судьбы человечества на земле, воспользовавшись слабостями человека, — вот ее замысел. И этою стороною своею она совпала с тем, что можно было предполагать в одной из установившихся форм религиозно-

го сознания — в Римско-католической церкви. Отсюда фабула "Легенды", канва, в которую вотканы ее мысли. Но здесь, заговорив об ее отношении к предполагаемой католической идее, мы должны высказать взгляд вообще на взаимное соотношение трех главных христианских Церквей. В нем откроется и окончательная точка зрения, с которой следует смотреть на эту "Легенду" в ее целом.

Стремление к *универсальному* составляет самую общую и самую постоянную черту Католической церкви как стремление к *индивидуальному, особенному* — коренную черту Протестантизма. Но если бы мы предположили, что эти, различные в основе своей, черты оригинальны в самых Церквях или что они каким бы то ни было образом вытекают из духа христианства — мы глубоко ошиблись бы. Универсальность есть отличительная черта романских *рас*, как индивидуализм — германских; и только поэтому Христианство, распространяясь по Западной Европе, восприняло эти особые черты, встретившись с этими двумя противоположными типами народов. Что бы мы ни взяли, будем ли мы всматриваться в одиночные факты или в общее течение истории, обратимся ли к праву, к науке, к религии, — всюду заметили мы как управляющую идею, в одном случае направление к всеобщему, в другом — к частному. Правовые формулы Древнего Рима, абстрактные, как и его боги, так же годны для всякого народа и для всякого времени, как и принципы 89-го года, с их обращением к человеку, с стремлением на его праве утверждать и право француза. Искание всеобщего с уверенностью подвести под него все частное слишком ясно здесь сказывается. Философия Декарта, единственная великая у романских *рас*, так же пытается свести все разнообразие живой природы к двум великим типам существования, протяжению и мышлению, — как Гораций и Буало пытались свести к простым и ясным правилам порывы поэтического восторга, как Кювье свел к вечным немногим типам животный мир и целый ряд великих математиков Франции познание природы свели к познанию алгебры, найдя слишком конкретными даже геометрические чертежи. Интерес и влечение ко всеобщему и некоторая слепота к частному произвела все эти великие факты в умственном мире латинизированных *рас*; и им отвечают не менее великие факты их политической истории. Жажда объединять, сперва охватывая и, наконец, стирая индивидуальное, — есть не умирающая жажда Рима и всего, что вырастает из его почвы. Этот глубокий, бессознательный и неукротимый инстинкт заставил римские легионы, вопреки ясным расчетам, переходить из страны в страну, дальше и дальше, и наконец — туда, куда не захватывал уже и глаз и ум; и он же повлек миссионеров римского епископа сперва в Германию и Англию, а несколько веков спустя — в далекие и неизвестные страны центральной Африки, внутреннего Китая и дальней Японии. Сама Римская церковь, непреодолимо отвращаясь от всего частного, разбросанного и единичного, точно свертывалась в великие духовные ордена — явление, совершенно исключительное во всемирной истории, не связанное ни с какою чертою Христианства и возникшее во всех своих разнообразных формах и в разные времена на одной романской почве. Как будто дух монашества, дух отшельничества и уединения от мира, переселяясь на эту почву, — пошел в мир, чтобы подчинить его своим требованиям, понятиям, формам своего воззрения и своего быта. В то

время как аскеты всех стран, времен и народов, отвращаясь от грешного человечества, бежали от него в пустыню и там спасали себя, аскеты Католической церкви, дружно соединяясь в одно, шли на это самое человечество, чтобы привести его к тому, о чем для себя одних они никогда не могли думать. С этим стремлением к универсальному неотделимо слилось у романских рас непонимание индивидуального, как бы слепота к нему, — неспособность всмотреться в его природу или пожалеть его страдания. Слова римского легата, говорившего воинам: "Убейте всех, Бог на Последнем Суде отделит католиков от еретиков", были сказаны, быть может, с слишком большою задумчивостью; по крайней мере, по хроникам с точностью известно, что крестовное ополчение, двинувшееся на Лангедок, было одушевлено таким высоким религиозным духом, оно было так серьезно, что всякое наше желание принять эти слова за циничское кощунство — должно быть оставлено. Учение Кальвина, распространившееся трудно по Франции, грозило ей гораздо меньшим, чем Германия пламя, зажженное Лютером; и, однако, Варфоломеевская ночь вспыхнула именно в ней. Члены одной и той же семьи истребляли друг друга, чтобы были одинаковы французы; как три века спустя, за другие принципы и с такою же жестокостью, члены Конвента истребляли отличных от себя людей во Франции, а потом и в собственных недрах своих, чувствуя тень всякого отличия в убеждениях — как преступление. Пренебрежение к человеческой личности, слабый интерес к совести другого, насильственность к человеку, к племени, к миру есть коренное и неуничтожимое свойство романских рас, сказавшееся в великих фактах Римской империи, французской централизации, в наступательных войнах католической реакции и первой революции, в ордене иезуитов, в инквизиции, в социализме¹. Всегда и повсюду, с крестом или с пушками, под знаменами республики или под орлами Цезаря, во имя различных истин в разные эпохи народы, почуявшие в своих жилах римскую кровь, шли на другие мирные народы, чтобы, не заглядывая глубоко им в душу, заставить их принять формы своего мышления, своей веры, своего общественного устройства. Безжалостность к человеку и неспособность понять его, вместе с великою способностью устройства человечества, сделала народы эти как бы цементом, связующим в великое целое другие части, иногда неизмеримо более ценные, но всегда более мелкие. Ни что само по себе великое, истинное или святое не произведено романским гением; кроме одного — связи между всем великим, истинным и святым, что создано было другими народами, но почему оно и образует в целом свою историю. Отсюда

¹Разумею идеи Фурье, Сен-Симона, Кабе, Луи-Блана и др., в которых социализм зародился как мечта, как страстное и тоскливое желание, прежде чем впоследствии стал обосновываться, оправдывая эту мечту, научно. Можно вообще заметить, что как республика Фабиев и империя Августов была романскою попыткою объединить человечество правом, так Католицизм был романскою же попыткою объединить его в религии, и социализм является стремлением, зародившимся также в романских расах, — объединить его на экономической основе. Из этого видно, как, при изменяющихся средствах, *цель* романского духа остается одна на протяжении двух тысячелетий, т. е. одна их исторического существования.

притягательная сила форм всех романских цивилизаций; отсюда лиризм, вечное устремление к чему-то, которое нас поражает в католической музыке. Иные народы, хотя бы более глубокие и содержательные, непреодолимо приковываются к этим цивилизациям, к этой Церкви, науке, литературе. В них всех пробуждается тайный инстинкт *единства*, и они с тоскующим чувством гасят свой высший гений, и идут, и сливаются с чудным зданием, вековечным, всевозрастающим, холодным, но и прекрасным.

Дух германской расы, наоборот, повсюду и всегда, что бы его ни занимало, устремляется к *частному, особенному, индивидуальному*. В противоположность обнимающему взгляду романца, взгляд германца есть проникающий, и отсюда — все особенности их права, науки, церкви, поэзии. Человеческая совесть вместо судеб человечества, домашний быт взамен политических столкновений, созерцание глубин собственного *я* вместо познания мира — все это различные последствия одного факта. Можно считать за результаты великого недоразумения принадлежность германских народов к Католической церкви, и она сохранялась столько веков потому лишь, что они не видели истинных стремлений Рима, ни Рим не всматривался слишком подробно и близко в то, что было за Альпами. Реформационное движение, обнимающее два века и разделившее Европу на два пышущие враждою лагеря, было только обнаружением этого недоразумения, удивительным равно для обеих сторон, с тех пор и навечно разошедшихся. Когда Лютер, бедный августинский монах, забыв о своем ордене, об империи, о всемирной Церкви и только прислушиваясь к тревогам своей совести, твердо сказал, что он не признает себя заблуждающимся, пока ему не докажут этого "словом Божиим", — в нем, в этом упорном противопоставлении своего *я* всему миру, впервые высказалась германская сущность и стала твердым фактом в истории, отныне не покоряющимся, но покоряющим. Мир религиозных сект, отсюда выросших, это странное исповедание Бога по-своему чуть не в каждой местности, без какого-либо желания согласовать свою веру с верою других, есть в сфере религиозного сознания то же, чем был ранее в сфере общественно-политической феодализм¹, это другое странное желание делать повсюду центром своих понятий и интересов личное *я*, как нечто безусловное, что ни с чем не согласуется, но с чем должно согласоваться все другое. Наконец, третий великий факт, внесенный германскою расою

¹ Сущность феодализма едва ли не удачнее всего выражена в этой средневековой поговорке: "Chaque seigneur est Souverain dans sa seigneurie" ("Каждый сеньор — властитель в своей сеньории" — *фр.*), где не политическая связь, не экономические отношения, но именно *провинциализм*, если так можно выразиться, *воли* указан как главная особенность всего жизненного строя. Замечательно, что формула эта выразилась на французском языке, т. е. сложилась в уме гораздо более способном к обобщению, к улавливанию соединяющих черт в комплексе разнородных явлений, хотя ее предметом служит учреждение бесспорно германского происхождения (территория распространения феодализма есть в то же время и территория расселения германского племени, которое в первые века нашей эры замешалось и в исключительно романские до того времени страны). Исчезнув во всех странах с преобладающею романскою кровью, он, однако, сохранился доселе как политический партикуляризм в чисто германских.

в историю, — ее особый способ воззрения на природу, ее философия — есть также только последствие этого направления души. Как в сфере религиозной, как в сфере политической, так и здесь, в умственной области, собственное *я* было признано высшими выразителями этой расы за источник норм, граней и связей, какие мы наблюдаем в природе. И углубленное изучение мира, которое для всех народов от начала истории было любопытным рассматриванием его и размышлением о виденном, — для ряда великих прозорливцев, начиная с Канта, стало только познанием сокровенных движений собственного внутреннего существа. "Разум диктует свои законы природе", "мир есть *мое* представление", он есть "развитие *идеи, мною* сознано", все эти слова, с удивлением выслушанные и повторенные Европой, так глубоко предопределены особым психическим складом германской расы, что, думая о них и длинном ряде доводов, на который они, по-видимому, беспристрастно опираются, мы, наконец, совсем теряем границу между предметным познанием и субъективно иллюзией и спрашиваем: какие же есть средства для человека пробиться сквозь условия века, места и племени? И как, будучи столь связан даже этими условиями, он мог когда-нибудь надеяться переступить даже через условия своей человеческой организации и достигнуть знания абсолютного по полноте и истинности?

И что бы другое, более мелкое, мы ни взяли, повсюду отметим на нем то же тяготение германского духа к частному. Его поэзия, в противоположность героической поэзии романских народов, избрала предметом своим мир частных отношений, семью вместо форума, сердце простого бюргера взамен высокого долга и сложных забот короля, завоевателя или их советников. Мещанская драма, нравоописательный роман и к ним примыкающая деятельность Лессинга и Аддисона, наконец, даже Гете, с миром неопределенных внутренних тревог своего Фауста, — все это, на чем мы хотели бы видеть печать личного гения, носит на себе только печать гения своего народа. Понимание индивидуального в праве создало в далеком сумраке средних веков суд 12 присяжников, которые выносят приговор из глубины своей совести, а не находят его в заранее предустановленной норме общего для всех случаев закона. Оно же непреодолимо отвращает английский народ от кодификации законов своих, растянувшихся на тысячелетие, и вызвало глубоко-мысленные исследования немецких ученых над правом средневековым, над историческим его развитием, наконец, над правом всех народов, где, наряду с самым высоким, внимательно обсуждается и самое первобытное. Слова великого Гердера, что "*каждое* время и *каждое* место живет *для себя самого*", открыли истинную эру в понимании истории, указав на мир индивидуального и своеобразного, который должен быть познан в ней. И как удивительно этим словам, обнимающим смысл того, что жило и умерло, отвечают слова другого мыслителя Германии, обращенные к совести всего живого: "Смотри на *всякого*, себе подобного, как на *цель*, которая никогда и ни для чего не может быть средством". Это царство целей, для себя существующих, эта нравственная монадология Канта в какой живой связи находится с идеями Лейбница, — и весь он, этот германский мир, точно рассыпавшийся на мириады средоточий, из которых каждое только *себя* чувствует и *через себя* все познает, всему верует, на все действует, — как удивительно этот мир соответствует

тому другому миру, о котором мы говорили ранее, что он обнимает, господствует, определяет формы, но бессилён создать какое-нибудь содержание. Точно эти две противоположные и соответствующие одна другой расы отражают края какой-то великой ступни, которой движения делают историю, влекут века и разделяют народы, в своём свободном гении лишь отпечатлевающие волю иного чего-то и высшего, в чью мысль прозреть им никогда не суждено.

Безбрежный мистицизм протестантства, жажда залить подвигом где-нибудь среди дикарей великую грусть своего сердца так же чувствуется в германской расе, как тоскующее желание — в звуках романской музыки, её поэзии, в неустанной деятельности её великих политиков. Непреодолимо разъединённые и вечно ощущая недостаток другого, они полны внутренней дисгармонии и эту дисгармонию из глубины своего духа вносят в жизнь и в историю, которую создают. Их вечная борьба и неустанное созидание есть только борьба противоположностей, которые никогда не смогут понять друг друга, и подготовка формы и содержания, которые не сливаются в живое целое. Отсюда чувство неудовлетворительности, разлитое по всей истории, вечное достижение и недовольство всем достигнутым.

XXI

Внесение гармонии в жизнь и в историю, соединение красок и полотна в живую картину — вот что не выполнено человеком на земле и чего так страшно недостает ему. Недостает "пальмовых ветвей" и "белых одежд", внутреннего мира и радости, чтобы благословить Бога, свою судьбу, благословить друг друга и всякое дело рук своих.

Каким внутренним движением совершится это, как ощутится тот восторг души, которого хватит на утоление всякой скорби, на примирение всякой ненависти, — этого мы не можем знать. Мы можем только жаждать и ожидать этого, да уж и жаждут и ожидают все народы как чего-то должного и необходимого.

Раса, последнею выступившая на историческое поприще, к которой принадлежим и мы, в особенностях своего психического склада несёт наибольшую способность выполнить эту великую задачу. Одинаково чуждая стремления как к внешнему объединению разнородных элементов, так и к безграничному уединению каждого элемента внутри себя, она исполнена ясности, гармонии, влечения к внутреннему согласованию как себя со всем окружающим, так и всего окружающего между собою через себя. Взамен насильственного стремления романских рас все соединить единством формы, не заглядывая в индивидуальный дух и не щадя его, и взамен упорного стремления германских рас отъединиться от целого и уйти в нескончаемый мир подробностей, — раса славянская входит как внутреннее единство в самые разнообразные и, по-видимому, непримиримые противоположности. Дух сострадания и терпимости, которому нет конца, и одновременно отвлечение ко всему хаотичному и сумрачному заставляя её, без какой-либо насильственности, медленно, но и вечно созидать ту гармонию, которая почувствуется же ког-

да-нибудь и другими народами; и, вместо того чтобы, губя себя, разрушать ее, они подчинятся ее духу и пойдут, утомленные, ей навстречу.

Сознание недостаточности тех идеалов, которые преследуются другими расами, всего более может сосредоточить наши силы на собственном. Мы должны, наконец, понять, что все неисчислимо страдание, которое несет человек в истории и благословляет его, потому что оно дало ему будто бы "познание добра и зла", в действительности несетя все-таки напрасно, и он так же далек от этого познания, как и тогда, когда впервые протянул к нему руку. Непереступаемые границы, которыми определен он и связан, дают ему только просвет к этому познанию, тревожащий его и дразнящий, но через который никогда не суждено ему взглянуть прямо на солнце правды. И мы должны также понять, что неустанное стремление "соединить рассыпавшееся стадо" человечества только разделило его непримиримую враждою, и она всегда становилась тем яростней, чем страстнее и насильственнее были самые попытки к соединению. Поняв это, мы сознаем, как обманчиво то величие, к которому влекся человек в своей истории. Смирив свой дух, мы увидим, что его задачи на земле ограничненнее. Перестав вечно обращаться мыслью и желанием к чему-то далекому, мы снова почувствуем полноту сил, возвратившихся к нам из бесплодного скитания. И мы пойдем, как только произойдет это, высоту тех задач, которые ранее казались нам так незначительными и неинтересными. Мы пойдем, что успокоить одно встревоженное сердце, утолить чью-нибудь тоску — это больше и выше, нежели сделать самое блестящее открытие или удивить мир ненужным подвигом. Подвиги наши станут к нам близки, они сведутся к утишению той скорби, которою залил себя мир в своих бесплодных стремлениях. И одновременно с тем, как покорится наша гордость, возрастет наше истинное достоинство. Поняв слабость своих сил перед великими целями, мы перестанем бросать человеческую личность к подножию их. Мы не будем более громоздить страдание на страдание, чтобы подняться на высоту, откуда нас видели бы самые далекие народы и будущие времена. Мы пойдем абсолютную значительность человека, пойдем, что радость и свет в его сердце, на каждом отдельном лице — есть высшее, лучшее и драгоценнейшее в истории.

Осуществление и разлитие этой гармонии в жизни вовсе не сознается как высшая задача человека на земле. Долго еще не "перекуются мечи на орала", и, конечно, перекуются они силою внутренней радости, а не путем внешнего логического сознания. Последнее, да же и предпочитая "орала", предварительно накует мечей, чтобы ими погнать людей к оралам. Но не будем обращаться к тревожным мыслям — они исчерпаны "Легендою". Мы же, ища, чем побороть их, обратимся к рассмотрению третьей великой ветви, на которую распался христианский мир.

Как Католицизм есть романское понимание Христианства и протестантизм — германское, так Православие есть его славянское понимание. Хотя корни его держатся в греческой почве¹ и на этой же почве сложились его догматы, но весь тот особенный дух, которым он светится в истории, живо отражает на себе черты славянской расы. И он-то

¹ Мы, впрочем, должны помнить, до какой степени эта почва в первые же века нашей эры, в эпоху передвижения народов, пропиталась славянскими элементами.

именно значущ в исторических судьбах народов, а не догматические различия, которые, по-видимому, одни разделяют Церкви и кажутся так легко устранимы. Без сомнения, не *filioque* вызвало инквизицию, хотя инквизиция была только там, где и *filioque*. Догматическая разница совпадала с характером, с направлением и духом, который не имеет никакой связи с нею и вытекает исключительно из расовых особенностей романского племени. И если бы этой разницы не было, можно быть уверенным, что народы германские и славянские все равно неудержимо разошлись бы в понимании Христианства и его практике с народами романскими и потом разошлись бы еще между собой. И теперь потому так упорно каждая Церковь противится слиянию с которою-нибудь другой, что в сущности не в догматах только, но во всем своем внутреннем сложении, в каждой черте своего характера, она есть нечто глубоко своеобразное и совершенно особенное от прочих церквей. И это потому, что жизнь, которая бьется в них, бьется в каждой по особому типу.

И, однако, одно Евангелие и один дух светится в нем. Если мы захотим себе дать отчет, который же из трех типов жизни соответствует ему, мы непреодолимо и невольно должны будем сказать, что это — дух Православия. Когда нам будут указывать на неизъяснимое величие Католицизма, на безбрежность мысли, заложенной в нем, которую он увидит и обоснован с седой схоластики и до наших дней, — мы согласимся со всем этим и признаем также, что ничего подобного нет в нашей Церкви и ее истории. Если нам будут указывать на все плоды протестантизма, на эту богобоязненность жизни, на свободу критики в нем и высокое просвещение, которое отсюда вытекло, — мы скажем, что все это видим и никогда не закрывали на это глаза. Мы спросим только: но христианство, но дух евангельский, но то, чему учил нас словом и жизнью Спаситель? Ничего нет у нас, ни высоких подвигов, ни блеска завоеваний умственных, ни замыслов направить пути истории. Но вот перед вами бедная церковь, вокруг рассеянные, около нее группирующиеся домики. Войдите в нее и прислушайтесь к нестройному пению дьячка и какого-то мальчика, Бог знает откуда приходящего помогать ему. Седой высокий священник служит всенощную. Посреди церкви, на аналое, лежит образ, и неторопливо тянутся к нему из своих углов несколько стариков и старух. Всмотритесь в лица всех этих людей, прислушайтесь к голосу их. Вы увидите, что то, что уже утеряно всюду, что не приходит на помощь любви и не укрепляет надежду, — *вера* — живет в этих людях. То сокровище, без которого неудержимо иссякает жизнь, которого не находят мудрые, которое убегает от бессильно жаждущих и гибнущих, — оно светится в этих простых сердцах; и те страшные мысли, которые смущают нас и тяготят мир, очевидно, никогда не тревожат их ум и совесть. Они имеют веру и с нею надеются, при ее помощи любят. Что в том, что дьячок невнятно читает на клиросе молитвы: но он верит смыслу их, и те, которые слушают его, нисколько не сомневаются, что за этот смысл он умрет, если будет нужно, и ввидет в царство небесное; как и все они умрут и по делам своим примут мзду, к которой готовятся.

С этим покоем сердца, с этою твердостью жизни могут ли сравниваться экзальтация протестантизма и всемирные замыслы великой и гибнущей Церкви? Уныние в первом, тоскующее желание во второй не

есть ли симптомы утраты чего-то, без чего храм остается только зданием и толпа молящихся — только собравшеюся толпою? И весь блеск искусств, которым они окружают себя, эта несравненная живопись, эта влекущая музыка, эти величественные кафедралы — не вытекает ли все это из желания пробудить в себе то, что в тех бедных молящихся никогда не засыпало, найти утраченное, что в той невидной церкви не было потеряно. Весь необъятный порыв желания, которым полна и трепещет Европа, не есть ли только желание залить великую грусть, которую она хочет и не может пересилить; и вся красота, величие и разнообразие ее жизни, ее цивилизации не напоминает ли великолепную ризу, в которую никогда более не облечется священник?

Так-то произошло в истории это необъяснимое и глубокое явление, по которому у "неимущего отнялось и имущему прибавилось". В прекрасном евангельском образе Марии и Марфы, принявших в свой дом Спасителя, как будто высказаны эти неисповедимые судьбы Церкви. Марфа, когда вошел Он, смутилась и заторопилась; она думала о богатом угощении и, в хлопотах о них, забыла даже о Том, для Кого она. "Мария же, сестра ее, села у ног Иисуса и слушала слово Его". Измученная и раздраженная на нее, Марфа подошла к Учителю и сказала: "Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить?" И тогда произнес Он слова, в которых звучит смысл всей жизни и истории: "Ты заботишься о многом, Марфа, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее".

Нашей Святой Церкви, по неисповедимым путям Промысла, суждено было избрать это "единое", которое только и нужно. Она только верила в Спасителя, слушала слово Его. Будем молиться, чтобы эта вера никогда не была отнята у нас, и не будем, по завету Учителя, сожалеть, что наши суетливые сестры так много успели сделать.

XXII

Насколько иссякает в нас сокровище веры, настолько мы начинаем тревожиться идеалами, которыми живут другие церкви¹, — безбрежным развитием внутреннего чувства и субъективного мышления или заботами о судьбах человечества и его внешнем устройении. Этими заботами мы силится наполнить пустоту, которая образуется в нашей душе с утратой веры, и это происходит всякий раз, когда почему-либо мы теряем живые связи со своим народом. "Легенда о Великом Инквизиторе" есть выражение подобной тревоги, — высшее, какое когда-либо появлялось; потому что пустота, которую она замещает, — зияющая, в которой дно не только очень глубоко, но, кажется, его и совсем нет. Вспомним слова Ивана в ответ Алеше: "Наконец-то ты *догадался*", — и на что они были отвечены.

В этом смысле, т. е. в отношении к нашей исторической жизни, она есть самая ядовитая капля, которая стекла, наконец, и отделилась из той

¹Здесь видим мы объяснение неудержимого влечения к слиянию с другими церквами, которое время от времени высказывают у нас иные.

фазы духовного развития, которую мы проходим вот уже два века. Бóльшей горечи, бóльшего отчаяния и, прибавим также, большого величия в своем отрицании родных основ жизни мы не только не переживали никогда, но, нельзя в этом сомневаться, и не будем переживать. "Легенда" вообще есть нечто единственное в своем роде. Шутливые и двумысленные слова, которыми Фауст отделяется от вопросов Маргариты о Боге, темнота религиозного сознания в Гамлете — все это только бедный лепет в сравнении с тем, что было сказано и что спрошено в маленьком трактире за перегородкой, куда приотливно наш великий художник ввел выразителей своих дум, а потом, раздвинув века, — показал чудную картину явления Христа "сморданному и страдающему человечеству" и, введя Его в мрачное подземелье инквизиции, — снова показал оттуда далекую пустыню полторы тысячи лет назад, и в ней Его, готового выступить на спасение человеческого рода, и перед ним Искусителя, который говорит, что это *не нужно*, что *не сумеет* Он спасти людей, не зная их *истинной природы*, и ранее или позже за это спасение придется взяться ему, лучше знающему эту природу и... *любящему людей не менее, нежели Он*.

Черты истинно сатанинские, не то, что мог бы подумать человек о Злом Духе, его подстерегающем, но что мог бы сказать о себе сам Злой Дух, — удивительным и непостижимым образом вылились в этой "Легенде", Алеша, бедный, трепещущий Алеша, только еще растущий, бессильно поднимающий руки к небу, — истинное олицетворение малого ростка в огромном гниющем семени жизни — как бы разбит и подавлен этим мощным исповеданием зла, признаниями "умного Духа пустыни, Духа смерти и разрушения". Повторяем, образы Инквизитора, студента, самого художника и Искупающего Духа, который стоит за всеми ими, мелькают один из-за другого, теряют резкость индивидуальных очертаний и сливаются в одно существо, голос которого мы слышим и понимаем, лица же и имени его не различаем. Как бы растерянный, не находя ни в чем опоры, он хватается за свое сердце, за ту *жизнь*, которая в нем бьется, законов которой он не знает — и знает, однако, что она хороша. В непостижимой силе и красоте жизни, нам данной и нами благословляемой, но и непостижимой для нас, таинственной, он находит эту опору против Злого Духа:

"Брат, как же ты будешь жить?" — спрашивает он.

В этом восклицании и лежит весь смысл и вся сила опровержения: признание ограниченности своего ума, который даже такого близкого, нам родного явления, как жизнь, не может не только постигнуть, но и сколько-нибудь приблизиться к его пониманию и уже, конечно, не в силах постичь строение мироздания и источники добра и зла. Прилепленные к жизни, даже "не понимая ее смысла", мы непреодолимо начинаем думать, что есть в ней нечто неизмеримо более глубокое, нежели тот жалкий смысл, который мы хотели бы в ней видеть, и, найдя только его, готовы были бы примириться с нею, "принять ее". Ощущение мистического, в чем коренится наше бытие, хотя мы его не видим, наполняет нашу душу, смиряет наш ум, но и возвращает нам силу жизни. "Прав Ты, Господи, и неисповедимы пути Твои", — невольно говорим мы в своей душе, когда после всех неизъяснимых тревог и мук

сознания снова возвращаемся к покою простой веры, к этому прочному следствию исповедания непостижимого.

С прочностью веры этой соединены и надежды наши. В "Легенде", которую мы разбирали, есть один пропуск: говоря об "оправданных", она ничего не говорит о *прощенных*. Между тем, тотчас после слов Откровения, в которых сказано, что первых будет сто сорок четыре тысячи, сделано радостное обетование и об *остальных*. Мы приведем это обетование, и пусть святые звуки его превозмогут тот сумрак и отчаяние, среди которого мы так долго вращались, говоря о "Легенде":

"После сего взглянул я, — говорит Св. Иоанн о своем видении, — и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед Престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.

И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на Престоле, и Агнцу!

И все Ангелы стояли вокруг Престола и старцев и четырех животных, и пали перед Престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: "Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь и сила, и крепость Богу нашему во веки веков".

И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды *кто и откуда* пришли?

Я сказал ему: "Ты знаешь, господин". И он сказал мне: "Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили их кровью Агнца.

За это они пребывают ныне пред Престолом Бога и служат Ему день и ночь в Храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них.

Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной.

Ибо Агнец, который среди Престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их" (гл. VII, ст. 9—17).

В великом образе этом явлено заключение земных судеб человека. В словах книги Бытия, приведенных нами в самом начале¹, указана исходная точка, откуда начались его скитания. Сама же "Легенда" — это горький его плач, когда, потеряв невинность и оставленный Богом, он вдруг понял, что теперь совершенно один, со своею слабостью, со своим грехом, с борьбою света и тьмы в душе своей.

Преодолевать эту тьму, помогать этому свету — вот все, что может человек в своем земном странствии и что он должен делать, чтобы успокоить свою встревоженную совесть, так отягощенную, так больную, так неспособную более выносить свои страдания. Ясное познание того, откуда этот свет и откуда тьма, может более всего укрепить его надеждою, что не вечно же суждено ему оставаться ареною борьбы их.

¹ В эпиграфе.

ПРИЛОЖЕНИЯ

К стр. 13. "В "Легенде о Великом Инквизиторе" схоронена заветная мысль автора, без которой не были бы написаны не только "Братья Карамазовы", но и многие другие его произведения; по крайней мере, не было бы в них всех самых лучших и высоких мест".

Первая слагающая идея этой "Легенды": *о неустроимости природы человеческой рационально*, выражена Достоевским впервые и всего подробнее в 1856 г. в "Записках из подполья" — *диалектически* и потом в 1866 г. *образно* — в "Преступлении и наказании".

"О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек *потому* только делает пакости, *что не знает настоящих своих интересов*; а что, если б его *просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы*, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же *стал бы добрым и благородным*, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно *увидел бы в добре собственную свою выгоду*, а известно, что ни один человек *не может действовать*, зазнамо, *против собственных своих выгод*, следовательно, так сказать, *по необходимости стал бы делать добро?* О, младенец! О, чистое, невинное дитя! Да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами *фактов*, свидетельствующих о том, как люди *знаемо*, то есть *вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось*, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только *не желая указанной дороги*, и упрямо, своевольно пробивали другую, *трудную, нелепую*, отыскивая ее чуть не в потемках. Ведь, значит, им действительно это *упрямство и своеволие* было *приятнее всякой выгоды...* Выгода! Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что, если так случится, что человеческая *выгода, иной раз, не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного?*¹ А если так, если только может быть этот случай, то все правило прахом пошло. Как вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь; смейтесь, господа, но только отвечайте: *совершенно ли верно сосчитаны выгоды человеческие?* Нет ли *таких, которые не только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию?* Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши *выгоды* — это *благоденствие, богатство, свобода*,

¹ Бентам: "...возражающие против принципа пользы, собственно говоря, утверждают, что *есть случаи, когда сообразоваться с пользою — было бы несообразно с нею*" ("Введение в основания нравственности и законодательства", гл. I, 13). Он думал — это неопровержимо; логически — так, но психологически — слишком легко опровергается.

покой, ну и так далее, и так далее, так что человек, который бы, например, явно и зазнамо пошел *против* всего *этого реестра*, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, — обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод постоянно *одну выгоду пропускают*? Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а от этого и *весь расчет зависит*. Беда бы не велика, взять бы ее, эту выгоду, да и занести в список. Но в том-то и пагуба, что *эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадет и ни в один список не умещается*. У меня, например, есть приятель... Эх, господа, да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он не приятель! Приговорясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины. Мало того, с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах; с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели, и — ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно *по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов*, — *выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам и говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды*, ну, одним словом, против всего... Предупреждаю, что мой приятель — лицо собирательное, и потому только его одного винить — как-то трудно. То-то и есть, господа: *не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод*, или (чтоб уж логики не нарушать) *есть одна такая самая выгодная выгода* (именно *пропускаемая-то*, вот об которой сейчас говорили), которая *главнее и выгоднее всех других выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия*, — одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего.

— Ну, так все-таки "выгоды же", — перебиваете вы меня. — Позвольте-с, мы еще объяснимся, да и не в каламбуре дело, а в том, что эта выгода именно так и замечательна, что все наши классификации разрушает и все системы, составленные любителями рода человеческого для счастья рода человеческого, постоянно *разбивает*. Одним словом, всему мешает. Но прежде, чем я вам назову эту выгоду, я хочу себя компрометировать лично и потому дерзко объявляю, что все эти прекрасные системы, все эти теории разъяснения человечеству настоящих нормальных его интересов с тем, что оно, необходимо стремясь достигнуть этих интересов, стало бы тотчас же добрым и благородным, — покамест, по моему мнению, одна логистика! Да-с, логистика. Ведь утверждать хоть эту теорию обновления всего рода человеческого посредством системы его собственных выгод, ведь это, по-моему, почти то же... ну, хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается, следовательно, становится менее кровожаден и менее способен к войне. По логике-то, кажется, у него так и выходит. Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить правду, готов видом не видать и слухом не слышать, только чтоб оправдать свою логику. Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример. Да оглянитесь кругом: кровь рекою летится, да еще развеселым таким образом, точно шампанское! Вот вам все наше девятнадцатое столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон — и великий, и теперешний. Вот вам Северная Америка — вековечный союз. Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн... И что такое смягчает в нас цивилизация? *Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше!* А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что *отыщет в крови наслаждение*. Ведь это уж и случалось с ним. Замечали ли вы, что *самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа*, которым все эти разные Атиллы, да Стеньки Разины

иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. *По крайней мере, от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уж наверно хуже, гаже кровожаден, чем прежде.* Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с спокойною совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этою гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже? — Сами решите. Говорят, Клеопатра (извините за пример из римской истории) любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно, варварские; что и теперь времена варварские, потому что (тоже говоря относительно) и теперь булавки втыкаются; что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена варварские, но еще далеко не *приучился* поступать так, как ему разум и науки указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кой-какие старые, дурные привычки и когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда человек и сам *перестанет добровольно ошибаться* и, так сказать, поневоле *не захочет развить свою волю с нормальными своими интересами.* Мало того: тогда, говорите вы, *сама наука научит человека* (хоть это уж и роскошь, по-моему), *что ни воли, ни каприза* на самом-то деле у него *и нет, да и никогда не бывало*, а что он сам *не более, как нечто вроде фортепианной клавиши или органного штифтика*; и что сверх того — на свете *есть еще законы природы*; так что все, что он ни делает, *делается вовсе не по его хотению*, а само собою, *по законам природы.* Следственно, эти законы природы стоит только *открыть*, и уж за *поступки* свои человек *отвечать не будет и жить* ему будет чрезвычайно *легко.* Все *поступки* человеческие, само собою, будут *расчислены* тогда *по этим законам*, математически, вроде таблиц логарифмов, до 100 000-й доли и занесены в календарь; или, еще лучше, появятся некоторые *благонамеренные издания*, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете *уже не будет более ни поступков, ни приключений.*

Тогда-то, — это все вы говорите, — настанут *новые экономические отношения*, совсем уж *готовые и тоже вычисленные с математическою точностью*, так что в один миг *исчезнут всевозможные вопросы*, собственно *потому, что на них получатся всевозможные ответы.* Тогда выстроится *хрустальный дворец.* Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно¹ (потому что *что ж и делать-то, когда все будет расчислено* по табличке), зато все будет чрезвычайно *благоразумно.* Конечно, от скуки чего не выдумаете! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы все ничего. Скверно то (это *опять-таки я говорю*), что, чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хотя и вовсе не глуп, но уж зато *неблагодарен* так, что *поискать другого* — так не найти. Ведь я, например, несколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего, среди всеобщего будущего *благоразумия* возникнет какой-нибудь джентльмен, с *неблагородной* или, лучше сказать, с *ретроградной* и *насмешливою физиономией*, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, *не столкнут ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отравились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить*².

¹ См. ниже, в этих же приложениях, о скуке при будущем окончательном устройении людей, — и о необходимости утолить ее, рассеять хотя бы ценою крови, временно и преднамеренно поэтому допускаемой.

² В одной из своих критических статей г. Н. Михайловский возражает на это, что "подобного господина свяжут и уберут". Но это — механический ответ, не

Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно и последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздражающая иногда хотеть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотенья? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хотенья? Человеку надо одного только — самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь...

* * *

— Ха-ха-ха! Да ведь хотенья-то, в сущности, если хотите, и нет, — прерываете вы с хохотом. Наука даже по сию пору до того успела разанатомировать человека, что уж и теперь нам известно, что хотенье и так называемая свободная воля — есть не что иное, как...

— Постойте, господа, я и сам так начать хотел. Я, признаюсь, даже испугался. Я только что хотел было прокричать, что хотенье, ведь, черт знает от чего зависит и что это, пожалуй, и слава Богу, да вспомнил про науку-то и... осекся. А вы тут и заговорили. Ведь в самом деле, ну, если и вправду найдут когда-нибудь формулу всех наших хотений и капризов, то есть от чего они зависят, по каким именно законам происходят, как именно распространяются, куда стремятся в таком-то и в таком-то случае и проч., то есть настоящую математическую формулу, — так ведь тогда человек тотчас же, пожалуй, и перестанет хотеть, да еще, пожалуй, и навсегда перестанет. Ну, что за охота хотеть по табличке? Мало того: тотчас же обратится он из человека в органичный штифтик или вроде того; потому, что же такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале? Как вы думаете? Сосчитаем вероятности, — может это случиться или нет?

— Гм... — решаете вы, — наши хотенья большею частью бываю ошибочны от ошибочного взгляда на наши выгоды. Мы потому и хотим иногда чистого вздору, что в этом вздоре видим, по глупости нашей, легчайшую дорогу к достижению какой-нибудь заранее предположенной выгоды. Ну, а когда все это будет растолковано, расчислено на бумажке (что очень возможно, потому что гнусно же и бессмысленно заранее верить, что иных законов природы человек никогда не узнает), — то тогда, разумеется, не будет так называемых желаний. Ведь, если хотенье стукнется когда-нибудь совершенно с рассудком, так, ведь, уж мы будем тогда рассуждать, а не хотеть, собственно, потому, что ведь нельзя же, например, сохраняя рассудок, хотеть бессмыслицы и, таким образом, зазнамо идти против рассудка и желать себе вредного... А так как все хотенья и рассуждения могут быть действительно вычислены, потому что когда-нибудь откроют же законы так называемой нашей свободной воли: то, стало быть, и, кроме шуток, может устроиться что-нибудь вроде таблички, так что мы, и действительно, хотеть будем по этой табличке. Ведь если мне, например, когда-нибудь расчис-

разрешающий психологическую задачу. И Достоевский знал, что "убрать" можно, но уже не "уберешь", когда подобных будут тысячи, когда встанет человечество, не насыщенное "арифметикой". Д-ий берет задачу насыщения, и кто хочет отвечать ему — должен отвечать именно на этот вопрос.

лят и докажут, что если я показал такому-то кукиш, так именно потому, что не мог не показать и что непременно таким-то пальцем должен был его показать, так что же тогда во мне *свободно-то* остается, особенно если я ученый и где-нибудь курс наук кончил? *Ведь я тогда вперед всю мою жизнь на тридцать лет рассчитать могу; одним словом, если и устроится это, так ведь нам уж нечего будет делать; все равно надо будет понять.* Да и вообще мы должны не устаяя повторять себе, что непременно в такую-то минуту и в таких-то обстоятельствах — природа нас не спрашивается; что нужно принимать ее так, как она есть, а не так, как мы фантазируем, и если мы действительно *стремимся к табличке и к календарю*, ну, и... *хоть бы даже и к реторте¹*, то что же делать, надо принять и реторту! Не то она сама, без нас, примется...

— Да-с, но вот тут-то для меня и запятая! Господа, вы меня извините, что я зафилософовался; тут сорок лет подполья! Позвольте пофантазировать. Видите ли-с: рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только *рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями.* И хоть жизнь наша, в этом проявлении, *выходит зачастую дрянно, но все-таки — жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня.* Ведь я, например, совершенно естественно *хочу жить для того, чтобы удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтоб удовлетворить одной только моей рассудочной способности*, то есть какой-нибудь *одной двадцатой доли всей моей способности жить.* Что знает рассудок? Рассудок *знает только то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает: это хоть и не утешение, но отчего же этого и не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, — всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет — да живет.* Я подозреваю, господа, что вы смотрите на меня с сожалением; вы повторяете мне, что не может просвещенный и развитой человек, одним словом, такой, каким будет будущий человек, зазнамо захотеть чего-нибудь для себя невыгодного, что это — математика. Совершенно согласен, действительно математика. Но, повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда *человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего*, а именно: *чтобы иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать одного только умного.* Ведь это *глупейшее*, ведь этот свой *каприз* и в самом деле, господа, может быть *всего выгоднее* для нашего брата *из всего, что есть на земле*, особенно в иных случаях. А в частности, может быть *выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здоровым заключениям нашего рассудка о выгодах, —* потому что во всяком случае *сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность.* Иные вот утверждают, что это и в самом деле всего для человека дороже; хотенье, конечно, может, если хочет, и сходиться с рассудком, особенно если не злоупотреблять этим, а пользоваться умеренно; это и полезно, и даже иногда похвально. Но *хотенье очень часто и даже большую часть совершенно и прямо разногласит с рассудком* и... и... и знаете ли, что это и полезно, и даже иногда очень похвально? Господа, положим, что человек не глуп. (Действительно, ведь, никак нельзя этого сказать про него, хоть бы по тому одному, что если уж он будет глуп, так, ведь, *кто же²* тогда будет умен?!) Но если и не глуп, то все-таки — чудовищно неблагодарен! Неблагодарен феноменально. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека — это: существо на двух ногах и неблагодар-

¹ Т. е. к знаменитой реторте алхимиков, где, по известному рецепту и известным способом, изготавливался человек — *Homunculus*.

² Какое сознание одиночества человека на земле и, вообще, в природе, — чувство атеизма!..

ное. Но это еще не все; это еще не главный недостаток его; главнейший недостаток его — это постоянное неблагонаравие, постоянное, начиная со всемирного потопа до Шлезвиг-Гольштейнского периода судеб человеческого. Неблагонаравие, а следовательно, и неблагоприятие; ибо давно известно, что неблагоприятие не иначе происходит, как от неблагонаравия. Попробуйте же, бросьте взгляд на историю человечества: ну, что вы увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно; уж один колосс Родосский, например, чего стоит! Недаром же г. Ананевский свидетельствует о нем, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих; другие же утверждают, что он создан самою природою. Пестро? Пожалуй, хоть и пестро; разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских, — уж одно это чего стоит, а с вицундирами и совсем можно ногу сломать; ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно: дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались, — согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, *все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, что — благоприятно.* На первом слове поперхнется. И даже вот какая тут штука поминутно встречается: постоянно, ведь, *являются в жизни такие благоприятные и благоприятные люди, такие мудрецы и любители рода человеческого, которые именно задают себе целью всю жизнь вести себя как можно благоприятнее и благоприятнее, так сказать, светить собою ближним, собственно для того, чтоб доказать им, что действительно можно на свете прожить и благоприятно и благоприятно. И что ж? Известно, что многие из этих любителей, рано ли, поздно ли, под конец жизни изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших.* Теперь вас спрошу: *чего же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного такими странными качествами? Да опытите его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головою, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, — так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагоприятности, из одного насквила мерзость сдelaет.* Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, *чтобы ко всему этому положительному благоприятию примешать свой пагубный фантастический элемент.* Именно свои фантастические мечты, свою полнейшую глупость пожелает удержать за собой, единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы, собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепианной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно, напротив, что-нибудь сдelaет, единственно из одной неблагоприятности, — собственно, чтоб настоять на своем. А в том случае, если средств у него не окажется, — *выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоят-таки на своем! Проклятие пустит по свету, а так как проклятием может только один человек (это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных), так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, то есть действительно убедится, что он человек, а не фортепианная клавиша! Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так что уж одна возможность предварительного расчета все остановит, и рассудок возьмет свое — так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сдelaется, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем!* Я верю в это, отвечаю за это, потому что, ведь, *все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! Хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством, да доказыва-*

вал. А после этого как не согрешить, не похвалить, что этого еще нет и что хотенье покамест еще черт знает от чего зависит.

“Вы кричите мне (если только еще удостоите меня вашим криком), что ведь тут никто с меня воли не снимает, что тут только и хлопочут как-нибудь так устроить, чтоб *воля моя сама, своей собственной волей, совпала с моими нормальными интересами, с законами природы и с арифметикой*”.

— Эх, господа, *какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!*

* * *

Господа, я, конечно, шучу, и сам знаю, что неудачно шучу, но, ведь, и нельзя же все принимать за шутку. Я, может быть, скрипя зубами шучу. Господа, меня мучат вопросы; разрешите их мне. Вот вы, например, *человека от старых привычек хотите отучить и волю его исправить, соответственно требованиями науки и здравого смысла*. Но почему вы знаете, что человека не только можно, но и нужно так *переделывать*? Из чего вы заключаете, что хотенье человеческому так необходимо *надо исправиться*? Одним словом, почему вы знаете, что такое *исправление* действительно *принесет человеку выгоду*? И, если уж все говорить, почему вы так *наверно* убеждены, что *не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего человечества*? Ведь эти покамест еще только одно ваше предположение. Положим, что это закон логики, но, может быть, вовсе не человечества. Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте оговориться. Я согласен: человек есть животное по преимуществу созидающее, присужденное стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и непрерывно дорогу себе прокладывать, хотя куда бы то ни было. Но вот именно *потому-то* может быть, *ему и хочется иногда вильнуть в сторону, что он присужден пробивать эту дорогу*, да еще, пожалуй, потому, что как ни глуп непосредственный деятель вообще, но все-таки ему иногда приходит на мысль, что *дорога-то, оказывается, почти всегда идет куда бы то ни было, и что главное дело не в том, куда она идет, а в том, чтоб только шла*, и чтоб *благодарное дитя, пренебрегая инженерным искусством, не предавалось губительной праздности*, которая, как известно, есть мать всех пороков. *Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же тоже любит разрушение и хаос*? Вот это скажите-ка! Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос (ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам *инстинктивно боится достигнуть цели и довершить создаемое здание*? Почем вы знаете, может быть, он *здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи*; может быть, он только *любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом ах animaux domestiques*, как-то: *муравьям, баранам и проч., и проч.* Вот *муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерушимое, — муравейник*.

С *муравейника* достопочтенные *муравьи* начали, *муравейником*, *наверно, и покончат*, что приносит большую честь их *постоянству и положительности*. Но человек существо легкомысленное и неблагоприятное и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И, кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и *вся цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой непрерывности процесса достижения*; иначе сказать — в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не *иное что, как дважды два четыре*, то есть *формула*, а, ведь, *дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти*. По крайней мере, человек *всегда как-то боится этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь*. Положим, человек только и делает, что *отыскивает эти*

дважды два четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, но *отыскать*, действительно *найти*, — ей-Богу, он *как-то боится*. Ведь чувствует, что как найдет, так уже *нечего будет тогда отыскивать*. Работники, кончив работу, по крайней мере деньги получают, в кабачок пойдут, потом в часть попадут, — ну, вот и занятие на неделю. А *человек куда пойдет?* По крайней мере, каждый раз *замечается* в нем *что-то неловкое при достижении подобных целей*. Достижение он любит, а достигнуть — уж и не совсем, и это, конечно, ужасно смешно. Одним словом, *человек устроен комически; во всем этом, очевидно, заключается каламбур*. Но дважды два четыре — все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги, руки в боки и плывется. Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но если уж все хвалить, то и *дважды два пять — премилая иногда вещьца*.

И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, — одним словом, — только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, *человек любит не одно благоденствие?* Может быть, *страдание-то* ему ровно *настолько же выгодно, как и благоденствие?* А человек иногда любит страдание, *до страсти, и это — факт*. Тут уж и со всемирною историею справляться нечего; спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то *любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично*. Хорошо ли, дурно ли, — но *разломать* иногда что-нибудь тоже *очень приятно*. Я ведь тут, собственно, не за страдания стою, да и не за благоденствие. Стою я... *за свой каприз* и за то, *чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится*. Страдание, например, в водевилях не допускается, я знаю. *В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться?* А между тем я уверен, что *человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется*. Страдание, — да ведь *это единственная причина сознания*. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что *человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения*. Сознание, например, бесконечно выше, чем *дважды два*. После дважды двух уж, разумеется, ничего не остается не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это — заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну а при сознании хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но, по крайней мере, самого себя иногда можно посечь, а это все-таки подживляет. Хоть и ретроградно, а все же лучше, чем ничего.

* * *

Вы верите в *хрустальное здание*, навеки *нерушимое*, то есть в такое, *которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать*. Ну, а я, может быть, *потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое*, — и *что нельзя будет даже и украдкою языка ему выставить*.

Вот видите ли: *если вместо дворца будет курятник и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтоб не замочиться; но все-таки курятника не приму за дворец, из благодарности, что он меня от дождя сохранил*. Вы смеетесь, вы даже говорите, что в этом случае курятник и хоромы — все равно. Да, отвечаю я, *если б надо было жить только для того, чтобы не замочиться*.

Но что же делать, если я *забрал себе в голову, что живут и не для одного этого* и что если уж — жить, так уж жить — *в хоромаш*¹. Это — мое хотение, это

¹Здесь говорится о возможности *мечты, воображения, идеала*, что при "курытнике" (наша бедная действительность) сохраняется человеку, а в "хрустальном дворце" для него исчезнет; говорится также и о потребности в нем *отрицания*, которое самую идею "дворца" уничтожает.

— желания мои. Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желание мое. Ну, перемените, *прельстите* меня *другим*, *дайте* мне *другой идеал*. А *покамест* я не *приму курятника за дворец*. Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается и что я *выдумал* его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных, нерациональных привычек нашего поколения. Но *какое мне дело, что его не полагается*. Не все ли равно, если он *существует в моих желаниях*, или, лучше сказать, *существует, пока существуют мои желания*? Может быть, вы опять смеетесь? Извольте смеяться; я все насмешки приму и все-таки не скажу, что я сыт, когда я есть хочу, все-таки знаю, что я не успокоюсь на компромиссе, на бесперывном периодическом нуле, потому только, что он существует по законам природы и существует *действительно*. Я не *приму за венец желаний моих* — *капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет*¹ и, на всякий случай, с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске. *Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше* — и я за вами пойду. Вы, пожалуй, скажете, что не стоит и связываться; но, в таком случае, ведь, и я вам могу тем же ответить. Мы рассуждаем серьезно; а не хотите меня удостоить вашим вниманием, так, ведь, кланяться не буду. У меня есть подполье.

А покамест я еще живу и желаю, — да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу! Не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг, *единственно по той причине, что его нельзя языком подразнить*. Я это говорил *вовсе не потому*, что уж так люблю мой язык *выставлять*. Я, может быть, на то только и сердился², что *такого здания, которому бы можно и не выставлять языка, из всех ваших*³ зданий — до сих пор не находится. Напротив, я бы дал себе *совсем отрезать язык из одной благодарности, если б только устроилось так, чтоб мне самому уже более никогда не хотелось его высовывать*. Какое мне дело до того, что так невозможно устроить и что надо довольствоваться квартирами. *Зачем же*⁴ я *устроен с такими желаниями*? *Неужели ж я для того и устроен, чтоб дойти до заключения, что, все мое устройство — одно надувание*? Неужели в этом вся цель? Не верю.

А, впрочем, знаете что: я убежден, что *нашего брата подпольного нужно в узде держать*⁵.

(“Записки из подполья”, гл. VII—X).

Здесь, таким образом, не только обнаружена невозможность разрешения этой задачи, но и показаны три модуса, под которыми могли бы ожидать решения. Из них один избран природою и основан на вложении в натуру устрояемых существ инстинкта не ошибающегося, безотчетного, постоянно действующего, и притом одинаково (*муравейник*); второй осуществляется в истории; это — неудобная, несовершенная, изменчивая действительность (*курятник*), с которою человек вечно враждует, ее не уважает, к ней не привязан, но ею пользуется — от “дождя” (т. е. преступлений грубых и частных, от голода и нужды мелкой, от насилия и пр.) и в случае — от “грозы”, хотя она обычно эту действительность сносит; от нее человек вечно силится перейти к третьему модусу — *хрустальному дворцу* — формуле окончательной, всеудовлетворяющей, вечной, — и ее-то критика дана в приведенной выдержке.

В “Преступлении и наказании” та же мысль выражена в болезненных грезах Раскольникова, в Сибири, когда Соня занемогла и он остался совершенно один;

¹ Говорится о коммунистических идеях Фурье и др.

² С этих слов прямо начинается уже переход к возможности такого “здания” на иных началах, мистических, религиозных, — т. е. к идее “Легенды о Великом Инквизиторе”.

³ Т. е. *рационально, рассудочно, утилитарно* построяемых.

⁴ Отсюда уже тон и мысли самой “Легенды о Великом Инквизиторе”.

ими образно как бы *заключается* идейное развитие главного лица романа, как бы высказывается суд его над тревожными своими мыслями, *окончательная* на них точка зрения. Вот эти слова:

"Ему грезилось в болезни, будто *весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной мировой язвы*, идущей из глубины Азии на Европу. *Все должны были погибнуть*, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселяющиеся в тела людей. Но эти существа были *духи¹, одаренные умом и волей². Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими*. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали эти зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих *приговоров*, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшедствовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном *заключается истина*, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли *согласиться, что считать злом, что добром³*. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, *вдруг начинали сами терзать себя*, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, *кусали и ели друг друга*. В городах целый день били в набат: *созывали всех, но кто и для чего зовет — никто не знал того, а все были в тревоге*. Оставляли⁴ самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки и не могли *согласиться*; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, *соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться*, — но *тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали⁴*, начинали *обвинять друг друга, дрались и резались*. Начались пожары, начался голод. Все и все погибло. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире⁵ могли только несколько человек: это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей⁶ и *новую жизнь, обновить и очистить землю*, — но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса".

"Преступление и на к.", Эпилог, II.

Здесь мы имеем, таким образом, как бы узел, в котором связаны лучшие произведения Достоевского: это — *заключение* "Преступления и наказания", в то же время — это *тема* "Бесов"; она входит, как *образующая черта*, в "Легенду

¹Первая идея романа "Бесы", который, таким образом, через это место связывается с "Преступлением и наказанием", а через смысл этого места с "Записками из подполья", и, далее, с "Легендой", "Бесы" — только очень широко выполненная картина этого сна, она же и картина своего времени и общества, иносказательно выраженного здесь, в этом сне.

²Это язык и мысли "Легенды о Великом Инквизиторе". Несколькими строками ниже, от смутности настоящего — воображение продвигается вперед, к ужасу будущего. Момент этого-то ужаса и взят в некоторых местах "Легенды", в словах "об антропофагии", о "неумении человека различать добро и зло" и т. д.

³Здесь, собственно, и выступает неустроимость, несогласимость человеческой мысли, которая к *единству, всеобщности* признания чего-либо истинным и окончательным — никогда не придет.

⁴Мысль совершенно "Записок из подполья".

⁵Это уже образы "Легенды", ей "оправданных и избранных", 144 тысяч Апокалипсиса.

⁶Через эти слова данное место соединяется со "Сном смешного человека" в "Дневнике писателя", с полетом на *новую землю, к новой породе людей, еще чистых и неразвращенных*.

о Великом Инквизиторе”, которая и отвечает на потребность умиротворить этот хаос, уничтожить это смятение, и, хотя одною стороною, косым намеком, указывает на “Сон смешного человека” в “Дневнике писателя”.

К стр. 76—86. “Идея понижения психического уровня человека, сужения его природы как средство устройства судьбы его на земле составляет вторую образующую черту “Легенды”, отвечающую только что выясненной первой”. — Первоначальное ее выражение, но без примеси религиозно-мистических основ, было сделано Достоевским в 1870—71 гг. в романе “Бесы”. Это — теория, высказанная эпизодически вставленным лицом, Шигалевым, и мы приведем из главы VII (“У наших”, отд. II) места, в которых или он сам, или за него другие указывают коренные пункты этой теории:

“Длинноухий Шигалев с мрачным и угрюмым видом медленно поднялся с своего места и меланхолически положил толстую и чрезвычайно мелко исписанную тетрадь на стол. Он не сажился и молчал. Многие с замешательством смотрели на тетрадь, но Липутин, Виргинский и хромой учитель были, казалось, чем-то довольны.

— Посвятит мою энергию, — начал он, — на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению, что все создатели социальных систем, с древнейших времен до нашего 187... года, были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном¹, которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия — все это годится разве для воробьев, а не для общества человеческого. Но так как будущая общественная форма необходима именно теперь, когда все мы наконец собираемся действовать, чтоб уже более не задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства мира.

Объявляю заранее, что система моя не окончена. Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. *Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом². Прибавлю, однако ж, что, кроме моего разрешения общественной формумы, не может быть никакого.*

— Если вы сами не сумели слепить свою систему и пришли к отчаянию, то нам-то тут чего делать? — осторожно заметил один из слушающих.

— *Вы правы, — резко оборотился к нему Шигалев, — и всего более тем, что употребили слово “отчаяние”. Да, я приходил к отчаянию; тем не менее все, что изложено в моей книге, — незаменимо, и другого выхода нет; никто ничего не выдумает. И потому спешу, не теряя времени, пригласить все общество, по выслушании моей книги, заявить свое мнение. Если же члены не захотят меня слушать, то разойдемся в самом начале, — мужчины — чтобы заняться государственною службой, женщины в свои кухни, потому что, отвергнув книгу мою, другого выхода они не найдут. Ни-ка-кого! Упустив же время, повредят себе, так как потом неминуемо к тому же воротятся³.*

Среди гостей началось движение: “Что он, помешанный, что ли?” — раздалась голоса...

— Тут не то-с, — ввязался наконец хромой. Вообще он говорил с некоторой как бы насмешливою улыбкой, так что, пожалуй, трудно было и разобрать, искренно он говорит или шутит. — Тут, господа, не то-с. Г. Шигалев слишком серьезно предан своей задаче и притом слишком скромнен. Мне книга его известна.

¹ Язык и тон “Легенды”; под “естественною наукою” разумеется естественная наука о человеке, его психология, как она выражается в фактах истории и текущей действительности.

² Тема и “Легенды о Великом инквизиторе”.

³ Слова об отчаянии и об отсутствии иного выхода проникают и “Легенду”.

Он предлагает, ввиде конечного разрешения вопроса. — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и, при безграничном повиновении, достигнуть — рядом перерождений — первобытной невинности, вроде как бы *первобытного рая*, хотя, впрочем, и будут работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений, — весьма замечательны, основаны на естественных данных и очень логичны¹. Можно не согласиться с иными выводами, но в уме и знаниях автора усомниться трудно. Жаль, что условие десяти вечеров совершенно несоместимо с обстоятельствами, а то бы мы могли услышать много любопытного.

— Неужели вы серьезно? — обратилась к хромоу m-me Вергинская, в некоторой даже тревоге. — Если этот человек, не зная, куда деваться с людьми, обращает девять десятых их в рабство? Я давно подозревала его.

— То есть, вы про вашего брата? — спросил хромой.

— Родство? Вы смеетесь надо мною или нет?

— И, кроме того: *работать на аристократов и повиноваться им, как богам*, — это подлость! — яростно заметила студентка.

— Я предлагаю не подлость, а *рай*, земной рай, — и другого на земле быть не может, — властно закричал Шигалев.

— А я бы вместо рая, — вскричал Лямшин, — взял бы этих девять десятых человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух, а оставил бы только кучку людей образованных, которые и начали бы жить-поживать по-ученому.

— Так может говорить только шут! — вспыхнула студентка.

— Он шут, но полезен, — шепнула ей m-me Вергинская.

— И, может быть, это было бы самым лучшим разрешением задачи! — горячо оборотился Шигалев к Лямшину. — Вы, конечно, и не знаете, какую глубокую вещь удалось сказать, господин веселый человек. Но так как ваша идея почти невыполнима, то и надо ограничиться *земным раем*, если уж так это назвали.

— Однако, порядочный вздор! — как бы вырвалось у Верховенского. Впрочем, он совершенно равнодушно и не подымая глаз продолжал обстригать свои ногти.

— Почему же вздор-с? — тотчас же подхватил хромой, как будто так и ждал от него первого слова, чтобы вцепиться. — Почему же именно вздор? Господин Шигалев отчасти *фанатик человеколюбия*; но вспомните, что у Фурье, у Кабета особенно и даже у самого Прудона есть множество самых деспотических и самых фантастических предрешений вопроса. Господин Шигалев даже, может быть, гораздо *трезвее их разрешает* дело. Уверяю вас, что, *прочитав* книгу его, почти невозможно не согласиться с иными вещами. Он, может быть, *менее* всех удалился от реализма, и его *земной рай* есть почти настоящий — *тот самый, о потере которого вздыхает человечество*, если только он когда-нибудь существовал”.

Дальнейшее изложение и оценку мысли Шигалева мы находим в разговоре между Ставрогиным и П. Верховенским, когда они шли с вечера:

”Шигалев — *гениальный человек!* Знаете ли, что это гений вроде Фурье, но — смелее Фурье; я им займусь. Он *выдумал "равенство"*! — проговорил Верховенский.

”С ним лихорадка, и он бредит; с ним что-то случилось особенное”, — подумал о нем еще раз Ставрогин. Оба шли не останавливаясь.

¹ Это уже есть логический компендиум ”Легенды”; с тем вместе, из трех формул жизни человеческой, указанных в ”Записках из подполья”, мысль автора клонится к идее ”Муравейника”, с заменой господствующего там *неошибающегося* инстинкта — *непрекословляющим* повиновением.

— У него хорошо в тетради, — продолжал Верховенский, — у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. *Все рабы и в рабстве равны.* В крайних случаях — клевета и убийство, а главное — равенство. *Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов.* Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, — *не надо высших способностей!* Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями, — вот Шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство — и вот Шигалевщина! Ха-ха-ха, вам странно? Я за Шигалевщину!

Ставрогин старался ускорить шаг и добраться поскорее домой. "Если этот человек пьян, то где же он успел напиться, — приходило ему на ум. — Неужели же коньяк?"

— Слушайте, Ставрогин: *горы сровнять — хорошая мысль, не смешная.* Я за Шигалева! *Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материала на тысячу лет, но надо устроиться послушанию.* В мире одного только недостает¹ — послушания. *Жажда образования есть уже жажда аристократическая.* Чуть-чуть семейство или любовь — вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство! "Мы научились ремеслу, и мы честные люди, нам не надо ничего другого" — вот недавний ответ английских рабочих. *Необходимо лишь необходимое!* — вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в Шигалевщине не будет желаний. *Желание и страдания — для нас², а для рабов — Шигалевщина.*

— Себя вы исключаете? — сорвалось опять у Ставрогина.

— И вас. Знаете ли, я думал *отдать мир папе.* Пусть он *выйдет пеш и бос и покажется черни:* "Вот, — дескать, — до чего меня довели!" — и все повалит за ним, даже войско. *Папа — вверху, мы — кругом, а под нами — Шигалевщина.* Надо только, чтобы с *папой Internationale согласилась:* так и будет. А старикашка *согласится* мигом. Да *другого ему и выхода нет,* вот помяните мое слово"³.

"Бе сы", гл. VII и VIII.

¹ С этих слов мы прямо входим в оборот мысли, развиваемой в "Легенде".

² Здесь опять встречаем частную мысль "Легенды" — о том, что свобода и познание добра и зла должны быть взяты немногими, а остальному человечеству должно быть предоставлено повиновение и сытость.

³ Слишком, слишком приходится "помянуть"... Писано было это Достоевским в 1871 году, при Пии IX, консервативнейшем из пап (во вторую половину своей жизни) и наиболее униженном в своей власти. И вот — его преемник, Лев XIII, из всего, что он тайно думал, что ему явно указывалось, на что он манился, к чему призывался, избирает, к смущению целого мира, как бы программною своею — слова, сказанные еще при его предшественнике о папстве далеким и ему, вероятно, неизвестным публицистом враждебной и мало знаемой страны. Между великим и смешным часто один шаг; в словах: "я думал отдать мир папе" как не увидеть и тему деятельности публициста-богослова, Вл. Соловьева, с его усилиями дать папе духовно Россию, дабы в ней он получил физическое орудие, материальную силу для восстановления своего владычества над расшатанным, дезорганизованным миром. Но мы должны помнить замечательные слова "проекта": вокруг него — мы (религиозно-политические мошенники, как ниже, в не

Вот грубый и грязный, но уже полный очерк "Легенды"; мазок углем по полотну, который, однако, там именно и так именно проводится художником, как и где позднее он положит яркие и вечные краски своею кистью.

К стр. 86—94. Идея римского католицизма как противоположения христианству впервые высказана была Достоевским в 1868 г., в романе "Идиот", в следующем разговоре:

"...Не с этим ли Павлищевым история вышла какая-то странная... с аббатом... с аббатом... Забыл, с каким аббатом, но только все тогда что-то рассказывали, — произнес, как бы припоминая, сановник.

— С аббатом Гуро, иезуитом, — напомнил Иван Петрович, — да-с, вот-с превосходнейшие-то люди наши — достойнейшие-то! Потому что все-таки человек был родовой, с состоянием, камергер, и, если бы... продолжал служить... И вот бросает вдруг службу и все, чтобы перейти в католицизм и стать иезуитом, да еще чуть не открыто, с восторгом каким-то. Право, кстати умер... Да, тогда все говорили.

— Павлищев был светлый ум и христианин, истинный христианин, — произнес вдруг князь ("идиот"), — как же мог он *подчиниться вере... нехристианской? Католичество — все равно, что вера нехристианская*, — прибавил он вдруг, засверкав глазами и смотря перед собой, как-то вообще обводя глазами всех вместе.

— Ну, это слишком, — пробормотал старичок и с удивлением поглядел на Ивана Федоровича.

— Как так? Это католичество — вера нехристианская? — повернулся на стуле Иван Петрович. — А какая же?

— Нехристианская вера, во-первых! — в чрезвычайном волнении и не в меру резко заговорил опять князь, — это во-первых, а во-вторых, *католичество римское даже хуже самого атеизма*, таково мое мнение! Да, таково мое мнение! Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он *искаженного Христа проповедует*, им же оболганного и поруганного, *Христа противоположного!* Он Антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас! *Это мое личное и давнишее убеждение, и оно меня самого измучило...* Римский католицизм верует, что *без всемирной государственной власти Церковь не устоит на земле*, и кричит: *Non possumus!* По-моему, римский католицизм *даже и не вера, а решительно — продолжение Западной Римской империи*, и в нем все подчинено этой мысли, начиная с веры. *Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор все так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа*, все, все променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение антихристов?! *Как же было не выйти от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римского католичества!* Атеизм, прежде всего, с них самих и начался: *могли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращения к ним; он — порождение их лжи и бессилия духовного!* Атеизм! У нас не веруют еще только сословия "исключительные", как великолепно выразился Евгений Павлович, корень потерявшие; а там, в Европе, уже страшные массы самого народа начинают не веровать, — прежде от тьмы и от лжи, а теперь уже из фанатизма, из ненависти к Церкви и к Христианству.

приведенных строках, определяет себя П. Верховенский), а внизу — Шигалевщина (рабское, тупое стадо). Конечно, история не может, не должна так грустно кончиться: этого не допустит Бог, живой наш Бог, Царь Небесный истинный, а не Его немое подобие, мелькающее в воображении экзальтированных людей, глаза которых слепы, слух утерян и потому разум так искажен и слово косноязычно.

Князь остановился перевести дух. Он ужасно скоро говорил. Он был бледен и задыхался. Все переглядывались, но, наконец, старичок откровенно рассмеялся. Князь N вынул лорнет и, не отрываясь, рассматривал князя. Немчик-поэт выполз из угла и подвинулся поближе к столу, улыбаясь зловещею улыбкой.

— Вы очень пре-у-вели-чиваете, — протянул Иван Петрович с некоторою скукой и даже как будто чего-то совестясь, — тамошней Церкви тоже есть представители, достойные всякого уважения и до-бро-детельные...

— Я никогда и не говорил *об отделившихся* представителях Церкви. *Я о римском католичестве в его сущности* говорил, я о Риме говорю. Разве может Церковь совершенно исчезнуть? Я никогда этого не говорил!

— Согласен, но все это — известно, и даже — не нужно и... принадлежит богословию...

— О, нет, о, нет! Не одному богословию, уверяю вас, что нет! Это гораздо ближе касается нас, чем вы думаете. В этом-то вся и ошибка наша, что мы не можем еще видеть, что это дело не исключительно одно только богословское! Ведь и социализм порождение католичества и католической сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтобы утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти¹ его не Христом, а также насильем! Это тоже свобода и через насилие! Это тоже объединение через меч и кровь! "Не смей веровать в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности, fraternité ou la mort, два миллиона голов!" "По делам их вы узнаете их" — это сказано! И не думайте, чтоб это было все так невинно и бесстрашно для нас; о, нам нужен отпор, и скорей, скорей! *Надо*, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали! Не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать перед ними; и пусть не говорят у нас, что проповедь их изыщна, как сейчас сказал кто-то...

— Но позволяйте же, позволяйте же, — забеспокоился ужасно Иван Петрович, озираясь кругом и даже начиная трусить, — все ваши мысли, конечно, похвальны и полны патриотизма: но все это в высшей степени преувеличено и... даже лучше об этом оставить.

— Нет, не преувеличено, скорей уменьшено; именно уменьшено, потому что я не в силах выразиться, но...

— По-зволь-те же!

Князь замолчал. Он сидел, выпрямившись на стуле, и неподвижно огненным взглядом глядел на Ивана Петровича.

— Мне кажется, что вас слишком уже поразил случай с вашим благодетелем, — ласково и теряя спокойствие, заметил старичок, — вы воспалены... может быть, уединением. Если бы вы пожили больше с людьми — а в свете, я надеюсь, вам будут рады, как замечательному молодому человеку, — то, конечно, успокоите ваше одушевление и увидите, что все это гораздо проще... и к тому же такие редкие случаи... происходят, по моему взгляду, отчасти от нашего пресыщения, а отчасти от... скуки...

— Именно, именно так, — вскричал князь, — великолепнейшая мысль! Именно "от скуки, от нашей скуки", не от пресыщения, а, напротив, от жажды... не от пресыщения, вы в этом ошиблись! Не только от жажды... но даже от воспаления, от жажды горячешной! И... и не думайте, что в таком маленьком виде, что можно только смеяться; извините меня, *надо уметь предчувствовать!* Наши как доберутся до берега, как уверуют, что это — берег, то уж так обрадуются ему, что немедленно доходят до последних столпов; отчего это? Вы вот дивитесь на Павлищева, вы все приписываете его сумасшествию или доброте, но это не так! И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская

¹ Говорится сейчас "также", т. е. эти черты есть и в католицизме, как в нем указаны они "Легендою".

страстность наша: у нас коль в католичество перейдет, — то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль скоро атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насильем, то есть, стало быть, и мечом! Отчего это, отчего разум такое иступление? Неужто не знаете? Оттого, что он *отечество нашел, которое здесь просмотрел*, и обрадовался; *берег, землю нашел и бросился ее целовать!* Не из одного ведь тщеславия, не все, ведь, от одних скверных, тщеславных чувств происходят русские атеисты и иезуиты, а и из доли *духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали!* Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, — легче, чем всем остальным во всем мире! Но наши не просто становятся атеистами, а непременно *уверуют* в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда! "Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет". Это — не мое выражение. Это выражение одного купца из старообрядцев, с которыми я встретился, когда ездил. Он, правда, он не так выразился, он сказал: "Кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался". Ведь, подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались... Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже еще! Но вот до чего доходила тоска! Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег Нового Света, откройте русскому человеку Русский Свет, дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! *Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одну только русскою мыслью, русским Богом и Христом!* — и увидите, какой исполнит, могучий и правдивый, мудрый и кроткий, вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор, и это чем дальше, тем больше!"

"Идиот", часть четвертая, VII.

В "Дневнике писателя" за 1877 год, в номерах январском и июльском, Достоевский вновь возвращается к характеристике стремлений Римско-Католической церкви, оттеняя роль их в истории характеристикой германского протеста. Нельзя отрицать, что оба явления им характеризованы немного не так, как они существовали и развивались в истории, — и недостаточно, и несколько косо. И, однако, по крайней мере что касается до Римско-Католической церкви в истории, она схвачена и выражена исторически верно. Недостаточность характеристики Достоевского заключается в том, что он берет явление как *усилие*, и *почти сознательное, преднамеренное*, что все он понимает как некоторую *политическую деятельность*, тогда как мы имеем дело с *формой духа* и *строением культуры*, которое выражалось в поэзии, драме, философии так же отчетливо, как и в деятельности великих политиков Франции, в римских первосвященниках или, ранее, в цезарях. Мы приведем все три отрывка, сюда относящиеся:

"Три идеи встанут перед миром и, кажется, формулируются уже окончательно. С одной стороны, — с краю Европы, — идея католическая, *осужденная, ждущая в великих муках и недоумениях*, быть ей или не быть, *жить ей еще или пришед ей конец*. Я не про религию католическую одну говорю, а про всю *Идею Католическую*, про участь наций, сложившихся под этой идеей в продолжение тысячелетия, проникнутых ею насквозь. В этом смысле Франция, например, есть как бы полнейшее воплощение Католической идеи в продолжение веков, глава этой *идеи, унаследованной*, конечно, *еще от римлян и в их духе*. Эта Франция, *даже и потерявшая* теперь, *почти вся*, *всякую религию (иезуиты и атеисты тут все равно, все одно)*, закрывавшая не раз свои церкви и даже подвергавшая однажды

¹ Это совершенно мысли "Пушкинской речи".

баллотировке Собрания самого Бога, эта Франция, развивавшая из идей 89-го года свой особенный французский социализм, т. е. успокоение и устройство человеческого общества уже без Христа, и вне Христа, как хотелось, да не сумело устроить его во Христе католичество, — эта самая Франция и в революционерах Конвента, и в атеистах своих, и в социалистах своих, и в теперешних коммунарах своих, — все еще в высшей степени есть и продолжает быть нацией католической¹ вполне и всецело, вся зараженная католическим духом и буквой его, провозглашающая устами самых отъявленных атеистов своих: Liberté, Egalité, Fraternité — *ou la morte*, т. е. точь-в-точь как бы провозгласил это сам папа, если бы только принужден был провозгласить и формулировать Liberté, Egalité, Fraternité католическую — его слогом, его духом, настоящим слогом и духом папы средних веков. Самый теперешний социализм французский, — по-видимому, горячий и роковой протест против идеи Католической всех измученных и задушенных ею людей и наций, желающих во что бы то ни стало жить и продолжать жить уже без Католичества и без богов его, — самый этот протест, начавшийся фактически с конца прошлого столетия (но в сущности гораздо раньше), есть не что иное, как лишь вернейшее и неуклонное продолжение Католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое ее последствие, выработавшееся веками! Ибо социализм французский есть не что иное, как насильственное единение человечества — идея еще от Древнего Рима идущая и потом всецело в Католичестве сохранившаяся. Таким образом идея освобождения духа человеческого от Католичества облеклась тут, именно, в самые тесные формы католические, заимствованные в самом сердце духа его, в материализме его, в деспотизме его, в нравственности...

"Дневник писателя", 1877 г., янв.

"Я не останавливаюсь на временных формулах² идеи древнеримской, равно как и вековечного германского³ против нее протеста. Я беру лишь основную идею, начавшуюся еще две тысячи лет тому назад и которая с тех пор не умерла, хотя постоянно перевоплощалась в разные виды и формулы. Теперь именно весь этот крайний западноевропейский мир, именно унаследовавший римское наследство, мучится родами нового перевоплощения этой унаследованной древней идеи, и это для тех, кто умеет смотреть — до того наглядно, что и объяснений не просит.

Древний Рим первый родил идею всемирного единения людей и первый думал (и твердо верил) практически ее выполнить в форме всемирной монархии. Но эта форма пала перед христианством, — формула, а не идея. Ибо идея эта есть идея европейского человечества, из нее составила его цивилизация, для нее одной лишь оно и живет. Пала лишь идея всемирной римской монархии и заменилась новым идеалом всемирного же единения во Христе. Этот новый идеал раздвоился на восточный, то есть идеал совершенно духовного единения людей, и на западноевропейский Римско-Католический, папский — совершенно обратный восточному. Это западное, Римско-Католическое воплощение идеи и совершилось по-своему, но утратив свое христианское, духовное начало и поделившись им с древнеримским наследством. Римским папством было провозглашено, что христианство и идея его, без всемирного владения землями и народами, — не духовно, а государственно, — другими словами, без осуществления на земле новой всемирной римской монархии, во главе которой будет уже не римский император, а папа, — осуществ-

¹ Т. е. нужно разуметь — "романскою": здесь имя части заменяет название целого.

² Т. е. воплощениях, пожалуй, — на средствах осуществления.

³ Определение германского духа как только протестующего сделано узко и неверно; мы указали, разбирая "Легенду", что сущность этого духа лежит в индивидуализме, и, добавим здесь, поэтому только он и в истории стал "протестующим" против объединяющего романского гения.

влено быть не может. И вот началась опять попытка всемирной монархии совершенно в духе древнеримского мира, но уже в другой форме. Таким образом, в восточном идеале — сначала духовное единение человечества во Христе — а потом уж, в силу этого духовного соединения всех во Христе — несомненно вытекающее из него правильное, государственное и социальное единение; тогда как по римскому толкованию — наоборот: сначала заручиться прочным государственным единением в виде всемирной монархии, а потом уж, пожалуй, и духовное единение под началом папы как владыки мира сего.

С тех пор эта попытка в римском мире шла вперед и изменялась беспрерывно. С развитием этой попытки самая существенная часть христианского начала почти утратилась вовсе. Отвергнув, наконец, христианство духовно, наследники древнеримского мира отвергли и папство. Прогрела страшная французская революция, которая в сущности была не более как последним видоизменением и перевоплощением той же древнеримской формулы всемирного единения. Но новая формула оказалась недостаточной, новая идея не завершилась. Был даже момент, когда для всех наций, унаследовавших древнеримское призвание, наступило почти отчаяние. О, разумеется, та часть общества, которая выиграла для себя с 1789 года политическое главенство, т. е. буржуазия, — восторжествовала и объявила, что далее и не надо идти. Но зато все те умы, которые по вековым законам природы обречены на вечное мировое беспокойство, на искание новых формул идеала и нового слова, необходимых для развития человеческого организма, — все те бросились ко всем униженным и обойденным, ко всем, не получившим доли в новой формуле всечеловеческого единения, провозглашенной французскою революцией 1789 года. Они провозгласили свое уже новое слово, именно — необходимость всеединения людей уже не ввиду распределения равенства прав жизни для какой-нибудь одной четверти человечества, оставляя остальных лишь сырым материалом и эксплуатируемым средством для счастья этой четверти человечества, а, напротив, — всеединения людей на основаниях всеобщего уже равенства, при участии всех и каждого в пользовании благами мира сего, какие бы они, там, ни оказались. Осуществить же это решение положили всякими средствами, т. е. отнюдь уже не средствами христианской цивилизации, и не останавливаясь ни перед чем”.

Там же, май и июнь.

“Если папство когда-нибудь будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино. Папа выйдет ко всем нищим пеш и бос и скажет, что все, чему они учат и чего хотят, давно уже есть в Евангелии, что до сих пор лишь время не наступало им про это узнать, а теперь наступило — и что он, папа, отдает им Христа и верит в муравейник. Римскому католицизму (слишком уж ясно это) нужен не Христос, а всемирное владычество: “Вам-де надо единения против врага — соединитесь под моею властью: ибо я один всемирен из всех властей и властителей мира, и — пойдем вместе”.

Там же. “И сердиты и сильны”.

P.S. Все это, как очерк положения дел, пожалуй, и справедливо. Но ведь нельзя же закрывать глаза на заключительное слово Христа, как оно записано в последней главе Евангелия от Иоанна.

“Из учеников же никто не смел спросить Его: “Кто Ты?” — зная, что это Господь. — Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: “Симон Ионин, любишь ли ты Меня более, нежели они?” Петр говорит Ему: “Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя”. Иисус говорит ему: “Паси агнцев Моих”. — Еще говорит ему в другой раз: “Симон Ионин, любишь ли ты Меня?” Петр говорит Ему: “Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя”. Иисус говорит ему: “Паси овец Моих”. Говорит ему в третий раз: “Симон Ионин, любишь ли ты Меня?” Петр опечалил-

ся, что в третий раз спросил его: любишь ли ты Меня? — и сказал Ему: "Господи! Ты все знаешь, что я люблю Тебя". Иисус говорит ему: "*Паси овец Моих*". Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь". И, сказав сие, говорит ему: "*иди за Мною*".

Вот начало авторитета ("паси"), против кого напрасно волнуется Достоевский, — авторитета единичного, исключительного, а вовсе не "соборного" (славянофилы), так как не всем апостолам (в куче) были сказаны столь знаменательные слова. Если на более кратких и промежуточных (по ходу речи) словах о скопчестве (Матф., 19) основалось неудержимо столь универсальное явление в христианстве, как монашество и идеал безбрачия, то можно ли представить границы, до которой развилось и еще разовьется это последнее завещание Спасителя, столь выпуклое, резкое, трижды повторенное и (самое главное) перед самым вознесением на небо! Поистине, слова эти — как милость, брошенная Елисею Илиею. Критика Достоевского Католицизма поэтою ничтожна; не в смысле определения, в чем его сущность, но борьбы против этой сущности. Церковь была, есть и останется златоглавна, верхоглавна и никогда не станет "стадом" Шигалева; она авторитетна, иерархична, пирамидальна: а пирамида имеет *вершину*. Лепет Достоевского о каком-то им открываемом "подлинном христианстве", "чистом православии", — как будто в тысячу лет оно не выразило и не определило себя! — есть в сущности реакция к старому и "славному" славянству, немножечко распущенному, стихийному, доброму, с распущенными губами, подругим лицом, заплетаящимся языком (вражда к "логическому" началу славянофилов); к старому началу "Велеса" и "Даж-бога", на западе окончательно выметенному, а у нас по нерадивости духовенства еще сохраняющему кой-где и кой в чем силу. Все это "неприличие" старого язычества и хочет выместить Шигалев-папа, — дабы "устроилось едино стадо и един пастырь", царство "не от мира сего", но, однако, потому и *царство* — что оно господствует *над* "миром сим", слабым, греховным, злым, "диавольским", "Велесовым"-Карамазовским. Еще Достоевский говорит, что "для веры в Бога надо иметь *почву* под собою, почву нации, семьи, отечества". Для "веры" в какого это Бога? В "Велеса" — конечно! А для Христа? "Ныне уже ни эллин, ни иудей, ни мужеск пол, ни женский, ни обрезание, ни необрезание, но все и всяческая и во всех Христос". Христианство *вне-земно, вне-отечественно, вне-семейно*. Как Д—кий не разобрал всего этого! "Уморим желание", "Шекспиру долой голову"; зачем так грубо. Мальчишка-Шигалев и не достиг ничего грубостью. Но ведь идея, например, "старчества", кротко руководящего, и заключается в совете: "Принеси мне свою голову, а вместо нее надень на плечи мою". Ничего этого не разобрал Д—кий!

Примечание 1901 года.

К стр. 59 и друг. "Мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя..." "Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя..." Теория такого "самоистребления" изложена была Достоевским в 1876 году, в окт. номере "Дневника писателя":

"...В самом деле: какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу *сознал*: какое право она имела производить меня, без воли моей на то, сознающего? Сознающего — стало быть, страдающего: но я не хочу страдать — ибо для чего бы я согласился *страдать*? Природа чрез сознание мое возвещает мне о какой-то *гармонии в целом*. Человеческое сознание *наделало из этого возвещения' религий*. Она говорит мне, что я, — хоть и знаю вполне, что

¹ Т. е., следовательно, под "гармонией" здесь разумеется воздаяние за добрые и злые дела в загробной жизни.

в "гармонии целого" участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму ее вовсе, что она такое значит¹, — но что я все-таки должен подчиниться этому воззрению, должен смиряться, принять страдание ввиду гармонии в целом и согласиться жить. Но если выбирать сознательно, то уж, разумеется, я скорее пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне ровно нет никакого дела после того, как я уничтожусь² — останется ли это целое с гармонией на свете, после меня, или уничтожится сейчас же вместе со мною. И для чего бы я должен был так заботиться о его сохранении после меня³, — вот вопрос? Пусть уж лучше я был бы создан как все животные, т. е. живущим, но не сознавающим себя разумно; сознание мое⁴ есть именно не гармония, а, напротив, — дисгармония: потому что я с ним несчастлив. Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди соглашаются жить?⁵ Как раз те, которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому развитию их сознания. Они соглашаются жить охотно, но именно под условием жить как животные, то есть — есть, пить, спать, устраивать гнезда и выводить детей. Есть, пить и спать по-человеческому значит наживаться и грабить? Возразят мне, пожалуй, что можно устроиться и устроить гнездо на основаниях разумных, на научно верных социальных началах, а не грабежом, как было доньше. Пусть, а я спрошу: для чего? Для чего устраиваться и употреблять столько стараний устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственно-праведно? На это уж, конечно, никто не сможет мне дать ответа. Все, что они могли бы ответить, это: "чтоб получить наслаждение". Да, если б я был цеток или корова — я бы и получил наслаждение. Но, задавая, как теперь, себе бесперывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества: ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено, — и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество обратится в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, — не от нежелания согласиться принять

¹Оборот мысли и характер языка совершенно как у Ивана Карамазова, в начале разговора с братом Алешей.

²Здесь, как и в "Легенде", замечательна одна черта: при тревоге мыслью за судьбы человечества, при величайшей идейной связанности с целым, страшная отъединенность от этого целого в сердце, совершенное одиночество души. Кажется, именно этого не выносит человек и убивает себя или задумывает преступление.

³Если я весь, без остатка и окончательно, исчезаю по смерти, как могу я любить? Не более способен к этому, чем мое временное тело, которое, конечно, никого не любит, но лишь страдает или наслаждается. Любовь, поэтому, есть жизнь; точнее, нами непонимаемое обнаружение бессмертной жизни, никогда не кончающейся связи нашей с родом человеческим. Потому — есть она, потому может быть, что ни я, в ком эта любовь, ни предмет ее — мы никогда не кончимся.

⁴Т. е. и сознание мое есть дисгармония, и я несчастлив, потому, что не люблю; и не люблю потому, что не верю — Богу моему и ближнего моего. Через Бога только можно любить живую человеческою любовью, — не уважать, не почитать, не признавать достоинства, но любить. И вот почему любить и верить — значит радоваться, и радоваться — никогда не пожелать умереть (т. е. насильственно).

⁵Вопрос исторически и психологически истинен, но показывает только: до какой степени центральный недостаток новой цивилизации заключается в ослаблении веры, без которой индивидуальным лицам эта цивилизация так же мало нужна, как мне, когда на руках моих лежит труп моего ребенка, мало нужна его рубашечка, простыньки, прочее. Отсюда историческое объяснение самоубийств. Зачем человеку "прочее", когда у него нет главного? И не к этому ли главному он уходит и силится уйти, бросая с отвращением "прочее"?

его, не от упрямства какого из-за принципа, а просто потому, что *не буду и не могу быть счастливы под условием грозящего завтра нуля*. Это — чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно — тогда, может быть, я все же был бы утешен. Но ведь планета наша не вечна и человечеству срок — такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, — все это тоже *приравнивается завтра к тому же нулю*. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное, и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого¹.

И, наконец, *если б даже² предположить эту сказку об устроенном наконец-то на земле человеке на разумных и научных основаниях — возможною, и поверить ей, поверить грядущему наконец-то счастью людей, — то уж одна мысль о том, что природе необходимо было, по каким-то там косным законам ее, истязать человека тысячелетия, прежде чем довести его до этого счастья, одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна*. Теперь прибавьте к тому, что той же природе, допустившей человека наконец-то до счастья, почему-то необходимо обратить все это завтра в нуль, несмотря на все страдание, которым заплатило человечество за это счастье, и, главное, нисколько не скрывая этого от меня и моего сознания, как скрыла она от коровы, — то невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль: *"Ну что, если человек был пушен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть, уживется ли подобное существо на земле или — нет?"*³ Грусть этой мысли, главное — в том, что опять-таки *нет виноватого, никто пробы не делал, некого проклясть, а просто все произошло по мертвым законам природы*⁴, мне совсем непонятным, с которыми сознанию моему никак нельзя согласиться. Ерго:

Так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что *могу быть счастливы не иначе, как в гармонии целого, которой я не понимаю и, очевидно для меня, и понять никогда не в силах* —

Так как *природа не только не признает за мной права спрашивать у нее отчета, но даже и не отвечает мне вовсе — и не потому что не хочет, а потому что и не может ответить* —

Так как я убедился, что *природа, чтоб отвечать мне на мои вопросы, предназначила мне (бессознательно) меня же самого и отвечает мне моим же сознанием (потому что я сам это все говорю себе), —*

Так как, наконец, при таком порядке, я принимаю на себя в одно и то же время роль *истца и ответчика, подсудимого и судьи*, и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупою, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унизительным —

То, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я *присуждаю эту природу*, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на

¹ Последние слова повторяют собою одно место в "Записках из подполья", и из этого видно, до какой степени эта теория самоубийства (она носит название "Приговор") есть продукт самозаключения, приговор над собою всего цикла нами разбираемых идей, окончательным выражением которых служит "Легенда".

² Отсюда начинается ход мысли, вошедшей и в "Легенду".

³ Аналогии этому см. в "Бесах" ("дьяволив водевиль" Кирилова) и также в "Легенде" и в "Кошмаре Ив. Федоровича" (в "Бр. Кар.").

⁴ Это — слова "Записок из подполья". Таким образом, этот приговор включает в себя мучительные мысли самых важных произведений Достоевского и, конечно, — его собственные мысли.

страдание, — *вместе со мною к уничтожению... А так как природу истребить я не могу, то истребляю себя одного*, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого”.

Там же, 1876, октябрь. ”Приговор”.

Достоевскому казалось, что в переданном отрывке им доказано бессмертие души человеческой (“если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой *существует несомненно*”, там же, декабрь, курсив авт.). К счастью, идея бессмертия не относится к числу доказуемых, т. е. для нас внешних, нами усматриваемых идей; но благодатно она дается или не дается человеку, как и вера, как и любовь. Нельзя доказать любовь к ближнему, к ребенку своему или — основательность своей радости; еще менее можно, выслушав доказательство, действительно полюбить, начать радоваться. Доказуемо для человека лишь второстепенное, ”прочее”, что *так* или *иначе* существует, — ему безразлично, истина их существования есть для него предмет любопытства. Что *нужно* ему, чем *жив* он — дано ему с жизнью, как легкие с дыханием, сердце с кровообращением. Есть люди, предназначенные к жизни, — они чувствуют бессмертие души, знают о нем; есть обреченные, без Бога, без любви — они темны к нему. И, кажется, между первыми и вторыми нет общения, и доказательства как средства такого общения — исключены, ненужны. ”Я жив, бессмертен; ты этого не знаешь о себе? Итак — умри, мне остается только похоронить тебя!”

1894

Пушкин и Гоголь¹

В первых главах статьи "Легенда о Великом Инквизиторе" Ф. М. Достоевского мне пришлось коснуться творчества Гоголя, и в частности его отношения к действительности, которое не повторялось у последующих писателей наших и вызвало их противодействие. Мысль эта встретила в нашем уважаемом критике, г. Николаеве², несколько возражений, в частности имеющих в виду точнее определить значение личности Гоголя и также — его творчества. Так как, за всем высказанным с той и другой стороны, многое еще остается неясным и оспоримым в самом предмете, то мне показалось удобным и небезынтересным остановить на нем еще раз внимание читателей.

Прежде всего считаю долгом оговориться, что я не имел в виду Пушкина, говоря, что "в литературе позднейшей (у Тургенева, графа Толстого и др.) *впервые* появляются живые лица": я сказал это только в отношении к самому Гоголю, а не к тому, что лежало еще позади его. Но о Пушкине — ниже, теперь же вернемся к главной сущности вопроса.

I

Гоголь есть родоначальник иронического настроения в нашем обществе и литературе; он создал ту форму, тот тип, впадая в который и забывая свое первоначальное и естественное направление — вот уже несколько десятилетий текут все наши мысли и наши чувства. Идеи, которых он вовсе не высказывал, ощущения, которых совсем не возбуждал, возникнув много времени спустя после его смерти, — все, однако, формируются по одному определенному типу, источник которого находится в его творениях. С тех пор как эти творения лежат пред нами, все, что не в духе Гоголя, — не имеет силы, и, напротив, все, что согласуется с ним, как бы ни было слабо само по себе, — растет и укрепляется. Душевная жизнь исторически развивающегося общества получила в его личности

¹ По поводу статьи Говорухи-Отрока (под псевдонимом Ю. Николаева): "Нечто о Гоголе и Достоевском".

² Позднее, по поводу высказанного мною взгляда на Гоголя, появилось еще несколько статей в наших периодических изданиях, частью ценных. Их общий, однако, недостаток состоит в том, что они вовсе не разбирают как характер гоголевского творчества, так и моих о нем замечаний.

изгиб, после которого пошла непреодолимо по одному уклону, разбивая одни понятия, формируя другие, — но все и постоянно в одном роде. Каков смысл этого изгиба? Вопрос этот разрешается, в частности, отношением Гоголя к Пушкину.

Мой критик сравнивает их и находит "равноценными"; но прежде всего — они разнородны. Их даже невозможно сравнивать, и, обобщая в одном понятии "красоты", "искусства", мы совершенно упускаем из виду их внутреннее отношение, которое позднее развивалось и в жизни, и в литературе, раз они превзошли в нее как факт. Разнообразный, всесторонний Пушкин составляет антитезу к Гоголю, который движется только в двух направлениях: напряженной и беспредметной лирики, уходящей ввысь, и иронии, обращенной ко всему, что лежит внизу. Но сверх этой противоположности в форме, во внешних очертаниях, их творчество имеет противоположность и в самом существе своем.

Пушкин есть как бы символ жизни: он — весь в движении, и от этого-то так разнообразно его творчество. Все, что живет, — влечет его, и, подходя ко всему, — он любит его и воплощает. Слова его никогда не остаются без отношения к действительности, они покрывают ее и чрез нее становятся образами, очертаниями. Это он есть истинный основатель *натуральной школы*, всегда верный природе человека, верный и судьбе его. Ничего напряженного в нем нет, никакого болезненного воображения или неправильного чувства.

Отсюда — индивидуализм в его лицах, вовсе не сводимых к общим типам. Тип в литературе — это уже недостаток, это обобщение; то есть некоторая переделка действительности, хотя и очень тонкая. Лица не слагаются в типы, они просто живут в действительности, каждое своею особенною жизнью, неся в самом себе свою цель и значение. Этим именно, несливаемость своего лица ни с каким другим, и отличается человек от всего другого в природе, где все обобщается в роды и виды, и неделимо есть только их местное повторение. Этой-то главной драгоценности в человеке искусство и не должно бы касаться, — и оно не касается его у Пушкина. Из новых только граф Лев Толстой, и то в несовершенной степени, сумел достигнуть того же: и зато он считается высшим представителем натурализма в нашей литературе. Но мы не должны забывать, что это уже было у Пушкина и только почему-то осталось незамеченным.

Во всяком случае, это есть величайший признак того, что в произведениях сохранена жизнь, перенесенная из действительности. Но и не только как воплотитель Пушкин дает норму для правильного отношения к действительности: в его поэзии содержится указание, как само искусство, уже воплотив жизнь, должно обратно на нее действовать. В этом действии не должно быть ничего уторопляющего или формирующего: поэзия лишь просветляет действительность и согревает ее, но не переиначивает, не искажает, не отклоняет от того направления, которое уже заложено в живой природе самого человека. Она *не мешает* жизни, — и это также вследствие того, что в ней отсутствует болезненное изображение, которое часто творит второй мир поверх действительного и к этому второму миру силится приспособить первый. Пушкин научает нас чище и благороднее чувствовать, отгоняет в сторону всякий нагар

душевный, но он не налагает на нас никакой удушливой формы. И, любя его поэзию, каждый остается *самим собою*.

Все это и делает его поэзию идеалом нормального, здорового развития. В ней заложены уже направления, следуя которым, сколько бы ни усложнялась жизнь, — она не отклонится в сторону; станет полнее, разнообразнее, наконец, — глубже: но от этого не потеряет ни прежнего единства и цельности, ни спокойствия и ясности. Иное поймется в ней, иное совершится, нежели что могло быть понятно и совершенно в эпоху Пушкина; но все понятное также правильно ляжет на душу, и, совершаясь, ничто не примет уродливости в движениях.

II

Но вот появился Гоголь. Не различая типов в психическом развитии людей, мы все гениальное в творчестве группируем в одно целое; и, вообще, думаем, что оно не разъединено, внутренне согласно, что оно усиливает друг друга. Но это не так: только гений же может быть губителен для гения, и именно — гений другого, противоположного типа. Известно, как затосковал Гоголь, когда безвременно погиб Пушкин. В это время "Мертвые души" уже выростали в нем, но они еще не появились, а того, кто последующими своими созданиями мог бы уравновесить их, — уже не стало. Без сомнения, вся тайна гения неизвестна и ему самому; но что он мощь свою ощущает и знает границы ее — это ясно. Если уже мы, открыв случайно "Мертвые души", к какому бы нужному делу ни спешили, перевернем еще и еще страницу, то сам-то дивный творец их уже, конечно, знал, какая сила грядет с ним в мир. И он, носитель этой силы, был теперь один. Он знал, он не мог не знать, что он погасит Пушкина в сознании людей и с ним — все то, что несла его поэзия. Вот откуда вытекает тревога его по мере того, как стали выходить главы "Мертвых душ". В письмах к друзьям он выскивает их впечатление, спрашивает о качестве его и сам упорно молчит о смысле поэмы. Слава, несущаяся о нем, его не занимает; он глубже и глубже уходит в себя, тон писем становится все беспокойнее и страннее. Более, чем о ком-нибудь, можно сказать о гении, что центр и направление его лежит в "мирах иных"; но он-то, личный носитель его, все-таки видит и знает это направление, хотя и бессилен помешать ему. Последние главы "Мертвых душ" Гоголь сжег; но и те, которые успели выйти, исказили совершенно иначе духовный лик нашего общества, нежели как начал уже его выводить Пушкин.

Где причина, что один равнозначный гений был, однако, вытеснен¹ другим? Объяснение этого лежит в самой сущности их разнородного

¹ Совершенно несправедлива и унизительна для памяти Пушкина мысль, что он был вытеснен из живого сознания нашего общества критикою 60-х годов: он уже *не читался*, когда эта критика появилась, и потому именно она для всех была внятна; с какого же времени он *перестал* читаться?

творчества и в особом действии каждого на душу. Если, открыв параллельно страницу из "Мертвых душ" и страницу же из "Капитанской дочки" или из "Пиковой дамы", мы начнем их сравнивать и изучать получаемое впечатление, то тотчас заметим, что впечатление от Пушкина не так устойчиво. Его слово, его сцена, как волна, как волна в душу и, как волна же, освежив и всколыхав ее, — отходит назад, обратно: черта, проведенная ею в душе нашей, закрывается и зарастает; напротив, черта, проведенная Гоголем, остается неподвижною: она не увеличивается, не уменьшается, но как выдавилась однажды — так и остается навсегда. Как преднамеренно ошибся Собакевич, составляя список мертвых душ, или как Коробочка не понимала Чичикова — это все мы помним в подробностях, прочитав только один раз и очень давно; но что именно случилось с Германом во время карточной игры, — для того чтобы вспомнить это, нужно еще раз открыть "Пиковую даму". И это еще более удивительно, если принять во внимание непрерывное однообразие "Мертвых душ" на всем их протяжении и, напротив, своеобразии и романтичности сцен Пушкина. Где же тайна этой особенной силы гоголевского творчества и, вместе, конечно, его сущность? Откроем первую страницу "Мертвых душ":

"Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака, против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. "Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?" — "Доедет", — отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" — "В Казань не доедет", — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своею дорогой".

Всмотримся в течение этой речи — и мы увидим, что оно безжизненно. Это восковой язык, в котором ничего не шевелится, ни одно слово не выдвигается вперед и не хочет сказать больше, чем сказано во всех других. И где бы мы ни открыли книгу, на какую бы смешную сцену ни попали, мы увидим всюду эту же мертвую ткань языка, в которую обернуты все выведенные фигуры, как в свой общий саван. Уже отсюда, как обусловленное и вторичное, вытекает то, что у всех этих фигур мысли не продолжают, впечатления не связываются, но все они стоят неподвижно, с чертами, докуда довел их автор, и не растут далее ни внутри себя, ни в душе читателя, на которого ложится впечатление. Отсюда — неизгладимость этого впечатления: оно не закрывается, не зарастает, потому что тут нечему зарости. Это — мертвая ткань, которая какою введена была в душу читателя, таковою в ней и останется навсегда.

Ничего этого не было понято у Гоголя, и он сочтен был основателем "натуральной школы", то есть как будто бы *передающей* действитель-

ность в своих произведениях. Только к этому наивному утверждению и относятся мои отрицания, и подтверждение их можно было бы найти во всех воспоминаниях о нем близких людей:

”В январе 1850 года, — пишет С. Т. Аксаков (Соч., т. III, стр. 358), — Гоголь прочел нам в другой раз первую главу ”Мертвых душ”. Мы были поражены удивлением: глава показалась нам еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был очень доволен таким впечатлением и сказал: ”Вот что значит, когда живописец дал последний туш своей картине. Поправки, по-видимому, самые ничтожные: там *одно слово убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено* (мой курс.) — и все выходит другое. Тогда надо напечатать, когда все главы будут так отделаны”... Слово ”картина”, то есть *срисованное*, здесь, очевидно, поставлено ошибочно: это не кисть живописца, не краски, исполненные разнообразия и жизни, которые воспроизводят разнообразие другой действительности; это скорее какая-то *мозаика слов*, приставляемых одно к другому, которой тайна была известна одному Гоголю. Не в нашей только, но и во всемирной литературе он стоит одиноким гением, и мир его не похож ни на какой мир. Он один жил в нем; но и нам входить в этот мир, связывать его со своею жизнью и даже судить о ней по громадной восковой картине, выкованной чудным мастером, — это значило бы убийственно поднимать на себя руку.

На этой картине совершенно нет живых лиц: это крошечные восковые фигурки, но все они делают так искусно свои гримасы, что мы долго подозревали, уж не шевелятся ли они. Но они неподвижны; всмотритесь еще раз в приведенный выше отрывок: картуз есть единственное живое лицо там, которое хочет жить, но и оно придерживается вóвремя. Все остальные передвигают руками и ногами, но вовсе не потому, чтобы хотели это делать; это за них автор переступает ногами, поворачивается, спрашивает и отвечает: они сами беспомощны к этому. И это не потому вовсе, что они бессмысленны: бессмысленность — второе здесь, что уже само собою вытекает из безжизненности. Вспомните Плюшкина: это в самом деле удивительный образ, но вовсе не потому, как оригинально он задуман, а лишь потому, как оригинально он выполнен. Вот рядом с ним стоит Скупой рыцарь, человек с головы до ног, который понимает и что такое искусство и что такое преступление и только надо всем этим господствует своею страстью. Его можно бояться, можно ненавидеть, но нельзя не уважать: он человек. Но разве человек Плюшкин? Разве это имя можно применить к кому-нибудь из тех, с кем вел свои беседы и дела Чичиков? Они все, как и Плюшкин, произошли каким-то особым способом, ничего общего не имеющим с естественным рождением: они сделаны из какой-то восковой массы слов, и тайну этого художественного делания знал один Гоголь. Мы над ними смеемся: но замечательно, что это не есть живой смех, которым мы отвечаем на то, что, встретив в жизни, — отрицаем, с чем боремся. Мир Гоголя — чудно отошедший от нас вдаль мир, который мы рассматриваем как бы в увеличительное стекло; многому в нем удивляемся, всему смеемся, виденного не забываем; но никогда ни с кем из виденного не имеем ничего общего, связующего, и — не в одном только положительном смысле, но также — в отрицательном.

Мой критик указывает на высокую нравственную сторону в Гоголе. Ее, действительно, нельзя достаточно оценить: то, на что он решился, не сделал еще никто в истории. Мы уже сказали ранее, что направление и источник гения всего менее лежит в воле его личного обладателя. Но *сознать* этот гений, но *оценить* его для людей и для будущего — это он может. Гоголь *погасил свой гений*. Неужели и это недостаточное свидетельство того, чем он был?

III

Благодаря образам Пушкина и благодаря новой литературе, которая вся силится восстановить его, побораю Гоголя, и в нашей жизни раньше или позже этот гений погаснет. И в самом деле, его ирония к всему живому уже неоднократно заставляла свертываться самый высокий энтузиазм. Вспомним речь Достоевского на Пушкинском празднике: в минуту такого порыва, такого обаяния для всех, он упал, как скошенный, когда к его ногам были брошены гоголевские мертвецы. Отсюда — мучительное раздражение, с которым он отвечал профессору Градовскому. Он понял, что, сколько бы ни говорил он далее, к какой бы диалектике ни прибегал, — все это не будет ясно, и ясны для всех эти вековые мертвецы, и с ними — истина, что человек может только презирать человека. И действительно, все в его полемике забыто, никто не помнит подробностей спора, но, верно, всякий помнит мысль, что в прежнее время людям высшей души некуда было и деваться, как только уходить в цыганские таборы от ходячих мертвецов, населявших города. Но то же можно сказать и о всяком времени: непреодолимо преградой незабываемые фигуры Гоголя разъединили людей, заставляя их не стремиться друг к другу, но бежать друг от друга, не ютиться каждому около всех, но от всех и всякому удаляться. Его восторженная лирика, плод изнуренного воображения¹, сделала то, что всякий стал любить и уважать только свои мечты, в то же время чувствуя отвращение ко всему действительному, частному, индивиду-

¹ В ранних произведениях полную аналогию к этой лирике представляют описания природы ("как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии" и пр.), всегда напряженные, всегда абстрактные, представляющие только общую панораму, а не собрание частных, из которых каждая дорога и привлекательна. Если сравнивать их с описаниями природы, например, у Тургенева, то тотчас можно заметить, что Тургенев видел, знал и любил природу: множество подробностей у него, очевидно, *запало в душу*, и он их *воспроизвел*, хотя, может быть, и бессознательно. В описаниях Гоголя чувствуешь человека, который никогда и не *взглянул даже с любопытством на природу* (см. также и воспоминания о нем разных лиц). Вообще замечательна в Гоголе эта особенность, что он все явления и предметы рассматривает не в их действительности, но *в их пределе*: отсюда поэзия его украинских рассказов, вовсе не похожая на простую действительность Малороссии; отсюда его петербургские повести, "Мертвые души" и "Ревизор", возводящие обыкновенную серенькую жизнь до предела пошлости. С Гоголя именно начинается в нашем обществе *потеря чувства действительности*, равно как от него же идет *начало и отвержения к ней*.

альному. Все живое не притягивает нас более, и от этого-то вся жизнь наша, наши характеры и замыслы, стали так полны фантастического. Прочтите "Невский проспект", это удивительное сплетение самого грубого реализма и самого болезненного идеализма, — и вы поймете, что он был прологом, открывшим нить событий, сложивших очень грустную историю. Великие люди своим психическим складом живут, разлагаясь в психический склад миллионов людей, из которого рождаются потом с необходимостью и осязаемые факты.

Успокоение — вот то, в чем мы всего более нуждаемся. Нет ясности в нашем сознании, нет естественности в движении нашего чувства, нет простоты в нашем отношении к действительности. Мы возбуждены, встревожены, — и это возбуждение, эта тревога сказывается конвульсивностью наших действий и беспорядочностью мыслей. Развитие дальнейшее, при таком состоянии, может подняться на очень большую высоту; но оно никогда не будет при этом развитием нормальным, здоровым.

На пути к этому естественному развитию, не столь ускоренному, но непременно имеющему подняться на большую высоту, действительно стоит Гоголь. Он стоит на пути к нему не столько своею иронией, отсутствием доверия и уважения к человеку, сколько всем складом своего гения, который стал складом нашей души и нашей истории. Его воображение, не так относящееся к действительности, не так относящееся и к мечте, *растлило* наши души и разорвало жизнь, исполнив то и другое глубочайшего страдания. Неужели мы не должны сознать это, неужели мы настолько уже испорчены, что живую жизнь начинаем любить менее, чем... игру теней в зеркале.

К счастью, в самом творчестве Гоголя есть черты, по которым мы можем, наконец, определить его сущность. Мы возвратимся к частному факту, чтоб уяснить все сказанное и укрепить его, как кажется, непреодолимо. По какой-то обратной иронии, которая смеется над самыми мудрыми, в искусно выполненную поэму Гоголя замешались две детские фигурки. Это знаменитые Фемистоклос и Алкид, не похожие ни на что в детском мире — ни действительном, ни опозтегизированном. Ведь о *них*-то уже мы можем думать, что они были чисты и прекрасны и что никакого "оплотнения" души, о коем говорит г. Николаев, в них еще не было. И все-таки они — куклы, жалкие и смешные, как и все прочие фигуры "Мертвых душ". Не вскрывает ли это с очевидностью пред нами, каков состав и остального содержания поэмы? "Не мешайте этим приходиться ко Мне", — сказал Спаситель о детях; даже Он не смотрел на них с высоты и осуждающим взором, но протягивал к ним руки и привлекал их к Себе; как равно и "оплотненных" душой Он укорял и учил, но никогда не осмеивал. Как же мы можем говорить о какой-то "религиозной высоте", в свете которой знаменитый сатирик судил людей? Если это — высота, то она не имеет ничего общего с тою, с которой смотрел на людей Христос, где лежит Его Евангелие и крест и куда, конечно, должны направляться народы, убегая от всего, что обманчиво блистает для них с противоположной стороны, к счастью, — всегда в очень различных точках.

Как произошел тип Акакия Акакиевича

Просматривая сочинения Гоголя в классическом издании их, сделанном недавно умершим ученым нашим Н. С. Тихонравовым, я случайно ознакомился из него, как и в каком точном отношении к действительности произошел тип Акакия Акакиевича (в повести "Шинель"), столь характерный для всего творчества Гоголя и, до известной степени, объединяющий в чертах своих если и не все, то главные им созданные типы. К удивлению, это сообщение неожиданно и ярко подтвердило, и уже фактически, все, что, смутно ища и, быть может, впадая в побочные ошибки, я пытался высказать ранее. Почти не нуждающийся в комментариях, вот этот факт:

"Сообщая о небольшом кружке писателей, — говорит Н. С. Тихонравов, — собиравшихся к Гоголю потолковать преимущественно о явлениях искусства, П. В. Анненков¹ замечает, что "никогда, однако ж, даже среди одушевленных и жарких прений, не покидала его лица постоянная, как бы приросшая к нему, наблюдательность. Для Гоголя как здесь, так и в других сферах жизни ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга — и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном изложении своих мыслей и мнений, кружок работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайно экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз, как на маленькой своей лодочке он пустился по Финскому заливу — за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидел своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не встал: он схватил горячку. Только общию подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспомнить без смертельной бледности в лице" (т. II, стр. 610—611).

Мы почти видим этого чиновничка, конечно получающего крохотное содержание, корпящего над бумагами, людям несравненно беднейшим его духовно нужными, но который в этой глупой действительности, для него созданной, сумел, как бы хоронясь из нее, создать себе новую, осмысленную, до известной степени поэтическую: ведь страсть к охоте — это прежде всего страсть к природе, т. е. уже некоторое чуткое к ней внимание, ее живое ощущение. И в этой ненужной своей привязанности,

¹ Он лично знал Гоголя много лет, был с ним в дружеских отношениях и, между прочим, иногда переписывал для него с черновиков некоторые сочинения (напр., "Мертвые души").

без сомнения, по чуткому вниманию уже к нему, к его желанию уйти из города в природу, он никем из окружающих товарищей не осуждается: они не критикуют его раздраженно, не смеются над ним, как посмеялись бы над неуместною затеей и не вознаградили бы утрату ненужной вещи. Из столь же крохотных своих сбережений и, конечно, отказывая через это себе в необходимом, они покупают ему опять ружье! Здесь, в этой "складчине", нам слышится их общее сожаление к себе, сознание о положении, созданном для них и для тысяч подобных описанным, рассказанным, увенчанным историей гением Сперанского, который, как испанский костюм, без мускулов и без нервов, налег на живую Россию с начала века и до сих пор все в ней держит собою.

Во всяком случае, в смысле рассказанного в кругу приятелей факта не было и тени указания на *безжизненность*, глухую *инертность среды*, в которой он совершился; и также ничего не говорило о *духовной суженности* главного, в нем упомянутого, лица.

"Все смеялись анекдоту, — продолжает Анненков, — имевшему в основании *истинное происшествие*, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первою мыслью чудной повести его "Шинель", и она заронила в душу его *в тот же самый вечер*". Нисколько не чувствуя важности факта, перед ним лежащего и бросающего свет на все творчество Гоголя, ученый издатель его трудов заключает: "Собрания кружка, о которых рассказывает Анненков, происходили в квартире Гоголя на Малой Морской, в доме Лепена; а на этой квартире Гоголь жил в 1834 году. Итак, первая мысль о повести "Шинель" заронила в душу Гоголя в 1834 году" (там же, с. 611).

Разбирая в мельчайших деталях рукописи Гоголя, проф. Тихонравов открыл в Московском публичном музее все последовательные наброски знаменитой повести, и между ними — начальный, переписанный рукою Погодина, который он приводит в примечаниях к окончательному тексту повести, со всеми в нем поправками, недописанными и, наконец, зачеркнутыми словами, из буквы в букву. По этому-то черновику, с его поправками, который так мало обширен, что в нем можно видеть работу одного-двух вечеров, мы, как бы присутствуя в кабинете самого Гоголя, можем следить за работою его воображения над данным действительностью фактом и через это определить весь внутренний ее смысл. Заметив, что в первой этой рукописи (на трех страничках почтового листка в 8^о) еще не появляется и самое имя Акакия Акакиевича, а только содержится как бы художественный очерк безымянного лица, позднее, в других приведенных набросках (в известном эпизоде о его крещении) уже получающего себе и имя, мы приведем его без пропусков, отмечая в скобках выставленные рукою самого Гоголя (над погодинским текстом) слова:

"Повесть о чиновнике, крадущем шинели¹. В департаменте податей и сборов, — который, впрочем, иногда называют департаментом под-

¹ Любопытно, как уже в самом заглавии, т. е. *в теме* рассказа, мелькнувшей у "задумавшегося и опустившего голову" Гоголя, без сомнения, в самый момент рассказа или очень скоро после него, сказалосьстрое, *принижающее и извращающее действительность*, движение творческого воображения.

лостей и вздоров, не потому, чтобы в самом деле были там подлости, но потому, что господа чиновники любят так же, как и военные офицеры, немножко поострить, — итак, в этом департаменте служил чиновник, собой не очень взрачный — *низенький, плешивый, рябоват, красноват*, даже на вид несколько *подслеповат*. [Служил он очень беспорочно.] В то время еще не выходил указ о том, чтобы застегнуть чиновников в вицмундиры. Он ходил во фраке цвету коровьей коврижки. Он был [очень] доволен службою и чином титулярного советника. Никаких замыслов на коллежского асессора, ни надежд на прибавку жалованья. [Был он то, что называют вечный титулярный советник, — чин, над которым, как известно, наострились немало разные писатели, которых сочинения еще смешат разных невинных читателей, любящих почитать от скуки и для препровождения времени]. *В существе своем это было очень доброе животное и то, что называют благонамеренный человек, — ибо в самом деле от него почти не слыхали ни дурного, ни доброго слова. Он совершенно жил и наслаждался своим должностным занятием и потому на себя почти никогда не глядел, даже брился без зеркала. На фраке у него вечно были перья, и он имел особенное искусство, ходя по улице, попевать под окно в то самое время, когда из него выбрасывали какую-нибудь дрянь, и потому он вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор.* Зато нужно было поглядеть на него, когда он сидел в присутствии за столом и переписывал, нужно было видеть наслаждение, выразившееся на лице его. *Некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то на лице у него просто был восторг [то чувствовал такой восторг, что описать нельзя: и подсмеивался, и подмигивал, и голову совсем набок, так что иногда для охотника можно в лице читать было всякую букву: живете, мыслёте, слово, твердо. Губы его невольны и сжимались, и послаблялись, и как будто отчасти даже помогали. Тогда он не глядел ни на что и не слушал ничего: рассказывал ли один чиновник другому, что он заказал новый фрак, и почем сукно, или споры о том, кто лучше шьет, о Петергофе, о театре, или хоть даже анекдот весьма интересный, потому что довольно старый и знакомый, о том, как одному коменданту сказали, что у статуи Петра отрублен хвост]. Он всегда приходил раньше всех. Если не было переписывать, подшивал бумаги, перечинивал перья.* [Конечно, это было немного, но большего даже трудно было и дать ему, потому что, когда один раз попробовали употребить на дело немаловажное, именно [дали] поручено было ему из готового дела составить отношение в какое-то присутственное место, — все дело состояло в том, чтобы переменить только заглавие и поставить в третьем лице все то, что находилось в первом, — это задало ему такую головоломку, что он вспотел совершенно: тер лоб и сказал, чтобы дали ему переписать что-нибудь.] Словом, служил очень ревностно на пользу отечества, но выслужил [кажется, что-то очень немного, — только] пряжку в петлицу да геморрой в поясницу [— вот и всего]. Несмотря на то, уважения к нему было очень немного: чиновники над ним подсмеивались и сыпали на голову ему бумажки, что называли снегом, старые швыряли ему бумаги, говоря: на, переписи. Старожа даже не приподнимались с мест своих, когда он проходил. Жалованья ему было четверста рублей в год. На это жалованье он ел [доставлял себе множество наслаждений] что-то вроде [шей или супа,

Бог его знает, впрочем] и какое-то блюдо из говядины [пахнувшее страшно], прошпигованное немилосердно луком; *отлеживался во всю волю на кровати* [валялся в узенькой комнатке] в комнате, над сараями, в Свечном переулке, и платил за помещение заплаток на свои панталоны, почти [вечно] на одном и том же месте, — и все это за те же 400 рублей, и даже ему оставалось на поставку пары подметок в год на сапоги [подметок на сапоги, которые он очень *берег*, и потому дома, *по праздникам, на квартире всегда сидел в чулках*]. Право, не помню его фамилии. Дело в том, что это был бы первый на свете человек, довольный своим состоянием, если бы не одно маленькое, очень затруднительное, впрочем, обстоятельство. В то время, когда Петербург дрожит от холода и двадцатиградусный мороз дает свои ключие щелчки по носам даже действительных тайных советников первого и второго класса, бедные титулярные советники остаются решительно без всякой защиты. Чиновник, о котором идет дело, укрывал кое-как, как знал, свой *нос*, впрочем очень незамечательный, *тупой* и несколько *похожий на то пирожное*, которое делают [некоторым чиновникам] кухарки в Петербурге, называемое пышками. Он его упрятывал во что-то больше похожее на капот, чем на шинель, что-то очень неопределенное и очень поношенное. Он уже издавна стал замечать, что шинель становится, чем далее, как будто бы немного холодноватее. Рассмотревши ее всю насквозь, — к свету и так, — он решился снести ее к портному [которому эта шинель была решительно так же знакома, как собственная, и он знал совершенно местоположенья всех худых и дырявых мест], который, несмотря на свой *кривой* глаз [*рябизну* по всему телу], занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких панталон и фраков” (стр. 613—614).

Здесь и оканчивается первоначальный набросок. Всматриваясь в него, а также в последующие переделки и в окончательную редакцию повести, мы заметим, что сущность художественной рисовки у Гоголя заключалась в подборе к одной избранной, как бы *тематической*, черте создаваемого образа других *все подобных же, ее только* продолжающих и усиливающих черт, с строгим наблюдением, чтобы среди их *не замешалась хоть одна, дисгармонирующая им* или просто с ними не связанная черта (в лице и фигуре Акакия Акакиевича нет ничего не безобразного, в характере — ничего не забытого). Совокупность этих подобранных черт, как хорошо собранный вогнутым зеркалом пук однородно направленных лучей, и бьет ярко, незабываемо в память читателя; но, конечно, — это не свет естественный, рассеянный, какой мы знаем в природе, а искусственно полученный в лаборатории. И видеть какую-нибудь фигуру, точнее, — одну в ней черту под лучом этого света, когда все прочие ее черты оставлены в совершенной темноте, — значит узнать о ней менее, как если бы в обыкновенном свете (позднейшее наше художество) мы видели полную фигуру в соединении всех ее черт. Известно, что последующие томы ”Мертвых душ” имели задачей своей вывести положительные образы; но при том способе рисовки, какой был присущ Гоголю, — и они все равно бы были сужением действительности, ее упрощением, обеднением (ведь, таковы и есть *начатые* образы Улиньки, Костанджогло). Но мы знаем, что в первом томе этого труда он выполнил лишь отрицательную половину занимавшей его задачи; не

ясно ли, что уже не сужение, но *искалечение* человека против того, что и каков он в действительности есть, мы здесь находим.

Судя по переделкам, мы в этом процессе его рисовки можем отметить одну общую тенденцию: первым движением воображения он стремится захватить в картину возможно большее число предметов; позднее ненужные из них отбрасываются, действие вогнутого зеркала как бы сосредоточивается, но и то, что оно делает с предметом, перед ним стоящим, — усиливается. Отчасти это можно видеть из приведенных выше в скобках *добавлений*, сделанных рукою самого Гоголя к первому, начальному тексту повести; но еще более это заметно при сравнении его с окончательною редакциею. Так, в последней начало повести *упрощено*:

"В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте"...

Т. е. отброшены ненужные "подлости и вздоры", и также "господа чиновники и военные офицеры". Зато на жалкую фигуру Акакия Акакиевича в этих же первых строках накинута одна-две еще увеличивающие его безобразия черты.

"...Итак, в одном департаменте служил один чиновник, — чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный: низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшою лысиною на лбу, с *морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным*".

Далее, ниже несколькими строками, краски, рисующие как его внешность, так и внутреннее содержание, сгущены против первоначального наброска и доведены до непереступаемой степени яркости:

"...Вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжеватого-мучного цвета. *Воротничок* на нем был *узенький, низенький*, так что *шея* его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, *казалась* необыкновенно длинною, *как у тех гипсовых котенков*, болтающих головами, которых носьят на головах целыми десятками русские иностранцы. *И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру*: или *сенца кусочек*, или *какая-нибудь ниточка*"... "Он если и *глядел на что*, то *видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки*, — и только разве, если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер ему в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы"..."Приходя домой, хлебал наскоро щи... *не замечая их вкуса, ел все это с мухами*. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, *вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом*. Если же таких не случалось, он *снял нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя*, — особенно если бумага была замечательна, не по красоте слога, но по *адресу к какому-нибудь новому или важному лицу*"... "Написавшись *всласть*, он *ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне*, — *что-то Бог пошлет переписывать завтра*. Так протекла мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием" и т. д.; следует переход к "сильному врагу всех" таких чиновников, северному морозу, — что уже содержится в конце первой редакции повести, и, следовательно, все вставки эти сделаны именно на приведенном первом наброске начала повести.

Обратимся от приемов этой рисовки к самому рисуемому художнику. Слова *первого же* наброска, *выпущенные* в позднейших переработках: *"существо своем это было доброе животное"*, ставят нас на точку зрения, с которой рисовался портрет: и, взглянув на него, мы уже объясняем себе, почему именно принимающая черта избрана в рисуемом портрете: животное, безыдейное, неосязающее, — такова была его тема; и, между тем, мелькнула она в уме художника при рассказе, именно показывающем человека одухотворенным, полным мысли, чувства радости о Божием мире. Достаточно вспомнить о *самозабвении* охотника, выехавшего после долгого, быть может, ожидания на гряды Финского залива, с *бесчувственностью* канцеляриста, который, переходя улицу, тогда только замечает, что он *"не на середине строки"*, когда лошадь тычет его из-за плеча мордой, чтобы понять, чем было творчество Гоголя *в отношении к действительности*, какую *ее* рисовкой. Гоголь не только не передавал ее в своих созданиях; и как человек, встречаясь с ее явлениями или слыша о них, — он чудился ее, съезживался, уходя от нее, как уходили от холода его чиновники *"в свои поношенные каботы"*, в странный мир безлозненного воображения, где рядом с образами блистающих *"Аннунциат"* (см. *"Рим"*) жили оскопленные, с облезлыми на голове волосами, с морщинистыми щеками образы Акакиев Акакиевичей и подобных; но как эти, так и те, *"блистающие"*, — равно без жизни¹ без естественного на себе света, без движений, без способности в себе продолжающейся мысли, развивающегося чувства². С этими

¹ И в самом деле, почти невозможно понять образ Акакия Акакиевича, не оттеняя его в мысли своей образом этой Аннунциаты: *"Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскrojивши черные как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым потоком блеска. Таковы очи у албанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесною косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица — образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем — дивным благородством дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратится ли затылком с подобранными сверху чудесными волосами, показав сверкающую шею и красоту невиданных землею плеч, — и там она чудо. Но чудеснее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замиранье в сердце. Полный голос ее звенит как медь. Никакой гибкий пантер не сравнится с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец создания, от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она — уже несет с собой картину: спешит ли ввечеру к фонтану с кованой медной вазой на голове"* — и т. д. Это, с анатомическою последовательностью движущееся описание и, вместе, усиливающееся стать пламенным, есть строга я и лишь обратнo направленная параллель с образом Акакия Акакиевича: черты одного уходят бесконечно ввысь, другого — вниз, оба удаляясь от действительности, равно лишены движения, жизни, одухотворенности.

² Замечательно, что ни в одном произведении Гоголя нет развития в человеке страсти, характера и пр.; мы знаем у него лишь портреты, человека in statu, не движущегося, не изменяющегося, не растущего или умалющегося. И, кажется, так же относился он к природе: бури, ветра, даже шелестящих листьев или травы он не описал; на всей огромной панораме его живописи ничто не движется, — и это, конечно, не без связи с характером его гения.

странными образами одними он жил, ими тяготился, их выразил; и, делая это, — и сам верил, и заставил силою своего мастерства несколько поколений людей думать, что не причудливый и одинокий мир своей души он изображал, а яркую, перед ним игравшую, но им *не увиденную, не услышанную, не ощущенную* жизнь.

И, однако, если бы только "Мертвые души" и "Ревизора" оставил нам Гоголь, то, оставаясь изумителен для нас как художник, он не был бы еще велик как человек. Есть, сверх отмеченной главной в нем черты, *сужения и принижения* человека, другая, которою он стал так непонятен, таинствен для всех и которою влечет к себе наше сердце, зовет к себе будущее, — как первую чертою очаровывает наш ум, отталкивает прошлое. Эта черта — и она также сейчас объяснится из его черновых бумаг — есть его бесконечный *лиризм*, оторванный, как и прочее, от связи с действительностью. К чему он относится? Только к этой иронии, с нею связан, без нее не появлялся. Лиризм Гоголя всегда есть только жалость, скорбь, "незримые слезы сквозь видимый смех", как-то мешающиеся с этим смехом: но, замечательно, не предшествуя ему, но всегда за ним *следует*. Это — великая жалость к человеку, так изображенному, скорбь художника о законе своего творчества, плач его над изумительною картиною, которую он не умеет нарисовать иначе (вспомним *попытку* создать 2-й т. "Мертвых душ") и, нарисовав так, хоть ею и любит, но ее презирает, ненавидит. Ранний проблеск этого лиризма мы находим в разбираемой теперь повести и из содержания черновых бумаг убеждаемся, что его вовсе не было в первоначальных текстах, он только появился *вставкою* в окончательный текст, т. е. когда собственно *рисующая* работа была уже окончена. Мы приведем его в контексте с этою последнею, дабы видно было отсутствие всякой между ними связи:

"Молодые чиновники подсмеивались и острили над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия; рассказывали тут же, перед ним, разные составленные против него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его; спрашивали, когда будет их свадьба; сыпали на голову его бумажки, называя это снегом"...

И вот, как бы прерывая этот поток издевательств, ударяя рисующую неудержимо их руку, — какою-то припискою сбоку, позднее прилепленною наклейкой, следует:

"...но ни одного слова не отвечал Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: "Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?" *И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, — вдруг остановился, как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде; какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему*

низенький чиновник, с лысиной на лбу, со своими проникающими словами: "Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?" И в этих проникающих словах звенели другие слова: "Я брат твой". И закрывал себя рукою бедный молодой человек, много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным".

И далее опять:

"...Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать — он служил ревностно; нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы, соразмерно его рвению, давали ему награды" и т. д. (та же 92 стр.) сыплются и сыплются те же "бумажки" на голову "в существе своем доброго животного", как раньше. Вне всякого сомнения, приведенный лирический отрывок есть вспышка глубокой скорби в творце при виде сотворенного; это он "содрогается", окончив создание "свирепой грубости", и "закрывает себя рукою", и повторяет звенящие в ушах слова: "Я брат твой", которые чем далее, тем громче будут звучать в его душе, по мере того как творческий его гений будет восходить к высшим и высшим в зрелости своей созданиям. Мы их услышим, этот плач художника над своею душой, в лирических отступлениях "Мертвых душ", в речи первого комического актера "Развязки к Ревизору", в заключительной строке "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"; он нам звучит из множества частных его писем глубочайшей значительности и, наконец, все собою заглушает, сгоняет остатки всякого "смеха" в "Авторской исповеди", в "Завещании", в "Выбранных местах из переписки с друзьями". И — вот он, весь Гоголь, в полноте образа своего, без исключения из него какой-нибудь черты: великий человек, в котором гениальный ум разошелся с простым сердцем и надолго победил его, заглушил естественный против себя ропот, но в конце — был им побежден, скован, отброшен после борьбы, которая, однако, человеку стоила жизни.

И если все это в нем было непонятно, мы не должны этому удивляться: ведь, бороться с собою — это так чуждо нам, так непонятно в себе;

¹ Любопытно, что всюду, где он умеет создавать не отрицательные образы (в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", в "Миргороде"), у него эти лирические отступления отсутствуют; хотя, по течению речи, там преимущественно и следовало бы ожидать, что он к ним подыметесь. И, рисуя отрицательное — лишь там, где живопись достигает самой яркой выпуклости, самой высокой напряженности (как и в примере Акакия Акакиевича), — скорбь охватывает душу творца и изливается в лирическом отступлении, по закону художественной объективации обращаемом к изображаемому человеку, но в истине своей — о самом изображении и о себе, изобразившем.

могли ли понять и оценить мы это в другом? Нам все казалось, что, как и мы, он "боролся с печальной действительностью"; целая половина его деятельности становилась, при таком взгляде, необъяснима в нем; необъясним он весь, как человек, с его мучительным скитальчеством из страны в страну, с жадной бежать из родной земли, молитвой, аскетизмом, поездкой в Иерусалим, сожжением 2-го тома "Мертвых душ". Что за дело до *него*; ведь, зато, он становился помощником *нам*. Но великий человек достоин того, чтобы его рассматривали в самом себе. В истории души своей, хотя бы единичной, он, быть может, значительнее, чем целое общество в истории своих мелких забот, треволнений, ожиданий, злобы. И если венчавшее его могилу камнем, похвалой и готовое увенчать бронзою непонимание и тщеславие при этом изменившемся на него взгляде возьмет *свое* назад, — с его образа сбегут только ему навязанные черты, и он останется для нас в том именно особом величии, какое было в нем и какое он в себе указал нам; но мы к словам его не прислушались.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КОММЕНТАРИЮ "ЛЕГЕНДЫ О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО"

Выпуская 3-е издание своего комментария к "Легенде" Ф. М. Достоевского, — я заметил, что и предисловие ко 2-му изданию его (измененное мною в применении к изменившимся внешним условиям печати), и предисловие к 3-му изданию, вновь написанное, уже так далеко расходятся с этим комментарием, что соединить их в *одно*, в *одну* книгу значило бы совершать литературную какофонию. "Иные дни — иные сны"...

Между тем кое-что в этих предисловиях не лишено "комментаторского" значения, — только с изменившихся точек зрения. Поэтому я позволяю себе нескромность предложить их вниманию читателя в отдельном виде, прося его не винить меня особенно строго за желание сохранить вариации своих мыслей, желание пустое — если бы оно касалось только личности моей, и не совсем пустое, если принять во внимание великие темы, затронутые в "Легенде", и перемена взглядов на которые на протяжении 15-ти лет, прошедших после написания мною "комментария", понятна и извинительна.

I

Отзыв о Гоголе (в главе второй) вызвал очень много протестов сейчас же по напечатании "Легенды". Кажется, и до сих пор он остается в литературе одиноким, непризнанным. Верен ли он? Ложен ли? Едва ли что можно возразить мне, имея в руках *документы* написанного Гоголем. Гоголь был великий *латоник*, бравший все в идее, в грани, в пределе (художественном); и, разумеется, судить о России по изображениям его было бы так же странно, как об Афинах времен Платона судить по отзывам Платона. Но в характеристике своей я коснулся *души* Гоголя, — и, думаю, тут ошибся. Тут мы вообще все ничего не знаем о Гоголе. Нет в литературе нашей более неисповедимого лица, и, сколько бы в глубь этого колодца вы ни заглядывали, никогда вы не проникнете до его дна; и даже по мере заглядывания — все менее и менее будете способны ориентироваться, потеряете начала и концы, входы и выходы, заблудитесь, измучитесь и вернетесь, не дав себе даже и приблизительно ясного отчета о виденном. Гоголь — очень таинствен; это — клубок, от которого никто не держал в руках *входящей* нити. Мы можем судить только по объему и весу, что клубок этот необыкновенно содержателен... Поразительно, что невозможно забыть ничего из сказанного Гоголем, даже мелочей, даже ненужного. Такою мощью слова никто другой не обладал. В общем рисунок его в равной мере реален и фантастичен. Он рассказывает полет бурсака на ведьме ("Вий") так, что невозможно не поверить в это как в метафизическую быль; в "Страшной мести" (самый конец) говорит об испуге "колдуна" тоном человека, который сам смертельно боится... В Оптину Пустынь, к одному из тамошних старцев, он написал записочку-просьбу, буквально повторяющую этот плачущий, запуганный тон "грешника", который что-то особенное наделал на земле... Да, он знал загробные миры; и грех, и святое ему были известны не понаслышке. В то же время в портретах своих, конечно, он не изображает действительность: но *схемы* породы человеческой он извлял вековечно, — грани, к которым вечно приближается или от которых удаляется человек...

Достоевский как *творец-художник* стоит, конечно, неизмеримо ниже Гоголя. Но *мусть* Гоголя у него значительно прояснилась, и из нее показались миры столь великой сложности мысли, какая и приблизительно не мерцала автору "Переписки с друзьями". Идейное содержание Достоевского огромно, хотя через 20 лет по его смерти, взяв карандаш, всегда можно отметить, где он не дошел до нужного, где

переступил требующееся. И вообще виден конец и пределы сказанного им, которых в год смерти его решительно невозможно было определить. Можно сказать, что мы должны идти далее Достоевского, ибо время и самый предмет удивления и восхищения как-то прошли... Видны ясно его ошибки; и, напр., вся его путаница о Европе и России (в их взаимоотношении) теперь представляется очевидною aberrацией ума. Вопросы, поставленные Достоевским, гораздо глубже, чем казались ему. Они все суть более метафизические вопросы, чем исторические, каковыми он склонен был сам считать их. Россия подошла ныне к таким проблемам, взглянув на которые оба наши писателя почувствовали бы нечто сходное с тем, что почувствовал добрый Бурульбаш, заглянув в окно старого замка к Пану-Отцу ("Страшная месть"). Они зажмурились бы и спустились скорее вниз. Ясно, однако, чувствуется, что центр всемирной *интересности* и *значительности* передвинулся к нам (Россия), — и почти весь вопрос теперь в силах нашего разума, просто — в нашей талантливости. Талантливый *момент* придвинул к нам Бог. Сумеет ли около него мы *сами* быть талантливы...

Одна частности, которую следует оговорить. Дойдя до критики страдания людей, в частности — *младенцев*, я пытался тогда, в комментарии своем, рационализировать около этой темы. Это — ошибка, и хотя я оставая эту страницу нетронуто, но читатель должен на нее смотреть как бы на зачеркнутую. В "Пушкинской речи", так запомнившейся в России, Достоевский спросил: "Чем успокоить дух, если позади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок?.. Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обесчещенного старика возвести это здание. Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на одну минуту, что люди, для которых выстроили это здание, согласились бы принять от вас такое счастье?.."

Речь эта, и в частности приведенное место ее, чрезвычайно запомнились. Действительно, тут поставлен некоторый кардинальный вопрос: можно ли вообще на чьих-нибудь костях, и даже проще — на чьей-нибудь *обиде*, воздвигнуть, так сказать, нравственный Рим, вековечный, несокрушимый? Или, еще острее поворот спора: если некоторый нравственный Рим, с предложениями на вековечность, построен на чьих-нибудь костях, но так искусно и с такими оговорками положительных, что не минуту, не год, но века человечество проходило мимо этих костей, даже не замечая трупика, отворачиваясь от него, презирая его, хотя о нем и сознавая все время: то вправе ли мы долее считать и надеяться, что этот уже воздвигнувшийся Рим — вековечен, имеет вечное и согласное себе благословение в сердцах человеческих и благоволение свыше?.. Вот вопрос, вот критерий.

Лет шесть назад мне пришлось выслушать рассказ приезжего с моей родины, — смеющийся почти рассказ, и просто в качестве новости, известия, именно повода к разговору за чашкою чая. Неподдалеку от Костромы, в перелесках, которыми начинаются необозримые заволжские леса, найдено было тельце младенца-мальчика, около года, одинокое, но цельное и нетронутое. Привезли его в Кострому, и как неизвестные тела нельзя предавать земле без вскрытия, то его и вскрыли. Нашли в желудке и костях и тканях особенное перерождение, которое происходит от голодной смерти. Дело было летом, и, очевидно, мальчик все ползал около деревьев, может быть, заползал в кусты, может быть, сваливался в ямку и из нее карабкался, и по крайней мере это длилось неделю. В конце, вероятно, он потерял голос, но первые дни, верно, кричал: "Мама! Мама!" Боялся он? Не боялся? Ночью? Как он относился к чувству голода, т. е. что понимал об этом? Что такое боль

голода, сильна ли? Ведь это не местная и не острая боль? Ничего не умею представить себе о душе и *воображении, сознании* мальчика, но кое-что, верно, было, уже по крайней мере коротенькое-то это "мама! мама!". Но "мама", верно, была уже далеко, хотя, может быть, день-то и стояла близости за деревом, тоже следя, куда поползет мальчик и как он будет ее искать. К годовому ребенку любовь уже совершенно сформировавшаяся, не одна инстинктивная, но и сознательная, сердечная, острая, щемящая, — и этим только и можно объяснить, что она не имела сил убить его (верно, тайного своего ребенка), а оставила в лесу с тупой надеждой, что кто-нибудь пройдет мимо, пожалеет и поднимет. Но, верно, он отполз в сторону, и люди проходили дорогой, а в сторону не заглянули. По всей обстановке видно, что до году мальчик скрывался где-нибудь на стороне, а затем по каким-нибудь обстоятельствам матери пришлось взять его, и вот она понесла было домой, но не донесла, ноги задрожали, ум помутился. Просто — не имела сил внести в родной дом дитя девичества своего. Об этом, т. е. что таких детей "не имеют сил вносить в дом свой", знает Церковь, и за него все, исповедующие ее учение и приученные повиноваться ему. Я сказал: "*знает Церковь*"... Слишком скромно: Церковь-то и *отрекла* этих детей, — всех, рожденных *без предварительного ее благословения*, и при ее отказе дать таковое благословение на рождение до замужества; *отрекла* и определила их судьбу, убиваемых, кидаемых, во всяком случае при матери и отце не остающихся. Что восемнадцать веков было церковным преступлением, то на девятнадцатый век стало "светским неприличием", "антиморальным поступком": но пятно последнего границами своими точь-в-точь совпадает с кровавыми очертаниями тысячелетнего церковного осуждения. И что ничего *непременного* здесь нет, никакой антиморальности, антирелигиозности, антиобщественности, видно из того, что не только теперь, напр., у русских вотяков даже и не берут в замужество девушку без ребенка, говоря, что "это рискованно, ибо у нее, может быть, и *не будет детей*, а какой же *дом без детей*", но и у высокоцивилизованных египтян, народа самого серьезного и религиозного из древних по свидетельству всех писателей, дочери священников, первосвященников, вельмож, военачальников первые годы девичества отдавали свободной любви и свободному деторождению, — прежде, нежели выйти замуж; после чего, с детьми, их брали в замужество первые люди государства, священники, приближенные фараонов. Деторождение почиталось было везде: а если почиталось — кому могло прийти на мысль осуждать за это? почему с детьми пренебречь взять в замужество?! С душою углубленною во все величие материнства, тронутую, взволнованную, узнавшей тревоги бессонных ночей над больным или беспокойным малюткой, — эти невесты-матери насколько были пышнее и идеальнее душою, глубже и священнее теперешних невольной-пустыньских барышень, как и затворниц старых московских теремов, младенцев неразвернувшихся, без определявшегося в них добра и зла? Материнство ли марает? — Нет, возвышает! Отчего же не приносить в дар жениху, вместо золота и наук, цветущее здоровьем и талантами дитя, залог продолжения в будущем? Так естественно. Итак, — это *возможно, было* в цивилизациях тысячелетия прошлых. Следовательно, не расшатывает ни быта, ни гражданственности. И наш теперешний обычай ничего неперменного в себе не содержит. Но пришла Церковь и сказала скупое "нет!". Не по жажде целомудрия: ибо неужели же *детные* женщины нецеломудреннее бездетных, дев? — но по скупости к рождению, по отвращению к счастью, по исканию несчастья. И вот вопрос Достоевского, как все им приведенные примеры детского страдания сами собою повертываются от "властных помещиков", "сластолюбивых туток" и "злых родителей", существ эмпирических и случайных, *к лицу Церкви*, уже "святой", "непорочной", "непогрешимой".

"Позади этой святости, непорочности, непогрешимости стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок... Позвольте, представьте, что это вы сами, священники, архиереи, живые и усопшие учителя Церкви, постники, столпники, чудотворцы, праведники, возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осласливать людей, дать им наконец покой сердечный и мир. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только одно

человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а простого годовалого ребенка костромской девушки-мещанки, но которого она любит, хотя будущности его и не знает, хотела бы гордиться им, быть счастливою им, найти с ним покой. И вот только его и эту девушку надо опозорить, выставить бесчестными и замучить и на слезах этой опозоренной девушки возвести это здание. Согласитесь ли вы, столпники, постники, учителя Церкви, святые и праведники, быть архитекторами такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можно ли допустить, чтобы люди, чтобы христиане, для которых вы построили это здание, эту Церковь, согласились от вас принять ее как покой и правду?"

Что́ и спрашивать... "Здание" это было построено... "Здание" это было принято...

"Легенда" обращается против творца своего... Из похвалы, восторгов, умиления (в сущности) она переходит... в Бог знает что. "Моя осанна сквозь горнило испытанной прошла", — записал он перед самой смертью в своей "Записной книжке" и в скобках указал на "Легенду". Но "горнило" то не очень было выверено, слишком патетично и без оглядок: и "осанна" выходит как-то с кашлем, и даже ее вовсе не слышно, а видно только, что человек старается, заслуживает... почти получает, что нужно, в руку и все же может выговорить только "благодарю покорно", без всякого "ей, гряди".

1901—1906

II

Год назад появилась интересная работа о Гоголе Д. С. Мережковского: "Гоголь и черт". В ней автор отрицает *высокодemonicное*, настаивая, что есть только *плоскодemonicное*. Что сущность "бесовского" в мире есть пошлость, серенькое, маленькое... Узнаем здесь плач человеческой души по великому; но если лирика автора критического этюда права, то его тезисов как о злом начале, так, в частности, и о Гоголе — не можем не отвергнуть. "Гоголь всю жизнь свою ловил черта"... уловляя его, поборол его — такова мысль Мережковского. Насмешливо хочется заметить: да уж не ловил ли Гоголь самого себя за хвост, ибо в письмах он писал, что все "старается исправляться", что "выставлял свои пороки в выводимых лицах" и через это "освобождался от них"... Нет, в самом деле: если допускать "бесовское" и как *серьезное*, что есть, применяя терминологию Библии, не только "боги низин", но и "боги высот", гор, — то о "поимке собственного хвоста" у Гоголя можно было бы сказать и без шутки...

Работа Мережковского, пытающаяся проникнуть в метафизическое существо душевной жизни Гоголя, — есть серьезнейшее в нашей литературе начало *настоящего* отношения к Гоголю. До этого, в работах Кулиша, Тихонравова, Шенрока, мы имели какое-то плоскокивство около Гоголя: собирание тряпок, которые остались после великого человека. "Повертывали и так, и этак, прямо и к свету", как он записал о шинели Акакия Акакиевича, и все видят: "дрянь, изношено, чинить нельзя"... Конечно, важна и библиография: но дайте же что-нибудь и для души, и о душе великого творца "Миргорода", "Ревизора" и "Мертвых душ".

...Касательно главной темы Достоевского. Он нарисовал соблазнительную легенду о том, как злые люди, мучители и обманщики, "пожалели людей", когда к ним отнесся "великолепно, как Бог" (слова "Легенды"), Тот, Который так и этак поступил с ними, но в основе, по Достоевскому же, "поступил с ними как бы и не любя их вовсе"... Замечание Мережковского о *мелочности* зла, и всегда только мелочности, получает в ответ себе улыбку... В "Легенде" Достоевского все так сплелось, что "злые люди" более жалеют человека, чем "добрый избавитель" их: это его собственные слова, его собственный тезис; хотя он на всем протяжении "Легенды" именно принижает их и возвеличивает его. Странно: пошлаки люди, в Бога не верят — а друг друга жалеют. "Избавитель" же величественный такой, и люди под

ним — как мокрый песок: и ступить не на что. Пишет он, далее, что "избавитель" до того был смиренен, до того смиренен, что не захотел для себя ни чуда, ни тайны, ни авторитета: оставил людей "свободными", полагаясь на "свободную их любовь". "Не обольщал их совести". Так на Востоке нами, русскими, по преемству от смиренной и тихой Византии, и понятно, и принято... А католики, "соединившиеся с ним" (Злым Духом) и отвергнувшие Христа, вопреки ему основали религию на тайне, чуде и авторитете". Это собственные все слова Достоевского: так что Православие, по нему, есть чистый рационализм, параллель штундизму, и отвергает с отвращением чудо, тайну и авторитет, сии дары "умного Духа пустыни"... "Ты не захотел чуда: ибо что же за вера при чуде" и проч., "захотел их свободной любви". Удивительно! Достоевский забыл, что Христос ужасно много творил чудес: насытил 5-ю хлебами 5000 народа, претворил воду в вино, укрощал бури, исцелял хромых. В конце концов он даже прямо сказал: "Если бы такие чудеса были явлены" там и там-то, "то те люди уже поверили бы в Меня: а вы — не верите". Таким образом, о чуде как именно о средстве заставить поверить в себя как в Божество прямо сказал Христос. Православие едва ли имеет "чудес" менее, чем католицизм, — и особенно оно едва ли более чуждается их... "чудес" и "чудотворцев". "Легендою" Д-кий бросил не камень в католичество, а горсть песку, рассыпавшуюся по всем церквям. Наконец, "авторитет": разве Православие отказывается быть авторитетным? морщится, когда его именуют и оно само именует себя "единою истинною церковью". Никто не слышал, кроме Достоевского, о такой скромности. "Не хотел основать Церкви, основанной на таинствах: не хотел волшебства и суеверий"... Но ведь именно наша Церковь, в отличие от рационализма, добродетели и философии, имеет в основании своем семь "таинств": Крещение, исповедание, причащение, брак, священство, елосвящение. В частности, в "исповедании" именно духовственность наше "разрешает" все то, о чем пишет Достоевский: "иметь и не иметь детей", "жить и не жить с женой", "разрешает тихие детские песенки", ну словословия, "тропари" и "кондаки", отпускает даже "грехи", и, словом, поступает, как мудрые, "взявшие на себя знание добра и зла". Не все так великолепно, как пишет он: но по существу — именно это. Так что если католики — "с ним", как пишет Д-кий, то *мы-то с кем же?* Да и, главное, Достоевский так добро очертил "его", который даже хлебом накормил голодающих, что, по обыкновенному рассуждению, вовсе даже и нестрашно быть "с ним" и гораздо более жутко остаться с тем, кто в хлебе принципиально отказал, как в слишком грубом, низменном начале, а, однако, вещественные "царства мира" взял себе: франков при Хлодвиге, англичан при Берте, нас — в X веке, германцев — при Бонифации; а через нас, и франков, и англичан — взял и прочие "царства мира", черный и желтый и красный материи... Так что "во мгновении ока" показанное в пустыне, или померцавшее в пустыне, все и соединилось в "христианский мир", все объединилось под одною "тайною, чудом и авторитетом"...

А "злой дух" остался на бобах: ему поклоняются какие-то якуты, мордва, черемисы, — да и то до прихода наших школьных учителей, наших миссионеров и священников. Придут они — подберут и эти остатки. И все я не умею понять: какую же это "блудницу" раздерут восставшие народы? неужто раздерут якутов и самоедов? Одной роты солдат довольно, и не для чего вовсе тревожиться ими "восставшим народам", как равно и небесным трубам, воинствам ангельским и проч. Это на якутов-то? Вообразить себе, до чего напугаются... Нет, в самом деле: если спросить какого угодно священника, начетчика, архиерея: неужели Страшный Суд, Последний Суд будет против якутов и самоедов, "еще не просвященных светом крещения", против китайцев и японцев, то, мне кажется, все согласно воскликнут: "Нет! Это — наше, это — мы! Это — что-то главное, а не такая второстепенность, как якуты с японцами"...

Вот что страшно... И вот чего я, по крайней мере, так боюсь, боюсь, что забываю литературу, свою книгу, и мне хочется начать кричать, как и предсказано: "Горы, падите на нас! Холмы, покройте нас"...



Литературные очерки
Сборник статей

Tempora mutantur et nos mutamur in illis¹. Я не могу сказать, чтобы все мысли, содержащиеся в этом сборнике, остались родными мне в той степени, как были в момент их написания; и особенно, чтобы между собою они сохраняли ту самую перспективу зависимости и отношений, яркого и бледного — в какой стояли тогда. Духовный их организм (связность) молекулярно перестраивался и, может быть, даже анатомически уже не тот. Но каждая кость все еще кость, и мускул — мускул: сборник сохраняет еще цену "образцов" мысли, "примеров" того, как мысль наша может относиться или пытается относиться к великим темам, из сплетения которых образуется духовная жизнь общества. Чем далее, однако, к концу — тем эти "кости" и "мускулы" живее во мне: и как коралловый риф живет лишь в вершинах, однако — на основе "умерших предков", так при чтении этих статей читатель будет переходить от умершего к полуумершему и к совершенно живому. Все здесь напечатанное было помещено между 1890—1898 гг. в "Московских Ведомостях", "Вопросах Философии и Психологии", "Новом Времени", "Биржевых Ведомостях", "Русском Обозрении", литературном приложении к "Торгово-Промышленной газете" и в других изданиях.

В. Р.

¹ Времена меняются, и мы меняемся с ними (лат.).

1. Почему мы отказываемся от "наследства 60—70-х годов"?

I

Факт, что дети, возвращенные "людьми шестидесятых годов", отказываются от наследства своих отцов, от солидарности с ними и идут искать каких-то новых путей жизни, другой "правды", нежели та, к которой их приучали так долго и так, по-видимому, успешно, — есть факт одинаково для всех поразительный, вносящий много боли в нашу внутреннюю жизнь и, без сомнения, одною силою своею, своим значением имеющий определить характер по крайней мере ближайшего будущего. Между вопросами, занимающими теперь общество, многие более неотложны, более нетерпеливо ждут и нуждаются в разрешении; но нет между ними ни одного столь общего и столь нуждающегося в цельном освещении его причин и смысла.

Прежде всего о внутренней боли, которая чувствуется в этом вторичном разладе между отцами и детьми. Нужно вспомнить то одушевление, ту полную веру людей шестидесятых и семидесятых годов в себя, в свои принципы, в свое близкое и вековечное торжество, чтобы понять всю горечь их разочарования при виде того, как, не говоря уже о дальних поколениях, их же собственные дети, возвращенные в наилучшем ознакомлении с этими принципами, совершенно отвращаются от них — и с ними от самих людей, седины и труд которых они были бы готовы почитать, если бы только не эти принципы. И далее, чтобы понять жгучесть этой боли и чувство ужасного стыда в ней содержащегося, нужно вспомнить, как проводили люди шестидесятых годов своих отцов — эту светлую плеяду людей сороковых и пятидесятых годов, первых славянофилов и столь же благородных и идеальных первых западников. О, это было время, которое дважды не переживается обществом, и хотя оно теперь только прах истории, но и до сих пор бьется сердце, как за живых людей, за этих отшедших в вечность стариков, при чтении журналов того времени. Поистине "дети", проважавшие тогда в землю отцов своих, как будто себя самих уже считали бессмертными. Среди многих искусственных идей того времени, искусственных понятий о человеке и об обществе, как будто заглохла и эта вечная мысль о смертном часе, который настает для всего живого.

И грозный час пришел...

В то время как люди еще боролись бессильной иронией своих слов, история уже готовила для них злую иронию фактов. Не успели смеющиеся уста сомкнуться, как лица смеющихся исказились ужасом одинокой смерти. *Все это можно было предвидеть, всего этого можно было избежать еще тридцать лет назад. Не следовало забывать историю, не следовало забывать текучесть своего момента времени.*

II

Эта боль положения не может не вызывать сетований. Но какая разница между тем, как сходили с исторической сцены люди сороковых — пятидесятих годов, и тем, как сходят теперь с этой же сцены их дети! Несколько слабохарактерные, всегда изящные и задумчивые; несколько неправые, как и всякое поколение, пред вечными обязанностями человека на земле, люди сороковых — пятидесятих годов прежде всего устремили свое внимание именно на эти последние. Уже по внешним условиям они не могли стать людьми дела, но, кажется, и по внутренним склонностям они были мало к нему способны и расположены. Это были прежде всего люди рефлексии, люди углубленного, развитого чувства. Повинуясь только своему влечению, не сознавая своего исторического положения, они создали целый мир глубоко человеческих понятий и чувств. Как и всегда в течение вот уже двух веков, они обращались беспрестанно к Европе, которая стала для них вторым отечеством, часто более дорогим и духовно близким, чем своя родина; но по благородным задаткам своей души они избирали в Европе одно лучшее. И это лучшее они принесли к себе, в свою серую родину, холодную и угрюмую. Семя, посеянная ими здесь, возросло богатою нивой, которую мы и до сих пор жнем, почти не чувствуя еще ее истощения. *Круг применения идей, правда, очень расширился, как и количество фактического содержания, которое от начала они могли бы вместить в себе; самые же идеи почти не увеличились. В этом состояла их историческая задача: в общество, в верхних слоях своих еще грубое, в средних и образованных — наивное, они внесли серьезное размышление и углубленность чувства. Но практического применения этих идей ими не было сделано — это была вторая и более легкая задача, предстоявшая их детям.*

Последние с упрека отцам своим в этом недостатке и открыли свою деятельность. Привычка на всем тотчас сосредоточиваться, забывая остальное, и на этот раз не оставила готовое сойти в могилу поколение. Они забыли то, что сделали, и помнили только о том, чего не сделали. Сама история, непреодолимым движением фактов, привела их перед концом к этой мысли, самой необходимой для всякого, кто готовится оставить жизнь. Грустные и растерянные, со встревоженной совестью, один за другим сходили эти люди с исторического поприща, оставляя трепещущему жизнью поколению детей своих завет труда, которого сами они не выполнили. И дети их приступили к труду; о, конечно, и из них многие остались верны памяти отцов, и задача, на которую молча указывала история, — *с развитою душой приступить к обновлению жизни* — была ими выполнена. Лучшее, что было сделано в царствова-

ние Александра II (не по прочности, но по мотиву), было сделано людьми этого душевного настроения. Они учились, они размышляли и чувствовали, как и люди сороковых и пятидесятих годов; из них многие и теперь живы, и как светоч блистают для нас в сферах науки, литературы и, может быть, политической деятельности (о последней не знаю). Их было очень немного, хотя они сделали главное, остающееся в истории. Совсем иным путем пошла главная масса. На деле их, на писания в течение двадцати лет можно здесь набросить покров: мы все их знаем; не знаю, желательно ли составление очень *подробной* истории этих писаний и дел, и часто думается, — раз это время уж минуло, — что лучше было бы никогда не поднимать над ними покрова. Пусть мы, все видевшие, все читавшие и знавшие, живем еще с тревожными, с мучительными и раздраженными воспоминаниями, но не к чему передавать эти воспоминания и дальним поколениям. Желчи и горечи достаточно даст каждому из них и свое время. Одного не следует забывать при этом, чтобы хорошо понимать источник разницы между двумя рядом стоящими поколениями нашего общества. Говоря о людях сороковых и пятидесятих годов, мы заметили, что главное в их деятельности было обусловлено *избирательными инстинктами*, которые они принесли с собою в Европу. В этих же инстинктах и теперь состояло все дело. Европа шестидесятых и семидесятых годов, как и всегда, представляла из себя необозримую сокровищницу, увитую седым мохом и зеленеющими побегами, где всякий мог находить для себя все, что было ему нужно. Гениальное и пошлое, целебное и заразительное — все было в этом организме, самом могучем и полном, какой создавался когда-либо в истории. Европа уже все передумала, все пережила, *все переделала на все манеры*, — и у ней одинаково можно научиться и тому, как просветлять жизнь высшим светом, и тому, как отравлять свою душу неизлечимой отравой. Все дело, продолжаем, было в инстинктах избирания. Руководясь ими, люди шестидесятых и семидесятых годов принесли из бесценной сокровищницы Запада новые семена на свою родину — и ниву, уже засеянную их отцами, занимая их след, засеяли новым принесенным семенем. Нива снова возросла, жатва созрела и была срезана, но... когда должен был начаться вечерний пир, пищи не оказалось. Люди, приведенные на этот пир с *молодыми, свежими инстинктами*, непродолимо отвращаются от приготовленных яств. И старики, которые так много трудились на ниве в знойные и в холодные дни, руки которых устали и более неспособны к труду, видят, что свою жатву, надежду стольких лет, им остается только унести с собой в могилу. Все это страшно горько, страшно трудно, надо всем этим нельзя смеяться, и дурно делает тот, кто это делает. *Но изменить факта нельзя — и не следует.*

III

”Групповой возраст этого поколения, отказывающегося от наследства отцов своих и от солидарности с ними, должен быть от 20—30 лет или несколько более. Молодежь, принадлежащая к нему, должна была родиться между 1858—1868 гг., кончить гимназию между 1878—1886 гг., а университет между 1880 и последующими годами. Время, в которое

эта молодежь слагалась умственно и вырабатывала себе жизненную программу, совпало как раз с наиболее печальным временем нашей общественной жизни. Тут были и 1 марта 1881 года, и все его дальнейшие острые последствия. Общество заметалось, спуталось; оно и прежде было слабо сознанием, а тут мысль его и совсем очутилась под спудом. Аксаков думал, что умственный промежуток, который открылся теперь перед обществом, и есть именно наиболее благоприятный момент для того, чтобы общественное сознание встало в том направлении, которое он считал единственно способным обновить все наше общественно-государственное существование. Рядом с этим так называемые западники считали необходимым продолжение реформ в более широком виде и с более расширенной деятельностью интеллигенции. Но явилось и еще движение, направленное именно против интеллигенции. Это было одно из самых злополучных и несчастных самоотречений, продолжающееся и до сих пор. Интеллигенция была сделана козлом отпущения за все — и кем же? Такою же самою интеллигенцией, как она. Та самая масса молодых сил, которая было устремилась за знанием, которую выдвинула Россия как необходимую для нее умственную силу — эта самая интеллигенция повернулась против той, которая так долго вела ее, почти во всем уже успела и стояла, по-видимому, перед минутой окончательного торжества своего”¹.

Так пишет один из самых деятельных писателей 60-х годов, лишь недавно сошедший в могилу, почти накануне ее. Да, все это было так, и годы указаны с изумительною точностью. Видно, что человек, писавший это, зорко следил за окружающею жизнью; но ход ее, но смысл и источник нового поворота для него, как человека, видевшего все лишь под одним углом, был неясен, непонятен, просто неизвестен. Он умер, проклиная новое движение, недоумевая о том, что делается. Так всегда бывает в истории, что люди, несущиеся на одной волне ее, видят только эту волну и, когда она падает, — думают, что все погубило и что история останавливается. Но это не так. Действительно, 70-е годы гимназии и 80-е университета — все впечатления этих лет и впечатление от 1 марта... Припомним же, каковы были эти впечатления; что нас в то время поразило, когда мы, стоя на пороге между гимназией и университетом, переживали эту страшную катастрофу. Нас поразила эта сухость сердца, этот взгляд на человека и отношение к нему. О, забудем, что то был Государь, и Бог с ней, с этой все политической и политической... Но разве это не был человек, как и мы, с таким же ощущением простой физической боли, с таким же страхом смерти, с такими же светлыми надеждами, когда был молод, и разочарованиями, когда стал стар? Этот злобный смех на такие страдания, *при которых нам всем было бы трудно*, это равнодушие и вся политика перетрусившей печати, это холодное безучастие “интеллигентного” общества, когда одному человеку так больно, весь этот цинизм какой-то не то развращенной, не то от рождения не пробуждавшейся души — нам был невыносим и отвратителен. Это было главное и самое сильное впечатление, необыкновенно яркое и *которое не мешало задумываться, потому что оно было одиноко*. Все та же и та же

¹ “Вестник Европы” 1891 года, май, стр. 246—247.

боль умирающего человека, и равнодушное молчание вокруг. Мы тогда учились *и все читали, все видели*, тем более что никто нас в отдельности не замечал и ничего от нас не скрывали. "Но это было фактом политики, и никакой личной ненависти при этом не было", — говорили нам. Но тогда "цель оправдывает средства"? Тогда зачем же это негодование на костры инквизиции, также жгшей людей не для удовольствия, но для водворения на земле единства веры, то есть для их устроения, для их спасения за гробом, то есть "для наибольшего счастья наибольшего числа людей"¹, разумея счастье по условиям своего времени, своего воспитания, своих умственных способностей, — как иначе и не могут разуть счастье люди и никогда не будут его разуть. Этот недостаток универсальности в приложении принципов — было второе, что нас поразило тогда. "Мера одна для нас, которую мы требуем, а для других будет та мера, которую мы приложим к ним", — это всегдашнее требование эгоизма и несправедливости продолжало действовать и в тот момент, о котором нас хотели уверить, что он открывает собою эру изгнания из истории всякого насилия, эгоизма и несправедливости. Ясно, что не было никакой "эры"; было обыкновенное политическое волнение, с взволнованными страстями, с придуманными теориями — момент в излучистом течении истории, но вовсе не ее увенчание. Понять частный факт истории как всеобщий, принять будни за Светлый Праздник — этого мы не могли и не хотели, по простой невозможности не видеть, когда зрение дано, или не слышать, когда есть ухо. Но, повторяю, это впечатление было лишь последнее и самое яркое, необыкновенно важное в своем долгом одиночестве, не мешавшем думать. Детальные же, подготовительные впечатления — они шли издали, начались уже давно.

В 70-х и в начале 80-х годов мы все учились несколько иначе, чем учатся теперь. Мы все были теоретиками и мечтателями с ранней школьной скамьи. Средняя школа для нас проносилась, как в тумане, и мы все смотрели, из разных захолустных уголков России, в ту неопределенную даль, где для нас и было только одно — сияние милого, обвеянного мечтами, нас ожидавшего университета. Собственно, только эта поэзия ожидания и согревала нас в те ранние года, и ничем учитель не мог так привязать к себе и заинтересовать в классе, как рассказав что-нибудь о годах своего университетского учения — какие бывают профессора, что они читают, *какой они имеют вид*, наконец. Мы уже во многом были серьезны, но если в чем были детьми, со всей поэзией детства, со всею нескрываемою и нас несмушавшею наивностью, так именно в этом ожидании, в этих условиях представить людей, занятых только наукой, т. е. изысканием истины, и совершенно непохожих на всех окружавших нас, которые нам наскучили, которых мы часто не любили и не уважали. Помню эти долгие, уединенные прогулки по нагорному берегу Волги, с определением по положению солнца того направления, где был университетский город и куда вот уже скоро умчит поезд и... тогда начнется совсем, совсем другое. И ничего другого не было... Все было обманом старых литературных воспоминаний и немно-

¹Формула цели человеческой жизни в утилитарной теории, которая в 60—70-х годах была общераспространенною.

гих, избранных впечатлений наших школьных учителей. Университет — *universitas omnium litterarum*¹, вся эта "филология" наша была неправильна. Никак нельзя было представить, из каких требований ума вытекло это распределение наук, и в особенности как можно было преподавать науку, совершенно сбиваясь в ее определениях. Было чтение разных вещей о разных предметах, хрестоматия или сборник практически-полезных сведений, но не было науки в смысле теории, своими широкими рамами покрывающей естественные потребности естественно же развивающегося ума. Даже и идеи о возможности и необходимости такого теоретизма нигде не было. Самые предметы наук как-то странно никого не интересовали; интересовали книжки, написанные об этих предметах, репутация широкой в них начитанности. В идее — огромное множество островов, ни к чему не примыкающих; в действительности — просто рассказы об островах, которые давно скрылись под поверхностью воды. А мы ждали материка. О, как удовлетворил бы нас Фома Аквинский, хотя между нами многие пришли сюда атеистами; или Бодэн, Гоббес, Жозеф де Местр, хотя мы вовсе не были "легитимисты". Но мы ждали *складности*; и кто бы нам ее ни дал — мы бы за ним пошли.

IV

Только немногие старые профессора и спасли в нас идеализм к науке. Это были последние эпигоны людей 40-х годов, каких мы видели, которых мы никогда не забудем. "По-моему, где профессор — там и университет", — сказал один из них, вышедший тогда почему-то в отставку (Буслаев). — Да, конечно, а не большое кирпичное здание, выстроив которое в Томске и повесив на него вывеску, еще без профессоров, без студентов, все почему-то называли: "Сибирский университет". Странные понятия об университете — о святилище наук, где они преподаются и которое изготавливается печниками на кирпичных заводах. Все извратилось и померкло в наше тусклое, искаженное время. *В "университете" университету еще нужно зародиться*; завестись чудачкам-профессорам и всей студенческой братии слюбиться, сжиться, порости мхом, ког-нибудь похоронить и справить тризну — и тогда это будет университет. Удостоиться стать им через почетный труд, через доблестную жизнь, *через историю* — можно; выстроиться университету нельзя.

Тогда в журналах все писали о "кружке молодых профессоров" в нашем университете; о стариках никто не писал и не говорил — только они сами издавали один ученый труд за другим, и до этого никому не было, по-видимому, дела. Работали в пустыне. Молодые же профессора, за исключением двух-трех, все были какие-то розовые или упитанные и чрезвычайно уморительные в своих усилиях показаться "страшными". Наивны они были очень; об одном рассказывали в университете, что он все укладывал в чемодан белье, говоря, что его скоро "вышлют", — конечно, выслать его было решительно не за что, и он до сих пор строчит свою бесталанную макулатуру во многих наших "передовых"

¹совокупность всех наук (лат.).

изданиях. Этот профессор, охотнее возившийся с чемоданом, чем с книгами, понимая, что это не может не отражаться на лекциях, достаточно темно и достаточно ясно намекал на некоторую бедность развития при всей эрудиции у его старшего коллеги по факультету, который издавал тогда свои капитальные работы по финансовому праву. Эпиграфы к сочинениям обыкновенно брались тоже из какого-нибудь "страшного" философа. "Не плакать, не смеяться — но понимать. Spinoza" — помню, стояло на брошюре из веленовой бумаги у одного профессора, хотя из трех указанных проявлений человеческой природы известно было всем, что он любил только второе. Все это было наивно, все было порой невыносимо; большее русло студентов, как и всякой большей массы, становилось все более и более тем, чего от них ожидали. — "Я не хочу пить за студентов", — сказал один старый, ныне покойный профессор, когда 12 января ему предложили поднять бокал "за молодежь". Об этом рассказывали потом, и я не забуду, с каким уважением начали смотреть на него после этого случая очень многие из студентов. Раскол уже тогда и там начинался. Как теперь помню этого безукоризненного ученого в одном диспуте по палеонтологии: красавец доцент, очень речистый, на возражение невзрачного маленького старичка, ему официально оппонировавшего, сказал скромно и торжественно: "Но, позвольте, значит, вы незнакомы с последними замечаниями знаменитого венского ученого N.N.". Старик смутился и, кажется, ничего не мог возразить. Что же, на седьмом десятке лет, быть может больной, он и вправду не успел еще, может статься, разрезать последних книжек ученых изданий и, кажется, жалел об этом, считал это стыдным для себя. "Да позвольте", — вдруг поднялся рядом со стариком сидевший профессор и сразу все покрыл своею гигантской фигурою и голосом: — Мой достоуважаемый учитель" (и он обратился к смутившемуся старику, о котором я тут только узнал, что это был знаменитый ученый, сам объехавший всю Россию, еще когда доцентик не появлялся на свет), "мой достоуважаемый учитель говорит вовсе не то, и вы только пугаете дело своими ссылками..." — смял растерявшегося магистранта с его венскими профессорами и в крупных, резких штрихах показал, в чем суть дела и что этой сути даже не заметил опрятно одетый диспутант, все только разрезавший новые книжки и в глаза не видавший ни одного геологического разреза и никаких окаменелостей. Старшие профессора, обросшие седою щетиною, были невзрачны, неуклюжи, сгорблены под тяжестью трудов и лет; но в своих потрепанных вицмундирчиках они были удивительно как внутренне изящны, всегда просты, — это чувствовалось, — возвышены умом и сердцем. Совсем не то было в кружке "молодых профессоров".

V

Но печать этого не чувствовала, это старались от нас скрыть, как будто не мы записывали в аудиториях лекции и сидели на диспутах. Замечательно, что в последние годы старики, если не обязывала служба, перестали посещать диспуты — *не любопытно было*. Не очень любопытно стало даже и для нас. Я помню один диспут, *вдруг ярко вскрывший перед нами смысл текущего момента университетской науки*: предметом

диссертации служили отрывки речи какого-то греческого оратора, не политического, а судебного. Впрочем, содержания отрывков магистрант не касался. В разных *Venezianum B*, *Parisiensis A* были разночтения, и среди них попадались очевидные ошибки. Они могли быть просто ошибками переписчика. Начинающий ученый задавался вопросом, не были ли они ошибками не зрительными, а слуховыми: общий оригинал мог читаться одним писцом, а остальные записывали за ним и, расслышав слова, могли ошибаться в его начертании. Никогда не забуду, как перед диспутом магистрант в пространной речи объяснял об употребленном им при исследовании "индуктивном методе". Начался диспут; оказалось, что, хорошо выдержав метод, магистрант не выдержал хорошо корректуры и, где нужно было сослаться на *Venezianum B*, он сослался на *Venezianum A* и т. д. Произошла путаница, и единственная возможная цель диссертации не была достигнута. Несколько почетных гостей дремало на диспуте; студентов было мало за специальностью предмета. Зажгли уже огни, когда кончился диспут. Мы все вышли из аудитории с чувством стыда. "Кое-что о ничем" — так можно было бы озаглавить ученый труд по его внутреннему значению, и, однако, имя ученого, положение профессора было приобретено. Мне почему-то вспомнился при этом случай, как однажды молодой человек, готовившийся показывать перед публикой, как из одной курицы вдруг делается десять и яблоки невидимо перелетают из его рукава в карманы зрителей, предварительно, хотя по возвышению, объяснял нам, смеясь: "Конечно, господа, теперь наукою доказано, что в природе не существует чудес, и все, что вы увидите, основано просто на законах физики и оптики". И я вспоминал об "индуктивном методе", и уважении к нему начинающего филолога, и весь тот диспут в большой словесной аудитории. Не то же, конечно, но в этом роде. Все стало как-то очень обыкновенно, слишком просто; все стало ассимилироваться, терять очертания и внешние разграничения.

Помню, как однажды, по окончании лекции, сойдя на крыльцо, служившее курительной двух смежных факультетов, я увидел знакомого мне студента в чрезвычайном волнении. Это был один из серьезнейших молодых людей, каких мне удавалось знать в то время, и чрезвычайно нравственный. Будучи очень беден, он содержал (еще с гимназических годов) при себе старуху мать, которую перевез с собою и в университетский город. Несмотря на трудность положения, он никогда не обращался за стипендией и перебивался уроками. Поздоровавшись, я спросил его, что с ним? Он рассказал мне, как, толкуя на лекции какой-то старинный памятник, молодой профессор с особенною любовью стал останавливаться на неприличных выражениях в нем (в старину, по простоте, не пропускаемых) и все повторял одно название, посмеиваясь и поглядывая весело на аудиторию. Об этом профессоре я уже ранее и от многих слышал как об ужасающей бездарности, и он, очевидно, решил утилизировать неприличные слова, чтобы несколько оживить свои чтения. "Это нахальство, — рассказывал мне товарищ, — и, главное, видимая уверенность в нашем сочувствии ему до того меня возмутила, что, когда он вышел из аудитории, я, затворив дверь, предложил тотчас пойти всем курсом к ректору и попросить, чтобы от нас убрали этого профессора (чтоб он больше не читал лекций, соглаша-

ясь взять на себя выражение ходатайства” (что, конечно, было очень рискованно). Но студенты заколебались и, по идейной инерции, решили бросить все это, тем более что еще неизвестно, кого дадут взамен его, а не дадут, то и т. д.

В другой раз, на том же факультете, очень многолюдном и очень шумном, с лестницы спускался молодой профессор и за ним толпы шумно разговаривающих студентов. Совсем в углу, на повороте лестницы, я увидел товарища своего по гимназии, Б., с лицом, залитым краской, и как-то ужасно смущенным. Думая, что что-нибудь произошло на лекции, я обратился к нескольким студентам с вопросом, но они, махнув рукой и продолжая разговаривать, прошли мимо. Увидав Б., я обратился к нему, и он, все запинаясь, не сразу начал: ”Черт знает что такое! Этот NN, — он указал на пухленькую фигурку совсем юного лектора, — все пыжится изобразить из себя какого-то красного. Сегодня — лекция была о республике Платона — когда уже давно дали звонок, он вдруг вскакивает и, подняв руку, своим тоненьким пискливым голоском кричит: ”Господа! Государство, в котором *ultima ratio*¹ есть штык и нагайка, такое государство, господа, гибнет” — и бегом почти выбежал из аудитории. Мне стало до того стыдно — и не знаю чего: ведь не я сказал, и, кажется, черт бы с ним, но лучше бы провалиться, чем видеть его в эту минуту”. Все дело в том, что к кому идет. Все эти Бруты и Гармонии с обликом молодой купчихи были нам эстетически противны. Впрочем, на нашем факультете, по его крайне мирному характеру, подобных выходов не было, и он, вместе с физико-математическим, был самым серьезным в университете.

VI

Итак, что касается до идеализма в науке, то мы видели только закат его — последние прощальные лучи, которые бросала нашему времени уходящая в могилу старость. Эти лучи один за другим тухли, и наступала сырая холодная темь, сквозь которую можно было рассмотреть только какие-то скверно-вызывающие улыбки и куда-то зовущие объятия. Мы их оттолкнули: этого цинизма к науке в ее святилище мы не могли вынести. И потом за пределами университета был все тот же цинизм умственный. Строгой, печальной в своих выводах науки мы не находили и в текущих книгах. Нужно было обращаться к кожаным переплетам, к очень старым журналам, чтобы наконец хоть где-нибудь найти серьезную заинтересованность предметами, которые и нас интересовали, и серьезную речь о них. Приходилось следить и за текущими научными спорами². Истине засыпались глаза песком, ее пронизательного взгляда больше не выносили. Присмотревшись в университете, мы были уже несколько опытны в различении всего этого и хотя обычно молчали, но впечатления в нас оставались. Так далее и далее расходились мы со временем, которое нас вскормило и воспитывало.

¹ последний довод (*лат.*).

² Напр., спор о дарвинизме, долго тянувшийся в последние годы.

Один из видных публицистов старого лагеря горько сетует на нас. Он говорит о "пренебрежительном, высокомерном, вообще отрицательном отношении *детей* к лучшим заветам отцов". Наш отказ от "наследия 60-х годов" он называет "ничем не оправдываемым" (статья г. Н. Михайловского: "Литература и жизнь"; Русская мысль, 1891 г., июнь, стр. 144). Положа руку на сердце, может ли он сказать, что мы могли быть другими, вынеся с ранних годов все эти впечатления? И сам он, ясно, как мы, сознавая унижение науки ее служителями, не попытался ли бы вырвать у них по земле волокущееся зная и понести его хоть как-нибудь самому? Не встал ли бы он, *оставаясь таким же и только родясь в наше время* (то есть не будучи сам инициатором многих идей, естественно не могущим отнестись к ним "со стороны"), в ряды самых горячих борцов с поколением отживающим, в котором стоит теперь? Все мы, поколение за поколением, в самих себе не имеем значения: наше значение обуславливается лишь тем, как относимся мы к вечным идеалам, подле нас стоящим, которые с отдельными поколениями не исчезают. Сохраняет поколение верность им — и значение его не пропадает; изменяет оно этим идеалам — и его значение тотчас меркнет. В сфере умственной любить одну истину — это не есть ли идеал? В сфере нравственной — относиться ко всем равно, ни в каком человеке не переставать видеть человека — не есть ли для нас долг? И если мы видели, как опять и опять человек рассматривается только как средство, если мы с отвращением заметили, как таким же средством становится и сама истина, могли ли мы не отворотиться от поколения, которое все это сделало?

2. В чем главный недостаток "наследства 60—70-х годов"?

I

В одном рассказе мне пришлось, почти еще в детстве, прочесть, как в один незнакомый город вошли два путешественника. Побродив по улицам, они заметили, как толпы народа направляются все в одну сторону. Так как путешественники не имели никакой определенной цели, то, увлекаемые любопытством, и они пошли вслед за народом. Пройдя несколько улиц, искривленных и тесных, они увидели, наконец, площадь и на ней очень высокое и обширное здание, куда входил народ. С волнами его и путешественники вошли под своды этого здания. Из них один, очень деловитый, тотчас начал осматривать здание и, незаметно подвигаясь, чтобы не нарушить непонятной ему тишины, приближался ко всему, что поражало его сохранившеюся позолотой или казалось ему ценным камнем. Здание было удивительно велико, но вместе и очень старо, с потемневшею по стенам живописью и кое-где обвалившимися уже камнями. Он мысленно измерил высоту его стен и сообразил, сколько приблизительно строительного материала пошло на эти стены. Подивился и общему искусству в его постройке, потому что у себя на родине он не видел таких больших зданий, но все недоумевал, зачем

столько труда и денежных средств было употреблено на него, потому что очевидно здание было неудобно, как-то неуютно, и трудно было представить себе человека с такими потребностями и вкусом, которому оно понравилось бы. Все запомнив, все сосчитав и решительно не находя, что ему еще делать, он вышел из здания, только мельком взглянув на своего товарища, стоявшего в задумчивости и, очевидно, еще не расположенного выходить. Между тем другой путешественник, чем долее стоял, тем в большее впадал очарование. Ничего подобного не видал он у себя на родине, и созерцание общего, прежде чем рассмотреть что-нибудь подробно, охватывало его все сильнее и сильнее, так что он все боялся потерять точку, на которой он стоял, и не решался пошевеливаться, чтобы к чему-нибудь подойти. Он не понимал, почему его влекли эти причудливые изгибы линий в сводах, но ощущал, что какие-то всегда жившие в нем чувства, прежде не пробуждавшиеся, неудержимо поднимаются теперь, и он, всегда бывший, как и все люди, точно становится другим человеком. Он был неизмеримо серьезнее и несравненно чище теперь, нежели когда-нибудь. Вокруг него стояли толпы народа, все так же тихо и только по временам совершая какое-то движение. Вдруг слух его поразила тихая музыка, и очарование еще возросло. Музыка доходила до самой глубины его сердца, и он, грубый и легкомысленный, впервые понял, к каким нежным ощущениям был способен. По мере того как храм перед ним раскрывался, он перерождался (по лицам окружающих он догадался теперь, что это в самом деле было нечто вроде тех убогих молелен, куда по временам собирались бедняки его города). Прислушиваясь к музыке и все более очаровываясь, он заметил, что к нему доносятся какие-то голоса и даже что музыка сопровождает какое-то пение. Заинтересованный, он решился наконец оставить свое место и продвинуться дальше сквозь тесно стоящие толпы народа. Голоса стали внятнее, и он уже мог разобрать их смысл. Все, что он пережил раньше в своей душе, чего он не мог преодолеть в себе, подаваясь вихрю темных и мучительных ощущений, — он чувствовал, что все это в какой-то великой душе было преодолено, прояснено, и этот свет все победившей души выражался в смысле слышанных им слов. На все в душе своей он нашел в них ответ, какого не предполагал и который успокаивал. Вся его жизнь осветилась новым светом, и он понял, как много мрака было в этой жизни. Все более и более удивляясь, он понял, что, однако, не все слова относились к человеческому сердцу только. Много было совершенно неясных слов, говоривших о предметах вовсе ему не известных, и по тону пения можно было заметить, что эти слова были главные. Сколько он ни напрягал ума, чтобы понять их, это было выше его сил, и это тем более волновало и мучило его, что было ясно, как за разгадкой этих слов объяснится для него и все остальное. Между тем времени прошло уже много, необъятные массы народа вдруг зашевелились и, незаметно для него самого, вынесли его вон из-под темных сводов ставшего для него навсегда дорогим, непонятного здания. На одной из улиц он встретил своего скучающего товарища, который с изумлением спросил его, неужели он до сих пор пробыл в этой стареющей развалине, и что-то заговорил про материал, из которого она построена. Но другой путешественник ничего не слышал из его слов: он все думал о главных, непонятных ему словах и решился посвятить свою жизнь их разгадке.

Этот рассказ, помню, чрезвычайно поразил меня (в каком-то переводном французско-русском сборнике 20-х годов), и с тех пор всякий раз, как мне приходится мысленно оценивать различные исторические эпохи или присматриваться к своему времени, я всегда и все оцениваю в свете этого рассказа. Мы все приносим с собою, рождаясь, различное; мир открывается нам в меру того, что мы с собой приносим в этот мир. Поэтому, когда в данное время все идеи суживаются, горизонт становится тесен и люди как будто погружаются в какой-то глубокий колодезь, я думаю, что это только на время и со следующим поколением все станет видно иначе, чем теперь. Во всем дурном или ограниченном виновны всегда люди, а не природа, которая и безгранична, и всегда остается хороша.

II

Никак нельзя сказать, чтобы путешественник, первым вышедший из храма, видел в нем что-нибудь не так; или не то, что там было. Его глаз не делал никакой ошибки, и так же все его соображения, которые следовали за осмотром той или другой части, были правильны, неторопливы, соответствовали действительности. Но только *не всей они действительности соответствовали*: была неполнота в его наблюдениях, и только отчасти зависело от него, что он поторопился выйти. Главная причина заключалась в том, что он как-то вовсе не обратил внимания на общую компоновку частей и, рассмотрев порознь каждую из этих частей, был уверен, что видел уже и целое, конечно из них состоявшее. От него ускользнуло самое главное: эта общая бегучесть всех линий здания, пересекавшихся так, что у всякого, смотрящего на них, невольно пробуждались какие-то особенные чувства, не имевшие ничего общего с линиями, как геометрическими протяжениями. И в храме, им так подробно, детально изученном, он ничего не понял. Он не понял того замысла, который был некогда в него вложен, всеми ощущался непреодолимо и заставлял эти необозримые толпы народа, оставляя самые нужные дела свои, приходиться под его своды и, на минуту ощутив в себе могучую мысль, возвращаться с новыми и освеженными силами к своему труду, заботам и страданиям.

В поколении, которое сетует теперь, что оно оставляется, была эта же главная ошибка. Оно было хлопотливо, зорко, ежеминутно деятельно. Но в том, к чему оно прилагало свою деятельность, оно ничего не поняло. И вместо того чтобы своим неустанным трудом залечить наконец все раны, покрыть тысячелетние страдания — оно разбередило эти раны, увеличило эти страдания. Послышался, наконец, крик, почувствовалась ненависть — и люди, которые думали, что они станут для человечества как боги, стали только грудой черепков, с презрением отталкиваемых. В жизни, в природе человека, в окружающем его мироздании это поколение поняло только одни подробности и вовсе упустило то главное, что их связует, формирует в разбегающиеся группы и оживляет собой. Неполнота знания, при его верности; отсутствие в этом знании самых глубоких и значительных частей — это было самое важное, чего сходящее с исторической сцены поколение не заметило

в себе. И уже из этого, как вторичное, вытекла грубость всех чувств и отношений, в которой так часто и справедливо его упрекают. Все искажающая, все живое мучающая деятельность его была естественным завершением этого поверхностного внимания ко всему живому.

III

В человеке, со стороны должного, они поняли только его потребности; в жизни увидели только игру слепых отношений, которые не могут не улучшиться, если к их направлению будет приложено сознание; в целом мире заметили только протяжения, которые можно измерить, исчислить и, сообразив подробности, — понять остальное в нем, как их простую сумму. Во всем, к чему они обращались, они надеялись и хотели найти только соответствия другим сторонам своей природы. Те сухие, бледные формы человеческого существования, которые впервые были замечены и описаны Аристотелем, потом дополнены Бэконом, — эти формы, в самом существе человеческого задевающие лишь часть, — они думали, охватывают и части, и целое всего мироздания. Общих, разбегающихся и пересекающихся линий, которые бы открыли им главный смысл этого мироздания, они не заметили, все только *анализируя* его; напротив, себя самих и то, из чего складается их жизнь, они не поняли и не узнали до конца, все только *синтетически* слагая и перелагая жизнь человеческую по грубым потребностям человека. Эта неумелость отнеслась мыслью к предмету и была главным источником неполноты их знания. И в самом деле, категория мышления, правильно развивающихся понятий, есть едва ли единственная, по которой создана природа. В какие логические формы может быть уловлено чувство радости, которое мы порою испытываем?

И, однако, эти акты нашей душевной жизни суть такая же действительность, как и то, что мы видим или осязаем: они суть части природы, которую мы хотели бы постигнуть только своим умом. И в самой природе этой, которую мы надеемся охватить только научными формулами (то есть подвести всю под категорию мысли), — разве мы можем утверждать, что в ней нет ничего подобного этим актам, если именно ее продолжительное созерцание и смущает, и тревожит, и неизъяснимо волнует нас? Эти чувства, пробуждающиеся в нас в ответ на впечатления природы, чему в ней отвечают, когда мыслимое в ней только мыслится, опасное — угрожает, или, наконец, благотворное — приносит пользу? Не ясно ли, что если всякому ощущению есть соответственное ощущаемое, как следствию есть сообразная причина, то и те особенные, не укладывающиеся ни в какую форму мысли и волнения, которые всегда и всюду испытывали люди при созерцании мироздания и которые они выразили в своей поэзии, в своих религиях, *имеют также в самой природе нечто отвечающее себе*, хотя бы это отвечающее было так же мало уловимо для определения или даже просто выразимо в ясном слове, как, например, то, что выражено в мелодии, мало может быть передано в рассказе или изложено в рассуждении. Мы здесь коснулись одного соответствия, а между тем природа вся состоит из них, и ничто другое, как эти соответствия, не проливает такого света на ее

цельность. Опуская их из виду, занимаясь лишь изучением причин и их действий, целая школа мыслителей, и за ними наше старшее теперь поколение, лишили себя одного из самых могущественных средств проникновения в природу и даже простого знания множества ее подробностей. И в самом деле, из этих последних каждая есть только *часть* иного, и, как таковая, она полна бывает отражений в себе и этого иного, и других частей его. Нередко ни части эти, ни целое, в которое они входят, не бывают доступны прямому наблюдению, и между тем знание их важно и необходимо. Всматриваясь же, с чем могла бы быть в соответствии наблюдаемая нами часть, мы приблизительно, а иногда и точно, можем открыть и узнать и недостающее целое, и его остальные части.

Все сказанное яснее и убедительнее станет, если мы возьмем какой-нибудь пример. Так пусть перед нами находится какой-нибудь обрывок кривой линии. Всматриваясь в него, мы можем заметить, что кривизна его или правильно изменяется, или остается всюду одинаковой. В последнем случае мы умозаключаем, что он составляет дугу круга с определенным радиусом и определенным же центром. По обрывку, уцелевшему пред нами, всматриваясь в его кривизну, мы без труда находим и этот центр, и этот радиус и, наконец, отыскиваем полный круг, хотя все это более не наблюдается нами. Но это все *отражается* в искривлении той маленькой линии, которая одна теперь перед нами и которую мы поняли как *часть*. Таким образом, связность природы и ее цельность ни через что не может быть видима так удобно, как через это изучение в ней соответствий; только последние образуют собой *истинные*, хотя и не ощущаемые *границы всякой вещи и явления*, далеко престапующие их осязаемые, грубые границы, одни доступные грубому прямому наблюдению. Через эти именно, одной *мысли* открывающиеся, границы и происходит взаимодействие вещей, которые иначе в своих грубых формах лежали бы всегда неподвижно друг возле друга, толкаясь или давя одна другую и более неспособные ничего произвести. Два факта — химического сродства вещей и всемирного притяжения — именно здесь и находят себе хотя какое-нибудь объяснение. "Причина действует только там, где она есть", — повторяли схоластическую и, по-видимому, очень точную формулу при открытии Ньютоном его закона и не могли понять, каким образом одно тело, здесь находящееся, может действовать на другое тело, от него удаленное; причем границами предмета или явления, составляющего причину, считали его физические, внешние очертания. Но где границы обрывка линии, пред нами лежащей? Ясно, что, сверх тех точек, которые в ней еще не стерты, еще не успели исчезнуть, от нее идут другие, неощутимые ряды точек, которые, взяв карандаш и присматриваясь к сохранившемуся обрывку, мы безо всякого затруднения восстанавливаем около него — и линия в действительности оканчивается только там, где оканчивается круг, к которому она принадлежит. Подобным образом и во всемирном тяготении проявляется связанность всей вселенной, и взаимное действие в ней отдаленных друг от друга тел происходит потому, что они, как части в великом целом, все ощущают друг друга через те невидимые, неощутимые границы свои, которые далеко престапуют их геометрические очертания и могут быть открыты только уму. Так в обрывке дуги, пред нами лежащей, если бы мы стали медленно разгибать ее, — медленно же

удалялся бы от нее центр круга, к которому она принадлежит, и при ее окончательном выпрямлении отошел бы на бесконечность. А между тем, физически мы не коснулись бы этого центра и, заставляя отходить его, — вовсе бы его не видели.

Когда были открыты физические элементы, то, изучая их сродство, ученые думали вначале, что они влекутся друг к другу, потому что они одинаковы и их семейства схожи. Однако при детальном изучении каждого элемента порознь, они с удивлением заметили, что свойства влекущихся взаимно элементов скорее характеризуются отношением противоположности. Между тем в этом именно и лежит источник самого сродства. Нельзя представить себе, что природа составила из элементов, как самостоятельных, в себе самих замкнутых тел, которые от начала лежали друг возле друга, потом стали взаимодействовать и через это образовали все тела. Элементы суть продукты насильственного растворения тел, и эти последние вовсе не позднее их: они — их *первее* в том смысле, что, ранее, чем элементы появились изолированно, были уже тела, в которые они входили. И оттого с такою силою, иногда взрывом, элементы соединяются. Взрыв есть показатель того чрезвычайного усилия, которое теперь повторяется и было употреблено раньше, чтобы разделить влекущиеся вновь друг к другу элементы. Из них есть многие, которые, несмотря на все усилия анализа, долгие десятилетия оставались скрытыми для человека, то есть они не отщеплялись от тел и, только благодаря чрезвычайному напряжению, при помощи особых и в высшей степени искусственных средств, наконец были удалены из своего всегдашнего гнездилища и предстали пред человеком изолированно. Таким образом, химическое сродство есть то же, что частное сродство, и вытекает из всегдашнего взаимодействия в целом (теле) его частей (элементов). Отсюда разнородность всего влекущегося. Уже в простейшем примере, который мы взяли для объяснения этого явления, — в обрывке геометрической линии, эта линия связуется, восстанавливает около себя части не себе подобные, но от себя отличные: радиус, то есть совершенно прямую линию, и центр, то есть точку, находящуюся вне дуги окружности.

И, наконец, если бы кто-нибудь, продолжая сомневаться в сказанном, все-таки утверждал, что целое непременно составляется из своих частей, а не потом на них разлагается, тот мог бы быть поколеблен в своем мнении сосредоточением своего внимания на своем собственном теле: в той первоначальной, одиночной клеточке, из которой развился весь его организм, какая часть его тела была заложена? Не ясно ли, что эта клеточка не была ни костью, ни мускульным волокном, ни частию нервной ткани, ни вообще каким-нибудь элементом его тела, а именно им целым, которое потом разложилось на элементы? Хотя, повторяем, клетка была только одна и на всем протяжении однородна, она ни из чего не составила, но прямо отделилась от родительского организма. Итак, в этом примере мы с очевидностью наблюдаем, что целое может быть *первее* своих элементов, хотя несомненно состоит из них; подобным же образом, можно думать, от начала мироздания, при всяких высоких температурах, были только более и более разреженные пары воды, но вовсе не было отдельно друг возле друга лежавших элементов, которые, соединившись, образовали из себя воду.

В фигуре геометрической, как чистом протяжении, мы наблюдаем между частями только геометрическую связность; в телах физических эта связность есть и должна быть физической; последняя и выражается в *действии*. Дуга круга лишь указывает в своей кривизне на положение центра и длину радиуса; но восстановить их, по строгим указаниям дуги, можем лишь мы. Это потому, что протяженность есть лишь сфера физической возможности, есть условие, при котором все предметы и явления только *могут* существовать; но действительность начинается лишь там, где протяженность наполняется протяжимым, т. е. веществом. Там, где оно уже появляется, не нужна рука постороннего существа, чтобы указываемое осуществить, намеченные точки наполнить каким-нибудь оттеняющим их веществом. Здесь указание заменяется осуществлением, намечивание — действительным восстановлением около себя целого. Когда химический элемент с силою притягивает к себе недостающие ему (до целого тела) другие элементы, располагает их около себя и получается цельное тело — пред глазами наблюдателя происходит то же явление, как если б из середины дуги, пред ним лежащей, вытянулась линия и, остановившись на известном расстоянии от этой дуги, из точки своей остановки, повторилась по всем направлениям бесчисленное число раз, с каждым разом прибавляя свою окончательностью новую точку к прежней дуге, пока она не сомкнулась бы в полный круг. Природа в наблюдаемых формах своих подобна множеству таких обрывков геометрических линий, которые, по-видимому, изолированы, но в действительности все сцеплены между собой и взаимодействуют чрез не наблюдаемые, только мыслимые добавления себя до целого. Здесь и лежит источник физических сил. Их разнородность, их численность зависит от того, что разнородны и многочисленны самые соответствия, в которых находятся между собой части вселенной. Но что все они вытекают из одного какого-то источника, имеют в своем основании какую-то одну особенность в сложении всей природы, — это видно из того, как все-таки много одинакового в проявлениях самых разнородных сил.

IV

Человек, как часть природы, не составляет в этом отношении исключения; но, вместо бедных и однообразных соответствий, которые связывают каждый физический предмет с окружающей средой, соответствия человеческой природы со всем миром и многочисленны, и разнородны. Как организм, как ряд сгруппированных веществ, он соотносится со всеми физическими стихиями природы. Но, сверх этого грубого соотношения, мы находим в нем другое, неизмеримо более глубокое: в его душу как бы вложены завитки всего мироздания и, повинувшись их естественному расположению, он влечется так своим умом и своим чувством ко всему же мирозданию — воссоздает его в поэзии, понимает чрез науки и философию, стремится разгадать его сокровенную сущность в своих религиях. Нет ничего в природе, не исключая самых тонких и неуловимых ее изгибов, что, так или иначе, не находило бы доступа в человека: и это значит, что в нем самом уже есть предчувствие,

предугадывание всего, что лежит в природе. По справедливости, отношение его к ней не только сходно, но и во всей строгости повторяет собою отношение к многолетнему ветхому дереву плода, который наконец вызрел на нем и упал на землю: в скрытой возможности, в законах и силах своего роста, этот плод заключает все, что есть и в дереве, — все элементы его, и все законы и силы, и подобную же жизнь. Мир духовного творчества, вырастающий из человека, есть только последствие этого отношения его к природе.

Понять это особенное существо, и притом будучи им самим, так плоско и бедно, как понять был человек людьми нашего старшего поколения, — это есть одно из самых удивительных явлений истории. Как будто люди эти никогда не задумывались ни над мыслью своею, ни над движениями своего сердца, ни, наконец, над своим рождением и ожидавшею их смертью. Это были дети, которые, найдя в поле яблоко, поняли только то, что его можно съесть; какие-то трудолюбивые муравьи, которые, со всех сторон таща к себе былинки и все, что облетало с природы и было еще прекрасно, знали только одно, что из всего этого можно построить их муравейник. Страшная бедность мысли, отсутствие какой бы то ни было вдумчивости — вот что сильнее всего поражает нас в этом поколении, одном из самых жалких и скудно одаренных в истории. Не беспричинна была и какая-то странная недолговечность его, и это отсутствие хотя бы одного гениального дарования на всем его протяжении, и какое-то органическое отвращение, которое вызывало к нему богато одаренное поколение 40—50-х годов¹. С непоколебимостью детей, съедающих яблоко, с твердостью муравья, который, не развлекаясь никакою мыслью, дырявит живое зерно, чтобы положить его в свою кучу, и эти люди перерывали все естественные отношения в сложившейся по глубоким законам жизни, чтобы воздвигнуть среди этой жизни свою кучу-жилщце. Так как в богатой, многообразной и могучей действительности, выросшей из истории, не было и тени подобия их бедной и искусственной постройки, то естественно им казалось, что они "строятся в пустыне"². Как к песку пустыни, который лепится с глиной в кирпичи и кладется то в основание, то в вершину здания, — они относились к живым людям. И себя не жалели они при этой постройке, лепились, надрывались и падали, как муравьи; не жалели также и других людей, вовсе не знавших, что у них делается. Отсюда — вся боль, которую вызвала эта деятельность. Повторяем, не грубость чувства, но ошибка узкого ума есть главное, что причинило все пережитые нами недавно несчастья. Напрасно окружающие люди говорили, что они вовсе не тем живут, что приписывают им "строители", напрасно о том же говорила им вся история — они слышали все это, но ничего в этом не поняли. Им все казалось, что они лучше всех других узнали

¹ Тургенев, который, даже и в последние годы, не всегда мог скрыть это чувство (см. его переписку); Достоевский — во всех своих произведениях; Л. Толстой в отношении к сожалеемой им, но лишь в ее уродстве, фигуре Николая Левина; наконец, Гончаров в лице Марка Волохова. Только само это поколение как прежде, так и теперь всегда восхищалось собой.

² Выражение г. Н. Михайловского, поддерживаемое и "Вестником Европы" (см. 1891 г., май, статья "Писатель 60-х годов").

человеческую природу, хотя в действительности они только беднее всех ее поняли. Они взяли *minimum* человеческих потребностей и по этому *minimum*'у, с ним сообразуясь, стали возводить здание, которое для них самих было бы тесно и узко (если б им пришлось в нем пожить подольше) и куда они хотели бы навеки заключить все человечество. Эта мечта лишенной воображения мысли стала их инстинктом, нормой их деятельности и мышления. Все, что выходило за ее узкие пределы или что ей противоречило, они считали как бы за призрак Майи, который нужно разорвать, уничтожить, дабы прозреть чрез него в действительность. Народы, тысячелетия, их борьба и страдания — все это было для них менее ощутимо и убедительно, нежели то чувство страшной боли, которое поднималось в их бедном уме всякий раз, как только пытались пошевелить в нем как-нибудь не так овладевшую им идею. Здесь, в этой душевной скудости, и заключалось главное зло, которое могло перестать исказить историю лишь тогда, когда ее вечно растущий ствол покроется новым налетом листьев.

V

И эта смена зеленого убора снова совершается. Напрасны жалобы и сетования опадающих листьев: им не повернуть солнца на зиму. На себе самих, на своей судьбе, хотя бы в последние минуты своего трепетания, они могли бы понять сколько-нибудь ту природу, в которой выросли и на которую никогда не хотели раскрыть глаз.

Мы снова обратимся к сравнению, которым начали эту статью. В храме, в который вошли два путешественника-друга, было для них обоих открыто одно и то же; но увидели в нем они различное, и на этом увиденном и понятом они разошлись навеки. Кто из них был более прав? Тот, кто посмотрел полнее. Ведь и второй путешественник, так долго простоявший в задумчивости среди храма, видел в нем все, что видел и первый, — и высоту стен, и материал, из которого они выстроены, и его приблизительную стоимость; но это было не все, что он увидел здесь. По причинам, за которые ему нужно было благодарить природу-мать, его глазу дана была восприимчивость к гармонии красок и линий, а его слуху — восприимчивость к сочетаниям звуков. Не только шум и не простые переливы зеленого и синего цветов различил он, стоя здесь, но понял выразительную музыку и исполненную смысла живопись и архитектонику частей. Что было делать ему, если его бедному другу не дано было различить всего этого: он не мог выйти вслед за ним. И между тем, когда они снова встретились на улице, ему было чрезвычайно трудно что-нибудь объяснить этому другу. Здесь сказалось простое несоответствие задатков, которые от начала были вложены в их души. Если б он указал ему на сводчатые линии колонн, замыкавшихся в купол, его друг ответил бы, что эти колонны действительно сводчаты и что наверху купол; но что было дальше объяснять ему и как объяснять? Чувство, выраженное линиями здания или красками картины, прошедшее когда-то через душу мастера и вновь пробуждающееся потом во всяком, кто *умеет* смотреть на его создание, — вот чего невозможно передать другому.

Кстати, в этом явлении, столь непонятном одному и понятном другому, удивительным образом отражается общий смысл двух мировоззрений, из которых одно теперь становится на место другого. Мы уже сказали, что грубость мысли, способной лишь к поверхностным наблюдениям и заключениям, была главным недостатком людей 60—70-х годов и что последствием этого недостатка была неверность их воззрений как на окружающую природу, так и на самого человека. В частности, что касается последнего, он считался этим поколением простым продолжением физической природы, наиболее сложную комбинацией ее элементов и сил. Его дух, его идеи и верования, его стремления в истории — все это считалось только производным от его физических данных *на основании того, что с изменением этих данных всегда наступало изменение психической деятельности*. Но вот пред нами нарисованный образ, и всякий раз, когда мы на него смотрим, в нас пробуждается чувство неопределенной грусти. Это чувство, нам передающееся от картины и уже в ней заключенное, есть по отношению к краскам, которыми она нарисована, то же, что душа в человеке по отношению к телу, в организации которого она выражена. Это — слабая, мерцающая тень, которая в своем отражении верно показывает взаимные границы двух связанных существ, на которые взглянуть прямо нам никогда не суждено. И в самом деле, не изменяется ли чувство, выраженное в нарисованном образе, всякий раз, как только изменяется в нем какое-нибудь расположение красок? Вот кто-нибудь берет кисть и подходит к нему: по мере того как кисть снимает что-нибудь в краске или сдвигает прежде разделенные линии — непонятным образом чувство, прежде проникавшее картину, начинает померкнуть и померкнуть, оно становится менее отчетливо, труднее воспринимается смотрящим и, когда перемещение красок делается значительным, — пропадает окончательно. Мы имеем перед собой краски — те же, какие и были, — но иначе размещенные, из которых совершенно исчезло то, что прежде светилось сквозь них и так привлекало и волновало каждого. Теперь они могут быть размещены как угодно, никакой принудительной необходимости в их расположении нет: это — только безжизненное вещество, свободно движущееся туда и сюда. Но прежде они были связаны в своем расположении. Что их связывало? Чувство, прошедшее некогда по душе неизвестного мастера, которое он захотел выразить, и для этого собрал и расположил краски ему известным, определенным способом. Именно это чувство — *акт живой человеческой души* — необъяснимо завязалось в вещества, которые, по-видимому, только известным образом поглощают и отражают лучи спектра. Есть ли этот психический акт только последствие, вытекающее из размещения красок? Нет, он по времени предшествовал этому размещению, и никогда бы не произошло последнего, если бы не было нужды закрепить этот акт. Куда же исчезает он, когда картина погибла? В гибели ее, в стирании красок мы видим обратное геометрическое передвижение веществ, некогда сдвинутых для восприятия психического акта, который предшествовал этому движению. Там, мы знаем, этим сдвижением не был создан психический акт, — и он не мог исчезнуть *здесь* — в обратном перемещении красок, он просто стал неощутим, не выражен более. Но в душе, одно движение которой он составил когда-то, он запомнен и продолжает быть. Здесь,

в этом явлении, каждая черта которого нам известна и понятна, мы с очевидностью наблюдаем, как самая тесная обусловленность двух существ совершенно соединима с их полной разнородностью, и также видим, как появление и исчезновение пред нами одного существа в зависимости от изменения другого есть только обнаружение и скрывание того, что в действительности было прежде этого обнаружения и всегда после него останется. Простая ошибка в умозаключении была причиной, что мир поэзии, религии и нравственности остался непонятым и навсегда закрытым для поколения, которое должно бы сетовать на себя только, а между тем сетует на других.

3. Европейская культура и наше к ней отношение

I

В июньской и июльской книжках "Вестника Европы" за 1891 г. рубрика "Из общественной хроники", всегда наиболее живо отражающая текущие интересы журнала, посвящена обсуждению и осуждению разных замечаний, высказанных в последнее время нашими публицистами относительно западноевропейской цивилизации.

"Запад гниет, запад разлагается" — такова была, говорит почтенный журнал, пятьдесят лет назад одна из любимых формул только что зарождавшегося славянофильства. *Теперь славянофильство как организованное целое более не существует. Его основатели давно сошли со сцены; исчезли и непосредственные их преемники, поддерживавшие так или иначе первоначальные традиции школы; остались только кое-какие обрывки некогда стройного учения, повторяемые другими людьми, в другом тоне и с другою целью.* Уцелела в этом смысле и формула, приведенная нами выше. По-прежнему чувствуется в ней *высокомерное отношение к "чужим" и "чужому"*, по-прежнему слышится *благодарность судьбе, сделавшей нас иными — лучшими*, более сильными и свежими, чем наши "ближние" (июнь, 1891 год, стр. 882).

В этом отрывке, как в крошечном лоскутке огромного покрывала, которым вот уже несколько десятилетий писатели враждебного лагеря селятся задернуть от общественного внимания славянофильскую теорию, ясно можно видеть истинную причину постоянной безуспешности подобных усилий: в сфере мысли можно бороться только мыслью, но ничего нельзя сделать словами, как бы много их не было набрано. И в самом деле, в приведенной тираде все слова стоят как-то врозь, едва цепляясь друг за друга грамматически и совершенно не удерживаясь в какой бы то ни было логической связи: какое отношение между смертью основателей славянофильства и их непосредственных преемников и самую теорией, ими завещанной? Кто и когда "организовал" славянофильство и что вообще могут означать слова "организованное славянофильство"? Но написавшему все эти непонятные выражения кажется, что в них есть какая-то убедительность, и в неприятном учении он уже видит "обрывки".

В том и заключается сила славянофильства, что, будучи идеей многих избранных умов и имея против себя всю огромную массу образованного общества, оно всегда критически относилось к своему содержанию, постоянно пополняло его и очищало. Отсюда такая органичность в развитии этого учения, постоянный преемственный рост, какого и тени мы не находим в учении "западников", и до сих пор все повторяющих общие места, встречавшиеся уже у Белинского и его современников¹. На какой труд, подобный, например, "России и Европе" покойного Н. Я. Данилевского, по сложности, по системе развиваемой мысли, могут указать "западники" в своем лагере? Где у них эта страстность и чистота убежденности, какие есть у Константина Аксакова? Эта прелесть и сила речи, которою, независимо от всякого содержания, мы любуемся невольно в "Национальной политике" и других многочисленных статьях К. Леонтьева? Поистине, силою и разнообразием дарований, богатством и сложностью мысли, высоким уважением к Европе и страстною любовью к своей родине славянофилы так ярко выделяются на тусклом фоне нашего общества, что, как бы ни было многочисленно последнее, раньше или позже ему придется только преклониться перед этими избранными натурами, которые оно из себя выделило. В этом ряду мыслителей, художников и поэтов, соединенных между собою единством воззрений и симпатий, мы находим такую твердость убеждения и силу преданности, о которую всегда разобьется всякий праздный смех, к какому уже с самого раннего времени стали прибегать их противники. Выказанное впервые И. Киреевским, развитое и углубленное Хомяковым, возведенное в систему Н. Я. Данилевским, учение это продолжает развиваться и до сих пор. В замечательных трудах К. Леонтьева мы видим последнюю трансформацию этого учения, и если бы западническая критика не ограничивалась повторением общих мест, если б она действительно имела силы бороться — она давно подвергла бы систематическому обсуждению идеи, высказанные последним в книге "Восток, Россия и Славянство" или в брошюре "Национальная политика как орудие всемирной революции". Мысль, кажется, заслуживает того, чтобы к ней отнеслись с мыслью. "Я праздновал бы великий праздник радости, если бы кто-нибудь несомненными доводами убедил меня, что я заблуждаюсь", — сказал этот писатель в одном из своих трудов; и неужели это сознание своего бессилия отказаться от того, что, быть может, составляет мучение жизни и, однако, истинно, — не в состоянии пробудить в окружающих людях интереса к этим особенным и печальным мыслям очевидно сильного ума и честного сердца?

Но если таково отношение к живой мысли в недрах самой литературы, то не утрачивает ли эта литература всякое право на какое-нибудь особенное уважение общества, руководить которым, однако, берется? "Спор выясняет истину", — повторяется в печати постоянно, и этим она высказывает требование для себя свободы и влияния. Но вот истина высказана: она ярка и значительна; но только потому, что она вместе и неприятна, она завлакивается от общества молчанием и погибает под

¹ Вообще в развитии "западнического" учения нет ни преемственности, ни роста, и это выражается в простом факте, что история его не написана и не может быть написана. Напротив, история славянофильской теории существует.

тяжестью голосов, сегодня интересующихся одним, завтра другим — без которых, быть может, эта важная истина была бы услышана обществом и обдумана. В частности, "Вестник Европы", который вот уже четверть века держит среди нашего общества знамя западноевропейской культуры, если бы он хоть сколько-нибудь понимал обязанности, вытекающие из положения, занятого им в литературе, — давно и первый заговорил бы он об этих идеях, столь глубоко и тревожно осуждающих судьбы проповедуемой им культуры. Не может же орган печати, если только он действительно серьезен, упустить повод обстоятельно высказать свои взгляды, когда сильный соперник вызывает его на сильный отпор? Но вот, по предмету, где он должен был высказываться, он ограничивается остроумием и, вместо этого, на десятках страниц излагает книги, которые могли бы быть изложены во всяком другом журнале, теперь, или после, или даже никогда — все равно. Покойный Шелгунов или г. Скабичевский, может быть, добрые люди и очень усердные писатели; но к идейному содержанию нашего общества, насколько оно уже высказано, и гораздо лучше, другими людьми, они не прибавили ничего. Итак, их можно оставлять, как высказывающих, быть может, верные мысли, в покое; но что же в их мнениях излагать?

II

Мы заметили выше об органичности, которой отличается развитие славянофильской теории. И действительно, все ее отдельные элементы являлись сначала в форме догадок, предчувствий, необоснованных воззрений и требований, и только потом, путем нового движения мысли, все это слагалось в твердые члены связной системы. Можно сказать, что славянофильство не изобретено, не придумано, но философски открыто: до такой степени оно соответствует текущей действительности и истории — так оно оригинально, настолько преобладают в нем начала научного объяснения над догматическим требованием. Частный случай, о котором мы заговорили, как нельзя лучше подтверждает общую истину. Недоверие к западному прогрессу, слова о "гниении" Запада действительно уже много десятилетий не сходят с уст славянофилов. Но одно указание на недостаток в Европе некоторых свежих и здоровых чувств, какие сохранились у нашего народа, или даже указание на резкую ложность и несправедливость многих распространенных там понятий и учреждений, конечно, не было бы еще подтверждением столь общей мысли, что западная культура, в ее *целом*, падает или что прогресс *вообще* есть зло. Истинный взгляд на все подобные указания должен быть тот, что они выражали бессильное желание чем-нибудь подтвердить смутное и, однако, очень сильное предвидение, чувство. Это были вопли Кассандры, совершенно лишенной каких-нибудь средств убедить тех, кто над нею смеялся. Но вот прошли десятилетия, и вопли оправдываются, а из смеявшихся еще смеется только тот, кто уже совершенно ничего не понимает и ничего не способен видеть.

В лагере прежних славянофилов, если б услышан был человек, говорящий, что две-три проигранные битвы, которые заставили бы нас

навсегда отречься от западных славян, были бы очень дешевой ценой, какой мы могли бы купить это драгоценное для нас отречение, — в лагере ранних славянофилов этот человек, вероятно, был бы сочтен величайшим врагом Славянства и противником всей славянофильской партии; и, однако, так велико богатство внутренних задатков этой теории, что именно К. Леонтьев является одним из самых глубоких исполнителей славянофильской идеи. Политическая сторона этой идеи, над которою так много работал И. С. Аксаков, о которой шумели в свое время д-р Ригер и множество других, — все это осело, как пыль, пред истинно великою задачей: *продлить культурное существование человечества чрез отсечение славянского мира от очевидно разлагающейся культуры Западной Европы*. Если у человечества в его целом, у культуры, у цивилизации, у истории просвещения был когда-нибудь друг, борющийся за все это, не жалея своего имени, своих сил, произнося в минуты отчаяния самые безумные о них слова, способные покрыть произнесшего только позором, то это — мало известный, пройденный у нас молчанием писатель, труды которого мы только что упомянули. Он нашел объективные признаки *всякого* разложения и *всякого* развития и, приложив их к западноевропейскому социальному строю, — по ним определил его несомненное падение. Отринув показание субъективного чувства, которое у каждого человека изменяется сообразно темпераменту, воспитанию и окружающей среде, он чрез это одно поднялся над всеми партиями и стал на высоте наблюдателя-мыслителя. С этой высоты он открыл, что как в природе, так и в истории человечества *процессы развития имеют одно течение*: восхождение от первоначальной простоты, слитности — к многообразию форм, в одно и то же время отдельных и связанных прочно единством общего типа; далее, непродолжительное стояние на высшей точке этого многообразия форм и, наконец, падение вниз, вторичное и более быстрое нисхождение к прежней слитности, однообразию всех частей. Племя, в котором возникает государственная организация, появляются сословия, расцветает религиозный культ, военные подвиги, наконец поэзия и философия, — вот пример восходящего развития; минеральная масса, слагающаяся в определенные грани, не переступаемые ни для одной частицы вещества, замкнутая в строгой геометрической форме, — вот еще восходящее развитие; наконец, сюда же относится последовательное образование из туманного звездного пятна центрального светила и системы планет, распадение каждой из них на атмосферу, воду и сушу и выделение последней над водой в форме материков. Всюду, куда бы ни обратили мы взгляд, будут ли то космические массы, наша земля и населяющие ее организмы, наконец человеческий дух и его история, — везде восхождение жизни, повышение развития сопровождается *распадением прежде слитной массы на своеобразные и обособленные части*. И, напротив, все в природе, разлагаясь, проходит чрез процесс вторичного смещения частей и упрощения всего своего сложения: в гниющем трупe границы органов смешиваются, жидкости разливаются по всему телу, все становится однородною массой, которая, разложившись на свои элементы, сливается, наконец, с окружающей физической природой; также утрачивает свои грани и твердые углы расплывающийся кристалл, который готов исчезнуть в растворяющей его жидкости; и в солнечной системе, если бы каким-нибудь образом ослабли законы,

принудительно удерживающие каждую планету в своей орбите, вскоре бы наступили хаос и смешение, и простая груда однообразных развалин заменила бы сложный, цветущий разнообразием мир. Наконец, государство, умерев, оставляет на своем месте неустроенную этнографическую массу, столь же простую, лишенную внутренней морфологии, как и та, которая предшествовала его возникновению. Итак, сложность внутреннего содержания есть показатель внешней крепости и общего жизненного напряжения во всем, что существует; напротив, возвращение к простоте, начинающееся смешение элементов есть симптом умирания.

Возможно ли сомневаться, что все это действительно так? И неужели раздражение страстей в борющихся теперь партиях так велико, что в самом деле наступило время, предвиденное одним политиком, когда аксиомы геометрии будут оспариваться, раз это потребуется для собственной победы и для того, чтобы не сдать правому, но ненавидимому противнику?

III

С конца прошлого века события истории развиваются так быстро, что в самом деле трудно не растеряться, следя за ними. Европа конца XIX века не имеет ничего общего с тою, в которой готова была разыгаться французская революция. К. Леонтьев первый указал истинную и самую *общую* точку зрения на эту революцию с той бесстрастной высоты, где уже нельзя различить отдельных голосов и партийных интересов, где течение истории представляется лишь как ряд восходящих и нисходящих биологических процессов; он усмотрел впервые тот окончательный результат, к которому со времени этой революции направляются все дела Европы: уравнивание классов и слияние этих государств в компактную массу европейского человечества — с ослаблением и потом уничтожением какой-либо организации внутри. Личность и человечество, как некогда атом и вселенная, остаются единственными целями исторического процесса, который уже открылся. С достижением их человечество будет так же дезорганизовано, так же стихийно и первобытно, как и тогда, когда история только еще готовилась зародиться, — с тою разницею, однако, что тогда оно носило в себе задатки для такового зарождения, теперь же будет пусто от них. И в самом деле, как горизонтальное (по сословиям), так и вертикальное (по провинциям) расслоение наций уже повсюду исчезло в Европе, и личность движется в ней свободно, соотносясь только с государством, к которому она принадлежит. Права гражданина, равные для всякого и везде, суть единственные еще остающиеся связи в государстве, где все индивидуальное, особенное, своеобразное, блекнет и исчезает, не терпимое более никем. Эта нетерпимость, это всеобщее отвращение к *особенному* в правах, в обязанностях, даже просто в характере, есть только показатель неудержимого уклона истории, по которому текут желания всех людей, по-видимому личного происхождения. Одно государство, повторяющееся в типе всех остальных, и одна личность, воспроизведенная в миллионах подобных, — это

есть историческая задача времени, успешно осуществляемая партиями, повсюду наиболее могущественными. У К. Леонтьева опущено одно наблюдение, которым он также мог бы подтвердить свою мысль: границы государств уже не имеют теперь той твердости — они не так резко разделяют политические тела, как прежде. Той абсолютной автономности каждого государства от системы всех остальных, той особенной неприкосновенности границ, в силу которой они некогда были непереступаемы для чужой воли, — всего этого уже нет более. Политические границы, как и административные (между провинциями), — вовсе уже не грани расчлененной народной жизни, а скорее простое ландкартное деление. Их обозначает пунктир на бумаге, но не народное чувство и даже не народные интересы. Громадное множество международных обществ, международные же конвенции, всемирные рабочие союзы, наконец, рельсовые пути и согласованные тарифы — все это похоже на стальную паутину, которая крепнет с каждым днем и все более и более соединяет прежде разнородные нации в одну слитную массу, части которой скоро будут неразличимы. В самом характере главной власти, которой резче всего обозначается автономность государств и народов, произошла сильная и, к удивлению, незамечаемая перемена: король — это не полководец больше, не герой и не святыня своего народа, олицетворяющий в своей воле, в своих дарах и даже в капризах *полную* личность своего народа с его умом и страстями. Это — только главный администратор в стране, который платится, как и все другие, когда действует неумело. Об его личности, об его пороках или добродетелях не слагаются более легенды, и все это даже мало интересно: интересно содержание деловых бумаг, которые текут от него в большем обилии, нежели от кого-нибудь другого в государстве. Таким образом, и здесь даже сказывается общий процесс истории: все обезличивается, все принижается и смешивается — “все умирает”, говорит К. Леонтьев. И что же можем мы возразить против всего этого? Но если так, то все наше отношение к *прогрессу* меняется, и отношение к западной культуре делается невольно исполненным опасений. Пусть она величественна, пусть она исполнена мудрости: это не имеет ничего общего с разложением, которому подлежит и всякое величие, и все мудрое. Колоссальный организм, загнивая, дает только более удушливые миазмы, и все живое должно, избегая смерти через заражение, сторониться от него. Повторяем: только прочитав многочисленные статьи К. Леонтьева, освещающие с разных сторон, на разных частных предметах, все одну и ту же истину — *одну и главную в наше время*, — впервые начинаешь понимать грозный смысл всех мелких, не тревожащих никого, микроскопических явлений действительности: там вскроется пузырек, там ослабеет ткань, и, кажется, колосс всемирной культуры еще неподвижен, а между тем с ним совершается самое важное, что когда-либо совершалось. Когда он дрожал, в прежние века, под напором турок или арабов — это было склонение молодого организма под напором ветра, дувшего со стороны; теперь вихри ему не страшны, да и как-то странно они совсем замолкли. Только удушливый зной стоит кругом; и будем ли мы бросать камни в того, кто первый, знаяв в себя воздух, сказал нам, почему в самом деле атмосфера так удушлива?

"Вестник Европы" ничего этого не понимает: ему все мерещатся дворянские захваты, и, на страже европейской цивилизации, он считает долгом для себя их оспаривать; он борется, он напрягает силы, он недаром "журнал политики". Он не знает, что со своею бедною "политикою" он только маленький гноящийся пузырек, вскочивший на точке соприкосновения здорового организма с большим. Но, кто это поймет, конечно, не будет его оспаривать: наивность, как и все другое, должна же в чем-нибудь выражаться. Нигде, ни в исторических, ни в политических созерцаниях своих маститый журнал не возвысился над плохими учебниками, где объясняется, что "за временами преуспеваний" следуют "времена упадка" и энергическое движение вперед вызывает потом "реакцию". Приложить эти заученные параграфы к живой и текучей жизни — вот все, что он может.

Но истинною русскою мыслью в ее новых явлениях руководит впервые столь яркое и столь несомненное сознание *положения своего народа в истории*. Нет при этом никакой враждебности к Европе: есть простое сознание того особенного фазиса, через который проходит ее жизнь. Это сознание есть результат того, что оставлено прежнее скользкое к ней отношение, это жалкое восхищение ее техническими выдумками, ее "усовершенствованиями" и всем внешним блеском, богатством и могуществом. Не этим живет человек, и не этим движутся, крепнут и сохраняются в истории народы. Не этим жила и Европа, когда она возрастала. Ее текущему фазису, какому-нибудь полустолетию, противопоставляются пятнадцать веков ее же истории. Странные минуты, в самом деле, переживает она: столько создать, столько накопить, так долго и страстно любить это накопленное и, на исходе пятнадцатого века своего существования, — вдруг забыть цену всего и начать разбивать столь бережно сохраненное. Что же: будет ли проявлением любви и уважения, если и мы, вслед за ослепнувшим безумцем, будем раздирать на части его сокровища, поджигать его ветхий дом и плясать скверный танец на развалинах прошлого счастья и величия? Так мог бы поступить раб, но не друг. И истинное уважение наше к Европе выразится именно в том, что — унося ее неоцененные сокровища к себе, на них воспитываясь и развиваясь, чтобы стать со временем хоть сколько-нибудь достойным приемником ее в истории, — мы совершенно и окончательно отвернемся от того, что она сделала за последнее время и еще готовится сделать, и, сколько будет в наших силах, смягчим те удары, которые она порывает, по-видимому, наносить самой себе. В прекрасных воспоминаниях покойного Буслаева рассказывается один интересный случай: гр. Строганов, с семьей которого он путешествовал, недовольный его совершенным неведением текущих политических событий, дал ему однажды, для ознакомления с ними, прочесть номер "Аугсбургской Газеты". Но, несмотря на все усилия, юный энтузиаст Европы ничего не мог понять в нем — все события и лица, о которых говорилось в газете, были ему вовсе не известны и, главное, совершенно неинтересны. И, между тем, он изучал в это же время Тасса и Данта на острове Иския и даже одного итальянца познакомил с "Декамероном".

Что же: приехав на родину, он менее в ней послужил Европе и менее любил ее, нежели, например, г. Евг. Утин или г. Арсеньев, которые уж верно умеют читать газеты? Этим примером и этим сравнением мы все сказали.

4. Два исхода

I

Для поколения 80-х и 90-х годов, так непреодолимо разошедшегося со своими "отцами", открываются два пути: или, поняв, как недостаточно просвещение предыдущего поколения, стремиться заменить его просвещением более глубоким и развитым; или, напротив, приняв его за ряд непоколебимых выводов рассудка и, все-таки чувствуя, как выводы эти противоречат всем остальным сторонам человеческой природы, неясным и, однако же, вечным и глубоким, — довериться этим последним и насильственно ограничить свой разум. Этот второй исход, не сформулированный и все-таки ясный, невольно чувствуется в том движении, которое примыкает к последним произведениям нашего знаменитого художника, а теперь проповедника новых начал жизни, гр. Л. Н. Толстого¹.

Есть что-то похожее на секту в том кружке людей, который рассеян теперь повсюду в России и главным интересом для которого служит проведение в личную свою жизнь идей великого романиста. Много было высказано в последние годы по поводу этих идей; но высказанное было, по преимуществу, или критикой их и опровержением, или, напротив, горячею их защитой. Но среди споров, в разгаре борьбы ни разу не было указано на историческое положение всей этой ветви нашего общественного развития, и также забыта была его исходная точка. Уже почти двадцать лет тому назад впервые разнеслись в обществе неясные слухи о какой-то "исповеди" знаменитого романиста, где он рассказывает историю своих внутренних тревог и исканий и излагает воззрения на человеческую жизнь, которыми заключились эти искания. Вскоре появился, хотя и ненапечатанный, текст самой исповеди, который с жадным любопытством читался всеми. Однако, помимо любопытства, во многих возбудилось тогда и радостное чувство: человек признанной духовной силы вращался в сфере интересов и вопросов, в которых вращались по разным углам уже очень многие в то время, никогда не решаясь, однако,

¹ Первым и очень ярким выражением этого движения нужно считать появление критического этюда покойного Громеки "Последние произведения графа Л. Н. Толстого". Основная идея этого этюда состоит именно в доказательстве *недостаточности рассудочного мировоззрения*, но не в смысле его логической слабости, а по противоречию другим основным сторонам человеческой природы. Как это ни странно покажется, но до появления этого разбора смысл "Анны Карениной" для огромных масс читающего общества был не очень ясен, даже просто — *незначителен*; в последнем усилилась и успела убедить многих тогдашняя критика — не яркая, но обильная. Этюд г. Громеки имел огромный успех, им зачитывались в свое время, особенно в подрастающем поколении, и после него именно открылись повсюду толки о смысле, правильности и применимости идей графа Л. Н. Толстого.

поднять свою голову и высказать вслух то, что их давно и мучительно занимало. То был знаменитый вопрос о цели человеческой жизни. Даже в печати, *в то время бывшей в совершенном неведении о том, что именно происходит в подрастающем поколении*, чувствовалась инстинктивно грядущая важность этого вопроса, и я помню хоть неумелые, но оживленные толки в ней, поднимавшиеся всякий раз, когда появлялась какая-нибудь книга, посвященная, например, теории или истории утилитаризма.

Собственно у поколения 60—70-х годов было решение этого вопроса, воспринятое извне и по своему смыслу узкое, которое в литературе того времени по обыкновению горячо пропагандировалось, но вовсе не развивалось и вообще не изменялось. Это был ответ, утверждавший, что другой цели, кроме устроения своего счастья, человек на земле не имеет. Из тесных кружков ученых, из библиотек и с университетских диспутов учение это давно спустилось в широкие массы общества, где, при слабости всех других понятий жизни, оно без труда распространялось. Его ясность и простота, его, наконец, аксиоматичность для всякого, кто лишен каких-нибудь мистических воззрений на природу человека и его судьбу, — все это делало учение утилитаризма легко усвоимым и очень твердо держащимся. В нем был только один недостаток: оно было слишком трезво, слишком ясно, и в нем не находилось никакого ответа и удовлетворения многим темным и глубоким сторонам человеческой природы, многим тревогам ее совести. Пока в жизни все было ясно и просто, пока она катилась легко, — для всех было очевидно, что это учение прекрасно объясняет собою действительность и совершенно достаточно для человека. Но как только в его совести происходило что-нибудь, как только чувствовалось затруднение в исторических путях — столь же очевидным становилось для всякого, что учение это и не покрывает действительности, и вовсе недостаточно для человека. В радостной и самонадеянной атмосфере 60—70-х годов эта идея нашла себе легкое распространение; но в подрастающем поколении, по очень темным причинам, уже в то время начало бродить нравственное смущение и встревоженность. Оно усвоило от "отцов" своих эту идею, но дало ей впервые внутреннее развитие и подвергло ее анализу. Дело в том, что и в западноевропейских теориях идея эта как-то все аргументировалась только или опровергалась, но не изучалась во всех подробностях своего состава. Без сомнения, это происходило оттого, что она скорее была общим воззрением на жизнь, была более нравственно-политическим учением, нежели формулой жизни, и ее не считали нужным и возможным определять с тою особенною точностью, которая одна допускает раскрытие внутреннего содержания какой-нибудь идеи и ее анализ. Как только дано было этой идее подобное определение, так тотчас обнаружилось все ее истинные свойства. Прежде всего, так как под "счастьем" нельзя было разуметь ничего иного, кроме "удовлетворенности", то было ясно, что идея эта вовсе не содержит в себе указания на какие-либо определенные предметы достижения, на реальные цели деятельности, но только освящает равно всякие, какие возникнут в истории. Простая желаемость этих целей, то есть уже сознанный способность их удовлетворить человека (или какой-нибудь ряд его влечений), есть достаточная для них санкция в круге понятий утилитарной теории. Далее, так как подо-

бною целью, очевидно, могло быть только счастье *наибольшее*, то есть сильнее всего желаемое, например, по продолжительности даваемого удовлетворения, то очевидно, что всем, чего в данное время человек менее желал, он мог, ради достижения лучшего, пренебречь или все это забыть. Здесь, в этом выводе, возрождалось знаменитое и всеми оставленное учение об оправдании средств целью: "средства" — это, очевидно, меньшее благо, которым человек вправе пожертвовать для признанного им за большее благо. Заметим, что, не прибегая к понятиям, выходящим из круга утилитарной формулы, нельзя найти *для желаемости* того или иного вида счастья других признаков, кроме количественных, то есть продолжительности и напряженности даваемого удовлетворения. В средние века обыкновенно именно продолжительность была предпочтительна (ради загробной жизни жертвовалась земная; ради продолжительного покоя в будущем предпринимались истребительные войны против сектантов); в новое и более нетерпеливое время, ради минутного наслаждения, часто приносится в жертву счастье целой жизни. И то и другое, впрочем, завися от свободного выбора человека, безразлично с утилитарной точки зрения. Наконец, так как человек живет не изолированно, но обществом, и именно в массовой среде он принимает все свои решения, — то не личное свое, но счастье *наибольшего числа людей* должен он полагать целью своей личной деятельности. Сюда же примыкает вся правовая, политическая сторона формулы, придающая впервые ей некоторую конкретность: именно, на вопрос "кем же *определяется* это счастье?" — невозможно, оставаясь в кругу утилитарных понятий, ответить иначе, как — "большинством удовлетворяемых", наибольшим количеством тех, которые ожидают и нуждаются в счастье. Идея *suffrage universel*¹, впервые установленная Руссо и теперь овладевающая сознанием всей Европы, уже *implicite*² содержится в этой ветви утилитарной доктрины. С тем вместе, эту ветвь отрицается и подавляется весь мир индивидуальных порывов, идей и чувств. Гений гасится, как только он не двигается в узкую трубу, по которой текут всеобщие желания.

Таков был очевидный состав этого учения. Если б оно принято было когда-нибудь человечеством как высший критерий добра и зла, добру глубоко и навсегда пришлось бы преклониться пред злом, потому что, очевидно, сознание высшего добра никогда не было уделом масс, а личность должна была бы подавить в себе это сознание по требованию или простому желанию "темного" большинства. Утилитаризм есть могила индивидуального развития и с ним всякого цвета истории — всего, чем из века в век она светит нарождающимся поколениям³. Нравственный

¹ всеобщее избирательное право (*фр.*).

² подразумеваемо (*фр.*).

³ Скажут: раз сохранение личности полезно для масс, то, по самому принципу пользы, она и должна быть сохранена в истории. Да, но под условием, по принципу же пользы, что это будет признано именно массами и что свое признание *они удержат во всякое время*. Пока отношения между массой и личностью находятся в пределах простого противоречия, разногласия, еще не раздраженного спора, естественно ожидать, что личность будет пощажена и масса не нарушит своего, в общем виде выраженного, желания сохранять личность. Но кто же не знает, что в самые жгучие, решительные моменты истории — именно в те, за которыми следует благодетельный поворот ее, масса относится к личности с неистощимой

смысл борьбы и гибели единичной личности среди не понимающих ее грубых масс навсегда угас бы, потому что эти массы без борьбы, без сомнений давили бы личность. Таким образом, для счастья самого человечества ему было бы лучше навсегда забыть о том, что оно может, а тем более должно жить только для своего счастья. Здесь, в этом окончательном выводе, сказывается как бы внутренняя преломляемость этой идеи: своею вершиной, своим последним утверждением она подсекает свое же основание. Все это хоть и не было нигде высказано, но было очень твердо сознано многими в то время, когда гр. Л. Н. Толстой впервые взволновал общество тем же вопросом. Разница была только в том, что он или вовсе не упоминал, или упоминал небрежно об утилитарной доктрине, которая, между тем, владела еще общим тогда сознанием. Как бы то ни было, но и он, очевидно, понял, что без разрешения этого основного вопроса жизни (об ее цели) происходит как бы *задержка* разрешения всех других ее, очевидно, зависимых и обусловленных вопросов. *Незнание* — было его ответом на этот вопрос; отсюда — весь характер иррациональности, который приняло его дальнейшее развитие: это отрицание государства, это неведение религиозных начал жизни, эта враждебность против искусства и против науки. Все это содержалось уже, как вторичное, в том жизненном узле, подойдя к которому он — молча отошел.

II

А между тем, тайна состояла только в том, чтобы, подойдя к лежащему яблоку, не съесть его, но зарыть в землю и посмотреть, что из этого выйдет. Никем не была в то время понята искусственность самого вопроса о цели человеческой жизни. В ту пору излишнего теоретизма мысли как-то привыкли смотреть на человека со стороны и, смотря так, невольно *придумывали* для него цель. Эта придуманность сказывается во всех нравственно-философских теориях, и оттого-то они никогда не могли стать могучим стимулом исторического развития, но всегда оставались только занятием слишком уединившихся в своем мышлении немногих людей. Цель может быть избрана, может быть придумана, но лишь для того, что само придумано и существует искусственно. Напротив, что ранее нашего идейного к нему отношения уже лежало в природе, то мы можем только познавать и, что касается до целей, — открыть его *назначение*. Таков и человек. Таким образом, неразличение понятий

ненавистью, с готовностью всем пожертвовать и видеть только кровь человека, так высоко поднявшего над нею, над ее эгоистическими желаниями и узкими мыслями свою голову? И в такие минуты, в страшные минуты для личности, что удержит массы от того, чтобы "на один этот случай", только для этого ненавистного человека, взять обратно свою решимость? Когда это решение взято, на что обопрется личность, что поднимет она над собой для защиты? какое *свое* право? "Хорошо, после твоей смерти я последую твоим *лучшим* идеям, но пока я тебя съем", — скажет этот новый и чудовищный, тысячеголовый Левиафан. У личности же пред этою чудовищною пастью, пред этими камнями, на нее поднятыми, *внутри собственного сердца* останется лишь одна правда — правда своей обязанности умереть.

”цель” и ”назначение” и смешение областей, где применимо открытие и где изобретение, — было причиной множества и теоретических, и практических заблуждений как того времени, так и следующего. Достаточно было понять это, чтоб однажды и навсегда перестать пытаться изменить человека и его жизнь сообразно с понятиями ”наилучшего”, какие мы могли бы для него придумать; и, напротив, тотчас, как уяснилось истинное значение человека, единственно правильным к нему отношением становилось — любопытное всматривание в его природу.

В этой природе ясно различимы были две стороны: одна недействительная, не изменяющаяся во времени — это сторона физическая. Очевидно, в ней не могло скрываться его назначение, потому что последнее есть то, что *осуществляется, настает со временем*. И в организации человека, где все уже дано и ничего не ожидается, очевидно, нет никакого отношения к его назначению на земле. Напротив, другая сторона его природы была постоянно деятельна, и в этой деятельности она изменялась, возрастала. Ясно, что если человек мог иметь какое-нибудь назначение, то оно скрывалось именно в этой части его существа. Это была — сфера его духа. И в самом деле, в противоположность физической стороне, где все — уже реальность, и притом находящаяся вне влияния человека, — в области духовной жизни все есть только *возможность*, которая через усилия человека *становится действительностью*. Как организм человек рождается уже со всею полнотой частей своих и отправлениями, к которым в течение жизни своей он ничего не прибавляет; и ничего не прибавлено к ним в течение жизни исторической. Напротив, как духовное существо человек рождается только с задатками всего, что осуществит со временем. В нем нет еще идей, но только способность их образовать; нет глубоких чувств, но только способность их пережить; нет каких-либо желаний, но только способность осуществить всякие желания. Итак, с этой стороны — он весь в возможности и, очевидно, *жизнь его не имеет другого назначения, как чтобы возможное в нем стало действительным*. Зло или добро составляет глубочайшее основание человеческой природы. В каком отношении он находится к окружающему миру — зданию и его источнику, наконец, как он должен смотреть на свою историю — все это есть уже вторичное, что мы можем знать о человеке. Главное и первое наше знание о нем есть знание как о некоторой системе скрытых возможностей, раскрытие, обнаружение которых может дать ответ и на все остальные вопросы.

III

Отсюда ясен становится и смысл индивидуальной жизни, и значение истории. Если бы человек как в физической, так и в духовной стороне своей являлся полною реальностью, он, конечно, мог бы по произволу избирать для себя всякие цели, чем угодно наполнять свою жизнь. Но этой свободы выбора у него нет, и нет также свободы оставаться бездейственным или досуга заниматься чем-нибудь посторонним и несущественным. Жизнь его ограничена во времени, и этого времени едва достаточно для того, чтобы выполнить все, что принудительно указано ему в сложении его духовной природы. Понять эту природу, ее ог-

раниченность или особые дары, и все принесенное с собой в мир отдать этому миру — этого слишком достаточно, чтобы наполнить личное существование серьезною заботою, исключаяющей какие-либо помыслы о развлечении. Наконец, раскрыть в тысячелетиях всю глубину и все богатство человеческой души, как она дана не в индивидуальном выражении, но во всеобщем, — это есть долг и право всего человечества; долг, которого мы можем не понимать, не разуметь еще его смысла, но которого не знать мы не можем, потому что он действителен. И не можем, поэтому, его не исполнить. Таким образом, нам не известно только *конкретное выражение*, которое будет иметь то окончательное, чем завершится человечество и что осветит смысл его существования на земле; непредставима форма его и также очень многие, но лишь второстепенные подробности. Общий же вид этого окончательного вполне определим¹ чрез изучение тех направлений, неустойчивых и естественных, которые уж есть, даны в каждом из задатков, образующих своей системой духовную природу человека.

Уже выше было сказано, что все слишком ясное и трезвое не покрывает человеческой природы, как она дана, и не удовлетворяет ее иначе, как только на время. Действительно, чем внимательнее будем мы всматриваться в ее сложение и, особенно, как уже выразилось это сложение в истории (то есть наиболее полно), тем более будем мы удивлены какою-то странною ее неисчерпаемостью и беспросветною глубиною. Разум со своими выкладками составляет лишь часть человеческого существа, и вне его влияния и объяснения остается еще неизмеримая область иных сфер духовного творчества, *но задатки для всех них уже даны в человеке*, и все они, не скажем — истинны: это слишком узко — все они *действительны* и как-то освящены в человеке, потому что предустановлены в нем. Вся природа есть нечто предустановленное, потому что вся она — только задаток, только возможность осуществляемой действительности. Разум, как один из этих задатков, как простая способность образовать идеи, не только не выше остального чего-нибудь в человеческой природе, но, напротив, он и оправдание свое имеет только в том, что *также предустановлен*, как и все прочие задатки — стоит не ниже их. Реальность есть нечто высшее, нежели разумность и истина; потому что сама истина имеет лишь настолько значение, насколько она не мнима, не призрачна, насколько она подходит под признаки реального. Вот почему повелительного, деятельно принуждающего — мало в разуме; его деятельность вся — в созерцании, в уразумении. Но созерцаемое происходит и должно происходить нормируемое своими особыми законами, скрытыми в остальных задатках человеческой природы, ничего общего с сознанием не имеющих. Невозможность придуманной поэзии и, до известной степени, объясненной

¹ По отношению к одной системе человеческой природы — именно умственной — определение окончательной формы, которою завершится ее деятельность, сделано мною в книге "О понимании; опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки, как цельного знания". М., 1886. При всех ошибках, какие могли быть допущены в отдельных частях этого определения, остается незатронутым, однако, самый принцип — общая *определимость* окончательных форм человеческого творчества, как из неправильности в возведении здания, могущего служить для человека, не следует его общая невозводимость.

— есть частный случай этой общей истины. Среди этих задатков есть также и нравственные, и религиозные. Конечно, они не проявляются без возбуждения, как и разум не начинает мыслить, пока не дан предмет для мысли. В том и состоит сущность всякого задатка, что он не иначе получает развитие, становится полным существом, как когда присоединяется к нему что-либо внешнее, или в качестве возбуждения, или в качестве материала, подобно тому как материал земли должен присоединиться к семени, чтоб оно стало деревом. Но как никакая земля без семени не образовала бы из себя дерева, так и никакие возбуждения извне человеческой природы не вызвали бы ее к образованию религиозных созерцаний и нравственных идей, если бы эти последние не имели уже в ней для себя задатка. Поэтому, как справедливо, что человек уже рождается разумным существом (хотя он становится разумным только после), так справедливо и то, что он уже рождается нравственным и религиозным — хотя все это приходит также потом. По той причине, по которой ни одному задатку мы не можем дать предпочтения перед другим, — по этой же причине мы и религию или нравственность не можем подчинить деятельности влиянию чего-нибудь, например разума: *они одинаково реальны*. Наконец, так как всякий задаток есть задаток *к чему-нибудь*, и это что-нибудь уже реально в нем настолько, насколько в семени реально дерево со всеми своими формами, с законами и силами своего роста: то, подобно тому как мыслящему разуму есть соответствующий ему мыслимый мир, — и нравственному чувству есть отвечающий ему долг, и религиозному созерцанию — созерцаемое им Божество. Все это столь же действительно и не менее ясно, как то, что не могло бы быть мысли, если б ей нечему было отвечать, если б вовсе не было никаких предметов, могущих мыслиться. И, как в мышлении единственный вопрос состоит в том, чтобы мыслить *правильно*; так и в религии и в нравственности нет никакого вопроса о самых предметах их, но только о том, как отнестись к ним правильно.

Отсюда смысл всех нравственных и религиозных тревог: в разуме мы ощущаем живую боль всякий раз, как он затруднен в уразумении чего-нибудь, когда он сбивается, ищет и еще не находит, и, напротив, живое удовлетворение чувствуем всякий раз, когда он входит в норму по отношению к предметам своим. Так же точно и по той же причине мы испытываем нравственное мучение всякий раз, когда не исполнен долг, или религиозную тревогу, когда потеряли или не нашли еще верного отношения к Богу. Во всех этих случаях страдание есть лишь симптом некоторого извращения, которому, по нашей вине или невольно, подвергается в нас один из задатков души. Здесь, пожалуй, теория обязанностей человека совпадает с утилитаризмом; но только из последнего удалено все произвольное и нет более неопределенности желаемого. Действительно: ясная удовлетворенность есть цель человеческой жизни, — но удовлетворенность эта, *нужно знать*, наступает для человека лишь тогда, когда он не одной стороною своей природы не отклонился от исполнения долга, в эту природу заложенного; когда он возрастает по законам души своей, не нарушая этих законов ни под каким влиянием. Удовлетворенность есть здесь следствие — сопровождающий симптом того, что истинные цели достигаются; оно есть боковое нечто, но не впереди лежащее — луч света, который сопровождает человека, пока он идет по определенной тропинке.

Нужно удивляться, как гр. Л. Н. Толстой не понял этого в человеческой природе. И особенно странно это будет для всякого, кто, вчитываясь в художественные произведения его, наблюдал, как всюду, рисуя жизнь человеческую, он оттеняет принудительность всех движений человеческого сердца, его страстей или антипатий и вытекающих отсюда действий. Неопределенности, хаотичности, безбрежного призола он мудро не нашел в жизни и не изобразил. Все движется у него свободно и, однако, по определенным путям, от которых не уклонится¹. Красота жизни, по этим путям движущейся и развивающейся, только по-видимому свободной, но уже данной, заложеной в характерах всех выведенных лиц², — это и составляет неисчерпаемый художественный и философский интерес его произведений. И вот так мудро и так глубоко поняв жизнь, он непостижимым образом на самый источник ее — человека, в момент таких страшных для себя тревог и решений, вдруг посмотрел как ребенок. Все непонятно в этом, и, однако, все это так. Сам изливший такое богатство идей, сам невольный и, быть может, иногда бессознательно бравший перо и писавший чудные страницы своих произведений, Бог знает откуда и, однако, нетерпеливо выливающийся, — этот человек мог подумать и сказать, что другие люди, миллионы подобных ему существ, могут по произволу заставлять себя или точать сапоги, или заниматься философией; что человек есть самодвижущаяся кукла, которая может определить себе: "пойду до этого" или еще: "никогда не сверну направо". Удивительное зрелище пророка, истинного пророка, который подумал бы, что вдохновенные речи говорит чрез него не Бог, но обманщик-жрец, за ним сидящий.

Как только произошла эта ошибка в главном — еще в те старые тревожные дни, которые пережил в своей совести наш знаменитый писатель, — так тотчас все смешалось в хаос в его идеях и требованиях. Все стало ошибочно и, однако, уж непреодолимо — раз отклонились в сторону, при разрешении центрального вопроса, его высокое сердце и благородный ум. Неизбежно стало отрицание всего, что, за отсутствием связи с какою-либо высшею целью, потеряло опору в себе. Все, чторосло на человеке в истории, — представилось ему, —росло фатально и не нужно, без какого-либо определенного смысла и без прочного основания. Все это не выросло из человека, но придумано им

¹ Например, доканчивая последние страницы второго тома "Анны Карениной", из особенного тона ведущегося диалога, очень тонкого, лишь слегка взволнованного и возбужденного, вдруг ярко и совершенно впервые начинаешь ощущать едва мерцающую вдаль еще и уже неизбежную гибель Анны, — почти с ее подробностями, то есть не в ее частной обстановке, но с теми именно чувствами, с которыми она умерла, и по тем самым побуждениям. Весь третий том романа есть чудно раскрываемая картина медленной агонии человека, усиливающегося и не могущего избежать самоубийства.

² И даже в самом рождении: сюда относится в "Войне и мире" удивительный разговор между княжной Марией Болконской, уже ставшей женой и матерью, и Наташей, также вышедшей замуж за Пьера Безухова, о судьбе Сони, воспитывавшейся в доме Ростовых и очень нравившейся Николаю Ростову, который и ей нравился, *но мужем ее не стал*, — то есть о том, почему это произошло.

как забава для своего пустого ума или для заглохшего сердца. Только без цели все это давит людей, и они должны сбросить эту историческую тяжесть, чтобы стать перед природой так же легко, как стояли тысячелетия тому назад. Раскутаться вновь от суеверий ума своего, от ошибок чувства; перестать собираться для чего-то в громадные скопища царств и, возвратив себе простоту сердца и кротость ума, — возделывать землю, пока она не сделается могилой. В этом поколение за поколением состоит труд людей, и на земле они не имеют для себя другой задачи. Случайно попали они на эту землю, быть может, случайно и сойдут с нее, и как в существовании их нет радости, так не будет печали в их гибели.

V

Эти мысли, которые так еще волнуют нас, но в которых уже стали бы задыхаться наши дети, — эти печальные мысли, столь серьезно высказанные, ошибочны в корне своем. Они все текут из одного источника — из признания, высказанного еще в "исповеди": что человек не знает цели своей жизни. За этим незнанием было бы, конечно, безумием для него к чему-нибудь стремиться, чего-нибудь искать, и, насколько искал он в прошлом и что уже нашел — его история, его цивилизация, — все это призрачно, бессодержательно, потому что лишено высшего оправдания, каковое могло бы получить только в сознании своей цели. Но эта цель *есть* — она дана в самом строении нашей духовной природы. Она безусловна, и мы не можем даже обсуждать ее, потому что у нас нет для этого никакого орудия. Самый разум наш, самая мысль, критике которой мы готовы были бы подвергнуть эту цель, — бессильна к этому, потому что она также входит в состав этой цели и, как часть, не может обсуждать целого, которому принадлежит. Мы должны принять свою цель как данное, как священное и нам непонятное. Религиозен весь человек, и вся жизнь его, и также — его цивилизация и история: хотя, конечно, болеть все это и искажаться — может, но, искажаясь, тем самым все это уже указывает на вечную норму, от которой отступает. Здесь — в нашей обязанности понять эту норму — и заключается второй выход для нашего общества. Не подавление природы своей до *minimum'a*, не это насильственное сжатие своей головы и задержание биений своего сердца составляет долг наш на земле — это уродство, это, наконец, преступление: но, напротив, раскрытие своей природы в истории по предустановленным для нее законам и путям. Ни пути эти, ни норма цивилизации, ни, наконец, природа человека, с этой точки зрения своей предустановленности, никогда не сознавались человеком. Он был похож на бедное существо, которое, бродя туда и сюда и не зная, куда преклонить голову, забыло о богатом чертоге, который принадлежит ему, для него освящен и создан. Он, правда, уже давно стал язычником и делает все бесстыдное, что можно делать, только зная, что его никто не увидит и что после него ничего не останется. Много злобы в этом, но еще больше грусти. Удивительно: на склоне второго тысячелетия жизни явиться таким жалким, таким несчастным, так позорно униженным и, наконец, дурным.

И все это — только сон; все — заблуждение тысячелетие грезившей мысли, которая, после светлых мечтаний, на минуту увидела темные призраки. Не в призраках, не в том, что мы *придумываем*, — истина; но в том, что мы созерцаем, что дано *прежде* нашей мысли. Прежде этой мысли дана природа — и поняли ли мы ее? Одновременно с этою мыслью дан нам дух, в котором она зародилась, — и что мы в нем увидели? Увидели ли, оценили ли мы все значение этих неуловимых нитей, по которым точно тянется душа наша ко всей природе, стремится все понять в ней, ко всему привязаться, все запомнить и хоть в памяти своей унести в могилу; поистине, ничего мы еще не поняли ни в себе самих, ни в своей жизни; и темно для нас мироздание, на которое мы смотрели, но его не понимали. Как кажется, истинный смысл и значение текущих блужданий заключается именно в том, что они подводят человека к этому сознанию своего религиозного значения. Он в самом деле не язычник; это пустое — что он может делать что хочет и что с ним можно делать, что захочется. Есть грани для него, и есть другие, которые над ним. Они все забыты, все переступлены — и вот отчего эти неопределенные тревоги совести, которыми мучится современное человечество. В вечных поисках за успехом, в вечном придумывании, чем бы себя осчастливить, человек заблудился, наконец, до того далеко, что никакого счастья ему не нужно, и в страхе рука его не хочет поднять то, что наконец найдено и может быть взято. В этом чувстве отвращения к своей жизни, *как проходила она*, вдруг и неожиданно сказалась вечная и благородная его природа. Он припоминает себя — где он и что? и зачем сюда пришел? Все еще не ясно для него, но для всех, кто умеет прислушиваться к темным движениям сердца, к начинающимся уклонам истории, — ясно, что он силится припомнить вечный источник себя, своей жизни и с собою — целой природы. Можно, конечно, ошибаться — но, кажется, мы стоим в истории накануне великих начинаний.

5. Может ли быть мозаична историческая культура?

I

Я заметил, что главный недостаток людей шестидесятых годов заключался в слабой вдумчивости, в отсутствии какой-либо сложности, какого-либо узора в их мышлении. В ответ на это замечание г. Н. К. Михайловский упрекнул меня, что, развивая свои положения, я не подтверждаю их примерами. Но вот в другой своей статье он дает мне случай сделать требуемую поправку, а самый предмет этой статьи так важен, слова, в которых он обсуждается, столь многозначительны, что более удобного случая для подобной поправки я не мог бы и ожидать. Есть в самом деле сложные и трудные темы, обсуждая которые в продолжительных спорах и все еще путаясь в потемках, спорящие неожиданно, случайно, произносят такое слово, в смысле которого разом открывается и смысл всей темы: только относительно его согласиться, принять или отвергнуть этот смысл — и спор решен. Г. Михайловскому

именно случилось высказать такое слово. Обсуждая старый и вечно тревожный вопрос о нашем отношении к Западу, он говорит:

Задача наша не в том, чтобы вырастить непременно самобытную цивилизацию из собственных национальных недр, но и не в том, чтобы перенести на себя западную цивилизацию целиком со всеми раздирающими ее противоречиями: *надо брать хорошее отовсюду, откуда можно*, а свое оно будет или чужое — это уже вопрос не принципа, а практического удобства. *По-видимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разговаривать не о чем*. Но очень часто бывает, что простые и понятные вещи с большим трудом завоевывают себе место в природе и в умах человеческих¹.

Несколько тысячелетий люди думали, и каждый человек мог проверить собственными глазами это убеждение, что солнце ежедневно поднимается из-за горизонта и ежедневно же западает за него, описывая величественный круг над неподвижно покоящеюся землей. Это было не только "просто, ясно и понятно" — это было видимо, как виден вот этот лес, пред которым я стою. Но велик был подвиг Коперника, когда, усомнившись в этой ясной, видимой действительности, он предположил ей совершенно обратное; велико было движение в нем мысли, и от этого движения ведет свое начало истинное ведение человека о себе и о мире.

По общности предмета, по важности его для всего человечества мы, конечно, не решимся сравнивать идеи славянофилов с сомнением Коперника; но по исходной точке, по отношению к действительному и кажущемуся их мысль, их требования в самом деле имеют много аналогичного с его мыслью. Они также имели мужество только усомниться в некоторых "очевидных" истинах; это подняло против них смех и злобу, и, к их великому горю, они не имели под руками ни измерительных приборов, ни математического счисления, чтобы заставить стихнуть эту злобу и этот смех. По самому предмету своему, каковым была история, они могли действовать лишь путем гораздо менее точного и ясного рассуждения; но как можно было заставить всех войти в этот трудный и сложный круг мысли?

"Надо брать хорошее отовсюду, откуда можно" — эта мысль, по-видимому, элементарно справедлива. На ней, именно, основывался весь ход нашей истории от Петра Великого, который "брал хорошее отовсюду", без каких-либо сомнений: и на ней же держится все учение западников, не понимающих, почему и впредь мы не должны бы брать хорошее везде, где можно.

Но вот и сомнение. Архитекторы нашего времени, так долго готовящиеся к своему делу, прежде, нежели приступают к нему, тщательно изучают историю зодчества во всех странах и у всех народов. Стиль китайских пагод и греческих ордеров, наконец, византийский, романский и готический — им равно и хорошо известны. По-видимому, они должны бы, при этом богатстве выбора, при точности и разнообразии сведений своих, создавать лучшее, изящнейшее, нежели что создано было когда-либо в сфере зодчества. Мы верим, что г. Михайловский чистосердечен и правдив: пусть же он подумает, почему эти архитекто-

¹ "Русская Мысль"; "Литература и Жизнь", 1892, июнь.

ры, несмотря на все усилия, не могут создать чего-нибудь хоть приблизительно равного по мощи, по красоте, по вечности тем памятникам, подражать которым и комбинировать которые они свободны?

Здесь и лежит центр спора между славянофилами и западниками. Западники не могут понять, почему нельзя брать "хорошее отовсюду"; славянофилы — хорошо понимая априорную ясность этой мысли — при взгляде, при вдумчивости в процесс таинственного роста народов сказали: "Нет, они не растут эклектически; они не набираются, смотря по сторонам, наилучшего со всех сторон; все, что было и есть в истории великого, священного, истинно живого, развивается из своих недр; каждое дерево растет только из своего семени".

Мы упомянули об эклектизме, и это понятие с новой стороны может уяснить занимающую нас тему: не известно ли г. Михайловскому, что на развалинах философских систем, столь нетерпимых одна к другой, столь исключительных обычно, появляются *эклектики*, которые, изучая все предшествующие системы, избирают из них наиболее совершенные и, согласуя их между собою, соединяя в трудах своих наилучшее из каждой системы, создают новые учения? Но долговечны ли они, но значащи ли? О, г. Михайловский не "эклектик": он не допустит рядом с известным утверждением лежать другому, из чужого огорода. Он понимает, что такое "целость"; а если он понимает это в воззрениях, то не может не понять и в истории, а с тем вместе — и не принять всей славянофильской точки зрения.

II

Вся разница между славянофилами и западниками заключается в том, что взгляд первых на историю есть органический, а вторые смотрят на нее как на простое механическое делание. В ряде собственных рассуждений¹ г. Михайловский сам устанавливает некоторые существенные положения органического воззрения: он говорит, что в жизни народной, как и в развитии каждого живого существа, нужно различать *степень* развития от его *типа*; и то, что по степени может быть выше другого, по типу *в то же самое время* может быть неизмеримо его ниже. Так, поясняет он, всякое взрослое животное богатством, силой и разнообразием своих проявлений превосходит новорожденное дитя человека; кажется, что оно превосходит его и обилием душевной жизни. Но все это превосходство относится лишь к позднейшей степени его развития; возьмем *тип* развития, то есть дитя человеческое со всею суммой лежащих в нем *задатков*, и мы увидим, как всякое животное бедно сравнительно с ним.

Признаюсь, прочитав несколько лет тому назад это рассуждение, я удивился, как мало, в сущности, остается между этим воззрением и самыми заветными надеждами славянофилов. Поистине, только разные "любви" и "ненависти", имеющие предметом частности нашей действительности, мешают слиться двум самым значащим течениям нашей истории.

¹ В "Сборнике статей" о графе Л. Толстом.

”По типу, — говорит г. Михайловский, — несмотря на очевидную элементарность степени, данное развивающееся существо может быть выше другого, стоящего уже на высшей ступени развития, но развития более грубого и несовершенного типа”. Неужели не согласится он, что *антагонизм*, что *потребность победы* есть истинный стимул всего западного исторического движения, что именно он составляет *тип*, по которому эта история движется? Неужели напоминать патрициев и плебеев, оптиматов и пролетариев, Италию и пожираемые ею провинции, чтобы согласиться в этом относительно Рима? Неужели говорить о государстве и церкви, феодальном строе и королевской власти, католицизме и реформации, монархии и революции, капитализме и нищенстве, чтобы согласиться в этом относительно христианской Европы? Ведь здесь *вся* история, без какого-либо остатка, — и в каждой части этой, во всяком биении своего пульса, Европа внутренне боролась, с жадой или умереть, или победить. В неизъясимой красоте этой борьбы, в величии результатов ее — кто будет сомневаться? Скажем более: кто возьмет на себя мужество осудить эту борьбу, если она так ясно была заложена в самом семени, из которого выросло чудное, двухтысячелетнее дерево европейской цивилизации?

Но кто же будет иметь силы отвергнуть, что антагонизм, что борьба, с высшей человеческой точки зрения, для сердца нашего, есть низшее, чем примирение? Что, как бы прекрасны ни были борющиеся в напряжении своих сил, — в тот миг, когда они подадут друг другу руку, они будут лучше и прекраснее? В конце концов борьба есть лишь состояние, то есть нечто временное; она полна неудовлетворительности и, следовательно, стремления из нее выйти. Этот выход, это завершение должно же быть для человека и его истории, как оно есть для всего развивающегося, которое непременно *во что-нибудь* развивается. Для антагонизма — хотя бы он длился тысячелетие — этот исход, эта венчающая глава, по самому смыслу его, по тяготению, — есть примирение: не насильственное, не то умиротворение, когда противника уже нет, когда он стерт с лица земли; но когда он признан в своей особой правоте и сам признал правоту другого, с которым боролся.

Сказать, что началом мира проникнута была русская история, — никто не решится; и человек, в утробе своей матери проходя различные фазы, бывает в некоторых из них похож на то или другое животное. Но в том, куда он выходит из этих фаз, к чему стремится, *в типе своего развития* — он есть человек. Так точно лишь в незначительной мере в фактах, но гораздо более в стремлении, в заветных своих чаяниях, в том, что *полагается окончательным*, — народ русский проникнут началом именно гармонии, именно примирения.

III

Но это относится уже к точному смыслу той культуры, которая во всяком случае — вся в ожидании еще; спор же славянофилов ведется главным образом не о нем, но только о необходимости для каждого исторического народа соблюдать цельность в своем возрастании, а следовательно, и внутреннее воздержание от заимствований, даже когда они идут от народов, достигших гораздо высшей *степени* развития, но

по иному его *титу*. Только в этом одном состоит весь спор, и не может, не отрекаясь от своих же размышлений, не затирая ради раздражения сердца плодов своей же умственной работы, отвергнуть г. Михайловский коренную правоту их учения.

Но эта правота, как мы заметили вначале, требует для обнаружения своего некоторого напряжения мысли временного сомнения в так называемых "элементарных и очевидных истинах". В нежелании громадного большинства людей сколько-нибудь напрягать свою мысль и лежит вся причина нераспространенности учения славянофилов: учение западников, все покоясь на повторении общих мест, гораздо понятнее, усвоимее, доступнее самому элементарному уму. В этом причина их успеха, но только в настоящем; в будущем же, как только усложнится наша общественная мысль, их несостоятельность станет очевидна.

Очевидно станет для всякого, что при стремлении к некоторым абсолютным целям, общим для всего человечества, — к добру, к свободе, к истине, — каждый народ старается достигнуть их своим особым путем, в своеобразных формах и своеобразными способами. Достигнуть свободы можно и *принудив* дать ее, и *выждав*, когда крепостящий сам поймет, что она выше рабства. Убедить в своих мнениях другого можно и запугивая его мысль, действуя на ее робость. Так поступает сатира, но поистине, чего бы ни достигла она — лучше было бы, если б ее никогда не появлялось, потому что той же цели можно достигнуть, ободряя противника, заставляя его высказаться до конца и до конца же высказывая ему свои убеждения, — это имеет еще и ту добрую сторону, что всегда открывает возможность и самому несколько поправиться. Наконец, если перейти к материальным "нуждам большинства населения" — какими бы страданиями они ни сопровождалась, как бы ни было много несправедливости в недостаточной поспешности их удовлетворить, — все-таки было бы лучше, если б они были удовлетворены так же, как удовлетворен, через два века страдания, не менее тяготивший народ вопрос о расколе. Есть церковь единоверческая, и, Бог даст, будет *одна* церковь, в которую войдет, как *одной веры*, всякий человек, который теперь еще отличается именем "единоверца".

Ни для римского пролетариата, ни для протеста в недрах католичества, ни для нищенства нашего века, конечно, не было и не будет найдено, *на особой почве их требований*, какого-либо "единоверия". И они, громадные массы людей и с ними лучшие надежды истории, погибли — потому только, что боролись, что не умели страдать и выносить. Тот факт, что всякое *неперенесенное* страдание ничем и не решалось, и никакого для себя исхода не получало, — есть самый удивительный факт в истории, и, мне думается, он вместе с тем и самый поучительный факт для всякого народа, у которого главное — еще в будущем.

IV

Но мы опять уклонились в сторону — к тому, что может составить отличительную черту нашей истории. Не в этом дело, но в том, что, какова бы ни была эта черта, она должна быть строго выдерживаема в развитии. Мы снова возвращаемся к мысли г. Михайловского об

эклектизме в истории и, сопоставляя ее с гораздо лучшею (потому что более сложною) его мыслью о типе развития, спрашиваем: неужели этот тип не будет нарушен, если развивающийся организм будет ради улучшения своего в данную преходящую фазу брать отовсюду кусочки живой ткани от других организмов и заменять ими части собственного существа? Не ясно ли, что он изранит только себя, что он умрет гораздо ранее, чем достигнет зрелости в том особом типе развития, по которому течет и уже не может не течь его жизнь?

Понятна ли теперь та мучительность, которую внушает собою эта теория эклектизма всякому, кто имеет понятие о началах органического развития? Правила, удобные для того, чтобы, руководясь ими, составить мозаику, прилагаются к неизмеримо более сложному, трудному и таинственному живому росту. Эти правила, соблазняющие своею простотой, уже два века прилагаются к нашему народу, и после всех страданий, всех неудач, всей горечи, какая чувствуется от этого в жизни, находятся настолько "элементарные" умы, что все еще не могут переступить за свои "простые и ясные мысли".

К числу этих "элементарных" принадлежали и люди 60-х годов. Повторим то, что уже говорили раньше: ни в неустанной деятельности, ни в настойчивости, ни в готовности жертвовать собою у них не было недостатка. Но как жертвовать, но за что бороться, но чем следует созидать — этого они не понимали. Общие для всех людей идеалы, которых, как света солнечного, не видеть нельзя — и они видели; но безумец или неосмысленный ребенок был бы тот, кто, видя солнце, полез бы к нему, надеясь схватить его руками, и преступник был бы тот, кто, чтобы построить для этого лестницу, начал бы рубить дерево, согреваемое, освещаемое этим солнцем, с ним взаимодействующее и только до него не достигающее.

Эта доля преступности лежит и на той особой группе людей, к которой собственно прилагается имя "людей 60-х годов", но они были лишь самые яркие в своей эпохе — неосмысленна же была вся она. Г. Михайловский говорит, и не однажды, о светлом, радостном духе, с которым начиналась эта эпоха. Действительно, только один момент в нашей истории аналогичен с нею по настроению, по ожиданиям, по какому-то единящему духу, проникавшему все сердце от верха до низу: это первые годы царения Грозного. Но в покаянной речи мудрого царя пред народом, когда с лобного места он говорил о своих винах, и о чужих преступлениях, и о невыносимых долее страданиях "сирот своих", простого народа, — как много было смысла и достоинства, если сравнить ее с нашею "обличительною литературой", конечно правую, но так мелко злобною, так напоминающею те собачьи головы, с которыми позднее ездили опричники, "выметая сор из отечества". И далее, в земском, в стоглавом соборах, в вопросных пунктах и в речах на них, как много опять было ума и обдуманности, сравнительно с разными (кто помнит имя их?) комиссиями 60-х годов. Конечно, все это было в значительной мере элементарно, но ведь это же было три с половиной века назад. И если бы тот порыв обновления, при взрыве которого жили 60-е года,

вызвал и сам обновление в том же духе, как оно совершилось при юном и удивительно мудром царе, но с соответствующею поздней фазе развития сложностью и массивностью замыслов, — были ли бы мы там же, где теперь? То ли бы говорили? О том ли сожалели? Этот частный пример показывает, что значит "при общих целях" стремиться к ним по особому для каждого народа типу развития. В тысячелетней истории народ наш привык всякое дело делать благословясь, с оглядкой, а не спросонья, не с неумытыми руками, не бросаясь растерянно во все стороны. И не "праздником праздник" вышел, как говорит мой противник; нет, это неправда: вышла в действительности сутолока, и кровь, и треск по всем швам раздираемого здания.

Как дерево, возрастая, осуществляет в величине своей, в форме, в цветорасположении, даже в наружном цвете коры те именно особенности, которые таились уже в семени, глухо лежавшем в земле и давшем ему жизнь; как композитор в каждой последующей части своего произведения только богаче, только многообразнее и глубже выражает мотив, элементарно заложенный уже в первых звуках симфонии, — так точно, ни в чем не отступая от этих общих законов органического созидания, и каждый народ, век за веком возводя свою историю, должен строго наблюдать, чтобы ни одна часть в ней не была в дисгармонии с остальными, чтобы в их смысле, в духе, во внешних чертах развивался все один мотив, все тот же вековечный смысл, выразить который пред лицом остального человечества он, очевидно, призван Волею, вызвавшего его к бытию. Бытовая форма его, как и учреждения, его церковь с тысячелетними преданиями и образ правления — все, что бы ни взяли мы в его функциях, внешних и внутренних, должно не разбегаться от центра, разрывая его существо, но быть обращено своим строем, своим вниманием к этому центру, к его смыслу, — и тогда только будет он "целое", а не набор случайно и непрочно соединенных частей.

Было ли понято это в 60-е годы? Результатом ли такого органического созидания является новейшая Россия, получившая свой теперешний вид тридцать лет назад? Византийская церковь, французские суды, германское воспитание, английское местное самоуправление и только русская самодержавная власть — могло ли и может ли все это существовать одно возле другого, без некоторого тонкого антагонизма, хотя бы выраженного, до времени, в индифферентизме каждой части к остальным? Не носит ли здесь всякая часть свой особый принцип, привнесенный ею с целого организма, из которого она взята, и не будет ли усиливаться она распространить его на целый же организм, ставший для нее новою родиной? Не отразится ли это неуловимо на внутренней устойчивости, на прочности всякого индивидуального существования, семейного быта, личного мирозерцания? В течение тридцати лет не видели ли мы обильного роста плодов именно в этом направлении, с которым упорно и бессильно боролись, вовсе не догадываясь устранить порождавшее его условие?

6. Еще о мозаичности и эклектизме в истории

I

В сентябрьской книжке "Русской Мысли" за 1892 г. г. Н. Михайловский дал ответ на мою предыдущую статью, озаглавленную "Может ли быть мозаична историческая культура?"

К сожалению, колеблющийся и неясный тон его статьи не дает возможности сделать сколько-нибудь определенное заключение о том, как он решает в своем уме поставленный мною вопрос. Такие оговорки, как то, что "эклектизма в учении, выросшем в шестидесятых годах на развалинах славянофильства и западничества, нет; но и предполагаемый г. Розановым эклектизм не есть, все-таки, западничество" (стр. 156), — побуждают думать, что самый принцип эклектизма он осуждает в основании, считает его действительно неспособным что-либо прочно и хорошо создать в истории. Мелькают в статье его и другие характерные оговорки: "в период нашего возрождения (в шестидесятые годы) кое-что действительно очень сложное казалось нам очень простым" (стр. 153); "известной доли истины в славянофильстве я не отрицал и не отрицаю" (стр. 154); "приветствуя судебную реформу, этот "мозаично вбитый в нашу жизнь клин", Аксаков изменил славянофильской точке зрения, хотя, конечно, никогда не сознался бы в этом" (стр. 158—159) и т. п. Но все эти характерные, многоговорящие строки затерты в пространных страницах, кружащихся около предмета спора, но этот спор не разрешающих. И я решаюсь думать, что, сверх дурной манеры писания, в этих ни на что не отвечающих и ни к какой цели не ведущих страницах есть и некоторая доля желания затемнить или спутать спор.

Только следующее рассуждение (из всех 18 страниц, где разбирается мой фельетон) имеет прямое отношение к моим мыслям о мозаичности и эклектизме в истории:

"Эклектики *a priori* полагали, что во всякой философской системе заключается доля истины; во-вторых, они не выставляли достаточно ясного собственного критерия, с помощью которого надлежит отличать истину от заблуждения, и думали, что результат этот может быть достигнут простым сопоставлением различных систем. Эти две черты характеризуют эклектизм в отличие от самостоятельных и целостных философских систем. Все люди друг у друга учатся, все заимствуют свои идеи и знания из самых разнообразных источников, но не все же эклектики. Всякий мыслитель, принимаясь за новую философскую систематизацию идей и вещей, изучает системы своих предшественников и берет из них то, что считает истиной, отвергая то, что ему кажется заблуждением¹. Так поступает всякий, и иначе поступать никто не может, как бы ни

¹ Это совсем не так: *ядро* оригинальных философских систем всегда выросло из *отрицания* предшествующего владычествующего учения и лишь побочные их опоры, незначачие и нехарактерные части брались из прежних систем. Так, механическая философия Декарта выросла из противодействия телеологическому мировоззрению древности и средних веков, и в этом ядре своем она есть явление

был велик и оригинален его собственный вклад в сокровищницу мысли. Но творец целостной и самостоятельной системы отнюдь не убежден, что в философских построениях *всех* его предшественников содержится истина, лишь осложненная или затуманенная заблуждением. Если бы даже таковым и оказался результат его изучения (чего быть не может), то это именно будет результат, а не исходная точка, а priori установленная. Далее, самостоятельный мыслитель не предоставляет дело отличия истины от заблуждения процессу сопоставления различных систем, а выдвигает определенный критерий истины. Так стоит дело относительно "воззрений", *так же стоит оно и по отношению к "истории"*. Кто предлагает своему отечеству "брать хорошее отовсюду, откуда можно", то есть у себя ли дома или из-за границы, тот лишь в таком случае окажется политическим эклектиком, если: 1) не после, а до исследования решит, что хорошее есть везде, во всех политических формах или, вообще, формах общежития, и 2) не установит определенного принципа, на основании которого следует различать хорошее и дурное. О первом условии нечего и говорить. Что же касается второго, то литература шестидесятых — семидесятых годов имела совершенно ясный критерий политического добра и зла; а именно принцип интересов только что освобожденного народа" (стр. 155).

В этих важных словах, трижды повторяющих одну и ту же мысль, и содержится все серьезное, что есть в статье моего противника. Однако сравним их со следующим прежним твердым его утверждением:

"Задача наша не в том, чтобы выразить непременно самобытную цивилизацию из собственных национальных недр, но и не в том, чтобы перенести к себе западную цивилизацию целиком, со всеми раздражающими ее противоречиями: надо брать хорошее отовсюду, откуда можно, а свое оно будет или чужое — это уже вопрос не принципа, а практического удобства. По-видимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разговаривать не о чем" (Русская Мысль, 1892 г., июнь).

Из этого сравнения мы видим ясное отступление г. Михайловского от прежнего своего категорического утверждения. О безбрежной неопределенности выбора более и речи нет; высказывается ясное согласие, что должен быть некоторый определенный принцип, который сообщил бы единство выбираемому, придал бы целостность тому, что исторически возводится. Мозаика и эклектизм в принципе отвергаются.

Однако действительно ли они исчезнут, когда у той или у другой из борющихся партий будет этот избирательный принцип? Ведь партия — только коллективное лицо в истории, одно из множества лиц, которые все имеют право на свой принцип. Вот прошло четверть века — минута в исторической жизни народа нашего: тех людей, о которых говорит мой противник, уже нет, или они договаривают свои последние слова, а у нового поколения есть свои надежды и сомнения, своя вера, не похожая на прежнюю, — и что же: оно, как и предыдущее поколение, но

совершенно новое в истории; то же можно сказать об индуктивной философии Бэкона в отношении к силлогистической логике Аристотеля или об учении Канта в отношении к Юму, скептицизм которого он преодолел. Идеализм Фихте, Шеллинга и Гегеля есть переступание разума за границы, определенные для него Кантом, в вечно непознаваемый, по мнению этого философа, мир "вещей в себе".

в ином стиле будет возводить здание родной истории, с тем чтобы ту же свободу и неопределенность выбора оставить детям своим, внукам и т. д.? Где же, в таком случае, единство и цельность, а с ними и осмысленность у того великого лица, которое мы зовем историческим народом и ради которого хотим, чтобы были осмысленны и целыны все партии, все люди, все живое в его недрах, но, почему-то, не он сам?

II

Ясно, что на индивидууме только или на политической партии мы не можем остановиться в этом требовании единого, цельного принципа. Славянофильская теория и состоит вся в том, что распространяет это требование на целый народ. Или, точнее, она утверждает, что подобный принцип есть у каждого народа, что он скрыт в особенностях его духовной организации, в его преимущественном внимании к некоторым предметам и в преимущественных же к ним способностях. Нет повторяющихся великих миссий в истории, нет двух сколько-нибудь значащих народов, черты духовного образа которых сливались бы в одно лицо и труд которых был бы простым продолжением один другого. Нет двух Афин; есть только один Рим, нет аналогий папству; и даже нет их в таких уже незначительных культурных мирах, какие представляют собою в отдельности Испания, Франция, Германия или Англия. И только от этого жизнь всего человечества представляется нам как организованное целое, в котором каждая линия имеет свой особый уклон, выполняет свое особое назначение, а вовсе не сливается с другими линиями, не повторяет их в себе.

Внутри каждого из этих образующих историю течений нет, в свою очередь, совпадения интересов, тождества страстей, единства предметов, к которым склонено внимание. Напротив, все это различно, и отсюда борьба проникает каждый порознь элемент исторического организма человечества; но *борьба в формах, в типе того особого течения, где она совершается*. Была борьба за право в Риме, но это вовсе не то, что борьба религиозных сект в Иерусалиме; и так же мало та и другая напоминают собою борьбу рабочих масс с капиталистическим строем, которая разыгрывается или готова разыграться в Европе. Явления жизни, как и формы быта, одинаково принимают своеобразную печать у каждого исторического народа; и она налагается именно тем незаметным склонением, какое есть в каждой из тех линий порознь, о которых мы выше сказали, что они в своей совокупности образуют живой и осмысленный лик человечества¹.

¹ Говорим это в ответ на странное утверждение г. Михайловского, будто бы славянофильство усматривает в истории только два различия: "Восток" и "Запад", не замечая противоречий, который, например, раздирают "Запад". Но эти противоречия все суть *одного* типа, и славянофильство остается верно себе, утверждая, что перенесение которого-нибудь из них в нашу жизнь есть то же, что замена какой-нибудь своей черты быта западною или заимствование какого-нибудь учреждения.

Все это приводит нас к идее целесообразности в истории; там, где нет повторяемости явлений и форм, есть внутренняя причина, устремляющая каждую часть к своему особому назначению. Мы рассматриваем при этом историю как простое явление природы, как один процесс из мириада других процессов, которые все распадаются на два великих типа — определенные и неопределенные.

Во *первых* будущее — то, что настанет со временем, — тесно определено в прошедшем, точнее, в том незаметном ростке, из которого оно развивается. Таково растение, вырастающее из семени, в котором уже предустановлены законы его жизни и смерти, предопределены все его формы, все отличительные его особенности.

Во *вторых* — процессах неопределенных — прошедшее несет в себе определение только для первого момента будущего: напротив, его дальнейшие моменты определяются уже иными, побочными и внешними причинами. Чем станет этот камень, который я бросил, — это не определено ни в силе, ни в направлении, с которыми я его бросил: быть может, он пролежит до скончания века на своем месте; быть может, он будет перенесен на другое место — этого никто не знает, это теперь нигде не определено; быть может, он будет поднят и обработается в красивую вещь; быть может, размоется водой и станет горстью песка.

Нельзя не видеть резкого различия в этих двух типах процессов: в первых и законы, и силы развития заключены внутри развивающегося, и они ненарушимы, или, если нарушаются, происходит разрушение самого развивающегося существа; во вторых и законы и силы — вне изменяющегося предмета, и он вечен, неуничтожим, потому что представляет собою лишь косную материю, в которой нечему исчезнуть, которая лишь превращается, но, превращаясь, изменяет лишь вид свой, но не теряет ни одного из своих существенных определений (вес и состав).

Напротив, это определенное растение, умирая, теряет все свои существенные определения; горсть земли, которую оно стало, уже сохраняет только самые общие незначащие определения, какие были в растении (вес и пр.) и по которым мы никогда не узнали бы его, не отличили бы в ряду всех других предметов природы.

III

Принадлежит ли человеческая история к типу неопределенных процессов или определенных, имеет ли она аналогию себе в случайно брошенном камне или в развивающемся растении — это и есть вопрос, разделяющий славянофилов и западников.

Последние утверждают, что никакой народ не несет в себе каких-либо строгих определений; что эти определения налагаются на него внешними и побочными обстоятельствами; что эти обстоятельства могут быть предметом выбора — и от нас, от нашей свободной воли зависит, чем нам стать. Они смотрят на народ свой, как горшечник смотрит на массу глины, из которой по образцам, пред ним лежащим, или по мысли своей он лепит фигуру.

Напротив, славянофилы утверждают, что уже от самого начала всякий народ есть живой росток, а не безжизненная масса; что он несет

в себе очень тесные определения своей будущей судьбы и что очень резкое их нарушение, не сделав его лучшим, только может его разрушить.

Этот вопрос есть дело чистого знания, есть дело наблюдения над природой и размышление о ней.

Мой противник утверждает, что теперь нет более ни славянофильства, ни западничества, что реформы прошлого царствования упразднили их теории. Удивляюсь этому и не понимаю, каким образом мысль какая-нибудь может утратить свое значение иначе, как оказавшись ложною. Нет, славянофильство не умерло; оно все возрастает, все развивается; из литературной партии оно стало политической, но и этого недостаточно; обнимая мыслью свою историю, оно есть философское мировоззрение с очень определенными политическими требованиями, но еще с гораздо более важными взглядами на самую природу вещей.

Мой противник очень слеп к этой природе: он заключает ее в "бесконечные общие скобки" и, не различая сам ничего внутри их, хочет, чтобы и другие в них не видели никаких различий¹. Он негодует на меня, как решил я, говоря об исторических путях народов, упомянуть о высшей Воле, которой они повинуются, следуя этим путям. Кое-что в его гневных строках есть такого, чему я не мог не порадоваться: это уже не безбрежное хаотическое отрицание, какое слышалось в шестидесятые годы относительно всего религиозного. Но и противник мой — мой противник потому именно, что он — уже не сухие и тощие 60—70 года, не эти мистические Фараоновы коровы, пожравшие тучных волов прошлого: если не раздражением сердца своего, которым он всецело еще живет в 60—70 годах, то мыслью своею он то здесь, то там переступает за "простые и ясные мысли", какими довольствовались то время.

Итак, он ошибся, думая, что я лишь повторил, как эхо, чужой звук, сославшись на высшую Волю, направляющую пути истории. Внутри общей скобки, куда он хотел бы заключить природу и людей, я различаю ясно сферы свободы и необходимости, общих законов и частных случаев. *Res divinae* и *res humanae*² я не сливаю, как слепец, в одну "природу". Там, где оканчивается область механических перемен или где нет свободы для индивидуума, — я не вижу более ни слепой природы, ни игры человеческих страстей; и так как здесь еще не кончается для меня все, то за гранью механизма и произвола для меня ясно открываются *res divinae*.

Я думаю, есть разница в вызревании плода, этом таинственном сосредоточении сил и форм дерева в семени, которое оно готово уронить, и в падении с того же дерева листа, который оборван ветром. Так точно и в сфере истории: я вижу разницу в том, почему издается сегодня закон и завтра заменяется другим и почему то, что двадцать лет назад

¹ Вот слова его: "Устраним кощунственную ссылку на волю, вызвавшую народы к бытию. Без этой воли, как сказано, ни один волос не упадет с головы человека; это — бесконечная общая скобка, в которой совершается все, а потому нельзя на нее ссылаться в том или другом частном случае" ("Литература и Жизнь", стр. 165).

² Дела божественные и дела человеческие (*лат.*).

многим нравилось, что они любили и чтили, и я, и бесчисленное множество людей, теперь живущих, мы ненавидим это и презираем.

Сверх знаний, помимо способностей, есть темные и гораздо более важные стороны в душе каждого, которые также живут, к одному влекутся, от другого отвращаются и, в сущности, определяют наше отношение ко всему; определяют нас, но нами не определены. Есть эти стороны у индивидуумов, есть они у целых поколений — им общие, их соединяющие; будем ли отрицать мы, что они есть и у народов?

И если даже индивидуум не знает их ясно и только слепо повинуются им, хотя они действуют в нем одним и он мог бы отчетливо ощутить их, — то не гораздо ли менее сознают их целые народы, которым остается, следовательно, только повиноваться им? И они повинуются; но когда из этого безотчетного повиновения, из этого следования по путям, в которых дальше первого шага они ничего не видят, получается, однако, столь осмысленное целое как история, — мы должны думать, что где-то была определена и эта осмысленность.

Ведь и здание, строителя которого мы не видели, может, однако, своими чертами, своею прочностью и размерами дать нам некоторое о нем понятие. Но мой противник хотел бы видеть здесь только груду кирпича; "я не видел", "мне не рассказано", повторяет он, и не приходит на ум его, что ему остается еще подумать.

IV

Подвергая осмеянию идею о предустановленных путях истории, над которою, очевидно, он никогда долго не задумывался, мой противник считает достаточным привести несколько каламбуров. Ему кажется убедительным, если он напомнит мнение о французах фон-Визина: "Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее несчастье" (стр. 166), и остановится в недоумении, как же выдерживать им в своей истории эту черту? Увы, это только *bon mot*¹ старого доброго сатирика, и, я склонен думать, такими же *bons mots* были и его две знаменитые комедии. Не этим решаются вопросы истории, и о чем можно было весело шутить в XVIII веке, об этом можно задуматься более серьезно на исходе XIX.

Ведь я говорю о *действительном содержании* истории, а не об отражении ее частных в сознании людей — в литературе, в поэзии, будет ли то ода или сатира. Не было народов, которые, выступая на историческое поприще, несли бы в себе отрицательные только задатки или несли бы их как главное содержание. Среди недостатков, слабостей, между чертами смешными или порочными, каждый нес в себе утвердительное ядро, *им* именно жил, *на нем* основывал свое право на существование. Нет народов-отверженцев, только профанирующих историю; они все — любимы в ней, избраны, но одни к большему, другие к меньшему, в меру необходимости большего или малого для каждого времени.

¹ острота (*фр.*).

Г. Михайловский думает, что меньшее должно быть пренебрежено ради большего: в словах, которые, вероятно, кажутся ему патетическими, он отстаивает существование "вселенской истины", ради которой народы меньшие должны оставить свою особенную, ими любимую правду. Он видит в утверждениях моих "бледный образ смерти славянофильства" (стр. 168) и казнит меня "моим же судом" (стр. 168), как индифферентиста к "вселенской истине", чем никогда не были ранние славянофилы.

Он и не подозревает, к какому трудному вопросу подошел, как невозможно решить этот вопрос до конца ни в одну, ни в другую сторону. Без сомнения, абсолютные истины существуют, и, без сомнения, они должны бы быть наиболее дороги для каждого человека, и все он должен бы оставить ради них. Но по причинам, о которых нам ничего не дано знать, это приближение к абсолютным истинам невозможно для людей здесь, на земле, — не по слабости сил их, но потому, что это прикосновение к ним равнялось бы для них смерти. Жизнь, как движение, предполагает разнообразие в движущемся, — и там, где движущее есть истина, она предполагает собою обладание только степенями ее, но не ею во всей полноте, не в бескачественном ее совершенстве. И мы наблюдаем в истории, как не только подобное обладание, но и всякое страстное порывание к нему вызывало великие катаклизмы.

Вероятно, с этим именно связана преданность человека всему особенному, каждой частной форме жизни, какая дана ему, и с нею связаны ограниченные, но живые и действительные радости. Можно быть уверенным, что человек сам отойдет от этих частностей, раз пред ним явится истина в ее абсолютных чертах; но не без предвидения, до исполнения "времен и сроков", человеку внушено любить свое малое, и не ошибается он, думая, что в этой любви к малому сказываются лучшие черты его, к каким он, пока, способен.

Мы невольно вспоминаем при этом легенду о Дон-Жуане: в ней удивительным образом показано, как влечение к безусловной красоте, к совершенному идеалу, порождает отвращение ко всему действительному, живому. Если бы действительное, живое, более не чувствовало, мы, конечно, подобное влечение могли бы только одобрить. Но печальная истина состоит в том, что оно еще чувствует, что в нем еще нет идеала и что оставить его на одно презрение — это слишком трудно для человека даже при очень ярком сознании идеала.

V

Итак, пусть противник мой не драпируется в идеалы и лучше подумает о соблюдении маленькой правды, при которой нам легче будет выполнить свое простое дело. Мы возвращаемся к вопросу, который остается все-таки неразрешенным: может ли, исторически возрастая, какой-нибудь народ возрастать не цельюю единою жизнью? Может ли, осуждая свою действительность, заменять отдельные ее части частями иных живых организмов, соблюдением одного только условия, чтоб они были наилучшие? То новое, что получится через соединение этих разнородных частей, будет ли само так хорошо, как можно было бы ожидать, судя по этим частям?

Мы ожидаем на это ответа; но, в нетерпении своем, невольно припоминаем странный миф греков о Химере. В своей безбрежной фантазии этот народ, нам чудится, предупредил наши споры: он вообразил в самом деле, что было когда-то живое существо, у которого грудь льва и зад дракона были соединены туловищем козы. С тех пор народы, удивляясь невозможности этого соединения, сделали название этого чудовища нарицательным для всего неосуществимого. Но, кажется, греки в раннем своем воображении были ближе к истине: они верили, что Химера действительно существовала, что она обитала во Фригии и была убита Беллерофонтом. Поздние века оправдали их предположение, и только странно, что в этом приняли такое участие вечные носители тоскующих идеалов.

”Небесное Жуан все ищет на земле” — и, ненавидя действительность, усиливаясь отступить от нее, ее части берет в невозможных сочетаниях и создает из них новую действительность, для которой не нужно нового имени.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Н. Н. СТРАХОВА

- Н. Страхов.* Философские очерки. СПб. 1895 г.
— " — Мир как целое. Изд. 2-е. СПб. 1892 г.
— " — Об основных понятиях психологии и физиологии.
Изд. 2-е. СПб. 1894 г.
— " — О вечных истинах (мой спор о спиритизме). СПб. 1887 г.
— " — Из истории литературного нигилизма (1861—1865 гг.).
СПб. 1890 г.
— " — Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб. 1888 г.
— " — Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом.
Изд. 3-е. СПб. 1895 г.
— " — Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка первая.
Изд. 2-е (Герцен. — Милль. — Парижская коммуна. — Ренан.
— Историки без принципов. — Штраус. — Поминки
по И. С. Аксакове). СПб. 1887 г.
— " — Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая.
Изд. 2-е (Ход нашей литературы, начиная от Ломоносова.
— Роковой вопрос. — Наша культура и всемирное един-
ство. — Дарвин. — Полное опровержение дарвинизма).
СПб. 1890 г.
— " — Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка третья
(Итоги современного знания. — Ренан. — Тэн. — Ход
и характер современного естествознания. — Спор об "Рос-
сии и Европе" Н. Я. Данилевского. — Разбор книг. — Бе-
линский). СПб. 1896 г.
— " — Воспоминания и отрывки (Афон. — Италия. — Крым.
— Л. Н. Толстой. — Справедливость, милосердие и свя-
тость. — Последний из идеалистов. — Стихотворения).
СПб. 1892 г.
— " — Бедность нашей литературы. Критический и исторический
очерк. СПб. 1867 г.
— " — О методе естественных наук и значении их в общем об-
разовании. СПб. 1865 г.

I

Чрезвычайная вдумчивость составляет, кажется, главную особенность в умственных дарованиях г. Страхова, и она же сообщает главную прелесть его сочинениям. Их можно снова и снова перечитывать и все-таки находить еще новые мысли в них, которые или остались незамеченными при первом чтении, или впечатление от которых закрылось впечатлением от других, более важных мыслей. Эта особенность его таланта становится всего более ярка, когда переносишься мыслью от него к его другу, Н. Я. Данилевскому. Связанные тесною и многолетнею дружбою и единством убеждений, они были люди в сущности противоположного умственного склада. Н. Я. Данилевский разработал две громадные идеи, из которых одна положительная по содержанию, другая — отрицательная. Мы разумеем его теорию культурно-исторических

типов, развитую в книге "Россия и Европа", и критику дарвинизма, изложенную в двух томах неоконченного сочинения, которое носит название этой теории. По своему универсальному значению обе эти идеи высоко возвышаются над умственной производительностью нашего общества, и, конечно, чем далее ряды сменяющихся поколений будут отходить от нашего времени, тем яснее проступят перед ними величественные черты умственного здания, которое он пытался воздвигнуть. Но, подходя ближе к этому зданию, мы замечаем, что многое в нем выполнено просто и грубо, хотя в общем — всегда верно. Истинность и совершенство целого при грубости в обработке частей есть общая черта научно-литературных произведений Данилевского. Он всегда видел только главную идею, для которой работал; эта идея поглощала его мысли, и он менее внимательно смотрел на самый процесс выполнения. Оттого, раз прочитав его труды и согласившись с ним в главном, не имеешь охоты возвращаться к ним снова, зная, что не найдешь в них уже ничего нового. И, однако, самые идеи его уже входят в систему ваших убеждений, они не могут ни исказиться, ни забыться.

Совершенно противоположны по своему характеру труды г. Страхова. Его занимает слишком много мыслей, чтобы мы могли выделить которые-нибудь из них и, забыв остальное, сохранить только их. И, что в особенности важно, эти мысли отличаются чрезвычайной сложностью и тонкостью, они трудно усвоимы — и это несмотря на совершенную прозрачность языка. Они трудны не потому, что трудно выражены, но — сами по себе, именно как мысли¹. Все слишком ясное и простое, все умственно грубое не особенно занимает его, и если во 2-м томе "Борьбы с Западом" так много места отведено им теории Дарвина, то это, конечно, лишь из желания выяснить достоинства труда Данилевского и этим почтить память своего умершего друга. В действительности же теория эта, слишком простая и грубая, не могла надолго приковать к себе внимание критика, раз ее истинное достоинство стало для него ясно. С неудержимой силою его мысль влечется к темным и неясным сторонам в жизни природы, во всемирной истории и в вопросах общественных; он ходит около этих областей, тщательно взвешивает все, что о них думали выдающиеся умы разных времен и народов; и вывести из этой темной глубины хоть что-нибудь к свету ясного сознания — вот что составляет его постоянную и тревожную заботу. Отсюда вытекает необыкновенная оригинальность его мысли: вы никогда не увидите у него повторений того, что уже известно вам из других книг; отсюда же — отрывочность этих мыслей, их редкая законченность и вместе — обилие их. Первое происходит оттого, что он никогда не хочет говорить более, нежели сколько знает; второе — оттого, что, чем труднее занимающий его вопрос, тем менее он в силах оставить его и все с новых и новых сторон пытается его разрешить. Вот почему он не создал ни одного большого систематического труда: "заметка", "очерк" или, как дважды озаглавливает он свои статьи, "попытка правильной постановки вопроса" — вот самая обыкновенная и действительно самая удобная форма для выражения его мыслей. Они напоминают собою ажурную

¹ Сюда относится много удивительных и лучших страниц в "Общих понятиях психологии и физиологии".

работу необыкновенной тонкости и изящества, каждый уголок которой занимает вас, в которой вы открываете все новые и новые узоры, хотя издали она представляется однородною. Его труды — это не величественный храм, который издали привлекает путника, но удивительная и разнообразная орнаментация, которую он неожиданно замечает, войдя в него, и прихотливые изгибы которой уходят в неопределенную даль. Ничего крупного и резкого не запоминается в ней, но, долго всматриваясь в ее мелкие черты, начинаешь чувствовать пренебрежение и даже неприязнь ко всему умственно-грубому, что, отвернувшись, находишь снова в обыденной жизни и что раньше не казалось грубым. Она не столько входит какою-нибудь определенной мыслью в состав ваших убеждений, сколько изощряет вашу мысль и воспитывает ее, и, хотя бы предметом ее стали другие вопросы, на всем, что создается ею, лежит уже своеобразная печать.

Мы сказали об однородности впечатления, которое остается от чтения всех трудов г. Страхова. Это зависит от единства настроения, с которым писались они, и от цельности мысли, отсутствия разорванности в ней, несмотря на разнообразие предметов, которым они посвящены. Множество мыслей, переплетаясь и, по-видимому, перерывая друг друга, в действительности связываются в одну непрерывную ткань. Вы чувствуете, что, о чем бы ни писал он, — будет ли то научный вопрос, явление литературы, политическое увлечение — он постоянно думает о чем-то одном: в отношении к этому одному, не называя его, он высказывает все свои мысли, чего бы ни касались они прямым, точным значением своих слов.

Это сообщает его разнообразным критическим, публицистическим и научным статьям глубокую, хотя не резко выраженную сосредоточенность. Следя за направлением, в котором она возрастает, мы открываем две идеи, которые, не будучи центром всех его мыслей, стоят наиболее близко к нему; самого же центра он никогда почти не касается словом; *о чем он постоянно думает, он не говорит совсем*. Вы только чувствуете этот центр, открываете его из общего течения его мысли и из общего настроения, под которым он писал все свои труды.

Два ближайшие к центру сосредоточия, о которых заговорили мы, — это, во-первых, идея рационального естествознания и, во-вторых, идея органических категорий как особых понятий, исходя из которых можно было бы, наконец, пролить объясняющий свет на никогда не разгаданную область жизни и смерти. Первая идея установлена в самом почти раннем и наиболее цельном, закругленном труде его: "Мир как целое; черты из науки о природе"; вопрос о вторых уже поставлен им в первом не специальном его труде: "О методе естественных наук и значении их в общем образовании", и к нему же вернулся он снова и с величайшею энергиею в позднем и лучшем труде своем: "Об основных понятиях психологии и физиологии". Нужно прочитать обе эти книги, чтобы понять всю глубину мысли, которая заложена в них, чтобы дать себе ясно отчет во всей гениальности догадок, которые здесь высказаны, но, к сожалению, не развиты¹. Об идее рационального естест-

¹ См. об этом предисловие в книге "Мир как целое и пр.", стр. IX.

вознания написано им немного, и, однако же, она совершенно ясна из этого немногого; напротив, об органических категориях написано им гораздо более, и между тем сущность их, точное значение и формальное определение гораздо менее ясны. Очевидно, он встретился здесь с гораздо более трудным вопросом, который не столько разрешил, сколько твердо выставил и резко указал на него как на такой, без предварительного решения которого все труды натуралистов осуждены вечно оставаться только собиранием бессмысленных фактов, а не созиданием науки в истинном и строгом значении этого слова.

Неверность надежды достигнуть когда-нибудь полного проведения первой теории по всей области естествознания и ясности в разрешении второго вопроса была, вероятно, не единственной причиною того, что г. Страхов не посвятил этим двум задачам всей своей жизни, как хотел сделать это вначале¹. Мы сказали уже, что идеи эти, стоя ближе всего к центру его интересов, однако, все-таки не составляют этого центра и он, предавшись им, не мог закрыть глаза на то, что вечно и неумолкаемо тревожило его мысль. Он сошел с пути чистого естествознания и, весь руководимый одною мыслью, обратился к разнообразным сферам истории, литературы, политики, как будто повсюду и в них продолжая искать чего-то, чего не нашел в естествознании за несовершенно ясным решением двух главных вопросов, занимавших его там. В явлениях литературы его более всего интересуют произведения, в которых среди мимолетного и бегущего уловлены вечные черты человеческого существа и вечные основы, по которым движется жизнь народов. Отсюда — восторг, который он почувствовал при появлении "Войны и мира" гр. Л. Н. Толстого, и лучшая оценка им этого произведения, какая была сделана до сих пор в нашей литературе; отсюда — его колеблющееся отношение и, наконец, неприязнь к Тургеневу, который ради интереса к текущему и временному в человеке пренебрегал этим вечным в нем. Отсюда же вытекает его глубокий интерес к отрицательным и разрушительным явлениям в истории Западной Европы — к французской революции, к падению философии, к особенному характеру, который приняло там естествознание. Он с любопытством всматривается во все эти явления, старается уяснить смысл их возникновения и точные причины, которые сделали его возможным. Но эта научная сторона в его взглядах на текущую историю есть только предварительная ступень к тому, что всего более занимает его: он пылливо всматривается в лица людей, которые идут впереди этого исторического движения, и ищет в них выражения тревоги и смущения. Он как будто спрашивает: "Как вы будете жить, заглушив в себе вечные потребности человеческой души? Что вы поставите на место их и, чего бы ни достигли вы в жизни, что почувствуете вы в самих себе?" Симптомы этой внутренней тревоги с пронизательностью человека, слишком много пережившего в себе, он отыскивает в великих представителях современной западной литературы — в Ренане, Штраусе, Д.-С. Милле, у нас — в Герцене. Отсюда — ряд удивительных его статей об этих писателях. Можно сказать, что их духовная физиономия, внутренний и скрытый центр их деятельности, так

¹ См. в особенности объяснение кристаллических форм в минералах и теорию внешних чувств человека в книге "Мир как целое".

хорошо известной и так мало понятой, впервые раскрылись в своем истинном значении в этих статьях. Объективное значение трудов этих писателей, их содержание и то новое, что оно пытается внести в науку, — все это, как второстепенное и имеющее пройти, оставлено в стороне г. Страховым. Он рассматривает эти труды не в их значении для читателей, но в их отношении к самим писателям, как показателей их внутреннего настроения. Именно оно служит предметом его постоянного размышления как момент в развитии человеческой души, как исполненная захватывающего интереса страница из судеб человеческой совести в истории.

Здесь мы подходим к тому, что уже не *около* центра постоянных размышлений нашего автора, но составляет *самый* центр в нем, в его деятельности и многолетних исканиях. Искусный в определении скрытого нерва других, он ни разу не вскрыл перед читателями своего собственного, высказав о том, что его постоянно, в сущности, занимало, лишь немного отрывочных слов, сказанных по поводу чего-нибудь постороннего и только произнесенных с чрезвычайною вдумчивостью. Есть известие, что самый религиозный народ в истории — еврейский — никогда не произносил имени своего Бога и не писал его всеми буквами, так что древний звук этого имени наконец утерялся и в поздние и менее религиозные времена стал предметом разысканий, но уже тщетных. Нечто подобное мы наблюдаем и во многих писателях. Как будто какой-то страх удерживает их говорить о том, о чем одном они хотели бы говорить, и они только подводят читателя к этому главному, но, подведя, — сами ничего о нем не произносят. Боязнь сказать что-нибудь не так, ошибиться хоть в одном слове о предмете столь важном, все-таки есть не единственное, что закрывает им уста. Тут есть действительно нечто целомудренное, есть резкое сознание нежелание выносить словом из своей души то, что составляет самую сущность этой души и потому должно быть навеки схоронено в человеке, должно быть цельным и нерастерянным возвращено им туда, откуда оно пришло.

От этого, вероятно, происходит, что о некоторых важнейших сторонах человеческого существа и человеческой жизни оставлено так мало истинно ценных слов во всемирной литературе и так много посредственного и ненужного. О них говорили люди, которые даже не понимали, о чем, собственно, они говорят, и часто молчали те, которые могли сказать нечто действительно значительное. Но, хотя изредка и почти всегда не прямо, эти слова иногда произносились, и они все запомнены человечеством, как самые дорогие для него. В образах поэзии, в идеях философии и гораздо реже в прямом учении во всемирной истории было создано хоть и немного, но зато такое, что и сообщает ей все значение, в чем и лежит ее главнейший смысл.

Религиозное составляет область самую важную из тех, которых изредка действительно достойным образом умел касаться человек. Все великие умы в истории явно или скрыто тяготели к этой области, и даже по степени, в которой они испытывали это тяготение, можно судить об их сравнительной силе. Но говорить о ней что-нибудь они не могли, и это было причиною, почему они избрали для себя иные сферы деятельности — искусство, науку или философию, реже — политику; однако на всем этом уже отразилось то главное тяготение, которому они были

подчинены. Они любили и хотели только религиозного, но, не осмеливаясь любить его прямо, любили его сквозь науку, философию, поэзию. И в то время как, более чувствуя, нежели зная истинный смысл этого тяготения, они о нем молчали, — все остальные, от которых не могло укрыться это странное тяготение, пытались определить его причину, начали произносить о нем — то положительно, то отрицательно — бесчисленные пустые слова. Так образовалась необозримая, у всех народов, литература о предметах религии, где все они уже давно объяснены, классифицированы и рассказаны. Но, как само собою ясно, эта литература в действительности не столько касается религиозного, сколько появилась потому, что религиозное действительно существует в человечестве.

В статье "Место христианства в истории"¹ мы уже имели случай высказать, что для народов арийского племени, вследствие особенностей их психического склада, религиозное доступно с особенным трудом: они чувствуют его почти всегда не прямо, редко без искажения и большей частью через посредство других народов. Сфера знания, политической деятельности, объективного воспроизведения природы и жизни в искусстве есть настоящая сфера их деятельности, и она-то составляет неумолкаемый шум истории, который тысячелетия стелется по земле, изредка поднимается над нею, большею же частью низко к ней склоняется. Подобно тому как для народа неарийского племени странно и чуждо было бы заинтересоваться внешними очертаниями окружающих предметов и он с удивлением, как на нечто непонятное, посмотрел бы на попытку найти их геометрическое определение, так точно для арийца странно и чуждо исключительно религиозное настроение и обращение мыслью к тому, что служит его вечным источником. И только встречая у некоторых народов постоянным и всеобщим это настроение, он невольно задумывается над ним и, даже усвоив, перелагает, согласно с своею психическою природою, в форму идей о религиозном и знания о нем. Но и тогда, при всех средствах воспитания извне, даже делая знание религиозного предметом своих постоянных занятий, ариец редко достигает того, чтобы и все внутреннее его существо обратилось к религиозному, чтобы оно перестало наконец быть для него чем-то внешним и лишь занимательным или практически нужным.

Изредка появлялись, однако, среди этих народов люди, в которых ограниченность их племенной природы как бы поддавалась, и они самостоятельно и изнутри себя начинали ощущать религиозное. Но, поддавшись отчасти, эта природа в главном все-таки сохранялась, и вот почему, не будучи в силах прямо обратиться к религиозному и живо чувствуя недостаточность только внешнего обращения к нему других людей, они искали его в природе — то изучая ее явления, но как будто с мыслью о ней, — то изображая ее красоту, но как будто чувствуя при этом красоту чего-то иного.

К ряду людей этого типа, очень немногих и очень редких, принадлежит и разбираемый нами писатель: религиозное составляет ни разу не названный центр постоянного тяготения его мысли. Оттого и предметы,

¹ Сборник В. Розанова "Религия и культура". Изд. 2. СПб. 1901 г., стр. 1—22.

над которыми он вдумчиво останавливается, так разнообразны, что ни один из них не занимает его сам по себе, но лишь в отношении к иному, о чем говорить прямо он не хочет и не может; оттого и люди, к мысли которых он прислушивается, так до странности несхожи: это и Кювье, недавний творец трех точных наук, и старик Платон с его полузабытыми "идеями", и наш мистик Лабзин, цитату из которого не поместил бы в своей статье ни один ищущий популярности, но несколько не ищущий истины современный журналист. Он проследил каждый изгиб мысли в Герцене и в Ренане, а потом захотел поехать на Афон, чтобы и там посмотреть, как чувствуют себя и что думают несколько странных анахоретов: тот же ли встревоженный у них взгляд и то же ли смущение, которое он подметил в так хорошо знакомой ему Европе? Впечатление, им вынесенное оттуда, было иное, но он уже так отвык говорить собственно о том, что его занимает, чего он ищет в людях и в жизни, что он и здесь о главном умолчал и только с удовольствием рассказывает о своей поездке в этот своеобразный уголок Европы, столь на нее непохожий.

Всех людей подобного типа можно назвать скорее ищущими, нежели уже нашедшими, и вот почему так много в европейской литературе произведений религиозного характера, написанных под конец жизни людьми, которые о своем интересе к религии прежде ничего не говорили и только отрицательно относились к тому, что обычно грубо писалось о ней их современниками. Они не хотели говорить, пока не нашли, и, не дойдя до конца, — не могли удержаться, чтобы не высказать хотя в несовершенной форме того, чего не успели для себя выяснить, но к чему тяготела всегда их мысль. Это тяготение, однако, скрыто определяет сферы знания, литературы или искусства, которым была посвящена и вся остальная их жизнь. Оно же определило и круг интересов разбираемого нами писателя.

Граница между материальным и духовным — тот узел, где мы видим, как теряются они, но не видим, как они связываются, — составляет главный предмет внимания г. Страхова. "Человек — вот узел мироздания, его величайшая загадка и, если бы ее удалось объяснить, — совершенная разгадка этого мироздания", — говорит он не один раз в своих трудах¹. Законы внешней, механически устроенной природы, как и законы чистой психической деятельности, хотя и занимают его, но менее, нежели та неясная область, где каким-то непостижимым образом они переплетаются и взаимно переходят друг в друга. Оттого физиология — его любимая наука, и в ней эмбриологические процессы — предмет его усиленного внимания; и, рядом с этим, предметом неустанныго же внимания служат для него глубокие и скрытые движения человеческого сердца в истории, его вечные потребности, без удовлетворения которых человек не может жить и которые отразились в литературных и философских произведениях — все равно Лабзина или Платона. С величайшею отчетливостью он видит то, что с противоположных концов, как исключительно материальное и как чисто психическое, подходит к этому узлу и, точно бледнея, теряет ясность своих очертаний и наконец

¹ См. об этом в особенности "Мир как целое".

становится неуловимым, когда входит в него. После долгих мыслей, он наконец решается отвергнуть представление, к которому мы все так привыкли: организм, говорит он, вовсе не есть предмет или существо; это есть *процесс*, последний в природе, через который выделяется из нее духовное: создание его, — этого духовного, вызвало все особенности организации как необходимые свои условия¹. Мы видим, что в этих простых и кратких словах содержится новая точка зрения на две великие области, органического и психического, связь которых представляется столь неуловимой. Мы ожидали бы, что вслед за установлением этой точки зрения он начнет искать ее оправдания на всех частностях организации; но он только определяет задачу физиологии словами: показать, почему для появления духовного та или иная и, в конце концов, каждая черта организации есть условие необходимое, — и затем переходит к иным областям знания, всюду и там останавливаясь лишь на общих точках зрения и не проникая в глубину частного. Этот единичный пример лучше всего может объяснить, каким образом он не сделался ученым натуралистом. Слишком большая субъективность, отсутствие способности заинтересоваться подробностями так же сильно, как и целым, помешало ему разработать до конца какую-нибудь мысль, и вот почему он повсюду не обосновывает теории, но только роняет семена, из которых могли бы вырасти прекрасные теории, только вкидывает различные вопросы или ограничения в разработку науки другими или резко порицает их, когда они уклоняются от своих задач.

Подобное резкое порицание ему случилось высказать, когда в недавнюю пору увлечения спиритизмом наши ученые перемешали все области и стали отвергать, ради утверждения духовного, ненарушимость законов внешней механической природы. Подобное грубое заблуждение не могло не вызвать протеста со стороны человека, уже десятилетия стоявшего над вопросом об этом же духовном и ясно видевшего, где лежит узел его разрешения. С необыкновенною силой он утвердил непреложность и вечность законов материальной, физической природы; и не только ему самому, но и каждому постороннему читателю, без сомнения, больно и трудно было видеть, как самые ясные его слова о том, где нужно искать духовное, как будто пропускались мимо и явился удивительный вопрос среди небрежных его противников: "Да уж не скрытый ли он материалист?"

II

Человек, так напряженно живущий мыслью, не мог не стать рационалистом, и хотя г. Страхов нигде этого не высказывает, однако для всякого его внимательного читателя не может не стать ясным глубокий *теоретизм* всего его душевного склада. У него нет трактатов по логике или метафизике, все его писания удивительно просты, и, однако, за простотою этою невольно чувствуется присутствие громадной теоретической работы, которая совершилась в духе писателя и только последние результаты которой мы видим в его утверждениях и отрицаниях, всегда

¹См. там же.

просто выраженных и в то же время глубокомысленных до трудности усвоения.

Главный и, может быть, лучший сборник своих статей г. Страхов озаглавил: "Борьба с Западом", и это невольно должно удивлять каждого, кто хорошо освоился с его умственным миром. Автор, так озаглавливающий свои статьи, не впал ли в недоумение относительно самого себя? Так точно разграничивая все области знания и не терпя смешения их с другими, верно ли определил он свое собственное положение между двумя великими духовными областями — ветхой и мудрой, которую он нашел на Западе, и юной еще, неразвитой и часто нелепой, которую он находит вокруг себя и которую иногда так страстно ненавидит? Правда, к России и к ее будущему обращены все его надежды и желания, но он не публицист, он прежде всего мыслитель, и какими же мыслями живет он? Разве не ясно для всякого, что духовный мир Европы, глубокие идеи ее философии, чудные и сложные здания ее наук — это то самое, во что врос он своею душою, что живет в нем такою могущественною и яркою жизнью, как, быть может, в немногих и европейских. Встречая в различных местах его книг слова, в которых он отделяется от западников и становится на сторону славянофилов, недоумевающему читателю невольно хочется спросить его: "Разве в Вас есть это соединение простоты и ясности созерцания, которое присуще нашему народу и отразилось в простоте и ясности его великих поэтов, каковы Пушкин и автор "Семейной хроники"? Разве с жизнью *нашего* народа связаны Ваши самые глубокие интересы? Знаток и любитель поэзии, зачитывались ли Вы когда-нибудь нашими былинами, заслушивались ли народную песню, следили ли с интересом за прихотливым вымыслом народной сказки? Разве Вы знаете хорошо русскую историю? Ценитель поэзии "преданий русского семейства" в "Капитанской дочке" и в "Войне и мире", разве Вы искали ее когда-нибудь в русских мемуарах? И, напротив, разве Вы с большим интересом говорите даже о Пушкине, чем о Ренане и Штраусе? Разве Вы писали о всех переменах прошлого царствования столько, сколько о дарвинизме? Разве самая идея культурно-исторических типов занимала Вас сильнее, нежели идеи Клода Бернара об общей физиологии? Если когда-нибудь появлялся писатель столь мало местный и так слабо связанный с текущею действительностью, то это именно Вы. Вековые вопросы всего человечества, искание "вечных истин", как озаглавили Вы один сборник своих статей, — вот Ваша постоянная тревога, главный смысл Вашей жизни, и неужели, столько поняв, Вы не поняли смысла всей Вашей деятельности?"

Повторяем, мнение это невольно, и может пройти много лет прежде, чем для читателя прольется на него хоть какой-нибудь объясняющий свет. Повсюду, полемизируя с западниками, он поправляет их понимание главнейших идей, которыми живет Европа, и нередко поправляет в знании ее литературы и философии. Однажды, делая подобную поправку, он замечает: "Для того чтобы хорошо понимать Европу, конечно, менее всего нужно быть западником". В словах этих как будто слышится признание, что именно глубокое вникание в духовную жизнь Европы, долгое и постоянное вращение в сфере ее идей и интересов произвело в конце концов и его собственное отчуждение от нее. В "Воспоминаниях о поездке на Афон" есть несколько любопытных строк,

бросающих свет на характер этого отчуждения, быть может более желаемого, чем уже достигнутого. "Имея два месяца свободных, — рассказывает он, — мне *хотелось присоединиться душою к какой-нибудь людской жизни, идущей не по тем началам, по которым мы живем...* Но где же искать другой жизни? Европейские нравы и обычаи уже распространены по всему земному шару; везде власть и движение, рост и сила принадлежат Европе, а всякая другая жизнь лишена развития и будущности. Сотни миллионов людей, *еще не уподобившихся европейцам*, составляют лишь служебное, рабочее, податное население, которое уже не может мечтать о своеобразной культуре, о каком-либо участии в ходе истории человеческой". Он думал сперва о поездке в Египет, но мысль, что и там он найдет ту же Европу, какую можно видеть и в Петербурге, те же пароходы, гостиницы и итальянскую оперу, остановила его. Он был в затруднении, куда поехать: "Не то же ли самое и везде, что в Египте? *Везде остались только обломки и дребезги былой жизни*, везде туземное население на заднем плане, *лишенное средоточия и самобытного движения*, а на первом плане живет и движется Европа". Ему пришло наконец на мысль поехать на Балканский полуостров; и что же? Не в родные славянские страны потянуло его и не в чужую Грецию, где он мог бы еще увидеть памятники так ценимой им, так понимаемой античной жизни. Он останавливается на стране, которая должна бы быть ненавистна и отвратительна для всякого русского и каждого славянофила: он вспоминает, что "у нас под боком есть страна, представляющая высокую занимательность новизны и оригинальности. *Сама страшная Азия, последняя могучая форма восточной жизни, еще царит в Константинополе*; на самом Европейском материке еще сохраняется грозное некогда владычество турок". Целью его поездки сделался Константинополь, а по близости соседства он посетил и Афон.

Во всяком случае, как странен тон всех приведенных слов и как странно самое желание поехать посмотреть базары и мечети Турции, чтобы хоть там забыться от впечатлений Европы, от которой некуда теперь уйти. Как не похоже это на все, что обычно говорят наши путешественники. Г. Страхов сам, впрочем, не скрывает этого различия: "Куда ехать? зачем ехать? — спрашивает он самого себя несколькими страницами выше. — Спасать свою душу одинаково надобно и возможно на всяком месте, и *от души своей никуда спастись невозможно*. Да и вообще, не везде ли вокруг нас люди, а перед нами земля и небо, все стихии природы и жизни человеческой? *И счастлив, конечно, тот, кто прямо живет этими окружающими его стихиями, кого не тянет вдале, кто почерпает свою душевную пищу из близкой и родной почвы*. Для таких людей путешествие не может иметь глубокого интереса; оно всегда будет для них только забавою, только охотою".

Лишь на два месяца оставляя город, где Европа свила одно из своих гнезд, он бросает взгляд назад и произносит о людях своего времени и своего положения несколько слов, которые поражают своею верною и проникнутою какою-то грустью: "Мы, русские, легко вникаем в чужую жизнь, легко отдаем чужим понятиям, и нельзя не сознавать, что, большею частью, мы этим портим свою душевную деятельность. Если бы мы были посерьезнее, то нас должно бы ужасать то *отсутствие крепких связей со всякою жизнью, и со своею и с чужою*, которое у нас так

часто встречается. Все мы понимаем, всем умеем интересоваться, и ничем серьезно не заняты, и ни к чему не питаем глубокого, кровного участия, кроме разве своих мелких личных выгод и прихотей. *Вследствие долгого умственного блуждания по разным эпохам истории и народам земного шара, русский образованный человек часто по душевному складу бывает похож на отжившего старика, невольно пришедшего к той степени отвлеченного понимания, на которой все вещи равны и нет уже ничего ни нового, ни важного, а все сливается в однообразном потоке вечности*".

Как напоминают эти слова другие жалобы, которые он подслушал у Герцена, — на холодный мир абстракций, который окружает наконец душу человека, слишком сильно живущего теоретическою мыслью. И весь тон приведенных строк, и сам странный замысел посетить Турцию и Афон — не пробуждает ли все это в уме далекое воспоминание об одном писателе же, о великом и странном поэте, который оставил, и навсегда, свою родину и поехал в те же страны, с тою же мыслью прильнуть к новой, еще не испытанной и первобытной жизни; и там погиб, сражаясь за свободу восставшего народа? Но о чем поэту мечтается, что он хочет сделать и делает, то мыслителю всегда хочется только видеть.

Не будем, однако, вдаваться в аналогии и сближения, которые могли бы повести нас слишком далеко. И без них не может не стать ясен особенный смысл вражды против западничества, который мы встречаем у г. Страхова, но находим также и у других славянофилов. Есть в европейской цивилизации одна черта, которую очень трудно объяснить, трудно понять, но которой невозможно не почувствовать всякому, кто внимательно к ней присматривался. "Страна святых чудес" — она неудержимо влечет нас к себе, и все, что находим мы в ней, мы не можем не одобрить, не в силах бываем отрицать. Сколько душевной красоты разлито в ее истории — в этих крестовых походах, в ее свободных коммунах, в величественном здании средневекового католицизма и в том полном одушевления восстании против него, которое мы называем Реформациею! Где найдем мы этот трепет жизни, какой наблюдаем в Возрождении, где увидим ясновидцев-художников, как Рафаэль и Мурильо, и окутанные вечным полумраком чудные кафедралы, стены которых возводились благочестивым населением целых городов? И какою мыслью все это облито — мыслью еще более, нежели красотою! Станем ли говорить мы, что все это только внешность? Не будем ни обманываться, ни обманывать: именно обилие духа неудержимо влечет нас к этой цивилизации, глубокая вера, скрытая в ее истории, чрезвычайное чистосердечие в отношении к тому, что она делала в каждый момент этой истории, к чему стремилась, чего хотела. Разве эти художники, которые постом и ночью молитвою приготавлились к своему труду, не были глубокие люди? Разве перепуганные и обрадованные спутники Колумба, запевшие "Тебе Бога хвалим" на цветущем берегу новой земли, не были верующие? Оставим ложное и злое в своем отношении к Европе — оно недостойно нас, недостойно того смысла, уразуметь который мы хотим, подходя к ней.

Этот глубокий, странный и необъяснимый смысл заключается в том, что, чем глубже входим мы в духовный мир Европы и чем теснее

сливаемся с ним, тем сильнее поднимается в нас чувство странной неудовлетворенности, необыкновенной душевной усталости; и — что особенно замечательно — эта неудовлетворенность и усталость испытывается и самими европейцами — именно теми из них, которые являются глубочайшими и последними выразителями ее начал, движущих ею идей. По-видимому, усвоение правильных мыслей ее философии и строгих истин ее наук должно бы удовлетворить разум, который и не ищет ничего, кроме истины, и не стремится к иному, кроме как к правильности в своем мышлении; чувство должно бы испытывать тем большее наслаждение, чем совершеннее мир красоты, который перед ним раскрывается; воля должна бы быть удовлетворена стройностью всех учреждений, через посредство которых она действует на народные массы. И это удовлетворение всех способностей человеческой души действительно испытывается: оно-то и вовлекает все народы в своеобразный и чудный мир европейской цивилизации и делает неотразимыми удары, наносимые ею прочим культурам, от которых всех теперь остаются почти только "обломки", — она же одна неудержимо и могущественно разрастается по земле. Но так должно быть до конца, потому что окончательное совершенство мысли, последняя красота искусств, полнота всех учреждений еще более должны бы удовлетворять требованиям человеческой души, нежели все это в несовершенной степени, только на пути к идеалу. И вот именно здесь-то, где еще один шаг — и окончательное, вечное торжество европейской цивилизации было бы несомненно, обнаруживается то странное явление, о котором мы заговорили, и неожиданно раскрывает двусмысленный характер этой цивилизации, заставляющий некоторые народы пугливо сторониться от нее.

Мы утверждаем только факт, без каких-либо объяснений к нему. Нужно читать великие произведения европейских поэтов, нужно всматриваться в создания искусств, чтобы почувствовать всеобщность и постоянство этого факта. Что может быть выше, нежели "Фауст"? А сколько невысказанной грусти залегло в это чудное создание, в это соединение высочайшей красоты и самой глубокой мудрости. Нужно читать воодушевленные страницы Байрона, Шатобриана, Руссо, Ламенэ и множества других писателей, чтобы увидеть повсюду, что, чем глубже проникали они к тем скрытым силам, которыми движется европейская история, тем более покидал их дух светлой радости. И то, что наблюдаем мы в частностях, разве не очевидно для всякого и в целом? Разве когда-нибудь достигало развитие наук такой высоты, как в XIX в.? Не в этом ли столетии жили самые великие поэты? В какое время еще в европейской цивилизации было столько могущества; в ее движениях — столько силы и правильности; когда она давала народам столько покоя; так заботливо охраняла каждого; столько предоставляла всем наслаждений, и умственных, и эстетических? А удовлетворены ли эти народы? Кто, кроме дурных, подходит к этим наслаждениям? Не ищут ли лучшие скорее какого-то страдания и не странен ли этот факт? Кто не смутится от него и не задумается над смыслом европейской цивилизации и истории?

Мы все понимаем только в частностях, смысл же целого от нас скрыт. Проследить, откуда именно произошло это странное явление, что наилучшим образом посаженное дерево приносит столь горький плод, — мы не в силах. Одно несомненно для нас — что в европейской

цивилизации есть какое-то странное искривление; что, будучи столь правильной *в частях*, она заключает что-то ложное *в своем целом*, — и то, над чем трудилось столько поколений и с такими надеждами, вовсе не достигает цели, ради которой над ним трудились.

Очевидно, какое-то тонкое и глубокое зло, которое мы не в состоянии различить, анализировать и понять, вошло в целый строй европейской цивилизации; и для того, чтобы наука достигла когда-нибудь возможности оценить его, по-видимому, ей нужны гораздо более глубокие сведения о природе человеческой души и о строе исторического развития, нежели какими она обладает теперь. Мы же можем пока только чувствовать, что совершилось что-то похожее на древнюю историю о том, как некогда голодный сын старого отца променял свое первенство и связанные с ним обетования на чечевичную похлебку. Что-то невознаградимо дорогое, без чего невозможно жить, европейское человечество утратило, созидавая свою цивилизацию, и томится, войдя в ее чудные формы.

Здесь именно и лежит разгадка наших особенных отношений к Западной Европе и причина возникновения двух великих партий, которые в течение целого столетия разделяют нашу литературу и наше общество на два враждующих лагеря. Не раз проводилась мысль, что значение этих партий уже минуло теперь, что никто более не может в настоящее время оставаться ни чистым западником, ни исключительным славянофилом. Напротив, мы думаем, что спор этот не кончен, и даже утверждаем, что значение его далеко переступает тесные границы национального и имеет всемирно-историческую важность. В подобном же отношении к западноевропейской цивилизации, в каком стоит и наш народ, стоит и длинный ряд других народов, но только у нас возник вопрос: следует ли, оставив пути самостоятельного развития, вступить на путь европейской цивилизации или удержаться от этого? Другие же народы вступают или готовятся вступить на этот путь, не задавшись вопросом, которым так смущает нас. Ясно, что то или иное решение, которое мы вынесем для него, будет иметь значение и для всех других народов.

Различие в отношении к частному и к целому составляет узел всех этих вопросов — всего, что мы решали и не умели решить, и всего, что нам предстоит разрешить, с трудом гораздо большим, нежели мы когда-нибудь думали об этом. Когда — два века назад — совершался перелом в нашей истории, великий государь, ведущий за собою наш народ, видел перед собою также только частное и к частному же относилось каждое его деяние, всякий его замысел и каждый поступок. Частное же в европейской цивилизации невозможно не одобрить и нельзя удержаться от того, чтобы его не принять. Отсюда — твердость деятельности Петра, отсутствие каких-либо сомнений в ее благотворности, при величайшей любви к своему народу, при жертве будущности его — себя, себе близких и целого поколения этого народа. Не могло быть сомнения о том, нужно ли, оставив прежний строй войска, завести регулярное, — когда первое били, а второе било; нельзя было оставаться при прежнем судостроении и при неопытных матросах и не ввести перемен, сводившихся к тому, чтобы люди не тонули более в море и суда не разбивались. И во всем другом, также, вопрос сводился к ясной и простой дилемме: нужно ли данное дело совершать по-прежнему

дурно или как-нибудь иначе и хорошо? И следует ли нам, как и прежде, всегда ожидать неуспеха или стремиться, надеяться и, наконец, достигнуть успеха? Деятельность имеет всегда предметом своим конкретное, единичное, она не может коснуться общего иначе как через это конкретное, улучшая которое составляет задачу всякого практического деятеля. Европейская же цивилизация содержит в себе *неопределенное множество улучшенных форм всего частного*, и притом во всех направлениях, и каждый раз, когда мы думаем об улучшении, наш взор всегда и невольно обращается к ней. Здесь и лежит ее неотразимость, и здесь же тайная причина того, почему с вопросом об отношении к ней всегда связывается вопрос об отношении к прогрессу как просто *улучшению*, в абстрактном значении этого слова. Прошло два века со времен Петра Великого — и целая группа людей с утонченным умом и благородными характерами фанатично борется против его дела, видит в нем гибель дорогой России; и всякий раз, однако, когда им предстоит не говорить и мыслить, но *делать*, они делают то самое и так именно, что и как делал и он. Разве, желая издать "Семейную хронику" своего отца, И. С. Аксаков не заботился о том, чтобы печатание книги было наиболее скоро, дешево и красиво? Когда заболел он сам, разве он не послал за медиком, наилучше изучившим природу и свойства болезней и способы бороться с ними по наилучшим книгам и у наиболее опытных учителей? И далее, когда уже существуют в стране движение и торговля и прорыты дороги, облегчающие все это, разве может быть какое-нибудь сомнение в том, что ездить по ним скорее — лучше, чем медленно, что устать при этом тяжело и было бы лучше не устать, что платить дорого — трудно, а дешево — легко? Но точно так же и министр, ведению которого поручено образование подрастающих поколений целого народа, разве не должен тревожно заботиться о том, чтобы обучение происходило по наилучшим книгам и с помощью наилучших методов; чтобы сведения, выносимые детьми из школы, были обильно и твердо усвоены? Разве не должна была смущать другого министра несправедливость в судах, запутанность и противоречия в законах, невообразимая медленность каждого процесса — и все они не должны были поступать так же, как поступал Петр Великий в своих заботах об армии, флоте и администрации? И таким образом все мы, от государя и до последнего бедняка, руководимые целью делать каждое дело наилучшим образом, все более и более втягиваемся в форму европейской цивилизации, где уже все и во всех направлениях улучшено в наибольшей степени.

Абстрактность улучшенных форм и составляет могущество европейской цивилизации, универсальность ее характера и всемирность ее стремлений; ею одерживает она все победы, даже и не стремясь к ним, невольно; против нее бессильны бороться другие культуры, или тая и претворяясь в формы этой цивилизации, или разбиваясь при встрече с нею. Народы, некогда столь же слабые, столь же грубые и темные, так же гибнувшие в борьбе с природою и между собою, как и другие, не захотели переносить своих страданий, как терпеливо переносили их те. Более ярко, чем все другие, чувствовали они несправедливость — и не захотели мириться с нею; вдумывались в причины бедствий, которые наносила им природа, — и стали бороться с ними. Шаг за шагом, в течение полутора тысячелетий они переходили от улучшения к улучше-

нию, все более преодолевая препятствия, все чаще научаясь достигать успеха. В неустанной борьбе силы их укрепились и ум их изоощрился, все шире становилась их деятельность; желая прежде избежать только невыносимых страданий, они стали, наконец, думать о том, чтобы не переносить более и легких. От борьбы против частного, что губило их, от стремления к единичным целям они стали переходить к целям и заботам более общим. Изоощрившаяся мысль послужила могучим средством для всего этого. Ничем не пренебрегали они, ни у кого не стыдились учиться; но ко всему прилагали свой труд и свою мысль — и все претворялось, как пища, в растущее тело их. Над чем не думали никогда люди — они задумались; чего не хотели они ни разу — эти народы захотели; и поняли они почти все, что доступно для человека, и достигли почти всего, чего он мог пожелать. Создались государство и удивительные учреждения в них; возникли стройные здания наук и чудный мир философии. И теперь, после стольких веков исторического труда, силы этой цивилизации так напряжены и так полны, что, кажется, что бы ни поставила она для себя целью, она успеет ее достигнуть, и никогда не устанет она в этом, потому что именно достижение составляет высшее ее наслаждение.

Вот почему прогресс, как улучшение, составляет сущность европейского развития, и европейскую цивилизацию можно определить как полноту улучшенных форм человеческого существования. Однако, кроме частного, эта цивилизация есть и нечто общее; и сверх того, что в ней все части улучшены, есть некоторый смысл в целом, составленном из этих частей. В высшей степени замечательно, что Европа сама не знает этого смысла; но не менее замечательно, что к нему именно — к этому общему — относится все недовольство, все смущение и порою ненависть и отвращение, которое она внушает собою. Отсюда вытекает неопределенность этого смущения, кажущаяся беспредметность этой ненависти, которая всегда представляется несправедливо-придирчивою, когда, пытаясь говорить для всех понятным языком, она обращается против чего-нибудь частного. Всегда может быть предложен вопрос: почему вы не боретесь против этого или того зла в формах политической борьбы, которая для вас открыта, или путем ученых трактатов, издавать которые вам никто не мешает? Отсюда же — тот замечательный факт, что не политические и общественные деятели, видящие наибольшее количество еще не исправленных зол, выказывают недовольство европейскою цивилизацией, но поэты и философы. Первые всегда обращены к частному и не чувствуют общего; и, как ни много зла предстоит им улучшить — зная, как в европейской истории ничто из частного никогда не было непреодолимо, — они любят эту историю и созданную ею цивилизацию: на нее одну надеются; готовы простить все и примириться со всем, кроме как с восстанием против нее или даже простым ее осуждением. Напротив, мыслители и поэты, которые наиболее слабо чувствуют частное, но зато наиболее глубоко связаны с общим и (как все признают это) наиболее чутки и проникательны изо всех людей, — непреодолимо и безотчетно отвращаются от того, что так ценят и любят практики.

К этому же общему относится и отрицание, которое высказывают славянофилы, и общее же осуждают они и в реформе Петра. Два века спустя после его преобразований все частное, что сделал он, исчезло: оно или заменено другим, или уничтожено, или изменено до неузнаваемости.

Ни один из фактов, им созданных, не существует более вполне; но существует общий смысл этих фактов, о котором он вовсе не думал, и мы живем в цикле истории, им начатом, — движемся в направлении, им данном. Только к этому общему смыслу, который один остался и один значащ, мы можем относить свои суждения, — как он, в свое время, только к частному мог относить свою деятельность. Дилемма, которая была для него так проста, для нас сделалась необыкновенно сложной и трудной. Он улучшал армию, создавал флот, искоренял злоупотребления в администрации; мы же, ничего не говоря об этом, думаем о разрыве в нашей истории, утверждаем невозможность нормального роста для дерева, раз оно переломлено, — мы страшимся за все наше существо и спрашиваем: "Что же останется от нас, кроме языка и его форм, когда, все стремясь стать лучше, мы шаг за шагом будем входить в улучшенные формы европейской цивилизации и наконец войдем в них без остатка? Не станем ли мы только этнографическою массою и неужели словарь своеобразных слов да своеобразная грамматика, которую мы сами не сумели даже обдумать, есть все, что мы оставим после себя в истории? Неужели для этого появлялся народ наш и самобытно рос уже восемь веков? Мы стали лучше во всех отношениях, в каждой подробности, но какою ценою купили мы это? Мы стали пустым остовом, принявшим чужое содержание после того, как его собственное выброшено за ненужностью, стали одеждою, в которой двигаться, живет и развивается иное существо, которое сумеет и сохранить ее до времени, но, конечно, и бросить, когда она износится, и заменить другою одеждою".

Вот одна половина славянофильского отрицания, вытекающего из общего взгляда на нашу историю и будущность нашего народа.

Его вторая половина обращена к самой европейской цивилизации и состоит в отрицании ее, основанном на знании в ней *общего*. Эта цивилизация не может быть нормальною для всего человечества; она не нормальна даже для европейской части его, если заканчивается страданием. Пусть все частное в ней совершенно: есть глубокая расстроенность в ее целом, если вместо того, чтобы испытывать гармонию, радость и успокоение — естественную награду столь продолжительного труда, труд человеческий испытывает в ней неудовлетворенность. Происходит ли это от того, что столь совершенные части в ней несовершенно соединены и эта дисгармония отражается расстроенностью духа; или другое что закралось в европейскую цивилизацию? — этого решить невозможно. Но если несомненно, что стремиться к страданию как венцу своего бытия было бы ложно, то так же несомненно, что человечество должно удержаться от того, чтобы вступать всецело в формы европейской цивилизации.

Ясно, что подобное отрицание не могло быть результатом безотчетного отвращения слепых национальных инстинктов против стремящейся вытеснить их иной культуры. И действительно: оно всегда сосредоточивалось в тесном круге немногих людей, утонченных по своему образованию, в высокой степени склонных к обобщению, наконец, свободных по своему положению от каких-нибудь частных забот или единичных и временных интересов. Они не были людьми, отрицающими то, что они

мало понимали: напротив, они отрицали именно потому, что слишком глубоко поняли известное другим только своею поверхностною стороною и лишь в частностях. Скажем более: они были люди, до конца выполнившие мысль Петра I и именно из полноты этого выполнения вынесшие ее отрицание. Тогда как все остальные еще только движутся в пределах этой мысли, только идут выполнять ее, главною же, коренною частью своего существа продолжают оставаться людьми дореформенными, — деятельность и благожелательность, как и в самом Петре I, остается для тех людей главною их чертою. Таким образом, если мы глубже всмотримся в психический склад славянофилов и западников, мы найдем в нем обратное тому, что они видимо утверждают. Западники являются таковыми лишь в своих стремлениях — и именно потому, что по своему духовному содержанию и его складу они остаются часто еще нетронутыми русскими; славянофилы так страстно тянутся прикоснуться к родному, так глубоко понимают его и так высоко ценят — именно потому, что так безвозвратно, быть может, уже порвали жизненную связь с ним, так поверили некогда универсальности европейской цивилизации и со всею силой своих дарований не только в нее погрузились, но и страстно коснулись тех глубоких ее основ, которые открываются только высоким душам, но прикосновение к которым никогда не бывает безнаказанным. Кто станет отрицать, что во многих наших западниках, оставшихся таковыми до конца, более жил ясный и спокойный дух нашего народа; и кто не заметит, напротив, некоторой сумрачности в складе чувства и глубокого теоретизма в складе ума у всех наших славянофилов? Истории, самой конкретной из наук, они никогда не изучали ради ее самой и обращались к ней лишь за пособием для оправдания своих теорий: они не любили факта, как такового; даже из всех русских историков совпал с ними во взгляде на нее, равно как в своих симпатиях и антипатиях, единственный, который обрабатывает ее, и с таким успехом, теоретически¹; напротив, самый слабый из наших историков по силе обобщения и наиболее привязанный к конкретному² был чистый западник.

Едва ли не здесь следует искать разгадки постоянной безуспешности славянофильского учения; их мудрость не привлекала к себе, их горячее слово не убеждало; холод и почти враждебность всегда окружали их. Они сами склонны были приписывать это глупости окружающих, и высокомерное отношение их к людям и фактам своего времени общеизвестно. Но кажется, что причины здесь лежат гораздо глубже. Они скрываются в дисгармонии их психического склада с психическим складом нашего общества, или слабо тронутого, или еще не тронутого европейскою цивилизацией.

Понять, в чем именно разошлись две великие партии нашего общества, — значит понять глубокую правоту каждой из них; невозможность для одной из них поступать иначе и для другой — иначе мыслить.

¹ В. О. Ключевский. См. предисловие к его "Боярской думе древней Руси", напечатанное предварительно в "Русской Мысли", а также известный разбор типа Онегина.

² Разумеем Костомарова.

Понять особенности в психическом их складе — значит понять множество литературных явлений. Мы обращаемся снова к одному из них, которое так надолго оставили для этих общих рассуждений.

III

"Неудовлетворенность тем, что обыкновенно называется познанием, есть чувство очень обыкновенное, — писал г. Страхов в 1887 г., по поводу своей полемики с Бутлеровым, который обнаружил это чувство и высказал его в прекрасных и глубоких словах. — Не только питаюсь естественно-научными познаниями, но *поглощая и всякие другие*, мы можем оставаться совершенно голодными. Но возможно ли составить общую и точную формулу этого недовольства? Когда я окончил свою книгу "Мир как целое", в которой с увлечением развивал главные и общие учения о природе, мною овладело это чувство неудовлетворенности, и я позволяю себе привести здесь то место, где я пытался тогда дать себе отчет в своих чувствах"¹. Мы повторим его также, потому что оно может служить ключом объяснения ко всей литературной деятельности г. Страхова. Высказанное и повторенное на расстоянии двадцати пяти лет, оно обнимает почти всю его деятельность.

"Если мы чувствуем недовольство этим взглядом (т. е. тем, который изложен в книге), если он в нас что-то затрагивает и чему-то противоречит, то: нет никакого сомнения, что источник такого разногласия заключается не в уме, а в каких-нибудь других требованиях души человеческой. Человек постоянно почему-то *враждует против рационализма* (курсив автора), и эта вражда упорно ведется всеми, спиритуалистами и материалистами, верующими и скептиками, философами и натуралистами".

"Отдать себе отчет в этой вражде есть величайшая задача мысли"².

Вот слова, могущие внушить самое глубокое удивление. Обращаясь к предисловию книги "Мир как целое", мы узнаем из него, что основой для мыслей автора, развитых в этой книге, послужили: во-первых, данные естественных наук и, во-вторых, философия Гегеля, именно его диалектика. Ланге в "Истории материализма" замечает, что одна специальная работа в каком-нибудь отделе естествознания более знакомит того, кто произвел ее, с общим духом и методом всего круга наук о природе, нежели самая обширная начитанность в этих науках, сделанная с целью ознакомиться с их содержанием в последних выводах. Это условие, очень редко выполняемое, было выполнено г. Страховым. И специальные его работы (произведенные в области сравнительной анатомии) внушили ему столь общую идею, как идея регионального естествознания. Склонности ума совлекли его с пути чистого естествознания, или, точнее, он вошел в более широкий и гибкий мир философии, чтобы с точек зрения, в ней открывающихся, посмотреть на те данные, которые в круге наук о природе скорее излагаются только, нежели объясняются.

¹ "О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)", стр. XXIX.

² "Мир как целое", стр. IX.

Интерес к факту, однако, уже настолько окреп в нем, что во всем ряде последующих философских трудов его мы не находим и тени развития чистых понятий, с каким обычно встречаемся в философских книгах, но видим только философский анализ, приложенный к явлениям внешней природы или внутренней жизни человека. Философия Декарта и философия Гегеля наиболее, как кажется, послужили к выработке его мирозерцания, и обе не столько содержанием своим, сколько методом. В первой он нашел принципы, и до сих пор развиваемые физическими науками: это — принципы механического объяснения природы; во второй он нашел разработку категорий, т. е. понятий, несводимых одно на другое и, однако, выводимых друг из друга, под которые подводятся, как под общее, все единичные явления природы и все разнообразные ее области.

Таким образом, под рационализмом, неудовлетворенность которым почувствовал г. Страхов, разумеется не какая-нибудь односторонность научного исследования, но дух знания во всей широте его, в его целом; и в этом духе, которым он так глубоко и, по-видимому, так доверчиво проникал вначале, ничто не было рождено тем народом, к которому он принадлежал: он возник и вырос в Западной Европе как одна из лучших и самых совершенных форм ее развития. В различных местах многочисленных книг г. Страхова можно видеть, до какой степени высоко в авторе понятие о науках, как удивляется он твердости их начал и выдержанности их методов. И вот, однако, против этих именно наук — предмета его главного удивления, очевидно не в частностях их, но в целом, поднимается у него чувство общей неудовлетворенности.

Высказанное более нежели четверть века назад, это чувство определило его отношение к западноевропейской цивилизации и к той, которой смысл еще неизвестен, но которая может, при благоприятных условиях, развиться в среде нашего народа. Отсюда — горячая его полемика (против г. Вл. Соловьева) в защиту книги Данилевского "Россия и Европа", где развита теория культурно-исторических типов как ряда своеобразных цивилизаций, развивающихся в историческом процессе человечества; он же первый, в журналистике¹, и приветствовал и объяснил главный смысл этой книги. Отсюда участливое его внимание к судьбам славянофильской партии, высказавшееся, например, в статье "Поминки по И. С. Аксакову", одной из лучших в сборнике "Борьба с Западом". Отсюда — всегда исполненные уважения слова его о русском народе и его истории. Но когда читаешь их, всегда и невольно приходят на ум его "Воспоминания о Ф. М. Достоевском", который был его близким другом и товарищем по журнальной деятельности (см. первое посмертное изд. сочинений Достоевского, 1882 г., т. I). Слишком глубокий теоретизм душевного склада потому, быть может, и вызывает неудовлетворенность, что всякого, кто имел несчастье дойти до него, он отделяет глубоко и уже никогда не переступаемую чертой от всего живого и единичного. Те связи, которые соединяют каждого с окружающей средой, как будто прерываются, и глубокое внутреннее одиночество, способность ко всякому предмету или явлению, к лицу, народу или

¹ В "Заре" за 1871 г., март.

истории становиться лишь в отношении наблюдателя и мыслителя — есть невольное последствие этого проступка против собственной души, есть неизбежная кара за нарушение гармонии в ее развитии. Мы склонны думать, что эта отчужденность теоретического ума была присуща и разбираемому нами писателю, и всякий раз, когда он привязывался к чему-нибудь, он, собственно, оценивал дорогие ему качества и влекся более к ним, нежели к их живому носителю. Это не может не причинять глубокого внутреннего страдания, и отсюда-то, думается нам, вытекла та особенность, что неудовлетворенность рационализмом высказалась у г. Страхова как "*враждебность*" к нему, а не как простое сознание его недостаточности только. Не менее знаменательно и то, что, попытавшись истолковать точный смысл этой враждебности, он заговорил об исполнении *долга* как о том, что может более всего другого успокоить встревоженный дух человека¹. Понятие долга, выросшее на холодной почве Рима, абстракций его права и тоски его стоицизма, есть лишь сомнительная замена истинных чувств, которыми жива всякая жизнь. "Должное" указывается умом и выполняется, когда более не подсказывается сердцем, и жизнь уже не творится; не играет, но только поддерживается.

Мы входим здесь в темную, всегда скрытую область соотношения отдельных сторон психической жизни. Духовный мир человека есть уже от начала нечто в высшей степени сложное, но одновременно с этим и нечто глубоко гармоничное, цельное. Сохранить эту цельность, не расстроить этой гармонии душевных сил есть важнейшая задача всякого личного существования, но она, к несчастью, обыкновенно сознается человеком тогда уже, когда расстроена непоправимо. Грусть, доходящая до помешательства у Гамлета и вызывающая в Фаусте жажду, возвратившись к юности, вторично и иначе пережить свою жизнь, вытекает из того именно, что в них обоих основная гармония души была нарушена, что у одного над волею, а у другого над чувством так воспреобладала мысль. Но уроки особенно глубокие для человека всегда выслушиваются им небрежно или не понимаются; их, правда, трудно и выполнить. Во всяком случае, духовное развитие, которое старается дать нам государство и общество, к которому мы стремимся сами, всегда почти состоит в том, даже начинается с того, чтобы нарушить цельность и гармоничность внутренней жизни. Мы силимся стать виртуозами, не замечая, что становимся только калеками.

Трудно сохраняемая в личном существовании, эта гармония душевных способностей еще неизмеримо труднее сохраняется в истории, и мы склонны думать, что глубокая расстроенность европейской цивилизации объясняется чрезмерным нарушением в ней равновесия духовных элементов — подавленностью одних из них, исключительным развитием других, наконец, несогласованностью их всех между собою. Сюда следует, быть может, присоединить ложность и самого типа, по которому развиты по крайней мере некоторые из этих элементов. Со всем этим в высшей степени соединена необыкновенная изошренность, высокое совершенство частей и чрезвычайное могущество, видимое обилие жиз-

¹ "Мир как целое", стр. X.

ни — все то, о чем мы единственно и можем утверждать, что оно несомненно присуще европейской цивилизации. Но не будем слишком входить в рассмотрение этих трудных вопросов; и сказанного достаточно, чтобы понять отчетливо, какими путями разбираемый нами писатель пришел ко всем своим отрицаниям и утверждениям.

Перенесенное страдание, как и испытанное счастье, всегда является источником заветного и непреклонного в наших убеждениях; оно же открывает для нас и внутреннюю, тайную жизнь чужой души, углубив и усложнив жизнь собственной. В незаметном уклоне мыслей, в особом тоне речи мы открываем присутствие черт, которых не можем не сознавать и в себе, и по ним заключаем безошибочно об общности причин, которые их вызвали. Эту пронизательность суждения, основанную на богатстве собственной внутренней жизни, мы находим и у г. Страхова. Неудовлетворенность — и безотчетная — одною из самых общих и великих форм европейской цивилизации дала ему возможность безошибочно определить подобное же недовольство ею и в других умах, которое сказалось так же враждебно, повело к таким же, как и у него, страстным отрицаниям. Рационализирование природы в философии и науке; безграничное стремление, избегая всякого страдания, улучшать каждую частность жизни и надежда через это достигнуть ее полного совершенства; вера в могущество своей природы и отвержение необходимости для себя какой-нибудь помощи в религии — все это может считаться главными и самыми общими чертами европейского общества второй половины XIX века. В целом ряде западных писателей г. Страхов открывает, как вера в рационализм, столь же горячая, какую он исповедывал некогда, привела к недовольству и отрицанию других сторон европейской цивилизации, то подавляемому еще, как у Штрауса, то колеблющемуся, как у Д. С. Милая, то исполненному какою-то недоумения, как у Фейербаха, то открытому и резко, как у Ренана и отчасти у Герцена.

Но если для западноевропейских писателей за отрицанием своей цивилизации остается только сумрак и отчаяние, то для писателя иного народа, еще не вошедшего окончательно в формы этой цивилизации, остается надежда на возможность иной культуры. К этой надежде примыкает, из нее исходит вся критическая деятельность г. Страхова.

Одно из самых удивительных заблуждений первых представителей славянофильской партии составляло мнение, что пережитое в два последние столетия нашим обществом может быть как-то забыто и мы снова можем вернуться к простоте своего быта до реформы Петра, чтобы затем продолжать свою историю так, как будто в ней не было перерыва. Здесь забывалось, что если все можем мы изменить, все займствованное — снять с себя, то не можем возвратиться к простоте прежнего созерцания, не можем истребить в себе понятий и чувств, усвоенных и сложившихся в два последние века. А в них, очевидно, и заключается все дело — формы же быта и все прочее внешнее являются лишь необходимою их оболочкою, которая не может не соответствовать своему содержанию. Таким образом, возможность иной культуры в нашей истории обусловливается возможностью для нас, сохраняя уже возникшую сложность своего созерцания, перейти в нем с типа западноевропейского к типу иному, который соответствовал бы тому, какой в неразвитой форме продолжает и до сих пор

существовать в нашем простом народе. Эта возможность действительно открывается в нашей литературе, исторические заслуги которой теперь нельзя даже и оценить.

В произведениях ряда поэтов и художников, начиная от Пушкина, после некоторого колебания и склонения в сторону западноевропейских типов духовной красоты человека, мы замечаем возвращение к самостоятельности и создание типов и характеров, в безусловной нравственной красоте которых мы не можем сомневаться, перед которыми преклоняются, как только узнают их, и западные писатели и которые, вместе с тем, совершенно гармонируют с душевным складом, до сих пор живущим в нашем простом народе. Эта особенность нашей литературы впервые была замечена Ап. Григорьевым — критиком, который ни при жизни, ни после смерти не был оценен по достоинству. Он открыл новую точку зрения на нашу литературу, и так как она есть истинная, то трудно допустить мысль, чтобы она не стала когда-нибудь общепринятою. С чуткостью, которая после всего сказанного должна быть ясна, г. Страхов понял верность этого воззрения, оценил всю его значительность для нашего духовного развития и со всею страстностью примкнул к воззрениям Ап. Григорьева. Он собрал его статьи, рассеянные в мало-распространенных журналах, и, приведя их в систематический порядок, издал, со своим предисловием, биографиею и указателем¹. В долгие годы последующей собственной литературной деятельности он испытал сам, как трудно добиться в читающем обществе внимания, как всякая оригинальность и самостоятельность проводимых воззрений сопровождаются враждебностью или отчужденностью остальной журналистики, в своей совокупности представляющей непреодолимую силу, способную как дать распространение самым пустым мыслям, так и задавить идею, самую высокую и плодотворную.

Энергия деятельности, когда она неутомима и сопровождается талантом, может, однако, преодолеть и эту косную силу. В ряде собственных превосходных статей по поводу "Войны и мира" г. Страхов изложил предварительную точку зрения Ап. Григорьева и тем гораздо более, нежели изданием его сочинений, способствовал ознакомлению с ней широких слоев читающего общества. Затем эту же точку зрения он приложил и к произведению Л. Толстого. Их глубокое соответствие, как теории и факта, не могло не поразить всякого. В отношении ко всему предыдущему развитию нашей литературы великая эпопея гр. Толстого являлась светлым и высоким торжеством той стороны ее, которая впервые сказала у Пушкина, была совершенно не понята его современниками и последующими критиками и оценена впервые Ап. Григорьевым.

Но и для самого г. Страхова появление "Войны и мира", можно думать, было важным моментом во внутреннем развитии. То, чего он смутно искал, чего ожидал с сомнением, появилось в образах удивительной красоты и твердости, перед которыми невольно склонилось читающее общество, еще не понимая всего их значения. Ни для кого значение это не могло быть так ясно, как для него. В четырех томах громадного

¹ Сочинения Аполлона Григорьева, т. I. СПб., 1876.

литературного произведения он нашел две строчки, мимоходом брошенные автором, в которых была сгруппирована вся мысль романа, быть может не так отчетливая и для самого знаменитого художника. Эти строки он избрал эпиграфом для своего разбора: *"Нет величия там, где нет простоты, добра и правды"* — в этих коротких словах содержится указание иного и высшего типа для всемирной истории, по которому она еще никогда не двигалась и которая хранится как нравственный идеал бессознательно в недрах народа нашего; по нему, конечно, ступая и вкривь и вкось, развивался и быт наш до реформы Петра. Этот тип может быть удержан при всей сложности развития, при всякой высоте умственных созерцаний или обширности замыслов и стремлений. Нельзя не согласиться, что он есть норма для человеческого духа и мерило достоинства для человеческой деятельности. Придерживаясь его, первый никогда не почувствует неудовлетворенности и тревоги, а вторая успеет достигнуть всяких целей. Если мы всмотримся в двухтысячелетнюю историю Западной Европы, мы увидим, что все великое, в ней совершившееся, совершилось по иным типам, нежели этот. Могущество внешнего авторитета в одни моменты ее развития, свобода личной совести в другие, гражданское равенство в третьи, далее, спиритуализм или материализм воззрений, чувств и отношений — вот окончательные цели, которые преследовались западными народами и породили великие циклы их развития: католицизм и реформацию, систему централизованных государств и революцию, рыцарство и промышленность, аскетизм монастырей и шум энциклопедистов. Идеал всегда бывает несложен, он называется двумя-тремя словами, но его осуществление на всех ступенях жизни, проникновение им всех форм развития, всех моментов личного существования и общественных отношений наполняют собою века народной жизни, поглощают труд бесчисленных поколений. Западная Европа в течение всего последнего столетия движется в пределах мысли, которую мы можем читать в двух словах, вырезанных на французских пушках, хранимых в Московском Кремле, — *"liberté, égalité"*¹: сюда примыкают ряд монархий и республик, законодательства и журналистика, индустрия и пролетариат. Итак, слова эти кратки, но смысл их долог. Не трудно понять, как забвения великого идеала, хранимого в нашем народе, пренебрежение которого-нибудь из его черт порождает наше бессилие достигнуть хоть каких-нибудь из своих целей, и не нужно быть особенно проницательным, чтобы предвидеть, до какой степени легко и радостно мы достигли бы их всех, если бы в стремлении своем действительно были всегда просты, совершенно не заботились ни о чем, кроме добра. Но к добру мы примешали лживость, к правде — ожесточение, извратились сами и извратили свою жизнь и несем ее как бремя, ненавистное для себя и для других.

К разбору "Войны и мира" прилегает, как к своему центру, и вся остальная критическая деятельность разбираемого нами писателя. В ней особенно следует отметить превосходные "Заметки о Пушкине и других поэтах". В противоположность основным славянофилам, которые гени-

¹"свобода, равенство" (фр.).

ального, но извращенного Гоголя признавали самым великим деятелем в нашей литературе, потому что он отрицанием своим совпал с их отрицанием, — ветвь этой партии, к которой принадлежал и г. Страхов, выдвинула Пушкина. Ясность и спокойствие этого поэта, равно как широта его симпатий, более соответствовала положительному характеру идеалов этой ветви славянофильства, главными представителями которой были, кроме разбираемого нами критика, Ап. Григорьев и Ф. М. Достоевский (к их же кругу принадлежал и Н. Я. Данилевский). Пушкин сделался центром их симпатий и толкований. В его знаменитом стихотворении "Возрождение" они видели высказанную судьбу каждой сколько-нибудь даровитой русской души: долгое скитальчество за идеалами, страстное и не окончательное преклонение перед богами чужих народов, утомление всеми ими и возвращение к идеалам своего родного народа.

Это можно почти толковать так, что уже при первом выступлении на историческое поприще каждый народ, как и всякий вчера рожденный человек, в своих скрытых духовных дарах носит определение своей судьбы. В течение долгого времени он смутно и безотчетно идет правильным путем, руководимый этими раскрывающимися дарами, но не сознавая их. Но настает время, когда он сходит с этих путей, и временные желания, придуманные цели становятся его руководителями. Он называет это время периодом пробуждения в себе сознания, пробуждения своей личности в истории. Однако он скоро познает, как недостаточны его силы для поддержания его на этих путях, как слаб его ум для выбора наилучших из них. Измученный и не достигнув ничего, он снова возвращается тогда на великие пути, по которым шел раньше. Но все переменяется теперь: не тот уже и он, и иначе понимает он путь, который уже совершил и который ему предстоит еще окончить. Он догадывается, наконец, что было сознание, великое и глубокое, которое и вывело его на историческую сцену и долго вело по ней; но мыслью своею, но деяниями, повиновением он совпадал и прежде с этим сознанием. Утомленный, он и теперь хочет только повиноваться ему и повинует; но он вместе с тем совпадает теперь с ним своею мыслью. Этот последний период и есть период действительного сознания, которое можно назвать мудростью.

* * *

Мы поставили для себя задачу — указать главные линии в строе мышления избранного писателя и объяснить их происхождение; при этом, естественно, мы опустили все частное, что содержится в его трудах. Сделаем теперь общую характеристику его значения.

Прекрасная и уже обширная в поэтическом и художественном отношении, наша литература не дает еще достаточной пищи для *ума собственно, для размышления*. Любя своих великих писателей и постоянно перечитывая их, мы можем воспитаться нравственно: научиться с достоинством проходить свою жизнь, быть внимательными ко всякому страданию и воздерживаться от всякого зла. Круг отношений к ближнему, к своему народу, разные житейские отношения — все это истолковано в образах нашей литературы с удивительным разнообразием, с глубоким знанием человеческого сердца.

Но если проходить свой жизненный путь правильно есть самая сложная и трудная задача всякого человека, то за нею остается еще и другая. Часть жизни своей всякий человек проводит наедине, и здесь он невольно обращается своею мыслью не к временному и текущему, что окружает его, но к вечному и постоянному. Он хочет сколько-нибудь уразуметь тот мир, в котором мгновение назад появился и через мгновение же исчезнет; хочет унести с собою что-нибудь вечное. Это желание делается источником размышления.

Чего-либо соответствующего ему недостает в нашей литературе, и мы склонны думать, что в ближайшем будущем ее главною заботою станет восполнение этого недостатка. Нужно понять эту великую задачу во всей ее строгости, нужно отнестись к ней с тою же простотою и серьезностью, с какою относится к ней каждый в глубине своей души, наедине с собою. Для литературы это задача неизмеримо трудная. Заинтересоваться единственно предметом своим и относиться к читателю так же правдиво, как к самому себе, — это может быть доступно только высоким душам.

Им и будет принадлежать умственное воспитание нашего общества, руководство его мыслью. Не раз, вчитываясь в многочисленные труды разобранного нами писателя, мы старались дать себе отчет, почему именно он так не похож на всех других, что сообщает ему такое своеобразие? Целного мировоззрения он не дает, никакой яркой идеи не высказал и не утвердил, даже ни на один вопрос не ответил ясно и отчетливо, окончательно. Но со всем этим, странным образом, соединяется и чувство какой-то совершенной удовлетворенности. Стараясь дать себе отчет о нем, невольно останавливаешься на отношении автора к предметам своего размышления и к своему читателю.

Заинтересованность первыми — до забвения личного в себе и, в силу этого, забвения личного и в читателе — есть постоянная и отличительная его черта. Это и порождает в размышляющем читателе чувство совершенного удовлетворения: никакой дисгармонии между своею душою и книгою он не испытывает; все временное, все личное, что отделяет его от других людей и минутно соединяет с ними, так же как и тогда, когда он остается наедине с собою, уходит куда-то в безграничную даль и пропадает. Мысли, в действительности усваиваемые им извне, как будто вырастают в его собственной душе и развиваются в ней.

Это и составляет притягательную силу разбираемого автора. Он не столько разрешает наши вопросы, сколько научает нас серьезно искать их разрешения; не так наполняет ум, как приготовляет его к принятию истинно достойного содержания. Длинный ряд книг, им написанных, касающийся самых разнообразных вопросов внешней природы и внутренней жизни человека, истории и политики, философии и религии, служит прекрасным началом выполнения нашею литературою той задачи *умственного развития общества*, разрешения которой мы ожидаем от нее после того, как она столь прекрасно выполнила задачу его художественного и отчасти нравственного воспитания.

ТРИ МОМЕНТА В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КРИТИКИ

I

Как и художественная литература, наша критика успела уже пережить в своем развитии несколько фазисов. Смена этих последних обуславливалась изменением в целях, которые она поставляла перед собою.

Отделить в литературных произведениях прекрасное от посредственного и выяснить эстетическое достоинство первого — это составляло цель и смысл раннего периода нашей критики. Деятельность Белинского, многолетняя и плодотворная, была высшим выражением этого стремления; и так как в литературе наиболее существенным всегда останется именно прекрасное, — то, каковы бы ни были дальнейшие судьбы нашей критики, как бы ни углубилась она в своем содержании, эта деятельность никогда не будет затемнена и отстранена, но всегда и только — дополнена. Он сделал то, что необходимо было раньше всего сделать в отношении к литературе, и в то же время — это было самое существенное, важное. Знать, что именно следует ценить в ней и чем пренебрегать, — это значило для общества начать ею воспитываться и для писателей — стать относительно других литератор в положение оценивающего зрителя, а не слепого подражателя. С величайшею чуткостью к красоте, какую обладал Белинский, с чуткостью к ней именно в единичном, индивидуальном, быть может нераздельна некоторая слабость в теоретических обобщениях — и это было причиной, почему до конца жизни он не установил никакого общего мерила для прекрасного, никакого постоянного критериума для отделения в литературных произведениях хорошего от дурного. Он был похож на тех людей, самых нужных и самых лучших, которых мы иногда наблюдаем в окружающей нас жизни: с изумительным совершенством и безошибочностью они различают хорошее и дурное, сами воздерживаются от последнего и удерживают от него других и, однако, совершенно не знают, почему именно одно всегда бывает дурно и другое всегда хорошо; тогда как рядом с ними мы видим бледных теоретиков, которые истощили силы своего ума над отысканием всеобщих оснований для хорошего и дурного и теряются в бессильных колебаниях при встрече с самым простым фактом в жизни своей или себе близких. Однако, как бы ни предпочитали мы безошибочное понимание частного знанию всеобщего, мы не должны отвергать и важности последнего, и тот, кто своею теоретическою мыслью сумел бы выяснить всеобщее мерило

хорошего и дурного в сфере поэтических и художественных произведений, без сомнения, сделал бы нечто не только в высшей степени трудное, но и высокодостойное и необходимое¹.

II

Связать литературу с жизнью, заставив первую служить последней и понимая последнюю через явления первой, — это составило смысл и задачу второго периода нашей критики, высшим выразителем которого явился Добролюбов. Прекрасное в литературе было отодвинуто на второй план, как и наслаждение только им было признано мало достойным. Как на самое существенное указывалось в ней на то, что она может глубже и вернее, нежели что-либо другое, отражать в себе жизнь, и притом не только с внешней стороны, которую одну мы наблюдаем в действительности, но и с внутренней, более глубокой, которая часто ускользает от нас. Художник или поэт есть как бы бессознательный мудрец, который в выводимых им образах или передаваемых фактах концентрирует рассеянные черты жизни, иногда схватывает глубочайшую их сущность и даже угадывает их причины. Поэтому, изучая литературу, мы изучаем самую жизнь, а с тем вместе и научаемся, как относиться к последней. Но не всякое литературное произведение выполняет все эти задачи одинаково совершенно: несмотря на совершенство, например, в изображении и обобщении, оно может неверно определять смысл

¹ Очень скоро после смерти Белинского точка зрения, им установленная, была заменена в критике другими основаниями; и мы можем указать за очень много лет лишь одно крупное произведение, где эстетическая оценка вновь заняла первенствующее место перед всякими другими способами понимать поэзию и искусство: это ряд в высшей степени значительных статей покойного К. Н. Леонтьева — “Анализ, стиль и веяние; по поводу романов гр. Л. Н. Толстого”, — лучший критический этюд за много последних лет. Но и в самой статье этой есть нечто, очень трудно уловимое и не поддающееся передаче, что дает чувствовать, не только *почему* — это мы знали и раньше, — но и *как надолго* умерла эта точка зрения. Без сомнения, для очень длинного фазиса нашей истории, конца которого сейчас и предвидеть нельзя, спокойные времена, времена неторопливого созидания и чуткой, наслаждающейся своим предметом критики — прошли безвозвратно; и не скоро новый критик, весь погруженный в чудеса речи, и образов, и картин, и забывая за ними остальное, произнесет, вслед за автором “Анализа и стиля”, этот старый державинский стих:

Таков, Фелица, — я развратен

— в эстетике. Есть в самом деле времена и задачи несовместимые с эстетикой; есть категории добра и зла, несовместимые с другими категориями, и мы, несмотря на механические усилия свои, не можем вовсе их соединить, когда они органически несходны. Статья Леонтьева потому исторически замечательна, что эта красота, на которой она вся сосредоточена, есть исключительно внешняя *красивость*. Ни у Белинского, ни у кого другого из наших критиков эстетическая точка зрения еще не была так совершенно очищена от всяких сторонних примесей; и ни у кого же, как у Леонтьева, в силу этой чистоты своей, она не чувствуется столь недостаточной для удовлетворения цельного нашего существа, требований цельной жизни, чему в конце концов должна уметь удовлетворять литература.

изображаемого или, еще чаще, может погрешать в указании его причин. Задача критики и состоит в том, чтобы внести поправки ко всему этому. Она есть строгий и обстоятельный комментарий к литературе, который вносит в нее недостающее, исправляет неправильно сказанное, осуждает и отбрасывает ложное, и все это — на основании сравнения ее содержания с живою текущею действительностью, как ее понимает критик.

Невозможно было придать литературе более жизненное значение, пробудить к ней более глубокий интерес, так слить ее с душой исторически развивающегося общества, чем как это сделал подобный взгляд на ее сущность и на задачи критики. Именно под его влиянием литература приобрела в нашей жизни такое колоссальное значение. Не знать ее, не любить ее, не интересоваться ею — это значило с того времени стать отщепенцем своего общества и народа, ненужным отброском родной истории, узким и невежественным эгоистом, которому никто не нужен и который сам никому не нужен. Писатель стал главным, центральным лицом в нашем обществе и истории, к мысли которого все прислушиваются. И все это совершилось без слов, даже без видимых, осязаемых влияний, просто через изменение взгляда на литературу, через новое отношение к ней, в которое стала критика, и за ней — общество.

Великое значение исторически развивающейся жизни заключается в том, что она, в своем ровном и могущественном течении, удерживает в себе все истинное и доброе, что в нее вносится индивидуальной волею, дает рост ему и силу и сама от него возрастает; ложное же и дурное почти все и без усилий оставляет в стороне. Деятельность Добролюбова, как ни кратка она была по времени, вошла органическим звеном в духовное развитие нашего общества, и трогательные слова, написанные им в предвидении близкой смерти, в виду ранней и незаслуженной могилы:

Но зато родному краю,
Верно, буду я известен —

осуществились так, как только он сам мог пожелать для себя, даже более — как мог он пожелать для самых дорогих своих надежд. Целый ряд поколений, как-то быстро выступивших и быстро же сошедших со сцены, неотразимо подчинился его влиянию, усвоил тот особый душевный склад, тот оттенок чувства и направление мысли, которое жило в этом еще так молодом и уже так странно могущественном человеке. И кто из нас теперь живущих и уже свободных от этого влияния людей, обратясь к лучшим годам своей юности, не вспомнит, как за томом сочинений Добролюбова забывались и университетские лекции, и вся мудрость, ветхая и великая, которая могла быть усвоена из разных старых и новых книг. К нему примыкали все наши надежды, вся любовь и всякая ненависть.

В этом состоит, но этим и ограничивается положительная сторона его деятельности. Весь исполненный желаний, он на желания же и хотел влиять, и так как он делал это через критику, то есть через литературу, то косвенно и невольно подчинил ей желания общества. Отсюда и вытекает характер переворота, который произвел он; и с этим же характером неотделимо связана и отрицательная сторона его деятельности: именно ложность почти всех литературных оценок, которые он сделал. Натура

всего менее рефлексивная и пассивная, он совершенно неспособен был, отрешившись от себя, подчиниться на время произведению, которое ему нужно было понять, войти в мир образов и идей его творца. Совершенное непонимание художественного отношения к жизни было его отличительной чертой — естественное последствие исключительности его духовного склада.

Два течения в нашей литературе ведут отсюда свое начало: упадок критики и обращение почти всей литературы в тенденциозную — с одной стороны; отделение от этого течения и совершенно свободное, вне всякой зависимости от критики, развитие нескольких самобытных дарований — с другой. Это произошло таким образом: не будучи способен понять что-либо разнородное с собою, Добролюбов подчинил своему влиянию все третьестепенные дарования, которые впали в смысл его критики, и он, в свою очередь, совпал своею критикой с их смыслом (Марко-Вовчок, Некрасов — большею частью своих произведений, Щедрин — почти всеми и многие другие). Напротив, все действительно великие дарования последнего цикла нашей литературы (Достоевский, Тургенев, Островский, Гончаров, Л. Толстой), видя, как критика говорит что-то хотя и по поводу их, однако как бы к ним совсем не относящееся, отделились от нее, перестали принимать ее указания в какое-либо соображение. Ряд последующих критиков, видя только внешние черты влияния Добролюбова и не понимая, как тесно они были связаны с его особым душевным складом, — хотя и не имели в себе ничего подобного, однако хотели во всем следовать ему: произошло явление в высшей степени слабое и незначущее, как не имеющее под собою никакого другого основания, кроме подражательности. Тон силы и влияния, замысел руководить обществом и направлять течение жизни — все это сохранено было ими; но в формах этого тона, в пределах этого замысла произносились ими бессильные, незначущие слова: они были похожи на певцов, широко раскрывающих рот, из которого выходят едва слышные звуки. Однако нет человека настолько слабого, чтобы не нашлось еще другого слабейшего, который захотел бы подчиниться ему. Если прежде третьестепенные дарования подчинялись критике, то теперь люди безо всяких дарований стали выступать на литературное поприще, в надежде единственно своим подчинением критике снискать для себя читателей и даже некоторое влияние. Это породило необозримую литературу беллетристических произведений и стихотворческих работ. В толстых журналах, которым и теперь еще принадлежало главное значение в нашей литературе, обыкновенно в одном отделе появлялись эти романы, повести и стихи, а в другом отделе, "идейном", они же разбирались, кое в чем ограничивались, но в общем одобрялись — явление, по своей беззастенчивости совершенно невозможное ни в период критики Белинского, ни во время Добролюбова. И в то время как этими произведениями критика пространно занималась, она высокомерно обходила молчанием или произносила краткие и небрежные слова о произведениях другого, отделившегося литературного течения. Вскоре, однако, незначительность делаемого дела все яснее начала чувствоваться самими критиками: их раздражение от этого возрастало, они тоскливо смотрели на настоящее и безнадежно на будущее. Единственно радостное было у них в воспоминаниях, когда то же самое дело и как будто так же

делалось с успехом, влиянием и силою. Сознание отсутствия в себе какого-либо исторического значения, видимо, тяготило их: они постоянно говорили, что их направление все-таки сослужило великую службу обществу, но они никогда не говорили о себе в отдельности, а всегда и исключительно — о себе в связи с Добролюбовым. В общем, они были злы и дурны, как все несчастные люди. Мало-помалу это направление стало иссякать количественно: все меньше становилось критик, все короче они становились, и мы теперь видим, наконец, как, некогда столь цветущая, у нас эта ветвь литературы почти прекращается. Она существует лишь как традиционно обязательный отдел во всяком периодическом издании. Чего-либо ведущего, направляющего, какой-либо внутренней силы в ней не осталось и следа.

Одно явление, чрезвычайно яркое и одиночное, вспыхнуло и закончило все значащее в этом течении критики. Мы разумеем разбор романа "Анны Карениной" в критическом этюде М. С. Громеки "Последние произведения гр. Л. Н. Толстого" (М., 1884 г.). По прекрасному языку, глубокому чувству, в нем разлитому, и своеобразию приемов — это есть классическое произведение не только критики нашей, но и нашей литературы вообще. Мы не можем лучше определить его значение, как сказав, что оно имеет смысл и силу вовсе не только как комментарий к разбираемому им роману: независимо от этого, оно и само по себе есть одно из глубоких и прекрасных проявлений того нравственного перелома, который с восьмидесятых годов начался в нашем обществе. Несмотря на противоположность проникающего его смысла смыслу критики Добролюбова, мы относим его, однако, к течению, которое было начато ею: это потому, что и в нем волевой элемент преобладает над рефлексивным и оно, подобно критике Добролюбова, разбирая литературное произведение, собственно разбирает в нем нарождающееся явление жизни, страстно отстаивая его против других, еще могущественных, хотя и стареющих ее течений.

Мы сказали, что с возникновением критики Добролюбова произошло раздвоение нашей литературы: все слабое и количественно обильное подчинилось ей; напротив, все сильное отделилось и пошло самостоятельным путем. Собственно, только этот второй поток и образует собою новый фазис в развитии нашей литературы. Немногие и очень сильные дарования, которые составляют его, все запечатлены глубокою индивидуальностью: каждое из них шло самостоятельным путем, вне всякого влияния остальных; их индивидуализму способствовало, может быть, и то, что они развивались вне какой бы то ни было зависимости от своей оценки в обществе или в критике. Последняя смотрела на них почти враждебно, и если перечитать все критические отзывы, явившиеся, например, по поводу "Обрыва", и все разборы какого-нибудь современного ему и уже давно забытого литературного произведения, то можно видеть, насколько второе одобрялось более или по крайней мере менее порицалось, нежели роман Гончарова. Причина враждебности заключалась здесь в том, что, не будь этих дарований, текущая критика могла бы еще колебаться в сознании своей ненужности: слабостью *всей* литературы она могла бы оправдывать *свою* слабость; незначительностью предметов, которые обсуждала, могла бы объяснить незначительность своего содержания. Но когда в литературе существовали художественные

дарования и она не умела связать о них нескольких значащих слов; когда общество зачитывалось их произведениями, несмотря на злобное отношение к ним критики, а одобряемых ею романов и повестей никто не читал — критике невозможно было не почувствовать всей бесплодности своего существования.

III

Третье течение нашей критики возникло одновременно со вторым. Его начинателем и полным выразителем был Ап. Григорьев; тонким, настойчивым и успешным истолкователем является в наше время г. Страхов.

Научность составляет отличительную черту этого течения. Если в первом своем периоде наша критика выясняла эстетическое достоинство литературных произведений, во втором — их жизненное значение, то в этом она задалась целью *объяснять, истолковывать* их. Это достигалось, во-первых, раскрытием существенных и своеобразных черт в каждом литературном произведении и, во-вторых, определением его исторического положения, то есть органической связи с предыдущим и отношения к последующему.

Обилие мысли и богатство собственных, уже пережитых, настроений дало возможность А. Григорьеву понять и своеобразие каждого литературного произведения, и внутреннюю, духовную связь многих из них между собою. К сожалению, при редкой даровитости в истинном, глубоком значении этого слова, он не обладал даровитостью внешнею — теми внешними качествами блестящего изложения, остроумия или игривой шутки, которые так привлекают к себе читателей. Несерьезность широких масс нашего читающего общества и господствующих течений нашей литературы ярко сказалась в том, что ни первое, ни вторая не сумели рассмотреть мысли, которая заключена была не в блестящих формах. Перевес Добролюбова и даже его преемников над Ап. Григорьевым был собственно перевесом литературного стиля над мыслью. А между тем, вчитываясь в сочинения Ап. Григорьева (т. 1, 1876 г.), испытывалось невольное, как, в конце концов, мысль *совершеннее* всего остального в человеке, как отходят перед нею и бледнеют и художественный восторг, и исполненная сжатой страсти речь. Как ни много писалось о Пушкине, как ни умел ценить его Белинский, каким высоким пафосом ни запечатлены его статьи о нем, всеобъясняющая мысль Ап. Григорьева покрывает все это — и вместе с прекрасным и великим образом нашего поэта, впервые понятым, в читателе неотделимо вырастает и чувство самого глубокого удивления к его критику. Понятие о народности в поэзии, которое так часто произносится и почти не сопровождается объяснениями, считаясь слишком простым, впервые раскрывает здесь свой сложный смысл; и впервые же становится понятным, как много нужно было сил, чтобы стать народным поэтом, и к каким это привело результатам. Сведение всего вопроса на психическую почву, как это сделал Ап. Григорьев, было приемом глубоко философским. Рассматривая ряд народностей, в своей совокупности создавших ев-

ропейскую цивилизацию, как выразителей особых *психических типов*, он видит и в европейской литературе ряд отражений этих типов; отсюда — местные особенности в ней, например постоянное сходство английской и французской литератур или еще общее — всех германских литератур со всеми романскими, при родственности отдельных национальных литератур в пределах каждого из этих двух великих семейств, на которые распадается население Западной Европы. Но отдельные народности в Европе не живут изолированно: они связаны между собою единством цивилизации и с нею — единством целей своих в одно время, успехом в достижении их или неуспехом — в другое. Ряд переживаемых надежд и разочарований, общих для всей Европы в одно и то же время и несходных друг с другом в различные времена, порождает смену *исторических настроений*, которые также все отражаются в литературе: например, настроение средневековое, под которым написана была "Божественная комедия", и настроение Возрождения, под которым написан был "Декамерон". Совокупность национальных типов, различных по этнографической среде, и психических настроений, различных по историческим эпохам, переплетаясь взаимно, — и составляют всю сеть, всю гармонию отдельных тонов, которые, сливаясь в одно стройное, многовековое созвучие, образуют собою европейскую литературу. Изучать эту последнюю — значит расчленять эту гармонию на отдельные тоны и следить за звуком каждого из них, то заглушаемым, то заглушающим; понимать ее смысл — значит находить в себе и пробуждать к жизни душевное настроение, звучащее во всяком тоне.

Отсюда не трудно понять и отношение к западноевропейской литературе литературы каждой иной народности, которая долгое время развивалась изолированно и потом примкнула к общему потоку европейской цивилизации.

Усвоение форм литературного творчества есть для нее первый шаг к сближению и подчинению, но шаг еще незначительный, подчинение чисто внешнее, и при нем она может сохранять глубокую внутреннюю самобытность, может оставаться вполне национальной. Такова была вся русская литература XVIII века, исполненная надежд *своего* народа, тревог *своего* времени, повсюду под заимствованными формами отражая особый склад *его* ума и чувства. В комедиях Фонвизина, в одах Державина, в сатирах Новикова, в Феофане Прокоповиче или в Кантемире, несмотря на их чуждое, внешнее убранство, мы слышим тон и звук, которые совершенно национальны, вытекают прямо из духа и жизни своего времени и народа. Херасков писал свою "Россиаду", как Петр Великий замышлял Академию наук, как его современник, неизвестный автор "Записной книжки любопытных замечаний"¹, путешествуя по Европе, при виде всего замечательного, на что ему показывали, брался прежде всего за аршин, чтоб его измерять. Предметами внимания их были создания чужой жизни и истории; но и они, внимавшие, и самое внимание их не заключали в себе ничего привнесенного, были продуктом своей земли и своей истории.

¹ Писана в 1697—98 гг., изд. в С.-Петербурге в 1788 г. Это один из самых любопытных памятников нашей литературы, и ее историк не ошибся бы, если бы с подробного его анализа начал изложение ее хода за два последние века.

Карамзин был первый русский европеец, уже не по предметам своего внимания, но по самому вниманию, по всему душевному строю — и в этом лежит тайна его обаяния для современников и его значения в нашей истории. В нем первом европейская цивилизация коснулась уже не форм нашего быта, поэтического творчества и мышления, но тронула внутреннее содержание наше, коснулась самой души. Глубокая ли впечатлительность его, подвижность всей натуры или ранние впечатления детства, проведенного с чужеземными музами, были причиной этого — решить трудно: но уже в первых его произведениях вполне чувствуется вся его будущность, весь переворот, который ему суждено было совершить в нашем духовном развитии. Стоит сравнить его примечания к своему переводу поэмы Галлера "О происхождении зла" (Москва, 1786 г.) с примечаниями Кантемира к его переводу Фонтенелевых "Разговоров о множестве миров", чтоб оценить всю глубину пропасти, которая их разделяет. В "Письмах русского путешественника" впервые склонилась, плакала, любила и понимала русская душа чудный мир Западной Европы, тогда как раньше, в течение века, она смотрела на него тусклыми, лишь отражающими предмет, но не отвечающими ему глазами.

С этого времени, и до нашего почти, знойным наслаждением для русской души стало переживать в себе настроения Европы, вбирать в себя капли духовной жизни, выделяемые цветком, который зрел полтора тысячелетия. Настроение, созданное в нашей литературе Карамзинным, было первою такою каплей, и мы не удивляемся, читая, как его современники ходили на Лизин пруд помечтать и, быть может, поплакать. За первую каплей последовали другие, и ощущение их становилось все жгучее, влечение к ним — неотразимее. Что значило удивление наивного современника Петра пред "птицею стратикомил" или пред "капищем всех болванов" (Пантеон Агриппы) и все осязаемое, видимое, что поражало его зрение, в сравнении с тем неуловимым, неосязаемым миром идей и чувств, который открылся Карамзину и людям его времени? Раньше мы похожи были на людей, которые, увидев инструмент неизвестного происхождения и назначения, с любопытством осматривали его огромные трубы и их прихотливые изгибы, но, подивившись всему довольно, затем спокойно возвращались к своим делам и ежедневным заботам; теперь же мы слышали самые звуки, чудные мелодии полились в наш слух, шевельнулось, как никогда, наше сердце, и, возвратившись домой, уже неохотно и машинально принимались мы за свои дела, душа же наша полна была и на родине чужих звуков. Тоскуя по ним, сознавая невозможность без них жить, мы, наконец, решились положить свою душу в том, чтоб и у себя слышать и извлекать те же обворожившие нас звуки. Мы возненавидели родные песни — простые, грубые песни; мы снесли и изломали свои волынки и гусли, чтобы построить из их материала хотя подобие того, что слышали раз и забыть чего никогда не могли. И наши усилия увенчались успехом. Быстро формировался наш язык; целый ряд тружеников жил и умер для одной идеи; и если не они, то их дети слышали наконец мелодии — те самые, которые грезились их отцам, но уже в звуках родного языка. Разве не дух германских народов живет в поэзии Жуковского; разве в балладах его не слышатся средние века? Разве не светлая и спокойная древность дышит в стихах Батюшкова? То, что казалось

невозможным, было сделано: что было неуловимо — было уловлено. Как, какою ценой совершилось это?

Шаг за шагом, далее и далее вступала русская душа в сеть тех духовных типов и тех исторических настроений, о которых мы сказали выше. Можно удивляться, как, в самом деле, глубоко переживала она их и как одинаково была способна к самым противоположным. За миром поэзии — миром чувства — открылся мир мысли — наук и философии; мы вступили и в него, и тайны Гегелевой диалектики, казалось, влекли нас еще более, чем пафос Шиллера или очарования Байрона. Читая произведения нашей литературы, невозможно почти понять, каким образом возникли они, не имея под собой никакой в сущности действительности: как факты жизни нашей, дела катились одною стороной, тогда как душа бродила по иным и фантастическим мирам, как будто вовсе ничего не зная об этих фактах и делах. "Ундина" Жуковского, мелкие стихотворения Лермонтова, подражания древним Пушкина, его же "Пир во время чумы" — как мы можем подумать, чтобы там, на родине всех этих душевных настроений, последние вылились когда-нибудь более совершенно, еще искреннее, с сильнейшею любовью, чем в этих произведениях далекой и чуждой, покрытой снежным покровом страны?

И все-таки о дереве, приносившем столь прекрасные плоды, можно было сожалеть, что оно не успело дать *своих*. Никто не знал ни вкуса их, ни других достоинств, и мысль о том, что погублено что-то еще нежившее, быть может, тяготила многих.

Здесь и лежит объяснение Пушкина. Уже Белинский заметил, что он как бы *совместил* в себе по тону, по настроению всех своих предшественников, а позднее Н. Н. Страхов отметил, что у него *в формах* нет никаких нововведений¹. Таким образом, для всякого, кто стал бы рассматривать его лишь поверхностно, и притом не пересмотрел всех его произведений, и особенно самых поздних, невольно могло бы представиться отсутствие в нем оригинальности, самобытности и, следовательно, какого-либо величия в историческом положении. Так это и понимается многими даже до настоящего времени.

Не вступая в борьбу с усвоенными формами поэтического творчества, он в пределах их пережил все душевные настроения, исторически сложившиеся в Западной Европе и только частью отраженные в нашей прежней поэзии², — и каждый раз переживая которое-нибудь из них, верил в него как в окончательное и совершенное (откуда глубина и страстность его разнообразной поэзии). Однако, в противоположность его ожиданиям, ни одно из них не насытило его окончательно, и, когда душа его утомилась всеми ими, он возвратился к народному. Это возвращение выразилось у него в известном стихотворении "Возрождение", где он говорит о своей "измученной душе", в которой пробуждаются чудные видения

Первоначальных чистых дней.

¹ Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888, стр. 37—41.

² См. речь о Пушкине Достоевского, например замечания о стихотворении "Однажды странствуя среди долины дикой" и т. д.

Его последние произведения: вторая половина "Евгения Онегина", "Капитанская дочка", "Повести Белкина" — это все, что так смутило его современников, и между ними самого Белинского, которые, ожидая от него все большей душевной сложности, все дальнейшего углубления в таинственный мир европейских идеалов, были возмущены его возвращением к *простому и доброму*, что живет как высший идеал душевной красоты в нашем народе. Типы иной красоты, которым он поклонился некогда и, как и другие русские поэты, облил их слезами своей любви, в конце концов были побеждены типом духовной красоты, сложившимся в нашей жизни, выросшим из нашей действительности. Отсюда же, от этого последнего фазиса в деятельности Пушкина, ведет свое начало и трезвое простое отношение к действительности, которое с тех пор стало господствующим в нашей литературе. Сергей Аксаков в "Семейной хронике" непосредственно примыкает к "Капитанской дочке"; к ним обоим примыкает Л. Н. Толстой с семейною хроникой Ростовых и Болконских — "Войной и миром"; как эпизоды, как разорванные нити этих хроник могут быть рассматриваемы и лучшие образцы нашего семейного романа — "Обрыв", "Дворянское гнездо", отчасти "Обломов". Повести Тургенева представляют еще дальнейшую суженность и индивидуализацию этого течения нашей жизни: на ее общем бытовом фоне выделяются люди с особенным выражением лица и необычно судьбой ("Рудин", тип Базарова). Полный разрыв с этою бытовою основой и уклонение в сторону гениального и уродливого как в изображаемом, так и в самом изображении представляет собою Ф. М. Достоевский.

Теперь если мы подумаем, что ни один из наших поэтов и художников, начиная от Жуковского и кончая Л. Толстым, не был носителем более нежели одного духовного настроения; и далее, если примем во внимание, что даже такой человек, как Лермонтов, до конца дней своих не мог высвободиться из-под очарования поэзией Байрона, жил настроением его музыки, то необъятная мощь пушкинского гения станет для нас ясна. С другой стороны, если мы признаем, что в сфере литературы мы и до сих пор движемся в пределах направления, им данного, только разрабатываем это направление и этой разработке не видно еще конца, — мы поймем его историческое положение. Он привнес всюю своею деятельностью, ее характером и судьбой, новое слово в нашу историю, подобного которому по значительности ни разу не произносилось.

В истолковании и доказательстве этой истины, далеко не сознанный еще, далеко не признанный и теперь, состояла великая заслуга критической деятельности Ап. Григорьева.

Доходят известия, что, когда с университетской кафедры приходится касаться нашей новой литературы (XIX века), во всех объяснениях своих ученые невольно становятся на точки зрения, утвержденные Ап. Григорьевым (так поступал, например, покойный Ор. Ф. Миллер). Наука, как *объяснение*, ничего другого и не может сделать: истолкование нашей новой литературы было сделано им только как оценка ее — Белинским, как возведение ее на степень самого глубокого и важного жизненного дела — Добролюбовым.

По этим трем господствующим целям мы можем дать определяющие названия и самим фазисам нашей критики: первый из них был *эстетический*, второй — *этический*, третий — *научный*.

IV

Всякий раз, когда критика наша, выразив уже все, что могла, в пределах одного фазиса, переходила к другому, представители этого последнего относились враждебно к идеям и стремлениям предыдущего. Так, известно отношение школы Добролюбова к эстетическим теориям и оценкам и школы Ап. Григорьева (например, г. Н. Страхова) к школе Добролюбова. Враждебность эта была естественна, как стремление нового явления утвердить себя среди старых, сознать внутри себя и сделать очевидным для других правоту свою, ту правду, во имя которой оно появилось и хотело жить.

Но должна ли эта враждебность быть чем-нибудь постоянным? Мы могли бы сказать "да", если бы в котором-нибудь из фазисов недоставало этой правды, его особенной своеобразной правды, но она есть, и в ней заключается его право на жизнь, на всеобщее и постоянное признание, но только в границах его своеобразного и исключительного утверждения. За этими границами начинается в каждом фазисе недостающее, которое и было восполнено другим фазисом. Правый в утверждениях, каждый фазис был не прав в своих отрицаниях. И в самом деле: что значит восставать против эстетиков, как не утверждать в конце концов, что писать плохо лучше, чем хорошо, что рубленая проза лучше поэзии, что вялые и деланные повести и рассказы все-таки могут быть хороши даже как повести и рассказы? И с другой стороны, восставать против школы Добролюбова — не значило ли бы говорить, что произведение, исполненное глубокого смысла и жизненной правды, ниже, чем оно же, лишенное всего этого? Отымите из "Анны Карениной" ту "рассудочную тенденцию", о которой говорит Громека, — ту глубокую и особенную идею, которая звучит в каждом ее слове и во всех ее удивительных образах, — и, хотя бы вся живость этого романа осталась, мы сами разбили бы эту живопись, изорвали бы все эти сцены и описания, если б нам оставили только их, взамен того чудного целого, которым мы теперь наслаждаемся. Наконец, всему этому чем может мешать научное рассмотрение литературы? Или что из указанного может мешать ему?

Таким образом, все фазисы нашей критики были частями, которым естественно было возрасти до целого. Закончено ли оно? Это значит: теми отношениями, в которые последовательно становилась наша критика к предмету своему — литературе, исчерпаны ли уже все возможные и должные отношения к ней?

Мы уже имели случай заметить, что писатели последних десятилетий запечатлены одною чертою — глубокою индивидуальностью, отсутствием обоюдного влияния друг на друга. В прежних периодах нашей литературы мы этого не замечаем, или, по крайней мере, черта эта была в них менее выражена: Жуковский впадает по временам в тон Дмитриева; Пушкин впадает в тоны Жуковского, Батюшкова, Языкова и др.; все они родственны, взаимно симпатизируют друг другу, переливаются один в другого. Совершенно обратное мы видели в 50—70-е годы: духовный взор писателей этого времени как будто обращен был внутрь себя, они не чувствовали друг друга, даже не читали друг друга; они создавали, прислушиваясь к движениям только своего сердца и своей мысли. Далее, если мы обратим внимание на то, как именно изучала

научно-историческая критика наших писателей, то увидим, что она преимущественно брала их в связь друг с другом, то есть каждого в отдельности писателя рассматривала как бы обращенным к другим писателям: к тем, которые находились позади его, и к тем, которым суждено было выступить позднее. Нити в духовной жизни, за которыми она особенно и с любовью следила, были все *исходящие*: она отмечала, как, выйдя из субъективного духа поэта, эти нити распространялись по всем направлениям и сплетались с мирозерцанием или с настроением чувства в других поэтах. Ее направление, таким образом, было объективное; по крайней мере, по преимуществу.

Глубокий индивидуализм всех новых писателей невольно вызывает мысль о недостаточности этого отношения, о возможности и необходимости иного — противоположного. И в самом деле, хотя всякий писатель, как и всякий человек, есть, конечно, приемник и предшественник — обращен и к прошедшему, и к будущему, но и в первое и во второе он врос лишь вершинами своего духовного развития, но не корнями его. Как на всякую душу, правильно и на дух поэта смотреть как на нечто глубокое, своеобразное, замкнутое в себе: "из иных миров" он приносит с собою в жизнь нечто особенное, исключительное; оно растет в нем и развивается, лишь питаясь, как материалом, всем предыдущим и так же питая последующее, в свою очередь становясь материалом. Но за усвояемым и процессом усвоения скрывается усвояющее: оно-то и есть самое главное, существенное.

Возможно рассматривать литературу как ряд подобных средоточий, как ряд прежде всего индивидуальных миров. С этой точки зрения предметом нашего особенного внимания должны стать в творчестве писателя все *входящие* нити. Уловив эти нити в его созданиях, мы должны идти, руководимые ими, в дух самого писателя и вскрывать его содержание, его строй. Там они соединяются, и узел их образует то, чем, очевидно, жил он, что принес с собою на землю, что его и мучительно, и радостно тревожило и, оторвав от частной жизни, бросило на широкую арену истории.

Рассматривать с этой точки зрения писателей представляет глубокий интерес. Быть может, кроме того, это и единственно правильный взгляд на них. Мы до того привыкли к безличному процессу истории, что всякого человека рассматриваем только как средство для чего-то, ступень к чему-то. Это, наконец, утомляет; это, наконец, недостойно. Человек вовсе не хочет быть только средством, он не вечный учитель в словах своих, не выючное животное, которое несет какие-то вклады в "великую сокровищницу человечества", с благодарностью от современников и в назидание потомства. Он просто свободный человек, со своею скорбью и со всеми радостями, с особенными мыслями, которые его занимают вовсе не потому, что ими можно пополнить "сокровищницу". Разве недостаточно измучен человек, чтоб еще растягивать его по всем направлениям, приноравливая к одному, дотягивая до другого, обрубая на третьем. Оставьте его одного, с собою: он вовсе не материал для теории, он живая личность, "богоподобный человек". Умейте подходить к нему с любовью и интересом, и он раскроет пред вами такие тайны души своей, о которых вы и не догадываетесь.

1. Н. Я. Данилевский

"Россия и Европа". Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. Изд. 5. СПб., 1895.

Труд, не имевший при жизни автора никакого почти успеха, вышел ныне уже пятым изданием. Не будет излишне смелым, если мы скажем, что книга эта становится настольною для всех высоких кругов русского образованного общества; еще не вся учившаяся Россия ее знает; но, кажется, можно предположить, что ее знает вся Россия размышляющая, колеблющаяся, ищущая истины среди моря мыслей, частью туземно вырастающих, частью навеянных к нам с Запада.

Конечно, всякий, кто причисляет себя к сторонникам славянофильской мысли, может только радоваться при виде этого широкого успеха, какой выпал на долю хотя одной книги, выражающей им чтимую доктрину. Но он не скроет от себя и должен сделать усилие, чтобы разъяснить обществу, что в этой столь читаемой книге выражена еще не вся доктрина и даже не самая ее ценная часть.

I

Теория культурно-исторических типов, предложенная Н. Я. Данилевским, вовсе не есть завершение славянофильской теории, не есть ее высшая фаза, как это утверждают почти все ее критики и последователи. Гораздо правильнее ее можно определить как скорлупу, которая замкнула в себя нежное и хрупкое содержание, выработанное первыми славянофилами и после никем не поправленное, никем не разрешенное. В их трудах, так мало систематических, что их можно принять за черновые наброски, случайно попавшие в печать, дано все то *положительное*, что и до сих пор мы находим в славянофильстве. К сожалению, труды эти совершенно не распространены, и мы боимся, не в силу ли предубеждения, что в книге Данилевского дано их завершение, ознакомившись с которым нет нужды знать предварительные и незрелые фазы доктрины.

И. Киреевский, А. Хомяков и Кон. Аксаков, между тридцатыми и пятидесятыми годами истекающего века, заложили это драгоценное, неразрушенное и, мы убеждены, неразрушимое ядро славянофильской доктрины. Первый в трудах своих: "Девятнадцатый век", "Ответ А. С.

Хомякову”, ”О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России”, ”О необходимости и возможности новых начал для философии”, ”Отрывки”¹ — проводит самые общие разграничивающие черты между культурным сложением западноевропейского мира и мира восточнославянского, в частности русского. Было бы неуместно в краткой заметке перечислять эти черты; остановимся на какой-нибудь одной, чтобы указать, до какой степени его мысли многозначительны и как они верны.

”Скажи мне, как ты оцениваешь истину, и я расскажу все, что ты в себе содержишь”, — мог бы каждый из нас предложить вопрос близкому, партии, народу, наконец, целой группе народов. Этим вопросом по отношению ко всей группе романо-германских племен задался Киреевский. ”Истина есть *то, что ”доказано”*”, — отвечает их философия, мир точных наук, догматика² их церкви, наконец, их право, их политическое сложение. Когда сеть силлогизмов нигде не прерывается, когда они исходят из наблюдения и проверены опытом — от Бэкона и до Уэвелля, от Кальвина и до Фейербаха, — ученый, пастор, ремесленник равно не усомнятся, что истина охвачена тут, внутри этих силлогизмов, опытов, этой реторты человеческого познания.

И вот мы читаем историю нового права Блончли: около 600 страниц, и не более 3—5 страниц на мыслителя. Какое их множество, какие великие, светлые имена... И какая грусть, какое сомнение охватывает, когда страницы бегут перед нами и с каждою новою мы входим в сеть нового мышления, так неуловимо подкупающую, так правильную, против которой мы так бессильны спорить. О, кажется, легче было бы покорить все народы, всем им дать один закон, — нежели это множество умов, бескорыстно ищущих истины, привести к признанию истины одной, к согласию в одном мнении. Но что это, вот уже почти невероятное: ”Я в тебе ничего не признаю и не уважаю, ни собственника, ни бедняка, ни человека — я тебя *потребляю*. Я нахожу, что соль придает моей пище вкус, и потому солю ее; в рыбе я вижу питательный материал и потому ем ее; в тебе я открываю способность скрашивать мою жизнь и потому выбираю тебя в товарищи. Или, на соли я изучаю кристаллизацию, на рыбе — животных, на тебе — людей и т. д. Ты для меня именно то, что ты есть — мой предмет, как *мой предмет* — моя *собственность*”³.

Это — не из потаенного письма, не из потерянной записной книжки маньяка; нет, скромный ученый в 1845 году опубликовал этот взгляд на отношение человека к человеку, на нравственную нашу природу в книге ”Der Einzige und sein Eigenthum”⁴; и книга не канула в Лету: ”Ее достаточно прочитать, чтобы тотчас почувствовать себя очищенным от

¹ Все его сочинения изданы, к сожалению, очень небрежно, А. И. Кошелевым в 1868 г. и с тех пор не повторялись изданием.

² Например, изменение Символа веры покоится на силлогизме: во Св. Троице Отец и Сын равны; но Дух Св., по Символу, исходит от Отца; следовательно, Он исходит и от равного Ему Сына.

³ Макс Штирнер ум. 1855 г. в Берлине; книга его вторично была издана в 1882 г.

⁴ ”Единственный и его собственность” (нем.).

греха, обеспеченным от заблуждения и свободным от всякого ига; чтобы стать свободным человеком, каким был автор, быть может единственный в нашем веке”, — восхищается через 47 лет не соотечественник, не друг, но недруг-чужестранец¹.

И вот, если это — истина (вспомним еще философию Ницше), если как некоторое знание высказаны эти слова и как знание же приняты они бесчисленными читателями, значит, самое *мерило* ложного и истинного потеряно, самая реторта изготовления наук и философии имеет в себе какой-то изъян. Здесь, в этой реторте силлогизмов, могут возникнуть великие, светлые истины; но раз мы признаем их за таковые не *по одному* тому, что они из нее именно вышли, значит, есть *другое* какое-то средство различать добро и зло, измерять истинное, справедливое.

“Правилен ли строй душевный мыслящего существа? его силы, его способности гармонированы ли?” — вот вопрос, который мы должны предложить себе ранее, чем станем оценивать извивы мыслей, быть может болезненно направленных, как у несчастного Ницше, у восторженного Руссо и целого ряда мыслителей, столь страстных, столь бурных и вместе так странных, что они заставили наконец задуматься над собою и поставить вопрос о родственности гения и безумия. Вопрос, который, конечно, не мог бы возникнуть при взгляде на Ньютона, Линнея, Аристотеля.

Киреевский еще не предвидел торжества многих странных учений в наше время; никто в его время не предвидел возможности школы Ломброзо. Но он — первый в Европе — сказал слова, выслушав которые мы не только понимаем эти чудовищные учения, развившиеся на наших глазах, но и видим исход из них, имеем правильную на них точку зрения. И эта точка зрения потому особенно прочна, что не принадлежит индивидуально Киреевскому, не есть плод его личных размышлений: он лишь подметил метод оценки истинного и ложного в народе нашем и еще ранее — в нашей истории, в нашей древней письменности. Всюду он усмотрел, что сплетению понятий дается лишь второе место, последующее значение, главное же внимание обращено на *целостный* дух размышляющего, его *правильное* состояние. Два указания из литературы новой яснее вскроют перед нами мысль его; во “Власти тьмы” гр. Л. Н. Толстого мы очень мало доверяем рассудительным речам матери преступника, его самого, всем тем, которые, несмотря на связность своей мысли, ходят, мы видим, “во власти тьмы”. Напротив, богобоязненный отец преступника (Аким) с своим знаменитым “тае-тае”, хотя не может членораздельно передать ни одной мысли, для нас светел, мы его слушаем, ему доверяем. Он, темный не только в книжном научении, но и косноязычный, почти немой, для нас разумен, есть носитель истины... как добытой? по *правилам* какой логики? Для Бэкона, для Аристотеля, для автора “*Novum Organon renovatum*”² — он есть только жалкий нищий, которому можно лишь бросить кусок хлеба. Добролюбов “В темном царстве”, выясняя характер Катерины, как на особенно ценную в ней черту указывает на то, что она не рассудочно дошла до протеста против “темных сил”, ее окружающих, но самою

¹ Теодор Рандаль, в “*Journal des Débats*”, 1892 г.

² “Новый Органон обновленный” (*лат.*).

натурою, правдою сердца своего почувствовала ложь и зло этих сил. Названные писатели не имеют ничего общего в себе; и только общая народная кровь, текущая в их жилах, заставила их одинаково смотреть на истину как на продукт вовсе не мозговой деятельности, не рассудочного сплетения понятий.

II

Мы приподымаем лишь незаметный краешек в учении высоких и светлых умов, положивших основание славянофильства. Хомяков в трудах своих: "Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу брошюры г. Лоренса", 1853 г., "то же — по поводу послания парижского архиепископа", 1855 г., "то же — по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры", 1858 г., в "Письмах к Пальмеру" и, наконец, в "Опыте катехизического изложения учения о церкви"¹ — выяснил впервые особенности восточного церковного сложения сравнительно с двумя западными. Сущность церкви — это любовь, это — согласие; и, следовательно, естественная внешняя ее форма — *соборность*. Она сохранена на Востоке — и притом с столь великою опасливостью за ненарушимость принципа, что после отделения от себя западных церквей восточные никогда не осмелились, несмотря на крайнюю иногда в том нужду, собраться вновь на Вселенский собор; ибо вселенность предполагает в себе полноту членов, а между тем западные члены церкви не примирены с восточными. Не хочет она, не сознает возможным "собраться" непримиренною; вот уже тысячелетие жизни в изолированности она принимает как временное зло, которому исполнятся же "времена" и "сроки", и тогда церковь Христова, с членами исцеленными и овцами нерастерянными, соберется вновь "сбороваться". Этому принципу — мы хотим сказать, любви и согласию — в печальную эпоху исторических смут на Востоке изменила церковь римская; вместо того чтобы пожалеть, чтобы сострадать Востоку в минуты тяжкие, она его презрела, и хоть в поводах к чувству этому, быть может, была и права, не была права в самом чувстве, и между тем им замутилась навсегда. Мы не можем даже в самых кратких чертах указать все глубокомысленное и прекрасное течение хомяковских воззрений, но он объясняет, как протестанство было лишь продолжением этого же отношения к церкви, но только уже против Рима направленное, внутри церкви западной совершившееся. Грех, не прощенный Востоку Римом, был взыскан с Рима Лютером, Цвингли, Кальвином, и гораздо позднее, уже на наших почти глазах, эти отпадения все продолжают: протестантизм кажется слишком обильным верою для "свободных мыслителей"; является тюбингенская школа богословов, сбрасывающая с себя христианство как неправильно понятый миф, является материализм, сбрасывающий с себя всякую религию, наконец, все духовное.

¹ См. сочинения А. С. Хомякова, том II, изд. под ред. Ю. Самарина.

III

Кон. Аксаков в ряде статей, из которых особенно замечателен критический разбор "Истории России" Соловьева, появившийся по выходе VII тома этого обширного труда, — дает объединение структуры русской истории. Впервые он указал, как недостаточно сводить историю России к истории правительства в России, внешним образом и насильственно преобразующего косный народ. Начало государственное — это лишь формальная сторона в истории, ограничивающая, сдерживающая, охраняющая, — между тем и единственно эта сторона рисуется и у Карамзина, и у Соловьева. Воинский сан и канцелярский приказ, князь — собиратель дани, великий князь московский, дающий перевес интересам государственным над *родовыми* отношениями, наконец, император как просветитель, преобразователь, — вот постоянная тема всех предыдущих историков, разрабатывая которую они едва имели досуг бросить какой-то боковой, урванный у главной темы взгляд на стоящий в глубине сцены безмолвный, бездеятельный, безвольный народ; и невольно у читателя является вопрос, зачем, для выражения какой мысли стоит этот народ.

Начало *общинное* столь же постоянно и так же повсюдно проникает русскую историю, как *родовое* — западноевропейскую; вот главное открытие, которое делает К. Аксаков в замечательной статье своей: "О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности". Это общинное начало выразилось в *вечевом* строе Древней Руси; актом собравшегося в Новгороде вече было самое призвание князей, начало государственности: народ не безмолвствует, не стоит, не занимает только место на громадной территории Восточной Европы, но действует, мыслит, творит, как живая нравственная сила. И по призвании князей, вече сохраняется во всех городах, т. е. община продолжает жить под всеми теми внешними передвижениями, которые одни, по-видимому, наполняют историю, производят в ней шум оружия, перипетии княжеских отношений. Позднее, с объединением княжеств под Москвою, общинная жизнь городов сливается и находит для себя выражение в земских соборах: это — *земля*, призываемая на совет свободно избранным, поставленным ею над собою *государством*. Первый царь созывает первый земский собор. Ему принадлежит землю не оспариваемое, но с любовью утверждаемое право деятельности, закона, силы; земле принадлежит царем не оспариваемое, но бережно выслушиваемое право мнения, суждения по совести, область духа. Государь поступает, как ему Бог указывает; земля не поперечит его *делам*; она присоединяет к ним лишь свою *думу*, свободно выраженную, которой последовать или не последовать свободен царь. Высшее начало соборности, согласия, любви отражается в этих отношениях.

Выражаясь в истории, это начало выражается повсюду и в быте русском: достаточно упомянуть *мир*, поземельную *общину* нашу, достаточно вспомнить понятность, излюбленность *артельного* начала людом русским, чтобы признать справедливость этого.

Таковы в самых кратких чертах объяснения К. Аксакова. Около этих трех основоположников славянофильской идеи группируются меньшие

и позднейшие: Петр Киреевский, Юр. Самарин, И. С. Аксаков, поэт Тютчев; чуть-чуть в стороне от них стоящий, мало понятый, мало оцененный у нас Н. П. Гиляров-Платонов. Роль всех их в славянофильстве была гораздо меньшая: они не разветвили, не усложнили, не углубили этого учения, они его *оподобили*, применили ко множеству частных явлений, к явлениям вновь нарождающимся, к явлениям старым, незамеченным.

IV

Н. Я. Данилевский набросил обертывающий покров на все эти учения; около этой нежной, хрупкой, жизненной сердцевины образовал внешнюю скорлупу — и только. Отсюда отчужденность от него носителей прежнего славянофильства (например, И. С. Аксакова); будет правильнее сказать — выразителей его существенной, жизненной, плодотворной стороны. — Он в самом деле не указал, не объяснил ни одной особенности нашего исторического сложения, собственно к *славянофильству* он ничего не прибавил; его роль была другая, менее значительная, более грубая. В двух словах — это будет понятно.

Существуют *типы* органического сложения; не виды, не роды, не классы, различающиеся органами, но типы, в которых различие гораздо глубже и касается самого *плана*, по которому созданы или произошли организмы. Человек, птица, ящерица, рыба, как они ни разнообразны с виду, одинаково, в сущности, устроены: они имеют ряд органов, симметрично расположенных по правую и левую сторону некоторой идеальной линии, проходящей от передней оконечности организма к задней. Но вот перед вами морская звезда; в ее формах, чисто идущих от центра, вы не узнаете самого плана, по которому создано тело всех названных выше существ, — для построения этого животного нужен был *второй* план, нужно было *новое* усилие творческой созидающей мысли, между тем как при созидании ящерицы или рыбы новое усилие делала только материя, одевая собою тот же план, по которому устроен и человек. Так же, рассматривая содержимое двустворчатой раковины и припоминая строения вам ранее известных животных, вы произносите невольно: "Это — что-то совершенно другое, это — еще *тип* органических созданий", не выражая этим ничего иного, кроме своего изумления, непонимания, растерянности перед необычным и неожиданным, что вам раскрылось в природе.

И в истории всемирной, если мы всмотримся в нее внимательно, мы увидим нечто аналогичное: есть *группы* народов — не в частях своей жизни, не в некоторых формах деятельности отличающиеся одна от другой, не чем-либо прибавленным, убавленным, переиначенным, как переиначены некоторые функции и органы у млекопитающего и рыбы, — есть народы, есть культуры всемирно-исторические, как бы осуществляющие в своем ходе, в строении *иной план*, чем другие. На ту же нужду они отвечают различно, при встрече с одним предметом испытывают разнородное: Филоклет от боли раны кричит; Иов — тревожится, не согрел ли он? Аппий Клавдий, похитив Виргинию и обвиненный,

разбивает себе голову в темнице; Давид, похитив Вирсавию и обвиненный, слагает псалом покаяния и скорби. Неудивительно ли: в целой Библии нет ни одного силлогизма, хотя увещание, объяснение, убеждение — обычные случаи, когда мы употребляем "следовательно", — рассеяны в ней едва ли не с первой страницы до последней. Тот же мир вокруг этих людей, но не те же они; гамма их внутренних струн разнородна — иное в них сцепление понятий, иной порядок чувств, содержание понятий. Они лишь внешним образом соотносятся друг с другом — торгуют, воюют, странствуют по лицу земли, но на этой земле осуществляют различное, переживают несходное и вообще мало понимают друг друга или понимают с большим усилием. Таков араб и римлянин, иудей и грек — один с шумливым форумом, великим Капитолием, Афродитой Книдской, другой — с скрижалями завета, без отечества, без границ, со скорбью и сокрушением, которым заразил мир; таков, уже на исходе судеб исторических, славянин, коль он соприкасается с романцем, швабом, англичанином, — многое *от них* усвоивший, перенявший и все-таки не усвоивший *их*, не чувствующий, не понимающий внутренней необходимости их форм созидания; еще менее ими усвоенный в интимном содержании души своей, в складке характера, в неуловимом оттенке смеха, иронии, в молитвах печали, безотчетного разрушения, порывистого творчества. Все это суть люди разных типов психического сложения, и отсюда неодинаково сложение их быта — внутренний план их истории.

То, что Киреевский, Хомяков, К. Аксаков наблюдали как факт, чему они удивлялись, чему не доверяли другие, — есть явление, которому Данилевский дал имя, указал аналогии в природе, нашел место во всемирной истории. Он не открыл новой черты в этом явлении; в пук наблюдений, сделанных первыми славянофилами, не вложил ничего от себя; собственно для славянофильства как учения об особенностях русского народа и истории он ничего не сделал. Его роль была формально-классификаторская; он сказал: "Группа этих особенностей есть особый культурно-исторический тип, один из нескольких, на которые распадается всемирная история и которые в ней не преемственно продолжают друг друга, но, чередуясь или существуя бок о бок, созидают разнородное".

Читатели, теперь столь многочисленные, "России и Европы" легко поймут из этой книги, *почему*, на основании каких общих законов истории они не схожи с германцем, французом, римлянином, греком; но *в чем* именно не схожи, *чем* их родина отличается от тех стран в историческом, бытовом, культурном отношении — этого они не узнают отсюда, это могут они узнать только из трудов Киреевского, Хомякова, К. Аксакова, других меньших первоначальных славянофилов. "Кто я?" — "вокруг меня *не то же, что я*" — вот краткие выражения, вот формулы сердцевинной и краевой фаз одной и той же доктрины — ее жизненной плодоносной части и внешней, жесткой, только разграничивающей стороны.

2. К. Н. Леонтьев

К. Леонтьев. "Восток, Россия и славянство", т. 2. Москва, 1885—1886 гг.

Кн. С. Трубецкой. "Разочарованный славянофил"; *его же:* "Противоречия нашей культуры" ("Вестник Европы", 1894 г.).

П. Милоков. "Разложение славянофильства" ("Вопросы философии и психологии", 1893 г., май).

Ген. Киреев. "Наши противники и наши союзники" ("Протоколы славянского благотворительного общества", 1894 г.).

Л. Тихомиров. "Русские идеалы и К. Н. Леонтьев" ("Русское Обозрение", 1894 г., октябрь).

И. Фудель. "Культурный идеал К. Н. Леонтьева" ("Русское Обозрение", 1895 г., январь).

Славянофильство не есть только истина выражаемая, но и некоторое нравственное требование; это — не только доктрина, но и некоторый принцип жизни, закон и норма наших суждений и практических требований — вот из какой незамеченной стороны в нем вытекла упорная борьба, завязавшаяся над гробом последнего выдающегося славянофила. Мы разумеем умершего в 1892 году Кон. Ник. Леонтьева. Почти неизвестный при жизни, он тотчас после смерти вызвал обширную и страстную о себе литературу, почти равняющуюся его собственным "орега politica"¹ и гораздо обильнейшую, нежели какая была посвящена которому бы то ни было из славянофилов. Славянофил ли он? Но неужели же западник? Западники отталкивают его с отвращением, славянофилы страшатся принять его в свои ряды — положение единственное, оригинальное, указывающее уже самую необычайностью своею на крупный, самобытный ум; на великую силу, место которой в литературе и истории нашей не определено.

I

Отдельно замкнутые, своеобразные миры исторического созидания, как Китай, как семитизм, как античный мир, романо-германскую Европу и, наконец, славянство, Данилевский назвал культурно-историческими типами. Ничего в его идее не изменяя, К. Леонтьев назвал тот же факт, ту же группу исторических явлений культурно-историческим стилем. Идеи и названия заимствованы перым из биологических наук; второй особенностями даров своих, своими влечениями побужден был к перемене имени при сохранении того же понятия: мир художественных законов и идей он распространил на историю. Роль его в истории славянофильства еще уже, еще менее жизненна и оригинальна, чем роль Данилевского; и она также исключительно формальна. Мы увидим ниже, что это не значит вовсе, чтобы она была маловажна.

¹ "политические сочинения" (лат.).

“Восток, Россия и славянство” — так озаглавил он сборник статей своих, указав в самом заглавии этом градацию предметов своего преимущественного внимания, культа, любви. Славяне отходят у него на совершенно задний план; главная мысль — о новой культуре, не европейской, не буржуазно-утилитарной; Россия есть великая надежда в помышлениях об этой культуре, но и она — лишь относительный момент; главный центр внимания — Восток как носитель иных, совершенно новых, совершенно непохожих на европейские, культурных начал. Турок и татарин, афонский монах и наш старообрядец — все это в ряду влекущих его образов имеет свое положение; болгарин, серб, галичанин, выучившийся у нас, в Париже, в Берлине, не занимают в его исторических перспективах никакого положения, в его симпатиях — никакого места. Судя по его писаниям, их страстности, их отчаянию, их удивительной беззастенчивости, он был первый и единственный не чаятель только (как все славянофилы), но до известной степени уже и носитель новой культуры; единственный гражданин мечтаемого отечества — Колумб, вышедший уже на Новую Землю, а не плывущий только к ней; и на этой Новой Земле он так же мало стеснялся старого, покинутого, полуумершего (как он думал) мира, как не стеснялся бы своей Испании, ее веры и ее предрассудков Колумб, если бы он не думал более никогда возвращаться в нее.

Исходная точка его исторических и политических взглядов заключается в идее трех фаз, через которые проходит всякое развитие, как едва видимой былинки, растущей в поле, так и человека, народов, наконец, тел небесных: первоначальной простоты; последующей цветущей сложности; вторичного упрощительного смешения. Зерно и колос и опять зерно; этнографическая масса и из нее выделяющиеся классы, положения, иерархия властей; и снова, при упадании их, простота вторично-дикого населения (Греция и Италия перед началом средних веков). Туманное, бесформенное пятно, из которого развиваются солнца, около них образуются планеты, на них выделяются материки и одеваются растительною и животною жизнью, и далее — остывший мир, опять безжизненный, обледенелый, голый, упрощенный, — вот великие и всеобщие факты мировой эволюции. Нет в живом и мертвом ничего, что не было бы подчинено закону этих трех фаз, и если мы спросим себя, что же в них есть главное, то мы увидим, что это — начало грани, предела, обособления. По-видимому, внешнее, оно есть в то же время внутренний принцип каждой вещи и показатель ее жизненного напряжения, силы, способности к бытию; и насколько мы любим природу, хотим сохранения в ней жизни, мы эту ограниченность, обособленность и разделение всех в природе вещей должны любить. Отсюда критерий добра и зла, благого и губительного для целой природы и для истории, — критерий, не имеющий ничего общего с установившимися точками зрения в прежней политике и морали; яркость, цветистость, красота (что все есть проявление грани), не в себе самой ценимая, но как залог прочности и долголетия, — есть мерило, с которым, без боязни ошибиться, мы можем подойти к каждому предмету в истории, ко всякому явлению жизни политической, общественной, художественной. Этим мерилom, формальным и потому безошибочным¹, К. Леонтьев оценивает и жизненные силы

¹ Т. е. чуждым субъективных примесей.

западной цивилизации. Акт бурный и мощный в ней, который мы зовем "великою революциею" и с нее начинаем свою историю, историю идей своих и стремлений, есть только момент вступления Европы в последнюю фазу всякого развития — вторичного упростиельного смешения. Мы так любим свободу, так усиливаемся к ней, но она — только высвобождение индивидуума, этого социального атома, из-под законов, связывавших его в некогда живом и сильном организме, теперь разрушающемся. Все в этом организме теряет свою обособленность; все смешивается, уподобляется одно другому, сливается в однородную массу, все уравнивается¹, — потому что все умирает. Гибельности процесса этого мы не чувствуем, потому что мы именно его выразители; и порыв наших желаний, убеждения нашего ума не индивидуально нам принадлежат, но нам даны нашим временем, его смыслом, его тенденцией всеобщей, непобедимой — умереть. Ни красноречие церкви, ни сила предрассудков, ни усилия политиков — этого биологического процесса не могут удержать: Европа, еще так цветистая и своеобразная в каждом уголке своем 1½ века назад, слита в однообразие всюду той же буржуазии, везде одинаковой администрации, одних почти законов, одного быта. Великое древнее здание истории теряет свой стиль: башни обваливаются, выступы стираются, линии разграничивающие перестают быть отчетливы; громады камня, странное, едва оформленное пятно остается на месте святого и прекрасного храма, который мы так любили, так многому в нем научились; и теперь... любим ли, ненавидим ли его, кто разделит в нас, как разделит мы сами в себе эти чувства?

Почти не нужно объяснять роль России ввиду этого великого наклона европейской цивилизации: не нужно говорить об ее политике, внешней или внутренней. И все желаемое для нее, и оценка в ней всякой действительности — уже ясны отсюда.

II

Мы заметили, что роль Данилевского и Леонтьева собственно в славянофильстве носит черты внешности и формализма, но, взамен этого, они имеют другое, и более существенное, значение. Можно сказать, в лице их славянофильство впервые выходит за пределы национальной значительности и получает смысл универсальный. Учение первых славянофилов, Киреевского, Хомякова, К. Аксакова, — это наше домашнее дело, наше сознание о себе, и оно не имеет общечеловеческого интереса; но теория культурных типов и теория грани, предела, как показателя жизненного напряжения в целой природе, — это уже философия истории, это — высокая публицистика, которая бьется, тоскует, страдает на рубеже двух цивилизаций, в сущности с любовью к той и другой, но более, чем с любовью к ним, — с любовью к жизни, к человеку, с отвращением и страхом перед разложением, смертью... Мы без смущения назовем имена Маккиавели, Монтескье, Ж. Бодена, Эд. Борка, Прудона, между которыми должны быть поставлены имена этих писателей. Они зовут столь же новое; отрицают столь же обширное; и, в сущности, отрицают

¹ Так называемый "эгалитарный процесс" — по терминологии Леонтьева.

и зовут еще обширнейшее и более новое, чем те великие умы, и также опираясь на обширную философию.

Гораздо более загадочным и сложным, чем Данилевский, представляется К. Леонтьев, не в составе доктрин своих, которые ясны и просты, но в себе самом, в своей натуре, в смысле лица своего. Длинный ряд статей, появившихся о нем в последние годы, этот взрыв негодования, недоумения, ревностной защиты, какую мы наблюдаем над его гробом, — поразительны; едва ли есть кто-нибудь, кто в глубине души без остатка, без молчаливой оговорки был бы удовлетворен им, и едва ли есть кто, кто, высказав в отношении его все порицания, в тайне души своей не задержал бы, не скрыл некоторого удивления к нему, некоторого с ним согласия. Мы говорим, конечно, о проницательных.

Три элемента образуют существо его духа, обуславливают его суждения, формируют его мировоззрение: натурализм, эстетика и религиозность. Медик по образованию, политик и писатель в зрелые годы, он умер тайным пострижником Афонской горы, покоров в себе религиозному началу другие. Покорив как? покоров насколько? — вот загадка, в которой скрывается ключ к его объяснению. Если, не довольствуясь внешним смыслом им написанного, мы станем прислушиваться к тонам его речи, всматриваться в степень оживления, с какою он говорит о тех и иных предметах, мы тотчас заметим, что три указанные элемента не были в нем соединены гармонично; мы хотим сказать — не были соединены в той зависимости, какая вытекает из их природы, требуется их законом. Чувство эстетическое в нем безотчетно, неупорядочно; оно веет из каждого оборота его речи, из всякой оценки, им произносимой, из всякого требования, порицания, надежды, горечи, какую ему приходится высказывать. Чувствуется, что здесь — натура пишущего, которой некуда спрятаться, с которою он не может совладать, когда даже и хотел бы, когда нужно бы¹; и, в глубине души своей, он с нею не захочет даже совладать, — как вода струящаяся, живая, никогда не захочет остановиться и, даже ударяя бурно на берег и отбегая назад, через минуту обегает его и стремится в направлении того же склона (случай, где он сопоставляет изящное с моральным и религиозным, см. "Письма к И. Фуделю"). Это чувство — его жизнь, скудель его печалей, родник всех радостей; и начало грани, предела или, что то же, формы и понято им так глубоко и универсально, потому что оно есть прежде всего начало красоты, эстетическая сторона целого мироздания. Если, далее, мы обратимся к тому, что называли натурализмом в нем, то увидим, что его анализ истории и политики холоден и свободен, как размышление медика у постели больного, где он хочет знать, и — ничего более². Его

¹ См. замечательное частное письмо его (почти — статья по объему) к о. Иос. Фуделю, опубликованное последним в январской книжке "Русского Обозрения" за 1895 г. Письмо это имеет решающее значение в оценке внутренней жизни Леонтьева, хотя обо всем, что там ясно раскрывается, можно было догадываться и ранее.

² "Наука будущая и желаемая должна быть проникнута великим презрением к своей пользе" (холодна, безучастна; ни льстить человеку, ни радовать или утешать его). Сам Леонтьев, безусловно, выполнил это требование. Приведенные слова находятся в "Письме к И. Фуделю".

приговоры — беспощадны¹; его указания, советы — бесстыдны часто², и это в такой мере, что на некоторое время даже отталкивают от него читателя, пока позднее он не покоряется невольной силе ума его и правде языка. Но вот мы подходим к религии... какая связанность языка, скудость воображения, вялость письма и мышления! Где поразившие нас искры гения, пафос великого публициста, столь жгучий, ласкающий, манящий, когда он говорит о предметах земных, о красоте земных форм, смущениях политики, опасных изгибах исторических течений³; здесь он не вникает более, не задумывается, не ищет. В речи, которая не умеет более играть, потеряла жизнь свою, он приводит соответствующие делу канонизированные слова — и только; что-то формально-внешнее, извне требующее, непонятно господствующее — для него религия. Правда, в жизни он покорил себя ей — и мы опять спрашиваем себя: как? Где умиление, где радость, где порыв доверчивый и простой к предмету веры? Он отдает ей требуемое, он ей послушен, но не деятельно, как в сферах красоты и мысли, а пассивно; он не тоскует⁴ здесь, не негодует — как там, когда видит гибель прекрасного в жизни или темноту людей к положению земных вещей; он даже не очень страшится здесь, вопреки собственным уверованиям; он говорит:

“...И поэзия земной жизни (NB: прежде всего припоминается), и условия загробного спасения одинаково требуют не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы... а, говоря объективно, некоей как бы гармонической, ввиду высших целей, борьбы вражды с любовью. Чтобы самарянина было кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники...”⁵

И, распространяя *антиномию* эту на всю историю, на целую жизнь, он развивает, что жестокое и несправедливое так же необходимо на земле, как кроткое и доброе, равно неизбежно, в сущности — не осуждаемо. Так, может быть так, — наш излишне мудрый друг, но... принадлежит ли судить об этом человеку? И Спаситель о самарянинах, который так размышлял бы над изувеченным прохожим, рассказал ли бы умиленную притчу, которой мы внимаем в церкви, принимаем ее без анализа; и в церкви же, уже монахом, слушал ее Леонтьев и применял, истолковывал ее в этом странном приложении к истории. На всем протяжении его трудов, во всех бесчисленных предметах, каких он касался, нельзя найти ни одной строчки, ни одного факта, ни одного случая, где смешное, уродливое, некрасивое, что нас заставляет отвер-

¹ Как, напр., о славянах вообще, и даже — о русских, о России [“мы прожили много, сотворили духом мало”; “у нас все оригинальное и значительное принадлежит Византии и ничего — собственно нашей, славянской крови”] (“Византизм и славянство” — центральная для воззрений Леонтьева статья в 1-м томе “Востока, России и славянства”).

² “Вот каков русский народ — “богоносец”, когда над ним не свистит государственный бич” (из “Анализа, стиля и веяний в романах гр. Л. Н. Толстого”).

³ См. “Национальная политика, как орудие всемирной революции”; сравни язык этой брошюры с языком богословствующей части “Наших новых христиан” и с языком книги: “От. Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни”.

⁴ См. “Отец Климент Зедергольм” и “Наши новые христиане”.

⁵ “Наши новые христиане — Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой”. Москва, 1892, стр. 19.

нуться от себя, что носит на себе "знак раба" не юридический только, снискало бы одобрение его прочими своими достоинствами (как полезное, истинное или этическое). И, напротив, гибким адвокатом прекрасного, прекрасного даже в смешении со злом, как в приведенном примере самарянина и разбойников, он является на самых одушевленных своих страницах. Мытарь презираемый, мытарь действительно смешной и жалкий, мытарь не в вековечной притче, но где-нибудь возле себя, тут за углом — вот что ему навсегда осталось непонятно, чего он не захотел бы никогда простить ему самому и даже, кажется, против него хотел бы бороться с Богом..."¹

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа...
Не поймет и не оценит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной —

этот необходимый член символа славянофильства выпал из последнего его исповедания.

III

Из этих установленных нами перспектив далекого и близкого его душе открывается совершенно новый взгляд на его сумрачные теории. Еще раз повторяем: состав этих теорий — ясен, ясны все его отрицания и утверждения в их связи; он сам, его скорбь и уныние — вот что загадочно, что смущает невольно того, кто захотел бы без остатка осветить его лицо для себя. Он все говорил, в долголетней и разнообразной своей деятельности, о народах Запада и Востока, их вероятной или неизбежной судьбе; но не было ли постоянно в его рассуждениях опущено что-то, о чем, однако, ему, как именно монаху, следовало бы подумать ранее и впереди всего, и мы ожидали бы, что он об этом подумал. Церковь и особые обетования, ей данные, — вот что совершенно забыто им, что в его страхах, сомнениях и ими обусловленном негодовании не занимает никакого положения². Он ее не вспомнил вовсе и вот отчего

¹ См. "Культурный идеал К. Н. Леонтьева" И. Фуделя и в нем слова Леонтьева — об Алкивиаде. По христианскому воззрению, самые добродетели древних греков были только "красивыми пороками"; напротив, с точки зрения Леонтьева, — самые пороки древних были немножко "добродетелями".

² Вот, для примера, несколько ясных мест. "...Терпите! Всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести и боли — вот единственно возможная на земле гармония! И больше — ничего не ждите! Помните и то, что всему бывает конец; даже скалы гранитные выветриваются, подмываются; даже исполинские тела небесные гибнут. Если же человечество есть явление живое и органическое, то тем более ему должен настать конец. А если будет конец, то какая нужда нам заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже не понятных нам поколений!.. Как можем мы надеяться на всеобщую нравственную или практическую правду, когда самая теоретическая истина или разгадка земной жизни — до сих пор скрыта от нас за непроницаемую

остался неутешен. Его понимание истории, его предвидение судеб человеческих — только натуралистическое. Выше мы привели исходный пункт его размышлений — теорию трех фаз, чрез которые проходит развитие всего живого и даже мертвого: но какое они имеют отношение к церкви? Разве и она им натуралистически подлежит? И в них — гибели? Будто ей не дана вечность и самая природа ее не супранатуральная? Разве эту вечность мы уже не предвкусили в удивительных периодических возрождениях, какие пережиты были христианским обществом после атеистического Renaissance, после культа разума в XVIII веке, и, наконец, какое мы переживаем теперь, после отрицаний от 40-х до 80-х годов нашего века, отрицаний столь твердых и, казалось, окончательных? Великий эстетик и политик, он видел в истории волнующиеся массы народов, их любил, ими восхищался, но, только эстетик и политик, он не заметил вовсе святого центра их общего движения, который незримо ведет, охраняет, поддерживает идущих. Он только различил бредущие толпы, натуралистические стада "человеческих голов", и все замеченное им здесь, — точно, верно, научно; но есть и остался ему неизвестен в темном киоте святого образ, который и избрал эти толпы, и ведет их к раскрытому и ожидающему шествия храму: и все то, что он так любил в истории, эти блестящие свеч, волнующиеся хоругви, курящийся к нему дым, — существует вовсе не силою красоты в них, но долгом служения своего и своего предстояния маленькой черной иконке:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Отсюда, из этого странного, почти языческого забвения, вытекает третья особенность нас занимающего писателя: чрезмерное преобладание в нем отрицания над утверждением, отвращающего чувства над любовью¹, надеждою, порывом. Эстетическое начало есть по существу

завесою?" ("Наши новые христиане", стр. 23—24). Или еще: "...благодетельное братство, доводящее людей до субъективного постоянного удовольствия, — не согласуется ни с психологией, ни с социологией, ни с историческим опытом" (ib., стр. 34). В одном и в другом случае мысль о Промысле просто не приходит ему на ум; и тела церкви как бы не существует вовсе на земле; ни христианства, ни Христа, ни, напр., этого глагола Его — "Я живу — и вы будете жить" (Иоанна, гл. 14, ст. 19). Он как бы "схватывается" за церковное тело — на минуту, когда оно ему нужно было; и с прекращением нужды — даже не помнит, край одеяния чьего держал в руках.

¹ Говорим только об его писаниях, идеях, строе мирозерцания. Письма (частные) его к г. Губастову, печатавшиеся около двух лет в "Русском Обозрении" (1896—1897 гг.), свидетельствуют, наоборот, о необыкновенной теплоте, отзывчивости его души как частного человека, как семьянина, хозяина и члена общества. В добром и кротком он почти доходил (вопреки своим жестокосердным теориям) до смешного, как, напр., с долгом своим "кавасу Яни", состоявшим из нескольких десятков рублей, и который, бедствуя сам и уже по истечении почти десятков лет со времени займа, он до смешного пытается уплатить, даже не зная, жив этот турецкий подданный или нет. И множество подобных же деталей рисуют его душу трогательными и нежными чертами.

своему пассивное: оно вызывает нас на созерцание, оно удерживает, отворачивает нас от всего, что ему противоречит; но бросить нас на подвиг, жертву — вот чего оно никогда не может. Люди не соберутся в крестовые походы, они не начнут революции, не прольют крови... из-за Афродиты земной. И ее одну знал и любил истинно К. Леонтьев. Афродита Небесная, начало этическое в человечестве — вот что движет, одушевляет, покоряет человека полно; за что, наконец, он проливал и никогда не устанет проливать кровь. Леонтьев не имел в будущем надежд; но это оттого, что, заботясь о людях, страшаясь за них, он, в сущности, не видел в них единственного, за что их можно было бы уважать, — и не уважал. Слепой к родникам этических движений, как бы с атрофированным вкусом к ним¹, он не ощущал вкуса и к человеку — иного, чем какой мог ощутить к его одежде, к красоте его движений, к подобному...² Странная пассивность всех отношений к действительности — что зовут его "реакционерством" — была уже естественным плодом этого. Любить сохранившиеся остатки красоты в жизни, собрать ее осколки и как-нибудь их сцементировать — это было все, к чему он умел призывать людей, что выходило из алфавита ему известных понятий и слов. И ум сильный, взгляд твердый говорили ему, что все это — не надолго, что жизнь не может стоять; и, между тем, он не мог рвануться вперед, не умел назвать, не видел, не понимал того, силою чего в истории человек порывался и порывается.

IV

И это тем удивительнее, что его взгляд был обращен на Восток. Мы сказали — он был человек новый, единственный гражданин некоторого мечтаемого отечества; это — в том смысле, что он сбросил без остатка ветхую одежду западных предрассудков, верований, привычек, надежд, понятий. Но, сбросив их, он не облекся новым достаточным; выразительность линий, яркость и пестрота красок — вот что в его воображении вырисовывалось в будущей ожидаемой цивилизации: великолепный портал, уходящие в небеса шпицы, но не священник, не таинства, не символы, не страх на земле и ожидания за гробом. "Это — ночь, которую мы не отвергаем", — мог бы сказать он только о всем подобном. И он знал, он предчувствовал, он видел, что хотя бы удобств "утилитарно-эгалитарного прогресса" люди не бросят из-за жадно манившей его красоты линий.

Между тем, это ли на Востоке? Та история, над которою он столько размышлял и все-таки понимал ее только внешним образом, — даже внешними массовыми движениями своими могла бы указать ему на скрытые в ней этические и религиозные начала. Все движется опять к Иерусалиму — таков смысл веков, смысл этой волны истории, кото-

¹ См. замечательный отрывок из его письма к И. Фуделю в статье последнего: "Культурный идеал К. Н. Леонтьева".

² См. его "Наши новые христиане — Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой"; также любопытное его письмо-послание к Фету (Шеншину) по поводу юбилея последнего, напечатанное в "Гражданине".

рая, гребнем своим отойдя от Палестины, Сирии, обошла по всему побережью Средиземного моря, остановилась в Испании, сияла во Франции, передвинулась в Германию и Скандинавию и, ясно понижаясь в западной и средней Европе, вздымает, тревожит сонные воды на широких равнинах нашей родины, уже почти соприкасающейся краем своим с теми ветхими странами, откуда началось движение. Смысл этого движения кто разгадает? Кто разгадает будущее? Однако ясно, что не для созерцания каких-то красот мы туда подходим, и ясно также, что не для смерти.

Он во всем ошибся; он ошибся — мы повторяем без всякой боли о его памяти. "Я праздновал бы великий праздник радости, если бы кто-нибудь несомненными доводами убедил меня, что я заблуждаюсь" — так в одном из своих трудов высказался этот замечательный человек о составе своих доктрин. Благородный и истинно великий, он нес свои идеи как тягость, как болезнь; и очень печальная судьба, что ложность этой болезни, призрачность этой тягости становится ясна так поздно, что уже не может прозвучать для него облегчающею вестью. Так, благородная душа, — ты ошиблась; и ты не сошла бы так уныло в могилу, если бы жила истиною, а не этим заблуждением. Разве уже нет утешения в том, что истина — всегда радостна, что все печальное eo ipso¹ есть и заблуждение? Разве это не залог, что Бог и жизнь — одно, и как вечен Он — не умрет она.

1895

¹ тем самым (лат.).

КАТКОВ "КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК"

Не имама зде пребывающего града,
но грядущего взыскуем.

Послание к евр., 13, ст. 14.

Под этим заглавием, которое мы повторяем в заглавии своей статьи, г. Грингмут поместил статью в юбилейном сборнике "Памяти М. Н. Каткова. 1887 — 20 июля — 1897 г.". — Нам хочется взять покойного публициста не в эмпирических данных, в которых выразилась его деятельность, не в колебаниях, какие были у него, не в слабостях, на которые указывали; нам хочется взять его в силе, в идеале — там, где он никогда не колебался и окружен похвалою, и, подойдя к этому идеалу, к этому как бы прототипу эмпирического Каткова, показать его недостаточность и ограниченность, его, наконец, минутность.

По истечении десяти лет подробности деятельности стусеваются, и тем выпуклее обрисовываются ее общие контуры; возникает и остается то идеальное, что руководило этим и тем, а в конце концов и всеми частными понятиями, словами, практическими решениями человека. Г. Грингмут очень удачно и исторически правильно освещает это идеальное в Каткове через сопоставление с идеальным же в двух больших наших партиях, славянофилах и западниках: он говорит — и мы только смягчим угловатости его речи, объясняемые полемическим чувством; итак — он говорит и формулирует:

"Программа славянофилов требовала такого изменения в строе жизни¹ для искусственного воссоздания древней Московской² Руси в ее стародавней простоте и невозвратимой патриархальности, что в Петербурге относились к этой программе с величайшим недоверием, смешивая славянофилов в одну кучу неблагонамеренных людей вместе с нашими либералами-западниками, которые тоже требовали изменения Рос-

¹ "Требовала такой коренной ломки государственных учреждений", — говорит г. Грингмут; наши смягчения не простираются дальше этих жестких и узких определений, не касаясь нигде мысли автора.

² А Киевской? Вообще все изложение г. Грингмута не очень точно, и поэтому наши смягчения возвращают только его речь к действительности, к действительной программе партий. В самом деле, сказать или подумать, что филантроп Новиков (западник) и молившийся в Опгинской пустыни Ив. Киреевский (славянофил) имели "программу" сломать правительство, — значит очень мало понять "дыхание жизни" нашей умственной истории.

сии¹, но уже с совершенно другою целью. Правда, правительство имело некоторое основание относиться подозрительно к этим реформаторам двух совершенно различных категорий, ибо если славянофилы и слышать не хотели о западных реформах либералов и в особенности о их парламентских затеях, то либералы, наоборот, очень сочувствовали программе славянофилов² в той части ее, где они по принципу стоят за всякий вид перемен³, в надежде чем-нибудь при них пожить и вообще нарушить прочность государственных и народных традиций. В особенности же они всегда сочувствовали славянофильским требованиям воссоздания "земского собора", так как отлично понимали, что этот "собор" можно будет превратить в самый банальный западный парламент, столь ненавистный самим славянофилам, вполне основательно видящим в нем верх вреднейшего абсурда для России.

Как бы то ни было, но славянофилы и либералы, расходясь между собою в своих основных началах и конечных целях, тем не менее сходились в одном: в необходимости перемен в современной России в целях возвращения ее или к типу допетровской Руси, или к типу западноконституционного государства, начиная с ограниченной монархии и кончая республиканскими Соединенными Штатами. Удовлетворить как тех, так и других правительство могло лишь политикой опаснейших экспериментов и попыток, имевших целью либо возвратиться в безвозвратно исчезнувшее прошлое, либо рвануться вперед в погоне за совершенно чуждыми России и по существу своему негодными учреждениями Запада. Как в том, так и в другом случае правительству предлагалось сделать прыжок в мрачную неизвестность.

Правительство отказывалось от подобных головоломных *salto mortale* и предпочитало довольствоваться синицей в руках в виде *настоящего* (курсивы здесь и ниже везде автора) положения России, не гоняясь за журавлем в небе в виде ее допетровского *прошедшего* и западного *будущего*.

И вот является Катков и впервые провозглашает, что Россия *и в настоящем своем положении* совершенно здорова, что она не нуждается ни в славянофильских, ни в либеральных переустройствах, чтобы идти по пути православия, самодержавия и народности; что для этого нужно только *верить в себя, верить в свои силы* и, искренно уповая на Бога, беззаветно повинуясь Царю и крепко опираясь на русский народ, бодро смотреть в глаза своим внешним и внутренним врагам. В этом именно и заключается великая государственная заслуга Каткова: он уверовал и заставил своих последователей уверовать в *настоящую, реальную* Россию, тогда как славянофилы и либералы соглашались верить только в несуществующую в действительности, а лишь предносившуюся их воображению совершенно утопическую Россию. Туманные противоречивые понятия, проявившиеся то у одного, то у другого славянофила, представляли какую-то хаотическую массу, в которой трудно было разобраться. С огненною яркостью, точностью и определенностью засияло на этом туманном фоне государственное мирозерцание Каткова,

¹ "Требовали и коренной ломки России, и полного ее переустройства".

² "Сочувствовали коренной ломке, предлагавшейся славянофилами".

³ "По принципу стоят за всякую ломку всего существующего".

вылившееся в его светлом, логическом, точном уме в стройное, гармоническое несокрушимое целое” (“Памяти М. Н. Каткова”, стр. 55 и след.)¹.

Оставим славянофилов и западников; даже в смягченной нами формулировке их взглядов, какую сделал г. Грингмут, нам не захотелось бы слить своего лица, по крайней мере сейчас слить, под впечатлением формулы — ни с которою из этих партий. Оставим их: и вот, однако же, общее у них — алкание; и вот общее же у Каткова, неизменное на протяжении всей его деятельности, — сытость: сытость души эмпирическим содержанием действительности. “В этом заключается великая государственная заслуга Каткова”, — говорит г. Грингмут. О нет, ответим мы: в этом его малость; в этом, и только в этом лежит губительная для его памяти сторона его деятельности, тут — червь, точащий его пирамиду, и, наконец, мы решаемся даже это сказать: тут, в этом практицизме его, лежит именно мечтательность его ума, неопытность сердца, незнание действительности. Тут он иллюзионист, создатель самых коротких и близко гибнущих видений. Но чтобы показать это, нам нужно сделать, чтобы читатель на минуту, только на минуту забыл, что он читает “ежедневную” и “политическую” газету, и, доверяясь — только на секунду — пошел бы за нами в некоторый в своем роде туман “видений”, где мы ему покажем истину.

Итак, забудем “Каткова” и его “десятилетнюю память”. Перед нами панорама истории; панорама уже неоспоримого величия, где мы можем научиться, что создает его, т. е. создает истинное, народами признанное, народами оплакиваемое и воспоминаемое величие. Удивительно: история вся развертывается в два, собственно, ряда людей — истинных зиждителей всего ее узора: юродивых и полководцев. Вы поражены, вы спрашиваете: где же законодатели, дипломаты, политики? где, наконец, князья, цари? сословия, народ? Они *идут*, но *не ведут*. Кромвель и в дальнем расстоянии от него — Джон Нокс, страстный проповедник, которого однажды прихожане церкви, выведя из храма, стали топтать ногами, после чего, очнувшись, он убеждал в свое дупло, — да, в настоящее дупло дерева, которое служило ему домом. Что за фантазмагория!.. Но она — действительность, т. е. она на два века определила собою действительность. Разве не был вполне юродивым Лойола: вообразить, начитавшись рыцарских романов, что он будет сражаться за даму, имени которой даже не знал; а получив рану в ногу и став хромым — вообразить, что так как даме теперь он не угоден, то будет служить с такой же верностью церкви. Да, когда он повесил щит и латы в маленькой часовенке Божией Матери и молился ей... он смешивал, конечно, эту Божию Матерь с тою таинственной безымянной “*donna*”, которой первоначально хотел служить; и потом всю жизнь — *sanctam ecclesiam*, святую церковь, смешивал, не ясно отделяя от Божией Матери. Какой туман мечты, какая безбрежность воображения! — И даже Помбаль и Шуазель, самые ловкие министры самых неверующих королей, едва-едва имели силы “проткнуть” этот фантастический туман; да и то надолго ли? Выгнанные, иезуиты вернулись снова: “По милости Божией,

¹ Так же, т. е. с этими же чертами эмпиризма, характеризует Каткова и Н. Любимов в книге своей “М. Н. Катков. По личным воспоминаниям”.

революция, против нас собственно поднятая, нам же в пользу и послужила”, — формулировали они между 1815 и 1830 годами.

Очень мало известно, что такое была г-жа Крюднер после 1815 года: знают только все, и теперь это документально доказано, что мысль Священного союза ей принадлежит, что эта мысль в ней, и ни в ком еще, зародилась как чаяние, как предположение. В юности танцовка и очень чувственная женщина, она странно кончила: именно, она стала бродить по беднейшим германским деревням, посещать на фабриках рабочих и, проводя там недели и месяцы, возвращалась на минуты в великосветское общество, к которому, собственно, принадлежала, и тогда с упреками говорила всем, что они должны пойти к этим бедным, замученным нищетою людям и помочь им. Юродивая, и еще женщина: когда она приехала в Петербург, император Александр I, уже заключивший Священный союз, не хотел более принять и видеть фантазерку. Идея Священного союза была промежуточною ступенью лестницы, по которой от танцев и лучших еще удовольствий она восходила к странному бродяжничеству; но вот факт, что от 1815 до 1848 г., т. е. включая деятельность Меттерниха и Гизо, дипломатия Европы — да, эта хитрая и “умная” дипломатия, — во всем опиралась и всегда принимала к расчетам странный бред странной женщины — ткала по нему “цветочки”.

Когда Густав Адольф и Тилли, “всегда непобедимый Тилли”, а потом за ним и Валленштейн напрягали в борьбе силы и сопрягали в борьбе силы почти всей Европы, — за какой странный туман мысли они боролись: можно ли или нельзя оправдаться одной верою. Именно мучась этим вопросом, во время торжественнейшей у католиков процессии “несения сердца Господня”, с Лютером сделалось дурно, и, здоровый монах, он упал в обморок при мысли, что несет тело Господне, когда обременен “непрощеным” и какими-то “непрощаемыми” — кстати, верно, у него бывшими — “грехами”. Фантастика, как и колебания блаженного, в самом деле “блаженного”, Августина между антиками и евангелием, чувственностью и аскетизмом. Его “Град Божий”, “Civitas Dei”, есть что-то вроде Священного же союза, но только прочнее воздвигнувшееся и всемирнее раскинувшееся; за целость этого-то “Civitas Dei”, против сомнения Лютера и встали Тилли и Валленштейн. Там и здесь равно туман воображения; как равно — если мы не хотим ограничиться христианством, так как им не ограничивается история, — и у Магомета: “более всего в жизни любил я прекрасных женщин и ароматы — но истинное наслаждение находил только в молитве”; веки бытия, категория желаемого, которые в обратном порядке могла бы указать у себя Крюднер: “очень любила я молиться; еще более — танцевать, но истинное наслаждение находила только в мужчине”; за то же ею созданное и продержалось 30 лет, тогда как им созданное — пережило тысячелетие. “Юродивые”, т. е. уродливые, и еще с печатью какого-то космического неприличия на себе — истинные “хромцы” духа. Это легенды передают о Тамерлане, что когда он родился, то, сверх всякого другого безобразия, оказался еще и “хромцом”; Иаков тоже стал “хромать”, проборовшись целую ночь с Богом, “до утра”. И все они ясно, эти юродивые, где-то и как-то “поборолись с Богом” и чувствуют Его: таинственное теистическое дуновение, при всей яркой и не укрытой от человечества “хромоте” их, собственно у них одних и замечается.

В XVIII веке у одного Руссо мы видим его, к удивлению, к негодованию "салонов" и "философов". Никогда, ни однажды, ни ради каких успехов, он не покинул идей "Савойского викария" — он, "Confessions"¹ которого так напоминают в одном определенном направлении "хромоты" "Confessions" Августина. Да — это вот еще юродивый; он вечно "пел" о чем-то; не видел и даже не знал (не предугадывал) революцию, но позвал ее: "Без Руссо не было бы революции", — формулировал Наполеон I, а он и умел формулировать, а главное — пережил, и даже в сердце своем пережил все ее перипетии. Странные песни, вполне мистическая песнь: как удивителен язык Руссо; кто научил его ему? До него, даже при нем и даже после него именно так никто не умел, не мог и — мы решаемся это сказать — не смел бы заговорить. Что-то манящее, какой-то зов: верно, что-то очень похожее на то, что между четырех глаз произошло и навсегда осталось тайною между Александром I, недоверчивым, скептическим, боящимся смешного, и между действительно смешною женщиной — Крюднер. "Ветхий деньми" туман, происхождения которого мы не знаем: он оседает, выходя из каких-то глубин, на человеке, и — вчера растленный, завтра юродивый — сегодня, вот на краткие минуты "аудиенции", он является в нимбе таинственного сияния, которое остается памятно и на всю жизнь влиятельно даже в том, кто, назавтра не захочет принять, допустить до себя этого человека. — Что-то святое делается в истории, — мы не умеем лучше назвать: ибо в этом слове совмещены необходимые предикаты неразгадываемого, мощного, очаровывающего, что мы находим всегда в этих секундах: "Какие-то голоса я слышала". — "Чьи голоса, юродивая?" — "Мне кажется — святой Екатерины, но может быть, и святой Елизаветы" — вот краткий диалог в основе истории Жанны д'Арк, в действительность коей мы ни за что бы не поверили, если бы она не была документально засвидетельствована. Теперь — опрокинем все эти панорамы; перед нами — день этого месяца и года, "ежедневная" и "политическая" газета, и частный вопрос, нас занимающий.

"Катков" и его "десятилетия" память; Катков "как великий государственный человек". Нет — малый. Почему? Он — среди идущих, а не тех, которые ведут. Его сущность, как она правдиво формулирована г. Грингмутом, и заключается не только в отсутствии, но до известной степени в коренном отрицании — в отрицании на века, в отрицании для всего народа этих "звучущих голосов", этих таинственных "зовов", на которые, оборачивая во все стороны голову, мы не понимаем, откуда они несутся, но почему-то, все дела бросая, спешим их выполнить. Как это прекрасно выразил наш поэт, очевидно, в себе эту глубокую тайну почувствовав:

...Из пламя и света
Рожденное слово...
.....
И где я ни буду,
Услышав его, я
Знаю повсюду;

¹ "Исповедь" (фр.).

Не кончив молитвы,
На звук тот отведу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

Мы выше назвали Каткова "мечтателем": это — потому, что им не принята в расчет коренная действительность истории, самый главный ее нерв, хотя в то же время и наиболее тонкий, менее всего грубо нащупываемый; и потому же еще мы назвали его "неопытным сердцем": он не знал человеческого сердца в древнейших, исконнейших его основаниях — тех основаниях, которые бросили военную Францию за 17-летнюю девушку, кинули Карно и даже позднее Бонапарта распространять "исповедание савойского викария" и, наконец, циничную и растленную, какова она была при Борджиях, римскую церковь повлекли вслед странного паладина, еще менее рассудительного, чем герой Ла-Манча. Все это, вся эта грамота психики и реальнейшей действительности осталась непонятною Каткову. Конечно, подобных движений мы у себя не знали; все было у нас меньше, бледнее; и суженность русской истории, сравнительно с европейскою, заключается в том, что "ветхий деньми" туман "юрродства" и истинной "хромоты духа" и чуть-чуть брезжил у нас в почти-политических, т. е. узких и сухих, слишком "умных" для настоящей значительности, партиях славянофилов и западников. Но и это ему не понравилось: даже бледную зарю "взыскуемого града" — как еще говорит и, говоря, конечно, освящает, Апостол — он хотел бы согнать с серенького неба нашей истории. Они еще "ищут", эти партии; они "алчут" — когда он так "сыт". В самом деле, какая беда и "мука" для уравновешенности от этого! И вот "великий государственный человек", взяв в руки "государственную клюку", хотел бы вымести всю эту "мистику"; или, как говорит Федор Павлович Карамазов своей жене "кликуше": "Я из тебя эту мистику-то выбью", не подозревая, что "малейший в царстве сем" непреодолимо сильнее его и, как гиппопотам Иова, без труда и даже равнодушно мнет "выгребающие клюки", подобные для него "мягкому тростнику". Вот, мы, "искренно уповая", как и г. Грингмут, "на Бога", окончили анализ "идеала" и определили "великое" как малое, поставив на место его кой-что "малое", но что и для Бога, а главное — для самих людей, есть истинно "великое", оплакиваемое и возлюбленное.

ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ "КРИЗИС"

В одном уголке нашего литературного мира происходит чрезвычайное волнение. Радикально-экономическое его течение, которое всегда звалось "народническим" и гордилось этим именем, видело в имени этом знамя и программу, выделило из себя ветвь, которая если и не называет себя, то ее можно назвать антинароднической, потому что, употребляя постоянно это имя, она не упоминает его иначе, как в иронических кавычках и в окружении насмешек. Нет более г. Глеба Успенского, не появляется на страницах журналов г. Златовратский; мы не можем услышать их веского и авторитетного слова о новом расколе в партии, которой они когда-то руководили и в значительной части ее создали. Где их "устой"? Где "власть земли"? Все это их собственными учениками, юнейшими детьми еще не дряхлых отцов, объявляется "романтизмом", ребячеством, противонаукою. Да, все это было ими подумано и высказано без науки, против науки; и вот почему все это оказалось так непрочно. Но какой науки? И кто, наконец, ее адепты?

Науки Карла Маркса, изложенной в его классическом исследовании "Капитал"; науки, адепты которой со страниц своих журналов с чрезвычайной горячностью призывают на Россию "капиталистический строй". Но что делает их неуязвимыми, что их ставит вне всяких подозрений, что подрывает всякую почву у их противников — это то, что они призывают капиталистический строй, как необходимое предварение имеющей настать после него эры труда. Таким образом, они являются также "народниками": "народное" есть их конечный идеал, но... через тысячу лет — это есть некоторый "рай", которого, однако, можно и нужно достичь, проползая предварительно в муках капиталистического "ада" и "чистилища".

Все хорошо сосчитано здесь, но только излишне далеко рассчитано. В сентябрьской книжке "Вестника Европы" за 1897 г. г. Слонимский, в статье, которую нельзя не назвать любопытною и здравомысленною ("Карл Маркс в русской литературе"), дает следующую иллюстрацию нашего книжного теоретизма, который решительно не только не считается с фактами, но и не замечает их даже и тогда, когда они окружают его, когда он на них смотрит и, наконец, о них именно рассуждает: "Не поразительны ли эти тревожные в литературе толки о том, явится ли к нам капитализм или нет, когда на деле он живет и распоряжается среди нас с давних времен? Мы постоянно употребляем продукты капиталистического

тического производства; мы окружены ими в домашнем быту и видим огромные массы их в лавках и магазинах; мы одеты с ног до головы в фабричные изделия, пользуемся заводскою посудою, пишем фабричным пером на фабричной бумаге, ездим в экипажах, вышедших из капиталистических мастерских, и путешествуем на железных дорогах и пароходах, наглядно свидетельствующих о капитализме, наши книги и статьи печатаются в капиталистических типографиях, и в этих книгах и статьях мы встречаем глубокомысленные рассуждения о вероятных шансах появления у нас капитализма. Сколько теоретического ослепления, сколько предвзятой веры в каждое слово Маркса нужно для того, чтобы не замечать всей окружающей нас действительности и упорно предаваться бесцельной софистике, представляя себе общеизвестные вещи наыворот” (стр. 303 и 304).

Вот довольно правдоподобное изображение наших юных волнений. Расчеты неомарксистов на тысячу лет также вытекают из этого теоретизма, который перестает видеть, слышать и обонять. Построения Карла Маркса овладели мыслью наших теоретиков; они их гипнотизировали, как глаза очковой змеи гипнотизируют маленькую птичку, и она, вместо того чтобы лететь от чудовища, бессильно падает ему в пасть. Птичка, конечно, могла бы улететь прочь, как только она перестала бы смотреть на чудовище; и мы думаем — муки капиталистического строя, которых, кстати, никто не отвергает, не только обходимы, но они и без всякого труда могут быть обойдены, как только мы выйдем из-под гипноза экономических идей и примем в расчет всю полноту бытия человеческого, оглянемся ясно на ясную лежащую окрест нас природу и вообще станем думать, прислушиваться и понимать не часть действительности, а полную действительность.

Неомарксисты говорят о России; но вот, возьмем два факта, один — постоянный и географический и другой — исторический и минутный, но который можно с такою же легкостью, как Карл Маркс сделал это с экономической идеею, раздвинуть в обширную историческую панораму.

Россия с наиболее протяженной своей стороны примыкает к Ледовитому океану; "государство Российское", со всей градацией его уездов, губерний, волостей, станов, не столько переходит, сколько теряется, и теряется неуловимо, неизвестно с каких точек начиная, — в тундрах, болотах, тайге, где все эти градации администрации становятся более или менее призрачны и мнимы, означены на карте и вовсе не означаются и ничем не выражены в действительности. Г. Слонимский в приведенной выдержке замечает, что капиталистический строй уже вошел к нам; в других местах своей статьи он говорит, что главная и собственно единственная черта этого строя — "отделение продукта производства от производителя-работника, который за работу получает часть ее стоимости", — уже читается в некоторых статьях "Русской Правды". Ясно, что испуганные марксисты не об этом частичном явлении говорят: они исполнены далеких надежд и близкого страха перед всеохватывающими капиталистическими отношениями, перед всеобъемлемостью и повсеместностью капиталистического строя, в формах которого станет биться

и в них "очищаются" вся полнота народного бытия. И вот мы указываем географический пояс, притом неопределенного растяжения, куда и за который никогда не проникнет настоящая государственность и еще менее проникает интенсивная, капиталистическая производительность, с ее подробностями: разделением труда, машинностью производства, крупным капиталом и всего лишенным, во всем "обокраденным" — по довольно справедливому подозрению социалистов — работником. Вот граница капитализма, лежащая в условиях "лычного края", страны "морошки", "ягеля" и "олена". Оттуда, как из неумирающего эмбриона, в самый капиталистический строй, если бы он раскинулся южнее, будут или, по крайней мере, могут всегда вторгаться отношения, а наконец, и идеи антикапиталистические. Ломоносов, как и Зосима и Савватий, как замученный митрополит Филипп, — все были из этих стран; и между XX и XXIV столетиями оттуда же могут прийти люди равной и еще большей силы, с тою же непобедимой мыслью, всеувлекающим примером, подымающим сердца словом, и самое главное: люди, нисколько не зараженные капитализмом в условиях быта вскормившей их земли. Мы говорим о специально нашей стране, о которой специально говорят и наши неомарксисты; но, если мы оглянемся на географию иных стран, мы увидим, что целый обширнейший круг их, пройдя решительно всяческие фазисы исторического существования, никогда не знал одного — капиталистического. Пример — Византия. От пелазгов и до прихода турок, прожив 2¹/₂ тысячи лет, она ни на одну минуту не сделалась капиталистическою; и тот вопрос о пролетариате, который так тяготил Рим, никогда не тяготил ни Афины, ни Спарту, ни Константинополь... В Риме рабочий вопрос был, в Византии — нет; и, очевидно, есть, сверх экономических, еще какие-то условия существования, доминирующие над экономическими и то дающие им простор, то их задерживающие. Но здесь мы перейдем к маленькому историческому явлению, на которое хотели указать сверх общего и постоянного географического факта.

Это — не так давно закопавшиеся у нас на юге раскольники-сектанты. О них было распрошено; все обстоятельства ужасной их смерти вскрыты; и как юристы, так и богословы, наконец, даже психиатры растерялись перед фактом. Но во всяком случае — вот психическая атмосфера, которая может быть раздвинута по произволу далеко, которая объемлет очень значительные части нашего населения уже и теперь и куда, если бы вы ввели идеи Карла Маркса, вы увидели бы, что они ни с чем тут не сливаются и с ними ничто здесь не сливается. Это как бы масло и вода, которые не умеют слипнуться и никогда, решительно никогда, ничего общего не создадут из себя. Вот факт, которого никто не захочет оспорить; что же это за атмосфера? Принадлежит ли она специальностям догматического учения сектантов? Эта несливаемость ее с экономическими ужасами, как и вожделениями, входит ли в их вероучение? Нет и нет. Мы имеем интенсивную, т. е. напряженную до крайности, религиозную культуру, как бы ни низкопробно было ее содержание, ее "вероучение"; мы имеем дух и настроение, аналогичные с тем, какой овладел Византией во время великих богословских споров; и вот, там и здесь интенсивная экономическая культура равно невозможна: она не просачивается сюда, просто она не находит места для себя, ей не

открыты поры, через которые, проникнув в организм, она разрушила бы его, как проникает через поры по существу уже мертвого внутри социального организма и тогда начинает его уродовать, являясь в нем доминирующим механическим законом.

Иногда хочется, через ближайшую тысячу лет "чистилища", заглянуть в следующую тысячу лет, которую, как "рай", нам обещают неомарксисты. Это — эра "труда", и "только" труда, как формулируют строго и нетерпеливо они. Итак, биллионы четвертей картофеля, "своими руками" выкопанного, съедены; но в то время как они перевариваются в желудке, о чем же будут говорить или думать обладатели этих желудков? Т. е. с "искрой", увлечением, "румянцем" на щеках говорить? Со "счастьем" думать? Как только кто-либо так заговорил бы или подумал, тем самым он и отменил бы закон экономизма как высший, подпал бы иной норме бытия и, в сущности, глубочайшим образом потряс бы весь "райский" строй. Всякая живая тема — это уже новая жизнь, струйка иной жизни, просочившаяся в экономический строй, и, как "ртуть", пущенная "по воде", она прорвала бы плотину желудочно-ручного благополучия. А вне этой мысли? без таких "тем"? — действительно только усталые и действительно сытые только... Неужели люди были бы счастливее теперь в тундрах около вертящегося шамана, чем в Аравии бедуины, чем спутники Чингис-хана, века вспоминавшие "минутку" своих походов и побед? Итак, никакого плюса перед прежним и настоящим тут не содержится, — и совершенно непонятно, марксисты вовсе не могут объяснить, почему именно мы должны втягиваться в эру не отвергаемых и ими мук, чтобы вступить... в то же и даже меньшее, чем то, что мы имеем теперь?

В августовской книжке марксистского "Нового Слова" за 1897 г. высказан следующий взгляд на значение или, точнее, на незначительность всяких идей в истории; заметим, что статья полемическая, и отсюда проистекает форма вопроса в рассуждениях автора: "Почему это представляется всем, будто высшее образование обладает какой-то специфической способностью предвораить культуру?.. Да и наконец, что такое вся интеллигенция, как не простое и послушное орудие в руках крупных денежных магнатов?" (отд. II, стр. 144). Капитализм как начало, господствующее над идеями; люди науки и вообще мысли как простые рабы денежных людей — мысль эта пронизывает все страницы действительно "нового" в нашей литературе "слова"; к этой же подчиненной роли около капитала сводится и государство, это же рабство уготовывается и рабочему: в статье г. Туган-Барановского "Народники крепостной эпохи" разбирается, и насмешливо, попытка в царствование императора Николая I улучшить положение рабочих на фабриках: именно — установить, чтобы они не оставались ночью и не спали около машин на фабрике. "Тем дело и кончилось, — говорит автор, — Мейендорф был так осторожен, что не более 20 фабрикантов, и то по возможности, т. е. насколько сами захотели, исполнили Высочайшую волю" (отд. I, стр. 85). Конечно, все это молодой теоретизм, юные сорадования "науке", но ведь и от них можно потребовать оглянуться, каково же в самом деле, при ночлеге около станка, рабочему приниматься за работу без всякого предварительного свободного движения поутру, хотя

бы пока он перебегает через двор? Ведь если "ad majorem gloriam Dei"¹, то и то не было позволительно, то ad majorem gloriam Marks²... Да и какой же это "божок" и сколько ребячества во всей этой вчера выросшей "науке"?

Неомарксисты не заметили, что лишь некоторые узкоопределенные циклы идей действительно поддаются и подчиняются капиталистическому настроению ли, владычеству ли: именно, все логические идеи — в тесном смысле "наука"; и вовсе не поддаются ему идеи жизненные, которых логического происхождения мы не можем ни проследить, ни доказать. Шотландская философия, т. е. очень идеалистическая, в лице Адама Смита послужила капитализму; ему послужили, т. е. послужили вообще торгеству и расширению экономических идей, гегельянцы Лассаль и Маркс; даже, как это ни печально, наши "народники" родили из себя гг. Бельтова, Струве, Туган-Барановского, и это показывает только, как мало жизненности и много бедной книжности было в нашем "народничестве". Но вот, однако же, южные сектанты... Вы скажете — это "невежество", которое капитализм преобразует через "школу", — и тогда я спрошу вас об итальянском Ренессансе: не Рафаэль и Микель Анджело послужили купечеству Медичисов, но, именно и напротив, "купечество" Козимо и Лоренцо Медичи было ковром, который стлался под ноги и в ногах этих выразителей эстетического взгляда на мир, т. е. опять жизненной, а не логической идеи. Вы скажете — это минута, порыв и их переборет время, — и тогда я укажу вам на еврейство: искони торговое, оно внутри себя, т. е. где оно трансцендентно-религиозно, не сложилось даже и до сих пор капиталистически. Еврейство поставило банк и капитал около европейской, т. е. для него внешней, цивилизации и, очевидно, могло поставить потому и тогда, когда эта цивилизация стала иссякать в трансцендентных своих основаниях. Вот факты — крайне разнообразные, но которые говорят об одном. Карфагеняне изобрели вексель; финикияне — алфавит и всемирную для того времени торговлю; и снова оба эти народа с интенсивной, религиозной культурой, какова бы и в чем бы она ни состояла по содержанию, не сложились капиталистически. Но вам хочется "ума", и я укажу на пифагорейцев: в союзе этих философов, но которые самую философию понимали жизненно и ей подчинили быт и политику, мы так же мало можем представить восторжествовавшими надо всем капиталистические отношения, как и у наших бедных закопавшихся в землю сектантов. Экономизм как доминирующая норма есть действительно смерть: он действительно просачивается внутрь только уже опустошенного от всяких мистических струек организма. "Экономический" строй, семья как содружество работника и работницы, государство как содружество экономических же групп и все "экономическое" в тенденции и основаниях: "наука", печать, публицистика, — это ничего более, как минерализовавшееся общество, которое имеет форму и перестало дышать, потеряло "дыхание жизни" — употреблю библейский термин.

Таким образом, — вот вторая граница, кроме географической, в том, что бытие человеческое не исчерпывается логической стороной и что та

¹ "к вящей славе Божией" (лат.).

² к вящей славе Маркса (лат.).

— другая и темная в нем сторона, ни природы, ни происхождения которой мы не знаем, но которой присутствие ясно в себе чувствуем, — выходит из нормы экономизма и всегда и безусловно его подчиняет себе. Какие трудности преодолели Ромео и Юлия, чтобы умереть где-то в темном подземелье; я знал в Вязьме приказчика, который, получив отказ в руке любимой девушки, — пошел и в тот же вечер удавился. Вот трансцендентная идея уже в каждом из нас, и, слава Богу, от времен Монтекки и Капулетти она жива и даже не ослабла до этих дней. Но мы хотим вернуться опять к нашей действительности: неомарксисты говорят о России — и в ее именно условиях, сверх географической преграды, есть еще одна, которая, по-видимому, всегда будет мешать торжеству у нас интенсивной, экономической, т. е. капиталистической, культуры.

Это — странная и неустраняемая, кажется, русская неуклюжесть. Остановимся на подробностях. Не удивительно ли, что в огромном уже теперь множестве всюду разбросанных аптек мы не встречаем, даже как исключение, русских природных мальчиков, не встречаем их вовсе? — Необходимость педантической чистоты и крайней аккуратности при измерениях и взвешиваниях исключила из этого прекрасного ремесла русскую кровь. Все нужно здесь "по капле", а русский может только "плеснуть". Не менее замечательно, что и в часовом ремесле, где также требуется мелкое и тщательное разглядыванье, — не попадается русских. Удивлялись, отчего в Петербурге речное пароходство в руках финляндцев, и замечали — "верно, вода не русская стихия". Но вот на Волге и Ладоге это русская стихия. Но на Неве — суета, и опять "подробности", т. е. так много мелькающих и мелких судов, что, конечно, русский лоцман на пароходике-лодке или сломается сам, или сломает. И чувство ответственности, страх "сломать" или "сломаться", а главное — отвращение к суете и неспособность быть каждую минуту начеку гонит его от лоцманства, из аптеки и от часовщика. Напротив, кровельщик или маляр, висящий на головокружельной высоте, — всегда русский и никогда еврей или немец; это — риск, но и уединение, спокойствие, где работающий может "затянуть песню". Русский — немножко "созерцатель". И он только в той работе хорош, где можно задуматься, точнее, — затуманиться легким покровом мысли о чем-то вовсе не связанном с работою: так поет и полудумает он за сапогом, который шьет, около бревна, которое обтесывает, и, наконец, в корзиночке около четвертого или пятого этажа. Все ремесла собственно интенсивные и все интенсивные способы работы — просто у него не в крови. А о народе в его историческом росте мы можем повторить то же, что говорим о ребенке, взрослом и, наконец, старике: "Каков в колыбельку — таков и в могилку"¹. Обильно и долго я наблюдал детей за учением; способ работы учебной, у нас принятый, — быстрое чередование уроков с требованием внимания к каждой минуте, — истощает, энервирует и, наконец, просто не исполняется всеми даровитыми русскими детьми — именно теми, которые при разговоре, за чтением, на письме, т. е. во всех формах неинтенсивного выражения своих способностей, брызжут умом, сообразительностью, наблюдательностью; и напро-

¹ Историки замечают, что галлы, описанные Цезарем во всех подробностях характера, сохраняются и в теперешних французах.

тив, эти формы работы — ясно не национальные — охотно и легко у нас переносятся, но только малоспособными людьми.

Но перейдем к капиталу и капитализму: мы увидим, что и способы их копнуть у нас глубоко отличны от западных. Русский капитализм — это или Плюшкин-Корзинкин (умерший лет 15 назад в Москве, почти в чулане, миллионер), т. е. психоз, или это — случайная удача; но во всяком случае — это не есть неопределенно расплывшееся в обществе явление; не есть общий поток, тянущий в себя массы людей, неопределенное их множество. Напротив, массы, множество — у нас бедны и неуклюжи в обогащении, даже когда очень его желают. Фирма "Домби и Сын" не вырисовывается на фоне нашего быта и истории: наследственных богатств, из рода в род "приумножающихся", у нас нет или очень мало. Наш богач — удивительное явление: он "стрижет купоны", и опять мы наблюдаем здесь любовь к покою, не суете, как у лощмана и кровельщика; он не "работает на капитале", как и ученик избегает учиться "по урокам". Люди, как Губонин, т. е. вечно деятельное богатство, у нас — феномен; а мы говорим о толпе, о господствующем типе, ибо история всегда течет из основных, а не исключительных народных черт. Богач угрюм у нас, необщителен; почти можно подозревать, что он несет богатство как "грех"; это — привязанность, болезненная, несчастная, с которою он не умеет справиться, но и не спешит весело с нею на улицу, не общится ею с другими, не союзнится на ней: и вот отчего богатые люди у нас не сливаются в ассоциации, как это было бы непременно, если бы инстинкт богатства у нас был веселящим, радующим, природным. Удивительно, как много богачей у нас становятся тайными, а иногда и явными алкоголиками. Казалось бы, что за удовольствие в вине, когда возможно чувство Скупого рыцаря —

Какой волшебный блеск!..

Но вот, вместо этого сладострастия имуществом — гораздо беднейшее и прямо нищенское упивание вином, из-за которого так и слышится прекрасный Некрасовский стих:

Бес благородный скуки тайной.

Если мы припомним своеобразную поэзию тяжелых колоколов, пудовых свеч и всякого храмового "благолепия", которым упиваются наши купцы, мы догадаемся, что эта строка Некрасова не обошла и их, и допустим, что и источник алкоголизма у них не всегда бывает только распущенность. Но в общем все эти черты как мало обрисовывают тип, который был бы достаточен и силен охватить и подчинить себе весь строй жизни. "Капиталистический строй"... Г. Слонимский правильно заметил, что он уже начался с "Русской Правды", и, всегда существуя, всегда необходимый как частное и подчиненное явление, он у нас и в будущем останется *одним из жизненных течений*, то ширящимся, то суживающимся, но никогда, решительно никогда — *единственным*, все поглотившим (гипотеза наших марксистов).

Есть виды опасности, порождаемые опасением; ложный крик "пожар" может в партере театра породить несчастья, для которых нет реального основания, но ложное опасение становится их реальной при-

чиною. Неомарксисты своим преувеличенным и ложным страхом производят или имеют тенденцию произвести такого рода бедствия. Они зовут меры, которым еще не время и для которых никогда, может быть, не настало бы время; они отвлекают внимание, как от "археологии", от другого, что может быть полно жизни или может при внимании возродиться к лучшей жизни. Ведь все-таки не разобрано и не объяснено, почему община, исчезавшая в Германии при Таците, т. е. в своем роде при "Русской Правде", — у нас удержалась до "Судебных уставов" Александра II, т. е. 1000 лет? Мне случалось об этом упоминать в литературе, и еще раз я настаиваю, что эта разница в длительности существования не объяснена и есть главный факт, должна бы стать главной темой размышления наших экономистов. Община — это, конечно, экстенсивная земельная культура, но на множестве подробностей мы уже показали, что интенсивности и вообще во всем не ищет русская кровь. Как будто можно с каким-нибудь видом правдоподобия сказать, что в наших университетах профессора занимаются со студентами "интенсивно"?

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь...

И, в сущности, мы учимся в университете, учились у таких светил, как покойные Буслаев и Тихонравов, совершенно по тому же методу, так же "экстенсивно", как наши Петры и Иваны пашут в Новгородской губернии землю; и как они ее делят и ею владеют "миром", — мы точно так же "миром" готовились к экзаменам и на самых экзаменах покрывали "грехи" друг друга. Вот пример неуклюжей, пожалуй, вредной, но как-то милой и, очевидно, вечной "общины" в духе, в духовных занятиях, и у людей, казалось бы потерявших всякую связь с народом и с землей. Да, работа "миром" лежит искони в духе русского народа, создавшего даже пословицу: "На людях и смерть красна". Кроме общины — в сфере владения землей, у нас есть артель — в сфере коллективной созидательной работы; есть и то, что можно было бы назвать моментальными артелями, — не в целях длительной работы, но минутного усилия, натиска, подвига рук и иногда ума — это так называемая "помочь". Ни у одного народа начало общности и помощи не развито так, как у нашего; ни у одного не сохранилось оно так долго. Германец-земледелец, ставящий свою ферму среди своих владений, отдаленно и отчужденно от окружающих, уже этим самым безмолвно выражает, до какой степени мало он нуждается в "помочи" и как мало готов с "помощью" побежать к соседу. Не то в наших деревнях — в этой линии домиков, тесно жмущихся друг к другу, почти лезущих друг на друга и только-только не говорящих: "если и гореть — то вместе". Самым расположением своим, самым видом деревня говорит о народе-"мире".

Из живого зерна — из качеств народной души выросли и формы нашего быта и труда. "Соборне" молятся, православные "соборне" трудятся; "соборне" строят деревню, подряд; "соборне" поднимают колокол, держась "миром" за канат; "соборне" косят, владеют землей; и наконец, "соборне" же высыпают на работу, помолясь на кресты родного села, роясь, как пчелы, в шумливую и веселую артель, а не угрюмо, не скупно, не тупо, как идет немец. "Соборне" — это свет нашей жизни, веселость нашего сердца, залог великих наших успехов в мире и в грядущих веках.

Но эта прекрасная сторона нашей жизни может, и преждевременно, насильственно, может быть спугнута ложными криками и заверениями неомарксистов, особенно если они найдут для себя авторитетных слушателей. Нужно заметить, что экономизм, экономические учения вообще сыграли одну очень скверную и мало замеченную роль: они вызвали, создали экономизм как факт; они призвали его, даже когда пытались бороться с ним (социализм). Человек достаточно и хорошо защищен от него мистическими задатками своей природы; но эти задатки в высшей степени были ослаблены у одного, другого и, наконец, у многих, у всего общества чувством перепуганности, которое распространяли экономисты, и их уверениями, которые не могли не подействовать на "малых сих", что экономизм есть или завтра должен стать высшей нормой, управляющей жизнью всех. Экономисты гипнозом своих ошибок оттянули внимание общества от предметов, идей, тем, где лежала его естественная защита; они отняли у него "дыхание жизни", и наступившая минерализация уже естественно стала оформливаться в господство экономических отношений, "капиталистической строй". Вот процесс, которого единственно мы должны бояться, т. е. не фиксировать свой взгляд на одной точке, с предположением: "тут очковая змея" — она в самом деле тогда вырисуетя и пожрет нас, т. е. мы пожрем друг друга скудостью своего духа.

Карл Маркс и вообще школа немецкого социализма не была во всем прогрессом сравнительно со школой старого, "археологического" социализма. В лице Фурье и Сен-Симона социализм был великодушием; он не претендовал быть "наукою", но был порывом, который умел родить порывы. Между тем самое существо предполагаемого будущего процесса содержит в себе, именно в заключительной его фазе, даже по Марксу — требование порыва, и без него все учение становится нескончаемым и бесплодным номинализмом. Трудно представить себе, как "катедер-социалисты" в такой-то день месяца и года выбегут наконец на улицу и "передадут" "орудия производства" "самим производителям". Я хочу сказать, что энтузиазм составляет не только психику, но и логику социализма, именно центральный момент этой логики — и он умер в Марксе. Любопытны в этом отношении воспоминания о нем Лафарга, переведенные в "Новом Слове". Маркс — буржуа; это — ученый; но он темой избрал социально-экономический строй общества, как другие избирают и как при другом стечении обстоятельств он сам избрал бы движения Марса или кольца Сатурна. Каковы бы ни были результаты его исследований — важно, что это суть мысли, порождающие мысли же, книга, порождающая книги же; и вообще, как после Лапласа мы имеем обширную небесную механику и прославляем имя ее первого творца, — мы имеем все основания прославлять Маркса, ожидать увеличения марксистской литературы, — и ничего еще, ничего более. В лице Маркса, и общее — в лице немецкого теоретического социализма, некоторый вид минерализации постигнул самый социализм. Это немножко жаль; потому что истинную сторону в социализме составляет не эта якобы "наука", какую он стал, но именно великодушные: для него реальные основания были и остаются.

О ДОСТОЕВСКОМ

(Отрывок из биографии, приложенной
к собранию сочинений
Ф. М. Достоевского, изд. "Нивы")

I

Теперь, когда с нумерами "Нивы" полное собрание Достоевского будет разнесено по самым далеким и укромным уголкам России, действие его на умственное и нравственное развитие нашего общества получит, наконец, те размеры, к каким оно способно по внутренним своим качествам, без всяких внешних задерживающих обстоятельств. Толпа слушателей, какую только может пожелать себе мыслитель или художник, невидимо, неощутимо собрана: что скажет *он* ей — в этом и ни в чем другом теперь весь вопрос. Невольно является смущение при мысли: что же в немногих строках, в краткие минуты, какие мне уделены на то, чтобы сказать этой толпе об этом писателе, *следует* сказать?

Что нужно ей от писателя? Зачем, отрываясь от насущных дел, забот, иногда обязанностей, читатель берет книгу и уединяется с нею — уединяется в себя, но зачем-то в сообществе с человеком, давно умершим или далеким, которого он не знает и, однако, в эти минуты уединения предпочитает всем, кого знает? Какой смысл в книге, в чтении? Наслаждение ли? Но в непосредственных созерцаниях, в реальных ощущениях действительности оно может быть всегда ярче. Красота ли? Но разве для нее уединяется человек? Он уединяется, чтобы, на минуту оторвавшись от частных, от подробностей своей жизни, своих тревог, обнять их в целом, понять эту жизнь в ее общем значении. Что скажет, что может сказать он *обо мне* самом и обо всем, что так тяготит меня и смущает в жизни, — вот вопрос, который определяет выбор нами того, кого мы зовем с собою в уединение, или книги, какую избираем. "Помоги мне разобраться в моей жизни, освети, научи" — вот самая серьезная мысль, с какою может читатель обратиться к писателю; думаем даже, что это есть единственная серьезная мысль, на которой может истинно скрепиться их общение. Вне этого, вне отношения писателя к нашим индивидуальным тревогам, заботам, опасениям, празден смысл самого чтения, незначаче появление книги, мишурно все, что в необъятных размерах мы называем литературою и чем любимся или гордимся как народ, но можем гордиться и любоваться с правом тогда лишь, когда она удовлетворяет только что определенной нужде.

В индивидуальном — основание истории, ее главный центр, ее смысл, ее значительность: ведь, человек, в противоположность животно-

му, всегда *лицо*, ни с кем не сливаемое, никого не повторяющее собою; он — никогда не "род"; родовое — в нем несущественно, а существенно особенное, чего ни в ком нет, что впервые пришло с ним на землю и уйдет с нее, когда он сам отойдет от нее в "миры иные". Не от этого ли и попытки дать философию истории в смысле законов исторического развития всегда были напрасны: ведь, эти законы, если они и есть, обнимают самое незначущее в истории; в противоположность природе, где, обнимая родовое, общее, — они обнимают существенное. В Цезаре, в Петре, в тебе, читатель, и во мне, который пишет эти строки, разве главное — то, в чем мы не отличаемся от всех других людей? Как главное в планетах — конечно, не их разное расстояние от солнца, а фигура эллипсиса и законы, повинуюсь которым они по этой фигуре все одинаково движутся. Здесь — тайна безуспешности науки и философии понять человека, его жизнь, его историю; тайна безуспешности их истинно в ней наставить, просветить; и, к удивлению, проблески истинного знания о себе, какое человек почерпает в областях, ничего общего с его умствованиями не имеющих, — в религии и в высоком искусстве. Они не знают законов и не ищут их; но, не находя их, не находят только несущественного; они обращены к сердцу человека, всегда говорят его лицу — главному, что есть в нем; и, зная это сердце, проникая в самые его сокровенные движения, говорят этому лицу с глубочайшим знанием, какого только может он допытываться о себе самом. Вот где понятная нам, уразумеваемая в истории сторона значительности религии; вот где тайна, почему так прилепляется человек к высокому искусству — первое любит его в истории, а последним им расстается, обращается к нему в тревожные и светлые минуты своей жизни.

Как, однако, художник достигает этой силы научения и в чем, вообще, значение гения в истории? Не в другом чем, как в обширности духовного опыта, которым он превосходит других людей, зная то, что порознь рассеяно в тысячах их, что иногда скрывается в самых темных, невысказывающихся характерах; знает, наконец, и многое такое, что никогда еще не было пережито человеком, и только им, в необъятно богатой его внутренней жизни, было уже испытано, измерено и оценено. Можно сказать, что в то время, как другие люди по преимуществу только *существуют*, гений — по преимуществу *живет*: т. е. он никогда не остается все тем же, разные душевные состояния слагаются в нем и разлагаются, миры созданий проходят через его сердце — и все это без сколько-нибудь прочного, уловимого отношения к действительности. Посмотрите на великих художников, поэтов: разве жизнь их особенно богата событиями, разве поле их наблюдения так особенно превосходит наше? И, однако, какое необъятное множество лиц, положений, движений сердца, просветлений человека и падений его совести отражено в их произведениях? Как узко поле их фактической жизни сравнительно с полем какой-то другой жизни, где все это они видели уже, все поняли и, поняв, по одной черте сходства определяют характер и судьбу реальных явлений их окружающей действительности. Высокий поэт или художник есть всегда вместе и провидец; и это потому, что он уже *видел* многое, что для остальных людей остается на степени возможного, что для них только будущий вероятный факт. От этого, посмотрите, как много встревоженного в лице их, когда так мало причин для этих тревог

в действительности; какой перевес в задумчивости над другими людьми, когда предметов для нее у них вовсе не более, чем у остальных людей; и еще более удивительный, столь же общий факт: какая растерянность среди практической жизни, рассеянное невнимание к ней. К чему же, на что, не отвываясь, устремлено это внимание?.. Но если все, что мы сказали, действительно так, то как не искать нам в самом деле научения у того, кто столь превосходит нас опытом и, следовательно, плодом его — мудростью?

Какая же мудрость заключается в произведениях, лежащих теперь перед читателем? В чем духовный опыт творца их? На что главным образом было устремлено его внимание?

II

Три момента мы можем различить в душевном развитии каждого человека, пожалуй, всякого народа и целого человечества. Не все они переживаются каждым, развитие может быть не окончено у индивидуума ли, у народа или даже у целой их группы, слагающей совокупную жизнь обширный цикл истории. Но всегда, когда это развитие полно, оно протекает три фазиса: непосредственной первоначальной ясности, падения, возрождения. Есть целые эпохи истории, которые выражают собою только один который-нибудь из этих моментов; так, жизнь некоторых людей, которым мы удивляемся, которых понять не можем, является утверждением и развитием подобного же единичного момента. В обоих случаях, однако, это суть только части цельного процесса, однородность которых объясняется из совершенной их противоположности с другими смежными частями. Все, что, рождаясь, достигает естественного конца и вместе одарено высшим сознанием, не может избегнуть ни одного из этих моментов.

Если, однако, мы всмотримся в их соотношение, то увидим, что в наблюдаемой действительности средний момент чрезмерно преобладает над остальными двумя. В истории падение, преступление, грех — это центральное явление¹, в нем быются бессильно индивидуумы, народы; о нем учит и с ним борется религия; тенью своею оно задевает, наконец, и высокое искусство. И, между тем, смысл этого момента только относительный: преступное, греховное — это преступное против

¹Мы говорим "центральное" по тем усилиям, по той степени внимания к себе, какой требует грех, преступление, вызывая на борьбу с собою религию, законодательство, поэзию. Но не следует забывать, однако, что в них содержится отступление от нормы, и в жизни норма естественно преобладает над своим исключением, *не возбуждая к себе, тем не менее, нашего внимания*, не вызывая ужаса, удивления, сожаления, — и потому как бы затеняется в своей значительности пороком. Какой-нибудь всемирно известный пример, взятый хотя бы из поэзии, лучше всего пояснит нашу мысль: Гретхен (в "Фаусте") раз только согрешила, долгие годы она была беспорочна — и долгие годы были забыты ее окружающими, неприпомнены: *ими* помнится, и *нам* внушает горечь, вызывает на размышления день только ее падения. В судьбе ее — он центральный, не будучи центральным по времени, преобладающим по положению в ряду других фактов ее жизни.

чего-то, что ранее ему предшествовало и было лучше его; это падение, от которого нужно подняться к чему-то, вновь возродиться. Этим значением своим, обращенным к прошедшему и будущему, он указывает на другие два момента, которых, однако, только просвет, только краевое сияние мы наблюдаем в текущей действительности и истории; и вот почему их яркое выражение, полное осуществление человек переносит за границы им проходимого на земле бытия — к своему доземному существованию и послезагробному. Мысль о бессмертии своей души, так трудная, так непостижимая, не только постигается человеком, но и становится неотделимой от его сознания, как только он глубоко погружается в смысл греха, и еще более, когда он погружается в него не мыслью одною своею, но всею природою — когда он глубоко греховен, преступен. Нет человека, кто бы он ни был, как бы ни был он полон отрицания, сомнения, который, преступив какой-нибудь коренной закон своего существа, в меру того, как преступил, — не почувствовал бы тотчас, как напрасны были все его верования, что с землею для него кончается все; нет народов, которые на исходе своего исторического труда, и труда серьезного, не были бы проникнуты этим же убеждением. Только в светлые, юные моменты жизни своей народы ли или отдельные люди равно бывают далеки от этих идей: рождаясь и умирая в том краевом сиянии, о котором мы упомянули, они думают, что им, эту смесь относительной темноты и относительного света, исчерпывается все возможное бытие. Как бы то ни было, но в законе, что именно среди глубочайшего мрака человеком постигается главная истина его бытия, содержится условие перехода его к утверждению этой истины в своем сознании и жизни; сущность греха такова, что она предполагает возрождение:

Чем ночь темней — тем звезды ярче,
Чем глубже скорбь — тем ближе Бог.

В этих двух стихах — смысл всей истории и история развития тысяч душ.

Проникновение в закон этот, и не только умом своим, но сердцем, совестью, — составляет особую, ни с кем не разделенную сферу духовного опыта Достоевского. Можно сказать, что в то время как другие великие художники, его современники (Гончаров, Тургенев, Островский, гр. Л. Толстой), заняты были воспроизведением первого момента — это было великолепное рисование общества и народа в его исторически сложившемся быте, в его непосредственной ясности, — все его произведения посвящены изображению момента второго и указанию из него выхода. В этом последнем указании — объяснение особого характера его романов, повестей, все зовущих куда-то или грозящих, хотя, по-видимому, они только изображают, рисуют. Он кончил "Дневником писателя" — субъективнейшею формой беседы ли с собою или, как в данном случае, обращения к окружающим; страницами этого дневника, в сущности, были и все его романы, повести, с однообразным колоритом, на всех их лежащим, одним языком, которым говорят все лица. Это относится к форме его творчества; напротив, если мы обратимся к главному в нем, к содержанию, мы и самый "Дневник", и все остальные произведения пойдем как обширный и разнообразный комментарий

к самому совершенному его произведению — "Преступление и наказание". В романе этом нам дано изображение всех тех условий, которые, захватывая душу человеческую, влекут ее к преступлению; видим самое преступление; и тотчас, как совершено оно, с душою преступника мы вступаем в незнакомую нам ранее атмосферу ужаса и мрака, в которой нам почти так же трудно дышать, как и ему. Общий дух романа, неуловимый, неопределимый, еще гораздо замечательнее всех отдельных поразительных его эпизодов: как — это тайна автора, — но он действительно подносит нам и дает ощутить преступность всеми внутренними фибрами нашего существа; сами мы, ведь, не совершили ничего и, однако, окончив чтение, точно выходим на воздух из какой-то тесной могилы, где были заключены с живым лицом, в ней похоронившим себя, и с ним вместе дышали отравленным воздухом мертвых костей и разлезающих внутренностей. Колорит этого романа и уже затем эпизоды его, весь он в своей неразрывной цельности — есть новое и удивительное явление во всемирной литературе, есть одно из глубочайших слов, подуманных человеком о себе. Возрождение — здесь только издала показано нам; "его история должна бы составить новый роман..." — никогда не написанный; мы и в других произведениях Достоевского имеем все только этот же колорит; дышим все тою же атмосферой душевного ужаса и мрака; среди него играют лучи ослепительного света, также ниоткуда еще нам не известной душевной чистоты и светлости. Вот все, что мы у него находим; но, ведь, это и *все*, чем в глубочайшей сущности исчерпывается человек и его земное странствие. Прочее — за гробом, прочее — в ожидании, в надежде; да и могли ли бы мы, в этой брэнной оболочке своей, в этих земных условиях, надолго вынести этот ослепительный свет? Умереть, узнав о себе окончательную истину, это так естественно, почти необходимо; для чего бы еще жить, мястись душою, изменяться, когда самого условия для этого, неведения, — нет более?

Зов к этому свету, к этому выходу — вот что составляет второй момент в деятельности покойного писателя, то, что так поверхностно, так не глубоко, приравнивая к *своему*, звали его "публицистикой"; о, конечно, это было обращение, но уже почти не к читателю, а к *ближнему* своему, которого он предостерегал, которому грозил, от которого требовал. Да, это был, если уж нельзя отвязаться от неприятного слова, всемирно-исторический публицист, интересы которого были вне своего дня, зов которого был обращен к векам и народам, взор — устремлен в вечность. Нет, это ошибка сказать, что он был "публицист 60—70-х годов"; к этим ли годам относятся "Легенда о Великом Инквизиторе", к ним ли — изображение будущего атеистического состояния людей (разговор Версилова со своим сыном в "Подростке") или "Сон смешного человека"? Конечно, не более к ним, чем и к цельной всемирной истории, возвести к глубочайшему смыслу которой свой преходящий момент — вот что составляло его задачу и что сказать о нем — значит действительно определить его значение. Печать эпохи его, встревоженной, мятущейся, лежит и на его взволнованных трудах; к счастью, однако, он уберется от обычных путей своего времени даже еще в ученические годы — и в своем мощном воображении, гениальном уме и сердце, на тех уединенных путях, которыми проходил жизнь, несколько переиначив действительность, возвел ее к вечному смыслу и значитель-

ности. 60—70-е годы почти уже умерли в своем *точном* и *ограниченном* смысле; не так уже смотрим мы на дела их и речи, многое растеряли из них и не особенно дорожим оставшимся; еще всплеск исторической волны, и все будет залито там; но какое время, какие новые заботы, более высоким созерцания зальют бессмертные страницы "Преступления и наказания", "Братьев Карамазовых", где все, что *было* в то время, что на минуту условно и ограничено *мелькнуло* в ту эпоху, — в гениальном уме их творца возшло на вечное *есть*, стало для всех времен неумирающей *их* тревогой?

Все остальные черты в творчестве Достоевского, нередко выставляемые как главные, составляют только детальную разработку этой основной темы. Неутолимое страдание, нищета, разврат — что так широко разлито на его страницах — это только гноище, на котором по закону необходимости вырастает преступное; искаженные характеры, то возвышающиеся до гениальности, то ниспадающие до слабоумия, — это отражение того же преступного в человеческих генерациях, наконец, это борьба с ним человека и бессилие его победить. Среди хаоса беспорядочных сцен, забавно-нелепых разговоров (быть может, умышленно нагроможденных автором) — чуждые диалоги и монологи, содержащие высочайшее созерцание судеб человека на земле: здесь и бред, и ропот, и высокое умиление его страдающей души. Все в общем образует картину, одновременно и изумительно верную действительности и удаленную от нее в какую-то бесконечную абстракцию, где черты высокого художества перемешиваются с чертами морали, политики, философии, наконец, религии, везде с жадною, скорее потребностью не столько передать, сколько сотворить или по крайней мере переиначить. Удивительно: в эпоху совершенно безрелигиозную, в эпоху существенным образом разлагающуюся, хаотически смешивающуюся — создается ряд произведений, образующих в целом что-то напоминающее религиозную эпопею, однако со всеми чертами кощунства и хаоса своего времени. Все подробности здесь — *наше*; это — *мы*, в своей плоти и крови, бесконечном грехе и искажении говорим в его произведениях; и, однако, во все эти подробности вложен не наш смысл, или по крайней мере смысл, которого мы в себе не знали. Точно кто-то, взяв наши хулящие Бога языки и ничего не изменяя в них, сложил их так, так сочетал тысячи разнородных их звуков, что уже не хулу мы слышим в окончательном и общем созвучии, но хвалу Богу; и, ей удивляясь, ее дичась, — к ней влечемся.

III

Миросозерцание народное, как общая *почва*, на которой может единственно правильно возрастать всякое индивидуальное развитие; Россия, исторически возникшая — как фундамент и ряд звеньев, на который налагая дальнейшие звенья мы только и можем правильно трудиться — вот вкратце формула тех взглядов, которые проводил Достоевский в своей публицистической деятельности и на которых он сошелся с рядом писателей, образующих единственную у нас школу оригинальной мысли (И. Киреевский, Хомяков, Константин и Иван Аксаковы, Ю.

Самарин, Ап. Григорьев, Н. Данилевский, К. Леонтьев, Н. Страхов и др.): эта так называемая школа *славянофилов* — название очень узкое и едва ли точно выражающее смысл школы. Правильнее было бы назвать ее школою протеста психического склада русского народа против всего, что создано психическим складом романо-германских народов, — протеста, сперва выразившегося в смутном, безотчетном отчуждении, а потом и в полной сознания критике и отвержении этих созданий и тех начал, из которых они вышли. Начала противоположные, и частью высшие, были указаны ими в народе нашем: начало гармонии, *согласия* частей, взаем антагонизма их, какой мы видим на Западе в борьбе сословий, положений, классов, в противоположении церкви государству; начало *доверия* как естественное выражение этого согласия, которое при его отсутствии, заменилось подозрительным подсматриванием друг за другом, системою договоров, гарантий, хартий, — конституционализмом Запада, его парламентаризмом; начало *цельности* в отношении ко всякой действительности, даже к самой истине, которую народ наш различает и ищет не обособленным рассудком (рационализм, философия), но и нравственною стороною своею, полнотою своего существа; наконец, в церкви — начало *соборности*, венчающая все собою любовь, слиянность с ближним — что так противоположно римскому католицизму, с его внешним механизмом папства, подавляющим собою, но не организующим в себе жизнь духа, — и не похоже также на протестантизм, который, отвергнув это давящее извне единство, не поняв начала внутреннего согласия, кинулся в разрозненность, думая в ней сохранить свободу и сохраняя только произвол. Все эти начала, следы которых еще сохраняются в нашем простом народе, в его "мирском" владении земель, в его склонности к артельной форме труда, в преданности его верховной власти, безусловно свободной в своих решениях, но и зато прислушивающейся без страха к свободному же выражению боли, страдания, к голосу "земли" (народа), — начала эти обещали бы в полном своем развитии жизнь более высокую, гармоничную, примиренную, нежели в какой томится Европа, вовсе не догадывающаяся о причинах этого томления, о ложности самых принципов, на которых построена ее цивилизация. Славянофильская школа, долгое время гонимая официально и пренебрегаемая нашим темным обществом, только в последнее время получила если не в жизни (все еще текущей по инерции в прежнем направлении), то в сознании лучшей части образованных кругов России свое признание и торжество. И ничто не способствовало этому в такой мере, как распространение Достоевского; его творения, всюду читаемые, его речь на Пушкинском празднике — это такие памятные слова, которые не могли не врезаться в мысль каждого; и с ними — новые начала сознания, внесенные славянофилами, стали печатью в душевном складе каждого, только более или менее мешающеюся с другими, но никогда и ни в ком не исчезающею. "Правда народная" получила в лице Достоевского такого по силе и настойчивости выразителя, какого не имела никогда ранее. Он был ее Аароном, и речь его потому именно звучала так твердо, что он чувствовал за собою несметные народные толпы, которые, не будь они немые, заговорили бы то именно и так именно, что и как говорил он.

Биографические черты, чрезвычайно значащие для объяснения душевно-го склада самого Достоевского, мы находим в четырех его произведениях — в "Игроке", в "Униженных и оскорбленных" (и его прототипе — "Белых ночах"), "Идиоте" и в "Записках из подполья". Можно сказать, что повсюду в письмах, в воспоминаниях, в самом художественном творчестве он является с чертами которого-нибудь из главных выведенных здесь лиц: как *теоретик* — это человек угрюмого подполья, гениальный диалектик, недоверчивый и презирающий людей, и в то же время ненавидящий действительность; как журналист, как человек своего времени, отчасти как член общества — это задушевный, простой, измученный своим сердцем и нуждою друг Наташи ("Униж. и оскорбл."); в своем дурачестве, пренебрежении к жизни, к будущему, в своей вульгарной стороне — это "игрок". В "идиоте" отражено его сердце в идеальном успокоении, вместе и отчужденное от людей на какую-то бесконечную высоту, и совершенно слитое с их нуждами, страданиями; этот странный образ есть до известной степени то, что каждый поэт зовет своею "музою". "Преступление и наказание" — самое законченное в своей форме и глубокое по содержанию произведение Достоевского, в котором он выразил свой взгляд на природу человека, его назначение и законы, которым он подчинен как личность. Но "Идиот" — это было его любимое создание; кажется, — самое свободное, наименее связанное с волнениями текущей действительности. Странный колорит лежит на этом романе; все фантастично здесь, и, вместе, как будто это фантастическое — звездный, мерцающий свет, падающий на серую нашу действительность из далекого, далекого будущего. Колорит этого романа, но уже с чертами более ясными и поразительными в своем смысле, повторяется в двух только произведениях: "Сон смешного человека" (в "Дневнике писателя"), и в разговоре Версилова с "подростком" (см. "Подросток"), и, отчасти, в знаменитой Пушкинской речи. Аскетизмом, чистотой и высшим духом примирения и со страданием человека, и с его бедностью духовно веет от всех этих произведений, глубоко однородных и представляющих как бы антитезу мучительно-беспокойным созданиям вроде "Записок из подполья", "Pro и Contra" и "Легенда о Великом Инквизиторе"; это — рафаэлевские черты, это — его успокоение, которое мелькает нам сквозь бури Микель-Анджело.

В течение всей жизни, с ранних лет, Достоевский хранил в себе какой-то особенный культ Пушкина; нет сомнения, что в натуре своей, тревожной, мягущейся, тоскливой, он не только не имел ничего родственного с спокойным и ясным Пушкиным, но и был как бы противоположением ему, сближаясь с Гоголем и, еще далее, быть может, с Лермонтовым; с тем различием, однако, что он вечно жаждал успокоения, как те, тревожась, искали новых тревог. Пушкин был для него этим успокоением; он любил его, как хранителя своего, как лучшего оберегателя от смущающих идей, позывов — всего, что он хотел бы согнать в темь небытия и никогда не мог. Этим оберегателем, он чувствовал, Пушкин может стать и для каждого; может стать им,

наконец, для народов, и особенно в моменты великих внутренних тревог, в которые, по-видимому, все они более и более входят. С дивною гармонией его поэзии не могут бороться хаотические начала человеческой души; они улегаются от нее, противоречия смолкают, сомнения и темные помыслы отходят далее; его муза — как арфа Давида: она и невыносима для нашего слуха, но, если бы мы могли ее вынести, принять в свое сердце, в ее звуках нашли бы успокоение для своей души. Вот невысказанные и, быть может, не сознанные основы великой любви творца "Легенды об Инквизиторе", "Pro и Contra" к творцу "Онегина", "Капитанской дочки"; создателя образов Свидригайлова, Карамазовых — к создателю Татьяны, летописца Пимена.

Во всем этом есть, однако, некоторая ошибка, скорее иллюзия, и она сказала в знаменитой Пушкинской речи: этот экстаз, этот призыв к всемирному братству, этот вопрос об единичной человеческой душе, на замученности которой посмеет ли человечество устроить свое окончательное счастье, — разве это пушкинское? Разве это *его* покой? Разве это покой какой-нибудь? Пушкинское осталось в безграничной дали, отделенное от слов этих беспросветным хаосом, из которого, однако, душа великого художника имела силы подняться к новому свету. Но тот ли это свет? Первоначальный ли, естественный, эпически ясный? Это — просветление, возрождение; это уже свет другой и по происхождению, и по природе, и по его влиянию на человеческую душу. Известен взрыв особенных чувств, который вызвала речь Достоевского; здесь были слезы, кажется мучительные слезы. И Пушкин читал свои произведения — там был восторг, но кто же "едва имея силы добраться до эстрады, упал без чувств"... Мы хотим сказать, что не в слушающих только, но и в сердце, из которого лились эти проникновенные слова, была уже совершенно другая психическая атмосфера, нежели какою жили и дышали люди Пушкинской эпохи; то время умерло, и навсегда; худшее или лучшее, но навсегда же наступило другое время.

V

"Карамазовщина" — это название все более и более становится столь же нарицательным и употребительным, как ранее его возникшее название "обломовщина"; в последнем думали видеть определение русского характера; но вот оказывается, что он определяется и в "карамазовщине". Не правильнее ли будет думать, что "обломовщина" — это состояние человека в его первоначальной непосредственной ясности: это он — детски чистый, эпически спокойный, — в момент, когда выходит из лона бессознательной истории, чтобы перейти в ее бури, в хаос ее мучительных и уродливых усилий ко всякому новому рождению; "карамазовщина" — это именно уродливость и муки, когда законы повседневной жизни сняты с человека, новых он еще не нашел, но, в жажде найти их, испытывает движения во все стороны, чтобы из самого страдания своего в момент нарушения известных и священных заветов — найти, наконец, эти последние и подчиниться им. Главы "Братьев Карамазовых", "Pro и Contra" и "Великий Инквизитор" — центральные не только по отношению к роману, в котором они содержатся, но и по отношению ко всему

длинному ряду произведений Достоевского, который можно рассматривать как предварительные, неясные и неполные вариации мучительной темы, вылившейся неожиданно почти, почти без связи с самим романом, в этих главах, по времени написания — почти предсмертных. Гений писателя поднимается здесь на высоту, на которую еще не восходил до него никто в искусстве: в чудной сцене, где представляются, в узком подземелье, вновь сведенными Христос и человек, — Бог принимает исповедь от твари своей за все тысячелетия ее страданий, смрада, греха и могучих и напрасных усилий превозмочь это. Было бы затруднительно в целой всемирной литературе найти какие-нибудь аналогии этой сцене; чтобы отыскать их, нужно обратиться к памятникам письменности совсем другого рода. Это опять пред нами Иов, но, сообразно новым тысячелетиям страданий и опыта, речь его становится сложнее, мысль проникновеннее, да и он сам говорит уже не о своих страданиях, не о странной причудливости своей только судьбы, но за все человечество, за века его необъяснимых судеб. Событие тесное, частный эпизод в земле Уц, с похищенными стадами, потерянными детьми, как будто раздвинулось в необозримую панораму всемирной истории, сохранив, однако, свой смысл и имея для себя тех же виновников. Только положение этих виновников взаимно переместилось, — и это есть, кажется, самая важная черта, какую новые века внесли в смысл сетований, столь древних: дерзкий вопрос уже не находит себе ответа, спрашивающий — до конца спрашивает, и, наконец, мы не различаем, *кто* же именно спрашивает? Граница между человеком и искушающим Бога дьяволом исчезает, их образы сливаются, смысл их слов становится тождествен, и весь эпизод получает невыразимо тягостный смысл. Нет более праведного Иова, и не будет для него утешения; есть Иов другой, без утешения, без веры, который так же покрыт проказой, на том же сидит гноище, но уже без какого-либо смысла своего страдания только ощущающий его боль и ропот которого переходит в темный хаос слов. Вера ли это? Безверие ли? Какой окончательный смысл сцены? Его договорит история — мы же знаем только, что никогда не являлось более точного, более правильного выражения того, до чего Высшим Промыслом доведена эта история к нашему многозначительному и тревожному моменту.

“ВЕЧНО ПЕЧАЛЬНАЯ ДУЭЛЬ”

Этим названием г. Мартынов, сын Н. Мартынова, имевшего прискорбную судьбу убить Лермонтова на дуэли, определяет (“Русское Обозрение”, 1898 г., январь) ее характер и значение. В статье, передающей неизвестные до сих пор подробности дуэли, он слагает часть тяготеющего над его отцом упрека на секундантов, кн. Васильчикова и Глебова, не сделавших никакого усилия к примирению друзей-недрузгов. Есть что-то темное и действительно тягостное для памяти всех окружающих людей в этой дуэли. Как объясняет и доказывает письмом Глебова Мартынов-сын, отец его вовсе не умел стрелять из пистолета и на дуэли “стрелял третий раз в жизни; второй — когда у него разорвало пистолет, и на дуэли — в третий” (стр. 321). Пусть так; пусть смерть поэта была нечаянностью для стрелявшего: все же остается бесспорным, что Мартынов, если бы не хотел убить поэта, мог преднамеренно настолько взять в сторону, чтобы не задеть противника. У него не было “уменья стрелять”; но, к прискорбию, та доля уменья наводит дуло, какая была, совпала с желанием правильно его навести и оказалась достаточною.

Далее, секунданты. Оказывается из передачи Мартынова-сына, что вызов на дуэль последовал около Петрова дня, т. е. 29 июня, а не 13 июля, как до сих пор принималось в биографиях Лермонтова на основании показаний живых участников дуэли, и между днем вызова и самою дуэлью прошло две недели, а не “трехдневная отсрочка, в течение которой сокрушились все наши усилия”, как писал действительно темно и неясно, очевидно что-то замаскировывая, кн. Васильчиков. Глебов тотчас после дуэли писал Мартынову: “Покажи на следствии, что мы тебя уговаривали с начала до конца, что ты не соглашался, говоря, что ты Лермонтова предупреждал, чтобы он не шутил на твой счет, и особенно настаивай” на таких-то его словах (стр. 321). Мартынов согласился это сделать, но писал обоим секундантам: “Вину всю я приму на себя и покажу на суде о всех ваших усилиях примирить меня с Лермонтовым, но требую, чтобы после окончания дела вы восстановили всю истину для очищения моего имени и опубликовали дело, как оно действительно было” (стр. 320). В течение всей долгой жизни участников дуэли действительно было удивительно их упорное молчание. Мартынов все время молчал, не проронив ни слова, как бы чем-то связанный, и теперь становится очевидно, что он был обязан “чувством чести”, ожидая, но молча и терпеливо, что подробности, несколько оправдывающие его, будут опубликованы секундантами. С другой стороны, становится по-

нятна и психика странного объяснения кн. Васильчикова, столь скупого в фактической стороне, но так усиленно настаивающего на "несносном характере" Лермонтова, на "невозможности для Мартынова не вызвать Лермонтова, не быть против Лермонтова естественно раздраженным". Тут есть нечто убаюкивающее, обеляющее Мартынова, но именно только морально, без дачи фактического матерьяла, которого Мартынов ждал тоже от "друзей-недрузгов", но именно фактического-то они и не хотели дать, им было больно дать. Теперь оказывается, что Лермонтов не только задел Мартынова на вечере у Верзилиных, но что несколько ранее он распечатал и похитил письмо-дневник сестры Мартынова, данное ему для передачи брату; он это сделал, любя девушку и, кажется, имея на нее более серьезные намерения: это о ней были написаны знаменитые его стихи: "Я, Мать Божия, ныне с молитвою" и т. д. В силу этого, в двухнедельный промежуток между вызовом и дуэлью, Лермонтов, нисколько о дуэли не думавший серьезно, сказал как-то князю Васильчикову: "Нет, я сознаю себя настолько виновным перед Мартыновым, что чувствую — рука моя на него не подымется" (стр. 324). "Передай мне об этих словах Васильчиков или кто-либо другой, я Лермонтову протянул бы руку примирения и нашей дуэли, конечно, не было бы", — заметил как-то отец сыну. О том, что Лермонтов "прежде сказал секундantu, что стрелять не будет", упоминает из передачи секунданта Глебова и Эмилия Шан-Гирей, рожденная Верзилина, которая послужила "яблоком раздора" между друзьями и на балу у матери которой произошла их стычка ("Воспоминание о дуэли и смерти Лермонтова" — "Русский Архив" 1889 года). Таким образом, факт совершенной мирности души Лермонтова и нечаянности для него исхода дуэли теперь может считаться твердо установленным из двух показаний. Из объяснений Мартынова-сына видно, что некоторая светская щекотливость нудила секундантов желать, чтобы дуэль не была "пустою": именно, за год перед этим бывшая дуэль Лермонтова с Барантом, сперва на пистолетах и затем на шпагах, кончилась простой царапиной, и это произвело впечатление смешного как в петербургских великосветских, так и в кавказских военных кружках, и тень этой смешливости пала и на секундантов прошлых годов; секунданты нового года не хотели этой смешливости для себя и естественно желали, чтобы дуэль была несколько серьезнее. Здесь, в этом незаметном на первый взгляд обстоятельстве, в сущности, и лежит вся тяжесть дела. "Случай" удачного выстрела совпал с "серьезным" отношением к дуэли секундантов: но все вышло гораздо "серьезнее", чем ожидал кто-нибудь из участников; вышло тягостно и страшно — "вечно печальная" дуэль.

Не в русском духе, однако, ставить укор над памятью умерших. Итак, оставим дравшихся и свидетелей и разовьем только мысль о "вечной печали" самой дуэли. Но сперва одно слово в защиту личности поэта, на которую особенно темную тень "несносности" наложил кн. Васильчиков. Да, это участь гения, прежде всего для него самого тягостная — быть несколько неуравновешенным; и эта нервность духа часто переходит в желчность, придирчивость. Во всем зависевший от Ив. Ив. Шувалова и даже им благодетельствованный — Ломоносов с ним ссорится; Гоголь написал "другу" Погодину письмо, читая которое тот плакал от оскорбления, как мальчик. Поэт есть роза и несет около себя

неизбежные шипы; мы настаиваем, что острейшие из этих шипов вонзены в собственное его существо. Вспомним Руссо, который так мучил, так мучился. Но роза благоухает; она благоухает не для одного своего времени; и есть некоторая обязанность у пользующихся благоуханием сообразовать свое поведение с ее шипами. Поэт и всякий вообще духовный гений — есть дар великих, часто вековых зидительных усилий в таинственном росте поколений; его краткая жизнь, зримо огорчающая и часто незримо горькая, есть все-таки редкое и трудно созидающееся в истории миро, которое окружающая современность не должна расплескать до времени. "Après quoi Martynow croit de son devoir de se mettre en position"¹: эта шутка на балу у Верзилиных, около 29 июня 1841 года, — как она легка, бегуча, воздушна перед тягостною утратою, которую мы из-за нее понесли. "Вечно печальная" дуэль.

Лермонтов мог бы присутствовать на открытии памятника Пушкину в Москве, рядом с седоволосым Тургеневым, плечом к плечу — с Достоевским, Островским. Какое предположение! Т. е. мы чувствуем, что, будь это так, ни Тургенев, ни особенно Достоевский не удержали бы своего характера, и их литературная деятельность вытянулась бы в совершенно другую линию, по другому плану. В Лермонтове срезана была самая кронка нашей литературы, общее — духовной жизни, а не был сломлен хотя бы и огромный, но только побочный сук. "Вечно печальная" дуэль; мы решаемся твердо это сказать, что в поэте таились эмбрионы таких созданий, которые совершенно в иную и теперь неразгадываемую форму вылили бы все наше последующее развитие. Кронка была срезана, и дерево пошло в суки. Критика наша, как известно, выводит всю последующую литературу из Пушкина или Гоголя; "серьезная" критика, или, точнее, серьезничающая, вообще как-то стесняется признать особенное, огромное, и именно умственно-огромное значение в "27-летнем" Лермонтове, авторе ломаного:

И скучно, и грустно...

или ходульно-преувеличенного "Демона", как и множества фальшивых страниц и сцен "Героя нашего времени". — Он "не дозрел до простоты", вот глубокое словечко Гоголя, прикидывая которое к Лермонтову — мы обыкновенно отказываемся признать в нем значительность. Нужно заметить, что критика в этом взгляде только последует нашим большим писателям: С. Т. Аксаков, в пространных литературных воспоминаниях, едва два-три упоминает имя Лермонтова; Гоголь в "Выбранных местах из переписки с друзьями" — также проходит лишь упоминанием Лермонтова и несравненно больше говорит об Языкове; Л. Толстой в начале "Казаков", не называя имени Лермонтова, явно смеется над его изображениями Кавказа; Достоевский в первых выпусках "Дневника писателя" и еще кой-где в художественных созданиях выказывает несомненную нелюбовь к Лермонтову, между прочим за его "жестокость". — "Не дозрел до простоты" — как и отсутствие ласки, "простосердечной" любви к "ближнему" — затенило в Лермонтове все качества и ото всех скрыло его значение. Все выводили себя или друг друга из ясного,

¹ "После чего Мартынов считает своим долгом встать в позицию" (*фр.*).

уравновешенного Пушкина или из "незримых слез" Гоголя, его "натурализма". Но это — не так.

Связь с Пушкиным последующей литературы вообще проблематична. В Пушкине есть одна, мало замеченная черта: по структуре своего духа он обращен к прошлому, а не к будущему. Великая гармония его сердца и какая-то опытность ума, ясная уже в очень ранних созданиях, вытекает из того, что он существенно заканчивает в себе огромное умственное и вообще духовное движение от Петра и до себя. Белинский не без причины отметил в колорите его и содержании элементы Батюшкова, Карамзина, даже Державина ("Клеветникам России"), Жуковско-го; и даже есть у него кой-что из Крылова ("Летопись села Горохина", "Сцены из рыцарских времен" — в конце). Страхов в прекрасных "Заметках о Пушкине", анализом фактуры его стиха, доказывает, что у него вовсе не было "новых форм", и относит это к его "скромности", "смирению", нежеланию быть оригинальным в форме. Не было у него новых "ритмических биений" — внесем мы поправку к Страхову, но и сейчас же закончим наблюдения этих критиков: Пушкин не имел вообще лично и оригинально возникшего в нем нового; но все, ранее его бывшее, — в нем поднялось до непревосходимой красоты выражения, до совершенной глубины и, вместе, прозрачности и тихости сознания. Это — штиль вечера, которым закончился долгий и прекрасный исторический день. Отсюда его покой, отсутствие мучительно-тревожного в нем, дивное его целомудрие, даже и в "Графе Нулине", "Руслане и Людмиле"; "власть заклинать демонические стихии природы человеческой" — как определил Апол. Григорьев, или, точнее, как показалось и не могло не показаться этому критику. Заклинать "стихий": о, нет! Которую же из "мучительных" стихий имел он "власть" заклясть у Гоголя? у Лермонтова? у Достоевского? А они все перед ним преклонились и так готовы были бы что-нибудь из "мучительного" и "тревожного" в себе "заклясть" через него. "Хотели" бы, но не могли; и совершенно очевидно, что, дав "сюжеты" "Мертвых душ" и "Ревизора" Гоголю, — Пушкин на самый характер его творчества, дивную и властительную его "мертвенность" и "умерщвляемость" живого — не имел ни капли, ни малейшего влияния. Гоголь, да и остальные два, именно в "стихийности" своей неизмеримо властительнее Пушкина; и так "готовые" бы поддаться перед Пушкиным, подчиниться ему — не уступили ему ни пяди из личного и оригинального в себе, из того существенно "нового", что было в них и что в них единственно значительно. Итак, с версией происхождения нашей литературы "от Пушкина" — надо покончить. Далее, если мы возьмем Гоголя, как второго предполагаемого "родоначальника" последующего развития, — то, конечно, напр., "Бедных людей" мы можем вывести из "поправленной" его "Шинели"¹; но ведь не в "Бедных людях" особенное, новое, характерное у Достоевского; и что же из его "карамазовщины" мы могли бы отнести к Гоголю? К которым гоголевским фигурам могли бы приурочить длинные размышления Раскольникова, порывы Свидригайлова, судьбу Сони Мармеладовой и всю "бесовщину", включительно до "Легенды об инквизиторе", от которой этот

¹ Взгляд Ап. Григорьева, Страхова и Ив. С. Аксакова: "Достоевский развился из "Шинели" гоголевской, но привнес в нее поправку милосердия".

писатель хотел освободить русское общество и не умел освободиться сам. Остановимся на Толстом. Ни у Гоголя, ни у Пушкина нет никаких зачатков размышлений раненного на Аустерлицком поле князя Болконского, истинно "стихийной" игры и сплетения страстей у Анны Карениной; ни тревог автора в "Смерти Ивана Ильича" и "Крейцеровой сонате", т. е. ничего именно типического и оригинального у Толстого. Напротив, оба эти писателя, и еще третий — сам Гоголь, имеют родственное себе в Лермонтове, и, собственно, искаженно и частью грязно, "пойдя в сук", они раскрыли собою лежавшие в нем эмбрионы. Это очень трудно доказать, потому что Лермонтов только начал выражаться, и показать это можно только уловляя —

В дымных тучках пурпур розы,

т. е. бегучие тени и полутени роднящих настроений:

Но я без страха жду довременный конец:
Давно пора мне мир увидеть новый...

— это тревога Лермонтова, почти постоянное его чувство, вызвавшее чрезвычайно много новых "ритмов" в его поэзии. "Есть миры иные", — тревожно сказал Достоевский, устами старца Зосимы, в "Братьях Карамазовых"; "есть мир иной" — разве не говорит это нам, не предостерегает нас об этом в "Смерти Ивана Ильича" Толстой? Вот родство, уже внутреннее и гораздо более тесное, чем "сюжет" "Мертвых душ", переданный Пушкиным Гоголю, но который Пушкин, без сомнения, выполнил бы совершенно противоположно Гоголю, с небесною улыбкою своею, какую он дал увидеть нам в "Онегине", "Капитанской дочке", "Дубровском", и решительно без всяких "незримых слез", вулканических рыданий под корою ледяного смеха. В указанной, пусть мимолетной пока, черте есть связь не "сюжета", но содержания души, "умоначертания", связь сердца, умственных догадок, тревожащих сомнений.

И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом,
И сад с разрушенной теплицей.
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями...
(*"1-е января"*)

Разве это не тема "Детства и отрочества" Толстого? Не та же тоска, очарование, тревога?

В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч; и желтые листья...

"Не хочу я уезжать за границу, — говорит одно характерное лицо в "Преступлении и наказании", — не то чтобы что-нибудь, а вот — Неаполитанский залив, косые вечерние лучи заходящего солнца, и как-то грустно станет". Эти характерные "косые лучи" солнца еще повторяются в "Подростке", "Бесах" и личной биографии в самых

интимных и патетических местах, так что искусившийся в чтении Достоевского, встретив их — уже знает, что сейчас последует что-нибудь важное и, так сказать, автобиографическое у него; как, упомянув о них, заволновался и Лермонтов:

Глядит вечерний луч...
И странная тоска теснит уж грудь мою.
Я думаю о ней, я плачу и люблю —
Люблю мечты моей создание,
С глазами полными лазурного огня,
С улыбкой розовой...

Конечно, это не так громоздко, уловимо и доказательно, как "сюжет", "данный" и "взятый", но это — общность в ощущении природы, в волнении, вызываемом какою-нибудь ее частностью; что-то близкое, так сказать, в самой походке, в органическом сложении двух людей, так далеко разошедшихся в манерах и очерке лица.

...И желтые листья
Шумят...

"— Видели вы лист? С дерева лист?
— Видел.
— Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист зеленый, яркий, с жилками и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал.
— Это что же, аллегория?
— Н-нет... Зачем? Я не аллегория, я просто лист, один лист. Лист хорош. Все хорошо.
— Все?
— Все. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив, — только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется — все хорошо. Я вдруг открыл...
— Уж не вы ли и лампадку зажигаете.
— Да, это я зажег" ("Бесы", т. VIII, стр. 215, 216, изд. 1882 г.).
Кто знает всю внешнюю хаотичность созданий Достоевского и внутреннюю психическую последовательность текущих у него настроений, тот без труда догадается, что этот "среди зимы" представляемый "изумрудно-зеленый" лист — и сейчас же "все хороши", "зажег лампаду" есть собственно мотив предсмертного лермонтовского:

Засох и увял он от холода, зноя и горя
И в степь укатился...
У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская,
На ветвях зеленых качаются райские птицы...
.....
И странник прижался у корня...

Связка ощущений космического декабря, "зимы", и "изумрудной зелени", т. е. космического же "апреля", — здесь и там, в сущности, одна: "лист желтый, немного зеленого, с краев подгнил", т. е. смерть и жизнь в каком-то их касании. И вот у Лермонтова:

...Я плачу и люблю —
Люблю мечты моей созданье...

И у Достоевского:

"— Вы зажгли лампаду?
— Я зажег".

Я знаю, что тысячи людей и все "серьезные" критики скажут, что это — "пустяки", что тут "ничего еще значительного нет"; я отвечу только, что это — настроение, вырастающее до "я плачу" у одного, до "все хороши", "зажег лампаду" — у другого, под сочетанием странных и нам непонятных почти, но, совершенно очевидно, одних и тех же представлений, оригинально, т. е. без внешнего заимствования "сюжета", у обоих них возникающих. Именно родственное в "походке", при крайнем разнообразии "лиц". Но будем следить дальше, ловить роднящие черточки:

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я...

— разве это не Гоголь, с его "бегством" из России в Рим? Не Толстой — с угрюмым отшельничеством в Ясной Поляне? И не Достоевский, с его душевным затворничеством, откуда он высылал миру листки "Дневника писателя"?

Смотрите — вот пример для вас:
Он горд был, не ужился с нами...

Это — упрек в "гордыне" Гоголю, выраженный Белинским и повторенный Тургеневым; Достоевскому этот же упрек был повторен после Пушкинской речи проф. Градовским; и его слышит сейчас "сопротивляющийся" всяким увещаниям, не "миролюбивый" Толстой. Т. е. духовный образ всех трех обнимается формулой стихотворения, в котором "27-летний" юноша выразил какую-то нужду души своей, какое-то ласкающее его душу представление. Замечательно, что ни одна строка пушкинского "Пророка" (заимствованного) не может быть отнесена, не льнет к трем этим писателям.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой;
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой

— не это разве, как мать трепетно любимому сыну, совал Достоевский растерянному, нигилистическому и, в сущности, только забывчивому и юному русскому обществу; припомним "Бесов" и как в заключительной главе этого романа Степан Трофимыч читает с книгоношкою-девушкою Евангелие и преображается, "воскресает".

Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой

— вот тема всего Достоевского в религиозной части его движения. Мы делаем только намеки, указываем тонкие нити, но уже в самом настроении, которые связывают с Лермонтовым главных последующих писателей наших. Но если бы кто-нибудь потребовал крупных указаний, мы ответили бы, что характернейшие фигуры, напр., Достоевского и Толстого — Раскольников и Свидригайлов в их двойственности, и вместе странной "близости", кн. Андрей Болконский, Анна Каренина — все эти люди богатой рефлексии и сильных страстей все-таки кой-что имеют себе родственного в Печорине ли, в Арбенине, но более всего — лично в самом Лермонтове; но ничего, решительно ничего родственного они не имеют в "простых" героях "Капитанской дочки", как и в благоуханной, но также простой, нисколько не "стихийной" душе Пушкина. Власть эти стихии "заклинать" именно и была у Лермонтова:

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка...
Когда росой обрызганный душистой,
Мне ландыш серебристый...
Приветливо кивает головой...
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе
И в небесах я вижу Бога.

Он знал тайну выхода из природы — в Бога, из "стихий" к небу; т. е. этот "27-летний" юноша имел ключ той "гармонии", о которой вечно и смутно говорил Достоевский, обещая еще в эпилоге "Преступления и наказания" указать ее, но так никогда и не указав, не разъяснив, явно — не найдя для нее слов и образов. Ибо "когда волнуется желтеющая нива" есть собственно заключительный аккорд к страшному, истинно "стихийному", предсмертному сну Свидригайлова, когда ему мерещились: "цветы, цветы, везде стояли цветы... гроб, 14-летняя девочка-самоубийца", но около гроба "ни зажженных свечей, ни образа не было". Наше сопоставление не представится странным, если мы возьмем из Лермонтова еще промежуточную, связывающую картинку.

...шторы
Опущены: с трудом лишь может глаз
Следить ковра восточные узоры;
Приятный трепет вдруг объемлет вас,
И, девственным дыханьем напоенный,
Огнем в лицо вам дышит воздух сонный.
Вот ручка, вот плечо, и возле них,
На кисее подушек кружевных,
Рисуется молодой, но строгий профиль...
И на него взирает Мефистофель.

В сущности — это и есть сюжет сна Свидригайлова; в то же время вечный сюжет Лермонтова:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.

Или:

Слушай, дядя — дар бесценный!
Что другие все дары
.....
Труп казачки молодой
.....
И старик во блеске власти
Встал могучий, как гроза.
(*"Дары Терека"*)

Сочетание, как мы выразились, космического октября и апреля с заключительным —

Мучительный, ужасный крик
(*"Демон"*)

— что в полную картину, в широкий образ раздвинул Достоевский; и кто присматривался к его собственному творчеству, мог в нем заметить, что тема сочетания октября с апрелем есть и его постоянная тема (Свидригайлов — в "Преступлении и наказании", Ник. Ставрогин — в "Бесах", мимолетные сценки в "Униженных и оскорбленных", идея "карамазовщины"), но уже без выхода:

...смирятся души моей тревога...
...я вижу Бога.

Волнение: "я плачу и люблю", "я — зажег лампаду", при воспоминании среди "зимы" об "изумительно-зеленом листке", полнее объясняется из этих сопоставлений и картин.

Вернемся к Пушкину: он, конечно, богаче, роскошнее, многодумнее и разнообразнее Лермонтова, точнее, — лермонтовских "27 лет"; он в общем и милее нам, но не откажемся же признаться; он нам милее по свойству нашей лени, апатии, недвижимости; все мы любим осень, "камелек", теплую фуфайку и валеные сапоги. Пушкин был "эхо"; он дал нам "отзвуки" всемирной красоты в их замирающих аккордах, и от него их без труда получая, мы образовываемся¹, мы благодарим его:

Ревет ли зверь...
Поет ли дева...
На всякий звук
Свой отклик
Родишь ты вдруг...

Как это понятие "музы", определение поэзии глубоко противоположно музе Гоголя; до чего противоположно — Толстому; то же — Достоевскому, у коих всех —

¹Замечательно определение Пушкина Островским, при открытии в Москве памятника: "Через него всякий становится умнее, кто способен поумнеть".

одной лишь думы власть,
Одна, но пламенная страсть.
(*"Мцыри"*)

И это есть характерно не пушкинский, но характерно лермонтовский стих. Мы видим, что родство здесь открывается уже более, чем в отдельных настроениях: но, так сказать, в самом характере зарождения души, которая лишь одна и варьируется у трех главных наших писателей, но начиная четвертым — Лермонтовым. Это все суть типично-«стихийные» души, души «пробуждающейся» весны, мутной, местами грязной, но везде могущественной. Тургенев, Гончаров, Островский и как последняя ниспавшая капля «тургеневского» в литературе — г. П. Боборыкин — вот раздробившееся и окончательно замершее «эхо» Пушкина. Россия вся пошла в «весну», в сосредоточенность:

...одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть, —

и вот почему, казалось бы, «ужасно консервативный» Достоевский, довольно «консервативный» Толстой, как ранее тоже консервативный Гоголь, стали «хорегами» и «мистагогами» нашего общества. «Эхо» замерло, «весна» выросла в «лето», довольно знойное: но она стала расти сюда именно от Лермонтова. Он умер в годы, когда Гоголь написал только «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород», Достоевский — «Бедных людей» и «Неточку Незванову», Толстой — «Детство и отрочество» и кой-что о Севастополе и Кавказе: т. е. «вечно печально дуэлью» от нас унесена собственно вся литературная деятельность Лермонтова, кроме первых и еще неверных шагов. Пушкин, в своей деятельности, — *весь* очерчен; он мог сотворить лучшие создания, чем какие дал, но в том же духе; вероятно, что-нибудь из тем

Отцы пустынники и жены непорочны—

возведенное в перл обширных и сложных, стихотворных или прозаических эпоей. Но он — угадываем в будущем; напротив, Лермонтов — даже неугадываем, как по «Бедным людям» нельзя было бы открыть творца «Карамазовых» и «Преступления и наказания», в «Детстве и отрочестве» — творца «Анны Карениной» и «Смерти Ивана Ильича», в «Миргороде» — автора «Мертвых душ». Но вот, даже и не раскрывшись, даже непредугадываемый — общим инстинктом читателей Лермонтов поставлен сейчас за Пушкиным и почти впереди Гоголя. Дело в том, что по мощи гения он несравненно превосходит Пушкина, не говоря о последующих; он весь рассыпается в скульптуры; скульптурность, изобразительность его созданий не имеет равного себе, и, может быть, не в одной нашей литературе:

Если б знал ты Virginию нашу, то жалость стеснила б
Сердце твое, равнодушное к прелестям мира: как часто
Дряхлые старцы, любясь на белые плечи, волнистые кудри,
На темные очи ее — молодели; юноши страстными
Взором ее провожали, когда, напевая простую

Песню, амфору держа над головой, осторожно тропинкой
К Тибру спускалась она за водою иль в пляске,
Перед домашним порогом, подруг побеждала искусством,
Звонким ребяческим смехом родительский слух утешая.

Это что-то фидиасовское в словах, по полноте очерка, по обилию движения; и, между тем, это только недоконченный отрывок, даже без заглавия, 1841 года. Около него как бледна "Аннунциата" (из "Рима") Гоголя! Подобным же образом "резал на стали" только Гоголь и только в самых зрелых, уже поздних своих созданиях; но он "резал", принижая, спуская действительность в "грязнотцу". Параллелизм (и, следовательно, родственность) между Гоголем и Лермонтовым удивителен: это — зенит и надир, высшая и низшая точки "круга небесного". Среди решительно всех созданий Лермонтова нет ни одного "с пятнышком"; у Гоголя почти вся словесность есть сплошной "лишай", "кора проказы", покрывающая человека. Именно — надир, но до глубины и окончательно вырисовавшийся, когда "зенитная" точка едва была намечена. Далее, в созданиях Лермонтова есть какая-то прототипичность (опять — параллель Гоголю): он воссоздавал какие-то вечные типы отношений, универсальные образы; печать случайного и минутного в высшей степени исключена из его поэзии. "Три пальмы" его, его "Спор" — запомнены и незабвенны, как решительно ни одно из стихотворений Пушкина; они забываемы, как забываемы, только обратные по рисунку, фигуры "Мертвых душ", "Ревизора". Вечные типы человека, природы, отношений, положений, но — в противоположность Гоголю — "зенитные", над нами поставленные:

Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Таких многозначительно-простых и вечно понятных строк, выражающих вечно повторяющееся в человеке настроение, не написал Пушкин:

Дальше: вечно чуждый тени,
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.

В четырех строчках это не образ, но скорее — идея страны. Названы точки, становясь на которые созерцаешь целое. И какая воздушность видения:

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне:
Меж юных жен, увенчанных цветами
.....
И снилась ей долина Дагестана...

Это какая-то послесмертная телепатия; связь снов, когда люди не видят друг друга и когда один даже уснул "вечным сном". Удивительная красота очерка, и совершенная оригинальность, новизна в замысле.

Пушкин не знал этой тайны существенно новых слов, новых движений сердца и отсюда "новых ритмов". Мы упомянули о смерти. Вот еще точка расхождения с Пушкиным (и родственности — Толстому, Достоевскому, Гоголю). Идея "смерти" как "небытия" вовсе у него отсутствует. Слова Гамлета:

Умереть — уснуть...

в нем были живым, веруемым ощущением. Смерть только открывает для него "новый мир", с ласками и очарованиями почти здешнего:

Я б хотел забыться и заснуть...
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дрожали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

У Пушкина есть аналогичная тема, но какая разница:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Природа у него существенно минеральна; у Лермонтова она существенно жизненна. У Пушкина "около могилы" играет иная, чужая жизнь; сам он не живет более, слившись как атом, как "персть" с "равнодушной природой"; и "равнодушие" самой природы вытекает из того именно, что в ней эта "персть", эта "красная глина", преобладает над "дыханием Божиим". Осеннее чувство — ощущение и концепция осени, почти зимы; у Лермонтова — концепция и живое ощущение весны, "дрожание сил", взламывающих вешний лед, бегущих веселыми, шумными ручейками. Тут мы опять входим в идеи "гармонии", "я вижу Бога", "я — зажег лампаду", — которые присущи всем и роднят всех этих "мистагогов" русской литературы. "Вечная жизнь" их, "веруемая" жизнь, и есть жизнь "изумрудно-зеленого листа", "клейких весенних листочков", как записал Достоевский в "Карамазовых": они уловили "миры иные" и "Бога" в самом этом пульсе жизненного биения, выказывающем в лоне природы новые и новые "листки". Отсюда их пантеизм, живой и жизненный, немного животный (у Толстого, Достоевского — у одного в "карамазовщине"; у другого — в "загорелых солдатских спинах", "толстой шее, на которую с чувством собственности смотрела Китти"), в противоположность скептическому стиху Пушкина:

Устами праздными вращаем имя Бога

— замирающее "эхо" которого сказалось в известном безверии Тургенева, в легкомыслии г. Боборыкина. Лермонтов недаром кончил "Про-

роком”, и притом оригинально нового построения, без “заимствования сюжета”. Струя “весеннего” пророчества уже потекла у нас в литературе, и это — очень далеких устремлений струя.

Но его собственные пророческие, истинно пророческие видения были прерваны фатально-неумелым выстрелом Мартынова. Как часто, внимательно расчлняя по годам им написанное, мы с болью видели, что, отняв только написанное за шесть месяцев рокового 1841 года, мы уже не имели бы Лермонтова в том объеме и значительности, как имеем его теперь. До того быстро, бурно, именно “вешним способом” шло, подымаясь и подымаясь, его творчество. В этом последнем году им написано: “Есть речи — значенье”, “Люблю отчизну я, но странною любовью”, “Последнее новоселье”, “Из-под таинственной, холодной полумаски”, “Это случилось в последние годы”, “Не смейся над моей пророческой тоскою”, “Сказка для детей”, “Спор”, “В полдневный жар”, “Ночевала тучка”, “Дубовый листок”, “Выхожу один я”, “Морская царевна”, “Пророк”. Если бы еще полгода, полтора года; если бы хоть небольшой еще пук таких стихов... “Вечно печальная” дуэль!

(Юбилей В. Г. Белинского — 26 мая 1898 г.)

26 мая 1848 года "вешние воды" Петербурга прорвали и унесли последние частицы сил, которыми цеплялся за землю Белинский. Ни к кому так не идут, как к нему, последние страницы "Рудина":

"...И масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль. Смерть, брат, должна примирить...

— Ты, я уверен, однако, сегодня же, сейчас же готов опять приняться за новую работу.

— Нет, я устал теперь. С меня довольно.

Они обнялись в последний раз. Рудин вышел, а Лежнев сел к столу писать к жене письмо. Между тем на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завыванием, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам".

Белинский есть основатель практического идеализма в нашем обществе. Были люди столь же чистые, как он, душою, но прошедшие незаметно, в тиши, трудившиеся около маленького дела, в стороне от больших дорог истории; другие были люди несравненно обширнейшего, чем у него, образования (славянофилы, Тютчев) или глубокомыслия (Достоевский, Толстой); есть фигуры, необыкновенно красиво сложившиеся (Карамзин, Тургенев) и, так сказать, стоящие неувядаемым перистилем в портках истории. Но чье еще имя назовем, кто пробегал бы по этому портику таким живым дыханием, неугомонным ветерком; чей звучный голос так долго, заметно и иногда властительно звучал под его сводами и волновал чистейшим волнением чистейшие сердца? "Удивляюсь я: в какой бы глухой городок я ни заезжал, везде я находил, что среди играющих в карты клубских завсегдатаев, сплетен, всяческого сора есть группа не принимающих никакого в этом участия светлых голов: они все — восторженные почитатели Белинского". Эта запись Ив. Аксакова, ездившего в пятидесятых годах изучать малороссийские ярмарки и отметившего влияние скорее неприязненного ему писателя, могла бы стать лучшею надписью на могиле Белинского.

Основатель практического, жизненного, житейского идеализма. Удивительно, как все соединилось в Белинском для полноты этой миссии. Он вышел в жизнь с тощеньким "чемоданчиком", да и тот где-то на перепутьях "отрезали". Он был один, совершенно один: только светлая голова, только руки; кровь — если позволительная гипербола — тем-

пературы 100°, и пульс 200 ударов в минуту. Характерно, и очень важно, и почти нужно было в провиденциальных целях, что ему не дали доучиться в университете и он "выбыл" чуть ли не "по неспособности". Совершенно один, и никакой материальной, вещественной, формальной поддержки, хотя бы даже в виде пустынного диплома. Только человек, только его душа; "веяние" "ветра Божия...". Очень неприятно было читать его переписку с невестой, года два назад напечатанную, где он требовал от нее, чтобы она приехала к нему в Петербург: "Обвенчаемся тихо и пешком пойдем домой". Неприятная черта здесь была в каком-то непонимании его, что у девушки или у ее родных есть свои привычки, предрассудки, требования, которые любящий человек мог и, конечно, должен был уважить. Да, "должен" — здесь, на земле, в формальных границах, в которых все мы живем. Но тайна Белинского и сущность его души, его миссии и была совершенная несвязность ни с какими формами быта, практики: в чистейшем веянии, и не "по" земле, а "над" землею. И это отношение к невесте, так мучительно не хотевшей огорчить своих родных, поражает нас в Белинском жестокостью и грубостью только при первом чтении писем; позднее, взвешивая их и относя к цельности его исторической фигуры, невольно говоришь: "так все и должно было случиться, как случилось"; "конечно, Белинский не мог и даже не должен был сидеть на свадебном ужине". Никакого "быта", никаких "нравов".

С отрезанным "чемоданчиком", он жил где-то еще "на антресолях". Когда разыгралась история с чаадаевским письмом, в напечатании которого Белинский принимал самое деятельное участие, — упоминается, что он "в это время жил у Надеждина, в мезонине".

О чем, бишь, "Нечто"?.. Обо всем...

— эта характеристика литературного "emplois"¹, которую делает Репетилов, в своей неопределенной зыбкости и, так сказать, неуловимости, очень точно выражает, если ее переложить на материальные знаки, неуловимость и зыбкость внешнего положения Белинского. Нет в нашей литературе еще человека, который, лежа на гребне исторической волны, и так долго, так видно лежа, — годы, десятки лет взмахивал бы только своими тощими руками, без малейшего "своего" под ним суденышка. Не только он был один, но он всегда был бесприютен; он уже вел за собою огромную толпу — ибо Грановский, Герцен, В. Боткин, собственно, все лишь дополняют и разнообразно продолжают образ Белинского, без специфического и нового, оригинального в себе значения; но, как видно по письмам его о Краевском и Некрасове, внешним образом он все еще оставался среди них каким-то неустроенным studiosus² — с влиянием, простирающимся на всю Россию, и без уверенности, не ожидает ли его дочерей безысходная нужда. (См. его письма, исполненные страха за семью, перед смертью). Все это сплело ему терновый венец — при жизни; но на расстоянии времени все это как-то увеличивает блеск его имени и опять нужно было для полноты его исторической миссии. "Дух веет идеже хочет". Нужно было, чтобы "горение" Белинского до конца

¹ "профессия" (*фр.*).

² Учащийся, студент (*лат.*).

осталось только "из себя" горением, чисто "человеческим", "духовным", почти без примеси извне подбрасываемых "дров".

Что же сделал этот одинокий и бесприютный человек, не имевший "места" в обществе, "нуль" в государстве, "пасынок" университета, "пловец в море житейском"? Все идеальное, что есть в этом обществе, есть в университете, частью даже в государстве, — он безмерно возлюбил. "Шелуха" практического бытия своего народа, "отброс" его текущих дней — он возвеличил, поднял, призвал всех вкушать от всего, что есть "съедобного" в зерне, его так мало заметившем и приютившем. Деятельность Белинского не исчерпывается одною литературою в ограниченных и сухих ее рамках: в 12 томах солдатенковского издания его "Сочинений" есть, собственно, полный очерк нужного и ценного в жизни, "искры", "огоньки", брошенные во все углы человеческого обихода. Он именно все "светлое" возлюбил и ко всему ему, в полном очерке, возбудил надолго светлые и именно практические усилия. Нельзя не отметить именно "практического" его влияния. "Смакователи" эстетики в 40-х годах и позднее вовсе не имеют своим родоначальником Белинского, в фазе его поклонения Гегелю и Гете; они все относятся генетически к более пассивным натурам его времени — В. Боткину, Грановскому, Кудрявцеву, — к тем, которые "говорили", и не к нему, который "кричал на крыше"¹. От него пошло именно идеальное в практике, как и он сам был человек, который сейчас же бы променял слово на всякое открывшееся возможное дело; от него пошли те незаметные "чиновнички", "учителя", "семинаристы" по глухим провинциям, о которых упомянул в письме своем Аксаков. Он, если позволительно так выразиться, зажег идеализм в "рабских" слоях нашего общества и надолго сделал невозможным обратное впадение этих слоев в "вино" и всяческую житейскую "грубость". Зажег свет в глыбе земли, и никогда или долго эта глыба не сделается у нас опять бесформенною, бессмысленною "землею", т. е. он и его сочинения внесли ласку в отношении учителя к ученикам; добросовестное делание своего дела судьским секретарем; из семинариста сделали приветливого и вдумчивого в свою паству священника; везде они разошлись по России лаской, мягкостью, честностью; немножко — мечтою, но на той прекрасной ее границе, где она нисколько не мешает делу и только согревает его, облегчает его, улучшает его. Вот что как огромный и прочный факт дал России Белинский.

Это есть главное, и около него все остальное, т. е. частное, предметное содержание его критических работ, уже образует второстепенность.

В последние десятилетия прошла в нашей литературе тенденция поставить впереди его других критиков и также — осудить его за

¹ Нельзя не обратить внимания на то, что, уже став "литературным авторитетом", Белинский не выпустил из-под пера своего ни одной "отечканенной" строчки; т. е. что цели литературной "чеканки" и, следовательно, какого бы то ни было литературного *emploi*, "положения", и даже литературно-исторической "по себе" памяти, — не входили никакою долею в круг его забот и внимания. Из его частных писем, — за опубликование которых общество особенно должно быть благодарно г. Пыпину, — многие выше по форме его статей, и, во всяком случае, они все сливаются с "Полным собранием его сочинений" без границы, между ними проходящей.

последний период его деятельности, когда он "изменил прекрасному". Ну, эта "измена"-то и текла из "прекрасного вообще" в его душе, что отогнало в сторону "прекрасное" в узком и стесненно-ограниченном "слове". Прекрасно "думать прекрасное" и еще прекраснее его "совершать": против этого какой же "книжник" что-нибудь скажет. Но обратимся к его предполагаемым заместителям. Справедливо, что Добролюбов был утонченнее (нервознее) и потому сильнее Белинского; женственнее¹ — и потому страстнее, владычественнее его; но его деятельность, превосходная по растрчиваемым силам, была уже и одностороннее деятельности Белинского, — пусть в избранном русле и глубже; и она была гораздо более груба и материальна по целям, движению, объектам усилий. Тот дух еще мягкого, человеческого, рокошущего протеста, которым под самый конец не столько заострилась, сколько стала тревожиться деятельность Белинского, — этому духу, окунув его в холодную воду своего стиля, Добролюбов сообщил закал стали. Слово вдруг стало резаться, когда с ним прежде играли, и очень многие хотели бы вечно играть. Далее, Ап. Григорьев был, конечно, осторожнее и дальновиднее Белинского в суждениях; также его преемник в критике — Н. Н. Страхов. Но ведь тут много значит эпоха, накопившийся опыт фактов и психического развития. Когда появлялись "Рудин", "Отцы и дети", "Театр" Островского, "Война и мир", "Преступление и наказание" — то с этими произведениями вся Россия зрела, и также созревали критики, в кудрявую юную шевелюру общества падал первый седой волос. Белинский только не понимал (напр., "народного" и "просто-народного") того, чего вовсе не было в его время; а Ап. Григорьев или Страхов поняли и охватили то, чего было с избытком в их время. Следует добавить к этому, что славные и ставшие знаменитыми воззрения этих критиков — напр., на "смирный" и "хищный" тип человека — лишь немного времени спустя после их смерти кажутся ужасно преждевременными: "Л. Толстой в "Войне и мире", этой прекрасной хронике русского семейства, продолжил далее типы "Капитанской дочки"; он указал на простое и доброе и уничтожил хищное" (слова и вообще точка зрения Страхова). Но ведь он "простым и добрым" разворачивает всю нашу цивилизацию, "закусив удила": и когда же пришло в голову Пушкину сделать такое употребление из мирных обитателей Белогорской крепости? Нет, тут не то, и даже вовсе не то, что предполагали и предвидели оба эти критика. Т. е. вовсе не тот смысл имеет русская литература: не вечного пейзажа, "смирно-мудрого" "перебеления бумаг" и почтительного "отдыха на могиле своих предков". Но мы отвлеклись...

¹ Черта, на которой мы упорно настаиваем. Есть ряд писателей — напр., у нас Карамзин, Лермонтов, во Франции Руссо — с ярко выраженным женственным сложением в душе; такие писатели все оставили глубокий след после себя, что-то заражающее; и в их лице какие-то как будто "кормилицы" прошли в истории, с напоющим "молоком". Еще примеры: Ломоносов, Пушкин — типично мужские души, удивительно слабой заразительности; из двух наших народных поэтов — Кольцов явно мужской консистенции, Никитин — женственной. Стихотворение "Вырыта заступом яма глубокая" — типичный женский "надмогильный плач".

Белинский все любил издали, и потому все, облитое им любовью, облито особенно страстно. Гончаров в обширной статье, посвященной его памяти, прекрасно и точно указывает, что он был очень образован, имея необходимость прочесть такое множество и столь разнообразных книг; но, при его глубокой деликатности, "неоконченный курс" казался вечным предположением о каких-то таинственных глубинах науки и философии, коими обладают его друзья, "окончившие" — Герцен, Бакунин, Кудрявцев, Тургенев. Он вечно спрашивает и вечно учится. Характер вечной попытки научиться, "просветиться", носят и его статьи, и именно этим "учащимся" своим тоном, тоном безмерно пытливого и недоверчивого к себе ученика, — они и производят такое заражающее действие; от этого течет их воспитательное значение. Далее, в обществе и государстве он был "отброс", "studiosus": само собою разумеется, что он не мог проникнуться тем специфическим неуважением к "людям нашего круга", которым пылает Л. Толстой; ни тем специфическим неуважением к "племянникам министра", переписку коих живописует всю жизнь вращавшийся среди министров кн. Мещерский. В прекрасные — истинно прекрасные — "антресоли" ничего отсюда, из этой "кухни" государственно-социального строительства, не доносилось; и "смотря на небо", обоняя "свежий воздух" 5-го этажа, Белинский сохранил почти до самого конца беспримесно-книжный теоретический идеализм. Отсюда некоторые трогательнейшие его письма, напр. к одному другу-юноше на Кавказ, с длинными и сложными увещаниями никогда не роптать на начальников и вообще принимать же в расчет, что при огромной исторической работе "иногда" государство и не может не ошибаться или даже и не "подавить" человека. Отсюда его "Бородинская годовщина", так возмущившая особенностями своего тона его приятелей, "служивших".

От этого та доля отрицательности, какая есть у Белинского, не сложилась ни в какие узкие и определенные отрицания; разделение между "светом" и "тьмою", какое есть у него и должно быть у всякого писателя, легло чрезвычайно правильною чертою между "просвещением" и "грубостью". Он от "Литературных мечтаний" и до последних годовых обзоров текущей литературы остался неумолчным борцом за свет вообще "идей" против грубости косной "глины", "красной земли", где еще не веет "дух Божий". Его миссия и значение совокупности его трудов есть "обще"-просветительное и высоко-"просветительное", безчайнейший устремлений или с устремлениями менявшимися и, следовательно, в изменчивости своей, сохранявшими лишь общий характер порыва к свету. Он не уважал "Горе от ума" за его публицистический характер, и он преклонился перед Гоголем за то, что тот "обличил Россию"; он написал "Бородинскую годовщину", и он же написал известное "Письмо к Гоголю" по поводу "Выбранных мест из переписки с друзьями", которое можно назвать порнографиею России; он преклонился перед "равнодушием к действительности" Гете и прославил Пьера Леру за страстную (в идеях и требованиях) переработку действительности. Очевидно, эти противоположности срываю т значение друг у друга; не в них — важное у Белинского; важно и вечно, что в каждую минуту бытия своего он горел к лучшему и что лучшее это было для него "умственный", "духовный", "образовательный" свет против косного лежаия, против великой оцепенелости его родины.

Тут мы опять вспоминаем, в сущности, очень важный эпизод его с невестой. Граница, за которую не простирается значение Белинского, лежит в книге. Весь "умственный", "духовный", "образованный" свет, за который он боролся, — шел из книги, без всякой примеси к нему "самосветящихся земляных частиц". Их впервые подняли позднейшие и гораздо более могущественные, чем он и все его окружение, писатели — Л. Толстой особенно рельефно и понятно и еще утонченнее и глубже — Достоевский ("святая" карамазовщина); менее понятно и доказуемо Гоголь, Лермонтов. Из какой "книги" идет свет Платона Каратаева (в "Войне и мире"), Сони Мармеладовой — в "Преступлении и наказании"; это вещее восклицание Гоголя: "Скорбью ангела некогда загорится русская литература" — и почти непонятные его словечки, но, собственно, вдруг становящиеся понятными при взгляде на Достоевского, Толстого: "У — Русь! чего ты хочешь от меня? какая непостижимая между нами таятся связь?.. Что глядишь ты так, и все, что ни есть в тебе — обратило на меня полные ожидания очи?.. И, еще полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями... Какая сверкающая, чудная, незнакомая даль... Русь!" Какое, казалось бы, дикое восклицание: что общего с Чичиковым? Но как оно понятно около смерти "Смерти Ивана Ильича" и множества-множества строк, даже страниц у Достоевского:

"Постигнуть я притом не могу, Алеша, как иной высший даже сердцем человек, и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с таким павшим идеалом в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Черт знает что такое, даже, вот что... Ужасно, что это одновременное совмещение не только страшная, но и таинственная вещь; тут — дьявол с Богом борется, а поле борьбы — сердца людей. Широко человек, слишком широко, я бы сузил". Почти можно продолжать Гоголем: "Что пророчит сей необъятный простор; и грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь в глубине моей; неестественною властью осветились очи... у, Русь". Тоны странно сливаются, и в строки одного писателя можно вплетать строки другого, не разрушив единства лица писавшего.

Эти писатели, как мы выразились, — "светоносно-земляные", начали, собственно, совершенно новую эру в нашем развитии, и деятельность Белинского, весь "книжный" ум его и его окружения (люди "40-х годов" и теоретики 60-х) просто перестали "быть" для всякого, кто умеет вчитаться и вдуматься в этот существенно новый и гораздо более могущественный свет. Но ведь и вообще эти писатели уже выводят нас за рубрику всего "Петровского цикла", "Петербургского теоретического существования" и ведут в очень неясные, но существенно новые "миры".

Умственное наследие Белинского уже подернулось археологической ветхостью; как несколько принужденно мы читаем теперь и его современников — В. Боткина, Герцена, Грановского. Все это

...пленной мысли раздраженье

не волнует нас и сохраняет лишь исторический интерес. Белинский, дав необозримое множество литературных разборов, сохраняет более клас-

сное значение, т. е. для класса, для "учащегося" вообще, и в жизни каждого из нас он захватывает влиянием отрочество, юность и вообще годы нашего ученического "странствования". Соответственно этому и в обществе ему принадлежат, т. е. ему еще подчиняются, умственно-средние и низшие слои. Но от этой стареющей и почти старой ноши, которую он несет с собою, должен быть строго отделяем сам несущий. Белинский есть не только "писатель": он есть "лицо", и как "лицо" он так же светит сейчас, как и в вешнюю пору сороковых годов. Ничего не умерло в чертах его нравственного образа, и в них он несет столько значения, что стал вечно нужным существом, "двенадцатым" гостем среди всяких 11 "пирующих" или "труждающихся и обремененных". Всякое дурное дело имеет, сверх упрека от живых-честных, еще и упрек от мертвого, Белинского; и всякое доброе дело, сверх похвалы от живых добрых людей, имеет похвалу и от него. Он — соучастник нашей жизни как нравственное лицо; он вечно жив между нами и даже более: в нем все те же "100° температуры", "200 ударов пульса в минуту", — и он нас спрашивает: "Живы ли вы?"

* * *

Была, кажется, попытка поставить ему памятник; мы не "за" "медную хвалу", слишком холодную. Кстати — русские типично не скульпторы, и у нас вовсе нет живых, жизненных, "говорящих" памятников, т. е., можно думать, этот способ посмертного воздаяния не "рвется" из русской души, не выражает ее любящих припоминаний. Кажется, характер русского "подвига" не вяжется, не связывается в один узел с "бронзой" "стоящей", — и некоторым у нас драгоценнейшим людям, напр. Киреевскому, да и тому же именно Белинскому, просто нельзя, не приходит на ум "воздвигнуть" памятник, соорудить "мавзолей"... Иная гамма у нас "чтимого", "припоминаемого" подвига. Теперь "памятник" есть или, точнее, стал у нас символом признания за человеком "всероссийского" значения: что "отечество" вот признает и "увековечивает"... Время его постановки обыкновенно совпадает с совершенным выходом человека, напр. писателя, из "живой памяти, из волнений сердца; и, собственно, это есть символ того, что, при умолкнувших страстях, "уста" уже "шепчут имя", не различая его точного значения и содержания; и слишком понятно в этом случае, что его начинают тогда шептать "уста всей России". Поэтому "преткновение", которое встретила мысль постановки Белинскому памятника, есть символ, что около него еще бьются сердца, волнуются страсти; что он более жив, чем мы определили выше. Тут, без сомнения, абберрация, и как положительные, так и отрицательные движения около "проекта памятника" идут, можно предполагать, в "училищных" слоях нашего населения.

За XIX век фигура Белинского, в своем смирении, бесформенности, одухотворении, есть, конечно, одна из самых видных; и с его 50-летним живым влиянием не может быть поставлено в ряд влияние, напр., Карамзина, который, как только умер, сейчас же стал "монументом", нечитаемым. Но, повторяем, мы не за "медную хвалу" и также не за переименование улиц, что стало входить у нас в употребление,

— в "Пушкинскую", "Глинкинскую" и проч. "Улица" имеет свой быть, нравы, мудрость и поэзию: это народное достояние, с тем "крестным именем", в какое окрестил ее безыменный "поп"-народ. "Память" каждого человека нужно индивидуализировать, т. е. особенно, заново, по-новому чтить каждого входящего "углом" в храмину духовной или вообще житейской истории. Белинский так нуждался при жизни; умирая — так страшился за будущность детей; всю жизнь он работал на просвещение — "нес крест просвещения" в духовно-косной стране; просвещение тех времен, признав его "неспособным к продолжению курса учения", — сделало такой промах непонимания против "вверенного его заботам" ученика. Вот черты, которые уже слагают особенности его "памятника". Почему бы не сделать из потомства Белинского некоторых постоянных пенсионеров так обязанного ему образования; т. е. что каждый мальчик и девочка, указующие его имя в составе своих предков, имеют от элементарного и до высшего раскрытыми перед собою (бесплатно) двери всех учебных заведений; а при возможной нужде — имеют и готовый в них "кошт". Это так просто и так отвечало бы особенностям его заслуг.

1. Около болящих

Пятигорск. Эссеитуки. Железноводск, с их щелочными и серными ваннами, с зрелищем искалеченных людей, перевязанных ран, приводят невольно на память слова Апокалипсиса: "и вот будет некогда — падет звезда на источники вод: и станут они горьки".

"— Равви, если ты Сын Божий, скажи: кто согрешил, этот слепой или его родители?"

— Не он и не родители его, но — чтобы прославился Сын Человеческий.

— И сделав брение на ладони, помазал глаза болящему. И слепой прозрел".

Без веры — нельзя жить; без веры в чудо не прожил бы человек; без Бога — он не прожил бы. Разве эта группа вод не есть чудо природы? "Согрешил я" — и, припадая к матери-земле, к этим серным ключам, бегущим из Горячей горы (в Пятигорске), — исцеляюсь. Какая связь, какое соотношение? Что за дело сере до характерной болезни, которую она исцеляет, что за дело этой характерной болезни — до серы? Но они сцепляются в узел какого-то соотношения. Чудо, Бог, вера — все тут.

И все-таки для верующего сколько сомнений в Промысле!

"Не он и не его родители согрешили, но — чтобы прославился Сын Человеческий".

Так; хотелось бы уповать; хотелось бы веровать. Но вот передо мною конкретнейший факт, где и "не он, и не родители не согрешили", а настанет ли "прославление"?..

Есть у Кольцова стих:

О, Боже, — могила и вере страшна.

Странно, я стал впадать в какие-то не колебания, не сомнения, но недоумения религиозные. Есть такие конкретности бытия, перед коими как-то бессилён весь богословский номинализм. Я сказал не так: есть конкретности, около которых сердце обливается кровью, а все утешения становятся, как говорит Гамлет, "слова, слова, слова"... Что Бог есть — об этом-то я знаю, об этом говорят серные ванны; говорят о каком-то мистическом узле в мире, где все связуемо и который "всяческая и во всем". Что есть, наконец, религия — об этом опять говорят вздохи сердца, вздымания грудной клетки в ночной тиши. Но далее, но подробнее?

...Боже, — могила и вере страшна.

Странно, я полюбил здесь докторов — этих материалистов, этих скептиков. Правда, именно здесь я встретил в них много человечности. "Пусть эта благодать — не из алтаря, а все же благодать", — подумал я здесь не однажды. В докторах мне нравилась всегда ясность их профессии; учитель, писатель, оратор, трибун — если он тонок и умен — сколько имеет причин сомневаться, так сказать, в самых фундаментах своей деятельности. Но входит доктор в семью: сколько тревожных глаз устремлено на него, — и вдруг почти это "талифа куми" — "и девица вста". Нет, когда-нибудь медицина станет священной наукою. В 60-е годы она пережила грубейшие афоризмы: "Мысль течет из мозга, как урина из почек" (Фохт). Что же, один дурак осени не делает! От Гиппократы, от Галена до Пастера, до Шарко — это тысячелетия внимания, тысячелетия забот, тысячелетия скорби около человека, за человека! Нет, когда-нибудь потомки Фохта потребуют себе мантии, и человечество даст им мантии!

Среди поразительнейших зрелищ бессилия медицины здесь я стал и захотел верить в безграничный ее прогресс. Сказать ли всю правду: я поверил в искания "философского камня" и "жизненного эликсира". Ведь он так нужен, а что нужно — то будет. Притом эти серные ванны, эти таинственные Эссендуки... Почему дугу, хорду, "отрезок" не продолжить мысленно, т. е. почему они в самом деле не продолжают, где-нибудь под землей и над землей, в полный круг? Если есть какое-нибудь лекарство, то существует всякое; если вообще есть, возможно и случается излечение, то, значит, есть всякое излечение. Я не могу себе представить, чтобы что-нибудь, начинаясь, не кончилось. Это был бы абсурд мира и разума. Начинается: кой-кто и кой от чего, под влиянием каких-нибудь лекарств — оправился; значит, должно кончиться, и некогда всех примет в себя святая Силоамская купель. "Талифа куми" — "девица вста".

Болезнь есть начало смерти — и смерть существует; но и исцеление есть начало жизни, и, значит, жизнь существует не как миг, не как 10%, но как 100%, как вечность. Всякая дуга имеет для себя полный круг — это-то и есть идея "жизненного эликсира", философского камня. Хина, дерево Южной Америки, действует на лихорадку; маленькая трава *digitalis*¹ волшебным образом влияет на сердце. Вот начало жизненного эликсира и песчинка, отколовшаяся от "Философского камня". Непременно все ужасы человеческого страдания имеют для себя найденную травку, не открытый *digitalis*. Рак растет, и нет "травки", которая бы ему легла "поперек дорожки", но я не без причины заговорил о мантиях для докторов: если что-нибудь найдено, все будет найдено. Нет дуги — без круга...

Полнота уже теперь действующих медикаментов суть градусы круга, их всех — 360, найдено только 311, может быть, даже только 111. Один Пастер какие бездны нового знания и новых средств открыл. А солнце — утилизированы ли его силы? Посмотрите, как расцвечен хребет кошки, спинка мотылька, а нижняя их сторона сера, бесцветна, безвидна. Солнце — творит; оно имеет в себе никогда не дававшийся медикам

¹ наперстянка (*лат.*).

секрет жизненного синтеза, органического созидания. Известно, что медики и вообще "наука" многие органические вещества "разложила", но ни одного (кроме немногих и в сущности обманчивых исключений) не сумела и до сих пор не умеет "сложить". Солнце есть именно животнo-слагающая сила, и не неправдоподобно, что в нем есть огромный запас лечащих сил, но только "сундучок еще не открыт" — нет какой-то и, может быть, пустой догадки о том, как раскрыть и овладеть его сокровищами. Это что-нибудь степени света, комбинации лучей, что-нибудь за "ультрафиолетовыми лучами". Я только одно испытывал, и все это знают, что в комнате при температуре в 18 градусов является тошнота и головокружение, но солнечный жар даже до 22, даже до 27 градусов выносится легко. Природа теплоты солнечной, так сказать, — не термическая только, но жизненно-термическая. Ищите — в солнце...

Но, Боже, — могила и вере страшна.

Я стал верить в солнце, любить людей, я поверил в нескончаемость науки. Но, странно, специфически религиозная вера во мне стала, остановилась в каком-то недоумении. Главное — очень трудно жить; очень трудные страдания; есть и "не согрешившие, и отец их не согрешил"...

Боже, — могила и вере страшна...

Вы видите человека "согрешившего" и который выходит из серных ванн, как бы из Силоамской купели; но вы видите другого человека, которого весь "грех" заключался только в любви — вы видите "милостивого самарянина", который наклонился над "пораненным", "перевязал ему язвы" — и вот гниет в этих же язвах! За что, за чей же грех, "свой" или "родителей"? И кто же над ним "сделает брение"?

Пусть это единичный случай, т. е. редкие¹, но они же есть, их не исключишь из природы, а не исключив — как начертаешь для себя ее образ, ее именно мистический лик? Великое бессилие ума, великое сиротство человечества...

У Иова было семь сыновей, но, когда умерли они, — он имел еще четырнадцать. Он утешен; но — сыновья? Вопрос остается без ответа. "Смерть, где твое жало?" — сказал пророк, повторил апостол. Но оно — во мне, "аз умираю". Религия учит меня мужественно умереть; тому же учили стоики и также говоря "о бессмертии души", "о погружении в Бога". Разве же религия сливается с стоицизмом? Без плюса, без живейшего и реальнейшего перед этой человеческой и бессильной философией?

И между тем — сердце вздымается в тиши ночи; есть молитва, и, значит, есть религия. Я не о ней говорю; я говорю о "словах, словах,

¹ "Редкие" ли? Без исключения все дети, в беспорочный возраст 8—11 месяцев "проводятся через огонь" зубного страдания, не переносимого иногда даже до смерти ("родимчик"). "Кто согрешил?" — Но "все" болят, и многим "нет исцеления", "не бысть славы"... Тут, т. е. если принять во внимание, что даже "волос не падает с головы без воли", — срезаваются, в сущности, все катехизические вопросы и ответы.

словах”, которые построены на тончайшем благородстве сердца человеческого, которое и скорбя — не ропщет, и безнадежное — еще утешается; сирота — и сиротливо, переворачиваясь с одного болящего бока на другой болящий же, что-то шепчет и в тиши ночи обращает глаза к образу, к зажженной лампаде...

— Вы ропщете?..

— Нет, Бог не велел роптать...”

И приходит некоторый день, он умирает. Я вспоминаю мотив “Травиаты”: он всемирно известен. Можно ли представить себе, что творец этого мотива — бедный силами человек — обладай он уже найденным “философским камнем”, не бросился бы к постели умирающей и в миг, когда возможна для нее жизнь, воссияла для нее правда, не продлил бы эту жизнь на год, на пять лет, на бесконечность.

Бедные мы люди, что мы понимаем в религии? Если человек так благ, что бросился бы, что продлил бы, что раздвинул бы в бесконечность восторг последнего утешения, то...

То “философский камень” не найден, и смерть “не” побеждена, как утверждают “слова, слова, слова”. Она владычественна не только здесь и сейчас, но владычественна как какая-то правда, как какой-то абсолюте же наравне с абсолютом жизни. Но тогда существенно неправильны наши унитарные религиозные представления: мир раздвояется, поляризуется:

Се, жених грядет в полунощи...

Вытекают два лица: полунощное, полуденное; несущее смерть, несущее жизнь — не как силы только, но как две абсолютные правды. Значит, не только есть страдание и нас постигает смерть: есть, значит, правда смерти и страдания, т. е. красота умирания, красота болезни. Тургенев в “Живых мощах”, пожалуй, уловил эту правду.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю... —

надписал Пушкин в каком-то безмерном любовании; но другой поэт, правда меньших сил, опять с бесконечным любованием остановился на старости:

Лысый, с белой бородою,
Дедушка сидит.
Чашка с хлебом и водою
Перед ним стоит...
.....
Где ты черпал эту силу,
Бедный...

и т. д. Человек постигает красоту одного, красоту другого. Но потому это, что он сам есть синтез и одной красоты, и другой красоты: он *родился* — вот первая красота в нем; но он еще *умрет* — и это также есть в нем. Святое рождение, святое “успение”; и если они слиты в человеке, тем паче они могут быть слиты в Боге. Тогда полярность мира снова сливается в экваториальное единство, остается одно Лицо Божие, без

противо-"грядущего" Ему "полуночного жениха". Но то ли это Лицо, "победившее смерть", которое мы исповедуем? Нет и нет — смерть от Него же, и даже она есть Его дыхание, как есть Его же дыхание — жизнь и рождение. Правда, ведь и сказано в Апокалипсисе: "Аз есмь Альфа и Омега, первый и последний". Но тогда причем идея "смерти" как "наказания" "за грех"? Смерть есть дыхание живого синтетического лица — она есть правда, она есть святость, по крайней мере в том смысле, что божественна, как и жизнь; тогда и ее дробь — болезни — святы же. Но тогда мы получаем мистический узел вселенной в сплетении горгон и света; и тогда опять, значит, неверны, совершенно неверны все построения наших "слов, слов и слов". Мы исполняем религиозного страха; страх получает место в мире — как закон, и притом не греха вовсе, но и чистейшей святости. Трепет пронизывает человека — не потому, что "он погрешил или его родители", но потому, что самое Лицо, к коему он шепчет молитвы ночью, есть неисповедимое Лицо, равно исполненное ужасов и света, бурь и "тихого ветра". Но это — совсем не то, чему нас научили в школе...

Бедный я человек: и сирота в фактах, и убог мыслью.

Тут, пожалуй, есть и граница для "жизненного элексира"; и медикам, вместо мантии, как бы не облечься в эпитрахили и камилавки; но опять — тут все ново, и существенно нова должна стать молитва: робка, исполнена ужаса, смятения и самых трепетных надежд.

"Первый и последний, Альфа и Омега". Правда, Христос и совместил Голгофу и Вифлеем. Он был "рожден" и потом еще "умер". Но это вовсе не по тем мотивам и не по тем основаниям, о коих учат "слова", но для раскрытия человеку одинаковой истины, небесности и Вифлеема, и Голгофы. Все-таки — бедный я человек. А я-то хотел и надеялся бессмертия! Тогда понятно, пожалуй, каким образом даже в музыке, например, смерть, как в арии Травиаты, исполнена, правда, надрывающих душу мотивов, исторгающих из глаз слезы и — однако именно прекрасных, именно возвышенных. Прекрасно жить, прекрасно умереть. Но тут... но, значит, стойки не были уже так только "философы" — у них была настоящая и истинная религия, зачаток какой-то религии; и, с другой стороны, страшная Бовани индусов, под колеса коей бросаются изуверы, — тоже несет какую-то правду, какое-то предчувствие правды. Тогда объясняются не только "Живые мощи" Тургенева, т. е. что пришла же фантазия человеку такое и так написать¹, но и наши закопавшиеся в землю раскольники тоже получают какой-то смысл.

¹ Важен инстинкт написания, возведение страдания в культ, к святости ("мощи"), к религии. Нельзя не обратить внимания, что все главные и множество мелких сочинений Тургенева — вся амплитуда его писательской деятельности носит отдаленно как бы предчувствие, как бы страх тяжелой, продолжительной и мучительной его кончины. Земная любовь — вечно расстраивается; из земных дел ничего не выходит ("Дым", "Новь"); самый опозтизированный тип — Лиза Калитина, с бессмертным ее выражением о жизни как предуготовлении в смерть. По этому мало замеченному в нем характеру он есть типично христианский и именно русско-христианский писатель. Все типично "рождающие" произведения Достоевского, "во славу рождения" ("карамазовщина"), носят совсем обратное направление и составляют как бы предчувствие его замечательно светлой, бесстрадальной, краткотечной смерти. Умер — как отрезал.

2. В Кисловодском парке

Русскому публицисту, верно, успокоение только в могиле. Самые мирные сцены навевают ему мятежные мысли, и самая ласкающая природа не разгонит умственных облаков. С зачатками язв он родился; с раскрытыми язвами — сойдет в землю.

Черненькие и белые головки детей, оригинально перепутывающиеся в Кисловодском парке, навели меня на мысли о современной национальной перепутанности; и странно, их игры завели в лабиринт далеких политических соображений. Дети — всякие и везде прекрасны; они везде — слиты. Вот два черных армяненка, года по четыре каждому, ведут трехлетнюю блондинку. Сколько бережливости, чтобы, переступая через дождевую канавку, она не запнулась. С другой стороны, около армянских детей — везде русские няни, здорового и доброго московского типа. Я совершенно не видел около армян-детей армянок-нянек. Верно, как в древности Спарта для всей Греции давала лучших кормилиц, — русский благодушный тип, на оценку всяческих народностей, дает лучшего пестуна для первых бессознательных и полусознательных лет человека. И вот, глядя на мирную смешанность детей всяких родов и племен, я вспомнил: "Сих есть царство небесное" — и задумался о неустроенных земных царствах.

Есть "обрусение" и "обрусение"... Политика того "обрусения", программу коего впервые формулировали "Московские Ведомости", в сущности есть политика национального обезличения, денационализации племен, а не универсального национального синтеза. Оглянемся назад. Русь в Киевский период своей истории совершила великие культурные и религиозные завоевания, почти не имея, по крайней мере не формулировав, "программы завоевания"; московские великие "сидельцы", от Калиты до "тишайшего" Алексея Михайловича: совершили не меньшие завоевания политические, и также без заметного национального обострения. Но Польша, которая всегда была полна национальной и религиозной обостренностью, так и раскололась, и пала, не успев стесать и притупить режущих друг друга внутренних ножей. Успехи Москвы и Киева, национальные и религиозные, были так медлительны, постепенны и "беспрограммны", что историки ищут и почти не находят документов о ступенях, по которым совершилось (в этом направлении) восхождение русской силы. "Бедна русская история", "никаких ярких событий нет": но вот, посмотрите, на конце этой великой тысячелетней тишины факт самого огромного, самого колоссального, истинно тысячелетнего значения — не государство, но почти мир стран и народов, между тремя океанами и почти достигающий четвертого, первая мировая мощь; не сегодня-завтра — центр всемирных к ней тяготений, центр разыгрывающихся всемирных событий.

Для этого мира стран и народов, который именуется "Россиєю", — не бедна ли мыслью, не узка ли значением, не опасна ли и этою бедностью и теснотой духа программа "Москов. Ведомостей", как она была формулирована покойным Катковым и поддерживается без изменения до сих пор? Я осторожно спрашиваю; я готов отречься от сомнений, если мне будет сказано твердое и доказательное "да". Филологичес-

кие ошибки бывают часто источником ошибок политических. Мы говорим "обрусение"; но "обрусять", т. е. сливать с собою до неразличимости, умели Киев и Москва, и решительно этого не умеет Петербург. Помилуйте, чухна в Парголово, т. е. дачном месте петербуржцев, и 200 лет спустя после "перенесения столицы" к нему в соседство сохраняет тип финна (лицо, язык, быт), не приняв ни единой в себя ниточки из "русского лица". Ведь это все равно, как если бы на Воробьевых горах или в Останкине, около Москвы, уцелел до Грозного тюркский тип. Мало того: Парголово отвоевало и отвоевывает посейчас частицы Петербурга: кто в нем не встречал чисто кровно русских извозчиков, бойко и, главное, весело, радушно перекидывающихся с чухнами на их диалекте. Вы с удивлением спрашиваете о метаморфозе и узнаете, что это — детище Воспитательного Петербургского дома, выросшее в чухонской избе и не порывающее, не хотящее порвать с нею связи. "Заместо отца и матери были".

Фактов нельзя и не нужно от себя скрывать; и факт — в том, что не Петербург от чухны отрывает детей, а скорей — чухна от Петербурга. Но распространение наблюдение, и вы увидите, что Петербург — вероятно, по безличности своей — вообще не имеет в себе ассимилирующих, сливающихся, уподобляющих сил. Он может покорить; он совершает глоток; но проглоченное становится в его желудке "долотом", от коего "болит нутро" России. И эту боль от непереваренных проглоченных кусков мы называем нашими "окраинными вопросами". "Обрусить"... куда бы мы были сильны к этому! Но это филогическая ошибка; бедные русским сознанием, русским чувством, "безличные" в себе, мы только пытаемся снять лицо индивидуальности с других и это зовем "обрусительною политикою".

В ней — как и решительно во всех программах покойного Каткова (удивительно неизобретательный был ум) — мы, в сущности, ужасно неоригинальны. Программа этой политики есть программа покойной Речи Посполитой, которая удалась в Литве и не удалась в Малороссии; программа, которая сейчас удастся Пруссии и не удалась в XVIII—XIX веках Австрии. Во всяком случае, это не программа Киевской Руси, Московской Руси; даже это не программа миро-владычного Рима. Рим овладел миром (между прочим, — и в языке овладел), никогда не вмешиваясь в язык и нравы Транс-Альпийской и Цис-Альпийской Галлии, — везде проводя дороги, устраиваясь с соседями на началах договора и вбирая этих соседей "союзников" ("socii") в себя, незаметно, постепенно, силою именно пищеварения своего, но не механизмом глотка. Как ни удивительна параллель, она верна: Киев, Москва и Рим росли по одному закону; Петербург, Варшава, Вена, Берлин — по другому, гораздо более узкому и, мы думаем, менее удачливому, более рискованному.

Все начали наблюдать, что внутреннее ядро России гибнет, худает, а окраины — воскресают; и это со времени и под вероятным влиянием именно "окраинной политики". Вглядимся в механизм и средства "обрусения", и мы кой-что поймем в этом явлении. Мы на окраины высылаем орлов, ввиду "трудных и тонких там политических задач", а у себя внутри довольствуемся "генералами поплоше". Имена Воронцова, Барятинского, Ермолова, Гурко, Кауфмана, Черняева — суть имена общей

русской славы: это — люди всероссийского таланта и значения, которые посланы были приложить вечно деятельный ум и несокрушимую энергию на окраины. Между тем, в Калуге, Рязани, Костроме, где "никаких политических задач нет", мы оставили только, так сказать, "гарнизонную администрацию, инвалидов ума и воли. Ведь это так было, этого никто не опорит; и посмотрите на результат этой тончайше задуманной политики. Человек везде есть человек, т. е. первое и главное, "царь вещей"; дадите вы человека городу или местности — и вы дадите ему все; наделите тот же город всяческими учреждениями и отнимите у него человека — и вы дадите ему слова без исполнения, обманчивую и даже лгушую надежду. Уж лучше бы отчаяние. Даровитый человек, данный окраине, и сделал то, что он везде бы сделал, куда вы его ни поставьте: он "вверенный ему край" привел в цветущее состояние; худой человек, т. е. бездарный, бесцветный, опять сделал то, что он везде бы сделал; он "захудил", сделал "дрянцом" "вверенный край". Ведь и до сих пор это же на глазах у всех: деятельнейший и даровитейший попечитель учебного округа — на Кавказе; выдающиеся по дарованиям попечители были в Привислинском крае. Что же они сделали? Вы думаете, т. е., по-видимому, казалось всем, что они "обрусивали" армян, грузин, латышей? Конечно, ничего подобного: они делали единственно то, что единственно может сделать даровитый человек с специально отведенною ему сферою: привели ее в цветущее состояние; т. е. они увеличили число школ, дали им лучший контингент учителей, смягчили везде недостатки "уставов" и, при данных условиях, дали ученикам возможно наилучшее обучение. Они создали, конечно, немало о том не думая, ряд духовных "возрождений"; в то время как около Москвы, Казани, Харькова, Киева — дедины русской земли — все зарастало понемногу бурьяном: в данном случае, напр., ученики не учились, школы — закрывались (в Брянске, Касимове, Ефремове, Белеве). Примените сказанное о школе к пяти-шести еще ведомствам, и вы получите картину почти неисцелимой, трудно исцелимой раны: покривленность набок центральной России и гордо приподнятые кверху головы окраин.

Так идет кругооборот политики, совершенно не по тому руслу, как думали несколько недаленовидные "Моск. Вед." 60-х и 70-х годов. Но оставим сумрачные тенета политики и дадим места несколько — мечте. Играющие на Кавказе дети не создали, но оживили во мне одну давнишнюю политическую мечту, которую почему бы и не обсудить читателю, пусть мимолетно и как мимолетное впечатление. Всюду мы видим, за XIX век, политических "воскресающих Лазарей"; три дня был в гробу и уже "смердил", но пробил час, и, повитый пеленами по рукам и ногам, он появляется из входа могильной пещеры одними приветствуемый, другими проклинаяемый. Латыши, финны, поляки, армяне, русины, чехи, раньше греки, сербы и болгары — все стали или сейчас стоят на пороге какого-то бытия ли, небытия ли, никто пока не знает; но они мучительно все не хотят идти обратно в гроб и требуют себе места среди живых, которого живые им не хотят или смущаются дать. Вот положение; оно — факт; различим в этом факте истинное, различим в нем ложное; различим возможное и должное.

Есть существование политическое, есть существование нравственное, которое, разветвляясь, имеет вид быта, характера, языка, веры ("об-

лицье"). Польша существовала политически, и политически она сама разрушилась. Лишь политический щебень ее взяли себе соседи, и взяли просто как неудобную в соседстве руину: один — попользовался стропилами, другой — забрал кирпич, третий — воспользовался бревнами. Но все это взято было именно по внутренней несвязанности, как только этнографический материал, без сил и средств самостроения, самосуществования (политического). Вот русская половина польской истины, за коюю начинается, однако, истина краковяков, мазуров, познанцев. Никогда и ни в каком договоре не было написано, подписано и скреплено, что эти Стаси и Зоси должны стать Лизами и Иванами: здесь начинается истина быта, языка, веры ("обличье"), которые никогда и ни в каком договоре не уступались, не разрушились среди политического разрушения и отстаивая которые поляки чувствуют, что они отстаивают "свое", некоторый остаток, некоторое "есть" в себе, свое "право". Я не из любителей поляков; их характер — мне совершенно чужд, даже антипатичен; просто — я не умею нравственно понять их, как, верно, они никогда нравственно меня не поняли бы. Во мне говорит только логика, ясное чтение того, что написано в договорах, и совершенно отчетливое осознание, что не можем же мы вписывать в договоры чего там нет: что тут начинается плагиат, подделка документов, но не правдивая история и не здравая политика.

Я упомянул о Польше; это — конечно, наиболее трудный уголок нашего политического бытия, всего больнее режущее "долото" в нашем желудке. Но их несколько, и это уже создает трудность, которая может перейти в опасность. Без всяких подсказываний эти окраины соединяются или завтра же соединятся сочувствием; представители трех-четырех "возрождений", разбросанные внутри России, внутри России служащие и работающие и соединенные общим чувством по крайней мере индифферентизма к России, — уже образуют в ней великий минус. Около "плохеньких генералов", оставленных у нас "дома" "для обихода", этот минус возрастает до огромного значения и силы. Доля коренного русского "захудания" должна быть отнесена, как к причине, к этой политике "русских — на окраину", "окраинцев — внутрь", которую — опять неоригинально, но по примеру Виктора Эммануила — мы практикуем у себя. Уничтожить эту общую трудность и возможную опасность следует и можно ясным разграничением тонко переплетенных здесь истины и лжи.

Все ложно в политической стороне имеющихся у нас пяти-шести окраинных "возрождений"; и совершенно истинно все в этих "возрождениях" бытовое, своеобычное, своенравное, своеверное. И не только истинно: все должно быть для нас радостно. Вспомним Шевченку: он "плоть от плоти нашей", — и чем и как поправить ту огромную, ту неисцелимую политическую язву, какую мы нанесли себе, причинив некоторые биографические неудобства этому русскому из русских, на коего вздумали посмотреть воистину австрийским взглядом? Это — язва, потому что это пятно на светлой русской душе. Ведь мы же повторяем и заставляем детей учить в школе слова Невского, двинувшегося на шведов: "Не в силе Бог, а в правде". Так разве сейчас, в 1898 году, это не такая же истина, как и в XIII веке? Россия не на день должна быть крепка, а на века и даже — подавай Бог на тысячелетия. Сейчас можно

успеть силою и вероломством; но века жить, но тысячелетия стоять можно только правдою. Шевченку за его милые думы на хохлацком говоре следовало наградить, дать ренту, освободить от крепостной зависимости. И в венке света, сияющего над Россией, вплелся бы еще луч, вплелся бы к пущей ее именно политической крепости. Но то, что мы говорим, стоит вне всяких политических целей. Оно так хорошо, что как-то не хочется вплетать сюда политику. "Само приложится". Лучшие политические победы — именно не программные.

Сущность национальных у нас "возрождений", имея истину в моральной своей стороне, ложна в политической. Весьма правдоподобно, что родник "политиканщины" у нас на окраинах лежит опять в неумелости нашего "обрусения". Мы наступаем на нравы, на язык, иногда и хоть чуть-чуть — на веру: нам отвечают "политикой". Мы узурпируем, на что не вправе; и у нас узурпируют то, на что, в свою очередь, нет у них права. Дело все в том, что мы пытаемся "обезличить", думая, что это-то и значит "обрусить". Взглянем опять на одну частность обрусяющего механизма: из наших школ выходит на 100 учеников 99 "общечеловеков", "Ни Господу — свечка, ни черту — кочерга", и один "с русского душою", с верой отцов, с центральным тяготением к Москве, Калуге, Рязани. Итак, мы не умеем в русском сохранить русского; и вот через тот же механизм, без малейшего варианта в его устройстве, мы хотим из варшавянина, из эриванца сделать... москвича? туляка? Конечно, — нет и нет: мы делаем тоже "общечеловека", "ни — свечку, ни — кочергу". В Соединенных Штатах этот "общечеловек" занимался бы промышленностью и торговлей: там $10/10$ человека ушло на это, и нет в строго определенном смысле ни истории, ни религии (национальной), ни политики, как нет и самостоятельно и оригинально развивающейся литературы, философии и науки. Но на европейской почве всякий "общечеловек" становится немножко литератором (на практике или в душе); немножко проповедником и немножко политиком. Всякий человек, о коем мы думали, что его "обрусил", проведя через Ходобая и глаголы на "ці", — в силу указанных литературных, проповеднических и политических инстинктов становится деятелем местного национального "возрождения": оно дает ему тему, оформливает его речь и мысль. Ведь ни одно, решительно ни одно из пяти-шести наших "возрождений" не идет из населения, от сел и деревень: это — городское явление, и даже частнее — школьное, литературно-ученое.

У нас более половины населения — не великороссы. Россия есть именно не государство, но мир стран, народов, языков, религий. Задачи ее существования и истории — не Варшавы, не Вены, не Берлина: и сапоги, в которых прошли эти чиновнические державства свои короткие пути, изнасятся, да уже и изнасились, едва мы ступили в них несколько шагов. Россия — другая, и все в ней и у нее — другое. И вот, в пределах уже существующей у нас национальной переплетенности мне хочется не развить, но дать один только намек на возможность иной политики, мысль коей, очень давняя, как-то конкретно шевельнулась у меня при зрелище играющих детей в Кисловодском парке.

Дети не только шадят "национальную исключительность": они ее культивируют, ее требуют, ее хотят. Вот странное до дикости отноше-

ние, при котором вдруг эта исключительность теряет "нож в себе", тупеет, стесывается; вы около нее вращаетесь и не только не обливаетесь кровью, но испытываете какое-то ласкающее, бархатистое впечатление. Все, что по закону ненависти и на почве обезличения не только не удалось до сих пор, но и, очевидно, никогда не удастся, — все это по закону любви и на почве культуры нравственно-народного лица разрешается само собою. Я говорю, что дети-армяне с великой бережливостью ведут русскую девочку; а русская няня на вопрос о способностях армянского двулетка отвечает: "Преспособный!" И вот обеих наций и нет в одно и то же время, и есть они — т. е. они есть, только не режутся острыми краями. Края стесаны; остались закругленные сердцевинки, которыми не больно лежать друг около друга. Право же, можно наблюдать и не ошибаться: сколько здесь, на Кавказе, я видал туземного привета в ответ на мину же привета, с которой обращаются к человеку, и совершенно очевидно не деланного, не притворного. Просто человек лучше, чем кажется; и он политически лучше, как только на минуту сам перестаёшь быть "с политикой".

Русское ядро на всех краях обложилось небольшими, но своеобразными странами ли, культурами ли, но во всяком случае своеобразным в языке, нравах, вере. Могут они стать тучами на горизонте, а могут стать и светлыми зарницами. Почему не стать России на вселенскую почву, не помечтать, как некогда она мечтала в Москве, о "третьем Риме" в себе, т. е. о третьей во времени, а сейчас первой и единственной правде? Удивительно узки петербургские идеалы перед идеалами московских "сидней". Мы шумим, бегаем; те, по-видимому, дремали, но в их дремоте расцветали какие великолепные сны! Они, эти маленькие и бессильные народцы, "возрождаются" — Лазари перед выходом из пещер; что же, растеряться ли нам перед этим зрелищем "по австрийскому" подобию или, по примеру Христа, не повторить ли сомневающимся Марфам: "Не скорби, сестра; брат твой не умер, он только спит"? — И неужели, неужели умерло благородство в человеческих сердцах (тогда для чего и "политика"?), и неужели воскресающие у нас Лазари не дадут нам еще героев, как Багратион, Барклай, как черноморский Лазарев? И какое множество множеств еще имен, на коих практически совершилось прекраснейшее из возможных "слияний центра с окраинами"!

Я знаю, что мысли мои вызовут много протестов; что же, ведь я даю не программу, а почти мечту. "Не раскололась бы Россия", — говорят ее фактические недалекие раскалыватели; я же к политическому цементу прибавлю и моральный: "Послужиши всем — да и тебе послужат".

3. "Горе от ума"

Представления в сезонном Кисловодском театре открылись комедией "Горе от ума". Имя Грибоедова связано по трагической кончине с Кавказом, и, может быть, поэтому его комедия открывает собою театр. Первые июльские дни здесь был холод и дождь: на Бермамуде, в 40 верстах от курорта, выпал глубокий снег и испортил неделю, полторы недели для всей окрестности. От нечего делать я пошел в театр; играли, однако, необыкновенно дурно; оставалось, почти зажимая глаза на игру,

следить за текстом знаменитого литературного произведения и еще раз невольно переоценивать его.

Бессмертность комедии "Горе от ума" основана на множестве необыкновенно удачно обдуманных мыслей, удачно подумавшихся и удачно сказавшихся. Нет ни одного еще произведения в русской литературе, строки коего до такой степени запомнились бы и так часто повторялись бы в обиходной речи, т. е. ни в одном произведении нет столько формул непревосходимой краткости, ясности и точности для характеристики многообразных житейских положений, отношений или для выражения иронии, негодования, или, наконец, для обрисовки глупости, грубости, низости. Комедия каждому нужна, потому что она каждому дает неистощимый почти запас прекрасных мыслей и слов в обиходе действительности; дает слово бессловесному и ум ограниченному, при самой легкой степени литературного образования и вкуса. Достаточно не смешать себя со Скалозубом или понять низость Молчалина, чтобы иметь возможность в тысяче случаев показаться Чацким или родственным Чацкому. И все это — без подделки и усилия, само собою; так велико и естественно во всяком очаровании необыкновенным литературным произведением. Можно сказать: с появлением этой комедии, которая еще в рукописи, как известно, разошлась и выучилась всею читающею Россией, Россия и весело и свободно вошла в некоторый лучший, чистейший эмпирей понятий и вкусов, заговорила новым языком и на новые темы о новых предметах. "Грамотное", "обучающее" значение этой комедии — необыкновенно; ни одну школу Россия не проходила так охотно; ни одна школа не наводила на своих питомцев столько политуры и глянца; ни одна не была так непререкаема, так трудна для оспаривания. В чудной этой комедии как бы уже дан отпор на всякую попытку ее критики: неувядаемая острота, в ней именно написанная, соскальзывает с губ всякого вашего слушателя, перед которым вы вздумали бы отрицать или оспаривать истину нескольких тысяч афоризмов, из которых она составлена. Нет произведения — и быть может, не в одной нашей литературе — более счастливого и сыгравшего более счастливую роль.

Чувство счастья вообще разлито в пьесе; если от отдельных афоризмов, ее составляющих, мы перейдем к ее тону — мы почувствуем, что это есть существенно победный, побеждающий тон. Маленькая неудача в кратком романе Чацкого есть только необходимейшее условие его нравственной над слушателями или читателями победы; ореол страдальчества необходим герою, и в данном случае он дан главному лицу в той легкой дымке почти только неудовольствия, которое разрешается заключительным криком:

Карету мне, карету...

Самое страдание его — быть объявленным сумасшедшим от глупцов, сумасшедшим за явное превосходство ума, — конечно, есть тот вид страдания, который показался бы лакомою участью почти каждому из смертных. Можно сказать,

Карету мне, карету

— и есть олимпийский венок, который автор надел на голову первому бегуну великого умственного ристалища. Позади его, уехавшего в венке

искать,
Где оскорбленному есть чувству уголок, —

остаются совершенно глупые, "побитые" "чемпионом" лица Фамусова, Софьи и Молчалина. Говоря о победном тоне комедии, мы, однако, разумеем не речи Чацкого: мы разумеем самый замысел комедии и то чувство, которое принадлежит не лицам произведения, но самому автору. Грибоедов не пережил ни одной из тех глубоких практических коллизий, которые пришлось пережить Пушкину, Лермонтову, Достоевскому, Толстому, Гоголю: ни — коллизии расхождения между равно близкими родными (Лермонтов), ни — исполненного какого-то недоумения положения среди общества и в "рангах" государства (Пушкин), ни — расхождения между страданием и любовью к тому, от кого или от чего страдание (Достоевский), ни — расхождения между своим громадным умом и не пройденною или плохо пройденною, отвергаемую школою (Толстой); не говоря о более тайных и более глубоких нравственных мучениях. Поэтому критика, с которою выступил Грибоедов и которая, как известно, составляет содержание "Горе от ума", существенным образом есть критика счастливого, радующегося человека.

Грибоедов имел радость в своей молодости, в здоровье, в прекрасной и любящей жене, в счастливо слагавшейся службе, в сознании высокого и прекрасного своего таланта. Он так был беззастенчиво счастлив, т. е. ему даже не приходила на ум возможность или необходимость скрыть это, что он просто и спокойно, несколько наивно выразил это в самом заглавии пьесы. Как счастлив был бы кто-нибудь, если б ему выпало на каком-нибудь — пусть очень "умном" — своем произведении прямо надписать: "произведение умного человека", как это почти надписал Грибоедов, слив, очевидно, лицо свое — с Чацким и объявив, что этот последний несет "горе", даже до страдания, —

...карету мне, карету —

не по иной какой причине, как от чрезвычайного излишества у него "ума". Этим объясняется осторожное замечание Пушкина, выраженное сейчас после чтения комедии: "Грибоедов, конечно, умен, но не умен — Чацкий", и то вообще, что тысячи его критиков чувствовали себя вынужденными высказаться прежде всего об "уме" комедии, как бы сказать "да" или робкое "нет" в ответ на ярко выставленное "да" в заголовке, в тоне, в манере счастливого произведения.

Этих критиков было гораздо более, чем их вообще видно. Произведение так знаменито, что молча или вслух почти каждый русский писатель переживал пору мысленной его критики. Там, в самом конце комедии, есть слова одной из московских старух о приобретенной ею "арапке":

да как черна, да как страшна...

— знающий комедию найдет без труда эту строку. В "Воине и мире", которая имеет темою обзор и критику именно критикуемой и Грибо-

едовым эпохи, есть фраза, среди размышлений о Москве и глубочайших родниках нашей победы над Наполеоном: "Вот именно такая-то (имя и отчество), которая, забирая своих арапов, дур и шутих, выезжала из Москвы с смутным сознанием, что она — Бонапарту не слуга, — тысячи таких лиц и так чувствовавших и создали необходимость для Наполеона понять, что с занятием пустой столицы война не кончилась, что борьба и вообще не имеет ни определенного предмета, ни определенных границ; и понудили его, тоже в каком-то недоумении, выйти злобно и не понимая, что и для чего он делает, из Москвы — назад". Так многодумно, после годов внимательнейшего изучения документов и размышлений, решил о той же самой эпохе и даже о тех самых лицах, о коих с Фамусовым мы можем повторить:

ба! знакомые все лица...

— решил более поздний и не так счастливо себя чувствовавший писатель. Резюмируя причину того, что ему пришлось спасовать в "любви" перед Молчалиным, Чацкий заключает монолог словами, что-де — "впрочем, .

...чтоб иметь детей

Кому ума не доставало..."

— и именно этим двустижием, почти сводя свою статью к его критике, Достоевский начинает в "Дневнике писателя" знаменитую свою статью: "Земля и дети", которую, если рассмотреть внимательно, можно считать программой ко всей его литературной деятельности. Статья содержит рассмотрение положения Западной Европы — положения начинающегося там "вырождения" — и сводит родники этого вырождения к разрыву человека "с землею", к разрыву его "с детьми".

Кому ума не доставало...

— "а вот недостает же", — восклицает Достоевский и с величайшею глубиной и страстью настаивает на этом, казалось бы, элементарнейшем и в действительности очень глубоком и трудном "умении". "Земля и дети" — в самом деле в формуле этой содержится самая удачная критика "ума" комедии, к которому мы и переходим.

Это есть "ум" какой-то обстановочный; ум, насколько он употребителен и нужен для обстановки нашего бытия, но не для самого бытия. Все великое "горе" Чацкого и автора есть в сущности самый счастливый вид горя: ибо оно происходит единственно от расхождения во вкусе и требований — мебелировать ли дом в стиле "рококо", Louis XVI или Empire. Все содержание комедии вращается около фасонов; и даже отсюда, от этого предмета критики, исходит фасонность самой критики, ее резкие углы, тонкие и изящные словесные завитки, которые собственно и произвели великую общую ее запоминаемость, как и составили условие ее счастливой победы. Дальше "фасона" критика не простирается; дальше требования — сменить один вид "стиля" другим, новейшим, автор не задается. От него нельзя провести соединительной линии к Лаврецкому, но очень можно — к Паншину, так удачливо начавшему

ухаживанье за "соломенной вдовой" первого; огрубите Чацкого, несколько сузьте его ум, и, ни в чем не меняя его существенного колорита, вы получите тип так удачно нарисованного Тургеневым петербургского чиновника "из молодых и réformé". В "Войне и мире" Алпатыч едет в Смоленск, штурмуемый и почти взятый французами, и, озираясь на хлебные поля, почти не замечает, где и среди какой "страждущей" обстановки он; Толстым посвящено несколько страниц на его (почти) "бормотанье" об урожае и прочем. Гениальные страницы, но их гениальность нельзя почувствовать, мысленно не придвинув их к "Горю от ума". Вот — противоположность, вот — расхождение; здесь опять "земля" — та "земля", которая победила Наполеона, прожила 1000 лет, сменив на себе много фасонов, и которую как величайшую ценность собирался "пахать" Лаврецкий. Сущность "ума" комедии Грибоедова заключается не только в безвнимательности к этой "земле", но и просто в непостижении о ней ничего, кроме того, что о нее "ушибся Молчалин", и тут уж, конечно, острота:

Контузился — затылком или в спину?

Комедия движется на паркете, ее беспримерно изящный словесный гиб есть именно словесная кадриль, с чудным волшебством проходимая по навощенному полу и которая оборвется, не нужна, не возможна, как только вы уберете это условие паркета под нею. То есть "ум" комедии чрезвычайно условный — местный и частный; ум, о коем никак нельзя сказать, что в нем

— дистанция огромного размера,

как это невольно хочется сказать об "уме" "Войны и мира", т. е. ее автора, Достоевского, Тургенева, и даже об "уме" и "сметке" простого мужика Алпатыча. В "Горе от ума" выразился вкус, и, так сказать, вкус исключительно мебельного, фасонно-делательного характера, своей минуты и своего места. Мужик Алпатыч живет полною жизнью; это — полный человек, полная фигура человека: напротив, в "Горе от ума" есть только чемпионы кажущегося "ума", бегущие до поставленной автором меты, причем почти все не добегают и за это осмеиваются автором, и успешно, даже раньше срока, достигает этой меты один. Таким образом, самое построение комедии чрезвычайно бедно, безжизненно и до некоторой степени, имея в виду именно любопытство зрителя или читателя, не "умно". Менует или польский, который отплясывают (и на сцене довольно красиво) москвичи, вопреки укорам Чацкого, есть единственное в ней жизненное и, так сказать, физиологическое действие.

Вообще недостаток физиологии, жизнеоборота, "круговращения сил мирских" — поразителен в пьесе. Она не основана ни на какой страсти, ни на одной привязанности. Страсть Чацкого — исключительно головная, страсть к произнесению речей и, так сказать, к тысячному надписанию на фронтоне бытия своего: "горе (мне) от ума"; но, например, его страсти к Софье мы должны поверить на слово, ибо в чем же и как она выразилась, кроме совершенно холодных ужимок во время ее обморока и гляденья в дверь, когда она выходит из гостиной? Вообще отсутствие темперамента, горячности сердца — у Чацкого или автора — по-

разительно: и тут проходит граница их обоих "ума". Подобного восклицания:

А ты, с которой был срисован
Татьяны милый идеал...
О, много, много рок отъял!

— подобного этому внезапно воскликнувшемуся у Пушкина восклицанию нет в комедии ни одного. И вообще замечательно, что в ней нет совершенно ни одного слова и никакого штриха трогательного, милого или наивного; так что параллель с Паншиным и то, что сам автор так рано и молодо дослужился до

...степеней известных,

невольно приходит на ум и, бесспорно, свидетельствует об исключительно деловых, служебных качествах его "ума", без примеси даже чуточки поэзии, "песенки" или "сказочки" в складе его способностей. "Горе от ума" есть самое непозитическое произведение в нашей литературе и какое вообще можно себе представить.

Есть или были попытки сблизить Грибоедова с декабристами, и, напр., монолог Чацкого о "французике из Бордо", где он говорит о "прекрасной нашей до Петра одежде", в самом деле соприкасается с мыслью и тоном "Исторических дум" Рыльева (см. изд. 1825 г.). Тут даже можно предполагать заимствование, т. е. Грибоедовым от Рыльева. Но опять есть глубокая между декабристами и Грибоедовым разница — в темпераменте. Известно, что очень много было в обществе 1825 года людей, которые, будучи чуть-чуть не захвачены при аресте декабристов — так близко стояли они к ним, — в действительности стали "разбирателями их дела". Грибоедова вполне можно представить в их круге; что это были люди света и добра, т. е. что, говоря так о Грибоедове, — мы не говорим о нем ничего дурного, в этом свидетелями служат имена Блудова или, напр., Никитенко; тут проходит тонкое разграничение — именно в темпераменте. В самом конце "Войны и мира" — в расхождении характеров Пьера Безухова и Николая Ростова, из коих очевидно, один ринется "к памятнику Петра I", "около сената", а второй, "упрямо и не рассуждая", станет "на сторону Аракчеева", — глубоко выражена правда обоих движений: субъективная правда группировки и "около Зимнего дворца", и "около монумента Петру". Ростов как нравственный образ не ниже Безухова; Россия не стояла бы так твердо 1000 лет и не готовилась бы стоять еще 1000 лет, и еще "паче тверже", если бы на стороне ее исторических устоев, ее фактической действительности не стояли люди безупречного сердца и великого умственного идеализма. В превосходной обрисовке Ник. Ростова — студента, улана, дворянина, мужа некрасивой и бесценно прекрасной Марии Болконской, — показана эта историческая и бытовая наша правда; до этих глубин постижения Грибоедов никогда не додумывался (ошибочный тип Скалозуба), но и до безрассудных, т. е. гениальных в безрассудстве своем, фантазий Пьера — он не дорос. Ведь тот был сын екатерининского вельможи, который

...жил при дворе,
Да при каком дворе...

— и просто у автора "Горя от ума" не было крови, не было того шампанского в нервах, которое бросило бы его "к сенату", к "монументу Петра" 14 декабря. Он резонировал бы, присматривался бы, — да ведь он и в самом деле присматривался и резонировал — "рисовал узоры пером" для будущей комедии, не поспешив ни туда, ни сюда.

В "Миллионе терзаний" Гончаров отметил неверность понимания Грибоедовым типа и характера Софьи: в самом деле, ее привязанность к Молчалину, молчащему идиоту, когда к ней привязан говорящий гений Чацкий, принадлежит положительно к бессмысленным чертам комедии, и замечательно, что она поставлена в центре, образует завязку и развязку пьесы. Гончаров тонко говорит, что Софья — в условиях времени своего и своего места — представляет новое, ценное и любопытное лицо: она вглядывается в обстановку, ее окружающую, всматривается в людей, она выбирает, а не повинуетя. В самом деле, если вспомнить каменную Елен Безухову в "Войне и мире" — Софья скромное и прекрасное явление своего времени, которое, перебирая действительность, тянется к какому-то внутреннему в человеке свету; и, расширив и углубив ее образ, мы исторически можем дотянуться до Лизы Калитиной (в "Дворянском гнезде") или Веры (в "Обрыве") и вообще подобных положительных в нашей жизни и литературе типов. Но любящий тянет за собой и любимого: Грибоедов был слишком счастлив, и притом самоуверенно-счастливым, чтобы — живи он на четверть века позднее — в скромном, например, и застенчивом Басистове, молча и благоговейно поклонявшемся Рудину, ему не показался тоже Молчалин; и он мог бы, зная любовь того к словесным наукам, предложить ему снять копию, "для образца слога", с знаменитой своей комедии. Произошло бы великое *qui pro quo*¹ между кажущимся и действительным умом.

Один Молчалин — мне не свой,
И то затем, что — деловой,

— и его любит скромная, застенчивая, затаенная в себе Софья. Вот две фундаментальные в типе черты, около которых все остальное — риторика и клевета. Так, о Сперанском, скромном преподавателе Владимирской семинарии, передавали тоже в 10-х и 20-х годах в Петербурге, что, будто бы, когда за ним приехала карета "взять его в Большой дом", то по незнанию и "молчалинской скромности" он вскочил на ее запятки. Чувство смеха над Сперанским в петербургском обществе сливается с чувством смеха Грибоедова над Молчалиным, сливается до подробностей анекдота. Молчалин — даже стыдно его защищать, до того в данном пункте силен Грибоедов, мощен талант его ошибки, принимая во внимание два прорвавшиеся у автора штриха, — есть тип начинающего невидного работника в государственном укладе, на место тех екатерининских, коим

на куртаге случалось оступиться.

¹ недоразумение (лат.).

Их ко двору не звали, во двор они не рвались, но скоро овладели всем государственным механизмом. Что-нибудь из семинаристов, упорное и тихое; третьестепенный Сперанский или третьестепенный из его помощников. Кстати, соединяющая черта: знаменитый государственный секретарь был сантиментален; он был женат на немке — случай сочетания не частый у нас — и, рано потеряв жену, никогда не полюбил во второй раз, храня какой-то культ единственной в своей жизни любви. Ведь то была пора, т. е. Сперанского и Молчалина, когда и сочиняли, и пели —

стонет сизый голубочек,

— и как-то умели это соединять с воловьей государственной работой. Мы можем предположить, что эту песню пел во Владимирской семинарии Сперанский; и, с другой стороны, мы можем дорисовать, что непонятно привязавший к себе Софью секретарь Фамусова, случись ему быть секретарем у государственного человека, мог бы написать доклад, и "слогу" и содержанию которого захотел бы подражать Грибоедов. Мы прикидываем все это примерно; говорим, что в пьесе есть какое-то недоумение в понимании своей эпохи, как на это можем указать, ссылаясь на невольную критику ее в "Войне и мире", — недоумение в понимании самых типов комедии, как на это указал Гончаров, и мы только несколько продолжаем и развиваем мысль последнего.

Исторически "Горе от ума" продолжает "Недоросль" Фонвизина; только здесь "недорослем" названо и показано все русское общество, как оно сложилось к двадцатым годам этого столетия, как оно массою осело, а не выделилось порознь высокими даровитыми лицами (критикующие декабристы; Никитенко, Блудов). В Грибоедове сказался все тот же

птенец гнезда Петрова,

какими были, от Кантемира и до него, многие, если не все, сатирики русской литературы. С Пушкина, но в особенности с 50-х годов и по сей час, вся русская литература пошла существенно по другому руслу: пробудилось уважение именно к быту, так-таки и "не доросшему" до поставленных литераторами лет, — к быту, каков он есть, — к обществу в его историческом сложении. Все героическое, в особенности все героически-говорящее, — принизилось; все общее, безличное, казавшееся "молчалинским" или "недоросшим", было приподнято к свету — "и так и этак" начало "разглядываться на свет". Ряд прозорливцев действительно удивительного "ума" начал всматриваться в эту компактную, безличную массу: и Тургенев нарисовал Чертопханова из лица, которому почему бы не показаться "недорослем"; Увара Ивановича (в "Накануне") — из лица, которого на первый бы взгляд можно счесть Скотининым; и, может быть, "Гамлета Щигровского уезда", ведь действительно забитого, действительно смешного — из лица, которое опять-таки Грибоедову показалось бы необыкновенно жалким и неосмысленным. Все показалось иначе, как только иной взгляд посмотрел на действительность. Мы упомянули об обучающем, грамотном значении комедии; но это значение, даже в самый миг ее появления, не было просвещающим,

развивающим. Сущность развития и просвещения заключается во внимании, в сомнении о себе, в пристальности к другому. "Горе от ума" бедно вниманием.

Трагический конец в Персии ее автора составляет как бы эпилог комедии — первое и единственное настоящее горе, которое испытал Грибоедов. Как ни грешно судить его в этот миг, но невозможно же не указать, что в самом деле он совершенно забыл, куда и зачем, с какими точными полномочиями приехал, и продолжал мыслить и действовать в Тегеране, как бы в Петербурге. Именно, он стал растаскивать у "долгополых" персияшек их жен — пункт именно той "земли", о "камень" которой он и в самой комедии "преткнулся ногою". Нам, с христианской точки зрения, трудно понять, что и как тут мыслят персияне: но мы знаем и Грибоедов мог знать их историю, что за подобные посягновения там всегда брат убивал брата. Хитрый Ахитовель, чтобы порвать связь возмутившегося Авессалома с отцом, дал тайный совет первому: "Войди к женам отца твоего". Правда, в Тегеране то были похищенные у грузин девушки, но на Востоке, опять со времен Давида и Вирсавии, жен вообще как-то воруют, "умыкают": обычай, который нам не может показаться особенно ужасным, если мы сопоставим и оттеним его частым у нас обыкновением "кидать", "оставлять" девушек, "бросать" и жен. Во всяком случае, тут есть особое и уже двухтысячелетнее "умоначертание". Чего, по Ахитовелеву рассуждению, не мог вынести псалмопевец и должен был возжаждать крови сына, — естественно, не могли простить "чрезвычайному послу и полномочному министру" дикие тегеране: город загоготал, пошло "кругообращение" страстей — все то, чему дано так мало места в "Горе от ума". Долгополые ринулись на здание посольства, чтобы сделать "секим башка" человеку таких высоких талантов и ума. Все было дико и ужасно в ужасный день — в этот азиатско-европейский день, где униженный, уже давно униженный Восток яростно бушевал над горсткою закинутых судьбою к нему людей. Говорят, труп убитого едва был узнан бесконечно любящей его женой. На прекрасном монументе его, в Тифлисе, вырезаны прекрасные слова, за которыми нам слышится "сказка" прекрасной и истинной любви. Сейчас мы не помним буквально этих слов: их знает всякий приблизительно и может перечить буквально в каждой из бесчисленных биографий писателя. Многозначительным в этой надписи нам представляется то, что ее трогательные слова проговорила над писателем именно та "земля", та "Ева", та суть бытия и жизни — некоторая глухота к чему составила ошибку его жизни и комедии.

4. Военно-Грузинская дорога

Главная прелесть Кавказа — не в горах; горы, пока вы не втянулись в дефиле Военно-Грузинской дороги, собственно не представляют ничего поразительного. Эти огромные горбы, стоящие на совершенно плоской равнине, возбуждают более умственного любопытства, нежели зрительного любования; не понимаешь, как и почему они произошли, но совершенно равнодушно переводишь глаз с них на окружающую равнину. К тому же они очень малы (для впечатления) по одной особенной

причине: когда вы едете в горную страну, в ваших ожиданиях вырисовываются именно горы; "горы" и "горы" — и ничего еще более, т. е. они закрывают собою все, подчиняют себе все, подавляют себе все. Вы приезжаете: и вдруг с неприятным разочарованием видите, что эти горы — лишь бугорки на необъятно раскинувшейся равнине, лишь точки, пики под синевую неба. Вы не приняли во внимание, что ведь небо не будет закрыто, не закроется и степь: а, брошенные на их масштаб, естественно, самые высокие вершины представляются точками, горбами, выпуклостями. Какое разочарование, как мало и бедно! — думал я, подъезжая к станции "Минеральные воды" и позднее уезжая с этой станции к югу, во Владикавказ. Вот — Машук, Железная гора, Змеиная; вот, наконец, Бештау, упоминаемая в географии как одна из вершин Кавказского хребта. Я ее всю вижу, охватываю от края до края глазом; где же тут бесконечность, неотделимая от понятия красоты, и именно удивляющей или поражающей красоты? Какое нищенство!

Повторяю, все это изменяется, когда вы втягиваетесь в горы и начинаете с них смотреть вниз. Но я упомяну о том, что уже ранее поражает вас необыкновенною красотой и сразу делает для вас Кавказ волшебнo-прекрасным, с чем никогда бы не расстался: это — горные речки. По приезде в Кисловодск я несколько ночей не спал и не хотел спать: прямо под окнами гостиницы, т. е. под окнами моей комнаты, пробежала речка; ее вечный шум — это какая-то вечная жизнь. Единственная музыка, которую не хочешь остановить, потому что знаешь, что она никому не причиняет усталости. В говоре струй ее есть варианты; именно жизнь и движение — в однообразии; вечное, но без монотонности, как, в сущности, монотонен всякий вид, всякое зрительное остановившееся впечатление. Этот шум сообщает вам самим необыкновенное воодушевление; вы входите в комнату и, вместо того чтобы лечь и заснуть, — рассмеиваетесь и приказываете подать самовар. Я не буду один: у меня есть диалог, в котором другой будет говорить, и я буду тоже говорить — без слов, без усилия, одним умом. И когда в этих дремлющих речах вы припоминаете, что ручей этот — прашур Ноя и его Ковчега, что он не умолкнет, когда умолкнет не только ваша грудь, но и все ваши родичи, быть может, вся империя, в которой вы живете, — вы в дреме речей как бы сливаетесь с вечностью. Маленький ручеек становится предметом необыкновенного вашего почтения: это — дитя по величине, дед — по возрасту. Если бы, как у Поликрата, у меня был дорогой перстень или много перстней, — один из них я бросил бы в дар говорящим волнам.

Такой ручеек-речка все время бежит или прямо под ногами лошадей, или где-то в стороне, когда вы совершаете небольшую горную прогулку. Здесь варианты речей возрастают: ручей ревет, пугает лошадей, когда они едва цепляются копытами за кремнистый его берег; но вот он становится глуше, тише: это — деликатный рокот, который вас убаюкивает. Вы едете, положим, в "Замок коварства" (гора, очень напоминающая очертаниями руины замка) — и как будто не одни: с вами, за вами, то впереди вас бежит неутомимая и вечная речка. Вы повернули за гору — вот она; или повернулись — и она осталась, отстала. Она обгоняет, вы ли обгоняете: во всяком случае — вы не одни, вы вместе с кем-то, друг около друга — с вечно живым существом. Наши спокойные реки

Севера, и притом реки, а не ручьи-речки, не могут дать об этом никакого представления; на Волге или на Свияге (Симбирской губернии, маленькая речка) — вы чувствуете, что не с вами речка, а — вы с речкой: она есть постоянное условие, вы — временное; вы пришли и ушли — и она как-то пассивно подставила вам свое лоно; претерпела вас или претерпевает: тут нет обоюдности; нет личного; нет игры, шалости и милой поэзии.

Отдельно стоящие горные пики если имеют какую-нибудь красоту, то не очертаниями своими, но этою же вечною жизнью, какую им сообщают облачки. Каждый пик, если он высок и когда день не знойно сух, имеет около себя облачко; оно — переваливается через него, как-то ползет по боку, достигает вершины и, переваливаясь на ту сторону, опять начинает сползать. Есть, без сомнения, притяжение, специально горное притяжение, которое овладевает и держит около себя прозрачно-легкую дымку этих мириад воздушных пузырьков, составляющих собою облака. Вы видите совершенно отчетливо, как, подходя к горе, туча спускается, начинает лизать ее туманами и, наконец, ложится на нее грудью: грудь ее ниже, чем бока, чем перед, зад, которые, едва переступив гору, снова загиваются кверху. Если полдень — облако переползет; если к вечеру — оно свивается в клубок и заночевывает на пике. Кстати: кавказская белая или серая папаха (низкая и широкая мохнатая шапка) в неотделимой связи с кринолино-образной буркою есть копия этого постоянного и характерного для Кавказа вида горы и облачка. В первый раз, когда в дождливое неприятное утро я увидел несколько туземных верховых фигур в этом традиционном костюме, тут же обернувшись на Лысую гору, я воскликнул: "Это одно и то же". Один очерк, один тип, один художественный мазок у природы и ее подражателя — человека.

На переезде от станции Минеральных вод до Владикавказа я впервые убедился, что окружающие Пятигорск горы в самом деле высоки. Они не скрываются за горизонт, не уходят под землю: они исчезают, перестают быть видны лишь за толщею воздуха. Поезд мчится к югу; вы оглядываетесь и при особенно счастливом падении солнечных лучей вдруг схватываете весь полный (до основания) очерк двугорбого Бештау; на фоне голубого неба он вырезывается кромочкью чуть-чуть более темного, но неба же. Не было бы сомнения, что это — далекое облачко или просто отлив неба, если бы не давно знакомое вам очертание. Вы смотрите внимательнее, и небо расчлняется перед вами на громадные куски как бы вставленной в него мозаики; мозаики небесной же, одноцветной с общим фоном и только чуть-чуть потемнее. Это — горы. Наконец, они сливаются совершенно с горизонтом, перестают вовсе быть видимыми: воздух одолел и поглотил, затушевал мозаику. Вы обертываетесь на запад, где уже давно видите зубурины облаков: привычным теперь взглядом вы отгадываете, что это главный Кавказский хребет, все время остающийся вправо от бегущего поезда.

Из Владикавказа он виден сейчас же за Терekom. Я вышел на мост, за которым начинается знаменитая дорога. Вид гор здесь совершенно иной, нежели около минеральной группы. Если, набрав полный рот дыма (табачного) и плотно прижав губы к рукаву сюртука, вы пустите его в сукно, то затем вы будете минуту или две видеть довольно

красивое зрелище как бы дымящегося сукна — сукна, из каждой поры которого лезет дым и не отлетает, а тут же стелется. Отношение облаков к горам чрезвычайно правильно выражается этим отношением дыма к сукну: они лезут как будто из гор, или — лазеют по горам. Над вами, над городом, по сю сторону деревянного небольшого моста — голубое небо; но по ту сторону шумливой и грязной речки начинается что-то зубчатое: огромные, по горизонту в бесконечность раздавшиеся зазубрины, увитые, повитые, насыщенные мглой этого темного дыма. Другой мир; там — все новое: темная, таинственная неизведанность, покрытая пологом, — таково впечатление горной цепи из Владикавказа. Еще особенность: до сих пор, да и вообще везде, всегда — вы видите небо, т. е., пожалуй, небо вас видит. Это сообщает чувство ясности, открытости, пожалуй, — честности вам: "Я — не вор", "мы — не воруем", да и "нельзя воровать" под всевидящим, все освещающим оком солнца. Закутанность горного Кавказа именно срезывает это впечатление ясности и отчетливости в отношении кверху (небу); мы — под пологом, т. е. завтра я введу прямо дышлом экипажа в это облако; там — тайна, и все возможно, между прочим, и даже особенно — преступление. Впечатление, что вы вступаете в мир случайного и преступного, укутанного, кутающегося от солнца, глубокою и резкою чертою отделенного от подсолнечных, поднебесных стран, — не оставляет вас все время, когда вы смотрите на эти характерно подоблачные, даже внутрь облачные места. Что горец вечно вооружен, что он всегда при шашке и кинжале, что он любит коня своего и, так сказать, цепляется за его сильные ноги, как за невесту, — это, мне думается, не только обстоятельство времени, условие когда-то дикого быта: это — условие и, так сказать, психика самой природы.

Но вот это "завтра" настало; в первый раз я услышал резкий крик рожка кондуктора; семь часов утра, и громадный экипаж, под которым чудо что мост держится, въезжает на Терский мост; кондуктор кричит в рожок (дудит), чтобы все экипажи, возы, арбы убирались в сторону с дороги. Едет — "казна", едет — "Российская империя", и обыватели в страхе, пятась на своих волах, должны отдавать шапку. Еще бы: ведь "казна" и дорожку пробила

...через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы.

Ну, пристало ли, ну, не дико ли среди красот Военно-Грузинской дороги думать о чиновниках, чиновничестве? вот подите же! — неотстанно думал, и впервые, грешный человек, именно на этой чудной дороге я подумал с уважением о чиновнике.

"Тебе дан был окрик остановиться: куда ты лезешь?.." — это какие-то зеленые лацканы несносно грубо кричат оправдывающемуся и испуганному кондуктору. Терек, около Ларса, на повороте, совсем подмыл скалу. Все пассажиры вышли, и за ними проследовал с одною кладью экипаж. Сверху (с дороги) ничего не было заметно, и кондуктор смело ехал на толпу копошившихся рабочих-осетин, что-то отламывавших ломами и кирками в каменной стене.

Какая дисциплина! "Кондуктор ничего не видел". Ему не нужно видеть: он должен повиноваться тому, кто видит. Вот суть государства. Но это — только черточка, секундный эпизод на громадной дороге. Уже назавтра, проезжая чудным спуском по ту сторону хребта, в пять часов утра я видел всюду осетин и другую туземную рухлядь, аккуратно сметавших пыль в правильно расположенные кучки, совершенно как у нас, на Невском, где всякое невежество лошади аккуратно подбирается человеком с метелкой и ящиком. Пять часов утра: как хочется спать! Но никто не спит, и, хоть не едет никакой ревизии, — каждый стоит с метелкой, заступом, киркой, ломом и исполняет маленькое и необходимое свое дело: полнота этих исполненных дел и создает два дня покоя, роскоши, художества там, где некогда проходило две недели муки, опасности, риска и, наконец, прямо, местами и днями, невозможности. Около Гудаура, ниже нашего экипажа, лежали на совершенно плоских местах длинные полосы снега, прикрытые пленкой летящей с дороги пыли; и окрест взлизы гор, морщины гор всюду сияют яркой, ослепительной, девственною белизной. Холодно, приятно холодно, без стужи; 22 июля, и широта Милана или даже Флоренции; мы едем на высоте вечного снега, через непроходимейший в Европе горный хребет — с удобством, комфортом, поэзией, как бы из Москвы в Петровский парк к вечернему чаю.

Какие же гиганты это сделали? консулы? проконсулы? Это сделали смиреннейшие люди, "Максимы Максимычи" и отчасти "Акакии Акакиевичи", из коих каждый до корня волос боялся огорчить своего начальника, с подобострастием смотрел ему в глаза, бросался "по мановению" выполнить каждое "предназначение" и цеплялся, изо всех сил цеплялся за (так осмеянное) "20-е число". Нет — это сила; пусть не красота, не страусовое перо в шляпе, не Поза или Гамлет, и ни про кого из них нельзя повторить стих Офелии:

Моего вы знали ль друга?
Он был бравый молодец;
В белых перьях, статный воин,
Первый Дании боец...

Но эта ужасная проза жизни, которую мы называем чиновничеством, необходима для выполнения ужаснейшей же и совершенно неизбежной прозы, чтобы у каждого обывателя был своевременно вытерт нос. Обыватель мечтает, он пишет стихи, философствует. Было бы не только неудобно, но и совершенно невозможно жить, если бы этим рассеянным Гамлетам и маркизам Поза некто смиренный и непритязательный от времени до времени не вытирал носа и вообще около них, для них, вокруг них не устраивал некоторого комфорта элементарного бытия. Смирненную, невидную, серую роль, без монументов и стихов, и берет на себя государство в том некрасивом чиновническом сложении, какое более и более в нем начинает преобладать. Оно не великолепно; на нем нет тог, все болтаются, на ком "Станислав", на ком "Анна", и, главное, — трепет, трепет: не

страх, что будет там? —

т. е. за гробом, перед чем смущался Гамлет, но что будет "там" — в "директорском кабинете", куда зовут, и еще не ясно, за каким делом

зовут. Чиновничество есть сфера совершенного забвения "иного мира" — Бога, религии; это есть не только проза, но и величайшая плоскость души человеческой, сведение ее от вершины и до глубины к смиреннейшей заботе и смиреннейшим созерцаниям: сделано ли это "вверенное мне дело" и "как отнесутся их п-во". Да, и эта плоскость душевная необходима на земле, как между Азией и Европой — Военно-Грузинская дорога.

Я давно прислушиваюсь к странному переименованию, которое наш народ постоянно дает "государству", — "казна". Нет иных у него политических терминов, и, очевидно, нет иных политических представлений. "Казна выдаст", "казна поможет", "казенная дорога", "казенное заведение". "Матушка-казна" — так и хочется закончить терминологию. Здесь выражено понятие о необъятной и несколько безличной, незрячей мощи: "матушка-казна" — это такая же материя, глыба в людских делах, по отношению к человеку, что "мать-сыра земля" по отношению к живому миру, к травкам и мотылькам, ее обитающим. Глыба, идея же "духа" "не бе", но без которой и вне которой духу как-то не для чего было бы витать, не над чем витать, пожалуй, — не из чего вылететь. "Казне" нельзя противиться; "казну" нельзя отрицать; "казну" надо почитать, как батюшку с матушкой; опасно почитать и совестливо. "Казна" кружев не плетет, а растит лен, из коего все кружева. Она темна "душою"; за "душою" она идет к попу, как и каждый из нас, — не очень понимая, что он говорит и почему говорит; доверяясь на слово и покоряясь авторитету. Вот граница государства; вот его сущность: темное, неразумное, но в высокой степени почтенное. И оно совершенно гармонирует с поэзией ли, с философией ли, как только не впутывается в их область. Она дает Военно-Грузинскую дорогу — вы можете изучать ледники Казбека или писать "Героя нашего времени". Геолог, не останавившийся перед шлагбаумом и не уплативший 3 рубля шоссеного сбора, — есть виновный, есть наказуемый для "незрячей казны", — и Гумбольдт, если б ему случилось быть этим оштрафованным геологом, должен почтительно просидеть свой день на гауптвахте. Я беру пример и указываю, что в грубообщей сфере своей государство всегда право, всегда свято, — и его гауптвахта столь же непререкаема для обывателя, как для самого государства должны быть непререкаемы, не касаемы, обожаемы красоты "Героя нашего времени" или выводы "Космоса". Два мира; две совершенно различные области; и между ними, т. е. между кратким и приказывающим чиновничеством и между сложным и эластичным обывателем, возможна, при понимании, не только гармония, но и любовь.

Дарьяльское ущелье мне не показалось самой красивой частью Военно-Грузинской дороги: вид гор — дик и прекрасен, но Терек, тут же под ногами грязно плещущийся, мешает впечатлению. Нет пространства, простора, воздушных перспектив — вниз; вы не висите в воздухе — необходимое условие горной красоты. Правда, я ехал в совершенно тихую погоду — и нужно знать Кавказ, чтобы понимать, что после дождей, в бурную осень, тот же скучно бегущий Терек может превратиться в нечто неопишваемое. Я помню почти перепуг жильцов нашей гостиницы в Кисловодке: все бросились к окнам, кто на двор, — в каком-то страхе, что вот-вот гостиницу или часть стены ее снесет. Посмотрев в окно, я не

узнал Ольховки, маленькой и мелкой речки, почти ручья: прошел дождь, краткий и не очень заметный, — ручей поднялся на несколько аршин, он превратился в реку, сжатую в берегах; с гор принесло стволы ли, камня ли, но только перед самой гостиницею образовался моментально порог, и с невыразимой силой, неопикуемой яростью река ударялась в него, всплескивалась кверху и точно кувала сверху препятствие, которого не могла прорвать сбоку. Через 6—8 часов она бежала совершенно тихо, как игривая барышня после романтической бури. Но буря эта есть истинная буря, пугающая; и если такова была Ольховка в Кисловодске после 1—2 часов обычного на юге ливня, то можно представить себе Терек в октябре, в бурную ночь. Конечно, он должен пугать путника. Я же смотрел на него, в тихий июльский день, с недоумением и презрением: никакой силы движения, а главное — так близко, тут же, и эта невыразимая загрязненность воды. Точно огромная прачка где-то из огромного корыта сливает ненужную воду по ложине — и она шумит перед вами отвратительно лужей. Истинную красоту в этом роде я увидел позже. Пока были прекрасны изломы гор: нет сомнения, что они все произошли от бокового давления. Как будто гигантской рукой наложены были каменные доски — и вот несколько вертикальных ударов сломали их, как через колено лучину, и в то же время гигантское боковое сжатие выпятило углы изломов кверху, книзу. Справа, где лепится шоссе, вы и видите этот переломанный, цветной, каменный тес. Мощь силы, сломавшей горы, и составляет их красоту: мощь перелома, мощь сжатия. Неба видно только полоса над ущельем; все — тесно, душно. И вот здесь вы впервые познаете красоту горной страны. В то же время, по ту сторону Терека, над ущельем выбегают, иногда на огромной вышине, какие-то острые, трехгранные груди гор: точно — птичья грудь, и самая вершина, как вытянутая голова птицы, висит над рекой. Это — изящно, мощно, воздушно.

“Вот отсюда можно видеть Казбек”, — обернулся с козел кондуктор.

Это был молодой армянин — сперва принятый мною, по худобе в теле и вооружению, за горца или грузина. Первый раз я наблюдал армянина не за прилавком. Он был жив, смышлен, чрезвычайно деликатен и, видимо, не желал, чтобы мы пропустили какой-нибудь замечательный вид на дороге.

Экипаж сделал несколько шагов, справа открылась лощина, — и вот на темно-голубом фоне неба, имея ковер трав под собою, вдруг вырезалась сахарная головка Казбека. Более прекрасного, более изумляющего зрелища природы я не видел. Пыль, жар. Лето на небе, лето на земле. И между этим летом и летом, разрезая их, — зима. Чудная феерическая зима: снег широким конусом спадает прямо в зелень лугов и лесов; сверху — опять ни тумана, ни ниточки: снега выпятились прямо в купу летних лучей, под зной солнца, и их сахарная белизна так ослепительно очерчена, вычерчена по небосклону. До них верст 11—16, но, как и всегда, в горах — расстояние скрадено, и Казбек прямо перед вами, вот сейчас за лощиной, куда бы, кажется, добежал, если б лошади подождали. Конус совершенно правилен, и его преимущество перед видом со станции Казбек, где он видится под несколько иным углом, — в том, что здесь снега не разрываются и не портятся черными пятнами, т. е. вертикальными падениями скал, где снег не держится. Снежная голова,

трехгранная, т. е. равного протяжения в основании, как и с боков, — и полог неба, постель лугов. Незабываемо, единственно, трудно выразимо. Есть проза — и вдруг она прервана волшебным стихотворением: такое стихотворение природы и испытывает, прочитывает человек в данной точке.

"Сегодня первый раз за лето виден отсюда. Все был закрыт облаками".

Действительно, день стоял знойно-сухой.

Удивительная сторона Военно-Грузинской дороги заключается в совершенном отсутствии чувства подъема: вы совершенно не понимаете, зачем на этой станции подпрягли двух лошадей, там — четырех. Подъемов нигде нет больших, чем в Москве на некоторых улицах, и даже можно наверное сказать, что подъем (в Москве) от угла Сретенки — в направлении к Николаевскому вокзалу — круче, чем какой-либо кусок Военно-Грузинской дороги. Прибавьте к этому, что экипаж нигде не качнется и не накренится на сторону, как решительно на каждой из наших уездных дорог, — и вы поймете, что только увеличивающийся холодок или холодок спадающий показывает вам, где вы находитесь. Вот прошел Гудаур; вы проехали мимо нескольких туннелей, через которые экипажи следуют зимою, во время снежных насыпей, и проехали одним летним туннелем, под непрерывно грозящими паденьем камнями. "Крестовый перевал"; "вот тут — отдыхал Ермолов". Почти плоскость; лишних лошадей куда-то убрали; и начинается — на мое ощущение — самая красивая часть дороги.

Это — спуск в Азию: змеиная нить шоссе перед станцією Млеты. Вы на вершине Кавказа, т. е. сейчас перед вами вдруг открывается воздушная перспектива вниз — та именно главная красота гор, которой недоставало ранее при вечных поворотах Терской долины. И внизу, на головокружительной высоте, на дне страшной продольной пропасти, бежит пенистая лента Арагвы. Арагва — чиста, в отличие от большинства горных рек, без сомнения, по причине кремнистого русла. Быстрое движение экипажа; что-то веселое, какое-то счастье, но которое растягивается на часы; бездна воздуха; стремнины сзади, все возрастающие по мере того, как бегут минуты, — а главное, главное: стремнина вниз, сейчас же о бок с колесами экипажа, на тысячи футов. Все это сообщает езде характер воздушного движения, как бы вы чертите по каменной стене и соскальзываете почти по спирали книзу. Ничего сурового; да и не нужно сурового; вы так радостно приветствуете Азию: новая часть света, наконец — не Европа. Уже завтра, на утре, я увидел верблюдо, бегущего по дороге, — так, an und für sich, "в себе и для себя" бегущего. Боже, я выпустил бы на свободу всех запряженных верблюдов, по крайней мере всех из Зоологического сада: так этот один был хорош. Кондуктор ослабил впечатление, сказав, что это стационарный, сбежавший верблюд; но он бежал легко, как-то выгибая ноги, то вытягивая, то сокращая шею, — и эти странные горбы! Встречные арбы тянулись уже буйволами: сжатая голова, прижатые к ней рога — книзу, а не вбок изогнутые. Все — новое: "новый свет", по крайней мере для природного костромича и вечного северянина.

О ПИСАТЕЛЯХ И ПИСАТЕЛЬСТВЕ

(Заметки и наброски)

В № 35 "Нивы" за 1898 г. приложен снимок с бюста гр. Л. Толстого, выполненного И. Я. Гинцбургом, и тут же в маленькой статье объяснено, что 28 августа этого года автору "Войны и мира" минуло 70 лет. Бюст замечательно хорош; скульптура тем совершеннее и выше живописи, что схватывает и выражает идею предмета (или вещи), а не ее состояния; не штрихи в ней или сбегаящие и набегающие тени. Живописец берет вещь в ее целостности; имея серию красок, а главное — такой тонкости переливов, и имея такое послушное орудие в руках, как кисть, — он рисует не только лицо; но и пылинку, которая села на это лицо и о которой он не знает, принадлежит ли она лицу или внешней природе. Скульптор беден средствами, это монотонный мрамор или монотонная бронза; самое орудие его, резец, не так послушен: нужно усилие, чтобы выдать черту. Ваятель сосредоточивается, напрягается; уловив одно и главное — он разливает это на все подробности предмета, и мы получаем его мысль, как бы окаменевшую в веках и для веков.

Много есть прекрасных лиц в русской литературе, увитых и повитых задумчивостью. Лица Тютчева, Тургенева, Островского не только выразительны и полны мыслью, но они как бы договаривают вам недоговоренное в "полном собрании сочинений". Самая, напр., поза Тютчева, со сложенными на груди руками, как бы сообщает ему вид уставшего и задумавшегося после разговора человека; в Тургеневе, за писателем, вы так и чувствуете помещика, любителя пострелять куликов или вечером у камина, после охоты — что-нибудь рассказать. Быт, манера, воспитание, привычка — все это, как-то одухотворившись, бросило свою черту на лицо, и последнее получило ту сложность и глубину, которую вы никак не покроете кратким и оголенным, в сущности, одичалым термином: "интеллигентный". Тургенев — "интеллигентный человек", у Тютчева — "интеллигентное" лицо: какая профанация! "Интеллигентность" это, правда, нечто "духовное"; но это — бедно-духовное; это — бедность именно в самом духовном, какое-то умственное мещанство, начинающаяся "барковщина" в поэзии. Но мы отвлеклись. При взгляде на бюст Гинцбурга невольно подумаешь: именно такого прекрасного лица еще не рождала русская литература. Коренное русское лицо, доведенное до апогея выразительности и силы; наша родная деревня, вдруг возросшая до широты и мер Рима. Конечно, — как прообраз, как штрих, коему через немного лет сбегать в могилу, укрыться стыдливо под землю, как преждевременному еще явлению; но если когда-нибудь

настанет время (если только оно настанет), что русский голос заговорит миру, — то по этим прекрасным чертам мы можем приблизительно догадываться, какое будет, как сложится, как выразится это грядущее и русское, и одновременно уже мировое лицо. И в самом деле: в нем есть все черты исторической многозначительности и устойчивости; и вместе это — будничное-сегодняшнее лицо, какое я могу встретить, выйдя на улицу. Это "наш Иван", "наш Петр" — мужики, с коими мы ежедневно говорим; но, поставленное между лицами Сократа, Лютера, Микель-Анджело, оно бы не нарушило единства и общности падающего от них впечатления; совсем напротив. Тогда как, например, лицо Тургенева или Островского — нарушило бы; это — слишком частные и дробные лица, не отстоявшиеся в тишь и величие истории.

Такое лицо надо "заслужить", его можно только "выработать". Вообще, кто любит человека, не может не любить лица человеческого, "лицо" у себя под старость мы "выслуживаем", как солдаты — "география". В лице — вся правда жизни; замечательно, что нельзя "сделать" у себя лицо, и, если вы очень будете усиливаться перед зеркалом, "простодушное" человечество все-таки определит вас "подлецом". Лицо есть правда жизненного труда именно в скрытой, а не явной его части: это как бы навигаторская карта, но по которой уже совершилось мореплавание, а не предстоит. Сумма мотивов, замыслов; не одного осуществленного, но и брошенного в корзину. У Толстого — истинно прекрасное лицо, мудрое, возвышенное; и по нему русское общество может гадать и довериться, что он знал заблуждение, но непорочное, так сказать, в мотиве своем, в замысле. Это лицо чистого и благожелательного человека, и "да будет благословенно имя Господне" за все и о всем, что он совершил.

Мы упомянули о мотивах. Высокопечальны все-таки для православного и русского уклонения его последних лет, но тут жестокость негодования нашего должна притупиться о незнании именно всей полноты его мотивов. Левин (в "Ан. Кар.") женится — и как тревожна его исповедь; какой диалог (по поучительности) между священником и философом; какое обаятельное лицо священника и сколько седины в его простом недоумении-вопросе кающемся:

— "Без веры в Бога, как вы будете воспитывать детей?"

В последующих главах романа приведены отрывки из чина венчания; Долли и Левин — слушают и улыбаются. У Толстого была кроткая полоса в отношениях к церкви, он брел — некоторое время, и, очевидно, издавна (см. его "Юность" и там тоже радостное исповедание кн. Нехлюдова) до очень поздних лет — как безмолвная овца в церковном научении; но что-то случилось, чего мы не знаем; ведь мы не знаем начатых и неконченных его работ, не слушали его бесед с людьми, не сливались с его зорким и пытливым взглядом, когда он наблюдал то и это. Удивительно много может значить лицо человека в образовании наших убеждений; можно стать не только истовым православным, но и фанатичным, даже до пролития крови, увидав (и подсмотрев) свет душевный в приходском священнике. Я собственно верую именно только этому священнику и в этого священника; но мне так хорошо в этой вере, около его светлой и живой души, что я говорю: "И умру со всем тем и за все то, что есть в этом священнике и за что стоит этот священник". Эта,

казалось бы, странная вера — есть, в сущности, очень живая и глубокая: мы доходим до Бога через человека; за человеком, понутив голову свою, во всей знаменитости своей бредем — за смирением и красотой человеческой. "Вместе" идем к Богу — так выходит; и, может быть, сущность церкви основывается не на догматической солидарности, но на этом как бы чтении лика Божия, отраженного в лице человеческом, "в брате моем", "чистейшем, нежели я". Толстой мог быть так несчастен, что около себя, или как и где-нибудь, он усмотрел неблагообразие человеческое, именно "пастырское" — что-нибудь притворное или непоправимо-равнодушное: и догматическая солидарность с церковью рухнула, не найдя почвы в солидарности человеческой. Да ведь и в самом деле церковь — не *summa regulorum*¹, а море лиц и совестей; он был оттолкнут от лица и потерял связь с церковью. Повторяем, это не так мелко, не так глупо, и, обернувшись на историю своих убеждений, твердейшие из нас, быть может, найдут, что это есть собственно история человеческих привязанностей, привязанностей к человеку, к лицам и уже за ними — к концепциям философским и религиозным. Да и хорошо это: иначе человеку пришлось бы ведь только читать "догматы" и "критику", и истории — превратиться в "кабинет для чтения". Очень скучно.

Мы мотивов Толстого не знаем; во всяком случае к исторической России, даже к "православной" России автор "Войны и мира" пережил такую нежнейшую детски чистую и упорную (в 60-е годы!) привязанность, до зарождения какой в себе миллионы из нас не доросли. Он любил ее серую любовью солдата, "казака" на Кавказе, обыкновенного русского крепостного мужика. Ведь от старосты Дрона до двух братьев, офицера и прапорщика, которые спрашивают друг у друга о "родительских" деньгах (т. е. у меньшего старший — не потерял ли, не растерял ли, не растратил ли он денег, в "Севастоп. рассказах") перед тем как назавтра умереть за отечество, — все это было понятно Толстому, т. е. все это прошло страданием и любовью через его сердце. Вот почему за "нигилизм" (теперешних дней) очень трудно судить Толстого: не знаем мы всего, не о всем догадываемся, даже просто многого не видели, "не побывав в его коже". Мы можем негодовать — это наше право, как православных, как русских; мы можем говорить самые резкие вещи по его адресу, но с осторожной памятью: "может быть, все это — ужасная ошибка". Во всяком случае, в укладе русского бытия, как оно есть сейчас, мы — дробь, частица, с частичным же и дробным пониманием, а он более нас всех приближается к целому и целостному же постижению вещей. Притом он так много дал России, что, видя даже положительно злое или безумное, что стал бы творить этот "старый Лир", мы можем — из деликатности, из благодарности, даже просто из осторожности — только произнести с Иовом: "Да будет благословенно имя Господне; Ты — дал, Ты и взял", т. е. в дарах Толстого есть столько печати Божией, печати "даров Духа святого" — что, прияв благое от них, мы можем и должны перенести около этого благого и вредное.

В поздних своих писаниях он впал в бедные и скудные опыты новых построений. Нельзя не отметить, что тогда как в "Войне и мире",

¹ свод правил (лат.).

в "Анне Карениной", в "Севастопольских рассказах" он — может быть, незаметно для себя — являлся религиознейшим писателем, заставив всех самым способом изображения почувствовать в жизни что-то трансцендентно-неясное, высокое, могущественное и праведное, — его катехизические опыты последних лет — это сгущенное богословие — бедны собственно религиозным элементом, сухо рациональны, этичны и иногда даже просто диетичны, т. е. сводят религию к правилам опрятного и жалостливого поведения. Где же тут Бог — как в битвах при Аустерлице и Бородине? Судьба — как в неравенстве доль Наташи и Сони ("Война и мир")? Вмешательство иного мира в наши действия — как сны-предчувствия Вронского и Анны? или Немезида, которая тяготеет над Карениной? И в самом авторе — где преклонение перед неисповедимым? Все сужено: и вместо мира, таинственного и пугающего, мира огромного — мы вступаем в келью-кабинет крайне понятного устройства, где нам показывают узоры новых умственных комбинаций, опять крайне понятных, т. е. существенно не религиозных.

Еще хуже, нежели "догматическая" сторона его книжек, их моральная сторона: это вечное "воскресение" — купца ли на "Никите", "Никиты" ли — под купцом, и вероятное "воскресение" Нехлюдова в начавшемся в "Ниве" "Воскресении". Столько "воскресших", а все так плохо в сей "юдоли скорби и греха", и плохо, по-видимому, на душе и у самого автора. Не живые это воскресения; не простые воскресения. Автор, не замечая сам того, пишет примеры на поэтическую тему: холодные, педагогические, почти немецкого сложения (не от этого ли такая *понятность* и популярность Толстого на Западе?) — после которых у читателя руки сложились бы крестом на груди и глаза поднялись к небу. Не поднимаются. И "мир любодейный и жестоковыйный" сильнее и как-то *правдивее* этих ему укоров и его подталкиваний. Да, в "грехе" и "смраде" мир силен и как-то *прав*. In ge¹ и "грех" и "покаяние" сплетаются у него в могучее кровавое вервие, до которого куда же всем этим типографическим увещаниям... И вот мы невольно вспоминаем кровавогрешную и *действенную* Библию: какое отсутствие пиэтизма! Как дерзок ответ Каина Богу, но Бог победил. Какие преступления, что за чудовищность в них; но книга победила, изумительным светом она прорезала и рассеяла человеческую ложь и *лживость*, почти главного и могущественнейшего человеческого врага, и человечество воскреснуло: "Вот — святая книга!", "Вот — святая правда о нас и Боге". Пиэтизм — начало лжи в самой вере; это — ложь, проникшая в самое запретное для нее место: в молитву. Человек молится — и чуть-чуть лжет; колена натрудились, да уж и голова ничего не думает, но человек все еще не встает с колен: отчасти "для примера", но тоже и "по собственному долгу". Этот кончик уже холодной молитвы, думается, все портит перед Богом; а на земле суммации таких кончиков породили необозримое зло лицемерствования в самом нежном и субъективном, в самом необходимом для человека — в сплетении его с Богом.

Еще слабее собственно моральная, морализующая сторона его маленьких новых книжек. Это — Шекспир, вдруг поселившийся в имени

¹ В действительности (*лат.*).

Коробочки и начавший продолжать ее хлопотливое устройство. Он ходит, как Коробочка; он говорит, как Коробочка. Коробочка так благочестива. "Приживальщик" в "Кошмаре Ивана Федоровича" ("Бр. Карамазовы") говорит юному нигилисту, несколько скучающему собою и как бы в *pendant*¹ к его скуке: "Вековечная мечта моя — это воплотиться в семипудовую купчиху и начать свечки ставить. Всю бы надзвездную жизнь и там почести, чины (ибо ведь и у нас есть чины) отдал за это", поясняет единственно реальный в целой всемирной литературе бес. Гений тяготит. Гений — бремя. Земная оболочка трещит и лопается, и бедный человек, которому случится быть Шекспиром или Толстым, хватается за голову, сжимает сердце, бежит к Коробочке — под ее покров "простоты", "смирения", "посредственности". Коробочка, никогда не воображавшая для себя такой исторической миссии, завертывает сальный фартук, который она не успела переменить после посещения Чичикова, и кутает в него пылающую голову. "Вот теперь мне хорошо", — говорит Толстой. "Я — смирился". Из-под фартука доносится: "Смиритесь и вы", "Упроститесь и вы". Просты. Смирны. Холодны. Мы — *растушие, дорастающие*, в нас и без того *мало сил* и... до Коробочки ли поэтому нам? Мы ищем *гигантства* Толстого, как он — нашей *малости*.

* * *

"Мрак и ночь, печаль и скорбь — во мне и окрест меня; никаких путей, все концы потеряны.

Будем любить друг друга, это одно остается нам, бедным...

Все-таки это какой-нибудь свет, или по крайней мере это — замена истинного света. Это еще согревает или может согреть нас на срок недолгой, нам и понятной и непонятной жизни. За ее чертой — молчанье".

Таков смысл "Хозяина и работника" Толстого; да и его ли только? Не смысл ли это всей его деятельности еще от "Анны Карениной"? Не эта ли нота звучит в "Чем люди живы" — положительно; во "Власти тьмы", "Плодах просвещения", "Смерти Ивана Ильича", "Крейцеровой сонате" — отрицательно? "Чем люди живы — чем они не живы": в эти две формулы укладывается смысл и его художественного творчества за последние годы, и его публицистики и философии.

Великий ум, обгятый еще более великой тьмой; эта тьма — тьма нашей жизни: в ней мы виновны — я, он, *десятый, сотый*... Поистине, каждое обвинение, какое мы хотели бы бросить в Толстого, падает обратно на наши головы. Ведь это мы — безверны, лукавы, холодны... он так же безверен, но уже не лукав, не холоден, не двоедушен, как мы. Оттаивающий полутруп, полуживой человек, могущий проснуться и в тот мир, и в этот, — вот имя нашего общества, определение исторического нашего момента...

"Будем любить друг друга"... Да, но при свете этой любви будем искать истины вечной, откуда течет самая любовь.

¹ под статью (*фр.*).

Имя кн. Мещерского и его орган "Гражданин" окружены в нашей литературе зоною непреодолимого предубеждения. Poleмика, которая против него велась в течение четверти века всеми почти органами печати, не исключая и консервативных, к составу которых он принадлежит, всегда велась в презрительно-насмешливым тоне и никогда в тоне уважительном и страдном. Писатели, в конце концов, великие ловцы сердец человеческих. Они могут, если какая-нибудь причина объединит их, непоправимо погубить репутацию человека, ни на что определенное не указывая, ничего определенного не доказывая, ни в чем определенном даже не обвиняя: погубить просто способом шутить, манерой отношения, манерой уклонения от всякой полемики. Они окружают избранную жертву поясом пренебрежения или нерасположенности, через который никакой робкий, а иногда даже и очень мужественный человек не решится переступить. Что такое сделал Булгарин? сжег ли он новый храм Дианы Ефесской, как древний Герострат? Нет, но он сделал хуже, или, точнее, с ним сделалось худшее: Белинский, постоянно называя его, никогда не называл иначе как "сам Фаддей Венедиктович Булгарин", и Пушкин в одной эпиграмме поместил стих:

иль на Булгарина наступишь, ---

т. е. наступишь на сочинения Булгарина, которые, среди прочего сора, валяются на полу книжных лавок, если зайдешь, напр., к Смирдину. И ничего больше, ничего еще, т. е. *определенного, доказанного, ставшего общеизвестным*. И вот, таково значение этих кратких, но как-то *удавшихся* в истории слов, что хотя вы ничего фактического о Булгарине не знаете, хотя вы знаете даже из писем Грибоедова, автора "Горя от ума", что Булгарин был ему почему-то интимным другом и он, посылая ему рукопись знаменитой своей комедии, писал: "Сохрани мое *Горе*", — тем не менее всякий раз, как вы слышите имя "Булгарин", вы неудержимо поправляете "Греч и Булгарин", согласно транскрипции Белинского, и отплевываетесь с тем самым неистовством, с каким решительно все наше общество плевало на два эти имени три четверти века.

Vox populi?..¹ суд истории?.. или вековечное:

Ах, Боже мой! Что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна?..

В подобное же положение не столько стал, сколько допустил себя поставить кн. Мещерский. Его имя есть одно из самых известных в России; но его журнал-газета не только мало распространен и, в точном содержании своем, мало известен, но даже и вовсе не известен, за исключением редких "любителей". Даже более: среди самых этих "любителей" нет собственно никакой любви к нему, энтузиазма, так что ни в каком смысле и ни в каком случае к нему нельзя приложить изречения о "горчином зерне", которое растет и когда-нибудь дорастет до огром-

¹ Глас народа (лат.).

ного ветвистого дерева. Если вы наблюдательны; то вы заметите или, может быть, уже неоднократно замечали, что в том редчайшем случае, когда ваш добрый знакомый, при случайной встрече, раньше, чем заметить вас, был погружен во внимательное чтение газеты кн. Мещерского, — он, увидя, что вы к нему подходите, или торопливо кладет номер в карман, стараясь скрыть его заглавие, или, если это заглавие вами уже прочитано, — бросает газету под ноги с пренебрежительной гримасою.

Пачка номеров "Гражданина" случайно попала мне в руки; случайно я переступил *зону* окружающего его предубеждения. И до того сильное волнение овладело мною, и все изложенные мысли бурно хлынули в голову, когда я увидел — просто как писатель, — увидел и почувствовал, до чего ярко дарование никем и никогда не читаемого публициста, как значительна похороненная заживо в нем сила, сколько тонкости и остроты в его *языке и мысли* и, главное, какая удивительная и привлекательная конкретность в первом и второй. Впервые я испытал нечто вроде отвращения к философии в литературе, видя, как точное наблюдение и яркая изобразительность, в сущности, предваряют работу отвлеченного мышления и, до известной степени, делают ее вовсе не нужною.

В конце концов, мне иногда думается, не бывает "дыма" без всякого под ним "огня"; и Булгарин не потому только погребен, отпет и, так сказать, имеет фатальный "осиновый кол" в своей могиле, что он был "Фаддей Венедиктович Булгарин" и что на него "наступил" Пушкин, но и, кроме того, еще почему-нибудь, чего мы подлинно не знаем теперь. Печать, как бы при помощи увеличительных зеркал, только донельзя, до невероятия, до неправдоподобия увеличивает реальный, существующий "дым" или "дымок"; она раскрашивает его во все цвета спектра; но, по простым законам физики и также психологии, какой бы величины и какого бы цвета этот дым ни был, но он в самом деле *есть* и под ним в самом деле *есть* "огонь" или "огонек". Да простят мне все осужденные, все, над кем сплетен печатью этот терновый венец, если в частичном признании их вины мною выказана все-таки некоторая жестокость. Никто до такой степени не был бы готов сорвать последнее с них обвинение, как пишущий эти строки, если бы подобное усилие могло бы им принести какое-нибудь действительное облегчение или действительную пользу.

Что кн. Мещерский есть самый консервативный из существующих и существовавших у нас писателей — это составляет ясную и меньшую часть его *сгiminis*¹. Он "требует розги", но ведь он никого же не сечет; и в литературе, где — как, по крайней мере, в западной, — некоторые недвусмысленно требуют *крови*, слишком простительное такое пожелание, особенно если принять во внимание, до какой степени легко ("не секи!") противоположное желание. Он есть "аристократ"; и опять — он не есть организатор аристократии, и печально-комическая сторона его сословных тенденций заключается в том, что именно защищаемое им сословие стоит стеною против "Гражданина", решительно не хочет ни читать его, ни выписывать, ни слышать об его тенденциях, — чем уже

¹ преступления (*лат.*).

одним с величайшею наглядностью показывает, до чего, в самом деле, не прав князь-публицист, до чего в нашей аристократии отсутствует гордое и замкнутое, даже просто своекорыстное "я". Очень ли она добродетельна, или ее просто совсем нет, — я говорю о родовой нашей аристократии, — во всяком случае, страстная и гордая программа кн. Мещерского есть историко-политический "пуф", без дыма и даже самого легонького "огонька" под ним. Он, говорят, влиял на практическую политику, на проводимые меры; но кто же из публицистов этого не хочет? И если меры были дурны, все-таки дурное лежит на ответственности практических лиц и нисколько не на ответственности публициста, который хотел и впрямь был хотеть того, чего хотел.

Повторяем, не здесь лежит тяжесть его литературно-общественного *sciminis*, и, если бы она здесь лежала, полемика против него имела бы тот уважительный и страстный характер, ту мучительно долгую, мучительную до молчания ненависть, какую имела вражда, напр., к имени Каткова, с ним полемика, о нем молчание. Есть что-то еще, сверх его политической программы, совершенно неясное и между тем, очевидно, главное, о чем думая, мы заметили выше, что самое печальное в судьбе этих, в своем роде, *morituri*¹ истории, заключается в том, что их губят не указывая, не доказывая и даже ясно ничего не называя, но по какому-то молчаливому и почему-то всех объединяющему согласию. Прислушиваясь к насмешкам, ничего почти в них не понимая, — по крайней мере не имея знания, чтобы их отвергнуть, ни чтобы принять их, — я в уме своем невольно сравнивал судьбу нашего консервативного публициста с судьбой знаменитого — но только радикального — агитатора Парнелля. Он *был*; но что-то случилось, о чем-то заговорили, — и вот его *нет* более. Почему нет? даже *что* именно заговорили? — никто этого ясно не знал, никто настойчиво об этом не спрашивал. Все интересовались течением событий *после* Парнелля, *через* Парнелля прокатившихся; никто не остановился около тех замутившихся волн, куда он вошел — и это все видели; но уже никто не видел, чтобы он вышел.

Слабый, как и все, и я не читаю "Гражданина", по крайней мере, не выписываю. Просто — я не люблю смерти; не люблю того места реки или озера, где, по остроумному, хоть и жестокому выраженью протонародья, кто-то "истортил воду" (утопился). Почему? как "истортил"? — быть может, это был глубоко несчастный и глубоко прекрасный человек — я не знаю; и прохожу мимо, вхожу в зелень парка или шум улицы, где есть движение, есть жизнь, которая и вас самих ставит как-то далеко от мысли о смерти, которой, однако, вы, несомненно, обречены.

Спящий в гробе — мирно спи.
Жизнью пользуйся живущий...

— это в своем роде столь же вечный стих, как и насмешливый стих Грибоедова, объясняющий судьбу многих несвоевременно погибших. Удивительно: пока человек живет, и если он подлинно живет, он не может возбудить в себе сочувствия к умершему иначе, как несколько теоретического, надуманного, воображаемого.

¹ идущие на смерть. Здесь — "смертники" (*лат.*).

Воспоминания о Н. И. Костомарове
и А. Н. Майкове. Николая Барсукова.
С.-Петербург. 1898 г. — Цена 40 коп.

Если есть вид литературы, который всегда безгрешен и иногда свят, — то это палеография. Что такое палеография? — Собираение старых писем, никому (лично) не нужных — все равно XII или XIX века; за тысячу лет назад или за 50 лет назад. Вы умерли; казалось — вы никому не нужны. И вот, когда вы забыты всем миром и, так сказать, испытываете пустыню небытия, около вашей могилы начинает копаться какая-то любящая рука — разбирает надпись на могильной плите, поправляет землю и иногда воткнет цветок: вы вдруг среди ледяного небытия согреваетесь человеческою теплотою, и для вас начинается еще вторая, удивительно интимная и милая жизнь. Грустно, что операции этой подвергаются только писатели; следовало бы каждому человеку иметь для себя подобного копуна. Что-то египетское, какая-то вечность; какая-то бесполезная любовь, для коей несть "ни болезнь, ни воздыхания"...

Вот почему всякую книжку г. Ник. Барсукова мы берем с волнением. Эта всюду увядшая любовь, в ее ненужных, не утилитарных целях, светится из каждой строки этого замечательного писателя, этого египтянина, вечно охорашивающего чей-нибудь прах. Непременно вы найдете археологию, палеографию; редко он от себя и сейчас что-нибудь рассказывает: он благоговейно молчит и подает вам лоскуток бумаги, какую-нибудь записочку, письмо, дневник с полинявшими чернилами, где о великом или любимом человеке вы читаете несколько строк. Все это он собрал, сохранил о людях, из коих

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.

— и не представляя вовсе систематической биографии (самый скверный и лживый род литературы), этот клочок бумаги дает вам вдруг почувствовать еще живую и теплую руку умершего давно человека.

В 1862 г. автор написал записочку Костомарову, своему профессору, и получил обратно такую же, с простым назначением адреса и дня знакомства. Конечно, обе записки сохранены — и мы их читаем в почтительных выражениях еще незнакомых людей. В этом же 1862 году Костомаров задумал посетить Новгород, и с ним вызвался поехать А. Н. Майков. Студента Барсукова они тоже взяли с собою, предложив ему, шутя, быть "летописцем" их пути. И вот в миниатюре мы в самом деле имеем крошечного Нестора, записывающего маленькую одиссею. Все миниатюрно, как маленькие арапчики в знаменитом марше Черномора, в "Руслане и Людмиле". Но как же все живо, как тепло! Речи, конечно, без государственной значительности, но Бог с ними — с большими речами о больших делах; мы у себя дома, в халате, и в халатах же ходят около нас парнасец-поэт и так волновавшийся историк. Один забыл высокий тон лиры, другой — хлопотливые свои лекции, и оба

вдруг погрузились в мир прошлого, в тысячелетнюю старину, да в седые сосновые леса, которыми заросла она. Осматривают монастыри, разговаривают с жителями; пытаются оживить в них память, но уже никто ничего не помнит. Около знаменитых мест приведены припоминания из летописей. Вот они проезжают "Званку" Державина; вот осматривают портреты Фотия и богатства, оставленные его другом, графиню Орловой; и сейчас около этого — какое-нибудь памятное изречение Грозного, какая-нибудь его шутка, издевательство, в связи с заштатною церковью, около которой путешественники рассматривают могилы. Все незначительно по теме, но истинно живо и прекрасно по содержанию; и образованный читатель проведет с истинным удовольствием 2—3 часа за чтением маленькой этой книжки.

* * *

Некто, друг и недруг (бывают такие связи), настаивал перед мною, чтобы я прочел второй том сочинений Хомякова, "как бы открывающий уму нашему шестую часть света" духовного, как бы дающий ему еще новый орган ощущения, "через который вся действительность представляется в ином и новом виде".

И я его прочел.

Раза два приходилось мне испытывать это чувство как бы открытия "новой части света" — из книги. Первый раз — это было уже очень давно — я узнал это ощущение на студенческой скамье. На одном из курсов профессора филологического факультета, как бы сговорившись, избрали предметом для чтения VI песнь Илиады, речь *περί τῶν στεφάνου*¹ — Демосфена и текст "De Republica"² Цицерона. И беспечность юности, и несколько странный способ понимать задачи толкования самими профессорами, и, наконец, всегдашнее избегание толпы людской, даже когда она состоит из товарищей, делала то, что целый кружок студентов, близко между собою связанных, почти не посещал лекций. И вот, когда настало время экзаменов, не более как в полторы недели, пришлось все, что следовало бы делать в течение года, — сделать в эти немногие дни. Труд был велик; минута впереди — опасна. Но столько духовного света соединено в этих трех памятниках классического мира, что вот уже много лет прошло, а все еще некоторые образы Демосфена и несравненные строки прощания Гектора с Андромахой — о которых никакого понятия не дает перевод — у меня остаются в душе. И вот — последний экзамен кончен. Придя, изнеможенный, домой — я залег спать; но от нервного ли возбуждения, от чего ли не спалось. Я велел подать самовар и в ожидании его взял лениво с пыльной полки книгу в старом кожаном переплете, давным-давно для любопытства (посмотрю как-нибудь, нельзя же не познакомиться) взятую у товарища и до сих пор, как драгоценность, хранимую мною. Это была Библия времен Александра I, мельчайшим, славянским шрифтом напечатанная. Я был хотя и филолог и знал отличия литовских флексий от

¹ о венце (*греч.*).

² "О Республике" (*лат.*).

славянских, но читать по-славянски почти не умел. И, задрав ноги кверху, ткнув книгу книзу в угол кушетки, — открыл и стал не столько читать, сколько "нукать" себя по странице. Говорю — почти не понимал. И вот в один вечер я почти выучился читать: по крайней мере к ночи глаза уже бежали по странице. Меня поразила совершенная *новизна духа*. И что-то до такой степени нужное, сейчас и всегда нужное, именно и специально мне, но, вероятно, и всякому человеку... Не умею выразить; сейчас — т. е. 20 лет спустя — я уже не умею формулировать раздельно чувства, расчленив свои впечатления.

Другим "вкусением нового" были для меня сочинения К. Леонтьева и именно его горький и трудно одолимый пессимизм. Странно, что мы долго не читаем книг, которые сыграют в нашей жизни существенную роль, когда в то же время они валяются под боком. Я заказал себе купить Леонтьева в Москве; но когда мне привезли два тома отвратительно-сероватого издания, почему-то уже обрезанного ("читай, читай скорее: даже разрезать не надо"), и я тоже "ткнулся носом" туда-сюда, в какой-то сброд передовых статей — я скучливо сунул их обратно на полку. И опять какой-то вечер, какая-то инфлюэнца, когда ничего серьезного делать нельзя было, — и я взял еще раз томы, за которые заплачено было 6 рублей, и нужно же было в них вычитать хоть на 6 копеек. Я попал на "Византизм и славянство". Попал... и заразился; как теперь многие (слышно) заражаются Ницше; как вообще существует в истории, в истории культуры, эта духовная зараза и заражаемость. Целый цикл моего развития был подавлен этим истинно благородным, истинно великим умом; умом — *горькой правды*, не умею лучше выразить. Но это — безнадежная философия, без выходов, без просвета. Много лет спустя я понял, где ошибка Леонтьева. Он вовсе не был христианином. Даже не был иудеем. Это — заскорузлая старая баба XVII века, во всеоружии ума, остроумия, науки XIX века, в блистании эллинизма. Тот свет правды, *древнейшей правды, первой правды*, который порастил меня в Библии, — ему вовсе чужд. Но здесь долго и трудно было бы объяснять. Впечатление было огромное...

Я читал Хомякова с мыслью: "Вот — третья Америка". Увы. Просто я ничего не чувствовал. Перелистываю за страницей страницу, с ожиданием: "Ну, где же Америка?" Не могу здесь ни критиковать, ни разбираться, но констатирую простой факт абсолютной холодности. Все — прекрасно, все — шоколад, вкусно, но *не хлеб, но не вода жаждущему!* Именно получается впечатление ненужности. И я остался холоден, как Пальмер, которого ведь *ни в чем* он не убедил (Пальмер, колебавшийся англиканец, перешел после переписки с Хомяковым в католицизм).

* * *

Кто не помнит пушкинского стиха:

Жрецы ль у вас метлу берут?

Стих был осмеян; пронеслись десятилетия — и он жив.

Почему-то сочинения знаменитых публицистов не требуются, не ищутся, т. е. не составляют живой и нужной пищи живого общества.

Сочинения И. С. Аксакова изданы — и лежат неподвижно в магазинах, в то время как "Семейная хроника" его отца спрашивается сегодня, как спрашивалась и на другой год ее появления; статьи М. Н. Каткова, собранные в "полное собрание", так и не нашли себе покупателей, несмотря на все усилия его учеников распространить его имя; у многих ли, часто ли вы видите полное собрание сочинений Ю. Ф. Самарина, когда в каждой небольшой библиотеке вы находите стихотворения Алексея Толстого?

Жрецы ль у вас метлу берут?

Общество не любит и не хочет публицистики. Оно хочет, чтобы литература оставалась поэзией, чтобы она оставалась мудростью; в худшем случае — чтобы она оставалась настроением, без вмешательства в частности и подробности текущих дел, не обращаясь в "метлу", метущую ежедневный сор. Публицистику оно допускает, но как третьестепенное явление в литературе; и, составляя себе небольшую коллекцию любимых писателей, решительно исключает из нее публицистов, как бы ни было знаменито их имя, даже как ни велика была бы их историческая заслуга. Т. е. общество оправдывает пушкинский стих и как бы говорит писателям: оставьте мне "метлу", не хуже вас я сумею вымести сор из своей избы; останьтесь "жрецами", останьтесь ими по крайней мере настолько, насколько хотите, чтобы хранилась о вас память.

И еще вспоминается стих Пушкина:

...буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

Публицистика, в последнем анализе, и есть желчь, есть гнев; и вот еще причина, почему общество не помнит публицистики, не включает ее в элизий памяти своей. "Довлеет дневи злоба его" — довольно "злобы" сегодняшнего "дня", чтобы еще от прежних дней хранить ее и, с каждым днем накапливая, иметь перед собою, в виде "литературы", наконец, целые горы ее. Публицисты прошлого забываются — и слава Богу: довольно публицистов этого волнующегося дня, и они довольно отравляют нам аппетит к обеду. Нельзя, в самом деле, из-за литературы лишать себя утреннего свежего дыхания, спокойного разговора по вечерней заре и, наконец, — право же, это не преступление — вкусного обеда среди семьи. Общество хочет немножко жить, кроме того, что оно читает: нельзя жить в отравленном воздухе, в воздухе вечного гнева и раздражения, — и вот почему относительно всех публицистов века минувшего и нынешнего:

Sit vobis terra levis¹.

Но ведь есть же запомнившиеся публицисты, напр. Руссо? Руссо?.. Нет — это был момент психической жизни европейского общества; он не мел "метлою", или, точнее, он смел своей метлою целое общество,

¹ Пусть будет пухом вам земля (лат.).

целую фазу его развития, но потому что в исторически развивающемся обществе он явился как перелом сознания, как кризис характера и настроения. Руссо — это минута жизни в европейской цивилизации; ее момент — а не лицо только, не человек, не писатель; и вот единственная причина, почему в нем запомнились *писатель, человек и лицо*. Но как оновательно забыты Гольбах, Ла-Метри; даже как забыт Вольтер: возможно ли представить теперь человека, с волнением читающего который-нибудь из 95 томов "Oeuvres complètes"¹ его?

Sit lis terra levis².

* * *

Благочестивый составитель нашей первой Летописи записал, что, когда св. Андрей Первозванный пришел на север Черного моря и водрузил в пределах нынешней России крест — конечно, осьмиконечный, — он нашел уже здесь любимый народный обычай: баню. Именно летописец записал, что нещые человеки, натопив до невозможности огромную кирпичную печь и наплескав туда воды, входят в облака горячего пара и долго и больно хлещут себя веником. С тех пор "много воды утекло", но баня стоит; князья воинствовали, Москва их смирила; Москва померкла, — но баня все стоит; вся Россия преобразована, но баня не преобразована. Баню очень старались "выкурить": Лжедмитрий игнорировал ее; "отечественные" писатели смеялись над нею, указывали на заграницу, что "вот за границей...". Но баня устояла; мало того — она пошла сама за границу, потребовала экспертизы докторов и теперь, заручившись всеми патентами, менее чем когда-нибудь, думает уступать натиску цивилизации.

Баня глубоко народна; я хочу сказать — русского народа нельзя представить себе без бани, как и в бане собственно нельзя представить никого, кроме русского человека, т. е. в надлежащем виде и с надлежащим колоритом действий. Если вы хотите кого-нибудь сделать себе приятелем и колеблетесь, то спросите его, любит ли он баню: если *да* — можете смело протянуть ему руку и позвать его в семью вашу. Это — человек *comme il faut*³.

Обычай бани есть гораздо более замечательное историческое явление, нежели английская конституция. Во-первых, баня архаичнее, т. е., с точки зрения самих англичан, — почтеннее: она более, нежели конституция, историческое *comme il faut*; во-вторых, она демократичнее, т. е. более отвечает духу новых и особенно ожидаемых времен. Идея равенства удивительно в ней выдержана. Наконец, английская конституция для самых первых мыслителей Европы имеет спорные в себе стороны; бани никаких таких сторон не имеют. Но самое главное: в то время как конституция доставляет удовлетворение нескольким сотням тысяч и много-много нескольким миллионам англичан, т. е. включая сюда всех избирателей, — баня доставляет наслаждение положительно каждому

¹ "Полное собрание сочинений" (*фр.*).

² Пусть будет пухом им земля (*лат.*).

³ приличный, порядочный (*фр.*).

русскому, всей сплошной массе населения. Наконец, она повторяется через каждые две недели, тогда как наслаждение парламентских выборов, проходящее живительной "баней" по народу, получается несравненно реже. Мы уже не говорим о том, что выборы — суета, грязь, нечистота, во всяком случае тревога и беспокойство для всех участвующих; баня для всех же — чистота и успокоение.

Баня имеет свои таинства: это — "легкий пар". Кто не парится, тот, собственно, не бывает в бане, т. е. не бывает в ней активно, а лишь презренно "моется", как это может сделать всякий у себя в кухне, как это сумеет всякий чужестранец.

"С легким паром", — эту фразу неизменно произносит каждый входящий в баню, ни к кому не обращаясь и всех приветствуя. Баня уже самую мысль свою располагает к благожелательству — и это есть одна из самых тонких ее черт. Она проста и безобидна; она есть чистота на первой и самой необходимой ее ступени — физической; она — поток общения и какого-то прекрасного мира; она, наконец, представляет собою периодическое возбуждение, поднятие сил, необходимое всякому, кто серьезно трудится.

1. О. И. Каблиц (Юзов)

4 октября 1893 г. умер *Осип Иванович Каблиц*, более известный под псевдонимом *И. Юзова*, автор книг: "Русские диссиденты", "Староверы и духовные христиане" (СПб., 1881 г.) и "Основы народничества" (второе издание в 1893 году). Покойный занимал в нашей литературе очень определенное и крупное положение: он явился основателем и главою целой партии общественного и литературного движения, отделившегося от радикального лагеря по своим стремлениям, еще слитого с ним по созерцанию и, как в том, так и в этом, частью слитого и частью разделенного со славянофильством. *Народничество* — любимый термин покойного — было символом любовного и внимательного отношения к народу, прислушивания не к одной только нужде его (радикальное направление), но и к его думам, чувствам, всему нравственному и умственному строю, без какого-либо признания за собою права насильственно изменять его, но и без чувства обязанности быть с ним безусловно слитым — что часто не может быть сделано искренно.

Достаточно было хотя несколько знать покойного или раскрыть и прочесть несколько страниц из его книги, чтобы почувствовать в собеседнике или авторе прежде и ярче всего золотое сердце. Признаемся, выслушивая иногда его умные и сложные соображения или ссылки на авторитеты, еще недавно так значащие и теперь так поблекшие (как Спенсер и др.), мы никогда не могли быть так внимательны к ним, как этого желал бы покойный: сквозь все эти рассуждения и ссылки мы видели нечто гораздо более светлое и прочное, чем они, — *совесть*, которая никогда и ни с кем его не допустила бы до насилия. Отсутствие притеснения, в какой бы форме оно ни совершалось, от кого бы ни исходило, ради каких бы целей ни начиналось, было краеугольным камнем всего его мирозерцания, всякой беседы, каждой страницы его писаний; и, с тем вместе, он вовсе не был либералом. И в самом деле, либерализм в наше время есть только синоним безразличия, умственного и нравственного бессилия; кто же не может чему-нибудь поверить, не имеет силы твердо высказать и защитить какое-нибудь положение, кто не любит более, не исповедует, не ищет нового, не помнит старого — тот все еще достаточен, чтобы быть либералом. Он "свободен" — от чего? От всего, что делает человека сильным и достойным, нужным в истории; от этого либерализм в наше время так часто сливается с узким, замкнутым в себя эгоизмом — и едва ли не с ним одним сливается прочно, "без разрыва и перегиба", как сказал бы геометр. Невозможно представить себе ничего более противоположного этому, как то, что представлял собою покойный: сухощавый, с порывистыми движениями, он казался вечно возбужденным, горел сочувствием или негодованием и, кажется, не было утверждения, которое бы он спокойно принял; не было отрицания, которое бы он равнодушно подтвердил. Личное начало, живой, индивидуальный ум, все различающий, из всего выбирающий, всегда неугомонный, — ярко светились в нем.

Смотря на него, выслушивая его, сколько раз приходилось думать: вот типичный выразитель выздоравливающего нашего общества, которое еще недавно так трудно и тяжело болело. Но воспреобладавшие течения своей души он сумел сообщить и очень широким слоям своих читателей, и это принадлежит его таланту и трудолюбию и составляет крупную его заслугу пред обществом и историей.

Осип Иванович Каблиц родился 30 июня 1848 года, в селе Требетове, Поневежского уезда, Ковенской губернии, и был сыном отставного поручика; крещен был "по опасности" в 1850 г. в римско-католическую веру, но десяти лет, в 1858 г., перешел в евангелическо-лютеранскую. Образование получил в Киевской второй гимназии и в Киевском университете, откуда, не окончив курса, принужден был выйти, по горячности и пылкости своего характера. Затем, он принимал участие в разных кружках 70-х годов и, одно время, задумав изучить, сравнительно с русским, быт американского рабочего, без всяких средств и преодолевая все затруднения, пробрался в Соединенные Штаты. Как это и бывает нередко с нашими, отдававшими "заграницы", время ознакомления с нею было для него временем возврата к родному: как он сам сообщил мне однажды, только там он понял, до какой степени внешней свободы еще недостаточно, чтобы человек не был притеснен, унижен, оскорблен в своем достоинстве, как и мягкость нравственного народного характера сберегает человека от всего этого более, чем влияние учреждений. Никогда не забуду, с какою отрадой я слушал, зная в нем лютеранина и человека "свободных идей", когда о народе нашем он говорил как о самом светлом, терпимом к другому, нетребовательном для себя, среди которого, поэтому, живется легче, чем среди всякого, какого бы то ни было, другого. Между прочим, мы говорили об общине, которой он был горячим сторонником; я ему указывал, что эта форма владения и труда находится в гармонии с духом нашего Православия и не может быть понята без связи с ним в своей особенной устойчивости у нас только¹. Но здесь начинались между нами разногла-

¹ Мы хотим сказать, что есть некоторая связь, гармония между формами труда и владения у всякого народа и его культурными чертами в иных ничего общего с трудом и владением не имеющих сторонах; что в том общем узле, который мы называем "духом народным", коренится не только его антипатия к известным формам управления, к тому или иному церковному строю, но и к тому или иному способу производить работу, относиться к собственности. В частности, общинное или мирское владение землею, как и артельное начало в труде, находятся в незамечаемой обыкновенно гармонии с православием — этим строем церкви *соборным*, то есть в иной и высшей сфере также *общинным, религиозно-мирским* ("мир" мы берем здесь в смысле "целого", будет ли то церковь, государство, село, толпа людей). Можно думать, что это соборное начало из церкви проникло и в дух народа нашего, отразившись в нем как стремление к внутреннему согласию частей, к устранению какого-либо антагонизма в них, их сильнейшему единству, скреплению; община, естественно и ранее возникшая, попал под этот особый душевный склад, нашла в нем укрепление, защиту, благоприятный момент для дальнейшего развития; как ранее же и естественно возникнув, она в формах церковного строя и — еще глубже — в складе народного духа нашла на Западе отрицательное условие, в силу которого и погибла. И в самом деле, слишком понятно, что германскому индивидуализму, в сфере труда, гораздо более отвечает одиночно стоящая ферма, не стесняемая личной инициатива, что все и установилось у этих народов; как позднее, под влиянием тех же стремлений, они выработали и церковь, где каждый молится у себя и по-своему, мало думая о слиянии, о единстве с другими. Напротив, патронат — обширное личное землевладение с миром подчиненных себе других владений — в высшей степени отвечает складке романского духа, который и в развитии церковных форм пришел к созданию строгого и насильственного единства,

сия...Вернувшись из Америки, он был некоторое время наборщиком в одной из петербургских типографий, и этому, быть может, следует приписать слабость его зрения, на которую он иногда жаловался; позднее он определился на государственную службу, начал писать в разных периодических изданиях, сперва под псевдонимом *Юзова* и позднее под собственным именем *И. Кабуца*. Отдельные статьи мало-помалу закруглялись, заканчивались в развитии своего содержания; так выросли сборники, целые книги, которые мы назвали выше. По мере того как его умственное развитие подвигалось вперед, он отделялся от одного течения нашей жизни и приближался к другому, всегда оставаясь, впрочем, самостоятельным. Но все это мы отметили уже выше и не считаем нужным повторять. Можно сказать, каждый шаг его движения в литературе оспаривался, подвергался насмешке или осуждению: его не приветствовали те, к кому он шел; злобно провожали те, от кого он отходил; он был одинок и, однако, остался верен правде, которую так прекрасно, так упорно искал всю жизнь.

Насколько мы можем судить, в его идеях не было чего-либо нового и оригинального; там или здесь его мысли можно было найти ранее; но он сам, но его нравственный образ, столь жизненный, свежий, незапятнанный, вот что оставалось невольным вниманием в эпоху столь тусклую, столь бледную нравственной энергией, как наша. Повторяем, невозможно было провести несколько времени в его обществе, чтобы не почувствовать к нему совершенно особого уважения. И в самом деле, подумаем даже об этих внешних фактах, но столь много говорящих о внутреннем содержании: чего искал он, проходя по проселочным дорогам целые губернии, ночуя в деревнях (под видом странника), всюду присматриваясь к жизни темных, забытых людьми и не забытых только Богом, селений? Чего нужно было ему за океаном? *Себе* ли искал он чего? Итак, если всю душу свою он положил для ближнего, как дорог он должен быть этому ближнему, как близок был к нему Бог.

Будучи всегда очень скромен и неискателен, покойный довольствовался скромным занятием в одном из наших департаментов, далеко не отвечавшим его

соединению *под* собою, но не в *себе* многих; что крупное землевладение развито более всего в Англии — это не противоречит сказанному; и там возникло оно в католическую пору, и даже под особенными благословениями римской церкви (норманнское завоевание). Таким образом, *ферма, патронат, община* суть нормы землевладения в разных европейских странах, соответствующих трем разным видам церковного строя у них и восходящие как к первому источнику своему к особенностям их психического сложения. В будущем каждой из этих норм, вероятно, предстоит очищаться от всяких элементов другой, возводиться к совершенству и строгости своего типа; однако это развитие может не иначе получить себе место, как в гармонической связи с развитием по тому же типу и остальных сторон жизни. В частности, у нас судьбы общины неотделимо связаны с судьбою церкви; с нею она будет укрепляться, не иначе как с нею и ослабнет или падет. Разница в народном и нашем воззрении на общину заключается в том, что мы ждем от нее плодов в будущем, народ же видит в ней удовлетворение теперь; мы ищем только материальных выгод, народ же просто выражает в ней свой нравственный строй. Любопытно, что наиболее прочная и развитая община встречается у староверов наших, т. е. у людей, у которых, кроме церковной, и нет почти другой жизни, которые пренебрегли мирским, здешним, ради верности духовному, как они его понимают. "Мир" как форма труда и жизни неотделим от отречения от мира, от некоторого пренебрежения к нему, в смысле светского, выгодного, земного; ибо что каждый нечто из своего теряет в нем — это ясно для всякого мужика, как и для экономиста, для крупного собственника; только разница в том, что последние не мирятся с этою потерей, будучи на ней одной сосредоточены, первый же мирится ради единства, слиянности себя с "миром", для "души".

умственным силам и обширной ознакомленности со всеми почти практически важными вопросами нашей государственной жизни. Товарищи относились к нему с высоким уважением и горячею любовью; для многих из них беседа с ним доставляла и нужное утешение, и живую помощь, — всякий находил у него чего искал, если искал доброго. Мир и покой душе твоей, неутомимый труженик, дорогой товарищ, "в селениях праведных, иде же несть болезни, печаль и воздыхание, но жизнь бесконечная"... как, может быть, ты не ожидал; но Божия правда — не человеческого суда, и сквозь несвязный, поверхностный лепет твоего языка, который один мог быть понятен людям, Бог видел чистые движения твоего сердца, смысл и источник которых для тебя был темен, для них — знаком и один во всяком человеке истинно ценен.

1893

2. Ю. Н. Говоруха-Отрок († 27 июля 1896 г.)

Тесен в литературе нашей круг людей, остающихся еще верными заветам, смыслу и духу земли русской. Против широко раскинувшихся рядов противников эта кучка гонимых, эта партия литературных гёзов, едва имеет несколько разрозненных имен. Грустна судьба их. Без личного счастья, без какого-либо привета, в нужде и часто унижении, задыхаясь среди безжалостной клеветы, они отстаивают предметы своего культа с очень слабою надеждою на их сохранение и только с верой, что эти предметы суть лучшее, драгоценнейшее из всего действительного. Угрюмо проходит их жизнь; они почти не перекидываются словом друг с другом, едва имеют возможность не терять из виду один другого. И когда выбывает товарищ — едва имеют время оглянуться на него и сказать торопливо: *вечная память*.

Так свежа еще утрата незабвенного Н. Н. Страхова — и вот потерян Юрий Николаевич Говоруха-Отрок. Да, нет в нашей партии ликования, огней; противники могут веселиться — все угрюмо и печально у нас.

Они не были связаны дружбой — за недосугом; лишь проезжая через Москву, Страхов пользовался несколькими днями останки и почти постоянно проводил их у Говорухи-Отрока. Он высоко ценил ум покойного и его образование. Когда однажды пишущему эти строки случилось говорить о печальном состоянии текущей литературы, он с живостью указал на Юрия Николаевича и назвал его критическую деятельность "светлым явлением нашей литературы за последние годы". Он находил в нем существеннейшую черту критика: "Любовь к литературе в ее *собственных* задачах и оценку каждого порознь литературного произведения с точки зрения *правильности* способов, в нем употребленных для осуществления такой задачи." Всегда он умеет схватить, — продолжал еще маститый критик, — главную мысль обсуждаемой статьи и подвергает ее суду основательному и точному". Особенно он ценил разбор, им сделанный, литературной деятельности Тургенева; менее удачным ему представлялся критический очерк произведений Вл. Короленко, и он тогда же писал ему о своем неудовлетворительном впечатлении; он не имел уже случая прочесть истинно превосходное раскрытие, им сделанное, музыки Некрасова (в весенних номерах "Московских Ведомостей" за 1896 год). Однако заветные его темы остались невыполненными; необходимость писать еженедельно, крайнее утомление сил к месяцам летнего отдыха — все это год за годом отодвигало выполнение долго лелеянного им плана: написать полный и обширный разбор "Гамлета", любимейшего его произведения в европейской литературе¹.

¹ Редакция "Московских Ведомостей", вероятно, выполнила бы невысказанное желание многих любителей литературы, если бы дала сборник лучших его

Как ни странно будет сказать, этот приземистый, черноволосый, типично *русский* человек — был сам Гамлет; точнее, та трансформация этого вековечного и универсального типа, которая для русской действительности была оттенена и обрисована такими верными и тонкими штрихами Тургеневым. Говоруха-Отрок обильно пережил глубочайшие сомнения; он был благороднейшая и *тонкая* натура, тонкая именно в ощущениях истинного и ложного в человеке, достойного в нем или только грубой подделки под достойное. Печальная полудумчивость никогда почти не оставляла его; и вы чувствовали, как бы ни мало времени пробыли с ним, что между предметом текущего разговора и главным устремлением его мысли есть непереступаемая черта; что есть эта черта между предметами всех его видимых забот и центром его души; что литература, писание, не только не есть для него ремесло, но и не есть даже самое священное; что он охотно отдался бы погружению в себя, простому *течению* своих мыслей — о предметах ли, вопросах ли, но во всяком случае о чем-то, что для него несравненно ценнее самой литературы и что он задевает в ней не иначе, как побочно, но так, что вы чувствуете, что при этом побочна для него именно литература. Он был реалист в том благородном смысле, что словесное искусство освещалось для него некоторым высшим светом, идущим от реального; и он был мистик, потому что это реальное хотя и могло бы быть названо "жизнью", однако не имело ничего общего с "делами и днями", бегущими в ней, с частностями, хлопотами, — что это была скорее *мысль жизни, нежели ее фактическое содержание*. Все освещалось в поле его зрения *глубоком, неясным, несколько матовым* светом; в этом свете он созерцал и любил жизнь, любил ее, как носительницу этого света, — т. е. *не самостоятельно*; литературу любил он только как третья. И вот отчего самый взгляд его на литературу был глубок и чист, никогда не был тревожен, вот отчего он никогда не стал публицистом в критике, имея все внешние и технические средства к этому.

Отсюда же некоторая небрежность в нем, как бы невнимательность к писаниям своим, в которых далеко не выразилось богатство его сил и тонкость натуры; случайность избираемых тем; не избегание поводов, вызывающих на слово, но его вовсе не требующих, и, однако же, ко всем этим поводам не нервное, не нетерпеливое отношение — как бы чуждое полного напряжения сил. При всякой теме он не терял сокровища своих размышлений; и ни в одной не высказал его прямо. Это как бы равенство для него *всяких* тем, отсутствие вот в *эту* минуту потребности об *этом* именно сказать — ослабляло его силы как пишущего, сообщало некоторую идейную вялость порознь взятым его трудам. Есть именно *рассеянность* в его писаниях — та рассеянность, которая бывает у говорящего, когда он не занят очень лицом, которому говорит, и вопросом, который предложен ему этим лицом. С тем вместе, предметом, фиксировавшим его внимание, едва ли была мысль, *теоретический* вопрос — и здесь разграничивающая черта между ним и Страховым: Страхов также редко был *возбужден* в своих писаниях, но он ровным и спокойным языком высказал целый обширный организм мысли, и побуждением к писанию для него было именно, член за членом, высвободить из себя этот организм — пожалуй, в каком угодно порядке, но *весь*. Рассеянность Говорухи-Отрока была, скорее всего, рассеянность чувства; он был фиксирован на некоторой мысли сердца, не развивающейся, не нудящей браться за перо. Скорее он отрывался от нее, чтобы взяться за перо и начать говорить о предметах не слишком интересных, но среди которых нет-нет и вдруг мелькнет нечто, что поддается освещению этого постоянного чувства, что можно осмыслить им или сознать в нем.

По мелькающим там и здесь словам, по оживленности, которая вдруг овладевает тут или в ином месте его речью, можно даже конкретнее отгадать это

критик. В последнем случае, думается, едва ли есть нужда сохранять его некрасивый и бесцветный псевдоним-*отчество* (Николаев).

чувство: это — некоторое ощущение вечности, в противоположность временному. Если бы усопшего спросить, который из атрибутов Божиих, обычно исчисляемых, ему представляется особенно понятным и необходимым, — он, наверно, не назвал бы ни разума, ни благости, ни святости и особенно могущества: он, наверное, назвал бы *вечность* и, может быть, назвал бы еще *милосердие*. Вот два угла, под которыми он особенно хотел созерцать мир; точнее, без которых мир ему не был бы нужен. Нельзя забыть здесь *второго* фельетона из двух, посвященных им Антону Рубинштейну (кажется, по поводу выхода его книжки о музыке и музыкантах); нельзя не припомнить глубокой любви, с которой он остановился и потом еще все возвращался, к прекрасному и трогательному рассказу Вл. Короленко "В дурном обществе"; да и множество других подробностей в его описаниях. Эту-то вечность он особенно любил, на ней фиксировал свой взгляд; этого-то милосердия он особенно хотел, без него не понимал жизни, отвергал людей: отсюда, как уже последующее, его невнимание почти к политическим тревогам своих дней, его гуманизм, демократизм его ощущений и симпатий.

И наконец, отсюда его *индивидуализм* — эта еще гамлетовская черта. Он вовсе не имел "общественных" чувств; кажется, в юности он принял участие в некотором массовом движении; кажется, для интересом и успеха этого движения он жертвовал, где-то на юге России, родовым именем своим (он был дворянин), — но это ясно лежало вне основных черт его характера. В его писаниях общество, его судьбы, тревога о его будущем не занимают никакого места; вероятно, смена царствования в 1894 году и возможная перемена "политики" не вызвала никакого в нем вопроса, ни недоумения, ни страха. Он был весь погружен в то единственное, что в истории, в народе можно было созерцать под углом вечности, — в человека. Черта человеческого характера, выведенная в том или ином литературном произведении, черта характера, не скрытая в себе писателем, — его занимали более, чем всякий новый закон или предполагаемая важная мера. Вопрос о гибели парохода *Русалка*, т. е. технический и административный, не мог бы его занять; иное дело, если б у погибшего на *Русалке* моряка нашлась записная карманная книжка, — он с интересом раскрыл бы ее. Человек, его лицо, его сердце, и никогда "человечество" 60-х годов, — его занимали. И в этом он представляет собою заметное и ценное звено перехода тех лет в нечто новое и противоположное. Счастливо и благодатно сухие тревоги политики оставили его; счастливо и благодатно взор его упал на то вечное, в потоке чего эти тревоги проходят, как дни и ночи землевращения в течении околосолнечном.

Он нет-нет и все возвращался к *Гамлету*; помню, он любил цитировать из него части этого монолога:

Окончить жизнь — уснуть,
Не более. И знать, что этот сон
Окончит грусть и тысячи ударов —
Удел живых... Такой конец достоин
Желаний жарких! Умереть... уснуть...
Но если сон виденья посетят?
Что за мечты на смертный сон слетят,
Когда стяхнем мы суету земную?
Вот что дальнейший заграждает путь!
Вот отчего беда так долговечна!
Кто снес бы бич и посмеянье века,
Бессилье прав, тиранов притесненье,
Обиды гордого, забытую любовь,
Презренных душ презрение к заслугам,
Когда бы мог нас подарить покоем
Один удар? Кто нес бы бремя жизни?
Кто гнул бы под тяжестью трудов?
Да, только страх чего-то после смерти:

Страна безвестная, откуда путник
Не возвращался к нам — смущает волно:
И мы скорей снесем земное горе,
Чем убежим к безвестности за гробом.

Вот удивительное сплетение земного с небесным; вот взгляд сюда, на землю, брошенный под углом не *раскрытых*, но *ощущаемых* небесных тайн.

Пишущий строки эти видел покойного не более 3—4 раз, и также при случайном проезде через Москву. Помнятся обширные две комнаты, с неуклюжими книжными полками, закрывавшими большую часть стен: бездна книг, и из них особенно выделялись громадные фолианты отцов Церкви, в кожаных переплетах, с белыми серебряными надписями на корешках и красным обрезом; Тургенев, кажется, был его любимец и стоял в прекрасном шагреновом переплете. За исключением богатства полок, все было пустынно в комнатах; помню скудный обед, неизменную рюмку водки перед щами, которая при оживленном разговоре удаивалась, даже утраивалась; деревянные ложки, всегда мне напоминавшие детство и археологию; была какая-то прекрасная, умная запустелость, нечто печальное и задумчивое в квартире и хозяине: "Старый бурш, старый 40-летний studiosus, — думалось, глядя на него, — сколько ты бурь пережил, от шумных сходок 70-х годов и до этих отцов Церкви?" Он весь ушел в себя; помню его восклицание: "Да, я ничего не любил читать позднее XVII века — нахожу, что чем позже, тем люди начинают скучнее, *вялее* писать: живость и правда только в старых книгах". Однажды, идя по улице, я, смеясь, сказал ему: "Что, если представить апостола Павла вставшим среди живых, и вот он входит, со своим словом... в Литературно-Артистический кружок, в Петербурге..." Говоруха-Отрок расхохотался: "Конечно, конечно, ничего не вышло бы; не произвел бы решительно никакого впечатления". Человек *здесь* умер; в значительной степени в новой цивилизации человек *умер*. Вот источник того, что звали или могли бы в покойном назвать "консерватизмом". Некоторая глубокая мизантропия лежала в основе этого — т. е. то странное, в высоких лишь душах соединимое, чувство почти обоготворения человека в идеях, в представлениях, в некоторых *запомненных* образах и — глубокого негодования к нему же, насколько он мечется в глаза: плод недостаточного углубления в отцов Церкви, недостаточного укрепления в богопознании, которое отмывает от человека эту желчь идеализма и дает силу ему, меньше любить "всяческую во всем". До этого возросли *избранные* — отец Амвросий-Оптинский, Феофан Тамбовский-затворник, Иоанн Кронштадтский, Климент Зедергольм — счастливы, труженики, обрадованные за правильный труд.

Прекрасно и благородно вполне было слияние усопшего с Православием — этим "путем и жизнью", "иде же несть ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная". Православие есть вечная религия, в противоположность временным — католицизму и протестантству: вечная, ибо она не раздражает, как те, но удовлетворяет душу человеческую и все меры ее искания, все степени ее тоски. Религия совершенной простоты и совершенной мудрости. Покойный теоретическим умом не был, конечно, в достаточной мере погружен в ее научение; и так же он иногда трудился, писал, не справляясь с отцами Церкви. Но, думается, как и многие уже теперь, он делал все это как бы *условно* — т. е. при молчаливом согласии отвести все в своих мнениях и осудить все в своих поступках, чему одобрения не произнесла бы Церковь. Этот духовный строй, напоминающий канун иноческого пострига, когда все еще отдается сегодня миру с тем, чтобы завтра от этого всего отказаться, т. е. уже *сегодня* с некоторою *условностью*, — есть строй лучших, нежнейших душ нашего времени, так чуждых специфического самоощущения 60-х годов: личной автономии, самонадеянности, гордости.

В жизни покойного был случай, очевидно повлиявший на его слияние с Церковью во всех ее частностях и подробностях, со всею ее *полнотой*; нижеследующие строки, наверное, будут в печати прочтены лицом, рассказывавшим мне

его, — итак, доверие может быть дано этим строкам. В юности Юрием Ник. был пережит роман — с печальным исходом: любовь *ее* не была разделена *им*, и она умерла, с глубокою верой в Бога, но насильственно. В любви есть столько *самоопределения*, ее пробуждение и угасание так мало зависят от нашей воли, что лишь никогда не любивший мог бы осудить покойного за то, что возбужденное им чувство он оставил неразделенным. Но — и здесь сказывается поворот духа от самонадеянных 40—60-х годов к совсем новому настроению — то, что прошло бы у человека прежней структуры как горделивое воспоминание (тип Печорина, кое-где, в слабых чертах, повторенный и у Тургенева), в памяти Юрия Николаевича легло как воспоминание мучительное, может быть, — как незабываемый укор; во всяком случае — как тревога, жалость. Эта часть факта была передана покойным рассказывавшему мне лицу независимо от следующей: встречавшим покойного известно было, что какое-то женское имя, но не имя матери или сестры им подается постоянно в Церковь к поминанию "за упокой". "Одна женщина, — рассказывал Говоруха-Отрок, — нередко виделась мне во сне, всегда печальная и одетая в черное; раз моя дальняя родственница отправилась на богомолье, и я, дав ей записочку, попросил ее отслужить панихиду об этой покойнице у мощей местного угодника. Прошло не меньше двух недель, и снова она привиделась мне во сне, но, к удивлению, одетая в белое, только с черною каймой на платье, и без печали в лице. Прошло еще несколько времени, и снова я встречаю свою родственницу: с первых же слов она стала извиняться передо мною, говоря, что по болезни не попала тогда же в монастырь и только через две недели могла исполнить мою просьбу. Изумленный, я стал расспрашивать подробнее о числе и дне недели, и она назвала день, когда мне приснился удививший меня сон". Кто следил за статьями покойного, может припомнить, что в них не раз и не два упоминалось "о мощах св. угодников, к которым спешит народ русский и несет туда свои скорби", о воспитательном значении для народа монастырей и паломничеств. В свете приведенного рассказа это становится ясно: покойный писал об *испытанном*.

1896

3. Н. Н. Страхов († 24 января 1896 г.)

I

Покойный Страхов всю жизнь ожидал этих *залогов* — залогов действительности того, о чем философы и поэты смутно гадают, а Церковь твердо молится на земле. Логически и психически он был подготовлен к ним; но не было залогов, и он умер с верой менее ясною, чем Говоруха-Отрок.

Помню, ранее напечатания статьи своей "По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого", я передавал ему доказательства бессмертия души, там развитые. Он слушал меня нетерпеливо и, когда я кончил, сказал: "Душа бессмертна не от того, как вы говорите, что она есть один из принципов бытия и что принципы неразрушаемы, но потому, что это твердо обещано нам св. Писанием". Я был изумлен (потому что подозревал в нем скептика) и сказал — что, уже не помню. "Да, да, обещано и Ветхим заветом, и Евангелием, — он привел 1—2 текста на память, — и этого совершенно достаточно". Он относился с величайшим неудовольствием, когда богословы (профессора духовных академий), между прочим в *Вере и Разуме*, пускались в физические, астрономические и физиологические исследования, чтобы подтвердить тот или иной свой тезис. "Они не уважают, — говорил он, — своего предмета; им не кажется достойным заниматься религиозию, и вот они берутся за чуждые им области физических и естественных наук". Он

не любил смешения областей знания; но область религиозную он признавал не только этически, но и трансцендентно. Уже идя за его гробом, я разговорился о религиозных мнениях покойного с г-жою Алексеевой, переводившею на немецкий язык его книгу "Мир как целое". "Что покойный (сказала она мне) твердо был убежден в бессмертии души — это я знаю из следующего. Однажды я спросила его, не знает ли он книги, где я могла бы прочесть об Элевзинских таинствах. Он дал мне из своей библиотеки; я заинтересовалась ею и, помню, в разговоре, передавая — в составе таинств — о вкушении посвященными ячменных зерен в связи с идеями о бессмертии души, сказала: "Это, без сомнения, было у них аллегорически, как и в причастии мы аллегорически принимаем тело и кровь Христову". "Как вы говорите: "аллегорически", — воскликнул он, — нет: это — есть, это — в самом деле", — без пояснений, что "в самом деле"; но по связи разговора было ясно, что он высказал полноту веры в таинство причащения, как оно исповедывается Церковью. В одном из писем ко мне, из-за границы, он, передавая содержание проповеди православного священника, между прочим, писал: "Всем, кажется, она понравилась, а мне было досадно, потому что он говорил ересь. Он говорил о двух заповедях Евангельских — любви к ближнему и любви к Богу — и указывал, что первая особенно важна. Но ведь это не так: в Евангелии сказано, что именно к Богу любовь есть первая заповедь, а любовь к человеку — вторая, и, конечно, это правильно". Я упомянул о его нелюбви к богословам, пускающимся в физику; но вот не однажды он с восхищением заговаривал со мной об Иоанне Кронштадтском и всегда прибавлял при этом: "И не удивительно ли, что такой человек явился на самом крайнем пункте нашего соприкосновения с Европой — даже не в Петербурге, а в Кронштадте" (кажется, он связывал эту радость свою со славянофильскими своими чаяниями). — Однажды, года 3 назад, произнеся это, он прибавил: "Но вот чего вы, Вас. Вас., не знаете: Иоанн Кронштадтский вовсе не единственное у нас лицо: есть несколько таких же; то есть они делают совершенно то же, что он, — и только не пользуются этою славой, не имеют такой известности". Я боялся разрушить это твердое слово, услышать ограничения, поправки и поэтому не спросил имен и местностей. Да и зачем это? Зачем заглядывать в имена, местности, годы? Не этот ли скептицизм, это рвение Фомы во все "вложить палец", подск и яркость веры у Страхова и лишил его, без сомнения, величайшего счастья, за которое он отдал бы и свою неоцененную библиотеку, и множество своих знаний... Его отношение к религии, как я уже сказал, было полно, но не ярко, не напряженно; форма веры была целостна, не разрушена, но была бледность в ней, как бледны бывают полные черты в слабо проступившем негативе. Взамен этого, было нечто другое в этом чувстве, и на весах Божиих не сосчитано, есть ли это меньшее: постоянное *памятование* религии. В какую бы минуту вы ни спугнули мысль его, эта спугнутая мысль отбегала именно от религии, чтобы обратиться — конечно, на минуту и не с настоящим интересом — к предметам конкретным, к вопросам знания, философии, к бегущим интересам политики. Невозможно представить себе, чтобы покойный просто *присутствовал*¹ там, допустив себя *видеть, слышать* шутивное отношение к религии; но вот вы заговаривали *положительно* — и какое-то бессилie сказывалось в нем. Он именно отрицал отрицания и ненавидел их, презирал, но его невозможно было ввести в утверждения: он поднимал палец и требовал указать "рану", куда бы мог вложить его и ощущать. Раз, в обычную у него "Среду", среди довольно большого общества писателей, гр. А. А. Голенищев-Кутузов передавал содержание им прочтенной — кажется, в рукописи — брошюры, где были собраны медицинские удостоверения об исцелениях

¹ Однажды, в одну из "Сред", один из гостей неуважительно отозвался о Пушкине и, не замечая впечатления или надеясь, что он "гость", впал в дальнейшую иронию. Сперва возражавший, Страхов через несколько минут предложил ему просто *замолчать* — что и было исполнено.

в Лурде: "Опущенная в источник девушка, страдавшая костоедой ноги, по вынуждению из воды оказалась исцеленною..." Страхов вспыхнул: "Как исцеленною? что же именно сделалось у нее с раной?" Добрый и прекрасный поэт растерялся: при чтении рукописи он не обратил на это внимания или в самой рукописи не было ничего. Страхов продолжал: "Пишут Бог знает что и как: она исцелела, было страдание кости; что же, восстановилась ли целостность кости? или рана зарубцевалась? Может быть, она только снаружи затянулась кожей или нога только перестала чувствовать боль: я не могу верить тому, чего не знаю, и вы не можете мне даже описать факта". Он равным образом прямо негодовал на неясность сообщений проф. Доробиа об исцелении от сиккоза: "Пишет *стоял* в храме Спасителя) и *ничего особенного не чувствовал*; ну, а не особенное? ведь *что-нибудь* он чувствовал же, думал о чем-нибудь?" Но в самой ревности негодования я замечал именно психическую и логическую готовность Страхова принять чудо: никогда над рассказом я у него не видел ни улыбки, ни шутки, ни даже простого невнимания: именно всегда какой-то порыв, мысль чутко слушающая и палец уже готовый вложиться в "рану"; но не было раны, не открывались точные, научные формы знамения, не было латинского названия исцеленного мускула, и он, не отвергая, переставал слушать. Был ли прав он? был ли он не прав? — трудно судить. Нельзя, не следует, не должно ожидать, чтобы исцеленный в том светлом сиянии души, благодарной к Богу, какое переживает, требовал скорее перо, бумаги, вынимал циферблат часов и точно записывал факт; так, но и прав неверующий, не зная, *чему* в точных формах он должен верить. Однако исцеленный и не приглашает никого верить: он выражает просто сияние души своей; и в людях так много благородства, так много интимного понимания друг друга, что, взглянув на это сияние, и без слов они ощущают его причину и верят, почти удерживая, гоня доказательство. Тут если и есть доказательство, то психологическое: доказательство именно в благородстве, в относительной чистоте души человеческой; сам Страхов раз зло смеялся над Писемским, когда он в ряд "русских лгунов", наконец, увлекшись, поместил и шекспировского Ромео: но если люди всегда и только лгут, лгут одинаково в словах, в интонациях голоса, в том, что мы называли "сиянием души", — почему, наконец, не лгал и Ромео перед Джульеттой, говоря о любви? Но есть красота, пробуждающая истинную любовь; есть истинные сердца, чувствующие любовь; есть правда в людях, от того только есть и поэзия; и, наконец, есть чудеса, есть религия.

Кстати, чудо Страхов определял как "нарушение какого-нибудь физического закона", временную и местную отмену его действия; я запомнил это определение и, забыв слово "закон", сказал однажды кому-то при нем: "Чудо есть нарушение которой-нибудь из логических и физических аксиом"; Страхов с живостью подтвердил: "Вот-вот".

Здесь я должен сказать, что Страхов вовсе не отвергал, что *весь* мир есть некоторым образом чудо, а *не* чудесное есть редкое в нем исключение. Раздраженный его требованиями "раны", в которую можно было бы вложить "персты", я встал однажды и, пройдясь по комнате, сказал: "Вот — чудо (то есть что я *иду*), ибо это вопреки всем аксиомам механики: 1) что движущее — вне движимого; 2) что движимое пассивно по отношению к двигателю; 3) что оно не останавливается до встречи с препятствием или иначе как от сопротивления среды и пр.". Он в высшей степени принял это; продолжая, я сказал ему: "Итак, весь живой мир есть чудо и также — вселенная, объяснить происхождение которой мы механически не умеем; даже самое притяжение тел (ньютоновское) — разве это механика? то есть разве это не факты, нарушающие принципы механики, местно и временно исключающие ее законы? Но вот, из этих чудесных фактов следствие уже течет механически: и раз *чудно* тела стягиваются, а центробежная сила планет равна и противоположна по направлению этой стягивающей силе — планеты естественно, *механически* удерживаются в своих орбитах". Эта точка зрения была в высшей степени ему понятна; но она была слишком обща, и перейти от нее к Богородице, мощам св. угодников, чудесам исцеления не было возможности.

Это давало основу для спиритуалистического только созерцания мира, но не для церковного; Страхов же, я видел, хотел церковного чуда; да, конечно, оно только и нужно. Спиритуализм — это пустыня; Церковь — это отчий дом. Оба суть некое "место"; но одного нам не нужно, мы в нем погибаем; во-втором же — "жизнь бесконечная".

То *постоянное памятование религии*, о котором я сказал, что оно было у Страхова, было именно памятование *склоненное ухом к церковному*. Нельзя сказать, что он не допустил бы в своем присутствии кощунства над "спиритуализмом": механические и вообще совершенно материалистические воззрения он оспаривал в длинных беседах, без тени какого-либо негодования к оспариваемому. Он именно не допускал кощунства там, где в спиритуалистическом начинало чувствоваться *лицо*: он этого лица не видел, не различал; не называя его имени; но вот вы подходили, чтобы его оскорбить, как пустоту некую, как мертвый идол людского воображения, — и он с гневом и презрением вас отталкивал. Его "перст" был не вложен; он не дотянулся до осязаемой раны; но, значит, было же твердое у него чувство, что левее или правее, ближе или дальше в этой темноте, ему предстоящей, есть живая "рана", есть *тело*, присутствует *лицо*. Можно сказать, он ненавидел гораздо сильнее, чем всякие материалистические воззрения, так называемые "влечения" к религии, исходившие из эстетических или этических иллюзий: был целый ряд "религиозных" писателей (и поэтов), которых он прямо не выносил за этот мотив их религиозности; т. е. не читал их, не видел, отвергал; не хотел, чтобы вы их знали. Помню, едва я переехал в Петербург, из ближайшего соседства к Татеву, он стал меня внимательно расспрашивать о тамошнем труженике, известном Рачинском; почти бязливо он спросил меня: "Не есть ли его отношение к религии *эстетическое* только? Не любит ли он только *красоту* в ней, любит ли он ее как *истину*? В нем столько *вкуса* — не говорю уже о писаниях, — но в выборе предметов интереса, предметов чтения, занятия (с учениками)..." Разумеется, я не мог ответить на такой вопрос, касавшийся интимных тайн души, но указал, что отношение к религии Рачинского так строго, почти сурово, что ни у него, ни даже в его присутствии у другого нельзя было спрашивать о подобном, т. е. спрашивать как бы с сомнением, с собственным скепсисом.

При этом тусклом созерцании Божества, Его неясном ощущении, он сделал все, чем мог восполнить недостающее: выправил строго свою жизнь по стезям Его заповедей, не писанных, но запечатленных в разуме человеческом. Вполне можно назвать религиозною всю жизнь Страхова; сосредоточенная мысль была положена им в основу ее; в целом весь его прижизненный труд можно назвать "служением". Печать особенности, глубокого в себе уединения, глубокого и *постоянного* внутреннего служения чему-то, некоторому Богу, никогда не называемому, скрытому от взглядов людей, чувствовалась в нем тотчас после первых слов беседы, при входе в его комнаты, при взгляде на их убранство: "келья", "монастырь" и во всяком случае место, где даже нельзя вспомнить веселья, шума, как и ничего бесстыдного, — таково было впечатление, которым они встречали вас и вас провожали. Замечательно, что беседа его всегда *очищала* и *просветляла*, как и всегда *успокаивала*; я не помню за три года частых собеседований, чтобы вопрос когда-нибудь коснулся фивольного, чтобы шутка была бесстыдна, даже нескромна, равно — чтобы в разговоре сказались зависть, недоброжелательство, излишество в презрении. И все это при отсутствии какой-либо напряженности, преднамеренности, при полной несвязанности речей. Просто низкое или гадкое *естественно* не вылось около него; *здесь* — этому не было места; корысти, угодничества здесь нельзя было высказать, оно ни к чему бы не прилипло, ни на чем бы не зацепилось и, как ненужное, вылетело бы в дверь вон. Есть собеседования, знакомства, связи, которые понижают, будят дурное в вас, дают ему рост; не создают в вас *нового* дурного, но манят распустьись то, что всегда в вас было и вы в себе это осуждали. При общении со Страховым это дурное как бы *отсыхало*; не находя себе пищи — оно позабывалось. И, нет сомнения, долгое

и постоянное общение с ним могло бы поправить порочного человека или человека, *склонного* к пороку; как с другим общение иногда губит его.

Здесь я должен сказать об его отношении к гр. Л. Толстому, которое часто неправильно понималось. Он его деятельность рассматривал в исторической перспективе, т. е. как бы *издали* и в *целом*, вовсе он не сливался с его "учением", даже просто — он отвергал его или почти отвергал; во всяком случае, не придавал ему значения. Но *смысл* его учения, но *направление*, в котором пошел Толстой, — его восхищало, вызывало в нем величайший восторг, прямо энтузиазм. Вот — *путь* (т. е. для писателей), как бы говорил он: путь к исканию правды, путь — к Богу; не эти тропинки, по которым бредет Толстой, но это направление, в котором он двинулся (да едва ли, не *так* себя понимает и сам Толстой? См. его *послесловие* к "Крейцеровой сонате"). Как-то при нем заговорили о "непритивлении злу". "Да, это очень неясная, очень спорная вещь в его учении", — проговорил Страхов; видно было, что он даже не давал себе труда вдумываться в нее; "когда приехал из Киева (едва ли не г. Витте), его спрашивают: ну, *что там нового?* он ответил: *да что? разве то, что все нигилисты поделались толстовцами*; он сказал это небрежно: очевидно, он не следил за фактом, факт бил в глаза — и разве этот результат не поразителен, не благотворен? Сухой, черствый, жестокосердый нигилизм перевести к мягкости, серьезности, религиозности Толстого". Еще раз он сказал мне: "Никто и не останавливается на учении Толстого; его посещают, беседуют с ним, размышляют; и потом вы видите — едут в Оптину пустынь; множество примеров". Другой раз, после одного рассказанного у него эпизода, он проговорил с задумчивостью и грустью: "Да, это печальная для Льва Николаевича сторона дела, что его писания всецело овладевают как-то слабыми головами". Вообще *детали* в учении Толстого его не занимали; его доктрина в составе своих *членов* для него почти не существовала; но Толстой как человек и писатель, как мыслитель — был для него велик и прекрасен; он не находил слов, чтобы выразить к нему почтительность и любовь. Как-то однажды Страхов очень спорил об одном писателе, уже умершем, — очень порицал его: "Он (этот писатель) точно лишен бедодеяния *чистого* и *нечистого*; в нем вовсе нет ощущения этих вещей; с великим талантом, чудесным языком он говорит о прекраснейших вещах и вот начинает говорить о величайших мерзостях без всякого чувства, что это уже другое... (он на минуту остановился и поднял глаза на собеседников): вот Толстой — в нем удивительно это чувство чистоты; какое бы у него сочинение вы ни взяли, вы увидите, что чистое и нечистое никогда не смешивается в его глазах, что он постоянно видит сам и дает вам чувствовать разграничивающую их черту". Я передаю не очень точно и поэтому очень слабо мысль Страхова; но он сказал это таким особым тоном, что нельзя было не почувствовать, что *здесь* именно центр его привязанности к Толстому; что после долгого пытанья, долгого всматривания он увидел в нем человека, к груди которого можно прилечь и не замараться, не обжечься, не "погубить душу". Он почувствовал к нему *доверие*, и, конечно, это выше терминов "гениальность" и всякой литературной гари и нечистоты, какую — едва ли *чувствуя* этого писателя глубоко — люди окружают его имя.

"Вот, Господи, сколько было сил — я подошел к Тебе: возьми же и донеси меня силой Твоею через остаток пути, где ноги мои не шапуют почвы и руки тшетоно протягиваются в темноту" — так, в последнем синтезе, можно определить Страхова, эту правдивейшую и смиреннейшую душу, смиренную в очень богатых (кто мог его *понимать*) дарах. Его жизнь и его нравственный образ вполне удивительны; я уже не хочу говорить, что они особенно удивительны в нашем веке. Долго будет это всеми отвергаться, но когда-нибудь будет признано: что в нем, в совершенно простых чертах, среди нас жил феномен, придавший лучшее и благороднейшее выражение всему лику нашего времени. Как незаметен, по-видимому, он, не ярок, бесшумен: Страхов умер — что же случилось? о чем писать? о чем даже сожалеть?.. Да, его могила закрылась: чистейшее сердце не *блудет* нас; осторожнейшая мысль уже не *следит* за нами; рука добрая, дрожа-

шая, рука бесконечно благородная, рука, никогда не нуждавшаяся в благодарности, даже в простом рукопожатии, — уже не поддержит нас в падении. Страх умер — о чем *писать*? Да, но *плакать* можно и, быть может, следует: литература в нем потеряла пестуна своего; наша незрелая, младенческая мысль потеряла в нем драгоценнейшую няню, как-то естественно выросшую, само собою поднимающуюся с почвы среди цветов, дерев, "пшеницы и плевел" нашей словесности. Это Бог во благовремении ее послал, послал в самую тревожную, опасную минуту нашего роста... Личная, индивидуальная жизнь Страхова была глубока и сложна; мы не имеем почти следов этой жизни в его словах; мы имеем в них только *плод*, только *вывод* глубокой мудрости и великой старости¹.

II

Необходимо, для характеристики покойного, указать его отношение к идеям веры и свободы. При жизни, когда он отказывался печатно об этом со мною полемизировать, я говорил, что это нужно для *дела*, для сохранения важных черт его личности, и, по крайней мере, по его смерти нужно будет указать на это. Трудно сказать, на какой стороне здесь истина. Иногда думается, что весь источник спора заключается в избрании точек зрения, *откуда* смотришь на религию, моментов *в ней самой*, в которых *ее* рассматриваешь. Страхов смотрел на религию исключительно подчиненно: истина дана и ее нужно принять — принятие может быть только *свободно*; он *вовсе не смотрел на религию из ее центра, из зерна* растущей и *покоряющей* себе истины, силы, значения. Религия *in werden*² — это не пришло к нему на ум, религия *in sein*³ — это одно он знал; и вот отчего активные, деятельные, даже разрушительные, иногда грозные манифестации религиозных чувств в истории были чужды и непонятны ему, были глубоко враждебны и антипатичны в самой идее; понятна была только мирная культура усвоения. С каким-то недоумением, тоской, наконец, с негодованием и истинным неуважением он выслушивал мысль о возможном насилии в сфере религиозных чувств; нельзя передать той красоты духовной, того ума и благородства, с которым он указывал, что никогда и ни для какого случая Спаситель не разрешал насилия, что весь дух Евангелия есть дух убеждения и никогда принуждения. По-видимому, тут было недоразумение: принудить *верить, слиться* со мною в вере — никогда нельзя; усвоение веры, как акт чисто субъективный, внутренний, сердечный, — *eo ipso* может совершиться только усилиями верующего, т. е. только свободно. Но верующие не только не могут, но и не должны выносить присутствия отрицаний своей веры около себя: итак, не принуждение к вере, но акт сбрасывания с себя, физический и территориальный; всякого легкомыслия в вере и ее искажения — есть то, правоту и необходимость чего я всегда чувствовал. Это я говорил ему, т. е. в форме отрицательной, не как принцип *intrare compelle*⁴, но — *extrare compelle*⁵. "Как сбрасывать? Да если я *не могу* верить, чистосердечно, искренно..." В смущении я ничего не говорил... "Так рожном меня?" — и он сделал жест. "Для чего вам жить среди верующих, уезжайте в Германию", — сказал я. Все наши

¹ Однажды, в шутовском разговоре, он сказал: "Я люблю *три* вещи: логику, хороший слог и добродетель"; рассмеявшись и попрекая его за такой порядок любимых предметов, я сказал: "А вот, я расскажу это в вашем некрологе". Он с живостью обернулся ко мне и сказал: "Когда я умру — скажите обо мне: *он был трезвый среди пьяных*". Ясно, что *так* определял он себя мысленно среди современников.

² в становлении (нем.).

³ в бытии (нем.).

⁴ убедить прийти (лат.).

⁵ убедить уйти (лат.).

разговоры об этом текли как-то быстро и неясно; была какая-то несговариваемость, что-то непостижимое в идеях каждого для другого. Не держали ли мы факты различные в уме: он упоминал о духоборцах на Кавказе, куда-то сосланных около этого времени; о толстовце, у которого отняли ("взяли в опеку") сына; я же держал в памяти (из "Дневника писателя" Достоевского) факт, когда жена, ежедневно избиваемая, чуть не поленом, самодовольным мужем, просила защиты у "мира", и "мир" ответил ("промямлил", — пишет Достоевский) уклончиво-индифферентно: "Живите согласнее"; она удавилась через несколько дней, кажется, на глазах 5-летней дочери; и еще держал я в памяти бездну любви истерзанной, оплеванной. "Вы не только темно и запутанно, скверным синтаксисом написали эти статьи: это — ваше дело; но вы совершили ими дурной поступок в литературе, — и это уже мое дело". И опять тут была нить, которая убеждала меня в истине моих мыслей. "Это — мое дело, — говорит он о дурной мысли; эта дурная мысль есть худой поступок, когo бы он в себе не допустил и, будь редактором, не допустил бы его на страницах своего журнала; но, Боже, чего же я хочу иного, как чтобы жизнь, история та же хорошо редактировалась, чтобы одна страница в ней не говорила одного и другая — противоположного". Не без боли я смотрел на выражение его лица, так убеждающего, с которым так хотелось бы согласиться, — и нельзя было; однажды, забывшись, он просто стал кричать на меня, чего с ним никогда не было, и потом, спохватившись, проговорил: "Ну, Бог с вами, — пейте чай". Мне же казалось, что в этой так непостижимой для него мысли скрыт истинный λόγος¹ истории; тайна управления ею. "Евангелие кротко"... Но, Боже, род "лукавый и прелюбодейный" не обратил ли самую его кротость в риторику для себя и прикрыл ею жестокосердие? Евангелие разрушают, и, едва вы подняли руку, чтобы защитить его, — вас спрашивают: "Разве это по Евангелию? Спаситель повелел Петру — *вложи меч в ножны...*" И повсюду, во всех ее линиях, жизнь наша облеклась в христианскую терминологию, при исчезновении духа христианства, и, двигаясь по мотивам, ничего общего с христианством не имеющим, — в неправде своей, в жестоковийности пытается опереть себя на Евангелие, по крайней мере защитить свое бытие им, — и обыкновенно успевает в этом. "Хладенющая любовь", которую грозил Спаситель "последним дням", — ее дни настали, и вот она произносит термины: "любовь", "милосердие", "прощение", ничего этого *около сердца* не имея. Вот откуда жажда "опалющей святыни" актов насильственных в пределах самой веры: из жажды нарушить всемирно наставшую условность языка, пробудить людей к реализму и истине; ибо это закон природы человеческой, что, когда телу очень жестоко, уста теряют искусство лгать. Не от этого ли все бедные, нуждающиеся, все, кому *трудна* жизнь, все истинно гонимые и мучимые в истории были просты и правдивы; жили грубым реализмом, в котором спасение; не от этого ли проповедь Спасителя понесена была к ним, и они ее услышали, когда фарисеи и книжные люди, жившие в *условной лжи* "закона", т. е. в законе истинном, но прикрытом условною их ложью, остались к словам Спасителя глухи? Настала некоторая всемирная глухота к истине и в наши дни; и нет средств преодолеть ее иначе, как *жгущей* истиной — истиной, которая *кусала* бы ухо и *рвала* человека к вниманию...

Вот почему, — конечно, в идее только, — статью "Свобода и вера" я решил-ся нарушить этот всеобщий риторический мир: мир, который ложен; мир, под прикрытием которого живет всякая неправда; мир, который не от Христа, но в котором создается царство противу Него. В этой и последующих статьях, "так дурно синтаксически написанных", дан полный очерк мотивов к нарушению мира; именно в интонациях, с которыми и связана запутанность, лежит потенциально взрыв чувств — тех именно, какие могут и должны взломать лед всеобщей условности.

¹ логос (греч.).

Но, повторяю, так много красоты в отвержении этих идей, все-таки по существу жестоких; так много красоты в Евангелии всепрощения, и всякое отражение ее на каждом человеческом лице так прекрасно, что, не убеждаемый нисколько доводами, смотря лишь на прекрасное лицо Страхова, я поддавался и предпочитал молчать, видя его гнев. "Никогда, никогда Православная Церковь этому не учила: в ваших мыслях есть существенно католический характер..." Это была наиболее смущавшая меня сторона дела; но не "католический характер", следовало бы сказать, а "характер *последовательности*, который есть также и в католицизме". Вся наша (русская) история — особенно в эти два века, и чем далее, тем хуже, — носит характер хаотичности; все в ней "обильно", "широко" — и все "не устроено"; мы как бы живем афоризмами, не пытаясь связать их в систему и даже не замечая, что все наши афоризмы противоречат друг другу; так что *мы* собственно, наше духовное я, — неопределимы, неуловимы для мысли и вот почему не развиваемся. "Существенно католический?" — нет, но нравственно-последовательный и так во внешних чертах, без изменения внутреннего я, пожалуй, и католический. Так же мощно, прекрасно, так же вековечно, как католицизм, — и даже по внутренним задаткам несравненно вековечнее — поднимется Православие, доселе захудалое, — жемчужина, тонущая в навозе нашей действительности. Никогда *внутри* себя оно не станет нетерпимо: кротость, милосердие, чистый Евангельский дух — все то, что удивительным образом в нем единственно на земле сохранено (это признавал и даже указывал мне Страхов), — тем прочнее сохранится в нем, чем тверже, *нетерпимее* оно отвергнет все внешние на себя посягательства — католицизма ли, протестантизма ли или еще более опасные посягательства нового ложного "просвещения".

Некоторая духовная гордость, гордость обладания истиной, — это все, эта вся тень упрека, какая могла бы быть высказана новым пожеланием, с какими я обратился к Церкви, — сколько смел это сделать; и ничего более, ничего еще, ибо смиренно я не коснулся ее содержания, ни слова об ее учении не высказал, поставив только "рожон" около ее внешних притворов. Как великая самоуверждающаяся истина, она отрицает все свои отрицания; она удаляет их за горизонт своего видения: это, пожалуй, нетерпимость — и *католическая* черта; но более — черта *последовательности*, которой в свое время следовал и католицизм и ею устроился. Это — вечная логика; и нельзя же Православию отказаться от употребления силлогизма потому только, что он был открыт "языческим философом". Но внутри этой черты, по *сю* сторону крепко запертых дверей — что мешает Православию сохранить весь свет и радость и теплоту своего научения, своих молитв? Зачем ему сумрак католицизма, тоскливость протестантских сект? Это — не от Бога, потому только уже, что это — не радость. Снова и снова повторяем: только в Сирии, только в Греции, только в Балканских землях и на широких равнинах России сохранена еще тайна молитвы; это — сокровище, уже всюду утерянное. Нет более *умелых* молитв нигде: храм потух повсюду в западных, протестантских и католических странах; там есть догматы, богословие, церковная археология; есть залы музыкальных собраний, морализированье с церковных кафедр, и нет ничего подобного живому, горящему молитвой, храму Православного Востока. Дать его залить новой цивилизации (как он уже заливается в "лаических" землях южных славян), из почтения большого перед формулами французского просвещения, чем перед заветами Евангелия; не помешать "свободно" опспорить эти молитвы, поглотиться над ними (разве уже Щедрин со своими "же за ны" и "же махаху" не простирал на это дерзости?), — совершить это наш век, наше время, наше поколение, может быть, хотели бы... Но ведь этого многоголового Louis XV с его *après nous le deluge*¹ — не выраешь потом из могилы; и пусть можно будет развезть его кости: это уже не поправит преступле-

¹ после нас хоть потоп (*фр.*).

ния. Итак, лучше преступлению не совершиться, т. е. его не допустить, хотя бы по нужде, насильственно.

И почему, почему в "жестком для тела" не допустить некоторый коррелятив греха? Наша природа уже испорчена — признаем это смиренно и свой грех обречем жертве. Действительно: слабость веры, блуждания ума, самый атеизм уже стал как бы природой некоторых людей; но для чего в этой природе человеку гордо замыкаться? Не лучше ли, уединившись от нее умственно и все-таки не будучи в силах ее сбросить с себя, — отдать ее, как нечто чужое, постороннее себе, на суд и присуждение. Здесь все-таки есть некоторый просвет к свободе, некоторая дверь убежания от зла, его отрицание. Я не верю, я совершенно не могу поверить, и вот — я отрицаюсь себя, становлюсь индифферентен к своему я и соучастую сам всему, что с ним производят. Изгиб духовный, имеющий точку опоры для себя в таинстве покаяния... Это даже для неверующего, как бы совершенно обреченного, лишенного всяких духовных сил, есть средство не выйти из стада Христова...

И много еще аналогичных доводов я развивал перед Страховым; более сбивчиво, чем здесь. Он настаивал, что это выходит из пределов литературы: "Литература есть существование сфера духовного воздействия, и по этому самому о материальном воздействии, о физическом принуждении она не может даже поднимать вопроса: это всегда для нее чуждо, всегда ей враждебно в силу самой природы ее". В другой раз он говорил: "Вы можете это проводить где-нибудь в комиссии, но не на страницах журналов; усиливайтесь изменить законодательство — это ваше дело, никто этого права у вас не отнимает. Но, оставаясь писателем, т. е. владея сами только духовными средствами и подчиняясь лишь духовным же воздействиям, — заговаривать о насилии вы не вправе, не отрекаясь от себя, не изменяя своему призванию, избранной вами сфере труда". Как бы в ответ на это, предупреждая самый вопрос, в статье "Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической?" — я развил образ исторической жизни, понимаемой как состязание кафедр, где люди производят друг перед другом речи, нагромаждая горы слов. "*Но кто же начнет действие?*" — спросил я там и ответил: *Тот — кто, имея более веры, чем все говорящие, первый над ними произведет насилие, создаст факт; и в ответ вызовет насилие же, новый факт*"... Вообще, нечто *несговоримое* было между мною и Страховым; у него была линия законченных соображений, куда мои доводы не проникали, не могли быть вставлены; мне же казалось все так аксиоматично в линии моих мыслей, что хотя я его слушал и с болью смотрел на его лицо, — но вместе как бы и не слышал, но только любовался просветами — противоположной своей — веры, которая в нем сказывалась. Еще он говорил, помню: "Вы славянофилы или, по крайней мере, поднялись с почвы славянофильской; вы приносите, поэтому, неизмеримый вред школе, ибо ваши мнения могут быть поставлены ей на счет: между тем славянофильство всегда было терпимо, никогда оно силы не проповедывало". Но он не замечал, что это была школа существенным образом словесная; школа замечательных теорий, из которых никак не *умел* родиться факт. Жизнь именно есть вереница фактов и eo ipso понуждений; понуждали Апостолы, понуждали святые; понуждал Спаситель "выйти торгующих из храма"; понуждали соборы мир, и на самых соборах Отцы Церкви понуждали отступить иересиархов. Слово есть бич духовный так же, как и питающая манна; бич телесный поднимается, когда безумие или порок не внимает никакому слову. Зачем *это* или *то* возводить в правило вечное? не дан ли человеку разум и совесть, чтобы различать, когда и что нужно? Нужен и меч в истории, нужно и слово; прекрасное слово, но необходим бывает и меч. Не будем бояться в себе лицемерия при спрятанном мече; будем бояться глухоты сердца при гремящих "словесах любви". Будем правдивы, будем грубы, будем просты...

Прекрасна вполне была кончина Страхова, — прекрасна по обилию в нем терпения и светлого духа. В Великом посту 1895 г., на третьей или четвертой неделе, садясь однажды у меня за обед, он остановился на минуту и спросил: "Вы замечаете — я худею?" Он был широк в кости, и поэтому особой худобы в нем не было заметно, кроме обычной старческой у нетучных людей. Впрочем, как будто некоторая худоба в лице была все-таки. Он в это время лечился, то переставая, то возобновляя, — от чего-то за ухом, или в ухе, или около уха, и носил, но только иногда, черную узкую повязку вокруг всей головы, придававшую ему старческий вид; но *болеи* не было, и, как он, так и никто не обращал внимания на это ничему не мешавшее недомогание. Видя его в 1889 году, я уже тогда видал его — при выходе из дома — с этою характерною повязкой. — "Маленькая есть язвочка на языке — и не проходит, — сказал он мне в этот же пост, вероятно, на вопрос о здоровье, — и опухают околоушные железы. Рюльман (лечивший его доктор) говорит — вставьте зубы, а то мы напрасно с вами возмися; а мне не хочется". Он год назад ездил летом на воды в Эмс и вернулся бодрым и веселым: повязочки не было. "Катаральное состояние слизистых оболочек носа и горла", — пояснял он тогда и, кажется, этому, или почти этому приписывал теперешние какие-то неопределенные болячки. Очень скучал он одним — бессилием писать. "Стыдно жить, ничего не работаю", писал он мне как-то. Он не знал лучшей функции, какую выполнял: *присутствие* светлого и доброго, на коего работающие могли бы оглядываться в своем труде. Уже весной, как-то зайдя к нему и не застав его дома, я машинально прошел, дожидаясь огня, в его спальню-кабинет: листки узкой белой бумаги, целою пачечкой, лежали исписанными на письменном столе — обыкновенном ломберном раскрытом столе, который ему служил вместо письменного. На нем стояла (кабинетная) карточка гр. Л. Н. Толстого, снятая в блузе, с засунутыми за пояс руками, и лежало 5—6 книг; в 3-х шагах от стола, наискось, стояла кровать, с бедным шерстяным одеялом, над изголовьем висела большая гравюра Божией Матери Рафаэля — della Sedia; у ног — гравюра с знаменитыми надгробными изваяниями аллегорических "Дня и Ночи" — Микель Анджело. Далее, от потолка до полу, у всех трех стен стояли полки с книгами: тут особенно была замечательна полка с классиками-математиками и натуралистами. В первых и в улучшенных позднейших изданиях стояли Ньютон и его ближайшие предшественники и продолжатели. С благоговением, бывало, я рассматривал editio princeps¹, на сероватой бумаге, в малую четверку листа "Philosophiae naturalis principia mathematica"². Далее, стояли тут Линней и другие основатели живой органиологии. На другом столе, близ окон, обращенные корешками вверх, лежали новые книги, по естественным же наукам; здесь, в его спальне, жил новый мир: не было humaniora³. Он объяснил мне, придя, относительно листочков, что работает над статьей "О естественной системе, или Идее естественной системы"⁴; он стал спрашивать о заглавии, и, правда, все были

¹ первое издание (*лат.*).

² "Математические начала натуральной философии" (*лат.*).

³ человечность (*лат.*).

⁴ Рукопись статьи этой находится или у наследника Страхова, или у г. Б. В. Никольского, автора обширных посмертных статей о покойном. *Ее необходимо издать*, ибо ее место в *организме* работ Страхова очень важно, и нет никакой важности, что она выполнена лишь наполовину или на четверть. В Страхове как *писателе* нет *пустых* страниц, и каждое его предложение, включая в себе определенную мысль, есть уже приобретение для ума размышляющего. Кстати, последние 5—6 лет он очень занят был, в мыслях своих и, быть может, на бумаге, темой статьи — "О мере, числе и времени". Редакция журнала "Вопросы философии и психологии", уже так много сделавшая для поддержания у нас философских

как-то неудобны в словесном или логическом отношении, удобные же не выражали мысль статьи. "С восторгом читаю Декандоля, — он развел руками, и что-то бессильное выразилось в его фигуре, как всегда при восхищении, — вот книга, вот как нужно писать. Какое обилие мысли, что за точность выводов"... Он не досказал, но ясно было, до какой степени слабы (в его глазах и почти наверное — в действительности) были новейшие пусто-писания сравнительно с полузабытым этим классиком. Но он любил и новые превосходные сочинения: как-то однажды я застал его за чтением только что появившейся французской книги об *общественных* (или *колониально живущих?*) животных, как кораллы и другие. "Вот, переучиваться приходится на седьмом десятке лет", — сказал он мне на вопрос о книге. Вообще ничего *стариковского*, или враждебного к *новому*, в его умственных симпатиях и вкусах не было. Он, напр., терпеть не мог волюминозные издания XVIII века классических писателей: "Отвратительнейшая редакция — весь текст перевертан", и он или продавал букинистам, или дарил приятелю классика в пергаменте, когда появлялось лучшее издание в Берлине. Так, в трудах, проходили его дни, и первый раз в Троицын день этого года я узнал истину о его болезни...

Сев в кресло — он пришел ко мне за час до обеда, — он оживленно заговорил: "А меня, Вас. Вас., собирались резать... — Да! да!.. Рюльман говорит: никакого толку из нашего лечения не будет, пока вы зубов не поправите; вставьте зубы, и болячка сама собой пройдет; иначе язык постоянно раздражается острыми остатками корешков. Ах, думаю, напасть, — ну, что делать; это было в пятницу, в субботу отправляюсь к зубному врачу, говорю: нужно мне вставить зубы. Он посмотрел: нужно вам будет сделать челюсть. И стал снимать мерку, форму десен; я ему говорю — мне больно. Он снял — массу или шаблон измерительный — и посмотрел внимательнее зубы. — "Я вам не могу вставлять зубов: у вас тут ранки, и вам нужно отправиться к хирургу и залечить их предварительно". В понедельник у нас заседание комитета (Ученого комитета Министерства Народного Просвещения, в котором он служил); во вторник отправляюсь к Склифасовскому; рекомендую ему: но он меня помнит, оказывается, по Одесской гимназии, где он учился, когда я был там учителем. Обласкал меня, как только может ученик обласкать старого, случайно встреченного учителя. Я рассказываю ему, в чем дело, и заключение зубного врача. Он усадил меня и стал исследовать. "Вам нужно приготовиться к мысли, что нужно сделать операцию; я вам ее сделаю, и это вам ничего не будет стоить"... До того хорош, и деликатен, внимателен. — Что такое, думаю; нужно еще с кем-нибудь посоветоваться. Есть у меня в Медико-хирургической Академии хороший и давнишний знакомый, профессор патологической анатомии — Ник. Алекс. Батуев: иду к нему, рассказываю все и прошу совета, как поступить. Он тоже посмотрел и говорит: "Отправляйтесь к Мультиановскому — оператор при Николаевском военном госпитале и светило в хирургическом петербургском мире, — и что он вам скажет, то и нужно будет сделать". Пропускаю среду и иду на другой день к Мультиановскому: "Мы операцию успеем сделать, если необходимо, но я вам дам полосканье, и вы аккуратно его употребляйте, а через два дня я у вас буду"...

Третье присутствовавшее при этом лицо говорило потом, что с первых слов рассказа я смотрел на него с ужасом: в самом деле, с первых же слов зубного врача я понял, что это был рак... От старых и опытных людей мне приходилось слышать, что у умирающих Бог как бы отнимает разум, наводит затемнение на них, вследствие которого они не видят то, что ясно как день для остальных. Язвочка на языке, не поддающаяся лечению; оказывается — такие же и в деснах, около зубов, уже не вызываемые раздражением о них; худоба, замеченная самим

изучений, оказала бы историческую услугу русской образованности, если бы *теперь*, пока еще *не поздно*, приняла меры к разысканию и напечатанию философских начатков усопшего — планов, обрывков и т. п.

ранее; и — "мысль приготовиться к операции". Бедный и милый друг — "приготовиться к смерти", следовало бы сказать... "Что же вы не сказали об этом нам в среду, когда мы были у вас?" И вот, никогда, никогда я не забуду его ответа, прошедшего до глубины души и в котором вдруг обнажилась и просияла его прекрасная, смиренная и добрая душа: "Зачем же бы я стал огорчать моих друзей?" Невозможно забыть тона, каким это было сказано: истинно праведная душа, которой заноза в пальце ближнего больнее, чем отсечение своей руки; осторожно, бесшумно, никого даже не заставив встать, он хотел уйти из мира, к своему Богу, оставив людей так же беседующими, не замечающими его отсутствия, как бы он на минуту только вышел, и вот они ждут, но он уже не вернется... В среду он не был ни смущен, ни расстроен; не был говорлив, но и не был задумчив; так же тихо шутил и подавал обычный свой чай.

Скоро — через день или два — передано мне было известие, что болезнь — действительно *рак*, чрезвычайно уже запущенный, и операция будет произведена г. Мультановским, в Николаевском госпитале, где больному отводится свободная (за выводом собственных больных в летние баракки) комната в офицерском отделении. Сказан был и день операции, кажется — суббота. Во всяком случае, именно накануне вечером я пошел провести с ним вечер. "А, отлично, отлично, — встретил он меня, не вставая с кресел и не выпуская из рук какую-то книгу, — будем пить чай"; и, сделав торопливо распоряжение: "До чего, до чего вы были не правы, нападая на Гоголя: я перечитываю вот, по просьбе Майкова — его просил Маркс сделать выбор статей для популярного дешевого издания, — и изумляюсь; изумляюсь этой неистощимой силе творчества, этой верности взгляда, этому чудному языку. Вы говорите — "Мертвые души": да помилуйте, они до сих пор живые, оглянитесь только, только *умейте* смотреть..." Он знаменитого нашего политика-дипломата, уже умершего. "...Это был, — он развел руками, — в огромнейших размерах, в грандиозных, массивных чертах, но — *только* Хлестаков; Хлестаков — и ничего более, с теми индивидуальными черточками, какие уже умел подметить в этом типе Гоголь..." И мы весело заговорили, заговорили как никогда оживленно; речь как-то коснулась Толстого, и, поспешно встав и выйдя в другую комнату, он вынес том его последнего дорогого издания, где, открыв "Декабристов", — прочел мне из них некоторые отрывки. Я и раньше читал этот неоконченный отрывок, в каком-то литературном "Сборнике", где он впервые появился, но ничего особенного в нем тогда не заметил. В превосходном выразительном чтении Страхова я вдруг увидел в нем бездну для себя нового — бездну значительного, и, что меня заняло, — значительного для самого Толстого. Я слушал чтение с восхищением к художественному мастерству рассказа и с живейшим любопытством относительно написавшего рассказ; но я также чувствовал с горестью, что, в силу дурного чтения, в силу *неумения* читать, мы знаем, поняли и оценили только малую долю тех сокровищ ума и дивного искусства, какие таятся в наших классиках; мне показалось, что от этого мы гораздо менее развиты и образованны, чем могли бы, чем уже имеем средств... И, переносясь далее мыслью, я думал с досадой о школе, где ничему, чему следует, не выучивают; думал с презрением о "литературных вечерах", где не читают просто и задушевно, а *ломаются* перед публикой литераторы... А чтение все продолжалось.

Часы летели, и около 12 я хотел подняться. Во все время, как мы говорили, я не забывал об операции. Но таково жестокосердие человеческое, что, когда ему не было больно завтрашнего дня, и мне не было его больно. Я не очень смеялся, но был истинно увлечен беседой, и увлекающим был *он*: мысли, возбужденные чтением, как-то текли по своему закону, когда тут же, где-то в стороне, но не уходя, стояла мысль об операции. Уже было за полночь. "Ну, хорошо, Николай Николаевич, но что же Мультановский и как ваше полоскание?..." — "Мультановский был сегодня утром и сказал, что нужно сделать операцию..." Не переменяя тона и как бы *его* продолжая — "Ну, что же, Николай Николаевич, — сказал я, — нужно это сделать, уже как *он* сказал..." — "О, да, да! Я нисколько, нисколько-

ко..." Он затруднился словом: "Да куда вы спешите; конки уже перестали ходить, и вам все равно придется взять извозчика". Я сидел у него еще часа полтора и, спокойный, ушел от спокойного, с каким-то далеко стоящим ужасом в душе...

Перед операцией, на другой день, он сидел — это было уже в больнице, куда его взяли утром, — за чаем и начал письмо к гр. Л. Н. Толстому, без сомнения, с известием о болезни. Вообще чрезвычайно была любовь его к этому человеку; к Данилевскому Николаю Яковлевичу он был привязан, как к типично собравшему в себе светлые народные черты: ясный ум и твердый, открытый характер; к Аполлону Григорьеву — как к инициатору правильных приемов в любимейшем его деле, критике; к Толстому привязанность его была более глубокая и мистическая: он любил его, как олицетворение лучших и глубочайших стремлений души человеческой, как особый нерв в огромном теле человечества, в коем мы, остальные, составляем менее понимающие и значащие части; он любил его именно в его неясности, неоконченности... Любил в нем темную бездну, dna которой никто не видел, из глубин которой еще поднимется множество сокровищ; и, нет сомнения, лучшего друга Толстой никогда не терял. — Письмо не было еще окончено, когда вошли доктора и сказали, что все уже готово в операционном зале. "Я сейчас, сейчас..." — сказал он, отодвигая письмо, и, запахивая больничный халат, пошел... Операция — под хлороформом — длилась почти два часа; за дверями ожидало его несколько друзей и знакомых, из последних один мне передал эти подробности. Дверь отворилась, и смертельно бледного и недвижного, его пронесли на носилках. Не выдержал и горько заплакал среди присутствующих любимейший из друзей покойного, Иван Павлович З., директор одной из петербургских прогимназий, старый-престарый... Отрезана была половина языка, и вырезаны были ранки в деснах и железы около ушей, под нижнюю челюстью. Это давало 6—8 месяцев жизни и, главное, — кончину без тех ужасных мучений, какими осложняется рак полости рта в случае, если операция отсутствовала.

Я увидел его только на четвертый день, занятый все это время у себя больным; со страхом, полуживого я ожидал его встретить и, робко отворив дверь, подходил к постели с неясным силуетом лежащего на ней человека... Розовый, свежий, вполне прекрасный, с веселым выражением глаз — он пожал мне руку и, указав на рот, дал знак, что не может говорить: "Запрещено говорить до снятия швов", — пояснила мне сестра милосердия, дальняя его родственница, за ним ухаживавшая, Наталья Ивановна, — да будет благословенно ее имя. Лицом и рукой он сделал ей какой-то знак. "Велит вам рассказывать, как производили операцию", — пояснила она и повела рассказ, при живом его внимании в останковках, когда она должна была поправить или вспомнить подробность. Хлороформ не все время действовал, был перерыв, он очнулся и закричал: "Не давите мне ноги"; а на ногах сидел солдат-служитель; крови было потеряно мало, вследствие искусства оператора; долго продолжалась операция, вследствие обилия кровеносных сосудов в языке, требовавших перевязки.

И потом я его часто посещал, иногда вечером — надолго, иногда утром, на краткий час перед службой. Мы пили бесконечный чай и бесконечно "говорили". Где тетрабочка, где он писал — карандашом, подкладывая дощечку, употреблявшуюся им при корректурах, — свои вопросы и на которой отвечал? Так хотелось мне сбереечь ее на память, и я просил, но, верно, он отдал другому, более хилому человеку. В первое же посещение он написал мне: "Мульгановский сказал: в вас нет теперь никакой болезни, — только швы снять"; и еще: "он сказал — отличнейшее сердце и отличнейшие нервы". Его постоянно посещали, и тут сказало, как много и многие любили этого доброго человека; почти постоянно приходили письма, между прочим, от Толстого и его семьи, где он был так любим. Ни тени уныния я в нем не видел; ни тени сожаления о происшедшем, о потере языка, о том, что вот он — в больнице, что в такие годы ему пришлось перенести такой труд... Не успел я есть или едва задумывался, как он уже писал: "Да рассказывайте же..." Я решительно не знал, о чем рассказывать: так же было

обыкновенно, кроме *его* самого, его *ближайшей* смерти. Но он этим не интересовался; он интересовался суетой, миром, людьми, литературой. Около него, на столе, лежало 4—5 последних книжек журналов; он отметил в библиографическом указателе г. Колубовского (в "Вопросах философии и психологии") несколько строк под рубрикой "Н. Н. Страхов" и написал мне: "Кажется, эта статья моя была содержательна — и только (то есть так мало строк в указателе), — ну, что это". В нем была прекрасная черта открытости, и он не скрывал, не *затаивал*, как огорчает его молчание или радуется похвалой. Занятый, позднее несколько, статьей о Толстом и желая проверить свое впечатление, я спросил его о Василии Андреевиче (в "Хозяине и работнике"), что он думает об этом типе, кажется ли он ему дурным, достойным осуждения; живо взяв тетрадку, он написал мне: "Отличнейший человек — *горячий*" — и подчеркнул "горячий". В самом деле — это *главная* черта "хозяина", т. е. по всей *основе* своего характера он прекрасный человек, только несколько запутавшийся "в делах"; Толстой это *почувал* художественно, создавая тип, а рефлексивно, осудив его, *ошибся*. До операции, я помню, Страхов был ужасно возмущен статьей о "Хозяине и работнике" в "Вестнике Европы": рецензент находил паскудство в изображенной там жизни и объяснял ее отсутствием школ в окрестностях. Паскуден был и работник, пьяница и грубиян ("жену бил" или собирался бить), а в хозяйне, "эксплуататоре и кулаке", критик уже и подобия человеческого не находил. Страхов был очень взволнован. "Да успокойтесь — это все от природы глупые пишут", — сказал я; он с недоумением на меня посмотрел. "Критик чувствует в себе, что все, чему он обязан, — это школе: природа ему ничего не дала; и вот естественно у него возникает идея, что если нет школы — *eo ipso* окружающая жизнь паскудна, и именно от ее отсутствия". Но статья, в высшей степени оскорбительная, неблагородная какая-то, низкая по своему тону, глубоко втайне возмутила и меня, и никогда я не написал бы Толстому несколько грубых упреков за "хозяина", если бы предварительно бедному, умершему на работнике, Василию Андреевичу не надавал заушений бессердечный, тупой, глубоко неразвитой и необразованный рецензент академического и великосветского журнала.

Но светлые дни прошли; на лето, почти тотчас по выходе из больницы, Страхов поехал сперва в Ясную Поляну; потом к семье Данилевского, в Мшатку, на южном берегу Крыма; и на обратном пути поехал и погостил в Белгороде, своей родине, и в Киеве — у родных. Никогда и никому он не называл своей болезни, но едва ли он не знал ее существо: так похоже было на прощанье это посещение всех ему дорогих по воспоминанию и по живой дружбе мест. Замечательно: придя к нему на дом, в начале лета, еще до отъезда — я его не нашел веселым. Был один огромный недостаток в его квартире: недостаток ясного, *белого*, дневного света; войдя, я почувствовал, что это — огромный гроб, полный книжных сокровищ. Впечатление усиливалось еще отсутствием комнатных цветов, всякой зелени и вообще всего живого: хоть бы он канарейку завел. "Гроб, гроб ошибочно прожившего человека, гроб не понимающего смысл жизни человека: где твоя ученость? для чего она? куда ты унесешь ее? О тебе и оплакать некому и некому тебе позвать руку на прощанье". Вроде этого я говорил ему и раньше; он, смеясь, бывало, отвечал: "О жене беспокоиться нужно — книги не так притязательны и не требуют хлопот". Теоретический интерес сильно перевешивал в нем практический, действие живых эмоций. Взамен он очень любил людей, любил толпу и в ней имел друзей; любил воспоминания и любил надежды — науки, политики, истории. *Настоящее*, ослабнув в напряжении своем, в яркости света, — как бы разлилось на *прошедшее* и *будущее*, он не жил сосредоточенно *теперь* жизнью, и более ярко горела перед ним жизнь минувшая, как и готовая настать. Богу известно, которое из этого лучше: мне же всегда казалось грустною, а следовательно, и ошибочною жизнь таких людей. Осенью, когда он приехал, ко времени открытия заседаний Ученого комитета, он выглядел очень хорошо и заметно, несомненно, пополнен; состояние здоровья было отличное. Я потом узнал, что ему сказано было, для лета, время от времени показывать

себя врачу; но не было случая, да и никакого повода к этому. Одна перемена в нем, однако, была: он всегда и прежде был тих, бесшумен, но он стал теперь *неудовимо* отчужден от всего; никакой видимой, заметной перемены не было, но он меньше слушал, чем спрашивал, не настаивал на ответе: ответ, да и все окружающее ему стало менее нужно. Только чудная его доброта не прошла. В эти последние месяцы жизни он познакомился с одним молодым человеком, который, поспорившись (из-за женитбы) с семьей родителей и начав литературную работу, обрывался в ней, и вот, голодный, обратился к Страхову, прося помощи в прискинии верных занятий. Страхов немедленно же отправился к г. Бычкову, директору Публичной Библиотеки, и к Л. Н. Майкову; и там и здесь было обещано, но нужно было ждать; молодой человек изредка стал ходить к Страхову, но, кажется, видел его не более трех или четырех раз. Последний раз он приходил к нему в воскресенье, 21 января, всего за три дня до смерти. Задыхаясь, едва сидя, Страхов — как только он появился в дверях — воскликнул: "Что же вы не идете к Бычкову?" Нужно было представиться тому и со своей стороны попросить — на что, по крайней степени застенчивости, не решался юноша; дело же определения его на службу от этого затягивалось. И еще мне известны случаи, когда Страхов начинал "ходить" даже по почти ему неизвестным людям "с положением", чтобы помочь в нужде человеку, дать ему заработок...

Он не торопился показаться Мультановскому, по приезде осенью в Петербург, и, видимо, отдалял встречу с медицинским миром; *труд* перенесенной операции сказалося в этом. Освидетельствованный наконец, он услышал, что нужно еще кое-что сделать, "швы внутренние несколько разошлись", и "нужно кое-что обчистить" — во всяком случае нужно быть готовым еще к легкой, поправляющей операции. Он, видимо, этого не хотел; и нежеланию своему нашел пособляющее объяснение. "Ведь они не терапевты", — говорил он мне; я не понимал. "Они не лечат, — объяснял он раздраженно, — и не умеют, и не хотят лечить — они хирурги". Так тянулись неопределенные дни. Под нижнюю челюсть, в верхке от уха, на месте произведенной операции, была небольшая опухоль; как бы лежал продолговатый мешочек, слабо набитый крупой, без всякой, впрочем, боли и даже простой неловкости; тут-то и были "внутренние швы", которые нужно было "поправить". Невозможно было представить себе, чтобы тут содержалось что-нибудь значительное: царапина на лице более была бы заметна и более бы саднела; и мысль об операции, как игру хирургов, он естественно гнал. Нескоро еще он увидал Мультановского, безмерно занятого и иногда больного; и, когда увидал, — тот сказал ему, что выпот может еще всосаться, так что нет крайней настоятельности в операции: раковые узлы уже ушли так глубоко, что их нельзя было сыскать ножом. Иногда он чувствовал — но только самые легкие — боли под мышками, и вообще в шее и верхней грудной клетке прощупывались болящие при надавливании точки, не беспокоившие в остальное время. Опять шли смутные дни, в которые не прерывались ни его занятия для Ученого комитета (разборы представляемых к одобрению учебников), ни посещения ближних своих друзей; однако, видимо, силы его падали, и худоба возрастала. Как-то в половине января 1896 года он должен был у меня обедать; утром приходит открытое письмо: "Ни сегодня, ни завтра не могу я у вас быть — в хлопотах; после расскажу". Я пропустил день; следующий была *среда*: Страхов был расстроен и встревожен, задыхался. "У меня сердцебиение открылось, — сказал он на вопрос, — доктор" — на этот раз "терапевт" — сказал, что это от желудка: желудок переполнен и не очищается — давит на грудобрюшную перегородку и стесняет сердце; прописал слабительное, назначил диету и велел дня 3—4 посидеть дома". — "Разве *radix rhei* — а он его обычно принимал, кубиками, во время еды, уже много лет — не помогает?" — "Нет, нужно более энергическое; неприятно, что лежать нельзя: ляжешь — сердцебиение усиливается; устаешь ужасно". Он был худ, и, видимо, "среда" утомляла его. Мы разошлись раньше, чтобы "дать больному покой"... На лестнице, при спуске с его 5-го этажа, мы остановились и переговорили; кто-то, видевший доктора, сооб-

шил, что разветвления рака дошли до легкого и сердца: отсюда — одышка и сердцебиение, которые будут теперь все возрастать. — "Как только узелки проникли в околосердечную сумку — сердце потеряло свой ритм", — объяснил мне, уже после смерти, Н. А. Батуев; и в самом деле, оно билось теперь то так, то этак, без всякого порядка, — что Страхов и называл "сердцебиением", отмечая, однако, его странные особенности. В следующие за тем дни я посещал его каждый день; в воскресенье — то самое, когда он так заботливо торопил молодого человека к Бычкову, — зашел ко мне Кусков, старинный и неизменный друг покойного, еще от юношеских дней, и пригласил вместе пройти к нему. — "Я не хочу один идти к нему — разговор его утомляет: мы будем говорить при нем, но не с ним". Мы пришли к нему часов около 7—8 вечера. "Устал ужасно — ни часу сна; сердце, однако, лучше... гораздо лучше, — протянул он, — но вот сил нет: это от бессонницы". Тревоги, к *сейчас* относящейся, не было в нем, как в среду; но выглядел он гораздо хуже: точно уходил куда-то, проваливался во что-то. Трудно было быть у него и с ним, видеть его, просто разговоривать при нем. "Читали?" — спросил он, пододвигая книгу и показывая раскрытую страницу; это было — в январской книжке "Русского Вестника" или "Русского Обозрения" — стихотворение гр. Голенищева-Кутузова, что-то о природе, но я хорошо не помнил. Он укоризненно покачал головой: "Я *четыре* раза перечитал", и он сделал движение головой, как всегда, когда не хотел говорить и нужно было выразить удивление или удовольствие. Стихотворение, правда, было хорошо, и, главное, оно как-то шло, было *нужно* и *внятно* умирающему. Страхов любил задумчивые и чистые оттенки музыки этого поэта, которого очень любил и как человека. В гостях у него еще сидела дама, видимо им уважаемая. Мы говорили втроем, стараясь предупредить его вмешательство, но разговор был преднамерен и напряжен, тяжел. Что-то заговорили о службе и наградах — это был январь.

— "Верно, вот Николай Николаевич и не знает, какие есть у него ордена", — сказал кто-то; я вспомнил невольно и рассказал, как в ночь на 1 января 1889 года ему принесли звезду: после звонка и минутного разговора в передней входит его старая Матрена и подает продолговатый ящичек. Он раскрывает и вдруг заволновался: "Ах, да зачем же это? Бог знает что такое; кто их просил? Что же, нужно теперь будет ехать и благодарить?" Я взял ящичек — там лежала звезда и лента. До того мне странным представилось его крикливое почти волнение (в провинции "звезду" всегда "спрыскивают" шампанским), что я недоумевал тогда и никогда потом этого не мог понять. И теперь, передавая — в затрудненном разговоре — гостям эту сцену, верно, я выразил то же недоумение. "Да ведь за нее нужно было заплатить почти 200 руб., а мое жалованье 87 рублей с копейками, — что же вы не понимаете?" — воскликнул он, тоже недоумевая. Тут только — это было за три дня до смерти — я узнал, до чего был беден этот человек, имевший библиотеку, несомненно стоившую несколько тысяч, даже десятков тысяч рублей, езжавший за границу и убедивший меня издать "Легенду об Инквизиторе", взяв на себя расходы. Он всегда был безупречно чисто одет, но более зоркий взгляд других замечал, что все это было ужасно ветхо, хотя и хорошо сбережено; как-то, месяца за два, его спросили, как он справляется с бельем (т. е. будучи бессемейным): "Все поношено, — но уже не хочется заводить, думаю, авось обойдется"; я напомнил об этом, после похорон, студенту Вальневу², жившему с Данилевскими во второй половине его квартиры; он

¹ Платон Александрович — автор простого и глубокомысленного рассуждения "Наши идеалы" (Русское Обозрение, 1893, февраль) и сборника стихов, между которыми есть прекрасные; переводчик сонетов Шекспира и его "Ромео и Юлии". К суждениям его всегда чутко прислушивался Страхов.

² Собственно, окончившему курс филологу; ему принадлежит прекрасное выражение о Страхове (устно мне сказанное): "Он был для меня вторым университетом".

улыбнулся: "да, действительно — все так оказалось изношенным и разваливалось в руках, что едва отыскалась перемена, в которую можно было одеть его" (после смерти).

В понедельник, после службы, я снова был у него: разница со вчерашним днем была поразительная. Куда-то девались прежние черты Страхова, и то, что оставалось в лице, лишь *напоминало* его. Он сидел в спальне, на кресле; теперь уже минута напряжения его истощала: "Не смотрите на меня — это меня утомляет"; голос его был глухой, слова не вняты в буквах; он опирался локтями — одним о стол, другим о ручку кресла; шея с трудом поддерживала голову; уже неделю он сидел. Нужно было сказать утешение, и не было никакого. Развлекать?.. Что-то гнало отсюда, гнало всякого, как ненужного. Скоро пришел доктор, и я вышел. "Еще денька три, может быть, четыре, вам будет трудно, даже труднее будет минутами: но потом мы справимся..." — "Еще три дня", — сказал он с страданием, когда мы остались вдвоем. На лестнице я нагнал доктора — помнитса, Павлова: "Долго ли еще жить ему? ведь он постепенно задыхается; и откуда такая слабость?" Слабость была от сильных возбуждающих средств, которые восстанавливали ритм сердца, но поглощали последние жизненные силы организма: как только сокращались дозы — силы были лучше, и в то же время сердце начинало мучительно биться. Другого соотношения не было, — кроме еще призыва скорой смерти. И тут доктор сказал памятные слова: "Самому больному предложите на выбор — сейчас умереть безболезненно или жить еще несколько, долго, с таким же и даже с большим страданием; и всякий выберет жить — всякий человек". Верно, есть своеобразная мудрость у медиков. Но развязка была ближе, чем он предполагал, — не через полторы недели. Во вторник уже Страхова не было: была грудa дышащего тела, и билось сознание. Он все, однако, помнил — малейшие детали: сужу по невнятным ответам на мои растерянно неуместные слова. Жизнь его и весь труд, весь круг известных ему людей, с их ошибками, — не потеряли отчетливости в его духовном зрении. Только от всех от них, не теряя мысли, он *сам* уходил куда-то и почти уже ушел... Как отличительна, *нова* была его теперешняя слабость, сравнительно с тою, в какой его, в обмороке, проносили из операционной комнаты: там была *жизнь* в теле, при безмолвии и потерянном сознании, — здесь, при ярком освещающем сознании и речи, уже почти отсутствовала жизнь... Есть, в самом деле, различие между телесною душой, мускульною жизненностью, одухотворенностью органов, и между нашим *вобс*¹ — как это заметил уже Аристотель. Первая есть как бы мысль кого-то *об* нас и нам не принадлежит, от нас отходит: тогда органы развязываются, тело гибнет; второй есть собственно наше *я*, во всем ответственное, и в гаснущем теле, когда его жизнь уже только "мигает", — оно полно, как и всегда.

Вечером, в этот же вторник, к нему пришел Кусков и встретился с торопливо пришедшею девушкой — родственницей, которая ухаживала за ним в госпитале. Она служила в одной из общин Красного Креста и, позванная еще накануне Страховым, была задержана дежурством на целые почти сутки. На этот раз решили его уложить: точно застывшая на нем одежда, столько дней не снимаемая, наконец облегчила его. Долго за полночь сидел и читал над ним почти 40-летний его друг и незаметно был выпущен в дверь сиделкой. Незаметно же, где-то между полуночным часом и утренним, отошел и Страхов... Все поздно было, что хотели около него сделать, и опоздало все для его собственного, выраженного кивком головы желания.

На другой день, в среду 24-го, вернувшись после панихиды по Достоевском к нему, я нашел странную свободу в квартире: никого не было и двери были раскрыты; машинально я прошел в спальню — и там не было никого. На столе лежал какой-то огромный пакет, казенный, и машинально же я заглянул в него: там были рукописи и едва ли не книги. "Да где Николай Николаевич?" — громко

¹ ум (греч.).

спросил я. Вошла — очевидно, впрочем, не на зов — Наталья Ивановна и, не здороваясь, странно и угрюмо посмотрела на меня. "Где Страхов?.." — "Как где? — еще сердитее она ответила, — умер". И она указала на комнаты Данилевских. Там, на сдвинутых столах, под коленкором, лежало дорогое тело; читали псалтирь; около него стоял какой-то господин: я едва узнал — это был, однако, несомненно, Ал. Ив. Георгиевский, председатель Ученого комитета. Он ничего не знал о трудном положении Николая Николаевича; он привез ему, кажется, жалованье и тот огромный пакет с рукописями, требовавшими разбора и одобрения. Мы немного поговорили об усопшем и разошлись. Началось обычное течение вечерних и утренних панихид...

IV

Так умирал и умер этот человек — лучший, какого я когда-либо знал. Многое можно было бы указать, чего недоставало ему, что в нем отсутствовало, с чем он не был рожден (именно — страстных и порывистых, творческих эмоций); но то, что в нем было, — им было упорядочено до высших форм совершенства, доведено до высшей степени культуры, просвещения, блага. Это был землевладелец, распахавший свое поле с заботливостью и умом, какого только мог потребовать от него Пославший его в мир. Вот почему эпитет *безупречности* не только может быть дан ему в целом, но он наворачивается на язык и при рассмотрении каждого шага его жизненного пути, каждого им совершенного дела. Именно этой постоянной вдумчивостью в то, что им делается, детскою чистотой души, которая едва останавливалась на границе¹ наивности, огромным умом, истинною мудростью сердца в распознавании светлого и темного, нужного и бесполезного, серьезного и пустого — он выделялся на фоне людской толпы, он с нею никогда не смешивался. Без страстных, порывистых движений в себе, никогда не составив центра какого-нибудь шума, движения, он был, тем не менее, неизмеримо богат *индивидуальностью*, и богатство *индивидуальности* же лежит на его трудах. Но это была та индивидуальность, к которой нужно присматриваться, уметь ей *внимать*, ее *ловить*; чудно идет к нему эти стихи Баратынского, обращенные к своей музе:

Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором,
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица *не общим* выраженьем, —
Ее речей спокойной простотой...

Гений духовный почившего критика был родствен с чертами музыки прекрасного поэта. Мы назвали выше его няней и пестуном младенческой нашей мысли; можно еще сказать, что он был Баратынским нашей философии. Есть какое-то несравненное изящество и благородство в чертах их обоих, в трудах их; и мы охотно отвращаемся от более звонких, но неустроенных струн, чтобы сосредоточиться на этих — где нас ничто не оскорбляет, не мучит, не раздражает и не смущает; где, наконец, нас ничто не *обманывает*.

¹ Помнится мне одно восклицание старика (ни фамилии, ни имени не знаю), на каком-то обеде, когда в тесном, отделившемся кружке лиц кто-то упомянул о дружелюбии и постоянном расположении Страхова к высокопоставленному человеку, не знаменитому своею честностью: "Да у Николая Николаевича и *органа нет*, которым *обоняется* нечестное!" Выражение это — очень характерное и очень верное.

Его труды есть истинный thesaurus¹ умственно и нравственно *должного*. Все они, хоть это прямо и незаметно, обращены к юности: не академии, не кафедре он говорил, хотя был и академик, и часто оспаривал кафедру — но именно к *развертывающимся, раскрывающимся* силам ума и дарам души; в нем юность потеряла наставника и руководителя, какого может быть, еще ей никогда не будет дано. Едва ли не входило в жизненные планы покойного именно создание в себе идеальных черт наставника; не отсюда ли развитие, какое он дал в себе критическим способностям, воспитание в себе вкусов, такая осмотрительность в полемике, как бы заглядывающая в будущность, и все возведение здания жизни своей, куда не замешалось ничто нечистое, что могло бы когда-нибудь оскорбить вкус или поколебать совесть? Входя в ряд томиков, им оставленных, — характерен самый формат их, печать, разделение на главы, все рассчитанное на *неутомление* внимания, — вы как бы входите в прохладную северную рощу, без колоссов южной растительности, колючих и перепутанных, но где вы отдыхаете и можете научиться. С великою предусмотрительностью в ней собраны образцы всех форм растительного мира, и каждый экземпляр обдуманно поставлен: нет шага в ней, какой бы вы ни сделали, нет взгляда, куда бы вы его ни бросили, — которые бы не просвещали вас, не образовывали. Все, как я упомянул, рассчитано здесь на неутомление: между тем нет писателя, который с таким удовольствием бы перечитывался во второй и третий раз; и именно потому, что во всякую точку здесь вкраплена мысль, — при третьем чтении вы открываете столько же свежего для себя и любопытного, как и при первом, когда масса деталей его мысли от вас ускользнула.

Но не побегит, или еще долго не побегит юность в эти образовательные сады, для нее возвращенные; и гораздо скорее войдет туда и научится опытная старость. Мы, русские, не имеем *оригинальной и живой*, не имеем *самостоятельной* юности; мы имеем только истощенную юность. Приность продолжительной лести дала свой плод; уже ничто горькое не переносится ею, ничто трудное; и нет сил в ее мускулах для свободного и героического движения. Робкою толпой она жметя еще и еще к новой подачке самолюбия своему. Но если вот человек "вся сладкая земля" для нее оставил, и как при жизни призревал порознь разбросанных в ней овец, так призрев высоким умом своим и общие ее духовные нужды и заботы: что в том? — она не откроет паломничества на его могилу; она даже не вспомнит, где эта могила; она не поймет ничего. И "хладною" толпой — как вчера, так завтра и еще долгие годы — побредет к своим повседневному утешителям. Так, юный и дряхлый супруг, оставляя целомудренную жену, бредет иногда и ищет в навозе... я едва не сказал — Кареева и Михайловского. Он бредет и ищет красавицу с прыщами и в нарывах.

V

Волна суетности, волна жизни уже играла около гроба умершего. Нужно было хронить, и хорошо, и не было денег или, точнее, — нельзя было их получить. Бедный не расписался "20-го" в требовательной ведомости, и жалования нельзя было выдать; в свою очередь, "пособие" должно было пройти через контроль, и раньше трех дней его нельзя было получить; а труп разлагается иногда на второй. Решили, что имя покойного в литературе может быть достаточным для уверения в монастыре, что деньги *будут* уплачены. Бездна литераторов толпилась в комнатах; и был с цепью судебный пристав, явившийся описывать имущество; не забуду, как он спрашивал постоянно: "Скажите, тут нет Суворина?" Очевидно, грозный владыка "Нового Времени" подавлял воображение бедного судебного чиновника. Какой-то литератор все хотел перевести "среды"

¹ сокровищница (*лат.*).

к себе и собирал обычных гостей покойного, спрашивая: "Так вы согласны?" Все были согласны. Но вот наступило третье утро; все хотели нести "голову" покойного, но она была одна, а рук гораздо больше. Бесконечно далек был путь на кладбище. Но кладбище было прекрасно — далекий, уединенный женский монастырь. И на самом кладбище его могила была далека и уединенна. Как всегда чудно сплетается в жизни прекрасное и смешное, сплелось оно и здесь: бедный Иван Павлыч — тот Иван Павлыч, который зарылал, когда Страхова вынесли из операционной комнаты, карабкаясь на холм мерзлого песку, имел нерассудительность быть впереди важного сановника и почти писателя, также шедшего "бросить горсть праха на дорогую могилу"; литератор, перетащивший к себе "среды", быстро схватил его за горб шубы и вовремя оттащил в сторону. Но, хоть и позже, свою горсть он также верно бросил. Когда комья перестали стучать по крышке гроба, полотно были отхвачены назад и все несколько успокоилось, — незаметно, не выдвигаясь и даже как бы не обращаясь к живым, заговорил об усопшем стариннейший, кажется, из присутствующих друг его свою речь. По манере произнесения — она не была вовсе речью, но как бы размышлением про себя, случайно выговорившимся вслух. И для понимающего, поэтому, она была истинно прекрасна, не нарушая вовсе могильного покоя и смертного величия. Он говорил:

"Самый очевидный способ, которым жизнь заставляет существа, одаренные свободною волей, идти к целям ее, заключается в том наслаждении, которое ощущается при исполнении ее велений. Судя по тому наслаждению, с которым соединено всякое творчество, надо думать, что творчество и составляет главную работу нашей жизни. Но *не может Сын творити о себе ничего же, аще не еже видит Отца творяща*" (Иоанн, V, 19).

Может быть, оттого так и велик восторг творчества, что в минуты его человек видит Бога, и, чем яснее мысль его сознает ею видимое, тем необъятнее получается от этого наслаждение. Вся жизнь нашего друга, которого мы теперь хороним, была почти непрерывным рядом таких наслаждений. Он совершенно ясно выразил, в чем состояло упоение его философствующей мысли, в эпитафье, который он поставил на заглавном листе одной из своих книг ("О вечных истинах"): "*philosophari nihil aliud est, quam Deum amare, — философствовать не иное что есть, как любить Бога*". И с этою любовью ему было так хорошо среди 10 000 томов его библиотеки, что его друзья никогда не находили его там в пригнетенном состоянии: он всегда был ясен духом и всем доволен.

В последней выпущенной им книжке, третьей книжке "Борьбы с Западом", он говорит в предисловии: "В какой-то старой немецкой книге я видел, что на заглавной странице третьей части после заглавия было напечатано: *третья, последняя и лучшая часть*. Очень мне хотелось бы иметь право сделать такую же надпись на этой третьей книжке "Борьбы": написать, что это последняя и лучшая из трех. Что она *последняя* — в этом, кажется, мне нельзя сомневаться, чувствуя, как убывают у меня силы и расположение писать. Что она *лучшая* — этому мне хотелось бы верить; писатель, ведь, должен стараться идти вперед по мере того, как проводит годы и десятки лет в чтении и размышлении. Но одного старания здесь мало, и об успехах своих стараний мне следует ожидать и просить суда читателей".

Душа его, исполнившая ту волю жизни — чтобы *ничего не погубить из того, что ей дано жизнью* (Иоанн, VI, 39), была освобождена от самого ужасного из всех страхов, от страха смерти. Он о смерти до последней минуты не говорил. Она взяла его в такое время, когда он сам сознавал уже, что у него проходит расположение писать, значит, — когда он сознавал сам, что все было им сделано, и когда мог сказать: "Ныне отпускаеши".

Он исполнил свой долг и умер спокойно, вполне удовлетворенный.

Нам остается пожелать самим себе подобной кончины".

Так говорил Платон Александрович Кусков, проводя и свои любимые идеи, которые можно было бы назвать виталистическим пантеизмом, — крепьш,

поднявшийся с почвы земли русской и образовавший самостоятельно очень высокие созерцания.

Едва произнесены были речи — были сказаны еще две, — как уже кружки литераторов зашумели сборами на литературные чтения "памяти покойного", почти с назначением тем и распределением очередей чтения. Могила была засыпана; и когда она очистилась, на нее робко поднялся молоденький человечек — никому не знакомый, — также, очевидно, хотевший сказать что-то. Он долго придумывал, все стоял поодаль. "Прости, дорогой... не осталось после тебя у нас еще такого писателя, только Лев Николаевич Толстой и Владимир Сергеевич Соловьев". Он постоял еще с полминуты, но ничего больше не придумывалось, и он сошел. Бедный, он не был посвящен в подробности подразделений литературы нашей, понимал ее слишком "вообще". Бурным рокомотом прошло неудовольствие среди обдумывавших "память" писателей, когда на "глубоко православной" могиле было упомянуто имя проблематичного христианина и особенно имя ненавистного полемиста с усопшим, тоже "схизматика" и почти язычника. Человечек не заметил этого, к счастью; и, по крайней мере, наверное он никого не хотел оскорбить. Было очень холодно, и все извошки уже разобраны; сели в вагон конки — и туда же робко вошел последний оратор. Худой, истощенный, почти несомненно из актеров без места (по характерно выбритым щекам), в холодном пальто и летней шляпе, он имел нос самого неприятного цвета. Робко выглядывая он, как мышка из клетки, на нас, очевидно знакомцев усопшего, и следовательно "писателей". Так он чужд был нам. Конка остановилась перед каким-то переулком, на окраине еще города. Встав и приподняв шляпу, он неуверенно посмотрел на всех в вагоне, очевидно прощаясь и, может быть, извиняясь за невольное сообщество. Мы посмотрели на него. Он вышел и побрел по переулку, очевидно, до места первого возможного "поминовения" покойного...

Между тем, он не был так абсолютно не прав. Великое солнце где-то в полуденных странах передвинулось через равноденственную линию; и в высоких широтах, еще заносимых вьюгами и снегом, осязаемо зашевелились обмершие растения — ток соков пошел вверх, корни выпустили новые мочки, между тем как стужа сильнее, чем в декабре. Неуловимы и таинственные пути и средства роста; различим только его источник. Те имена, которые назвал говоривший, что вызвало ропот негодования, и сам усопший, — они имеют истинное и глубокое родство между собой, более значительное, чем разделявшая их рознь. Первые и ранее всех в нашей обмершей, студеной стране, они поклонились истинному Богу; в обществе, не хотевшем слышать святого Его имени, — они произнесли это имя громко. Чувство *теизма*, самое глубокое, самое живое чувство, — не есть только риторика их языка, средство политики; с первых трудов и до последних, в значительных, как и самомалейших, оно сказывается уже, *есть*, — как *есть* лето в обратном движении растительных соков. Бог идет посетить нас; *эти* первые увидели лучи Его; что в том, что, измученные, испуганные, они заговорили невнятно, розно, косноязычно: важное — в их *сердце*, в *жажде* говорить; важное не в словах их и даже не в них самих, но в том именно, что Бог идет.

Что это не пусто и незначительно — можно видеть из того, что каждый из них отдал бы, и уже осязаемо отдал, то, чего обыкновенно люди *ни за что и никогда* не отдадут. Как почти ненужную мишуру — один отбросил всемирную свою славу, *мотивы* этой славы; другой — переходил из кружка в кружок людей, из лагеря в лагерь и почти из Церкви в Церковь, взглядываясь всюду в лица, на которых он мог распознать мятущее его чувство; третий каким-то далеким тяготением заставляет его чувствовать в каждой строке своей и разошелся с временем своим, с веком и поколением, которые ничего не знали об этом чувстве. Все трое — потеряли вдруг родину, потеряли — время, потеряли — людей. Не святое ли, не великое ли грядет, ради чего люди развязывают кровнейшие узлы бытия своего; не живое ли это, если питает их более, нежели как может напитать человека эпоха, люди, вся окружающая цивилизация?.. Не есть ли это небесная и истинная родина человека, ради которой он так легко оставляет земную?

4. Ф. Э. Шперк

7 октября 1897 г., в два часа ночи, скончался в Императорской санатории "Халила", в Финляндии, Федор Эдуардович Шперк, молодой писатель, литературная деятельность которого едва началась и прервалась неожиданно. Ему принадлежит ряд брошюр-трактатов философского содержания "Система Спинозы" (СПб., 1894 г.), "Философия индивидуальности" (СПб., 1895 г.), "О страхе смерти и принципе жизни" (СПб., 1895 г.), "Мысль и рефлексия" (СПб., 1895 г.), "Книга о духе моем" (СПб., 1896 г.), "Диалектика бытия" (СПб., 1897 г.), но влияние и значительность он приобрел не этими серьезными, но трудно изложенными брошюрами-трактатами, а длинным рядом очень коротеньких, но очень содержательных критических заметок, которые под псевдонимами "Ор" и "Апокриф" он печатал в "Новом Времени". И мышление, и жизнь, и, наконец, роковая развязка жизни этого человека — почти юноши еще — исполнены серьезности, красоты и глубокой печали. Куда он ни являлся — как писатель или как человек, — он всюду вносил особую атмосферу своей индивидуальности, где вы не находили ничего заимствованного, перенятого со стороны и откуда всякий невольно заимствовал новые мысли, новые точки зрения на предметы, новые оценки явлений литературных или житейских. Если принять во внимание его молодость — он умер, едва достигнув 26 лет, то необыкновенная серьезность его душевности, отсутствие "общих мест" в его понятиях и взглядах становились поразительными и невольно возбуждали вопрос: откуда и какими особенными путями развития он приобрел все это так рано? Можно надеяться, что появится сборник его критических статей, и тогда читатели увидят, до какой степени его взгляды на Пушкина, Лермонтова, Майкова и на множество текущих литературных и научных явлений — точны, верны и захватывают самое существо писателя или художественного произведения. Он был библиограф по форме, по краткости своих заметок — но критик, и истинный критик, по их содержательности и глубине. Небольшой томик его взглядов войдет как ценное и обильное питание в кругооборот нашей духовной, в частности — умственной, жизни. Однако кто знал его, находил разгадку этого раннего глубокомыслия в подробностях его воспитания и судьбы. Как исключен был шаблон из его мышления, так и в течение его краткой и бурной жизни шаблон нигде не замешался. Он очень рано развился, и развился вне правил, любя читать и читая без выбора, но по инстинкту, по серьезному складу ума — искал всегда читать серьезное. Так, кончив курс лютеранского училища в Петербурге (он был лютеранин), он вступил в университет с зрелым умом и с зрелыми требованиями — по требованию родителей, избрав юридический факультет. Невозможно было сделать выбора менее удачного: формальные науки этого факультета всего менее отвечали тем проблемам мистицизма, которые он принес с собою на университетскую скамью, и тем эстетическим вкусам, какими он жил, по его сознанию, едва ли не с 11—12 лет. Но причина оставления им университета (из которого он вышел, вступил обратно, по просьбе родных и после трудных хлопот, и все-таки, опять не кончив, вышел из него) заключалась не в этом только: "в свою живую душу я не мог вбирать мертвого содержания читаемых там лекций" — так однажды он формулировал, в частной беседе, мотив своего выхода. Что же это было за "мертвое содержание"? Конечно, не материал науки, который нов и поэтому уже всегда интересен, — но, так сказать, схематизм профессорского мышления, который обволакивал этот материал и пытался осветить его, в действительности загрязняя и опошляя. Это была схема шаблонов, "общих мест", "ходячих взглядов". Именно три года университетских лекций, как он объяснял, сделались источником его жгучей нерасположенности ко всему "либеральному" — к "либеральному" не как к доброму или злому, истинному или ложному, но как к "общественному", "общепонятному", в чем нечего искать, где нет предмета для разгадки, для

пытливости, где ничто не держит вашу душу, не занимает внимания вашего, не питает вас. Бесспорно, позднее и с большою опытностью он уравнился бы в своих взглядах, но ко времени выхода из университета он привязался ко всему бытовому, народному, что было не из книги и не смотрело в книгу. Отсюда склонение его к славянофильству; необыкновенно высокая оценка, которую он придавал русскому народу, высокое и также поражавшее тонкостью понимание православия (месяца за полтора до смерти он принял православие). Была в нем одна черта, напоминавшая Фауста, — тип, который, однако, усиленно не любил он: это переход от теоретизма к практицизму, сперва умственный только, но закончившийся и реальными исканиями. Всегда среди книг, всегда в мыслях о книгах, он, однако, в них искал только жизненного, любя в них протест против книги, — ценил в них любовь и внимание к непосредственному, простому, реальному. Он не любил и Фауста, как воплощение книги, как, до известной степени, гения книги, — не замечая, может быть, как не замечают и тысячи людей, что, конечно, горечь в себе и собою составляет сущность "фаустовского": Фауст без самоотрицания, Фауст, не отвергающий себя, — есть уже Вагнер. Во всяком случае, бросив университет, и притом с процессом "отрясения праха от ног", он очутился на свободе, но и среди всеобщего отчуждения, ставшего кругом него стеной, среди молчаливого "не нужно", которое он встретил в попытках работать, писать (к несчастью, он очень долго не мог найти для себя формы, которую позднее превосходно развил), так как первоначально он гордо отказывался от мысли "служить" и, следовательно, по правдоподобному подозрению, "подслуживаться". У него были наследственные три тысячи (он был сын доктора Шперка, покойного директора института экспериментальной медицины), которые не дали ему пасть сейчас же, задушенным нуждой, как это случилось бы в подобном положении непременно со всяким; но год за годом шел, деньги таяли, и нигде никакого просвета, ничего обещающего. Я помню его в эти годы смятенной борьбы — почти мальчика, у которого, однако, мог научиться муж и старец, все еще в студенческом, совершенно заношенном мундире, всегда с пытливым взглядом, вечно с гадающим умом, жемчугом на устах, и рассказывающего, как еще и снова ему не удалось там-то пристроиться. Это были годы медленного наступающего отчаяния. Трудность увеличивалась тем, что он беззаветно привязался к одной девушке и соответственно высоким и строгим своим взглядам на брак, как и на чистоту вообще плотской жизни, тотчас же стал мужем и затем год за годом — отцом одного, двух и, наконец, трех детей. Ничего нельзя было сделать с своеобразием и причудливостью его языка (литературного), который не умел найти себе — не говорю "шаблона" — но просто понятной, допустимой в литературе формы. Одни и те же мысли, которые вас очаровывали в устной беседе, — будучи положены им на бумагу, становились не только мертвым, но и непонятым набором слов, не распутываемым составом предложений; и, между тем, в других писателях он был высоким и тонким ценителем именно формы, манер и оттенков литературного письма. Мне, в силу указанного недостатка, он казался потерянными для литературы, или, точнее, — казался не найденным, не открытым и не открываемым для нее, при всем богатстве своих мыслей. Встреча с двумя людьми, многоопытными в форме, поправила этот вывих его природы; сперва покойный Н. Н. Страхов, привязавшийся к Шперку, как только узнал его, сделал попытки как-то и чему-то научить его; но, за скоро наступившего его смертью, главный труд и заботы в этом отношении принял на себя г. Буренин, к которому, бесплодно сотрудничая до тех пор в "Гражданине", "Школьном Обозрении", "Новом Слове" и др., он однажды отнес какую-то критическую статью. Это было, как мне известно, важнейшим моментом его внешней судьбы, моментом вызревания к выражению: ибо чему выразиться — это давно и обильно в нем созрело. Как и всякого, к кому он приближался, он привязал к себе старого и опытного критика и заставил его захотеть работать над созданием у него формы. Чисто редакционные методы выправки и указаний как-то дали ему, наконец, понять ли что-то, научиться ли чему-то: я никогда этого

не мог постигнуть; но, неутомимо внимательный и сам в работе над собою, при таких-то недостававших ему указаниях, Шперк вдруг и поразительно стал приобретать форму, более и более отчетливую, а наконец даже выразительную и сильную. Был спасен человек, и был найден, приобретен, открыт многообильный ум для литературы: отсюда чрезвычайная привязанность его к двум названным писателям, пестунам его языка, — привязанность, которой многие удивлялись и, не зная первого и главного ее источника, не доверяли ей. Теперь оставалось для него сделать еще один шаг — найти форму, найти способ не для афористического, но для длительного, сложного, богатого песнями и полупеснями выражения своих мыслей: ему нужен был колорит живых, т. е. непременно разнообразных, цветов, взамен краткого, пусть даже сильно падающего, слова — и огромный писатель — ибо огромность в содержании была уже обеспечена — обогатил бы нашу литературу. Но когда, играя и уже почти счастливый, он поднимался вверх и вверх — смерть подкралась и скосила его.

В характере, всей манере и, наконец, судьбе этого не раскрывшегося еще для жизни юноши было много особенного и исключительного. Понятие "жалостливого", "трагического" вполне применимо к его смерти. Пишущему эти строки приходилось встречать людей иногда знаменитых, иногда очень привлекательных и, однако, никто из них не возбудил к себе столько умственного любопытства и тайного сочувствия. Если обдумать, вся жизнь его и, наконец, преждевременная смерть исполнена героического — в лучшем, серьезном, не мишурном значении этого слова: она вся была порывом к свободе и борьбой за умственную, общедуховную независимость. "Как печально мне, что во мне ужасно много ненависти", — сказал он мне однажды в Халиле, т. е. уже больной, умирающий. Со стороны он был лучше виден, и этим именем он называл те бурные, гневливые чувства, с которыми поднялся на все, что задерживало, или ему казалось, что задерживает этот его порыв к свободе. Невозможно передавать здесь подробности его убеждений и также жизненных обстоятельств, но мне известно было, что эти бурливые в нем чувства все поднялись для защиты простого и естественного, с тем вместе — лучшего, правдивейшего в жизни. Но все это сообщало лишь объективный интерес его личности и судьбе, тогда как главное в нем было субъективная сторона. Большой и тяготясь посещениями даже старых друзей, Страхов — ранее не расположенный к нему за некоторые писания — после двух-трех свиданий уже искал новых. "Был Шперк, просидел три часа — и не утомил меня", — помню я его замечание, кажется, даже не без удивления сказанное. Особенность беседы с ним заключалась в том, что она служила как бы продолжением, только дальнейшим движением субъективной вашей жизни, что не чувствовалось вовсе никакой внешней преграды, которая задерживала бы непониманием или неправильным отношением вашу мысль, как и обратно вы чувствовали себя не защищенным, не закрытым от его мысли или слова. Едва завязывался разговор, как материальные и всегда задерживающие условия бытия нашего — материальные не в вещественном только смысле, но и в духовном, как выгода, фальшь, притворство, всякая деланность, — куда-то пропадали, и открывалось чисто умственное или нравственное общение. Иногда, и особенно во враждебные минуты, мне представлялось это высшею достигаемой формой вкрадчивости, т. е. вкрадчивостью, естественно текущую из природы вещей: ибо, не будучи преднамеренно, она все равно открывала вашу душу постороннему человеку — чужой человек как бы имел ключ даже от того, что вы не хотели бы никому показать, и без того, чтобы вы передали ему этот ключ. В немногие светлые для него минуты, и может быть оставшиеся незамеченными для других, я видел его в степенях такой душевной прозрачности, которая — я не ставлю необдуманно этого слова — пробуждала мысль, или воспоминание, или, наконец, понятие о святости: это были минуты абсолютного пробужденного в вас доверия, может быть, абсолютного уважения к человеку — когда между вами и странным юношей, с заросшими волосами и в неопрятной одежде, не было никакой границы, вы чувствовали себя в нем и его в себе. Я передаю это и записываю,

потому что большая странность этого всегда меня поражала, и еще никогда и ни с кем этого отношения я не знал. "Хитрый византиец, — иногда смеясь и недоверчиво формулировал я себе, — так-то вот в Византии, читаем мы в истории, и овладевали какие-то безвестно-темные люди государями".

Как неустанная деятельность, исключение всякой лени были в его характере, так неутомленность и неутомимость были в его уме: он вечно чего-то искал умом, вас спрашивал или отвечал на верно угаданную вашу мысль. Он был всегда и ко всему окружающему насторожен; никакой рассеянности, как и чужого наивного, в суждениях у него не было. И, вместе, сам он беззаветно привязывался ко всему наивному: эта смесь огромного ума, вечно все судящего, с порывом — даже до героизма, до готовности страдать, — к простому и беззащитному, кажется, и была причиной его обаятельности, огромного пробуждаемого им доверия. Никакою мишурой или кажущейся "знаменитостью" его нельзя было обмануть: он зорко ее выглядывал, злобно кидался на нее, — и в то же время вы видели (или позднее узнавали), что он влекся и привязывался до неотступного любования к чему-нибудь самому малозначительному к виду — ни в чем не ошибающимся взглядом и аналитическим умом он открывал внутреннее золото. То, что внешние объективные оценки не существовали для него; то, что за свою субъективную оценку он готов был к борьбе; и, наконец, что в самой борьбе он был так силен — это-то и привязывало к нему, а вдали пробуждало и большие обещания. Его вступление в литературу обещало прекрасную борьбу против того, что мы назвали "общими местами" — против "общих мест" в понятиях, в отношениях, в оценках. Но все обещанное им — нам не суждено было получить.

Было определено в санатории, что первые зачатки чохотки уже положены были у него года три назад; сырая несносная квартира в зиму 1896—1897 года и простуда около Пасхи 1897 года перевели обыкновенную и неопасную форму этой болезни в скоротечную; все встрепнулось около него для помощи, но уже помощь была не нужна. Нетерпеливый, боящийся физической боли, — с невероятным терпением он провел пять месяцев, не отделяясь от одра; нежно любящая жена, кинув троих детей в полверсте от санатории на попечение крестьянки-няни, поселилась, с особого разрешения начальства, в самой санатории, около умирающего. Годы испытания и отчуждения, какие перенес он, сделали его пугливым к людям, недоверчивым к жизни; по крайней мере, я наблюдал, как, лежа в номере или выносимый на воздух, он требовал или искал, чтобы жена не отходила от него. Много было исключительного и трогательного в перипетиях кратковременной и бурно развившейся привязанности их; и, как сравнивал я его с Фаустом, и было действительное здесь, серьезно выраженное сходство, — так приходилось сравнивать и в краткотечном романе с Ромео и Джульеттой: и снова в простых, почти грубых чертах здесь прошло не только сходство, но и повторение жалостливой истории, так ярко нарисованной Шекспиром. Жизнь в миниатюрных и будничных чертах не беднее, в сущности, и вовсе не хуже самого высокого художества. Как и всегда у умирающих, у него не было сознания приближающейся кончины: смерть подходит к человеку не с лица, хватает его не за голову, но как-то странно и страшно точно ущемляет сзади — и он никогда ее не видит, как бы ясна она ни была. Полон был он надежд, и сам угасал, а они не гасли. "Ну, вот, милочка, выздоровлю — напишу большой фельетон и куплю тебе кофту", — как-то сказал он раз жене, тронутый неустанностью и подробностью ее ухаживанья. Все знали сущность драмы, кроме главного в ней актера; и отчаяние всей людной собравшейся около него семьи было тем глубже, чем безмолвнее. Последние недели были особенно трудны, когда туберкулы стали проникать в чувствительнейшие внутренние полости; напрасно выпрыскивали большие дозы морфия. Метаясь, странно чем он был озабочен: "пожалуйста, любите меня: если я чем-нибудь когда-нибудь обидел кого, простите мне ради великих моих теперь страданий". Так самая малая нравственная боль, как возможной непримиренности с собою, — преодолела сильнейшую физическую. Дня за два до смерти он вторично захотел причаститься; переход в православие, давно им решенный,

сперва откладывался в надежде торжественно совершить его по выздоровлении; но "выздоровление" тянулось, оттягивалось, и он не захотел медлить. — Взволнованный, сидя в кровати, с пылающею от лихорадки кожей, которая одна обтягивала его остов, сказал он, ожидая священника, памятные слова: "Протестантизм тем беден, что не содержит в себе тайны; он преднамеренно отталкивает от себя мистическое, тогда как в мистическом лежит сущность религии, без него вовсе нет религии". Как это оригинально: в тысяче критических воззрений на протестантизм именно эта точка зрения отсутствует, и, между тем, ясно, что в ней лежит центр дела. И здесь, как всегда он делал и в литературе, — он взял главу гордости, сторону горделивого возвеличения, и показал в простых словах ее пустоту. Действительно, апостольская "простота" культа, как и "рациональность" построения внутри, отвечают прекрасным чертам нашей скромности и строгим требованиям науки; но мы имеем здесь дело не с наукой, как и не с художественною стороной наших вкусов: перед нами религия, т. е. не наше и не от нас и где все — тайна, исходит из тайны и оканчивается тайной. И задачи построения, как и все средства внешнего выражения, здесь должны быть иные.

1897

5. Я. П. Полонский († 18 октября 1898 г.)

Смерть каждого очень значительного человека пробуждает вопрос, что мы потеряли в нем? — и побуждает искать точнейшего определения его личности. Едва весть о смерти Полонского облетела Петербург, как прежде всего и ярче всего около его имени заволновалась *любовь*: не сожалели руководителя общества, камень его устоев, обширный ум, — сожалели *красоту* общества, и именно его нравственную красоту.

Блажен незлобивый поэт...

— с этим впечатлением невольно многие оставляли поэта последние годы или встречали его. В личности Полонского, как и в его поэзии, было совершенное отсутствие раздражения, саднящего гнева, длительного негодования — того негодования, которое убивало бы или даже причиняло боль, хотя негодование, гнев — все это, наряду с противоположными чувствами, волновало его как человека и пробегает в его поэзии. Но эти отрицательные чувства никогда не были им относимы к лицу человека, к поступку человека, а всегда — к положению вещей, к течению идей, к чему-нибудь общему, а не частному. И это — не в силу его отвлеченности, но в силу того, что он был слишком замкнут в поэтическом мире, а поэзия хотя и мыслит "образами", но всегда образами чрезвычайно общего значения и волнуется чувствами чрезвычайно общего колорита. Дрязг улицы, подробностей минуты он не отгонял от себя, не считал их унизительными для поэтического своего уединения; но, поэт — и на этот раз истинный поэт, — он не мог и не умел внимать перипетиям этих дрязг. Он отдавался восторгу или горести о загрязненном человеке, без интереса к имени и лицу или с очень слабым интересом к нему. О рассеянности Полонского ходили почти анекдоты, т. е. о невнимании его к подробностям, к непосредственному впечатлению текущей минуты, о постоянном погружении его в вечные образы и общие же, вечные впечатления, идущие от панорамы истории и природы. Очень живым и конкретным для него был не случай, происходящий перед глазами, случайное сцепление в субъекте этого случая образов, фигур, положений: тогда он хватал перо и записывал как бы видение. Получалось живейшее и конкретнейшее стихотворе-

ние, однако срисовывающее не факт, а момент внутренней жизни поэта — расположение или изобретение его души.

Но что же мы потеряли с ним? В Майкове мы потеряли часть нашего образования, и каждый порознь терял в нем учителя более его образованного и умного, но которому он внимал несколько холодно. Параллель между Полонским и Майковым напрашивается на ум вследствие их чрезвычайной противоположности: Майков любил и умел писать стихотворения в "антологическом роде"; всю его поэзию можно сравнить с красивой древней колоннадой; но вот около одной из колонн стоит и задумалась девушка, в живой красоте своей, в теплом дыхании, — это и есть Полонский. Его поэзия не имеет величавых тем, как "Три смерти", "Два мира"; не движется по рубрикам: "Из гностиков", "Из древних", "На родине", почти с географической и хронологической правильностью и полнотой. Ничего подобного: все — бегуче, все — случайно, но все неизмеримо нам ближе и интимнее... И пусть менее просвещает нас исторически и географически, но на сей день и в сем месте необыкновенно нас согревает.

Итак, не часть образования мы теряли в нем, но часть нашей души как бы оторвалась с ним в горнее; кусочка нашего сердца нет более у нас — в смысле ли воспоминания, дорогого и потерянного, или надежды, ласкавшей и обманувшей. Мы заметили о теплоте и живости его; сдвинем теснее определение: он был, может быть, самый интимный поэт вообще за наш век, а следовательно, и за все время существования нашей литературы. Этим только можно объяснить, почему, не будучи простонародным, он проник (кажется, один) в простонародье; есть у него такие песенки, что каждому хочется ее запеть, при "подходящем" случае, и песенка запеваётся — художником, поэтом, чиновником, простолюдином; а запеваясь как нужное что-то, — запоминается. И это — сейчас; а можно верить — без понуждения, без педагогического подсказывания, он, хоть небольшой частичкой своих произведений, войдет в живой песенный кругооборот народа.

Это объясняется громадным его поэтическим даром. Нет мощи у него; нет остроты: он никогда вас не ослепит и редко "захватит", увлечет до самозабвения. Есть нечто более ценное и вечное в нем. Он не специальными поэтического дара, но полною натурою своею и общим складом поэтических способностей есть поэт в древнем смысле, одновременно классическом и всемирном: пение было сущностью его души, и пение — в гармонии с действительностью. В природе есть вообще певческое начало — поет лес, поет майское утро, своеобразно поет хмурый осенний день: вот это-то стихийно-певческое было в высокой степени присуще Полонскому — и он спел бы, лишь не записав, все свои песни и на необитаемом острове, как там пропеваешь положенные ему мелодии сосновый бор. Но, конечно, вышший в природе певец есть и останется человек; его мелодии суть часто (по сложности) поющие миры. У Полонского есть такой поющий мир: это — несравненная его сказка "Кузнецик-музыкант".

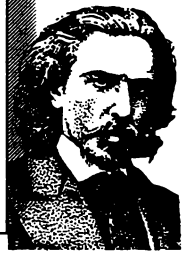
Удивительное в этой поэме-шалости, что в ней творец подымается до бессознательности именно поющей природы, ее чистоты, ее спокойствия, но осложняет ее узором человеческого вымысла и сознательных человеческих мотивов (побуждений, мыслей аллегорических). Сказка эта по непосредственности и красоте, быть может, есть лучшее по части поэзии за полвека в России — и вообще может выдержать сравнение с первоклассными произведениями человеческого духа; ее ни в каком случае не мог бы постыдиться Гете. Между прочим, в ней есть универсальная понимаемость: самый образованный человек забудется за ее несравненною красотой, и почти с тем же ощущением побежит по ее строкам несколько не понимающий ее аллегории простолюдин, или почти простолюдин (случалось наблюдать): скульптурность и живопись вымысла, как равно неподражаемая прелесть стиха, увлечет его.

Почти современник Пушкина, интимный друг Тургенева — Полонский последние годы как бы жил среди теней этих сошедших в преисподнюю песнопевцев. Можно думать, что их, умерших, он ощущал живее и интимнее, чем — впрочем, несколько ему не холодную — действительность; в манере его слов было что-то

прорывающееся: как бы на секунду вырываясь из почившего сообщества, он произносил свой глагол — вот этим гостям в своем кабинете или за чайным столом. Было чрезвычайно привлекательно его слушать, и многие слова хотелось записать. Чувство почти непрерывного удивления было, по крайней мере у пишущего эти строки, при этих вырывающихся речениях 78-летнего старца, который был чрезвычайно ветх, физически — совершенно изнеможен. Не забуду, с какими подробностями, как умело и проричательно он вдруг — по какому-то случайному поводу — заговорил, как следовало бы организовать простонародную школу: была прекрасная критика и прекрасный план у человека, по-видимому никогда не думавшего о народном образовании. У него были, именно, панорамы в душе; из нравственно чистой, из бесспорно умной души они выходили в общем правильными, без предварительных исканий. В другой раз зашла речь о (филантропической) самопомощи в России; конечно, ее нет или мало, но все поверхностно волновались минутной темой говора. Вдруг из-за повязок, пледа и костыля услышалось раздраженное, прямо негодующее: "До чего я ненавижу Россию" (или: "Ничего я так не ненавижу, как Россию"). Невозможно представить степень изумления при этих словах от поэта, любовь коего к России всем была известна; и кто-то заметил об этом, об этой странности услышать это от Полонского. "Ну, конечно, я отдал бы за нее жизнь" (или: "Пролил бы за нее кровь, не задумавшись"). Все знают "odi et amo"¹ — и это надоело; но вторая часть слов Полонского не вытекала с необходимостью из первой, и он не ждал ни вопроса, ни поправок и уже задремывал в пледе; замечание разбудило орла — и какой клеткот послышался: хоть бы в "Слово о полку Игореве"! И опять задремал. Оба восклицания, которые нужно было выслушать, чтобы оценить их силу, — в своем нажиме и красоте выразили настоящие и кровные состояния его души. С такими детьми России бы вечно жить, т. е. начало смерти не коснулось бы ее, если бы всегда она могла надеяться иметь таких детей.

1898

¹ "Ненавижу и люблю" (лат.).



О писательстве и писателях

По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого

Ох, длинна ночь...
"Хозяин и работник"

I

В мартовской книжке "Русского Богатства" г. Н. Михайловский, заключая разбор последнего произведения гр. Л. Н. Толстого "Хозяин и работник", обмолвился, как бы в раздумьи каком-то, несколькими замечательными словами, которые нам показались и новыми, и неожиданными в этом писателе. Но прежде, чем привести их, и чтобы объяснить их значительность, скажем два слова о том, к чему они относятся.

Указывая на аналогию "Хозяина и работника" со "Смертью Ивана Ильича", рассказом "Три смерти" и отдельными эпизодами из других крупных произведений гр. Л. Толстого, г. Н. Михайловский справедливо замечает, что чувство смерти, точнее — тревога о ней, как о заключении всех радостей земных, доминирует над всеми изумительно начертанными сценами "войны" и "мира", "детства" и старости, семейных радостей и политических тревог, которые образуют необозримый и яркий ковер живописи великого художника. Несправедливо он оговаривает далее, что этот страх, эта тревога есть лишь оборотная сторона его чрезмерной "жажды жизни", "страстной привязанности к ней"; несправедливо — ибо под углом такого зрения знаменитый романист представился бы нам похожим на тех жадных сибаритов древнего мира, которые хотели бы удвоенно жить и после еды, напр., принимали рвотное, чтобы тотчас опять есть. Страх смерти в Толстом постоянен; правильнее — постоянен в нем ужас перед тем сумраком, который нас ожидает после того, что мы зовем смертью, и который не есть *ничто*, не есть и что-нибудь *определенное*, нам сколько-нибудь *известное*. Страх ли это неведения, тревога ли за грех свой, не открытый земле и который страшно открыть и небу — это личная тайна нашего великого писателя. Несомненно, однако, что именно *жить* там хотелось бы ему; не наслаждаться, пожалуй даже не радоваться, не быть в каком-либо смысле счастливым, но что-то узнать, что-то нужное и непоправимое здесь, на земле, перед людьми — исправить там, не перед человеком...

Во всяком случае, повторяем, в точке зрения г. Н. Михайловского много правды, и много правды в том, что он подмечает в стараниях Толстого преодолеть этот страх; так, он говорит: "В XIII-м томе его сочинений есть обширное рассуждение "О жизни", а в нем отдельная глава посвящена "страху смерти", но собственно все рассуждение проникнуто страхом смерти, хотя гр. Толстой и хочет доказать, что смерти бояться нечего, что ее даже просто нет, что она только призрак для людей, ведущих правильную жизнь. Доказывает он это длинным рядом силлогизмов, которые, однако, независимо от их действительной ценности, имеют, мне кажется, для самого графа не больше цены, чем силлогизм "Кай — человек, все люди — смертны, потому Кай смертен" — для Ивана Ильича. Бедный Иван Ильич хорошо знал этот силлогизм и все-таки, вопреки очевидности, не допускал приложения его к нему, Ивану Ильичу. Так, я боюсь, и гр. Толстой не убеждается, по-видимому, очевидными для него истинами, и страшные глаза смерти не перестают его пугать.

Как сохранить жизнь без отравляющей ее мысли о смерти? Как выжечь, уничтожить тот страх смерти, который, по замечанию его еще в "Севастопольских рассказах", "вложен в каждого"? Такова главная задача гр. Толстого за последнее время. Если она и прежде занимала его, то теперь он на ней исключительно сосредоточился, и все его писания суть только радиусы, соединяющие разные точки его кругозора с этим центром. Сюда относятся прежде всего его рассуждения о физическом труде, об "упряжках", о чистом воздухе полей и лесов и прочие гигиенические черты его нравственного учения. Но ими обеспечиваются только здоровье и долголетие, смерть только отдалается, оставаясь по-прежнему страшным неизбежным концом. Нельзя ли сделать его, по крайней мере, не страшным? И вот, путем фантастических скачков мысли и извилистых силлогизмов, он приходит к заключению, что правильная жизнь гарантирует нас от смерти; что ее страх, точнее — она сама, уже рассеиваются как призрак перед всяким добрым и живым движением нашей души:

— А смерть? Где она? — спрашивает дотоле томившийся мыслью о ней Иван Ильич.

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было.

"Вместо смерти был свет".

— Так вот что! — вдруг проговорил он. — Какая радость!"

"Я думаю, — продолжал г. Н. Михайловский, выписав приведенный отрывок из "Смерти Ивана Ильича", — что это восклицание: *какая радость* — на каждого художественно чуткого человека должно действовать, как неприятный, режущий ухо диссонанс. И если такой великий художник, как гр. Л. Толстой, ввел этот фальшивый аккорд в свое произведение, то лишь потому, что очень ему уж хотелось показать, что смерть может быть не страшна, что ее может даже и не быть. Это он *нас и себя утешает*. Спасибо ему, конечно; спасибо, в особенности за то, что он..." и т. д.

Конечно, все это рассуждение очень правильно, и как яркие образы смерти, рисуемые рукою нашего романиста, так слабы, бледны, *безосновательны* утешения, которые он нам предлагает.

II

Заметим, что собственного страха физического перед болью умирания в гр. Толстом нет, что, между прочим, можно видеть и из того, что мысль о самоубийстве, по его собственным словам (в "Исповеди"), приходила ему на ум, а человек не подойдет к тому, чего он боится, от чего убегает. Его страх смерти есть чисто духовный; это — страх погрузиться в игру мертвых стихий останками своего тела, без чего-нибудь — собственно для души. Итак, душа и ее бытие за гробом — вот более определенный предмет тревог нашего великого писателя. С тем чувством меры и гармонии, которая так присуща его созданиям, с его любовью к *лично-человеческому*, к индивидуальному, у него неотделимо отвращение от стихийно-*безличного*, мертвенного, каковою ему представляется природа, окружающая человека. Скажем даже более: его отношение к истории, к необъятным движениям народным, к широким течениям политическим имеют в себе часть этого же отвращения к стихийному. Он к ним почти также враждебен, исполнен страха; по его взгляду, они так же поглощают человека и нисколько не управляются им, как и стихии физические. Вспомним "Войну и мир", вспомним бессилие человека вмешать свою волю в эти столкновения народов; и вспомним чрезмерную, яркую любовь автора, сосредоточенную на крупных и некрупных фигурах, движущихся в перипетиях "мира" и "войны", на этом капитане Тушине, на Алпатыче, едущем в Смоленск, княжне Марье, и пр., и пр. *Их*, собственно, любит он; любит какою-то особенною любовью; и для него история — почти только тучи, заволакивающие от этих милых его сердцу людей живительные лучи солнца...

В "Хозяине и работнике" есть несколько мимолетных штрихов, рисующих также эту стихийную природу, и с чувством того же страха и непонимания перед ней, которые невольно передаются и читателю:

"...Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилося, в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем крыши деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а межа, поросшая торчавшим из-под снега высоким чернобыльником, дрожавшим и сгибаемым все в одну сторону свистевшим через него ветром. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к бурьяну, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была бы быть сторожка. Но лошадь все воротила вправо, и потому он все время сворачивал ее влево.

Опять впереди его зачернелось что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наврное деревня. Но это была опять та же межа,

поросшая бурьяном. Опять так же отчаянно трепался бурьян, наводя почему-то страх на Василья Андреича”...

Физическое ощущение чего-то бесконечно далекого от человека, чему человек не нужен, что человеку не нужно и, однако, над ним властно — овладевает одновременно автором, читателем и более всего бедным Василием Андреичем. И вот, почти тотчас, мы уже слышим трепет тоскующей души, которая хочет куда-то скрыться от набегающего страха и не умеет:

”Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки — как же это все останется”, — подумал он. — ”Что же это такое? Не может быть”. И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра черныбыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он *не верил в действительность того, что с ним было*. Он подумал: — ”не во сне ли все это?” — и хотел проснуться, но *просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо и засыпал его, и это была действительная пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот черныбыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти*.

Царица небесная, Николай Чудотворец, воздержания учителю, — вспомнил он вчерашние молебны и образ с черным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад и которые он, чуть обгоревшие, прятал в ящик¹. И он стал просить этого самого Николая Чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. *Но тут же он ясно несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священники, молебны — все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами, молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи*”.

Здесь не столько в точном значении слов, сколько в ритме языка, в течении речи даны почувствовать в своей противоположности природа и человек, стихии и лицо. И это лицо, угловое, бессильное, прекрасное своей мыслью — усиливается сохранить свою целость. ”Как могу я умереть? И, умерев — перестать быть чем-нибудь отличным от этого черныбыльника, хлещущего ветра, от всех этих стихий, которые, рассеяв мой прах, понесут его с тем же равнодушием, как несут сухие колочки бурьяна, и я сам буду к этому так же равнодушен, как те колочки?”...

”Я не хочу умереть; умереть так, до этой степени, в этом смысле — это так страшно; неужели это предстоит человеку?”

Вот чувство Толстого; и повторяем, изнанка его — вовсе не привязанность к животной жизни, не жадность быть живым еще и еще, но ощущение гармонии, любовь к мере, смыслу — всему тому, чем так проникнуто лицо человеческое в отличие от стихийной, хаотической природы.

¹Замечательно, как подметил все это Толстой; как он почти сердится на это. Но оговоримся, что Никите, который на этот образ в течение жизни своей смотрел несколько живее и теплее, чем его ”хозяин”, без сомнения, от этого именно не страшно умереть.

III

Закончив разбор рассказа "Хозяин и работник" и показав бессилие всех самоутешений его автора, г. Н. Михайловский, ни к чему не относя своих слов, проговаривает:

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,

и, созревши, безболезненно, бесстрашно и непостыдно сорвался своею естественною тяжестью с древа жизни, *храня в себе зародыш новой жизни*"...

Вот прекрасное движение сердца; почти не мысль еще, но именно только движение — к бессмертию души; и высказанное очень твердо, без колебаний, без какой-нибудь тревоги.

Для нас нет сомнения и в том, что за этими тремя строчками скрыт и очень долгий процесс мысли, и только он никогда не высказывался; нас в этом убеждает чрезвычайная тяжеловесность приведенного примера, который, очевидно, не случайно только подвергнулся под перо писателя, но есть плод долгих попыток найти аналогию, примеры, случаи, с которыми в ряд мы могли бы поставить факт нас ожидающей смерти.

И в самом деле, мы все ищем себе аналогий в мертвом; мы видим, как камень рассыпается от действия атмосферы, как он же стачивается каплями падающей воды, и с ужасом думаем: неужели с нами будет то же? Между тем мы должны искать себе аналогий в живом: разве это яблоко, упавшее в землю, умрет? Умереть, быть раздавленным — для него случай; норма, закон для него — жить; жить еще и еще, не умирать вечно; в чем, однако, не умирает?

Как шелуха, как сладкое волокно, как зарумяненная наружность и нежная сердцевина — оно сгниет; сгниет самое семя, в нем заключенное, эта черная косточка, которую мы выбрасываем; и не умрет некоторый закон, некоторый принцип, который оно несло в себе, заимствовало его от дерева, с которого свалилось, и снова восстановит его в том дереве, которое из него вырастет. Вечно форма яблони, неощутимо присутствующая в семени; незримо для нашего глаза, необъяснимо для нашего ума, эта форма сосредоточивалась в семени в моменты, как оно зрело, яблоко наливалось; и столь же необъяснимо она высвобождается из этого семени, когда последнее прорастает, и восстанавливается перед нами в том самом виде, в каком мы ее знали ранее. Мы сказали — "форма"; конечно, мы разумеем ее не в бедном смысле только геометрического очертания: яблоня живет в законах своего роста, в чертах своего строения, времени цвета и увядания — в той черной косточке; живет в *смысле* своем, *значении*, *идее*, — так, как, очевидно, ее нет там в материальной полноте форм, и, между тем, эти формы оттуда вырастают.

"Species", "вид", как называют ботаники, сохраняется вечно при умирающих особях; именно в этом, говорят они же, и лежит принцип организма всякого — как растительного, так и животного. В себе как единичном — яблоня ничего не несет; все, что есть в ней ценного

и значащего, принадлежит ей как виду (или разновидности), и это ценное, мы видим, не умирает.

Отступим из мира живого и богатого в мир более тесный и неподвижный. Вот перед нами круг или треугольник: нарисован ли он мелом или углем, на доске или бумаге нарисован, в размерах очень маленьких или очень больших — это для обеих фигур не принципиально; принципиально то, что стороны треугольника суть прямые линии, и все они пересекаются, что сумма внутренних в нем углов равна двум прямым, а в круге существенно, что все его точки равно удалены от одной, лежащей внутри — от центра. Берем губку и смахиваем уголь или мел с доски, разбиваем и самую доску — что осталось от тех фигур? Их самих, их *белевших* или *черневших* перед нашими глазами — нет; и, однако, *есть* и останется вечно их определение, их формула. Она именно, эта формула, есть их принцип; и всякий новый круг или треугольник, который мы нарисуем или какой создается в природе, создается и рисуется по этой формуле, восстановится из этого принципа, к которому понятия "разрушение", "исчезновение" — не применимы.

Возьмем, наконец, то, что занимает середину между живыми существами и пустыми пространственными формами — *физическое тело*. Вот мы из твердого состояния обратили его в жидкое: частицы его стали подвижны, их цвет сделался другой, объем значительно увеличился; мы эту жидкость соединяем с другою, и, при раздавшемся взрыве, обе они исчезли, обратившись в невидимые газы. Ничто более не напоминает нам прежнего тела в этих газах; ни которое из чувств наших, как бы ни было оно изощренно, не открывает в них его присутствия. Но вот мы берем весы и взвешиваем новый газ: его тяжесть в точности равна сумме весов первоначального твердого тела и той жидкости, с которою мы его соединили. Таким образом взятое нами физическое тело, исчезнув в цвете своем, блеске, вкусе, прежней величине, осязаемости — сохранилось в более глубокой своей стороне, *массе*; эту массу, как сумму бескачественных атомов, измеряем весом, физики принимают за самый принцип вещества, и мы видим — этот принцип вечен.

Итак, в организме постоянен *вид* как синтез законов роста и форм развития, в геометрическом теле — его *определение*, в веществе — *масса*; во всех трех — их *главное*. По аналогии мы можем ожидать, что нечто главное же сохраняется вечно и в человеке? Что, однако, во всякой вещи есть главное?

То, по *чему* мы вещь распознаем среди других вещей; силою *чего* она с ними не смешивается; некоторый *идиотизм* (мы берем термин из области явлений языка) как неповторяемая нигде особенность данного круга предметов, им исключительно присуща, их характеризующая собою, в них неуничтожимая.

Принципы вещей, насколько они выяснились перед нами из приведенных примеров, суть именно вечные идиотизмы природы, вокруг которых располагаются временно возникающие в ней предметы и явления, все — заражаясь характером этих идиотизмов. Логическая определенность для линий или фигур, закон роста и тип сложения для органических форм, постоянство массы для вещества — это так своеобразно, так неприменимо нигде кроме собственной своей области, что мы ни на минуту не затруднимся, встретив какой-нибудь предмет и узнав

в нем характерный идиотизм, сказать, что все, из этого идиотизма с необходимостью вытекающее, ему не чуждо, и все, что вытекает из которого-нибудь другого идиотизма, хотя и может здесь встретиться, однако как побочное и случайное. Весомость мела, которым начерчен круг, случайна для круга; и так же случайна, т. е. не существенна, количественная сторона во всем живом, органическом.

IV

Нет ли и в человеке чего-нибудь столь же своеобразного и отличительного, что, узнав и еще не различая, в ком это, мы восклицаем: "это — человек!" Чего задатков даже мы не знаем во всей природе; что, наконец, также мало походило бы на *массу*, *species*, *определимость*, все принципы живой и мертвой природы, как эти принципы не подходят друг на друга, и, если возможно, даже более отделялось бы от них, далее уходило бы в сторону?..

— *Индивидуализм* человека как несливаемость духовного лица его и даже, в зависимости от этого, лица физического ни с каким другим лицом и даже вообще ни с чем в природе. Это есть столь необыкновенное качество для целей природы, где все круги суть круги, все березы — березы и атом каждого вещества имеет бесчисленные себе повторения в других атомах; это, наконец, так необходимо, так нужно человеку для всего, что он есть, чем становился, и чем хотел бы стать, что невозможно удержаться, чтобы не признать в этой именно особенности принцип бытия человеческого; новый идиотизм природы, около которого начинается совершенно новый порядок вещей. Неудивительно ли: 36 букв в алфавите, и письмо этих букв мы научаемся из прописей, еще менее разнообразных, чем эти звуки и их начертания; нас, обучающихся — миллионы, и вот среди них нет двух человек, которые бы одинаково могли написать хоть одно слово, и это так общепризнанно, что при судебной экспертизе единство почерка считается достаточным удостоверением единства лица писавшего. Нет и тени в этом сомнения ни для кого; нет и тени сомнения, что даже в детали, даже в том, на чем лишь косвенно и посредственно (через нервную систему) отражается духовный строй лица, не может быть тождества у двух индивидуумов. Человек есть *неповторяемое* в мироздании, *один* раз его душа приходит в мир и из него уходит — это есть истина, для всякого бесспорная; и мы прибавим, что не была бы история тем никогда не кончающимся разнообразием, тем нигде не повторяющимся новым, каковою мы ее знаем, если б не эта удивительная особенность ее творца, человека¹.

¹Зачатки индивидуального обособления есть, конечно, и в мире животном и даже растительном, но там они только зачатки, и как таковые, не могут быть ни центром, ни даже чем-либо очень существенным в каждой особи. Применяя термины аристотелевской логики, мы сказали бы, что в растениях и животных, в целом мире *до* человека, при исчезающей акциденции пребывает субстанция, и только в человеке акциденция и субстанция перемещаются одно на место другого, и вперед выдвигается тот именно элемент целостной вещи, который во всем мироздании не нужен, не важен, почти только мешает его правильному ходу и существованию.

Общие логические дары, общая способность чувствовать и желать, с которою человек уже рождается, есть лишь основа, на которой вырастает индивидуальность; в своем роде, это есть то же, что 36 букв, которые каждый пишет неумовимо по-своему и не может, даже если бы захотел, писать их как другие. Итак, есть в человеке некоторый общий "Кай", не излишне умный и не совсем глупый, не добродетельный и не порочный, не безвольный и не страстно желающий, который ему нужен как подставка для того, что уже не есть более "Кай", что действительно страдало, любило, размышляло, согрешало, и за все это, за любовь и грех, должно ответить — за гробом. Мы, впрочем, сказали более, чем сколько вправе и чем что хотели сказать; мы вправе — и не утверждать, но указать как на нечто правдоподобное — что в то время как "Кай", болея и мучась, действительно умирает в нас, то, что было поверх его, теряя в нем нужную подставку для себя, также рушится, но лишь в поле зрения нашего, для нашего ощущения, и остается как принцип бытия человеческого в себе самом. И мел с доски осыпается и ничем не напминает более круга; вынесена и самая доска; и, однако, *есть* круг, он *не исчез* в себе самом, *не пропал* из природы. Так точно эта особенная душа, только однажды на протяжении тысячелетий родившаяся в мире, никогда не имеющая более еще родиться, в связке костей этих тлеющих...

Мы уже хотели сказать: "не разрушится", — и удержались. В самом деле, сказать это — было бы очень не точно, было бы применением глагола к существительному, к которому он, очевидно, не может быть отнесен. Ведь почему, собственно, в то время как мел, которым нарисован круг, осыпается — самый круг в логическом определении своем не "осыпается" и даже вообще не перестает быть? Для него как для *истины* некоторой "перестать быть" значит стать внутренне неправильным; "разрушиться", "исчезнуть" — для него значит оказаться ложью; и если бы по мере того, как губкою мы стираем мел с доски, это определение: "круг есть кривая, все точки которой равно отстоят от одной" изменялось в следующую: "круг есть множество пересекающихся прямых, все точки которых равно удалены от одной", или — "от двух точек", или еще — "кривая, в которой диаметр соизмерим с окружностью", то мы могли бы сказать, что разрушился и исчез известный нам круг в самом принципе своем. Равно, если бы из семени, упавшего с яблони, выросла груша, а в другое время и еще что-нибудь, напр., береза или сосна, мы могли бы сказать, что яблоня в принципе своем не существует более. Теперь, что значит, применяясь к этому, для индивидуальности "перестать быть"? Это значило бы только, отделившись от своих особых черт, приобрести какие-то другие, стать лицом кого-то иного, или еще более, еще глубже: потеряв связь с самым принципом индивидуализма, стать чем-то безразличным, инертным в духовном отношении, стать тем общим "Каем", на основе которого могла бы развиться всякая индивидуальность. Вообще для *лица* человеческого, как синтеза определенных и не повторяющихся нигде духовных черт — всякое *движение*, какое мы можем представить себе, какое сколько-нибудь вправе предположить, всякая *перемена*, все *новое* возможно в особенностях того именно идиотизма, к какому принадлежит оно, в гранях, налагаемых самым принципом, и никак не переступая за них. Ведь для вещества потерять принцип массы не значит вовсе начать пахнуть или полцвести цвет; для

яблони утратить свой *species* не значит стать геометрически определенной; и для человека, *этого* определенного, для меня, моего читателя, бедного Ивана Ильича и Яснополянского философа умереть не значит вовсе...

Мы опять не можем говорить, потому что "разрушиться", "умереть", "исчезнуть" так же мало может относиться к принципу человека, его индивидуальности, как весомость к геометрии и *species* растения или животного к индивидуализму почерков. Говоря терминами нелепыми, употребляя невозможные слова, мы должны сказать, что если уже человеку предстоит что-то, что мы называем..." смертию", "разрушением", "исчезновением", то оно предстоит в смысле совсем ином и может быть более страшном, нежели как мы привыкли думать; во всяком случае это будет перемена только, а не исчезновение, перемена в роде преобразования формулы круга в невозможную нелепость. Но мы не будем об этом говорить, — и языку трудно применяться к этим явным нелепостям, и нет, наконец, в этом никакой нужды, ибо читатель, мы надеемся, понял мысль нашу; и понял, что значило бы для него умереть, если бы это было возможно.

V

Мы очень удалились от писателей, из которых тревога одного и мысль другого послужила исходною точкой всех этих рассуждений. Г-н Н. Михайловский очень точно выражает уверенность, что человеку принадлежит бессмертие именно лично, и отвергает, чтобы оно принадлежало ему только как роду, поддерживаясь через акт рождения; он говорит:

"...блажен, кто созревши, безболезненно и бесстрашно сорвался своею естественною тяжестью с древа жизни, *в себе* храня зародыш новой жизни",

т. е. об этом лице умершем, а вовсе не о детях, которых оно оставило на поверхности земли, печальных и плачущих и все-таки живых, об этом положенном в гроб и в землю опущенном теле он говорит прекрасно:

"в *нем* есть залог для жизни новой, как и в яблоке, упавшем в землю, есть залог для жизни другой".

Залог для жизни... в *нем*, этом бездыханном теле, опущенном в землю, и в *яблоке*, сорвавшемся с дерева и упавшем на землю. Но ведь в яблоке есть только жизнь рода, есть сумма законов, сил и форм сложения того *species*, к которому принадлежал материнский организм, и это есть тот самый "залог жизни", который оставляет человек в детях своих, плачущих и скорбных и все-таки живых. Недостаточно ли человеку этого бессмертия и не напрасно ли мечтает он еще о каком-то личном; желать и этого последнего не значит ли желать второй для себя жизни, жизни удвоенной — там, на небесах, своим духом, и плотью — здесь, на земле. И мы, пытаясь найти ей подтверждения, не поддерживаем ли человека в самых грубых его усилиях, в жажде чисто животной, напоминающей ту, которую томилась древние эпикурейцы?..

Есть, однако, люди, и пусть этих людей немного, которые не томятся вовсе жаждою этой второй жизни на земле, в своих детях. Мы привели выше удивительный факт, что столь незначашее выражение индивиду-

альности, как особый у каждого человека почерк, не отсутствует ни у кого из них. И вот, в то время как эта деталь, эта ненужная и смешная особенность лица по тому только, что без нее лицо сливалось бы с другим хоть в чем-нибудь, не обходит ни которого человека, — акт столь чрезмерной важности, как рождение, через который именно сохраняется человек как *species*, обыкновенен, постоянен в нем в годы зрелости и, однако, все-таки не безусловно всеобщ. Он всеобщ в мире органическом до человека¹; жажда родить (как чисто органическая черта) так же присуща каждой живой особи, как всякому нарисованному кругу присуща верность своему определению и всякому куску вещества присуще постоянство массы. В нем, в этом органическом мире, эта жажда есть точно черта особенного его идиотизма и вовсе она не входит, как образующий элемент, в идиотизм природы человеческой. Не как случай только, не как исключение или уродство, есть человек не рождающий: таинственною чертою, именно разграничивающею человеческое от животного, проходит в нем это влечение жить одному и, умерев, не оставить по себе никакой плоти. Аскетизм монастырей, там на далеком Востоке, в Тибете и Индии, и у нас на Западе, от Фиваиды и до Онеги; менее выраженный и все-таки уловимый, как бы невольный, как бы безотчетный аскетизм выдающихся мудрецов, столь прозаичный у Канта, так поэтически возвышенный у Плотина, — что это как не яркое утверждение, не человеком высказанное, но о человеке выраженное, что не для земли он, не на земле главною своею частью, что не в земном — его принцип, его центр. Мы хотим сказать — не в *rode* его, не в его зоологическом *species*. Не умереть в *этом* только для человека значило бы не умереть какою-то побочною в себе стороною, как если бы и для круга сохраниться значило бы сохраниться только в том меле, который, стирая с доски, мы все-таки не уничтожаем. Круг вечен в *определении* своем, в *лице* своем — вечен человек.

VI

В нем "не умереть", "не разрушиться" — так естественно; "жить в нем" — это так понятно. И так мало понятно, что значит *сохраниться* в нем после того, как тело станет связкою тлеющих костей и даже общий логический "Кай" души нашей... по-видимому, *он* именно передается в акте рождения и, следовательно, почти всегда сохраняется, но не безусловно. Мы не о нем говорим; мы говорим о *лице*, которое безусловно сохраняется. Ведь оно даже не факт? ведь оно растянуто на протяжении целой человеческой жизни? Оно суммируется, развивается, обогащается опытом, беднеет в границах своего выражения от неблагоприятных обстоятельств, — и мы говорим, что этот протей неуловимый есть вечная часть нас, которой не суждено умереть?..

¹Замечательно, что растения и низшие организмы отличаются наибольшим плодovitостью, и она ослабевает по мере возрастания совершенства организаций, являясь у человека наиболее умеренною. В человеке акт размножения даже понят как грех, как нарушение не столько сущности его, сколько цели его создания (*первородный грех*, в религии).

Но в семени яблоки, которое возродится, разве сохранена жизнь как *факт* или *предмет*. Не сосредоточена ли она в нем именно как *процесс*, как *время* цвета и увядания, *порядок* расположения листьев, *порядок расположения* их не только в *пространстве*, под греющим солнцем, но и во *времени* возникновения, под солнцем *этого* года и *того*? И так, мы здесь имеем процесс, необъяснимо и, однако, несомненно сжатый в факте очень незначашем, этой черной косточке, которую я несу в кармане и быть может никогда не посажу в землю. "Быть" — может стать вечным не для предмета только, но и для явления; "быть" — реально для предмета и явления и тогда, когда мы их не улавливаем никаким органом, как не обоняем душистый цвет яблоки в этой запачканной ее косточке, не видим в ней нежной белизны этого цвета, не удивляемся росту самого дерева. Мы предугадываем, прозреваем, знаем; и это *знаемое* уже теперь есть *факт* в некоторой туманной, прозрачной, колеблющейся, совершенно устойчивой в бытии своем и не устойчивой для уловления только, форме.

Мой грех, так давно уже совершенный мною — его более нет как факта, руки мои не движутся, язык ничего не произносит, и он, однако, не исчез. Я не помню только его, он не есть для меня *предмет воспоминания*, ибо не *известен* только мне в чертах своего совершения, но — тяготит меня и почти более, чем тогда, когда я совершал его. Это — не исчезающий миазм, которым я дышу уже долгие годы; я напрасно силюсь забытья от него в шуме дел и звоне новых произносимых слов; он *есть*, он укоротил нить моей свободы и жизни, отнял цвет у щек, улыбку у уст; он слишком *есть* и, как живое, почти развился или, по крайней мере, стал гораздо ярче, значашее во мне. И, повторяем, его нет более как факта. Жизнь как ряд фактов вот уже кончается; не долго буду еще отвечать я движением глаз на слова и ободрения собравшихся вокруг и плачущих родных и друзей; вот, наконец, и последний вздох отлетел; как тот не исчезнувший грех, в ярком ядре своем и без оболочки внешних черт, все акты законченной жизни...

Мы не можем сказать: "сохраняются", "есть" около этого бездыханного трупа. В значении совершенно особенном они *есть*; скажем более: ярко, выпукло, не затемнено только теперь становится лицо человека, не затемняемое более обстоятельствами, не суживаемое в выражениях своих этуо звучащую песнью, рисуемо картину, задумываемым сочинением, любовью погашающей или только зарождающей, или, наконец, этим некрасивым почерком. Теперь только нет выражений, *есть* выражаемое; нет краевых подробностей — *есть* их всех центр.

VII

И если то, что *есть* теперь, не связано ни с каким определенным местом и не выражено ни в каком даже *minimum*'е вещества, что до этого? Ведь и в семени яблоки то, что из него вырастет — "не выражено"; и определение круга вовсе не связано с этою доскою, на которой я черчу его, ни с мелом, которым его черчу, ни даже с умом моим, который сознает его, ни с умом тех, кто, научаясь, впервые узнает его свойства. Место всякое и всякое вещество, лишь принимая в себя принцип круга, становится ощущаемым кругом; принимая в себя *species* яблоки или груши,

становится одним из этих растений. Стихии земли, связанные этим принципом, уже повинуются ему, а не своим особым законам; вопреки тяжести, они поднимаются вверх по трубчатым сосудам, зеленеют в листьях, окрашиваются ярким цветом в лепестках, окружающих тычинки и пестики, и вообще выполняют то, что нужно этому овладевшему ими принципу, а не что естественно им выполнять, когда они предоставлены самим себе. Жизнь, краткая или продолжительная, былинки в поле или человека — есть, поэтому, борьба; она в точности слагается из моментов как бы умирания и воскресания в каждом акте; в каждом акте стихии усиливаются выйти, освободиться из-под возобладавшего над ними принципа, и принцип усиливается их преодолеть, отторгнуть от собственного их закона и подчинить своему, которого они не знают и которого не хотят. Смерть физическая есть победа стихий над духом; как зарождение есть момент овладения духа стихиями и, до известной степени, оно есть прообраз воскресения, есть даже самое воскресение — для стихий. Ибо ведь то, что мы назвали бы воскресением для этих глеющих костей — их *оживление*, разве не оно именно совершается для стихий природы, когда они входят в кругооборот жизни? И разве они мертвы менее, чем те кости?

Итак, физическая смерть собственно к духу ничего не привносит, и даже она касается его тем странным и неуловимым способом, как определение круга касается мела, которым он чертится; нет этого мела более на этой доске и круг стал только совершеннее; нет этой неправильной грубой линии, лишь приближавшейся к определению; это определение не болеет более, не страдает, не искажается от этих дрожаний руки, которая хотела бы, усиливается и все-таки не умеет его полно выразить. С последним вздохом душа, наконец, свободна; она есть то самое и теперь, чем раньше была в себе самой, но мы ее тогда не понимали; она нам силилась сказать о себе, — отсюда все формы человеческого творчества, в рисунке, песне, фантастической грёзе, подвиге или, напротив, в преступлении — она приближалась к своему определению, мы ее судили; теперь она в точном определении своем, и ее будет судить Бог.

VIII

“Страх смерти, вселенный в каждого человека”, о котором говорит Толстой, есть, поэтому, страх не навеянный, не внушенный, как он думает, но страх, с рождением в нас входящий и, по мере приближения к завершению земного существования, более и более нами овладевающий. Это не есть предчувствие только нас ожидающего; это есть ощущение нами в себе носимого, ощущение того, что присутствует, замешивается в каждый наш жизненный акт. Нам трудно представить это, и, однако, мы должны к этому сделать усилие: что наше бедное *согрус* и теперь, когда, не обращая на него внимания, мы разговариваем или смеемся — в *себе* самом, без оживляющего его принципа, как сумма только стихий, есть в точности то самое *согрус*, которое, когда мы смежим на веки глаза, понесут, окурят ладаном или в анатомическом театре разнимут на части. В каждый момент своей жизни мы носим в себе труп; труп без всяких ограничений, не в смысле аналогий или

приближений, нет — труп бездыханный, холодный и столь же вкусный для червей, как и тот, каким он станет несколько лет спустя для них. Но пока — черви от него отодвинуты, холод отдален на 37 градусов и в мертвые легкие гонится живительный воздух безмерною мощью овладевшего этим трупом принципа. Овладевая, животоря мертвое, не выпускаемая из-под власти своей стихий, он не может, однако, не чувствовать их, как свое резкое противоположение, как постоянное и до времени только бессильное отрицание себя. Отсюда некоторые особенные качества смертного страха. Человек не *боли* умирания боится, и также страх смерти не есть собственно страх за судьбу этих стихий, из которых состоит его тело и; кажется часто ему, состоит он весь. Это — страх человека за лицо свое; ужас перед тем, что не имеет в себе никакого лица; смятение, что это безличное что-то — в нем самого драгоценного не пощадит, и что его нельзя *умолить*, оно не *услышит* голоса, не *узнает* жалобы; что это, чему я предаюсь по смерти, не есть более никакого я.

Но этот страх, повторяем, относится к тому "никакому я", с которым человек связан уже с самого рождения. Поэтому Толстым глубоко угадано, что момент расторжения связи нашего я со стихиями есть несомненно момент исчезновения в человеке страха смерти:

"— А смерть, где она?"... "Страха никакого не было, потому что и смерти не было" ("Смерть Ивана Ильича").

Это — тайна, вырванная великим художником у гроба. Мы поясним, что улыбка, так нередко появляющаяся у умирающих в самый момент смерти, когда они уже ничего не видят, ничего не знают о *здесь* (такую улыбку я видел и у своей матери), относится или к этому, или к чему-то близкому этому. Во всяком случае, это — отражающееся рефлекторно на губах первое движение души, более с телом не связанной, как бы *след* пяты, на земле оставляемой тем, кто более никогда земли не коснется.

IX

И, однако, эта радостная мысль, что душа побеждается в смерти, но ей остается не причастна — верна только в применении к тому физическому акту, который заканчивает земное существование человека. Выше мы сказали, что есть нечто, что как бы утрачивает нить ее свободы — это *грех*. Вот акт, который лежит уже в одном порядке явлений с душою, и его острое жало достигает туда, куда не могут достигнуть стихии и законы, которым они подчинены. Мы до сих пор рассматривали принцип, владеющий этими стихиями, с одной его стороны — как *животворящее*, как *оживляющее*, как непрестанное *воскресение*, преодолевающее собственную мертвенность стихий; теперь нам предстоит усвоить его с другой стороны — как некоторую *святость*. Безгрешный, только с залогами греха, но еще без вины его, рождается человек, и в меру этой безгрешности — он животорен¹ более, чем будет на

¹Замечательно, что органы, теснее всего связанные с душевною деятельностью — мозг спинной и головной, у новорожденного и в первые месяцы жизни непропорционально велики и быстро развиваются сравнительно со всеми осталь-

протяжении всей остальной жизни. Вот еще полное господство души над телом; вот трепетание сердца, прислушиваясь к силе и быстроте которого, мы удивляемся, как его выдерживают мускулы; вот отсутствие страха смерти в такой степени, как бы она никогда не должна наступить, по сделанным объяснениям — отсутствие ощущения в себе стихий, которые преодолеваются со столь малым усилием, как бы его не затрачивалось вовсе. Решительно, ни один член не умеет еще быть в покое; все движется — и без всякой нужды или цели; тело вырастает вдвое неделями, и только позднее — месяцами. Если бы нам это случилось увидеть во взрослом, мы удивились и воскликнули бы: "Вот сказочный исполин!" Т. е. мы признали бы в нем чрезмерные и особенные силы, которых не ощущаем в себе. Теперь, если бы принцип, оживляющий тело, принадлежал к порядку природы органической, — он, по законам всего органического, возрастал бы, развивался, укреплялся в силах по мере того, как человек отходил бы далее и далее от момента рождения. Человек *оживлялся бы* по мере того, как он приближается к тому, где теперь мы уныло отдаем смерти; и бессмертие, здешнее земное бессмертие было бы делом людей, если бы не стихии над душой, но именно душа над стихиями, все более и более возрастающая, когда они остаются те же, получала преобладание. Но нет этого для человека; душа умалывается в своих силах, и это медик может сосчитать почти по минутам, следя за биением сердца и сравнивая их у ребенка, юноши, мужа, старца. Бог не хочет затенять своих тайн: сердце беднее, чем всякий другой орган, нервами, и жизненное, чем все они; точнее, оно есть общий источник, оживляющий их всех. При радости как сильно оно бьется, при страхе замирает — в соответствии с тем, как страх подавляет в нас дух и радость возвышает его. Но нет еще радости у младенца, он не ожидает еще наград; он только позади не имеет греха — и вот он жив, одушевлен более, чем отрок. Но и отрок, если вы взяли его на прогулку, в то время как ваши ноги степенно переступают шаг за шагом — то возвращается назад, то забегает вперед, то чего-то ищет в стороне, и в то время как вы сделали версту, он, в сущности, сделал три версты. Еще полны свежести ваши силы в возрасте души, не обремененной грехом — в годы светлой юности, когда этот грех более совершается, нежели глубоко задумывается, течет скорее из легкомыслия, нежели из порочности. Но вот, легкие облачка на душе соединяются в большие, большие сливаются в тучи: как корою покрывается душа грехом, изъязвляется его ранами, и нет, кажется, места в ней, нет части, которая не болела бы. Где размах теперь желаний? как коротко воображение! как мало живы все ощущения! Человек волочит свое тело, и это тело, которое он прежде не чувствовал, отягощает его, как в знойное лето тяжелая шуба. Человек уже никогда не бегает, не *хочет* бегать; он тяготится даже и *ходить*; в последние годы он лишь изредка встает, земля уже тянет его к себе, и он заранее приспособляется к горизонтальному положению, в котором скоро будет в нее опущен. Связь жизни с грехом, так ясная при сравнении возрастов

ными частями тела. Так, мозг головной у новорожденного = $\frac{1}{3}$ мозга взрослого человека, и вторая треть нарастает у него к концу первого года, а последняя — к 21 году. Т. е. в течение 20 лет, всего почти внешнего образования и научения, человеческий мозг возрастает не более, чем в один первый год жизни.

одного и того же человека, становится еще ярче, если людей одного возраста мы сравним в разных общественно-исторических положениях. Как мало болеют простые люди; как редки случаи заболевания и многочисленны примеры глубокой, за 90 лет продолжающейся, старости — в приютах, где не знают для лечения тела других средств кроме врачевания души, в монастырях. Напротив, окруженные всеми средствами медицины, окруженные гигиеною с первого дня рождения, хило живут и рано умирают люди высшего круга, потому что много грешат. Все принято у них во внимание относительно тела, кроме одного — источника самой в нем жизни, души. Она пренебрежена, все средства врачевания вращаются только в пределах тела же; и как рычаг, не опирающийся на точку, вне его лежащую, не может ничего приподнять — и эти средства, удаляя *эту* и *ту* болезнь, в сущности только перемещают их и нисколько не отдаляют смерти. Можно сказать, она приходит к человеку, как некоторое благо; стихии тела, в момент умирания, заливают душу, уже слабую, но еще существующую, и сохраняют ее для жизни будущей; искалеченную, обессиленную, достойную не награды, но наказания — все-таки сохраняют, и это лучше вечного молчания, совершенной темноты, которая иначе, при всевозрастающем грехе, могла бы, наконец, наступить для нее.

Х

Истинно сказано Спасителем, что не то оскверняет человека, что входит в его уста, но что из уст его выходит; Им же указано, что *подуманный* грех — тягостнее совершенного; точнее, что совершение греховное есть грех уже в момент его помысления, и собственно поступок к этому ничего (перед Богом, а не перед людьми) не прибавляет. Итак — вот аскетизм, прекрасный и высокий, аскетизм души, а не тела, который более легок, бессмыслен и к нему так усиливается гр. Л. Толстой (см. "Первая ступень") и многие другие теперь. Они думают — съеденною травою можно снискать Царствие Божие, овощами — открыть небесные врата; какое жалкое заблуждение, какая низменная мысль! И, между тем, в то время, как желудок переваривает только овощи, душа питается убийством, роскошествует, нежится, томится в ожиданиях, скрежетает злобою хотя бы против тех, у кого в желудке лежит еще что-нибудь кроме овощей. Какой прекрасный аскетизм! Какой высокий образец человека — эта мысль, упорно сосредоточенная на животе и внимающая тому, что именно варится в тонких кишках и выходит через прямую; на исходе двенадцати веков непрерывного развития — не легко остановиться на такой высоте! Аскет истинный есть тот, кто ни об этом, ни о чем подобном не думает; кто из природы своей от Бога прившедшее — возвращает Богу; и от земли взятое — отдает земле. Ньютон в скромности своих желаний, в непритязательности, в вечной занятости мысли своей тем, чем ей следует быть занятою — был аскет, без всякого усилия и даже ведения об этом; вегетарианец, ни о чем более не помышляющий, как только о составе кушаний к своему столу — есть развратник живота и жрец пищи. Аскетизм тела легок, прекрасен, осмыслен, когда он

является простым и естественным последствием занятости души тем, чем ей нужно быть занятою: неосуждением, размышлением, беззлобием, тысячею забот, ей собственно принадлежащих, о себе или о мире. Святой в пещере своей молится вовсе не для того, чтобы заглушить голод, на котором сосредоточено его внимание; если он и голоден, не замечая этого или пренебрегая этим, то от того, что для него сладостна молитва и он не хочет ее оставить для еды. Так Ньютон, по рассказам прислуживавшей ему женщины, нередко позабывал уже о поданном обеде, погрузившись в чтение или размышления, и кушанья снимались со стола неотведенными. Здесь — в размышлении, там — в молитве, мы одинаково наблюдаем как бы угасание физической нужды, точнее — ее неощущение, от напряжения внутреннего внимания, от переполнения души тем, что составляет для нее истинную жизнь.

XI

...Итак, тревога о смерти, которая так смущает Толстого, если бы он пристальнее всмотрелся в то, чему, собственно, предстоит в нас умереть, направилась бы в нем не на физический акт умирания, но на психологический процесс греха. Душа его будет некогда залита стихиями, но не поглощена ими, не исчезнет в их законах и силах. Его дар дивных творений — не перейдет в частичное притяжение, его воображение — не станет дурно пахнуть; и самый страх смерти, побудивший написать трогательный рассказ об Иване Ильиче, — не перейдет ни в какое новое сочетание атомов. Нет, наш добрый и боязливый Иван Ильич, наш возлюбленный о Христе брат, ты не рассеешься по ветру, как те колочки бурьяна, что тебя испугали кажущимся сходством их судьбы с твоею; ты не станешь глух, нем, не видящ, как ком земли; ты — человек не только здесь, на протяжении 60—70 лет, но и вечно — человек *этой* определенной, со своею особенною думою, никем не разделенною заботой, с тайным грехом своим, и, быть может, преступлением...

Этого рассеяния стихий — тебе нечего бояться; и если ты испытываешь страх — ищи источников его в другом, понимай его иначе и глубже, чем как он представляется тебе с первого взгляда.

Ты ищешь утешения; ты скорбишь, вот уже много лет, с тех самых пор, как мы тебя узнали, как ты заговорил... как будто бы о мире и, в самом деле — о себе. "Дух уныния", которого так боится христианин, этот Саулов дух, мятежный и тоскливый, гнет тебя, и ты не знаешь, чем от него освободиться?..

Отчего же ты не попытаешься покориться Богу? Ты не хочешь "сопротивляться злу" и сопротивляться даже благу. Ты все умничаешь, выдумываешь, лепишь снова человека из глины, когда его уже слепил Бог. Не вспомнишь ли, как "лепя" Платона Каратаева и в нем (впервые) — "непротивление злу", ты в конце концов заставляешь людей, к нему привязавшихся, бросить его на дороге, так как он, большой, не может за ними следовать. Я помню, как прочел это, много лет назад, еще будучи мальчиком, и тогда же мне показалось это болезненным и уродливым вывертом. Тут еще замешалась собачка, которая ужасно тебя обличает,

лает на тебя из всех сил: она — остается с умирающим Платоном Каратаевым, а люди — *уходят*. Как не натурально, как гадко! Как гадок человек, тобою созданный, сравнительно с тем, каков он есть...

И потом все, что ты говоришь и делаешь, не есть ли "сопротивление" не только злу, но, кажется, и целому мирозданию, которое вышло бы, тебе думается, лучше, будь *ты* призван построить для него план и дать законы? Разве не часть этого мироздания, не его продолжающееся творение — чудесная история человека на земле, и вот, ты находишь ее ненужным и глупым маскарадом, который давно бы пора прервать. "Зачем люди росли", "жизнь усложнялась", "ум выдумывал новое, *то и это*" от Авраама и до тебя?.. Значит — были *залого* для этого, хотя бы и в грехе лежащие и, во всяком случае, для человека не постижимые; были, значит, *семена* в матери-земле, кем-то для чего-то положенные, и что же, "не сопротивляясь злу" — ты хотел бы разом ампутировать этот семяник? Покорись... но был ли человек, менее покорный, чем ты? Так мелочно придирчивый? Так все выслеживающий, так все ненавидящий — при устах, полных всегда любви? Тебе нравилось в рассказе "Три смерти" дерево в своей покорности законам жизни и смерти; ты ему завидуешь, указываешь человеку завидовать...

Впрочем, не потому ли *покорность* и указана тобою как новая заповедь, что ты так совершенно лишен ее? Ты понял глубже, страстнее всякого другого, какое это есть бремя — нас возмущающий дух и, страдая от него, не захотел, чтобы страдали люди? Если так — это мудрость. Но неужели ты так слаб, что даже в иоте не можешь победить себя и не можешь ни в какой степени воспользоваться советом, который даешь другим? Сделай, однако, усилие, — крошечное усилие ограничить себя *не* в том, в чем *сам* находишь нужным ограничиться, но в чем ограничиваясь, ты покоришь себя человеку или Богу. Для примера, вот малодушные слова, у тебя вырвавшиеся в последнем рассказе против того, что еще не так давно, описывая, как милая Долли водила детей к причастию, ты понимал гораздо лучше:

"...Царица небесная, Николай Чудотворец, воздержания учителю", — вспомнил он вчерашние молебны и образ с черным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он продавал к этому образу... И он стал просить этого самого Николая Чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же он ясно несомненно понял, что этот *лик, риза, свечи, священники, молебны, все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами, молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи...*"

Вот укор, малодушный и трусливый, который ты бросил в церковь, тебя питающую и согревавшую — из нее убегая. Вспомни "длинные и тонкие" пальцы матери своей, которыми, бывало, щекотала она тебя, еще ребенком, за рубашкою и ты так хорошо об этом вспомнил в "Детстве и отрочестве", — и подумай, как горестно сжались бы эти пальцы, если бы она могла из темной могилки своей слышать, как ее милый ребенок, ее радость и безотчетная гордость, разламывает теперь через колено те самые образа, перед которыми она, бывало, учила его молиться и молилась сама... Вспомни... Или зачем, — не вспоминая ничего — покоришься просто и не рассуждая, как ты мудро требуешь от человека,

морю окружающей тебя жизни и от этих малодушных слов отрекись. Не пиши что-нибудь другое на месте их, но в последующих изданиях рассказа просто *выпусти их; воздержись, ограничь себя* — не в вегетарианстве желудка, но в этом более благородном вегетарианстве сердца, в образах тебя смущающих, в сладостно дразнящих мыслях, в гневе разжигающем. И та радость, которой столько лет не знаешь ты, сладко зачешет у тебя под сердцем. Ты любознателен, ты пытлив, ты в каждый темный уголок хотел бы заглянуть (хоть и говоришь, что презираешь науку), ну — загляни в этот угол тебе незнакомой красоты, духовной покорности, и говорю — то уныние, которое владеет тобою, на шаг отступит от тебя. Скажи смиренно в сердце своем: "я этого не понимаю — *но в этом я виновен*", "гнев бурлит в сердце моем — *как еще испорчено сердце мое*", сними вину с мира и возложь на себя, и тебе покажется, точно весь мир тебя поднимает на крыльях — так тебе будет легко. Теперь ты прав и мир перед тобою виновен, ты им оскорблен, ты возмущен его неблагообразием — и если есть вина на нем, она вся легла на тебя и под ее тягостью невыносимую ты ищешь веревки, на которой бы удавиться (*Исповедь*). Ты именно не прав; ты не прав не логически, в чем тебя упрекают разные профессора, но нравственно; и относительно того главного пункта, на котором сосредоточен вниманием: смирения и самонадеянности, покорности перед жизнью и умничанья над нею, близости к человеку и от него удаления. Прими, в самой малой частице, мудрые советы свои, и тот бес, который мучит тебя и заставляет "метать копые" в невинного, перед тобой играющего Давида, "чтоб пригвоздить его к стене", я хочу сказать — в эту играющую перед тобою жизнь, в эту молящуюся за тебя церковь, говорю: этот дух тебя оставит, этот бес не смеет коснуться тебя и ты узнаешь радость...

XII

Поверь, в младенчестве сердца своего, насколько еще есть его в тебе, ты, "гордость земли своей", стяжавший удивление "двух миров" — забыв эту гордость, это удивление, эти "валухи и рощи" литературные, до сих пор занимавшие тебя, закричишь, как милый твой Василий Андрееч:

— "А ва—ва... вот мы как".

— чего, конечно, тот настоящий, продававший и покупавший, не закричал, ибо не от чего было закричать ему, не было в нем того страха смерти, *тебя*, а не его мучащего. Почему страх, откуда? Разве он был так грешен, как ты? Так одинок, как ты, в мире? Даже греша со своими свечами, со своими заботами о купленных и проданных роцах (и согласишься, что тут не в роцах дело и даже не в существе покупки, но суеты, в которой ты погружен не менее, чем он) — грехом и правдою, рассудительностью и глупостью он переплелся с живыми людьми, и ему вовсе не от чего было так испугаться чернобыльника, как испугался его ты, в пустыне души своей, на безлюдье "двух миров", на тебя удивляющихся. И если он умер (впрочем, сделав все попытки спастись) — то так именно, как и Никита и как совершенно не можешь, очевидно, умереть ты. Великий и малый, мудрый и глупый, великодушный и мелочный,

как, поняв столь хорошо мир, ты вовсе не понял себя, не понял главного, что тебе нужно — *самоотречения*. Правда, в "Исповеди" ты бросил под ноги и растоптал... что тебе *не нужно*, с чем и никогда ты не был горячо слит душою: свой *род, богатство, успехи литературные* (которые, впрочем, ты знал, все равно у тебя не отнимутся), — подобно тому, как если бы Василий Андреич перед смертью отрекся от поэзии домашнего очага или поклялся быть верным жене, что было ему не трудно исполнить. Ты понял же, что для того, чтобы ощутить радость предсмертную, нужно отречься от главного в себе: ему — от духа стяжания, тебе — от духа осуждения, тебя волнующей злобы, презрения к миру. И не ясно ли для тебя, почему в то время как воображаемый Василий Андреевич, совершив *главное*, не чувствует на себе тяготы, ты, этого главного не совершив, естественно ничего и не чувствуешь... Ты хочешь, доброе возбудив в людях своими трудами, это доброе принести как достаточный дар; но Бог *тебя* хочет, а не плода рук твоих, ибо именно вопрос идет тут не о суете земного, но о душе твоей, и этого великого приобретения нельзя купить более дешевою ценою:

"Истинно, истинно говорю вам: если кто не *потеряет душу свою ради Меня* — не сохранит ее".

Вот великое отречение; соверши его.

XIII

"Но ведь я прав, — скажешь ты, — в этом осуждении, в этом негодовании: я видел, я наблюдал, я понял"... Но *кто* же и в *чем* не прав — в этой юдоли смерти, греха, раздражения? Прав *я*, что раздражаюсь на тебя, и прав ты, что на меня раздражаешься — и оба мы, правые относительно предмета раздражения, не правы в самом его ощущении. Подумай о неизмеримом и рассмейся малому, чем ты занят: вот, в климактерическом периоде, так склонном к заболеванию, едва не заболела жена твоя — и, однако, не заболела же, осталась жива, служит тебе помощницей... Быть может в это самое время, не благодаря Бога за то, что он чуть-чуть провел *мимо* косу смерти около близкого тебе человека, ты негодовал и смущался: "как же Бог, будучи всемогущ и праведен, не сделал этого и того добра, когда я просил Его, оно было мне нужно и я даже ставил Ему свечи и раз служил молебн"... Да Он сделал тебе *большее*, а ты не знал об этом и даже, оглянувшись, не сказал Ему того "спасибо", какое сказал бы всякому проходящему мужику за гораздо меньшее. Он горе меньшее тебе оставил, а от большего избавил; ведь совсем без горя — ты забылся бы; ведь ты забылся и теперь, и Он тебя гнетет страхом смерти, чтобы ты опомнился и вспомнил главное, без чего душа твоя может погибнуть. Но послушай, оставь "сарафаны" истории, которые ты рубишь, как твой Никита рубит сарафаны жены своей непутящей: подумай, море зла, тебя пугающего в истории и на которое ты поднимаешься в неведении своем — ничтожно, слабо, благодетельно, необходимо; как это болото на лужайке могучего леса, которое грязнит его, по-видимому, заражает зловонием, но под небом сияющим, под солнцем горящим — чудно, прекрасно, необходимо. Вообрази, как часто воображал я, что

в эмбриональном периоде развития человека совершался бы какой-нибудь изъян, например не выработывалась бы какая-нибудь косточка за барабанной перепонкой уха или не выдавливалась какая-нибудь извилина в мозгу (например, что заведует счетом) — как малы все бедствия, Тамерланом человечеству нанесенные, все бедствия от глупости и эгоизма Наполеона, все беды от наших ненужных учреждений, повторяю: как мало все это оказалось бы перед великим бедствием, какое понес бы человек с этою недостающею ему извилиной мозга или пустотой в его ухе. Но вот — этого нет; Бог-Заждатель не *ошибся*, когда начертывал тебя и меня в утробе матери; Его рука — не *погрешила*, и ты мудрый и я глупый — мы оба родились как следует. Как нам не благодарить Его? против чего возмущаться? *Быть* — это уже великое благо, благо — для *всего*; и если бы мы точно понимали отношение всех вещей в мире — благодарным гимном к Богу звучали бы кости наши, нервы, жилы, когда мы не хотим для этого пошевелить даже ленивый язык...

XIV

И неужели, неужели можно серьезно поверить, что слава, на два полушария о тебе распространяющаяся, — в самом деле тебя занимает? занимают эти "валухи и рощи", и даже меньшее — ибо это не так реально, не так непосредственно и, поверь, не менее преходяще, чем то. Ты, который так понял величие простого и смиренного ("Война и мир"), так оценил мишуру, одевающую человека ("Анна Каренина"), можно ли поверить, чтобы уже в седилах, уже перед недалеким гробом, как бы обезумев — потянулся за этою, тобой презираемою, мишурой, оставив далеко-далеко забытыми смирение и кротость душевную... И посмотри, как изменив себе, — ты утратил мудрость, не покидавшую тебя в мужестве и юности; и, возвысившись — унизился, стал меньше. Ты укоряешь теперь, ты сокрушен человеческими пороками ("Плоды просвещения", "Власть тьмы"), ты возмущен, что делает человек из даров, ему данных Богом ("Крейцера соната"), — но разве лучшие дары, тебе данные, ты лучше употребил? Ты негодуешь, что Василий Андреич смутил своими покупками целую округу, но разве ты задумался, разве остановился перед тем, чтобы смутить тебе соответствующею суетою тысячелетний покой церкви? И разве она хуже его "округи"? ее недостатки — презреннее, чем недостатки людей, которыми он пользуется? Разве ты не видишь, что если *ты* прав — и *он* прав, в своей силе среди слабого, в своей мышленности среди глупого, бережливости среди расточительного, умеренности среди сластолюбивого. Он говорит про Никиту: "в нем капитал плохой", и тебе кажется эта доля высокомерия чрезмерной, ты уже подсмеиваешься заранее над его "хорошим капиталом", который через несколько часов покажешь нам промерзнувшим, "как бычачья туша" (как ты жесток в *наказании*), но прислушайся, но оглянись, что *ты* о нем говоришь:

"...Он думал все о том же, что составляло единственную *цель, смысл, радость и гордость* его жизни: о том, сколько он нажил и может еще нажить *денег*; сколько, другие, ему известные люди, нажили и имеют

денег, и как эти другие наживали и наживают деньги, и как он так же, как и они, может нажать еще очень много денег”...

”Деньги”, ”денег”, ”денег”, ”деньги” — как, в самом деле, он почерпнул от них.

— ”Дуб на полозья пойдет, — думал он, — а срубы само собой. Да дров сажень 30-ть станет на десятине. Десять тысяч все-таки не дам, а тысяч восемь, да чтобы за вычетом полян. Землемера помажу, сотню, а то полторы; он мне десятин пять намеряет. И за восемь отдаст; сейчас три тысячи в зубы. Небось размякнет”. Он вспомнил, что к 9-му числу нужно получить за валухов с мясника деньги. ”Хотел сам приехать, не застанет меня, жена не сумеет деньги взять; глупа дюже: обхождения настоящего не знает. Известно — женщина, образования не знает никакого. Где она это видела? При родителях какой наш дом был? Так себе, деревенский мужик богатый: рушка да постоялый двор — и все имущество в том. А я что в 15 лет сделал? Лавка, два кабака, мельница, ссыпка. Два имения в аренде. Не то, что при родителе. Нынче кто в округе гремит? — Брехунов!”

”А почему так? Потому — дело помню, не так, как другие, лежки али глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Мятель не мятель — еду. Ну и дело делается. Они думают так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Думают, что в люди выходят по счастью. Вон, Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только бы Бог дал здоровья”. — И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь. Но говорить не с кем было... Как бы доехать до Горячкина, он бы поговорил с помещиком, вставил бы очки ему”.

Как он добрее тебя; великодушнее, проще. Он в себе живет, когда ты как паразит ползешь по чужому телу и выискиваешь, где бы вкуснее укусить. Как мало в нем духа осуждения; как еще наивно, почти до детства, самомнение; как нам отрадно в этом его духе, и тягостно, душно в твоём. Как хочется с ним остаться и как страшно пойти туда, куда ты нас манишь. О, с ним мы накупим еще много-много ”валухов”, и, когда нужно будет — отдадим их все; повеселимся и поплачем; побудничаем и справим праздник; погеройствуем и унизимся; а, когда Бог позовет нас — пойдём к Нему, печальные за прошлое, радостные перед ожидающим. Но с тобою, но в ”тьме”, которую ты допустил в душу свою и надвигаешь ее на нас — куда мы пойдём? В тьме этого осуждения? Этого без-братства? Мы не сомневаемся, тут нет более ”валухов”, все чисто, бесшумно ”не-деланием” — и, однако, нам душно, нам нечем дышать. И тебе, бедному, кажется, тут нечем жить, и ты задыхаешься в этой атмосфере, где так много сочitano грехов человеческих и не вспомнен один, главный — *собственный*. И вот, этот непризнанный грех — он тяготит тебя; страх смерти, которой не принесено великого дара покаяния и чистоты — окутывает тебя. В тиши ночи, перед горящей свечкой, за любимой работой — ты испуган, встревожен, почти как бедный Василий Андреич; но — добрый конь не несёт тебя, куда нужно, к жилью, к прелому; где человеком пахнет. Он несёт тебя, дальше и дальше, в пустыню твоего учительства, в одиночество твоей гордыни, между тем как ты немилосердно колотишь его испуганными

ногами по бокам, в надежде: "там — деревня"; нет, добрый друг, там деревни; там — эта же "одинокая пустыня, покрытая снегом и бурьяном", и поверь, в ней очень мало поможет тебе удивление двух полушарий, на тебя зарящихся, и ты скоро, очень скоро поймешь, что между этим удивлением и "твоим теперешним бедственным положением нет" и действительно "не может быть ничего общего".

XV

"Чистые сердцем Бога узрят"... Как не подумал ты, что вовсе не человек, в глубине своих знаний, в обилии своего научения, "естественно" отвергает Бога и презирает "эти молебны, ризы, черные лики"; но Бог от человека, наученного или не наученного, при этом условии "нечистоты", отвращается и закрывает от него святыню своей церкви. Бог смежает на него свои глаза, и он перестает видеть Бога, принимая окутывающую его тень за отсутствие каких-либо предметов в поле своего зрения. Но вспомни, но оглянись, искал ли ты этой "чистоты сердца" от лет "детства" и до глубокой старости? Не погрузил ли ты его в анализ, в подсматривание чужого греха, пожалуй — в анализ и своего греха, и никогда, никогда не уберег его от соблазна, не истомил в искусе или духовном воздержании. Сластолюбец сердца и воображения, что смотришь ты за "мельницами и ссыпками" Василия Андреича, когда нет прелести в мире, от этой грубой славы, и до утонченных прелестей учительства, не исключая однако и *промежуточных*, от которых ты воздержался бы, в которые не погрузил бы жадно язык свой и не вкусил их сладость. Как в самом деле согрешил перед тобой и нами, Василий Андреич, что хочет "подмазать полторастами рублей землемера", и ты замечаешь, как посмеиваясь над "молебнами и свечами", которые отец и мать тебе указали любить — ты "подмазываешь" новый и старый свет, всему этому давно ругающийся. Он очень осуетился, этот Василий Андреич (и право, я люблю его не меньше твоего Никиты), он — ты подслушиваешь — думает:

"...Ночи не сплю; мятель не мятель — еду; ну, и дело делается. Они думают так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Думают по счастью в люди выходят... Доехать бы до Горячина, я бы с помещиком поговорил, вставил бы ему очки..."

— но посмотри, ты ведь целый мир взволновал своей "суетой", этими изданиями без авторских прав, другими — с правами автора. "Хозяином и работником" от двугривенного до трех копеек и "Oeuvres complètes" с портретами твоими разных возрастов и даже парков, домов, гостиных, где ты размышлял, читал, создавал свои творения. О, как грустно, как страшно, что литература наша переступила тесные границы родной земли и потащилась на всемирный рынок, потянулась за всемирной славой; какими это бедами для нее грозит... И тебя, бедного, в годы слабеющей души, эта слава потянула, и ты прислушиваешься, что нужно там, чтобы знать, что говорить здесь ("Царство Божие внутри вас есть"). Ты знаешь великое "противление", поднятое миром против церкви Божиих; ты знаешь, что это противление, здесь поднятое, будет

приветствуемо там¹. И то смирение², которое ты еще понимал, по крайней мере умом, когда писал "Анну Каренину", — стало для тебя недостижимо, неуловимо, и, может быть, даже недосыгаемо более для ума.

XVI

Но поверь, эта слава, этот шум, по обе стороны Атлантического океана о тебе несущийся, и есть тот самый "хлещущий в лицо и засыпающий тебя снег"; тот "немилосердно мучимый ветром бурьян", образ которого в тишине ночи, при горящей свечке, вдруг напомнил тебе о смерти и о вечном. Перед лицом этого вечного, ты знаешь, — она тебя не оправдает; перед глазами смерти, когда она уже глянет на тебя — хвалители украдкой выйдут за дверь, бросив тебя одного. Ты останешься наедине, с сосущей тебя язвой, очень мало утешенный тем, что требуется еще и еще издание такого-то сочинения, что там-то новая обширная статья обсуждает тебя с тех и иных сторон. Глубже и глубже корни этой язвы войдут тебе в кости; и как мало титулы, оклады жалованья, полученные ордена помогли бедному Ивану Ильичу, когда истопник держал ему ноги на своих плечах, — мало эти успехи нашего земного странствия, которыми ты занят пока, которыми вдруг заигрался за минуту перед великим часом, помогут тебе в этот час на последнем одре. Ты понял верно и глубоко, что для того, чтобы умереть тепло и радостно — нужно "промерзнуть" на Никите Василию Андреичу, Ивану Ильичу — зацепиться душою за душу дворника; как же ты не поймешь, что и перед тобою, перед твоим гением — этот же бедный в сермяге истопник стоит, этот же лежит Никита; я хочу сказать: лежит эта же блеклая, серенькая, невидная жизнь, с грехом, с недостатками, с "дура-баба", "отец был что — так на деревне мужик богатый", и ожидает, чтобы ты лег на нее, согрел ее дыханием своим, обнял руками, ничего в ней не осудил, все ей забыл, простил, ибо ты — *ее не лучше*. И ангел примет душу твою; язвы на теле твоём хоть может быть и не сдвинутся³,

¹ В одной датской газетке, летом 1894 г., объявлялось, что последним сочинением "Царство Божие внутри вас есть" гр. Л. Толстой как бы подложил динамитную бомбу под историческое здание церкви и, как церковный реформатор, целую голову становится выше "нашего Лютера".

² Разумею изображение исповеди Левина перед браком и описание всего таинства брака, кога Левин с таким глубоким пониманием и восторгом слушал читаемые священником слова.

³ Кстати, не замеченная Толстым ошибка в его последних творениях: ведь ни Ивана Ильича, ни Василия Андреевича акт милосердия от смерти *не избавляет*; он помогает только *спокойно умереть*. К чему же отнесены ранее слова: "этот лик, риза, свечи, священники, молебны — все это было очень важно и нужно там, в церкви, но здесь они ничего не могли сделать ему". И милосердие "сделать", то есть помочь в борьбе со стихиями — не могли ничего, и Василий Андреич лег на Никиту не от того, что надеялся, что сейчас рассветет от этого или станет тепло. Он лег, чтобы умереть спокойно; но и мы все, чтобы умереть спокойно — молимся этим ликам и прибегаем к таинству миропомазания, и это нам *помогает*.

но ты их не почувствуешь. В умилении сердца, как и каждый из лежащих под тобою "Никит" — ты позовешь священника и смиренно поверишь, что в чаше, которую он держит в трясущихся руках — точно кровь Господа и Спасителя твоего, пролитая за грех, твой и наш, девятнадцать веков назад; и если, на минуту, это станет темно для тебя — помни эту темноту как вину свою, вину испорченного сердца, на которое закрыты глаза Вечного... И не малодушествуй, не вспоминай, как это ты скверно сделал в "Декабристах", что этот священник так льстиво выбежал к тому-то, так робко говорил с другим, пожалуй — с тобой; говорю тебе — не *смей* осуждать, не замечай, не высматривай, и даже видя грех, судия которому — Бог, свои глаза закрой на него, если не хочешь погибнуть ужасно и жалко.

XVII

"Но ты же высмотрел все *мои* грехи, ты меня — *осудил*, и как мне не делать этого, это из природы человеческой течет", — слышу я в ответ. — Да, но я осудил тебя последним, после стольких лет греха твоего, когда уже гроб не далек, чтобы ты, наконец, *сознал* себя и *радостно*, а не уныло сошел в него. Я сделал это для примера, чтобы показать, что и ты не неуязвим; "*нет* человек, *иже не согрешит, аще и миг единый поживет*". Что же, указывая друг на друга, выслеживая один другого в грехе, мы так и будем ожидать нас Грядущего рассудить?.. Какая радость нам, какое Ему утешение, какая мзда нас ожидает...

Как болезни и смерти осуждены мы — осуждены и греху; пытаться избежать его, делать усилия, чтобы его не было — так же напрасно, как и бороться со смертью или способностью в себе заболевания. Но в состав этого греха, этой болезни и смерти, входит не только индивидуальное зло, но и более обширное — общественное и историческое. Не мирясь с ним, мы его должны переносить, и ропот наш против него если и оправдываем, то лишь в качестве собственного нашего греха, который если и не так, то иначе выразился бы. Это есть именно боль, это есть именно смерть — самый наш ропот; и объективного значения, как удар против зла в мире — он не имеет. Эта наша хромота выражается в осуждении, а не то вовсе, что то, к чему мы идем, должно перед нами вырасти. Оно растет так именно; как Бог ему указал, одно — великим, другое — малым; мы, среди малого и великого блуждая, этому великому и малому, равно не нами насажденному, можем только удивляться, усиливаться не заблудиться в нем, но и заблудясь, в какое бы место ни пришли — его почитать как нам определенное Богом.

* * *

Мы не закончили бы мысль свою, если бы не сказали два слова о сохранных в истории таинствах религии через непосредственное общение их от человека к человеку (в церкви). Раз нить этого общения прервана

— человеку почти невозможно завязать ее вновь; для его индивидуальных сил — это через меру. Слабоумный и злой, находясь в церкви, не прервав никогда с нею общения — имеет сокровище веры, и, умирая — утешен, живя — лишь в глупости и злобе своей имеет границу для научения, которое ему, как и всякому гению, предлежит в той же полноте. Но вот перед нами гений... Какие усилия он делает, как мятется душою, как тоскует сердцем, чтобы уподобиться "Никите" — стать верным, как и те глупые и злые; а уж воспользоваться тем, что им предложено, он сумел бы и принес бы Богу "достойный дар"... Но нет этой веры; отчего, ради каких причин? Нет этой веры, бывшей, однако, у Ньютона, и уж допустим, что "законы природы" он понимал не меньше, нежели Толстой и Достоевский. Нет этой веры, она не восстановима, потому что она есть *жизнь*, а жизнь только передается и нет для нее "произвольного самозарождения". Нить жизни исторической хранится в церкви. Все умерли народы естественно, — христианские народы вечны, пока их не позовет Господь. И эта вечная жизнь хранится в церкви, из нее бьет в каждого человека, который мог бы жить по закону Божию и часто не умеет, но, рождая детей — им оставляет по этому закону жить. Мы все отклоняемся в сторону от главной мысли; мы хотим сказать: разве не ясно, что в самом деле святая церковь есть живое тело Бога, раз через нее общение с Ним доступно для всякого, и без нее — ни для кого? Разве мы, имея двух человек, из которых один, взяв в научение даровитого мальчика, не мог бы выучить его дальше складывания, а другой, взяв неспособного — выучил бы его даже алгебраическому анализу, усомнились хоть на минуту, что один из них *обладает* знанием математики и другой этим знанием *не* обладает? Если естественный ум, если искренние искания не приводят ни к чему самые высокие силы, значит — они ищут в пустыне, в которой искомое сокровище не находится; и если даже глупый, даже и не ищущий ничего, едва наклонясь к земле, подымает с нее золото, значит — здесь руда, искание более не нужно и предлежит лишь приобретение. Мы говорим это, имея в виду тысячи у нас "ищущих"; но еще более имеем в виду глубокого сердцеведца, создания которого нам представляются ничтожными за огромность души его, за величию сил естественных, которые, однако, *надломлены, сокрушены* — не видя Бога. Можно сказать, что он чувствует Его, как слепорожденный все еще чувствует свет солнца и только не умеет его определить, назвать, им овладеть, с ним вступить в общение; и, между тем, только тонкая пленка отделяет его от живительного моря лучей. И от Толстого отделяет Того, Кого он ищет так благородно, так великодушно, так не скрывая это — лишь маленькая пленка, тонкая нить, из церкви к каждому идущая, которую он (когда и почему, это личная его тайна) отверг на минуту как несущественную, без которой он "проживет"... И не прожил, и не может умереть...

Декаденты

Погребенных воскресенье
И, среди глубокой тьмы,
Петуха ночное пенье,
Холод утра — это мы...

.....
Мы для новой красоты
Преступаем все законы,
Нарушаем все черты.

Д. Мережковский

Увлечение пляскою передавалось от человека к человеку, от одной деревни к другой, и вскоре вся долина в окрестностях г. Си-чу была заражена нервным недугом. Но китайцы вскоре справились с эпидемией — они послали войско, перепоролι плясунов, и болезнь как рукой сняло.

Потанин, из "Путешествия по Китаю"

I

Под именем символизма и декадентства разумеется новый род не столько поэзии, сколько стихотворческого искусства, чрезвычайно резко отделившийся по форме и содержанию от всех когда-либо возникавших видов литературного творчества. Возникнув всего 15—20 лет назад, он с чрезвычайно быстротой распространился во всех странах образованного мира, очевидно всюду находя для себя хорошо подготовленную почву, какие-то общие предрасполагающие условия. Как образчики этого рода искусства, приведем два-три стихотворения:

Мертвецы, освещенные газом!
Алая лента на грешной невесте!
О! мы пойдем целоваться к окну!
Видишь, как бледны лица умерших?
Это — больница, где в трауре дети...
Это — на льду олеандры...
Это — обложка романсов без слов...
Милая, в окна не видно луны.
Наши души — цветок у тебя в бутоньерке.
(В. Даров)

В несколько более оживленном размере:

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Фиолетовые руки

На эмалиевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной глубине,
Вырастают точно блестя
При лазоревой луне.
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне;
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне,
Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалиевой стене.

(Русские символисты, кн. III)

Два приведенные стихотворения — наши русские; вот стихотворение, принадлежащее знаменитому Метерлинку:

Моя душа больна весь день,
Моя душа больна прощаньем,
Моя душа в борьбе с молчаньем,
Глаза мои встречают тень.
Я вижу призраки охот;
Полузабытый след ведет
Собак секретного желанья
Во глубь забывчивых лесов.
Лиловых грез несутся своры,
И стрелы желтые — укоры —
Казнят оленей лживых снов.
Увы, увы! везде желанья,
Везде вернувшийся сны,
И слишком синее дыханье,
На сердце меркнет лик луны.

То, что есть в содержании символизма бесспорного и понятного, — это общее тяготение его к эротизму. Старый, как мать-природа, бог, казалось изгнанный из деловой поэзии 50—70-х годов, вторгся в сферу, ему всегда принадлежавшую, им издревне любимую, но — в форме изуродованной и странной, в форме бесстыдно-обнаженной:

О, чудно нежная и страстная болезнь!
В тебе вся жизнь моя и милый идеал!
Ты звездно обняла меня, как землю плеснь,
Как ржавчина в бою измученный кинжал!
Ты волну мне дала, я грозен и велик
Не желчной грубостью, не силою, не знаньем:
Усеян язвами смятенный мой язык,
И заражать могу одним своим дыханьем
Весталок, стариков, беспомощных детей;
Всех награждать могу болезнью нагою.
Я презираю жизнь, природу и людей,
Смеюсь над тоской, над горем и слезою.

(Емельянов-Коханский)

Также и в следующем, чрезвычайно безобразном даже по форме:

Не входите, присенники!
У меня ль не ноги белые?
У меня ль не руки сплетаются?
Не входите, присенники!
Обезумею, обессилею
За собольчатым пологом...
Заплету я руки змеистые,
Прикоснусь моих плеч обнаженных,
Зацелую очи смуглые...
Не входите!..

(А. Добролюбов)

Этот же мотив один отчетливо выделяется и в прозе:

"О чем молишь, Светлый? Не очей ли ты жаждешь неразгаданных, не сдержанного ли дыхания страсти? Не улыбки ли, одетой слезами, не росистой ли души молодости?"

Я дам тебе тело девственное, бесстыдное, смелые ноги, уста опьяняющие... К ложу утреннему ты приблизишься — Суровый!

Я ли не молода? Сплетутся руки змеистые. Бледная белая ночь побледнеет от моих объятий и уйдет из покоя — за окно — на волю.

Светлый! Мне уютно... Мне больно, Светлый! Белая ночь глядит на тебя бездонными глазами. Она не уходит. Словно вдова, грустит ночь... Словно вопленица, плачет она. Плачет она о кладбищенском утре. Мне страшно... Светлый!"

(А. Добролюбов. *Natura naturata*)

Эрос не одет здесь более поэзией, не затуманен, не скрыт; весь смысл, вся красота, все бесконечные муки и радости, из которых исходит акт любви и которые позднее, с иным характером поэзии и другими заботами, из него следуют, — все это здесь отброшено; отброшено самое лицо любимого существа: на него, как на лицо оперируемое, набрасывается в этой новой "поэзии" покрывало, чтобы своим выражением страдания, ужаса, мольбы оно не мешало чему-то "существенному", что должно быть совершенно тут, около этого лица, но без какого-либо к нему внимания. Женщина не только без образа, но и всегда без имени фигурирует обычно в этой "поэзии", где голова в объекте изображаемого; как это, например, видно в следующем классическом по своей краткости стихотворении, исчерпываемом одной строкой:

О, закрой свои бледные ноги!

(Брюсов).

Угол зрения на человека и, кажется, на все человеческие отношения, т. е. на самую жизнь, здесь открывается не сверху, идет не от лица, проникнут не смыслом, но поднимается откуда-то снизу, от ног, и проникнут ощущениями и желаниями, ничего общего со смыслом не имеющими.

II

Родина символизма и декадентства, как известно, есть Франция; и здесь, в этой новой "поэзии", она едва ли не первый раз в своей истории выступила не как истолковательница чужих идей и поэзов, но как руководительница и наставница в некотором новом роде "вкусов". Отечество маркиза де-Сада, наконец, ясно высказало, в чем оно бесспорно господствует среди всех цивилизованных народов и вовсе не располагает у них чему-нибудь научиться. С тем вместе оно вдруг и с совершенно неожиданною силой выразило, чем истинно интересовалось и интересуется в то время, как на ее поверхности, на глазах волнующегося и часто восхищенного мира раздавались звуки тревог политических, религиозных, экономических, других. Художество более чутко, чем что-либо, к будущему; оно яснее высказывает сокровенное нашей души. Несколько лет тому назад, в так называемом "художественном" отделе французской выставки в Москве, простодушные россияне, если бы они были проникательнее, могли бы уже читать "декадентство", выраженное не в стихотворениях без рифм, без размера, без смысла, но с "ногами", — а в ряде картин без аксессуаров, без обстановки, без света дня или ночи, без платья, но с неизменною "живописью" женской наготы "со всеми подробностями". Странное впечатление производил, едва лишь переступал зритель порог галереи, длинный ряд полотен, среди которых совершенно отсутствовали всякие иные сюжеты, не было ни природы, ни моря, ни гор, ни солнца, ни цветов, ни уличных видов, ни домашних сцен, но только — вытянутые на один почти манер женские фигуры, с отвратительно истощенными лицами, как бы вытягивающиеся перед "художественным воображением" живописцев¹. Очевидно, для этих последних — умерла история, умер человек, умерла природа; и даже в "сюжетах" любимых умерло лицо, имя, прошлое человека, его будущее, и, как для декадентов наших дней, из этой немоты молчания, из этой теми небытия торчали только "бледные ноги", которые никак не хотели спрятаться из болезненно настроенного воображения.

Но отсутствие лиц, не только осмысленно-выразительных, но просто красивых или молодых и свежих, составляло не главную особенность этой галереи голых тел. Поражала здесь вымученность воображения, которое усиливалось и не могло выразить еще и еще что-нибудь из сферы "голового". Так, я помню картину, представлявшую глубину морскую, в которую падал луч солнца; внимательнее всматриваясь, я заметил, что какая-то рогатая раковина, вытягиваясь кверху и сплетаясь с крутящимися водами, поднималась навстречу этому лучу, обнимала его, принимала его в себя; и, еще внимательнее всматриваясь, увидел с некоторым удивлением и гадливостью, что то́ не пучина

¹ Рассказывали на выставке, что покойный Государь Александр III, посетивший выставку, прежде всего направился в художественный отдел, но, едва дойдя до двери и взглянув в зал, — повернулся назад и не захотел смотреть это "французское искусство".

и не изгибающиеся формы раковины тянулись вверх, а в форме их — судорожно изгибающееся, прозрачное женское тело охватывало своими формами луч.

Не нужно быть философом культуры человеческой, чтобы, видя эту живопись, предугадывать, какова должна быть и словесность этой страны за эти годы. Мне (к сожалению) не случилось что-нибудь прочесть из Мопассана или Золя, но вот выдержка из Мопассана, как она передана была в одной критической о нем статье (Г. Н. Л-на: "Гюи де-Мопассан" в "Русск. Вестн.", 1894 г., ноябрь) и где мы уже вступаем в сферу декадентства, хотя страница эта и была написана задолго до появления знаменитой "школы":

"...Любить, страстно любить можно, только *не видя предмета своей любви*. Видеть — значит понимать, *понимать — значит презирать*. Любить женщину нужно *опьяняясь, как вином*, опьяняясь до того, что *не чувствуешь более, что именно пьешь*. И пить, пить, пить, *не переводя духа, днем и ночью*".

Это (пишет рецензент) — запись героя одного рассказа в дневнике своем *до брака; после брака он продолжает дневник:*

"Женившись на ней, я подчинился бессознательному влечению, которое толкает нас к женщине.

Она теперь моя жена. Пока я только душой стремился к ней, она казалась мне *воплощением моей несбыточной мечты, готовой осуществиться*. Но как только я заключил ее в мои объятия, я увидел в ней лишь *орудие, которым пользовалась природа* для того, чтобы обмануть мои ожидания.

Обманула ли она (т. е. жена) их? Нет. Но *она опротивела* мне, опротивела до того, что *я не могу прикоснуться к ней, не чувствуя в душе невыразимого отвращения*, — быть может, даже не к ней именно, а *отвращение высшего порядка*, более глубокое, *отвращение к любовному слиянию вообще*, до того омерзительному, что существа с высшей организацией (?) должны бы скрывать этот постыдный акт, говорить о нем только шепотом, краснея...

Я не могу более переносить вида моей жены, когда она подходит ко мне, обнимает меня, зовет улыбкой, взглядом. Еще недавно мне *казалось*, что поцелуй ее унесет меня в небеса! Однажды она заболела кратковременной лихорадкой, и я почувствовал в ее *дыхании* легкий, тонкий, почти неуловимый *запах разложения*; я был охвачен ужасом.

О, бренное тело, очаровательный живой навоз! О, движущееся, мыслящее, говорящее, смеющееся *разложение*, такое *розовое, соблазнительное, красивое*, — и такое обманчивое, как сама душа!"

Мы чувствуем за этими словами ту степень физического плотского изнеможения, которая исключает возможность реального сближения, и это изнеможение, как можно видеть из некоторых отмеченных слов, не есть следствие богатой траты богатых сил, но изнурительной работы воображения над известного рода "сюжетами" и гораздо ранее, чем они приблизились и стали доступны *in ge*¹. И вот, ходячий труп, однако предполагающий о себе, что он принадлежит к породе "высшим образом организованных" существ (см. выше), пишет далее, позднее, в том же "Дневнике":

¹ в действительности (лат.).

“...Я люблю цветы, как живые существа. Я провожу дни и ночи в оранжерее, где скрываю их, как скрывают женщин в гареме. У меня есть оранжереи, куда никто, кроме меня и садовника, не проникает.

Я вступаю туда, как в место тайных наслаждений. В высокой стеклянной галерее сначала пробирюсь среди двух рядов венчиковобразных цветов, которые поднимаются ступенями от земли до крыши. Они посылают мне первый поцелуй.

Эти цветы, украшающие переднюю моего таинственного гарема, — мои скромные служанки. Милостивые, кокетливые, они приветствуют меня усилием своего блеска и благоухания. Занимая восемь ступеней по одну сторону и восемь по другую, они так стиснуты, что кажутся садами, с обеих сторон спускающимися к моим ногам. Сердце мое усиленно бьется, глаза зажигаются страстью при виде их, кровь приливает, и руки трепещут от желания схватить их. Но я прохожу мимо. В конце этой высокой галереи виднеются три запертые двери. Я могу выбрать. У меня три гарема”.

Чаще всего (продолжает критик) он заходит к орхидеям.

“Они трепещут на своих стебельках, точно собираются улететь. Прилетят ли они ко мне? Нет, душа моя полетит к ним, будет витать над ними, душа мистического самца, истерзанного любовью.

...Цветы, цветы — одни цветы в природе так чудно благоухают — эти яркие или бледные цветы, нежные оттенки которых заставляют так сильно биться мое сердце и туманивают мои глаза! Они так прекрасны, нежны, так чувствительны, полураскрытые, более соблазнительные, нежели уста женщины, — полые, с вывернутыми, зубчатыми, мясистыми губами, осипанными зародышами жизни, возбуждающими в каждом из них специфический аромат. Они, одни они во всей природе размножаются без позора для своего неприкосновенного (?) рода, распространяя вокруг себя дивный аромат своей любви, своих ласк, благоухание несравненной плоти, полной невыразимой прелести, одаренной необыкновенным богатством форм и цветов и опьяняющим соблазном самых разнообразных благоуханий?”

Этот в своем роде “свадебный полет” к цветам, уединенным в гареме-оранжерее, напоминает аналогичный случай, имевший действительно место в древнем мире, где один грек воспылил подобною же страстью к мраморной статуе и дошел в экстазе до того, что обнимал ее с сладострастным чувством, как живую. История запомнила этот случай, и рассказ о нем дошел до нас. Очевидно, язычники-греки были удивлены им в такой мере, что не могли пройти его молчанием, и не только на шумных площадях своих, но и в книгах. Теперь христианский писатель падает воображением до низин подобной же животности, и даже глубже — до низин не одухотворенной природы; но он не только падает сюда, но и обобщает, узаконяет свое падение, облакая его в красоту литературных форм; он, наконец, ему поет гимн при внимательно-чутком прислушивании “критиков” всех стран, к удовольствию необозримой толпы слушателей-читателей, — и только, к сожалению, не без ущерба для своего здоровья. Главное, однако, не в этом.

Приведенные отрывки из “Дневника”, в двух отделах своих, человекообразном и животном, представляют ярко выраженный каданс чело- века и его воображения. Прежде, чем его автор дошел “до” цветов “с мясистыми, вывернутыми губами, осипанными зародышами жизни”, пока он сохранял еще некоторый облик человека и не убежал из людского общества, — его воображение так же действовало, тому же закону

повиновалось, какому повиновалось воображение и тех "художников" кисти, которые привезли показать свои произведения московским Кит Китычам. То же отсутствие подробностей, аксессуаров; отсутствие в рисуемом человеке — *лица*; молчание — истории, неведение — природы. Нет ни городского шума, ни домашней сцены; ни прошлого *ее*, ни ее — *нужд, надежд*, напр. на детей. Умерло строгое римское "matrimonium liberorum quaerendorum causa"¹, библейское: "плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею", евангельское: "что Бог сочел — человек да не разлучает". Умер душевный "человек" и остался только физиологический. В живописи мы видели это в изображении раковины-женщины, поглощающей в себя солнечный луч, в беллетристике — в образе "мистического самца", порхающего над женоподобными цветами. Там и здесь уродливое впало в бессмысленное, и мы не чувствуем никакого удивления, не видим ничего нового, читая после той прозы такие, например, стихи:

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне;
Звуки реют полусонно,
Звуки ласться ко мне.

Или:

Мертвецы, освещенные газом!
Алая лента на грешной невесте!
О, мы пойдем целоваться к окну.

Или такие:

Моя душа больна весь день,
Моя душа больна прощаньем,
Моя душа в борьбе с молчаньем,
Глаза мои встречают тень.

Это все лишь — "орхидеи, трепещущие на стебельках своих, точно собираются улететь. Прилетят ли они ко мне? Нет, душа моя полетит к ним, будет витать над ними, душа мистического самца, истерзанного любовью" (Гюи де-Мопассан).

Таким образом, символизм и декадентство не есть особая новая школа, появившаяся во Франции и распространившаяся на всю Европу: это есть окончание, вершина, голова некоторой другой школы, звенья которой были очень длинны и корни уходят за начальную грань нашего века. Выводимый без труда из Мопассана, он выводится, далее, из Золя, Флобера, Бальзака, из *ультрареализма*, как антитезы ранее развившемуся *ультраидеализму* (романтизм и "возрожденный" классицизм). Именно этот элемент *ultra*, раз замешавшийся в литературу и никогда потом из нее не вытесненный, как результат *ultra* в самой жизни, в ее нравах, в ее идеях, ее влечениях, ее поэзиях, и оказался в конце концов таким уродливым явлением, как декадентство и символизм. Декадентство

¹ брак с целью производства потомства (*лат.*).

— это *ultra* без того, к чему оно относилось бы: это — утрировка без утрируемого; вычурность в форме при исчезнувшем содержании: без рифм, без размера, однако же и без смысла "поэзия" — вот *decadence*.

III

Великое самоограничение человека, предварительно тянувшееся десять веков, дало между XIV и XVI веками нашей эры весь цвет так называемого "Возрождения". Корень и обычно не бывает по виду похож на плод, но между силою и сочностью корня и красотой и вкусом плода — есть несомненная связь. Средние века, кажется, ничего общего не имеют с Возрождением, во всем ему противоположны; между тем, вся пышность, все трепетание сил человеческих в эпоху Возрождения имеет основание свое вовсе не в мнимо возрождавшемся классическом мире, не в подражаемых *Виргилие* и *Платоне*, не в открываемых из подвалов старых монастырей манускриптах, но именно в этих монастырях, в этих суровых *францисканцах*, жестоких *доминиканцах*, в *св. Бонавентуре*, в *Анзельме Кентерберийском*, в *Бернарде Клервосском*. Средние века были великим кладохранилищем сил человеческих; в их аскетизме, в их отречении человека от себя, в презрении его к красоте своей, к силам своим, к уму своему — эти силы, это сердце, этот ум были сбережены до времени. Эпоха Возрождения была эпохой открытия этого клада; тонкий слой прикрывавшей почвы вдруг был отброшен, и, к изумлению ряда последующих веков, из-под него засверкали ослепительные, несметные сокровища. Вчерашний бедняк, убогий, нищий, который умел только на перекрестках орать нескладным голосом псалмы, — зацвел вдруг поэзией, силой, красотой, умом. Откуда все это? Из истощившегося ли в себе самом античного мира? Из заплесневелых ли пергаментов? Но разве *Платон* писал свои диалоги с тем живым восхищением, с каким *Марсилио Фичино* их перечитывал? Или римляне, читая греков, разве переживали то же, что переживал *Петрарка*, который, за незнанием греческого языка, только перекладывал с места на место драгоценные рукописи, по временам целовал их и с тоскою смотрел на непонятный текст? Все эти манускрипты, в удобных и точных изданиях, лежат и перед нами: отчего же *нас* они не "возрождают"? отчего греки не "возродили" Рима? или греко-римская литература не произвела в *Галлии* и *Африке* ничего подобного итальянскому *Renaissance*? Тайна Возрождения XIV—XVI веков лежит не в древней литературе: она была только заступом, сбросившим землю с зарытых в ней сокровищ; тайна лежит в самых сокровищах; в том, что между IV и XIV веками, под влиянием сурового аскетического идеала, умерщвления плоти в себе и ограничения порывов своего духа, человек только сберегал и ничего не умел тратить. В этом великом тысячелетнем молчании его душа созрела для *Divina Commedia*¹; в этом насильственном закрывании глаз на мир, все-таки интересный, хоть и греховный; вызрели *Галилей*, *Коперник*

¹ Божественная комедия (*ит.*).

и школа обдуманного опыта, которую создал Бэкон; борьбою с маврами — выковался Мурильо; и в тысячелетних молитвах ранее XVI века вырисовались образы мадонн этого века, на которые мы умеем молиться и которым никто не умеет подражать.

С XIV и до XIX века мы только тратим несметные сокровища, тогда открывшиеся, расходует великий запас сил, к этому времени собранных. Отсюда — новая история есть антитеза средним векам. Человек не хочет и не умеет более о себе молчать: всякое малейшее чувство, всякую новую шевельнувшуюся мысль он торопится высказать другим, разрисовать ее в красках, расцветить в звуках, непременно закрепить печатным станком. Можно сказать, как сильно он тайлся до XIV века, так становится болтлив, переступив за грань этого века и во все последующие. Не только мудрое, не только благородное, но и смешное, глупое, наконец, даже уродливое в себе он облекает в стихи и прозу, кладет на музыку и очень хотел бы, но только не умеет, выразить в мраморе или запечатлеть в архитектурных линиях. Замечательно, что архитектура, этот сорт безличного искусства, эта форма созидания, где создающий слит с эпохой и народом, где он не возвышается над ними, не выделяет на их фоне своего я, — падает, как только мы переступаем в новую историю; и ни разу в ней не поднимается к великому или прекрасному.

Это — слишком *бескорыстный* вид искусства; а, между тем, новый человек решительно не находит, как, каким способом, через посредство чего он не мог бы почувствовать бескорыстным. Он все более и более разучается молиться: молитва есть обращение души к Богу, а, между тем, его душа обращается только к себе. Все, что сжимает его, теснит, что мешает независимому обнаружению своего я, будет ли это я низко или благородно, содержательно или пусто, — для него становится невыносимом. В XVI веке он сбрасывает с себя церковь, говоря: "Я — церковь"; в XVIII веке сбрасывает государство, говоря: "Я — государство" (*souveraineté du peuple, suffrage universel*); он декларирует права этого я (революция "*declaration de droits*"²); он поэтизирует глубины этого я ("Фауст" и "Вертер", Байрон); он говорит, что и "весь мир есть только отражение этого я" (философия германского идеализма, Кант, Фихте): до тех пор, пока это я, превознесенное, изукрашенное, огражденное законодательствами, на развалинах всех великих *связующих* институтов: церкви, отчества, семьи, не определяет себя, к исходу XIX века, в этом неожиданно кратком, но и вместе выразительном пожелании:

О, закрой свои бледные ноги!

— причем по точке, замыкающей эту строку, и по пустому полю листа, ее окружающему, мы заключаем, что в нем без какого-либо остатка выражено все внутреннее содержание некоторого "субъекта".

¹ Суверенитет народа, всеобщее голосование (*фр.*).

² Декларация прав (*фр.*).

IV

Религия своего я, поэзия этого я, философия того же я, произведя, от Поджо и Филельфо до Байрона и Гете, ряд изумительных по глубине и яркости созданий, исчерпали, наконец, его содержание; и в "поэзии" decadenc'a мы видим стремительное низвержение пустой оболочки этого я. Мы выше заметили об утрировке без утрируемого, о вычурном без субъекта вычурности в этой "поэзии"; это так — со стороны формы; со стороны же внутреннего содержания, хотя и отрицательно выражаемого, декадентство есть прежде всего беспросветный эгоизм. Мир, как предмет любви или интереса, даже как предмет негодования или презрения — исчез из этой "поэзии"; он исчез не только как объект, возбуждающий к себе что-нибудь у бессодержательного я, но и как зритель и возможный судья этого я, как просто *присутствующий*:

Это — на льду олеандры,
Это — обложки романсов без слов.

Вот что осталось от него в зыбком, нелюбящем, нелюбопытствующем воспоминании опустошенного и павшего я. Едва ли во всей этой словесности можно найти собственное имя, — имя города, название местности и часа. Перед ледяным "я" пронесятся чисто абстрактные видения, не цепляющиеся ни за какую реальную действительность, ничего из реального мира не несущие в себе, кроме отдельных слов, названий предметов, обрывков сцен, которые чередуются в произвольном порядке. Среди этих сцен, предметов, слов, захваченных зыбким воспоминанием из мира действительности и несущихся вперед без намерения и смысла, попадают как бы брошенные, как бы потерянные мысли, без развития, даже без сколько-нибудь необходимой связи.

Нет причин думать, чтобы декадентство — очевидно, историческое явление великой необходимости и смысла — ограничилось поэзией. Мы должны ожидать, в более или менее отдаленном будущем, декадентство философии и, наконец, декадентство морали, политики, бытовых форм. До известной степени, Ницше уже можно считать декадентом человеческой мысли; по крайней мере в той степени, как Мопассан можно, в некоторых *ключительных* чертах его "художества", считать декадентом человеческого чувства. Как и Мопассан, Ницше кончил помешательством; как и у Мопассана, у Ницше культ своего я теряет всякие сдерживающие границы. Мир, история, лицо человеческое, его труды, его законные требования — исчезли равно из представления обоих. Оба, какжется, были в достаточной степени "мистические самцы". Только одному больше хотелось "порхать" над "трепещущими орхидеями", а другому нравилось в какой-то пещере или с какой-то горы объявлять человечеству новую религию, в качестве возродившегося "Зоратустры". Религию "сверхчеловека", объяснял он... Но они все, и Мопассан тоже, уже были "сверх"-человеками по совершенному отсутствию для них нужды в "человеческом" и по отсутствию какой-либо в них самих необходимости для человека. На этом новом в своем роде *nisus formativus*¹ человеческой

¹ подъеме (лат.).

культуры мы должны ожидать увидеть великие странности, великое уродство, быть может, великие бедствия и опасности...

Еще два слова о нем. Мы можем очень тонкими нитями связать генетически бессмысленный и уродливый символизм наших дней с таким богатым по мысли и ярким по красоте созданием, как "Фауст". В обоих выразилась и еще выражается "свободная человечность": только в одном она является при истоке и богатая силами, в другом — при заключении и лишенная сил. Но существо именно "свободы" и именно "человечности" равно есть главное, равно есть характерное в обоих. Скажем более: вторая часть "Фауста", вышедшая субъективно из того же духа, как и первая, но только в пору источности его сил, представляет все черты символизма и декадентства, но только в построении целого: части его столь же бессвязны порознь и вычурно соединены, как и строчки "символических" стихотворений. Там уже есть немножко "эмалевых латаний", и все начинается с явления Елены Троянской... Мы хотим сказать, что символизм и декадентство, отрицательное отношение к которому бесспорно для всякого, кроме "соучаствующих", — генетически связуются со всем гениальным и высоким, что создано было "несвязанною личностью", "свободною человечностью" западной культуры за этот период времени, от Возрождения и до Эдиссона; напротив, грань, для него не переступаемая, кладется там, где человек понимал себя всегда *связанным* как идейно, так и особенно фактически. Великий материк истории, материк *реальных дел*, практических *потребностей* и более, чем этого всего, — религии *переданной*, церкви *сложившейся*: вот на берег чего никогда не сможет выползти это смрадное чудовище; и куда, убегая его, мы хотим указать — может всегда спастись человек. Там, где подымается монастырская стена, *это* движение неверных волн истории, какую бы оно силу и распространение вокруг ни получило, — окончится и отхлынет назад.

1899

Заметка о Пушкине

Гоголь, приехав в Петербург, поспешил к светилу русской поэзии. Был час дня уже поздний.

"Барин еще спит", — равнодушно сказал ему лакей.

"Верно, всю ночь писал?" — спросил автор Ганса Кюхельгартена.

"Нет, всю ночь играл в карты".

Диалог этот — многозначителен, т. е. в вопросе Гоголя. Как *не пусты* уже его юношеские письма, напр., между прочим, к матери! Это — послушник в стихаре, вообще какой-то член церковной службы, коего речь постоянно сбивается на поученье. Несравненный рассказчик, в письмах он не умеет рассказывать. Но письма суть самый *ненадуманный* вид литературы, и вот именно в них — какая-то вечная надуманность у Гоголя, т. е. вдумчивость, дума.

эта строфа Лермонтова — почти эпиграф к "Выбранным местам из переписки с друзьями", да и вообще ко всем моральным фрагментам Гоголя. Вечная, говорю я, надуманность, так что, переходя от переписки Гоголя к его "творениям", чувствуешь некоторую их искусственность: он "не от души" рассказывал, как милейший почтмейстер о капитане Копейкине. Напротив, садясь "сочинять", он ставил тему, он ее развивал и доводил до конца. Отсюда необыкновенная зрелость *мысли* в его "творениях". Их высокое совершенство есть уже плод его технического гения, "таланта", "богоданной" руки, что вообще никак нельзя сливать с "думкою" человека, "пением" его сердца, порывом, потоком, течением то слез, то радости. Гоголь имел гений комической техники при страшно трагическом сложении души. Во всяком случае вопрос:

"Верно, всю ночь писал?"

— характерен. Гоголь всю бы ночь писал, как и Лермонтов:

Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи.
На сердце — жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подъемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется — и язык
Лепечет громко, без сознанья.
.....
Тогда — пишу.

Что строки эти списаны с природы и представляют как бы портрет самого художника, снятый с отражения лица своего в зеркале, — видно из того, что знаменитый этот отрывок есть собственно *вставка, прерывающая* течение пьесы "Журналист, читатель и писатель" — и даже повторяющаяся в теме предшествующий абзац, но повторяющаяся его *истиннее и действительнее*:

О чем писать?.. Бывает время,
Когда забот спадает бремя,
Дни вдохновенного труда...

Поэт как бы *перебивает и исправляет*:

Бывают тягостные ночи...

Мы не умеем доказать, но кто много писал и знает технику писанья, прямо повторит за нами, догадавшись из намека, что монолог

...холодная рука
Подушку жаркую объемлет

— есть автобиографическое даже не "признание", а невольно вырвавшийся крик. И опять это не то, что:

”Нет, играл в карты всю ночь”.

”Боже, как мне писать хочется!” — воскликнул Толстой, где-то около родных своих Хамовников, в Москве, возвращаясь домой, среди толпы знакомых и друзей. Была ночь; верно, звездная ночь. И вот, остановившись и как бы не помня себя, он прошептал вслух:

”Как же мне писать хочется”¹.

Опять это как у Лермонтова, как у Гоголя; и характерно противоположно тому, как у Пушкина. О Достоевском записано:

”Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой (так называемой круглой камере) спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом, *изолированном* от других столиков, месте сидел и занимался Ф. М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом его делалось; в известные установленные часы товарищи его строились к ужину, проходили по круглой камере в столовую, потом с шумом проходили в рекреационную залу, к молитве, снова расходились по камерам; Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бивший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокою ночь, можно было заметить Ф. М. у столика сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло; щиты, которые ставились к рамам, нисколько не предохраняли от внешнего холода; особенно это было чувствительно подле окна, где Ф. М. любил заниматься. Нередко на замечания мои, что здоровее вставать ранее и заниматься в платье, Ф. М. любезно соглашался, складывал свои тетради и, по-видимому, ложился спать, но проходило немного времени, его можно было видеть опять в том же наряде, у того же столика, сидящим за работою... В то время нельзя было думать, чтобы предметом занятий Ф. М. был его первый роман ”Бедные люди”, но, зная способности и прилежание его в учебных занятиях, нельзя было предполагать, чтобы Ф. М.-чу не доставало днем времени для этих занятий; я тогда же допускал, что постоянная усидчивая его работа, работа письменная, ночью, когда никто ему не мешал, была литературная, и, конечно, не для газеты, издававшейся в роте под заглавием ”Рижский смяток”, а для более серьезного предмета. Но какая это была работа, отгадать было трудно; сам же Ф. М. никому об ней не говорил”².

Т. е. опять, у этого третьего:

...Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум.

Что-то *подобное* в настроении, потому что *подобное* в манере письма. Осень, ненастная осень была лучшим временем для писания у Пушкина; ссылка и карантин — это два места и внешние положения, два условия труда, среди которых и были созданы, по его собственному

¹ ”Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой” — г. Сергеевки.

² Воспоминание надзирателя инженерного училища А. И. Савельева, относящееся к 1841 году. См. ”Биография и письма Ф. М. Достоевского”, изд. 1883 года, часть I, стр. 42—43.

признанию и по разысканиям биографов, все лучшие его создания. Что это значит?.. Тогда как Гоголь для писания вырвался в Рим, Достоевский — сквозь нищету никогда не искал службы и обеспечения, Лермонтов вечно рвался — то на Кавказ, то куда-нибудь. Для одних простор, внешний, почти пространственный простор, есть требуемое и достигаемое условие созидания; для другого условием созидания служит внешнее и почти пространственное же ограничение.

Пушкин писал не всегда. Ночь, Свобода. Досуг:

— Верно, всю ночь писал?

— Нет, всю ночь играл в карты.

Он любил жизнь и людей. Ясная осень, даже просто настолько ясная, что можно выйти, пусть по сырому грунту, в калошах, — и он непременно выходил. Нет карантина, хотя бы в виде непролазной грязи, — и он с друзьями. Вот еще черта различия: Пушкин — всегда среди друзей, он — *дружный* человек; и, применяя его глагол о "гордом славянине" и архаизм исторических его симпатий, мы можем "дружный человек" переделать в "дружинный человек". — "Хоровое начало", как revelи на своих сходках и в неуклюжих журналах славянофилы. Достоевский, Толстой, Лермонтов имеют только *видимость знакомств*. "Его никто не знал", — замечает о Гоголе С. Т. Аксаков ("Воспоминания"), "знавший" его чуть не 20 лет. Т. е. "знать" Гоголя, как равно Лермонтова, Достоевского, — значило просто ничего не знать о них и даже вовсе почти не быть знакомым с ними. Какая-то вешалка с платьем, а не человек: вот кого или скорей бездушное что-то, что обнимали Погодин, Аксаковы или, пожалуй, Савельев, Ризенкампф, А. Майков и, далее, Краевский или Столыпин — в Достоевском и Лермонтове. Душа их, свободная, вечно витала где-то: как "душа Катерины", в "Страшной мести", которую вызывал Пан-Отец, и она являлась к нему в замок всякий раз, когда сама Катерина имела неосторожность заснуть.

"Меня сон так и клонит, мой любимый муж... Мне думается, я боюсь... что опять засну".

Но что же все это значит, т. е. эта разница в условиях и, так сказать, "пространстве и времени" работы?

Ничего, кроме того, что ярко написано в этой разнице: душа *не нудила* Пушкина сесть, пусть в самую лучшую погоду и звездно-уединенную ночь, за стол, перед листом бумаги; тех трех — она нудила, и, собственно, абсолютной внешней свободы, "в Риме", "на белом свете" они искали как условия, где их никто не позовет в гости, к ним не придет в гости никто. Отсюда восклицание Достоевского, через героя-автора "Записок о мертвом доме" — об этом испытанном им мертвом доме:

"Едва я вошел в камеру (острог), как одна мысль с особенным и даже исключительным ужасом встала в душе моей: я никогда больше не буду один... долго, годы не буду":

...и язык

Лепечет громко, без сознанья,
Давно забытые названья;
Давно забытые черты
В сияньи прежней красоты
Рисует память своевольно:

В очах любовь, в устах — обман,
И веришь снова им невольно,
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран...
Тогда — пишу.

Что "пишу", что "написал"? Даже и не разберешь: какой-то набор слов, точно бормотанье пьяного человека. Да, они все, т. е. эти три, — были пьяны, т. е. *опьянены*, когда Пушкин был существенно *трезв*. Три новых писателя, существенно новых — суть оргиасты в том значении, и, кажется, с тем же родником, как и Пифия, когда она садилась на треножник. "В расщелине скалы была дыра, в которую выходили серные одуряющие пары", — записано о Дельфийской пророчице. И они все, т. е. эти три писателя, побывали в Дельфах и принесли нам существенно древнее, но вечно новое, каждому поколению нужное, языческое пророчество. Есть некоторый всемирный пифизм, не как особенность Дельф, но как принадлежность истории и, может быть, как существенное качество мира, космоса. По крайней мере, когда я думаю о движении по кругам небесных светил, я не могу не поправлять космографов: "хороводы", "танец", "пляска" и, в конце концов, — именно *пифизм* светил, как свежая их *самовозбужденность*, "под одуряющими внешними парами". Ведь и подтверждают же новые ученые, в кинетической теории газов, старую картезианскую гипотезу космических, влекущих "вихрей". Этот пифизм, коего капелька была даже у Ломоносова:

Восторг внезапный ум пленил...

и была его бездна у Державина: он исчез, испарился, выдохся у Пушкина, оголив для мира и поучения потомков его громадный ум. Да, Пушкин больше ум, чем поэтический гений. У него был гений всех минувших поэтических форм; дивный набор октав и ямбов, которым он распоряжался свободно; и сверх старческого ума — душа как резонатор всемирных звуков:

Ревет ли зверь...
Поет ли дева...
На всякий звук
Родишь ты отклик.

Он принимал в себя звуки с целого мира, но "пифийской расщелины" в нем не было, из которой вырвался бы существенно для мира новый звук и мир обогатил бы. Можно сказать — мир стал лучше после Пушкина: так многому в этом мире, т. е. в сфере его мысли и чувства, он придал чекан последнего совершенства. Но после Пушкина мир не стал богаче, *обильнее*. Вот почему в звездную ночь:

"Барин всю ночь играл в карты"

— и, кто знает, не в эту ли и не об этой ли самой ночи Лермонтов написал:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездой говорит.

Как хорошо. Почти — Вифлеемская ночь; да ведь почти и слышится
"Слава в вышних Богу":

В небесах торжественно и чудно
Спит земля в сияньи голубом...

но поэт не догадывается о родстве ночи и ночи, как ничего не сознает
и об одурающих "парах". Он только "дурочка"-Пифия, и от этого
одного неясность настроения его:

Что же мне так больно и так трудно...
Жду ль чего? Жалею ли о чем?..

И посмотрите — "нет друзей", "не надо друзей":

Уж не жду *от жизни*¹ ничего я,
И не жаль мне *прошлого*² ничуть;
Я ищу свободы и покоя

— ну таковы-то все они: и сейчас — в видения, видения; "душка" их
полетит не то в замок к Пану-Отцу, как у Катерины, не то — подлинно
к Богу:

"Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому,
вспорхнула и полетела. Мне было так радостно. Я была в том самом
месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как
зелен и пушист тот луг, где я играла в детстве; *и полевые цветочки те же*,
и хата наша, и огород. О, как обняла меня добрая моя мать! Какая
любовь у нее в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки,
расчесывала частым гребнем мою русую косу" ("Страшная месть").

Я б хотел забыться и заснуть.

.....
Чтоб — всю ночь, весь день мой слух лелея —
Про любовь мне сладкий голос пел;
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел,

— и, еще лучше, если бы шумела целая "дуброва Мамврийская" (в
еврейском подлиннике — не "дуб", а "дуброва Мамврийская").

Отношение в древнем мире Гомера к позднейшим трагикам может
дать аналогию отношения у нас Пушкина к последующим главным
творцам. Гомер богаче и роскошнее порознь Эсхила, Софокла, Эв-
рипида. Но пришел нужный день — и из лона земли вышли Эсхил,
Софокл, Эврипид, чтобы сменить и оставить лишь в качестве школьного
научения, а не живого руководителя толпы, священного рапсода. Пуш-
кин, по многогранности, по *все*—гранности своей, — вечный для нас и во
всем наставник. Но он слишком строг. Слишком серьезен. Это
— во-первых. Но и далее, тут уже начинается наша правота: его грани

¹Своей.

²Своего.

суть всего менее длинные и тонкие корни и прямо не могут следовать и ни в чем не могут помочь нашей душе, которая растёт глубже, чем возможно было в его время, в землю, и особенно растёт живее и жизненнее, чем опять же возможно было в его время и чем как он сам рос. Есть множество тем у нашего времени, на которые он, и зная даже об них, не мог бы *никак* отозваться; есть много болей у нас, которым он уже не сможет дать *утешения*; он слеп, "как старец Гомер", — для множества случаев. О, как зорче... Эврипид, даже Софокл; конечно — зорче и нашего Гомера Достоевский, Толстой, Гоголь. Они нам *нужнее*, как ночью, в лесу — умелые провожатые. И вот эта практическая нужность создаёт обильное им чтение, как ее же отсутствие есть главная причина удаленности от нас Пушкина в какую-то академическую пустынную и обожающую. Мы его "обожали": так поступали и древние с людьми, "которых нет больше". "Ромул" умер; на небо вознесся "бог Квирин".

1900

Еще о смерти Пушкина

I

Смерть великого человека, явившаяся неожиданно, вызывает на размышления. Что такое произошло? *Он* ли тому причина, *окружающие* ли, *Провидение* ли, — об этом мы спрашиваем при виде неожиданной смерти обыкновенного человека, просто при виде *факта* раскрывшегося зева "пожирательницы людей". И этот вопрос становится длительнее, упорнее, когда тот же зев неожиданно поглощает великого, дорогого, нужного. "Куда? Зачем?" — это мы произносим горестно и бессильно, когда не можем произнести единственно нужного: "постой!"

Когда литература лишается *двух* величайших гигантов своих *одним* способом, равно неожиданно и безвременно, мысль о роковом и страшном невольно закрадывается в ум. "Тут кто-то *шалит*", "это кому-то *надо*", "кто-то *уносит* у нас величайшие сокровища", и слова: "судьба", "немецка", "рок", эти затасканные и все-таки оставшиеся в памяти человеческой имена, невольно шепчет язык. Море никак не хотело принять Поликратова перстня; то же море, какое-то мистическое море, обратно от нас требует "драгоценных перстней". Ну, бросили один, — нет, мало. "Поганое место". Я хочу сказать, что, когда в одном и том же месте реки эту весну утонул один мальчик, на следующий год — другой, мы восклицаем: "Поганое место", "нечистая тут сила". Непонятно. Страшно. Не хочу подходить к этому месту, хочу обойти это место.

В ужасно смешной (в *предметном* отношении, в отношении к *Пушкину* и его *смерти*) статье "Судьба Пушкина" г. Влад. Соловьев попытался доказать, что это не "нечистый" унес у нас Пушкина, а ангел; что это не "поганое место", где тонут мальчики, а "святое место", "место святого упокоения невинных детей". В век, когда люди только *по книгам*

помнят Бога, а не в живом ощущении, они прежде всего начинают смешивать "черта" и "Бога". Человек погиб. Мальчик утонул. "Кто это?" — "Это — Бог!" — "Нет, это — черт". Грешный человек, я следую в этом случае маловозрастным мальчикам и вместе с ними шепчу о потерянном их товарище: "Это — нечистый унес его", и все тут "погано", "страшно", "неодолимо".

...Если б им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различать со знатью.
Но дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух
И мысль без тела — часто в видах разных;
Бесов вообще рисуют безобразных.

Это неприятное и жуткое ощущение, которое через 50 лет, конечно, становится глухо, но у современников и очевидцев события, вероятно, было сильно, рассеялось несколько и у меня, когда в № 21—22 "Мира Иск." я прочел о смерти Пушкина прекрасную статью П. П. Перцова. "Ну, — сказал я себе, — больше не буду думать о Пушкине. Тут все так просто разъяснено, так правильно (в фактическом отношении) и правдиво (в моральном), что и возвращаться к вопросу нечего. Человек взглянул не *ангельским* и не *чертовым* взглядом на событие, а как простой, добрый и нравственный человек. Он не искал быть *гениально-умным* в объяснениях, не говорил себе: "Ну, тут-то я и пофилософствую", — и нашел истинную философию в объяснении все-таки загадочного и трагического события. Мистическое не отвергнуто им, но оставлено как *тень добавления* около действительных событий и отношений в жизни поэта, и самая жизнь эта в отношении к *теме* не передана как ряд эмпирических данных, но как цепь полунравственных, полуэстетических, полуфизиологических событий, словом, "дух и тело смешаны (в статье) в надлежащей пропорции".

Это впечатление было нарушено резким ответом предыдущему автору — нового ("Еще о судьбе Пушкина", г. Рцы, № 1—2 "Мира Искусства", 1900 г.). В сущности, г. Рцы *сбивает* все объяснение на первое и самое раннее, которое было дано уже в незаметном лермонтовском *упреке* Пушкину:

И он погиб и взят могилой

.....
*Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам безбожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?*

С этим объяснением совершенно совпадают центральные слова в статье г. Рцы: "Не клади, Сашенька, пальчика в огонь. Ан, хочу! Ну, тогда больно будет. *Хочу Петербурга* (курс автора). Ну, тогда тебе не избежать и *логики Петербурга* (опять его курс.), тогда судьба твоя

роковым образом вовлечется в цепь следствий и причин, породивших самый Петербург с его прошлым обществом, былыми нравами, героями того времени — Дантесами... Мы *сами себе* (его курс.) даем пощечины... И мы глубоко верим, что, если бы Пушкин опомнился, понял невозможность *человечески* (его курс.) спастись, если бы он упал на колени с горячею мольбою: Господи, спаси меня! Вот польстился я на пустую петербургскую ливрею, и вот позорят жену мою, и очаг мой, и дом мой, и нет прибежища душе моей, — *наверное* (курс. его) спасся бы”.

Тут есть немножко и соловьевского объяснения (“поехал бы на Афон”), и обыкновенного, даже самого либерального объяснения (“надел ливрею”), и, словом, неясно-деликатные упреки Лермонтова переложены во что-то мещанское (да простит автор мне упрек этот): “Он носил ливрею, когда ему нужно было петь “на седьмой глас”: “Господи, воззвах”. Очевидно, ни на Афон Пушкин бы не поехал (гипотеза Соловьева), ни “воззвах” не стал бы и не хотел читать, — ибо не таково было настроение его души, и правда его души, и *факт* его души *в это время* грусти, смятения, гнева. О, господа, ведь есть логика и у страсти, и не думайте, что права и *свята* логика только “по смертных рассуждений”, но и *при-жизненных* страстей логика может быть *свята*. Я верю, что Пушкин *вспыхнул* правдою — и погиб; что он был прав и свят в эти 3—5 предсмертных дней, когда

Восстал “во блеске власти”

— но он действительно, как объясняет г. Перцов, был не прав 3—5 предсмертных лет, и... “все произошло так, как должно было произойти”.

Я счастливый муж, любящий; у меня все исправно в дому. — За моей женой ухаживают. — Сделайте милость! Рассказывают об ее успехах:

Вот, братец мой, потеха!
Ей-ей умру,
Ей-ей умру,
Ей-ей умру от смеха.

В “Графе Нулине” Пушкин это отлично выразил в заключительных стихах:

Когда коляска ускакала,
Жена все мужу рассказала
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.
*Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?*
Не угадать вам! Почему же?
Муж? — Как не так. Совсем не муж.
*Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак,
Молокосос; что если так,
То графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит.*

Все это очень важно, все это очень на кого-то похоже; но самое важное и, так сказать, центральное — в последних двух строчках:

*Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет!*

Когда "муж" и "любовник" совпадают, тогда гомерический, чудесный гомерический хохот покрывает и Дантеса, и Нулина, и "женихов" Пенелопы. "Дом мой — твердыня моя: кого убоюся?!" Не совершенно ли очевидно, что суть пушкинской драмы заключалась... о, не в Наталья Николаевна, — а в том, что Пушкин не имел в собственных данных фундамента спокойствия и уверенности, чтобы сказать с Улисом и Лидиным: "Дом мой — твердыня моя: кого убоюся!"

Попытка Нулина, может быть, имела бы совершенно другой исход, этот другой исход возможен, он *психологически и даже метафизически мыслим*, если бы около нее не было "23-летнего Лидина". А теперь она — крепость от Нулина и всякого, т. е. чистосердечие *ее* смеха с Лидиным (ведь не в одиночку же он смеялся!) исключало со стороны последнего решительно всякое подозрение и подозрительность, и он никогда бы не забормотал, не заскрежетал:

Молокосос! и если так,
То графа я визжать заставлю!

Очень нужно! Очень нужно вызывать на дуэль. Почему же затревожился Пушкин? Веселый насмешник, написавший Нулина и Руслана, вещим, гениальным и *простым* умом он *почуял*, что если "ничего еще нет", то "психологически и метафизически уже возможно", уже настало время ему самому испытать черную чашу и вместе весь непререкаемый и фатальный комизм Черномора ли, старушки ли Нанины... о, ведь дело не в *летах* именно, а в седине и даже дряхлости опыта, хотя бы и в 35 лет:

Прошла моя, твоя весна,
Мы оба постареть успели.
Но, друг, послушай: не беда
Неверной младости утрата.
Конечно, я теперь седа,
Немного, может быть, горбата,
Не то, что в старину была,
Не так жива, не так мила.
Зато, — прибавила болтуня, —
Открою тайну — я колдунья!

Точка в точку с великою и вещью мудростью поэта, с его универсальным умом, что для 16 лет может представиться "умом колдуна", весьма мало говорящим сердцу девушки. Ее *вниманье* — совсем иное будет, чем его *речи*:

Мое седое божество
Ко мне пылало новой страстью.
Скривив улыбкой страшный рот,

Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признание:
"Так — сердце я теперь узнала.
Я вижу, верный друг, оно
Для нежной страсти рождено;
Проснулись чувства, я сгораю,
Томлюсь желаньями любви...
Приди в объятия мои...
О, милый, милый, умираю..."

И что же ответил Финн, когда-то *сам* и *первый* полюбивший Наину, т. е. стоявший к ней в неизмеримо ближайшем, по возрасту и, *главное, по опыту*, расстоянию, чем поэт к своей невесте и потом жене:

Я трепетал, потупя взор!

Что делать — это *роковое!* А ведь вещун-Пушкин, колдун-Пушкин все видел, все знал, "*на три аршина под землею*" он видел не только в 35 лет, но и в 25, когда писал "Руслана" и "Нулина", и в последнем эти насмешливые строки:

Она все мужу рассказала,
Всему соседству описала.
.....
Смеялся — Лидин!

Увы, так. Но поспешим к нашей задаче, оставляя иллюстрации. Не было *совершенного чистосердечия* и "гомерического хохота" в ее рассказе Пушкину о Дантесе. Не тот смех, не та психика. Смеется, смеется, и вдруг глаза поблекнут. — "Ну, продолжай же, Наташа! Так ты его..." — "Ну, хорошо, уж поздно: доскажу завтра". Речи недоговаривались, смех *не раскатывался*; так — улыбнется, *мертвенно* улыбнется. — "Да что ты, Наташа?" — "Ничего, утомлена. Я рано встала". И вечно утомлена. — "Верна?" — "Конечно!!" — "Довольна?" — "Довольна!" — "Счастлива?" — "Счастлива!" — "Не упрекаешь (меня)?" — "Нет". "Детей любишь?" — "Люблю". — "Но поговори же, но расскажи же: так ты этого молокососа..." — "Ну, оборвала, ну, и только, и спать хочу, и дети нездоровы, и завтра надо рано вставать..."

Она совершенно нравственна или, пожалуй, "корректна" в отношении к детям и мужу, и... и... не распинайте же вы ее и не требуйте, чтобы она *вдруг* запела песенку над ребенком:

Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю...

Ничего у нее грешного. Но здесь и кончено все. Она не согрешает. Но ведь вы требуете *святого*, как положительного, вы ищете небесной поволоки глаз, взамен мертвенной улыбки ожидаете воздушного смеха:

Проказница младая,
Насмешливый потупя взор
И губки алые кусая,
Заводит скромный разговор

О том, о сем. Сперва смущенный,
Но постепенно ободренный,
С улыбкой отвечает он. (Нулин, на другой день)

.....
Вдруг шум в передней...
"Наташа, здравствуй!"

— "Ах, мой Боже!
Граф, вот мой муж!"

Ну ради Бога, объясните вы все, распинающие "плоть": откуда взять этот "отрывок" бытия, серебристый звон голоса, когда его *нет!* Просто — *нет!* А ведь Пушкин психолог и понимает, что когда этого — нет, то вообще ничего нет между ними, кроме довольно скучного, *скачущего* "общего ложа" и привычной, конечно, милой, но не восхитительной столовой. Серебро — общее; посуда — общая; пожалуй, интересы — общие, и, конечно, знакомые. Но *не* общий — *смех*:

...Потупя взор
И губки алые кусая...

Это — не к нему, не к Пушкину обращено; могло бы обратиться к "Лидину", а за неимением его — вообще *отсутствует*. Да — нет, и только. Нет смеха; но вы требуете добродетели?! Плохие психологи. Пушкин им не был. Начертав эти стихи, он, конечно, конечно, понимал, что... ничего-то, ничевохенько общего между ним и женой — нет и что тут — не *ее* вина (слова его о ней в день смерти: как он ее ценил!), а уж если и есть чья, то, после Бога, устроившего законы мира и бросившего солнце в *свой* путь, луну — в *свой* же *другой*, то еще вина — *его*, *Пушкина*, не нашедшего в мире своих путей или не пошедшего по своим путям. Да, как Перцов объясняет, — "*вина*" Пушкина, и именно здесь — в сфере "своего дома".

Пушкин был решительно груб с "Наташей" (да будет прощена дерзость так ее называть). Он мог гениально ее ценить, но создать и *выжать* из себя форм обращения и быта, бытья, "житься-бытья" с той, о которой он записал *первые, ранние* впечатления:

Все в ней — гармония...
Все — выше мира и страстей:
Она *покоится стыдливо*
В красе *торжественной* своей,
Она кругом себя *взирает* —
Ей нет соперниц, *нет подруг*;
Красавиц наших *бледный* круг
В *ее сияньи* *исчезает*

— он не сумел.

В письме к жене, приведенном г. Рцы¹, Пушкин заговорил несколько как мастеровой. Пусть читатель перечтет письмо, справится.

"Наташа" получила письмо. Села, грустно откинулась назад. И уж не знаю, в какую минуту, но мы слышим из спальни девушки, — увы, и в *замужестве* девушки:

¹ См. "Мир Искусства", 1900. № 1—2, стр. 20.

Любви роскошная звезда,
Ты закатилась навсегда!

Да и в замужестве девушки! Дайте договорить мысль! Она только фактически стала супругой и матерью, а поэтически и религиозно так и замерла, умерла девушкой. Ведь совершенно очевидно, что если есть поэзия и религия

...святыня красоты

в девстве и *девственнице*, то должна была настать и святость супружества, святость материнства:

Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю!

"Я не знаю, я не понимаю, я неопытна, однако тоже, перефразируя стихи поэта,

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я хотела бы обитель:
.....
В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одну картину я б хотела вечно видеть:
...Чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель,
Она — с величием, Он — с разумом в очах,
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона".

Она могла этого не написать, но она могла это почувствовать и даже, так сказать, *практически к этому приуготовиться*; как он мог написать, но вот практически-то к этому приуготовиться и не мог! Не тот тон. Совсем другие речи. И в основе всего — просто не тот возраст и не то "прошлое, прошлое!" — которого "не вернуть!". Пушкин в 16 лет написал — и с странным, страстно-нежным тоном в заключительной строке — "Леду", — сюжет, который, ей-ей, я узнал и он мне пришел в голову за 30 лет! Таким образом, этот маленький "Эрос", который мы называем Пушкиным, "зрелым" почти родился, и дальше все "зрел" и "перегорал".

"Конечно, она не виновна. Но, виноват... мир, Бог, Дантес, Геккерен, "ибо я так чрезмерно страдаю", "так мне дурно"... Она обо мне не думает; я о ней всечасно думаю и почти перестал писать стихи, разучился писать (последний, какой-то *пустынный* фазис деятельности Пушкина), ибо все та же мысль сожрала, пожрала меня. Молось — и не вижу "образа". Он не отвернулся, а просто поблек, умер в линиях, ушел куда-то внутрь".

Г. Рцы, приведу указанное выше письмо, пишет: "Чудные отношения (везде его курсивы). Дай Бог каждому из нас найти такой *верный* тон, так гениально суметь избежать приторности, сантиментальности, прикрыв грубоватою корою товарищеских угловатостей эту чарующую нежность, эту сердечность, эту ласку... Он ее не любил!! Или она его? Да

Ромео и Юлия так не любили друг друга, как могли любить друг друга Пушкины в браке, *оставайся только несчастный поэт в Москве*” (последний курсив мой)... и т. д. Строки до известной степени драгоценные, ибо именно так рассуждал, вероятно, не раз рассчитывая свое счастье по пальцам, Пушкин.

Дело в том, что тон письма Пушкина, действительно чудный и ”ромеовский”, не есть ”ромеовский” *универсально*, но только *резко определенной, узкой полосы* бытия нашего, который и для Гончаровой должен был настать и, по-видимому, настал со вторым мужем, и она ему была ”твердыней”, успокоенною и счастливою; но с Пушкиным, в 17—22 года, не настал. Она имела *свой тон, свои струны* ”ромеовского” счастья, по которым не мог и не умел ударить... поэт.

Тут только и можно разобраться, ”вознеся руку на сердце”, ибо ”законно” и внешне, как равно критически и литературно, мы, все, конечно, решим ”по Пушкину” и ”для Пушкина”. Но ведь что в *нашем-то*, *этаком* решении? Ведь он, участник драмы, жалкое ее лицо, — вещун, он — вещий.

”Я же верна тебе, — ну что же еще”.

И она заплакала. Скажите, ради Христа, в какой закон и в какое Евангелие вы впишете эти слезы, или, пожалуй, из какого Евангелия или от какого Христа вы возьмете окрик, или даже просто *упрек* — этим слезам. ”Я плачу, ну и только”. ”Ваша — и никуда не бегу”. Пушкин заметался. О, тут кто-то... судьба, Бог, Дантес, Геккерен, но я должен, мне нужно убить, потому что я так ужасно страдаю, мне так трудно, и *неисцелимо трудно*. Убить и даже... убивать, убивать; или — умереть. Он умер. Конечно, это легчайшее.

II

”В чем дело, — пишет г. Рцы, — Пушкин *переступил* через чужую жизнь? Пушкин, как Мазепа, *заклевал голубку* — какую? Свою собственную жену... Что за притча? И в каком смысле *заклевал*? А вот в каком. Для Наташи, для бедной (несчастливая московская барышня, очевидно, судьбой предназначенная по крайности для действительного статского советника), для бедной Наташи все были жребии равны. *Еще* равны... (центральная, совершенно справедливая мысль г. Перцова). Она еще никого не любила, не доспела, но потом, отлежавшись, как груша хороших поздних сортов, могла полюбить, а тут Пушкин, коллежский секретарь Пушкин, некстати подвернулся...”

Чудак. Он пишет: ”Этак у каждого из нас, проживши мирно десяток лет, жена вдруг нальется соком и станет вздыхать по *суженом, настоящем*, которого она проглядела, не дождалась”.

Какое рассуждение; ну, и в самом деле, пусть жена ”начала вздыхать”: как же муж *прервет* эти вздохи? Увы, брак не был бы ”тайнством”, если б он не был ”членом веры”. И вот, когда верующий, — о, не изменяет своему символу, но *вздыхает*, как я, как, может быть, он, как Лютер в 22 года, о какой-то далекой, новой, возможной вере, в условиях поблекшей настоящей, что же, г. Рцы и этот *религиозный вздох* прервет?!

Нет, он этого не сделает. Но не то ли же самое и в таинстве, которое мы рассматриваем, где так же, как и в вере, в религии, в догматике, вздох прервать *нельзя* и вздох прервать *преступно*. Да просто — нельзя (нет средств, сил)!

Какой-то *всеобщий* страх у г. Рцы — суетен, неоснователен.

Подуга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя

— это повторит тысяча мужей о своих ”старухах”, не променивая их стоптанных башмаков на новые модные туфли; мужей, говорю я, — но так же это скажет и тысяча жен. Пушкин — не ”Мазепа”, который ”заклевал”... Вот именно Мазепа-то и не клевал:

Не серна под утес уходит,
Орла слыша тяжкий лет;
Одна в сенях невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.

Это — Мария Кочубей ожидает приговора родителей, когда седоусый гетман приехал формально ее сватать:

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и *старца строгий вид*,
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влагают страстные мечты.
И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
Она — в объятиях злодея...

Не отпустил отец, сама ушла. Что делать — так!! Так было покоен веков и так останется, пока ”три кита” не вывернутся из-под земли; и, наконец, так Бог благословил. Но почему же *если* Мазепа, то *все-таки не* Пушкин? Это вы прочтите у Лермонтова о Каспии:

...о, старец — *Море*.

.....
Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий стихнул, *будто спит...*

Не правда ли, в стихах Лермонтова — будто психология Мазепы, в его притворных письмах к Петру. А вот, у него же, и в той же дивно краткой поэме, и эпизод с Марией Кочубей, во всех деталях:

”Слушай, дядя, дар бесценный:
Я примчу тебе с волнами
Труп казачки молодой
С темно-бледными плечами,
С светло-русою косой”.

.....

И старик, во блеске власти,
Встал, могучий как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.
Он взыграл, веселья полный,
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.

Тысяча романов в действительности — на подобный сюжет; и Наташа Гончарова, за 2—3 года до встречи с Пушкиным (совершенное отрочество), легко могла бежать к какому-нибудь петербургскому Мазепе, совершенно так же и с теми же последствиями, но *никогда бы не сбежала к Пушкину*. Мазепа... старый бандурист, коего песни до сих пор не забыты Малороссией, строитель церквей, тряхнувший — да как! — Малороссией и забурливший около своего имени Россию, Швецию, Польшу. Пушкину бесконечно хотелось съездить за границу, но он... так-таки никогда и не решился сесть на пароход без паспорта. Этот несносный Бенкендорф — потому и несносный, что Пушкин никак не умел от него освободиться. Вот уж *не Каспий*... Что же ему сравниваться с Мазепой *в линии данной темы*. Да он и был для 16-летней Наташи Гончаровой тем "действительным статским советником", хлопотавшим у правительства разрешения издавать журнал, — к которому ее приревновал г. Рцы; а Мазепа и был, по его же терминологии, — "Он"... Ну, — Он, "Озирис", "Зевс"...

...Дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух.

По всему описанию видно ("Полтава"), и, конечно, так и было в действительности, что не Мазепа хотел Марии Кочубей: он только заметил ее, позволил ей, а *ринулась*-то она сама к нему, и, пожалуй, действительно к Нему. Седой усач; поэт — но *в меру* (Пушкин — *без меры*); какие речи! какой взгляд! И — седина, седина; "ветхое деньми". Тут не у одной Марии закружилась бы голова... И, главное, великий и страстный политик, молитвенник, художник, Мазепа и в 63 года был свежее и чище, был более похож на Иосифа Прекрасного, чем Пушкин, далеко отошедший от Иосифа в 16 лет ("Вишня"). Да, целомудрие старости — обаятельно, и у Марии, а могло бы быть и у Наташи Гончаровой, закружилась голова. И решительно она не закружилась от Пушкина, который, *в отношении к данной теме*, так ужасно походил на "действительного статского советника", с положением и связями, восходившими до Бенкендорфа. Но известно, что у генералов, военных и статских, бывают счастливые адъютанты, и вот в Дантесе Пушкин почувствовал, заподозрил, имел *психологический и метафизический фундамент* заподозрить такого счастливого "адъютанта", "помещика 23 лет Лидина", и, словом... Феба. Эсмеральда и Феб. Вы помните "Собор Парижской Богоматери" и там этот старинный, горестный (до слез) роман. Эсмеральда — само упоение; ею упилась *Европа*; она увидела (кажется, ни слова не сказала) кавалериста Феба, которому Гюго даже не дал никакого собственного имени, до того он был *безличен*. Эсмеральда

поплекла. Забыла свою козочку. Вот тут пусть г. Рцы рассудит и бросит в Эсмеральду тот камень, который он бросает в Гончарову. Зачем Эсмеральда полюбила Феба, а не того угрюмого, ученого, *гениального* монаха, который полюбил ее почти страстно-нежно и безнадежно, как Пушкин — Наташу. Да, зачем?! Пусть учит г. Рцы — он умен; я же только и могу припомнить: "И к мужу — *влечение твое*" (Бытие, 3). Да, "к мужу" и "влечение", т. е. "муж" и есть этот "Каспий", "море", "Озирис", Феб, Дантес, уже потому "роковые", что их ни обойти, ни объехать. Погибла Эсмеральда, погибла Кочубей, могла бы погибнуть Гончарова-Пушкина. Но, с другой стороны, — погиб тот желчный монах ("Соб. Пар. Богоматери"), погиб Пушкин, *может* погибнуть Рцы, я, наш читатель. И, вообще, это любопытно, что где-нибудь, то там, то здесь, но *вечно* "бог семьи и брака" требует и *получает* себе дымящуюся человеческую кровь. Ужасно, но факт.

Ужасно, непостижимо. Сейчас я разъясню это. Конечно, можно представить, как, по-видимому, мечтает г. Рцы, что человечество можно было бы, поломав как лучинку, разместить попарно и что не было бы ни страданий, ни расхождений, ни приключений. Но "лучинки" бы *не рождали!* Я хочу сказать, что в тот миг, как "кровавые заклятия" (на этой почве) окончательно прекратятся на земле, — человек перестанет рождать. Я не могу постигнуть, почему и как, но чувствую, что *рождение ребенка* требует "жервы", без нее не будет беременности и того, о чем писал и к чему готовился Пушкин, возвращаясь домой. Попробую еще объяснить. Шампанское — *играет*; если бы оно не играло, не пенулось, оно было бы смиреннее и не рвало пробку, не разрывало проволоку и иногда не брызгало вам в лицо, а при неосторожности — не ранило бы вас осколком стекла в лицо, и руку. Но *тогда оно было бы водой*, без игры, пены и ран... Идея г. Рцы, испуг его "как мужа" есть в сущности жажда смирить женщину и... тогда она *потеряет силу*, не будет рождать, так Татьяна в скорбном своем романе:

К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялись ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале; и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать, но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется *vulgar*.

А *дету!* Что вы мне суете "старушек, которые ей улыбались", кавалеров, которые ей "почтительно кланялись", когда идет *жена*, — и я спрашиваю: а где же ее *дету?* Вот что забыл Пушкин, рисуя свой "милый идеал", и о чем забыл, что кощунственно выкинул из головы Достоевский, в знаменитом анализе "пушкинского и русского идеала

женщины"? О, любители бескровных жертв, взамен древних, ягнячьих, голубиных, — как иногда можно ненавидеть вас и ваше!..

В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

Ведь, плакать хочется, — не знаю, как читателю, но мне хочется.
Она спросила:

Давно ль он здесь, откуда он (*Онегин*)
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд...

Страшен этот "усталый взгляд"! Сегодня усталый, завтра усталый, следующий год усталый. Ох, "устала"; кто-то поддержит? Нет держащего. И Пушкин, и Достоевский — оба отказались. Пушкин устал от Бенкендорфа, Достоевский устал от бедности и либералов.

С Татьяной — никого. Только старушки поклонялись на рауте.

Устала Татьяна. Братья-люди, да ведь *вы* уже устаете? Почему же только *жена* не может устать?

Поэт, усмири волны свои и *любезно рассмейся*, низко поклоняясь Бенкендорфу. "Низко поклоняясь"?! Но позвольте, ведь Татьяна куда-куда больше "низких поклонов" должна отдавать тому, кто ей *чужд* и на нее *не похож*, как на вас Бенкендорф?.. И почему же то, от чего гиганты силы заскрежетали зубами, Пушкин, Достоевский или мы, средненькие, Рцы, я, только для "бедной Тани" под силу? Но ведь на самом деле так. Ведь Таня тоже мечтала:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсила бы я смиренную обитель...

И почему, почему, когда Бог отнял у женщины гений письма, когда она не слагает пушкинских строф, не дает ни рафаэлевских рисунков, ни музыки, как Моцарт, ни побед, как Наполеон, — почему, как Давид в могуществе своем отнял у соседа Урии его "последнюю овечку", вы отнимаете "единую славу" у нее: детскую и спальню, семью и *настоящего мужа*. У Урии — только Вирсавия. У Давида — царство, слава, арфа и псалмы. У Татьяны, Натальи — только возможность приласкать, но уж любимого человека, а тут явился воин, богач, в ласках царских, в исторической славе, или явился поэт, купающийся в волнах народной молвы:

"Ну, вот, Наташа, Татьяна, теперь тебе есть муж".

Татьяна уступила. Наташа уступила. — "Да, мне все равно!" И усмехнулась.

Но перервем, оставим.

Конечно, Пушкин был виновен перед Гончаровой, и потому, что он не понял необходимости глубокого *индивидуализма* семьи, без чего она есть квартира, но не есть "дом" в лучах религии и поэзии. "Святой дом" — вот чего до очевидности ясно не выходило у них.

Пушкин и тысячи, — между ними Достоевский, — воображают, что пол есть функция, а не мистическое лицо в нас, второго, ноуменального порядка, и что как можно составить по произволу меню для table d'hôte'a¹, так же можно мистический узел семьи, мистическую душу семьи, ангела семьи образовать на почве искусственного соглашения, формального соглашения на "общение в этой функции". Ангела нет. Души нет. Семьи нет. Ничего нет, есть только то, о чем условливались: Функция. Она — в слезах, он — в бешенстве; или — она — в терпении, он — в унынии. Да что же случилось? Да нет лица, не вспыхнуло *ангельское между ними* лицо. Вы *говорить* можете со всяким из 1 200 000 петербургских жителей; обедать — не со всеми, но по крайней мере с тысячами из этого миллиона; но читать книгу?.. О, тут индивидуальность суживается: Пушкин не может читать с Бенкендорфом, — ему нужно Пушина; Достоевский не может, пусть дал бы обещание, "обет", "присягу", целый год читать романы и прозу, стихи и рассуждения со Стасюлевичем; я не мог бы читать, "задушевно и со вкусом", со всяким; может быть, не мог бы со всяким читать и Рцы. Вышло бы не "чтение" с засосом, вышла бы алгебра, читаемая Петрушкой и которую, кроме Петрушки, на этот раз слушают Стасюлевич и Достоевский. Но почему мы *говорим* с 1 200 000, *обедаем* — с 200 000, *читаем* — с 20?! Потому что "разговор", "трапеза", "чтение" — все *одухотворяются* и *одухотворяются*, становятся *личнее* и *личнее*, *интимнее* и *интимнее*. Но общение в предполагаемой функции супружества — насколько же оно интимнее, таинственнее, сокровеннее и главное, главное личнее, не говорю — разговора или еды, но и чтения?! Читать вечно только с Петрушкой, — нет, тут обломилась бы "кошачья живучесть", которою гордился в себе Достоевский. Итак, секрет и тайна раскрываются: "читать" можно только с немногими; но, как "думать" можно только с собою, и при *такой* думе вспыхивает гений, поэзия, — так гений и поэзия семьи вспыхивают тогда, когда есть *единство субъективного лица* в кажущихся двоих. — "Ну, давайте думать вдвоем, я и Рцы". Правда, "братья Гонкуры" писали "вместе" романы, но эти романы были плохи, они не были "Войною и миром" или "Карениной". Попробуйте "сочинять вместе" "Преступление и наказание"?! Хороша вышла бы каша. Каким же образом семью, которая как *произведение*, конечно, выше гением и мистицизмом "Преступления и наказания" и "Войны и мира", можно, "согласившись", "начать сочинять вдвоем". Тут нужно, чтобы Бог *согласил*, т. е. семью, которая немислима без двух. Эти двое тогда ткут, когда их устроил Бог в одно (одно *лицо*). Великие поиски семьи, — то, что я, петербуржец, нахожу свою "судьбу", положим, не в нашей улице, не в нашем городе, а при случайной и единственной поездке в Сибирь, — отсюда вытекают, и из подобных фактов ясно, что это Божеское единство двух есть вообще проблема, случай, загадка, но никогда не произвол. "Я женюсь, и вот будет семья". Ничего подобного. Ведь вас *двое*, а семья именно там, где есть "одно". Вот устранение этих-то "двоих" и есть мука, наука, и, конечно, непростримаемая наука семьи. У Пушкиных все было "двое": "Гончарова" и "Пушкин". А нужно было, чтобы не было уже "ни Пушкина", ни "Гон-

¹ Общий стол (*фр.*).

чаровой”, а — Бог. Пушкин метнулся; Рцы говорит: ”Ведь они были повенчаны”. Я же спрашиваю, где Бог и *одно*?! Совершенно очевидно, что это ”Бог и *одно*” у них не существовало и даже не начиналось, не было привнесено в их дом. Что же совершилось? Пусть рассуждают мудрые. История рассказывает, что вышла кровь; трудно оспорить меня, что Бога — не было и что гроза разразилась в точке, где люди вздумали ”согласно позавтракать”, тогда как тут стояло святилище очень мало им ведомого бога. И, конечно, старейший и опытнейший был виновен в неуместном пиршестве, и он один и потерпел.

1902

Размолвка между Достоевским и Соловьевым

Очень скоро после смерти Достоевского Вл. Соловьев, бывший при жизни в некотором духовном подчинении ему, начал быстро и энергично расходиться с ним. В третьем томе ”Сочинений” покойного философа помещены статьи, где мы наблюдаем первые шаги этого расхождения. Каковы были основные его побуждения?

В лучших, золотистых своих страницах Достоевский навевал на читателя грезы всемирной гармонии, братства человек и народов, гармонии жителя земли с этою обитаемою им землею и небом; ”Сон смешного человека”, в ”Дневнике писателя” и некоторые места в романе ”Подросток” дают в Достоевском почувствовать сердце, которое не словесно только, но реально прикоснулось тайне этих гармоний. Наполовину слава Достоевского основывается на этих золотых его страницах, как ее другая половина основана на знаменитом его ”психологическом анализе”, если и не высший, то самый знаменитый пример которого дан в ”Преступлении и наказании”. На прямой и краткий вопрос: ”Да за что вы любите так Достоевского?”, ”за что Россия так чтит его?” — всякий скажет кратко и почти не думая: ”Как же, это самый *проницательный* в России человек и самый — *любящий*”. Любовь и мудрость — вот два венца Достоевского, около которых более проблематичны остальные.

В одном месте выражения этой экстатической любви, в ”Бесах”, он говорит: ”Я — всему молюсь; вот ползет паук по стене — я и ему молюсь”. Паук — это что-то злое. Но силою любви, из него исходящей, Достоевский преодолевал самое зло, разгонял потоками психического света всякую тьму, и, как в знаменитых словах о ”солнце, восходящем над злыми и добрыми”, — он тоже разламывал перегородки добра и зла и снова чувствовал природу и мир невинными, даже в самом зле их. В секунду этой ”гармонии” — его лично, Достоевского, ”гармонии” — вина снималась с мира, и он (Достоевский) знал тайну мира искупленного, о чем мы болтаем пустые деревянные слова, в сущности вовсе не зная и не постигая, что такое для мира быть ”искупленным”. Метафизический секрет этой ”искупленности”, нам только словесно

известной, был открыт или по крайней мере секундами открывался Достоевскому. Те страницы, где проскальзывает этот секрет, и создали все положительное имя Достоевского, где он дал свой "тезис", в отличие от других, часто очень мрачных страниц его, где он развил множество "антитез" современной ему культуре, да и вообще сердцу человечеству ("Записки из подполья", "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы").

Состав этого "белого луча" в "темном Достоевском" чуть ли не столько же сложен, как и состав нам известного простого "белого света". Тут входит и "Лик Христа", к которому он еще с юных своих лет привык обращаться как к неоспоримой небесной красоте, которую проверяется все сомнительное, земное. Может быть, в чувстве Достоевским Христа заключалась личная особенная примесь, может быть, он чуть-чуть Его иначе чувствовал, чем все мы, чем православный обыкновенный священник; именно — жизненнее нас, не столь книжно и воспоминательно, как мы. Вторую частью "гармонии" Достоевского было его русское народное чувство, почти — простонародное ("Мужик Марей", "Столетняя" в "Дневнике писателя" и там же некоторые рассуждения). С ним к концу жизни слилось его отношение к Пушкину и к лучшим частям нашего образованного класса, с их "всемирной отзывчивостью и перевоплощаемостью". Неразъединимо это ощущение Достоевским своего народа сливалось с упомянутым уже чрезвычайно жизненным ощущением Христа. "Наш народ (и только наш) — Христа в себе принял — оттого он такой", — вот формула и частые разъяснения Достоевского. Для него "православие", "Христос", "народ русский" сливались так тесно, что можно было одно имя употреблять вместо другого; и это не звуковым образом, а мистически. Известно, что есть в русском народе секта, которая кроме Иисуса Христа, распятого при Понтийском Пилате, признает множество воплощаемых на земле "христов" и "богородиц", к которым относит все благоговение, какое принадлежало бы относить к Тому одному. В чудных, выразительных страницах Достоевского о русском "народе-богоносце" ("Бесы") мы чуть ли не имеем гениальную и интеллигентную вариацию этого народного мифа-веры. И, вместе, чуть ли в Достоевском и его пророчественном, вдохновенном творчестве нам не дан психологический ключ к разгадке этой темной русской секты. Третья часть "белого луча" Достоевского лежит в его пантеизме, однако не объективно художественном (как у Гете), а скорей в пантеизме субъективно-религиозном, нервно-моральном. Достоевский не сказал: "Я люблю на паука", "созерцаю в нем мудрость природы и изучаю его", а кратко и вместе сильнее: "молюсь ему". Тут, пожалуй, тоже есть наука и есть любование, но они позади и забыты, а налицо — сладкая молитва, экстаз. "Дневник писателя" он открывает с рассуждения "О Большой Медведице" (созвездии) — немножко странно для публициста, слишком высокая нота для журналиста. Это — характерная хлыстовская нота, ибо и хлыстов наших, несмотря на их "духовные стихи" и постоянные ссылки на Христа, миссионеры очень тесно связывают еще с дохристианским язычеством. И тут есть основательность. Мы уже заметили, что и в старце Зосиме "Братьев Карамазовых" действуют более звезды, чем монастырский устав, доброта лесов, благодать утренняя воздуха, "который вдыхают

злые и добрые". Мы вообще не различаем в себе мотивов религиозности, а разобраться в них, исследить душу даже великого подвижника — и найдешь в ней слой за слоем чуть ли не целый том "истории религий", и самых древних, и самых новых. Кто объяснит нам, почему Франциск Ассизский и люди его типа вырастали только в пустынножительстве, среди скал, в пещерах, среди вековых сосен, а едва подвижник входил в город, он начинал действовать и говорить жестко, сухо, кратко, раздраженно. И в тех мантиях, в которых мы видали Франциска Ассизского, мы трепещем Торквемады. Монастыри, уединенные в лесах, в древних "священных рощах" Галлии, в диких горах Пиренеес, Апеннин, Афона, — дали все христианство, весь его дух, аромат. Города дали иерархические преприательство, власть, закон, томительные книжные споры. Тут разграничение между Никоном и Сергием Радонежским, между Франциском Ассизским и Иннокентием III; между Ватиканом и... напр., лесною Русью.

* * *

Соловьев весь проникся идеею (и чувством) этой "гармонии" Достоевского, не различая в ней указанных сложных элементов; и, приняв ее за выражение и за миссию подлинного исторического христианства, потребовал, так сказать, уплаты по ее невероятно большому векселю. Он был похож, во всей последующей богословско-публицистической своей деятельности, на не очень симпатичного судебного пристава, который с документом в руках все хлопочет около богатого дома, но никак не может добиться, чтобы хоть открыли в нем форточку и подали оттуда ломоть свежееиспеченного хлеба.

"Издали еще можно любить ближнего, но вблизи — ни за что! никогда!" — воскликнул Достоевский в одном месте ("Братья Карамазовы"). И в этом печальном признании высказал глубокую границу и ограниченность себя и даже своего творчества. Золотые его страницы вплетены в томы беспредельного сумрака. Он "молился на паука...". Ну, вот паук не паук, а хоть поляки, нация все-таки не пауковая. Пусть это недостаточный человеческий тип; но ведь нашел же всеоправдывающие человеческие черточки Достоевский и в капитане Лебедкине ("Бесы"), пропойце и мошеннике, и в Грушеньке, и в Митеньке Карамазове. Надо бы бросить нации, может быть только униженной и оскорбленной, а от этого и изломанной в характерах, ту "луковку" помощи и признания, о которой он сам так хорошо говорит в "Братьях Карамазовых". Но он не бросил и "луковки". Он накидал фигуры двух шулеров и альфонсов из поляков ("Братья Карамазовы") — и больше ничего не промолвил, отвернулся. Вот, опять католичество. Не могу самонужнейшим эпизодом не ввести здесь двух-трех слов, пронизательно брошенных мне подлинно добрым, и притом вблизи, — добрым Н. Н. Страховым. Кончая одну большую свою статью, где сравнивались три церкви, наша, католическая и протестантская, я закончил ее описанием простой провинциальной нашей церкви, куда ко всенощной приходят немногие старики и старушки и молятся с тою наивностью и теплотой подлинной веры, "которая везде на Западе утрачена". Прежде всего я списал это с того,

что лично мне было известно. Да ведь и все решительно русские, на прямой вопрос о преимуществах их веры перед другими, прямо ответят: "Наша вера — настоящая, в ней нет морального лукавства, ни умышленных художеств, а простое и смиренное отношение к Богу. Молитва наша тепла, а упование несокрушимо". Словом, кто наблюдал внимательно "сущность русской веры", заметил или заметит, что она неотделима от "сущности верующего русского" и что смиренная-то фигура последнего, а не догмат и составляет "отличие православного вероисповедания от инославных". В сущности даже богословские рассуждения "о разделении церквей" имеют нравственным под собой пафосом чуть ли не это же "разделение племен" и бесконечное восхищение каждого к своему племени в его "коренных чертах". Коренная черта русского, "а следовательно, и православия" — смирение. Прочитав эту статью и поняв, что в приведенном месте лежит главное мое основание гордости своею верою и пренебрежением чужими, Страхов мне и заметил, покачивая головою: "Ах, В. В., эти смиренные, совершенно так же молящиеся старушки, с этою же теплою верой и простотою, — неужели вы думаете, их нет в протестанстве и католичестве? Поезжайте в Шварцвальд, в Тироль; да что..." И он махнул рукой. В словах этих, сперва механически мною выслушанных, заключается, в сущности, целое мировоззрение, и собственно с этого и надо бы начать толки о "соединении церквей", оставив вовсе в стороне и разницу догматов, и соперничество иерархий. Если когда суждено объединиться христианскому миру, он объединится из народных масс, снизу, а не сверху. И началом объединения послужит та простая страховская истина (да укрепим за ним эту честь), что ко Христу и католик, протестант, и православный равно относятся, то же в Нем чувствуют, так же Ему молятся. И что, следовательно, помолиться есть основание и почва каждому русскому за каждого поляка, вообще католика, за каждого немца и лютеранина. Ранее или позже этот мир сердец народных увлек бы к миру и иерархии, и догмат, вызвав отношение к различиям в последних, т. е. собственно к религиозной философии, такое же, как к различиям в культе, в предании, в обычае вер. Не нужно слияние, униформность. Перед Престолом Божиим, в "Апокалипсисе", стоят и молятся не одно, а четыре животных — орел, лев, телец, человек. Почему это не указание, не "откровение", что Богу и не нужна униформная молитва, что Сам Бог хочет видеть народы идущими к Нему во всем узоре разноцветных одежд своих и глаголющими к Нему свое слово на неисчислимых наречиях, неисчислимыми логиками. В основе различия вер, как и различия языков, лежат различия этнографические. И вера есть такой же природный цветок, неуничтожимый *species fidei*, как и какой-нибудь говор. Если в Христе, в сущности, уже сейчас примирены все европейцы, то отдаленные — в Отце Небесном, распростертом "над худым и добрым", примирены европейцы и с сирийцем, с арабом, молящимся "на запад солнца", "вечернему свету", молящимся с таким же трепетом к Богу, как мы. Но как нам уже трудно постигнуть, "приятъ в сердце" римского понтифекса или ученого протестантского пастора — по расхождению кровей и психологий, — еще труднее нам, уже почти невозможно что-нибудь понять в сирийце, арабе. Но это наша граница, преемников Синесу, Трувора, Рюрика, а не граница человечества, преемника Адама.

В спорах того времени, середины 90-х годов, и мне пришлось принять участие — полемикою с Соловьевым.

Мне представлялось в ту пору (и чуть ли это не есть довольно распространенное представление), что православие — это древняя и тихая старушка, потерявшая силу, молодость и красоту, но с великим прошлым, а главное, которая никого никогда не обидела; и вот мимо этой старушки идут упитанные и счастливые сегодняшней свежестью господа, вроде Чаадаева, Соловьева и всех наших либералов, и толкают ее, и задевают локтем, не только неглижорски, но даже и зло. Всегда для меня слово "православие" просто выражало "приходскую церковь во время литургии"; ее же я любил, как исключительное и единственное место, где никогда и никакой человек не бывает обижен. Часто посещая церковную службу, всегда стоя там, я думал: "Везде есть разделения людей, везде есть ум и злоба, вышние и низшие, ученые и неученые, и везде-то, везде человек обижен: ученик — учителем, мужик — баринном, чиновник — начальником. Только одно есть место на земле, куда какой бы обиженный ни пришел, он перестает чувствовать себя обиженным, и никто на него так не смотрит, и он, как с ангелами и Богом, выше и в стороне от своего обидчика". Храм как место "без обиды" был моей иллюзией (теперь думаю), музой, источником вдохновений много лет.

Между тем Соловьев (чего я не рассмотрел) вовсе и не нападал на церковь-храм, а имел в виду, как он часто выражался, "исторические дела". В этом случае я чувствовал и поступал, как солдат с ранцем, а он — как полководец, как стратег, соображающий местность. Точки зрения совершенно разные, могущие привести к ссоре и разногласице, когда для нее нет настоящих мотивов. Движимый идеей "мировой гармонии", Соловьев повел вопрос религиозный, церковный, но, во-первых, он повел его как вопрос о соединении, а не о примирении и, во-вторых, ожидал этого соединения от рассорившихся иерархий, сверху, аристократически. Ему мечтался единый организм христианства ("одно животное перед Престолом Божиим", в "Апокалипсисе"), а не христианство как сад веры. И здесь он сделал много открытий, внес много новых точек зрения на предмет, но в общем потерпел неудачу и покочил тем же раздражением и исключением "инакомыслящих", как и Достоевский, в пределах его "гармонии". Тот видел комизм или преступление во всем нерусском (поляки, евреи, католичество, протестанты). Он начал с "молитвы пауку", а кончил подозрением или клеветою, что католичество есть поклонение сатане, "заговор сатаны против Христа" ("Легенда о Великом инквизиторе"), кончившимся весьма грустным признанием, что и "нельзя обойтись без такого заговора" (Христос, целующий Инквизитора в конце "Легенды"). Соловьев также никого не примирил, и едва ли, по крайней мере при жизни его, отношения католического и православного мира не заострились так же нервно, как в эпоху борьбы около унии, и именно благодаря его попыткам. Но одно важное последствие вытекло из трудов Соловьева: он покачнул status quo наше, преодолел квиетическую школу Хомякова. Само духовенство наше он привел к размышлению, самоанализу, к потере самоуверенности и покоя. Он открыл, — и это есть важная заслуга его, — серьезнейшие

нравственные мотивы для вечного нравственного обновления церкви. Школу Хомякова и вообще старых славянофилов можно считать разбитою и уничтоженною Соловьевым, по той очень простой причине, что он указал на ту истину Запада, что он 1) думал, 2) страдал, 3) искал, а Восток просто 4) спал. Но этот сон никак нельзя назвать догматическим совершенством. Дело в том, что приписанные Западу "высокомерие и заносчивость" оказались именно в мешке, среди богатств старушки Востока, которая, как древние последователи Диогена, щеголяла дырками своего платья. Возьмем ли мы раскол наш, возьмем ли другие недуги, слишком явные, слишком всеми сознаваемые: мы просто ничего не делаем для их устранения. Мы исторически ленивы. И эту леность возвели в догмат, чуть ли не считая ее главной чертою разделения золотого Востока от оловянного Запада. Живой, энергичный, неустанный, вечно умственно копающийся Соловьев и положил конец этой лени. В этом его великая историческая заслуга, "оправдание" (он написал книгу "Оправдание добра") 8-ми томов, его "opera omnia".

* * *

К сожалению, Вл. Соловьев ко всем великим запутанностям психологии человеческой, — они же суть и запутанности человеческой истории, — подошел слишком просто и мелко, как судебный пристав с исполнительным листом. Прямо и отчетливо он потребовал у русского, "который способен во всех перевоплощаться", — между прочим, хоть перевоплотиться на первый раз в католика. Он был жестоко в ответ осмеян и отвергнут. Отсюда даже началось умаление его славы, упадок авторитета. Но нельзя не признать, что у него было то, что было у Страхова и чего вовсе не было у Достоевского. Достоевский умел любить "ангельскою любовью" ближнего, если этот ближний стоял на бесконечном удалении; а Страхов знал тайну маленькой любви к близко стоящему, и эту же тайну знал и по ней выплатил вексель (самое главное) и Соловьев. В несчастнейшем своем периоде и когда он был весь изранен стрелами "примирившихся со всем миром в сердце" своим "переврожденцев" (идея Достоевского, за которую ухватились славянофилы), — он не глубоко, не страстно, не гениально, а, однако, подлинно примирился и с католиками и с католичеством, и с протестантами и протестантством. В конце жизни, в глубокую минуту бессилия, он высказал, что отказывается от примирительных между православием и католичеством попыток, а умер крепким православным человеком. Таким образом, подозрение в сильной его католической окрашенности падает само собою. Роль стратега христианских церквей не удалась ему. Но он совершил первый великое дело просто христианина: выдал из сердца своего черную каплю "разделения вер", будучи лично ни с кем не разделенным и со всеми примиренным.

Весь период этот мелькнул в русской литературе, и уже сейчас, кажется, мы можем только вспоминать его, а не разбираться в реальных последствиях во всяком случае неумело начатого дела. Лучшая черта Соловьева есть его подлинная благожелательность; то, что в литератур-

ной своей деятельности он пытался осуществить некоторые добрые намерения, но крайне неудачно. Мы в нем вовсе не имеем повторения Чаадаева. Смещение его с Чаадаевым было постоянно при жизни и, кажется, очень вредно ему. Но Чаадаев был ум гордый, высокомерный, изумительно талантливый по силе экспрессии, литературной выразительности, но принадлежавший человеку (судя по некоторым воспоминаниям о нем) едва ли не пустому. С его эффектной, изящной и мимолетной фигурой мало что общего имеет Соловьев, действительно трудившийся до пота над великою задачею, трудившийся долго, неотступно и в неизмеримо менее изящных литературных формах. Вообще Бог не дал ему силы, а добрые желания дал. Возвращаясь к сравнению его с Достоевским, к их обоюдным отношениям, мы можем сказать, что философ стоит около романиста-мистика, как тростинка около дуба. Но Достоевский только заражает собою людей, а не питает. Этой заражающей, обаятельной силы не было вовсе (кроме как в сторону наивных) у Соловьева, который был слишком рационален, прост и внутренне прозаичен (в противоположность наружной поэтичности). Я сказал: "Достоевский заражает только людей", но это без упрека и квалификации худого в нем. В его идеях, в самом языке его, в золотых его страницах все... пряность и пряность, а нет хлеба, нужного, годного, употребительного. Ничем из него невозможно воспользоваться. А кто очень войдет в манящие "сады Гесперид", им открываемые, и надышится их не родным, не русским благовонием, выйдет на арену русской действительности только с головной болью, с изломанным сердцем. Все начинается у него с великих примирений; но они идут по сгибающейся параболе — и все кончается великими разведениями. Всем раскрываются объятия, а в заключение все выталкиваются. Начинается с бесконечного расширения — кончается бесконечной душливой суженностью; фанатизмом какого-то семейства Капернаутовых ("Преступление и наказание"), в котором "и он сам заикается, и все его девять детей заикаются, и свояченица тоже заикается", — и почему-то все это не только хорошо, но чуть не просится на всемирную выставку. Наши односторонности 80-х, 90-х годов и даже до сих пор имеют для себя много объяснения и в старце Зосиме, и Алеше Карамазове. Честное пробуждение от сна, куда нас звал Соловьев, прямо оскорбило бы нервы Достоевского. Вспомним, как заволновался он от того, что Левин в ("Анне Кар.") чего-то ищет, о чем-то еще беспокоится. И вся эта, вторая и отрицательная, половина "параболы Достоевского" выражена с тем же могуществом, как и первая, как его "тезис". Соловьев проще, рациональнее, прозаичнее. Никакого наркоза в нем нет; никакими "неземными лилиями" он не надыхался. Но в его сердце действительно жило несколько добрых чувств, правильных намерений, весьма применимых, весьма осуществимых. И он не был гений, но был хороший работник русской земли, в высшей степени добросовестный в отношении к своим идеям и в своем отношении к родной земле. Вообще мнения о нем чуть ли не противоположны истине; в нем всегда предполагалось что-то демоническое, "неземное", лукавое и вместе — могущественное. Вовсе все напротив.

Заметка о Мережковском

Всякий раз, когда личное какое-нибудь сведение способно защитить доброе имя ближнего, публично осужденное, добросовестность и, так сказать, мировое чувство дружелюбия (все друг с другом связаны) понуждает передать в публику это интимное сведение. Кончая в одной из книжек "Русского Богатства" очередную часть "Литературы и жизни", г. Н. Михайловский, приведя несколько строк из работы г. Мережковского "Гр. Л. Н. Толстой и Достоевский", называет строки эти, совершенно спокойные, — "безобразно-неистойвой выходкой, непристойною тем более, что Мережковский знает огромность человека, на которого он, карлик, с таким бешенством замахивается". Прочитав слова эти, мне стало чрезвычайно грустно, что в юбилейный год литературной деятельности Толстого, когда будет вспомнано все доброе и все добрые, кто что-либо хорошее сказал о великом человеке, только имя самого внимательного и самого трудолюбивого критика, далеко оставившего за собою все "думы", и "впечатления", и "штрихи", какие писались ранее о Толстом, внезапно награждается бранью. Жадность к труду и добродетель труда, так сказать, заплакала во мне, и я позволю себе, чтобы отвести в сторону обвинение Михайловского, передать факт глубокой скромности Мережковского и благоговения его к величию личности и заслуг Толстого. В 1901 году Мережковский читал в Петербургском университете, в закрытом заседании Философского общества, отрывок из названного критического труда, где подвергал (как мне казалось) основательной и искусной критике те религиозные идеи Толстого, которые указывают "узкий путь" жизни, путь все большего и большего сужения и умаления наших потребностей, цивилизации, науки, искусства. Как известно, кроме Мережковского, огромные части России не соглашались с этими тенденциями "опрощения" Толстого. Когда настал коротенький перерыв между двумя отделами чтения, то, встретившись с Мережковским, я сказал ему: "Все это так, и критика ваша верна относительно подробностей, но сам Толстой в жизни и в сумме трудов своих представляет такой великий религиозный факт"... Не успел я докончить, как Мережковский прервал меня с одушевлением, какого я не могу забыть: "Конечно! пигмей — я говорю о гиганте. Толстой — русский Микель-Анджело или Леонардо-да-Винчи, ни йоты менее". А известно, что Мережковский до страсти, до обожания чтит Леонардо-да-Винчи, которому посвятил среднюю часть своей трилогии "Христос и антихрист в русской литературе". Словом "пигмей", к себе отнесенным, Мережковский поразил меня, ибо мы, гг. писатели, вообще не склонны плохо думать о себе. Это, во-первых; совершенно показало сознание Мережковским границ и почти ограниченности своих сил и непосредственный восторг к Толстому, что особенно ценно при идейном расхождении с ним. Слова эти, которых, вероятно, и сам Мережковский не помнит, ибо сказаны они были в такую торопливую и, так сказать, "забывчивую" минуту; как курень в антракте, навсегда определили для меня Мережковского с той стороны, которая в нем менее всего известна:

нравственно доброй и простой. Михайловский пытается именно ее подвергнуть сомнению, а с тем вместе и замарать весь огромный двухтомный труд критика, — вообще "плюнуть" на чужой труд и чужую личность — прием критики, довольно у нас распространенный. Уже Сократ нас учил, что из двух — обидчика и обиженного — страдает собственно первый. Конечно, Михайловскому и на Сократа "наплевать", но, мне кажется, мир так обширен, что слюней Михайловского все-таки не хватит на него и где-нибудь останется чистое место. Оставляя его в стороне, скажу, что критическая работа о Толстом Мережковского включает в себе редкое и необыкновенно трудное качество — *само-забывчивость* критика. Русская критика вообще страдает излишествами субъективизма; наши критики говорят не об авторе критикуемом, а все о себе, излагают свои мысли или навязывают свои чувства "по поводу критикуемого автора". Если мне скажут, что в своих критических опытах я страдаю тем же, то я более чем соглашусь с этим. Именно, как русский писатель с опытами критики, я чувствую, до чего трудно (верно — по обстоятельствам исторического настроения) русскому перестать о себе и из себя говорить, а говорить о другом. Все мы иллюзионисты, и критика в строгом и научном и, наконец, самонужнейшем значении у нас просто отсутствует. Поэтому, как только я начал читать критическое исследование о Толстом Мережковского, которого других трудов, даже беллетристических, я никогда не дочитывал до конца (позволяю это сказать, дабы кто-нибудь в мнении моем не заподозрил пристрастие), я почувствовал, что это совершенно новое явление в нашей критике: критика объективная взамен субъективной, разбор писателя, а не исповедание себя. Нужно ли это русской литературе — пусть судит каждый. Плодом этой объективной критики (пусть со множеством частных ошибок) было то, что великий писатель собственно "земли русской" выяснился как огромный, как небывалый еще факт цельной культуры европейской и христианской. На оценку моего по крайней мере чувства и суждения никто столько, как Мережковский, не потрудился, чтобы, так сказать, сорвать полотно с бронзового монумента, воочию 50 лет стоящего перед нами: ибо идеи Толстого он свел и сопоставил и указал им место среди тысячелетних мировых умственных течений, среди духовной жизни всего человечества. Это он не сказал, не заявил, а разработал; он был архитектором около Толстого, тогда как раньше сюда неслись только восклицания, отрицательные или положительные.

Будем уважать труд. Без уважения к труду нет культуры.

1904

Поминки по славянофильству и славянофилах

Есть идеи прилипчивые, навязчивые. Может быть, и не вполне основательные, ни в каком случае не глубокие, но которые как-то саднятся в уме, — и верно в них есть какая-нибудь истина. Вот уже много лет, всякий раз, как мне приходится думать об А. С. Хомякове, столетний

юбилей которого мы недавно почтили речами и статьями, приходит на ум странный, можно сказать, необычайный способ его смерти. Человек универсального, пылкого и самоуверенного ума, он не только оспаривал исторические мысли Т. Н. Грановского, копался в санскрите, изобрел способ утилизации снега, но также и придумал "верно действующее" средство от холеры. И умер от холеры!!! Когда читаешь его биографию, такую трогательную, серьезную, всю исполненную напряжений и надежд, и доходишь до этого конца: "умер от холеры!" — то до того растерываешься, факт до того поражает ум, что впадаешь во что-то похожее на истерику и начинаешь смеяться. Человек — всех лечил в Москве (т. е. советовал всем лечиться), а в деревне и наверное уже и фактически лечил! И умер именно от этой болезни, сопровождаемой, как известно, ужасными страданиями. "Будь скромнее, человек!" — как бы прошептала смерть над этою могилою; или, как сказал Ф. М. Достоевский на памятном Пушкинском празднике в Москве: "смирись, гордый человек!" Во всяком случае, это поучение о скромности никак не умеет отделиться в уме моем от идеи о Хомякове; предательская холера 1869 г. скалит скверные зубы за его бронзовым монументом и говорит: "как он ошибся! как он ужасно ошибся со своим снадобьем! И ошибся не только в расчете на меня и мою податливость, но и вообще в расчетах своего пылкого, пусть очень острого, но слишком самоуверенного ума".

Годы пронеслись после его смерти; годы — скажем о России — многих испытаний! И как-то не верится на слово; как-то хочется проверки делом. А вот перед проверкою *делом* большинство его возвышенных и благородных теорий: исторических, общественных, не говоря уже о научных, оказывается не реальнее и не целебнее, чем знаменитое средство от холеры. Едва умер сам изобретатель его, никто более не проверял и не занимался научною ценностью снадобья. Все просто его забыли. Огромное множество его идей, все так называемое "славянофильство"... да дайте осязаемые плоды его в руку? Напр. школа, университет, гимназия, народное училище? Но ведь из ста народных учителей и учительниц, довольно-таки самоотверженно зябнувших и голодающих в деревне, 99 не заглядывали ни в Хомякова, ни в Данилевского, ни в Страхова. До последней степени очевидно, что человеческая волна, идущая сюда, имеет импульс свой совсем в другом месте. Посмотрите мелькающие в журналах статьи: "Что читать народу", "Книжный поток", "Как я читал (или "читала") русских поэтов деревенским мальчиком": увы, и обложки журналов, и тон статей ни малейшего не оставляют сомнения, что все эти во всяком случае добрые сеятели пришли совсем из другого лагеря. Гимназии? Но Н. Н. Страхов был членом ученого комитета мин. нар. просвещения в самую удушливую его пору, в 80-х и 90-х годах; а Данилевский и И. С. Аксаков ничем не обмолвились против педагогического прессы, надавившего на всю Россию. А витии были великие. Словом, в деле воспитания и учения руководители были Ушинский, Стоюнин, был замечательнейшим педагогом Н. И. Пирогов: но из славянофильства ни единого зернышка добра или даже хотя бы "благопожелания" не вывалилось на эту часть родной нивы. Возьмем ли земство? Но не напоминая ярких фактов, все мы знаем, что и здесь больницы, школы, дороги, кустарные выставки, мелкие технические школы и пр. и пр. шли, как и "чтения с народом", от

людей совсем иного закала и направления. Остается еще одна и почти специальная область славянофильства: православие и дух его. Но и это стоит на своем корню; и есть около него славянофильство или нет его — оно ничего от этого фактически не приобрело и не потеряло. Серафим Саровский и Амвросий Оптинский были современниками зарождения и расцвета славянофильства, но едва ли принимали его близко к сердцу. Славянофильство, правда, *их* принимало к сердцу: но ведь это не одно и то же, что *создать* что-нибудь подобное. И учитель словесности "принимает к сердцу" Пушкина, но Пушкин остается Пушкиным, а учитель словесности остается учителем словесности. Таким образом фрукта, дела — нет и нет в запасе славянофильства! А "словесности" — после перенесенных Россией испытаний — как-то не верится...

Дело Гоголя — именно практическое — необъятно! "Куда ни глянем — все от него имеет начало": как не повторить это слово, сказанное лет 20 спустя после кончины Петра Великого, к нашему Гоголю. А кажется, только "писал и писал". Действие Пушкина, да даже и живых или недавно живых писателей, всей плеяды 50—60-х годов, всего этого "реального романа", также очень велико. Ну, хотя бы в том отношении, что впервые западный мир они ознакомили с русскою душою. Да и сколько дали русской душе Тургенев, Гончаров, даже Лесков или Островский, Достоевский, Толстой: право, если мы не задохлись в неудачной нашей школе, мы этим очень многим обязаны названным писателям! Сколько утешения; сколько тайного, незримого развития, уже неодолимого, незаглушимого!

Но отчего же это в реальную Россию не вошло славянофильских дрожжей? Почему земцы, почему особенно народные учителя — не славянофилы? Дрожжи — двигают. Но дрожжи — кислы, неприятны на вкус. Все славянофильство, от корня его до самой вершины, слащаво и несколько приторно: не ощущали ли вы этого непосредственного и постоянного впечатления от каждой решительно славянофильской книги и статьи? Хомяков, оба Аксаковы, Киреевский, Данилевский, Страхов — ничего кислого, горького, терпкого. Напр. все без исключения славянофилы имеют много порицания для современности: но чувствуешь, что за этим порицанием, нисколько не жгушим, *не больным*, лежит столько сахара, что порицаемый (или порицаемые вещи) никогда не закричит от боли. Напр. возьмем знаменитый стих Хомякова ("Россия", 1854 года, — ходило в рукописи и напечатано только потом):

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна.
О, недостойная избранья,
Ты избрана...

Ну, и всякий успокаивается, если "избрана"! Что за дело до слагаемых, если итог благополучен! Дело в том, что, конечно, "избрана" не сорвалось бы, как пророчество будущего с языка у человека, если бы весь перечень "грехов" выше не был сделан так себе, лишь для того, чтобы не слишком уже сладко показалось заключение, — да, наконец,

чтобы ему просто поверили!! Видите, как порицает отечество: это ли не Кай Грах перед сенатом. Это — не поэма "Россиада", а гражданское стихотворение 1854 г.: и уж если в заключении его все-таки сказано, что "избрана" и далее:

И бросься в пыл кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечом — то Божий меч

(То же стихотворение "Россия")

— то даже сам генерал-губернатор Москвы, гр. Закревский, мог найти стихотворение патриотическим и даже сделать из него в рукописи подношение куда следует: "вот патриотический голос Москвы".

Схема порицаний лишь отвлеченно жила во всех славянофилах; и это вовсе не то, что "незримые слезы", до которых Гоголь дошел через свои рассказы. От "перечня" Хомякова никому больно не стало. Пропись без имен, без адресов и примет. Бранись сколько хочешь. А вот Гоголь понаписал всем адреса. Понаписал всех приметы. То же делал позднее Щедрин. А об "избрании России" умалчивали. И уж если к "признанию" Россия сколько-нибудь придвинулась, то от того, что всякому почтмейстеру во всяком Царевококшайске сделалось за себя совестно; вздохнул он, сам пообчистился, а главное, а главное, хоть сынишку в гимназию отдал: "пусть учится другому, чем я". И вот придвинулась Россия все же к кое-каким школишкам, к кое-какой медицине; придвинулась от обличителей с перцем и уксусом; а от обличителей с сахаром — ровно никуда не придвинулась. Так и пошла генерация добра на Руси: от желчи, кислоты, горечи. Это — бродило, это — дрожжи. А от сладкого решительно ничего не выросло: ибо все это — пресно; порицания — без страдания, да и призыв, пожалуй, без энтузиазма. Разве сравнятся военные крики в последних строках приведенного стихотворения Хомякова с известными словами Некрасова — "Внимая ужасам войны":

Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей.

Вот и любовь тут примешалась: та "любовь", о которой Хомяков исписал так много страниц и почти томов, а когда зашло дело о *конкретном*, напр. о войне, то и не нашел ей места, оставшись при том же холодном, схематическом: "рази!" Ну, конечно, во время войны "рази", а во время мира: "люби", — но все это скучно и ужасно пресно. Все вообще славянофильство похоже на прекрасно сервированный стол, но в котором забыли посолить все кушанья. И они все, от этой одной ошибки повара, получили удивительно сходный, однообразный и утомительный вкус; попробовать еще — ничего, но есть по-настоящему — невозможно. Таковы их стихи, рассуждения, пафос, негодование. "Не

солону! Ни капельки соли!" И всякий кладет ложку; или, переходя от сравнения к делу — редко кто славянофильскую книгу дочитывает до конца или даже до середины. Горестная судьба!

К 1-му мая, юбилейному дню рождения Хомякова, и в юбилейный 1904 г. появились: книга проф. Л. Е. Владимирова: "Алексей Степанович Хомяков и его этическое-социальное учение" (Москва) и ряд статей о нем известного сотрудника "Моск. Вед." г. Басаргина. Последний приурочивает статьи свои к названной книге. Нельзя не радоваться всякому серьезному труду, посвященному хотя бы в юбилейные дни памяти исторических русских лиц. Статьи и книга — серьезные, местами патетичны. О них можно было бы, однако, много спорить. Напр. знаменитое, высказанное Хомяковым, определение православия, в отличие от католицизма и протестантства, как учение: 1) кротости, 2) мира, 3) смирения, — едва ли составляет *догматическую* его разницу от западных исповеданий, а не вытекает из исторического положения православной церкви, православных народностей, находившихся (на Балканском полуострове и у нас во время монгольского ига, да и позднее, что касается простого народа, находившегося в тяжелой крепостной зависимости) в положении угнетения. Увы, узники часто бывают лучше тюремщиков, ученики — учителей, солдаты — офицеров, и вообще "наковальня" имеет великие моральные преимущества перед "молотом". Это психология положения, а не следствие исповедуемого учения. Присоедините к этому мягкий славянский характер; прибавьте меланхолический шум северного соснового леса; осложните вообще психику угнетенности с вековою жизнью в близости с природою, — и вы получите подлинное разъяснение "коренных черт православия", не нуждающееся в том пособии, что на Западе "исповедывали filioque", а на Востоке его не было. Что касается до "соборного" начала, то, конечно, оно выразилось на Западе, где были соборы: Клермонский, Флорентийский, Базельский, Константинопольский, Вормский, а не на Востоке, где всегда церковь управлялась единолично местными патриархами. Впрочем, это вытекает и из идей Хомякова, где "соборности" тоже уделяется поверхностное, без энтузиазма, место, — а с энтузиазмом указывается "решение единоличной совести", в иллюстрации — ну, хоть приснопамятного гр. Закревского, современника Хомякова. Но здесь мы должны войти в некоторые подробности, так как это связано с некоторыми подробностями земского самоуправления, шире или уже понимаемого. Здесь Хомяков, проф. Владимирова и г. Басаргин сливаются в согласный хор, и мы дадим место: проф. Владимирову — как истолкователю Хомякова, и г. Басаргину — как истолкователю проф. Владимирова.

"На высшей точке государственного строения, — пишут они согласно, — русский народ ставит *живую единичную совесть* (курсивы здесь и ниже г. Басаргина). Русский народ, по-видимому, не верит в отвеченные формулы, так же как не верит в механизм учреждений, сам же по себе обеспечивающий применение воплощаемых ими начал. Русский народ отлично понимает, что в государстве все приводится в действие человеком; что государство получает содержание, направление и одухотворение от человека, его совести, ибо в большинстве человеческих дел единственным обеспечением правильного действия служит совесть действителя. Вся традиция человеческой жизни ведь и состоит в постоян-

ных, на каждом шагу, столкновениях между неподвижной, условною формулой права и живым голосом совести человеческой”.

Но чуткая совесть — неумела, неловка, неискусна: а искусство, а дар принадлежат человеку без совести. В “трагедии человеческой жизни” (о ней пишут гг. Басаргин и Владимиров) пусть они расчислят, много ли приходится случаев соединения высокой даровитости и совести, и не на всяком ли шагу встречается их плачевное разъединение (“первородный грех”, как мы думаем; первородный грех — в этой слабости, немощи человеческой). Да и потом: почему уединенной жизни в кабинете присуща “совесть”, а как улица, толпа — то и “бессовестность”? Не Клермонский разве собор решил *толпою*: “идем освободить Св. Землю”. Нет, именно в толпе-то (вспомним Минина на площади Нижнего Новгорода) и бываюч нечаянные и святые движения плодотворной души: личное — вдруг забывается, забывается — эгоистичное, и являются манифестации общечеловеческого, общенародного. “На *ура* пойдем за правду!” — почему это не *так*?

Цитируем дальше.

“Старые народы, народы рассудка, стоят за *форму* (курс. г. Басаргина): она исключает, по их взгляду, произвол. “*Dura lex — sed lex*”, “жесток закон — но он закон”! Народы молодые, народы чувства стоят за *совесть*: она отступает от правила, но зато прислушивается к голосу человеческой души (а если не прислушивается? — *В. Р.*). Формула коренится в компромиссе, т. е. в силе; совесть отражает в себе безусловное, божественное веление. Формула есть стена и ограда фарисеев; совесть — истинная арена человеческой души, христианского верования, христианской любви. В этом и смысл слов Хомякова, сказавшего: “Наша такая земля, которая никогда не пристрастится к так называемой практике гражданских учреждений. Она верит высшим началам, она *верит человеку и его совести*; она не верит и никогда не поверит мудрости человеческих постановлений” (курсив автора). Оттого-то и история ее представляет такую, по-видимому, неопределенность и часто такое неразумие форм; а в то же время, вследствие той же причины, от начала этой истории постоянно слышатся человеческие голоса, выражаются такие глубоко-человеческие мысли и чувства, которых не встречаем в истории других, более блестящих и, по-видимому, более разумных общественных развитий”.

Доселе — Хомяков и проф. Владимиров.

“Вот именно!” — патетически подхватывает г. Басаргин, и пишет на ту же тему статьи. — Мы их не будем приводить. Мысль достаточно закруглена и в сделанной цитате. Остановимся на ней.

Во-первых, в русской истории было не только “неразумие форм”, но между прочим и “неразумие” хорошего пороха в Крымскую войну, и дальнобойных ружей в минушую турецкую: от какого “неразумения” раздавались “истинно человеческие голоса” не только В. В. Верещагина (“На Шипке все спокойно”), но и многого множества других: но все то были “плачи Иеремии”, плачи не вовремя, запоздалые. Теперь, какую нужно “совесть” иметь (дело идет все об ней), чтобы и впредь, на все предбудущие времена, отечеству своему советовать это же “неразумение” западных премудростей, будут ли то Пастеровские прививки, электрическое освещение или “гражданские учреждения” (ведь это все одного

порядка вещи, "премудрость"). Хорошо было Хомякову в своей деревне, Басаргину — в "Моск. Вед.", а вот обывателю нашему нужна и конка, и лекарь, и окружный суд и пр. Решительно обывателю нужно и "земство", с разными самоотверженными учительницами, врачами. Ах, холера, холера: подсидела она Хомякова. Как плакались на худой порох в Крымскую войну и на краткострельные ружья в турецкую, так большую слезу вылил и малоизвестный поэт Б. Н. Алмазов, прислушиваясь к причудливым идеям Хомякова. Мы приведем его, и уже никак нельзя сказать об этом стихотворении, чтобы его также "забыли посолить", как вообще всех славянофилов и все славянофильство:

По причинам органическим,
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадем Сатаны.
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.
Мы враги сухой формальности,
Мы чувствительны душой, —
И при виде "благодарности"
Не владем мы собой.
Вот по этой-то причине я
С умилением гляжу
На управу благочиния,
В ней одной лишь нахожу
В дни печали утешение:
В ней одной лишь не погиб
От напора просвещения
До Петровского "кормления"
Совершенно чистый тип.
Не к пути земному, тесному,
Создан, призван наш народ,
А к чему-то неизвестному,
Непонятному, чудесному,
Даже, кажется, небесному
Тайный глас его зовет.

Смех поэта, историческая неправда и какой-то гнусный воровато-ханжеский тон излагаемой "теории" прелестно соединены здесь. Переходя к прозе, в чем основная ошибка гг. Басаргина, Владимирова, Хомякова? Нигде не открывается на нее такой возвышенной точки зрения, как в религии. Ну, да: "форма" — это действительно слабость, несовершенство: возможность сухости и по существу — неправды. *Возможность* этого, а не *необходимость*, не требование: заметьте. Итак, усовершенствуйте "форму" и старайтесь (главное!) праведно к ней отнестись: не переводя ее в формализм ("форма все поглощает"), а удерживая на степени упорядоченности. Спор против "форм" — ведь это требование устранить контроль в денежном хозяйстве. Это — постановка на месте "Вексельного устава" — "сделок по душе": которым прежде всех обрадовались бы кулаки. "Мир" кулаками и закрепощен не по векселю

(крестьяне и подписать его не умеют), а "по душе". Да и что за односторонности: уже если "формальное начало" есть сухое и юридическое, то не прежде ли всего его предстоит выгнать из области, где все основывается и должно бы основываться действительно на любви, согласии, взаимной уступчивости — в браке? Теория Басаргина, Владимира и Хомякова падает прежде всего сюда и, разрушая "формальное в нем начало", проповедовала бы "свободную любовь". Но о такой проповеди из их лагеря не слышно. Теории трех названных славянофилов наивны или, точнее, наивничают: они навевают мечты какого-то золотого века, когда вокруг нет никакого золотого века, проповедают какой-то пастушеский быт среди фабричного производства и удушливой канцелярии. Они возвращают к моральной анархии, когда мы живем в имморальности; к анархии бытовой, когда мы живем среди бытового безобразия. "Форма" и входит сюда бедным, слабым, ограниченным, бездарным началом: но все же каким-нибудь началом. С помощью "формы" я все же могу возразить вору, а без "формы" не могу. Взойдем к религии. В тоне славянофилов по части "учреждений" есть доля ханжества и хитрости: но есть и доля искреннего, мечта, слезы (увы, это смешивается иногда). В чем же ошибки этой доли "слез", мечты: они судят о виновном состоянии как бы невинном, о состоянии павшего человечества под условием как бы не павшего, безгрешного. Вполне основательно, что вообще "легальное начало", "юридическое" несимпатично, грубо, поверхностно. Это суковатая палка, скверная. Кто ее не старается избежать? Кто хочет идти в суд?!! Народ справедливо ужасается этого. Весь этот ужас, неприязнь, отвращение суть осколки (в душе нашей) первобытной невинности и чистоты; осколки, но не цельное зеркало. В двух областях, семье и школе, я вот уже много лет проповедаю устранение формального начала: и кто же оспорит, что если уже где быть ему отмененным, то действительно — *тут*, где слишком связывает людей естественная привязанность и естественный интерес. Где есть *jus naturale et divinum*¹ — не нужна *jus civile et humanum*². Такова моя скромная личная мысль. Но поистине семья и детское воспитание есть уже в *быту* самом — тоже осколки первобытного счастья: и закон рая уместен в раю.

Литературные новинки

⟨"Жизнь Василия Фивейского"⟩

Л. Андреева⟩

Новый рассказ г. Л. Андреева: "Жизнь Василия Фивейского", появившийся в сборнике товарищества "Знание" месяца три назад, обратил на себя горячее внимание многих читателей. Авторы, пишущие или могущие писать рассказы, получали (мы слышали) заказы от мелких издательских фирм: "Напишите нам рассказ, по-своему, но вроде как: "Жизнь Василия Фивейского". Запросы чрезвычайно наивные, но хоро-

¹ право естественное и божественное (*лат.*).

² право гражданское и человеческое (*лат.*).

шо выражающие силу произведенного впечатления и степень популярности нового рассказа. Действительно, он врезывается в память, как живой. А тема его, пусть и очень старая, хоть и остается по-прежнему без ответа, но мучает новым сладким мучением.

Где-где, а именно в России, в русском селе, даже именно в среде русского сельского духовенства должен был возникнуть рассказ этой темы и этой канвы. Канва эта — повторение истории Иова, но просто как параллель той, совершившейся некогда в Аравии, без всякого подражания, без всякой аллегоричности и попытки церковной поучительности. Автор, в начале рассказа, и вспоминает ту древнюю историю; но русские подробности, русские лица, русская обстановка — все до того захлестывает всяческие исторические воспоминания, что сравнение с Иовом едва мелькает у читателя, как и у автора, но сейчас же и забываешь параллелизм, подавленный просто русскою картиною, куском отрезанной русской действительности, которая бьется перед глазами и требует к себе безраздельного внимания без параллелей, без сравнений.

На долю Василия Фивейского (мне случилось знать, и именно сельского священника, точь-в-точь с этою фамилией, но очень благополучного), на долю этого русского сельского "попа" (так неизменно называет его автор) выпало никак не меньше, а в сущности даже больше несчастий, чем сколько навел их на Иова сатана, которому на время "предал душу праведника" Бог. Там было, во-первых, исцеление, а во-вторых, и самая мука заключалась в своей болезни, да еще в быстрой, грозной потере детей и имущества. Таким образом, там черное пятно легло между светом и светом. Василий Фивейский не знал никакого света: на него легло "роковое" (термин автора) и давило его, в сущности высокую и нравственную личность, все бóльшим и бóльшим давлением, сперва до непереносимой душевной боли, наконец до сумасшествия, потери веры и смерти. И все — в совершенно возможных, почти не исключительных контурах жизни русского села, русского сельского "попа". Порознь это самое, что скопилось над головою Фивейского, встретишь то там, то сям; встретишь, услышишь — и не удивишься. Утонул у него, купаясь, 7-летний сын, черненький и задумчивый мальчик; "матушка", безумно привязанная к сыну, затосковала глубокою сердечною тоскою, и чуть-чуть помешалась, и предалась запою. Все это родные картинки. До того привычные, что, хотя я едва знаю краешком жизнь духовенства, мне выпало знать и отца дьякона, сын которого утонул на глазах отца, купаясь вместе с ним (говорят, от разрыва сердца: мальчик очень долго купался, и окунувшись — не поднялся; отец мертвым вынес его на берег); знал и пьющую запоем "матушку" из благополучного и нравственного семейства, притом почти мудрого священника. Все, одним словом, у Л. Андреева свое, родное, не выдуманное. И дальше все вероятное, правдоподобное. Попадья мучится желанием воскресить утонувшего Васю: но, уже душевнобольная, рождает идиота, чудовищного, пугающего видом и нравом. Была еще дочка у них, Настя: она — точно тень в семье, не замечаемая (все заняты своей мукой), но, пожалуй, еще худший, чем брат ее, уродец. С детства она вывертывала руки у кукол и подолгу сгла их крапивой. Ее злые, молчаливые глаза только пугают всех дома. Вся большая привязанность к "черненькому Васе" оттого и возникла у отца и матери, что он стоял один оазисом и надеждою в черном, мрачном,

западающем доме отца Василия. Дальше что же? Няньчая идиота, и сестра Настя вдруг начинает копировать его, копировать перед зеркалом его лицо и жесты. В сущности, она растет в пустоте. Она и он: и из двух существ одно остается недвижно в своей бессмысленной природе, а другое, еще живое и сознательное, может быть по закону дарвиновской зоологической "подражательности", начинает уподобляться ему. Мать, заметив гримасы дочери перед зеркалом, с испугом выбежала в морозные сени и не смела войти в дом до возвращения мужа. Тот приходит. Происходит мучительный, краткий разговор отца с девочкой:

— Да, мне нравится лицо братца. Он ест тараканов — я ему дала их целый десяток. Отчего вы его не убьете, ведь он идиот? И маму надо убить: она пьет.

С мукой поднял отец на руки дочь и тащит в другую комнату, в спальню, что ли, и шепчет ей через плечо:

— Жалей маму!

И действительно, из всех лиц, выведенных г. Л. Андреевым, на "матушку" пала самая скорбная тень.

— Эту пьяницу совсем бы в церковь пускать не следовало. Стыд!

Это проговорил, настолько громко, чтобы она слышала, церковный староста Иван Порфирыч, фигура характерная и сильная, которая хорошо оттеняет гибнущего "попа" и своим двухэтажным домом, и вечной трезвостью, и во всем удачею, и полною душевною деревянностью. Это ему заметил о. дьякон об Иове, и что о. Василия пожалеть надо. Но тот ответил:

— Нечего рассказывать. И сами знаем. Так то Иов, праведник, святой человек, а это кто? Какая у него праведность? Ты, дьякон, лучше другое вспомни: Бог шельму метит. Тоже не без ума пословица складена.

И он перестал подходить под благословение своего "попа".

Тонкой акварельной кистью г. Л. Андреев провел бледные и прекрасные нити, связывающие две эти души, матушки Анастасии и батюшки Василия. Эта часть живописи в рассказе, пожалуй, самая лучшая, хотя она не так выпукло бьет в глаза. Оба они — нервные и чуткие души; даровиты сельской тихой даровитостью. Любили ли они друг друга, т. е. были ли когда-нибудь влюблены? Об этом ничего не сказано, этого ни из чего не видно. Оба до того несчастны, что вопрос о "любви" как-то и не смеет прокрасться сюда. Скорее обычною "поповскою судьбою" они были поставлены друг около друга, торопливо, едва зная один другого, без выбора, в те 2—3 месяца, какие бывают оставлены кончившему семинаристу "для женитьбы" перед посвящением. Но, чуткие и нежные, и уже оба с задатками душевной болезни, они быстро почувяли друг друга и сиротливо прижались один к другому, с предчувствием гибели. Обыкновенного мужского и обыкновенного женского нет у них или оно выражено чрезвычайно слабо, как и вообще у духовенства; все заливается здесь общечеловеческим; заливается высоким долгом службы, значительностью сана, простым указанием торопливого, не думая, материнства. На почве этой обстановки вырастают изредка холодные (я звал — лютые) драмы, но большей частью улаживаются "как-нибудь"; реже, очень редко поднимаются нервным вздохом две жалующиеся судьбы. И когда

обе стороны благородны, они бросаются друг другу в объятия и замирают крепко, как это и вышло у Василия Фивейского и его матушки Анастасии. Мешаться она начала с того яркого солнечного полудня, когда принесли на огород ее мертвого мальчика, и она видела, как тельце его перекачивалось в простыне ("откачивали"). Блеск реки и солнце в полудне — и его трупик все это поразило ее испугом, и стало перед нею точкой, дальше которой не пошла ее жизнь, не двинулась душа. И как только подымается солнце к зениту, ярче день, ярче зелень — тоскует мать, тоскливее напоминает ту последнюю в ее жизни точку, и забивается в темную комнату, и чтобы еще довершить в воображении яркости представления о том, как захлебывается водою ее сын, она напивалась в этой темноте до пьяна. Все знакомые картины, все родная судьба. У священника — все же служба; у него — семинарская выучка, и хоть возможное, облегчающее, утешающее сравнение с Иовом. У матушки — совсем ничего. У нее — все в факте; идей нет, идеи невозможны. Она глуше стучается в стену (несчастья), самый полет до стены — короче. И она мешаете раньшее мужа. Но и она знала искушения надежды. Первый раз это случилось, когда после мучительного и неотступного решения иметь еще сына — она стала в самом деле беременною. Безумие как бы временно оставило ее, она успокоилась и вся засияла счастьем. Неся вперед закруглившийся живот, она гордо проходила в церкви перед старостою. Дома оставила тяжелую работу, сберегая себя. А летом на целый день уходила в лес искать грибы, — и все по грибам загадывала о будущих родах, которых несколько боялась. И все кончилось таким неслыханным несчастьем, хуже — чем если бы она родила мертвого или чем если бы, родив живого и разумного, она — с надеждой, с будущностью — умерла в родах. И вот, силы обоих подкосились. О. Фивейский, — это было раннею весною, — долго бродил где-то, бродил по полю, без дорог, как это случалось с ним, и вернулся домой угрюмый, мокрый, в грязи.

"В доме готовились к Пасхе и попадья была занята, но, прибегая на минуточку из кухни, она каждый раз с тревогой смотрела на мужа. И веселой она старалась казаться, а скрывала тревогу...

А ночью, когда по обыкновению она пришла на цыпочках и, трижды перекрестив изголовье, хотела уходить, ее остановил тихий и испуганный голос, не похожий на голос сурового о. Василия.

— Настя! Я не могу идти в церковь.

В голосе был ужас и что-то детское и молящее. Как будто так огромно было несчастье, что нельзя уже и не нужно было одеваться гордостью и скользкими лживыми словами, за которыми прячут люди свои чувства. Попадья встала на колени у постели мужа и взглянула ему в лицо; при слабом синеватом свете лампадки оно казалось бледным, как у мертвеца, и неподвижным, — и черные глаза одни косились на нее; и лежал он навзничь, как тяжело больной, или ребенок, которого напугал страшный сон и он не смеет пошевелиться.

— Молись, Вася, — прошептала попадья, глядя его холодные руки, сложенные на груди, как у покойника.

— Не могу. Мне страшно. Зажги огонь, Настя".

Долго ходил он среди огней, которые велел все зажигать больше и больше. Жена с тоскою поняла, правда — на мгновение, что он одинок, что ни она, ни все добрые люди, если б они сошлись со всего

света и говорили ему всяческие слова любви и утешения — не вызвали бы его из этого особенного одиночества.

— Вася!

— Завтра поговорим. Ну, ступай к себе. Нужно ложиться.

Умоляюще смотрела она на него. Он погладил ее, как ребенка, по голове.

— Так-то, попадья. — И улыбнулся. А лицо было так же мертвенно и страшно.

Наутро о. Василий объявил жене: он снимает с себя сан и осенью, собравши денег, они уедут — далеко, еще не знаю куда. А идиот останется: он будет отдан на воспитание. И попадья плакала и смеялась, и в первый раз после рождения идиота поцеловала мужа в губы — краснея и смущаясь”.

Есть мистика местоположения, просто — географического места. Переехал в данный город — и все стало черно. Переехал в другой — вдруг посветлела жизнь. Позвольте, вы верите же в ”счастливую картину”, в ”удачный день” и ”неудачный день”? Отчего это не перенести на местности? Когда удар за ударом постигает человека в том же положении, месте, с одними и теми же людьми, в привычной обстановке, годами сросшейся с ним — единственное средство вырваться из этой цепи несчастья — действительно, сняться с места и уехать. Дает ли новое окружающее новые источники жить, обновляется ли душа просто при виде других лиц, местности, вещей, но только действительно с переездом начинается что-то новое; и когда прежде было чрезвычайно несчастное, это ”новое” кажется или есть на самом деле лучше и не только индивидуумы, но цари и царства ”меняли местности”, напр. Киев на Владимир, Рим на Константинополь. ”Там будет новое! Там другая заря!” И действительно она наступала.

Оба Фивейские ожили при одной этой мысли о перемене. Не было ничего впереди. И вдруг ”что-то”. И матушка стала спокойнее, тверже, дни запоя реже возвращались и были короче. Шло уже лето. Работал он на поле; а работал он в длинной рубахе, как мужики, и на одной линии с мужиками. Работа спорилась, когда звякнул колокол в селе в неурочный час. Оглянулся он на село и видит: на месте, где стоял его маленький, приплюснутый домик — стоит столб дыма. Сбросив с телеги снопы, поскакал он к дому, и уже сердце его заранее сказало, и отчего случился пожар, и что случилось во время пожара. Идиота вытащили, Настя убежала, а попадью, в темной комнатке которой и загорелось, верно от спички (она была ”больна” в этот день привычной своей болезнью), всю обгорелую вытащили вон. Он прошел прямо в дом дьякона, где лежала она. Глухо стонущая масса и огромный белый пузырь, в который превратилось ее когда-то знакомое и дорогое лицо, — вот что он видел перед собою.

”Разошлись все, тоскуя и плача, и унесли заснувшего идиота. Один о. Василий остался с умирающей — на всю короткую летнюю ночь, в приход которой не верила попадья. Он сел на колени и, положив голову возле умирающей, обоняя легкий и страшный запах горелого мяса, заплакал тихими и обильными слезами нестерпимой жалости. Он плакал о ней, молодой и красивой, доверчиво ждущей радостей и ласк; о ней, потерявшей сына; о ней, безумной и жалкой, объятый страхом, гонимой призраками; он плакал о ней, которая ждала его в летние сумерки, покорная и светлая. Это ее тело, необласканное, нежное тело пожирал огонь, и оно так пахнет. Что она, кричала? билась? звала мужа?”...

Тут в бедного сельского попа, доселе странного только, нелюбимого и несколько пугавшего людей, привсходит первое помешательство. Ничем оно не выразилось, кроме странного притока экзальтации. Так в древние времена Руси, от которых не дошло до нас цельных биографий, да и народу конечно не видна она вся, как видна творящему романисту, а только ее частица, остаток или середочка, — так, говорим мы, в эти древние русские времена из "попа Василия Фивейского" мог возникнуть образ подвижника, святого. Ему осталась только молитва и он ушел весь в молитву. В сельских церквах служба бывает только по воскресеньям, но он начал отправлять раннюю службу ежедневно. Пришла зима, и служба эта начиналась еще задолго до света и вся происходила как бы ночью. Дьякон отказался ему сослужить, и приходит в церковь только псаломщик, который и понимал, что о. Василий несколько нездоров, и был увлечен, однако, его энтузиазмом, и сожалел его общечеловеческим сожалением. Они входили в холодную церковь. Долго отогревались. Зажигали два огарка восковых свечей, и начиналась служба, фантастическая и таинственная по своей исключительности. Дочь Настю о. Василий отправил к сестре. Что касается до идиота, он его оставил с собою.

— "Чтобы я людям свой грех подкинул? Нет. Мой грех, со мною ему и быть надлежит.

И они остались вдвоем в недоделанном доме, с двумя некрашеными табуретами, почти не отопляемом, при глухой кухарке.

— Важно заживем мы с тобой, Василий.

Идиот облизнул губы длинным, как у животного, языком и загугукал прыгающими однообразными и громкими звуками:

— Гу-гу! Гу-гу!"

Начинается фантастическая, болезненная, надорванная жизнь вдвоем. О. Василий читает Евангелие, читает уже не так, как мы, а с силой человека, для которого воистину Евангелие и пришло на землю. Он читает идиоту об исцелении слепорожденного:

"Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому", и сказал ему: "пойди, умойся в купальне Силоам". Он пошел и умылся и вернулся зрячим.

— Зрячим, Вася, зрячим! — и, сорвавшись с места, быстро заходил по комнате. Потом остановился посреди ее и возопил:

— Верую, Господи! Верую!

— Гу-гу-гу! Гу-гу-гу, — хохотал идиот. Рот его раскрылся до ушей, животный, отвратительный".

Уже немного оставалось о. Василию терпеть. Превосходно набросана г. Л. Андреевым картина, как в селе зарождается необъяснимо откуда взвисящая тревога, что "быть беде"; и первый ее почувал своим здоровенным чувством староста. Все чего-то ждут. Беда разрешается уже почти без внешнего повода, без какого-либо нового толчка, перенесенного о. Василием. В сущности она исходит от излишества веры. Все мы верим "так себе"; но о. Фивейскому вера по-настоящему была нужна, и он по-настоящему верил. Хоронили случайно погибшего крестьянина Семена; вдова и двое детей стояли около гроба. О. Василий вздумал воскресить

его. Помешательство это? Вера? "Излишество веры", как мы сказали? Но слово наше не заключает ли в себе пошлого, слабого скептицизма, а в о. Василии его не было. Итак, он был прав на путях своих, поверив, что "если горам скажете: двиньтесь — они двинутся". Но мертвый не воскрес. Следует страшная сцена последнего, уже окончательного сумасшествия и смерти "попа Василия", который, распугав народ и выбежав из церкви, разбился о придорожные камни.

Так окончилась "Жизнь Василия Фивейского". Что мы о ней скажем? Что скажем о самом рассказе? Автор задал много тем, и есть что сказать о самом художестве его, технике работы. Мы отложим рассуждение о последней, которая в сущности теряется в значительности перед темою, очевидно завладевшею и автором. Дано страдание. У Достоевского, в его знаменитых "надрывах" в "Братьях Карамазовых", в фигуре Илюшечки, да и раньше в судьбе Нелли и ее матери ("Униженные и оскорбленные") и наконец исходным образом еще в семье троих Раскольниковых дана эта же тема: страдание. Право, иногда подумаешь, точно Россия хочет выработать новую религию, "религию жалости" что ли: так часты эти темы в ней, так навязчиво преследуют высокие русские умы. Рисунок г. Л. Андреева, однако, не носит в себе никакой подражательности или даже зависимости от Достоевского. Здесь совсем другая обстановка, иная живопись, — и только тема та же. Но тема эта была и у творца "Книги Иова", т. е. она всемирна и принадлежит человечеству, а не человеку. Достоевский давал (в Нелли, в Илюшечке) точно щипок боли, а не ее историю. Л. Андреев дал именно историю, без нажимов, тягучую, органическую. "Иово страдание" он в сущности выразил через краски почти естественно-исторические, нарисовав эту самую всемирную боль в обстановке захудалого, сословного, местного, бытового, экономического, а главное — в картине нервного и физиологического истощения природы, "вырождения". О. Василий от начала бессилен. Страдание им не может забыться, и "всеисцеляющее время" для него не есть лекарство. Раны его только раскрываются, но не закрываются. И всякое новое несчастье есть шаг к гробу, а не перемена пути, как у других, как у многих. Он был страшно одинок. Автор мастерски выбрал для темы своей соответственное лицо. Мужик, мещанин, торговец, помещик, чиновник, офицер — все они имеют "ближних", на плечи которых распространяется часть боли, на них падающей; все они имеют товарищество, друзей, сослуживцев, — как и возможность двинуться туда или сюда. Но русский сельский "поп" умирает на месте, на котором его посадили (исключения очень редки и всегда болезненны). Вокруг него — деревня, дьякон и псаломщик: т. е. круг людей его просвещения, интересов, горизонта сужен бесконечно. А "попы" сельские несут в себе не только всю силу веры, но и бывают во всех смыслах весьма и весьма не "темны". Он живет, пашет, хозяйничает, как мужик, но он вовсе не мужик. Двенадцать лет школы в сущности чрезвычайно разобщили его идейно с деревней, селом. Школа? учение? проповедь, назидание? Да, он это и дает все, но где же здесь отношение равного с равным, где соотношение одной волнующейся духовной атмосферы? Мученики, — но ведь те шли именно толпой, товариществом: именно эта-то почва силы и ободрения и вынута из-под "попа". За пределами села для него начинается только иерархия высших властей, т. е. во

всяком случае не товарищеских: начинается зависимость, ответственность и испуг. Положение священника в селе можно сравнить с положением сторожа на маяке: он производит свет, нужный кораблям; священник производит свет, нужный стране, отечеству. Но одинок он почти как сторож на маяке, среди волн вечно одинакового моря, монотонного, монотонно-шумящего. Но сторож может отказаться от своей службы. Сельский священник умирает там, где начал служить, и это он знает и никогда уже не заглядывает за горизонт.

Если назревает "религия жалости", то должна она ответно позвать не одни холодные сожаления, а помощь. Жалкое — это всегда победенное. И надо искать победы. "Религия жалости", раз она выразилась как тезис, как картина и констатирование действительности, требует как неперменного дополнения себя "религии энергии". Скажем ли мы "религия", "философия", это уже будут степени, а направление одно. Неужели Василий Фивейский есть решительно гибнущее существо, без света для него и помощи, как "Иов во власти сатаны"? Мне думается, "сатана" нашей жизни заключается именно в чрезвычайной разобщенности русских людей, в глубочайшей их индивидуализации, сперва социальной, а затем уже и психической. У г. Л. Андреева хорошо отмечено одиночество его "сюжетов"; да и у Достоевского — Раскольниковы, Нелли с матерью, и решительно все другие страдающие люди — суть глубокие одиночки, без единой руки, держащей их руку. В этом вся и загадка. В сущности, такие масштабы, как "Россия", "Отечество" — совсем несоизмеримы с Акакием Акакиевичем, Макаром Девушкиным, "Родою Раскольниковым", выгнанным из службы капитаном (отец Илюшечки). Это — как "небо" над всеми людьми. Ну, что мне "небо" или что "небу" до меня: осветит солнцем — но не непременно меня; убьет громом, но тоже потому, что попался. Равному нужно равное — вот великая идея "товарищества" *terre-à-terre*: это и есть идея, поборающая "сатану" нашей жизни, который держит в когтях все слабое, безвольное, все пассивное, и вместе прекрасное и тонкое душою. Замечательно, что в мире нашей "старой веры", как и разнообразного сектантства, которые обнимают собой миллионы людей, вовсе не видно и не слышно об этих типах индивидуального захудания и гибели; что вот несчастье — и сломился человек; погибли дети, погибла жена — и погиб сам. Их держит община, не большая, но теплая внутри. Община — что шуба; как семья — это рубашка. Без них человек — наг, гол; и малейшая стихия губит его. Во многих ли семьях не умирали дети? Разве очень большая редкость рождение слабоумного? Мне известен случай, где дифтерит, осложненный скарлатиной, выполол половину многочисленной семьи; известен другой случай, где двое детей сгорели в даче, при спасшихся отце и матери. Какие воспоминания! Возможно ли после этого жить? Оказывается — возможно; хотя жизнь грустна, хила, уже не может биться радостью. Итак, о. Василий погиб, потому что и от начала он не был богат силами, и что "рубашку" он имел на себе, а вот "шубы" около него не выработала история. И среди цивилизованного государства, 1000 лет спустя после "Рюрика, Синеуса и Трувора" он умер жалко, как где-нибудь в "Голодной степи" около Аральского озера. Он — светил, а ему — не светили.

Из старых писем¹

Письма Влад. Серг. Соловьева

Теперь, когда я вынул тоненькую пачку телеграмм и писем Вл. С. С-ва и перечел их, слезы наполнили мои глаза; и — безмерное сожаление. Верно, мудры мы будем только после смерти; а при жизни удел наш — сплошная глупость, ошибки, непонимание, мелочность души или позорное легкомыслие. Чем я воспользовался от Соловьева, его знаний, души? Ничем. Просто — прошел мимо, совершенно тупо, как мимо верстового столба. Отчего я с ним никогда не заговорил "по душам", хотя так много думал о нем *до* встречи, *после* встречи и после *смерти*. Думал о нем, когда не видел; а когда видел, совершенно ничего не думал и просто ходил мимо, погруженный во всяческую житейскую дребедень. — Когда я перечел эти маленькие писульки, где отражается его добрая и милая душа, решительная скорбь овладевает мною и жажда точно вырыть его кости из могилы и сказать в мертвое лицо: "Все было не так, что я делал и говорил в отношении тебя".

Писульки эти, собственно, не следовало бы издавать. В них нет содержания, оправдывающего *право* отнимать время у читателя. Но есть время и время. Бывает время *работы*, и его я не смею просить для этих писем; но есть время "так себе", ничем не занятое, когда тоже берется книга: отчего такого времени не попросить у читателя? Соловьева очень многие знали, многие — чрезвычайно любили; и если простой почерк его писем взволновал меня, то иному безмолвному другу его может показаться милым, дорогим, памятным простой оборот его речи, как бы сказанной в комнате и без всяких особых намерений. Мне лично "литература частных писем" всегда казалась самою интересною и дорогою: интересна она потому, что если скажется в письме *дело*, то уже такой сердцевинной стороне своей, какая редко сказывается в книгах или, точнее, до которой в книгах никак не доберешься, надо много читать "посредствующего и ненужного"; а дорога эта литература оттого, что нигде так, как в частном письме, не скажется неуловимое, незаметное в человеке или писателе, что его характеризует. Это — как "родинка" на лице: не орган, не "черты лица", не "важное и существенное", но такое, что более всего припоминается, когда человека нет и нельзя более с ним встретиться, когда он умер или уехал и не вернется.

Все время, когда я знал Влад. Серг., я видел его *усталым*; и эта усталость была главною физиологическою и психологическою особенностью, которая вам кидалась в глаза. К стати, друзья его прошли мимо краткого упрека, какой он им бросил иносказательно и почти посмертно в "Трех разговорах". Вот это замечательное место вполне автобиографического значения:

¹ Начало этой статьи было помещено в ноябрьской книжке "Вопросов Жизни" за 1905 г., но за прекращением журнала и невыходом декабрьской его книжки было прервано. Мы перепечатаваем и это начало для сохранения цельности впечатления и даже понятии общего смысла.

"Г - н З. Я вспомнил об одном печальном происшествии, о котором меня на днях известили.

Дама . Что такое?

Г-н З. Мой друг N внезапно умер.

Генерал . Это известный романист?

Г - н З. Он самый.

Политик . Да, об его смерти писали в газетах как-то глухо.

Г - н З. То-то и есть, что глухо.

Дама . Но почему же вы именно в эту минуту вспомнили? Разве он умер от чьей-нибудь невежливости?

Г - н З. Наоборот, от своей собственной чрезмерной вежливости и больше ни от чего.

Дама . Расскажите, если можно.

Г - н З. Да тут скрывать нечего. Мой друг, думавший также, что вежливость есть хотя и не единственная добродетель, но во всяком случае первая необходимая ступень общественной нравственности, считал своею обязанностью строжайшим образом исполнять все ее требования. А сюда он относил, между прочим, следующее: читать все получаемые им письма, хотя бы от незнакомых, а также все книги и брошюры, присылаемые ему с требованиями рецензий; на каждое письмо отвечать и все требуемые рецензии писать; старательно вообще исполнять все обращенные к нему просьбы и ходатайства, вследствие чего он был весь день в хлопотах по чужим делам, а на свои собственные оставлял только ночь; далее, принимать все приглашения, а также всех посетителей, заставших его дома. Пока мой друг был молод и мог легко переносить крепкие напитки, каторжная жизнь, которую он себе создал, вследствие своей вежливости, хотя и удручала его, но не переходила в трагедию: вино веселило его сердце и спасало от отчаяния. Уже готовый взяться за веревку, он брался за бутылку и, потянувши из нее, бодрее тянул и свою цепь. Но здоровья он был слабого и в 45 лет должен был отказаться от крепких напитков. В трезвом состоянии его каторга показалась ему адом, и вот теперь меня извещают, что он покончил с собою.

Дама . Как! Из одной только вежливости?! Да он был просто сумасшедший.

Г - н З. Несомненно, что он потерял душевное равновесие, но думаю, что слово "просто" тут менее всего подходит".

Когда я прочел это после смерти, я понял, отчего он так часто, между прочим, отвечал мне на письма телеграммами и вообще избирал этот дорогой способ разговора: в телеграмме нельзя говорить много и краткость никто не примет за "невежливость". Между тем он положительно изнемогал от множества как висульки висевших на нем слов, писем, просьб и, словом, всего, о чем говорит в приведенном отрывке. Каждое им полученное письмо, при его-то "вежливости", было уже для него несчастьем; ибо на страшно утомленную голову, утомленный язык (внутреннее, мысленное словопроизнесение) ложилось новым и, главное, раздражающим утомлением, раздражающим — от заботы ответить!! *Не*-писатель этого не поймет, а писатели сразу поймут. Сам Аристотель не мог бы написать, ну, больше 100 томов in-folio, т. е. не мог бы больше произвести, выговорить слов, строк, предложений. У писателей (допустим) могущественная голова, "каменная", "железная" (по выносливости, не по бесчувственности). Но и железо стирается от трения колес. Больше известного числа раз, ну, положим, чем на написание 100 фолиантов, человек не в силах "шевелнуть мозгами". Соловьев писал много, постоянно. Много он и говорил, читал лекции, беседовал, разъяснял, спорил. Мозги все "шевелились", колесики словопроизношения (мысленного) терлись. И он был постоянно на границе "100 фолиантов", слов, если считать произнесенное и написанное (что все равно) и если бы все

растянуть на аристотелевскую долготу жизни. И вдруг еще новая писулька. Или — звонок и посетитель! Опять — беги колесики, трись, а еще не дописано "Оправдание добра", только задуманы "Три разговора". Великие произведения древности, до почты, книгопечатания и визитов рожденные, оттого и несут в себе великое вдохновение, что позади их лежит великое молчание, великая тишина; т. е. свежесть, неистертость "колесиков" души механизма устного или душевного слововыговаривания и также свежесть и покой впечатлительности. Можно сказать: что писатель говорит и пишет в частных письмах, записочках, даже телеграммах, он отнимает у своих книг. И это отнятое бросается в воздух, рассеивается, пропадает. Напр., слог Соловьева, который мог бы быть глубоко личным и оригинальным, есть прекрасный, оживленный, остроумный, но, тем не менее, обыкновенный журнальный слог (жаргон). В нем играет остроумие, веселость, шутка — свидетели талантливой его души; но этой ароматистости каждых двух рядом поставленных строк нет. Формы красивых цветов остались, а опыление стерлось, влаги нет.

Вот отчего он так часто уезжал на Иматру; хочется сказать — *убегал* туда, и, нельзя скрыть, — *убегал от друзей*, которые все снимали и снимали с утомленного, помятого цветка благовонную влагу — как несносные насекомые-посетители. В приведенной его жалобе он почти и не маскируется: кто же просит *уроманиста* "рецензий на присылаемые книги"?! Конечно, это не романист, но, напр., брат "романиста" (Всевол. Соловьева), действительно писавший много рецензий, и иногда на такие неинтересные произведения или скучную поэзию, что это суть очевидно "выпрощенные рецензии". И за последние нельзя жестоко судить: каждому хочется жить, быть увиденным и оцененным. Это — как барышня на балу. "Кто-то меня заметит". И все "танцевали с Соловьевым", не замечая, что кавалер их бледен, как мертвец. Тут — рок. Всем жить хочется. Но "общий кавалер" прожил менее своих "дам" и "vis-à-vis"... Ну, зачем, однако, он был так красив?

Из привычек его домашних сохранил две-три. Обычно я его посещал, на пути в контроль (на службу), в "Hotel d'Angleterre" (Исаакиевская площадь); мешал, конечно (и тогда же это чувствовал), — но ни одного вечера и вообще рабочего времени у него не расстроил. Ходил он дома в парусинной блузе, подпоясанный кожаным ремнем, и в этом костюме имел в себе что-то заношенное и старое, не имел вообще того изумительно эстетического выражения, какое у него бывало всегда, едва он надевал сюртук. — "Извините, я должен выйти..." — сказал он раз и взял огромный лист газеты, аккуратно начал отрывать в нем полосу. Я смотрел на него с недоумением. "Это — *покойники, объявления о покойниках*". И когда мне газетная бумага нужна для чего-нибудь пустого или унижительного, то как же... покойники? Вечная память! И мне страшно и больно было бы своими руками уничтожить и особенно огрызнить место, где в последний раз написаны их имена и их со скорбью читают родные". Не буквально, но эта прекрасная мысль, в этой мотивировке и именно с религиозным страхом, была высказана им. Не правда ли, замечательно? Ведь это подумалось раньше, чем сделалось, вошло в обыкновение? *Нам* этого не пришло и на ум: значит, об умерших он думал благочестивее, чем кто-либо из живых, из "наших знакомых". Около окна его, замороженного или холодного, билась голуби. Взяв кусок булки со стола (на столе у него вечно была какая-нибудь сухая еда, икра или в этом роде), он открыл фортку и раскрошил голубям хлеб. Они

знали это окно и прилетали на готовый или запасенный корм. Помню, с каким недоверием посмотрел я на эту привычку (было 1-е мое к нему посещение). "Вот изображает пророка у Лермонтова или библейского — который тоже кормил птиц или птицы его кормили: зачем этот театр?.." Мне не пришло тогда на ум, что ведь не для меня же и моего посещения прилетели голуби, что это, очевидно, *бывало, всегда, всегда* бывало и, следовательно, тут не театр, а трогательнейшая привычка, грациозная дружба философа и пророка без прикрас с зябнущими городскими птицами. Но я был подозрителен в то время и замарал его своей мыслью. Еще раз я его застал только что вернувшегося из поездки (на Иматру или в Москву). На столе лежала коробка фиников. Он дал звонок и, передавая коробку мальчику, дал ему адрес, по которому он должен был снести ее. — "Кто это?" — спросил я машинально. "Старушка одна. Одинокая и бедная. Я давно ее знаю (чуть ли не с дома отца) и вот уже сколько лет, когда приезжаю в Петербург, всякий раз посылаю ей фиников. Мне это ничего не стоит, а ей отраднa мысль, что она не забыта". О третьей его привычке мне рассказал известный священник Гр. С. Петров: "Раз мы с ним ехали на извозчике. Всего два шага. Он вынул и дает ему трехрублевую бумажку. Тот изумлен, я изумлен. Он и говорит: "Я — не разорюсь, и извозчик не развратится, потому что это редко. А как он обрадуется, ведь так же, как если бы нашел на дороге! Знаете, как они бывают довольны, найдя подкову или кнут. Отчего же не создать ему этого удовольствия". Все эти случаи, эти благороднейшие привычки во внутреннем своем обиходе показывают удивительно добрую душу, о чем далеко не все знают и в чем, напр., я вовсе не был уверен, пока он жил и я его видел.

Первое наше знакомство было заочное. В 1890 или 91-м году, когда я был учителем в Ельце, он прислал мне, заказным письмом, рецензию на только что вышедшую из печати брошюру мою: "Место христианства в истории". Это был маленький печатный оттиск журнала "Русское Обозрение" (редакция кн. Цертелева, его приятеля), к которому было сделано большое рукописное прибавление. Я был вполне уверен, что эта рецензия и появилась в печати, хотя, не видя книжек журнала, не мог этого увидеть воочию. Однако, судя по тому, что в теперешнем "Собрании сочинений" ее нет, я думаю, что оттиск этот не был помещен. Вот он.

"Место христианства в истории"

В. Розанова. М., 1890 г.

Эта брошюра обращает на себя внимание и отдельными прекрасными страницами, и общезою мыслью автора, который очень своевременно напоминает нам истину *единства* человеческого рода и *общего плана* всемирной истории. В последнее время, как известно, печальный факт национальной розни возводится в принцип некоторыми модными теориями, утверждающими, что человечество есть пустое слово, а существуют только отдельные племенные типы. Автор начинает с характеристики двух главных исторических племен, арийского и семитического, чтобы показать потом, что вселенский идеал человечества и окончательная задача всемирной истории предполагает синтез арийского и семитического духовных начал, которые в этом своем единстве должны приобщить к себе и все прочие народы земли. Собственно характеристика двух племен у автора, видящего в арийском духе преобладание объективизма, а в семитическом — субъективизма, слишком обща и притом не раз уже была высказана и в иностранной, и даже в русской литературе. Но в дальнейшем развитии своей мысли автор высказывает

много оригинального и глубоко верного. А главным образом он заслуживает признательности за то, что вовремя напомнил нам, что "в Вифлееме и Иерусалиме решались судьбы и *Востока и Запада*", что там "заложена была новая история и новая цивилизация, *та, в которой живем, думаем и стремимся мы*" (стр. 22) и в которой Откровение, воспринятое семитами, срослось с высшим плодом арийского духовного развития (стр. 35). Этот синтез совершился вопреки иудейскому исключительному национализму, который погубил еврейство политически, но не помешал ему дать миру христианство. По поводу молитвы Ездры автор указывает, что падение Иерусалима "было наказанием не за частные грехи отдельных людей, но за грех, общий всему Израилю, за грех его перед другими народами, о которых он забыл, которых он не хотел приобщить к своему избранию" (стр. 21). Эту старую истину хорошо было лишней раз напомнить ввиду диких теорий, прямо или косвенно отрицающих солидарность племен и культурно-исторических типов в общей исторической работе.

Владимир Соловьев

Как видно, автор в рецензии этой брошюры бурно провел ту прекрасную объединительную тенденцию, какой был предан в то время. Не забудем, что он явился в нашей богословской или религиозной литературе с объединительными тенденциями не только в отношении двух церквей, католической и православной (хотя это было главным образом), но включил сюда, хотя и отдаленно пока, еврейство и даже магометанство, которые всегда (особенно магометанство) выбрасывались христианством за борт каких бы то ни было религиозных концепций, каких бы то ни было положительных счетов. Вспомним только суровое суждение знаменитого светильника русской церкви XIX века, епископа Феофана Затворника. Он пишет в своем "Толковании на *Послание к Галатам*" (изд. 2, 1893 г., стр. 261), что после пришествия Христа "ветхозаветный закон бысть в пагубу, и народ, держащийся его (т. е. еврей), злодей человечества". Если об евреях и Библии в семинариях и духовных академиях и говорится, и даже много, то приблизительно так же, как на уроках греческого языка говорят о Полифеме, Аяксах и Агамемноне, т. е. что "вероятно, их никогда не было, да и не нужно: но урок надо выучить"... Я хочу сказать, что говорится в каком-то величаво-красноречивом изложении, где проходят величественные "Иаковы и Ревекки", до которых какое же дело получившему недавно камилавку протоиерею и который до того рад-рад, что "владыка, кажется, ко мне благоволит". Что-то нереальное, риторическое, мечтательное. Вл. Соловьев первый взял к сердцу "жидка", как генетически связанного с Ревеккою и Иаковом, в просторечии с "Ривкою" и "Яковом", — и только не дополнил воображением, что это был огромный шатер из верблюжьей шерсти, с страшно острым запахом домашних животных, где ходили, завидуя беременности друг друга, сестры-ревнивицы и, "чтобы преуспеть в очах Господа", дали в подложницы мужу своему кормилиц и нянь своих, сперва одна Валлу, а потом другая — Зелфу; и что все это не так далеко стоит от духа, идиллии и благочестия теперешних шатров Аравии и Туниса. Еще серьезнее, оригинальнее, смелее и новее было, что он, кажется первый из европейских философов и христианских богословов, ввел в религиозную *свою* и своих читателей концепцию магометанства! Именно, он указал, что божественное слово, выслушанное Агарью о потомстве малолетнего сына своего, Измаила ("он как дикий осел; *рука его — на всех, а руки всех — на него*"), суть в точности *пророческое слово* и покрывающее имевший через тысячелетие наступить

факт *магометанства*. Ибо в словах этих не только очерчен характер и судьба израильтян *после Магомета*, но, и это особенно важно, что маленькие племена Аравии в эпоху Авраама и все время *до Магомета* *не являли вовсе* этих особенностей характера и исторической судьбы. "Таким образом, магометанство, — говорит Соловьев, — *лежит в плане всемирного религиозного движения; и Магомет творил не свою волю*". Этим поразительным признанием он первый перекинул мост между евангелием и кораном, христианством и мусульманством, когда прежде их разделяла не просто пропасть, но какое-то огненное море.

* * *

К сожалению, за неотчетом моим, по незнанию его адреса, — знакомство наше не завязалось в том же 1890 году. От скольких увлечений, ошибок он мог бы меня удержать; как мог бы расширить мой политический, да и религиозный горизонт! Он знал *действительность*, а я ее вовсе не знал; он был всегда *много-люб* и *много-дум*: и мог расхолодить мои увлечения просто своевременным указанием на такие-то и такие-то факты, на необходимость оглянуться на иные стороны, чем какая, всегда в *единственном числе*, стояла передо мною! Познакомился я с ним лично только в 1895 году — после жестокой и грубой полемики, какую вели мы в 1894 году. О полемике мы никогда не вспоминали — просто как о том, что "прошло". Я думаю, ни он не настаивал бы на своих определениях меня, ни я не думал ничего из того, что высказал о нем. Все было — *проще, яснее и лучше*, чем я представлял в нем (в личности его) со своей жестоко-национальной и жестоко-ортодоксальной точки зрения. Он был публицист, искренно и горячо любивший Россию (я воображал, что он — враг ее), притом работавший для нее с таким широким обхватом мысли, к какому, уже по уровню начитанности и научного образования, на котором я стоял, я ни тогда, ни потом не был способен; хотя не отрицаю, что от узости моих горизонтов происходили некоторые *плюсы* во мне, напр., в силе убеждения, в преданности даже ложным идеалам, которые он, вероятно, при знакомстве оценил и полюбил. По крайней мере я все время чувствовал, и думаю — не обманываясь, постоянную его ласку к себе.

Сношения у нас завязались по поводу желания моего напечатать письма К. Н. Леонтьева ко мне: в письмах этих, высоко ценя личность и дарования Соловьева, Леонтьев, со своей *ultra-консервативной* точки зрения, жестоко нападал на идеи Соловьева. Кстати, его *теократические* мечты Леонтьев находил *обаятельными* и величественными, какового *вкуса* к ним никогда не чувствовали ни Катков, ни Ив. Аксаков. Не показывает ли это, что в скорлупу своего жестокого консерватизма Леонтьев заперся только с отчаяния, прячась, как великий эстет, от потока *мещанских* идей и мещанских фактов своего времени и надвигающегося будущего. И, следовательно, если бы его (Л-ва) рыцарскому сердцу было вдали показано что-нибудь и *неконсервативное*, даже *радикальное* — и вместе с тем, однако, *не мещанское, не плоское, не пошлое*, — то он рванулся бы к нему со всею силой своего — позволю сказать — гения. Он (Л-в) не дожил немногих лет до нового поворота идей, вкусов и поэзии в нашем обществе, которое охватывается в одну скобку "декадентства" и, думается, самую неожиданностью своею, своими

порывами вдаль, своими религиозными влечениями и симпатиями к древнему Востоку, вероятно, охватило бы его душу как "последняя и смертельная любовь". Не знаю, обманывает ли меня *вкус*: но чувствуется мне, что он был "декадентом" раньше, чем появилось самое это имя; что он писал свою прозу раньше "символических" стихов, но уже — как их *предварение*; и создавал свою необычайную "политику" для каких-то сказочных, а не реальных царств, где будут носить египетские короны и ассирийские жезлы... Может быть, этого и не будет никогда, даже наверное не будет. В эпоху Renaissance ведь как хотели бы быть греками и римлянами. Бредали именами и вкусами Брутов и Платонов, а сотворили в действительности слабые, робкие, но неувядаемо прекрасные эпизоды жизни итальянских городков XV—XVI века. Так и теперь: конечно — *прямыми* целей своих мы не достигнем, но, когда мы или ближние потомки наши "будем сидеть на реках Вавилонских и плакать", над нами склонятся, *побочным образом*, ветви с плодами такого вкуса и аромата, каких мы не предвидели, которых не сажали и которые утешат нас в разочаровании относительно прямых целей. Все в истории бывает неожиданно, непредвиденно. И все выходит как-то лучше, красивее и мощнее, чем человек предполагал в своих кабинетных выкладках.

Кстати, Леонтьев переслал мне, при заочном знакомстве с ним в 1891 г., маленькое письмо к нему Влад. С. Соловьева, как имеющее косвенное ко мне отношение. Вот оно:

"Очень рад, дорогой Константин Николаевич¹, что Розанов пишет про вас: насколько могу судить по одной прочтенной брошюре², он человек способный и мыслящий. Если позволю разные дела, связанные с народным голодом, я окончу интересующую вас статью³ к 15 ноября, так что наклейки, пожалуй, опоздают. Но это не существенно. Будьте здоровы. Душевно вас любящий

Влад. Соловьев".

СПб., 3 октября 1891 г.

¹ Леонтьев — Константин Николаевич. О нем см. в "Вопросах Жизни" статью Н. А. Бердяева. Поразительно это любопытство и отсутствие какой-либо вражды к нашему "огненному" консерватизму в рядах партии, которую при жизни и, без сомнения, потому, что еще "не исполнились времена и сроки", он умел только проклинать. Все это удивительно провиденциально; все это показывает, что Леонтьев "не туда зашел", сел "не на свой стул", или, по-ассирийски, "не на свой трон".

² Т. е. о "Месте христианства в истории", отзыв о которой см. выше.

³ О Леонтьеве. Последний писал мне, что его преследует *fatum*: что он замолчан в литературе; что есть так много людей, которые *лично* высоко его ценят и придают мирозерцанию его большое значение или по крайней мере видят в нем большую *интерес*, а между тем ничего не хотят сделать для ознакомления с ним читающего общества. Между такими людьми он указывал и Соловьева, который все "пишет", да никак не "допишет" о нем большую статью: и действительно, не "дописал". Большая и прекрасная статья Соловьева о Леонтьеве (о ней см. ниже в письмах ко мне) появилась уже после смерти Леонтьева. "Наклейки", о которых ниже идет речь, суть "материалы" и "литература предмета" для всякого, кто о Леонтьеве захотел бы писать: это две тетради — книжки с наклеенными на листы печатными отзывами о разных статьях Леонтьева, полемики с ним и пр. На полях эти "наклейки" испещрены весьма любопытными замечаниями самого Леонтьева, острыми и задорными, во всяком случае ярко рисующими его личность и мирозерцание. "Наклейки" эти, не понадобившиеся Соловьеву, он переслал — опять в качестве "материала" для статьи о нем — мне. И они у меня остались за его скорою, в том же 1891 году, смертью.

Вот ответ Соловьева мне на вопрос: не будет ли он чего-нибудь иметь против напечатания мною целиком¹ писем Леонтьева:

28 ноября. 92. Москва, Пречистенка,
д. Лихутина.

"Многоуважаемый Василий Васильевич!

Пользуюсь первую свободную минутой, чтобы ответить на ваше любезное письмо. Разумеется, я ничего не имею против напечатания вами касающихся меня писем покойного К. Н. Леонтьева. Быть может, я отыщу несколько его писем ко мне, весьма интересных, и тогда пришлю их в ваше распоряжение.

Из замечаний ваших по поводу вероисповедного вопроса я вижу, что моя действительная точка зрения по этому предмету осталась вам неизвестною. Изложить ее в письме не нахожу возможным. Если когда-нибудь Бог приведет встретиться, то в разговоре это можно будет сделать и легче и скорее. А пока намеку в двух словах на сущность дела. Ввиду господствующей у нас частью фальшивой, а частью благоглупой и во всяком случае нехристианской папофобии, — я считал и считаю нужным указывать на положительное значение самим Христом положенного камня Церкви², но я никогда не принимал его за самую Церковь, — фундамента не принимал за целое здание. Я так же далек от ограниченности латинской, как и от ограниченности византийской, или аугсбургской, или женевской³. Исповедуемая мною религия Св. Духа⁴ шире и вместе с тем содержательнее всех отдельных религий, она не есть ни *сумма*, ни *экстракт* из них, — как *целый человек* не есть ни сумма, ни экстракт своих *отдельных органов*⁵.

¹Задумывалось это в 1892 году, т. е. вскоре после смерти Леонтьева. Но напечатать его письмо я собрался только в 1903 году, т. е. уже значительно спустя после смерти Соловьева. *Ans longa, vita brevis est...* <искусство велико — жизнь коротка — лат.>

²Т. е. известные слова Христа ап. Петру: "Ты, Петр, — камень, и на сем камне созижду Церковь Мою, и врата адавы не одолеют ее".

³Т. е. ни католичество, ни наше православие, ни лютеранство, ни реформатская церковь (кальвинизм) не казались С-ву *исчертывающими и окончательными* формами религиозного сознания, даже — христианского сознания. Он смотрел на них всех как на *стадии, ступени*, — как на "бывающее", а не "сущее". Весьма замечательная точка зрения, к которой, чем дальше идет время, — тем большее число людей присоединяется. Все это было когда-то *дорого* человеку, все казалось когда-то *полно*. Но протекли века. И снова вздыхает человек. Снова смотрит на небо, ждет, спрашивает, ожидает. *Кристаллы* "исповеданий" тают в огненной печи новых сомнений, новых жажд; и ныне мы живем *без веры*, но в полном *хаосе веры или вер*.

⁴Это очень хорошо. Ему следовало *печатно* яснее сказать и настаивать, что он нисколько не связан с римскими, константинопольскими или аугсбургскими традициями; не отрицает их, но и не *покоряется* им: а их все свободно принимает как "привходящие" в *новое и мировое* веяние Св. Духа, "религию" Его, "Церковь" Его... Но *печатно* у Соловьева не вырисовывалась эта благая концепция. В письме своем к нему я, сколько помню, писал ему о *невозможности* и *немыслимости*, чтобы когда-либо Россия стала католическою, что он с неприятностью и отверг, как предполагаемую, и неверно предполагаемую, свою мысль...

⁵Очень умно и тонко. С этой точки зрения можно понять некоторые его стихотворения, как, напр., прелестное: "В тумане утреннем неверными шагами", которые смыслом своим неизмеримо превосходят его церковные, в частности католические, тенденции. Тут мы можем понять и еще следующее: отчего, в самом конце своей жизни, Вл. Соловьев без всякой особенной *боли*, без всякой *ломки* своего мировоззрения, публично выразил, что он оставляет мысль о сое-

Этот намек, хоть и темный, убедит вас по крайней мере в том, что ваши замечания, справедливы они или нет сами по себе, во всяком случае не имеют никакого отношения к моему образу мыслей. В надежде на возможность более пространного объяснения в будущем остаюсь с совершенным почтением

Ваш покорный слуга Влад. Соловьев”.

После этого, довольно дружелюбного, письма и разразилась (с 1 января 1894 г.) наша грубая и ненужная полемика.

* * *

Знакомство, на этот раз личное, возобновилось позднею осенью 1895 года, по инициативе Соловьева и через посредство Фед. Эдуард. Шперка. Мотивом его, бесспорно, было то чувство любопытства к людям, вещам, странам и стихам, но в особенности к людям, какое было у Соловьева. Генрих Морепоплаватель вечно плывал, открывая новые земли. Нужны ли они ему были? Нисколько. Что же влекло его? Призвание, талант, порода его души. Есть люди интересные, живут — “по одной лестнице”, а всю жизнь — не познакомятся. У Соловьева, напротив, было какое-то “томление духа” (экклезиаст) по человеку... Его предсмертный труд — “Разговор под пальмами”¹, столь грустный по тону, столь безнадежный — давно, может быть с молодости, капля по капле зрел в его душе. “Конец всемирной истории”, “ничего не нужно”, “ничего не возможно” — как с этими мыслями не побежишь куда-нибудь, к кому-нибудь? Замечу касательно “Чающих конца”, и в особенности близкого “конца”, — что, во-первых, психология их впервые воочию объясняет нам настроение христиан I века, когда “Конца” ожидали вот-вот, сейчас, завтра; во-вторых, что между тем первым ожиданием и теперешним совершилась, без особенной уторопленности, вся европейская цивилизация и, в-третьих, что идея “Конца”, как и другая родственная идея о “жизни будущего века”, продолжении бытия нашего по ту сторону гроба, сотворена была и страстно пронесена по земле людьми одиночками, которые видели, что *личное* бытие обрывается сейчас у ног их. Есть монахи по форме, а есть монахи по существу, — даже среди семейных людей, всегда в таком случае меланхолически-семейных, встречаются эти монахи по существу. “Загробное существование”, при котором *теперешнее, здешнее* и не очень нужно (идея

динении церквей, частью как преждевременную, частью как такую, в которой *нетерпеливой* нужды никакой нет: да просто — мысль эта не лежала на дне его души, а только плавала в его душе. Душа его была предана, и притом *всегда*, как он говорит, “религии Св. Духа” и, может быть, с нею очень и очень новым религиозным исканиям. Вспомним, в стихах же его, удивительное *одушевление* громадного гранитного камня на пути к Иматре: точно атавизм какого-то древнего-древнего, седого-седого фетишизма. Когда его с удивлением спросили об этом стихотворении, он ответил со своим двусмысленным и, думаю, на этот раз дерзким смехом: “Что же, вы знаете, древние *поклонялись* камням, и даже это было первою на земле *религиею*” (в воспоминаниях о нем, помнится, — г. Величко или г. Энгельгарта).

¹ Печатался в “Книжках Недели” Гайдебурова; в отдельном издании заглавие переименовано на “Три разговора”.

"конца"), всецело создано ими; а "ангельские лики", облака реющих в пространстве "душек", каковых они узрят по ту сторону гроба, едва ли не есть "приложенное в вечность", перенесение на неопределенный "конец" тех подлинных реальных душ, от рождения которых они неблагоприятно (по моему взгляду) воздержались здесь. Вот отчего библейское еврейство (в котором этот монашеский чин все же встречался, но приблизительно в миллионной доле, сравнительно с временами новой Европы) вовсе почти не знало идеи "конца", ни идеи "существования там, за гробом", и просто об этом ничего не думало. Невеста, не успевши выйти замуж, умерла на глазах жениха; какие грезы вспыхнут у него о "встрече там"... О, и будучи мужем, он будет думать о "встрече там" с 40-летней подругой своей: но совершенно иначе, без страсти, без непременности, без яркости, без разрисовки. Именно — как евреи, которые не отрицали "будущего века", но признавали его тем вялым признанием, которое почти равняется "нет".

Вл. Соловьев, с идеею "Вечной Женственности" и с "тремя взглядами" (см. длинное его стихотворение об этом "самом важном событии моей жизни"), был *по существу, по таланту, по призванию* — монах, с тем рыцарским, деятельным и мечтательным оттенком, как это выразилось на Западе. С тем вместе темперамент и вообще вся психологическая природа Соловьева, внука русского священника и сына такого коренного "русака", каким был С. М. Соловьев, может хорошо объяснить возникновение католического культа "Мадонны", который, конечно, коренится не в естественном рассказе о Богородице, а вот в этих не часто попадающихся, но чрезвычайно мощных и талантливых задатках и влечениях человеческой природы. Этою стороною религиозного романтизма своего едва ли не более, чем богословскими трактатами, Соловьев сблизил православие с католичеством, и сблизил его реальнее, более цепко для православия — ядовитее и неодолимее. Ибо в то время как к публицистическим и богословским усилиям его общество осталось равнодушно, во всяком случае не бежит им навстречу, под его поэзией, и в частности под этими нежными и как-то вечно правдивыми лучами его поэзии, заходила волна. Сонные воды Руси проснулись и зарумянились от дрожащего, почти и несуществующего света его мечты, этой "Розовой Тени" его биографии.

Но я отвлекся. Генрих Мореплаватель все отыскивал новые земли, а Вл. Соловьев все знакомился с новыми людьми, и черед естественно дошел до меня, с которым он полемизировал и не мог не иметь, поэтому, некоторой любознательности. Он быстро и чрезвычайно доверчиво подружился с замечательным по даровитости, простоте и энергии молодым человеком, Феод. Эд. Шперком, сыном первого директора института экспериментальной медицины в Петербурге, который около этого времени вышел, не кончивши курса, из университета и стал заниматься литературою. Сам Шперк до того был искренен, открыт, а с тем вместе любознателен, предприимчив, верил "в звезду свою", что и всех, с кем соприкасался, делал таковыми же в отношении себя. Нужно заметить, при замечательном уме своем и непрерывном "умном" вдохновении Шперк до того не умел выражать на бумаге своих мыслей, что ничего нельзя было понять из того, что он печатал то в брошюрах, то в периодических, нечитаемых изданиях ("Педагогический Листок",

”Гражданин”). И это казалось мне, да и другим, чем-то необъяснимым в нем. Потом, какими-то чудесами, он выработал в себе и способность изложения (почти перед самою своею смертью). Но он был очень раздражен, что никто на ”литературу” его не обращал внимания, брошюр его не разбирали; как человека, — любили и уважали его, а как писателя — ни во что не ставили. В нем, как очень много претерпевшем на печатном поприще, развилась неприязнь, конечно временная и капризная, к ”ничтожествам, печатавшимся до меня” (веря, и страшно серьезно, в ”звезду свою”, Шперк печатно высказывал, что не было философии и философов до него, Шперка: и в это почти верил!)... Едва он усвоил способность сперва посредственно, а затем хорошо и, наконец, превосходно излагать свои мысли, как посыпались его укусы, сильные, большие, наглые, на все стороны. ”Ежегодный сизифов труд” — так озаглавил он свою статейку об ежегодной библиографии Як. Ник. Колубовского по русской философской литературе. Замечательно, что у Колубовского он не только перед этим бывал, но передавал мне, что редко встречал такого привлекательного русского человека, как он. И нимало этого мнения не изменил после своего отзыва о библиографической его работе, которую назвал бездарною, исполненной ослиного терпения и лишенной какого-либо философского чутья компиляциею. Это была просто отместка за то, что Колубовский в нем самом, Шперке, видел только претенциозного юрода. Также он лично знал Волынского, бывал у него и кончил тем, что в отзыве о книге его ”Русские критики” грубо осмелел, что ”этот жид от всех русских писателей и публицистов требовал жидовского паспорта и, у кого не находил такового, того предавал казни в своей нелепой книге”. Это было тем чудовищнее, что сам Фед. Шперк по матери происходил от евреев и очень долго любил их, уважал, считал выше древних греков: пока один печальный эпизод его биографии, в конце концов бывший причиной его преждевременной смерти, не заставил его с такою же силою возненавидеть их. Но при всех этих диких, страстных и, мне кажется, безнравственных выходках личная обаятельность этого молчаливого, застенчивого и вечно погруженного в думы юноши была так велика, что я чувствовал в себе точно паралич при порывах на него рассердиться. Бранить его, конечно, я бранил, но без всякого внутреннего негодования. Он точно летел к ”звезде своей” (к своему будущему) и ничего не замечал вокруг. Все он оскорблял, все обличал. Но кто знал (как я) длинный путь глубокой скорби, которым он прошел, и видел, до чего он прост и ясен в душе, до чего он любил все ”милое и незаметное” (его термин) в жизни, в людях, в литературе, в стихах, до чего он привязывался ко всякому чужому несчастью, чужой неудаче, чужой болезни или нужде и за всем этим ухаживал, как сиделка за больным; до чего в нем отсутствовала поза и ”театр”, до чего будущее ”величие Шперка в литературе” занимало и влекло его как подлинное величие, не ради самолюбия, а ради внутренних качеств, и до чего он действительно изумительно даровит, проницателен и вдохновенен, — тот просто чувствовал... ну, именно паралич перед желанием осудить его. Так и я много раз (перед концом жизни) говорил ему, что ”между нами все кончено”, что, ”раз человек не признает никаких моральных законов, — что же с ним делать”, ”что я не хочу его ни видеть, ни говорить”, но кончал тем, что ни с кем не говорил так безуданно, как с ним. Удивительный человек, и непонятно, что бы из него вышло. Только

для меня очевидно, что он был рожден для огромных новых мыслей; что, отдаваясь иногда по капризу злу, он кончил бы страстным вдохновением к добру... А может быть, впрочем, в нем вовремя умер духовный разбойник, не понимаю, растериваюсь. Только одно он давал впечатленье: "сила, сила идет"... Да он так и говорил; когда я упрекал его за бесстыдную выходку против Соловьева (см. о ней ниже), он смеялся цинично, восторженно ("моя звезда"): "Что же, это — талант, а талант хочет действовать; а что там Соловьев попал под удар или кто другой — просто это меня не занимает. Я был *вправе* написать, потому что был *в силах*. И что я поступил хорошо, это очевидно из того, что я написал *хорошо*". На Соловьева он напал, но неожиданно и будучи дружелюбен с ним потому, что — как характеризовал его раньше, после первых ли шагов знакомства с ним — "это есть явление *эстетическое*, а не *этическое*" (в жизни, в обществе, в литературе). И с этой именно своей точки зрения на него как личность он напал и на его "Оправдание добра", озаглавив заметку: "Ненужное оправдание". Логика его: "правда проста и самоочевидна, добро в защитах философов не нуждается; простые люди его так знают: а Соловьев написал неуклюжую иезуитскую книгу, где на ста страницах доказывает, что белое есть белое или что белое не очень бело", и пр. Соловьев сам нашел нападение сильным ("талантливым") и отвечал на него едва ли не пространнее, чем было нападение.

* * *

Вот письма Соловьева ко мне, относящиеся к началу личного знакомства.

Царское Село, 17 ноября 1895 г.

Многоуважаемый Василий Васильевич!

По чрезмерной рассеянности в житейских делах я забыл название вашей улицы и номер дома, а бумажка, на которой записал их Шперк, потерялась, разумеется, еще раньше. Перед бегством своим в Царское Село хотел справиться в контроле, но не успел. Теперь пользуюсь свободной минутой, чтобы вас достать через контроль. Кроме желания продолжать знакомство, имею еще маленькое дело.

В известном вам словаре¹ черед дошел до *Леонтьева*. Лично я с величайшим удовольствием предложил бы написать о нем вам, но уверен, что это не было бы принято ни вами, ни, главное, редакцией "Словаря". Некоторая нетерпимость этого последнего обнаружилась для меня по поводу Декарта. Я предложил двух лиц, несомненно наиболее компетентных в России: Страхова и Любимова, но оба были отвергнуты. Страхов, конечно, и сам бы отказался. Думаю, что в настоящем случае вы тоже не взяли бы написать статью о Леонтьеве, удобную для "Словаря", и притом словаря более или менее западнического. Отдать нашего милого покойника на растерзание людям, его не знавшим и предубежденным, было бы нехорошо. Итак, приходится написать мне самому. Но при этом нуждаюсь в вашей помощи, во-первых, для установления точной биографической рамки, во-вторых, для пересмотра его книг, которых при себе не имею, и, в-третьих, для литературы. Итак, не будете ли вы добры написать мне, в какой из двух вечеров на будущей неделе — четверг (23) или суббота (25) — лучше мне к вам приехать?

¹ Дело идет об "Энциклопедическом Словаре" Брокгауза и Эфрона, где Соловьев вел философский отдел и поместил там ряд прекраснейших сжатых статей. В. Р.

Адресуйте: Царское Село, Церковная улица (угол Московской), дом Мердера. — Отправьте заказным. Пренебрежение к учреждению заказных писем несовместимо ни с покорностью Провидению, ни с уважением к власти государственной. Если Провидение многократно являло нам примеры почтовой неисправности, то, очевидно, затем, чтобы мы принимали достойные нас меры предосторожности, не утруждая Высшие Силы требованием помощи сверхъестественной. С другой стороны, если мудрое правительство учредило и поддерживает институт заказных писем, то, значит, он необходим, а так как в законе не указаны случаи его применения, то, значит, мы должны считать его необходимым во всех случаях. Между людьми смиренными и людьми гордыми существует вообще различие, что первые отправляют письма заказные, а вторые отправляют письма, не доходящие по назначению¹.

Душевно преданный вам Влад. Соловьев.

И устно, и в нескольких письмах я настаивал на том, чтобы Соловьев написал в "Словаре" несколько страниц, "если можно — даже шесть", а если не будут давать, то все же как можно больше из того, сколько будет давать, например пять или четыре. Удивительно, что дотянулось именно до шести страниц, сколько я и положил как maximum, почти невероятный для меня самого. Статья должна была выйти исключительно хороша как литературное произведение, чтобы редакция "Словаря" отвела столько столбцов писателю вовсе без успеха и имени и притом относившемуся с такою непримиримою враждою к прогрессу и западной цивилизации, которых "Словарь" служил таким ярким и фактическим выражением и подтверждением. Леонтьева можно охарактеризовать почти в двух строчках: 1) гениальные силы, 2) ушедшие на безумную мечту. Кто эту "мечту" его, его программу отбросит в сторону, как безвредную по полной ее неосуществимости, тот непременно привяжется и будет очарован им как человеком, писателем и мыслителем. Ни Соловьев, ни я не имели его в виду как "политика"; ибо сами были очень плохие, вялые и недаровитые политики и потому чрезвычайно любил его как личность и талант, как писателя. Но все же — шесть страниц убористой печати — целая журнальная статья! Тут я мог увидеть, до чего Соловьев добр, и мягок, и уступчив, когда настояния другого имеют явным источником любовь к третьему: сам он был все же слишком усталым писателем и много-темным человеком, чтобы написать столько и так, сколько написал, без боковых возбуждений. И происхождение этой статьи, действительно лучшей по полноте и законченности характеристики Леонтьева, я вписываю среди немногих или среди отсутствующих своих общественных заслуг. Добавлю еще, что Соловьев был слишком робок, как бы застенчив и перед грубоватою редакцией "Словаря", конечно, только враждебной к Леонтьеву, не стал бы настаивать на помещении слишком большой о нем статьи. Самое большее — вышло бы столбца три, и статья давала бы "сведения", как обычно, энциклопедиям, а не целую философско-литературную характеристику. Вот письмо его, без даты, относившееся, очевидно, к этому времени:

¹ До чего все это грациозно и мило. Если бы он обо всем так писал и ко всему так относился, то, думается, привлек бы всех к себе и своему. Но у него была и желчь, которая, кажется, всегда бессильна. В. Р.

"Спасибо, дорогой Василий Васильевич, за доброе письмо или, вернее, письма. Множество писания для печати помешало мне ответить на предыдущее письмо и поблагодарить за приложенные к нему материалы о Леонтьеве, — да и теперь могу написать только несколько слов. Искренно желаю вам и семье вашей всего лучшего в новом году.

Очень жаль Страхова, и даже что-то жутко. Не найдете ли возможным внушить ему, — так как против вас он ничего не имеет, — мысль о "христианской кончине живота", для чего потребуется между прочим и примирение душевное со всеми ненавидимыми им — от них же первый есмь аз. *Раньше этого* непосредственное мое обращение к нему было бы нецелесообразно и даже опасно.

Статья о Леонтьеве должна быть готова 7 января. Около этого времени я *заеду* к вам, известивши телеграммой, чтобы прочесть. Тогда поговорим и об Ухтомском.

Душевно преданный вам Влад. Соловьев".

Страхов в это время заболел — раком... Он худел, чуть-чуть слабел: но, не зная существа болезни, не особенно беспокоился. И напомнить ему "о христианской кончине живота" было решительно невозможно, не открыв существа болезни, т. е. не отравив черною отравой нескольких месяцев жизни, какие ему остались и какие он мог все же провести "ровно", без смятения и муки. Кому нужно ставить людей в положение Ивана Ильича (у Толстого), для чего это нужно? Если жестокая природа нагнала на человека такие скорби, не дадим врагу победы по крайней мере над духом его. "Только души его не коснись", — говорит и Бог дьяволу, предавая во власть его тело Иова. Я, можно сказать, и руками и ногами отталкиваю самое существо таких болезней, как рак, т. е. отталкиваю мысль, чтобы они были сколько-нибудь заслужены благородным страдальцем, человеком: но, уже подчиняясь им как факту, как могиле, зачем же еще "печатать в газетах" об успехах врага?! Пусть приходит как вор и ворует нашу жизнь, ворует у друзей друга, у детей — отца, у матери — ребенка: но ни копейку на рекламу его "побед", а главное — самому человеку всяческое облегчение, напр. хотя бы вот в этом виде устранения предварительного страха. Совершенно не для чего утолщать смерть этим страхом: она и без того жирна, толста, сыта, самодовольна... Ну и пусть... Смерть и болезни в отношении бедного и благородного существа человека, и без того страдающего от бедности и социальных неустройств, есть чудовище имморальности: и человек, даже уже в ее пасти находясь, пусть мечтает и живет, как жил, смотря в лазурь Неба и все еще надеясь, предполагая и замышляя. Не забуду, как Страхов за три дня до смерти едва слышным, коснеющим языком (я должен был подставить ухо ко рту его) говорил: "Ужасные ошибки!.." — "Какие, Николай Николаевич?" — "Да напечатали на обложке: "Из истории русского негилизма" — такие-то и такие-то годы, а надо — другие. Недосмотрел"... И отлично. Думать об этом гораздо лучше, чем о раке, который ест нас и доест, и пусть будет сыт: а мы будем сыты и литературою, и поэзией, и наукой, надеждами и ожиданиями. Мы слишком вправе надеяться и будем надеяться. Мы трудились...

Оставляю эти темы. Конечно, я сейчас же передал Страхову о желании Соловьева помирииться с ним. Ссора эта (из-за Данилевского и славянофилов) была такая же неумная и ненужная, как у меня с Соловьевым, как вообще большинство литературных ссор. Собственно, для

настоящего неуважения к человеку может быть почва только в неуважении к его деятельности, именно к аморальным ее чертам, сводящимся к двум: лжи и определенной, фактической жестокости. Угнетение человеком человека или внутренняя фальшь всей натуры — вот что может заставить не подать ответно руки человеку, протянувшему ее. Страхов и Соловьев вначале и очень долго были друзьями, причем Страхов по необыкновенно кроткой натуре своей, а также по изумительной образованности и осторожному уму был "почитателем-наставником" Соловьева. Последний по впечатлительности своей натуры, вмещавшей много воска, был способен воспринимать, и даже жадно воспринимать, эти "учительские" влияния. Можно было бы в его сочинениях отыскать множество следов и, наконец, прямых признаний, хотя и очень кратких, большею частью в шутливой форме, — как он радостно, бывало, шел навстречу этим влияниям на себя. Так он, между прочим, питал к концу жизни "слабость" к старцам византийского пошиба, а в ранние годы гимназии "препарировал лягушек по образцу Базарова". Вечно жаждая любви к себе, "обожания", он чуть ли не чаще еще вспыхивал сам влюбленностью и "обожал" других: черта, которая пусть не заставит никого улыбнуться, ибо не есть ли это благороднейшая эллинская живучесть и подвижность, великая нервность и отзывчивость, вечная взволнованность, достоинства еще более редкие, чем мудрость, и гораздо человечнейшие, нежели видная ученость. Мы любим в себе "гордые достоинства": между тем вот эти скромные и человечные едва ли не важнее. Со Страховым он разошелся жестко, неуклюже: едва ли не от того он и разошелся с ним так неумело, что ранее стоял в застенчивом положении ученика. И с Данилевским, и со Страховым нужно было разойтись (это Соловьев чувствовал, это я теперь чувствую), ибо их "святая простота", как и вообще наших славянофилов, прикрывала и стояла щитом около позорнейшей русской действительности, уже именно злой и именно фальшивой. Они были похожи на добрых старушек-домовладелиц, у которых "заняло помещение" полицейское управление, притом самых недвусмысленных нравов. Но старушки-то эти были добрые и благородные, и нельзя было "класть охулку" на самый их дом, их имя, на старые гербы их, нельзя было кричать: "У Страховых, Данилевских, Аксаковых дело нечисто: обирают, шпионят, насилуют". Нужно было строго разделить кабинетный идеализм и житейскую нечистоту, к ней прицепившуюся, как паук с паутиною к орлу. В письме Соловьева к Страхову (последний читал мне его) он, "мотивируя первый шаг своего похода против автора "России и Европы", писал: "Нельзя истребить вшей, не пожертвовав полушубком, в который они забрались: и как за спину Данилевского прячутся гады и гадкое, то надо опрокинуть его авторитет и научную, даже моральную, компетентность". Мне эта параллель с полушубком не кажется сильным аргументом: в зиму примиришься и со вшами, только бы не замерзнуть. Нужно, однако, для оправдания Соловьева вспомнить то время, когда он открыл этот поход, середину царствования Александра III, когда "Россия и Европа" и идея особых культурно-исторических типов стала, притом официально почти, аль-кораном нашей охранительной политики, жесткой внутри и строго замкнувшейся извне. Мы прели в своем четырехосном (о четырех осях) культурно-историческом типе (теория Данилевского), мирясь с начав-

шимся голодным вымиранием народа и худосочием центральной России, рабством церкви, униженностью печати и, словом, всем, что шло авангардом впереди заключительного апофеоза китайской и потом японской войны, которая неожиданно сорвалась, как у Кречинского его брильянтовая булавка... "Свадьба Кречинского" есть наша историческая пьеса... Раннее, гневное, доблестное выступление против Данилевского и Страхова, которое я лично считал в ту пору нравственным падением Соловьева, на самом деле было полно гениального предчувствия будущих громов и провалов, было истинно орлиным заглядыванием за горизонт "текущих дел", в которые были погружены все мы, "писавшие, служившие и разговаривавшие". Но, повторяю, Соловьев это сделал как-то неуклюже и аморально, причинив бездну страдания ни в чем не повинным людям (полушубок) и едва ли достав скорпионами своего красноречия тех "вшей", которые умирают исключительно от персидского порошка, т. е. в переводе — от прекращения доходов, лишения жалованья и уменьшения милостей начальства, а никак не от "грома и молнии" патетической публицистики. Страхов был глубоко и "окончательно" разочарован в Соловьеве и на предложение мое и "наше" (семьи моей) сказал: "Ничего из этого (т. е. свиданья с Соловьевым) не выйдет". И он прибавил несколько жестких слов о Соловьеве, о его избалованности успехами в обществе и в печати, при которых человек не помнит простой правды. Но по мягкости согласился с ним свидеться. Соловьев и он обедали у меня; и тут уже Соловьев не обращал никакого внимания на хозяев, весь предавшись примирительному порыву своему и ходя около Страхова, как нянька около больного ребенка — больного раком — он знал!! Страхов отвечал тем любезно-равнодушным тоном, который связывает отношения в вялый узел, не держащий крепко людей. Не забуду, как в прихожей Соловьев одевал Страхова: именно как нянька ребенка и еще точнее — как сестра милосердия больного. Мне не пришлось на ум, что "вялый узел" отношений можно было затянуть крепче, еще и еще заставив их встретиться. Но и сам я жил уторопленно-смятенною жизнью в те дни, и Страхов так быстро подходил к могиле, что "укрепление дружбы", обычно рассчитываемое на долгую жизнь, ни перед одним из нас не встало даже вопросом.

* * *

Следующие телеграммы и письма все без дат, и я не могу восстановить года, когда они писались:

Христос Воскресе, дорогой, хотя слишком мнительный Василий Васильевич. Не был у вас только по трем причинам: 1) всегда имею больше работы, чем времени; 2) почти всегда хвораю; 3) ездил в деревню. Сегодня, несмотря на красивную лихорадку, еду в Москву.

Посылаю вам свое последнее издание.

В Москве пробуду не долго. Передайте, пожалуйста, мой сердечный привет и поздравление с праздником вашей супруге.

До свидания на Фоминой.

Душевно ваш Влад. Соловьев.

Следующее письмо и две телеграммы относятся к хлопотам, связанным с "Неделю" или "Русью", изданиями В. П. Гайдебурова (Гайдебуров II, малый, в противоположность большому — отцу, основателю "Недели"). Его теснил М. П. Соловьев, бывший главноуправляющим по делам печати, и никак не хотел разрешить ему, кажется, издания "Руси" или соглашался разрешить на каких-то драконовских условиях. Подробностей, о чем мы хлопотали, я уже не помню, но совершенно ярко помню следующее, что считаю положительно историческою чертою тех 90-х годов.

Сухой, высокий, строгий, юрисконсульт при канцелярии военного министерства, всю жизнь свою изучавший Данте и итальянское искусство, Соловьев вовсе не был "службист", не был чиновник, не мог быть, а может быть, и не мог бы быть государственным человеком. Во всяком случае, на литературу он смотрел "с высоты Данте и итальянцев" и почти ничего не уважал из "текущего", в то же время безмерно любя красоту слова, красоту вообще, искусство вообще. Так как пресса; т. е. в особенности газетный мир, пожалуй, является противоположным полюсом "спокойного искусства", — то он ничего в ней не ценил и в высшей степени был склонен трактовать ее и в идейном и в людском ее составе, как Сципион Африканский какие-нибудь полчища кельтиберов или нумидийцев. Он видел в ней только политическое значение, вернее, возможность политического значения и к этому последнему относился с крайнею враждою, будучи защитником сильной государственности приблизительно "по примёру Сципиона Африканского". Вообще ближе Сципиона Африканского, новее Данте — он ничего не понимал и был суший младенец, сердитый на вид и кротчайший в душе, — в отношении всех его окружавших явлений. Помню, еще служа в военном министерстве, он меня чрезвычайно сухо принял, когда я в одно из воскресений пришел осмотреть его знаменитые миниатюры (2 огромных тома рисунков гуашью) на Данте и на "Гимны Богородицы" — Петрарки. Но уже при следующем свидании мы говорили, как друзья. Редко кого и в то время, и в последующее, до самой его смерти, я так любил и уважал. Образ его, сухой, высокий, с жесткой щетинистой бородою, коротко подстриженною, с коротко остриженными волосами на голове, в бедном пиджаке, среди квартиры-музея, где всякая вещь, всякая подробность была кусочком, или напоминанием, или воспроизведением древности и искусства, — навсегда останется в моей душе каким-то "алтарем", куда я подходил с наслаждением, страхом (строгий хозяин) и веселостью. В беседе с ним все дышало культурою, образованием; сведения его по истории, по литературе были необозримы. Всю жизнь провел на этом!! Он был несравненно радикальнее и либеральнее меня, — сказав мне новое насмешливое, напр., об Александре I ("притворявшийся гуманист, который заставлял стоять перед собой в солдатском фронте даже родных братьев") и о Щедрина ("Ну, этот, бывало... Вот новая книжка "Отечественных Записок" — и, смотришь, целый угол какой-нибудь святыни-гадости старого уклада нашей жизни отвалился, как его и не бывало"). Щедрина я не любил, Александра же почитал: и всякий поймет, как ново мне было это слушать. Замечательно, что он совершенно не любил и не ценил К. Н. Леонтьева, византийца и старовера: Соловьев именно стоял на почве Сципиона Африканского и Данте, т. е.

Европы и просвещения, презирая, напр., все специально-русские суеверия и не чувствуя ни интереса, ни любопытства, напр., к нашему сектантству. Странная, обаятельная (для меня), жестокая и беспощадная "вообще для людей" натура.

Беспощадность его вытекала из совершенного презрения "к нынешним". Совершенно непредвиденно для себя и случайно (в министерство г. Горемыкина) он из тихих канцелярий военного министерства был выдвинут на пост главноуправляющего по делам печати и, дотоле вовсе не зная этого мира, вошел сюда спокойно, как бы сейчас положив кисточку с гуашью. Оглянулся. Какие-то ему непонятные люди, чинуши и "газетчики", которые вечно о чем-то хлопочут и чего-то добиваются, когда можно так спокойно прожить, лет 20 разрисовывая поля около терцинов "Divina Commedia". Я думаю, в душе его, младенчески чистой и прекрасной, пронеслось ужасно много насмешливого при виде "сих окружающих", насмешливого и гневного. "Посмотрим, как эти карасишки будут жариться". Во всяком случае, получилось буквально столпотворение вавилонское, буквально сумасшедший дом, а отчасти и адское пекло — от столкновения этого жесткого, неуступчивого мечтателя, может быть, фантазера, "государственника" и эстета, с миром суеты, грязи, страстей, самолюбий и в глубокой почве своей с миром страшной силы и страшного правосознания. Вот уж Мальштрем... в стакане воды нашей художничьей прессы. Из "шагов" этого государственного мужа я отмечу следующие: 1) как мне передал, всего недавно, один его друг, он при упоминании собеседником слова "жиды" поправлял неизменно: "Не говорите так — *жидишки*"; 2) и в то же время, разрешив г. Пропперу издавать второе дешевое издание "Биржевых Ведомостей", создал, можно сказать, либерально-еврейский "Свет" (популярная газета Комарова); 3) и все это, продолжая свято хранить образ великой русской государственности, византийских колоколов и культа Девы Марии. Каша!.. Вот такую "кашу" месил он и во всем. Не могу забыть сосредоточенной его серьезности, как бы "собранных воедино" всех внутренних сил, с какими он собрал "комиссию" в подведомственном ему учреждении, предложив ей заняться рассмотрением вопроса: "сколько букв нужно считать в нормальном печатном листе". Он открыл, видите ли, Америку: недостаточную ясность в законе, дающую возможность "ускользнуть гадам" и "жалить змеям". По закону без предварительной цензуры имели право выходить книги, содержавшие более 10-ти печатных листов: и выходили! Но листы ведь могут быть большие и малые, с 40 000 букв в каждом, и с 30 000, 20 000, 15 000 и пр. "Лазейка! воры!" Какой-нибудь радикал мог выпустить "Конька-Горбунка", набрав ее крупным шрифтом детских букварей, всего по 10 тысяч букв в листе, в объеме большем "десяти печатных листов", и тогда цензор не просмотрел бы произведения Ершова. "Караул! грабят!" — воскликнула цензура, догадавшись: а "догадку" эту, никому раньше не приходившую на ум, преподнес ей мудрый рисовальщик Данте, целый месяц по поводу этого ходивший угрюмее ночи. "Открыл, накрыл и вперед не будет. Государственная заслуга".

Этому-то Михаилу Петровичу пришла мысль или, точнее, настойчивое желание, совершенно бесцеремонно им и проведенное, — выбросить из литературы гг. Меньшикова, Дорошевича и (в менее настойчивой форме) Ник. Энгельгардта. О Дорошевиче мне передал изда-

тель-редактор "Одесского Листка" В. В. Навроцкий. Г-н Дорошевич поднялся и сразу стал быстро выделяться в каком-то "запойном" московском листке: как с его статьею номер — расхватывается на улице до последнего листка. Невроцкий, издатель удивительно чуткий, энергичный и предприимчивый, "чисто русский человек", едва ли не греческого происхождения (чрезвычайно темный брюнет), поставивший дозволенный ему "листок объявлений" (отсюда заглавие — "Одесский Листок") на степень первого южнорусского органа печати, пригласил к себе и г. Дорошевича. Известно, что такое провинциальная печать, и много ли надо было администрации "напряжений", чтобы задушить, и без прямого запрещения (что хлопотливо), газету. "Запретить розницу", "запретить печатание объявлений", "приостановить на 6 месяцев": и существовать невозможно. Газету не "запрещали", для чего по закону требовалось соглашение трех министров, а ей единолично: 1) не давали пить, 2) есть и 3) выгоняли на улицу, где она "отходила на тот свет" в судорогах и конвульсиях, причем министерство внутр. дел благочестиво читало "requiem". "Я бдительно охраняло, но умерший сам умер, не захотев жить". Знаков насилия на теле не обнаружилось, и протокол был чист. В. В. Навроцкий беспокожно приехал в Петербург вследствие желания главноуправляющего по делам печати с ним "поговорить". А "разговор" состоял в том, что если Навроцкий уберет из газеты г. Дорошевича, то газета будет жить, а если не уберет, то, "пожалуй, умрет". В. В. Навроцкий просил меня (я у него недолго сотрудничал) съездить к местному (одесскому) цензору, тоже вызванному в Петербург "для инструкций" или "по делам". С изумлением я увидел чиновника до того молодого, что он мне показался мальчиком. "Боже, и он нас всех цензурирует! Но ведь он ничего, кроме Дюма-fils, не читал". Но чиновничек, кроме Дюма-fils, оказался человечком сухоньким, аккуратненьким, к делу внимательным, с собеседником любезным и приехал по сложной цели: во-первых, — для "инструкций", а во-вторых, — потому, что ему мог выйти и мог не выйти к Пасхе "следующий орден". В подробностях я, вероятно, путаю, — но общий итог подробностей давал это точное впечатление. — "Да за что, собственно, Мих. Петр. (Соловьев) ненавидит Дорошевича? — спросил я. — Почему он его гонит из печати?!" Цензор пожал плечами: "Он его не гонит; но он спрашивает: какой Дорошевич писатель? Все его остроумие состоит из грубейшего шаржа Гоголя, и что у него через четыре строки в пятой непременно торчит гоголевское словцо, которое и придает смысл, сок и румянец этим пяти строкам. Выньте это гоголевское словцо — и пять этих строк умрут. Умрет вся страница без 5—10 гоголевских словечек. Умер, или даже, точнее, — и не рождался, весь и Дорошевич, если из него вытащить Гоголя. Мих. Петр. и спрашивает: что же это за писатель? Это пошлость, а не писатель. Это вымазанный дегтем Гоголь, который все пачкает, к чему ни прикоснется". Опять я не буквально помню слова, но смысл их был именно этот: главноуправляющий по делам печати, приводя в движение все силы российского государства, решил "выбросить из литературы" г. Дорошевича не по определенной вине его, не потому, чтобы считал его вредным, а просто потому, что он... ему не нравился, художественно не нравился, как читателю, как домоседу, отцу своего семейства и мужу своей жены!! Вот и плоды

"занятия Дантом" в русской администрации. Мы в истории нашей до того привыкли или приучены к насилию, что вопрос собственно о нем никогда нам не представляется тяжелым вопросом, а есть недоумение только о том: надлежащее ли горло попало под стальные пальцы. Человек, с трупом в руках, обеспокоен только тем: брюнет он или блондин? Брюнет — "туда и дорога"; блондин — "мог бы жить; виноват, ошибся". Вторым *bête poïge*¹ Мих. Петр. был главный сотрудник "Недели", писавший ежемесячно в ней голубым по розовому и розовым — по голубому. "Все люди невинны, и, если бы не дурная погода, — был бы рай. Но как погода дурная, то надо открыть форточку" или "не надо открывать форточки", в одной книжке то — "открывать", в другой — "не открывать", но вообще "человек" и "форточка" и "все мы невинны". Он не обнаруживал того ума, энергии и знаний, какие в нем есть теперь, и едва ли не был искусственно младенцем в преднамеренно-младенческом журнале, рассчитанном на сельских учителей, титулярных советников и не вышедших замуж девиц: читатель впечатлительный и самый обильный. Мих. Петр. с той строгостью много повидавшего и испытывавшего человека, к тому же опять преданного Данту, о котором и Пушкин сказал:

Суровый Дант не презирал сонета,

и проч., еще более, чем г. Дорошевича, возненавидел г. Меньшикова и решил его "изъять из литературы" всеми способами и до последней строки и окончательного издыхания. Тут я должен вписать черную страницу в собственный формуляр: каким образом я, будучи другом (почти) Михаилу Петровичу, любя и уважая его, кажется, имея на него по крайней мере идейное, по крайней мере дружелюбное, "свое домашнее" влияние, не только не рассорился с ним или "крупно не поговорил" по поводу этих явно бесчеловечных и граждански-бессовестных деяний и намерений, но и ничего при зрелище их не почувствовал!! Вот это проклятое русское равнодушие, в котором и я так виновен, — в сущности есть настоящий родник всех "трупов" в нашей жизни, злодейств и преступлений: что много из соседей не кричит караул, не выбегает "из своей хаты" и, словом, что у нас есть какое-то пошлое (или святое?) скопище частных людей и вовсе нет гражданства, общества. С Михаилом Петровичем, я помню, говорил не только "крупно", но ядовито, злобно и господственно, когда дело касалось других тем, напр.: устройства семьи, развода и проч. Помню, как в белую петербургскую ночь, часу в 4-м утра, он встал с кресла, когда под самый конец сложного разговора о венчании я ему сказал: "Или это — не таинство, и тогда зачем оно? Как смеет государство придавать ему сакраментальную важность? А если оно есть таинство и это твердо в вероучении, то вся наша церковь повинна в симонии, так как ведь деньги, в строго выговоренной перед венчанием сумме, все священники берут, и это от митрополита до дьячка все знают". Тревожно он сказал: "Это только обычай!!" — "Обычай или необычай, но как церковь учит именно так и от ее взгляда на сакраментальность единственно венчания множеством

¹страшилищем (*фр.*).

девушек и детей пошло с камнем на шее в воду, то уж позвольте и мне печатно размазать об этой симонии церкви, с которою на шее она также печально пойдет в воду, как безмолвные и растерянные девушки, при виде которых ни один батюшка не расплакался". А Соловьев, — нужно заметить, — церковь "почитал" еще больше, чем государство. Но отчего вот так же и с более яркими аргументами, потому что дело было еще очевиднее, я не говорил ему, что, как частный человек, он может ненавидеть таких-то и таких-то писателей, но государство дало ему власть не для проведения личных вкусов, а для охранения своих государственных интересов и соблюдения пользы и, смею думать, удовольствий (литература, чтение) мирных обывателей? Так все ясно было! Невероятно, чтобы он не опомнился при кристальной чистоте души своей; чтобы по крайней мере не задумался, не стал менее решителен. Хотя как-то он никогда не "задумывался", а все — "решал", всегда только "шел". Думал он о Данте, а в делах — "указывал", "решал" и "подписывал". Таково было впечатление. Конечно, меня ли он не послушал: но гражданский долг обязывал разорвать с человеком, который "на большой дороге режет", а я с ним пил чай. И что поразительно: теперь я вот это пишу, но тогда самая мысль о протесте мне не приходила в голову, и равнодушным знанием я знал: "глупо! просто — чепуха! со стороны — смешно; а он, бедный, так уверен. И ведь не имеет никакого права". Что он не имеет права так поступать, — это я сознавал и тогда. Но он был кристально чист, я его искренно любил и уважал. И просто с ним "пил чай", не возмущаясь, не негодуя. Все мы — слишком частные люди, до бедствия — частные. Идиллия? "рай?" болота, вертеп? Все есть в "матушке-Руси", на все "матушка-Русь" похожа.

Гайдебуров (В. П.), редактор-издатель или, кажется, полуредатор, полужиздатель (в этом все дело: тут вмешались права других сонаследников отца-Гайдебурова, основателя "Недели"), решил обзавестись собственным, личным, другим органом и для этого у кого-то купил или сам основал еженедельную "Русь", и как здесь, в правах основателя, или открытия, или ведения; он зависел от главного управления по делам печати, то Мих. Петр. Соловьев и решил "понажать его", чтобы он в ежемесечных "Книжках Недели" расстался с г. Меньшиковым и еще (не в столь настойчивой форме) Ник. Энгельгардтом. "Или слушайся, или не живи". Гайдебуров был поверхностно дружен (на "ты") с Вл. Соловьевым, которого за монашеский склад души, "девственно-дантовский", глубоко, с угрюмым лбом, чтит Мих. Петр. Соловьев, хотя последние годы и недолго любил его публицистики. Но как личность, как ученого, как философа, вне сотрудничества в "Вестн. Евр.", — Мих. Петр. стоял к Вл. Соловьеву в положении ученика, удивляющегося на учителя, считая его феноменом нашей литературы и жизни, человеком "старого", "исторического закала", и, словом, —

Суровый Дант не презирал сонета —

звучало в отношениях, точнее, во взглядах строгого государственника "школы Каткова" к пылкому мистика. Соловьев, прежде чем просить Мих. Петр. (за Гайдебурова), решил захватить и меня, вероятно пред-

полагая по моим любящим о нем отзываю, что и обратно я могу на его повлиять. Об этой именно поездке говорят следующая его записка и две телеграммы:

Дорогой Василий Васильевич.

Списался с Мих. Петр. — и результат: сегодня, 8 ч. веч. (не позже), вы должны находиться у меня в "Англии"¹ для дальнейшего совместного следования к вышеозначенному подсановнику. Так как я обедаю не дома, то если, паче чаяния, опоздаю на несколько минут, подождите меня в читальной, распорядившись, чтобы меня об этом швейцар уведомил при входе моем. Статью вашу передал Гайдебурову. Прилагая забытую вами у меня перчатку².

До вечера.

Ваш Вл. Соловьев

Лучше, если прибудете в 7 ³/₄, — постараюсь не опоздать.

Циркуляр действительно существует. Советую обратиться к Суворину. Рассказать положение и взять под будущие статьи. Завтра письмом. На днях побываю. Придумаем что-нибудь.

Соловьев

Завтра пятницу, десятом часу вечера, буду у вас.

Соловьев

Из всех хлопот наших, как и следовало ожидать, ничего не вышло. По-видимому, весь материальный мир, в том числе и государственности, есть мир каких-то надавливаний и ослаблений, нажимов и отжимов, где можно *принуждать* и решительно ничего нельзя выпросить. По крайней мере, я совершенно не помню случая, чтобы какое-нибудь мое ходатайство, просьба, нужда о себе или о ком-нибудь были в сфере "службы" и вообще деловых отношений когда-либо удовлетворены. Так что я так и считал, и считаю эту "государственность" каким-то адским местом, "гиенной огненной", где люди предназначены вечно "гореть" и страдать, пока не зальют или не согласятся залить весь этот очаг зла, где ничего, кроме "скрежета зубовного", не раздавалось никогда и никогда не будет услышано.

Следующее его письмо относится к статье моей: "Поздние фазы славянофильства. Н. Я. Данилевский и К. Н. Леонтьев". Первый отдел статьи, о Данилевском, не встретил никакого затруднения при печати; напротив, вторая его глава, о Леонтьеве, была отклонена по полному незнакомству и публики, и литераторов с этим замечательнейшим из русских мыслителей и стилистов и была лишь много лет спустя напечатана в литературных приложениях к "Торгово-Промышленной Газете", редактор-издатель которой Мих. Мих. Федоров хотя и был чиновником министерства финансов, однако оказался человеком гораздо более чутким и одаренным литературным вкусом, нежели литераторы ех professo:

¹ Hotel d'Angleterre, на углу Исаакиевской площади и Малой Морской улицы, где постоянно жил Вл. Соловьев. В. Р-в.

² Никогда в жизни не носил перчаток. Ошибка. В. Р-в.

Дорогой Василий Васильевич.

Посылайте свою статью о Леонтьеве в редакцию "Московских Вед.". Цертелев предуведомлен и согласен. С Ухтомским вожусь, но еще ничего не определилось.

Ни теократии, ни оттисков еще не мог добыть.

И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.

Ваш Влад. Соловьев

По приписке слов из Молитвы Господней, вне всякого отношения к теме записки, видно, до чего Влад. С-в, как сказано в Библии об Енохе, "вечно ходил перед Богом". У него это было "постоянно на уме", — как (позволю отрицательные сравнения) у вора воровство, у картежника карты, у ловеласа женщины: но в каком обратном и исключительном и редком направлении!! "Было на уме" с этою же неодолимостью страсти, врожденной слабости и, словом, вне распоряжения личности и благоразумия. Отсюда-то и вытекло все значение С-ва: можно отрицать все его труды *в их подробностях* (как я, лично, недалеко от такого отрицания, по особым и длинным мотивам, которые объяснять здесь не место); но *самую личность его отвергнуть* — невозможно, как несколько эта личность не умалится, не сократится, как бы ни поколебались все эти подробности его трудов. Мне не кажутся его силы (кроме умственных, ученых) громадными: но в этих небольших размерах или, точнее, в этом рыхлом и пухлом объеме его существа была, однако, заткана некрепкими нитями настоящая структура пророка, пророческого духа, даже настоящей небесной пророческой миссии. От этого биография его, весь характер жизни и "жития" и, словом, весь духовный и литературный "портрет" его нимало не походит на другие портреты в нашей общественности и словесности, науке и философии; не сливается ни с которым, стоит одиноко. Именно пророк, хотя в слабом очерке... с придачею этой несчастной пухлости и вздутости, которая так загущевывала благородное существо дела и так многих и не беспричинно заставляла смеяться над его "пророческой ролью". Но нужно было уловлять внутренний нерв, — и тогда лица в отношении его стали бы серьезнее. В пору ту, совсем иную, чем как я сознаю себя теперь, и мне приходили на ум мысли "в этом роде" — и мысленно сам себе я казался иногда валамовою ослицею, произносящею какие-то не свои, наваянные и нагнетенные "Бог весть — откуда" слова. Словом, самое то время, середина или конец девяностых годов, было как-то приподнято, одушевлено, совершалось страшное психологическое борение внутри общества, и это отражалось конвульсивностью на многих душах, к которым, кажется, принадлежал и я. Написав ему какую-то деловую записочку, я приписал в конце ее слова, которые до того мне самому показались странными, что я (чего никогда не делал) записал их и затем перенес на поля ответного его письма: "Братья мы истинные по духу: ибо закричали о чудесах, когда мир их исключил; убоялись Антихриста, когда мир не боится и Христа, и стали вопиять по стогнам и торжищам... Грехом и горестью воспитал нас Бог в таинственных предначертаниях, упоил гневом и нежностью, и мы *пойдем и не утомимся, полетим и не устанем*". Последние подчеркнутые слова — цитата откуда-то, понравившаяся мне еще с университетской жизни и вычитанная, помнится

(тоже как цитата без указания источника), в "Критическом Обозрении", профессорском журнале 1881—1882 гг. — Соловьев ответил мне:

Дорогой мой Василий Васильевич.

Не только я верю, что мы братья по духу, но и нахожу оправдание этой веры — в словах Вашей надписи относительно Царствия Божия. Кто одинаково знает по опыту и одинаково понимает и оценивает эти знаки, залогов или предварения Царствия Божия, — те, конечно, братья по духу, и ничто не сможет разделить их.

Книга Ваша будет для меня теперь желанной пищей, — как следует я ее еще не читал. — К исполнению поручений Ваших приступил. О результатах передам лично. Статья о Г-те очень интересна; жаль, что ее неудобно напечатать.

Будьте здоровы, голубчик.

Ваш искренно Влад. Соловьев.

К сожалению, тона этого, так горячо и интимно задевшего нас обоих, никогда я не возобновил. Почему? Просто непонятно! Я думаю — суета, мелочи жизни. Очевидно, здесь вскрывался мостик в самую глубь его души, и я имел от нее ключ, и не вошел, и не посмотрел. Страшная потеря в смысле *видения, опыта, возможного научения*. Но я не писал бы этих воспоминаний и не печатал бы этих, в сущности не имеющих содержания, записочек, если бы не это его письмо и не это вообще секундное прикосновение такими глубокими "днищами" души. Года на письме опять нет, и я думаю, оно относится к 96-му или 97-му годам.

Затем, вероятно, много времени спустя, произошел инцидент со Шперком, о котором я рассказал выше. Книгу "Оправдание добра" Соловьев мне прислал в контроль с секретарем своим — при очень трогательной надписи. Мы были вполне дружелюбны. Потом при личной встрече он прислал меня прочесть в ней VII главу, еще которую-то и "Введение". Но я ничего не прочел — от суеты и мелких хлопот, как мне тогда казалось, но, как теперь объясняю и даже ясно вижу, — от неодолимого и все сильнее в меня внедрявшегося отвращения к чтению книг. Причина такого дикого и постыдного явления не может заключаться не в чем ином, как в преждевременном раннем чтении (лет с 10-ти), притом совершенно запойном, без оставления себе какого-либо досуга, в воскресенье, на вакации летом, сейчас же утром встав и ночью. От постоянного чтения родные меня называли "книжным червем", т. е. что я ползаю и лежу в книге и что вне книги (чтения) — меня просто нет. Так продолжалось лет 25—30, пока струна не лопнула или, точнее, не начала медленно перетираться; и именно к самому нужному времени (начало старости) у меня вовсе утратилась способность чтения, кроме разве таких совершенно новых и оригинальных книг, как, напр. "Талмуд" или "Кабала" (если бы попалась). Да еще страницы Библии я люблю перечитывать. Но даже журнальную или газетную *о себе* статью я прочитываю с трудом, не всегда сразу по получении, а иногда на другой или третий день, и не всегда дочитываю. Соловьев, видя, что я совсем ничего не читаю из его книги, даже "Введения", естественно, мог почувствовать себя оскорбленным (как и я бы себя почувствовал). Отсюда — предположение, что я мог сколько-нибудь быть солидарен со Шперком,

о дружбе и "слабости" моей к которому он знал: но этой солидарности не было, хотя Шперк имел на меня какое-то такое особенное действие, что я *не имел сил* и негодовать на него, как был бы должен, обязан. Книгу "Оправдание добра" Шперк взял у меня "просмотреть", и я не думал, что он будет о ней писать рецензию. В сущности, происхождение этой рецензии самое простое и пошловатое: 1) Шперк уже "просматривал" книгу, т. е. материал для рецензии и след. — для заработка (он, с женою и детьми, страшно нуждался в нем) был готов ("чем читать и покупать другую книгу"); 2) Соловьева он не любил и не очень уважал, считая его "эстетическим, а не этическим явлением", лицом (см. выше), и 3) имел "зуб" на него (как и на меня) за то, что мы оба не читали (впрочем, Соловьев читал) и особенно что мы ничего не писали о его великих, изумительных брошюрах, где он превзошел Канта, опроверг германскую философию, открыл великие глубины русского духа и, в сущности, где (в поэтико-моральной части) он только перепевал напевы Ницше (года за два до того, как о нем пошла молва в русской литературе, но Шперк "открыл" Ницше действительно сам и самостоятельно). Нисколько он и не скрывал, что будет на нас всех (и на меня) за это молчание нападать и нас пересмеивать. У него это имело обаяние открытости, борьбы: "Я теперь нищ, и вы не подаете мне копейки; когда я буду богач — я брошу вам камень". В нем была обаятельность начинающего разбойника, и ведь эта обаятельность есть, она бывает? По крайней мере у меня руки опустились перед нею. Вот два письма Соловьева, написанные на другой и третий день после появления рецензии, которая мучительно задела его и по талантливости имела силу задеть:

Дорогой Василий Васильевич.

В силу евангельской заповеди (Мтф. V, 44) чувствую потребность поблагодарить вас за ваше участие в наглom и довольно коварном нападении на мою книгу в сегодняшнем "Нов. Вр." (приложение). Так как это маленькое, но довольно острое происшествие не вызвало во мне враждебных чувств к вам, то я заключаю, что они вырваны с корнем и что мое дружеское расположение к вам не нуждается в дальнейших испытаниях. Спешу написать вам об этом, чтобы избавить вас от каких-нибудь душевных затруднений при возможных случайных встречах.

Считайте, что ничего не произошло и что мы можем относиться друг к другу так же, как в наше последнее прощание на Литейном.

Что касается до Шперка, то, ввиду его молодости, я еще не решил вопроса, что педагогичнее: полная невозмутимость или нравственное негодование?

Будьте здоровы.

Искренно вас любящий Влад. Соловьев.

Письмо это не оставляло сомнений, что Влад. Соловьев действительно предположил, что я, будучи прямо *дружелюбен* с ним, одновременно за спиною его делаю такие махинации. Прямо я пришел в ужас от этой идеи и, сообразив, до чего было больно ему почувствовать вокруг себя такой обман, — написал ему горячее письмо, что ничего подобного, конечно, не было и не только я, но вся моя семья разразилась негодованием на Шперка, изумляясь непостижимой и неожиданной его выходке (он если и грозил походом на нас, то — отдаленно). Письмо мое

рассеяло его подозрение, и он ответил мне следующим — последним, какое у меня имеется:

Дорогой Василий Васильевич.

Слово "участие" относилось к тому факту, о котором я узнал от вас самих, именно что вы (зная Шперка и его отношение ко мне) дали ему мою книгу для каких-то его надобностей, прежде чем сами ее прочли. *Эту несомненную обиду* я решил вчера предать забвению, а если вы это приняли за подозрение вас *в прямом уговоре* со Шперком против меня, то даю вам слово, что такого подозрения я не имел и не имею, и прошу у вас извинения, что невольно — вероятно, неясностью своего письма — ввел вас в эту ошибку и причинил вам огорчение.

Я решительно не желаю менять своих отношений к вам, и, следовательно, — все дальнейшее вполне зависит от вас одного.

Искренно вас любящий Влад. Соловьев.

Точно сказать, что это — именно последнее письмо, я не могу: по всему вероятно, порядок недатированных писем мною перепутан. Он был слишком устал, и я был слишком измучен очень тяжелою в то время для меня жизнью, чтобы мы имели *энергию* вглядываться друг в друга. Его странствующая жизнь, его бесприютность не нравились мне, почти отталкивали меня. В *трагическую* сторону этого я тогда не проникал. Мне он казался более суетным, чем был, более "литературным", "журнальным", без пророчесственной и священнической искры, которая в нем именно была, и была огромна: но я ее не видел, иначе как на секунду и сейчас же усомнившись. На этом именно моем непонимании был основан последовавший затем разрыв, вызванный моею о нем насмешливою статьею по поводу его "Судьбы Пушкина". "О вкусах не спорят" — и под защитой этой древней аксиомы я скажу тот простой факт, что к печатным его произведениям я не имел вкуса, кроме стихов, которыми зачитывался и тогда, и теперь. Склад его ума (на мой *вкус*, очень может быть, — неверный) и в связи с этим стиль его письма, весь дух его статей, — все, все в них казалось мне непозитичным, нечарующим, только умным или ученым и, словом, без магии в себе. А по начинающейся усталости и старости я и тогда оставлял к чтению только вещи "с магией". Такими мне кажутся его стихи. Таким мне казалось всегда и все у Конст. Леонтьева (автор сборника "Восток, Россия и славянство"). Находя подобное, я, как ястреб в воздухе, становил боком голову и следил в лазури небесной орла — и любовался, и любил, и наслаждался. В последнем анализе — ведь мы все делаем *для наслаждения*, даже — умираем за правду. Из этого волшебного утилитарного или эвдемонического круга не выходит и не имеет силы выйти даже и терновый венец. Так и чтения. Так и литературные увлечения. "Не нравится" — это сильнее всякой причины и, в сущности, не нуждается в оправданиях, как и не может быть ничем подкреплено.

Фатальное и краткое это впечатление, в сущности, и легло между нами. Но хуже было и совершенно непростительно, что я за этою мне не нравившеюся ("без магии") литературою не почувствовал *вкуса* и к самому его лицу, что было уже прямою и очевидною ошибкою, ибо в лице его, несомненно, была "магия", это "особенное и неясное, чарующее",

к чему можно безумно привязываться. Но оно было самым им глубоко скрыто от мира, "застенчиво" спрятано. Кстати, VII главу его "Оправдания добра" я все же перелистал после его смерти и увидел, что там написано. Мне и раньше о ней говорили (юристы), что "это — совершенная новость в европейской литературе". Не могу цитировать, но скажу только, что там идет дело о "происхождении, генезисе и первой исходной точке нравственного в человеке и в человечестве чувства". Таким исходным пунктом, так сказать, начальной точкою, где впервые "зашевелилась и обнаружилась" эта стихия человеческой природы, — есть *стыд*, и именно — *половой стыд*. "Половая застенчивость" есть, таким образом, великое "А", с которого и началась вся последующая лестница нравственных добродетелей и нравственного развития; а самый *пол*, то, что ранее всего закрыл у себя человек, чего он первого застыдил, есть "А" реально-худых, аморальных в мире вещей. Без цитат все это тускло, но в цитатах читатель бы увидел, до чего все это движется "тяжелою артиллериею". Об этом-то именно пункте юристы мне и говорили, что это "новое слово в европейской этике", — и говорили профессор университета. Бедный Соловьев, который от мира скрывал и свою "магию", хороня ее как дар между собою и Небом. Завтракать — он завтракал и в ресторанах, с "друзьями". Говорил о всех темах открыто, громко. Но вот, что в нем есть "дар пророчества", ну хоть какой-нибудь, — это сокровище своего сердца, величайшую радость жизни своей, свое утешение, свою гордость — только однажды он высказал (см. выше) в письме ко мне; высказал — и замолчал, и не "размазывал". Можно ли было бы представить себе, что, войдя на парадный обед, где, однако, собрались все его друзья и "почитатели", он, садясь, сказал развязно, громко и отчетливо: "Господа, вы знаете? Я — пророк, во мне есть что-то жреческое и пророческое". "Умер бы от стыда" — если бы сказал. "Зарделся бы от стыда" — если бы кто-нибудь об этом, в приветственном тосте, но тоже во всеулышание, сказал ему и вместе всем гостям. А "наедине, в укрытости, в частном письме" — сказал бы. Это — застенчивость, *стыдливость*, а — не *стыд*: явления не только не тождественные, но противоположные, как черное и белое, как добро и зло, как день и ночь, как земля и небо!! Такова и застенчивость полова, в силу которой мы закрываем весь этот *интимный и глубочайший* мир в себе; закрываем, но не отрицаем, что он *есть*, и никто решительно не скрывает, — ни Адам, ни мы сейчас, — что он *проявляется, действует, не мертв*. Разве мы скрываем, что у нас есть *дети*: целомудреннейшие "святые" женщины с гордостью показывают вереницу малюток, "своих" малюток, и показывают их тем, кто нисколько не наивен и знает способ их происхождения. Как и Соловьев "книжку стихотворений" своих дарит, а вот, садясь написать новое, — *запирался, бывало, на ключ*. И если бы кто-нибудь постучал в дверь, ответил бы или сказал бы вошедшему гостю, особенно *чуждому и постороннему*: "Да — был занят", "писал *статью для журнала*" (мир суеты, поверхностное); но ни за что бы не сказал: "Был во *вдохновении! писал стихотворение*". Отчего? Слишком хорошо и — *священно*. Похоже на алтарь, на храм, а не на базар. Разве бы другу, самому *близкому*, и только *окончив стихотворение*, он сказал: "Садись и выслушай" или: "Вот, прочти"?.. Да, другу, близкому,

"кусочку души своей". Это — мир *интимного*, неразрываемого, цельного, "своего я". Так и пол — не несется на базар, ибо он *по существу своему есть не базарное явление*: отчего нас так и поражает, так заставляет гнушаться собою проституция, как *глубочайшее извращение вещей* и как *обазарнение* святых, интимных и дорогих частиц, нашего "я". А думают: "оттого, что это — разврат", что "это *по существу* такая вещь, которая все пачкает и даже запачкало наш рынок", где биржа, плутовство и грабеж. Не запачкало, а *запачкалось* около рынка, грязи, суеты, обмана, денег: запачкалось то, что *всегда должно быть чисто*, свято, уединенно, сокровенно, иметь окружением себе, крыльцом около себя такое "святое" явление, как семья, как муж и дети, родные и родство!! Таким образом, Соловьева, да и не его одного, а тысячи людей, ввела в философский и этический обман самая шаблонная терминология ("проститутки *грязнят* рынок") и необдуманно составленные слова ("стыд пола" вм. "застенчивость пола"), вообще — филология. И он *тайну* принял за *преступление*!! Стихи его, стихи и все стихотворное творчество, "стыдливые", "застенчивое", "при запертых дверях", — вот что пусть опрокинет эту VII главу его "Оправдания добра", о которой я бесконечно сожалею, что не прочел ее сейчас же по получении книги: ибо до того очевидны и вместе так метафизически важны простые истины, ее опровергающие. "*Покров Изиды*", "*Таинства Изиды и Озириса*", "*Элевзинские таинства*"... сколько прозорный в историю он мог бы сделать, если бы не написал или вовремя отказался от этой VII главы. Он увидел бы, что с этого "самого интимного и дорогого человеку" и началась вообще религия, религиозное в человеке, а не пороки и преступления, которые скорее начались "с базара" и "на базаре" — и становятся всего омерзительнее, когда "и самое святое выносятся на базар".

Не могу не обратить этих слов в особенности к вниманию молодой и прекрасной (если не обманет) надежды нашей литературы, сына его покойного брата Мих. Серг. Соловьева — Серг. Мих. Соловьева. Он очень, по-видимому, размышлял над этими темами; ему — долго жить, много писать. Тема эта — великая, необъятная. В ней можно совершенно запутаться, войдя не в ту дверь. И мне хочется указать ему настоящую. Все изложенное мною о VII главе моральной философии его дяди и есть ответ, который мне тогда же хотелось, но я не мог дать на некоторые резкие, но полные непонимания его упреки в отношении меня, помещенные в письме-статье о любви и поле в "Вопросах Жизни" за 1905 год. "*Покрывала Изиды не надо открывать*", т. е. подымать его перед *миром*, показывать, делать находящееся под ним базарным: не надо, ибо тогда тотчас "*Изида и божество*" превратилась бы в ничто, персть, может быть, — гниль, зловоние. Ей-ей, молитвы и не было бы, начни ее выбивать на барабане; но *самому и уединенно, ночью, крадучись*, можно и нужно "*войти под покров Изиды*", "*чтобы научиться всякой мудрости*". И на завтра сказать, что ничего не было и нигде не был. Так именно хорошо был затаен Нафанаил, "*которого никто не видел*" — кроме Христа...

Экономический и социальный вопрос у Достоевского (К 25-летию его кончины)

I

Обычай и привычка "юбилеев" не так смешна и не нужна, как об этом писал когда-то Катков. Великий московский публицист мог бы припомнить, что "юбилеи" установлены еще ветхозаветным Иеговою: Тем "творцом мира", который определил и определял только нужные столпы созданного Им миропорядка. В самом деле, дни 10-го, 25-го, 50-го, 100-го года — это всего только четыре дня в столетии: и во что можно оценить привычку или закон, по которому вся страна и разом оглянется на какое-нибудь одно важное событие в прошлом или на единое великое лицо своей истории, припомнит его, подумает о нем. Здесь содержится не только память прошлого, но нечто гораздо большее. Нация или страна сливается, вспоминая об этом одном как о "своем" и "общем". Но и затем, через 25, 50 и 100 лет она непременно подумает: как же она воспользовалась, во что употребила это лицо или событие, что сделала с ним в смысле продолжения, как поняла его. Это большие, многомилые столбы общественного движения: и последнему нужны эти оглядывания, чтобы знать, много ли оно прошло, и чтобы иметь бодрость идти далее. Без "верстовых столбов" идти и ехать скучно; это всеми замечено. Поэтому они и ставятся. Как же бы Бог не указал человеку: "ставьте эти столбы в своем пути-истории".

Удивительно, до чего до сих пор жив и ярок Достоевский. Споры в его романах, разные философские и религиозные темы, там поднятые, странные персонажи его произведений, от Макара Девушкина в "Бедных людях" до семьи Карамазовых, даже вводные третьестепенные лица там, вроде следователя Порфирия и студента Разумихина в "Преступлении и наказании", — все держится в памяти с такою свежестью красок и индивидуализмом выражения, как бы эти произведения мы читали прошлым месяцем и не остыли еще горячие споры, возбужденные ими. Даже этюды "Войны и мира" и "Анны Карениной" не помнятся так ярко, а Достоевский 25 лет уже умер! Между тем, был ли человек в нашей литературе, который до такой степени и без остатка бросал бы сердце свое в самое "пекло дня". Минуте своего года и даже вот этого месяца он отдавался весь: помните его рассуждения о "мнении легионов" по поводу заговора бонапартистов, о Пии IX и Бисмарке, о судебных процессах в петербургском окружном суде. Точно репортер, несущий читателю "последние известия". Да, но для репортера и "эти" и "не эти" известия все суть равно внешние и нешумные. Великая странность и сила Достоевского заключалась в том, что он, например, вот "в последнем деле в окружном суде" усматривал самую "душу мира" (любимое понятие Соловьева), нащупывал пульс мировых течений, всегда психи-

ко-метафизических, и таким жадным глазом всматривался в "мелочи времени", что все дошло целиком до нас, и "потроха" тех 77—81 года, и освещение, им данное. И вот "служитель минуты" сделался или обещает сделаться учителем веков. Вспомнишь вечное Спасителево слово: "И кто бережет душу свою, — потеряет ее; а кто потеряет, — сбережет ее". Один есть секрет вечности и любви потомков: отдать современникам все, до нищеты, до голизны, ничего не сберегая "для себя", "своей славы" и "своего имени". И уж такого безыменного Лазаря похоронит Господь, т. е. и даст ему могилку, и уберет ее, покрыв забвением самолюбивые мавзолеи людей, которые всю жизнь строят себе "будущую память". Ну, кому нужны теперь 10 томов in quarto правильных поэм и трагедий, написанных в подражание и параллель Виргилию и Корнелию "тайным советником Херасковым".

Мне хочется остановиться из всей необозримой панорамы, охватываемой словом "Достоевский", остановиться на этой одной черте его — ежедневности. И хочется, чтобы слова мои о "вечности", проистекшей из "ежедневности", были убедительны. В 1877 году появилась "Анна Каренина": тут и царскосельские скачки, и знаменитая сердечная драма героини, вопрос о семье и детях, религии и Боге. Но Достоевский остановился не на этих чертах, занявших все общество. В февральском номере "Дневника писателя" он цитирует место, которое с особенным замираньем сердца будет прочитано сейчас в Москве, 28 января 1906 года, через 29 лет:

— Но всякое приобретение, не соответственное положенному труду, — не честно, — говорит Левин.

— Да кто же определит соответствие? — возразил Облонский. — Ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалованья больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, — это бесчестно?

Помещики разговаривают ночью, лежа на сеновале, у крестьянина, во время охоты.

— Ну, так я тебе скажу. То, что ты получишь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, пять тысяч, а этот мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника...

.....
— Нет, позволь, — продолжает Левин. — Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысяч, а мужик пятьдесят рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего имени, — сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина...

— Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует, и если б я хотел, то мне нельзя отдать... и некому.

— Отдай этому мужику, он не откажется.

— Да, но как же я ему отдам? Поеду с ним и совершу купчую?

— Я не знаю. Но если ты убежден, что ты не имеешь права...

— Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдавать, что у меня есть обязанности и к земле, и к семье.

— Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так?..

— Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличивать ту разницу положения, которая существует между мною и им.

— Нет, уж извини, это парадокс... Так-то, мой друг. Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием (курсив здесь и ниже Достоевского).

— Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, — по крайней мере, я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват.

Не правда ли, слова эти с биением сердца прочтутся всеми москвичами, ибо в журналистике 1905 года не было ничего сказано столь глубокого и вместе столь отвечающего на тему истекшего года, как эти, 29 лет назад сказанные, слова! О, если бы в эти 29 лет русское общество, русская администрация, русское законодательство и, словом, "русский смысл" и "русская душа" поработали над этими словами: бы нас врасплох и растерянными события этого года, да и самых событий, наверное, не было бы в их черных и скорбных и кровавых чертах, а все, подготовившись и совершаясь медленно, расплылось бы в белые и голубые тоны.

Приведя разговор, Достоевский замечает, что "лет 40 назад все эти мысли и в Европе-то едва начинались, а у нас о них знали понаслышке лишь полсотни людей в целой России. И вдруг теперь толкуют об этих вопросах помещики на охоте, на ночлеге в крестьянской риге, и толкуют характернейшим и компетентнейшим образом, так что, по крайней мере, отрицательная сторона вопроса уже решена и подписана ими бесповоротно". Нельзя не заметить, что гр. Толстой, никогда не подходя к экономическому вопросу вплотную, не отдаваясь ему всецело и безраздельно, однако, в каждом своем произведении побочным образом тревожил, бередил его. Это было уже в "Войне и мире", в небольшом диалоге, полном взаимных недоразумений между княжною Марией Болконскою и толпою мужиков, вошедших при вторжении Наполеона к своей барыне и барышне заявить притязания на помещичьи земли. Толстого каждый читал, все круги общества, и его литературная деятельность сделала то, что экономические, и в частности земельные, вопросы вошли в обиход умственной жизни России с такой же простотой, ясностью и вместе неотложностью, как, например, споры о "классицизме и романтизме" в 20-х годах XIX в. или о реальном и идеальном искусстве в 50-е и 60-е. Достоевский и удивляется в разборе, что об этом спорят не профессора университета, не специалисты по политической экономии, а дворяне, почти богачи и члены Английского клуба, "и так компетентно, как же и профессора". Но и он сам, романист и публицист, психолог и метафизик, отдает этому же вопросу несколько пламеннейших страниц. "Характерная русская черта", — говорит он. А мы добавим, что, если бы эта "характерная русская черта" была сколько-нибудь распространена в русском межуточном чиновничестве, и не европейском по образованию, не русском по складу ума и сердца, мы не переживали бы того, что пережили, да и вообще весь колорит нашей жизни и вся наша историческая судьба была бы другая.

Стиву Облонского, излишне сгущая краски, он называет, именно за суждения, выраженные в этой беседе с Левиным, "циником и цыганом". Он уподобляет его приблизительно тому, что сам дал, года два спустя, в Федоре Павловиче Карамазове. Конечно, это — совершенно не так, и между Карамазовым и Облонским пропасть. Но он определенно называет его циником, для которого личное наслаждение есть высшее правило жизни, как для римских эпикурейцев времен упадка, и который мысленно говорит: "Après moi le déluge"¹. Формально, конечно, Достоевский прав, но ведь и младенец с той же прямою и непосредственностью и неудержимостью сосет сахар и хватает всякие лакомства, как эпикуреец, да ребенок и в точности есть эпикуреец и никакого "долга" и "совести" не знает со своими крошечными зубками, но ради этого делать на него те окрики, какие делает Достоевский в сторону Облонского, это — все равно, как если бы начать приговаривать к гильотине равно старых французских маркизов конца XVIII века и грудных детей за "одинаково сластолюбивый образ жизни". Достоевский говорит:

"Решает насчет справедливости этих новых идей такой человек, который за них, т. е. за счастье пролетария, бедняка, сам не даст ни гроша; напротив, при случае сам оберет его, как липку. Но с легким сердцем и с веселостью каламбуриста он разом подписывает крах всей истории человечества и объявляет настоящий строй его верхом абсурда: "Я, дескать, с этим совершенно согласен". Заметьте, что вот эти-то Стивы (Облонский) всегда со всем этим первые согласны. Одной чертой он осудил весь христианский порядок (?), личность (?), семейство (?), — о, это ему ничего не стоит. И, приведя подчеркнутые заключительные слова его о пользовании "несправедливым порядком вещей в свое удовольствие", Достоевский продолжает: "Вот он, подписав, в сущности, приговор всей России и осудив ее, ровно как своей семье, будущности детей своих, прямо объявляет, что это до него не касается: я, дескать, сознаю, что я — подлец, но останусь подлецом в свое удовольствие. *Après moi le déluge*".

Конечно, все это неосновательно, несправедливо. Стива — добрый, распущенный ребенок, ни в ком из читателей "Анны Карениной" не возбудивший негодования, кроме Достоевского. Дело тут шире, глубже, — гибче и не так безнадежно, как представилось Достоевскому. Русские, действительно, имеют какую-то прямоу ума, схватывающую разом очень обширные концепции (Достоевский, в пропущенных частях критики, жалуется, что Облонский только вчера начал "болтать" об этих вещах, что он "без науки и подготовки"). Стива просто и прямо говорит: "Порядок несправедлив". Но он человек толпы, и пока толпа остается пассивною, — и он остается пассивным. "Пьет, ест, веселится": потому что решительно нечего и делать человеку средних способностей без призвания и таланта, словом, — посредственности в огромном лагере людей, только "пьющих, едящих и веселящихся". Увы, и Достоевский носил пиджак или сюртук, хотя красивее тога или хитон. Но Стива именно не умник, в нем нет жестокости и беспощадного эгоизма: и двинься все — он двинется со всеми, без цепкости к своему родовому

¹ "После меня хоть потоп" (фр.).

имуществу. Громадный стан дворянства, всех людей, "имевших семью и детей" (замечание Достоевского, очень опасное), так и отнесся к крестьянской реформе в 1861 г. Они не торопились никому и ничего отдавать. Но когда всем пришлось отдать, и отдали спокойно, без борьбы, без сопротивления, без интриги (кроме немногих единиц). В настоящее время, когда деревня вновь заявила о страшном земельном голоде, опять же огромные массы дворянства высказались в том смысле, что землю наделить крестьян придется и что они личным и сословным интересом не хотят становиться поперек счастья и даже поперек спасения народа, нации. Об этом прямо и решительно было сказано многими, сказано как поименно, так даже и целыми уездами! Государству воспользоваться бы этою небывалою в истории мягкостью целых сословий, отнюдь не вынужденною только страхом: "Все равно отнимут", ибо попробуйте-ка сказать купцу об "экспроприации" у него лавочки и кассы, и вы увидите настоящую ценность собственности. Нет, хищный и суровый собственник умирает на имуществе, а не отдает имущества. Но земли русских дворян не столько заработаны своим трудом в истории или заработаны лишь в маленькой дробь, а в большей массе все это "Бог послал" предкам теперешних владельцев: то "жалованные", то "выслуженные" маленькой и легкой службой, когда земля не ценилась ничем. Купленные или прикупленные земли около этих составляют крошечный процент. И дворянство едва ли не чувствует, что если оно "обрабатывало" землю, то и жило за эту "обработку" богато, жило в 3—4, в 6—8 поколениях; и то за "маленькую службу", иногда за личную услугу сильным мира сего (вспомним раздачу земель в Малороссии в конце XVIII в.), оно и вознаграждено достаточно этим вековым или даже многовековым пользованием. "Пользованием", а не собственностью. На фундаменте этих предрасполагающих идей, ввиду этой мягкости сословий, государство могло бы без потрясений и без обиды дворянства (именно — за *мягкость*-то его и не нужно ни в каком случае *двигать*!) совершить великие земельные реформы; и если оно удерживается от этой оригинальной и возможной и необходимой работы, то только по какому-то слепому подражанию Западу, где земельная собственность имеет совершенно иную крепость, потому что она вся, или почти вся, заработана, создана, куплена и вообще имеет происхождение нашей купеческой земли, которая так же цепка в руках, как и западная. Идея национализации земли выговаривалась у нас только дворянством: купеческих голосов об этом не было слышно. Хотя, если движение сделалось национально-великим, русско-спасительным, вероятно, и купечество не оказало бы активного сопротивления, ибо земля в составе их капиталов составляет лишь небольшую дробь, более "баловство", чем "дело". Но я не настаиваю на этих своих мыслях, снимая лишь упрек со Стыва Облонского, коего и Достоевский принимает за выразителя целой половины "русских мнений", "русских характеров", — что будто эти их мнения есть "плод цинизма" и стоящей в душе фразы "après moi, après nous le déluge".

Это потому Стыва так спокоен, — подводит итог ему Достоевский, — что у него еще есть состояние, но случись, что он его потеряет, — почему же ему не стать червонным валетом — самая прямая дорога! И так вот этот гражданин, вот этот семьянин, вот этот прусский дорожек

— какая характернейшая, чисто русская черта! Вы скажете, что он все-таки исключение. Какое исключение и может ли это быть? Припомните, сколько цинизма увидали мы в эти последние двадцать лет, какую легкость оборотов и переворотов, какое отсутствие всяких коренных убеждений и какую быстроту усвоения первых встречных, с тем, конечно, чтоб завтра же их опять продать за два гроша. Никакого нравственного фонда, кроме "après nous le déluge" (после меня потоп).

Да, не cives romani. Негодует на это Достоевский? "Cives romani" и заколотили палками обоих Гракхов. "У них собственность была крепка". Но мы слышали о дворянах, предлагавших удешевленно продать землю крестьянам, и о фабрикантах, относившихся не по-английски к рабочему классу и даже к рабочему движению. И уж как Бог насадил свои травы, одной породы в Лациуме и другой породы около матушки Москвы, так пусть и растет этот огород без переделок Достоевского. Кстати, своими восклицаниями: "христианский порядок вещей", "личность", "семейство" — он повторил крики французских "отцов семейств" и немецких и английских пиетистов и ханжей, без малейшей "русской черточки". И в устах Федора Михайловича, который сам всю жизнь был, в сущности, пролетарием и бедняком, а по части "благочестивой русской семьи" рассказал нам хронику Карамазовых, этот выкрик производит еще более комическое, по неуместности, впечатление, чем "быстрое согласие Стивы с тою опасною доктриною, что весь социальный строй несправедлив". Если Стива играл роль социалиста, и притом "не к лицу и своему положению", то ведь и Достоевский играл роль "легитимиста", что было ему не более "к лицу и положению", если принять во внимание его судьбу в кружке Петрашевского и затем дальнейшее путешествие на Восток. Но возьмем все назад: и скажем простым словом, что и Достоевский, и Облонский говорили свою русскую правду, говорили раздраженно, горячо, обвиняя себя, клеветая на себя, — именно потому, что они оба были слишком русские люди. А одно из качеств русского человека заключается в том, что с ним можно обо всем поговориться.

II

Охарактеризовав Облонского как выразителя старой, циничной и умирающей России, Достоевский переходит к Левину, и опять эти слова будут прочитаны с волнением москвичами:

Рядом с этим, многочисленнейшим и владычествующим типом стоит другой тип, — и уже обратно противоположный тому, — все, что есть противоположного. Это Левин, но Левиных в России тьма — почти столько же, сколько и Облонских. Я говорю про одну черту его сути, но зато самую существенную, и утверждаю, что черта эта до удивления распространена у нас, т. е. среди нашего-то цинизма и калмыцкого отношения к делу. Черта эта с некоторого времени заявляет себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти болезненно стремятся получить ответы на свои вопросы, они твердо надеются, страстно веруют, хотя и ничего еще почти разрешить не умеют. Черта эта выражается совершенно в ответе Левина Стиве: "Нет, если бы это было несправед-

ливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, *по крайней мере, я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват*".

Социальный вопрос, который на Западе есть только экономический вопрос, столкновение классовых интересов, — у нас есть столкновение нравственных мировоззрений; и даже, так как тут более входит натура, чем книги, — столкновение нравственных миропорядков. Вся Россия вот уже более четверти века назад стала расслояться как бы на две почвы, две крови, два мозга: один говорит о порядке отрицаемом, явно и неоспоримо несправедливом: "Я этого *хочу*, я этого *могу!*", другой: "*Не могу, не хочу!*" Это не философия, а юриспруденция; точнее, — это зрелище суда, но какого? Где предмет тяжбы — социальный строй, то, что Достоевский едва ли осторожно назвал выше "христианским порядком, личностью, семейством", и где обвинителями выступает целая половина России, Россия-Левин, а подсудимую стороною — другая половина ее — Россия-Облонский. Достоевский сам сказал, что их "много, страшно много" и что "других не меньше, столько же". Положимся на его приговор, который в наше время стал очевидностью. Для нас, для всего теперешнего русского поколения, для борьбы его и установления прав в этой борьбе чрезвычайно важны наблюдения, сделанные 29 лет тому назад Достоевским, человеком, во-первых, проницательным и психологом, а во-вторых, объявившим себя, в сущности, за старый строй в словах: "христианский порядок", "личность", "семейство". Ведь все это до страстности любил Достоевский, всему этому он поклонялся как "богу русской земли", да и как "религии человечества". Сам Достоевский, сколько мы постигаем дело, был человек усталый, не хотевший для себя борьбы и не хотевший вокруг себя борьбы. Юношею попавший в кружок Петрашевского, побывавший в каторге, со своею мучительною болезнью (эпилепсия), всегда бедный до границы нищеты, он мог сказать о себе: "Укатали сивку крутые горки". Кто вообще испытал в себе резкие фазы жизненной усталости или, напротив, жизненной свежести и неутомленности, эти состояния, в сущности, физиологические, тот знает, как всеобъемлюще их влияние на наши "убеждения", "миросозерцание", "программу". — "Отдохнуть хочется", "поразмяться хочется" — это подспудно лежит во всяком легитимизме и во всяком обновительном движении.

Личная его, Достоевского, усталость, конечно, не может определять программу наших действий. А оценка им двух лагерей в их моральном содержании тем более важна, что она идет, в сущности, от недруга. Он продолжает:

В противоположность Стиве, который говорит: "Хоть и негодуем, да продолжаю жить в свое удовольствие", — Левин обратится во "Власа", в некрасовского "Власа", который роздал свое имя в припадке великого страха и умиления, —

И собирать на построение
Храма Божьего пошел.

И если не на построение пойдет собирать, то сделает что-нибудь в этих же размерах и с такою же ревностью. Заметьте, опять повторю

и спешу повторить черту: это множество, чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, которым *нужна правда* (курс. Д-го), одна правда без условной лжи, и которые, чтобы достигнуть этой правды, отдадут все решительно. Эти люди тоже объявились в последние двадцать лет и объявляются все больше и больше, хотя их и прежде, и всегда, и до Петра еще можно было предчувствовать. Это наступающая будущая Россия честных людей, которым нужна лишь одна правда. О, в них большая и нетерпимость: по неопытности они отвергают всякие условия, всякие разъяснения даже. *Но я только то хочу заявить из всей силы, что их влечет истинное чувство* (мой курс).

Нужно заметить, что, очерчивая молодую и старую Россию, Достоевский говорит, в не приведенной мною цитате, что он оставляет совершенно в стороне художественный тип Левина, что он берет только диалог его с Облонским, и к нему приурочивает очевидное в его уже время расслоение России. Основной мотив в нем: экономическая, социальная, рабочая несправедливость; но это — только толчок, правда, жгуче-острый, за которым начинается волнение в самих мирозсерцаниях или, точнее, в миропорядках.

Характернейшая черта еще в том, что все эти люди ужасно не спелись и пока принадлежат ко всевозможным разрядам и убеждениям: тут и аристократы и пролетарии, и духовные и неверующие, и богачи и бедные, и ученые и неучи, и старики и девочки, и славянофилы и западники.

Достоевский не замечает, что явилось новое "credo", новое знамя; что все собираются куда-то к новой цели, новой задаче, новой надежде, а все то, что он перечислил, суть только старые лохмотья прежних хламид, которые люди, не то по забывчивости, не то по пренебрежению к ним, забыли отбросить. Что за всем этим уже нет "убеждения", и в этом-то и заключается самая характерная черта новых людей и объединительный их пароль, — тогда как Достоевский называет это "убеждениями".

Разлад в убеждениях (?) непомерный, но стремление к честности и правде непоколебимое и нерушимое, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества, говорю: обратится во "Власа". Закричат, пожалуй, что это — дикая фантазия, что нет у нас столько честности и столько *искания честности* (курс. Д-го). Я именно провозглашаю, что есть, рядом с страшным развратом, что я вижу и предчувствую *этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России* (мой курсив), что их нельзя уже не видеть и что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву со своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшное многочисленное, но уже покончившее с собой собственным приговором общество русское с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и отдает все, чтоб очистить сердце свое от вины своей. Замечательно тут то, что действительно наше общество делится почти что только на эти два разряда, — до того они обширны и до того они всецело обнимают собою русскую жизнь, — разумеется, если откинуть массу совершенно ленивых, бездарных и равнодушных.

Вот констатирование человека, всю жизнь писавшего в журналах охранительного направления, преимущественно в "Русском Вестнике" Каткова. Наши "государственники", в настоящую минуту поставившие задачу "переломить шпагу над головой" молодой России, должны знать, что за спиной их не стоит ничего, кроме "отпетой циничной России", по определению пророка их же "государственного" стана, и что на эшафот ими возведена "будущность России". Позволительно схватиться за голову и изумленно спросить: "Боже, да почему же это национальная партия, когда она отсекает голову этой России, охраняет ее экскременты, вонючие отбросы, а что в ней молодо и растет, что чисто сердцем, в чем сконцентрирован весь идеализм страны, — все это порубает, ненавидит, истребляет?" Не скорее ли это партия страшно антинациональная? Может ли быть назван садоводом, хозяином сада, оберегателем его человек, который бережет только старые пни в нем, а молодые деревья вырывает с корнем и вообще органически ненавидит?!

Безумие творится в истории. Среди безумия живем мы.

Во всяком случае, молодая Россия, которая теперь борется, страдает, сейчас ужасно угнетена, может выдвинуть эти наиболее яркие слова, сказанные в нашей литературе в оправдание ее, и сказанные не ошибающимся психологом и аналитиком, притом человеком государственного и христианского настроения: она может слова эти кинуть в ответ не только своим обвинителям на суде (а следовало бы именно на суде припомнить эту защиту-разъяснение Достоевского), но и идейным обвинителям, из которых назовем часть нашего "черного духовенства", воистину черного. Вспомним проповеди епископов Никона (в Москве) и Антония (в Волыни); пресловутую октябрьскую проповедь в Москве, прочтенную по распоряжению епархиальной власти...

* * *

В двух главах, "Злоба дня в Европе" и "Русское решение вопроса", помещенных в том же февральском за 1877 г. "Дневнике писателя", Достоевский очерчивает положение социального вопроса на Западе и возможное или ему желательное решение его у нас. Он говорит, что на Западе все свелось к злобной имущественной борьбе; что пролетариат говорит буржуазии, захватившей верх положения в 1789 году сперва во Франции и затем в целой Европе: "Ote-toi de là, que je m'y mette" — "Убирайся с этого места: я стану на нем". Суждения о точной психологии этой борьбы ужасно трудны; трудно судить, а наконец, и осуждать борющихся людей, не стоя на том месте и в том положении, в каком они находятся. Для нас, даже для Парижа, для Лассаля, Каутского, Энгельса, социальный вопрос есть все же "объект суждений", предмет споров, теорий, наконец, общественной агитации. Но есть генералы армии, занимающиеся "тактикою войны", и есть серая шинель, которую разрывает шрапнель, которой протыкает брюхо штык, дробит кости граната. Впечатления, ощущения "генерала тактики" будут совершенно иные, нежели этой "серой шинели". То же и в экономическом вопросе. Достоевский стоял всю жизнь на краю социального вопроса, перед зияющею пастью "расчетной книжки", "увольнения по случаю

сокращения производства” и пр.; но в самую пасть эту он все же не упал. А пасть эта имеет зубы поострее тигровых. Спокойно и тихо говорят рабочему, трезвому, умному, богомольному, уже немолодому и истомленному добросовестным 30-летним трудом: “Ты больше не нужен, производство сокращается, и, вместо 2000 человек, фабрика нуждается только в 1500”. Только! Достоевский никогда не видел детей, умирающих от голода на глазах родителей, среди роскоши изумительной, ненужной и фантастической окружающего быта. Вот семья рабочего: голоден он, жена; дочь уже давно пошла куда-то в проституцию, тоже честная дочь, когда-то хорошая девушка, да, может быть, и теперь хорошая. На руках малютка, голодный же. И вот мимо окна хибарки, где сидят эти утром “рассчитанные” рабочие, проезжает на тысячных рысках в фантастически комфортабельном экипаже лоботряс — сынок фабриканта, — который “из чистоплотности” и не возьмет, побрезгает взять хоть для минутного удовольствия дочь этого работника. Достоевский в “русском решении вопроса” говорит, что нужно дожидаться “Власов” некрасовских, когда этот лоботряс — сын фабриканта, учащийся в одном из привилегированных заведений, “превратится во Власа” и у него

Сила вся души великой
В дело Божие уйдет.

Но сколько же именно миллионов лет надо этого блистательного события дожидаться, когда вот малютка-то умирает на руках, и это дело дней и часов, и когда “наша Маша”, которую в шестилетнем возрасте мы крестили, укладывая на ночь в постельку, теперь на тротуаре вымалывает милостиво-похотливого взгляда этого “еще не обратившегося во Власа” лоботряса. Повторяю, “в пасти” Достоевский, при всей нужде своей за всю жизнь, все же не бывал; и об остроте волчьих зубов можно судить не по зоологии, а вот побывав овцою, которую он скушал. Некрасов, только однажды, в первой молодости, побывавший, и то ненадолго, в этой “пасти” и живший всю жизнь потом обеспеченно, уже никогда потом не мог забыть впечатления; и хотя “Власа” именно он написал и, следовательно, был же способен к этим движениям души, однако никогда ему не пришло на ум включать в программу рабочего движения “ожидания, когда буржуа почувствуют в себе “Власов” и станут поступать, как они”. Тут необыкновенно важны тонкие степени пройденного опыта, и, цвотворяем, дети Достоевского от нищеты не вырождались на его глазах, не похварывали и без лекарств за бедностью не умирали, жена и дочь его не испытывали проституции “от безработицы” (множество примеров!), и сам он, все-таки, каждый вечер знал, где будет ночевать и где завтра есть обед. Может быть, на “послезавтра” не знал, но на завтра все-таки знал, и на *сегодня* (главное! главное!) *уже ел!* Максим Горький, тоже теперь уже обеспеченный человек, видел в молодости пасть: и тоже не колеблется насчет программ. Итак: 1) невозможность ждать — это первое. А во-вторых: 2) и стоит ли церемониться? Повторяю, рабочий или “социал-демократ” просто имеют у себя перед глазами лоботряса и лоботрясов куда хуже Стивы, а между тем, что написал Достоевский о Стиве за его еще эпически-спокойное:

— Так то, мой друг. Надо или признавать, что настоящее устройство справедливо, и тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием.

— Негодяй, циник, "отпетый", цыган, "après nous le déluge".

И проч. В запасе Достоевского были только слова. Он — писатель. Да и он — талант, который мог наговорить циничным людям или за циничные мнения таких словечек, которые больше бича, и такие слова он говорил, от них сам не удерживался, не расписывал слезливые поучения с целью направить "Стиву и таких, как Стива" на путь монашеского отречения. Но рабочий не имеет слов и литературы, этого громадного клапана "для выпуска паров". Представим рабочего, скромного, застенчивого, совершенно молчаливого; он именно по серьезности не умеет "утопить горе в зеленом вине", как другой тип Некрасова — Иван. Он буквально "Влас", угрюмый и застенчивый: а дочь-то уж пошла по тротуару, а двухлетний паренек умирает, а лекарств не на что купить; и фабриканту, и батюшке, и г. судье или г. исправнику, если б он вздумал рассказать им о себе, — всем "некогда", да и "таким тысячи". Что же бы сделал "Влас"? Один покончил бы с собой, другой — взял железную полосу и ударил. И есть такие раздражающие впечатления, как вот едущий в ландо лоботряс, — что он ударил бы. Ударил, — и пошел в Сибирь. Так это и делалось века, и делали тысячи: давились, ударяли, топтали дорожку "по Владимирской", пока этим "Власам" не шепнули: "Соединяйтесь, обдумайте себя".

Вот и все, и вся "наука", и весь "Запад", на который страстно накидывается Достоевский. Ведь наука только удлинняет, усложняет обыкновенную мысль, и почему "социология" и "социальные утопии" не суть, по темпераменту и мотиву, типично "власовские теории", куда тоже "сила вся души великая в дело Божие ушла". Не все обязательно для "Власов" церковь строить, можно и другим заняться...

Можно думать, что когда-нибудь в молодости Достоевский имел неудачу попасть в кружок "идейных реформаторов социального строя", не очень глубоких и не очень человеческих. След какого-то подобного впечатления можно проследить во всех его сочинениях. Везде у него выводятся эти "реформаторы" как люди сухие, черствые, как резонирующие теоретики, в которых, как жетса, не течет ни одной капли живой крови. Так ли это? Да какая же нужда была бы этим "сухим людям", — как он сам пишет в приведенном отрывке, — "старикам и девочкам, ученым и неучам, помещикам и нищим студентам", — объединяться в какое-то новое, почти религиозное братство с лозунгом: "Спасти народ, пособить голодному, обуздать сытого и даже пресыщенного". С "сухим сердцем" прямо и пристали бы к "сытым", чтобы и самим быть сытыми. В приведенном нами отрывке он говорит о "чистом и истинном чувстве"; но, когда заговорил о "русском решении вопроса" в противовес западному, опять у него замелькали воспоминания о каких-то поверхностных и бесчеловечных теориях, которым он противопоставляет русскую идею "Власа". Между прочим, он говорит, что этот будущий социальный строй будет насильственным и принудительным, будет социальной тюрьмой и каторгой, без "христианского братства". В этом социальном строе "отрежут голову Шекспиру во имя идеи

арифметического уравнения всех голов и всех желудков". Эта "отрезанная" социалистами "голова Шекспира" мелькает и в других его сочинениях как прямой и краткий мотив поднять восстание против социальных утопистов. Но так ли это? У него это есть консервативная гипотеза, не опирающаяся ни на один факт; тогда как есть определенный и яркий факт, говорящий о совершенно иных отношениях новых людей к таланту, к человеческому избранничеству. Всем известно, что Некрасов, кроме первых юных годов, был человеком обеспеченным и даже более чем обеспеченным, был членом Английского клуба и играл в карты. Но "в стане погибающих за великое дело любви" был ли за это на него завидующий и ненавидящий взгляд? Сравнительно с несчастными сельскими учителями и учительницами, с бурсаками духовных академий и семинарий, с нищим студенчеством университетов, он был богачом, но сам он и в богатстве сохранил простой и грубоватый характер прежнего Некрасова и никогда не разрывал братства с однажды испытанною бедностью, братства и интимного понимания. И бедные его любили, считали "своим", богатству и положению его не завидовали, а сам он тоже сохранил только положение богатства, без всякой психологии богатства, в которой, в сущности, и заключается все дело, и весь узел, и вся трудность и мука социального вопроса. Если бы богатые помнили о бедных, и помнили бы не теперешним филантропическим и высокомерным способом, страшно отчужденным, а уравнительно-братским или, как теперь принято говорить, "товарищеским", — узел мучительной экономики развязался бы, ибо, пока хоть у одного человека в городе, в селе есть запасной рубль, не может и не смеет умереть с голоду ребенок на руках у голодной же матери. Все острые углы социального строя сгладились бы при "товариществе". Но где же понесся лозунг этого "товарищества", да и где, наконец, не только понесся лозунг, но и родилось действительно это товарищество, горячая помощь другу другу, знакомому и незнакомому, лишь бы он был "человек" и был слаб, беспомощен, падал, был унижен, несчастен, — как не в этих именно людях, соединенных, по-видимому, лишь сухой экономической программой. Рисую "русское решение вопроса", Достоевский говорит: "Нет, русские и христиане не поступят так с Шекспиром, как социалисты. Они скажут: ты имеешь особые дары, Бог отметил тебя, избрал, — и ты свободен выполнять свое высшее назначение на утешение и радость нам". Ну, "русские и христиане" вовсе не так поступали с Новиковым и Радищевым (тут мера дара — ни при чем, ведь и Достоевский говорит не о Шекспире же, который умер), а вот с Некрасовым, да и вообще с людьми дара и даровитости на поприще ли науки или на поприще слова почти "социалисты" и даже именно "социалисты" поступали действительно так, как указал Достоевский. И, что дает залог прочности, поступали так непосредственно, без споров, без сговоров и сборов. Таким образом, сухость и меркантилизм людей социальной реформы есть ничем не доказанная гипотеза Достоевского, вероятно коренящаяся на почве каких-нибудь непривлекательных личных воспоминаний его. Не забудем, как он был болезненно впечатлителен, капризно впечатлителен. Движение не сконцентрировало бы около себя всех идеалистически настроенных сил живого русского общества, оно не было бы "надеждою России"; о чем говорит сам Достоевский, не будь оно нравственным

переворотом прежде всего. Но как корень-то жизни, величайшая боль мира теперь сосредоточивается именно около голода и работы, а не около проблем философии, метафизики и морали, то "нравственный поворот" и побежал, с реальным и живым чувством, именно к голоду и работе, голодающим и работающим, а не к отвлеченным вопросам, прежде сосредоточивавшим около себя идеализм. Идеализм — это теперь социализм (без преувеличений и грубости), социализм — это теперешний идеализм, покончу этими тавтологиями. Пока эти тавтологии сохраняют верность, — а пусть они сохранят ее навеки, — это царство "реального идеализма" неразруσιμο и непобедимо.

Одна из русских поэтико-философских концепций

Н. М. Минский. Религия будущего.
Философские разговоры. СПб., 1905 г.

Г-н Минский, принадлежа к числу сильных у нас метафизических умов, вставляет систему свою в рамки не ученых диссертаций, мало кем или совсем никем не читаемых, но в художественную форму то признаний ("При свете совести"), то "разговоров" (настоящая книга). От формы этой, однако, не веет теплотой: здесь то же царство холода, как и в его мышлении. Как поэт, как мыслитель, как художник Минский холоден на всем протяжении: его пафос (где он попадает) несколько искусствен и внешен, и от этого он так мало привлекает русского простого читателя. Конечно, это несколько не роняет его как философа. Он дал систему "мэонизма", — термин, родственный древним неоплатоникам. Те учили об "эонах", некоторых метафизических существах, лежащих в основе всего физического миропорядка, как у Платона его "идеи" или у Лейбница его "монады". "Эоны" — положительное, сущее. Минский остановился на довольно верной мысли, чисто логического порядка, что ведь если есть Бог, то оттого Он не смешивается с миром, оттого никакую вещь мира мы не принимаем за "Бога", что есть у нас врожденное и истинное убеждение, что Бог — нечто совершенно иное, чем все осязаемое, видимое, слышимое, даже, наконец, чем определенно мыслимое. Бог "премирен", как говорили платоники; "сверхмирен", как учат христианские философы. Минский основательно и говорит, что если весь осязаемый, видимый и пр. и пр., наконец, весь представимый и мыслимый мир соединен и объединен тем качеством, что он — *есть, существует, реален*, то пропастью отделенный от этого мира "неизреченный" Бог есть "мэон", "несущее", "небытие", т. е. что это есть некоторое метафизическое же отрицание всякого реализма, грубости, тяжеловесности. Ну, "святое" — как его взвесишь?! "Святый Боже", как поет церковь в песнопениях, конечно, это вовсе, вовсе иное, нежели все, с чем в этом мире юдольнем обращается наша мысль. Довольно замысловато и, кто знает, может быть, правдоподобно. Похоже на Нирвану Будды и буддистов: черную дыру, в которую валится все сущее и кото-

рой, вместе, — просто нет!! Читатель не привык к этим шахматным ходам метафизической мысли? Между тем большинство знаменитых метафизических систем состоит именно из таких ходов, которые могут представиться и страшно серьезными, и вовсе не серьезными, смотря по умустроению читателя и слушателя. На метафизику Минского я смотрю как на один из таких красивых "ходов", который не увлекает меня оттого, что я смотрю со скептицизмом, может быть, с неумением или бесталанностью на самую шахматную доску и существо шахматной игры. Но философская эстетика в ней есть. От Бога и Творца нужно перейти к миру и Его творению: представьте себе бесконечный *минус* (первосущий и единосущий "Мэон"), который перечеркивается "накрест" и переходит в такой же бесконечный *плюс*: вот мир вещей, подробностей, осязаемого и мыслимого, который мы измеряем и изучаем, о котором думаем и который любим и который весь произошел через страдальческий акт самоуничтожения Великого Минуса, через "смерть Бога", самоотрицание Мэона. Между тем в *плюс* этот, даже материально и видимо, вошел минус: т. е. весь порядок вещей есть "божественный и святой". Минский очень искусно и поэтически переводит это философское построение, этот тезис и требование размышляющего ума, — на язык то надежд, то ожиданий, то сердечной веры, то утешения. Получается — переход в религию, сразу и освещающий ее философским светом, а вместе и самой философии придающий какую-то теплоту, интимность, священность и вообще религиозную санкцию. Здесь, нам думается, много принадлежит языку, мастерству языка, — и здесь, видя это филологическое основание, я особенно проникаюсь скептицизмом ко всей вообще "шахматной доске", как несколько предательской и более обещающей, нежели подлинно дающей.

"В начале был Всеединый и рядом с ним не было никакого другого существа, ни материи, ни духа, ни формы, ни движения... Он наслаждался своим покоем и созерцал свое совершенство... Всемощный и всеведущий, он сам в себе созерцал то же и множественный мир явлений, еще не существовавший, не могший существовать около Единого и наряду с Ним. И сказал Всеединый в своей мысли: вот я созерцаю формы и существа, не могущие возникнуть к радости бытия, оттого что я, Единый, существую".

"И Единый продолжал в своей мысли: великая любовь объемлет меня к этим существам, которые никогда не появятся, пока Я есмь (условие "единства"). Любовь моя равна моему всемогуществу, и Я хочу принести себя в жертву из любви к миру, хочу устранить единого, дабы могло возникнуть к бытию многое; хочу создать, по образу своему, многих, из которых каждый, подобно мне, будет познавать себя единым, не будучи им ("эгоизм" всех вещей, "центростремительность" их самочувствия). Хочу уступить свое бытие многим, дать им свободу и разум, радость бытия и блаженство самопожертвования, хочу жить и умирать во многих, стать предметом их бескорыстной любви и вечного стремления" (стр. 204—205).

Так Влюбленный сотворил влюбчивых: блаженство принять молитвы, фамиамы, восторги заставило "заколоть себя" Бога... Красиво! Похоже на правду? Что сказать об этом: тут брезжатаз лучи всех религий, об этом перешептываются все веры — и в этом смысле *похоже*

на правду. Минский, впрочем, так и называет это "легендой", как бы всемирным религиозным преданием. И, не будь этого религиозного предания перед ним, — без его канвы, не опираясь на этот посох, он не построил бы или едва ли бы построил и свою систему "мэонизма". Мне лично, когда я читал в индусских легендах об этом "Боге, созерцающем образы (будущих) вещей", всегда было недоуменно: откуда это "детишки" — то взялись? мечты? образы? иное, чем Бог? "Единое и Совершенное" я не умею представить иначе как бесконечную прямую линию... и ничего еще; как пустоту и приблизительный ноль, как некую Бессодержательность... Признаюсь, "Единое и Совершенное" я просто не люблю; и не уважаю; и не захотел бы размышлять о нем. Иное — его "детишки", мечты, образы... Тут я просыпаюсь, и мне хочется кушать.

Мир вещей, множество, краски, звуки, осязаемое, обнимаемое — весь "сад Божий", как, впрочем, и именует легенда, — вот одно, о чем я хочу и могу размышлять и с чем чувствую себя связанным и "единым". Поэтому "первая часть его легенды" (все — его термины) меня просто не занимает. Если он назовет меня за это "совершенным безбожником", то я не отвергну этого, хотя и удержу в голове мысль, что и он сам — таков же. В сущности, он "Единого" построил для мира и по миру; и даже — это осталось в его филологии, ибо "Единый", что требовалось бы мэонизмом, у него постоянно чередуется с "Всеединым", т. е. "детишки" — мечты, они же суть и реальные вещи, все одолевают своего Отца-Мэона, никак не допуская его до того отрицательного значения, какое единственно и вполне ему присуще.

Но за этой маленькой философской улыбкой, какую я допустил в себе, остается, однако, действительно серьезная мысль и серьезный вопрос: отчего, действительно, человеку неистребимо присуще религиозное ощущение всех вещей в мире? Отчего и дикарям в Австралии, и мудрецу из Кенигсберга, отчего "чернокнижнику" Фаусту и русскому простому сельскому попу равно мерещится "что-то святое", божественное, чудесное, неисповедимое в мире? Оставим "мэоны" и "единое", — скучные, как доска: откуда у нас эти слезы при виде смерти, и слезы не одного испуга; откуда у нас-то — не у мэона, а у нас — мечты, воображение? Откуда трепет, задумчивость при закате солнца? Откуда восторг тоски, когда сверлим вопросом звездную глубь в ночи? Да нет, и не это главное, не философия и вопросы: откуда в нас, едва мы выйдем из хаоса столкновений, мелочей, будней и возвращаемся в себя, к свободе своей, успокаиваемся от вечного качания жизни, — встает эта первоначальная умиленность на все вещи, и не влюбчивая, земная, а торжественная, задумчивая, уходящая в вечность, как бы никогда не рожденная и не имеющая умереть? Я упомянул о великой психологической загадке: отчего смерть, — любимого, близкого — не ушибает нас мертвым ушибом, отчего это не просто "оглобля" и "боль", а что-то и еще есть тут таинственное, и, когда мы истекаем в слезах над бездыханным телом и, кажется, хотели бы умереть за дорогого и вместо дорогого, — почему эта потеря, тягчайшая собственной смерти, сопутствуется каким-то другим неизъяснимым чувством, совершенно противоположным тому, что выражается словами: "ушиб", "боль", "оглобля", "скверно"? Возьмите чувство человека над гробом, отца с трупом ребенка на руках, — и сравните с равным "по ушибу" чувством человека, проигравшего в карты все

состояние: вы оскорблены самым сравнением, а между тем в оскорбленности-то вашей и лежит начало очевидности тайны. Ведь случается, "проигравшийся" — повесится, т. е. для него проигрыш хуже, тоскливее, отчаяннее смерти. Но нас оскорбляет сравнение этих двух ушибов: и в чувстве отца есть, значит, кроме ощущения ушиба, мертвой боли, раздавившего камня, и еще какая-то темная сладость, утешение, вообще что-то, являющееся не *минусом*, а *плюсом* около нашего бытия?! Действительно, день на 5-й, на 10-й, через месяц, полгода, как потерявший ребенка, видевший чужую смерть, — вырос! В нем иногда появляется бессмертная красота, которая даже передается в чертах лица! И сам он, вся душа его, — другая, и это состояние души своей, встревоженное, глубоко задумчивое, опустелое, — он не променяет ни за что на состояние прежнее, сытое, полное и довольное! Вообще в *печали* есть такая особенная красота, не заместимая никакой иною, ни с какою не сравнимая, что — не приходи она в мир — мир понизился бы в красоте, достоинстве; и уж если Бог есть Высшая Красота, прекраснее всех своих тварей, то совершенно бесспорно, что вне всяческих мэонов и независимо от их теории это есть Печальный Бог, которому чего-то недостает. Альфа морали и эстетики: а подите-ка убедите в этом богословов, которые говорят, точно отсчитывая градусы: "всеблагий, всеведущий, *вседовольный*", как и греки ошибались же, определяя: "*счастливые боги...*"

* * *

Но, переступив по сю сторону творчества, войдя в мир существ, борющихся, страдающих, угнетенных, зависимых, рабских, Минский с чрезвычайным одушевлением и большим мастерством вносит объясняющий свет туда, где человек бессильно стоял, не умея ни философски понять, ни религиозно принять явления. Самый язык его отраженно несет в себе черты мирозерцания: он горд и радостен. "Кто бы я ни был, — говорит он о человеке или от лица человека, — как бы я высоко или низко ни стоял по своим заслугам или по прихоти судьбы, властвую ли я или пресмыкаюсь, красуюсь ли на вершине подвигов или лежу на самом дне падения, — стоит мне только взглянуть на эту религиозную легенду, и мне открывается, что право мое на счастье и свободу не уступлено мне ни обществом, ни государством, ни человечеством, а неотъемлемо даровано мне самим творцом мира, ибо он принес великую жертву, дабы уступить мне право на индивидуальное единство. И последний приговор, насколько я оправдал божественную жертву, может быть произнесен также мною одним, а не обществом, государством или человечеством" (стр. 207). Это основание "прав", но уже не естественных, натуральных, прав косных и безыдеальных (римская юриспруденция), а прав священных, святых, хотя бы содержимое их, их голые тезисы и совпадали с элементарною справедливостью "естественного права". Иной мотив, иные связи; и к иному это "священное право" толкает человека. Нужно заметить, даже "естественное право" не есть сколько-нибудь любимая и влиятельная дисциплина наших теперешних юридических факультетов, и последние всецело погружены в изучение приказной стряпни разных администраторов, т. е. наличности действующих законодательств, без

всякой Ариадниной нити в этом не столько сложном, сколько бессмысленном лабиринте. И философско-поэтический призыв Минского, наконец — призыв религиозный, входит какою-то надеждою в эти серые сумерки. Затем он подходит к вечным скорбям человека. Мир как преисполнен малого, ничтожного, слабого, несовершенного — около красивого и сильного. Откуда это неравенство и неполнота? Но как же, спрашивает он, могло бы в мире получиться движение, если бы не было этого неравенства, если бы вещи обладали идеальной полнотою? А движение, жизнь — это такая красота с избытком покрывает некрасивость отдельных вещей. Мир беспокоен, неуравновешен, в каждый единичный момент неустойчив: да оттого, что стоять для него — и значило бы превратиться в ту ледяную глыбу будущего, о которой без ужаса не может читать человек у предсказателей-ученых. К счастью, эти угрозы-предсказания ученых едва ли оправдаются, ибо основания мировой неустойчивости не столько физические, сколько метафизические. Самые движения-то, перемены, волнения мира и в мире вытекают из обратной жажды сотворенных существ — приблизиться к Творцу, слиться с Ним. "Аппетит Бога" — так бы я назвал этот инстинкт, находящийся, среди других более древних символов (вкушение жертвенных частей), завершение свое в символе христианской евхаристии. С другой стороны, из конечности и несовершенства вещей вытекает их смерть. Нужно заметить, вся книга Минского написана в форме диалогов: двое больных в заграничной санатории для легочных больных разговаривают о "мировых вопросах". Оба, окруженные смертью и болезнью, оба в ожидании смерти, — понятно, с каким волнением они о ней говорят. Возражающий указывает на паука, пожирающего муху, и спрашивает, неужели и это "гармония, что-то божественное, а не просто гадость и боль"? Излагающий теорию, пожалуй "учитель", говорит, что мы делаем не что-нибудь иное, нежели этот паук, когда садимся за обед со шами и котлетами: и, однако, всемирный инстинкт подсказал нам, а в заключенные потребовала и церковь "не садиться за стол — не помолясь". Да, молитва перед едою: перед человеческою формою отношения паука к мухе. Действительно, один Петербург съедает ежедневно целые стада быков, в общей сумме до 10 000 голов, т. е. не менее двадцати громадных стад!!! Бррр... чудовищно! страшно представить! И — мы молотся, "нельзя не помолвившись", "поп забранит". — "Паук физически отвратителен мне", — говорит больной слушатель-ученик. А разве не было в свое время отвратительно чрево матери, произведшей вас на свет, — и в самую минуту этого произведения? Однако поставите ли вы мировой минус, мировое отрицание над этим отвратительным? Исключите отвратительное из мира, и мир погаснет. Уже наука не знает красивого и некрасивого, отбрасывает эти личные вкусы человека как что-то смешное, маленькое и ложное; и еще глубже отбрасывает это религия, все мерила которой сверхэстетичны и сверхморальны. Это-то и есть та правда "не от мира сего", которую принес Христос, т. е. правда "не от частей мира", а от него в его целом, по которому "все одинаково оправдано, прошлое и будущее, я и ближний, личность Сократа и личность дождевого червяка, судьба вселенной и судьба эфемеры: все оправдано в своем неравенстве и искуплено в своей разрозненности и вражде" (стр. 212). В страдании, в умирании мы повторяем, как "образ и подобие

Божие”, эту мистическую жертву Бога за мир: уподобляемся Богу и даже сливаемся с Ним в этой глубочайшей Его особенности как жертвы. Но нам лично представляются интереснее его доводы, так сказать, ”от подробностей”. ”В религиозной легенде, — говорит он, — дается не только объяснение и оправдание смерти, но примирение со смертью — последнее интимнейшее проникновение в ее святость и целесообразность. Спросите себя: что самое заветное, самое желанное в мире? И вы, конечно, должны будете ответить: стремление к предмету любви, все равно, что бы мы ни любили: Бога, природу, истину, славу или святое уединение. А теперь представьте себе, что вы стали бессмертным, неуязвимым для смерти, что вы не в силах доказать любимому существу свою любовь, готовность умереть за него, не в силах пожертвовать собою ради истины, славы, ради любимой женщины, ради своего ребенка. Как бы поблекла красота и померк ореол грусти над любимым существом, которое неподвластно смерти! Как бы принизилась цена любви, не могущей запечатлеть себя смертью! Единственная хартия благородства, которая имеется у наших чувств, это — готовность умереть. Разорвите эту хартию — и конец нашему благородству, и мы ниже зверей, защищающих своих детенышей ценою собственной жизни. Вот почему искренняя любовь ни о чем так часто не помышляет и не говорит, как о смерти. Об этом поют все поэты, но в религиозной легенде связь любви и смерти становится сама песней, светом, благоуханием. На смерти зиждется жизнь, и во всем мире, и в каждой его грани играет и горит луч бескорыстной жертвы, т. е. любви, прошедшей через очищающий огонь смерти. Но если смерть — не лучшее свидетельство любви и ее нестираемая печать, ее венец и сияние, то как же любви враждовать со смертью и как душе не любить ее... Мне кажется, что если бы Творец спросил каждого из нас, хочет ли он жить в мире, где условием героизма, любви, красоты является самопожертвование, то все, что есть в нас героического, любящего, красивого, воззвало бы: хочу! И этот хор голосов, вероятно, превозмог бы бурю предсмертных стонов, на которую указывают пессимисты” (стр. 223).

Удивительно героическая страница. Да, конечно, с таким мировоззрением легче жить. Такие мысли поднимают над землею и возвращают человеку гордость, дают ему господствовать над страданиями, несчастьями. И в то же время это не тупой, бесчувственный стоицизм и не мертвый буддизм. Здесь есть движение, горение: это — не только схема ума, но и мотив наших ”сегодня” и ”завтра”. Я ужасно люблю свою жизнь, свою биографию, свое маленькое тельце; я так их люблю, что ни с чем не могу сравнить. Но если бы в то же время я не знал и не видел близких, дорогих людей, — как и не видел бы вещей (идейных), ради бытия и сохранения которых не дозволил бы вселиться в свои легкие коховским палочкам (туберкулез), — то опостылело бы тотчас до тошноты мне и это тельце, и эта биография; я сказал бы с отвращением о них: ”не нужно”; самоубийство — вот что взял бы я себе, будь так пуста моя душа, что мне ради ничего не хотелось бы пожертвовать собою!!

Все это психологически тонко подмечено. Лучшие черты книги вообще заключаются в *наблюдениях* автора; там, где он, подтверждая свою концепцию, берет цветной карандаш и подчеркивает явления, которые

и мы видели, но, не фиксируя их умом своим, не понимали всего их смысла. Мы изложили только один восьмой "разговор" из девяти. В других "разговорах" — не говоря о цельном ходе мысли, который можно и принимать, можно его и отвергнуть, — раскидано множество любопытнейших замечаний о христианстве, о церкви, о еврействе, о языке. Евреи, по автору, — имея в значительной степени перед собою тему языческой же жизни: земное благополучие — укрепление его, сумели лучше его выполнить: "...греческое представление о судьбе как о силе, властвующей над людьми и богами, было глубоко чуждо и враждебно духу евреев. Они подмяли под себя судьбу, связали ее по рукам и ногам обрядами, жертвами, подношениями и всесождениями Богу. Они каждый камешек своего жизненного здания цементировали союзом с Богом — как могли они бояться судьбы?.. Израиль не мог отпустить от себя Бога ни на шаг, ибо он строил здание, рассчитанное на вечность" (стр. 265). В специализации забот о земном евреи даже прошли вовсе мимо смерти, ничего о ней не думали, не образовали вовсе концепции о загробной жизни!

Остановившаяся над вопросом Иова — о смысле страданий, последней черной точке, которой не умел преодолеть еврейский ум, не мощна была уяснить его и примирить с ним еврейская религия, — Минский говорит, что только Христос разрешил эту великую проблему. Есть блаженство *притяжения* к вещам, но есть такое же не меньшее, едва ли даже не большее блаженство — *удаления* от вещей, отвержения их (монашество, пустыничество, аскетизм). Психология последнего так же глубоко заложена в человека, как и психология эпикурейства, наслаждения. "Стоило одному из друзей Иова сказать, что, кроме святыни удовлетворения, есть святыня отречения, что блаженны не только имущие, но и нищие, не только счастливые, но и страждущие и плачущие, и мятеж в душе его замирился бы навсегда. Но времена не созрели тогда для истины (стр. 266).

Т. е. ее принес Христос, открывший впервые учением Своим и жизнью Своею двуединство православного идеала, соединивший Кану Галилейскую и Голгофу... Переходя к церкви, он указывает, как средневековый католицизм, в священном рыцарском служении и в обетах монашеского отречения, соединил и равно одобрил два противоположные подвига, два разных идеала, два пути жизни. Рыцарь, поступивший по-монашески перед битвою, покрыл бы себя позором; монах, поступивший по-рыцарски, с этим же чувством гордости и своего "я" был бы отлучником от заветов аскетизма: и оба святы перед папою в Риме, перед судом небесным.

Нет двух путей, добра и зла,
Есть два пути добра,

как впоследствии поэтически он выразил эту свою мораль. Но корень ее находится в мэонизме и том "безначальном" Мэоне, который, принеся себя в жертву, сотворил мир.

Верить этому или не верить? Игра мастерская, но я удерживаю право на скептицизм относительно вообще самого существа этой игры и самого существа доски, на которой, подвигая туда и сюда разные фигуры,

философы удивляют мир своей замысловатостью. "Может быть — так; но может быть и совершенно не так!" — вот все, что остается у меня последним осадком на душе. Силы автора доказаны, книга его в высшей степени интересна в чтении, а о смерти и Боге мы будем думать так, как нам Господь на душу положит. *Suum cuique*¹, и авторам, и читателю...

1907

То же, но другими словами

Все нам позволено, но ничто не должно обладать нами.

Ан. Павел

Я прочел, не без отталкивающего чувства, в "Весах" длинную повесть г. Кузьмина; точнее, — заглянул в нее в некоторых местах. В одном месте описывается длинный коридор, кажется в бане, — и в отворенную дверь несетя "прелый запах кислых щей". Этот "прелый запах кислых щей" обволакивает и весь рассказ, и нам кажется, его следовало бы озаглавить не "В лугах", а "Около кислых щей" или даже проще: "Кислые щи". Около кислых щей и бань производится "баловство одного барина с банщиком Борисом" и припоминается, — *по этому поводу (!!!)*, — Антиной и имп. Адриан. "Се лев, а се человек", и после такого припоминания двусмысленный рассказ автора "Кислых щей" становится совершенно прозрачен. Между тем Адриана и Антиноя, вероятно, стошнило бы от омерзительного банщика Бориса и банных приключений: неужели древние *это* любили?! Бррр... "Старосте нельзя вынести менее пяти целковых, а потому нам, двоим, за баловство пожалуйста десять". О, мерзость! И какая безвкусица у автора: припоминать около этого случая об Антиное — все равно что вспоминать о Дездемоне при виде проститутки Чухи из "Петербургских трущоб" Крестовского. Конечно, г. Кузьмин около своих "Прелых щей" может осклабиться и ответить: "Для че не вспоминать? *Одно и то же делают Чуха и Дездемона*"... На это можно только улыбнуться и махнуть рукой.

"Васька как вошел, — и говорит: "Сколько же вы нам положите?" — Кроме пива, десять рублей. — А у нас положение: кто на дверях занавеску задернул, значит, — баловаться будут, и старосте меньше 5 рублей нельзя вынести; Василий и говорит: — Нет, ваше благородие, нам так не с руки. Еще красненькую посулил. Пошел Вася воду готовить, и я стал раздеваться, а барин и говорит..."

Мне кажется, за такую гадость можно дать не "десять рублей", а только сто розог. И неужели, неужели автор так мало образован, что не помнит из Пушкина:

Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись: навек ты мой;

¹ Каждому свое (*лат.*).

Тот же в нас огонь мятежный,
Жизнью мы живем одной...
Не боюсь я насмешек¹.

Дальше не цитирую, потому что дальше и Пушкину не удалось: язык получается физиологический и геометрический "без роз, запаха и вкуса", т. е. как бы немой, ненужный, нецелесообразный. Ведь в "Щах" Кузьмина явно *ничего нас не может привлечь*, как и никого; между тем, очевидно, у Антиноя, Адриана, арабов (у Пушкина стихотворение озаглавлено "Подражание арабскому") есть что-то привлекательное, чарующее, душистое, сладкое здесь. *И оно-то именно и влечет*, и, не указав на это или не постигнув этого, просто нельзя говорить о самом факте. Тогда мы услышим диалоги вроде следующих:

— Я желаю жениться на NN...

— Что же, у нее есть vulva: женитесь.

Тогда мы дойдем до рассуждений наших протоиереев: "есть V... совокупление возможно: значит, и брак может начаться" или "продолжаться", — и вообще "вечен, нерасторжим: потому что куда же денется" или "девалась" V... Они на этом и построили "нерасторжимость брака". "Нерасторжимо" — потому что безлюбовно, "нерасторжимо" — потому что мертво, "нерасторжимо" — потому что все резиновая мануфактура в ремешках из гетр.

* * *

Г-на Кузьмина я не знаю, и мне нет причины испытывать боль от его дурной работы. Я недавно прочел длинное и сложное стихотворение г. Вал. Брюсова, посвященное Эросу: и готов был заплакать от его неудачи. Так давно следовало бы начать говорить полными словами о всех радостях, которые дает нам и целому миру Старейшее божество или старейшие божества: ибо их, конечно, *два* и к ним приложимы те не цитированные мною стихи из Пушкина, которые теперь уместно привести:

Мы точь-в-точь двойной орешек
Под одну скорлупой.

В самом деле, никто не дал полям, лугам, небесам (*двойные* звезды, друг возле друга вращающиеся), земле, человеку столько невинного, не причиняющего никому страдания, блаженства: такого правдивого! Это отсутствие *лжи* в Эросе — поразительнейшая его черта: ибо где у "бога"

¹ Или в которой-то из "1001 ночей" еще лучше: "И когда Саид шел со своим дядею, — то он был прекрасен, как луна в четырнадцатый день месяца; и все торговцы Дамаска, покинув свои товары, выбегали из лавочек и, не осмеливаясь приблизиться, издали следовали за ними и любовались юношею. Дядя же Саида, видя это бесстыдство, начал бросать в них камнями". Это тропическое очарование, в котором мы, люди севера, ничего не понимаем; или понимаем его очень редко и страшно немногие. Тут, может быть, какое-то действие солнца на кровь. И "fatamorgana" в Сахаре есть, а у нас — нет.

бледны щеки — наступает обман, фальшь; а пока он играет улыбками и цветами — какая все правда "в его владениях". Г. Вал. Брюсов описывает эти "владения", но мне хочется ему повторить замечание Фамусова, обращенное к слуге, неумело взявшемуся за календарь. И он, "как по календарю", исчисляет "цветы" Эроса: но — увы! — это мертвые цветы, уже не благоухающие. А где *жизнь и живое* не дает благоухания, там она дает *зловоние*. Минералы "отвратительно" не пахнут, никакие; запах дохлой собаки *непереносим*: но это оттого, что так *пахнут* розы, левкои...

Он, при описании "садов Эроса", хотел выразить ту мысль и истину, что мы, конечно, ошибаемся, предполагая их или восприятие их сосредоточенными в каком-нибудь месте или имени. То же египтяне говорили: "Изида *тысячеименна*". Мне всегда казалось, что живая жизнь, т. е. целый *организм*, иначе сказать, — целый *Универс* оттого и рождается, может родиться из "Эроса", что это бог "универсальный": и вулкан, кующий металлы под землю, и легкие эльфы, едва задевающие нас сплетенными из света и ароматов крылами, все есть в его существе. Все, все, механика, физика, химия, биология, поэзия, церковь, вера, рассуждения, философия — все это только "одежда Эроса", легко носимая им на крыльях: вот как вата и "серебро", обвивающие и осыпаящие зеленую елку, которую я только что убрал в эти 11 часов ночи 24 декабря; убрал и, убирая, почему-то думал о гг. Кузьмине и Вал. Брюсове, шепча себе: "Не так! Не так!"

В "Эросе" все есть: не *красивого* нет. Это — у протоиереев "эрос без красивого". Всемирно щеки его бледнеют, когда красивого нет. Но тогда как же "универс" и "универсальное"? Боже, но ведь любят и безобразных, безобразное: он утешает *всех*. Но он именно "утешает", т. е. для утешаемого имеет прелестный вид, привлекателен, чарующ, "лучше всего на свете". Красота Эроса именно мистическая, внутренняя и всеобъемлющая, далекая от "кажущегося", от "видимостей"... Эрос делает улыбки *тому, кому их делает*: а прочим они могут показаться и "гримасами"... но один-то, тот ею наслаждается и говорит: "Вижу, вижу крылышки! Это — бог, а не летучая мышь".

Об "Эросе" может петь только "эротический человек", как, впрочем, и о Боге может рассуждать только "верующий человек". Притом — в часы молитвы: а "Эрос" открывается в полном и *настоящем* виде только в эротические минуты. Невинная природа не говорит ни на французском, ни на русском языке: она *совершается*; вот и "Эрос" — он весь *совершается*, в *совершениях*, безгласен... А мы, следя за "совершениями", и должны заключать о его природе. К чему тут стихи (у Вал. Брюсова), проза? Прошел, увидел, промолчал. От этого у древних их храмы были полны животных; так и наше "Рождество Христово" пришло на землю около ясель, коров и лошадей... Все *родилось*, все будет *рождать*; это не "резиновая мануфактура" наших протоиереев. Христос пришел среди поля, трав, этих восточных маленьких осликов, в "вертепе Господнем". Все — природа, душистая, пахучая: не тем мертвым ладаном, каким попы кадят около покойников и вот им же будут кадить около "Рождества Христова".

Но я отвлекся. "Как по календарю" Вал. Брюсов исчисляет, как и чем мы наслаждаемся в "этот час": строки его бегут, я помню, он

усиливается, стыдится, нажимает и, наконец, выжимает ту строку, где говорится об ощущении Эроса особенно тонком, где наслаждение доходит до "души", этой "психеи" нашего существа, как бы наполняя пламенем всю полноту физического и духовного "я". Но Эрос безмолвен и о себе не рассказывает: он — не Иловайский. Я говорю, восточные храмы наполнялись животными, а "верующие" проходили, видели все, о чем описывает Брюсов, и каждый слагал в своем сердце, отлагая до нужного часа. Разве мы иначе дышим, чем коровы и быки? И наше дыхание, кровообращение и проч. разве "менее уважительно, достойно и чисто", что оно походит на обыкновенное животное? Древние перенесли на небо "животные фигуры": "телец", "дева", "скорпион", "стрельцы" и проч.; остаток чего мы видим в наших астрономических атласах. Все "животное" (живое) — небесное, а "небеса" — животны (живы). Так думали древние: и не старались дышать иначе, чем животные. Это "отцы пустынноики и жены непорочны" христианства начали *переименовывать* как-то и дыхание; "чтобы не походить на подлых животных"; невинные жены, на островах Архипелага, "дышали", любили и ласкались среди стад и как в стадах. А "как" — это они видели в храмах и не писали об этом брюсовских стихов. Не нужно было. "Природа" на всех языках говорит одинаково, и на всех говорит невинно. Брюсов в пошлом выжатом стихе говорит о том, что розы благоухают. Вот открыл Америку, которую мы видим в лугах, в лесах, в стадах: кто этого не знает и что за розы без запаха? Таковую бросают. Без запаха и медвяного нектара — это просто "протоиерейская тухлятина", нужная этим невзыскательным господам. Иначе мыслит весь мир. Как-то года три назад мне попалась брошюрка, изданная в Ревеле какою-то заботливою матерью. Старушке, должно быть, лет 50, и уже у нее только "воспоминания". Брошюра называется "Советы матери перед замужеством своей дочери". Вся она буржуазна, наставительна, экономна, страшно-страшно заботлива в отношении "счастья моей дочери". На обложке и затем повторено на заглавном внутреннем листе, как эмблему брака и "будущего счастья моей дочери", она взяла чашечку цветка, похожего на этот желтый цветок с белыми лепестками, наш обыкновеннейший полевой цветок (забыл название, хоть оно всем известно): к нему, но не прямо, а как бы делая в воздухе дугу ("вьется около цветка"), подлетает сумеречная бабочка, с этими характерными узенькими крылышками. Где только старуха все подсмотрела?! Язык брошюры, заботливые мысли (настоящая помещица Коробочка из "Мертвых душ") — все не оставляет никакого подозрения о подлинности и искренности брошюры, о ее неподдельности. "Декадентов" она не читала, об Оскаре Уайльде не слыхала. Но вот представление: "Дочь моя — ты цветок! И до этого дня тебя никто не посещал! Ты, однако, зрела и созрела для судьбы, о которой никто тебе не говорил (благородное молчание!); с этого дня, на который благословиться ты идешь у Церкви, у Бога, у Всемирного Пáв'а, — будет некто, кто будет в поздний вечер прилетать к тебе, и вот ты как цветок, а он как эта бабочка... Видела? Запомни, наслаждайся и услаждай".

Некоторые страницы текста ворчлива в отношении "мужчин нынешнего века", которые "не знают меры" и которым "все пресное быстро надоедает, так что они, в случае отказа у супруги, обращаются к прислу-

ге, ищут ласк женщин необразованных и даже некрасивых и немолодых”, — от чего, конечно, гибнет семья и будущее, и заключительный ее совет: “Ты с мужем можешь себе позволить все, все...”, с этим именно много-точием и с упоминанием: “я говорю, как мать и жена, все сама испытывавшая”, — признаюсь, все это действует больше, чем стихотворение Брюсова! Только не называя имен, старушка подводит мысль дочери, даже наводит на мысль дочери то, о чем Пушкин опять так поэтически сказал:

Клянусь, о матерь наслаждений,
Тебе неслыханно служу:
На ложе страстных искушений
Простой наемницей схожу!
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
И боги грозного Аида!
Клянусь, до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утолю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утоблю!
Но только утренней порфирой

и прочее. Тут из стихотворения Пушкина я, варвар, тоже выкинул бы некоторые строки: во-первых, всю арматуру древних богов и далее — все жесткое, стучающее, грязное — как и заключительное, положительно гадкое, христиански-клеветующее на великого “бога”.

...под смертною секирой
Глава счастливец отпадет!

Как это не нужно! Как этого не бывает! Добрая ревельская старушка “все сама испытала”, сберегла семью, “ни в чем не отказав мужу”, и посоветовала дочери исполнять кротко все то, больше чего, *наверное*, не делалось и в Египте и что просто *совершается* в каждой русской деревне и в каждом стаде животных, тех милых невинных существ, которыми древность так мудро наполнила храмы. Своей иллюстрацией к книжке, этим безмолвным разъяснением, так *полным*, до того *наивным*, она даже сказала больше, чем я, Пушкин, Брюсов и все египтяне. Дочь могла бы, будь она резвушка и уже многоопытная, покатиться серебристым смехом и сказать:

— Ну, мотылек подлетел к цветку: что же он будет делать?

Здесь не нужен Брюсов, а страница ботаники с иллюстрациями, об “оплодотворении растения через опыление насекомых”. Это неизмеримо выразительнее “Египетских ночей”, а в “советах матери ее дочери перед ее замужеством” это вообще чувственнее, нежели я что-нибудь читал из псевдоэротической литературы, и волнует действительно глубоким волнением.

— Ну, что же мотылек делает с цветком? в цветке? около цветка?

Можно видеть, пройти и исполнить.

И вместе, у “матери, советующей дочери” это так правдиво, нужно и утилитарно. “Чтобы не разрушилось семейное счастье”: такая ос-

новательная забота. И "я сама испытала — ничего *горького*". Великое "покрывало Изиды" соделало, что все "кому не нужно" и "в час, в который не нужно" кажется горьким; но в долгие часы вдовьего "вспоминания" оно уже не кажется таким; напротив, едва ли оно не кажется самым сладким, и мать грозит "разрушением семейного счастья", просто чтобы устранить с дороги стыдливость, суеверный страх, внушения религии нашего "старого Православия". — "Что поп скажет на исповеди". — "Ну, что поп скажет на исповеди: хуже, если оставит муж. А поп отпустит грех, и только. *Мне отпустил*".

Вообще, мне кажется, что никакие стихи и никакая проза не зашли "так далеко", как просто *есть, совершается*. И совершалось во все века, "даже до сотворения человека", — вот просто у невинных, — совершенно еще *невинных*, — животных! Это и *больше ничего* не может сотворить и человек; а это — *невинно*. Тут отсутствие имен, названий, есть только "покров Изиды": тот "покров", который простерт над всею природою, в которой цветы усиленнее благоухают ночью, звери убегают в чашу леса для соединения, и сама земля, земной шар, отворачивается от солнечных лучей и погружается в мрак: дабы все твари почувствовали себя наедине и в уединении таком, как бы, кроме их одних, его одного, никого и ничего на свете не было. Ночь — полное уединение, полное разъединение, т. е. это полная свобода! "Изида" все соделала, чтобы ласки были полнее, "как душеньке хочется". Кстати, если верить (и мы именно верим) знаменитому "Родословию И. Христа" в первой главе евангелиста Матфея: "такой-то роди такого-то", "такой-то такого-то" и т. д. и т. д. до заключительного "от Адама, *от Бога*": то нельзя не сказать, что положительно, истинно и универсально <на> вопрос о том: "как же следует смотреть на брак?", "кто прав, семейные или монахи?", "как учит религия?" и, наконец, "*как смотрит Бог?*", нужно ответить:

— Бог есть наш Отец Небесный, Отец всех нас и вместе всех им сотворенных тварей: на соединение которых Он смотрит, как родители каждой сочетающейся твари, как отец и мать на брак своих детей, как вот эта ревельская старушка на замужество своей дочери. Но Он всемогущ, не увещает, не печатает стихов и прозы. Он *вдохнул* все это нам, и это просто — *исполняется, есть*. И оттого это ощущается все так жадно, как ничто другое в природе, — что это божественнее всего остального, *непосредственно* — божественнее. И мы дышим и не надыхающимся этим, глядим и не наглядимся, вкушаем и бессмертны. Это вообще есть бессмертная стихия мира: и даже более, чем только обладающая вечным существованием; ибо она растет, и каждая капля ее преобразуется в море, а минута в века. Рождение — это квадрат, куб, сотая степень бессмертия! Оно неизмеримо его выше; оно содержит в себе "бессмертие" как дробь и малость! И то, что этим "кубом бессмертия" награждается человек за час своих ласк: по этому можно судить, что главный наслаждающийся в них есть вовсе не человек, а тот, в руках которого и бессмертие, и концы земли, и судьбы человека. Вот отчего твари, потерявшие способность к продолжению этих ласк, — умирают, как бы не нужны становятся, — не себе, конечно, почему бы им *для себя* и не жить, но кому-то, Кто заведует жизнью и смертью.

"По образу и подобию": Коего сотворена и советовала: ревельская старушка: ведь, может быть, при сумеречных полетах мотылька на

цветок наиболее радующеюся, наслаждающеюся и насыщаемую была и будет она. Не забудем теорию Бентама и Милля, по коему "всякий, даже мученик за веру, исполняет именно то, что ему *всего более нужно и приятно*", и добавим это тем психологическим наблюдением, что "духовные ощущения бывают еще ярче физических, не имея в себе той ограниченности и жесткости, какие составляют удел всего физического и физиологического".

Я сказал о "вдохновении Божества", я должен добавить, что, как и все важное и нужное, оно дается "врожденно" и, в сущности, передается *наследственно*. Организм духовно-физический, в сущности, с каждою ласкою образует в себе *привыкание* к ней, подобное "походке", "почерку", "акценту": которое *наследственно* передает и потомству, с прибавлением тех особенных ласк, которые участвовали в зачатии нового ребенка. От этого — древность и изначальность всего этого "дела" и индивидуальные различия, "прибавления". С одной стороны, "так ласкались до сотворения человека", а с другой — мы можем наблюдать, что с инстинктом всех этих ласк человек, в сущности, и рождается: и от этого так до испуга рано мы можем наблюдать их у детей еще. Ревельская старушка имела бабушку: вот в чем секрет; и написала дочери все то, что хотела бы, но не решилась написать ее мать. И так до "Адама", до "Бога" (Ев. Матф. 1).

Вспоминая апостольское: "все нам *позволено*, но ничто не должно нами *обладать*", я думаю, что "учительная часть здесь должна заключаться в мудром *самообладании* человека, при котором он гармонически мог бы распределить *глубину, всесторонность и продолжительность*. Нигде — утолщений, нигде — перерыва. Нигде грубого и жестокого: последний стих Пушкина *природно неверен*. "Отсюда" проистекает нежность, любовь, привязанность. Два существа как бы "прививаются" друг к другу, — как это бывает в ботанике в деревьях (прививка черенками). Небесный Садовод знает, как взрастить сад Свой. Итак, умеренность должна здесь присутствовать. Я думаю, древние не ошиблись, введя в храм животных: пример невинного и умелого. Но только человеку дано гораздо больше сил: лошадь живет 20 лет, человек — 70; а весит в семь раз менее ее. Итак, он в 3х7 раз сильнее, "мужественнее" и "женственнее" лошади. Ему поэтому более "позволено", говоря словами Апостола. Так в натуре это и есть: он большим пользуется. Это преимущество более мудрое и поэтическое, более божественное. Итак, в этом большом океане он все же не должен растерять парусов и весел. Компас здесь — далекое плавание. Ничего лишнего *сегодня* — чтобы было *завтра*; или лишнего чуть-чуть. Здесь нужно помнить и то, что очень сладко сегодня — может вовсе не показаться сладким завтра; тут приводит богатая психология, индивидуализм, поэзия и "не учитываемое" высокого одарения. Бл. Августин и Руссо, в избытке своего гения и, может быть, вследствие этого избытка, оба растратили "все" еще в молодости. Они жалели об этом оба ("Confessiones", "Confessions"): пусть это будет уроком "вообще человеку", которому мой, по крайней мере, совет — всегда соблюдать некоторый холодок, некоторый голодок; говорили и спартанцы, учившие: "лучшая приправка к кушанью — это хороший аппетит". В самом деле, только тогда с гениальною свежестью и, следовательно, с бесконечностью глубокого восприятия

почувствуешь "всякий уголок, всякий волосок", как говорят путники и парикмахеры. И капля влаги, если она проглочена в пустыне, куда больше *помнится*, чем самовар чаю, выпитого в трактире. Я говорю "помнится": а мы будем стары, и нам нужны "воспоминания". А то Руссо и Августин все плакали: нужно и улыбнуться.

Ночь на 25 декабря 1906 г.

К. П. Победоносцев

I

Умер Победоносцев. И с ним умерла целая система государственная, общественная, даже литературная; умерло замечательное, может быть самое замечательное, лицо русской истории XIX века; сошел в могилу, "тихо скончавшись после продолжительной болезни", — как написано в его скрологах, — целый *исторический стиль* законченной и продолжительной эпохи.

Человек стиля немногим пережил стильную эпоху. Он умер в пору, когда она вся разломалась на куски, и бурный поток, клопоча и негодуя, кусок за куском уносил и выбрасывал ее, как щепы разбитого корабля, как кирпич разрушенного здания. В смысле идейном, в смысле "веры, надежды и любви", немногие люди были так *жестоко наказаны*, как Победоносцев. Ибо немногие имели случай увидеть, до какой степени ничего, решительно ничего, из того, во что они "верили" и что "любили" за долгую жизнь свою, что *созидали* и *укрепляли*, не уцелело, — все погибло, и притом безвозвратно.

— Дела мои умерли раньше меня. Как я несчастен!..

— Дела мои умерли раньше меня. Как я могу жить?!..

Это неумолчно стучало в его голову два последние года.

Имя Победоносцева все знали, вся Россия. Вся Россия знала этого крепкого, установившегося, "решенного" человека, который не знает поправок, отступлений, уклонений в сторону, компромиссов, сделок. "Систему убеждений" его все знали же. Таким образом, за долгий период времени, за три последних царствования, никакая другая "идейная" фигура, или "официально"-идейная, не была так ярко видна, так выпукло освещена. Он был похож на большой портрет в раме, поставленный в актовом зале гимназии среди шумящих, резвых, шалящих учеников. Как они здоровы, юны, задорны, грубы и невинны! Гам и шум кругом. Но все оглядываются на раму с портретом: сухой и старый "дяденька" из рамы вот-вот поднимет тяжелый, мясистый палец и погрозит всем.

И притихали одни.

Резвость других переходила в дерзость.

На место раскатистого ребяческого смеха появлялась желчная усмешка.

Родились раздражение, желчь, отчаяние. "Портрет" все сухо, недвижно стоял. Но, как он всех сдерживал и всем грозил, то, по истечении достаточного времени, около него шумел уже не юный зеленый гам, а красный хохот, бесстыдные движения, визг и свист.

- Что бы сделать с этим "портретом"?
- В самое бы неприличное место его вынести?
- Перевернуть вверх ногами?
- Разодрать? Разломать?

Это шумела революция около "вышедшего в отставку" обер-прокурора Св. Синода, статс-секретаря и члена Государственного Совета К. П. Победоносцева.

"Портрет" был вынесен. Он еще жил и уже был "вынесен". Горькие минуты, два бесконечно тянувшиеся года.

* * *

Меня всегда поражало глубокое несходство, даваемое лично при встрече К. П. Победоносцевым, с тем впечатлением "общеизвестного портрета", какое от него ложилось на всю Россию, и, очевидно, тоже небезосновательно. Для России это всегда были "угроза" и "препятствие". "Не надо", "остановить", "затруднить" — в этом состояла вся "система" его, длившаяся, однако, четверть века; и как ни коротки эти афоризмы, но, приложенные без вариаций к тысячам крупных и мелких дел государства, просвещения, церкви, они, действительно, образовали целый "стиль". Знаменитое щедринское "тащить и не пущать", которым великий сатирик ударил по нашей бюрократии, ударил по ней, как по чему-то невежественному, безграмотному, жестокому и темному, ни к которому бюрократу и ни к одному ведомству так не приходилось, — "как форма, сшитая по мерке", — как к К. П. Победоносцеву и его "духовному ведомству"... Здесь, действительно, все "тащилось" и "не пущалось"... Самые сложные учреждения и отдаленные, так сказать, вкрадчивые меры принимались к тому, чтобы не только за свой век и от себя лично "тащить и не пущать", но чтобы и после будущее поколение было, так сказать, сковано этими мерами и, получив определенные учреждения в наследство, тоже уже невольно вынуждено было "тащить" и "не пущать".

Таковы были его церковно-приходские школы.

Таковы были его светские миссионеры.

При помощи первых он намерен был выместить "вольный дух" из народной школы, заведенный в них земствами и земскими учителями. Взамен *общеобразовательной* и *неопределенно*—образовательной школы он дал народу *конфессиональную* школу, т. е. *вероисповедную*, как бы призванную только отвечать: "Верую в Бога Отца, Вседержителя, Творца... и жизни будущего века. Аминь". Эту школу с "аминем" он отдал под наблюдение и в распоряжение духовенства, в том тонком психологическом расчете, что уже личный эгоизм каждого священника-законоучителя-начальника и слитный эгоизм целого сословия начальственно-учительского толкнул его на суровое, беспощадное, неумолимое проведение своего "аминя" и вытеснение всяческого духа, ему препятствующего, с ним не согласованного.

— Я положу семья, из которого, по жесткости, грубости, темноте, лукавству и странной настойчивости нашего духовенства, вырастет такая охрана для "Верую, Господи, и исповедую", о какую как брызги

разобьются презренные волны разных учительских семинарий и учительских институтов, этих земств и т. п. временной слякоти.

"Желчная улыбка" выдавливалась на губах народных учителей, "отныне поставленных в подчиненное и ответственное положение перед товарищем законоучителем". Желчная улыбка играла годы. Шла скрывающаяся, шипящая борьба в каждом селе, почти в каждой деревне, между учителем и учительницей, *все время бывшими около ребят*, и между "наведывавшимся" в школу законоучителем, которому было "некогда" учить и только-только было время "заглянуть, проверить и донести"... Эта борьба, по миновании достаточного времени, выразилась в "учительском всероссийском союзе" и в знаменитых резолюциях учительских съездов... Она выразилась и в том, что обученные угнетенным и поднадзорным учителем крестьянские ребята выросли и, придя в парламент, сели на левые его скамьи, сели подряд.

Ребята, невинно игравшие до тех пор, "ставили вверх ногами" грозный портрет...

Но и среди священников многие нерадивы, вялы, ленивы, некоторые с "душком"... Семинария, отданная в распоряжение монахов, и хорошо подобранный курс наук в ней обеспечивают "закваску фарисейскую" в сословии; но надо, чтобы эта "закваска" бродила и подымала тесто в каждом месте обширного отечества. К. П. Победоносцев положил начало штату светских "миссионеров", этих особенных любителей церковности не в тезисе ее, не в положительном выражении православия, а в его полемике, споре и опровержении "иномыслящих". Мирное и дремливое православие, через этих миссионеров, рассеянных по всем епархиям, переведено было в положение оборонительное и наступательное, вообще воинственное. Говоря зоологическими терминами, в существе травоядном и молочном Победоносцев начал растить зубы и сгущать кровь... Это "подпустить крови" и "подпустить зуба" было одною из многочисленных черт католического характера, появившихся в новом православии, — появившихся самостоятельно и внутренно, без подражания и заимствования. Сюда мы относим и нервно-патетическую церковную живопись Васнецова и Нестерова. Нет сомнения, что учреждением светских миссионеров, которые введены были "экспертами" на суд при разбирательстве церковно-религиозных дел, превратившимися в свидетелей, показателей, судебных следователей и прокуроров от лица церкви и с авторитетом церкви, у нас положено было начало инквизиции. И за немногие годы своего существования эта "духовная миссия" внутри России наполнила тюрьмы "еретиками" или "похожими на еретиков" страдальцами, и от глаз их не ускользало ни одно село с "упорствующими" старообрядцами, с подозреваемыми хлыстами или шалопутами, с "собирающимися читать на частных собраниях Евангелие" штундистами или якобы штундистами, как не ускользнули ни великосветские религиозно-мистические течения в Петербурге, ни народно-религиозные движения на Кавказе, Дону и Волыни... Глаз миссионера везде подглядывал, обвинял и доносил, а нити всего этого, через посредство известного В. М. Сковрцова, "чиновника особых поручений при обер-прокуроре Св. Синода" и редактора полуказенного "Миссионерского обозрения", собирались в крепкие, мясистые пальцы К. П. Победоносцева. Не в переносном, а в буквальном смысле, или, лучше, и в переносном, и в буквальном смысле, В. М. Сковрцов был "истинно

русский человек”, с коротеньким катехизисом в голове, где генералы в звездах перемешивались со святыми ”угодниками” в золотых венчиках на голове и все образовало такую ”поклоняемую” толпу и кучу из ”святых”, сановников, мощей, окладов жалованья, небесного царства, казенных квартир, благодати, целебной святой воды, обязательной подписки на журнал, французского языка и модных галстуков, какой, вероятно, никогда не было видано на Западе, но которая довольно точно воспроизвела или воскресила Византию VII—IX века... Тут молились, ”выслуживались”, хватали за горло и обирали и в заключение опять ”молились” или, лучше, все время молились ”во славу св. Руси и Живоначальной Троицы”. В. М. Скворцов был ”немудренный человек”, где все это уживалось без всякого протворения и с полной искренностью и горячностью каждого порознь элемента. Но каким образом все это могло совмещаться в единой душе самого К. П. Победоносцева, который не был ни наивным, ни недалеким человеком, — это разобрать очень трудно.

Через миссионеров, которые находились в живых и личных связях с В. М. Скворцовым, а сам он находился в постоянных сношениях с К. П. Победоносцевым, этот последний взял в личное наблюдение все необозримое духовное сословие России, давая на него в каждой точке, где нужно... Духовное сословие никогда не было так придавлено и задавлено, как при нем: награждено жалованьем, пенсиями — это с одной стороны, но и ”службою подтянуто” — это с другой. И опять эта ”желчная улыбка”, выдавившаяся на губах ”неблагодарного сословия”, и ”левые выборы” от духовенства в Думу...

Все и согласно выносили ”портрет” в наиболее неприличное, какое нашлось бы, место...

* * *

Такие вещи, как светское миссионерство, как церковно-приходские школы, были так выпуклы, многозначительны. Они говорили всей России, и говорили определенным образом. Сомнения не было: с Победоносцевым, с его именем соединена была громада чего-то темного, мрачного, жестокого, что надвинулось на Россию и упорно не хотело уйти, что отстаивало себя и свое положение. По этому основному и общему впечатлению, ложившемуся от *дел* его, в России составилось представление о *лице* Победоносцева как о чем-то в основе всего сухом... Сухом и черством, недвижимом и строгом, неумолимом и ”богомольце”, немного ”ханже”, даже очень ”ханже”.

— Богу молится и делает скверные дела.

Это стояло над ним черною дощечкою с краткой надписью целые десятилетия... И он этой ”дощечки” не снимал, не делал ничего, чтобы ее отстранить или заменить...

Для меня и до сих пор составляет загадку, где была *истина* в Победоносцеве: в *лице* ли его или в *делах*. В том, как вот ”входит Константин Петрович”, видишь его, бесспорно видишь, натурального, слышишь его голос, интонации его, такие бесспорные, не могущие быть подделанными, — или ”в бумагах, подписанных Победоносцевым” и которые даны чиновникам в бумагах наименований ”для исполнения” или ”к сведе-

нию и руководству"... В конце концов, я думаю, что *истина* лежит в бумагах, все *одного направления*, направления за *столько лет*. А личное впечатление... его надо зачеркнуть, как видение, как "хороший сон" в непогоду, когда на дворе стоит дождь, слякоть и мерзость...

* * *

В комнату, где было 3—4 скромных лица, — между ними какой-то знаменитый (мне сказали) устроитель церковной музыки и хоров, еще образцовый учитель образцовой же сельской школы, томимый сомнениями лесовод Кравчинский, брат Кравчинского-Степняка, автора "Подпольной России" и убийцы генерала жандармов Мезенцева, знаменитого эмигранта, — вошел еще господин... На вопрос мой, кто это, мне шепнули: "Разве вы не узнаете: это Константин Петрович".

Я с величайшим интересом стал всматриваться.

Высокая, очень высокая фигура оканчивалась маленькой головой женского, красивого сложения, почти без растительности на подбородке и губах... Это отсутствие волос на ожидаемых местах, по зоологии "вторичных (сопутствующих) признаков мужского пола, мужской силы и мужской зрелости", составляло бросающуюся в глаза особенность вошедшего в комнату нового человека. Давно я наблюдаю, и это можно проверить по историческим портретам, что люди особенного значения или исключительных талантов никогда не имеют "общей физиономии", "общечеловеческого" лица, "вот как *все*", что в лице таких людей всегда есть отступление от нормы, — увы! — большею частью в сторону некрасивого... Еще гимназистом, любя философию, я собрал портреты-фотографии знаменитых философов. Это были также "непростительные уроды", каких показать сразу и живьем в комнате — значило бы напугать или разогнать публику. Достаточно сказать, что Сократ, знаменитый в древности урод, был еще из самых красивых. Но что представляло собою, например, лицо Локка или губастое, с чудовищным ртом лицо Декарта, — это даже неприятно вспоминать. Как известно, Суворов был до такой степени некрасив, что не входил в комнаты, где ожидал увидеть зеркало. Конечно, встречаются и исключения из этого (лицо Паскаля), но именно как *исключения* редкие...

Лицо вошедшего нового человека мне, впрочем, сразу понравилось, как именно женское, женственное лицо, без бороды и усов (какая-то ерунда вместо этого), не *сбритых*, а *не выросших*, нежного очерка, с белою или очень бледною кожей... Это была пожилая, немного старая женщина, т. е. старый женский бюст, с сухою плоскою грудью, без "грудей", посаженный на высокое и сильное мужское тело, немного сухопарое, плоское, если смотреть сбоку, и широкое, если смотреть с лица... Какие-то большие ноги и большие руки. Точно в комнату входили руки, ноги и голова, а прочее тело возле них только "между прочим". Человек мысли, движения и захвата, — как этого не подумать? Мне он понравился, хоть был и "без грудей". Но я — мужчина. Можно же представить себе ту степень органического, темного, неодолимого отращения, отталкивания, какое, несомненно, он внушал самым приближением своим, самым присутствием вот в комнате всему, что имело

в себе женский инстинкт, женский взгляд, женские вкус и тяготение. Суворовское испуганное "не подходи к зеркалу" для Победоносцева варьировалось в испуганное, томительное, зловещее "не подходи к женщине".

— *Lasciate ogni speranza voi, ch'entrate*, "оставьте всякую надежду входящие сюда"...

Для читательниц слова мои будут ясны, а *читателям* я замечу, до чего для нас, мужчин, *невыносимы* женщины "солдатского профиля", женщины с *мужеобразными* лицами, с грубым голосом и мужицкими движениями... Для нас *прелесть* другого пола выражается в *дополнительном контрасте* с нами, во всем *обратном* с нами: в нежности, грации, податливости, уступчивости, в глубоком, нежном голосе и неуловимых, мягких движениях. Это мы зовем "женственностью", требуя ее во всем, от души и пения до походки и рукодельев. Очевидно, это самое есть и в ожиданиях женщин: они требуют *мужского* от другого пола, этого очерка "героя", от поступи и повелительности до подвигов и бороды...

В Победоносцеве ничего этого не было; даже не выросла борода; что-то ужасное и коварное в этой линии ожиданий и требований...

Между тем, Бог и родители его соделали... мальчиком, малюткой, отроком, юношей, мужчиною, старцем.

От которого все уходили, *не могли не уходить*, как от отрока... Я говорю о цветных нарядных кофточках.

И никто не приблизился к нему как к юноше... Говорю о шумящих шлейфах.

И также он был *органически не нужен* как мужчина, как пожилой человек, как старец...

Он был неизменно приятен, полезен, нужен только людям своего пола и своего костюма. Но это ужасное *одиночество*, едва он входил в другую половину рода человеческого, вероятно, не без причины именуемую "прекрасною", эта "пустынность вокруг", едва он входил в сад цветов, ароматичности и неги, должны были от ранних лет положить на его душу такие впечатления, о силе и остроте которых мы не можем судить. "Исключительная личность и исключительные впечатления"... И все черного, горького значения...

Я передаю свои мысли, как они толпою хлынули в мою голову, когда я разглядывал знаменитого государственного человека приблизительно в 1895 году... Все мы были его моложе, но этот старик казался моложе нас всех, по крайней мере, живее, оживленнее, в движении, речи, легкой изящной шутливости, бесспорном уме, светившемся в его глазах...

Приятна была еще его вера в свой ум, достоинство: он был глубоко спокоен, глубоко ничего ни у кого не искал; никто ему не был нужен *для себя* (для него), и от этого он еще свободнее, легче и добровольнее давал из себя ласку другим. Она не заключалась в словах, не была выражена, — она неопределенно лилась из него, как в высшей степени счастливого, спокойного и благожелательного человека.

"Какой прекрасный человек!" — я подумал.

II

В этот первый раз, когда я увидел Победоносцева, я увидел и "луну, вечно сопровождавшую свое солнце", — Вл. К. Саблера. Он вскоре вошел в ту же комнату. Бравый мужчина пожилых лет, с седеющей головой, широкий, большой, почти веселый, во всяком случае, очень бодрый, человек без уныния, грусти и меланхолии. "Все благополучно", — говорили его лицо и фигура. Он был весь глубоко обыкновенен, как Победоносцев — глубоко необыкновенен. Когда он шел или двигался, он точно всех расталкивал, даже если этого не было. Такие манеры. Он сел и стал рассказывать, как ему говорили по телефону о какой-то крупной неожиданно пожертвованной сумме от какой-то духовной особы или причастной к духовному миру; потом рассказывал о каком-то заседании, на котором члены "раскрыли свои фонтаны" (красноречия). "У тебя фонтан не хуже других. Что же ты его не затыкаешь?" — думалось. Победоносцев, который тоже очень любит говорить, сочувственно улыбался этому отрицанию со стороны своего "товарища" по должности "фонтанов красноречия".

— Хорошо, когда говорим *мы*... Но когда говорят *другие*, это очень скучно. И... не нужно.

Тут был тот милый, счастливый, изящный эгоизм, который вырабатывается во всяком барстве, будет ли оно барством экономическим, титулованным, сословным или служебным, бюрократическим. Все равно. Суть барства в независимости и силе. Во власти над другими. И оно неизменно отражается в чувстве, в мистике, в природе: "как хорошо, когда я *цвету*, и как скучно, когда *цветут* другие; и... не нужно".

Вечная история, одна в Артаксерксе, Фамусове и Победоносцеве-Саблере. Суть не в человеке, а в положении. Человек сидит на своем месте, но еще вернее, что он сидит *под* своим местом, т. е. весь окружен, подавлен и сформирован условиями того места, кресла, стула, табурета или рогожки, на которых сидит.

* * *

Скажу кратко, что, насколько Победоносцев был ярко государственный человек, настолько же Саблер был ярко чиновником. Оба как бы родились только для этого. Один родился для "соображений", для "плана", другой — для деловой суетоки, хлопот, беганья, мелочей. Но по этой именно причине они в высшей степени дополняли друг друга, были хорошо "сгармонизированы"; и, как мне приходилось видеть потом, В. К. Саблер не покидал Победоносцева даже в редчайших случаях, когда тот посещал оперу (в консерватории). Буквально он окружил его собою: почти нельзя было добиться слова от Победоносцева иначе, чем через Саблера; почти нельзя было до Победоносцева довести своего слова иначе, чем через Саблера. Разве уж что-нибудь очень ненужное и во всех смыслах неинтересное...

— А, батенька, служба?! Опыт!! Гений службы!!!

Это точно выгравировалось на счастливом, крепком, обыкновенном лице Саблера.

Если бы Россия была счастлива, как Саблер!.. Но она и самое духовное ведомство, — кроме этих крошечных пенсий и крошечных жалований, — была ободрана, холодна, голодна, угнетена, раздражена. В ней было везде неуютно. Но в этом кабинете было уютно.

Я припоминаю характерный длинный смех Влад. Соловьева, с которым он передавал мне:

— Иван Давыдович (Делянов) говорит: "Со всех сторон я слышу жалобы, что церковь у нас мертва. Нет, отчего же: как хлопочет Владимир Карлович" (Саблер).

Делянов, тогдашний министр просвещения, армянин-старец, был "николаевская косточка". Начав службу при императоре Николае I, он был робок, скромн, ленив, необразован и страшно умен практическою, житейскою формою ума. До конца жизни он ничего не читал, кроме "S.-Peterb.Zeitung", и не знал вовсе русской литературы, ни текущей, ни прошлой, ни журнальной, ни классической. Это, впрочем, не значило, чтобы он не знал, кто был Пушкин. Но люди, чрезвычайно начитанные и образованные не только в русской, но и в западных литературах, говорили мне: "Это антипод Победоносцева: насколько Победоносцев умен теоретическою формою ума, настолько же практическою формою ума умен Делянов". От других людей, профессуры, мне приходилось слышать: "Делянов не от старости ничего не делает для гимназий и университетов. Этот умница мог бы бездну сделать уравновешенного, доброго, умного. Но он циник: будучи сам умен и без образования, он глубочайше презирает существо образования, и ему решительно все равно, что есть и чего нет, чему учат и чему не учат в гимназиях. Он хотел бы только, чтобы не происходило волнений и безобразий, не самих по себе, но потому, что это есть служебная неприятность, и неприятность в его ведомстве".

Дверь его квартиры на Невском была всегда раскрыта "для званных и незванных". Он был совершенно доступен даже для учителей гимназий. И всякую просьбу запомнит и исполнит. Личная его доброта и готовность все сделать для ближнего, сделать и по закону, и сверх закона была безгранична. Когда к нему приходил студент с жалобой или за помощью, и, конечно, с этим известным "студенческим духом", то он, беря его за пуговицу, вел через комнаты в свой кабинет. Здесь, подходя к какому-то столу, он брал раму портрета и повертывал перед студентом. Тот с изумлением видел общеизвестный портрет императора Николая I. На недоумевающий взгляд студента министр говорил:

— Вы, молодые люди, теперь ничего не боитесь и никого не уважаете. Весьма худо-с. Я вот при ком (указывая на портрет) начал службу и до сих пор его боюсь!! В наши времена, о-го-го!!! Вашу просьбу я исполню, но все обязаны почитать авторитет старших.

После его смерти передавали в Петербурге, что когда было вскрыто его духовное завещание, то оказалось, что лишь небольшая доля его огромного состояния (доставшегося ему по женьтье) была назначена родственникам; все остальное пошло в дар и на пенсии бесчисленным сторожам, — не умею сказать: дома ли его, личной ли его прислуге или прислуге "мин. нар. просвещения", — каким-то его "крестникам"

и "крестницам", рожденных дочерьми и супругами этих сторожей. Черта доброты и простоты тоже трогательная.

Видел я его раз в жизни, на отпевании академика Карла Грота. В каком-то черном пальто внакидку он поражал скромностью и особенно живостью. Фигура и лицо были мизерабельные и смешные. Но видно было, что, смешной сам, он внутренне немного подсмеивался над всеми другими.

— Старая николаевская лисица: с одним "St.-Petersb. Zeit." за душою усесться в министры народного просвещения в России и "проходить службу" свою так удачно и благоуспешно, как этого, пожалуй, не удавалось никому до него: осыпан почестями и милостями, никаких неприятностей и ничего не делает.

Он уже был "графом" и имел орден Андрея Первозванного, т. е. "по службе", в смысле отличий, орденов и "милостей", обогнал Победоносцева, да и всех, кажется, сверстников.

Победоносцевым он вечно был оскорбляем, притесняем в Государственном Совете, в комитете министров: Делянов представит какой-нибудь проект, конечно, "для блезиру", — и Победоносцев со всей силой критического гения и радетеля о судьбе отечества обрушится на него. Медведь лез, с ревом, с ломом, на карточный домик, на воробьиное гнездышко, на место, "где курочка по зернышку клевала"; и не то важно, что "проект падал", проект — Бог с ним, можно его и исправить, и представить другой, но выходила "неприятность", члены Государственного Совета качали головами или улыбались и проч., и проч., и проч. Шум — и по-пустому. Старая "николаевская" лисица и улыбалась армянским смехом уже по адресу "ведомства Константина Петровича":

— Говорят, церковь мертва. Не нахожу: как бегают один Владимир Карлович.

Делянов, интересуясь внуками своих сторожей, разумеется, ни малейше не интересовался ни русской, ни армянской, ни какой еще иной церковью. Но он напрягал ум. Действительно, в одной фразе своего гениально-практического ума осветил и отверг и осмеял все то, над чем, "наморщивши чело", пыхтел, старался и ничего не мог сделать К. П. Победоносцев.

— Церковь не живет вовсе... Церковь сгнила и развалилась. Это Владимир Карлович Саблер бегают впопыхах, зарабатывая себе ленту Александра Невского. А самодовольный умница Победоносцев, вечно обижающий меня и презирающий, как неуча, хлопоты своего Владимира Карловича принимает за действия благодати Господней и ищет Св. Духа в плюмаже его сенаторской шляпы.

Саблер, сверх прочего, был и "сенатором".

III

В следующий раз я видел Победоносцева в небольшом обществе отставленных или полуотставленных государственных людей. Тут был один ех-министр, с бритым, некрасивым и неумным лицом; товарищ министра, с очень красивым, но слишком обыкновенным лицом; жена ех-мини-

стра, милая и "чисто русская женщина", из знаменитого дворянского русского рода, ужасно спешно лепетавшая про благотворительность и про гр. Л. Н. Толстого, вставляя французские отрывки фраз всякий раз, когда она решительно не могла их передать по-русски. В первый раз я слышал этот светский говор, великолепные образцы которого даны гр. Л. Толстым в "Воскресении" и в "Войне и мире". Так как общество было русское, а в лице моем и демократическое, то она, очевидно добрая и приветливая, совершенно простая женщина, чувствовала неудобным говорить не по-русски. Но это ей было страшно трудно. Она говорила страшно медленно, очевидно мысленно переводя с французского языка на русский: но в некоторых местах прихотила в отчаяние, и тогда сыпались французские слова, которые она удерживала, и вновь начинала с усилием складывать, как дитя, русские предложения.

Между тем, она была чистокровно русская, и ее урожденная фамилия фигурирует в биографии Гоголя среди ближайших друзей его.

Вошел Победоносцев, светя умом и спокойствием: тем умом и спокойствием, какое я всегда любил в нем, как все приятное и красивое.

Мне кажется, "своя думка", своя недодуманная дума и недооконченное размышление всегда были в нем, присущи ему были и днем, и ночью. И от этого присутствия мысли в его лице, вот сейчас мысли, оно было духовно красивее других лиц, куда бы он ни входил, где бы ни появлялся. Все остальные думают о "сейчас", и эта мысль о "сейчас" — коротенькая, малая. Победоносцев же, входя в обстановку "сейчас", нес на себе остатки и следы именно длинных мыслей, естественно более важных и более красивых, чем обыкновенные. Как ни мало для меня уважительна его деятельность, во взгляде на которую я совершенно примыкаю к определению И. Д. Делянова, тем не менее, личность Победоносцева для меня была и останется неизменно привлекательною. В нем была еще другая дорогая черта — глубокая естественность. Каждое движение его, каждое слово — были натуральны, "как хотелось". Ничего искусственного, деланного, преднамеренного. Никакого, даже отдаленного, намека на хитрость или возможность хитрого. До чего он в этом отношении был не похож на "высокопоставленных карьеристов" Петербурга...

За большим круглым столом рассматривали серию рисунков (около ста), выполненных гуашью (особый род сухих красок). Рисунки иллюстрировали апокрифическое Евангелие от Иакова, имеющее некоторые не канонические, но очень поэтические оттенки текста. Выполнены они были одним глубоко образованным человеком, которого я потом близко знал, и рисовались не торопливо, приблизительно в течение 15 лет, рисовались вдохновенно и прекрасно. Никогда я не видал столько вкуса, ума, выбора и благородной игры воображения над благороднейшими сюжетами, как в этой работе петербургского старожила, чиновника и юриста (по образованию и должности). Много раз я их рассматривал потом. И чтобы объяснить всю серию, приведу хоть один пример.

На слова евангелиста о родословии и рождении Иисуса Христа дан рисунок приблизительно в три вершка высоты и 2 1/2 ширины. Дугой циркуля он разделен диагонально на две приблизительно равные по величине части: это две картинки, как бы два исторические видения, две фабулы истории лит, легенд ли, действительности и религии. В правой

и нижней половине, т. е. *под* разделительную линию, где-то в садах Августа Вергилий читает своему царственному другу и покровителю те знаменитые строфы, где он удивительным образом совпал с тем самым событием, какое в августовское время действительно совершилось в Вифлееме. Строфы эти до сих пор для историков и археологов составляют загадку, что-то непонятное, а доверчивые средние века за эти строфы поместили Вергилия в ряд ветхозаветных пророков, предрекавших пришествие Спасителя. Только у Вергилия это сказано определеннее и яснее, чем у всех пророков: "В дни твои, Август, родится Божественный Младенец, который положит начало новому порядку вещей на земле: от Него выйдет новый закон, и он принесет мир людям"... Сейчас не помню наизусть, но конкретность предсказания удивительна. Итак, в белых холщовых тогах сидят Август и поэт (венки на голове), и, читая по свитку, Вергилий вдохновенно поднял перст вверх. Прекрасная сцена домашней жизни цезарей, когда они еще не перестали быть гражданами. Вергилий ничего не видит, не знает; он poeta et vates, рифмотворец и вещун... Но правда или неправда в его гаданиях — он не знает и сам. Хочется петь о "новом золотом веке", и он поет. Но нам "хочется", а в хотеньях наших, может быть, говорит Бог? Откуда сны? Но Бог, как во сне Самуилу, говорит в них. Так на этот раз удивительными, действительно удивительными строфами римлянина-язычника было описано одновременно происходившее событие израильской истории: тогда как самых имен "Назарета", "Вифлеема", "Иисуса", "Мариам" Вергилий, конечно, не знал!

Удивительно!

Над дугообразною чертою, именно как бы в продолжение и исполнение вдохновенного слова и жеста римского поэта, виделось южное небо, темное с звездами, и в нем Богородица с Младенцем, в том иконообразном сложении, к какому мы привыкли.

До чего было это грациозно, изящно в исполнении. Рисунок занимал верхнюю половину картона-листка, на нижней половине которого были начертаны тушью, крупными "летописными" буквами, латинские стихи Вергилия, сюда относящиеся, — четыре-пять строк.

Все любовались, разобрав по рукам листочки-картинки.

— Это что же? Это что же? — восклицал Победоносцев.

В руках его был первый заглавный листок. В византийском стиле, с этой богатой орнаментацией всяких завитушек и ремешков, нарисована была "Небесная Слава": Престол Господен, и на нем сидящая Пресвятая Троица. Вот Бог-Отец — Старец, одесную Его — Сын; на персях Отца Дух Св., в виде голубя; кажется, по другую сторону Божия Матерь. Я не помню подробностей, но помню, что именно изображен был Престол Божий как символ целостной церкви, целостного христианства. И опять, как на предыдущей картине, проведена была, но горизонтально, черта; то была небесная половина христианства, а вот — и земная. По правую сторону, в клетчатом плеле, идет хлопотливо с чемоданами англичанин; вокруг — африканский пейзаж (миниатюра жирафы, слона): окрест удивленно и богомольно взирают на клетчатого господина голые дикари...

— Это англичанин!.. Явно. Английская миссия в диких странах. Под мышкой несет Евангелие (книжка, может быть, с символом креста), ну,

а главное-то — чемоданы, торговля (небольшой смех, скорее улыбка). Хорошо, хорошо: несут христианство и культуру; много эгоизма, но и подлинная жажда просветить дикарей светом Евангелия, к которому есть подлинный энтузиазм. Может быть, и не лучшее дело земное, но хорошее дело земное. Да, для протестанта — христианство есть культура, отождествено с культурой. И что же: культура богатеет от христианства, а христианство богатеет от культуры. Хорошее поле для евангельского зерна, хотя, может быть, и неподалеку от дороги, где пролетает много птиц, и они выклеивают множество зерна. Труд и суета, эгоизм цивилизации: и в нее павшее евангельское зерно, полузатоптанное, полузаглушенное. А это что? Ба-ба-ба!

На левой части рисунка изображался толстый католический поп, подвязанный веревкой, с бычачьей шеей и бритым лицом; подняв обе руки как бы в защиту себя, он отвернулся от зрелища, явно для него отвратительного. И немудрено: "зрелище" представляла молодая женщина, с ребенком на руках, о чем-то умоляюще говорящая ксендзу.

— Те-те-те! Попался, голубчик. Молодая женщина сует ему ребенка, от него прижитого, а он вздевает руки "горе", отвечая: "Не вем". Мошеники. Лгуны и развратники. А это...

Он разглядывал середину рисунка.

— Не понимаю, что это. Спит монах. Кажется. Может быть, архиерей, — пышная одежда. Знамение креста и куколь. Да это монах наш, восточный. Как удобно улегся. И подушечка. Спит он? Нет, кажется, дремлет: глаза не совсем закрыты. Лицо тупое, сонное и самодовольное. Да, это наша православная церковь.

Кажется, я немного неверно или, точнее, *не полно* описал верхнюю часть рисунка: "Престол Божий" был только над этим "православным" монахом, не простираясь влево и вправо, на англичанина и ксендза: те оба (миниатюры) как бы уходили вдаль "от Христа", один, предавшись заботам культуры, а другой, погрузившись в разврат.

— Чудно! — продолжал Победоносцев, явно восхищенный. — Один отдался торговле, другой — разврату. Нашим дуракам все было дано, но наши дураки надо всем заснули. Ну, и не пробудишь их! Куда. Сытые и видят золотые сны. Это весь наш Восток, ленивый, бездушный, который воображает, что уж если "истина" попала им в руки, то уж что ж тут и делать, "истина" сама за себя постоит, а они могут сладко дремать на сладких пирогах.

Подробностей я не помню: но до "йоты" точно передаю смысл и все оттенки смысла речей Победоносцева. Не то чтобы он говорил с желчью, но с тем давно-давно установившимся убеждением, которое, может быть, когда-нибудь и клокотало, рвалось в дела, в гнев, но давно подернулось корою равнодушного презрения и полным убеждением, что время сильнее человека, а нация, в пороках и слабостях, — гораздо сильнее всяких усилий над нею отдельного человека.

Мне кажется, в одном отношении он был человек *старой*, даже застарелой и как-то *неумной* школы. Он соображал, что "делать", это — значило именно *само*му делать. Как же, залог "добродетели" всех наших служилых людей, начиная еще с Петра. Все "дуги гнули"... Между тем, истина заключается в том, чтобы давать *другим* делать. Между двумя этими программами — целая пропасть. "Самоделание включает-

ся в каком-то отвратительном убеждении, что все люди мертвы, кроме "меня", положим, вот Сперанского, Аракчеева, Д. А. Толстого, Победоносцева. Над этими мертвыми людьми я буду делать, потеть, ломаться и ломать их, пока не приведу все "в надлежащий вид". Но "надлежащего вида" обыкновенно не выходит... И человек умирает, иногда страшно умный, совершенно разочарованный. Другая программа чрезвычайно умна исторически и в то же время удобна, потому что для исполнения своего не требует никаких особенных индивидуальных качеств. Она заключается во взгляде, что все должно "делаться", "само собою совершаться" и что почти все индивидуальные усилия, положим, "высокопоставленного человека", министра и проч. должны заключаться в убрании препятствий с дороги, в снятии пут с человека и людей. Я сказал, что программа эта не предполагает особенного ума. Но она предполагает в человеке некоторый высший дар, нежели ум; добрую душу, скромное признание собственного умственного и нравственного уровня не высшим, нежели у других людей, у так называемой "толпы", и, как плод всего этого, — веру в людей и в обстоятельства. Хотя, по-видимому, Победоносцев придавал "слепым стихиям истории" высшее значение, нежели индивидуальному уму (см. его "Московский сборник"), но на самом деле он был индивидуалист и на слепые стихии истории смотрел как на разбой, почти разбой в своем департаменте. Он не доверял ни народу, ни стране, ни своему поколению. Все это были "грабители", грабившие его чемадан с гладко переписанными бумагами, на которых значилась подпись: "К. Победоносцев".

Все это была недалекая система. Будучи страшно умен индивидуально, он был неумен воспитательно, т. е. он *первый закал обучения и молодости* получил в грубонаивную, положительно недалекую эпоху. Учился в те дни, когда учился и Деянов: но только тот все читал "S.-Pet. Zeitung", а этот читал все, и постоянно читал философов, поэтов, законодателей, историков. Любовь его к чтению была неутомима, и число прочитанных им книг, и любовно вдохновенно прочитанных, — было изумительно. Уже 70-летним старцем он делал в записной книжке пометки о читаемых книгах и выписывал из них прекрасные места. Но это все украшало его ум, не помогая государственному человеку. Как государственный человек, он получил *кривой закал*, если позволительно так выразиться, еще в те 30—40-е годы XIX века, когда в государственной системе России не было никакого другого взгляда, другой системы, как эта добродетельная и узкая система "самodelения"... "Все бы самому", "мертвецы кругом: я один *жив*"... Последние два года его жизни могли бы убедить его в совершенной ложности такой теории. Влад. Карлович Саблер не так умен, чтобы от чего-нибудь поумнеть: но Победоносцев мог бы увидеть, до чего все оживилось *тем самым оживлением, о котором он мечтал и томился: и искренно томился*, в любимой им области церкви, едва он сам отошел от нее, и с ним отошли те бесчисленные запоры, задвижки и заслоны, которыми он всю ее перегородил и заставил. "Богословский Вестник" в Москве (в Троице-Сергиевом посаде), "Церковный Вестник", "Век", "Звонарь" в Петербурге, "Церковная Газета" в Харькове, "Церковно-Общественная Жизнь" в Казани — как все это заговорило, каким языком, с каким *напряжением, с какою ясностью и на какие темы!!!* Но эти люди, там пишущие и издающие, они были

и вчера, и третьего дня те же люди: только им третьего дня и вчера "не позволяли говорить", а сегодня так сложились обстоятельства, что "стало не до них", и они под шумок и под гамок *сами заговорили*. Сами заговорили, и картина сразу стала лучшею. Явилось именно то, что Победоносцев считал безнадежным, — *пробуждение людей церкви*. Ну, что же было всем бежать на побегушках у Победоносцева — никто этого не хотел. И все вяло делали или полудедали в "его ведомстве", которым при нем стала церковь. Но он отошел — если еще не в вечность, то в отставку: и все рванулись делать, для Бога, для Христа, для церкви. Самая должность обер-прокурора Синода насколько отрицательна в самой себе, что, чем *меньше* стоящий на этой должности человек, тем лучше: преемники Победоносцева (их было уже двое) так малы, что на них никто не обращал внимания; и потому открылась возможность службы не им, а *истине, религиозной и церковной правде*. Пока это выразилось отрицательно, в борьбе с религиозною и церковною неправдою, бытие которой признавал даже Филарет, митрополит Московский: но сперва очищают поле, а потом по нему сеют.

Передам еще личное впечатление от Победоносцева: нас сидело человек пять гостей у митрополита Антония; к счастью, был и Скворцов, доверенный человек Победоносцева. Сидели за чаем, и речь непринужденно лилась. Вдруг вошедший слуга что-то шепнул митрополиту, и, улыбаясь, он сказал нам: "Константин Петрович". Сейчас же отворилась дверь, и вошел Победоносцев. Он был так же жив и умственно красив, как всегда. Присутствие Скворцова потому было благополучием, что, очевидно, митрополит был страшно стеснен Победоносцевым и его "высоким саном" и опасался возможности всякого подозрения у него относительно "чистоты своих намерений". Беседа глаз-на-глаз митрополита с 4—5 писателями могла показаться обер-прокурору Синода и не весьма благочестивым делом, а, главное, видом религиозно-государственной "неблагонадежности"... Помнится, он потом и высказывался в том смысле, что "слава Богу, что был и Скворцов". Победоносцеву сейчас был подан стакан чаю, и он весело разговорился со всеми нами, конечно, насчет тех предсмертных дней, которые тогда текли (время Плева). Между другими речами его была та, что "невозможно жить в России и трудиться, не зная ее, а звать Россию... многие ли у нас ее знают? Россия, это — бесконечный мир разнообразий, мир бесприютный и терпеливый, совершенно темный: а в темноте этой блуждают волки"... Он хорошо выразил последнюю мысль, с чувством. Кажется, буквально она звучала так: "дикое темное поле и среди него гуляет *лихой человек*"... Он сказал с враждой, опасением и презрением последнее слово. Руки его лежали на столе:

— А когда так, — кончил он, — то ничего в России так не нужно, как *власть*; власть против этого лихого человека, который может наделать бед в нашей темноте и голодье пустынной.

И пальцы его огромно сжались, как бы хватая что-то. Я взглянул: какое безобразие! При сухопарности всей фигуры, "всего Победоносцева", пальцы у него были толстые, мясистые, налитые кровью. Они были так непропорционально велики, как будто из кисти руки, из ладони, выделялись пять детских красных ручек.

Характерно. Может быть, оттого, что он 50 лет постоянно много писал.

Я думаю, эту особенность заметил гениальный И. Е. Репин. На картине "Государственный Совет" он изобразил Победоносцева сидящим совершенно на заднем плане. Фигура его тускла и не бросается в глаза. Как известно, надо всем Государственным Советом (на картине) царит брюхо Игнатьева, киевского генерал-губернатора, такое классическое, колесом. Но вот характерное: Победоносцев поставил локти на стол и вложил пальцы одной кисти руки в пальцы другой. В тусклом дальнем изображении видно только сморщенное, гневное, зловещее лицо "статс-секретаря и обер-прокурора Св. Синода" и эти ужасные две кисти рук его, точно второе его лицо, столь же характерное, как и женственное белое, умное лицо!

— Хватай! Хватайте все! Иначе — все разбежится и, разбежавшись, убьется, разобьется!..

1908

О "народо"-божии как новой идее Максима Горького

Максим Горький в своей "Исповеди" страстно и горячо провел мысль о том, что *масса народная* — это и есть "Бог, творяй чудеса"... Как все горячее, — это сказалось у него красиво. Но одно — красота, и совсем другое — истина.

"Обожение" русского народа, выраженное Максимом Горьким в его "Исповеди", повторяя отчасти славянофилов, отчасти Гоголя, главным образом и почти буквально повторяет известное исповедание Достоевского, вложенное им в уста Николая Ставрогина в романе "Бесы". Вот отрывки из этого исповедания, как передает их иступленный Шатов, ученик Ставрогина: "...Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала и до конца"... "Единый народ-богоносец — это русский народ, которому даны ключи жизни и нового слова и который грядет обновить и спасти мир"... Как известно, сам Достоевский конец жизни своей веровал совершенно по Ставрогину и его "Дневник писателя", как равно и оставленные заметки в "Записной книжке", свидетельствует о безудержи этого исповедания. Но Достоевский при этом забыл то осторожное замечание, которым сам Ставрогин поправляет исповедание Шатова. Именно, он говорит, что тот в этом исповедании "низводит Бога до простого атрибута народности". В самом деле, это, очевидно, так. Обожение народа, к которому приходит интеллигент, есть довольно естественное заключение его *атеизма*; есть подставка чего-то кажущегося лучшим, кажущегося более утешительным на место пустого и безотрадного безбожия, внебожия. В интеллигенте, который в таком исповедании отрицается от себя и своей личной скудости и кладет свое сердце и ум к ногам громадной и пока страдающей массы народа, — есть что-то благородное. Но представьте *сам народ*, так верующий; представьте француза или русского, говорящего о себе: "Я есмь Бог,

и нет других, кроме Меня”, — и вы почувствуете, до чего это мизерно, жалко, невозможно! Достоевский, говоря в том же исповедании Шатова Ставрогину, что “народы даровитые исключают всех богов, кроме своего”, что “тот народ обращается в простой этнографический материал, который не верует, что в нем одна истина, — именно в одном и именно исключительно”, подчеркивает и усиливает он, и что всякий народ от этого “ищет первой роли в человечестве, исключительно первой”, — выговаривает именно эту формулу, этот призыв и программу: “Пусть для каждого народа его я станет Богом”. Ну-ка, спросить толпу, спросить русских Иванов, Петров: не захотели ли бы они быть Господом Богом? “С нами крестная сила! Что за бусурманство!” — ответили бы они Достоевскому и Горькому. Да и воистину так: никогда человек не сливал себя с Богом, ни как масса, ни как личность. Это — последняя степень безбожия, безбрежное безбожие. Скажем попросту: это — нахальство. И таким нахалом никогда не был русский народ. Напротив, совершенно напротив: русский простолюдин величайшим счастьем считал, и будет считать всякий здоровый народ — умереть за Бога, умереть для Бога, пострадать за исповедание истинного Бога. Народ и каждого в себе лично, и всю свою массу считает подножием другой Истины — не себя и не из своей души вынесенной. “Умираем за греческую истинную веру”, — говорят самосжигатели и морельщики, т. е. фанатичнейшие, могущественные вероисповедники в народе; и в последнем анализе и обобщении — “умираем за Истину, с неба нам данную”. “С неба дано”, — вот величайший для народа критерий подлинности веры, истины веры, настоящего в вере. “С неба” — т. е. именно не “наше”, не “мое”, не “народное”. “С неба” — это другой полюс исповедания Достоевского и Горького. И это вполне правильно: нужно совершенно забыться и личности, и народу, чтобы начать изводить из своих немощей “богов” и “божеское”, “божественный порядок”. Народ русский совершенно правильно ищет “преклониться перед другим”, а не ищет поклонения себе. В миг, как ему сказали бы и заставили поверить: “Нет другого, перед чем тебе поклониться, — поклонись себе”, — народ русский запил бы такую “горькую”, как и не слыхано, и прямо зарезался бы, не захотел жить. Да, право: сочти я себя лучше всех на свете, — я тоже зарезался бы. Должно быть, это — общечеловеческая черта. Ведь это такая скака, такой отрепок веры. Ведь самосознание говорит, что мое “я” — мало, скудно, жалко; и потерять веру, что есть что-то лучшее, — значит, конечно, прийти в отчаяние. От этого народ русский простодушно и нравственно верит, что “у немцев — лучше”, что “англичанка мудрее нас”, что в итоге значит только: “У нас ой-ой как скверно”. И пока есть это скромное и истинное сознание о себе, — народ радостен, живет, надеется и ищет лучшего. Это — в подробностях и это — в мировом итоге. “Бог” — именно “не я”, как утверждают Достоевский и Горький, “не я” и лично, и коллективно, народно. Бог — другое, небесное, т. е. вне-земное. “Пришел с неба и сказал слово”, — вот суть религии и начало богопочитания. Посмотрите, как мы все ищем в мелочах “другого лучшего”; верим, что найдем; радуемся, когда находим что-то “обещающее” в этом роде, и как скучаем, томимся, когда “везде такая же гадость, как у нас”. Таким образом, вера в народобожие есть наша логическая интеллигентная мечта, совершенно не народная — во-первых, совершен-

но противоположная общечеловеческим инстинктам — во-вторых, совершенно атеистическая — в-третьих. Поверим первой строке Библии, что человек создан Богом, что он есть тварь и обусловленное, зависимое; и поэтому он не только не стоит на своих ногах, но и не может и, наконец, *не должен* стоять, а может только опереться на Сотворившего его, который Один безначален и бесконечен, совершенен и силен ко всему. Такое сознание своей страшной конечности и слабости есть первая ступень к религии, есть дверь в религию. "Помилуй мя, Боже" — вот голос пробужденной веры; "кто на море не бывал", т. е. не боялся, не трепетал, не сознавал своей безграничной малости и слабости, — "тот Богу не маливался", — говорит русский народ. И мудрый Давид, и русский простец здесь оба говорят одно и то же. И это пронизательнее Горького и Достоевского. Даже человек огромных и исключительных даров сказал: "Нет Бога, кроме Бога, а я только пророк Его". И Моисей говорил, что он *видел* Бога, а не сказал: "я — Бог".

Личность отца Иоанна Кронштадтского

Личность отца Иоанна Кронштадтского является одною из самых достопамятных в русской истории XIX века. Вместе со святителем Филаретом, митрополитом Московским, он является высшею точкою нашего церковно-религиозного развития, и оба стоят около третьего великого старца, Серафима Саровского. Преподобному Серафиму дан был дар чудного прозрения в будущее, — ум вещей, а сам он был старец уединенных, безмолвных лесов. Филарет московский все время стоял в самом центре государственного и церковного движения, и отчасти он был двигателем событий; ум его и слово его были несравненны в определении догматических истин, и в вещании речей величественных и торжественных. Обе эти личности прекрасно дополнялись о. Иоанном Кронштадтским, *народным* священником, *народным* старцем; все дни коего прошли среди людской громады, среди шума, молвы и народного стечения, на улице и в частных домах, выразившись в делах милосердия, помощи и чуда. Иоанну Кронштадтскому дарована была высшая сила христианина — дар *помогающей, исцеляющей* молитвы, тот дар, о котором глухие легенды дошли до нас из далекого прошлого христианства, и коего Россия конца XIX века была очевидцем-свидетелем. Без сомнения, в непродолжительном времени будут собраны все факты этого чудного дара; но мы, и не дожидаясь подробно и документально засвидетельствованных данных, можем сказать, ссылаясь на всеобщую память и на факты, слишком яркие и дошедшие до стоустой печати, что этих фактов было много, и что они вполне достоверны. За помощью к нему, не ожидаемой, не сомнительной, а твердой и уверенной, шли люди на краю последнего страдания и когда уже оказывалось бессильным всякое человеческое могущество, могущество знания и науки, — шли не одни православные, но лютеране, католики, даже магометане

и евреи, и Иоанн Кронштадтский, как бы переступив за пределы своей церкви и даже выйдя из границ своего исповедания, шел, как всемирный молитвенник и целитель, на помощь всемирной нужде, всечеловеческому страданию. В этом явлении, средоточие которого приходится на последнее десятилетие XIX века, было столько умирительного, трогательного, наконец, оно было так поразительно и величественно, что совершенно объяснимо, почему около Иоанна Кронштадтского образовалось такое же народное движение, то же восхищение и изумление, хотя и в другом совершенно роде, в духе русском, — какое некогда возникало около таких удивительных и народных личностей, как великая Иоанна д'Арк. Здесь были преувеличения, как и там; молва поднимала выше факт, чем сам он стоял в действительности; около слез умиления здесь и там поднялась клевета мелких и мещанских душ, умов здравомысленных и в здравомыслии немощных: но и здесь, и там стояла личность, чрезвычайно подымавшаяся над обыкновенным уровнем, и в которой действительно было нечто чудесное и сверхъестественное. Велика или мала была эта доля сверхъестественного, — не *теперь* и не *нам* рассуждать, но совершенно бесспорно, что она *действительно* была в нем, и именно это-то и возбудило вокруг него то необычайное волнение, коего мы были свидетелем. Многие иностранцы и неверующие, и между ними ученые медики, старались увидеть о. Иоанна Кронштадтского и потом засвидетельствовали, что он в своем роде являет чудо изумительного *душевного и физического здоровья*, удивительную гармонию и равновесие психических и физических способностей. Это — тот язык, которым только и умеет говорить наука; мы же можем перевести этот язык на ту более простую речь, что Иоанн Кронштадтский уже с рождением получил некоторый избыток, некоторый излишек сверх нормы жизненности, вечной жизни, и ее богатства он черпал и раздавал вокруг болящим, немощным и слабым. Чудо физическое, духовное и религиозное здесь сплетены в одно. Здесь мы не отрицаем физики, но физика столь же мало имеет право отвергнуть здесь религию и подлинное чудо. Вот присутствие-то этого осязаемого, очевидного дара свыше, т. е. сверхобыкновенного человеческого, и подняло вокруг Иоанна Кронштадтского неопишемое волнение: люди потянулись к нему не за *помощью себе*, не по *слабости своей*, не среди *своего страдания*, — они потянулись к нему как к живому *свидетельству* небесных сил, как к живому *знаку* того, что Небеса живы, божественны и благодатны. Все это так естественно! Все это — обычная история религии на земле! Мы убеждаемся из *книг и доводов*; народ этого не может; он не может читать толстую книгу, часто не может вовсе читать. Он, как апостол Фома, ищет вложить персты и *осязать*. Иоанн Кронштадтский для своего поколения, и поколения *народного*, явился *личным свидетелем* истины религии; и религии вот нашей, русской, православной; он *"доказал религию"* воочию тем, что он — *молился*, и вот — исцеление *наступало!* Эта вторая, последующая часть его народного значения, чрезмерно перевысила первую, собственно благодетельную и целебную. Он стал *вождем уверования*, воскресителем *веры*; он поднял волну религиозности в народе.

Из воспоминаний и мыслей об Иоанне Кронштадтском

В многомиллионной Руси не найдется сердца, которое бы так или иначе не отозвалось на кончину Иоанна Кронштадтского, не сказало бы об его личности того или иного слова, мнения, взгляда. Последние годы, однако, не более 3—4-х, 5—6-ти лет, взгляды эти разделились, и около прежних восторженных отзывов столь же бурно потекли отзывы сомневающиеся, подозрительные, наконец, негодующие. Но еще так недавно, вот всего лет пять назад, и далее назад, в течение лет 15-ти, не было этого разделения. И вся Русь сливалась в огромном удивлении к народному священнику, народному герою, — но герою не на поприще подвига, а на поприще святой жизни и святого делания. Имя и образ "штатного протоиерея кронштадтского Андреевского собора Иоанна Ильича Сергиева" высоко поднялось не только над своим сословием, своим саном, над всеми 72 000 русских священников, которые были ему равны по положению, обязанностям и правам, но они поднялись звездю ослепительного блеска над всею церковною нашею историей за XIX век, а в текущие дни его жизни поднялись над всякою славою, успехом, значением, авторитетом. И всякий в те дни, кто только любил славу, силу, талант и дар своего народа, присоединял голос свой к одобрителю народному шуму, и еще, и еще выше поднимал имя этого священника. Так выросла громадная волна народной молвы, народного сочувствия, народной любви и доверия около этого имени и лица. Ничего подобного никогда не было на Руси; при жизни ни один человек на Руси не был так почтен. Ум, талант, ученость, власть государственная, заслуги общественные, высочайшее социальное положение, — все померкало и отодвигалось перед этим многомиллионным шумом, который шел горою на вас, все подавлял собою, все закрывал собою, рушил всякое сопротивление, препятствие. Даже с очевидными злоупотреблениями его именем стало очень трудно бороться; даже некоторые очевидные ошибки в его суждениях стало трудно и небезопасно оспаривать. Оспаривания выражались с оговорками, с извинением. Явление это было очень любопытно наблюдать. Мы были зрителями чрезвычайно редкого процесса, как "сотворяется история", как сотворяется "имя" в истории, как сотворяется в ней власть, авторитет духовный, не вещественный. Возьмите цивилизацию, возьмите Россию: вся она стоит и держится на глубоком почитании народом нескольких, — говоря языком мифологии, — фетишей, знаков, символов, имен, понятий. Их очень немного, — 3—4, 5—6 этих имен и звуков, — но они известны и равно чтутся в курной избе вологодского крестьянина и во дворце, чтутся и признаются последнею умственной темнотою и первым умственным светом своей страны. На них все и держится, ими все и стоит. Во имя молчаливого согласия на этих именах и звуках, устроились согласное повиновение в стране, согласное, единообразные действия в ней, явилась готовность к единообразным жертвам:

— Умираем за веру, Царя и отечество...

И кончено. И нет поворота. И невозможно сопротивление. Весь Запад и Восток, как бы он ни был жаден и корыстолюбив, как бы он ни ненавидел и презирал нас, отхлынет испуганно назад, услышав этот рев народный:

— Сей день и час я умру за веру, Царя и отечество.

Глухой факт. Но он сильнее всякого разума, отчетливости, сознания, науки, техники, искусства.

* * *

Вот в такой-то всемогущий *фетиш* стал вырастать Иоанн Кронштадтский лет 20—25 назад. Он не только поднял молву и сочувствие, но, как и около всякого фетиша, около него стали вырастать мифы, стала твориться живая мифология. Он ее отрицал, отвергал, он не хотел ее. Но это был единственный пункт, где он *оказался* слаб всеобщей человеческой слабостью: предмету мифа очень трудно бороться с мифологией около себя. Его "не хочу", "порицаю", "отвергаю" было глухо, слабо и незначительно по сравнению с тем чудовищным напором "хочу", "признаю", коего он сделался центром.

— Я обыкновенный человек, как все смертные...

— Да, это смиренное русское сокрытие своего значения... Ты — *необыкновенное* существо, ты — *не мы*... Мы знаем это, знаем про себя, молчим и только перешептываемся, — *о другом, тайном, скрываемом твоём значении*.

Бессильно русская официальная церковь предлагала ему "вразумить" своих наиболее пламенных последователей и особенно последователейниц. "Вразумление" не приходит сразу; нужно научиться "вразумляться", привыкнуть к этому процессу. Русская церковь и духовенство, которые всегда, во все 900 лет своего существования, враждовали с "рационализмом" и недолюбливали "вразумления", оказались, естественно, бессильны с этим запоздалым обращением к "доводам разума", к науке, к богословию и очевидной истине.

— Разум — от беса. Науки — от бесов. Ничего не хотим знать: батюшка Иоанн Кронштадтский... но *молитве* его Бог *исцеляет*, как это было и 1900 лет назад, и засвидетельствовано в книге, которая выше человеческого разума. Знаем мы, *кто он*... Он — *не мы*, он — *не человек*; он *выше*...

Официальная церковь уже испытала большие неудобства и затруднения от этого возникновения в ее собственной среде живого *фетиша*, и можно предвидеть гораздо еще большие затруднения с этим в ближайшем будущем. Но нельзя не заметить, что это есть естественный плод ее собственного духа за все века ее существования: она всегда сама построила "фетиши", но фетиши не личные, а обрядовые, догматические, или фетиши лиц, давно умерших. "Фетишизм" наполнена вся ее история. "Фетишем" стало монашество, "фетишами" стали многие монахи, схимники. Вообще, это старый дух, старой закваски. Вдруг возник *живой фетиш*, и не в монашестве, не в уединенном, *далеко* живущем старце-схимнике, а *на виду у всех*, в Кронштадте, в среде *белого духовенства*.

Церковь, в лице ее официальных властей, растерялась. Она и одобряла, и порицала. Авторитет, земной и всяческий, она поднимала; но уже народ поднимал этот авторитет *гораздо выше человеческого*. Получилась аналогия, неожиданное *совпадение* сердцевинного церковного движения, внутри коего стоял Иоанн Кронштадтский, с "опаснейшими сектами", вроде хлыстов, изводящими из среды своей живых "христов" и "богородиц". Иоанниты, как всякий понимает, не есть что-то совершенно новое на Руси: Филипп Данилович Хлыстов и еще некоторые другие их "пророки" возбуждали подобное же около себя движение, почитание, восторг и нарастающую вокруг живого лица мифологию...

Сам Иоанн Кронштадтский был совершенно чужд стараниям возбудить вокруг себя это движение, и здесь его глубокое "православие", верность официальной церкви, здесь глубокая пропасть, отделяющая его от сектантов. Образовалась секта, неправильно чтущая его; но он сам отнюдь к ней не принадлежит, сам он не сектант. Это нужно запомнить и *никогда не сливать его с "иоаннитами"*, хотя они и свили гнездо свое в основанном им монастыре. Это — Иоаннов женский монастырь на реке Карповке, в Петербурге. Оставим их и возвратимся к нему.

Личное впечатление, производимое Иоанном Кронштадтским, было источником всего, что мы о нем знаем и что он совершил. Это впечатление было необыкновенно; точнее — это было что-то *необыкновенное в обыкновенном*; иначе нельзя формулировать, а эта формула обнимает все в нем. Начну с передачи личного ощущения. В одном богатом доме, где я был случайно, он был приглашен отслужить напутственный молебен, "благословить" и "помолиться о здоровье". Я не знал об этом заранее, а когда узнал, быстро прошел на молебен. Он стоял перед божницею и служил, — обыкновенная русская служба. Движимый любопытством увидеть человека, которого так трудно было увидеть вблизи, я продвинулся вперед и, наконец, стал совсем рядом около него, но боком и так, что было видно все лицо его. Ему было тогда 72 года. Но он не был не только "старик", но и не был очень стар; вид у него был только "пожилого", "немолодого" священника, — не больше! И это при *труде* невероятном, почти не допускавшем отдыха, при жизни, когда *считана* была каждая минута! Сон и деятельность, краткий сон и длинная, притом кипучая деятельность — вот весь Иоанн Кронштадтский!

Небольшого, среднего роста, весь как-то пропорциональный, гармоничный, он давал впечатление необыкновенной *свежести*! Точно он был чисто, крепко вымыт, и притом недавно. Стоял он не так, как стоят всегда священники на служении: что-то грузное и осевшее, чему трудно переставить ногу, или что-то притворно-изменное, что повело даже к древнему обычаю поддерживать архиереев "под ручки" на богослужении. Обычай, отмененный "Регламентом" Петра Великого. Молитвословия Иоанн Кронштадтский произносил несколько скороговоркою, и произносил *лично*, — не этим заупокойным и как-то "вообще-православным" голосом, к какому мы привыкли, какой сделался ритуальным в православном богослужении. Это не "церковь молилась через иерея своего", — это *лично он*, Иоанн Сергиев, молился о присутствующих и особенно одним из них, ради которого был позван. Ничего статуеобразного, мертвого не было ни в нем самом, ни в богослужении его, и эта маленькая черточка, едва приметная, но выраженная во всех подробнос-

тях, была чрезвычайно значащею, *если кто понимает дух всего православия*. В Иоанне Кронштадтском был *новый священник*, если сказать всю мысль — священник *новой церкви*, но только не опознавший себя и не опознанный толпою, ибо сведение лица к какой-то "схеме", сведение священника только к "рукоположенному носителю сана", не смеющему пошевельнуться в этом сане, и, наконец, общий наклон к чему-то *старому, дряхлому, пассивному, недвижному, покорному*, — составляет общий *тон* нашей религии, гораздо более существенный, наличный и реально действующий, чем всевозможные догматы. Здесь все было напротив! Иоанн Кронштадтский служил, говорил, стоял, чуть-чуть немного волнуясь во всем корпусе, *старую службу*, но в *новом тоне*.

Сели за стол, за небольшой завтрак, и я сел против него. Обменялись несколькими словами. В нем было опять отсутствие этой торжественности, важности, какая и без заслуг присуща лицам духовного сана, а при заслугах вырастает во что-то чрезмерное и тягостное для окружающих. Слова его были чрезвычайно обыкновенны. Известно, что дневник его размышлений — "Моя жизнь во Христе" — *скучен* при чтении и скучен даже для лиц, его почитавших и не скучающих за богословскими сочинениями. Он *скучен* и по отсутствию интересных мыслей, и по отсутствию того воодушевления, той высоты языка, какая ожидалась бы от такого лица и в книге такого заглавия. Но, подумав, нельзя не найти все это в высшей степени естественным. Великий человек *не двоится*, сильная душа вся выливается в *одном потоке*. Иоанн Кронштадтский был *весь в действию*; он не взял, как скупец или как расточительный человек, — *ничто от действия*, чтобы перелить это взятое в форму слова. Лично он, как человек, как историческая фигура, чрезвычайно выиграл бы, оставив после себя замечательную книгу; но он умалился в фигуре, — просто чтобы ничего не отнять от *ближнего и сейчас*. Говоря о возможной замечательной книге, я разумею возможное *одушевление*, ибо с первого же раза было видно, что замечательных мыслей он оставить не может.

Часть негодования, которое стало возбуждать в последние годы его имя, произошло от того, что он вмещал свое *мнение* в ход исторических и культурных событий, про которые можно сказать, что Иоанн Кронштадтский *никак к ним не относился*, не был с ними *нисколько и никак связан*, а потому и мнение о них мог иметь и имел только наивное и младенческое. Без сомнения, не он сам, но другие побудили его сказать свое мнение о Льве Толстом, о конституционном нашем движении и проч., чтобы заручиться этим мнением, как некоторою *палкою*. По глубокому неведению всех этих дел, Иоанн Кронштадтский был здесь *сам связанный человек*, которого *несли, куда хотели*, и принесли в черный лагерь нашей реакции. Это, можно сказать, "случилось с ним", а не "совершил он"; случилось, как *несчастье*, нисколько не вытекавшее из существа его, из его личности, из его духа. Конечно, сын сельского дьячка, немного поучившийся в семинарии, не мог *соучествовать*, положим, Толстому или конституционному движению, — но не мог, просто, по *незнанию* этого, по глубокому всего этого *непониманию*, а не по противоположности, не по черствости и закосности своей, чего в нем не было. Ему указали "перстом" на некоторые слова у Толстого и предложили "осудить" его; он — осудил. Сообщили разрозненные факты из

освободительного движения, и тоже предложили "осудить", — он опять "осудил". Осуждение это было *политически* нужно врагам Толстого и врагам русской свободы; нужно было именно "изречение фетиша", и нужно для самых темных масс народа, где и сложилось почитание фетиша. "Изречение" это было именно палкою, которую надо было откуда-нибудь заполучить разным Скворцовым и д-рам Дубровиным, в злых и жестоких их целях. Но сам по себе, без этой агитации Дубровина и Скворцова, — Иоанн Кронштадтский был глубоко *частным человеком*, созерцательною внутреннею душою, именно "молитвенником", — а что общего у молитвы и политики. Молитва пылка и *коротка*, молитва не *нескожна*. Взглянув на Иоанна Кронштадтского и проговорив с ним несколько минут, сейчас же мог всякий видеть, что он только и способен вот к этим *кратким* и *несложным* движениям души, где даже и нет движения, собственно, *мысли*, а только пыл, горячность, неотступное слово. Слышавшие молитвы его над больными удивлялись: он точно *требуется* у Бога исцеления, слова: *Ты должен, Боже, Ты не можешь не исцелить его*, — так и сыплются. Это необычайно. Между тем, это глубоко вытекало из его личности: в нем не было строгой и официальной церковности, не было богослужбной торжественности, он *молился*, *звал* и *требовал* как человек-священник. Недолгая семинарская наука куда-то провалилась, он чрезмерно перерос ее своею личностью, и, чувствуя, что он — *простой человек*, — непременно исцелил бы болящего, помог бы человеку в несчастье, *звал*, *требовал*, *настаивал*, чтобы подобное же совершил *всемогущий* Бог, совершил *непреремно!* Молитва его, — что не отмечено никем, — была, говоря языком истории религий, глубоко *антропоморфна*, т. е. она вытекала из глубоко антропоморфических представлений о Боге, точнее — чувства Бога. И эта особенность и дала первый толчок к превращению его самого в религиозный фетиш. "Он просит у Бога не как митрофорный протоиерей Андреевского собора; тут *что-то другое*, прислушайтесь: он просит у Бога как *близкий* Его, как *друг* Его, точно он *сын* Его. Он *требуется*, он *настаивает!* Тут вовсе не митрофорный протоиерей, в смиренном сане священника молится *кто-то другой*. Так произошло это смешение, это недоразумение, где величайшая народная *темнота* встретилась с глубокою *простотою* религиозных понятий "митрофорного протоиерея", простотою в смысле элементарности, первобытности. Острая, пылкая личная жизнь и, самое главное, ежедневное *трение около народа*, ежедневное общение с *народными страданиями* как бы стерли в Иоанне Кронштадтском все, чему он учился о Боге в семинарии, и он вернулся или впал в первобытный религиозный антропоморфизм, с которого всякий народ начинает свою религию. И вдруг народ почувствовал в этом одном священнике что-то "свое", "родное", тысячелетне-древнее, "рюриковское", и через все новые учреждения, через голову Синода и пышной словесной иерархии протянул руки к нему и понес его на руках, своего и "любимого батюшку".

— Это какое-то болезненное народное явление, *психопатия толпы*, — заметил митрополит Иоанникий, в пору своего киевского служения, увидев проездом по улице, как народ бежит к дому, где Иоанн Кронштадтский "молился"...

— Они когда-нибудь *съедят* этого своего живого бога, — сказал желчно Толстой по поводу случая, где одна женщина укусила палец

у "бабушки", чтобы "причаститься его" тела и крови", о чем одно время писали газеты.

И то и другое, ни то и не другое... Истина и разгадка лежит в том, что 9/10 нашего народа, конечно, еще не умеют читать, особенно женщины, и, не выучившись читать, а учась только на "слухах", эти 9/10 не имеют причин в чем-нибудь религиозно отличаться от пра-пра-прадедов своих, еще молившихся Велесу и Перуну. Имена с тех пор сменились, но народ только и мог усвоить, что *новые имена*, а психика религиозная в нем осталась прежняя. В обыкновенном священстве, однако, ничто не отвечало этой психике: удерживала семинария, придерживала консистория. Вдруг явился священник, который перерос влияние консистории, не очень твердо помнил семинарию и вообще был *свободен*, почувствовал себя *свободным*. Как только это совершилось, оба явления встретились и образовали то явление, которое именуется "иоаннитством". Около него много злоупотреблений, но в основе это есть чистосердечное возвращение почти к доисторической старине русского племени, — к той счастливой и наивной старине, когда "боги были так близки к людям и еще ходили по земле", о чем вспоминает райская легенда; вспоминает это и Достоевский в "Сне смешного человека". Русский народ с Иоанном Кронштадтским пережил и еще переживает одну из легенд своих, переживает в своем роде "Счастливый сон", от которого ему горько пробудиться. В самом деле, скучно и серо вообще без "снов"; а уж русскому народу и Бог весть как серо: стужа, недоеданье, свист ветра в коротенькой трубе, и на десятки верст кругом никого зреее младенца...

На лекции о Достоевском

Говорят, диалектику создали Платон и Гегель; но гораздо раньше их — хамелеон, неуловимо для глаза переменяющий цвета свои и не имеющий никакого определенного, постоянного цвета, — дал собою пример, так сказать, органической диалектики. Что такое диалектика? Это "да" и "нет", переходящие друг в друга, помогающие друг другу, дружелюбные друг с другом, хотя они и ожесточенно спорят. Почтенна ли диалектика? Она есть во всяком случае изумительная вещь, а что касается почтенности, то об этом могут быть споры. Флюгер ведь тоже диалектичен, тогда как бревно, лежащее на земле, есть образец "честного уклонения от влияния". Бревно, как и Адам до грехопадения, — невинны, честны, позитивны. С этим можно было бы примириться, если бы это не было очень скучно. Ева заскучала в "честном раю" очень скоро, и диалектик-змей без всякого труда вывел ее оттуда в прискорбное, но и интересное земное существование, — где и началась всяческая "диалектика"...

Умы и сердца, читатели и писатели тоже бывают диалектичны и позитивны, один — как бревно и другие — как ивовый прут. Оставим в стороне позитивных и обратимся к диалектичным. Образец величайшего диалектического писателя у нас — и, может быть, во всей всемирной литературе — есть Ф. М. Достоевский. Вот уж гибок... Так гибок, что хоть бы и поубавить. Сам страдал от гибкости: ибо это что-то

адское — ни на чем не остановиться, ни на одном утверждении не удержаться, со всякого тезиса слетать стремглав, лететь, лететь — и вылететь в утверждение, совершенно обратное этому тезису. И все это не только умом, но сердцем, пафосом, восторгом, умилением. Что такое революция? На это вам отвечает Петруша Верховенский в "Бесах". Кушает холодную курицу, дожидаясь самоубийства своего приятеля Кириллова. "Однако же" (всякая диалектика начинается с "однако") *еще* что такое революция? Это и Раскольников. Ведь несомненно тоже он не бытовик, не человек определенного строя жизни, а революционер, хоть и в первой фазе своего бунта. Значит, и Верховенский, и Раскольников — вот что такое революция. Согласитесь, что тут нельзя сказать ни "да", ни "нет"; согласитесь, что здесь "да" и "нет" сплелись в чудовищное единство. Целомудренна ли проституция? У всего мира не было на это двух ответов: но Достоевский показал нам Соню Мармеладову и этим *христианским образом* разбил ветхозаветное "не прелюбодействуй"; да разбил так, как этого и Евангелие не смогло сделать. "Праведная блудница" стала возможным словом в нашем языке. Есть ли что положительное в пьянстве? Но через рассказ Мармеладова Достоевский заставил слушать всю Россию, наконец, весь мир — исповедание пьяницы, слушать, замирать и плакать над этим исповеданием. В Федьке-Каторжнике ("Бесы") и в некоторых страницах "Мертвого дома" он примиряет нас и с убийцами; а целый ряд его героев, *любимых* или по крайней мере *очень им уважаемых* персонажей, начиная с Свидригайлова и кончая Ник. Ставрогиним, вызывают такие попользования чувственности, за которые мы каждого бы казнили, а *этих* идейных мудрецов невольно шадим; мысленно беседуем с ними, в высокой степени ими заинтересованы. *Достоевский страшно расширил и страшно уяснил нам Евангелие.* С давних пор его называют "великим христианским писателем", — но это имеет особенный и острый смысл: он первый *художественно, в образах, в живописи, и в столь реальной живописи,* показал нам *ненаказуемость порока, безвинность преступления,* показал и доказал великое евангельское "прости"... "Прости всем и все и за все"... Но так как он диалектик, то около этого "простим все" он гибкою живописью своею возбудил и такое негодование, такое озлобление к огромным категориям человеческих личностей, как этого тоже не удавалось никому: совершенно по-евангельски, где тоже, в заключение "простим все", показан по-ту-светный огонек, *вечный, неугасимый,* где будут гореть и не сгорать "пьяницы и любодей"...

Почитать Достоевского — за голову схватиться. "Ничего не вижу", "полная тьма", "дня и ночи не различаю". Но одно он совершил: "праведное", позитивное бревно, лежавшее поперек нашей русской, да и европейской улицы, он так тряхнул, что оно никогда не придет в прежнее спокойное и счастливое положение уравнищенности. Гений Достоевского покончил с *прямолинейностью* мысли и сердца; русское познание он невероятно углубил, но и *расшатал*... Можно сказать, он уничтожил совершенно не только таких писателей, как Михайловский, Уничарев, таких поэтов, как Надсон, таких публицистов, как все "былое" "Вестника Европы", но он сделал *невозможным* в будущем повторение или воскресение таких наивностей, таких обухов, таких бревен... Огово-

римся, что тяжелою громадою нашего общества Достоевский не только еще не понят, но и не прочитан *внимательно, задумчиво*; и, напр., "честные курсистки" и "благородные учительницы", как и лохматые студенты, с молниями в глазах, просто-напросто *понятия даже не имеют о Достоевском* и лишь в меру этого и от этого захлебываются Михайловским и Надсоном.

Но, заговорив о диалектике, я не без умысла назвал хамелеона как величайшего и естественного "диалектика", назвал, наконец, "флюгер", назвал, наконец, беса. Все это очень серьезно. Диалектика есть гениальная вещь, но диалектика есть и бесовская, отчаянная вещь. "Все концы со всеми концами сходятся", — и пресловутое карамазовское "все позволено", т. е. нет греха, не надо добродетели, "могу все, что *хочу*", — есть только естественное и притом *реальное* заключение диалектики, есть вовсе не вывод Ивана Карамазова о мире и жизни, а вывод самого скорбного Фед. Мих-ча о мире и жизни, но лишь *угрюмо* сказанный, а не *счастливо* сказанный. А ему случалось и *счастливо* говорить этот же вывод. Как будто карамазовское "все позволено", до отцеубийства включительно, не есть *то же самое*, что умиленный лепет Кириллова о том, что "все хороши", что "вот ползет *паук* — я и ему молюсь", "если кто изнасилует ребенка — то и он *хорош*". Но у Кириллова это сказалось в евангельских тонах, соответственно кроткому, евангельскому сложению всего типа, всей его души, а у Ивана Карамазова — мрачно; но *мысль — одна*. И явно, что уже угрюмым сказыванием Иван Карамазов отрицает эту бесовскую мысль, а "святой" Кириллов предлагает эту мысль в самой обольстительной "евангельской" форме: "все обьемемся", "все простим друг друга", "все возлюбим всех", растворим двери темниц, отменим суд, казнь... Вот и Федя каторжник, и Соня, и отец ее, и отцеубийца, и... и... И нет конца.

Да, черт знает, может быть, и в самом деле хорошо? Ведь в *Священном* писании, и Старом и Новом, что-то такое брезжит на конце всех концов? Но *совершенно же несомненно*, что при таком "отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня" — летят вверх тормашками все царства, политики, права, летят прахом все цивилизации, Рим становится не мудрее Бедлама, Греция не выше Капернаума, меркнут Сократ и Аристотель, меркнет и становится *не нужен* разум человеческого, наука всемирная, да не нужна и самая добродетель, кувыркаются рай и ад, и вообще "все потрясается", а звезды, путеводные огоньки человечества, осыпаются с неба, как пуговицы с изношенного сюртука... все это было бы очень величественно и красиво, если бы не иллюстрировалось Тим. Ник. Грановским, который в изгибах этой диалектики кушает одну котлетку с Пав. Ив. Чичиковым и Виссарионом Г. Белинским, который перемигивается с Дубельтом.

— Вот, ваше превосходительство, как вы меня на том *глупом земном* свете в бараний рог согнули. Стоило ли стараться?..

— Да и я вижу теперь, что совсем не стоило стараться: ибо в *по-ту-светном откровении* тот, кто гнет в бараний рог, является выразителем только разных сторон одной неуловимой истины. Так что теперь, в случае нового воплощения, я могу писать критические статьи не хуже вас, а издатели будут печатать "полное собрание сочинений идеалиста Дубельта", и публика будет их читать не менее охотно, чем

ваши, ибо, по диалектике, ведь "все равно" и "все друг с другом обьемемся"...

Дубельт-не-Дубельт, ну а, например, Константин Леонтьев: идеалист по плечу Достоевскому и вместе с тем реакционер мрачнее Дубельта.

Будет ли это необыкновенно хорошо или будет чудовищно отвратительно — ничего нельзя сказать. И что горько — *воистину* нельзя сказать. "Ослепли", "не видим"... Вот *résumé* громадной работы Достоевского, работы гениальной, страшной. Его Грановский переходит в Чичикова ("хамелеон"), у него Господь Бог играет в преферанс с Мефистофелем. "Ничего мне так не хотелось бы, — говорит Ивану Карамазову черт, — как перевоплотиться в семипудовую купчиху и ставить бы толстые восковые свечи на обедне". Это — текст, это — точное слово Достоевского: ну, и не нужно длинных комментариев, чтобы эту "мечту" беса переложить на картину действительности — и тогда очень умильные сцены, к каким мы привыкли, неожиданно окажутся главами не "божественной", а демонической оратории. Достоевский слишком далеко хватал разнуданную фантазией, и к этим граням отрицания и сомнения мы не решаемся ступить за ним.

При этом, что особенно ужасно, так это то, что Достоевский совершил свою диалектику не логически, не в схеме, как Платон и Гегель, а *художественно*: и через это он *смешал* безобразие и красоту. Как "*résumé*" *всей его работы*, у него и мелькнуло в "Бр. Карамазовых", что "идеал содомский *переходит* в идеал Мадонны: и обратно, среди Содомы-то и начинает мелькать идеал Мадонны". Это Митя Карамазов говорит Алеше и добавляет: "Снилась ли тебе, мальчику, эта *истина*?" У Достоевского это сказалось с таким экстазом, с таким глубоким проникновением, что, несомненно, тут не в Мите и не в Алеше дело, а в самом Федоре Михайловиче — это его *глубочайшая и задушевная мысль*, это его сумасшествие, это его евангелие, "новое благовестие".

Замечательно, что к концу жизни Достоевский становился все гениальнее и все расстроеннее, гений его нарастал, но и безумие его все возрастало... Он явно "сходил с ума", не в медицинском смысле, а вот в этом гегелевском, платоновском, или, как говорит народ, в смысле того, что у него "ум за разум стал заходить", ум и *суждение* перешли нормальные *границы* суждения и ума... "Широкий человек, слишком широкий — я бы *сузил*", — отчаянно говорит он в тех же "Карамазовых"...

И наконец, что любопытно и поучительно, так это то, что не Достоевский "повернул так и эдак" свою диалектику, не он "показал" нам то-то и то-то, а в нем *повернулась* так диалектика, в нем нам дано было *увидеть* "все концы, сошедшиеся со всеми концами". Поднимите "Преступление и наказание" к свету вечности, и что вы там увидите, за *выбором всех подробностей*, в единственном исключительно сюжете: "праведного" "убийцу", "святую" "проститутку". Вот — *суть*; остальное — аксессуары. Т. е. что же? Возможность, *нравственную* возможность праведного убийства и святой проституции.

Голова кружится.

Но не то же ли мы видим и на дне евангельских глубин: это — разбойник, распятый направо от Спасителя, и блудница, помазавшая миром Его ноги. Тоже — умирительно, растрогало весь свет. Ну, да ведь и Раскольников оттого волнует нашу мысль, что он *привлекателен*,

и Соня притягивает сердце оттого, что она *воистину* "свята"... В этом-то, что все это — *истина*, и заключается великий трагизм целого мира, и заключается возможный "провал" всех цивилизаций. Разве Евангелие не повалило в яму и Рим и Грецию, как шенков? Сказано — "*прейдет* лик мира сего". Кстати, это "прейдет" с такою любовью нет-нет да и повторит Достоевский. Очень любил он это "прейдет". При всей ненависти к революции, он так охотно служил "отходную" нашей цивилизации.

Одним из самых любопытных вечеров петербургского Литературного Общества в этот год было чтение г. Столпнера о Достоевском, прочитанное перед летним перерывом. Сперва путаясь и вообще читая очень некрасиво, во второй половине длинной своей лекции он высказал мысли очень интересные об отношении Достоевского к прогрессивным идеям передовой части нашего общества. "Достоевский есть чрезвычайно опасный враг нашей интеллигенции, — приблизительно говорил он. — Он отрицает все главнейшие идеи интеллигенции, он постоянно борется с нею. Борьба со свободой, гражданственностью, наукою, борьба с самым *разумом человеческим* стала постоянным стимулом Достоевского, с самого времени его ссылки в каторгу, где с ним произошел переворот, о сущности и причинах которого мы очень мало знаем. Борьбу эту Достоевский ведет с чрезвычайным терпением, с чрезвычайной настойчивостью, с значительной хитростью или тактичностью, с гениальною пронизательностью и силой. Он составляет действительную угрозу русскому прогрессу. Критики, как Добролюбов и Михайловский, незначительны, ничтожны в борьбе с ним, хотя Михайловский и указал на его опасность, предугадал его опасность. Он определил Достоевского как "жестокый талант", и, за всеми оговорками, все должны признать долю правильности в этом определении; все, только в иных терминах, признают в Достоевском эту мрачность, эту суровость, эту, в последнем анализе, жестокость. Но об идейном содержании Достоевского Михайловский выразился только осторожно, что он оставил в своих творениях "множество очень эксцентрических мыслей". Определить в этих уклончивых словах идейное содержание Достоевского — значит признать себя бессильным разобрать их, бороться с ними. И Михайловский, как и вообще его школа мысли, школа мысли позитивно-социалистической, действительно бессильна бороться с Достоевским. В "Записках из подполья" дана такая критика социализма, которая мало что оставляет от социализма и с которою должны согласиться и согласились научные критики его". Так приблизительно говорил лектор и добавил, что "русская интеллигенция, чтобы спокойно и с чувством *правоты* идти к своим святым задачам, к задачам лучшей гражданственности, свободы и просвещения, — должна будет непременно *пройти* через Достоевского и *победить* Достоевского".

Мысль верная, хотя нуждающаяся во множестве оговорок, дополнений и в заключение даже в оспаривании. "Одолеть" Достоевского едва ли сможет русская интеллигенция, ибо "одолеть" и *сам себя* не мог Федор Михайлович, хотя он был величайший, *небывалый* русский интеллигент, и притом типичный в своей житейской заухудалости, в своих нервах, в своем угаре и сбивчивости. Если он "сам себя" не мог одолеть, — интеллигент такого роста, то куда с ним меряться русским студенти-

кам, журналистам, критикам, кой-каким профессорам по церковному праву или по государственному праву, и проч. и проч.? Но "пройти через Достоевского", — этот главный пункт чтения безусловно правилен. Мы только думаем, что "проходя через Достоевского", общество никак не сможет остаться в устоях приблизительно Салтыкова — Михайловского — Стасюлевича. Дело в том, что нужно же и умному человеку иметь на себя оглядку, и нашим заядлым либералам и рационалистами, от имени которых говорил лектор, нужно просто признать некоторую скудоумность или, вернее, скудо-душевность в своих очень умных, очень просвещенных, очень гражданских идеалах. Они просвещены, но им надобно расти; они умны, но насколько не гениальны. А история и, наконец, те глубины суждения о ней, к каким подвел нас Достоевский, требуют гениальности. Ее, и никак не меньше. Если Достоевский повалил такое множество талантов и талантливости, если, например, он совершенно упразднил Белинского, сделав абсолютно *неинтересным*, абсолютно *копечным* все его идейное содержание, оставив от "великого критика" только схемку и шкурку "молодого порывистого идеалиста", — то и для "борьбы с собою" и "преодоления себя" он требует гения, сердцеведения, проницаний таких, каких у волнующейся нашей интеллигенции вовсе нет. Отчего Столпнерам и русской интеллигенции не формулировать задачу скромнее: "оглянемся на себя, переглядим свой багаж и признаем, что в нас много *плоско-глупого*, а в идеалах наших много *лживого, гнилого*". Свобода свободе — рознь, прогресс прогрессу — рознь, гражданственность гражданственности — рознь. Пресная, шаблонная, рационалистическая — она не есть та свобода и тот прогресс, не есть то просвещение и та наука, о которой мечтал русский народ, русский инок, русский солдат, ну, хоть Платон Каратаев, о которой мечтали Гёте и Шиллер, Лейбниц или Спиноза. Словом, схемка Щедрина — Писарева — Столпнера — "Русского Богатства" ужасно скудоумна, нищенска, за нею никто не пойдет, никто за нее не принесет жертвы... А ведь когда лектор говорил о тех "драгоценностях", за которые должна вступить русская интеллигенция и ради их "преодолеть Достоевского", то он говорит именно об идейках от Мякотина и Пешехонова до себя, и ни о чем другом. Это обычная рациональная, журналинная гражданственность, это журналинная полунаука, это "свобода" наших митингов. Никто не заподозрит меня в любви к монахам и монашеству: но "свобода инока" в ее поэтических оттенках, в ее душевных оттенках, в ее прелести и глубине, в ее *личности и человечности*, для меня священнее свободы парижских бульваров и русских социал-демократических митингов. Согласятся ли со мною в этом *вкусе* наши рационалисты? Нет. А между тем я враг *монашества*: таким образом, и с ними я никогда не соглашусь в *качественной оценке*, в *качественном определении* требующейся свободы; и скажу просто, что ихняя "свобода" мне ни на что не нужна, что за нее я не заплачу двух копеек. То же — о мудрости, то же — о прогрессе. А в "качественном определении" идеалов — все и дело; все дело в "душевных оттенках". Суть в том, чтобы "написать комедию", т. е. вот столько-то действий и с такими-то смешными персонажами, а написать как *Грибоедов*, как *Фонвизин*, как *Мольер* или *Шекспир*. Суть во *вкусовой*, в *художественной* стороне вещей, и это не только в литературе, но и преимущественно

и главным образом в жизни, в реальной истории. Вот это-то *вкусовое* отношение к вещам, *вкусовая* оценка вещей, *вкусовой* идеал будущего, какой выработался в русском образованном обществе, в этом "ведущем колесе" нашей истории, — решительно не высок, мелочен, вульгарен; и оно решительно не только не может "переехать через Достоевского", задавив его собою, но и само разбивается вдребезги, встречаясь с ним. Я повторяю то, что сказал выше: и по жизни своей и по роду идей, по всему кругу интересов и работы Достоевский был типичнейший русский интеллигент — бездомный скиталец, не имеющий в багаже своем ничего, кроме идей, кроме разгоряченной головы, кроме мировых вопросов, тревог. Но в нем эта интеллигентность достигла кульминационной точки, переломилась и умерла. Тут именно и выступает сгиб в нем, отсюда происходит его диалектичность: в белой стороне, надеющейся, светлой, он восходит выше и выше, до "все простим", до "обоготворим паука" и т. д., и т. д. Выступает апофеоз проституток, каторжников, убийц, алкоголиков. Пока, преломившись в некоторой точке, он не летит отсюда вниз, к утверждению всех реальных столбов действительности; и его слово, что "*вещественный огонек древнего ада надежнее проблематических мук совести в новом, преобразованном по-интеллигентскому, аду*", — содержит собственно возвратное требование всех запоров, цепей, замков, какими в старом обществе удерживались в границах преступление и разрушительные инстинкты человека. Достоевский в одном лице соединил величайшего разрушителя и величайшего утвердителя; он довел в себе революцию до последней анархии, и он же явил в себе величайшую санкцию наличного, сущего бытия. Таким образом, путь "интеллигентности" пройден им до конца: и после него интеллигенция потому стала вырождаться, мельчать и мельчать, переходить от Кавелиных и Соловьевых к Михайловским и Столпнерам, что вообще тут нечего больше делать, нечего нового говорить, а повторение прежнего естественно бывает бездарно. Наивности вроде Белинского невоскресимы после Достоевского; Мякотин и Пешехонов толкуются на месте только по недоразумению, по незначительности и неразвитости своей; весь путь русской революции предсказан заранее, или, вернее, рассказан им был наперед в типах, начиная от Раскольниковца и кончая мальчиком Колею Красоткиным и его товарищами ("Братья Карамазовы"); даже "сладоэстетски" новейший потаенный кружок им предугаданы в полуистерическом характере Лизы Хохлаковой, в Свидригайлове и Николае Ставрогине, в Мите Карамазове... И, словом, для революции в *психологическом и идейном отношении* не осталось непройденных путей, новых путей, после Достоевского.

Что же осталось?

Что осталось и после Достоевского?

Красота вещей.

Взмахните крылом так, чтобы и взмах, и полет, и точка, куда он направлен, представляли неоспоримую ни на чей взгляд красоту, — и тогда летите, куда хотите.

Летите в анархию, летите в небо, летите в Евангелие. Достоевский испещрил своей диалектикой всякое безобразие и открыл полную свободу, безграничную свободу всякой красоте... Но эта красота так высоко лежит, что ее никто не умеет взять.

О психологии терроризма

Проходит страшная мгла жизни...
Не ужасное ли это явление —
жизнь без подпоры прочной?..

Гоголь

Прежде чем перейти к "очередным темам", не могу оставить без внимания и без сведения для читателей, что статья моя на волнующую и ответственную тему о сантиментализме и притворстве в революции вызвала резкое осуждение, притом со стороны людей, совершенно понимающих мою литературную деятельность, бесстрастно-чистых в политическом отношении, и, наконец, от людей, нисколько не революционных, почти "нашего лагеря". Последнее очень замечательно. Осуждающие меня люди, очевидно, повторяют судей Фрумкиной, которые сделали все усилия, чтобы не обвинить ее и спасти ей жизнь. "Наш лагерь" не ненавидит революционеров, даже террористов, тогда как последние всю реальную Россию так очевидно считают "гадом". Да и они ли одни?.. Есть уксус, приправа к кушанью, и есть уксусная "эссенция", которая убивает. Терроризм, мне кажется, концентрировал в "эссенцию" все то, что лет сорок, а распространено и лет восемьдесят, писалось в торжествующем течении нашей литературы о России: здесь "сконцентрировалась" та гадливость к ней, которая сочилась из всякой заметки, из каждой "хроники" "Дела", "Отечественных Записок", "Русского Богатства", из каждой повести, подписанной безвестным именем или псевдонимом. И если отдаленно мы возьмем уже Герцена, то можно ли усомниться, что его прелестные "oeuvres", такие остроумные, игривые, блестящие всяческим талантом и философа, и критика, и публициста, и беллетриста, представлялись их автору куда интереснее и значительнее, чем несчастная обширная "глуповщина", населенная "соотечественниками". Щедрин в "Истории одного города" так и определил Россию, как "город Глухов", населенный "головотяпами". Спросите Петрищева из "Русского Богатства", что такое Россия, и он ответит вам:

— Конечно, страна непроходимых дураков.

Мякотина?

— О, в России живут совершенные ослы. Все. Кроме меня и моего приятеля Петрищева.

Пешехонова?

— Страна пауков и вшей, которую раздавить бы.

Это еще со Щедрина... Да и куда дальше его, лучше его.

У обывателя, старой дворянки, старого дворянина, но людей *обыкновенного ума* (в этом все дело), под действием такого страшного давления должна была зародиться такая меланхолия, такое отчаяние, что возьмешь бомбу... Тут "делатели", пожалуй, "без вины виноваты"... Именно молодые-то люди, которые не могли "разобраться" во всех этих "авторитетах", от Герцена до Пешехонова, и взяли в руки бомбы... "Надо раздавить гадов". Ну а что Россия — гадость, об этом кто же у нас не "пел". Только становясь постарше и начав постигать, что, кроме России печатной, есть Россия живущая и что эта-то Россия, предположи-

тельно состоящая из "гадов", дала, однако, несомненно весь оригинальный материал для такого творчества, как Пушкина, Лермонтова, Толстого, что, не будь фактической Тамани, — Лермонтову не о чем было бы написать рассказа "Тамань", Гончарову не о чем было бы написать "Обрыв", Толстому — "Детство и отрочество", "Казаков", "Войну и мир", "Каренину", только догадавшись, что единственно одна Россия и есть у нас поэт, поющий песнь всюю своею жизнью, а Пушкин, Лермонтов и Толстой всего лишь типографские наборщики и резчики по дереву, "исполнявшие" в своих произведениях "оригинал", сообразив все это, — люди под 40, под 50 лет, из прежних "анархистов", делали то, что, вытащив с полки книг "Историю одного города". шлепали ее с размаху об пол:

— Но ведь Щедрин? Авторитет?.. "Великий"?

— А черт с ним!

— Вы, значит, отрицаете литературу? Такую великую... такую священную... благоухающую... Такие идеалы, идеалищи...

— Своя голова дороже...

— Почему "голова дороже"? К чему? Какой смысл?

— Такой, что если я поверю всему этому омуту, вот что, кроме меня и "любимого автора", ничего порядочного на Руси нет и никогда не было и что папаша-то наши были свиньи, а дедушки были прохвосты и вся Россия только и занималась, что прохвостными делами: то, хотя, по уверенью "любимого писателя", я и есть золотой человек, вместе с этим писателем нас только двое, и еще вот несколько тоже влюбленных в этого писателя читателей, — то я с ума сойду и, конечно, повешусь! Или кого-нибудь убью. И вот, чтобы спастись от этой убийственной мысли, я и предпочитаю думать, что я просто дурачок, да и писатель мой не очень умен или, правильнее, что мы оба "так себе люди", не совсем худые, но и далекие от хорошего, "как все", и что точь-в-точь были такие же наши папаша и дедушка. Так-то ровнее и утешительнее. А то вся Россия разделилась на два лагеря: 1) гадов, которых надо "раздавить", и 2) золотую молодежь, святых героев, которые вправе раздавить. Если чуть-чуть поумней и поскромней человек, то от такой мысли с ума сойдешь, и именно если ему говорят, что он в разряде "праведников". Ибо если "гад" — то еще ничего: общее болото, и все — лягушки. Но если праведник, т. е. если все-то остальные — хуже меня? Внутри себя, молча, каждый не может не сознавать, что он "так себе": и вот если прочие люди объявлены, признаны, запечатаны как несравненно худшие этого субъективного "так себе", "серединочки", то из этого убеждения не может не вырасти такая великая грусть, которая приведет фатально к истреблению или своего "величия", как обманного (у умных, у искренних), или другого кого-нибудь "гада" (у фальшивых и деревянного типа людей).

Убийства и самоубийства наши, исключая "бытовых", от алкоголя, нужды, порока, растраты, вообще убийства и самоубийства "духовные" (даже страшно писать это) все суть литературные. И "историю русской литературы" давно было бы пора обставить этими могилками, этими "крестами" в своем роде: посмертными и предсмертными записочками, признаниями и дневниками самоубийц и убийц. Тщетно пушкинское влияние, влияние Гончарова, Толстого, Тургенева боролись с этим:

туман перевозмог. Наш северный, холодный, промозглый туман. В конце концов на самую литературу нашу действует этот ужасный север, скудо-солнечность, короткость дня зимой... Сырость, тьма, холод, пески, сосна... Бррр...

И, между тем, тут столько таланта. "Самое *отрицание-то талантливо*, черт возьми". В том вся и боль, что талантливо, оттого и заражает, действует на душу. Да и как не быть талантливым: "из природы прет"... Из без-солнечности.

Все это когда думаешь, ум кружится. Теряешь начала и концы. Обвиняешь, и мотивы обвинения выскальзывают из рук. В этом положении ужасной смуты не только жизни, но и критики остается говорить "что видишь", "что осознаешь" и "что думаешь". Писатель может ошибиться, но писатель не может скрывать от читателя даже и ошибки свои. Только с скромностью, т. е. оговоркой: "мне так думается", "я так понимаю вещи", "так видится", "так чувствуется".

* * *

Но вот, однако, письмо, которое по долгу чести я не могу скрыть от читателя: пишет женщина, высокой и самоотверженной жизни, — типа старых наших "народников", со следующим упреком за мое осуждение террористов и отрицание в них настоящей любящей души: "Как совмещается в одном понимании и тепло собственной души, и грубость к чужим человеческим душам, к человеческим жизням? Конечно, есть разные взгляды, разные убеждения; ведь вся жизнь от начала веков и до нас была всегда борьбой и, значит, разномыслием; но все-таки все живущие верят в своего Бога, *Бога-то оскорблять нельзя* (подчеркнуто в письме); лучше убейте меня, но Бога моего не троньте".

Это пишется о Бердягине и Фрумкиной, которых "Бога я оскорбил"... Но, позвольте, от Щедрина и до Фрумкиной, разве они все не "оскорбили Бога России" и разве о чем-нибудь ином идет речь? Именно "Бога России" — только об этом и дело. Совершенными пустяками представляются их физические выстрелы, физические убийства: не в этом дело, а в том, что *до силы выстрела* дошла их гадливость ко всей русской земле, ко всему русскому полю, с лесочками, подлесочками, проселочными дорогами, железными дорогами, со всем вековым и тысячелетним строительством, которое пусть было и не премудро, но, однако же, было именно строительство, труд, созидание, терпение, умирание и новые роды и роды. И неужели же можно на все это плюнуть и отвернуться со словами: "Фу, гадина!" А именно таково чувство революционера, без этого — нет революции. Как противовес этого, я не могу не припомнить в самый разгар революции одного коротенького разговора с проф. Медицинской академии и вместе коллекционером С. С. Боткиным:

— Я все русское люблю... Всю Россию люблю.

Это он. А я:

— Ну, послушайте, русские генералы... (была японская война, кончилась).

— Я русского генерала люблю. В эполетах. Старого и с пенсией (резко).

Я опешил и растерянно возразил:

— Ну, однако же, чиновники...

Тогда всех "бюрократов" бранили. Стоял в воздухе.

— Я русского чиновника люблю. Уважаю и люблю. — Он тряхнул кудластой головой.

Я спорил тогда: но, ей-ей, это так было сказано, что вдруг сделалось и моим "credo". Надо сплошь все любить, не разбирая. "Разборка" пойдет потом на "том свете", что ли: а нам просто *не дано права* ненавидеть, и притом так сплошь все. А революционеры, несомненно, все сплошь ненавидят, кроме своей кучки "непорочно зачатых максималистов". Продолжаю письмо:

"Есть во всех людях слабости человеческие, и сентиментальность, и притворство, и малодушие, маловерие, но нельзя говорить о человеческих слабостях, когда есть и Бог".

Все это — о революционерах, в их защиту: но, Боже, отчего же это не говорилось в защиту России "как она есть", не говорилось в ответ гениальным "Горю от ума", "Мертвым душам", не говорилось Щедрина, когда он писал "Историю города Глупова"? Почему, почему это говорится *теперь*, к концу отрицания, когда отрицание вызывает жестокий протест, "сдачу себе", а не когда отрицатели "давали оплеуху" старому и малому на Руси, крича, что это "страна Чичиковых и Скалозубов", что в ней можно только "задышаться"...

Продолжаю письмо:

"Вспомните себя — и в вас много ничтожного есть, но есть и святое и великое, а вас за этот фельетон поймут только как злого и непонимающего, вас, написавшего книгу "О понимании". Понимаете ли, что можно даже застрелить, но не оскорбить и не *ронять себя* этим оскорбительным, тупым, неразбирающимся отношением? Мне жалко и больно, что фельетон этот напечатан. Вы ведь верно сами уже страдаете, и, я знаю: оскорбляемые всегда оскорбляют и будут оскорблять, таков порядок жизни (мысль не очень ясна). Надо помнить: когда близка смерть, то и Бог близко. Как при рождении, — это край жизни, сентиментальничать некогда и указкам нет места, а главное, *некогда* передумывать".

Все слова курсивом — подчеркнуты в письме. В нем делается упрек за то, как я мог судить людей *перед смертью*, Бердягина и Фрумкину. Конечно, в этот час нельзя судить человека: но как судили *они* убиваемых? А они убивали, хотели убить. В этом-то *хотели* и дело, в *праве так хотеть*. И закаты зрачки глаз, глаза станут из карих, черных, голубых — белые, у всех белые, у революционеров, монархистов, — точно у вареной рыбы. И грудь никогда еще не поднимется, сколько ни зови, ни проси жена, мать, дети, все. Как же тут *взаимно не пожалеть?* А *они не жалели, это факт*: что же значит мое *литературное* "нежелание" около этого *фактического* нежеленья?

Вот мой ответ. И если я был жесток в слове, — и это почувствовалось, то как *вся Россия чувствовала*, когда ее так мало жалели в деле? А ведь мы совершенно не помним в революционной литературе или в деловой революции, чтобы когда-нибудь идущий "на дело" товарищ был остановлен другими, был остановлен кем-нибудь: "Постой! Подумаем!"

Этого "постой, подумаем", — тоже перед великим таинством смерти, — никогда не было произнесено. Это-то и побудило меня сказать: "жестокие, ненавидящие".

Пройдут десятки лет. Все "наше" пройдет. Тогда будут искать корни терроризма подробно, научно, наконец философски и метафизически. В политике лежит только физический корень терроризма. Но когда станут искать его метафизический корень, его найдут поблизости к тому "святому" корню, который когда-то вызвал инквизицию, — это негодование "святых людей" на грех человеческий, и оба эти корня найдут как разветвления того древнего и вечного корня, который именуется "жертвою", началом "жертвенным" в истории, в силу которого всегда и у всех народов тоскливо отыскивалась жертва под нож. Авраам нашел барана, запутавшегося рогами в терновнике, католики — еретиков, террористы — жандарма и полицейского. "Давай его сюда, заколем — и оживем"; "если *этот* не умрет, я не могу жить". Это чувство странное и страшное. Но именно оно-то и есть метафизический корень террора. И, конечно, здесь есть мясники, но по мистическому основанию всего дела тут в некоторых случаях, в некоторой пропорции замешаны и люди чистой и именно нежной души. Но нужно очень опасаться литературного сентиментализма, и по поводу нескольких гуманно-обобщенных фраз, *сказанных в предсмертном экстазе и вовсе не выражающих коренной и постоянной природы человека*, нельзя развивать ту мысль, будто люди эти подняли руку на человека по причине ангельской своей доброты и невероятной любви к народу, к человечеству. Нет, кто убил — именно убил; кто хотел убить — именно хотел убить. Он ненавидел, он чувствовал гадливость к убиваемому — и этого нельзя ни переделать, ни затенить. Убил *злой* — вот вся моя мысль.

1910

Наш "Антоша Чехонте"

Мечта юности, или грусть юности, — как и первая любовь, не забывается до старости. Она кладет на личность человека неизгладимый отпечаток.

Теперь среди портретов "любимых писателей" вы во всякой образованной семье, в комнатке всякого студента или курсистки встретите портрет или карточку "Антон Чехов"... И среди бородатых, могучих в легкой матушки-натуры или глубоко оригинальных фигур Тургенева, Толстого, Плещеева, Мейя, Некрасова, Добролюбова, Чернышевского — фигура или, точнее, фигурка Чехова представляется такою незначительною, обыкновенною... слишком "наш брат", то же, что "мы, грешные", — слабые, небольшие и вместе недурные люди. Положенная нога на ногу, подпертая рукою голова, волосы и небольшие, и не маленькие, не все гладкие и не слишком волнистые вероятно, русые, — и это пенсне, до того у всех обычное — наконец, выражение лица скорее скучающее, чем грустное, — конечно, умное, но без всяких мировых вопросов на себе, без "запросов духа", "мировой скорби" и "политичес-

кого негодования”, — все это как будто сводит Чехова во второй ряд литературных величин...

“Эх, обывательщина!..”

Это — наша собственная фигура, когда в пору студенчества мы мотались по урокам, или — знакомого, не окончившего курс студента, который, поступая на медицинский факультет, вышел было в юристы, но и юриста из него не вышло, и вот он живет теперь “так”, словом, лицо и фигура “обыкновенного русского человека из образованных”, сплошь все милых и сплошь все жалких, которые ни в чем не могут помочь и явно нуждаются во вспоможестве. Гения нет, силы — небольшие, дум, как серых мышей, — толпы, но все незначительных, обыкновенных, которые не могут дать человеку большой судьбы.

“Эх, русское бессилие!..”

Но все так умно, душевно, — как вы не встретите у заграничного “авиатора”, — “завоевывающего воздух”, черт бы его побрал. У “авиатора” такая же деревянная душа, как и весь его деревянный аппарат, и только удивительным образом на этом “ничто-человеке” выросла одна чудовищной величины способность вот к авиации или к передаче звука по проволоке. Чехов, конечно, никогда не выдумал бы даже новой зубочистки, “более удобной и приспособленной к культуре”, хотя бы из него тянули жилы. И ничего не выдумал бы, да и действительно никогда ничего не выдумал бедный “Антоша Чехонте”, которому не удалась медицина, юриста тоже из него не вышло, — и вот, в раздумье и безденежье, он начал писать, что видел и что слышал, и помещать где-то в “Листках” и читаемых по портерным иллюстрированных журнальчиках. Как это поется в нетрезвой песенке:

Фонарики-сударики
Горят себя, горят...
Что видели, что слышали
Про то не говорят.

Чехов начал рассказывать, — и, вместо “медицины”, у него вышла “литература”. Как “обыкновенно у русских”... Именно, как ночной мигающий фонарик, мимо которого бегут люди, спешит преступление, готовится скандал, и фонарь всем светит, “добрым и злым”, богатым и бедным, никого не удерживая, никому не помогая, но все видит и знает... Так “Антоша Чехонте” начал писать свои миниатюрные рассказы, в 3—4 страницы, в фельетон длиной, в полфельетона.

— Пока не устал и как длинно выйдет. Точку везде поставить можно.

Оглянулась гордая литература на него, взором назад и вниз:

— Это еще что такое?..

Бедный “Антоша Чехонте” съезжился... Еще бы не съезжиться под величественным вопросом Михайловского, у которого что мысль, то — гора: “о прогрессе истории”, о “правде-истине и правде-справедливости”, “герои и толпа”, “вольница и подвижники”. Но была нужда, да и в душе было что-то такое, что пело... Все “поется и поется”, и “Антоша Чехонте” все “писал и писал”... почти не смея выйти в большую литературу, где сидели люди с такими бородами... Как ассирийские боги.

Почти до смерти Чехова продолжалось это недоумение:

Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?

О, наш всевидец, Пушкин: за сколько лет он предсказал критические вопросы Михайловского о Чехове, установившие тон отношения к нему больших журналов... но не публики. "Публика", серая и непретенциозная, полюбила "Антошу Чехонте", "своего Чехонте", — этого человека в пенсне, совершенно обыкновенного.

Чехов довел до виртуозности, до гения обыкновенное изображение обыкновенной жизни. "Без героя" — так можно озаглавить все его сочинения и про себя добавить, не без грусти: "без героизма". В самом деле, такого отсутствия крутой волны, большого вала, как у Чехова, мы, кажется, ни у кого еще не встречаем. И как характерно, что самый даже объем рассказов у Чехова — маленький. Какая противоположность многомотным романам Достоевского, Гончарова; какая противоположность вечно героическому, рвущемуся в небеса Лермонтову...

У Чехова все стелется по земле. Именно, даже не идет, а стелется... Вернее, растет по земле.

Как жизнь, как природа, как все.

"Сударики-фонарики"

мигающими глазами своими видят, может быть, самое важное в жизни, потому что они видят *самое обыкновенное* в ней, т. е. везде бывающее и чему суждено всегда остаться.

Утешимся, как слагатель народных присказок, изрекший:

Дождичек идет
Перед солнышком...
Солнышко взойдет —
Перед дождичком.

Без героического и величия земля тоже не прожила бы, как и без травы и мхов ее не бывает. Даже более: тот гений, та виртуозность, до которой Чехов довел обыкновенный рассказ об обыкновенном событии, свидетельствует, как и всякий апогей и вершина, что мы подошли к краю, за которым начинается "перевал к другому"... Чехов довел нас как раз до взрыва, — поднятия большой волны. И его "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад" по времени почти сливаются, немного отступая назад, с "Песнью буревестника".

Дождик моросит
Перед солнышком...

Но я оставляю в стороне историческое положение беззвучной, глухой музыки Чехова... Это — особая линия размышлений. Мне хочется еще закончить об его музыке.

В юности и героически настроенный человек, конечно, ищет гор, препятствий, борьбы. "Ступай на погибельный Капказ". Все Бог дал, и все Бог устроил, — в природе и в жизни.

Но в полдень нет уж той отваги, —
Порастрясло нас, нам страшной
И косогоры, и овраги.
Кричим: "Полегче, дуралей!"
Катит по-прежнему телега,
Под вечер мы привыкли к ней
И, дремля, едем до ночлега,
А время гонит лошадей.

Этот усталый полдень жизни и еще более усталый и немного сонный вечер жизни — его и рисовал Чехов с миной горькой и усмешливой. Чехов не был бы Чеховым, не был бы "русским интеллигентом", если бы к простодушной и доброй его поэзии не примешивалась везде эта кислотца. Не жгущая, не острая, — для этого он был слишком "русским", — но все-таки именно кислотца. "Люблю кислые щи с кашей, но на этот раз они уже слишком перекисли, да и каша распирает бока", — вот Чехов и его отношение к жизни, прощающее, с усмешкой, любящее, но не уважающее.

"Что же тут уважать? Конечно, все плохо... И всем ужасно скучно".

Это — припев и "Вани", и "Сестер", и старожилов "Вишневого сада".

Толстого или Достоевского, даже Тургенева, наконец, ленивого Гончарова Бог или *Natura-Genitrix*¹ вырубали из большого дерева большим топором. Все крупно, сильно, — в творчестве, в лице их. Сотворение Чехова все шло иным способом. На небольшой дощечке дорогого палисандрового или благочестивого кипарисного дерева, из мирных стран Востока, тонкою иглой начертан образ тихого, изящного человека, "вот как мы все", но от "всех" отличающийся чрезвычайным благородством рисунка, всех линий. В Чехове Россия полюбила себя. Никто так не выразил ее собирательный тип, как он, не только в сочинениях своих, но, наконец, даже и в лице своем, фигуре, манерах и, кажется, образе жизни и поведении. "Все вышло, как у всех русских: учился одному, а стал делать другое; конечно, не дожил полных лет. Кто у нас доживает? Гнезда не имел, был странствующий. И все немного музыканил или мурлыкал себе под нос. Ни звука резкого, ни мысли большой. Но что-то такое во всем этом есть, чего нигде еще нет. Что бы это такое? Да, скучно без этого было бы жить. С другим было бы удачнее, счастливее, благополучнее, но скучнее. А этого, вот, слушаешь, слушаешь и забываешь, что дождь идет, что так глупо все, и не то что миришься с глупым, — этого нет, — но в безмерно глупую и дождливую эпоху находишь силы как-нибудь просуществовать, пересуществовать ее, переташиться по ней".

Спасибо тебе, поэт. Ты нас баловал, когда всем было очень тяжело. Но в музыке твоей всегда звучала струна, по которой мы знали, что "есть край иной". И суть твоей песни заключалась в том, что пела-то она об одном, вот "об этом", а грезы навевала-то совершенно о другом, "вот о том". И мы под звуки твои и спали, и не спали.

¹ Природа-мать (*лат.*).

А впрочем, и настанет "все то же", мы нашего "Антошу Чехонте" не позабудем... Есть "погибельный Капказ", и есть срединная, плоская "Рассея", куда обширнее кавказских стремнин... Настоящая мудрость заключается в том, чтобы в героическую эпоху жить героически, а в негероическую эпоху все-таки не разбивать о стену голову. Великое "что делать" всегда останется под солнцем: "что делать" — как недоумение, "что делать" — как бессилие. Беспримерно героическая натура, Достоевский, устами Мити Карамазова сказал:

— В тысяче мук я *есмь*. Корчусь — и все-таки *есмь*.

Это говорит Митя перед каторгой; но сам Достоевский, в горячую минуту личного существования, в одном частном письме, порасказав приятелю все напасти, кончает:

— Не правда ли, живуч я, как *кошка*...

Это — когда ее выкинут из третьего этажа в окно, а она перевернется и все-таки побегит.

"Есмь" — самое главное; "есмь" — первое. Рождаемся мы не все для варенья и яблок, но, между прочим, и для кислого существования. "Что делать!" "*Быть* человеком" важнее, чем быть "сытым человеком" и даже "нравственным человеком", "добрым человеком", ибо, черт возьми, *кто* же будет "сыт-то" или "нравственен", если "*меня* нет", существа с желудком и 10 заповедями? И поэтому я всегда сперва подумаю о том, чтобы "мне остаться на земле", и уже потом подумаю, какими заповедями обставлюсь и по сколько фунтов хлеба буду съедать в день. Все *после* "жизни", все "позади" жизни... Не знаю, для чего мне после этих строк о грустном Чехове хочется кончить, обращаясь в особенности к юности:

— Не убивайте себя!

Никогда, ни за что, ни в каких обстоятельствах, ни даже после преступления или перед ним, — все-таки не убивайте.

Нить, которая *раз* оборвется, — никогда не завяжется. А все прочее, ей-ей, все, не только тяжесть жизни, но и грех ее, даже ужасный грех, — все-таки можно связать ею "вторичный узелок".

Эту мысль о жизни внушает Чехов тем, что грустная дума и тон его весь полон полужизни. Мерцает, мигает, теплится, но не горит. И, глядя на это "мигающее", долго глядя, вдруг преисполняешься мистического страха: "вдруг погаснет". И кричишь: "Зажигай все, лучше все зажигай, нежели эти ужасные темень и хлад, когда вдруг все погаснет!"

Константин Леонтьев и его "почитатели"

Бывший наш посол в Риме и потом товарищ министра иностранных дел, теперь живущий в отставке и на покое, К. А. Губастов, в нынешнем году, как и в прошлом, созвал к себе друзей и почитателей покойного К. Н. Леонтьева "побеседовать" об издании сочинений последнего, об ожив-

лении памяти и интереса к его личности и трудам, и проч., и проч. По этому поводу хочется сказать несколько слов, которые, может быть, не пройдут без вразумления...

Ах, "друзья"... Да вы одни и стоите *препятствием* на пути признания Леонтьева или возрождения его имени.

Что такое Леонтьев?

Фигура и гений в уровень с Ницше. Только Ницше был профессор, сочинявший "возмутительные теории" в мозгу своем, а сам мирно сидевший в мирном немецком городке и лечившийся от постоянных недугов. Немцы у себя под черепом производят всякие революции: но через порог дома никак не могут и не решаются переступить. Полиция, зная, что "немецкая синица" моря не зажжет, остается спокойною при зрелище их идейного бунта. Чем больше профессора бунтуют у себя под черепом, — тем, полиция знает, страна останется спокойнее.

Леонтьев, идейное родство которого с Ницше гораздо ближе, чем далекое и даже проблематическое родство с ним Достоевского, — был не профессор, а глубоко *практическая*, и притом *страстно-практическая*, личность... Медик, гувернер, журналист и романист, дипломат, монах и, наконец, отшельник Оптиной пустыни, — он был, как сабля наголо: он не только "переступил бы порог" своего дома, но сейчас бы и бросился в битву, закипи она на улицах. С кем в битву? С теми же кумирами, которые разбил и Ницше. За какие идеалы? За те же, каким поклонялся Ницше.

Идеал Леонтьева — эстетическая красота. Но не в книгах (Ницше), — а в *самой жизни*.

Леонтьев поклонился *силе и красоте жизни, выразительности и мощи* исторических линий, как новому "богу"... Ради него он от всего отвернулся. Сам ради этого нового "бога" он измял свою литературную деятельность и изломал свою биографию. Никто при жизни его не понимал, а по смерти его почтили... только "друзья". Но о них потом.

Ради этого нового "бога" красоты он разорвал с современною ему "утилитарно-эгалитарною" действительностью, с этой "пиджачной" цивилизацией, с этою культурою "черных фраков и туго накрахмаленных воротничков". Он из нее бежал... в монастырь. Он бежал бы в Афины, в общество Алкивиада, Аспазии и Перикла, но как это *умерло* и (по его мнению) было невоскресимо, то бежал в последнее убежище эстетика наших дней — в черный монастырь с его упорным отрицанием жизни. "Мантии монахов все-таки эстетичнее вицмундира чиновника и клетчатого пиджака берлинского или питерского буржуа".

Отрицание Леонтьева было практично, Ницше — только теоретично. Леонтьев *перевел в жизнь* свое отрицание, свою борьбу против текущей истории. Он, в *самом деле*, вышел из действительности: вот смысл его ухождения в монастырь. Ницше остался просто "германским литератором", преуспевшим по смерти до "европейского литератора"... Он очень хорошо уместился в рамках этой цивилизации, нисколько с нею не разоидясь. Отсюда и признание его, такое шумное и скорое после смерти, во всей Европе. Европа признала в Ницше "своего человека", хорошего буржуа и доброго лютеранина. Ведь "лютеране" иначе называются "протестантами", "протестующими". Ницше, как Байрон, как Руссо, как в молодости Пушкин, как всю жизнь Лермонтов, пел "демо-

на” и протестовал против Бога и человечества; но обыватели с берегов Темзы, Шпрее и Невы добродушно хлопали по плечу Байрона, Гете, Пушкина, Лермонтова и Ницше, зная, что ”свой своему глаза не выключет”... — ”Ну, вот; и мы все в Бога не веруем и над христианством посмеиваемся в кулак, — говорили обыватели, пропуская ”маленькую” за галстук, — у нас и Штраус, и Ренан, а теперь и вы, Фридрих Ницше, украшаете словесность”.

Леонтьев *натурою* разошелся со всем и всеми... И ушел в монастырь. Это гораздо страшнее, гораздо показательнее. Здесь невозможно приводить доказательства из его книг, статей, писем, посмертных заметок. Но это был Ницше не в литературе, а *Ницше в действии*. То, что он остался отвергнутым и непризнанным, даже почти не прочитанным (публикою), и свидетельствует о страшной *новизне Леонтьева*. Он был ”не по зубам” нашему обществу, которое ”охает” и ”ухает” то около морали Толстого, то около героев Горького и Л. Андреева.

Леонтьев гордо отвернулся и завернулся в свой плащ. И черной фигурой, — именно как ”Некто в черном”, — простоял все время в стороне от несшейся мимо него жизни, шумной, отвратительной и слепой. ”Все провалитесь в черную дыру смерти”, — говорил он вслед, говорил, и никто не слышал, не слушал.

Даже его художественные рассказы, не уступающие чеховским и Короленко, — ”Из жизни христиан в Турции” не прочитаны.

”Восток, Россия и славянство” едва можно отыскать у букинистов: в магазинах этого двухтомного труда нет.

Когда он написал ”Наши новые христиане — гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский”, то и Вл. Соловьев, и Достоевский были испуганы. ”Это — антихрист, так может говорить только антихрист”, не этими буквально словами, но *эту самую* мысль записал Достоевский в своей ”Записной книжке” (смотри посмертное издание сочинений Достоевского 1882 г., с извлечениями из ”Записной книжки”). Замечательно, что Леонтьев на обложке этой брошюры надписал: ”Продается в пользу слепых города Москвы, т. е. якобы она издана с благотворительною, богоугодною целью. Но это — аллегория и насмешка: ”слепые” — это сами читатели, ”в пользу” которых Леонтьев написал и напечатал свою брошюру-памфлет.

И с Достоевским, и с Толстым, кумирами тех дней и того времени, Леонтьев разошелся самым резким образом. ”Я за толпою не побегу. И так как толпа тоже ко мне не пойдет, то я останусь один”.

И остался...

И вот этот дьявол в монашеском куколе, — бросившийся в Оптину пустынь только оттого, что ему нельзя было броситься в Сиракузы к какому-нибудь тирану Дионисию (к которому путешествовал Платон), попал...

Попал в ”объятия” друзей своих, Тертия Филиппова, Анатолия Александрова, Иосифа Фуделя, Вл. Ан. Грингмута, К. А. Губастова, Б. В. Никольского.

Столько ”советников”, — ”тайных” и ”статских”...

В ”объятиях” их и заключается его темная ”судьба”, тот странный ”*fatum*” около его имени и книг, о которых он говорил перед смертью.

Леонтьев — весь влюбленность. Он не имел другого отношения к вещам и идеям, кроме влюбленного или... негодующего и презирующего до степеней едва вообразимых. Но, судьба, — "почитателями" его сделались люди неспособные даже и к кой-какой любвишке. Он был, как Франческо-да-Римини в мистическом полете (у Данте): но обнимал пахучего Петрушку из "Мертвых душ".

Судьба...

Тем сочным басом, как говорил и Ноздрев, Б. В. Никольский гремел в прошлом году, что ему ничего не стоит заставить Академию наук издать "Полное собрание сочинений" К. Леонтьева... Забыв, что не в издании дело, а в читателе, — и что, если бы был читатель, издатели и помимо академии нашлись бы, а без этого и академическое издание остается втуне.

Фудель, "друг" Леонтьева, — на предложение П. П. Перцова издать на свой счет 3-й том "Сочинений" Леонтьева, в дополнение к "Востоку, России и славянству", ответил требованием, чтобы издание велось по указаниям его, великого Фуделя, иначе же он не даст доступа к материалу неизданных посмертных леонтьевских статей.

Так как на это нелепое предложение нельзя было надеяться получить согласие, то попросту Фудель поставил veto к изданию 3-го тома своего покойного "друга"...

Т. И. Филиппов получил от Леонтьева "посвящение" себе одного его тома.

К. А. Губастов прекрасно и величественно "председательствовал" среди "почитателей имени Леонтьева"; и мне показалось в прошлом году, что это — просто берлинский конгресс или уж по крайней мере заграничная конференция...

Грингмут и теперь Л. А. Тихомиров, в обладании которых находилась типография "Московских Ведомостей", одним мановением руки могли бы дать обществу издание сочинений Леонтьева, от "крох" которого оба идейно питались и питаются. Но "крохи" они подбирали, а "манования" не дали...

И над всем этим хором "друзей" бас Бориса Никольского... "Я заставлю", "я сделаю", "меня знают"...

Он только не договаривал, что он всех переколотит чубуком, если кто-нибудь не станет почитать его "друга" Леонтьева...

Шум есть непременно сопутствие Никольского, как хвост есть непременно сопутствие кометы. Шум и неотвязчивое воспоминание о Ноздреве... Даже о двух Ноздревых, сразу вошедших в комнату.

И хочется вынести Леонтьева из обступившего могилу его хора "почитателей", сказав: вы не воскресители, а погребатели.

Расступитесь. И тогда он встанет сам... Во всем блеске и занимательности его идей...

Наш "Черный Некто"... Не рассмотренный, не услышанный. Но так влюбляющий каждого, кто сумеет раскутать плащ его и взглянуть в скрытое там лицо. Влюбляющий и влюбленный — так хочется назвать его, как собственным и исключительным именем.

Наша русская анархия

"Не *пробил* час", чтобы, как ангел или демон, вошла в нашу душу идея "государственности...". Мы *а-политичны*, *вне-государственны*... Такого глубочайше анархического явления, как "русское общество" или вообще "русский человек", я думаю, никогда еще не появлялось на земле. Это что-то... божественное или адское, и не разберешь.

В конце концов ведь это и отлично... Для литературы, для *самого* общества... Для свободы нашей, для художественных даров... Мы, русские, все немножко "музыканим"... Бредут богомольцы в Киев — по дороге смотрят города, монастыри, храмы... реки, горки... людей, торговлю, промыслы. В сущности, это они "музыканят"... Один профессор Московской духовной академии живет в крестьянской хибарке, среди книг: и все думают, что он "молится", а он в самом деле "музыканит". Я пишу статью и "музыканю"; читатель читает ее и "музыканит"; жена приятеля флиртует, т. е., конечно, тоже "музыканит". И все на Руси "музыканят" и, кроме "музыки", ничем в сущности и не занимаются. Т. е. все занимаются вещами сладкими, *личными, душевными*...

Над *вымыслом* слезами обольюсь...
И может быть на мой закат печальный
Любовь блеснет улыбкою прощальной...

Так сказал Пушкин. Поставив *вымысел* и *любовь* в одну категорию, он и выразил сущность российской или всероссийской "музыки", как некоего сладкого ничегонеделания, но в высшей степени художественного. За русского анархиста-художника я "душу прозакладываю", потому что ничего милее его, душевнее его, до некоторой степени углубленнее его не знаю. Здесь я подошел к самому тоненькому-тоненькому корешку русской литературы, на коем *единственно* она вся и целиком и выросла. Здесь ее корень, здесь ее сущность:

- 1) Мы глубочайше *аполитичны*,
- 2) Потому что мы глубочайше *интимны*.

Это — следствие и причина, выпуклость и вогнутость одного зеркала.

Хочешь получить "настоящую государственность", — "империю Бисмарка", победы, блеск, славу — прости с литературой. Ну, какая *теперь* литература в Германии? Для горничных и барынь, похожих на горничных. Не унтер-офицеры же и не акк-у-ра-тней-шие почтовые чиновники станут читать литературу. Им "не до стихов", *серьезно* "не до стихов". Они "делают свое государство": а это трудно, хлопотливо, заботно... На это *весь ум и душа* уходят; а в истории, как и в промышленности, царит закон *специальности* и "разделения труда".

Мы, русские, "музыканим" и ни малейше "государства не делаем", — "черт бы его побрал". В этом "черт бы его побрал" и лежит весь нерв русской духовной жизни. Правда, мы кричим на министров (в душе) и дергаем их (в печати) за вожжу, как невезущую клячу: "ну, поезжайте, везите нас", "не везут, — опять *стоп*: ха, ха!" — "они бесхвостые", "они без гривы", "их на живодерню надо"... Но мы не то чтобы уж очень

тоскуем по неедущему возу, на котором сидим, а так, просто, "галдим" и, в сущности, в этом галдеже тоже "музыкаем". На самом деле, в глубине вещей, нам что "воз", — мы "не Бисмарки", "не каналы": нам вот "поспеть бы к празднику в город" или "доехать до ближнего кабака", — где "музыка" разнообразнейшая: и пляс, и карты, и зелено вино, и "жена ближнего", рас-кра-са-ви-ца, и "обедня с хорошими певчими", все российские удовольствия, которых у немецких парикмахеров не водится...

Я немножко грубо беру дело, — грубыми словами: на самом деле оно тоньше, углубленнее, нежнее, более страдательно. Углубленности, субъективности, *интимности* русской души, "хорошей русской души" — и предела нет, нет ей ограничивающего горизонта... Это что-то небывалое. На этой "небывалости" и раскинулась золотая русская литература, прекрасная и благородная даже в заурядных своих явлениях. "Немножечко души" везде у нас скажется, в каждом даже неудачном стихотворении, в плохо рассказанной повестушке. Все это золото и есть золото нашей интимности, нашей нежности, нашего чутко слушающего уха и зорко смотрящего глаза. Словом, "музыка" везде есть...

Потому что мы *а*-политичны.

Потому что мы анархисты.

Потому что мы говорим: "а черт бы его побрал" о всем, в сущности, кроме своих удовольствий, кроме своего "душевного", своего "милого"...

От Бога до кабака.

Здесь нельзя избежать грубого, грубых слов: потому-то грубым переполнена наша жизнь, грубое попадает на каждом шагу, муча до боли, до крика. Но не замечается, что это "грубое" есть в сущности "неубранное", т. е. чего "не убрало начальство", а "начальство" не убрало этого потому, что оно взаимной системой рычагов "не подтянуто", слабо, "как все мы", и вечно, по соседству, заражается от нас же, т. е. от народного и общественного моря, чертами анархичности, безволия и в последнем анализе "музыки".

В конце концов дело дошло до того, что "музыканят" и чиновники... между молитвой и кабаком. Украдкой, потихоньку. Ведь и чиновники русские, — решительно все без исключения, — говорят "черт бы их побрал" о ранге *следующего* над ними начальства.

"Музыка" всеобщая...

Но от которой решительно государство не может не разваливаться. Это и есть "теперешнее положение русских дел", — да, в сущности, "положение" их и за весь XIX век, когда мы представляли могущественный фасад, блестяще освещенный, но в здании, у которого стропила подгнили, балки обвалились, кирпич положен негодный и, конечно, "с кражею", и проч. и проч. и проч. Но все это в глубочайшей *соотнесенности* с "золотым веком русской литературы", — такой нежной, такой правдивой, такой искренней, такой задушевной...

Такой *интимной*, — вот сущность!

Государство, — все внешность. Оно "без души". Как литература *настоящая* ("святое дело") естественно *а*-политична: так государство "настоящее" *внешнеинтимно*, строго, повелительно, сухо: где нужно ("требует долг") — беспощадно.

Государство — солдат. Вот его апогей.
Общество, нация, народность, "быт" — поэт.
Могут ли они обняться? Никогда. Кроме случая и момента.
Ну, была Отечественная война. Год. Обнялись. Прошел год — и расплевались. Жуковский писал: "Певец в стане русских воинов"; но уже Пушкин острил известные остроты. Потом Лермонтов:

Люблю отчизну я, но странною любовью...

Потом Гоголь и "Мертвые души"...

Разошлись.

Деятнадцатый век был веком победы русского общества над русской государственностью... Неслыханной, оглушительной. Тут и помогло то, что оно было "унижено и оскорблено": "страдалец"-то и победил, как это и естественно в интимной и художественной сфере. Конечно, ведь "Распятый" победил распявших Его, — от которых через век и сапогов не осталось, и все их "книжки" ("книжники и фарисеи") растрепались до полной *нечитаемости*. Вот как Христос разбил и разнес по ветру "старый завет", разные Соломоновы "завесы в храме", и все их жертвенники, светильники и прочую обрядовую "кухню", так что от всего этого ничего не осталось и на месте всего этого засиял один его терновый венец, — так же точно, в такой же мере русская литература и поэзия во всех направлениях и до глубины разъела русскую государственность... Разъела форму, строгость и взыскательность, — без чего нет государства. Перед лирой Пушкина померк, побледнел... просто умер Бенкендорф.

Потом пришел Лермонтов.

Потом еще Гоголь.

Потом Кольцов и его милые песни. Тютчев... Еще Фет, — певец трав и цветов. Явился роман, длинный и сложный, как жизнь...

Государственность решительно осела. Чуть не спряталась, *застыдилась себя*...

"Ну, что это: действительные статские советники... Какие они люди".

Даже ничего и "понимать"-то не могут. Не люди, а виц-мундиры. Притом "ворованные"... Из интендантства.

Государственность решительно еле-еле держалась и держится... Осмеянная, ненавидимая.

Все это хорошо... Для "нас" хорошо, — "музыканящих"... Но как же тут управлять?!?!

1911

И. В. Киреевский и Герцен

К выходу 2-го издания Полного собрания сочинений И. В. Киреевского, в редакции М. Гершензона. 2 тома.

Ну вот, наконец и *лицо* человека, о котором приходилось столько думать и которого любил уже давно — Ивана Васильевича Киреевского, в превосходном новом издании его сочинений, сделанном М. Гершензоном...

В очках, должно быть с круглыми стеклами и неуклюжих, в высоком воротнике сорочки, в более чем старомодном полукафтани, полусюртуке, с остриженными волосами, сидит "наш друг Иван Васильевич" в большом и удобном старинном кресле. Одна рука заложена за борт сюртука, другая не столько опирается на ручку кресла, сколько сжимает ее. Лицо поставлено прямо, упорно; подбородок чуть-чуть выдается вперед; над глазами большие надбровные дуги; череп — скорее коробочкой, без округлости, без шаровидности, как у "обыкновенных русских". Нет, — это лицо и голова вовсе не "необыкновенно русские"...

Взгляд пристальный. Губы маленького, красивого (хочется сказать — "хорошенького") рта сжаты. Все выражение — презрительное, негодующее. Но он молчит. Слушает и презирает говорящего.

И вот я дорисовываю в воображении: vis-à-vis сидит Герцен, с его широким русским лицом, добрым, мягким, с сочными полными губами, — и изливается в потоках речей, оспаривая "нашего Ивана Васильевича". Соловей сам себя заслушался. Талант весь масляный. Так и блещит:

Как некий чародей
Отселе править миром я могу...

— говорит у Пушкина миллионер-рыцарь, перед открытыми сундуками с сверкающим золотом. У Герцена "золото" было в его талантах, в его уже, наверное, округлой, шарообразной голове, "истинно — русской".

Что недоступно мне?..

мог спросить о себе, опять словами богатыря-рыцаря, Герцен; что не поддается очарованию моего слова, очарованию моей мысли... и... и будущего "полного собрания сочинений". Герцен был прирожденный сочинитель; сидевший против него и все молчавший Киреевский был явно не сочинитель.

Он презирал, молчал, негодовал и не мог ничего возразить "тоже нашему" Александру Ивановичу. Слова никак не лезли из маленького и изящного рта, немного девичьего.

Александр Иванович считал это за явную победу и, еще шире распустив крылья, как орел несся над пространствами всемирной мысли, то позитивной, и идеалистической, цитировал то Шеллинга и апостола Павла, и все связывал золотым шнуром своей мысли, хочется сказать — колючею военной проволокой, но сделанною из чистейшего золота его остроумия, его гибкости, его прыткости. Считая противника совершенно побежденным (потому что тот все молчал), он по своей русской доброте, теперь уже оказывал ему покровительство, кое-что небрежно припомнив из его давних полуслов, — соглашался с этими полусловами, уступал из своего, отказывался. Богачу отчего не отказаться. А Герцен каждую минуту чувствовал, каждую секунду чувствовал: "Как я богат! Нет, как я несчетно одарен... сравнительно с этим моим бедным другом, так ошетилившимся, и бессильно ошетилившимся, в ворота своей рубахи и плохо сшитого кафтана".

Наконец Киреевский буркнул:
— Вы нескромны!!

Герцен ответил: "Что такое? ничего не понимаю! "Не скромны", "immodeste"... что́ такое говорит этот чужак, этот еж, этот крот?.." Нескромнен": я ему говорю о падении Рима и апостоле Павле, проповедывавшем на его площадях, цитирую и верно цитирую Volpey'a: он мне говорит, что я "нескромнен"...

— Нескромны, и все это очень глупо, и "Апостол Павел", и "Рим", и ненужный вам "Волней". Вы нескромны, наглы и легкомысленны. Вам кажется, что вы ужасно даровиты, а на самом деле вы глубоко бездарны, и золота-то в вас нет, а только позолота... или, точнее, вы весь осыпаны бриллиантовой пылью и сверкаете как солнце, но настоящего-то *теплого солнышка* в вас нет ни единого луча. И все к вам побегут, но из вас ничего не вырастет.

— Вы говорите, как Валаамова ослица, извините...

— И договарю... И умрете вы холодной смертью, без настоящего друга около себя, без *родного человека*, измученный, раздраженный, разочарованный... Умрете холодной ледяшкой где-нибудь *не на родине*... Но есть свои законы у холодного солнца, у искусственного солнца, вот из бриллиантовой пыли: в то время, как вы будете так холодно и ненужно умирать, вдали от этого места будет шуметь ваше *имя*, шуметь *ваша слава*... "Полному собранию сочинений" будет очень хорошо: только *вам-то* будет очень плохо...

— Это голос Корейши, юродивого...

— И Корейша договорит: просто этого ничего не нужно, ни "вас", ни вашего "полного собрания сочинений". Ветер, даль и пустота...

— Что же нужно?

— Молчание!

— Молчание? талант бездарных?

— Талант даровитого. Молча светит солнце. Молча созревает плод. Молча кормит корень. Вся *природа* молчалива, все в природе молчаливо. Гром и ветер — исключения, и ведь это не Бог весть что́. Чем больше молчания, тем больше "делается". "Чего" делается? Всего, всех бесчисленных вещей, которые создаются в природе, "ткуются на ее вечном станке", как выразился Гете. Молчание — добродетель, а разговоры... могут быть просто "болтовней". Вы в самом деле *нескромны* — и удивились и не поняли, когда я вам заметил это. Между тем настоящий ум начинается со *скромности*, т. е. с некоторого плача о себе и своих силах, о своем бессилии; и, пропорционально этому, с *внимания* к окружающему, с желания *учиться* из окружающего. Вы, Александр Иванович, такой говорун, что, очевидно, никогда ничему не будете учиться серьезно. При вашем блеске вам кажется, что у вас "от рождения все науки в голове сидят". Но они, конечно, там не "сидят", и вы во всем и на всю жизнь останетесь *дилетантом*... При таланте, вот таком огромном, как у вас, или, точнее, при такой бездне мелких талантов, какою обладаете вы, — дилетантство с полбеды: но за вами в дилетантизм потянутся и бездарные, и тогда нашей России будет совсем плохо. Долго, долго не придет к нам *настоящей науки*... Ценна ли *настоящая наука*, вы об этом если и не знаете, то догадываетесь: ну, вот эта *настоящая наука* никак не может зародиться иначе как в *глубоком безмолвии*, почти в немом человеке. Науке положил начало тот, кто хотел говорить и не мог говорить; я думаю — немой и даже глухой. Но зато утроенно зрячий,

с телескопами вместо глаз... Наука, как и все лучшее, рождается из добродетели: я недаром заговорил о вашей нескромности, перейдя от нее к порицанию в вас всего, к уникальному порицанию, к универсальному отрицанию. Теперь я начну универсальную *хвалу*, и начну ее с хвалы *святому*. Если вы растерялись перед словом "скромность", то тут вы уже совсем ничего не поймете. Но ничего. Я буду говорить перед вами как перед тумбой. Буду говорить мало понятным бормотаньем как бы среди глухих. Начало мира... начало мышления... начало самого человека коренится в *святом*: оно редко, невидимо, не мечется в глаза, а скорее хоронится от глаз, но в нем-то и лежит *корень* всего мира... И пока мир держится именно на *этом корне* и не пожелает получить в основу себя другого корня, — он останется жив, цел и вечен. Святое есть непорочное; святое есть полная правда; святое — оно всегда прямо. Я не умею иначе выразить, как сказав, что святое есть *настоящее*. "*Настоящий человек...*", "*настоящее золото...*", "*настоящая дружба*": вы понимаете эти термины. Мир состоит из "*настоящих вещей*" и из *подражаний* "*настоящим вещам...*". И вторых очень много, а первых очень немного, вот как золота... Мы подошли вплотную к лицу вещей: вот и талант ваш — не настоящий, и кто пойдет за вами — не настоящие люди, и во всем движении вашем не будет настоящего содержания. Но выйдем из кабинета этого и пойдем за околицу нашей деревни: вот куда, где мой брат, Петр Васильевич, собирал народные песни и собрал их несколько томов: это есть *мир настоящего*, глухой, темный, суровый, незнаемый. *Народное море, народная совесть, народная нужда, народная дума*. Наши с вами разговоры пройдут, и "*Вольней*" вам в самом деле не нужен, как и "*Апостол Павел среди Рима*" есть только словесное украшение великолепной вашей речи. И потому, что все это — "*не настоящее*". Но вот в этом "*народном море*" последняя крупца сыграет свою роль; займет умы настоящей науки, не чета моей голове и не чета вашей голове, и взволнует настоящим волнением совесть более глубокую, чем "*у нас с вами*". Безотчетно это море и именуется себя "*Святая Русь*". Но и эта "*Святая Русь*" сейчас же хрустнула бы во всем своем достоинстве, если бы она была самодовольна, самовлюбленна, вот как мы с вами; если бы она не была полна слез о себе, сознания своего убожества и своей немощи. Так что есть *ярусы* "святого": "святое" в "святом" и "святое" под "святым". Как и в "истине" есть тоже сложность, углубления и высоты. Самоуверенная и сомнительная демократия есть такое же жалкое и скоропроходящее явление, как и ваш блестящий талант или блески вашего таланта; народ "*свят*" *отраженною святостью* другого высшего, что уже не есть этнографическая масса, а вечные абсолюты, над всеми народами стоящие; вечные звезды в истории. Ну... это совесть, это Бог. Выйдя сюда, мы уже выйдем за грани Руси. Сюда я не ухожу. Но я остаюсь и останусь с Русью; и тогда, как вы умрете, наверное, где-нибудь вне Руси и холодно, озябши, — я непременно умру в Руси; и хоть шума вокруг меня не будет, но зато будет немножко того тепла, без которого жить невозможно и страшно даже умереть без него. Моя дорога уныла: но она светло кончится; ваша дорога светла: но она уныло кончится.

Труды Киреевского вязнут в зубах... За пятьдесят лет — два издания! И то какие: не народные, не дешевенькие, а великолепные большие издания для ученых и библиотек. Нет, это не о них сказал Некрасов великолепный стих:

Студент не будет посыпать
Ее листов золой табачной...

Эта проклятая "зола" так западает к самому корешку... И сберегая новенькую книгу, ее ни ногтем не выковырнешь, не выдуешь ртом. "Знакомые истории"...

Девушка в девятнадцать лет
Не замечается над нею,
О ней не будут рассуждать,
Ни дилетант, ни критик мрачный...

Да, чтобы переиздать или даже чтобы хоть внимательно перечитать эти старые тетради и книжки, надо родиться какому-нибудь специалисту "Гершензону", пройти весь неизмеримый, весь бесконечный путь от "Талмуда" до "славянофильства", и тогда он найдет в полузабытом, почти забытом писателе какие-то слова жизни и понимания, каких не нашел нигде еще в русской литературе...

Вот чего никак нельзя представить себе: чтобы человек очень старой культуры, неся ее в крови наследственно или в сознании усвоенно, культуры этих "Вавилонских оттенков" или оттенков "римских", "греческих", — стал вчитываться и наконец взялся переиздать Герцена, с учеными примечаниями, с кропотливостью над каждой строкой. "Будто Священное Писание"...

Вот этого духа "священства", — священства в *самом происхождении*, не лежит ни на одной странице и ни на одной строке Герцена. Корейша-Киреевский в самом деле набормотал когда-то правду: что все сочинения Александра Ивановича не "из добродетели", — тогда как его, Корейша, сочинения текут в самом деле "из добродетели". Смешно, смеяться до упаду, а потом пересташь смеяться и думать: "Это в самом деле серьезно". Дело в том, что, не будь у Александра Ивановича такое "легкое перо", он никаких "сочинений" не писал бы, а или проигрался бы в Монако (если только Монако тогда было), или был бы убит на дуэли, или сделался бы генерал-губернатором, командиром корпуса или первым секретарем при русском после в Лондоне. Что-нибудь в этом роде... Смиранный же Иван Васильевич, "такой Корейша", никуда бы не перелез из своей симбирской деревеньки или из каменного дома на "Собачьей площади" (в Москве), где вот они спорили с Герценом: и если бы не пером, то хоть долотом на каменных столбах уж записал бы, т. е. вырезал бы, свои знаменитые мысли... До того не интересные студенту и 19-летней девушке... Т. е. Киреевский был подлинно "священный писатель", и его "кой-какие сочиненьца" суть тем не менее подлинное "священное писанье" в нашей русской литературе... Написанные в том настроении, о котором Лермонтов сказал:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сияньи голубом...
Отчего же мне так больно и так трудно?..

Стих Некрасова о студенте, "посыпающем золою" и т. д., и этот другой стих о пустынноике, вышедшем одиноко на дорогу, можно сопоставить. Две сладости: реальная, земная; и другая — какая-то явно не земная, грустная, одинокая, отвергнутая... Но тем пуще сладкая, сладчайшая.

Одна сладость пала на Герцена. Другую выбрал себе Киреевский.

Он и за ним вся линия славянофилов (он был *родоначальник* их) в самом деле сочинили какое-то "священное писание" в русской литературе, "естественно не читаемое"... Алтарей так мало, а площадей так много. Но все их "творения", довольно "вязкие в зубах", в самом деле исходят из необыкновенно высокого настроения души, из какого-то священного ее восторга, обращенного к русской земле, но не к ней одной, а и к иным вещам... Чего бы они ни касались, Европы, религии, христианства, язычества, античного мира, — везде речь их лилась золотом самого возвышенного строя мысли, самого страстного углубления в предмет, величайшей компетентности в суждениях о нем. Чего от них никогда не могло произойти, чего в линии их развития никогда не могло появиться — это Д. И. Писарева. Ни его "Отрицания эстетики", ни его "мыслящих реалистов"... А это характерно. Дети всегда характерны для родителей.

* * *

От Киреевского пошли русские одиночки.... От Герцена пошла русская "общественность"... Пошло шумное, деятельное начало, немного "ветреное" начало... движущееся туда, сюда, всюду. У Герцена была шарообразная голова, "по-русски", и полные мягкие губы. И "общественное начало" у нас говорило и говорило. Говорило сочно, сладко, "заслушиваясь себя"... с успехом, какой всегда имел и Герцен. Впрочем, оно лет через 50 обмелело бы; даже раньше; если бы в помощь ему и отчасти чтобы сменить его и вытеснить не пришли семинаристы 60-х годов, с закалом суровым, дерзким и... жертвенным. Герцен был так талантлив и счастлив, что "жертвы" у него никак не получилось бы: между тем только на "жертве" строится великое в истории. Замечательно, что когда пришли "семинаристы", по-видимому, "единомышленные" с ним, Герцен затосковал... Он увидел свой конец, свою смерть. Он был в порыве глубоко их отвергнуть, восстать на них: но не решился и — промолчал. Почему? Ведь он был так неизмеримо их талантливее, не говоря уже о просвещенности. "Друг Мадзини... друг Прудона". Тогда как Чернышевский был всего из Саратова, а Добролюбов из нижегородской бурсы. Отчего же он почувствовал себя вдруг слабым? Семинаристы, при всей их грубости и "незнании иностранных языков", сообщили всему движению закал и твердость стали: тогда как Герцен был только мягкое железо. Сталь может рубить железо, а железо — в какой бы массе ни было — не может перерезать самой тонкой пластинки стали. На всем протяжении неизмеримых сочинений Герцена, где столько блеска и рос-

коши, нет ни одной страницы трогательной и "хватающей за душу". Даже нет, в сущности, ни одной интимной страницы. Уж слишком не "священное писание"... Попахивает бульваром: ну, "бульваром" в июльские дни, когда Париж шумел, Людовика-Филиппа гнали и Гизо бежал в карете с грязным бельем. Но хоть и в "июльские дни", однако именно "бульваром"... Ничего не поделаешь. Судьба. Та же "судьба", с горечью и сладостью в себе, дала Добролюбову много поесть черной каши и кислых щей, прежде чем он вышел в литературу. Да и таланта у него, как у Герцена, не было. У него была та "скромность", о которой спросил Киреевский у Герцена, и Герцен тогда ничего не понял. Скромность — и с ней "добродетель", качество немного Корейши. У семинаристов появилось чуть-чуть "священного же писания", с его жаром, с его верою, с его "торжественным настроением в душе". И — не "вязло в зубах". Вся Русь поняла и сразу оценила стих Добролюбова, — чуть ли не единственный стих, какой он написал, — не из шуточных:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я чужден,
Но за то родному краю
Вечно буду я известен.

Милый друг, — я умираю,
Но спокоен я душою
И тебя благословляю, —
Шествуй тою же стезею.

Это просто как в самом деле завещание умирающего живым *родным* людям, — перед лицом которых и перед лицом гроба не приходит на ум ни вымысел, ни украшение. Одна простота. Одна правда. Одна суровость. Вот таких восьми строк во "всем" Герцене нет. На "родное" по-родному и отозвались. Вся Русь откликнулась на стих Добролюбову; больше: она вся встала перед ним. Когда на людном собрании "общества в память Герцена" (в Петербурге основалось года два назад) после двух-трех чтений о нем корифеев петербургского либерализма, европейского либерализма, я заговорил "и о Добролюбове", — я был остановлен пренебрежительным замечанием:

— Ну, можно ли сравнивать Добролюбова с Герценом... Добролюбов же был совсем не образован. А Герцен — европейский ум. Да и какой талант — разнообразие талантов!..

Произнесено было так уверенно, что я замолчал. Да, Добролюбов был беднее Герцена, как и Киреевский. Но в каком-то одном и чрезвычайно важном отношении он был его и неизмеримо даровитее, тоже как Киреевский. Герцен весь рассыпался, разливался: но воды его "мелели" с каждым днем и каждой саженью движенья вперед. Ключ и Киреевского и Добролюбова бил из глубины земли... Бил и не истощался и поил многих и многих... И пившие находили воду его свежее, вкусною и здоровою. В Герцене ни одной ниточки не было от Киреевского, но в Добролюбова вошла крошечным уголком, тоненькою ниточкою душа Киреевского. Это — любовь к родной земле, к дальней околице, к деревенской песне. Киреевскому было бы совершенно нечего конфузиться перед Добролюбовым; Добролюбов не мог бы почувствовать никакого

негодования к Киреевскому. Хотя все их мирозерцание, все их идеалы — несоизмеримы, далеко, в сущности — враждебны. Но

Капля крови, общая с народом...
У них у обоих была.

Между славянофильством и радикализмом русским есть та же связь, как между часом бури и часом тишины *одного и того же дня*.

Памяти В. О. Ключевского

Кончина Василия Осиповича Ключевского отзовется в тысячах сердец как *личное* несчастье, в десятках тысяч умов — как горе о потере для *науки и литературы*; а вся Россия если не сейчас, то очень скоро сознает, что в лице его утрачен наша земляе историк, так сказать, наиболее отвечающий своему предмету. О последнем мы скажем ниже; в первую же минуту охватывает душу самое горячее чувство именно как бы личного несчастья, которое переживут в эти дни, без сомнения, все личные ученики и слушатели покойного профессора.

Он соединил все качества, которые требуются для идеального наставника. Если с "лекцией" соединять представление о "музыке, наполняющей аудиторию", а в Москве, где читал Грановский, это ожидание естественно, то мы скажем, что у Ключевского этого не было. Ни голос его, тонкий, резкий, несколько женский, не отвечал такому ожиданию, ни особенно — ум, вовсе не гладкий, не летучий, а скорее цепляющийся за свой предмет, и цепляющийся с такою силою, изгибистостью и приноровленностью, что уже нельзя было различить субъекта от объекта, разделить историка от истории, "Ключевского" от "Грозного", "Петра" или "Екатерины". Нет, это не был певучий лектор, наполняющий музыкаю голоса зал и которому слушатели отдаются как прежде всего очарованию. Но, ведь, это и не нужно. Или нужно в другом месте. В университет слушатели собираются, чтобы научиться, а не насладиться. И вот этому-то инстинкту научения он идеально отвечал как *наставник*.

Отвечал всем... И, прежде всего, тем, что он был монах-профессор, живший в своей науке, как в келье, из которой никуда не уходил, никогда не имел ни явного, ни затаенного желания куда-нибудь переступить, был ею счастлив, был ею сыт и напоен, и как келья светится своим обитателем, так Ключевский осветил всю русскую историю своею любящею личностью, до такой степени преданною ей одной; своим, наконец, разумением ее и, словом, тем, что так сжился с нею... Тут и объясняются слова: "он соответствовал своему предмету", по-видимому, простые и мало говорящие. Русская история ждала своего историка... и не находила. Нужно ли говорить, что из трех выдающихся лиц, посвятивших ей свои силы и таланты, — Карамзина, Соловьева и Костомарова, — ни один ей не соответствовал. Великолепный Карамзин, захотевший дать отечеству красноречивого Гита Ливия, явно не соответствовал "новгородским мужикам", дела и мысли которых, удачи, приключения и несчастья сплели нашу раннюю историю; просто он был слишком

великолепен, слишком литературное имя, слишком счастливый вотчинник своей симбирской вотчины, чтобы ползать и поразгребаться в новгородских и псковских кочках, на московских задних дворах, как известно, всегда не чищенных, и острым глазком все там выглядывать, а затем острым язычком, сплетая грешное и святое, обо всем порассказать. Карамзин, в духе, в идеях, весь был продукт правящего дворянского сословия, чистосердечно и идеалистически слившегося с реформационной деятельностью от Петра до Александра. Народ, племя, задворки села просто были неизвестны ему, поэзия и грех кабака — неведомы, судьба солдата — не печальна, сказки мамушек, начетчиц, приживальщиц — или не услышаны, или закрылись литературными впечатлениями. И история его, в сущности история одного правительства центрального, была великолепной словесно панорамой, где мы видим только передний фасад кремля, соборов, дворцов, правильно движущихся войск, успехов, — или оплакиваемых в молитве неудач, — перемены на троне. Самая кисть его была так устроена, что не могла бы написать никакого настоящего безобразия, никакого настоящего греха, в его крупное, большое, красивое слово не попадали "мелочи жизни"... А без мелочей, греха и безобразия какая же история? Где она?

В Костомарове историк разжиживался беллетристом, он унился до написания размалеванного "Кудеяра", просто чтобы излить месть на невидимого им Ивана Грозного. Похвально такое негодование в нем как в моралисте, но просто, это — ниже историка. Историк имеет свою месть: это — правда, и месть эта делается убийственной, когда правда рассказана спокойно. "Синодик царя Ивана", приложенный к "Сказаниям Курбского", с этими ужасными славянскими буквами под титлами, где говорится об "утопленных в Шексне" и в других местах, с надписками между строками: "да с ним два брата" или: "и с женою и с детьми", и так несколько страниц все одних имен, все одних "убиенных", говорит куда больше повести Костомарова, напечатанной в "Вестнике Европы". Костомаров жил в слишком мятушееся время и сам был слишком взволнованный человек, притом не человек центра России, а одной из ее окраин, со всею скорбью этой окраины и памятью мучительных чувств, чтобы мог сделаться центральным русским историком. Он дал блестящие труды по русской истории, но войти в дом и принести блестящие подарки не то, что быть хозяином дома. Наша история с ним не жила, он не вжился в нашу историю.

Не был хозяином ее и Соловьев; в 29 томах "Истории России" он будто распоряжается ею, почти как господин или как арендатор, арендовавший плохо устроенное имение, которому умом своим, ученостью и крепким, стойким характером придает лучший вид, разум и осмысленность. Весь тон его таков, как бы историк стоит выше истории. Он не уравнился с народною судьбою в ее, увы, бывающем и необходимом оподлении. А без этого, как без позора и греха, опять где правда истории, правда в *тоне*? В 29 томах мы имеем бесприммерно ученого и бесприммерно работоспособного русского человека, но который лично и врожденно не имел множества таких русских "жилок", без которых просто невозможно усвоить всю полноту русской действительности. Несмотря на огромное протяжение почти трех десятков томов, она не полна. И не полна в существенных частях. В ней нет тех "ветров

буйных”, которые гуливали по Руси, и той ”землицы”, в которую по пояс увяз Святогор-богатырь. Нужно ли договорить, что Соловьеву совсем непонятна была личность св. Сергия Радонежского.

Во всяком случае, он построил и изъяснял тело России. Души ее он не коснулся.

Замечательно и привлекательно, что Ключевский, по-видимому, не имел намерения с первой же молодости выступить ”историографом отечества”, как это совершенно явно в Карамзине и Соловьеве. Оба — и Карамзин, и Соловьев — не были ”сверстниками” своих сверстников, товарищами — товарищей, но и в сознании способностей своих, а главное — достоинства, ставили себя особо и над ними; и, пройдя быстро (Соловьев) фазис магистерских и докторских диссертаций, кляли уже в молодости первый этаж здания ”на всю жизнь”, — выпуская 1-й том систематического изложения. Это — и хорошо: должен же быть и *сознавать* кто-нибудь себя полководцем; но в *истории*, и особенно в *русской истории*, это не совсем хорошо, ибо не обещает богатого внутреннего успеха. Слишком русская история не ”формальна”, чтобы довольно формальное сознание своего личного первенства и авторитета обещало в сознающем так себя человеку глубокого ”ведуна” недр этой истории... И останется ”излагатель”, все клонящий к ”правительству” и ”правительству”, к фасаду и фасаду... Ключевский уже в середине своего возраста оставался весь со студентами, весь в аудитории, почти не показываясь наружу, не заявляя себя громадой печатных трудов, и особенно такой значительности в заглавии, как ”История России”... Можно сказать, любовь к нему возникала раньше, чем уважение; любовь дозревала, становилась совершенно крепкою, но только в тех, естественно немногих, лицах, которые его лично знали, слушали, учились у него, видели его самого в занятиях. России в то же время он оставался совершенно неизвестен. Так он не был никому известен среди московского студенчества, когда был приглашен на кафедру Московского университета. Забелин или Иловайский заливали его своей знаменитостью. Только люди такого *вкуса*, как незабвенный Николай Саввич Тихонравов, могли рассмотреть жемчужину в сору; мне ничего не известно о роли Тихонравова в приглашении Ключевского на кафедру русской истории после смерти Соловьева; но почему-то думается, что именно Тихонравов ”утвердил” его сюда, несмотря на то что у Ключевского не было почти никаких печатных трудов, а профессором (Московской духовной академии) он был уже давно, — седой волос уже давно показался в его небольшой черненькой бородке или ”в чем-то”, что росло на месте бороды. Но едва Ключевский вошел сюда на кафедру, — с первой же лекции, битком набитой любопытствующими и не ведающими ничего студентами, — он покориł их себе всех умом, мастерством, изумительным русским талантом в применении к главному русскому делу. ”Главным русским делом” естественно назвать для русских ”русскую историю”. Сейчас все почувствовали, что лучшего лица нельзя было поставить на эту кафедру, что ”дело” нашло своего ”мастера”, а ”мастер” впервые получил в свое обладание все ”дело”. Московский университет — центральный в России; Москва собрала, выковала, выучила, как-никак, Россию; в Москве, и именно профессором этого университета, была написана самая громадная ”История Рос-

сии"... Приглашение сюда заместителя Соловьева было ответственным... Но сразу же, в первые недели, даже с первой лекции, столь памятной, все *твердо* сказали (именно — твердо!), что совершилось нечто удачное, что никакого другого лица сюда не нужно, что Ключевский есть даже не "лучший", а какой-то "естественный" заместитель этой кафедры, есть профессор "само собою разумеется"...

До этого времени была отпечатана им только маленькая книжка, которую можно было разыскать лишь у букинистов, — "Жития святых, как исторический *материал*"... Не правда ли, как характерна тема? Ее и вообразить нельзя под пером Соловьева или Карамзина. Ведь "жития" не могут помочь установлению какой-нибудь исторической *даты*; по ним нельзя распутать какой-нибудь родственной связи великокняжеской путаницы; ни сделать заключения об экономическом состоянии сословий или века. "Жития" путают легенду и историю, вымысел и действительность. Итак, для "осязательной действительности", которую, естественно, были заняты историки, эти жития не давали ничего, и историки прошли мимо них. Но душа не осязаема. Чем-то она жила у русского народа до университета, до гимназии, до книгопечатания и газет. Ключевский увидел то, что было очевидно всегда, но очевидно не для профессоров *его кафедры*, а для ученых соседних кафедр, для Тихонравова или Буслаева, что без вникания в "Жития святых русской земли" невозможно постигнуть целой *половины* народной души и народного быта, а следовательно, и уловить душу, аромат, наклон и неодолимые течения больших, объемных событий истории, которыми были заняты Соловьев и Карамзин. Те рубили березу, а сока ее не отведали. И сока ее не дали испить читателю. Ключевский, в незаметном раннем труде, именно обратился к этому: соку, как бы сказав: только отведав его, можно понять и светло-зеленую листву березы, и ее белый ствол.

И все это вышло у него "само собою" вовсе не как "метод", как новизна в науке, как ее другое направление. Отшельник жил в келье, вовсе не желая обратиться на себя чье-нибудь внимание, не желая, чтобы его кто-нибудь увидел и за ним кто-нибудь последовал.

Впервые общее внимание было обращено на него с появлением "Боярской думы", и это время, 80-е годы прошлого века, были первыми, когда имя его сделалось общеизвестным в России. Авторитет его, "знаемость" его — утвердились. Но и здесь он не воспользовался ею: он не спешил издать новые труды и остался по-прежнему профессором для своих студентов, наставником аудитории и исторических "семинариев" (занятие со старшими группами и писание рефератов). Жизнь его проходила в любящем уяснении *для себя* предмета, но в уяснении открытом, вслух, среди учеников, которые, понятным образом, привязывались к такому наставнику. Все было "само собою"... В этом "само собою" почти весь секрет и душа Ключевского. Он "никуда" не рос, никуда не "хотел", ни к чему не стремился; но как около старого дерева "само собою" нарастает с каждым годом новая древесина и оно становится все больше и толще, — так Ключевский "само собою" вырос в коренного русского историка, — по справедливости отеснив в разряд чего-то *искусственного* всех историков до себя... Все это произошло "само собою". Уже лет за шесть до напечатания первого тома его "Курса лекций по русской истории" в обществе, между прочим, в Петербурге,

сильно и волнуясь говорили: "Отчего не печатается курс лекций профессора Московского университета Ключевского?" Говорили, волнуясь и негодуя на книгоиздателей и книготорговцев. Литографированного текста его лекций искали, покупали за высокие цены. Вообще, устная слава Ключевского предшествовала его печатной славе. Он весь был в слове и весь был для слушателя. Вне личного общения, с теплым голосом, с живой улыбкой в ответ на слово, как будто для него не было общения. Он не "имел воли к нему", — говоря языком Шопенгауэра, — хотя и не избегал его. Эта черта его показывает высокое интимное напряжение его души, — и им-то именно он и *уродился* русской истории, как ни один историк до него, стал "естественным русским историком", наиболее "ответчающим своему предмету". В "историографе" Россия не нуждается; "историограф" всегда напишет: "Ach, du mein lieber Augustin..."¹ "Естественный русский историк" и должен был зародиться где-нибудь незаметно среди студенчества, живущий для этого студенчества, как для слушателей только своих, с глубокой субъективностью отношения к ним, без желания для себя красоты и славы, почти без книг, без книжного выражения. Все так именно и совершилось, как должно было быть: под давлением требования, едва ли с большой охотой, Ключевский стал "выдавать в печать" свои "Лекции по русской истории", которые можно было бы озаглавить: "Мои чтения в Москве своим слушателям", — до того они имеют в виду не публику, не Россию, а именно "личного своего слушателя".

Но эта-то особенная теплота, связность наставника "со своим слушателем" и есть надлежащая форма, надлежащий канон для единственного возможного и единственного следуемого изложения русской истории. Вся она — не показная; вся она тиха, непритязательна; вся, вместе с тем, прекрасна и глубокомысленна. "Нет лучше русской истории", — как ответил Пушкин Чаадаеву, но это "лучше" ее разглядывается в тихих студенческих аудиториях, да в келье-кабинете ученого и совершенно улетучивается с великолепных страниц историографии. Где великопленные победы? Где шумные на весь свет походы? Где такие "успехи дипломатии", которым дивится весь свет? Ни, наконец, великих завоеваний ума и энергии нет. Тихо копается русский человек. Точно и лица от земли не поднимает. Но любящею "отцовской" рукою историк поднимает к свету это лицо древнего русского человека и в какой-нибудь вдове-помещице Осоргиной дает увидеть читателю, дает услышать своим слушателям такую милую человечность, такой вечный подвиг любви и терпения, перед которым вдруг все успехи римских пап кажутся какою-то ненужною вознею, кажутся бесчеловечной грубостью (см. "Добрые люди Древней Руси" В. Ключевского, Сергиев Посад, 1892 г.).

Из такой одной черты сыплетса ослепляющий свет объяснений. Например, читая Соловьева или Карамзина, никак нельзя понять, отчего же, например, Россия, "в интересах *единства* христианства, не приняла католичества"? "Не приняла его и в интересах освобождения от татарского ига"? Католики бы помогли. Для могучих держав Запада ничего не стоило бы сбросить с нас монгольское иго. Повторяем, в "гладкой",

¹ Ах, мой милый Августин (нем.).

"нешероховатой" истории и Соловьева, и Карамзина этого не видно. Но в изложении Ключевского сразу видно: для Руси так же невозможно было принять католичество, как для мягкой и довольно пухлой Ульяны Осоргиной "невместно" было бы одеть железные рыцарские латы. И она не одела бы их даже при обещании, что в таком виде покорит весь свет. "Невместно мне", "не уместаюсь я", "жестко мне". Католичество *грубо и жестко* для православной души, насильственно для самого славянского тела, выпеченного из пшеницы, а не скованного из железа. А мал ли этот факт, что русские остались вне католичества? Соловьев мог превосходно распутать дипломатические отношения с западными дворами при Елизавете или Екатерине, но вот этого огромного факта церковной особеннности Руси он не только не понимал сам, не только не объяснял слушателям, но даже его и не замечал вовсе иначе как случай, без всякой внутренней необходимости.

Ключевский "как раз пришелся по русской истории", — этим все сказано. Не мудрил, но старался понять ее. Везде стоял в уровень с нею: мысль, что его ум мог бы быть применен к занятиям историею более сложных народов, более, так сказать, "всемирных", оскорбила бы его. Его нельзя было бы отнять от русской истории, как ребенка от мамы или мамку от ребенка. Только "вместе" они составляли "одно". Эта взаимная приспособленность "питания", где индивидуум просто не жил бы, не питай его соком своим "прародительская история", а "историю" эту, в свою очередь, никто не умел бы так "разжевать" другим, как он, — это-то и образovalo полную гармонию ученого и науки.

Ключевский был тепел всем, это была самая незабвенная черта его для слушателей. И это равно и для тех, кто не имел к нему никакого личного отношения, ни разу глаз-на-глаз не беседовал с ним. Тепло лилось из его слова, из его интонации, из взглядов, какие он бросал на предмет своего слова. Нельзя представить его сонным, вялым, недеятельным. Он был московский живой человек, но с киевским поэтическим оттенком, с киевским нравственным и церковным идеалом. От Костомарова его отделяло московское благоразумие, московское чувство единства Руси, но возможную жестокость и властительство, хотя бы в идеях, в тенденциях московского историка, смягчали тихие напевы Украины. Так вышел этот замечательный выразитель *всей* Руси, как и следует быть историку всей Руси. Но у него это вышло как-то "само собою", "от природы", а не через ломку убеждений, не через "проверку ума". Вышло безболезненно и безобидно, — врожденно. Широки звоны московские, и под ширь их должны войти и грусть Украины, и удаль Питера. В некоторых полосочках лекций Ключевского есть и она: например, где он говорит о русской любви "*подразнить* счастье", пошалить около "удачи", что и сложило поговорку: "авось". Вот этой заметки опять не сделали бы Карамзин и Соловьев. А без "авось" не было бы Руси.

Нельзя полчаса читать "Лекций" Ключевского, чтобы не наткнуться на объяснение, обмолвку, заметку, которая вас удивляет. Она ценна тем, что не случайна: обмолвка всего в строку зрела годы занятий над историею, и не только *чтения* памятников исторических, но и обдумывания их, взгляда на них *художественного глаза*. Вот в этом-то художест-

венном глазе, художественном вкусе Ключевского все и дело. Его не заменить, не возродить...

Да будут дозволены два слова, которые нам хотелось бы сказать в заключение и без которых дух усопшего возроптал бы. Во всей его личности, и особенно в отсутствии в нем жажды славы или известности, чувствуется, что он прожил счастливую личную жизнь. За всеми его трудами, за *способом* его трудиться чувствуется, что кто-то всю жизнь оберегал его, — оберегал, как он берег русскую историю.

Когда в Москве открывался памятник Гоголю, он нигде не показался, — ни при "открытии", ни на одном из "заседаний по поводу"... Когда об этом невольно спрашивалось, слышался ответ, что он "загрустил и куда не показывается" и будто это связано с тем, что лошади расшибли переходившую улицу его старушку жену. Другие этот случай отрицали (или не знали о нем), но говорили, что у него в доме действительно неблагополучно, — хворают. Этот колеблющийся слух полуразъяснился, когда вышел четвертый том его "Лекций", посвященный "памяти" жены. Тихо прожили они, кажется без детей, день за днем сорок с лишком лет. Нельзя не отметить в Ключевском чрезвычайно доброго отношения к русской женщине. Нельзя не отметить, что для подобного отношения всегда требуется живое ощущение, личная уверенность. В богатых свойствах русского историка, в сохранении и возделывании этих свойств, которые могли бы и развеяться "ветрами", могли бы исказиться и надорваться, а, между тем, все сохранены нам в целостности, чистоте и гармонии, — во всем этом и за все это русская земля обязана многим его незаметному другу, начавшему тогда "прихварывать". И нам не кажется неуместным сказать, что, прося у Бога "вечной памяти рабу Его, новопреставленному Василию", мы хорошо сделаем, если прибавим про себя: "и рабе Божией Анисье". Вместе жили, вместе трудились для нас словом, духом, больше всего — духом. Вместе их и помянем.

О происхождении некоторых типов Достоевского

(Литература в переплетениях с жизнью)

I

Творчество Достоевского, даже в самых фантастических его точках, не так уже фантастично, как это представляется читателю, не знакомому с его личностью и с обстоятельствами его творчества. Я помню, в первый же раз, когда познакомился с его вдовою Анною Григорьевною, то спросил ее об этом, уверенный в отрицательном ответе. К удивлению, она дала ответ положительный.

— О нет! Федор Михайлович ужасно любил вставлять в свои романы кусочки действительности, какие нам с ним встречались на жизненном пути... Любил это и весело, по-домашнему, смеялся со мною таким своим вставкам. Это простиралось на мелочи. Вы помните в "Братьях Карамазовых" Черемашню и село Мокрое.

Еще бы я не "номнил".

Анна Григорьевна весело рассмеялась и точно ушла в воспоминания.

— Так это же *станции* по дороге из Петербурга в Старую Руссу, куда мы, бывало, ездили каждое лето на дачу, в свой дом.

Я не догадался спросить: "А Лягавый, — тот жулик-кулак, который спит в Мокром пьяный на лавке и, проснувшись, только ругается и хохочет, и больше никакого толку от него ни герои романа, ни читатель романа не видят?" Но и Лягавого, до такой степени конкретно, что его нарочно "не выдумашь", верно, видел где-нибудь Федор Михайлович, хотя, может быть, и не в Мокром. Такие лица, как доктор Герценштубе (тоже в "Братьях Карамазовых"), не выдумываются. Это слишком часто, особенно и странно: и тут сперва должна сотворить матушка-природа, а потом уже человеку дано срисовать ее и украсить срисованным свое человеческое произведение. Но замечание Анны Григорьевны о том, что Достоевский вообще *любил это делать*, любил *этот прием работы*, побуждает расширить границы того исторического и реального, которое, по общему признанию, захватили его романы. До сих пор общее сознание утердило историческую портретность только за следующими его лицами:

Петруша Верховский в "Бесах", это *Нечаев*.

Кармазинов там же, это — *Тургенев* (кариатура-портрет).

Степан Трофимович со своей статьей "Об аравитянах" — *Грановский*.

Нужно заметить, что с историческим Грановским Степан Трофимович имеет так мало общего, так мало *единого*, что мы не решились бы на свое указание, если бы не слова Тургенева: "Ну, пусть он изобразил в смешном виде меня (Кармазинов), но зачем он затронул *Грановского*?" "Затрогивания" было очень мало: он перенес мысленно благородного, мягкого, *уступчивого, пассивного* идеалиста 40-х годов в сильную и мутную волну, 60-х годов. Но все подробности смешной и чуть-чуть нечистоплотной биографии Степана Трофимовича, разумеется, не имеют ничего общего с настоящей биографией Грановского.

Достоевский имел одну, так сказать, мимолетно-общую черту с Гоголем, — демоническую: его, как и Гоголя, смех разбирал "до пупика" при мысли, при образе, при самом имени какого-нибудь "установленно идеального" лица, авторитета, идеала. Помните, у Гоголя эту дьявольскую мезистофелевскую гримасу:

"Перед ним сидел *Шиллер*, не тот Шиллер, который написал "Вильгельма Телля" и "Историю тридцатилетней войны", но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял *Гофман*, не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топя ногою и что-то говоря с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и подняв вверх голову, а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожного ножа на самой его поверхности. Шиллер говорил: "Я не хочу, мне не нужен нос! У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по 40 коп.; это будет 1 руб. 20 коп., это будет в год 14 р. 40 коп. Слышишь, мой друг Гофман? На один нос 14 р. 40 к.! Да, по праздникам

я нюхаю Рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю два фунта Рапе, по 2 р. фунт. Шесть да четырнадцать — 20 р. 40 к. на один табак! Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли? Но я швабский немец, у меня есть король в Германии. Я не хочу носа! Режь мне нос! Вот мой нос!”

Это — дьяволов смех... Это — Мефистофель, шумящий со студентами в погребке Ауэрбаха: его голос, его тембр, все его, но в натуре, т. е. я хочу сказать, что это место с “Гофманом” и “Шиллером” написал настоящий Мефистофель, не выдуманный, не литературный, а какому в самом деле случается бродить по свету...

Кармазинов и Степан Трофимович, в каковых преобразовал Достоевский Тургенева и Грановского, суть эти вот именно “Шиллер” и “Гофман” гоголевского творчества, конечно, без всякой мысли о подражании. Обоих, — и Гоголя, и Достоевского, — толкнул “смех до пупика”, какой в них поднимался при виде “утвержденного авторитета”, и особенно морального и эстетического. Таковыми в Германии особенно были Шиллер и Гофман, а в России тоже, несомненно, были именно Тургенев и Грановский.

Гоголь взял самое мечтательное, самое эфирное и посадил в “сапожника”; Достоевский благороднейшего Грановского посадил в “нахлебники” к богатой вдове да заставил еще жаловаться потихоньку, что его “хотят женить на чужих грехах”... Так же глупо, чудовищно и грязно, как история с отрезаемым по “дороговизне содержания” носом у Гоголя...

Но подобные, *взятые из действительности* лица всегда суть вводные персонажи в романах Достоевского, во всяком случае, не главные. Главные, начинающиеся с двоящегося образа Раскольников — Свидригайлова и кончая Алешей — Иваном Карамазовыми, суть выразители колеблющегося и тоже раздваивающегося мирозерцания самого Достоевского... Будущий историк литературы воспользуется следующим методом для изучения этих главных лиц:

1) Проследит единство некоторых идей, я сказал бы — “навязчивых идей”, почти фантомов, которые владеют этими персонажами. Явно, что это то же в своем роде, что автобиографический Нехлюдов у Толстого (в “Утре помещика”, в “Юности”, в “Воскресении”). Таким “Нехлюдовым” для Достоевского является длинный и разнообразный ряд лиц, — в сущности, вся главная толпа их. Например, в “Униженных и оскорбленных” есть поразительная фигура старого князя Вальковского; чуть-чуть тут взято, может быть, от одного титулованного издателя — автора небольшого литературного органа, издающегося до сих пор, с которым соиздательствовал в свое время Достоевский... Но гораздо более замечательны родство и близость этого князя Вальковского с Свидригайловым. А что Свидригайлов есть “Нехлюдов” Достоевского, то это видно из того, что не Свидригайлов написал, а Достоевский написал знаменитого “Бобка”, — развратные и служебные разговоры покойников на Смоленском кладбище, что буква в букву повторяет кошмар Свидригайлова о том, что, может быть, “тот свет” похож на баню с пауками... “Знаете, деревенская угарная баня... И по всем стенам пауки”... “И только”... “Я бы непременно так сделал, ибо это самое справедливое”.

Душно... И вдруг это “душно” пахнуло на нас из “Бобка”...

Далее: Иван — Алеша — старец Зосима, это — опять все "Нехлюдов" Достоевского. Его идеи — в разных вариантах, оттенках... Но здесь я перехожу ко второму методическому приему, который сделает будущий историк литературы, именно:

2) Он сопоставит монологи-суждения главных персонажей в романах Достоевского с монологами самого Федора Михайловича в его "Дневнике писателя" и через это опять откроет "нехлюдовщину" в его романах...

Через два эти приема может быть совершенно выделено все мирозерцание Достоевского, начиная от юности и до его гробовой доски; выделено и, наконец, даже изложено в виде просто хрестоматии из его произведений, по годам его жизни и по времени написания отдельных романов, притом в словах столь ярких, точных и сильных, каких не заменит никакое "собственное изложение" историка литературы, биографа или критика.

* * *

Историко-литературные изыскания последних лет, направленные на все поколение 40-х, 50-х, 60-х и 70-х годов, раскрыли перед нами два псевдонима в романах Достоевского... единственно тем, что произведения Достоевского не так ярко помнятся, как произведения Толстого или Тургенева, и огромная и беспорядочная толпа его персонажей далеко не так выпукла перед всеобщим воображением, как Платон Каратаев, Нехлюдов, Пьер или как Базаров, Рудин, даже Пигасов, — только этим можно объяснить, каким образом археологам нашего общества не пришлось на ум сопоставить сделанные ими замечательные открытия, замечательные воспоминания с целыми полосами художественных живописаний Федора Михайловича. Мы разумеем исследователей: М. О. Гершензона, А. И. Фаресова, А. С. Пругавина, П. И. Бирюкова, Н. В. Чайковского (известный народоволец). Явно, все названные писатели не принадлежат к "любителям Достоевского", иначе то, что я сейчас скажу, было бы уже давно сказано в нашей литературе.

Отрицательная, отвратительная личность Петруши Верховенского (псевдоним Нечаева) в "Бесах" уравнивается или, скорее, возмещается целую группу лиц, менее *подробно* описанных, но, пожалуй, *освященных* еще ярче, чем он... Это — Шатов и Кириллов. Кто они? Что такое они? Их *положение* в обществе, их *отношение к действительности* те же, что и у Нечаева: положение — *посторонних* людей, отношение — *критическое*. Давнее, старое явление, хорошо нам знакомое с гимназии: кто из нас не припомнит, что в то время как масса товарищества: 1) принадлежала к определенному сословию или классу обывательства и 2) по окончании курса предназначала себя к определенной профессии, — врача, судьи, чиновника, земца, помещика и пр., и пр., и пр., — некоторые из милых товарищей нашего отрочества и юношества, собственно: 1) ни к чему себя не предназначали, *как к профессии*, и 2) ни к какому определенному кругу общества не принадлежали. Я называю эти "тени прошлого", может быть уже ушедшие в землю, невольно "милыми", потому что хотя тому прошло уже сорок лет, тридцать лет, но за всю жизнь, в которую мало ли народу пересмотрено, мало ли каких встреч

было, на этих лицах останавливается воспоминание с наибольшим удовлетворением... дерзну сказать (хотя то были и мальчики) — с наибольшим уважением. Привлекала вот эта их "непринадлежность ни к чему", в настоящем ли, в будущем ли. От этого на них ложился свет какой-то сиротливости, главным образом духовной, хотя большею частью на них лежал и свет физической сиротливости, по отсутствию родства, по слабости родства, или далекого, или нелюбимого и, во всяком случае, не очень "слаженного". Но, главным образом, они были "духовные сироты", потому что ни к чему-то, ни к чему в действительности они не были привязаны, ни с чем не связаны... Вытекало это из избытка у них воображения и общих чувств, общих идей... Все они были монахами-мечтателями, вернее, и по возрасту, — были как бы мечтательными послушниками возле монастыря, который им был совершенно не нужен и нисколько их не тянул. Есть такие "монашки" или "монашенки" на отходе, вечно готовые "бежать", вечно уходящие, а не приходящие, однако, с каким-то общим и неопределенным позывом в себе именно к монашеству, т. е. к "бегству от мира", к одиночеству. "Монашества хочется, но невыносим ни один монастырь". Почему же "невыносим"? "Ни один устав не по мне: по мне будет только тот устав, который я сам выдумую". Таким образом, с существом монашества в этих замечательных и памятных отроках была слита беспредельная анархичность, вытекавшая не из склонности к "дебошу", а из бесконечной индивидуальности в них, субъективности, интимности... Их царапала и "оскорбляла", в сущности, всякая действительность не оттого, что она была дурна, а оттого, что она была не воздушна и слишком тяжело ложилась на их существо, как бы сделанное все из воздуха, мечты и воображения. Все они не чесались или плохо чесались; одевались худо и презирали одеваться хорошо; учились худо или "так себе" и никогда — отлично. Не были драчуны, шалуны, хотя иногда бывали "проказники" и "на худой платформе"... но это — не главное. Главное — книги и мечта. Чтение совершенно необузданное, "без всякого разбора", но, главным образом, без всякого удержу, день и ночь, как гашиш, как опиум. Что же, однако, искалось в чтении? Опять не определенный "устав" и "монастырь", а "как бы куда уйти". "Любовь к чтению" вытекала из того одного, что книга была "не жизнь". "Чтение" было "бегством" для того, у кого не было денег и возможности "купить билет в поезд" и уехать непременно "куда-нибудь", без определения места. Как "определенное место", — так "гадость" для этих 17—18—23-летних "бегунов". Есть такая и секта у русских. А сектантство наше, собственно, разрабатывает вширь и вглубь народную психологию, общественную психологию, личную психологию, но именно — нашу. Эти одиночки-нигилисты, всегда тоскующие, всегда угрюмые, в большинстве — печальные, скучающие, ни к чему не могущие "приткнуться" и привязаться и в то же время безумно привязанные...

К чему?

А вот найти наконец "устав по мне", а за явную невозможностью этого — придумать самому такой "устав", который бы удовлетворил всех, насытил бы всех и никого более не царапал, не мучил, как мучит вообще всякая действительность. И по молодости, да и вообще по разным законам души ("мое "я" есть центр мира"), им не приходило на

ум, что мучит их не "такая" или "иная" действительность, а самое существо *действительности, осязательности, конкретности*, по противоположности с слишком большой эфирностью существа, большой духовностью, преобладанием воображения и мысли. Таким образом, они стояли, не зная того сами, перед "квадратурою круга", "философским камнем" и "жизненным эликсиром", — темы, равно привлекательные, вековые и важные, потому что неразрешимые. "Неразрешимое" всегда нравится уму человеческому, потому что он и действительно, по существу своему, "больше всего"... Он бы не рос и не был бы вечен, он не был бы умом человека, а только умом животного, если бы что-нибудь нашлось в действительном больше его. Но все его меньше, и в поисках объекта, достойного и равного объекта и соперника, он ищет и привязывается до безумия именно к "неразрешимому", именно к квадратуре круга, к жизненному эликсиру.

II

Достоевский, при всех его колебаниях около мировых проблем и около русской действительности, никогда не выпускал из мысли этих "русских мальчиков", как он их назвал под конец жизни в "Братьях Карамазовых". Впрочем, "мальчики" тут ни при чем; это если и "присказка", и даже важная, то все-таки не существо дела. Дело не в возрасте, не в летах, а в психологии. Ведь, и в монастырях "монашенками на *отходе*" бывают не только отроки и юноши, но и зрелые мужи, иногда даже старцы. В "Братьях Карамазовых" Достоевский устами Ивана называет так его брата Алешу, хотя тот и был в возрасте почти жениха (его полуроман с Лизою Хохлаковой), и еще группу гимназистов почти младших классов, с Колею Красоткиным во главе, читающих "из-под полы" Герцена и проч., и проч. Но есть целый роман, посвященный такому "мальчику": это — "Подросток". Наконец, не к таким ли, в сущности, "мальчикам" принадлежит и его князь Мышкин, "идиот", в знаменитом романе этого имени? Конечно! Опять типично отроческая психология, хотя и происходящая от болезненной организации героя, но это уже все равно — отчего. Взята невинность отроческая, чистота отроческая, и "оригинальный склад мышления", не связанного, в сущности, ни с чем, не тяготеющего ни к чему реальному. Но этого мало. А кто такие студенты-товарищи Раскольников и Разумихин? Да не всего ли только "желторотый мальчик" и знаменитый Иван Карамазов, философ 24 лет, сочиняющий, вместо поисков служебного места, легенду о католичестве и православии, о христианстве и судьбах его в истории? Вот эти-то помыслы "о том, чего мне не нужно", и суть всего. Суть в стремлении "я" к бесконечно удаленному от "я", к тому, чего "и не увидеть", о чем "и не услышать". Суть — в этом деле; вернее, — в этом характерном "безделье". "Бродит-бродит человек и сочиняет легенды", как "калики-перехожие" сочиняют свои "духовные стихи". Наконец, если мы вспомним "Пушкинскую речь", канва которой, конечно, была заготовлена раньше, но *сказалась* она словами, создавшимися в момент самого произнесения, и *сказалась*, как мы все чувствуем и понимаем,

в каком-то глубоком экстазе и волнении, — что такое эти слова об Алеко, ушедшем в цыганский табор от цивилизации, от города?! О, тут Достоевский наивно и невинно схитрил около Пушкина, навязав ему "пророческое предвидение наших теперешних дней": Пушкин таким "пророчеством" не обладал, не был им болен, им богат или им беден, а в "Алеко" он просто передал одно из бывавших или возможных приключений своего помещичьего времени, широкого и самодурного, капризного и поэтического, в том вкусе и роде, о каком исторически известно в судьбе и приключениях "кавалерист-девицы" г-жи Дуровой. И только. Я сказал об экстазе, который, по всему вероятно, овладел Достоевским в самый момент, как он вошел на эстраду. И вот, едва почувствовав этот приступ тоски и бури в душе, он прямо сейчас же (самое начало речи) заговорил об этих "русских мальчиках", заговорил языком "лирических отступлений" Гоголя и уж никак не эпическим языком Пушкина:

"... В Алеко Пушкин отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем"...

Достоевский все явление связывает с реформой Петра Великого, "оторвавшего общество от народа". Но это — явная ошибка. Аналогичные "бегуны" были у нас до Петра; да и теперь *в народе* они являются не от "реформы Петра", так как последняя еще "по почте не дошла" на Урал, в Сибирь, всюду, где появляются безграмотные "страннички", уходящие и уходящие в леса, в "мать-пустыню".

"Тип этот схвачен безошибочно, тип этот постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле, поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут".

На самом деле, пойдя не "от Петра", а выражая черту русского духа, они не исчезнут вовсе и никогда. И... либо разрушат русскую державу, определенный строй, кристалл русской жизни, или... может быть, занесут его куда-нибудь в небо. Дело в том, что тут много и "монгольщины", и "святой души".

"...В наше время если они и не ходят в цыганские таборы, то ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, *ходят с новою верою на другую ниву* и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного, ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. О, огромное большинство интеллигентных русских и тогда, при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читают лекции, и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалованья, с игрой в преферанс. Что в том, что один еще и не начал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и о нее крепко стукнулся лбом. *Всех в свое время то же самое ожидает*".

Таким образом, в путающейся, далеко не сознательной, глубоко безотчетной речи Достоевский то относил это явление к "Петру Великому", то говорил, что это "охватит всех", "захватит всю Россию".

Из последующих слов мы возьмем только эту вкрапинку:

"...У него лишь тоска по природе, жалоба на общество светское, мировые стремления, *плач о потерянной где-то и кем-то правде, которую он отыскать никак не может*".

Ну, где тут Пушкин, какой Пушкин?.. Это — "Тройка" Гоголя, его "у, Русь, чего ты вперила в меня очи и ждешь чего-то от меня" и проч. Точнее, гоголевские "лирические места", так безотчетные и так невольные, были "эмбрионами", "начальными завитками" этих бушующих речей Достоевского, вот как на пушкинском празднике и как многие его страницы-монологи в романах и в "Дневнике писателя". Есть личный дух, а есть и дух истории, прямо "личность истории", и Достоевский не тем продолжал Гоголя, что после "Шинели" написал "Бедных людей" (взгляд И. С. Аксакова), а вот тем, что сказал об Алеко и цыганах, о Татьяне и Онегине после "у, Русь" Гоголя, тем, наконец и вообще, что душа Достоевского во многом продолжала и "уяснила смысл" души Гоголя, "раскрыла содержание" души Гоголя, как "дерево" раскрывает смысл "зерна, из которого выросло"...

Из приведенных цитат и указаний можно видеть, что огромная полоса творчества Достоевского была занята темой "бродящего русско-го мальчика", — мальчика, отрока, юноши, но, во всяком случае, "без своего дома и места на земле"... Вместо "дома" — тревога; вместо "отечества" — тоска; "какой-то плач о какой-то и кем-то потерянной правде", — как он хорошо выразился. Это, так сказать, *общее облако*, из которого "*нал дождь*" там и здесь в его романах и, в конце концов, оросил половину их...

III

Я указал, как в момент произнесения речи о Пушкине (в Москве, при открытии памятника) Достоевский заговорил, в сущности, "ни к селу, ни к городу", о русских "ищущих мальчиках", придравшись к сюжету "Цыган", написанных отнюдь не на эту тему. То же случилось с ним, когда печатались главы за главами "Анны Карениной" в "Русск. Вестнике". Мало ли там содержания психологического, этического; мало ли сторон в романе, которые могли бы взволновать критика. Но, пропустив все это, Достоевский в февральском номере "Дневника" за 1877 год (глава 2) останавливается всего на полустранице романа, где Левин и Стива, ночуя на охоте, перед сном ведут следующий разговор, какого, действительно, не ведут, наверное, ни немецкие, ни французские охотники на своих ночлегах. Вот он, в своей краткости и выразительности, буквально:

"— Но всякое приобретение, не соответственное положенному труду, нечестно, — сказал Левин".

Это он возражает Облонскому, оправдывавшему железнодорожных тузов, у которых тогда этот дворянин и москвич искал "места". Он для

этого ездил с визитом к "еврею Вареновскому", прозрачный псевдоним "еврея Полякова" в "Анне Карениной".

— Да кто же, — возразил Облонский, — определит соответствие?.. Ты не определил черты между честным и нечестным трудом. То, что я получаю жалованья больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, — это бесчестно?

— Я не знаю.

— Ну, так я тебе скажу: то, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, пять тысяч, а этот мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника.

— Нет, позволь, — продолжает Левин. — Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысяч, а мужик — пятьдесят рублей, — это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего имения, — сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина.

— Я не отдаю потому, что никто от меня этого не требует, и если бы я хотел, то мне нельзя отдать... и некому.

— Отдай этому мужику, он не откажется.

— Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую?

— Я не знаю, но если ты убежден, что ты не имеешь права...

— Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле, и к семье.

— Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так...

— Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им.

— Нет, уж извини меня, это — парадокс...

— Так-то, мой друг, — заключил князь Облонский. — Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, — и тогда отстаивать свои права; или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, — как я и делаю, — и пользоваться ими с удовольствием.

— Нет, если б это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, — по крайней мере, я не мог бы; мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват".

Вот разговор. Отвлечемся на минуту от Достоевского к Толстому. В "Воскресении" появляется Нехлюдов, тоже alter ego Толстого, как и Левин, но он уже решает вопрос, над которым колебался Левин, т. е. Толстой 1877 года: он именно "идет с мужиками совершать купчую", передавая им землю. И, наконец, уход самого Толстого из Ясной Поляны после годов собственнo подготовки, нерешительности, что такое, как не этот же "договоренный" разговор Левина и князя Облонского. Правда, в "Воскресении" удалено маленькое и огромное обстоятельство. Левин говорит: "У меня есть обязанности к земле и к семье", я не имею права отказаться от собственности или — колеблюсь... У Нехлюдова нет ни жены, ни детей, ни "обязанностей к земле" каких-нибудь особенных, потому что какой же он землероб? Он барин.

И Толстой перед уходом из Ясной Поляны достиг того возраста, когда, естественно, человеку нужно только три аршина земли да котомка за плечи, да кой-какая одежонка. Есть физика возраста, бывает и метафизика его. В 85 лет вообще никакому человеку ничего не нужно. Не нужно, — и ничего не хочется.

Но в 35 лет? в 40? в 50?

Совсем другая метафизика, и Левин, как и Толстой, всю жизнь рассуждали, рассуждали совсем иначе...

В приведенном отрывке, с его прерывистыми речами, перебиванием друг друга, недоконченностями, многоточиями, обрисован социальный вопрос в такой неиссякаемой полноте, как это могло утаться только Толстому и не удалось бы Достоевскому, не удастся вовсе ученым. "Неиссякаемая полнота" и зависит от недоговоренностей: поставь Толстой "точку", обруби, скажи "credo", — и получился бы шаблон "Русского Богатства" и тысячи популярных книжек, над которыми Достоевский отнюдь бы не взволновался. Но он взволновался. Сейчас мы перейдем к его речам, а пока отметим некоторую "смертную тень" в Толстом: вся приведенная сцена, кроме неиссякаемой полноты своей, поражает еще тем, что она написана *совершенно спокойно*. Толстой так и продолжал далее роман: наутро охотники проснулись рано, легавая "Ласка" удивительно делала "стойку", и, как все читатели помнят, Левин настрелял очень много дупелей. Описано это еще превосходнее и еще внимательнее и красочнее, чем разговор Стивы и Левина. Тут — покой Гете... Нет уж, как хотите, а у Толстого сказалось это же олимпийское величие классика, за которое Бетховен и Бёрне так ругали "тайного советника" Гете. Конечно, тут дело не в "тайном советнике", как и у Толстого дело было не в "графе", а в том, что социальная тема у обоих тонула, как волна в океане, в невероятном множестве таких же, не меньших тем: о христианстве и язычестве, о морфологии растений и о теории солнечного света. Тут Толстой был Гете, величавый и равнодушный; а Достоевский затрепетал всем трепетом земли и в тоне повторил Шиллера, Белинского и Бёрне... Но неизмеримо шире, сложнее. Нужно, однако, взять момент биографии Достоевского.

Шел 1877 год, а по приходе-расходным книжкам, напечатанным в посмертном издании его сочинений, мы знаем, что бережливая и кропотливая Анна Григорьевна, взяв в свои руки издание его романов, достигла того, что именно в 1876—77 гг. Д-кий жил уже без нужды; без тех ужасных долгов, которые его душили всю жизнь, душили еще с "Преступления и наказания", и до степени, что он "нес в заклад последнюю юбку жены", "так что нам (с женой) теперь невозможно и на улицу показаться" (одно письмо из-за границы к Ап. Н. Майкову). Таким образом, это был именно год, когда Д-кий вынырнул из чудища "социальной темы" как личной муки, личной скорби, личной явзы, наконец, как личного оскорбления (он говаривал: "Мой талант стоит миллиона")... Вынырнул и получил все-таки возможность рассуждать о ней, как медик, вышедший из болезни. Но что такое "социальная тема", — он знал шкурно, чего, несомненно, не знали ни Гете, ни Толстой. Он знал, что социальная тема есть первая тема, важнее солнечного света и всякой морфологии. Что *этой* теме нельзя "утонуть в океане волн", нельзя потеряться, нельзя исчезнуть... Что перейти от "вче-

рашнего разговора” к ”завтрашней охоте с Ласкою” есть преступление, есть художественный цинизм...

Это он все знал, но Толстого не упрекнул. И просто — ”некогда”. Вылились три бурные главы, вариант к гениальным ”Запискам из подполья”. Но главы эти удивительным образом наше общество забыло, а в 1905—1906 годах даже и не вспомнило о них, хотя эти годы, — 1905—1906, — общество русское, простонародье русское только и делали, что *практически* пробовали так и этак разорвать узел, если не развязать узел именно спора Левина и Стивы и комментарий к нему Д-го.

”Еще 40 лет назад, — говорит он, — у нас едва сотня людей знала об этих вопросах, поднятых на Западе Сен-Симоном и Фурье, и вдруг менее чем через полвека об этом говорят два обеспеченных помещика, на охоте, ”не какие-нибудь профессора и специалисты”, а люди светские... и которым, казалось бы, что тревожиться? Во-вторых, это отношение к имущественному вопросу кн. Облонского: ”Решает насчет справедливости этих новых идей такой человек, который за них, т. е. за счастье пролетария, бедняка, не даст сам ни гроша, напротив, при случае сам оберет его как липку. Но с легким сердцем и с веселостью каламбуриста он разом подписывает крах всей истории человечества и объявляет настоящий строй его верхом абсурда. ”Я, дескать, с этим совершенно согласен”. Заметьте, что вот эти-то Стивы всегда и в этом первые согласны. Одной чертой он осудил *весь христианский порядок, личность, семейство*”...

Непременное ”nota bene”: в этот год были в возрасте 6—7 лет дети Достоевского, его ”Федя” и его ”Люба”¹, и это был всего 2-й или 3-й год, когда он, пройдя ужасную дорогу пролетария, становился сам собственником, хотя чуть-чуть. Кстати, у него только что родился еще третий ребенок (вскоре умерший), и Д-кий, глядя на него, не мог не думать, что в своих годах он мало имеет надежды увидеть всю эту кучку детей взрослыми и что ”поднимать” их придется его Анне Григорьевне, тогда женщине совершенно еще бедной, но с *началом достатка*, — поднимать, т. е. кормить и обучать в учебных заведениях. Всех этих мотивов совершенно не знали ни Нехлюдов ”Воскресения”, ни сам Толстой, отчего последний и перешел так легко к ”охоте”...

Но Д-кий с рьяностью отца ничем не защищенных малюток, с твердостью человека, который каторжно трудился, хоть и пером, воскликнул: ”Тут христианская цивилизация!” Он с яростью накидывается на сытого *bon vivant*'а Стиву, который решает не только о своем родовом имени, полупромотанном, но и о заработке Фед. М-ча, который он сберег в тысяче или двух тысяч рублей, и оставит эти гроши своей молодой вдове с тремя детьми. Только взяв эту обстановку момента во внимание; мы поймем тон Д-го:

”Заметьте тоже, что у нас нет науки, но эти господа, с полным бесстыдством сознавая, что у них нет науки и что они начали говорить об этом всего лишь вчера и с чужого голоса, решают, однако же, такого размера вопросы без всякого колебания. Но тут третья характернейшая

¹ Родились — дочь в 1869 г. и сын в 1871 г.

черта: этот господин прямо говорит: "Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, — и тогда отстаивать свои права; или признаваться, что пользуемся несправедливыми преимуществами; — как я и делаю, — и пользоваться ими с удовольствием". Т. е., в сущности, он, подписав договор всей России и осудив ее, равно как своей семье, будущности детей своих, прямо объявляет, что это до него не касается: "Я, дескать, сознаю, что я — подлец, но останусь подлецом в свое удовольствие. Après moi le déluge". Это потому он так спокоен, что у него еще есть состояние, но случись, что он его потеряет, — почему же ему не стать червонным валетом? Самая прямая дорога".

Тут у читателя должен на секунду сверкнуть образ "барона" со "Дна" Горького... Как Д-кий все угадал на много лет вперед... Этот горьковский "барон" есть вечный столп цивилизации; "барон" до "Дна" и барон на "Дне", в фазах нисхождения и "положения"... И Стива, конечно, есть тот же "начинающий" барон. Вспомните и отношения его к Долли, и как он выпрашивает у нее позволение заложить еще и ее имяние... Совершенный "барон"...

"Итак, вот этот гражданин, вот этот семьянин, вот этот русский человек, — какая характернейшая, чисто русская черта! Вы скажете, что он все-таки — исключение. Какое исключение"...

Опять какое предчувствие (у Д-го) будущего! Сейчас я помню, как в дни уличных митингов я сидел вечером за чаем у Н. М. Минского. Это было до первой Думы, чуть ли даже не до 17 октября. Все шумело, все умы были подняты, и как-то счастливо подняты. Вдруг раздался звонок, и в маленькую столовую вошли муж и жена, "он" — писатель, "она" — его жена и господин, в шелковом платье с "треном" (шлейф) аршина в два. "Представились", и я услышал лучшую из русских фамилий, до того историческую и громкую, что... "ничего лучшего представить нельзя". Сели. Чай дымился. И "она" передала живо, как сейчас слушала речь уличного оратора перед огромной толпой, "на известную тему".

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал я, видя ее одушевление. — Но нельзя же все вдруг. Хорошо, если будет и конституция.

Лица ее и всех присутствующих выразили отвращение. Я сконфузилась и поправилась:

— Ну, республика, но...

— Что "но"...

— Не рабочая же республика, не социальная республика, с полным уравнением имуществ.

"Муж" мешал сахар в стакане и тянул сладкую влагу с чайной ложечки.

— Ну, конечно, социальная республика! — воскликнула она и чуть-чуть открыла локти. — Руки были красные, худые и некрасивые.

"Черт знает что", — подумал я и замолчал. Но чувствовал, что спорить прямо не имею права: какой же спор, когда "народ хочет".

Была ли она искренна? — Да. — Хотела этого? — Хотела.

Но, может быть, она была и неискренна? — Да, тоже. Дело в том, что мы "с чаем" и в уютной маленькой столовой были так далеки от "рабочего строя", что бытие "буржуазной цивилизации", к какой-то они, конечно, принадлежали с мужем, представлялось ей "2х2=4", т. е.

вечной и совершенно неразрушимой аксиомой. И аксиома эта до такой степени вечна, железна, неопровержима, что именно от ее вечности-то и можно, а, наконец, даже и хочется повторять:

Вверх дном!
Кувырком!..

Это во время кораблекрушения страшно повторить такое; в Мессине этого стиха не скажешь. Но оттого именно, что вся Россия на плоскости стоит и никаких землетрясений в ней не бывает, в ней и можно читать какие угодно "землетрясительные" стихотворения, можно высказывать самые решительные пожелания.

Россия — самая консервативная страна, — оттого она и самая радикальная. Консерватизм обеспечен обломовщиной, а обломовщина родила "беспечальную" фантазию.

Вот и весь "Стива", который не так страшен, как показалось Достоевскому. "Отведут на "Дно", — вот и вся "История Мерovingов"... На "Дне" места много. "Дно" — столп цивилизации. Восходят. Нисходят. И нет причины от этого рушиться самой цивилизации.

Не нужно напоминать, до какой степени много в 1905—1906 гг. именно титулованных и богатых людей стало на сторону полного земельного переворота, да и вообще имущественного переворота. Здесь "прогноз" Достоевского разителен; мы же не забудем его нравственных *résumé*.

Я указал, что фаза биографии Достоевского, совпавшая с высказыванием его последнего, предсмертного взгляда на имущественные отношения, была фазою, когда он сам начал впервые "становиться на ноги"... Это — без упрека и отнюдь не к умалению авторитета его взгляда. В самом деле, кто же может разъяснить "смысл любви", кроме любящего, и "смысл разума", кроме разумного, и "смысл науки", кроме ученого, и, наконец, "смысл имущества", кроме имущественного человека. Голос пролетария здесь вовсе не авторитетен; голос человека, живущего "от сегодня до завтра". У пролетария авторитетно его "я *хочу*" (владеть). Это — жажда, это — инстинкт, это — воля. Тут энергия и есть авторитет. Но когда пролетарий говорит: "а *они* не должны хотеть" (т. е. владеть имуществом) и "должны в мою пользу отказаться от него", то здесь он от "хочу" переходит к "знаю" и здесь он вовсе не авторитетен, потому что он именно не знает смысла "владеть", не знает, между прочим, его нравственного смысла, его хорошего смысла, его благородного смысла. Достоевский с кучею необеспеченных детей и женою, сам больной и уже старый, написавший в свое время о чиновнике Мармеладове, которому "некуда пойти", между прочим, оттого, что он без имущества и никому не нужен, — знал "хорошее" имущества, открыл именно в эти последние годы вечную и добрую сторону имущества как стержня жизни, как фундамента, без которого все валится. И потому он, владетель всего каких-нибудь 2—3 тысяч "залежных", прямо закричал на Облонского, когда он вздумал отказаться (хотя на словах) от своего имущества, сказав прямо: "Ты — подлец". Помилуйте: Облонский, — или Нехлюдов, или Толстой, — отказывается в пользу бедняков от богатства; вдруг Достоевский, этот-то бедняк, этот-то праведник,

этот-то истеричный и человек "муки", кричит: "Это — подлость! Это — измена!" Просто невероятно, но дело стоит именно так. Он кричит на богатых и требует, чтобы они не раздавали имущества беднякам, потому что если это "по теории" и включает молчаливое: "Это должны сделать все", то, очевидно, *по совести и он* должен отдать свои 2—3 тысячи, ибо есть люди вовсе без копейки, и через это оставить "Любу и Федю" идти и "пополнить процент социальной статистики" насчет проституток и пролетариев. А что такое "быть пролетарием" — он знал лучше Нехлюдова и Толстого. И в нем вдруг закричали кровь и вместе христианское сострадание, оно же и зоологическое сострадание: "Не хочу! Боюсь! Страшно!" "За себя страшно, а за малютка-сирот еще страшнее". И вот он, не ошибаясь, а совершенно верно, совершенно авторитетно говорит: "Тут — семья, личность, весь современный порядок, весь строй христианского общества, вся совершившаяся тысячелетняя цивилизация, которая стоила крови и мук". Добавим уж от себя: "Крови и мук не меньших, чем пролетарские слезы, чем пролетарские стоны". Стоны здесь, но стоны и там. Кровь тут, но и там кровь. Кровь, пролитая за утверждение всего этого, за то, чтобы дети заработавшегося до страдания отца ("Федя и Люба") не шли в проституцию и голод; чтобы работник под старость (сам Федор Михайлович) имел отдых и мог посидеть на завалинке, любуясь закатом солнца; чтобы издерганный в нервах и больной человек (он же Федор Михайлович) имел не "коллективный с другими номер в общей гостинице" (фаланстерия Фурье, "рабочий дом"), а свой угол в своем доме, вот в тихой Старой Руссе, около Анны Григорьевны и лаская рукою головки Федеи и Любы. Ему не "вообще женщины" нужны, а Анна Григорьевна и не вообще "дети", а "свои Федя и Люба". Конечно, стержень и узел собственности лежит не в Облонском, Нехлюдове и Толстом; он лежит в Мармеладове и его Катерине Ивановне, в Соне Мармеладовой и ее судьбе, в Федоре Достоевском. Они "знают", что такое собственность, — "знают", потому что ее "работали", без нее гибли. А те, ведь, ничего не "работали" и никогда не "гибли". Кто же авторитет: они ли, которые "отказывались" (от имущества), или он, который "удерживал" (его)? Конечно, он! Конечно, зерно богатства есть именно бедность, зерно имущества есть именно труд, зерно владения, и "прав наследства", и "неотчуждаемости собственности", — всего, всего этого родник и источник есть сам же пролетариат или, точнее выразиться, "пролетарность", бытие такой штуки в мире и мироздании, чудовищной, пугающей, перед чем леденеет кровь.

Ужас неимущества!

— Давай имущества!

Вот их утверждение в истории. Святое и вечное.

Но что же делать с пролетариатом? Не с пролетариатом вчерашнего дня, который сегодня стал имущим, а с пролетариатом сегодняшнего дня?

На это и отвечает Левин, а Достоевский отвечает в том комментарии, который высказывает по поводу, в сущности, ленивых реплик Левина. Так как барчук назавтра пошел охотиться.

IV

"Левин" Толстого, к взгляду которого на собственность и имущественные отношения мы должны сейчас перейти, представляет, как и "Алеко" Пушкина, опять того "скитающегося русского человека", того "госкующего мальчика" у нас, "не крепкого земле", т. е. "не крепкого" вообще всяким определенным, твердым, традиционным отношениям, взглянув на один абрис которого, Достоевский испытывал то же, о чем Пушкин сказал в другой сфере и в другом отношении:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется...

И т. д., и т. д. Достоевский вздрагивал, как кавалерийская лошадь при звуке трубы, как конь рыцаря при призывном роге к битве, как рота вскакивает и хватается за ружья, когда "тревога" барабанщика зовет ее в бой и к смерти. У всякого есть своя "муза": у Некрасова это была муза "мести и печали", — мести, довольно естественно, *за прошлое*, ибо месть только и может относиться к тому, что было, и уже по этому одному, в сущности, консервативная муза, со старыми словами, вариациями и тонами. Вот этой "музе мести и печали" у Некрасова у Достоевского соответствовала "муза", которую я не умею лучше сравнить ни с чем, как с галкою или вообще птицею, сидящею на крыше дома, в момент, когда она, увидев что-то или понадеявшись на что-то, а может быть, просто "соскучась сидеть на одном месте", вытянула длинно шею, поднялась на пальцы ног и подняла крылья, но еще не взмахнула ими и потому единственно не отделилась от крыши, но сейчас отделится. Куда? С какою судьбою? "На восстание многих или на падение многих" (евангельский термин), — неизвестно, неизвестно самой птице, неизвестно самому Достоевскому. Мы, наконец, скажем эту главную тайну его биографии и главный смысл его лица, исторического его лица, биографического его лица, — что он сам, "наш Федор Михайлович", был от "аза" и до "ижицы", от лона матери и до могилки в Александро-Невской лавре, "госкующим русским мальчиком", "скитающимся русским человеком", — только им и всецело им; то "желторотым", как Иван, то "с девичьим лицом и совсем юненьким", как Алеша, готовым проклинать, звать, проповедывать и отрицать. Словом, "у галки ноги почти отделились". В этом суть всего.

Загорит, заблестит луч денницы, —

как процитировал или сочинил Достоевский в отношении евреев, "готовых покинуть Европу" и уйти в Ханаан:

И кимвал, и тимпан, и цевницы,
И серебро, и добро, и святыню
Понесем в старый Дом, в
Палестину.

Тут смысл — что: важна музыка. Важна тоска. Важно, что хочется откуда-то выйти, но таким страшным "уходом", от которого "на старом месте" вообще ничего, кроме мусорных ям и загаженных мест, ничего не останется, а где-то "далеко-далеко" зародится новая земля, новая жизнь, в сущности, совсем другая цивилизация, в сущности, совсем иная культура... "Галка еще не полетела", но это все равно. В маленькой ее головке, может быть, неумной, может быть, безумной, совсем нет идеи "дома", на крыше коего она сидит и до которого ей совершенно и окончательно нет никакого дела, хоть сгори, хоть упади, хоть превратись в сновидение. Достоевский — величайший русский "странник", доведший идею "странничества", инстинкт "странничества", тоску его, необходимость "вот-вот сейчас взять котомку и посох и выйти" до какой-то истерики, муки, проклятий и той черты, где "вот-вот только еще стекла не полетели". Он есть "самый будущий русский человек", — таково его определение; в противоположность консерватору Некрасову, все возмущаемся "с крепостным правом" и "памятью своей матери", точно его воспитала мамаша Манилова, случайно вышедшая замуж за Собакевича и завещавшая сыну "музу мести и печали"...

Вот отчего:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется...

Вот отчего душа Достоевского вся зажигалась и трепетала, как только он видел, что "кто-то брал котомку и выходил"... Но новизна его, весь радикализм новизны, доведен был до того, что он "не воспользовался" ни одним из старых проклятий, ни одним из прежних отрицаний, не употребил ничего из жаргона Байрона, Руссо, Лермонтова, Гоголя, не впал ни в один стереотип отвращения и негодования, каким, собственно, переполнена и пресыщена Европа (как и Россия), и совершенно в параллель русским "странникам-бегунам", которые имеют вид "завсегдашнего мужика" и только про себя шепчут о всем мире: "Антихрист! Антихрист!" — и он, в параллель им, просто был "русским литератором, жившим в Свечном переулке" "с Анною Григорьевной" и "Федей и Любой" и, кроме того, совершенно дружившим с местным квартальным... Можно посмеяться: насмешник Гоголь хоть вывел "положительный тип" в купце Костанджогло, но Достоевский дошел до того, что решительно полюблил "милых, премилых" пристава и его помощника да еще какого-то при полиции письмоводителя, к которым, помните, пришел каяться Раскольников, а они ему говорили: "Ну, что вы на себя наговариваете: может ли такой образованный молодой человек совершить преступление?!" Согласитесь сами, что если Достоевский подсмеивался над Тургеневым, Грановским¹, в ярости разрывал в клочки "идеи" проф. Градовского и "мысли" "Вестника Европы" и в то же самое время ничего оскорбительного для своего ума и своего вкуса, нравственного, как и художественного, не находил в уличных околоточных, — то "странничество" совершилось! Это — такой "переворот Европы", после которого от нее, ото всей цивилизации, которую реши-

¹ См. в "Дневнике писателя" главу "Идеалисты-циники".

тельно *везде и во всем* он оспаривал, и остались одни "постовые городо-вые". Байронисты возьмут "в новый мир" Байрона и все, что за ним последовало, из него вытекло; "вольтерианцы" возьмут 95 томов "Oeuvres" и салоны, где они читались; студенты — "все движение, начиная с декабристов", т. е. все возьмут, в сущности, очень много, целые области нашей цивилизации... Но "страннику Достоевскому" ничего этого не надо: верный беспредельному мистицизму своему, своей ужасной беспредметной тоске, беспредметной и потому всеобъемлющей, он отказывается от всяческих книг... и много-много, что, взяв томик Пушкина, притом неправильно понятий и перевранный, как вот раскольники перевирают Евангелие, и... какого-то Колю Красоткина, всего гимназиста III класса ("Братья Карамазовы"), да "благообразного старца" (см. "Подросток", конец), потом чудака Версилова ("Подросток"), "идиота" кн. Мышкина, "простака-рубаху" Разумихина ("Преступление и наказание"), да вот трех "полицейских", все, "без исключения", хороших людей, и с ними... идет... к великим утешениям убийцы-Раскольникова, идет найти "разрыв-траву" или "жизненный эликсир" для умиротворения его сердца, для умягчения сердца Ивана Карамазова... в сущности, идет к отысканию средств залить мировую скорбь... скорбь преобразовать в радость... в восторг до потрясения вселенной, до колебания всех ее столпов...

Загорит, заблестит луч денницы,
И тимпан, и кимвал, и цевницы,
И серебро, и добро, и *святыню*
Понесем в *старый Дом*...

Вот задача... Буквально как в Апокалипсисе: черное сделать белым, белое — черным, преступника показать святым, проститутку (Соня Мармеладова) возвести в идеал чистоты и невинности, "попрать цивилизацию" сердцем Коли Красоткина (14 лет) и т. д., и т. д. Кто прочитает это, конечно, скажет: "В этом идеал Достоевского"... Сюда усиливаются все его романы, вся "эпилептика" его публицистики... Но, ведь, это, конечно, значит, уйти в отрицании несравненно дальше Байрона или Вольтера, дальше кого бы то ни было на Западе; дойти до именно "бегунов" наших сект, которые одновременно являют вид "простого мужичка" и считают весь мир обреченным на "испеление", как, конечно, "христианин" мысленно испепеляет "Антихриста"... Смелость Достоевского дошла... до рукопожатия полицейскому, — не "полиции", но полицейскому; как и в "убийце" он защищает не убийство, а убившего и так и для того защищает и "берет с собою", чтобы "убийства" не было никогда, никем, ни для чего. Как и "полицейских" он ввел, опять устраняя не только "полицию", но даже и то, в чем она только часть, — государственность (рассуждение монаха Паисия в "Бр. Кар."): Таким образом, эти убийцы, воры (рассказ "Честный вор"), мелкие чиновники, пьяницы (Мармеладов), проститутки, старые генералы (отец Аглаи в "Идиоте") и генеральши, студенты, гимназисты идут "странствующею толпою"... к избавлению мира от греха, проклятия и смерти, от ада и отрицания, от зла и насмешки, от злобы и издевательства (ненависть его к Щедрину, да и *ко всем безусловно насмешникам*), к восстановлению

какой-то белой звездной невинности, какого-то астрологического "неба", с "ангелами", восходящими на небо и нисходящими на землю, с конечным и всеобщим устранением порока, вот этого убийства, вот этого алкоголизма, воровства и т. д., и т. д. Только едва ли и с устранением "проституции", — что в мысль Д-го решительно не входило, это уж его "пункт"... "Соню" он не исключает, а скорее делает ее чуть ли не центром "избавления от скорбей", только преобразовав в "святую" и послав именно ее, т. е. *таких*, "ко всем грешникам" как "апостола" и глашатая совершенно новых истин. В "Сне смешного человека", где наиболее полно, целостно и патетично выражено "позитивное учение Достоевского", ревность исключена, и на этом построено *все*, т. е. исключена *личная и исключительная* семья, а общество людей вполне невинных представлено как единая семья, т. е. как народ без семьи, где девы, юноши, мужи, старцы блуждают и "прилепляются", рожают детей и не связываются между собою, оставаясь и бесконечно свободными, и бесконечно слитыми, — свободными по бесконечному уважению друг к другу, слитыми по бесконечной любви к каждому, где, в сущности, все *братья и сестры* и нет, в сущности, родителей и детей, нет старших и младших... Достоевский не политически рассек, но *метафизически* рассек узел "неравенства людей", "*inégalité des hommes*", о чем мечтал Руссо и что он пытался устранить и, конечно, не устранил через "Contrat social"¹...

— Не надо возрастов!

— Не надо семьи, мужей, жен, отцов, матерей...

— Есть только "блудницы", в нимбе сияния, как Соня (Мармеладова), и "блудники" вроде Мити Карамазова, но уже без страсти к заповоу...

— Есть (договорить ли страшную критику на Достоевского?) немощный князь Мышкин, "женящийся" на "грешной" Настасье Филипповне, "любовнице вон того купца"... Страшный "брак"... Достоевский вырвал "кость и кровь" из брака и толкнул всех в "блуд", но какой-то духовный, странный, с "прилеплением" или отсутствующим, или очень редким... "Целоваться будут очень много, а детей будет рождаться очень мало", — можно сказать, прочтя его "Сон смешного человека". Однако удержи-мся; скажем "молчать" критике. Мы берем не Достоевского-созидателя, а Достоевского-отрицателя: не "куда прилетела галка", а что она "слетела с крыши"...

* * *

"Всего любопытнее, — говорит Достоевский, покончив с взглядами на собственность Стивы Облонского, — что рядом с этим многочисленнейшим и владычествующим типом людей стоит другой, — другой тип русского дворянина и помещика и уже обратно противоположный тому, — все, что есть противоположного. Это — Левин, но Левиных в России — тьма, почти столько же, сколько и Облонских. Я не про лицо его говорю, не про фигуру, которую создал ему в романе художник, а гово-

¹"Общественный договор" (фр.).

рю лишь про одну черту его сути, но зато самую существенную, и утверждаю, что черта эта до удивления страшно распространена у нас, т. е. среди нашего-то цинизма и калмыцкого отношения к делу. Черта эта с некоторого времени заявляет себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти болезненно стремятся получить ответы на свои вопросы, они твердо надеются, страстно веруют, хотя и ничего почти еще решить не умеют. Черта эта выражается совершенно в ответе Левина Стиве: "Нет, если бы владение собственностью было несправедливо, ты бы не мог пользоваться благами ее с удовольствием, *по крайней мере, я не мог бы, — мне, главное, надо чувствовать то, что я не виноват*" (курсив Д-го).

Вот словечки о чувстве "виновности", сопряженном с собственностью, вырвавшиеся мельком у Толстого и гениально комментированные Достоевским, из которых родился знаменитый образ-формула Н. К. Михайловского о "кающемся дворянине". "Дворяне" были в земледельческой и крепостной России главными представителями собственности, и эти русские, "кающиеся" о своей собственности, уже естественно и просто дотягивались до образа "кающегося дворянина". Агитатор Михайловский гениально воспользовался этими обмолвками русских художников-христиан, романистов-христиан, чтобы толкнуть огромные массы русской молодежи на путь "кающегося дворянина", этот "честный русский путь", и захватить в дальнейшем этих "кающихся" в социал-демократический невод:

Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь *умы уловлять*, будешь помощник царям.

Вечное дело — политика... Он *усиливает* дело и *суживает* его. У Достоевского и Толстого, с их многоточиями и недоговоренностями, колебаниями и нерешительностью, вопрос был поставлен в такой глубине и всеобъемлемости, как это никак не могло войти в узкую голову Михайловского, в сухое сердце Михайловского.

"И Левин, в самом деле, не успокоится, — продолжает Достоевский, — пока не решит, виноват он или не виноват. И знаете ли, до какой степени не успокоится? Он дойдет до последних столбов, и если надо, если только надо, если только он докажет себе, что это надо (какой тон! совсем галка, слетающая с крыши), — то, в противоположность Стиве, который говорит: "Хоть и негодяем, да продолжаю жить в свое удовольствие", он обратится в "Власа", в "Власа" Некрасова, который rozdal свое имение в припадке великого умиления и страха

И собирать на построение
Храма Божьего пошел.

"И если не на построение храма пойдет собирать, то сделает что-нибудь в этих же размерах и с такою же ревностью..."

Вот куда махнул Достоевский, восставший в "Бесах" против "революционного типа" русского человека. В 1877 году, за год до смерти, он придвинул этот тип к "Власу", сказав, что у них один родник движения ("снялся с крыши") и что то, куда они рвутся, — даже

если и обманчиво, — то священо, как построение храма, по вложенной вере.

”Заметьте, опять повторяю, и спешу повторить, черту: это множество, чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, которым *нужна правда* (курсив Достоевского), одна правда, без условной лжи, и которые, чтобы достигнуть этой правды, отдадут все решительно. Эти люди тоже объявились в последние двадцать лет¹ и объявляются все больше и больше, хотя их и прежде, и всегда, и до Петра (вот сознание, что не ”из разрыва с народом при Петре” все родилось) еще можно было предчувствовать. Это — наступающая, будущая Россия честных людей, которым нужна лишь одна правда. О, в них большая и нетерпимость: по неопытности они отвергают всякие условия, всякие разъяснения даже. Но я только то хочу заявить изо всей силы, что их влечет истинное чувство. Характернейшая черта еще в том, что они ужасно не спелись и пока принадлежат ко всевозможным разрядам и убеждениям: тут и аристократы, и пролетарии, и духовные, и неверующие, и богачи, и бедные, ученые и неучи, и старики, и девочки, и славянофилы, и западники. Разлад в убеждениях непомерный, но стремление к честности и правде непоколебимое и нерушимое, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества, — говорю: обратится в Власа. Закричат, пожалуй, что это дикая фантазия, что нет у нас столько честности и *искания честности*. Я именно провозглашаю, что есть, рядом с страшным развратом, что я вижу и предчувствую этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России, что их нельзя уже не видеть и что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву с своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее с собою собственным приговором общество русское с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и отдаст все, чтобы очистить сердце свое от вины своей. Замечательно тут то, что, действительно, наше общество делится почти что только на эти два разряда, — до того они обширны и до того они всецело обнимают собою русскую жизнь, — разумеется, если откинуть совершенно ленивых, бездарных и равнодушных”².

Столько слов, такая страшная определенностью своею картина по поводу неопределенных недомолвок двух помещиков на охоте, в сущности, гораздо ”прицельнее” думавших о дупелях на завтра, нежели о социальном вопросе...

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Как вострепнувшийся орел,
Душа поэта содрогнется...
Тоскует он...

¹ Уже из этой хронологии явно, что сюда входят именно названные ранее ”бесами” русские странники-революционеры, странники-народолюбцы, ”пошедшие в народ” и ”опростившиеся”, ”народовольцы” и проч., ”землевольцы” и т. п., и т. п.

Не в Толстом здесь дело, а в Достоевском: Толстой лишь "прошелся перстами по струнам", — без особой мысли и впечатлительности, "прошелся", как величавый Гете. И вдруг Достоевский весь загорелся жаром чисто вулканическим, затрясся именно как вулкан, и мы слышим "этот противный серный запах, — как запах гухлых яиц", по которому жители Портичи, Резины, бывлых Помпей и нового Неаполя узнают близость извержения и землетрясения...

Кто усомнится, на которой же стороне Достоевский: на стороне ли новых тревог или старого цинизма? Но, ведь, это было всею за три года до потрясения 1 марта. Достоевский определил самую дату: "началось 20 лет тому назад", т. е. в пору "Современника"... Что же, переменялся он с тех пор? И "да", и "нет", скорее — "нет". Достоевский всю жизнь был *с ними душою*, но не *с ними делом*, был "с Раскольниковым" и уж нисколько не с чиновником Лужиным ("жених" Дуни Раскольниковой), хотя и отметил, что Раскольников "погиб". Он отделался вот от "гибели" их, не физической только, но и душевной, вернее, — от *волевой* гибели, гибели *поступков*. "Все это еще *дети*", — мелькает у него здесь и там; "дети", "желторотые мальчишки" и Раскольников, и Иван Карамазов, и, конечно, "Алеко", и этот "Левин". И вот с *детством* их и *исключительно неопытностью*, просто по *искренности* своей, не сливался старец Достоевский, которому по *психике* его было сто лет жизни, века жизни, тысячелетия! Старый это был дуб на российских равнинах, но с высыпавшими под старость зелеными листиками. Ведь, он почти поет во всей приведенной странице эту знакомую песню гимназистов и юношей:

Отречемся от старого мира...

Да и как поет! Как не умели в 1905—1906 годах!

Мы видим, — вся жизнь и до сих пор кипит около этих слов Достоевского. В его словах — тот уголек, который жжет кровь, подымает сердце, мог бы поднять народные волны... Но они забыты были сейчас же после того, как были произнесены, и забыты по особой причине, преднамеренно и злобно. Встала "машинка" на место глубокой психологии и глубокой совести, старая "нечаявшая машинка", которая начала "рубить мясо", как рубит его кухонная машинка, — "рубить котлету", что короче и утилитарнее задумчивых песен русских "странников", каковым был в сущности Достоевский. Дело сузилось, машинилось, потеряло душу, — ну, с этим психолог Достоевский не мог слиться. Омолодение России подсохло в корне, к нему вдруг пришел старый цинизм. Стива *согласился с Левиным*, — в этом все дело. Он вдруг *взял в свои руки* задачу Левина, и задача стала "неразрешимой", точнее, — она перешла в мириады уродливых, грязных решенищ дела, бывшего святым по существу.

Максим Горький о самоубийствах

Максим Горький в статье "О современности", только что появившейся в "Русском Слове", пытается определить причину самоубийств... Смысл длинного фельетона сводится к тому, что виновато старое, черствое, бездушное поколение, жестоко относящееся к юношеству и не понимающее его идеалов.

С каким самодовольством глупым
Мы приговор читали свой
Над пылом юности живой,
Как будто лекцию над трупом!
Не мы ль, безумные, тогда,
О здравомыслии радея,
Беспорным признаком злодея
Считали юные года...

Этими стихами из Жемчужникова Макс. Горький иллюстрирует свою мысль... Читая и его прозу, и эти стихи, просто недоумеваешь, просто не знаешь, что делать с этими стариками. Зажились старцы. Ведь, кажется, исполнили свое естественное дело: вскормили детей, одели, обули, отправили в высшие учебные заведения учиться. Выполнив долг, они естественно, как старые мухи по осени, должны бы умереть: а они вопреки природе продолжают жить! Не только сверх 50, но и 60 и даже некоторые злодеи до 70 лет! Жемчужников, кажется, жил до 80 лет и все преблагополучно пел "песни старости", впрочем посвящаемые юношам. Ну, он имел исключительное право на исключительную долговечность исключительно либеральными стихотворениями, но прочие?! Прочие даже бывают консерваторами, — имеют это отчаяние! Казнь, придуманная Аполлоном для Марсия, — содрание с живого кожи, — кажется едва достаточною для этих зажившихся стариков, эгоистически не умирающих.

Ну что же остается ответить Горькому и той молодежи, от имени которой он приводит несколько писем, все бранных в отношении старшего поколения. Что же делать: не прибирает нас Бог, но подождите же немножко, не сдирайте кожи, и так померем, и вы останетесь одни на "пиру жизни", как вы постоянно выражаетесь и печатно, и устно. Жизнь почему-то вам кажется непременно пиром, тогда как мы испытали ее как тяжелую, иногда несносную работу и "службу", извините за чиновническое выражение. Но как-то и к службе привыкаешь, к "хомуту" этому, — и все ее любишь. Все-таки нам не хочется "накладывать на себя рук...". А вот Максим Горький в самом конце фельетона обмолвился фразой, им самим не замеченною:

...*"Мы усердно заняты самоистреблением, исканием смысла жизни, и отрицанием всего существующего ради оправдания нашей ничтожной работоспособности"*!! ...

Так и напечатано в 8-м столбце фельетона: так не объясняются ли самоубийства этими вкравшимися нечаянно строками гораздо лучше, чем всем фельетоном, и в стихах и в прозе?! Ах, молодость, молодость! Страшно тебя винить, и особенно перед гробом ни у кого не достанет силы и ни в чем обвинить! Все это так, но

Ума холодных наблюдений

все-таки нельзя истребить из себя? Нет, молодость: *черства* ты, мало в тебе любви не к "панораме жизни", не к "пиру жизни", каковою она *никогда не бывает, и не должна быть*, а к конкретным людям, к человеку. И тоска этого греха не тянет ли тебя в могилу? Не знаю, путается ум, но иногда приходит это на мысль. Заметьте, в оставляемых записках никогда не звучат слова *любви* — к брату, к сестре, ну о родителях не говорим — "изгибшие создания". Ну, родителей не нужно любить, не стоит, — "консерваторы", "чиновники": а товарища, друга, каково-нибудь больного в больнице, каково-нибудь "Ваньку переходящего"? Как это до двадцати лет дожить и ни к кому не привязаться?! К бабушке, к тете, к дяде? Но нет: "никого не виню", "ухожу — потому что нет смысла в жизни". Да "смысл" есть, он под ногами: будь для кого-нибудь костылем! Как нет "смысла", *не нахожу* "смысла", когда вокруг везде страдание, нужда, нехватка средств прокормиться, вынужденная работа в престарелости, в болезни. "Нет смысла в жизни" — это и значит "никого не люблю". Ибо "любовь" и есть уже "смысл". Страшны эти рассуждения — и я готов все взять сейчас назад, как только мне укажут очевидную неверность мысли: но долбит она в голову: не есть ли в большей своей части "самоубийства" тайный уход из жизни тайного греха, вот этого сердечного, вот этого душевного, сводящегося именно к жестокости, к бесчувственности? И к некоторому притворству и фальши, которыми одета или задрапирована такая жизнь? В самом деле, ведь нужно иметь что-то чудовищное, нероновское, чтобы не *думать* только, но вслух говорить: "умирай ты скорее, родительское поколение". А ведь это говорит весьма согласно целая линия газет и журналов, касаясь самоубийств и даже делая этот предмет излюбленною темою. Даже не столько жаль умершего, сколько велика жажда по поводу его сказать: "да умирайте вы скорее, старые!" И вот в этом страшном обществе, поистине страшном при всей его видимой "ласковости", в особенности "с молодежью", — смерть свивает себе страшное гнездо.

— Ты меня звал... но *другого!* А я пришла — *к тебе!*

Вспомнишь старое, *народное*:

Ходит в мире, ходит *грех*...

Жестокости много, но ужасно мало страха. Особенно у публицистов его мало. Превеселенький народ, — да и не мудрено: такие гонорары получают. Оставим их, взглянем на молодежь, на юношей, на девушек. Страшно в мире жить, в страшное они живут время. Есть явная жизнь, и есть тайная жизнь. В "явь" выходят гробы, могилы, кладбище: но им предшествует ужасная ночь внутри, ночь одинокая, без звезд, без меся-

ца... Туманы, облака там ходят, что-то липкое пристаёт к душе, как мокрая простыня, как засасывающая тина.

Что спасет?

Воспоминания о прекрасном поступке.

Но его нет.

Что еще спасет?

Если я кого-нибудь люблю. *Но я никого не люблю.*

Так зачем же жить?! — с этим ужасным чувством, увы, *истинным* чувством, т. е. с действительным сознанием: "я ни для чего живу", сбрасывается конвульсивно свечка или огарок, мерцавшая в пустой, *ничем не населенной комнате*, на пол...

Суть в этой ужасной, сырой, холодной комнате *без жильцов*, которая предшествует всякому "въявь" самоубийству.

И все-таки это ужасно. "Грех" или "*не грех*" — ужасно. Это — анализ, философия. А сердце болит и болит о наших дорогих милых, бесценных и заблудившихся детях. Болит и о том, что мы не сумели, не смогли, не было в нас искусства и "мудрой науки жизни" понравиться им, стать для них привлекательными, интересными. Что делать: старость вообще некрасива.

1913

Не нужно давать амнистию эмигрантам

"Молю вас, остановите кампанию "Нового Времени" против амнистии. У меня нет средств общения с вами, кроме письма, которое идет 3 дня. Я хотел телеграфировать вам, но боялся, что вы были бы удивлены моей смелостью — настойчиво беспокоить вас".

"Кому будет плохо, если сотни и тысячи несчастных, истерзанных, замученных жестокой судьбой, вернуться в семьи? Зачем поддерживать эту жестокость, это посрамление всего лучшего, что есть в не окончательно загаженной человеческой душе? Я спрашиваю вас, во имя чего это новое надругательство, новый черный позор? Кому помешают полутрупы, из которых, может быть, половине суждено только приехать умереть в России? Зачем еще мучить, травить, изгонять? Видали вы эмигрантов за границей? Наблюдали вы их беспросветную жизнь, их муки? Кто искупит их, чем они будут искуплены?"

А тюрьмы, клоповники, очаги тифа, низости человекообразных зверей, гнусные насилия? Вы вместили в душе вашей много, очень много. Страшно вас читать, мучительно о вас думать. Как бы я хотел вас умолить, чтобы вы сами вам одному известными способами и путями сделали что-нибудь, что нужно сделать, — за что вы отдадите отчет (Богу? В. Р.), когда наше "чтение" окончится и нужно будет сдавать экзамен по "прочитанному", — когда настанет вечный (†), как вы раз писали, после "Со святыми упокой", как вы тоже писали".

Вот, можно сказать, вопль души, — в частном письме, мною сейчас полученном, от корреспондента из Вены, который перебрался до этого письма со мною одним-двумя письмами на историко-религиозные темы. Корреспондент мне лично вовсе неизвестен. Фамилия — русская или, может быть, польская (на "ский").

Отвечаю таким же воплем, и, может быть, тоже отчаяния.

Что же нам делать с этими детьми, проклявшими родную землю, — и проклинавшими ее все время, пока они жили в России, проклинавшими устно, проклинавшими печатно, звавшими ее не "отечеством", а "клоповником", "черным позором" человечества, "тюрьмою" народов, ее населяющих и ей подвластных?! Что вообще делать матери с сыном, вонзающим в грудь ей нож? Ибо таков смысл революции, хохотавшей в спину русским солдатам, убиваемым в Манчжурии, хохотавшей над ледяной водой, покрывшей русские броненосцы при Цусиме, — хохочущей и хохотавшей над всем русским, — от Чернышевского и до сих пор, т. е. почти $\frac{1}{2}$ века? Об этой матери в этой "загранице" они рассказывают, что она всего только блудница и всего только воровка, которую давно надо удавить на грязной веревке, и звали сплести эту петлю на родину кого попало, — шваба, чухонца, армянина, еврея, поляка, литовца, латыша. "Давите эту собаку Россию, давите ее ко благу всего просвещенного и всего свободного человечества: ибо она насыплет на человечество мор, голод, болезни и всего больше клопов". Вот литература эмигрантов, засыпающая вас, сейчас как вы переедете через Вержболово и границу. Был ли из этих "эмигрантов" хоть один человек, который обмолвился бы добрым словом о родине, добрым вздохом о России? *Напечатайте, если есть доброе слово.* Нет ни одного! *Ни одного слова доброго за много лет!* Что же вы мучите Россию, что же вы тянете жилы у старухи 900-летней старости, 900-летнего труда, 900-летнего терпения, которая собирала дом свой 900 лет, и вот напоследок "деточки", обратясь к северу, югу, востоку и западу, восклицают: "Ташите все по бревнам, по доске, ташите кому что надо, — бери один крышу, другой стены, третий забирай печь, убивайте скот ее, коровенку ее, лошадь ее, жгите гумно и хлеба, ломайте соху, и борону, и грабли, и заступ, и серп, и прялку!"

Вот смысл революции.

Они захотели, эти "деточки", — "могилки на родной стороне". Нет у них "родной стороны". Родная сторона их — "заграница", там, где в Ницце покоится величественный прах Герцена. И все они "величественные", эти эмигранты: "великий" Лавров, "великий" Крапоткин, "замечательный философ" Плеханов и "пророчесственная" Екатерина Брешковская, не говоря уже о праведнице и сотруднице "Русских Ведомостей" Вере Фигнер. Величия столько, что не обернешься, и кто же "за границей", читающий "эмигрантскую литературу" и слушающий "эмигрантские разговоры", не знает той истины, что есть две России: клоповник к востоку от Вержболова и "рай в изгнании" — к западу от Вержболова. Это — "райские люди", все наши эмигранты, невинные, непорочные, без грехопадения в себе и только немного нуждающиеся в деньгах. Вот некоторое "мамашино наследство" им интересно, а нисколько не "могила на родине". Переехав сюда, они сейчас же найдут применение

талантам и врожденному усердию нашептывать, внушать, распространять. Они будут нашептывать нашим детям, еще гимназистам и гимназисткам, что мать их — воровка и потаскушка, что теперь, когда они по малолетству не в силах ей всадить нож, то по крайней мере должны понатыкать булавок в ее постель, в ее стулья и диваны; набить гвоздочков везде на полу... и пусть мамаша ходит и кровянится, ляжет и кровянится, сядет и кровянится. Эти гвоздочки они будут рассыпать по газеткам. Евреи сейчас им дадут "литературный заработок": в "Копейке" ли, в "Шиповнике" ли, в "Энциклопедии ли Брокгауза и Эфрона" будут платить полным рублем за всякую клевету на родину и за всякую злобу против родины. "Делишки" поправятся у эмигрантов, и они могут кушать не то, что в кухмистерской, но иногда и в Палкина. О, какие они "полутрупы"! — отличные женихи: ведь они ходят петухом, гордость в лице невыносимая, "демонический взгляд" и опаленные крылья Абадонны. Такой меньше генеральской дочери не возьмет. Свадеб в России, конечно, увеличится, и с этой точки зрения я готов бы посочувствовать. Но, с другой стороны, — беспоконт судьба этих генеральских дочерей и дочерей обедневших княжеских и вообще титулованных девиц, до которых женихи "демократического вида" очень охотливы. Видал я таких "титулованных дочек", посаженных демократом в закуту, в провинцию, а то так и совсем за городом, пока муженек-демократ разваливается в креслах и проповедует замечательные свои идеи то у банкира, то у богачки-помещицы, то у многотысячного инженера. Извините за подробности, которые нам видны в России и, может быть, не видны в Вене, в Париже и в Женеве. Вернуться в Россию ищут не евангельские "блудные сыны"; и больше, нежели Христос указал сделать отцу в отношении возвращающегося "домой" сына, — вы не можете и никто не может требовать от России. *Раскаявшегося* — да, отец примет и Россия примет. Но нераскаявшегося, по-прежнему злого, по-прежнему с криком и шепотом "жги, уноси, растаскивай, ломай", кто же примет и какой отец обязан принять в свой дом?!

Христос — не указал.

А я ответчу корреспонденту: не нужно.

Не нужно звать "погрома" в Белосток, не надо "погрома" звать и в Россию: ибо "революция" есть "погром России", а эмигранты — "погромщики" всего русского, русского воспитания, русской семьи, русских детей, русских сел и городов, как все Господь устроил и Господь благословил.

Да, господь благословил Россию, несмотря на все ваши проклятия и все ваши "гвоздочки". Гимназистом шестого класса я читывал в "Отечественных Записках" в отчетном январском (или декабрьском) номере: 75 000 000 населения и 670 000 000 годового дохода. Теперь мне 57 лет, а прошло с того времени всего сорок лет, и *Россия удвоилась*: населения 160 миллионов, а дохода более двух миллиардов, чуть ли не подползает к трем. Вы ее проклинаете, — а она все богатеет, вы ее презираете, — а она все могуществует. И много всякого "добра" уродил Господь России: кроме "поразительного" Крапоткина есть у нас Менделеев, Бутлеров, Меншуткин, Зимин; кроме "философа" Плеханова есть "истинно русский философ" Страхов, да был еще "благочестивый" Скворода. Кроме "праведницы" Веры Фигнер у нас была истинная героиня

подвига милосердия — княжна Дондукова-Корсакова. Кроме "большевиков" и "меньшевиков" социал-демократии были Никита Панин, Сперанский, Милютин, Блудов. Россия вообще не *оставлена своими детьми*, вы напрасно думаете, и эмигранты тоже напрасно это думают. Около той безграничной ненависти, какую к ней питают заграничные *refugiés* (термин Герцена), параллельно ей горит восторг к ней, восторг и уважение, восторг и преданность все забыть и простить матери, простить ее ошибки, простить ее увлечения, простить ее слепоту — *просто за то одно, что она нас родила* — других ее сынов, — тех, заплеванных эмигрантами (начиная *именно с Герцена*) и проклятых эмигрантами сынов, из коих — если ограничиться литературой — последними были Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, Ап. Григорьев, С. А. Рачинский, средними — Тютчев, Аксаковы и Самарины, а старыми — Хомяков, Киреевские и князь Одоевский. А если не ограничиваться литературой — то были все смиренные строители домов и хижин в России, все заводившие коровенок и лошаденок в России, все умирившие на полях Манчжурии и в Турции за освобождение славян. Вообще, было довольно. И не "великим шлиссельбуржцам" говорить, что они "терпели и страдали", не героям вроде Савенкова-Ропшина кричать, что они были "в подвиге и крови"...

Господа, имейте стыд:

Да рота солдат, идущая на штурм, — вот вам целый Шлиссельбург с его "многогерпением". Да в каждом батальоне "героизма и самопожертвования" больше, чем во всей революции, со всеми ее героями и вшами...

Что вы расхвстались? О чем вы писали в "Былом": все "Былое", в своих глупеньких двадцати томах, не рассказало того, не рассказало *столького героизма*, сколько есть ну хоть в каком-нибудь "Псковском полку", в "Зарайском полку", который сражался и при Суворове, и при Кутузове.

Что расхвстались?

Сидите смирно!

Вы подвига *этого* не видели, потому что вам об этом не рассказывали в "Былом", но этот подвиг был *в молчании и смиреннии пронесенный*: но Россия-то его видела, знает, а "проклятое правительство" тоже знает и оплачивает раны в государственном казначействе на Литейном. Там есть целое окошечко: "за раны и увечья воинским чинам", и подходят к нему с костылями, подходят старые, подходят убогие, подходят старухи или дочери павших и изувеченных воинов. Нет, наша мать — не "воровка", вы напрасно блудили и блудите языком; и эта мать — не франтиха-блудница, как вы тоже расславляли в "эмиграции". Она все сосчитала, все подвиги записала; мать эта — была героиней, бывали минуты — становилась она и святою, мученицею; теперь и *пока* и *вовсе не вечно* — она чиновница и экономка. Но и это — порядочное занятие и лучше, чем шляться за границей и болтать попусту.

Вообще, наша мать — почтенная.

И почитающие ее сыны не хотят, чтобы она прощала и возвращала тех негодных сынов, которые ей изменили и предали врагам дом свой.

И если они вернуться: раскрываются раны и заточатся вновь кровью всех *настоящих* мучеников русских, погибших при Цусиме, в Манчжурии, в Турции, в Польше, на Кавказе.

Вот наши герои.

Нам не нужно других.

Выбор нужно сделать такой: чтобы Россия *отвернулась* от своих тысячелетних хранителей и оберегателей, проливших за нее кровь и точивших мозг свой в труде для нее, и, уж воистину перерядясь в мачеху, в нарядную кокетку, — вдруг поклонилась Плеханову, Крапоткину и "женатому" Морозову с "Грозой и бурей" в кармане, сказав:

"Pardon, mon fils! J'étais grande pécheresse contre toi. Allons à cancan..."¹

Не будет.

Не будет гадостей.

И эмигранты не вернутся.

"Дом" их сожжен ими самими. Сожжен ими в сердце своем. Нет у них "родной земли". Нет им ни жизни, ни могилы в проклятой, "отреченной" земле.

Отреклись — пусть отречение будет полным. Ни киселя, ни помады, ни крапленых карт.

1914

А. С. Суворин и
Д. С. Мережковский
(Письмо в редакцию)

В № 17 московской газеты "Русское Слово", в фельетоне "Суворин и Чехов", Д. С. Мережковский пишет следующее о 78-летнем и год всего умершем А. С. Суворине по поводу переписки А. С. Суворина с Чеховым.

"Чехов — оправдание Суворина.

— Пусть я *подлец*, — мог бы сказать Суворин русскому обществу, — но вот благороднейший из благородных тоже со мною. Разделите-ка нас, попробуйте".

Еще: "Говорить с Сувориным о любви к России, — говорить о веревке в доме повешенного".

И последнее еще: "По поводу слов Чехова к Суворину: "Давайте, напишемте два-три рассказа: я — начало, вы — конец", Мережковский замечает: "Только счастливому случаю обязаны мы тем, что не увидели гнусной помеси чеховской музыки с суворинской, — брака феи Титании с Ослом".

Вот жемчуг, осыпавшийся с литературного пера Мережковского.

По поводу этого я перед лицом всей России спрошу Мережковского, почему он упрашивал меня несколько раз доставить ему возможность увидеться с Сувориным, т. е. чтобы я Суворину "что-то поговорил"

¹ "Извини, сын мой! я согрешила перед тобой. На канкан!" (*фр.*)

и расположил его в пользу Мережковского, вследствие чего Суворин согласился бы принять его. Я, зная из разговоров с Сувориным безнадежный взгляд его на умственные способности и литературный дар Мережковского, не решался заговорить с Сувориным на эту тему.

Но я не могу не передать ввиду непристойной выходки г. Мережковского слышанных мною в минувшем году слов П. П. Перцова: "Когда появились (года три назад, т. е. около 1910 года) первые мои статьи в "Новом Времени", то Дмитрий Сергеевич (Мер.) сказал мне: "Вот и хорошо, Петр Петрович, что вы прошли в "Новое Время", за вами и я пройду".

Но никогда ни Суворину, ни Перцову, ни мне не приходило на ум, чтобы Мережковский был так низок. Просто это открывшаяся "Америка". Вся Россия рассудит, какого названия заслуживает писатель, стоявший если не в передней Суворина, то во всяком случае просившийся пройти через эту переднюю, но чего-то недополучивший или получивший, по его расценке, "мало", надеявшийся, даже мечтавший писать у Суворина (слова П. П. Перцова), но и этого не достигший: и получив "всего мало", теперь говорящий ругань в спину своего недостаточного благодетеля, и когда тот не может ему ответить.

1915

Саша Амфитеатров и его эпилог

А. В. Амфитеатров. "Склоненные ивы"

"...Да и сильно "натравили" меня.
Фельетон вышел ужасен..."
(Стр. 264).

В конце концов всякий писатель раньше или позже разясняет сам себя. Я много покупал книжек Амфитеатрова (они почему-то все характерного маленького формата, не то детского, не то "в дорогу"), и было удивительно, почему больше 10—12 страниц никогда не в силах одолевать. Писатель — живой, во всяком случае "беглый"; темы — жизненные, интересные. А книга из рук валится, засыпаешь. "Да почему? Почему?" — Темы все раздражительно-современные, "точно газета". Но газету читаешь с живостью, а над Амфитеатровым — спишь. "Господи, что же это такое и почему?" Наконец, автор очень образован, почти учен и — весь свет видел. Прямо находка. А скучно. И вот он издал действительно интересную, мне кажется, — прекрасную книгу "Склоненные ивы", которую я уже прочитал всю, прочитал в один вечер и с впервые пробудившимся уважением и интересом к автору. "Склоненные ивы" — склоненные над могилами: книга посвящена воспоминанию умерших актеров и умерших писателей для театра, но большею частью — именно актеров. Коммиссаржевская, Ленский, Реджио, Рашель, Рошин-Инсаров, Ларош (музыкальный критик), Бларамберг, Васильев,

Никольский, Меньшиков, М. И. Писарев, Яковлев-Востоков, Сухо-во-Кобылин, В. П. Далматов, А. И. Косоротов, Кичеев, Ракшанин, Яша Рубинштейн (таково заглавие статьи и фамильярное отношение к покойнику автора) — проходят интереснейшими портретами перед читателем, полными живительных подробностей и личных наблюдений. Точно сидишь в кинотеатре, и Амфитеатров обо всех их "рассказывает". Конечно, это интересно. И хорошо, что старик вспомнил о них (Амфитеатров теперь уже старик), и хорошо старик рассказывает, — тепло, задушевно.

— Да кто ты? — оглядываешься на него.

Словоохотливый старичок оглядывается и рассказывает о себе так же масляно, как и о других:

"1887 год. Веселое было время, молодое время! Двадцатипятилетний, полный кипящих сил и счастливых надежд, приехал я в Тифлис — *служить* в местной *опере* в качестве, конечно, не первого, но и не последнего же, черт возьми, *баритона!* Самонадеянности и самовлюбленности — сколько угодно, хоть отбавляй, и, правду сказать, очень не лишнее — было бы убавить. Бодрости и веселья — непочатый угол. Голосище у меня был огромный и красивого тембра. *Школы*, несмотря на почти пятилетний курс у знаменитой московской Александровой-Кочетовой, а может быть, именно ей благодаря, — *никакой*. *Натура* вывозила, да наследственная, от предков лекторов и проповедников, *способность к декламации*, ясная, русская дикция. Теперь, на пороге старости, мне, — *толстому, грузному, тяжелолюбовному, полуседому*, — обидно даже смотреть на портреты того времени: словно другой человек! *Прекрасивый был мальчик*, не в похвальбу себе будь сказано! Но и пресмешной, потому что был длинен и тонок, как громоотвод, *имёл ужасно много рук и ног* и был уже тогда *близорук*, как филин. Проклятый недостаток мучил меня ужасно. Я, по слепоте своей, *вечно попадал в нелепые положения* и в жизни, и особенно на сцене. Помню: *изображал я в опере "Кармен" Эскамильо (тореадора)*, а Хозе — талантливый Супруненко. Он и посейчас поет еще. Во мне — *роста без малого три аршина*, а в нем — *приблизительно половина*. Я *обищем темперамента*, *увь, никогда не блистал* и актер был аховый. А он, смолоду, весь был — *комоч нервов, страстный, запальчивый*. В сцене поединка Супруненко бросился на меня, как тигр, и... великолепнейшим образом пролетел у меня под рукою, даже не зацепившись! *Публика, конечно, расхохоталась*. А мы — *два бойца, внезапно очутившиеся в безвредной позиции* спинами друг к другу, — *стояли в недоумении и в большом негодовании один против другого*. Ну, и затем уже *все пошло вверх дном*, словно в поезде, соскочившем с рельсов. *Прибежала Кармен, нахлынули цыганы*, и я — *растерявшийся и слепой* — в массе их *потерял* моего Хозе! *Беспомощно брожу унылым взором по лицам*. И, наконец, *грозно уставившись на кого-то, ни в чем не повинного хориста*, вопию к нему с большим конфузом и без всякой уверенности, *с кем, собственно, имею дело*:

— До свидания, солдат,
Но помни, что не кончен
Еще расчет со мною.

— Да не к нему! сюда! сюда! черт вы! Сюда! — шипит мне откуда-то отчаянный Супруненко.

Ура! Оробел! Допеваю:

— О милой мы поспорим
Еще не раз с тобой,
Тебя я буду ждать.

И, погубив сцену, ухожу с погибшей сцены, тая в душе отчаяние и муку”...

В довершение всего к заключительной арии, “за горами”, он просил режиссера Питоева “дать ему *тон вступления*. Он, *по ошибке, дал тоном выше*. Получилась *чепуха нелепейшая*”.

Как все ясно... Я подчеркнул места, которые, как “родинки” на лице, “пятнышки” и “незаметные морщинки” и “утолщения”, — дают лицу его неповторяемость и несмешиваемость ни с кем. И такого, как Амфитеатров, еще не родится. Был баритоном — выперло в литературу. Роль трагика — впечатление комическое. “Все перепутал”. Ну, уж это конечно. Да и как осудить? “Близорук”. Но в основе и самое главное — актер, человек сцены, игры разных ролей, но вялый по существу, при колоссальном росте... Что же это такое, Господи? Да это и есть Амфитеатров. Но он любит свою роль, искренно любит; но, однако же, роль-то все-таки остается ролью, т. е. не “настоящим”, не “настоящий же он Эскамиль” и на самом деле, и “в натуре” — ни с какими быками не дерется и крови не проливает.

А шпага — есть, а плащ — есть. Притом — “три аршина роста” (сажень). Что тут сделать писателю? “Верю” и “не верю”. Пою. “Да не ту дали ноту”. К тому — “ничего не вижу”. Ах, черт побери, и даже — “ч-ч-е-рт по-бе-ри!!” Теперь понятно, почему от революционерства Амфитеатрова никто не чешется, и хотя он посвящает, когда цензурой позволено, свои хроники-романы страшным террористам (Герману Лопатину), — однако это не делает никакого впечатления. “Наконец, я принял какого-то хориста за Хозе и пел, оборотась к нему, арию, которая к нему не относилась”. За это не хвалят ни режиссер, ни публика, и Амфитеатрову, в некоторых более реальных условиях, пришлось также “претерпеть” за арию, спетую тоже “не по тому адресу”. Это была сценическая путаница, и решительно здесь не было никакой “политики”, как вообразили себе благополучные россияне, сбегающие всегда на уличный и литературный “бум”. Но, решительно, — “бумов” всегда образовывалось много около Амфитеатрова, по его “слепоте филина днем” и по его росту, который был отовсюду виден. И он, видя вокруг себя всегда толпу зевак, счел, что что-то такое производит, кого-то пугает собою, составляет предмет политических опасений, — и в сем случае, чтобы окончательно показаться страшным, решил бежать, скрыться и писать “сюда”, в газеты, как это делают люди безворота, разлома и бури. Но какая же “буря” в Амфитеатрове? — Мягкий баритон.

Около него творятся “оказии”, потому что прежде всего в нем самом природа натворила оказий. “Ни — туда, ни — сюда”, — “и то, и се”. Актер и певец, жизнерадостный, шумный, впечатлительный, словоохот-

ливый. Но не как Супруненко, "комк нервов и страстный", который и остается "до сих пор на сцене". Как хорошо он себя оттенил этим Супруненко. Амфитеатров сошел со сцены, потому что у него к ней не было призвания, хотя он и рвался на сцену. Дело в том, что природа, отпустив ему слишком много физического таланта ("три аршина и толст"), в психической природе дала ему одни полуталанты, но многочисленные и разнообразные. Договорим о сценической стороне дела, коренной в Амфитеатрове. Сцена его "зовет" к себе, но недостаток таланта ("темперамента" и умения) его сюда не пускает. Напротив, литература скорей "не зовет", но он сюда рвется, — и шумность характера принимает за яркость ума, а отзывчивость на все принимает за интерес к делу. Опять мешанина и путаница. Уже по стремлению "к сцене" мы можем безошибочно заключить, что Амфитеатров никогда и ни к чему *в жизни* не имел серьезного интереса, ибо сие пишется кровавыми буквами в небе... Скажите, поищите в биографических лексиконах, был ли хоть один человек с *политическим горением в себе*, — предварительно и в первой стадии жизни *актером*??? Что за чудовищное сочетание? Конечно, ничего подобного *в натуре* не могло быть и не было. Но Амфитеатров — не романист и не поэт, он — "общественный деятель" в литературе. Что же это такое? Что вышло? Ничего. "Бум".

Амфитеатров просто есть словесный, общественный и политический "бум". Что такое "бум"? Не понимаю. Не знаю. Звук. В нем — ни подлежащего; ни сказуемого и нет вообще "предложения", т. е. "мысли, выраженной словами". "Бум" есть "бум", а дальше этого в разумении и истолковании не пойдешь. И нет решительно никакой возможности растолковать себе или растолковать другому, "что такое вообще литературная деятельность Амфитеатрова?". Шум, разнообразие, "легкость мыслей необыкновенная" ("у меня легкость мыслей необыкновенная", — Хлестаков о себе), легкое перо, — но все это "ни к чему" и "ни для чего" и решительно не тянет ни к какому центру.

Кажется, книгу "Дамы и бабы" Амфитеатров предваряет такими приблизительно словами: "Я написал эту книгу (или какую-то другую), чтобы показать, что *пол* мужчин и женщин есть великий *уравнитель сословий*", — по содержанию же книги — скорее "*прорыватель сословий*", — "ибо влюбляются и потом женятся аристократы на простых девушках, а аристократические девушки влюбляются в простых иногда паренков". Я, когда прочел это предисловие, стал "протирать глаза"... *Так ли читаю, то ли вижу?* Амфитеатров пишет решительно со вкусом новизны и "приоткрывает читателю" Америку... Но до него лет за 25 Некрасов написал "Огородника", до него лет за сто Жуковский перевел "Эолову арфу" (любовь дочери феодала к простому певцу), до него за 200 лет Петр Великий женился на простой немке или эстонке, а за 200 лет Фаустина старшая, супруга Антонина Пия, любила "со всеми", не обходя простонародья... А наши помещики и их романы с крестьянками? И, наконец, французско-русский термин — "мезальянс", т. е. "*нервный брак*", с прорывом именно сословности. Таким образом, это есть самая прописная и самая уличная истина. Но "Супруненко проскочил под рукой Амфитеатрова", и тот "запел арию в лицо другого": Амфитеатров совершенно не заметил во все пространство целой книги, где он иллюстрирует фактами, где он доказывает, где он горячится, что решительно

никто с ним не спорит, решительно все то же самое думают при нем и до него. Но книга написана, наборщики набрали ее, книга — магазинах, и... тут естественно "прибежала Кармен и все цыганы". Так происходит "бум".

— Что такое бум?

Я не знаю. Никто не знает. "Бум" есть "шум". И Амфитеатров шумит. А почему шумит — никто не знает.

"Мне дали ноту *выше*, и я запел. Вышла чепуха ужасная". Таков Амфитеатров в политике. По существу и по душе он сладкий баритон. Но эмиграция ему "заказала тему". Или пускай лучше он сам скажет в литературном самоописании той же книжки:

"Написать статью я считал своим долгом и написал с молодою, необузданною, *не рассуждающею о последствиях*, беспощадною *якостью* начинающего. Да и сильно "натравили" меня. Фельетон вышел ужасен... Я с искренностью жалел и теперь жалею, что так его (Н. О. Ракшанина) избидел, и дал потом ему слово, что фельетон этот я считаю мертвым и никогда его не включу ни в какую свою книжку отдельного издания".

Опять это из оперы, когда он "пел Эскамильо", не замечая, что перед ним — хорист. "Я всегда был слеп, как филин", и ему всегда "подсказывали" и "давали тон" другие. Амфитеатров весь — "не свой". Как вам нравится такой писатель? Его "надувают", как ветры — мех или как ветры крылья мельницы, — газетные строки, случившийся скандал, услышанная сплетня и больше всего шепоты, слухи и злословие столицы крупного государства и эмигрантских кружков. "Кто здесь не зол?" "Кто не обижен в службе или по славе?" И все он слушает, потому что своих мыслей нет и в сущности потому, что "какой же актер без суфлера и без чужого текста по тетрадке"... "К тому же и мои предки все или лекторствовали по тетрадке, или проповедывали тоже по тетрадке". "Но я — баритон". Он прибавил к службе предков преимущество личного баритона. Так сложился весь Амфитеатров, фигура простая и ясная.

Как же ему сочинять? А охота смертельная. Без своих мыслей? На то есть ветры и газеты. Не Амфитеатров сочиняет, а "Амфитеатрова сочиняют", давая ему темы, сюжеты, заряжая его порохом и стреляя из него. Но актер ничего этого не чувствует, играя естественно чужие роли. "Например, Эскамильо". Актер никогда не поймет *творческую натуру* и от того, что ее не чувствует в себе, не почувствует и ни в ком. "Писатель, что такое писатель?" — вправе он спросить на конце поприща; "писатель состоит из ручки, пера и чернил". Но это и определение писемоводителя в губернской управе. И Амфитеатров всегда был писемоводителем, но пел Эскамильо. И пронзал шпагою, и носил плащ. Цыган около него было много, но, можно поверить, — ни одного внимательного слушателя.

Дугая, огромная, шумная его фигура была бы, что называется, — "проты мимо ее молча", если бы обширное поле литературы не было усеяно часто незаметными, но жгучими огоньками; если бы в "писательской богеме" не билось и не *затиралось*, не *затаптывалось* множества чистейших сердец и ярких умов. Скажешь иногда, оглядываясь "на братию":

— О поле, поле! — Кто тебя
Усеял мертвыми костями.

Амфитеатров, весь пышный, рассказывает о "горькой судьбине" одного из таких, — не замечая вовсе, до чего этот "покровительствуемый младший брат" выше его именно как натура *творческая*, и притом — *нравственно-творческая*. Сперва — несколько мелких общих штрихов:

"Десятки раз присылал ко мне Ракшанин с рекомендательными письмами людей, которые — знал я — еще вчера были с ним во вражде и которых он только что раскатывал по всем горам Араратским. Спросишь: "Как вас Бог не в пору свел?" — ответят: "Объяснились... Может быть, и я был не совсем прав... В сущности, он, кажется, человек не дурной".

"Он страстно прилеплялся к людям и с такою же бурностью вдруг отлеплялся от людей. В наших семилетних отношениях, начатых очень резко статью против него, а с его стороны — чуть не вызовом за это на дуэль, были периоды, когда не проходило дня, чтобы Ракшанин не побывал у меня хоть раз, а то и два, — притом же у него была еще страсть писать и немедленно отсылать с посыльным записки о всякой мелочи; их накапливались горы!"

"Вот — лучший образец незлопамятства Н. О. Ракшанина: столкновение (выше описанное) обошлось ему страшно дорого в смысле нравственного потрясения и отравило своими последствиями года полтора или два трудной, нервной рабочей жизни. Однако в 1898 г., проезжая Москву, я встретил неудачного стрелателя. Он был из маленьких газетных работников и тоже теперь покойник.

— Где вы работаете?

Называет газету, которой столпом состоял Николай Осипович (Ракшанин).

— Как же вы уживаетесь с Ракшаниным?

— Он-то меня туда и поместил.

— Это очень великодушно с его стороны. А кто вас помирил?

— Никто. Он сам приехал. Услыхал стороною, что мне жрать нечего. Ведь после того скандала предо мною все двери закрылись... А он пожалел".

"Повторяю: не было личной обиды и неприятности, которых Ракшанин не согласился бы зачеркнуть во имя человеколюбия, забыть и извинить по мягкости душевной, даже без предварительной церемонии прощения".

В другом месте:

"Жалостлив и отзывчив Ракшанин был удивительно.

— Когда я при деньгах, я кормлю двух-трех таких, как Аркашка!

Эта реплика Несчастливцева — наилучшая характеристика странноприимного быта на ракшанинской даче, под Клином, где обитал он зиму и лето, частью ради своих слабых легких, частью — чтобы не очень душили кредиторы. Брошенные младенцы, покинутые женщины, интеллигенты без занятий, труженики без мест, а иногда и просто ленивые лоботрясы находили у Ракшанина приют месяцами, жили, кормились..."

Ну, не золото ли человек? Да это просто ангел, и, поистине, журнально-газетный Содом будет пощажен на Страшном суде из-за таких 5—10—15 "праведников".

И вот, что же с ним случилось? Амфитеатров не рассказывает, в чем дело (и не надо об этом любопытствовать), но что-то такое с ним случилось в юности, за что он был "уголовно судим", лишен дворянского звания и "из сына генерала превращен в усть-сысольского мещанина". И вот, этим воспользовались. Где? В печати, в "нашей благородной журналистике", где все так чисты, как фарисей на молитве. "Судимость, — рассказывает Амфитеатров, — на всю жизнь прицепилась ядром ему на ногу. За грех мальчика жизнь мстила сорокалетнему усталому человеку! Всюду, где ни начинал Ракшанин новый труд, ему приходилось сперва проломить грудью стену злого презрительного предубеждения; не диво, что и сама грудь эта так скоро сломалась. Немудрено, что, однажды завоевав себе место, он цеплялся за него всеми силами и с ужасом помышлял о возможности, что вот — сорвется тут, и иди на новые поиски — с новым экзаменом, новыми унижениями!.. И вот ему говорили: вместо двугривенного вы должны получать гривенник за строчку, — он брал! "Чики", т. е. полустрочки (!!! — В. Р.), — не будет считаться — согласен! Фельетона мало, подай в ту же цену еще две статьи, — пишет! Бог наградил его страшною производительностью и хорошим слогом, красивым и благородным... И, обрезываемый, усчитываемый в "чиках", давивый писатель лил строки, лил, лил, — в мигренях, полуживой"...

Вот в это-то время на него и налетел орлом начинающий Амфитеатров. Меня "натравили", — рассказывает он. Но, я думаю, подбавляло жару и то, что он был "начинающий". — "Я вам спою Эскамилью". Спел. Потом встреча. Совсем другое впечатление. Но посмотрите, какая тумба Амфитеатров и как человечен Ракшанин.

"— А знаете ли вы, — с печальной улыбкой говорил он мне, — о чем я думал, когда прочитал ваш фельетон?"

— Ругали меня? Проклинали?

— Нет, я думал: вот завтра призовет меня мой издатель и предложит мне, во-первых, снять свою подпись из-под статей... Вы, конечно, понимаете, что это значит для журналиста, — даже помимо нравственных соображений?

— М-м-м... да! Очень хорошо понимаю!

— А во-вторых, переведет меня с восьми копеек на пять, и должен я буду жарить ему, вместо шести тысяч строк в год, девять тысяч, потому что иначе мне не оправдать расходов. ...Ну, и ужас какой-то находит, потому что — не губка же мокрая мозг, чтобы из него капало, капало, капало..."

Какая сцена! До чего прелестно! Среди гроыхающей речи автора книги — как тонки, задумчивы, как тихо выразительны слова Ракшанина. Их не забудешь, как почему-то забываются книги Амфитеатрова. А впрочем, — черт с ними и с печатью. Около тени праведника не хочу никого судить. Все-таки и Амфитеатров отличный малый, что написал все эти теплые воспоминания о людях, которых знал, видал. Пусть бытовая Русь затянет дымкою литературщины: все грешны, со слабостями, не станем мерять больших и малых. Кто не увлекался? Если увлекался Амфитеатров, увлекался и я. Он — Эскамилью, я, может быть, арлекин. Все равно. Все умрем, и над всеми нами опустят "веревочки" склоненные ивы. Не забудем, что сегодняшняя литература — завтрашнее кладбище. И не будем ни проклинать, ни смеяться.

К. Леонтьев об
Аполлоне Григорьеве
(Вновь найденный материал)

Удивительно, что "залежи" славянофильства до сих пор открываются, — точно какие-то долго считавшиеся ни к чему не пригодными вещества, пользу которых открыли только в наше время, — или как в географии бывало с необитаемыми островами, с обледенелыми землями, с неизвестными тундрами... На открытии этих "залежей" специализировались у нас два толстых журнала, "Русская Мысль" и "Богословский вестник", — решительно лучшие теперь журналы философского и исторического содержания, а по тайному мнению моему — и единственные, которых не страшно "взять в руки"... Потому что остальные-то журналы все еще жуют старую космополитическую жвачку и хотя глухо, не полными словами, но продолжают лить злобу на все "восточное" и все коренное русское, и в сущности им мило все "старогерманское", от пресловутого Бергсона и Трейхмюллера до еще более пресловутого "интернационала", несмотря на разоблачившиеся связи последнего с прусскою жандармерией и берлинским генеральным штабом. Но не будем сердиться, а станем благодушествовать, не будем вырывать плевел, а укажем на доброе зерно. В "Русской Мысли" г. Влад. Княжнин напечатал неизвестную до сих пор статью К. Леонтьева — "Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Аполлоне Григорьеве". Статья вдвойне драгоценная — и по автору написавшему, и по другому автору, о котором он пишет. И Ап. Григорьев, и К. Леонтьев, хотя жили полвека назад, суть "восприимчики нашего времени", — "новорожденные" только теперь. Их просто не читали. Никто на них не обратил внимания. Изданные было Страховым "Избранные сочинения" Ап. Григорьева остались нераспроданными в книжных магазинах, затем пошли "с весу" к букинистам и у последних были съедены мышами — обычная судьба русского мыслителя, если он "не мирен" и не идет "со стадом". Население в России "мирное" и "ссор" не выносит, — а оба названные писателя, и Ап. Григорьев, и К. Леонтьев, и сам издатель первого, Страхов, все "неприятно ссорились" и думали "по-своему". Рукопись Леонтьева извлечена г. Княжнинным из так называемого "Страховского архива", находящегося в рукописном отделении библиотеки петроградской Академии Наук, где этот архив значится под шифром: "45.12.67". Это — бумаги Страхова, принесенные в дар Академии мужем наследницы Страхова, его племянницы И. П. Матченко, — издателем III тома "Борьбы с Западом". Кстати, своевременно теперь указать, что столь осмеянная в нашей печати страховская "Борьба с Западом" оказалась очень удачным предсказанием за 30 лет теперешней громоносной войны, где мы боремся не только физически с Германиею и Австриею, но и духовно, нравственно "боремся" вообще с западным духовным обнищанием, с западною лютостью и бездушием, атеизмом и механизмом, на которые Страхов указывал только *вслед* и только *согласно* с первыми славянофилами, братьями Киреевскими, братьями Аксаковыми, Хомяковым и Тютчевым. Но тогда их не слушали и не понимали, а теперь мы

все видим "в громе и пламени"... Вот уж "не бывает пророка в отечестве своем"...

Статья Леонтьева подписана его *отчеством*, — "Н. Константинов", как и другая статья того же Леонтьева, "Грамотность и народность", которую Страхов принял к напечатанию в "Заре", а эту статью оставил ненапечатанною, и она сохранилась у него в архиве. Подробности этого эпизода см. у А. М. Коноплянцева в его "Жизнь К. Н. Леонтьева", в сборнике статей, посвященных памяти К. Н. Леонтьева в 1911 г. В той *напечатанной* статье К. Леонтьев также мимоходом касается недавно тогда умершего Ап. Григорьева и говорит о нем следующие достопамятные слова: "Придет время, конечно, когда поймут, что мы должны гордиться им более, чем Белинским, ибо если бы перевести Григорьева на один из западных языков и перевести Белинского, то, без сомнения, Григорьев иностранцам показался бы занимательнее, показался бы более русским, нежели Белинский, который был не что иное, как высокоталантливый прилагатель европейских идей к нашей литературе" ("Заря", № 11, стр. 197—198)... "Последнее слово Ап. Григорьева было — *народность и своеобразие русской жизни*. Незадолго до смерти своей, в маленькой газетке "Якорь", не имевшей успеха, как и следовало ожидать, по национальной незрелости нашей публики, — он высказал мысль, что *"все прекрасное в книге — прекрасно и в жизни и прекрасного в жизни не надо уничтожать"*; он приложил эту мысль, в частности, к защите юродивых, столь поэтичных в точных описаниях наших романистов, — но имел в виду развить эту мысль и шире" (там же, стр. 198).

Впервые напечатанная теперь в "Русск. Мысли" статья К. Леонтьева "Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве" полна выразительности и того богатого физиологическо-бытового восприятия, к какому К. Леонтьев был так способен:

"Мне нравилась его наружность, его плотность, его добрые глаза, его красивый горбатый нос, покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородой, когда он пил чай и, кивая головой, слушал, что ему говорили, он был похож на хорошего умного купца, конечно русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженных бакенбардах!

Один из наших писателей рассказывал мне о своей первой встрече с Ап. Григорьевым; эта встреча, кажется, произошла уже давно. Писатель этот сидел в одном доме, как вдруг входит видный мужчина, остриженный в кружок, в русской одежде, с балалайкой или гитарой в руках; не говоря ни слова, садится и начинает играть и, если не ошибаюсь, и петь. Потом уже хозяин дома представил их друг другу".

Личная встреча К. Леонтьева с Ап. Григорьевым произошла так. К. Леонтьев не любил вообще писателей, не любил того обезличивающего, что кладет на их личность однообразная и монотонная необходимость все писать и писать. Посему и избегал знакомств с ними. Но интерес к писаниям Ап. Григорьева преодолел житейскую его антипатию или предрассудок: Идя раз по Невскому, он встретил Григорьева, шедшего с приятелем, которого знал. И, подойдя к последнему, — просил их познакомиться!

“Мы зашли в Пассаж, — рассказывает далее Леонтьев, — и довольно долго разговаривали там. Я был в восторге от смелости, с которой он защищал юродивых в то положительное и практическое время (60-е годы), и не скрывал от него своего удовольствия. Он отвечал мне:

— Моя мысль теперь вот такая: *то, что прекрасно в книге, — прекрасно и в жизни; оно может быть неудобно, но это другой вопрос. Люди не должны жить для одних удобств, а для прекрасного...* (курсив Л-ва).

— Если так, — сказал я, — то век Людовика XIV со всеми его и мрачными и пышными сторонами в своем роде прекраснее, чем жизнь не только Голландии, но и современной Англии? Если бы пришлось кстати, — стали бы вы это печатать?..”

В это время Ап. Григорьев издавал свою маленькую газетку.

“— Конечно, — отвечал он, — так и надо писать теперь и печатать!

Немного погодя я встретил Григорьева опять на Невском.

Не помню, по какому поводу шел по улице крестный ход. Григорьев был печален и молча смотрел на толпу.

— Вы любите это? — спросил я, движимый сочувствием.

— Здесь, — отвечал Григорьев грустно, — не то, что в Москве. В Москве эти минуты народной жизни исполнены истинной поэзии.

— Вам самим, — прибавил я, — не идет жить в этом плоском Петербурге; отчего вы бросили Москву?..

Григорьев отвечал, что обстоятельства сильнее вкусов...

Я был потом несколько раз у него. Жилище его было бедно и пусто...

Я сначала думал, что он живет *не один*. Я знал прежде, что он женат, и раз на Святой неделе спросил у него: “Отчего у вас, славянофила, не заметно в доме ничего, что бы напоминало русскую Пасху?”

— Где мне, бездомному скитальцу, праздновать Пасху так, как ее празднует хороший семьянин? — сказал Григорьев.

— Я думал, вы женаты, — заметил я.

— Вы спросите, как я женат! — воскликнул горько Аполлон.

Я замолчал и вспомнил о том, что слышал прежде о его семейной жизни. Я вспомнил, как говорил, что он и семейную жизнь свою поставил совсем *особо*, по-своему (курсив Л-ва), и понял, что избранный им смелый и странный путь породил по несчастью разрыв и нечто еще худшее разрыва...

Вскоре после этого Ап. Григорьев пропал без вести. Даже ближайшие его друзья не знали, где он. Я долго искал его; нашел наконец его бедный номер в громадном доме Фредерикса, но не застал его, и мы уже больше не встречались. Я уехал из России, а Григорьева через год не стало”.

Статья К. Леонтьева была прислана Страхову в Петербург из-за границы в виде *письма* к нему, что и обозначено в подзаголовке: “Несколько мыслей и воспоминаний об Ап. Григорьеве. Письмо к Ник. Ник. Страхову”. Вероятно, поэтому Страхов, не напечатав статьи, не счел, однако, долгом и вернуть ее Леонтьеву как просто письмо, к нему адресованное. Почему его Страхов не напечатал? Для читающего статью это совершенно ясно и вместе очень показательно для обоих славянофилов. Страхов был славянофилом с добродетелью, а Леонтьев был славянофилом без добродетели (хотя с прелестными личными качествами). Первый был смиренно-мудрый и спокойный, благопопечительствующий о роде людском, даже “и о врагах своих”; второй был горячий, страстный и хотел бы ввергнуть в борьбу и распрю, даже в страдание, не токмо врагов, но и друзей. Он говорит о юродивых; но не увлекайтесь

и особенно — не надейтесь: он с любовью говорит и о пышном Людовике XIV. В нем было много Гераклита Темного, с его принципом вражды, с его требованием борьбы повсюду в мире. Много Гераклита и, следовательно, много Гегеля, любимца Страхова. Да, но это — в идеях (у Страхова). Но он отшатнулся со страхом и даже с некоторым отвращением (как и Рачинский, — Страхов испытывал положительное отвращение к Леонтьеву), когда "дело" пошло о деле, о жизни, о проведении "диалектического метода" (Гераклит и Гегель) — в явлениях истории, партий, вер... и даже до костюмов человеческих включительно. При этом, можно сказать, в Леонтьеве Гегеля сидело больше, чем в самом Гегеле: у Гегеля тоже были все только "идеи", а сам он был мирным берлинским профессором. Леонтьев кидал "в схватку", кидал в огонь вот эти самые явления на улице, у себя в дому, — где они ни попадались ему. Он нигде не хотел мира, не хотел мира у себя в дому, в нашей России. Он был "поджигатель" по натуре, по существу, по личному вкусу. Его "огонь" был не философией, а пылал у него в крови, жег мозг, толкал его лично на безрассудства и выходки, — между прочим, испортившие ему и правительственную службу. Он не забывал своей "идеи" ни на минуту, — и, будучи глубоко "преклоненным" перед славянофильством, разорвал и с ними, именно с моральной и "смирненноумудрой" их стороной (в сущности, еще глубже — с "православной" их стороной), ради отвращения и ненавидения их тихости, елейности и упорядоченности, бытовой, семейной и церковной. Но, — пусть уж диалектика доходит до конца, до груди самого Леонтьева, — около страшно серьезного в нем, около глубоко философского и трагического, лежал и простой комический элемент. Где? Как? Философски идея Леонтьева базировалась на рассмотрении биологического процесса, частью коего, разновидностью коего для него был и процесс всемирной истории. Доселе — "премудрость", Гераклит и Гегель. Но откуда же, однако, личное пылание, которого не было ни в Гераклите, ни в Гегеле? Говоря языком комедий, — откуда в нем зажглось это желание бросить весь мир в пламя, ради цветных тряпочек? Да — "моды", ради которых женщины изменяют верности мужьям; да те "наряды", ради которых "честь" не дорога. Леонтьев слишком, "как женщина", смотрел на историю и культуру; у него был "женский глазок" на все, с его безумными привязанностями, с его безумными пристрастиями, с его безумным фанатизмом. Отсюда странное очарование, которое на нас льется из его неустержимых речей, как будто нас "заговаривает" женщина, чего-то у нас прятая, чего-то безумно требующая и которой мы не в силах противостоять. У Леонтьева — "чары" из самого слова, из строения фразы, в каждой строке "с мольбою" или "упреком". От этого его любят или, правильное, "влюбляются" в него даже враги, например Струве в памятной речи в Москве, года два назад, на заседании религиозно-философского общества, слушавшего доклад г. Грифцова о Леонтьеве; Струве поставил Леонтьева выше по качествам исторического учения, чем Толстого и Влад. Соловьева, — между тем как сам Струве — "освобожденец", а Леонтьев — реакционер, правее Каткова. Тут — нельзя сопротивляться. Леонтьева — нельзя не любить. Ибо как вы будете не любить того, кто сам так безмерно любит? В Леонтьеве есть что-то "от Чайковского" и его таинственной, гипнотизирующей музыки. Только у Чайковского

— все в звуках, у Леонтьева — в формах, изящных линиях, любви к "наряду", "цветному", к разнообразию узора и красок, в конце концов (и тут мы рассмеиваемся) — "к моде"... Подавай нам "модный свет", подавай нам "цветистую" историю, подавай нам "яркую" жизнь...

— Господи. Но так трудно жить. Пощадите: дайте нам хоть сермяжную, но тихую жизнь. Хоть буржуазную, но удобную жизнь. Хоть какую-нибудь бесцветную, неинтересную, но — сносную жизнь.

Леонтьев разбит. Это единственно его разбивает, опрокидывает от вершины и до пяток. И только, чтобы не довести его до отчаяния, подскажем ему единственное возражение:

— Тихая жизнь, удобная жизнь — это... старость, это... близость смерти. Есть и молодость, юность: им подавай грома, войну и наряды.

Действительно. Тут мы пасуем. Леонтьев встает во всей суровости и серьезности, как защитник юности, молодости, напряженных сил и трепещущих жизнью соков организма. Сказать ли последнее, — как защитник вообще космического утра и язычества.

Права старость. Права юность. Правы мы, прав он. Тут некуда уйти. Право христианство, со страховским "смирением" и "ничего не хочу", и прав Леонтьев, с его языческим — "всего хочу", "хочу музыки", "игр"... и — "нарядов".

И смешно и страшно. Ну, оставим его "как есть". Леонтьев вполне мировой писатель, выразивший "кое-что" в идеях, вкусах и стремлениях человечества — как до него не выразил этого никто.

Приведем кое-что из этих "украшиваний" Леонтьева, — от которых Страхова, вероятно, стошнило (подчеркиваю такие слова):

"К журналу "Время" (где писал Ап. Григорьев и Страхов) меня влекли некоторые вещи более, чем к московским славянофилам. "Время" смотрело на женский вопрос *менее строго*, чем московские Славяне. Московские Славяне переносили собственную нравственность на *пестрые* (курсив Л-ва) нравы нашего народа. Я сомневаюсь, правы ли они. Мне казалось, *народ наш нравами не строг*, и очерки Писемского ("Питерщик" и проч.) *казались мне более русскими*, чем *благочестивые* изображения Григоровича. Следующие стихи Ап. Григорьева:

Русский быт —
Увы! — совсем не так глядит,
Хоть о семейности его
Славянофилы нам твердят
Уже давно, но, виноват,
Я в нем не вижу ничего Семейного... И т. д.

"Эти стихи, мне казалось, *вернее специфицировали Великоруса*, чем "четыре времени года" Григоровича и др. тому подобные вещи. Не отрицая и явлений такого рода, я говорю только, что не они характерны для нашего крестьянства, для великоруса, казачества, для миллионов раскольников наших, *в высшей степени великорусских* (курсив Л-ва), особенно когда мы хотим сравнить их с *благочестивыми и тяжельми землепашцами Западной Европы*.

Поэзия разгула и женолюбия, казалось мне, не есть занесенная с Запада поэзия, но — *живущая в самых недрах народа*.

Итак, эта *меньшая строгость к женскому вопросу... более влекла меня ко "Времени"*, чем к московским славянофилам".

Ну, это — непереносимо для Страхова, для Аксаковых...

Вообще о своих идеалах:

”Вдали от отчизны я лучше вижу ее и выше ценю. Не потому я ее ценю выше, что дальше от ее зол, как подумают иные, а потому, что больше понимаю, узнавши больше чужое. Страна, в которой я теперь живу, особенно выгодна для того, чтобы постичь во всей ширине историческое призвание России. И эта мысль одна из величайших отрад моих. Но иногда я с ужасом вспоминаю о том, как вымирают прежние люди на всех попрощах, и боюсь, что долго некому будет заменить их.

Чем знаменита, чем прекрасна нация? Не одними железными дорогами и фабриками, не всемирно удобными учреждениями. Лучшие украшения нации — лица, богатые дарованиями и самобытностью. Люди даровитые и самобытные не могут быть без соответственной деятельности. Когда есть лица, — есть и произведения, есть деятельность всякого рода”...

Следуют примеры. Дальше переходит опять к общему суждению:

”Россия, дорогая Россия, неужели ты не дашь пышную эпоху миру, когда даже и то, чего не доставало тебе прежде, политической движенье умов, — нынче тебе дано, и семена этой жизни не угасимы никакой временной усталостью? Неужели ты перейдешь прямо из безмолвия в шумное и безличное царство масс? В безличность не эпискую, не в царство массы бытовой русской, а в безличность и царство массы европейской, петербургской, в безличность торгашескую, физико-химическую и виновиническую?

Аполлон Григорьев был и сам лицо, и все сочинения его дышали особенностью, и несколько недосказанное направление его было — искание прекрасного в русской жизни и в русском творчестве.

А. Григорьев хотел и старался *дополнить* во ”Времени” и в ”Якоре” *то, что, по его мнению, не доставало строгим славянофилам* (которых он высоко ценил) *для всесторонней оценки русской жизни”*.

Страхов был верный страж старого славянофильства и *не допускал никаких дополнений его, да еще... в сторону к ”слабостям женского вопроса”*.

...”Григорьев продолжал служить прекрасному, но не тому только прекрасному, что зовут ”искусством” и что цветет на жизни, как легкий цвет на крепком дереве, но прекрасному — в самой жизни, прекрасному — в мире политических учений, в мире борьбы. Идеал Добролюбова и его друзей не мог не быть ненавистен ему; *но от того, что сокол высжигает куриные яйца* (утилитарная критика Добролюбова. — В. Р.), *сокол не перестает быть ловкой и смелой птицей, и Григорьев уважал Добролюбова как лицо и деятеля*. Но в то же время он решался защищать и юродивых в ”Якоре”, указывая на задушевные изображения в наших повестях этих лиц, неподходящих под утилитарную классификацию.

Эта критическая всесторонность вредила Григорьеву; его не понимали; имя его никогда не было популярно; на многих грошовых устах это имя возбуждало улыбку: иногда — презрения, иногда — мудрой благосклонности к бедному безумцу.

Иные в его статьях находили нечто тайно растленное; они были не совсем не правы. Для себя лично он предпочитал ширину духа — его чистоте. В статьях его было веяние, схожее с той струей, которая пробегает по сочным и судорожным сочинениям Мишле. Но он не скрывал этого ни от себя, ни от других; не боялся подобного обвинения. Он знал, что в полной жизни прекрасно и полезно не одно только инстинктивное, строгое и чистое; он знал, что и в мире гражданских учений нужен не только политический, нравственный и религиозный аскетизм, но и широкие, критические взгляды, которые в одно и то же время и выше и ниже

временно практических настроений. А. Григорьев становился к своему времени в положение историческое. Подобно тому как хороший современный француз равно ценит в прошедшем и Боссюэта, и Мольера, и Раблэ, и Кальвина, как англичанин *равно считает украшением* (вот основное и вот роковое слово К. Л-ва. — В. Р.) английской истории и кавалеров, и пуритан, — так и Ап. Григорьев, *равно* (опять роковое слово К. Л-ва. — В. Р.) умел своей художественно-русской душой обращаться и к славизму и православию, и к притупившемуся у нас (вероятно, на время) философскому пониманию, и к железным проявлениям материализма, который хотя по содержанию ни русский, ни немецкий, ни французский, а всемирный, но которого приемы, как бы грубы они ни были, мы должны признать вполне русскими.

"Он сам не знает, чего хочет", — говорили про Григорьева.

Один молодой и умеренный либерал, не совсем дурак, но, конечно, и не умный, сказал мне в Петербурге: "Охота вам читать эту *мертвечину* — Ап. Григорьева!"

Я скоро после этого перестал с ним видаться, так он мне стал гадок своей казенной честностью, казенными убеждениями, *казенной добротой*, казенным умом.

Не порок в наше время страшен; страшна пошлость, безличность! Безличность бытовая, безличность, согнутая под ярко национальное ярмо, — почтенна и плодоносна, но — бесплодна и жалка наша общеевропейская пошлость!"

И т. д. Ну, ясно — *почему* Страхов не напечатал этой статьи. Из личных сношений и разговоров мне известно, что как он, так и Рачинский — эти важнейшие наши славянофилы последней четверти прошлого века, с огромными заслугами в философии, критике и в педагогике, — решительно не выносили Леонтьева, не любили говорить о нем, не желали никакого распространения его сочинениям, и в тайне — по мотиву: "как он *смел* растлить славянофильское учение, внеся в него яд эстетизма, — в него, которое было так ясно, просто и *благостно*".

Они не были вовсе не правы... Леонтьев вообще страшен. Он зноен, чарующ и влекущ. Он — весь соблазн, гений, сила. И, подойдя к этому огню, опаляешься... между прочим, снисхождением к явным порокам, к явно дурному. "И — юродивый, и — Людовик XIV". Этой смесью сказано все.

"Мне нравятся — оба. Нужны (жизни) — оба".

Это разрушает славянофильство. Его добро, его благость. Разрушает его прямоту. Его "дважды два — четыре".

Действительно: закон жизни — красота, разнообразие. Но нужно выбирать. "Или — юродивый, которого мы считаем святым, или — Людовик XIV, которого мы считаем грешником". Закон — в "разнообразии", тут Леонтьев угадал. Но *корень* жизни, этот однообразный, тусклый у всех дерев, у всех цветов корень, — он просто *кормит, поит*, он просто хочет *доброты* деревцу и *никакого вреда ничему не творит*. Тут прав и Рачинский, и Страхов, — что не захотели даже "всматриваться в философию Леонтьева". Правы. Добро просто, как белый свет, удобно, как белый свет, необходимо, как белый свет. "Людовика XIV" — вовсе не надо и "железного материализма" — не надо, он ложен; и "сокола-Добролюбова" — не надо, или не очень надо, ибо он ввел утилитарную, т. е. ложную, критику ("высиживал куриные яйца", по Л-ву). Что же "надо"? Философия Киреевских, Хомякова, педагогика... — Рачинского, критика — Страхова. Она не "заворочит ума", но она

надежна. Однако ведь и хлеб не "щекочет неба", а просто — сытен. Будем помнить Христа и слово Его: "хлеб наш насущный даждь нам днесь". Но г. Леонтьев нас научает: и "булочкой" — не подавишься, т. е. и "пороки", "Людвик XIV и Ментенон", — "ничего себе", пришли и уйдут. Леонтьев освобождает нас от страха порока. "Все бывало, — а мир все же держится". Но "держится" он — именно корнем безвидным, именно светом белым, именно хлебцом Христовым. Смеси — нет, смешивать — не нужно. Добро есть добро, а зло есть зло. Будем вечно бороться за добро; и, может быть, будем бороться тем успешнее, что мы не верим в силу зла. "Не пугает", и Леонтьев научил — не бояться. Были Содом и Гоморра — и сгорели. А православная Федоровская Божия Мать в Костроме — стоит. Был Вавилон — но Замоскворечье крепче его. Стоит. Вот "вечное" Страхова и Рачинского и вообще старых славянофилов. Пусть идет "разнообразие" (леонтьевский принцип). "Милости просим, даже — пирогом угостим". Мы знаем: придет ночь, гость — уйдет и мы, мирно помолвившись, — "заляжем на боковую". И всякие "грехи" есть и были в Руси, а все-таки зовется она и *останется* "Святою Русью". Мир есть вообще арена борьбы Бога и дьявола: но мы — за "Бога", наше дело только не поклониться дьяволу, не поклониться и не испугаться его "Темной Силы". Вот наш простой "аминь".

1916

По поводу новой книги о Некрасове

Не тростник высок колыхается,
Не дубровушки шумят,
Молодецкий посвист слышится,
Под ногой сучки трещат...

О Некрасове появилась новая книга, г. В. Евгеньева, — начало еще незаконченной монографии. Ему же, несколько лет назад, посвятил почти предсмертный свой труд академик А. Н. Пыпин... О Некрасове вообще будут появляться именно книги, всесторонне исследующие его личность и его творчество, — и еще очень долго эти книги будут широко-учеными увражами, скорее усиливающимися *закрывать и скрывать* настоящего Некрасова, нежели объяснять его, — будут усиливаться стесать в нем острые и непререкаемые углы и приноровить его к общему ходу российской словесности, чтобы он не "выпячивался" из этого хода, вообще-то благочестиво-наставительного, не выпадал из него, как кукушка из чужого гнезда, — но аккуратно к нему приходился, прилаживался, — ну и все прочее, что "следует"... Эти "как следует увражи" хоронят одно из самых ярких явлений... не столько даже русской литературы, сколько русской культуры, и, хочется сказать, — просто русской жизни, русской "бывальщины", — того, что у нас "бывает", "встречается" по многообразию и всеобъемлемости русской души.

Не нравятся эти "труды"... И прямо жалко как-то самого Некрасова, которого показывают таким благолепным и благоустроенным, явившимся "в пору" и с "новыми идеалами", — ну, а в чем их суть — "читай самого Некрасова". В такой обстановке и при таких оборотах речи на дело спускаются неясные сумерки, где ничего рассмотреть нельзя, — и все обходится "чин чином" и "честь честью"... "Знаменитый русский писатель", начавший "новую эпоху", конечно — "уступающий Пушкину, но которого можно поставить "возле Пушкина"; с "своеобразными мотивами", но однако же "настоящий русский поэт", — любивший "русскую природу" и "русский народ". С такими "медалями" он становится в национальный пантеон, где каждый новый учитель словесности опаживает с его бюста пыль времен...

Забыт Некрасов? — Забыт. Его песенки?.. Увы, они не покоются более.

I

Как можно было, однако, забыть его? Смешать с другими, со "всеми". Он незабываем в своей несравненной яркости. Он не смешиваем, потому что всем противоположен. Некрасов — один. И никто его не повторил. Попытки "повторять" оборвались в начале же. Никто, в сущности, и *похож* на него не был...

Новизна и сущность Некрасова, "зерно" его личности и дела, и заключаются в том, что он не был писателем, что писателем ему быть — только "случилось". В литературу он "пришел", был "пришельцем" в ней, — как и в тогдашний Петербург "пришел", с палкою и узелком, где было завязано его малое имущество. "Пришел" добывать, устроиться, разбогатеть и быть сильным. Просто — выявление и шаг сильной личности, без всякого знания, что́ его впереди ожидает... Без преднамерений, без плана, без призвания.

Ведь и был он еще почти мальчик.

Он собственно не знал, как это "выйдет", и ему было все равно, — по молодости лет и без "предназначения", — *как* это "выйдет". Книжка его "Мечты и звуки", — впоследствии им самим скупленная и уничтоженная, кроме сохранившихся у "любителей" нескольких экземпляров, — в высшей степени характерна и показательна, — и важна в том именно отношении, что свидетельствует, до какой степени мало он первоначально думал становиться "писателем". Исполненная жалкими и льстивыми стихами по отношению лиц и событий, она выражает его "все равно", но нисколько не показывает неопытности или юношеской "восторженности" в отношении лиц и событий. Он приноровлялся "туда и сюда", "туда или сюда", не делая твердого шага. Если бы продолжалась линия и традиция людей "в случае", о которых Грибоедов сказал стихи:

На куртаге ему случилось оступиться...

Изволили смеяться...

.....
 Был высочайшею пожалован улыбкой...

.....
 Упал он больно, встал здорово...

то "пришелец в Петербург" очень мог бы выйти в люди такого "случая", с судьбой и карьерой если не при Дворе, то при доме какого-нибудь

”вельможи века сего”. И тогда писал бы дифирамбы ”людям века сего”, века Екатерининского, века Елизаветинского, века Анны Иоанновны... Но это могло быть лет 70 назад, да и назывался он недаром уже не ”Державиным”, а ”Некрасовым”... Есть что-то такое в фамилии, — новое, от духа новых времен... Простое, грубое, жесткое. В имени и фамилии есть своя магия звуков.

Как Бартольд Шварц, мирный монах, производя алхимические опыты, — ”открыл порох”, случайно смешав уголь, селитру и серу, — так, марая разный макулатурный вздор, Некрасов случайно написал одно стихотворение ”в его насмешливом тоне”, в том знаменитом впоследствии ”некрасовском стихосложении”, в каком написаны его первые и лучшие стихи, — и показал Белинскому, с которым был знаком и обдумывал разные книжные предприятия, отчасти ”толкая вперед” его, отчасти думая им ”воспользоваться как-нибудь”. Жадный до слова, чуткий к слову, воспитанный на Пушкине и Жуковском, на Купере и Вальтер-Скотте, — словесник изумленно воскликнул:

— Какой талант! И какой топор ваш талант!!

Это восклицание Белинского, сказанное в убогой квартирке в Петербурге, — было историческим фактом, решительно начавшим новую фазу в истории русской словесности.

Некрасов сообразил — и увидел далеким и практическим умом то, чего вообще не соображал в своем литературном уме Белинский. Золото, когда оно лежит в шкапулке, еще драгоценнее, чем если оно нашито на придворной ливрее. И, главное, в шкапулке его может лежать гораздо больше, чем на ливрее. Времена — иные. Не Двор, а — улица. ”И улица может мне дать больше, чем Двор”. А главное или по крайней мере очень важное — что все это гораздо легче, расчет тут вернее, ”вырасту я пышнее и сам”. ”На куртаге оступиться” — старье. Время теперь — перелома, время — брожения. Время, когда одно уходит, другое — приходит. Время не Фамусовых и Державиных, а ”Figaro — çì, Figaro — là”...

Моментально он ”перестроил рояль”, вложив в него совершенно новую ”клавиатуру”. ”Топор — это хорошо. Именно — топор. Отчего же? Он может быть лирой. Время аркадских пастушков прошло”.

Прошло время Пушкина, Державина, Жуковского. О Батюшкове, Козлове, Веневитинове, кн. Одоевском, Подолинском — он едва ли слышал. Но и Пушкина, с которым со временем он начал ”тыгаться” как властитель дум целой эпохи, — он едва ли читал с каким-нибудь волнением, и знал лишь настолько, чтобы написать некоторые параллельные ему лозунги, призывы, вроде:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

Но суть в том, что он был — совершенно новый и совершенно ”пришелец”. Пришелец ”в литературу” еще более, чем пришелец ”в Петербург”. Как ему были совершенно чужды ”дворцы” князей и вельмож, — он в них не входил и ничего там не знал, — так он был чужд

1. Фигаро — здесь, Фигаро — там (*фр.*).

и почти не читал русской литературы и не продолжал в ней никакой традиции. Все эти "Светланы", баллады, "Ивиковы журавли", "Леноры", "Певцы во стане русских воинов", все эти Онегины и Печорины были чужды ему в сюжете своем, чужды в самом имени даже... Все эти и подобные вымыслы и темы были смешны и невозможны под пером его, вышедшего из разоренной и никогда не благоустроенной родительской семьи, из разоренной, бедной дворянской вотчины. Сзади — ничего. Но и впереди — ничего. Кто он? Семьянин? Звено дворянского рода? Мать — полька, отец — странствующий с полком офицер. Обыватель? Чиновник или вообще слугитель государства? Купец, живописец, промышленник? "Это я-то? Ха-ха-ха!", мог ответить он. Прибавив молчаливо — "Figaro — là, Figaro — çì". Все с него спало, все от него отвалилось. И ничего к нему не пристало, ничего на него не наделось. Из всех наименований, какие мы исчислили выше, еще сколько-нибудь шло бы к нему — "промышленник"... Но — такой, который с духом предприимчивости в груди пришел в новый город и к незнакомым людям с "ничего" в кармане, а за поясом... не топор, а "перо как топор" (Белинский). Ну, он этим и будет "промышлять", как единственным орудием в руках, в обладании. Есть "промышленность" с "патентами" от правительства, и есть "промыслы" уже без патентов. И, наконец, есть промыслы великороссийские, и есть промыслы еще сибирские, на черную лисицу, на горностая, ну, и вообще на зазевавшегося прохожего...

Есть что-то родное, "свое" и жгучее, когда он поет про тароватых купчиков-коробейников, — и жгучесть эта доходит до риска, когда и около них, тароватых и плутоватых, ставит "пробирающегося по лесу" охотничка-лихого... Вот где — его автобиография, к которой "Рыцарь на час" был "литературным приложением", — одной из тароватых присказок, которыми "купчики-голубчики" приманивали к своему товару...

II

Строилась идеологическая и словесная предпосылка к революции, по-русскому — к "смуте". И тут был как раз на месте Некрасов, человек без памяти и традиции, без благодарности к чему-нибудь, за что-нибудь в истории. Человек *новый и пришелец* — это первое и главное. Все шло еще "пока в литературе", — и пока в литературе он повел совершенно новую линию, от "себя" и "своих", ни с чем и в особенности ни с кем не считаясь и не сообразуясь. Для всякого это стоило бы труда, ломки в себе и в своем образовании. Но Некрасов это совершенно ничего не стоило, — по всем объясненным уже причинам. Для читателей это было "отрицанием", но для автора было просто неведением. Что такое Жуковский? Для Зейдлица, для князя Вяземского, для Пушкина — это "святое имя": но Некрасов просто его не читал, и Жуковский ему никогда даже не приходил на ум. Тут он и "топора" не вынимал из-за пояса. Литература начиналась для него с "современности", — с Белинского и Добролюбова; и тут приводил особый угол зрения вообще предпринимателя: "история торговли начинается с открытия моей лавочки", а история литературы для страстного и талантливого журналиста "начинается собственно с нашего журнала". Тут вся литература

ахнула, потому что почти вся она осталась "за флагом": но тем более приветствовали его юные читатели, читавшие и знавшие ровно столько же, сколько Некрасов, а порой — даже меньше его. "Пусть Жуковский и поет про "Ивиковых журавлей", для понимания которых еще надо справляться с мифологией: мы будем читать Некрасова, который нам пишет "Мороз-красный нос", вещь забавную, трогательную, над которой и поплачешь, и посмеешься.

"Величайший реалист", — а ведь это так и есть на самом деле! "Новый" и "пришелец" естественно осязает все вещи гораздо свежее, гораздо физиологичнее и "с соком, с кровью", нежели человек литературный, который и людей-то, например крестьян или чиновников, усадьбу или улицу, видит через тысячи словесных призм — своих и иностранных... Который когда "пишет", то невольно для себя впадает в тон Диккенса, Теккерея, Гюго или Гейне. У Некрасова этих "влияний незаметно", и потому преимущественно, что он никого из перечисленных не читал. Он брал глазом то, что *есть*, и брал свежо и сильно, метко и верно. Ибо "без помехи". Все ахнули: "Это так *хорошо* и *верно*, как ни у кого". В самом деле, его "дядя Влас", "бабушка Ненила", его "дядюшка Яков", "школьник" с сумочкой, — коробейнички, торг, —

— Эй, Федорушки, Варварушки!

Отпирайте сундуки!

Выходите к нам, сударушки,

Выносите пятаки!"

Жены мужние — молодушки

К коробейникам идут.

Красны девушки-лебедушки

Новины свои несут.

И старушки важеватые,

Глядь, туда же приплелись.

"Ситцы есть у нас богатые,

Есть миткаль, кумач и плис.

Есть у нас мыла пахучие —

По две гривны за кусок.

Есть румяна не линючие —

Молодись за пяточок!

Видишь, камни самоцветные

В перстеньке как жар горят.

Есть и любчики заветные —

Хоть кого приворожат".

Началися толки рьяные,

Посреди села базар.

Бабы ходят словно пьяные.

Друг у дружки рвут товар.

Старый Тихоныч так божится

Из-за каждого гроша,

Что Ванюха только ежится...

"Это до того ярко, цветисто, натурально и верно, как не было до Некрасова ни у кого; это более пахуче и "по-деревенски", чем у самого Толстого, и несравненно превосходит "красные вымыслы" Тургенева или Достоевского; не говоря уже о стариках эпохи Жуковского. Или как коробейник уговаривает "на любовь" Катю:

— все это несравненно по красоте, правде и реализму... "что и требовалось доказать", как говорят гимназисты о теоремах, кладя мелок. Некрасов всех одолел.

Он произвел колоссальный разрыв в русской литературе, и натиску его никто не мог противостоять. Подите-ка вы читайте в двух томах "прелести" Гончарова: "Забытая деревня" пробегается в полторы минуты, и помнится на всю жизнь. Тут спорить трудно, — и именно потому, что так кратко. Разве могло бы победить мир Евангелие в 11 томах? А в одной книжке оно сразу и все и всеми усвоилось. Краткость великая сила, и именно — в слове. Но Некрасов был краток, как возможно, ярок, как возможно, убедителен — беспредельно. Кто не поверит, кто не кинется радостно навстречу его "Власу", его "Школьнику"?.. И, отодвигая его перед Пушкиным и вообще перед "теми тремя" (Пушкин, Лермонтов, Гоголь), — мы и теперь скажем, когда, по-видимому, Некрасов погас, — что его поэзия несравненно благороднее, трогательнее, душевнее, нежели гримасы и позы Грибоедова, — чем все его тирады, блестящие монологи и остроумные диалоги...

А ведь Грибоедов — какое имя в литературе! "Вечный классик". Между тем как Некрасов решительно отодвинут в сторону от "классических образцов"...

Темный, заклеванный сокол... Данный "в обиду" своими, которые не умели ни понять тебя, ни растолковать тебя... Они все "прилизывали" Некрасова, в благодарную прогрессивную фигуру, "вроде Грибоедова", со светлыми намерениями и поучительностью. Тогда как нужно сказать ту огромную и страшную правду, что Некрасов вообще в литературе "разорял", как совершенно инородный в ней человек, рвал ее традиции, рвал ее существо, с несравненным хищничеством, несравненной удачей, — что он все "смутил" в ней, в смысле древнего времени, все "революционировал", говоря новым языком. В "чашу" литературную, в "лес" литературный — он никак не входит. Что он был "с пером" и "журналист", — случайность. Но и тут есть огромная и страшная правда. Что же такое, например, "Светлана" в пору Аракчевской России, или "Ивиковы журавли" в крепостное право?.. Да даже и у великого, общечеловечного Пушкина — "сюжеты" и "сюжеты", "темы" и "темы"... Что такое "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и "Скупой рыцарь" в русской действительности, между Москвой и Обираловкой (станция жел. дор.), между Петербургом и Любенью?

"Люблю тебя, Петра творенье..."

Извините, "не люблю", потому что меня в нем ограбили, чуть не убили, а сыскная полиция бездействовала. Пишу для примера. "Некрасовская литература", — совершенно "дикая" в отношении всей предыдущей литературы, — страшна и истинна в том, что она есть *подлинная литература подлинной, а не вымышленной Руси*. Помните, —

Я лугами иду, — ветер свищет в лугах:
Холодно, странничек, холодно...
Холодно, родименький, холодно.
Я лесами иду — звери воют в лесах:
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименький, голодно...

Этого никто не сказал. И перед этим: "Чуден Днепр... никакая птица через него не перелетит", есть просто вранье и галimatья, ничему реальному не соответствующая.

Некрасову как-то удалось дать "стиль всей Руси"... Стиль ее — народной, первобытной, почти дохристианской... Стиль этой глыбы неустроенной, этой силушки, этого таланта... И — бросить все это против цивилизации, злобно — против цивилизации... Он — будто зверь, бродящий по окраине города в темной ночи и щелкающий зубами на город. И к утру — причесался, прилизался и вошел в город, но с ночным чувством: сел за стол и начал играть в карты, взял перо и начал писать стихи. И, в сущности, в одном и другом делал одно и то же — ремизил:

Холодно, странничек, холодно,
Голодно, странничек, голодно...

Некрасов — вне литературы, вдали от нее... Именно как сокол, — но сидящий на высоком, одиноко в поле выросшем дереве... И смотрит он на поле, где много валяется побитой им мирной птицы.

Что же — это зоология. Зоология и — культура, которую вы никак не отделите от основного зоологического устройства.

Нужно иметь мужество признать, что кроме "полезных индеек" и "достождолжных кур" еще "водится в природе" "ни к чему не потребный" разоритель чужих гнезд — кречет... Птица не мирная, птица, с которой "нет сладу". Так в зоологии, — не иначе и в истории. Есть в ней по природе своей хищные, особливые, "вдали от всех" стоящие личности, которых "каковыми их Бог создал" — таковыми их и "принимай". Ну, — "описывай" их, — в зоологии, ну — "убивай" их, если охотник. Государству и обществу с такими тоже "нет сладу". Все-то они расклевывают, все-то они расхищают, все-то они разоряют. "Медалями" их укрощают. Но на "медаль" Некрасов не пошел. Он предпочел золото. И получил, и взял. Хотел силы, видности — и тоже получил. Но больше всего хотел разорения, — и тоже, и трикраты получил. Довольно его записывать в "цехи". Ни в какие он цехи не войдет. "Не цеховой". Один. Темный. Страшный. Поклевал всего, чего хотел. Убил все, чего хотел. Умер. Страшно умирал. Но не "служите же о нем православной панихиды"; он ее не просит; и не идите за ним "чинно в ряд", русские историки литературы... Ибо он вовсе к вашим "изделиям" не принадлежит...

Не шуми, мати зеленая-дубровушка,
Не мешай мне, молодцу, думу думати —

вот что одно приличествует около его имени, памяти и гроба. Но ведь такие напевы вовсе не к лицу "Истории русской литературы"...

Владимир Соловьев. Стихотворения

Издание 6-е, значительно дополненное, с вариантами, библиографическими примечаниями, биографией и 2-мя портретами. Москва, 1915.

Наше время безвнимательно к литературе. В вышедшем 6-м издании "Стихотворений Владимира Соловьева", отредактированном племянником его, тоже поэтом Сергеем Соловьевым, помещено в конце 27 стихотворений, или совершенно доселе неизвестных, или известных лишь в отрывках. Нужно сказать, что Сергей Соловьев, хотя находится в большом богословском споре с знаменитым дядею, тем не менее *в общем* является наиболее полным и наиболее правоспособным преемником, толкователем, возражателем и проч. Владимира Соловьева, а через это — и наилучшим и самым естественным его издателем. Как хорошо известно, с братом своим Всеволодом, романистом, Соловьев вовсе не дружил и в конце жизни даже раззнакомился. В убеждениях и, главным образом, в их нравственной личности не было ничего общего. Поэтесса Поликсена Сергеевна Соловьева ("Allegro") слишком только поэтесса, чтобы хорошо воспринять, усвоить и особенно сколько-нибудь разобрать умственное наследие брата-философа. Михаил Сергеевич, младший брат философа, был скромным преподавателем в одной из московских гимназий, никогда ничего не писал, был тихим, молчаливым, скромным человеком: но он был в высшей степени содержателен, был мыслителем "без пера" и похоти литературного выражения и, может быть, по этим качествам своим, находившимся в контрасте с качествами и, отчасти, слабостями брата Владимира, был ему особенно мил, приятен и уважителен. Можно даже наблюдать некоторую не резко выраженную зависимость Владимира от Михаила. Тихий, умный, все понимающий, счастливый семьянин, Михаил Соловьев был для шумного и вечно пылающего Владимира тем ангелом, на которого взирал и Абадонна. Мы, конечно, не сравниваем с Абадонною Владимира Соловьева, столь насыщенного богословием, — но "раздираемый в мыслях и стремлениях", Владимир Соловьев имел нечто в себе и "от Абадонны". И вот, положительно можно наблюдать, что его тянуло в тихую квартирку Михаила, — тянуло поздороветь, тянуло полечиться литературно и всячески от "грехов" и "слабостей" политики и журналистики. Скромный Михаил в сущности выражал в себе стержневое качество Соловьевского рода, — происходившего от *священства* и связанного с *русскою историею*. Вот этой-то силы и искал хлебнуть у него бурный, увлекавшийся и "ходивший по всем путям" Владимир Соловьев. Обо всем этом было еще известно при жизни Владимира Соловьева, — но с напечатанием его писем, собранных проф. Э. Л. Радловым, это совершенно выяснилось. Владимир Соловьев интимно и горячо был связан из своего родства только с братом Михаилом и с ним находился в непрерывном, постоянном, личном или через переписку общении. И вот — Михаил рано, в среднем возрасте умирает. В минуту его смерти покончила самоубийством горячо ему преданная жена. Единственный их

сын; Сережа, остался круглым сиротой что-то около 14 лет. Но вырос, оперился, сам стал поэтом, и очень выразительным, сам рвется и в философские, и в богословские выси. Но "родовой стержень" отца перешел к нему. В то время как Владимир Соловьев отдал лучшие и самые продолжительные годы жизни странствованию где-то "в преддверии" католичества по Руси и национальному ее чувству нанес если не жестокие, то колючие едкие удары и царапины, племянник его Сергей есть прямо русский человек и просто русский человек. В минувшем году он напечатал в "Богословском вестнике", органе московской духовной академии, разбор и резкую критику богословской системы дяди своего Владимира, отнесясь совершенно отрицательно к его католическим тенденциям и высказываясь твердо за полное сохранение всяческого status quo православия. Статья эта очень радовала. Такой молодой автор и такой твердый тон! Позднее, именно, в минувшем году, я услышал от художника Мих. Вас. Нестерова поразившую меня весть: что человек светского образования и выдающийся поэт, — к тому же совершенно счастливый семьянин, Сергей Соловьев порывается всеми силами принять священнический сан и стать рядовым иереем. Но тут "в Руси ничего не разберешь": оказалось возможным ему оказать препятствие, и почему-то бывший обер-прокурор Св. Синода, Самарин, лично знающий и лично очень уважающий юного Соловьева, именно употребил все усилия, чтобы не допустить Соловьева до иерейства. В рассказе М. В. Нестерова звучит тот оттенок, что не вполне доверяют устойчивости Сергея Соловьева, — опасаются дальнейших "уклонений". Вот уж, поистине, — "волка бояться — в лес не ходить". Куда же деваться прозелитам, верующим? Об этом не подумано. Против "уклонения", притом лишь предполагаемого, всегда есть средство: снятие сана. Но можно ли не воспользоваться горячею верою, допустимо ли отвергать эту веру, совершенно доказанную и ярко выраженную в упомянутой выше его статье в "Богосл. Вестнике"? Неужели в иереи допускать только "холодных" и не могущих по этому качеству хладости уже никуда увлечься. Не искал ли Спаситель и апостолы всегда горячих, не изрек ли Иоанн Богослов о тепло-хладных знаменитое на все века памятное слово: "Ты — не горяч и не холоден? О, если бы ты был горяч! Но понеже ты не горяч и не холоден, то изблужу тебя из уст Моих, — говорит Господь". Выразительно. Но что выразительно и гремит как гром, на весь мир — то на Руси часто едва слышно: — Нас "не удивишь", и мы все "полеживаем".

Этот-то Сергей Михайлович Соловьев "младший", в отличие от деда, знаменитого историка, с тем же именем и отчеством, — издал стихотворения Владимира Соловьева, уже шестым тиснением, открыл в рукописном материале отца и деда 27 стихотворений, из которых некоторые поистине прекрасны. Например, что же может быть прекраснее, задушевнее и поэтичнее этого восьмистишия:

Старую песню мне сердце поет,
Старые сны предо мной воскресают,
Где-то далеко цветы расцветают,
Голос волшебный звучит и зовет.

Чудная сказка жива предо мной,
В сказку ту снова я верю невольно...
Сердцу так сладко и сердцу так больно...
На душу веет нездешней весной.

Как оно характерно для личности и даже для биографии Влад. Соловьева, — для него только одного во всей нашей литературе.

Это стихотворение до сих пор неизвестно было ни в одной строке. А вот четырехстишие, все состоящее из одних придаточных предложений: но, вообразите, до чего странно: их не хочется оканчивать, они полны уже, и Соловьев каким-то инстинктом удержался его кончить:

Если ветер осенний безжалостно смёл
Все, чем в жизни душа любовалась,
Если сад твоих грез безвозвратно отцвел,
Если трость твоей веры сломалась...

Не правда ли, не надо кончать? Зачем кончать? Конец лучше не выговаривать, ибо он именно так страшен, печален и скорбен, что его лучше всего выразить... прерванной речью, молчанием или жестом руки, жестом безнадежности и отчаяния... Удивительное стихотворение, удивителен самый способ выразить тягостное душевное состояние.

Недурны и остальные стихотворения; есть дурные, передающие известную соловьевскую гримасу и гримасничанье, напр.:

Город глупый, город грязный!
Смесь Каткова и кутьи,
Царство сплетни неотвязной
Скуки, сна, галиматьи.

И т. д. В том же роде грязноватое стихотворение-сатира, посвященное кн. Мещерскому:

О ты, средь неевского содома
Хранящий сердце в чистоте...

Эти гримасничающие стихотворения Соловьева, сквозь которые просвечивают истерические слезы, вообще не украшают томика его стихов. Увы, их, однако, довольно много, около $\frac{1}{3}$ или $\frac{1}{4}$. Нельзя их выкинуть, ибо они написаны, ибо они были... Наконец, их нельзя выкинуть, как вообще характеристику его полустерической личности... Но и поэзия, и личность умяются в эти шуточках, пародиях, в этих полуклеветах...

Содома князь и гражданин Гоморры...

Кому это нужно и интересно? и даже чего это касается, кроме кухни и спальни "подсудимого"? Мы отворачиваемся от поэта и от стихотворения, решительно отказываясь судить и даже говорить на все эти темы.

Шестое издание за 17 лет! Конечно, Соловьев есть признанный поэт России, и поэтическая его долговечность переживет и философскую, и богословскую. И в философии, и в богословии он, пожалуй, имеет

местное, русское значение; и именно — значение возбудителя, значение бродильного начала. Ему не доставало чего-то спокойного, вечного и величавого. Он принадлежит промежуточным или начальным (по характеру именно возбуждения) умам, а не к умам завершающим или оканчивающим. Это, впрочем, и естественно на Руси, где ничего самостоятельного и оригинального не появлялось, где вечно "толклись" люди около Канта, Гегеля, Шеллинга, Огюста Конта, Шопенгауэра и Ницше... Толклись, писали, старались, — но никто и никакой решительно *прибавки* от себя ни к чему не сделал. Философия русская отсутствует; и на этой обширной площади с надписью: "предмет отсутствует", появление Соловьева, с его плаванием туда и сюда, с его расплескиванием волн во всевозможных направлениях — весьма естественно. Полезно ли? На это ответит будущее.

Но его прелестные стихи и те высокопоэтические образы и мысли, какими они усеяны, — это уже *есть* у нас, это — богатство Руси, и это никуда не уплывет. Прелесть — вечна, прелесть есть "вещь в себе", говоря языком Канта. Сам он, назвав семь—восемь лучших русских поэтов, когда-то сравнил их с драгоценными камнями, наименовав Пушкина "алмазом" и т. д. Для него я не умею назвать камня. Но вот сравнение: радуга. В нем есть что-то "радужное" и по игре разных цветов в поэзии его и в радуге, и потому еще, что и стихи его и радуга "есть мост от неба к земле". В них — и надежда, и Бог, и обещание; и что-то минутное по исходной точке, и что-то вечное по содержанию; и — Христос, и — языческие боги, видения, сюжеты. И все это — не "нахватано" и не внешне, а органическим образом и целостно излилось из его тоскующей, никогда ничем не удовлетворенной души.

Бердяев о религиозных исканиях Д. С. Мережковского

Последнюю часть своего исследования "Типов религиозной мысли в России" Бердяев посвящает Мережковскому. Нельзя не заметить, что содержание статьи гораздо уже темы и заголовка ее. "Типы религиозной мысли в России", конечно, неизмеримо шире этого небольшого очерка петроградских и московских явлений; да и в самом Петрограде и Москве, конечно, многое происходит вне личных знакомств Бердяева. Убийственную сторону для талантливых и ярких статей Бердяева составляет то, что он говорит вовсе не "о России", а о своих бывших или сущих друзьях. Это даже придает его очеркам комический характер. Заглавие, конечно, надо было взять другое, — и всего лучше поименное. Он написал собственно статьи о Булгакове, Флоренском и вообще о московских славянофилах, о Мережковском. Конечно, именно о них он мог сказать много ценного, и особенно для будущего ценного, когда земля покроет "холодным прахом" всех нас; ибо он судит не только на основании книг, но неуклонно и неодолимо для себя самого он держит в уме и множество частных, личных бесед, "признаний", "восклицианий". Будущий историк уже лишен будет этих особенных и ценных материалов, — и потому статьи Бердяева имеют до некоторой степени незаме-

нимое, постоянно-историческое значение. Вообще они ярки и значительны; это — не мертвая компиляция по мертвым материалам, а живой философский очерк, почти живое философское искание. Да и еще бы: пишет Бердяев, а это во всяком случае одна из крупных умственных ценностей России за ее текущие дни.

Круг мысли, в котором работает или, вернее, "поднимает мыло и пену" Мережковский, Бердяев называет старым именем, употребленным впервые покойным профессором Московской духовной академии по кафедре философии Алексеем Введенским: "новое религиозное сознание или неохристианство". И говорит о нем:

"Для этого типа мысли и исканий, в противоположность московским славянофилам, характерна не жажда возврата в материнское лоно Церкви, к древним преданиям, а искание новых откровений, обращение вперед. В этом течении религиозной мысли пророчество всегда побеждает священство и пророческим предчувствиям отдаются без особенной осторожности, без той боязни произвола и подмена, которая так характерна для Булгакова, свящ. П. Флоренского, Эрна и друг. Настоящего религиозного дерзновения и здесь нет, но меньше оглядки, больше игры человеческой талантливости".

Как мастерски все сказано.

"Центральной фигурой в этом типе религиозной мысли является Д. С. Мережковский. Целое течение окрашено в тип мережковщины, принимает его постановку тем, его терминологию, его устремленность. В отличие от Булгакова, более жизненного, с одной стороны, и более умственного — с другой, Мережковский весь вышел из культуры и из литературы. Он живет в литературных отражениях религиозных тем, не может мыслить о религии и писать о ней иначе, как исходя из явлений литературных, от писателей. Прямо о жизни Мережковский не может писать, не может и думать. Это — литератор до мозга костей, — более, чем кто-либо. И из литературы, из своей родной стихии, вечно убегает Мережковский к жизни, и к сокрытым в ней религиозным тайнам — к действию. Никто так не жаждет преодолеть литературу, как литератор по преимуществу Мережковский, никто так много не говорит о действии. Через Достоевского и Толстого открывает Мережковский конец великой русской литературы, ее неизбежный переход к новому религиозному откровению и новому религиозному действию. И открытый им конец литературы он почувствовал как наступающий конец мира, как апокалипсис всемирной истории. С тех пор Мережковский ждет конца и все по-новому и по-новому провозглашает конец. Но темы, поставленные великой русской литературой, всегда для него остаются его исходным пунктом, прежде всего и больше всего Толстой и Достоевский. Над душой Мережковского, по-видимому, имеет неотразимую власть пленительность слов и словесных конструкций. Иные слова звучат для него как откровения. Это откровение для него всегда вторичное, отраженное. Но нужно сказать, что и сами слова обладают большей реальностью, чем это принято о них думать".

Все это так верно и полно очерчивает Мережковского, дает такой его "литературный портрет", что, кто бы и что бы ни писал со временем о Мережковском, он будет возвращаться к этой характеристике Бердяева и исходить от нее. Мережковский бессильнее своих тем, вот в чем

беда; он лично, как человек, бессильнее обстоятельств своего времени, — и это тоже беда для "вождя" и "пророка". Мое неизгладимое впечатление от Мережковского очень родственно тому впечатлению, какое лично же испытал я от покойного Влад. Соловьева. Владимир Соловьев, помню, шумел, гремел на всю Россию. Это было в 90-х годах прошлого века. Он писал в "Вестнике Европы", да и во всей России преклонялись перед ним. Сейчас же после Толстого, и подле Толстого, он был самым шумным, видным, блистающим лицом в литературе. Полемицировал он в то время с "совсем мелкими сошками" в литературе, Страховым, Данилевским и Львом Тихомировым; и, собственно, не полемицировал, а давил их, раздавливал. Острые слова, вроде "зоологического национализма", так и сыпались из него. "Плохо бедной России, когда у нее завелись два такие реформатора, как Толстой и Соловьев", — думалось невольно.

И вот он пришел и сел на низенькую кушетку. Может быть, впечатление было от того, что кушетка низка, а у него длинные ноги. Он сел и весь ссутулился в спине. Правда, и ехать ему было далеко, на "Петербургскую" сторону. Но в минуты эти я не сообразил обстоятельств: он дал впечатление такой слабости, бессилия, изнеможения, что я сейчас же подумал о России и православии: "ничего", "ничего", т. е. такие коршуны не расклюют ее. И вот Мережковский кладет впечатление, близкое к этому. "Хоть 100 Мережковских — Россия не повернется". Почему? Как? "При таких основательных идеях?" Не знаю. Только "не повернется", — это чувствуется. Я упомянул о "пене и мыле" у Мережковского.

Если бы он меньше писал, — лучше было бы. Во многих случаях, и вот именно для целей реформы, писать очень много — беда. Слова забивают слова. Получается пена. Ничего не видно. Ничего разобрать нельзя. Вот есть и почти "был" какой-то поэт Добролюбов. Что он написал — никто не знает; что он за человек — этого особенно хорошо никто не знает. Но "Александр Добролюбов" как-то запоминается, знается; все знают о странном поэте, писавшем несколько времени декадентские стихи, затем внезапно замолчавшем, переодевшемся "в мужика" и пошедшем куда-то странствовать на Урал, — и там, кажется, поучающего сектантов или поучающемся у них. Что такое? Как? Станным образом, от Мережковского теперь уже не ждут "еще больше", а от Александра Добролюбова — "ждут". "Вдруг покажется странник с Урала и нечто скажет". Русь чуждакова, и на все обыкновенной литературой никак не угодить. Несчастье и "препятствие к реформе" у Соловьева и Мережковского заключается в том, что оба они суть литераторы.

Да и как же иначе, — посудите, люди грешные и слабые. Люди именно грешные, люди именно слабые; людям вообще горько, трудно и им хлеба хочется. Судите, кляните, но это — так. "Из этих обстоятельств не вылезешь". Теперь, пришел литератор и стал произносить лучшие речи. Ну, — блистательные. И Церковь-то "слаба", и Церковь-то "закостенела". "Вперед не двигается", а "духовенство — нет хуже". Хорошо. Но хлеба тут нет. Никому от таких речей теплее не становится. А стоим на морозе. Вышел поп (да не рассердятся священники за это народное именование, которое произношу с уважением), — поп даже не очень хорошего поведения, — а надел эпитрахиль, т. е. "не свое",

а "церковное", — вековое и даже тысячелетнее, произнес, обратясь к народу спиной, а лицом к образам: "Господи, помилуй".

Всем стало легче. Сейчас же и вдруг. Как народ, этими старыми зипунами своими, прошепчет про себя "Господи, помилуй" вслед за священником, но одетым непременно в эпитрахиль, так необъяснимо "как" и "почему" — но народу делается теплее, уютнее, лучше; делается здоровее. Почему же это так? Отчего? Отложим на минуту мистику в сторону, — хотя она есть и она даже главное, но вникнем рационально в действительное положение вещей. Как "народ произнес вслед за священником эти слова", то моментально он в эту секунду "слился с Церковью" особенно осязательно, — больше, чем в предыдущую минуту, например, в рабочую минуту или в простую обыкновенную минуту. И ему "полегчало" от того, что он почувствовал себя "в скрепе", во-первых, "всех людей, здесь молящихся и православных", — а во-вторых, и главное — "в скрепе с Церковью". А Церковь — Василий Великий и Иоанн Богослов. Тоже — Златоуст. Тоже Серафим Саровский и Сергей Радонежский. Вдруг этот-то "Иван", уже совсем замерзавший, уже всеми забытый и никому в мире не нужный, которого бросила жена, отступились дети, а, самое главное, он знает, что и "отступились-то поделом", потому что он в самом деле плохой мужичонко, слышит и видит воочию ("в эпитрахили"), что как прошептал в душе: "Господи, помилуй меня грешного и окаянного", так все Василий Великие — Богословы и все царство даже русское простирает к нему руки и говорит: "Не бойся". "Только покайся и не бойся"...

Так позвольте, хлеб это или не хлеб? И дает ли нечто подобное и осязательное лекция Соловьева "об антихристе" или лекция Мережковского: "Сравнение Некрасова и Тютчева". Да народ нам скажет: "Да вы сами, "господа, — антихристы, что на таком морозе вздумали морить нас такими голыми словами". Суть-то в том, что хлеб церковный, даже поданный черствою рукою, бездушною (и это, конечно, велико, горе и священники об этом обязаны думать), — тем не менее и в каждой точке есть все-таки хлеб, — и, "размочив в водиче", его можно скушать. Можно сытиться, есть чем сытиться. Напротив, "литературное слово", даже сказанное самым добродетельным и самым милосердным писателем, примерно "Анненским", "Богучарским" или "Семевским", все-таки есть и навсегда останется просто "голым словом" и ржаной муки в себе ни крошки не содержит.

Что же это такое и как произошло? Какое чудо? "Слово, сказанное добродетельным литератором — ничего не значит", а "слово, сказанное плохим священником — всех согревает". Да. Чудо. Но вмыслившись — можем понять. Церковь прошлым своим накопила все это. А литература, тоже прошлым своим, как будто не только "не накопила", а всех просит "растерять это". Дело в том, что плохой или не плохой священник, а он стоит и он приставлен ("смотри!" — грозит ему все) к величайшему организму любви "и милостыни", существующему на земле и именуемому "Церковью". Дело-то в том, что святые не ссорились, а "все pokrывали терпением", — за царей молились, за народ молились, "за разбойника — и того молились". За ленивого — тоже молились, за "окаянного" — и за него молились. И за "хороший воздух" — молились; чтобы войны не было — тоже молились; и чтобы все люди помирились

— тоже молились. Подумайте, сколько. Государство презирает ленивого, "экономика" грозит ему "рабочим домом", Карл Маркс прямо с него шкуру сдирает. "А ты ленивый — издохни с голоду". Ленивого даже филантропия не щадит. Одна Церковь щадит, — да что: еще велит, прямо велит подать милостыню. "Что же делать, что ленивый. Он привык к лени. Другой привык к работе и любит работу. Пусть же поработает за двух, — сам поживет на три четверти, а этому даст четвертушку". Не спорю, что тут есть отчасти плохое, в этом "поощрении" — то: но пусть и со мной не спорят, что это, однако, очень тепло. А коренной пункт у нас не в том, чтобы "человечество хорошо устроит". а "чтобы в нашем месте было потеплее". И с Церковью и после Церкви "в каждом месте — потеплее". А возле литературы — "решительно везде холодно".

И "холод" этот она сама же заготовила. Теперь, когда уже "много прошло литературы" и "много прошло Церкви", — и прошлого, конечно, "не переменить", решительно очевидно, что "борьба между литературой и Церковью", если бы когда-нибудь пошла и пошла уже в открытую, кончится к величайшему разгрому литературы и к величайшему торжеству Церкви. Хотя литература, конечно, и будет торжествовать — но снаружи, "в своих литературных рядах", которые не молятся, а не в народной толпе, которому "помолиться" всегда "есть нужда" и никогда не перестанет быть лучше. Дело в том, что литература всегда была если и "велико-умна", то — мелко-думна. И этого за тысячелетие поправить нельзя. Много ли она думала, с каких пор начала думать — о человеке? О народе? Сто лет, не более; по старости, двести лет — уже никак не более. Она думала о героях, героинях. Церковь молилась о бедных. Литература думала об отмщении. Церковь об этом никогда не думала. Сколько в литературе "демонических фигур", — и эти все в первых рядах. Церковь всегда боялась "лукавого" и всегда его отметала. Переменить этого никак нельзя. Все это "было", — а все "бывшее" превращается в некоторое вечное "есть". Дело в том, что с самого же начала Церковь встала на "доброе место". Это "доброе место" — Евангелие, Христос. "Добрее" ведь этого места — нет: этого и Соловьев, и Мережковский не отвергнет, этого вообще не отвергнет никто. И за право "стоять на этом месте", за "верность этому месту" она пролила кровь свою. Подумайте об этом: за право молиться о людях, советовать им давать голодному милостыню — Церковь отдавала кровь. Какие же могут быть споры, вопросы, кто победит, "литература" или "Церковь". Около Церкви могут быть волнения, но "основания" Церкви нельзя пошатнуть, потому что нельзя пошатнуть просто "доброе в самом себе" и "просто ясного в себе самом". И доказательство этого просто на улице и у каждого перед носом, доказывают это даже все те, которые нападают на Церковь. "Как доказывают?" — "Где доказывают?" А очень просто; "тыкая в грудь худого священника и говоря к зрителям: "смотрите, он священник, — а — худой. Не милостив, корыстен" и т. д. Вот этого никак не скажешь о литературе: "Он худ; но ведь он же литератор, и ни в какой добродетели не обязан". Или он сам о себе: "Да, за мной неважные поступки. Но ведь я свободный писатель, и никого морали не учу". Таким образом, самое "литературное место" таково, что от него не ожидает никто доброго. И самое

"церковное место" таково, что все от него не только ждут, но и требуют доброго. О худом священнике говорят: "он изменил своему долгу", "своей должности" изменит, "своему смыслу". Так как же высок, значит, этот смысл. А только о "смысле всеобщем" и идет вопрос, когда говорят о "Церкви вообще". Но Мережковский говорит о "Церкви вообще", Соловьев говорил о "Церкви вообще", Толстой говорил о "Церкви вообще". Что же они делали? Ковырялись, путались, и больше ничего. Им всем можно было ответить одно: "Да пожалуйста наденьте эпитрахиль и служите хорошую службу Церкви, если, по мнению вашему, само духовенство отвратительно исполняет свои духовные обязанности". И разговор кончен, и разговор дальше продолжать нельзя.

* * *

То, что раньше мы сказали о людях, стоящих "в оппозиции к Церкви", нужно повторить и о людях, стоящих или становящихся "в оппозицию к государству". Государство часто бывает жестоко, грубо; "ход дел в государстве" вызывает часто не только "смущение", но и возмущение. Наконец, бывали эпохи, как правление Анны Иоанновны, которые невольно называешь в уме своем "коронованным злодеянием". Кто же не знает Тиверия на Капри? кто не знает Нерона? И вот струны поэтов и речи ораторов "поднимаются против государства", а философ политики, Гоббс, пишет знаменитый трактат "Левиафан", где сравнивает государство и государственность с этим идеологическим чудовищем из книги Иова.

Но и лиры, и речи, и трактаты "идут мимо дела". Дело же простое и ясное: "надо старушку 70-ти лет, живущую на окраине города в своем домике, охранить от человека, который войдет к ней в дом, зарежет и снимет с шеи убитой узелок со ста рублями, "накопленными за всю жизнь". — "Потому что, — рассуждает парень, — деньги старухе не нужны, зажила она на свете долго, и пора ей уступить место нам, молодым. Мне сто рублей пригодятся".

Ужасно Бирон расправился с Артемием Волынским. Ужасна казнь невинного. Ужасна вся эта история. И имя злодея проклято в памяти нашей.

Так "злодея". И ограничимся этим, но простирая критику дальше. Потому что, если мы начнем простирает критику дальше и "отвергнем все это", т. е. отвергнем самое государство, где "возможны подобные вещи", то получим вместо одного "громадного Бирона" — маленьких Биронов на каждой улице, где они жмут, давят и режут, "потому что кто же им воспрепятствует"?!! Воспрепятствовать может сила, которая сильнее их. Воспрепятствовать может сила, которая сильнее всякого индивидуального человека, всякой частной воли, которая "господствует надо всеми". "Организация такой силы" и называется "государством". История организации, — история накопления и организации такой силы, — есть "история государства". Суть ее, зерно ее — просто сила. И она накапливается единая и громадная, — до такой степени чрезмерная, что ни у кого не может появиться доли мысли сопротивляться ей. И вот когда она организована, — "государство готово".

Что же она такое? Предупреждение частных насилий; подавление единичных "злых волей". Государство — против злодея. Всегда. В этом его сущность. За это, и единственно за это, его чтут, уважают — народно уважают; народ поклоняется государству, и поклоняется тем ниже, чем государство могущественнее и деятельнее, и уже "защищает всех до единого", и уже "предупреждает всякого злодея". Если, затем, силой этой овладевает злодей, как Бирон, то народ очень хорошо видит, что дело заключается в овладении злодеем этой силой, а не в качестве самой силы. Народ очень хорошо различает "суть" и "феномен". Наоборот, нетерпеливые и особенно ограниченные люди этого не различают; и вот является "анархия", "социализм", жажда "отнять у государства эту силу", чтобы... что сделать?

1) Остаться без силы. Это — чистая анархия, утопия мечтательности, заключающаяся в предположении, что "люди суть агнцы" и без государства "заживут по-ангельски".

2) Организовать силу еще могущественнее, подчинить ей, как машине, всякую частную волю. "Отныне государство будет не только защищать от злодеев: оно получит творчество и будет само организовать всяческий труд". Это идея "всемирного рабочего братства", где государство явится уже не защитником от частных злых волей, но господином и хозяином всемирного труда.

Никто не заметил, что теперешняя чудовищная война есть, в сущности, первая попытка государства, именно Германии, перейти от "защитительных функций", какими доселе всегда ограничивалось государство, к "творческому созиданию", к чему его зовет, и давно зовет, социализм. Что теперешняя война, в глубочайшем своем корне есть первая настоящая социалистическая война: Германия объявила, что она "достойна быть хозяином мира", доказав это предварительно своей рабочей энергией, своим умением распоряжаться, организовывать, вообще повелевать. Никакая это не война "милитаристов", никакая это не война "аграриев" или "прусских юнкеров". Тип ее совсем другой, — тип ее новый, апокалипсический. Пошел бы император Германии "на побегушки" к аграриям, пошел бы он "на посылки юнкерам". Все-таки ведь это все "внутри Германии", "части" ее и "подчиненные" величины. Но есть величина будущая, громадная, всеохватывающая; это — социализм. В его счетах "сама Германия" есть честь. Его попытки простираются на "человечество". И вот Вильгельм, которому и подчинились так охотно рабочие и все социалистические партии в стране под нескрываемым лозунгом "рабочих прав Германии", "рабочих талантов Германии", объявил всемирную, первую несостоящую социалистическую войну, всему миру: дабы "талантливый германский рабочий стал заправителем дел мира".

Таковы два исхода из эмпирической государственности. И оба совершенно чудовищны. Государство и государственность, по-видимому, относятся к числу тех средних, несовершенных, чисто земных вещей, которые и вечно должны оставаться именно в незаконченном виде, выражаящем их среднюю и земную природу, и к которым никак нельзя приставлять голову абсолюта. Как абсолютность — так ужас. Как крылья "земнородному существу" — так получается апокалипсический дракон. Но в относительном виде, как "защита от воров и воровства",

”как наблюдение справедливости в стране”, как строитель дорог, управитель финансов, и т. д., и т. д., все в том же среднем виде, недоразвитом состоянии, государство абсолютно необходимо и без него совершенно невозможно жить. И здесь опять ”поправки” — как и в Церкви — заключаются в единственном способе: начать ему служить и хорошо служат, просвещенно и верно служат.

И опять этого Мережковский, ”литературный человек”, совершенно не понимает, направляя свою словесную критику на то, что яснее дня, проще ”пареной репы”, и без чего не могут обойтись обыватели той улицы, на которой он живет, ни одного дня, особенно — ни одной ночи. Именно в эмпирическом и несовершенном, неполном своем виде — государство стоит выше всяческой журнальной на него критики, если эта критика не касается частных, которые в государстве именно нуждаются в ежедневной поправке, в ежедневной починке и улучшении, а если критика ”уносится ввысь”, и требует, например, ”искоренения государственности” и замены ее чем-нибудь вроде ”социалистического строя”. Но Мережковский никогда и не критикует частных, не зная их вовсе, не будучи отнюдь ”ежедневным публицистом”: он ”отвергает вообще и все”, переходя на революционный путь, по крайней мере в литературе своей переходя к ”революционным принципам”.

Теперь продолжим ”очерк его личности и деятельности”, какой дает Бердяев. В отношении Церкви он называет Мережковского ”совершенно оторванным от нее. Он так далек от православия, что кажется, только впервые встретившись в 1902—1903-м годах на религиозно-философских собраниях с представителями духовенства, впервые сколько-нибудь и что-нибудь узнал и о Церкви. Он даже и теперь, после всего длинного пути, говорит о православии совершенно со стороны, не имея никакого в себе и в жизни своей материала, чтобы войти внутрь Церкви”. Таким образом, это странный моряк, вечно говорящий об опасностях и прелестях морского путешествия, но никогда не путешествовавший. Какая цена суждениям такого человека? На религиозно-философском собрании в Петербурге, которые должны быть признаны очень значительным фактом в нашем религиозно-философском брожении, впервые встретились лицом к лицу представители новой культуры с представителями старого православия, и от этой встречи родились новые темы. Вокруг этих собраний образовалась атмосфера новых религиозных исканий. Но одному Мережковскому удалось создать целую религиозную конструкцию, целую систему неохристианства. Он претворил в своей конструкции и темы Толстого и Достоевского, и ”хилиастическую правду о земле” Тернавцева, и все споры религиозно-философских собраний об отношении христианства к культуре и к земле, — и все предчувствия нового откровения.

”Вся религиозная мысль Мережковского вращается в тисках одной схемы, в эстетически для него пленительном противопоставлении полярностей, тезиса и антитезиса, — и в мистически его волнующем ожидании синтеза откровения третьей тайны, тайны соединения полярностей. Весь Мережковский в антитезах христианства и язычества, духа и плоти, неба и земли, общественности и личности, Христа и Антихриста, и т. д. Мысль Мережковского не сложна и не богата. Как мыслитель, он однообразнее и беднее Булгакова. Блестящий литературный талант Ме-

режковского, его дар художественных и схематических конструкций, его исключительное умение пользоваться цитатами — скрывают бедность и монотонность мысли, маскируют его гностическую неодаренность, его нелюбовь к познанию и его недостаточную философскую подготовку. Он гипнотизирует блестящими словесными антитезами, противопоставлениями, соединениями и сопоставлениями, которыми и сам заигнотизирован. Романтическая эстетика Мережковского всегда требует крайностей, бездн, полюсов, пределов, чего-то последнего и крайнего, — и легко впадает в риторичность, для многих неприятную. Мережковский совершенно не выносит переходного, среднего, для него не существует индивидуального, оттенков, множественного в мире. Он одержим пафосом всемирности, принудительного универсализма, характерного для латинского духа, для римской идеи. Эту жажду всемирного соединения он получил, по-видимому, от Достоевского. Весь мир и всю мировую историю Мережковский воспринимает лишь в полюсах, лишь в аспекте Христа и Антихриста. Все многообразие мировой жизни, вся огромная сфера относительного выпадает из его восприятия, не интересует его или насильственно приводит, к им к полярным безднам. В нем нет и крупицы гетевской мудрости, проникающей в космическую множественность. Мережковский ничего не дает быть самостоятельной жизнью и ничего не считает самоценным. Все обращается в средство для установленных им абсолютных пределов. Отсюда рождается утилитаризм, возвышенно корыстное отношение к людям, к ценностям, в их жизни. Мережковский более насильствен, чем ортодоксальные православные. Он — политик в мистике и мистик в политике по первоначальному своему чувству жизни. Всякое бескорыстное созерцание, всякое интимное творчество ценностей для него невыносимо. Ему совершенно чужда история мистики и гностицизма. Философскими понятиями, философскими терминами он принужден пользоваться, но совершенно безответственно. В религиозной мысли он остается художником схематиком. По философской культуре, по знанию религиозного и мистического прошлого человечества все течение, связанное с Мережковским, стоит гораздо ниже того типа религиозной мысли, которое я определил, как возрождение православия.

Как это важно и исторически ценно. Важно, что старый корень старой церковности дал из себя и молодой, свежий и юный отпрыск, более собственно и в культурно-образовательном отношении ценный, нежели так называемое неохристианство. В самом деле, странно сравнить ту утучненную ученость, какой, например, пропитан от первой до последней страницы знаменитый "Столп и утверждение истины" профессора и священника П. А. Флоренского, с "жидким трепетанием" собственно брошюрок и статей Мережковского.

"Мережковский влияет преимущественно на тех, которые находятся на первых стадиях религиозного пути и обладают небольшим еще религиозным опытом. Вряд ли возможно его глубокое влияние на людей более религиозно-умудренных".

Слова эти убийственны для исторического значения Мережковского. Этого значения нет и этого значения никогда не получится. Дело заключается, конечно, в том, что в самом Мережковском мало религиозной личности, — или, как говорят хлысты о своих пророках: "в нем мало Бога". Стихи он пишет, но сказал ли он в душе своей когда-нибудь

молитву? Сказал ли: "Господи, помилуй", что говорит уже всякий русский человек. Он не выше "обычного уровня религиозного состояния русского человека", а ниже этого уровня. При таком отношении влияние его невозможно.

Но если нет и не может в нем быть религиозного влияния, религиозного действия, то остается литературное влияние, — и собственно в "разноцветности" религиозных отражений в литературе личность и некоторый интерес его никогда не умрут. Бердяев останавливается и на этом "остатке". — "Я не хочу, — говорит он, — отрицать всем сказанным большого значения Мережковского и поставленных им тем. Вечно стремится Мережковский к синтезу, к третьему, совмещающему тезис и антитезис, — к троичности. Все время дает понять, что в нем заключается третья тайна, выход из двух противоположных тайн, из антитезисов. Все манит Мережковский и соблазняет этой своей тайной, намекает на нее, слегка приоткрывает ее и вновь обволакивает ее туманной двойственностью, неясностью употребляемых им словосочетаний. Свои тезисы и антитезисы любит Мережковский связывать с писателями или художниками, которых берет парами. Леонардо да Винчи — тезис, Микель Анджело — антитезис; Достоевский — тезис, Л. Толстой — антитезис; Тютчев — тезис, Некрасов — антитезис и т. д., и т. д. Тайна духа и тайна плоти, тайна неба и тайна земли, тайна личности и тайна общности, бездна верхняя и бездна нижняя — в этих противопоставлениях протекает все мышление Мережковского. Все и всех подводит он под одну схему, под один трафарет. Образуется клише, посредством которого почти автоматически находится выход из двух безвыходных тайн к третьей тайне, из двух взаимоисключений их антитез в синтез самого Мережковского. Настоящей энергии творческой мысли в этом не чувствуется. Синтез Мережковского остается чисто ментальным, формальным, схематическим, бессильным. У него есть задание великого синтеза, вечный призыв к тому, чтобы синтез совершился, — надрывный крик о синтезе, но нет самого жизненного и познавательного синтеза, Мережковский очень ментален, но то, что он делает, не есть познание. Своей беспомощности и своему бессилию религиозно синтезировать стоящие перед ним антитезы, он придает принципиально мистическую окраску. Он остается в вечном двоении, и это двоение — наиболее характерное, наиболее оригинальное в нем. Ему нравится это двоение, это смещение образа Христа и Антихриста, эта неясность в различении поданного и обманного, лика и личины, бытия и небытия".

Затем Бердяев подчеркивает две стороны, в которых хочет сказать всю формулу личности и духа Мережковского; он говорит:

"Тайна Мережковского и есть тайна двоения, двоящихся мыслей, а не тайна синтеза, не тайна троичности".

Затем, он кое-что говорит (менее ясное) "о доме Мережковских", — о том, что он всегда и устно и в печати говорит не от своего "я", а от имени каких-то "мы". Это "мы" осязательно сводится к З. Н. Гиппиус и Д. В. Философову, затем — к А. К. Карташеву, и более отдаленно — к сестрам Т. Н. Гиппиус и Н. Н. Гиппиус. Я тут тоже "как свидетель" могу подтвердить слова Бердяева, слова тоже "свидетеля". "Что-то тут есть", но "что" — рассмотреть невозможно. Мне кажется, я не выдам никакого особенного секрета, передав попросту и не понимая слова,

какие лет 17 назад выслушал от Д. С. Мережковского совместно с З. Н. Гиппиус: "Придите к нам, слейтесь с нами. Вот на этих днях умерла мать Зин. Н. (Гиппиус), вечно любимая З. Н-ою и любившая ее. И мы, так горячо ее любя, не испытываем никакой печали. Если вы соединитесь с нами, вы приобретете такое, обладая чем, на самую смерть будете смотреть без страха и печали". Я отказался твердо, предполагая (не знаю, основательно ли), что таковое тесное слияние "с ними" потребует обусловить или будет иметь результатом мое личное отделение от кровных своих, т. е. от жены и от детей. Нельзя не обратить внимания, что все связанные "кольцом Мережковских", суть люди бездетные и, кажется, в сущности безженные. "И нашему брату там невозможно". Затем, как факт мной зримый и должен прибавить, что "связь в кольце" очень прочная, — пожалуй до готовности "скорее умереть, чем отстать от них". Тут есть (кажется) канон какой-то любви, "преданности друг другу". Но какой? Не ясно. Не ясно даже, духовная ли это "любовь", или с маленькой примесью "плотского". Если бы я решился тут гипотезировать, то сказал бы, что плоть здесь касается "легкими перстами", как звуки в золотой арфе. Полной "плотскости" нет, но и не "бесплотно". А "что" — никто не знает; и "не вступившему — знать запрещено". Около Мережковских есть неоспоримо какая-то "четверть-хлыстовская тайна", но какая именно — неведомо. Касания — есть; может быть, есть поцелуи (не знаю); цветы, я думаю, приносятся. Вообще, я думаю, они любят вдыханья цветов, — и еще более, как "принеся белую розу — передать ее другу и посмотреть в глаза другу". Но это я гипотезирую. Это что-то не наше, не русское, и я предпочитаю хороший пирог к празднику. От всех Мережковских как-то Сицилией пахнет; Сицилией и прекрасным полуразрушенным там городом Таормино, "с остатками греческого театра". "Там мы думали: вздыхали. А на зиму перелетали в Россию".

Ясно, что России "с ними не по дороге". У нас зима и неинтересные улыцы.

Из книги, которая никогда не будет издана

Египтянки, провожая в Серапеум нового Аписа, заглядывали в глаза юношам и напевали из Толстого:

Узнаем коней ретивых
по таким-то их таврам...
юношей влюбленных
узнаем по их глазам.

Тут встретил их пьяный Камбиз:
— Из Толстого?! запрещено! Святейшим Синодом!
И пронзил Аписа.

* * *

В Мюнхене я видел остатки — мумии Аписов. Так как их бальзамировали, как людей, как равных себе и близких. Увы, мертвые — они были отвратительны. Чудовищные бока и страшные рога. Правда, и изображение: умерший, даже архиерей, не стоит живого дьячка. И вот, когда Апис пал, о нем пели:

— Умер! он умер, наш возлюбленный!

Женщины разрывали на себе одежды и головы посыпали пеплом.

* * *

Так и египтянки, вспоминая длиннокудрого Владимира Соловьева, процитировали из него при выходе пьяного Камбиза:

Ныне так же, как и древле,
Адониса погребаем...
тяжкий стон стоит в пустыне:
жены скорбные — рыдаем...

Дьякон подтягивает:

— И ныне и присно и во веки веков
.

* * *

— Едем на тройке кататься!!

И все оживляются. Всем веселее.

Ей-ей: на эту минуту — все *добродетельнее*: не завидуют, не унывают, не подкапываются друг против друга.

"Маленький кабачок" — не только отдых тела, но — и очищение души. И недаром saturnalia завелись даже в пуристическом Риме, где были все Катоны.

Ты нас Катонем не потчуй, а дай Петра Петровича Петуха с его ухой.

Вот русская идея; часть ее.
.

* * *

Как задавили эти негодяи Страхова, Данилевского, Рачинского... задавили все скромное и тихое на Руси, все вдумчивое на Руси.

Было как в Египте — "пришествие гиксосов". Черт их знает, откуда-то "гиксосы" взялись, "народ пастырей", пастухи. Историки не знают, откуда и кто такие. Верно, какие-нибудь кочующие номады из Туркестана или с Ирана. Они пришли и разрушили вполне уже сложившуюся египетскую цивилизацию, существовавшую в дельте Нила две тысячи лет; разрушили дотла, с религией, сословиями, благоустройст-

вом, законами, фараонами. Потом, через полтора века их прогнали. И начала из разорения она восстанавливаться; с трудом, медленно, но восстановилась.

“60-е годы у нас” — такое нашествие номадов.

“Откуда-то взялись и все разрушили”. В сущности, разрушили веру, церковь, государство (в идеях), мораль, семью, сословия.

* * *

Кто силен, тот и насилует. Но женщины ни к чему так не влекутся, как к *силе*. Вот почему именно женщины понесли на плечах своих Писарева, Шелгунова, Чернышевского, “Современник”.

Наша история за пятьдесят лет — это “история изнасилованья России нигилистами”. И тут свою огромную роль сыграл как раз “слабый пол”. В “Первой любви” Тургенева влюбленный в девушку мальчик видел, как отец его, грубый помещик, верхом на лошади, ударяет хлыстом девушку, которую любит этот мальчик, но ему соперником-победителем оказался отец. Мальчик заплакал, закипел негодованием. Но девушка робко пошла за *ударившим ее*.

Вот история “неудач” Достоевского, А. Григорьева, Страхова, всех этих “слабых сердец”, этих “бедных людей”.

— Толпа похожа на женщину: она не понимает любви к себе (Страхов, Григорьев, Достоевский).

Она просит хлыста и расправы.

— “Фу, какая ты баба”, — хочется сказать человечеству.

Как отмечено в четвертом томе настоящего собрания сочинений В. В. Розанова ("О писательстве и писателях". М., 1995), автор планировал напечатать свои работы на тему "О писательстве и писателях" в шести небольших томах (с 21-го по 26-й в 50-томном Собрании сочинений, план которого был им составлен). Сто статей о литературе, написанных с 1892 по 1918 г., вошли в вышедший том "О писательстве и писателях". Ныне завершается публикация литературных материалов, начатая в названном томе. Здесь полностью печатаются две книги Розанова: "Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского" и "Литературные очерки". Кроме того, в том включены статьи 1895 — 1916 гг., не вошедшие в том "О писательстве и писателях".

Таким образом, перед читателем впервые предстает в полном виде розановская концепция целостного подхода к художественному и эстетическому наследию русской литературы. В отличие от многих современников Розанов в оценке роли художника в литературном процессе обращал внимание прежде всего на эстетическую сторону его произведений, на творческий вклад писателя в сокровищницу национальной культуры.

При этом Розанов исходил из интересов национального развития России, рассматривал литературу и писателей в их служении отечеству. Литература, считал он, в полной мере несет ответственность за судьбу страны. Розановская концепция развития литературы оставалась до последнего времени вне поля зрения исследователей и критиков, и лишь теперь открывается ее роль, позволяющая в чем-то по-новому осмыслить литературный процесс в России XIX—XX вв.

В настоящем томе сохраняются те же принципы издания, что и в предыдущих книгах Собрания сочинений (см.: *Розанов В. В. Собр. соч. Среди художников*. М., 1994. С. 423).

В публикуемых текстах учитываются особенности авторской лексики, в том числе старые лексические формы. Написание собственных имен не унифицируется и не приводится в соответствие с ныне принятым (пояснения вынесены в аннотированный указатель). Для Розанова характерно иногда "свое" написание имен некоторых известных героев литературных произведений. Цитирование чужих текстов отличается неточностями, что в комментариях обычно не оговаривается.

Наряду с комментариями к вышедшим шести томам Собрания сочинений учтены также комментарии к следующим изданиям В. В. Розанова:

Мысли о литературе. М.: Современник, 1989.

Сочинения. М.: Советская Россия, 1990.

Несовместимые контрасты жития. М.: Искусство, 1990.

Иная земля, иное небо... М.: Танаис, 1994.

ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

"Легенда о Великом инквизиторе" относится к тому еще периоду творчества В. В. Розанова, когда он книги *писал* (позже, как правило, он лишь составлял их из уже написанного). И хотя "Легенда" много меньше по объему, нежели первая

книга Розанова "О понимании", — она столь же основательна, столь же фундаментальна и — для последующего творчества Розанова — столь же "изначальна", как и ранний его, почти не замеченный современниками труд. Судьба "Легенды о Великом инквизиторе" оказалась более счастливой, нежели судьба книги "О понимании". Если последнюю "протрудировали" лишь немногочисленные читатели (хотя и "с карандашом в руках", как это выяснилось впоследствии), то "Легенда о Великом инквизиторе" стала своего рода "визитной карточкой" Розанова. На нее откликнулись многие, в том числе ценимые Розановым и важную роль сыгравшие в его жизни К. Н. Леонтьев, Н. Н. Страхов, Ю. Н. Говоруха-Отрок, И. Ф. Романов (Рцы), Ф. Э. Шперк, Н. А. Бердяев.

Конечно, дело здесь было не только в том, что и без того малый тираж раннего труда, изданного за свои деньги, почти не разошелся, тогда как "Легенда" после журнальной публикации издавалась отдельной книгой при жизни автора еще трижды. И не в том только, что язык розановской "Легенды" (в сравнении с языком его первого труда) живее, гибче, свободней (хотя и ему еще далеко до полной раскованности и гениальной "вседозволенности" поздних статей и книг). "О понимании" — это все-таки "отвлеченная" метафизика, которой в русском сознании того времени трудно было стать фактом русской культуры. Читатель привык к метафизике "конкретной" — в форме романа или литературно-критического исследования. Именно написав о Достоевском, точнее, на основе произведения Достоевского "вырастив" свою метафизику, Розанов вошел в русскую культуру как величина уже несомненная.

"Легенда о Великом инквизиторе" Розанова — по самому своему характеру — это синтетическая работа: кроме собственно метафизических вопросов и конкретного анализа двух глав из "Братьев Карамазовых", она затрагивает множество побочных или параллельных тем: Розанов размышляет над творчеством Гоголя (которое — в *изначальной* своей сущности — кажется ему противоположным всей русской литературе), вычерчивает силуэты Гончарова, Тургенева, Толстого, рисует панораму всего творчества Достоевского... И тут же — называя эти имена — легкими штрихами прочерчивает проблему иного характера, которую условно можно было бы обозначить как "некоторые вопросы психологии творчества великих художников" (понимая слово "художник" в самом широком смысле). Эта тема входит в его сочинение с первой же страницы — с воспоминания о гоголевском "Портрете" (второй его части): художник пишет портрет загадочного ростовщика, и когда изображение на портрете оживает — умирает его прообраз. Гоголевский сюжет переводится Розановым в план метафизический, читается как притча о "тайне художественной души". Стоит только слить художника и модель в одно лицо (ведь не ростовщика — *себя* он пишет), и мы увидим "изображение судьбы и личности всякого творческого дарования": ту странную особенность всякого великого художника, когда незадолго до смерти — почти непостижимым для простого смертного способом — он успевает сказать главное. У Достоевского это главное слово — последний роман, и особенно те главы, где Иван Карамазов, сидя с братом Алешей в трактире, рассказывает ему свою "поэму".

В наблюдениях Розанова за "тайнами творчества", в его объяснениях писательской "психологии" отразилась и особенность его подхода к произведению Достоевского. Художник Ю. Селиверстов, составивший книгу "О Великом инквизиторе: Достоевский и последующие" (М., 1992) заметил в предисловии, никак не объяснив сам факт ее появления, одну любопытнейшую "несообразность": в романе Достоевского это "вставное" произведение называется "поэмой" (по образцу "Мертвых душ" Гоголя), слово "легенда" добавлено Розановым. Почему же Розанов прочитал поэму Ивана Карамазова именно как *легенду*?

"Легенда" — это уже "ставшее", с налетом древности, с "печатью вечности". Словом "легенда" Розанов старается "вычленить" это сочинение из романной ткани, обособить его, сделать самостоятельным произведением. Еще более он усиливает этот "отрыв" несколькими, почти вскользь брошенными замечаниями:

”Как известно, она составляет только эпизод в последнем произведении его, ”Братья Карамазовы”, но связь ее с фабулой этого романа так слаба, что ее можно рассматривать как отдельное произведение”. Но в то же время ”вместо внешней связи между романом и ”Легендой” есть связь внутренняя: именно ”Легенда” составляет как бы душу всего произведения, которое только группируется около нее, как вариации около своей темы...”

Если так смотреть на последнее произведение Достоевского, то роман окажется как бы и не романом, а комментарием к ”Легенде”. И действительно, чуть далее значение романа как литературной формы еще более затушевывается: ”Братья Карамазовы”, по Розанову, ”есть действительно еще не роман, в нем даже не началось действие: это только пролог к нему, без которого ”последующее было бы непонятно”... В предисловии к ”Братьям Карамазовым” Достоевский говорил о двух романах (”Хотя жизнеописание... у меня одно, но романов два”), т. е. речь шла все-таки о двух законченных произведениях. Розанов же первый — написанный и законченный — роман называет ”незаконченной частью” большого романа, и даже только лишь ”прологом к нему”.

Этим резким обособлением ”Легенды” Розанов, во-первых, дает себе возможность сосредоточить свое внимание на небольшом лишь отрывке большого романа и, во-вторых, обосновывает свое право так поступить. Читателя же он вынуждает признать, что: 1) ”Братья Карамазовы” — итог творчества Достоевского (по отношению к нему даже ”характеры его предыдущих романов можно рассматривать как предуготовительные”: Иван Карамазов произошел от Раскольникова, Свидригайлова, Николая Ставрогина и др., старик Карамазов — от опять-таки Свидригайлова и князя Волконского из ”Униженных и оскорбленных”, Алеша — от князя Мышкина и т. д.); 2) ”Легенда о Великом инквизиторе” — ”душа” этого романа, смысловое его ядро и, кроме того, почти самостоятельное от романа произведение, в котором ”сошлись как в фокусе” все проблемы, когда-либо затронутые Достоевским.

Розанов, впрочем, не останавливается и на этом. ”Легенду о Великом инквизиторе” он видит (и читателя заставляет увидеть) не только как главное слово во всем творчестве Достоевского, но и как концентрацию философских усилий всей русской литературы XIX в. Не случайно для него Достоевский противопоставит всем остальным писателям-современникам. Все они — Гончаров, Тургенев, Толстой (особенно Толстой) — дают твердые, законченные формы, определившиеся уже характеры, тогда как у Достоевского все нетвердо, неустойчиво. Его взгляд обращен не на ”картины”, но на ”швы, которыми стянуты все эти картины”; сам он, как художник и как мыслитель, совмещал в себе ”обе бездны — бездну вверх и бездну вниз”, и потому он смог написать ”не смешную пародию, но действительную и серьезную трагедию этой борьбы, которая уже тысячелетия раздирает человеческую душу, — борьбы между отрицанием жизни и ее утверждением, между растлением человеческой совести и ее просветлением”, потому он, сам переживший эту борьбу, ”мог сказать нам одинаково сильно и ”pro” и ”contra”; без лицемерия ”pro” и без суетного тщеславия ”contra”...”.

Достоевский предстает перед нами как мыслитель, собравший в себе всю проблематику русской литературы, а если вспомнить отдельные замечания Розанова о всемирной литературе (у Достоевского мы ”подходим к чему-то особенному, что еще никогда не появлялось в ней”), то в ”Легенде” оказывается сжатой до предельной плотности мысль о всей человеческой истории.

Все — в Достоевском, вся мировая философия уместилась в небольшую ”Легенду о Великом инквизиторе”. Все, что когда-либо сказано было о Боге и человеке, о смысле земного существования, сосредоточено здесь. Розанов нигде не утверждает это напрямую, но из множества разрозненных замечаний, разбросанных им по разным главам книги, можно (если все эти реплики связать единым узлом) сделать именно такой вывод. Но ведь согласно тому, что сам Розанов говорил и в десятой главе ”Легенды о Великом инквизиторе”, и в первой своей работе ”О понимании”, и в книге ”Природа и история”, любая часть

органического целого содержит его в себе, как дуга окружности — всю эту окружность, как зерно — все растение. И конечно, если подойти к этому положению отвлеченно, не один лишь Достоевский, но любой русский классик мог бы стать для Розанова той основой, на которой можно было бы возводить подобные же метафизические построения. Уже тот факт, что Розанов все время колеблется, что же объявить главным произведением Достоевского — "Легенду о Великом инквизиторе" или "Преступление и наказание", — говорит за то, что выбор "ключевого" произведения для построения своей метафизической системы был предопределен не объективными причинами, а личным пристрастием. За сложной тканью мыслительных построений прощупывается совершенно иная "подкладка". "Легенда о Великом инквизиторе" — не плод абстрактного мышления, она рождается из мысли, помноженной на чувство "своего угла". Достоевский нужен был Розанову, как *свое*, как что-то очень близкое по духу, как тот автор, которого он мог читать *интимно*, понимая каждую мысль, каждый изгиб мысли. В статье "Возле "русской идеи"..." Розанов о нескольких страничках из "Подростка" (вставной, почти необязательный эпизод) говорит с лаской и нежностью: "...этот наклеенный сбоку романа кусочек печатной бумаги весьма походит на записочку, которую положили вам под подушку на ночь, — и она всю ночь будет вам снится". В одном из комментариев Розанова к письмам К. Н. Леонтьева мы встретимся с еще более важным его признанием: "Достоевского я читал, как *родного*, как *своего*, с 6 класса гимназии, когда, взяв на рождественские каникулы "Преступление и наказание", решил ознакомиться с писателем для образовательной "исправности". Помню этот вечер, накануне сочельника, когда, улгавшись аккуратно после вечернего чая в кровать, я решил "кейфовать" за романом. Прошла вся долгая зимняя ночь, забрезжило позднее декабрьское утро: вошла кухарка с дровами (утром) затопить печь. Тут только я задул лампу и заснул. И никогда потом *нервно не утомлял* меня (как я слышал жалобы) Достоевский. Всего более привлекало в нем отсутствие литературных манер, литературной предвзятости, "подготовления", что ли, или "освещения". От этого я читал его, как бы записную книжку свою. Никогда ничего непонятного я в нем не находил".

Розанов оказался писателем, "созвучным" Достоевскому. Он, как и Достоевский, внимание свое обращает не на "картины", но на "швы", которыми стянуты все эти картины. И большинство суждений его не столько строятся по ясным и четким законам логики, сколько согласуются с глубинной музыкой мысли. Когда мы читаем рассказ о художнике и нарисованном им портрете, читаем об особенном чувстве и побуждении всякого великого художника — успеть до своего ухода из этого мира сказать свое главное слово, читаем о том, что великий писатель — в некоторых названиях своих произведений, частей, глав ("Мертвые души" Гоголя, "Pro и contra" Достоевского и т. д.) — неизбежно "проговаривается" о самых тайных и существенных сторонах своего гения, наконец, когда мы читаем о том, что время появления "Братьев Карамазовых" — это время, когда и Тургенев, и Толстой тоже сказали свое "окончательное слово" ("Новь", "Анна Каренина"), мы чувствуем не совпадение, но созвучие этих идей; это — разработка одной темы, одного настроения, одного движения и сходных, и разных по характеру мыслей.

С годами эта "музыка души" все более вытесняла логику рассуждений. Достаточно бросить взгляд на последний фрагмент заметок "О писателях и писательстве" (опубликованных в 1899 г. в книге "Литературные очерки"), чтобы увидеть, как парадоксально, почти невероятно обнаруживает свое движение мысль Розанова спустя восемь лет после создания "Легенды о Великом инквизиторе": "Обычай бани есть гораздо более замечательное историческое явление, нежели английская конституция. Во-первых, баня архаичнее, т. е., с точки зрения самих англичан, — почтеннее..." и т. д. Легко видеть "возгонку" образа ("баня") до некоего "образа-понятия" (живительная "баня" выборов, их "суета, грязь, нечистота", взятые в переносном смысле (как моральные определения), сопоставленные с "физической" чистотой и непосредственным успокоением, кото-

рые приносит русская баня). Изначально, казалось бы, вполне серьезное сравнение двух явлений на самом деле движется "псевдологическим" путем. Розанов нарушает главную заповедь любого логического построения: он сравнивает заведомо несравнимые вещи, и потому на самом-то деле его рассуждение строится на логике парадокса, заостряя все его наблюдения и "приглядки". И "псевдологическим" способом он создает два образа ("баня" и "конституция"), не доказывая, а показывая благость одного явления и выморочность другого. Еще позже, в "Уединенном", превращение образа в "образ-понятие" будет происходить уже не только при помощи "логики парадокса", этой постоянной и, часто, намеренной самопротиворечивости. "Понятие-образ" будет рождаться даже при использовании одних только знаков препинания. Глаз читателя начнет то и дело наталкиваться на скобки, кавычки, курсив (казалось бы, всего лишь "способ записи") — и по тексту многоголосым эхо забегают обертоны особенных, просто словами не передаваемых смыслов. "Музыка мысли" станет одной из самых главных особенностей розановской прозы. Первый же серьезный шаг к этому был сделан именно в "Легенде о Великом инквизиторе".

С. Р. Федякин

* * *

Впервые: Русский вестник. 1891. № 1—4. Отд. изд.: Спб.: Николаев, 1894; 2-е изд.: Спб.: Меркушев, 1902. Печатается по 3-му изд.: Спб.: Пирожков, 1906. Приложение впервые появились в отдельном издании 1894 г.

"Легенда" написана под влиянием литературных идей Н. Н. Страхова и опубликована при его содействии. Высокая оценка рукописи будущей книги содержится в письме Страхова к Розанову 16 октября 1890 г. (см.: Литературные изгнанники. Спб., 1913. Т. 1. С. 251—254). По совету Страхова было подготовлено и отдельное издание книги (письмо Страхова 20 февраля 1892 г. См. там же. С. 320, 380). 14 июля 1894 г. Страхов в письме из Ясной Поляны сообщил Розанову, что читает его книгу вслух Л. Н. Толстому.

Первым двум изданиям были предпосланы предисловия. После выхода 3-го издания Розанов опубликовал "Послесловие к комментарию "Легенды о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского" (Золотое руно. 1906. № 11—12. С. 97—101).

24 ноября 1901 г. в "Новом времени" под псевдонимом Инфолио появилась статья о 2-м издании "Легенды", в которой высказаны соображения о том, что "Легенда" Достоевского заимствована из Вольтера и Гёте. 27 ноября Розанов возражал в той же газете: "С теорией "заимствований" вообще надо быть осторожнее... "Легенда" есть литературно и красиво выразившаяся душа нашего народа на этих путях его скитаний и страдальчества".

В рецензии на 3-е издание "Легенды" Н. А. Бердяев отмечал, что она читается с захватывающим интересом: "Книга его по обыкновению написана с необыкновенной психологической тонкостью и красотою литературной формы, но разбросанно, без концентрации мысли" (Книга. 1906. № 5. С. 10). По инициативе М. Горького "Легенда" вышла в Берлине на немецком языке (пер. А. Рамм), о чем сообщал журнал "Печать и революция" (1924. № 5. С. 316).

С. 10. ...*"дочери фараоновой"* — Исх. 2, 5—10.

И что я поддельно болью считал... — Г. Гейне. "Довольно! Пора мне забыть этот вздор!.." (из цикла "Возвращение на родину", 1826). Пер. А. К. Толстого.

С. 11. *В одной фантастической повести...* — Н. В. Гоголь. Портрет (1835).

С. 13. ...*та самая, о которой я вам уже писал.* — Речь идет о неосуществленном замысле "Житие великого грешника", о чем Достоевский писал А. Н. Майкову 17(29) сентября 1869 г.

"Заря" — ежемесячный научно-литературный и политический журнал, выходивший в Петербурге в 1869—1872 гг. Издатель — В. В. Кашпирев.

...*Чаадаев после первой статьи...* — За публикацию в журнале "Телескоп" (1836. № 15) первого "Философического письма" П. Я. Чаадаев был объявлен Николаем I сумасшедшим.

С. 14. С 1876 г. он начал выпускать "Дневник писателя"... — "Дневник писателя" начал печататься в журнале "Гражданин" с января 1873 г. Розанов имеет в виду, что с 1876 г. "Дневник писателя" приобрел новую литературную форму мыслей на различные темы, что сказалось позднее на жанре трилогии Розанова.

С. 15. ...*"чтобы заняться одною художественною работою..."* — из обращения "К читателям", завершающего декабрьский выпуск "Дневника писателя" за 1877 г. (Т. 26. С. 126). Речь шла о романе "Братья Карамазовы", над которым Достоевский работал следующие три года.

...в 1879 г. *Достоевский ездил в знаменитую Оптину Пустынь...* — Достоевский был в монастыре Оптина Пустынь (близ г. Козельска) вместе с Вл. Соловьевым 23—29 июня 1878 г., что имело важные последствия для работы над "Братьями Карамазовыми".

С. 21. *"мне отмщение и Аз воздам"* — Рим, 12, 19.

...*взлетают на них и колотят их...* — Розанов имеет в виду дядю Митяя и дядю Миняя из "Мертвых душ" Гоголя (Т. 1. Гл. V).

С. 22. *"Пусть языком твоим говорят ангелы..."* — 1 Кор. 13, 1.

С. 24. *"Триста, триста..."* — Ф. М. Достоевский. Елка и свадьба (Из записок неизвестного) (1848).

С. 25. *Когда из мрака заблужденья...* — первая строка стихотворения Некрасова (1845), взятого эпиграфом к повести Достоевского "По поводу мокрого снега" в "Записках из подполья".

С. 27. *Элевзинские таинства* — в Древней Греции в г. Элевзин ежегодные религиозные празднества в честь богини земледелия Деметры и ее дочери Персефоны.

С. 28. В 1863 г. — Всемирную Лондонскую выставку Достоевский посетил в июле 1862 г.

С. 30. ...*"пальмовые ветви и белые одежды"* — Откр. 7, 9.

С. 31. *"Ищите прежде царства Божия..."* — Лк. 12, 31.

С. 32. *"Время"* — ежемесячный литературный и политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1861—1863 гг. М. М. и Ф. М. Достоевскими.

"Эпоха" — ежемесячный литературный и политический журнал, издававшийся (как продолжение закрытого цензурой журнала "Время") в Петербурге в 1864—1865 гг. М. М. Достоевским, а после его смерти Ф. М. Достоевским.

С. 36. *Люди 93-го года* — то есть 1793 г., якобинской диктатуры во время Великой французской революции.

С. 40. ...*последние годы прошлого царствования* — то есть царствования Александра II, убитого народовольцами в 1881 г.

...в *Венере Милосской есть нечто более несомненное и вечное, чем в принципах первой французской революции* — И. С. Тургенев. Довольно, XV.

С. 43. *"Иже во святых отца нашего Исаака Сирина"*. — В "Братьях Карамазовых" книга названа: "Святого отца нашего Исаака Сирина слово".

С. 45. *Доктор-психиатр* — имеется в виду письмо врача А. Ф. Благонравова (Лит. наследство. 1973. Т. 86. С. 490), которому Достоевский отвечал 19 декабря 1880 г.

С. 49. *"Кошачья живучесть"* — Ф. М. Достоевский. Письмо А. Е. Врангелю 31 марта 1865 г.

С. 51. *"Один старый грешник..."* — Иван цитирует фразу из "Послания к автору новой книги о трех лжецах" (1769) Вольтера.

С. 53. *Я вот читал когда-то и где-то про Иоанна Милостивого...* — Перевод И. С. Тургеневым "Легенды о св. Юлиане Милостивом" (1876) Г. Флобера напечатан в "Вестнике Европы" (1877. № 4) под названием "Католическая легенда о Юлиане Милостивом".

"Никто же плоть свою возненавидит..." — Еф. 5, 29.

...*"яко божи"*... — Быт. 3, 5.

С. 54. *Клеопатра, уточненная гречанка*... — Рассказ Ивана о последней царице Египта из династии Птоломеев Клеопатре (69—30 до н. э.) взят из "Записок из подполья" Достоевского.

С. 55. ...*оборачивать словечки*... — имеются в виду слова Полония в 1-й сцене II действия "Гамлета".

С. 57. *У Некрасова есть стихи*... — стихотворение "До сумерек" из цикла "О погоде" (1859).

...*секут собственную дочку*... — Имеется в виду дело С. Л. Кроненберга (Кроненберга), по поводу которого Достоевский писал в "Дневнике писателя" за февраль 1876 г. (Гл. 2).

С. 58. ...*в одном из наших исторических журналов*. — Как выяснил Л. П. Гроссман, имеются в виду "Воспоминания крепостного" в "Русском вестнике" (1877. № 9).

С. 59. ...*лань ляжет подле льва* — Исх. 11, 6 (контаминация).

...*не от мира сего*... — Ин. 18, 36.

С. 60. "*Прав Ты, Господи*..." — сочетание разных текстов Апокалипсиса (Откр. 15, 3—4; 16, 7; 19, 1—2).

С. 62. ...*"выше всех остальных"*... — Образ Сатаны как восставшего против Бога ангела и сброшенного за то с небес, восходит к ошибочному толкованию строк из "Книги пророка Исаий" (14, 11).

С. 67. *Верь тому, что сердце скажет*... — из стихотворения Шиллера "Желание" в переводе В. А. Жуковского (1811).

С. 68. "*Однажды, — рассказывает там*..." — из биографической статьи О. Ф. Миллера (*Достоевский Ф. М.* Поли. собр. соч. Спб., 1883. Т. 1. С. 133).

С. 71. "*Хочу сделать вас свободными*"... — Ин. 8, 32.

Триденский собор — вселенский собор католической церкви, заседавший в 1545—1547, 1551—1552, 1562—1563 гг. в г. Тренто и в 1547—1549 гг. в Болонье. Закрепил средневековые догматы католицизма, усилил гонения на еретиков, ввел строгую церковную цензуру.

С. 73. "*Великий Дух говорил с тобою в пустыне*..." — евангельский рассказ об искушении Христа дьяволом (Мф. 4, 1—11; Лк. 4, 1—13).

С. 75. "*Кто подобен Зверю сему*..." — Откр. 13, 4.

С. 83. *Увлечение спиритизмом*... — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1876. Январь. Гл. 3. § 2.

С. 92. *Теоретическая мысль, оправдывающая "самоистребление"* — Там же. 1876. Октябрь. Гл. 1. § 4.

С. 96. "*Моя осанна сквозь горнило испытаний прошла*"... — пересказ мысли из записной тетради Достоевского 1880—1881 гг.

С. 104. ...*Гораций и Буало пытались свести*... — Имеются в виду трактат римского поэта Горация "Наука поэзии" и стихотворный трактат французского поэта и теоретика классицизма Н. Буало "Поэтическое искусство" (1674).

Кювье свел к вечным немногим типам животный мир... — Французский зоолог Ж. Кювье сформулировал в 1812 г. учение о четырех типах организации животных (позвоночные, членистые, мягкотелые, лучистые).

...*ряд великих математиков Франции* — имеются в виду В. Виет (1540—1603), Р. Декарт (1596—1650) и др.

С. 105. ...*крестоносное ополчение, двинувшееся на Лангедок* — речь идет об альбигойских войнах, крестовых походах 1209—1229 гг. на юге Франции, предпринятых против "еретиков".

С. 106. "*словом Божиим*" — ответ М. Лютера на Вормском рейхстаге 18 апреля 1521 г. на предложение отречься от своих взглядов.

С. 107. ...*"каждое время и каждое место живет для себя самого"*... — имеется в виду принцип историзма, изложенный немецким философом и критиком И. Г. Гердером в статье "Шекспир", вошедшей в сборник Гердера и Гёте "О немецком характере в искусстве" (1773).

С. 109. ...*"перекуются мечи на орала"*... Исх. 2, 4.

С. 111. ...у *"неимущего отнялось и имущему прибавилось"* — перефразировка евангельского выражения (Мф. 25, 29).

"Мария же, сестра ее, села у ног Иисуса..." — Лк. 10, 39—42.

С. 114. ...в 1856 г. в *"Записках из подполья"* — неточность Розанова. *"Записки из подполья"* опубликованы в 1864 г.

С. 126. ...*"я думал отдать мир папе"* — см.: Соловьев В. С. *Догматическое развитие церкви в связи с вопросом о соединении церквей*. М., 1880.

О ГОГОЛЕ

Пушкин и Гоголь

Впервые: Московские ведомости. 1891. 15 февраля — под названием: "Несколько слов о Гоголе", и под тем же названием печаталось в 1-м и 2-м изданиях книги Розанова "Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского". Вызвавшая эту статью Розанова публикация Ю. Н. Говорухи-Отрока "Нечто о Гоголе и Достоевском (По поводу статьи В. Розанова "Легенда о Великом инквизиторе" Ф. М. Достоевского)" появилась в "Московских ведомостях" 26 января 1891 (№ 26).

С. 138. ...*затосковал Гоголь, когда безвременно погиб Пушкин*. — В письме П. А. Плетневу 16 (28) марта 1837 г. из Рима Гоголь писал о смерти Пушкина: "Что месяц, что неделя, то новая утрата, но никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним".

С. 141. ...*отвечал профессору Градовскому*. — А. Д. Градовский напечатал в журнале "Гражданин" (1880. 25 июня. № 174) статью "Мечты и действительность" о речи Достоевского на Пушкинских торжествах. В "Дневнике писателя" за август 1880 г. Достоевский посвятил III главу ответу на "придирки" Градовского.

С. 142. *"Не мешайте этим приходить ко Мне"*... — Мк. 10, 14; Лк. 18, 16.

Как произошел тип

Акакия Акакиевича

Впервые: Русский вестник. 1894. № 3. С. 161—172, с подзаголовком: "К вопросу о характеристике гоголевского творчества", который сохранился в 1-м и 2-м изданиях "Легенды".

Н. Н. Страхов писал об этой статье: "Резкая характеристика Гоголя, когда появилась в "Русском вестнике", вызвала большие упреки г. Розанову, и она, конечно, страдает преувеличением. Но основание ее заключается в действительной противоположности между Гоголем и Достоевским и в том, что критик решительно стал на сторону Достоевского" (*Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе*. Спб., 1896. Кн. 3. С. 289).

С. 143. ...*сочинения Гоголя в классическом издании их...* — Речь идет о комментированном издании Сочинений Гоголя в 7 томах под редакцией Н. С. Тихонравова, подготовившего первые 5 томов (1889); издание завершено в 1896 г. В. И. Шенроком.

С. 145. ...*еще не выходил указ* — "Положение о гражданских мундирах", принятое в 1834 г.

Живете, мыслете, слово, твердо — названия букв (ж, м, с, т) в церковно-славянской азбуке.

...пряжка в петлицу — "Знак отличия беспорочной службы" в виде пряжки с цифрами выслуги лет в дубовом венке.

С. 149. *"незримые слезы сквозь видимый смех"* — перефразировка слов из 7-й главы "Мертвых душ" ("видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы").

С. 150. ...в заключительной строке "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" — "Скучно на этом свете, господа!"

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КОММЕНТАРИУ
"ЛЕГЕНДЫ О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО"

Впервые: Золотое руно. 1906. № 11—12. С. 97—101.

С. 152. *Иные дни — иные сны* — Возможно, имеется в виду строка "иные сны" в стихотворении А. С. Пушкина "Приметы" (1829).

В Оптину Пустынь... написал записочку-просьбу... — Письмо Н. В. Гоголя иеромонаху Филарету 19 июня 1850 г. из села Долбино, имения И. В. Киреевского.

А. Н. Николюкин

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ

В. В. Розанов доверил издание "Очерков" своему другу П. П. Перцову. Именно он "сделал выбор материала" и ставил в оригиналах "синие кресты во многих местах".

"Литературные очерки" — книга цельная и очень "розановская" по общему мироощущению, демонстрирующая систему взглядов и идей автора не столько в сфере "литературной критики", к которой, казалось бы, отсылает обманчивое название (напоминая о вышедших четырем годами раньше "Философских очерках" Н. Н. Страхова — "литературной няньки" Розанова), сколько в более широкой и более приближенной к реальности проблематике. Розанову претит узоость подходов: газетный публицист по должности, он, однако, избегает сиюминутной политики и, подстегиваемый нерастроченной философической энергией, выбирает отстраненные ракурсы. "Непреренно: Литературно-экономический "кризис". Политико-эконом. — смысла нет: наплевать мне на политику", — пишет Розанов П. П. Перцову касаясь заголовка одной из статей в "Очерках".

"Литературные очерки" начинаются с жестких текстов о "наследстве 60—70-х гг.", сделавших Розанова по-своему знаменитым, особенно в лагере оппонентов; деятельное и непоседливое предшествующее поколение всей своей деятельностью "оскверняло" розановский "символ веры": из-за своей "грубости мысли" и "душевной скудости" ничего они якобы не поняли ни в мире, ни в человеке и не желали понимать, относясь к живым людям как к "песку пустыни", а значит, столь же поверхностно трактуя логику истории и культуры. Мышление всех розановских оппонентов, в его интерпретации, изначально эклектично, он же, опираясь на авторитет славянофильских и околославянофильских доктрин, апеллирует к *органичности* мироощущения (потому у него в авторитетах ходит и Аполлон Григорьев с его "органической критикой", опосредованный Страховым), цельности миропонимания. Таким образом, при желании в идеологических пассажах Розанова можно увидеть ту же систему ценностей, что привела к экзистенциальному бунту против догматических установлений семейного права и насаждаемой традицией аскезы, к еретической "метафизике христианства", к апологии сакрализованного пола — и здесь, и там слышится вопль о праве индивидуации на "самостоятельность", личную, идеологическую, национальную, но всегда организационную. Только на первый взгляд кажется несовместимым с "сытым" эмпириком М. Н. Катковым слово "мечтатель", презрительно отпущенное в короткой, но необычайно яркой статье о нем — на самом деле этот консервативный публицист оказывается alter ego разного рода либеральной братии, обруганной Розановым на предшествующих страницах "Очерков", потому что он так же,

как и они, "не принимает в расчет коренную действительность истории", основанную на мистическом "недовольстве" собой. Застывший ум, по Розанову, так же, как и бесчувственно-абстрактный, не способен к "благоговению перед жизнью".

Книга не прошла незамеченной критикой. В 1899 г. стараниями П. П. Перцова вышло целых три розановских сборника ("Сумерки просвещения", "Религия и культура", "Литературные очерки"), на подходе была "Природа и история", поему рецензенты отстреливались по всему комплекту, точнее — о Розанове вообще как известном и сложившемся феномене. Отзывы были гиперкритические: независимого "духобора" (так назвал Розанова В. М. Грибовский, автор чуть ли не единственной положительной рецензии, в "Книжках Недели", 1899, май), искателя правды "чувством и догадкой сердца" привыкшая к стандартам литературная публика упрекала в "пифизме и оргиазме" (Е. А. Соловьев в "Жизни", 1899, сентябрь), называла "славянофильствующим изувером" (А. И. Богданович в "Мире Божьем", 1899, август), "каламбуристом мысли" с бесцеремонными литературными манерами и неумытым языком (М. А. Протопопов в "Русской мысли", 1899, август).

"Литературные очерки" и вовсе не были приняты: "Литературную критику г. Розанова я позволю себе оставить совсем без рассмотрения: такими критиками хоть пруд пруди" (Протопопов); "...невозможный хаос чепухи и младенческих откровений, где мысли г. Розанова играют в чехарду" (Богданович), и т. п. Особенно рассердил всех финал очерка Розанова "О писателях и писательстве" — ода бане.

Розанову — автору "Литературных очерков" еще сравнительно далеко было до своих поздних шедевров-откровений, но уже в этой книге выкристаллизовывался его своеобразный талант.

Печатается по 2-му изданию: СПб., 1902.

С. 158. *Времена меняются, и мы меняемся с ними.* — Выражение приписывается франкскому императору Лотарю I (ок. 795—855).

СТАРОЕ И НОВОЕ

1. Почему мы отказываемся от "наследства 60—70 годов"?

Впервые: Московские ведомости. 1891. 7 июля. № 185.

С. 160. *И грозный час пришел...* — Возможно, имеется в виду строка из поэмы М. Ю. Лермонтова "Демон" (Ч. 2. Гл. XV. 984).

С. 162. *1 марта 1881 года* — имеется в виду убийство императора Александра II членами террористической организации "Народная воля".

...*один из самых деятельных писателей 60-х годов...* — Речь идет о Н. В. Шелгунове. Розанов цитирует слова из его статьи "Борьба ли поколений ведет нас вперед" (1888), приводимые в статье А. Н. Пыпина "Писатель шестидесятых годов" из указанного номера "Вестника Европы".

С. 163. ...*"для наибольшего счастья наибольшего числа людей"* — принцип, впервые сформулированный И. Бентамом в сочинении "Деонтология, или Наука о морали" (1834).

...*прогулки по нагорному берегу Волги...* — Гимназические годы от четвертого до восьмого класса Розанов провел в Нижнем Новгороде (1872—1878).

С. 164. *Сибирский университет* — Томский университет, учрежден в 1880 г., был открыт 22 июля 1888 г.

С. 165. *12 января* — по новому стилю 25 января: день основания (1755) Московского университета, праздник студентов и преподавателей ("Татьянин день").

С. 167. ...*спор о дарвинизме...* — Имеется в виду полемика вокруг учения Ч. Дарвина, в которой приняли участие Н. Я. Данилевский, В. С. Соловьев, Н. Н. Страхов, К. А. Тимирязев и др. См. книгу В. В. Розанова "Природа и история" (Спб., 1900).

2. В чем главный недостаток "наследства 60—70-х годов"?

Впервые: Московские ведомости. 1891. 14 июля. № 192.

С. 172. "*Причина действует только там, где она есть*"... — Фома Аквинский. Сумма теологии, I, q. 2, 3 с.

С. 175. ..."*строятся в пустыне*" — выражение из вступительной статьи Н. К. Михайловского к изданию: *Шелгунов Н. В.* Соч. Спб., 1891. Т. I. Используется А. Н. Пыпиным в статье "Писатель шестидесятых годов".

3. Европейская культура и наше к ней отношение

Впервые: Московские ведомости. 1891. 16 августа. № 225; под названием "Европейская культура и наше отношение к ней".

С. 179. "*Россия и Европа*" — Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому // Заря. 1869. № 1—6, 8—10. Отд. изд. Спб., 1871. Выдержала несколько переизданий.

"*Национальная политика*" — Леонтьев К. Н. Национальная политика как орудие всемирной революции // Гражданин. 1888. № 256, 258, 261, 265, 269, 272, 275, 279. Отд. изд. — Леонтьев К. Н. Национальная политика как орудие всемирной революции: Письма к Ф. И. Фудель. М., 1889.

"*Восток, Россия и Славянство*" — Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство: Сб. статей. Т. 1—2. М., 1885—1886.

"*Я праздновал бы великий праздник радости...*" — Цитируемые слова взяты из начала статьи К. Н. Леонтьева "Национальная политика как орудие всемирной революции". Настоящую фразу Розанов неоднократно приводит в своих сочинениях.

С. 184. *В прекрасных воспоминаниях покойного Буслаева...* — "Мои воспоминания" Ф. И. Буслаева публиковались в 1890—1892 гг. в журнале "Вестник Европы" (отд. изд. М., 1897). Описываемый Розановым случай см.: Вестник Европы. 1891. № 6.

4. Два исхода

Впервые: Московские ведомости. 1891. 29 июля. № 207.

С. 185. "*Последние произведения графа Л. Н. Толстого*" — Громека М. С. Последние произведения графа Л. Н. Толстого // Русская мысль. 1883. № 2—4. Отд. изд. М., 1884.

...*разнеслись... слухи о какой-то "исповеди"*... — "Исповедь" Л. Н. Толстого была написана в основном в 1879 г., закончена в 1882-м и напечатана в Женеве в 1884 г. О знакомстве самого Розанова с книгой см. в его "Автобиографии" (Русский труд. 1899. 16 октября. № 42).

С. 187. *Идея... впервые установленная Руссо...* — Имеется в виду трактат Ж. Ж. Руссо "Об общественном договоре, или Принципы политического права" (1762).

С. 192. ...из особенного тона ведущегося диалога... — Имеется в виду глава XXXIII пятой части романа Л. Н. Толстого "Анна Каренина".

...удивительный разговор между княжной Марией Болконской... и Наташей... — Л. Н. Толстой. Война и мир. Эпilog. Ч. I. Гл. VIII.

5. Может ли быть мозаична историческая культура?

Впервые: Московские ведомости. 1892. 20 июля. № 199.

С. 194. ...г. Н. К. Михайловский упрекнул меня... — Речь идет о статье Н. К. Михайловского "Письма о разных разностях", № 34 (Русские ведомости. 1891. 25 июля. № 202). Под названием "Опять об отцах и детях" вошла в его книгу "Литература и жизнь" (Спб., 1892).

С. 196. В "Сборнике статей" о графе Л. Толстом. — Михайловский Н. К. Критические опыты. Т. I. Гр. Л. Н. Толстой. Спб., 1887 (статья "Десница и шуйца Льва Толстого").

С. 199. ...в покаянной речи мудрого царя — речь Ивана IV (Грозного) на Красной площади при открытии первого Земского собора в феврале 1549 г. См., напр.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VIII. Гл. III.

Стоглавый собор — церковный собор, созванный в Москве в январе — феврале 1551 г. по вопросам правовых норм внутренней жизни русского духовенства и его взаимоотношений с государством. На соборе были зачитаны царские вопросы, составленные придворным священником Сильвестром. Ответы на них составили сто глав решений собора (отсюда его название).

6. Еще о мозаичности и эклектизме в истории

Впервые: Московские ведомости. 1892. 17 октября. № 288.

С. 205. ...Фараоновы коровы, пожравшие тучных волов... — Быт. 41.

С. 206. "рассудка француз не имеет..." — Д. И. Фонвизин. Письма из Франции. Письмо 8 (18 сентября 1778 г.).

его две знаменитые комедии. — Имеются в виду комедии Д. И. Фонвизина "Бригадир" (1769) и "Недоросль" (1781).

С. 208. Химера... обитала во Фригии. — По греческой мифологии, Химера обитала в горах Ликии. См., напр.: Гомер. Илиада. VI, 179—182.

"Небесное Жуан все ищет на земле"... — А. К. Толстой. Дон Жуан (1862). Пролог.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛИЧНОСТЬ Н. Н. СТРАХОВА

Впервые: Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. 4. С. 27—64; под названием "О борьбе с Западом в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов".

С. 210. ...в двух томах неоконченного сочинения... — Речь идет о книге: Данилевский Н. Я. Дарвинизм. Критический очерк. Спб., 1885—1889. Т. 1—2.

С. 215. ...захотел поехать на Афон. — Поездка на Афон, совершенная Н. Н. Страховым в 1881 г., описана им в статье "Воспоминание о поездке на Афон" (1889), которая вошла в книгу "Воспоминания и отрывки" (Спб., 1892).

С. 216. ...резкое порицание ему случилось высказать... — Имеется в виду развернувшаяся в 1884—1885 гг. на страницах газеты "Новое время" полемика Н. Н. Страхова со сторонниками спиритизма А. М. Бутлеровым и Н. П. Вагнером. Статьи Страхова и ответы ему Бутлерова собраны в книге: *Страхов Н. Н. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)*. Спб., 1887.

С. 217. Автор "*Семейной хроники*" — С. Т. Аксаков.

..."*преданья русского семейства*" — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. III, 13. Это выражение Страхов использует в своем разборе романа Л. Н. Толстого "Война и мир. Статья вторая и последняя" (Заря. 1869. № 2).

С. 219. ...жалобы, которые он подслушал у Герцена... — В книге Н. Н. Страхова "Борьба с Западом в нашей литературе" (Спб., 1887. Т. 1. С. 31) приводятся слова А. И. Герцена (мы "поднимаемся в какую-то изреженную среду, в какой-то мир бесплотных абстракций") из его статьи "Дилетантизм в науке". Статья 1 (Отечественные записки. 1843. № 1).

...воспоминание об одном писателе... — Имеется в виду Джордж Гордон Байрон. "*Страна святых чудес*" — из стихотворения А. С. Хомякова "Мечта" (1885).

С. 221. ...некогда голодный сын старого отца променял... — Быт. 25, 29—34.

С. 225. ...предисловие к его "*Боярской думе древней Руси*". — Предисловие к работе В. О. Ключевского "Боярская дума Древней Руси" (М., 1882) было впервые напечатано в журнале "Русская мысль" (1880. № 1) в качестве преддверия публикации там же отдельных глав книги.

...известный разбор типа Онегина — Ключевский В. О. Евгений Онегин и его предки // Русская мысль. 1887. № 2.

С. 226. "*История материализма*" — Ланге Ф. А. История материализма и критика его значения в настоящее время. В рус. пер. Н. Страхова. Спб., 1899.

...специальные его работы — Страхов Н. О костях запытая млекопитающих. Рассуждение, написанное для получения степени магистра зоологии. Спб., 1857.

С. 227. ...горячая его полемика (против г. Вл. Соловьева) в защиту книги Данилевского. — Имеются в виду статьи: *Страхов Н. Н. Наша культура и всемирное единство* // Русский вестник. 1888. № 6 (в ответ на статью В. С. Соловьева "Россия и Европа" в "Вестнике Европы". 1888. № 2, 4); *Страхов Н. Н. Последний ответ г. Вл. Соловьеву* // Русский вестник. 1889. № 2 (в ответ на статью Соловьева "О грехах и болезнях" в "Вестнике Европы". 1889. № 1). Указанные статьи вошли в третий том сборника Страхова "Борьба с Западом в нашей литературе".

С. 230. В ряде... статей по поводу "*Войны и мира*"... — Имеется в виду серия журнальных статей Страхова о "Войне и мире", которую он сам называл "критической поэмой в четырех песнях" (Заря. 1869. № 1—3; 1870. № 1).

С. 231. ..."*нет величия там*"... — Эти слова из романа Л. Н. Толстого (Война и мир. Т. IV. Ч. 3. Гл. XVIII) Н. Н. Страхов использует в качестве эпиграфа к статье в № 1 за 1870 г. журнала "Заря".

ТРИ МОМЕНТА В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КРИТИКИ

Впервые: Русское обозрение. 1892. № 8. С. 576—594; под названием "О трех фазисах в развитии нашей критики".

С. 235. ...ряд в высшей степени значительных статей... — Леонтьев К. Н. Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого. Критический этюд // Русский вестник. 1890. № 6—8.

...старый Державинский стих. — К. Н. Леонтьев в своем этюде цитировал оду Г. Р. Державина "Фелица" (1782).

С. 236. "*Но зато родному краю*"... — Н. А. Добролюбов. "Милый друг, я умираю..." (1861).

С. 240. "*Записная книжка любопытных замечаний*" — "Записная книжка любопытных замечаний великой особы, странствовавшей под именем дворянина

российского посольства в 1697 и 1698 году" (Спб., 1788). Автором ее является Петр Великий.

С. 241. "О происхождении зла" — Философская поэма "О происхождении зла" (1734) швейцарского поэта и естествоиспытателя Альбрехта фон Галлера была переведена прозой с немецкого, откомментирована и издана Н. М. Карамзиным в 1786 г.

"Разговоры о множестве миров" — "Разговоры о множестве миров г. Фонтенелла, Парижской академии наук секретаря. С французского перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве в 1730 году" (Спб., 1740).

Лизин пруд — пруд у Симонова монастыря в Москве, место действия повести Н. М. Карамзина "Бедная Лиза" (1792).

...*"птица стратикомил"*, *"капище всех болванов"* — выражения из "Записной книжки любопытных замечаний..." (С. 24, 37). Стратикомил ("строфокомил") — страус. Пантеон Агриппы — знаменитый древнеримский храм, сооруженный Марком Агриппой и посвященный богам-покровителям рода Юлиев.

С. 242. *Речь о Пушкине Достоевского* — произнесена 8 июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности, посвященном открытию памятника Пушкина в Москве. Впервые напечатана 13 июня в газете "Московские ведомости" (№ 162). Вошла в "Дневник писателя" за 1880 год. Август (Спб., 1880).

С. 243. *...так смутило... самого Белинского...* — Имеются в виду крайне негативные оценки Белинским повестей Пушкина в последней, одиннадцатой, статье цикла "Сочинения Александра Пушкина".

ПОЗДНИЕ ФАЗЫ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

1. Н. Я. Данилевский

Впервые: Новое время. 1895. 14 февраля. № 6811.

С. 246. *...в трудах своих...* — Статья И. В. Киреевского "Девятнадцатый век" открывала собой его собственный журнал "Европеец": в № 1 (январь) за 1832 г. было опубликовано начало статьи, а в № 3 предполагалось поместить окончание. Однако именно за публикацию "Девятнадцатого века" журнал был закрыт на втором же номере, и третья книжка не вышла в свет. Статья "В ответ А. С. Хомякову" была написана в 1839 г. для литературно-философских вечеров в доме Киреевского в Москве в ответ на статью Хомякова "О старом и новом", читавшуюся на тех же вечерах. Работа не предназначалась для печати и впервые опубликована в кн.: *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 188—200. Статья "О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России" написана для славянофильского альманаха "Московский сборник" (М., 1852. Т. 1), запрещенного после первого выпуска. Статья "О необходимости и возможности новых начал для философии" была замыслена Киреевским как начало большого труда, оборванного его смертью: опубликована уже после смерти автора в новом журнале славянофилов "Русская беседа" (1856. № 2). "Отрывки" (Русская беседа. 1857. № 1), найденные в архиве Киреевского, представляют собой наброски к этому же незаконченному труду.

С. 247. *Все его сочинения изданы... в 1868 году...* — Розанов неверно указывает год издания: двухтомное собрание сочинений И. В. Киреевского вышло в 1861 г. *история нового права Блунчли* — *Блунчли И. К.* История общего государственного права и политики от XVI века по настоящее время. Рус. пер. Спб., 1874.

С. 247. *Макс Штирнер ум. 1855 г.* — М. Штирнер (наст. имя и фамилия — Каспар Шмидт) умер в Берлине 26 июня 1856 г.

С. 248. *Добролюбов "В темном царстве"...* — Имеется в виду статья Н. А. Добролюбова "Луч света в темном царстве" (Современник. 1860. № 10), где, в частности, говорится о главной героине драмы А. Н. Островского "Гроза": "Натура здесь заменяет и соображения рассудка и требования чувства и воображения: все это сливается в общем чувстве организма, требующего себе воздуха, пищи, свободы".

С. 249. *Хомяков в трудах своих...* — Три памфлета А. С. Хомякова с общим названием и под псевдонимом "Игнотус" публиковались за границей отдельными брошюрами на французском языке: "Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу брошюры г. Лоранси" (Париж, 1853) — рус. пер.: Православное обозрение. 1863. № 10—11; "Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу одного послания Парижского архиепископа" (Лейпциг, 1855) — рус. пер.: Православное обозрение. 1864. № 1—2; "Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры" (Лейпциг, 1858) — рус. пер.: Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Прага, 1867. Т. 2. "Сочинения богословские". В этом же томе впервые опубликованы письма А. С. Хомякова В. Палмеру, англиканскому архидьякону, стороннику воссоединения англиканской церкви с одной из традиционных. Трактат Хомякова "Церковь одна" (написан предположительно в 1844—1845 гг.) впервые опубликован после смерти автора в журнале "Православное обозрение" (1864. № 13) под названием "О Церкви. Из неизданных сочинений А. С. Хомякова". В указанном втором томе Собрания сочинений появилось второе название труда, приводимое Розановым: "Опыт катехизического изложения учения о Церкви".

...сочинения А. С. Хомякова, том II... — Второй том богословских сочинений (Прага, 1867) из 4-томного Собрания сочинений А. С. Хомякова (М.; Прага, 1861—1873) к обращению в России постановлением Святейшего Синода был разрешен только в 1879 г.

...овцами не растерянными — Мф. 18, 12—13; Лк. 15, 4—7.

Тюбингенская школа богословов — направление в немецкой протестантской теологии, развившееся в университете г. Тюбингена и характеризовавшееся критической интерпретацией библейских источников. Работы Б. Бауэра и Д. Штрауса оказали значительное влияние на формирование концепций Э. Ренана.

С. 250. ...критический разбор "Истории России" Соловьева... — Аксаков К. С. По поводу VII тома "Истории России" г. Соловьева // Русская беседа. 1858. № 2. Отклики Аксакова на различные тома "Истории России с древнейших времен" С. М. Соловьева собраны в кн.: Аксаков К. С. Поли. собр. соч. М., 1861. Т. 1.

К. Аксаков в замечательной статье своей... — Аксаков К. С. О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности // Московский сборник. М., 1852. Т. 1.

Первый царь созывает первый земский собор. — Имеется в виду созыв Земского собора в феврале 1549 г. Иваном IV (Грозным), впервые в истории России прошедшим обряд венчания на царство в январе 1547 г.

С. 251. *Филоктет от боли раны кричит.* — Филоктет, по греческой мифологии царь города Мелибеи, во время похода на Трою был укушен змеей и по причине зловония от раны оставлен товарищами на острове Лемнос. Там он десять лет провел в страшных муках. См., напр., трагедию Софокла "Филоктет".

Иов — тревожится, не согрешил ли он? — Ср. Иов. 6,24: "Научите меня, и я замолчу; укажите, в чем я погрешил".

С. 252. *Давид, похитив Вирсавию и обвиненный, слагает псалом...* — 2 Цар. 11—12; Пс. 50.

Афродита Книдская — скульптура работы Праксителя.

2. К. Н. Леонтьев

Впервые: Литературное приложение к "Торгово-промышленной газете". 1899. 4 апреля. № 2.

С. 253. *...умершего в 1892 году Кон. Ник. Леонтьева.* — К. Н. Леонтьев скончался 12 ноября 1891 г.

С. 256. *...он умер тайным пострижником Афонской горы.* — Постриг Леонтьев принял в 1891 г. в Оптиной Пустыни, однако еще в 1871 г. после тяжелой болезни Леонтьев предпринимает попытку уйти в монастырь при посещении Пантелеймоновой обители на Афоне.

С. 257. *"Византизм и славянство"* — одна из основополагающих работ К. Н. Леонтьева была написана им в 1872 г., предложена к публикации в журнал "Русский вестник", но отклонена М. Н. Катковым и впервые опубликована в малочитаемом издании "Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете" (1875. Кн. 3).

И Спаситель о самарянинах... — Лк. 10,25—37.

"Наши новые христиане" — Леонтьев К. Н. Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой: По поводу речи Ф. М. Достоевского на празднике Пушкина и повести гр. Толстого "Чем люди живы?". М., 1882.

"От Климентия Зедергольма, иеромонаха Оптиной пустыни" — Впервые: Русский вестник. 1879. № 11—12. Отд. изд. М., 1882.

С. 258. *Мытарь... в вековечной притче...* — Лк. 18,9—14.

"Эти бедные селенья..." — Здесь и далее Розанов цитирует одноименное стихотворение Ф. И. Тютчева (1855).

...слова Леонтьева — об Алкивиаде. — В статье И. Фуделя (Русское обозрение. 1895. № 1) приводятся слова К. Леонтьева, относящиеся не к Алкивиаду, а к Юлию Цезарю.

С. 259. *Письма... его к г. Губастову, печатавшиеся около двух лет в "Русском обозрении"*. — Письма К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову напечатаны: Русское обозрение. 1894. № 9, 11; 1895. № 11—12; 1896. № 1—3, 11—12; 1897. № 1, 3, 5—7.

...с долгом своим "кавасу Яни" — см.: Русское обозрение. 1897. № 3. С. 446, 447, 450, 455.

...любопытное его письмо-послание к Фету... — Леонтьев К. Н. Кстати и не кстати. Письмо А. А. Фету по поводу его юбилея // Гражданин. 1889. № 80, 81, 83.

С. 260. *Афродита земная, Афродита Небесная* — Противопоставление на основе двух версий происхождения Афродиты Урании ("небесной") и Афродиты Пандемос ("всенародной") принадлежит Платону (см.: "Пир", 180 d. 181 c). См. также объяснение этого противопоставления самим Розановым в его книге "Люди лунного света. Метафизика христианства" (Спб., 1911): Розанов В. В. В темных религиозных лучах. М., 1994. С. 310.

КАТКОВ "КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК"

Впервые: Биржевые ведомости. 1897. 17 октября. № 283.

С. 262. *...в юбилейном сборнике "Памяти М. Н. Каткова. 1887 — 20 июля — 1897 г."* — имеется в виду специальный мемориальный выпуск журнала "Русский вестник" (1897. № 8).

С. 264. *Н. Любимов в книге своей...* — Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга. По документам и личным воспоминаниям Н. А. Любимова. Спб., 1882.

С. 265. *"Град Божий"* — Трактат "О граде Божием" ("De civitate Dei") Аврелия Августина написан между 412 и 426 гг. под впечатлением взятия Рима

готами Алариха. В нем земной государственности противопоставлена идеальная духовная общность людей, основанная на любви к Богу.

Иаков тоже стал хромать... — Быт. 32, 24—32.

С. 266. *"Савойский викарий"*. — В роман Ж. Ж. Руссо "Эмиль, или О воспитании" (1762) включена "Исповедь савойского викария", являющаяся изложением религиозного кредо самого Руссо, так называемой естественной религии.

"Confessions" которого так напоминают... "Confessions" Августина. — Розанов неверно передает оригинальные транскрипции заглавий этих произведений, унифицируя их до полной схожести: французское написание заголовка "Исповеди" (1766—1770) Руссо — "Confession", латинское "Исповеди" Августина — "Confessiones".

...без Руссо не было бы революции. — При посещении могилы Руссо в Эрменонвиле Наполеон сказал С. Жирардену: "Было бы лучше для спокойствия Франции, если бы этот человек не существовал. Это он подготовил революцию" (см.: Girardin S. Discours et opinions, journal et souvenirs. P., 1828. Т. 3. P. 190).

"Ветхий деньми" — одно из именовании Бога в Библии. См.: Дан. 7.

"...Из пламя и света..." — М. Ю. Лермонтов. "Есть речи — значенье..." (1839).

С. 267. *...герой Ла-Манча* — главный персонаж романа М. де Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (1605—1615).

...взыскуемый град — Евр. 13,14. См. эпиграф к настоящей статье Розанова.

...я из тебя эту мистику-то выбью. — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. I. Кн. 3. Гл. VIII.

...гиппотам Иова — Иов. 40, 10—19.

ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ "КРИЗИС"

Впервые: Новое время. 1897. 23 сентября. № 7749; под названием "Литературно-экономический кризис".

С. 268. *...устои", "власть земли"*. — Розанов обыгрывает названия романа Н. Н. Златовратского "Устой. История одной деревни" (1878—1883) и цикла деревенских очерков Г. И. Успенского "Власть земли" (1882).

С. 269. *"Русская Правда"* — свод древнерусского права, первые списки которого относятся к XIII в.

С. 270. *пелазги* — одно из древнейших догреческих племен в Восточном Средиземноморье, от которого не сохранилось остатков материальной культуры.

...закопавшиеся у нас на юге раскольники-сектанты. — Имеются в виду самозакапывания сектантов в терновских плавнях в Бессарабии в декабре 1896 — феврале 1897 г. Об этом случае рассказано в книге Розанова "Темный Лик. Метафизика христианства" (Спб., 1911) — см.: Розанов В. В. В темных религиозных лучах. М., 1994. С. 192—252.

С. 271. *В августовской книжке... "Нового слова" за 1897 г...* — цитируется статья "Из Тифлиса" за подписью "Эль", посвященная итогам выборов в тифлисскую городскую думу.

С. 272. *"к вящей славе Божией"* — девиз ордена иезуитов, основанного в 1540 г.

"дыхание жизни" — Быт. 2,7.

С. 273. *...галлы, описанные Цезарем...* — Имеются в виду "Записки о галльской войне" Гая Юлия Цезаря.

С. 274. *Фирма "Домби и сын"* — из романа Ч. Диккенса "Домби и сын" (1848). *"Какой волшебный блеск!.."* — слова Барона из трагедии А. С. Пушкина "Скупой рыцарь" (1830).

"Бес благородный скуки тайной". — Н. А. Некрасов. "Отраднo видеть, что находит..." (1845).

С. 275. ...община, исчезающая в Германии при Таците... — Географо-этнографический трактат "Германия", описывающий в том числе общественное устройство древних германцев, написан Публием Корнелием Тацитом в 98 г. н. э.

"Судебные уставы" Александра II — имеется в виду судебная реформа 1864 г.

"Мы все учились понемногу..." — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I, 5.

С. 276. ...на "малых сих" — Мф: 18,6; Мк. 9,42.

"катедэр-социалисты" — ("социализм с профессорской кафедры") ироническое название немецкого направления в политэкономии в 60—70-х гг. XIX в. (Г. Шмоллер, Л. Brentано, А. Вагнер и др.), выступавшего за мирный переход от капитализма к социализму путем реформ сверху.

...воспоминания о нем Лафарга. — Перевод "Личных воспоминаний о Карле Марксе" П. Лафарга, впервые опубликованных в журнале "Die Neue Zeit" (Stuttgart. Jg. IX. 1890—1891. Bd 1), был напечатан в "Новом слове" в № 11 (август) за 1897 г.

О ДОСТОЕВСКОМ

Впервые: предисловие к первому тому Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. Бесплатное приложение к журналу "Нива". Спб., 1894. С. V—XXIV; под названием "Ф. М. Достоевский (Критико-биографический очерк)". Вместо третьего раздела в первоначальном тексте находилось описание биографии Достоевского.

С. 280. "Чем ночь темней..." — из стихотворения Ап. Н. Майкова "Не говори, что нет спасенья..." (1878) в цикле "Из Аполлодора Гностика".

Он кончил "Дневником Писателя". — Ф. М. Достоевский создавал свой "Дневник писателя" с 1873 по 1881 г. Первоначально появляясь в течение всего 1873 г. в журнале "Гражданин", с 1876 г. "Дневник" выходил отдельными ежемесячными выпусками как самостоятельное издание. Его выпуск прекращался только во время работы Достоевского над "Братьями Карамазовыми". Последний выпуск "Дневника" появился 28 января 1881 г., на другой день после смерти Достоевского.

С. 281. "его история должна бы составить новый роман..." — перефразировка концовки Эпилога "Преступления и наказания" Ф. М. Достоевского.

изображение будущего атеистического состояния людей... — Ф. М. Достоевский. Подросток. Ч. 3. Гл. 7. § III.

С. 284. "Сон смешного человека" (в "Дневнике писателя"). — Рассказ был впервые опубликован в апрельском выпуске "Дневника писателя" за 1877 г.

"Pro и Contra" — заглавие книги пятой второй части романа "Братья Карамазовы", куда входит и глава "Великий инквизитор".

С. 285. "едва имея силы добраться до эстрады, упал без чувств". — О таком эпизоде после произведения Ф. М. Достоевским своей речи на Пушкинском празднике 1880 г. рассказывает Н. Н. Страхов в "Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском". См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Спб., 1883. Т. 1. С. 310.

"ВЕЧНО ПЕЧАЛЬНАЯ ДУЭЛЬ"

Впервые: Новое время. 1898. 24 марта. № 7928.

С. 287. ...г. Мартынов... определяет... — имеется в виду статья С. Н. Мартынова "История дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым" в указанном Розановым номере "Русского обозрения".

...писал кн. Васильчиков — имеется в виду статья А. И. Васильчикова "Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым" (Русский архив. 1872. № 1).

С. 288. ...это о ней были написаны знаменитые его стихи. — Считается, что стихотворение М. Ю. Лермонтова "Молитва" (1837) относится к Варваре Лопухиной.

"Воспоминание о дуэли и смерти Лермонтова" — Шан-Гирей Э. А. Воспоминания о Лермонтове и о предсмертном его поединке // Русский архив. 1889. № 6.

Дуэль Лермонтова с Барантом — Дуэль М. Ю. Лермонтова с сыном французского посла Э. де Барантом состоялась 18 февраля 1840 г. Розанов неточно описывает ее последовательность: противники сначала дрались на шпагах, шпага Лермонтова переломилась, и он был ранен в руку. Затем перешли на пистолеты: Барант промахнулся, Лермонтов выстрелил в воздух.

...Гоголь написал "другу" Погодину... — имеется в виду записка Н. В. Гоголя М. П. Погодину в апреле 1842 г. в ответ на просьбу того разрешить напечатать в "Москвитяине" несколько глав "Мертвых душ".

С. 289. ...на открытии памятника Пушкину в Москве... — Открытие памятника Пушкину работы А. М. Опекушина и связанные с этим празднества происходили в Москве 6—8 июня 1880 г. В рамках торжеств с речами выступили Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, А. Н. Островский.

С. Т. Аксаков, в пространных литературных воспоминаниях... — имеется в виду сочинение С. Т. Аксакова "История моего знакомства с Гоголем" (полностью впервые — Русский архив. 1890. № 2), где рассказано о чтении Лермонтовым отрывка из "Мцыри" на именинах Гоголя 9 мая 1840 г., а также приведена оценка Лермонтова Гоголем.

Гоголь... проходит лишь упоминанием Лермонтова... — Н. В. Гоголь в "Выбранных местах из переписки с друзьями" (1847) дает краткую характеристику творчества Лермонтова в главе XXXI книги. Разборы произведений Н. М. Языкова см. в главах X, XV, XXXI.

Л. Толстой в начале "Казаков"... — имеется в виду конец второй главы повести.

Достоевский... вызывает несомненную нелюбовь... — имеется в виду "Дневник писателя за 1877 год". Декабрь. Гл. 2. § 2.

С. 290. ... "незримые слезы" — слова Н. В. Гоголя из 7-й главы "Мертвых душ" ("видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы").

...движение от Петра и до себя. — Ср. запись в первом коробе "Опавших листьев" В. В. Розанова (Спб., 1913): "Пушкин и Лермонтов кончили собою всю великолепную Россию от Петра и до себя".

"Летопись села Горохина" — под таким названием вследствие цензурных препятствий впервые была опубликована в журнале "Современник" (1837. Т. 7) "История села Горюхина" (1830) А. С. Пушкина.

Страхов... доказывает, что у него вовсе не было "новых форм". — Страхов Н. Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. Спб., 1888. С. 37—41.

...власть заклинать демонические стихии природы человеческой"... — См. третий раздел статьи первой из цикла "Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина" (Русское слово. 1859. № 2) А. А. Григорьева.

...дав "сюжеты" "Мертвых душ" и "Ревизора" Гоголю... — См. слова самого Н. В. Гоголя в "Авторской исповеди" (1847): Пушкин "отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет "Мертвых душ" (мысль "Ревизора" принадлежит также ему)".

Взгляд А. Григорьева, Страхова и Ив. С. Аксакова — Об этом см.: Рейсер С. "Все мы вышли из гоголевской "Шинели" (История одной легенды) // Вопросы литературы. 1968. № 2; Бочаров С., Манн Ю. "Все мы вышли из гоголевской "Шинели" // Там же. 1968. № 6.

С. 291. ...размышления раненого на Аустерлицком поле князя Болконского — Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. I. Ч. 3. Гл. XVI, XIX.

"В дымяных тучках пурпур розы" — А. А. Фет. "Шепот, робкое дыханье..." (1850).

"Но я без страха жду довременный конец..." — М. Ю. Лермонтов. "Не смейся над моей пророческой тоскою..." (1837).

"Есть миры иные"... — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. 2. Кн. 6. Гл. III.

"И вижу я себя ребенком; и кругом..." — Здесь и далее Розанов цитирует стихотворение М. Ю. Лермонтова "Как часто, пестрою толпою окружен..." (1840), эпиграфом которому служит дата: "1-е января".

"Не хочу я уезжать за границу..." — слова Свидригайлова из романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" (Ч. 4. Гл. 1).

... "косые лучи" — См.: Подросток. Ч. 3. Гл. 7. § II. Сквозной образ лучей заходящего солнца у Достоевского исследуется в статье: Дурылин С. Н. Об одном символе у Достоевского // Достоевский: Сб. статей. М., 1928. С. 163—169.

С. 292. " — Видели вы лист?... " — разговор Ставрогина и Кириллова из романа Ф. М. Достоевского "Бесы" (Ч. 2. Гл. 1. § V).

"Засох и увял он от холода..." — М. Ю. Лермонтов. Листок (1841).

С. 293. "Посыпал пеплом я главу..." — Здесь и далее Розанов цитирует стихотворение М. Ю. Лермонтова "Пророк" (1841).

...повторен... проф. Градовским — имеется в виду статья А. Д. Градовского "Мечта и действительность" (Голос. 1880. 25 июня. № 174) о речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике. Достоевский ответил на критику в третьей главе "Дневника писателя" за август 1880 г.

"Пророка" (заимствованного)... — В основе стихотворения А. С. Пушкина "Пророк" (1826) лежат мотивы 6 главы библейской книги пророка Исаи.

"Дам тебе я на дорогу..." — М. Ю. Лермонтов. Казачья колыбельная песня (1838). ...в заключительной главе этого романа... — Речь идет о предпоследней главе (см.: Ф. М. Достоевский. Бесы. Ч. 3. Гл. 7. § II).

С. 294. ...предсмертному сну Свидригайлова... — Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Ч. 6. Гл. VI.

...иторы опущены..." — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей (1840).

С. 295. "Ночевала тучка золотая..." — М. Ю. Лермонтов. Утес (1841).

"Мучительный, ужасный крик" — М. Ю. Лермонтов. Демон. Ч. II. Гл. XI.

"Ревет ли зверь..." — А. С. Пушкин. Эхо (1831).

... "через него всякий становится умнее, кто способен поумнеть" — слова из "Застольного слова о Пушкине", произнесенного А. Н. Островским 7 июня 1880 г. на обеде, устроенном Обществом любителей российской словесности по случаю открытия памятника Пушкину в Москве (Вестник Европы. 1880. № 7).

С. 296. Хорег — у древних греков: постановщик хорových или драматических представлений. Мистагог — жрец, ведущий мистерии.

"Если б знал ты Виргинию нашу..." — М. Ю. Лермонтов. "Это случилось в последние годы могучего Рима..."

С. 297. "Сквозь туман кремнистый путь блестит..." — М. Ю. Лермонтов. "Выхожу один я на дорогу..." (1841).

"Дальше: вечно чуждой тени..." — М. Ю. Лермонтов. Спор (1841).

"И снился мне сияющий огнями..." — М. Ю. Лермонтов. Сон (1841).

С. 298. "Умереть — уснуть..." — У. Шекспир. Гамлет, принц Датский. Акт III. Сц. 1.

"Я б хотел забыться и заснуть..." — М. Ю. Лермонтов. "Выхожу один я на дорогу..." У Лермонтова — "дремали жизни силы".

"И пусть у гробового входа..." — А. С. Пушкин. "Брожу ли я вдоль улиц шумных..." (1829).

... "персть" — земной прах, материя, противоположная духу. См. в церковнославянском тексте Библии: "Созда Бог человека, персть взем от земли" (Быт. 2,7).

... "клейких весенних листочков" — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. 2. Кн. 5. Гл. III.

... "в загорелых солдатских спинах"... — Речь идет о сцене купания солдат в "Воине и мире" Л. Н. Толстого (Т. 3. Ч. 2. Гл. 5).

...*"толстой шее, на которую..."* — Л. Н. Толстой. Анна Каренина. Ч. 5. Гл. XV.

"Устами праздными вращаем имя Бога" — А. С. Пушкин. Анджемо (1833). Ч. II. 2.

С. 299. *В этом последнем году им написано...* — Список Розанова не совсем точен: в него попали и более ранние произведения Лермонтова — "Не смейся над моей пророческой тоскою..." (1837), "Есть речи — значение..." (1839), "Сказка для детей" (1840); и произведения с неизвестной датой написания — "Из-под таинственной, холодной полумаски", "Это случилось в последние годы могучего Рима..."

50 ЛЕТ ВЛИЯНИЯ

Впервые: Новое время. 1898. 26 мая. № 7988. То же. Русское обозрение. 1898. № 5. С. 273—282.

С. 300. *Перистиль* — окруженный с четырех сторон крытой колоннадой прямоугольный двор.

"Удивляюсь я..." — о восприятии Белинского в провинции см.: Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1892. Т. 3 (письмо к родителям 9 октября 1856 г.).

...ездившего в пятидесятых годах изучать малороссийские ярмарки... — В 1853—1854 гг. по заданию Русского географического общества И. С. Аксаков изучал экономические отношения на Украине. Результаты своих наблюдений он суммировал в книге "Исследование о торговле на украинских ярмарках" (СПб., 1858).

С. 301. *"обвенчаемся тихо, и пешком пойдем домой"*. — Письма В. Г. Белинского М. В. Орловой печатались в "Русских ведомостях" (1895. № 163, 185) и в сборнике "Почин" (М., 1896). Розанов неточно передает содержание письма 1 октября 1843 г.

...Белинский принимал самое деятельное участие... — В. Г. Белинский не имел прямого отношения к напечатанию "Философического письма" П. Я. Чаадаева (Телескоп. 1836. № 15), но как ведущий сотрудник журнала, часто замещавший Н. И. Надеждина (и с августа 1834 г. живший у него на квартире), после закрытия "Телескопа" 22 октября 1836 г. был доставлен к московскому обер-полицеймейстеру.

"О чем, бишь, "Нечто"?.. Обо всем..." — слова Репетилова из комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" (IV, 4).

"Дух веет идеже хочет". — Ин. 3, 8.

С. 302. *...в 12-ти томах солдатенковского издания его "сочинений"...* — Сочинения В. Г. Белинского. М., К. Солдатенков и Н. Щепкин. 1859—1862. Ч. 1—12.

...за опубликование которых общество особенно должно быть благодарно г. Пытину... — *Пытин А. Н.* Белинский, его жизнь и переписка. СПб., 1876. Т. 1—2. Впервые: Вестник Европы. 1874—1875.

С. 303. *...точка зрения Страхова* — имеется в виду один из разборов Н. Н. Страховым "Войны и мира" Л. Н. Толстого: Заря. 1869. № 2.

С. 304. *Гончаров в обширной статье...* — имеются в виду "Заметки о личности Белинского". Впервые: *Гончаров И. А.* Четыре очерка. СПб., 1881.

...переписку коих живописует... кн. Мещерский. — *Мещерский В. П.* Письма отца к сыну (старого правоведа к новому) и сына (министра) к отцу (из прошлого). СПб., 1897.

...к одному другу-юноше на Кавказ... — по-видимому, имеется в виду письмо Белинского из Пятигорска Д. П. Иванову 7 августа 1837 г.

"Бородинская годовщина" — статья В. Г. Белинского (Отечественные записки. 1839. № 10) так называемого периода "примирения с действительностью".

"Литературные мечтания" — первое крупное критическое сочинение В. Г. Белинского (1834).

...до последних годовых обзоров... — Годовые обзоры русской литературы В. Г. Белинского систематически появлялись в "Отечественных записках", начиная с января 1841 г. ("Русская литература в 1840 г.") до 1846 г., а затем в "Современнике": "Взгляд на русскую литературу 1846 года" (1847. № 1) и "Взгляд на русскую литературу 1847 года" (1848. № 1, 3).

Он не уважал "Горе от ума" за его публицистический характер... — В статье "Горе от ума" (Отечественные записки. 1840. № 1) В. Г. Белинский писал: "Художественное произведение есть само себе цель и вне себя не имеет цели, а автор "Горя от ума" ясно имел внешнюю цель — осмеять современное общество в злой сатире и комедию избрал для этого средством... "Горе от ума" — сатира, а не комедия: сатира же не может быть художественным произведением".

...он преклонился перед "равнодушием к действительности" Гете... — имеется в виду статья В. Г. Белинского "Менцель, критик Гете" (1840).

С. 305. ... "скорбью ангела некогда загорится русская литература" — начало заключительной фразы XXXI главы "В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность" "Выбранных мест из переписки с друзьями" Н. В. Гоголя.

... "у — Русь! чего ты хочешь от меня?..." — Здесь и далее цитируется поэма Н. В. Гоголя "Мертвые души" (гл. 11).

"Постигнуть я притом не могу..." — слова Мити из романа Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" (Ч. 1. Кн. 3. Гл. III).

... "пленной мысли раздражение" — М. Ю. Лермонтов. "Не верь себе..." (1839).

С. 306. ... "труждающихся и обремененных" — Мф. 11, 28.

С ЮГА

Вошедшие в раздел статьи вызваны поездкой Розановых на Кавказ с целью пользования кисловодскими ваннами для поправления здоровья Варвары Дмитриевны. Розанов выехал из Петербурга 1 июня 1898 г. и вернулся в начале августа.

1. Около болящих

Впервые: Биржевые ведомости. 1898. 15 сентября. № 251.

С. 308. ... "и вот будет некогда..." — Откр. 8, 10—11.

— "Равви, если ты Сын Божий..." — Ин. 9, 2—7.

"О, Боже — могила и вера страшна". — А. В. Кольцов. Молитва (дума) (1836).

"слова, слова, слова" — У. Шекспир. Гамлет, принц Датский. Акт II. Сц. 2.

... "всяческая и во всем". — 1 Кор. 15, 28.

С. 309. ... "талифа куми" — "и девица вста". — Мр. 5, 41—42.

"Мысль течет из мозга, как урина из почек" — слова К. Фохта (Фогта) из книги "Наивная вера и наука" (1854).

Силоамская купель — купальня при Силоамском источнике в Иерусалиме, вода которого считалась священной. В евангельском эпизоде об исцелении слепорожденного, цитированном Розановым, Иисус посылает больного в силоамскую купальню (Ин. 9, 7).

С. 310. ... "милостивого самарянина" — Лк. 10, 30—35.

У Иова было семь сыновей... имел еще четырнадцать. — Иов. 1, 2; 42, 13.

"Смерть, где твое жало?" — Ос. 13, 14; 1 Кор. 15, 55.

С. 311. "Се, жених грядет в полунощи..." — Мф. 25, 6; Триодь постная. Тропарь на утрене понедельника, вторника и среды Страстной седмицы.

"Младенца ль милого ласкаю..." — А. С. Пушкин. "Брожу ли я вдоль улиц шумных..."

"Лысый, с белой бородою..." — И. С. Никитин. Дедушка (1857—1858).

С. 312. "Аз есмь Альфа и Омега..." — Откр. 1,8,17.

... "тихого ветра" — 3 Цар. 19,12.

Лиза Калитина, с бессмертным ее выражением... — имеются в виду слова героини романа И. С. Тургенева "Дворянское гнездо" (1858) Лизы Калитиной: "Христианином нужно быть не для того, чтобы познавать небесное там... земное, а для того, что каждый человек должен умереть" (гл. XXVI).

2. В Кисловодском парке

Впервые: Новое время. 1898. 14 июля. № 8037; в качестве первой главки очерка "С юга". Название дано при переиздании в "Литературных очерках".

С. 313. "...сих есть царство небесное" — Мк. 10,14.

С. 315. ...*деятельнейший и даровитейший попечитель учебного округа...* — имеется в виду К. П. Яновский, управлявший Кавказским учебным округом с 1878 по 1899 г.

... "воскресающих Лазарей"... — Ин. 11,1—44.

С. 316. "...не в силе Бог, а в правде". — Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра (XIII в.).

С. 317. ...*проведа через Ходобая и глаголы на "ци"*... — ...имеется в виду учебник латинской грамматики Ю. Ю. Ходобая.

3. "Горе от ума"

Впервые: Новое время. 1898. 24 июля. № 8047; в качестве второй главки очерка "С юга".

С. 318. *Имя Грибоедова связано по трагической кончине с Кавказом...* — А. С. Грибоедов был убит во время волнений в Тегеране 30 января 1829 г., будучи министром-резидентом при персидском шахе. Тело Грибоедова было доставлено из Тегерана в Тифлис и погребено на горе Мтацминда.

С. 319. ...*еще в рукописи... разошлась и выучилась всею читающею Россией...* — По цензурным соображениям, при жизни Грибоедову удалось напечатать только отрывки из "Горя от ума" (7—10 явления первого действия и третье действие в альманахе "Русская Талия на 1825 год"), но полемика по поводу комедии на страницах большинства журналов побудила к быстрому распространению ее в бесцензурных списках. Первое издание пьесы со значительными пропусками появилось в 1833 г.

"Карету мне, карету..." — Горе от ума. IV, 14.

С.320. "...искать, где оскорбленному есть чувству уголок" — Там же.

коллизии расхождения между равно близкими родными... — После смерти матери М. Ю. Лермонтова в 1817 г. между его отцом и бабушкой разгорелся спор о том, кто станет воспитывать ребенка, в результате которого мальчик остался на попечении бабушки.

...*исполненного какого-то недоумения положения...* — После свадьбы с Н. Н. Гончаровой в феврале 1831 г. А. С. Пушкин вошел в большие долги частным лицам и правительству, испытывал вражду со стороны петербургской аристократии. Унизительное положение было подчеркнуто дарованным Николаем I придворным званием камер-юнкера, дававшимся обычно молодым людям.

...*расхождения между страданием и любовью к тому...* — имеется в виду роман Ф. М. Достоевского с А. П. Суловой, ставшей позднее первой женой Розанова.

...*расхождения между своим громадным умом и не пройденною... отвергаемую школою...* — Л. Н. Толстой проучился в Казанском университете три года

и в апреле 1847 г. подал прошение об отчислении из-за недовольства казенной системой образования.

"Грибоедов, конечно, умен, но не умен — Чацкий" — измененные слова из письма А. С. Пушкина П. А. Вяземскому 28 января 1825 г.

"да как черна, да как страшна..." — слова Хлестовой: Горе от ума. III, 10.

С. 321. "...вот именно такая-то (имя и отчество), которая..." — вольное изложение слов из романа Л. Н. Толстого "Война и мир" (Т. 3. Ч. 3. Гл. 5).

"ба! знакомые все лица..." — Горе от ума. IV, 14.

"...чтоб иметь детей, кому ума не доставало..." — Горе от ума. III, 3.

"Земля и дети" — четвертый раздел в четвертой главе "Дневника писателя" Ф. М. Достоевского за июль—август 1876 г.

...Панишину, так удачливо начавшему ухаживанье... — И. С. Тургенев. Дворянское гнездо. Гл. 40.

С. 322. ...Алматыч едет в Смоленск... — Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. 3. Ч. 2. Гл. 4.

...земля"... которую... собирался "пахать" Лаврецкий. — И. С. Тургенев. Дворянское гнездо. Гл. 33.

"Контузился — затылком или в спину?" — Розанов неточно передает слова Скалозуба после падения Молчалина: "Взглянуть, как треснулся он — грудью или в бок?" (Горе от ума. II, 7).

"дистанция огромного размера" — Горе от ума. II, 5.

...ужимок во время ее обморока... — Горе от ума. II, 8.

...гляденья в дверь, когда она выходит из гостиной. — Горе от ума. I, 9. Начальная ремарка.

С. 323. "А ты, с которой был срисован..." — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 51.

"...степеней известных" — Горе от ума. I, 7.

...монолог Чацкого о "французике из Бордо"... — Горе от ума. III, 22. Слово о "прекрасной нашей до Петра одежде" там нет.

"Исторические думы" — 21 из написанных К. Ф. Рылсеевым 25 дум (1821—1823) вышли отдельным изданием в кн. "Думы" (М., 1825).

В самом конце "Войны и мира"... — имеется в виду: Эпилог. Ч. I. Гл. XIV.

Ведь тот был сын екатерининского вельможи... — См. у Л. Н. Толстого: "Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова" (Война и мир. Т. 1. Ч. 1. Гл. 2).

С. 324. "...жил при дворе..." — Горе от ума. II, 2.

В "Миллионе терзаний" Гончаров... — Розанов приблизительно воспроизводит характеристику Софьи в статье И. А. Гончарова "Миллион терзаний" (Вестник Европы. 1872. № 3), посвященной постановке "Горя от ума" в Александринском театре в 1871 г.

"для образца слога" — Намек на слова Молчалина: "Слог его здесь ставят в образец!" (Горе от ума. III, 3).

"Один Молчалин — мне не свой..." — Горе от ума. II, 5.

"на куртаге случалось оступиться" — Горе от ума. II, 2.

С. 325. "...стонет сизый голубочек" — одноименное стихотворение (1792) И. И. Дмитриева.

"тенец гнезда Петрова" — А. С. Пушкин. Полтава. III.

Чертопханов — герой рассказов И. С. Тургенева "Чертопханов и Недопюскин". (1849) и "Конец Чертопханова" (1872) из "Записок охотника". "Гамлет Щигровского уезда" — герой одноименного рассказа (1849) из "Записок охотника".

С. 326. ...он стал растаскивать у "долгополых" персияшек их жен... — В Тегеране А. С. Грибоедов дал приют в русской миссии двум армянкам из гарема зятя шаха Алаяр-хана, что привело к истреблению миссии персами.

"войди к женам отца твоего". — 2 Цар. 16, 21.

...вырезаны прекрасные слова... — Н. А. Грибоедова воздвигла в 1833 г. на могиле мужа памятник, на котором была надпись: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?"

4. Военно-Грузинская дорога

Впервые: Новое время. 1898. 2 сентября. № 8087; в качестве третьей главки очерка "С юга".

С. 327. *Если бы, как у Поликрата, у меня был дорогой перстень...* — имеется в виду эпизод из "Истории" Геродота (Кн. 2. 39—43), легший в основу баллады Ф. Шиллера (русский перевод В. А. Жуковского).

С. 329. *"...через те скалы..."* — М. Ю. Лермонтов. Спор.

С. 330. *"20-е число"* — по двадцатым числам месяца российские чиновники получали жалованье.

Поэа — маркиз Поэа, персонаж драмы Ф. Шиллера "Дон Карлос" (1783—1787).

"Моего вы знали ль друга?..." — У. Шекспир. Гамлет. Пер. Н. Полевого.

... "страх, что будет там?" — У. Шекспир. Гамлет. Акт III. Сц. 1.

С. 331. *"Космос"* — четырехтомный трактат (1845—1858) немецкого естествоиспытателя и географа Александра Гумбольдта.

С. 333. *...для природного костромича...* — Розанов родился в г. Ветлуге Костромской губернии, а в 1861 г., после смерти отца, переехал с семьей в Кострому, где прожил до 1870 г.

О ПИСАТЕЛЯХ И ПИСАТЕЛЬСТВЕ

Частично статья публиковалась в "Новом времени". 1898. 22 сентября. № 8107 (раздел о Льве Толстом). Впервые опубликована полностью в первом издании "Литературных очерков". Заголовок предложен П. П. Перцовым.

С. 335. *"...да будет благословенно имя Господие"*. — Иов. 1, 21; Пс. 112, 2; Дан. 2, 20.

"Без веры в Бога, как же вы будете воспитывать детей?" — Л. Н. Толстой. Анна Каренина. Ч. 5. Гл. 1.

В последующих главах романа... — Там же. Гл. 4—6.

...радостное исповедание кн. Нехлюдова. — В гл. XXVII повести Л. Н. Толстого "Юность" описана молитва Нехлюдова, но, вероятно, Розанов имеет в виду исповеди Иртеньева (гл. VI, VIII).

С. 336. *Дрон* — персонаж романа Л. Н. Толстого "Война и мир", староста имения Богучарово.

...до двух братьев, офицера и прапорщика... — имеются в виду герои рассказа Л. Н. Толстого "Севастополь в августе 1855 года" братья Козельцовы, однако упомянутого Розановым эпизода в рассказе нет.

С. 337. *...купца ли на "Никите", "Никиты" ли — под купцом...* — имеются в виду герои рассказа "Хозяин и работник" (1895).

...в начавшемся в "Ниве" "Воскресении". — Роман Л. Н. Толстого "Воскресение" печатался в журнале "Нива" с № 11 (13 марта) по № 52 (25 декабря) 1899 г.

...ответ Каина Богу... — Быт. 4, 9.

С. 339. *...иль на Булгарина наступишь...* — коллективная стихотворная шутка В. Соллогуба и А. Пушкина "Коль ты к Смирдину войдешь...".

...сохрани мое Горе... — Отправляясь из Петербурга в свою последнюю поездку в Персию, Грибоедов подарил Булгарину авторизованный список своей комедии с собственноручной пометой на титульном листе: "Горе" мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов. 5 июня 1828".

"Ах, Боже мой! Что станет говорить..." — слова Фамусова из комедии "Горе от ума" (IV, 15).

...изречения о "горчичном зерне"... — Мф. 13, 31; Мк. 4, 31; Лк. 13, 19.

С. 341. *Спящий в гробе — мирно спи...* — В. А. Жуковский. Торжество победителей (1828).

С. 342. *Иных уж нет, а те далече...* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 51.

С. 343. *Званка Державина* — имение Г. Р. Державина Званка на реке Волхове, где он проводил каждое лето.

С. 344. *...два тома отвратительно-сероватого издания...* — имеется в виду: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. Сборник статей. М., 1885—1886. Т. 1—2.

"Жрецы ль у вас метлу берут?" — А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828).

С. 345. *Сочинения И. С. Аксакова изданы...* — Аксаков И. С. Соч. М., 1886—1887. Т. 1—7.

...статьи М. Н. Каткова, собранные в "полное собрание"... — Катков М. Н. Собрание передовых статей "Московских ведомостей" с 1863 по 1887 г. М., 1897—1898. Т. 1—25.

...полное собрание сочинений Ю. Ф. Самарина... — Самарин Ю. Ф. Соч. М., 1877—1911. Т. 1—10, 12.

"...буду тем любезен я народу..." — А. С. Пушкин. "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." (1836).

"Довлеет дневи злоба его" — Мф. 6, 34.

С. 346. *...составитель нашей первой Летописи записал...* — Розанов излагает легендарное сказание о пребывании апостола на местах будущих Киева и Новгорода из "Повести временных лет".

ПАМЯТИ УСОПШИХ

1. О. И. Каблиц (Юзов)

Впервые: Русское обозрение. 1893. № 11. С. 513—518.

С. 351. *...в селениях праведных, иде же несть болезнь, печаль и воздыхание...* — контаминация из православного последования по исходе души от тела.

2. Ю. Н. Говоруха-Отрок

Впервые: Русское обозрение. 1896. № 9. С. 386—395; как часть статьи "Вечная память" о Ю. Н. Говорухе-Отроке и Н. Н. Стракове.

С. 351. *...разбор ...литературной деятельности Тургенева...* — Николаев Ю. Тургенев. М., 1894.

...критический очерк произведений Вл. Короленко... — Николаев Ю. Очерки современной беллетристики. В. Г. Короленко. М., 1893.

...раскрытие ... музыки Некрасова... — Николаев Ю. Гражданская поэзия // Московские ведомости. 1896. 31 марта, 2, 6, 11 апреля. № 87, 89, 93, 99.

С. 352. *...была оттенена и обрисована ... Тургеневым* — имеется в виду рассказ И. С. Тургенева "Гамлет Щигровского уезда" (1849) из "Записок охотника".

С. 353. *...второго фельетона из двух, посвященных Антону Рубинштейну...* — имеются в виду две статьи Ю. Говорухи-Отрока в газете "Московские ведомости" по поводу книги А. Рубинштейна "Музыка и ее представители": "Искусство" (1891. 14 декабря. № 345) и "Сумерки богов" (1891. 21 декабря. № 352).

...в юности он принял участие в некотором массовом движении. — В 1874 г. Говоруха-Отрок был привлечен к "хождению в народ", участвовал в нескольких сходках, арестован, провел три года в тюрьме и был приговорен к ссылке.

Вопрос о гибели парохода "Русалка"... — имеется в виду броненосец береговой обороны "Русалка", погибший в 1894 г. при переходе из Либавы в Кронштадт.
Окончить жизнь — уснуть... — У. Шекспир. Гамлет, принц Датский. III, 1. С. 354. ... "путем и жизнью" — Ин. 14, 6.

3. Н. Н. Страхов

Впервые: Русское обозрение. 1896. № 10. С. 629—664.

С. 355. *"По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого"* — Русский вестник. 1895. № 8. С. 154—187.

"Вера и Разум" — богословско-философский журнал, издававшийся в Харькове с 1884 по 1916 г.

С. 356. *...в Евангелии сказано, что именно к Богу любовь...* — Мф. 22, 37—39. *"вложить палец"* — Ин. 20, 24—29.

С. 357. *...сообщений проф. Доробца.* — О своем исцелении от сикоза (воспаления кожи) приват-доцент Московского университета Н. К. Доробец рассказал в "Письме к издателю" (Московские ведомости. 1895. 12 октября. № 281). Розанов откликнулся на это статьей "Нечто об "излечениях" и о чудесном" (Русский вестник. 1896. № 1).

...в ряд "русских лгунов"... — "Русские лгуны" (1865) — цикл рассказов А. Ф. Писемского. Имеются в виду заключительные строки рассказа "Красавец".

С. 358. *...я переехал в Петербург, из ближайшего соседства к Татево...* — Стараниями друзей Розанов был перемещен по службе в петербургский Государственный контроль весной 1893 г., до этого с 1891 г. учительствуя в прогимназии г. Белый Смоленской губ. Живя в Белом, он неоднократно приезжал в имение Татево той же губернии, где "двадцать лет учил крестьянских ребят вышедший в отставку профессор Московского университета С. А. Рачинский" (Розанов В. В. Уголок Бессарабии // Новое время. 1913. 31 мая). См. также: Розанов В. В. С. А. Рачинский и его Татево // Новое время. 1902. 22 мая.

С. 360. *... "пшеницы и плевел"* — Мф. 13, 24—30.

убеди прийти — евангельское выражение (Лк. 14, 23), послужившее опорой в деятельности инквизиции.

С. 361. *...из "Дневника писателя" Достоевского...* — глава "Среда" в "Дневнике писателя" за 1873 г.:

...род "лукавый и прелюбодейный"... — Мф. 12, 39; Мф. 16, 4.

Спаситель повелел Петру — вложи меч в ножны... — Ин. 18, 11.

"Хладяющая любовь" — Мф. 24, 12.

"Свобода и вера" — Розанов В. В. Свобода и вера // Русский вестник. 1894. № 1.

...последующих статьях... — имеются в виду статьи В. В. Розанова: Ответ г. Владимиру Соловьеву // Русский вестник. 1894. № 4; Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической? // Русский вестник. 1894. № 7.

С. 362. *... "языческим философом"...* — имеется в виду Аристотель, разработавший силлогистику в своем "Органоне".

... "же можуху" — Тропарь Преображения Господня. Глас 7-й.

С. 363. *...понуждал Спаситель "выйти торгующих из храма"* — Мф. 21, 12; Мк. 11, 15; Лк. 19, 45; Ин. 2, 14.

С. 364. *"Математические начала натуральной философии"* — основной труд (1687) И. Ньютона.

...у г. Никольского, автора обширных посмертных статей... — см.: Никольский Б. В. Н. Н. Страхов. Критико-биографический очерк. Спб., 1896.

С. 365. *...помнит... по Одесской гимназии...* — Н. Н. Страхов в 1851 г. был учителем во 2-й одесской гимназии.

С. 368. *...статья моя была содержательна* — речь идет о статье Н. Н. Страхова "Заметки о Тэне" (Русский вестник. 1893. № 4), упомянутой в библио-

графическом обзоре Я. Н. Колубовского в приложении к "Вопросам философии и психологии" (1895. № 3. Май).

...статьей о "Хозяине и работнике" в "Вестнике Европы"... — статья Л. Слонимского "Новый рассказ гр. Л. Н. Толстого" (Вестник Европы. 1895. № 5).

...несколько грубых упреков за "хозяина"... — имеется в виду статья Розанова "По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого".

С. 370. ...стихотворение гр. Голенищева-Кутузова — А. А. Голенищев-Кутузов. Майский день (Русский вестник. 1896. № 1).

С. 371. ...как это заметил уже Аристотель. — Аристотель. О душе. Ч. II, гл. 2.

С. 372. "Приманивать изысканным убором..." — Е. А. Баратынский. "Не ослеплен я Музою моею..." (1829).

4. Ф. Э. Шперк

Впервые: Новое время. 1897. 13 октября. № 7769.

С. 376. ...он умер, едва достигнув 26 лет. — Ф. Э. Шперк родился в 1872 г. и в год смерти ему исполнилось 25 лет.

5. Я. П. Полонский

Впервые: Санкт-Петербургские ведомости. 1898. 22 октября. № 290.

С. 380. "Блажен незлобивый поэт..." — начальная строка стихотворения (1852) Н. А. Некрасова, ответом на которое стало стихотворение Я. П. Полонского "Блажен озлобленный поэт..." (1872).

С. 381. ...в "антологическом роде" — название одного из тематических циклов стихотворений А. Н. Майкова.

"Три смерти", "Два мира". — Драматическая поэма А. Н. Майкова "Три смерти" (1857) в переработанном виде вошла в трагедию "Два мира" (1872, 1881).

"Из зноستиков", "Из древних", "На родине" — имеются в виду тематические циклы стихотворений А. Н. Майкова "Из Аполлодора Гностика", "Подражания древним", "Дома".

"Кузнечик — музыкант" — аллегорическая сатирическая поэма (1859) Я. П. Полонского с подзаголовком "Шутка в виде поэмы".

С. 382. Ненавижу и люблю — цитата из Катулла. "Стихотворения". LXXXIII.

А. В. Панов

О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

В настоящем разделе завершается публикация статей и очерков, составивших отдельный том "О писательстве и писателях" Собрания сочинений В. В. Розанова (М., 1995).

По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого

Впервые: Русский вестник. 1895. № 8. С. 154—187. Появление этой статьи вызвало в газетах обвинение Розанова в "грубости": он обращался к Л. Н. Толстому на "ты". Розанов опубликовал в ответ "Необходимое разъяснение" (Русский вестник. 1895. № 10. С. 321—325), однако редакция журнала сделала существенные пропуски в его статье, и он был вынужден перепечатать ее полностью в другом журнале

с "Письмом в редакцию (По поводу "Необходимого разъяснения")" (Русское обозрение. 1895. № 11. С. 501—508). Изъясняя свою позицию и тон статьи о Толстом, в которой он упрекает писателя в страхе смерти, Розанов подчеркивает, что, если бы ему пришлось вновь писать о том же, он "не мог бы взять ни одного слова назад и не изменил бы ни одной черты в манере изложения".

С. 389. *"Блажен, кто с молодости был молод..."* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 10.

С. 399. *...не то оскверняет человека, что входит в его уста, но что из уст его выходит* — Мф. 15, 11.

С. 403. *...кто не потеряет душу свою ради Меня* — Мф. 16, 25.

Декаденты

Впервые: Русский вестник. 1896. № 4. С. 271—282 в качестве рецензии на сборники: Русские символисты. Спб., 1894—1895. Вып. 1—3. В "Письме в редакцию" журнала "Русское обозрение" (1896. № 9. С. 318—321) Розанов сообщает, что в "Русском вестнике" статья напечатана с пропусками, и публикует полный ее текст под названием "О символистах" (с. 322—334). Перепечатано под названием "О символистах и декадентах" в книге Розанова "Религия и культура" (1899). Печатается по: *Розанов В. В. Декаденты*. Спб., 1904 (серия "Критические этюды"), где текст незначительно сокращен П. П. Перцовым при подготовке книги Розанова "Религия и культура".

Эпиграфы взяты из стихотворения Д. С. Мережковского "Дети ночи" (1896) и из книги: *Потанин Г. Н. Тангутско-Тибетская окраина Китая и Центральная Монголия: Путешествие Г. Н. Потанина. 1884—1886*. Спб., 1893.

С. 410. *...15—20 лет назад...* — В первых публикациях статьи и в книге "Религия и культура" значилось: "10—12 лет назад".

В. Даров — псевдоним В. Я. Брюсова. Стихотворение напечатано в третьем выпуске сборника "Русские символисты" (М., 1895. С. 14).

Тень несозданных созданий... — Стихотворение Брюсова "Творчество" (1895), вошедшее в третий выпуск "Русских символистов", цитируется Розановым (как и в журнальных публикациях его статьи) с пропуском двух строк: "В звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски в звонко-звучной глубине".

С. 411. *Моя душа больна весь день...* — Стихотворение бельгийского поэта и драматурга М. Метерлинка (1862—1949) из его сборника стихов "Теплица" (1889) в переводе Брюсова из третьего сборника "Русские символисты" (с. 47) приводится (как и в журнальных публикациях статьи Розанова) с пропуском пятой строчки: "И под кнутом воспоминаний".

О, чудно нежная и страстная болезнь! — Стихотворение А. Н. Емельянова-Кохановского (р. 1871) "Монолог маньяка (Бред первый)" цитируется неточно по его книге: *Обнаженные нервы. Сборник стихотворений (посвящается Мне и Египетской царице Клеопатре)*. М., 1895. С. 71.

С. 412. *"О чем молишь, Светлый?"* — А. Добролюбов. *Natura naturans. Natura naturata*. Тетрадь № 1. Спб., 1895. С. 23.

О, закрой свои бледные ноги! — моностих В. Я. Брюсова из третьего выпуска "Русских символистов" (с. 13).

С. 413. *Французская выставка в Москве* — речь идет о выставке в мае 1891 г., в первом зале которой находилась описанная Розановым картина Гюстава Жаке "Любовная тоска" (Новый указатель Художественного отдела французской выставки в Москве в 1891 году. М., 1891. С. 7).

С. 414. *... "Русск. вестн.", 1894 г., ноябрь..* — Во всех прижизненных изданиях этой работы Розанова ошибочно указан ноябрь вместо октября 1894 г. Статья о Мопассане (псевдоним Н. Л-н остается нераскрытым) явилась откликом на издание Сочинений Мопассана в 12 томах (Спб., 1894). Речь в ней идет о рассказе

Мопассана "Бракоразводное дело" (1886, в новейших переводах — "Дело о разводе"). Курсив в цитатах из Мопассана принадлежит Розанову.

С. 415. ...*страстью к мраморной статуе*... — имеется в виду миф о Пигмалионе, влюбившемся в изваянную им статую девушки Галатеи, которую богиня Афродита, вняв его мольбам, оживила. Рассказ об этом содержится в "Метаморфозах" Овидия.

С. 416. *Кит Китыч* — так в комедии А. Н. Островского "В чужом пиру похмелье" (1856) называют купца-самодура Тита Титыча Брускова.

...*"плодитесь, размножайтесь..."* — Быт. I, 28.

...*"что Бог сочетал — человек да не разлучает"* — Мф. 19, 6.

С. 417. ...*Петрарка смотрел на непонятный текст?* — Очевидно, Розанов почерпнул сведения об этом из книги: *Фойгг Г. Возрождение классической древности, или Первый век гуманизма*. М., 1884. Т. 1. С. 49. Книгу Гомера на греческом языке Петрарка получил в подарок от претора Романьи Николаса Синероса, грека по происхождению, которому в письме в январе 1354 г. рассказывал, как "обнимал" книгу Гомера (сведения получены от Р. И. Хлодовского, которого составитель комментариев благодарит за консультацию).

С. 419. "*Зоратустра*" — имеется в виду книга Фр. Ницше "Так говорил Заратустра" (1883—1885).

Заметка о Пушкине

Впервые: Мир искусства. 1899. Т. 2. № 13—14. С. 1—10 (цензурное разрешение — 28 мая 1899 г.). Фактическая сторона этой статьи вызвала нарекания Вл. С. Соловьева (Особое чествование Пушкина // Вестник Европы. 1899. № 7. С. 432—440). Гоголь переехал в Петербург в декабре 1828 г. Знакомство его с Пушкиным состоялось 20 мая 1831 г. на вечере у П. А. Плетнева.

С. 420. "*Нет, всю ночь играл в карты*" — Анненков П. В. Материалы для биографии Пушкина. М., 1855. С. 368—369.

С. 421. *Бываю тягостные ночи...* — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель (1840).

"Как же мне писать хочется" — *Сергеенко П. А.* Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. М., 1898. С. 50.

С. 423. "*Его никто не знал*" — С. Т. Аксаков в "Письме к друзьям Гоголя" (Московские ведомости. 1852. 13 марта) писал: "Гоголя как человека знали весьма немногие". Ту же мысль Аксаков повторил в статье "Несколько слов о биографии Гоголя" (1853) и в незаконченной "Истории моего знакомства с Гоголем".

"Меня сон так и клонит..." — Н. В. Гоголь. Страшная месть, гл. 4.

"Едва я вошел в камеру (острог)..." — пересказ из второй главы "Записок из Мертвого дома" Достоевского.

...и язык лепечет громко, без сознания... — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель.

С. 424. ...*эти три*. — Как отметил В. С. Соловьев (в указанной статье "Особое чествование Пушкина"), Розанов противопоставляет Пушкину четырех писателей (Гоголя, Лермонтова, Достоевского и Толстого), но, "называя всех четырех, то вместе, то порознь, Розанов упорно считает их тремя: "эти три", "те три".

Восторг внезапный ум пленил... — начало "Оды на взятие Хотина 1739 года" М. В. Ломоносова.

...не в эту ли и не об этой ли самой ночи Лермонтов написал... — В. С. Соловьев, пародируя Розанова, пишет в той же статье "Особое чествование Пушкина": "Чем обогащается ум и сердце при замечании, что в ту ночь, когда Пушкин играл в карты, Лермонтов, может быть, написал стихотворение "Выхожу один я на дорогу"? Как единичное сопоставление, это было бы так же малоинтересно, как и то, что, когда Пушкин писал "Роняет лес багряный свой убор",

Гоголь, может быть, строил гримасы какому-нибудь своему нежинскому профессору, а Лермонтов бегал за своими кузинами”.

С. 425. *Дубрава Мамврийская* — Быт. 18, 1.

Еще о смерти Пушкина

Впервые: Мир искусства. 1900. Т. 3. № 7—8 (апрель). Отд. 2. С. 133—143. Основная тема статьи повторяется в рецензии Розанова на книгу И. Л. Щеглова “Новое о Пушкине” (Новое время. 1901. 7 ноября. № 9224).

С. 426. *Поликратов перстень* — баллада В. А. Жуковского “Поликратов перстень” (1831), перевод баллады Ф. Шиллера (1797).

“*Судьба Пушкина*” — В статье В. С. Соловьев, появившейся в “Вестнике Европы” (1897. № 9. С. 31—156), утверждалось: “Пушкин постоянно колебался между высокомерным пренебрежением к окружающему его обществу и мелочным раздражением против него... Пушкин убит не пулею Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна”.

С. 427. *...Если б им была дана...* — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей, 5. *...статью П. П. Перцова.* — Перцов П. Смерть Пушкина // Мир искусства. 1899. № 21—22. С. 156—168. Заглавие статьи Розанова связано с названием статьи Перцова.

“*Еще о судьбе Пушкина*” — статья публициста И. Ф. Романова, писавшего под псевдонимом Рцы. Розанов приводит цитаты из этой статьи не совсем точно.

С. 428. *...соловьевского объяснения...* — Вл. Соловьев писал в статье “Судьба Пушкина”: “Для примирения с собой Пушкин мог отречься от мира, пойти куда-нибудь на Афон, или он мог избрать более трудный путь невидимого смирения, чтобы искупить свой грех в той же среде, в которой его совершил и против которой был виноват своею нравственною немощью, своим недостойным уподоблением ничтожной толпе”.

... *“на седьмой глас”* — Псалом 140 (“Господи! к Тебе взываю...”) поется на всенощной службе на 8 голосов (напевов); седьмой глас — глас мягкий, трогательный, увещевающий.

... *“во блеске власти”* — М. Ю. Лермонтов. Дары Терека (1839).

Вот, братец мой, потеха! — неточная цитата из песни Беранже “Как яблочко румян...” в переводе В. С. Курочкина (1856).

С. 429. *“Дом мой — твердыня моя...”* — Пс. 26.

Прошла моя, твоя весна... — А. С. Пушкин. Руслан и Людмила, 1.

С. 430. *Спи, дитя мое родное...* — М. Ю. Лермонтов. Казачья колыбельная песня (1840).

С. 431. *В письме к жене, приведенном г. Рцы...* — письмо к Н. Н. Гончаровой около 16 декабря 1831 г., в котором Пушкин писал: “Стихов твоих не читаю. Чорт ли в них; и свои надоели”.

С. 432. *...святыня красоты...* — А. С. Пушкин. Красавица (1832).

Не множеством картин старинных мастеров... — А. С. Пушкин. Мадонна (1830).

С. 433. *...для бедной Наташи все были жеребьи равны* — перефразировка строк из “Евгения Онегина”. VIII, 47.

С. 434. *...о, старец-Море.* — Здесь и далее цитируется стихотворение М. Ю. Лермонтова “Дары Терека” (1839).

С. 435. *...Дух — известно, что такое дух...* — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей, 5.

... *“ветхое деньми”* (ветхое днями) — Дан. 7, 13.

С. 436. *К ней дамы подвигались ближе...* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 15.

... *“милый идеал”* — Там же. VIII, 51.

С. 437. *У Урши — только Вирсавия* — 2 Цар. 11.

Размолвка между Достоевским и Соловьевым

Впервые: Новое время. 1902. 11 октября. № 9556.

С. 443. ...и мне пришлось принять участие — см. статьи В. Розанова "Свобода и вера" и "Ответ г. Владимиру Соловьеву" (Русский вестник. 1894. № 1, 4, 7).

Заметка о Мережковском

Впервые: Мир искусства. 1903. Т. 9. Хроника. № 2. С. 15—16.

Поминки по славянофильству и славянофилах

Впервые: Новое время. 1904. 21 мая. № 10135.

С. 453. По причинам органическим... — Б. Н. Алмазов. Диссонансы (1863).

Литературные новинки <"Жизнь Василия Фивейского" Л. Андреева>

Впервые: Новое время. 1904. 2 июня. № 10147. Повесть Л. Андреева "Жизнь Василия Фивейского" открывает первую книгу "Сборника товарищества "Знание" за 1903 год" (СПб., 1904).

Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьева

Впервые: Вопросы жизни. 1905. № 10—11. Печатается по полному тексту в журнале "Золотое руно". 1907. № 2. С. 49—59; № 3. С. 54—62.

Все печатаемые письма В. С. Соловьева сверены по рукописям, хранящимся в Отделе рукописей РГБ (Ф. 249. М. 3823. Ед. хр. 11). Шрифтовые выделения в письмах Соловьева принадлежат Розанову.

С. 465. ...оттиск журнала "Русское обозрение" — Рецензия В. Соловьева на книжку В. Розанова "Место христианства в истории" напечатана в № 9 этого журнала за 1890 г. (с. 475—476).

С. 468. ...статья Соловьева — имеется в виду статья о К. Н. Леонтьеве в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Т. 34.

Экономический и социальный вопрос у Достоевского

Впервые: Русское слово. 1906. 28 и 30 января. № 27, 29. Подпись: В. Елецкий.

Одна из русских поэтико- философских концепций

Впервые: Золотое руно. 1906. № 7—9. С. 146—150.

С. 508. Нет двух путей... — Н. М. Минский. Два пути (1901).

То же, но другими словами

Впервые: Золотое руно. 1907. № 1. С. 56—60. Подпись: Maestro.

К. П. Победоносцев

Впервые: Русское слово. 1907. 13, 18 и 27 марта. № 58, 63, 70. Подпись: В. Варварин. В "Новом времени" Розанов откликнулся на смерть Победоносцева статьей "Из воспоминаний и мыслей о К. П. Победоносцеве" (1907. 26 марта. № 11148). В конце года в "Русском слове" появились статьи Розанова "К. П. Победоносцев и его переписка" (12 декабря), "Духоборческие скитания и К. П. Победоносцев" (13 декабря), "Авто-портрет Победоносцева" (19 декабря).

С. 517. ...*"тащить и не пущать"* — выражение из рассказа Г. Успенского "Будка" (1868), вошедшее в литературу как определение полицейского режима.

С. 519. *"Миссионерское обозрение"* — журнал, издававшийся в Петербурге с 1896 по 1917 г.

С. 522. *"У тебя фонтан не хуже других..."* — перефразировка афоризма Козьмы Пруtkова ("Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану").

С. 523. ...*"для званных и незванных"* — А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 5.

С. 526. ...у Вергилия это сказано определеннее... — имеется в виду четвертая эклога Вергилия, написанная в 40 г. до н. э.

С. 528. *"Богословский вестник"* — издававшийся Московской духовной академией журнал в 1892—1918 гг.; *"Церковный вестник"* — издававшийся при С.-Петербургской духовной академии в 1875—1917 гг.; *"Век"* — еженедельник религиозно-общественной жизни и политики, выходивший в Петербурге в 1906—1907 гг.; *"Звонарь"* — литературный и церковно-общественный журнал, выходивший в Петербурге в 1906—1907 гг.; *"Церковная газета"* — общественно-литературная газета, выходившая в Харькове с февраля по июль 1906 г.; *"Церковно-общественная жизнь"* — еженедельный журнал, издававшийся при Казанской духовной академии.

О "народо"-божии как новой идее Максима Горького

Впервые: Русское слово. 1908. 13 декабря. № 289. Подпись: В. Варварин.

С. 530. *"Исповедь"* — Повесть М. Горького была напечатана в 1908 г. в Берлине в издательстве И. П. Ладъжникова и почти одновременно в "Сборнике товарищества "Знание" на 1908 год". Спб., 1908. Кн. 23.

...*"Бог есть синтетическая личность..."* — Здесь и далее Розанов цитирует из "Бесов" Ф. М. Достоевского (ч. II, гл. 1, VII).

Личность отца Иоанна Кронштадтского

Впервые: Новое время. 1908. 21 декабря. № 11775.

-Из воспоминаний и мыслей об Иоанне Кронштадтском

Впервые: Русское слово. 1909. 9 января. № 6. Подпись: В. Варварин.

С. 536. "Регламент" Петра Великого — "Духовный регламент" для Синода, составленный в 1721 г.

С. 537. "Моя жизнь во Христе" — Сергиев И. И. Моя жизнь во Христе. Правда о Боге, мире и человеке. Дневник Иоанна Кронштадтского. Спб., 1903.

...свое мнение о Льева Толстом — речь идет о книжках Иоанна Кронштадтского "Против графа Л. Н. Толстого, других еретиков и сектантов нашего времени и раскольников" (Спб., 1902), "Ответ Отца Иоанна Кронштадтского Льева Толстому на его "Обращение к духовенству" (Спб., 1903), "О душепагубном еретичестве графа Л. Н. Толстого" (Спб., 1907), "О еретичестве гр. Льева Толстого" (Спб., 1908).

С. 539. ...о чем одно время писали газеты — эти сведения см. в книге: *Тенеромо И.* (Фейнерман И. Б.). Воспоминания о Л. Н. Толстом и его письма. Спб. <1905>.

С. 110 (гл. 20. Иоанн Кронштадтский).

На лекции о Достоевском

Впервые: Новое время. 1909. 4 июля. № 11964.

О психологии терроризма

Впервые: Новое время. 1909. 25 июля. № 11985.

С. 546. *Проходит страшная мгла жизни...* — Гоголь Н. В. Заметки к 1-й части "Мертвых душ" // Полное собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. 6. С. 692.

Наш "Антоша Чехонте"

Впервые: Русское слово. 1910. 17 января. № 13. Подпись: В. Варварин. Печатается по кн.: Чеховский юбилейный сборник. 1860 — 17 января — 1910. М., 1910. С. 179—186. Подпись: В. Варварин.

С. 551. ...в "Листах". — Первые рассказы Чехова печатались с 1880 г. в юмористических и сатирических журналах "Стрекоза", "Будильник", "Зритель", "Москва" и др.

Фонарики-сударики... — И. П. Мятлев. Фонарики (1844).

...*"о прогрессе истории"*, *"о правде-истине"* — имеются в виду статьи Н. К. Михайловского "Что такое прогресс?" (1869), "Вольница и подвижники" (1877), "Письма о правде и неправде" (1877), "Герои и толпа" (1882). Михайловскому принадлежит несколько статей о Чехове, опубликованных в его сборнике "Литература и жизнь" (1892) и в шестом томе Сочинений (Спб., 1897).

С. 552. *Напрасно ухо поражая...* — А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828).

С. 553. *Но в полдень нет уж той отваги...* — А. С. Пушкин. Телега жизни (1823).

С. 554. *В тысяче мук я емь* — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Кн. 11. Гл. 4.

Константин Леонтьев и его "почитатели"

Впервые: Новое слово. 1910. Июль. № 7. С. 22—26. В журнале статья названа Константин Леонтьев и его "попечители". На экземпляре статьи в архиве Розанова в РГАЛИ (ф. 419. № 185. Л. 6 об.) его рукой исправлено: зачеркнуто "попечители" и написано "почитатели".

Наша русская анархия

Впервые: Московский еженедельник. 1910. 3 апреля. № 14. С. 50—54.

И. В. Киреевский и Герцен

Впервые: Новое время. 1911. 12 февраля. № 12544.

С. 560. *...сделанном М. Гершензоном.* — Далее в одном из текстов статьи (РГАЛИ) дана характеристика Гершензона, снятая в газетной публикации.

С. 564. *Студент не будет посыпать...* — Н. А. Некрасов. Песни о свободном слове. VIII. Пропала книга! (1865—1866).

С. 567. *Капля крови, обияя с народом...* — Н. А. Некрасов. "Умру я скоро. Жалкое наследство..." (1867).

Памяти В. О. Ключевского

Впервые: Русское слово. 1911. 15 мая. № 111. Подпись: В. Варварин.

О происхождении некоторых типов Достоевского

Впервые: Русское слово. 1911. 28 октября, 4 и 15 ноября. № 248, 254, 263. Подпись: В. Варварин. Последняя статья Розанова в газете "Русское слово", где он постоянно печатался под псевдонимами (обычно как В. Варварин).

С. 584. *...лучшую из русских фамилий.* — Как свидетельствует письмо Розанова к М. Горькому от июня 1911 г., речь идет о Бярятинских (князь В. В. Бярятинский и его жена артистка Л. Б. Яворская).

С. 587. *Но лишь божественный глагол...* — А. С. Пушкин. Поэт (1827).

Загорит, заблестит луч денницы — строки из песни Рахили в драме Н. В. Кукольника "Князь Даниил Васильевич Холмский" (1840; д. II, сц. 2), которые Ф. М. Достоевский цитирует в "Дневнике писателя" (1877, март, гл. 2, III).

С. 591. *"кающийся дворянин"*. — От лица "кающегося дворянина" написаны очерки Н. К. Михайловского "Вперемежку" (1876—1877). Автором этого выражения Михайловский называет себя в книге "Литературные воспоминания и житейская смута" (СПб., 1990. Т. 1. С. 139).

Максим Горький о самоубийствах

Впервые: Новое время. 1912. 6 марта. № 12925. Ответ Розанова на статью М. Горького "О самоубийствах" (Русское слово. 1912. 2 и 3 марта), в которой речь шла об эпидемии самоубийств среди молодежи, что Горький объяснял идейным отступничеством "отцов" после 1905 года.

С. 594. *С каким самодовольством глупым...* — А. М. Жемчужников. Современному гражданину (1870).

Не нужно давать амнистию эмигрантам

Впервые: Богословский вестник. 1913. № 3. С. 644—650.

Статья вызвала негодование в среде либеральной интеллигенции и стала одной из причин исключения В. В. Розанова из Религиозно-философского общества (см.: Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества. Спб., 1914. Вып. 4. С. 12—14).

С. 596. *амнистии*. — Правительственным манифестом и указом Сенату от 21 февраля 1913 г. в связи с 300-летием царствования дома Романовых объявлялась амнистия лицам, привлеченным "за преступные деяния, учиненные посредством печати".

С. 598. "*Копейка*" ("Газета-копейка") — петербургская бульварная газета (1906—1918); "*Шиповник*" — петербургское книгоиздательство (1906—1918); издательством Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона в 1890—1907 гг. была издана крупнейшая дореволюционная универсальная энциклопедия в 86 томах.

... у Палкина. — ресторан в Петербурге на Невском проспекте. Ср. в письме А. П. Чехова И. Л. Леонтьеву (Щеглову) от 14 июля 1888 г.: "Быть с Сувориным и молчать так же не легко, как сидеть у Палкина и не пить" (Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1975. Письма. Т. 2. С. 296).

Абадонна — "ангел бездны", царь саранчи, вышедшей из бездны (Откр. 9, 7—11).

... январском (или декабрьском) номере. — В 217 томе "Отечественных записок" (1874, № 11—12) в статье "Наш народный кредит" указывалось, что на 1871 г. в России насчитывалось 85 000 000 населения.

С. 559. *термин Герцена* — эмигранты (*фр.*). См., например, "Былое и думы" (гл. XXXVII).

С. 600. "*Грозой и бурей*" — философское сочинение Н. А. Морозова "Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса" (Изд. редакции журнала "Былое", 1907).

А. С. Суворин и Д. С. Мережковский

Впервые: Новое время. 1914. 25 января. № 13604. В. В. Розанов отвечает на статью Д. С. Мережковского "Суворин и Чехов", появившуюся в "Русском слове" 22 января 1914 г. и представляющую собой рецензию на 3 и 4 тома "Писем А. П. Чехова" под ред. М. П. Чеховой (М., 1913—1915. Т. 1—6). В своей статье Мережковский мимоходом задевает книгу Розанова "Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову" (Спб., 1913).

На другой день после появления статьи Розанова, 26 января 1914 г., Религиозно-философское общество приняло резолюцию (одним из инициаторов которой был Мережковский) о "невозможности совместной работы" с Розановым, что означало исключение его из общества. 27 января "Новое время" опубликовало редакционную статью "Кто такой Мережковский?" и привело письмо Мережковского, напечатанное накануне в нескольких газетах, в котором тот опровергает мысль Розанова, будто он, Мережковский, высказывал желание сотрудничать в "Новом времени". В ответ "Новое время" здесь же публикует письмо Мережковского Суворину от 3 января 1909 г. с предложением о сотрудничестве.

В редакционной статье "Изобличенный Мережковский" 29 января "Новое время" приводит письмо Мережковского в газете "Речь" от 28 января, где он пишет: "Как бы независимо, а на самом деле в связи с удалением В. В. Розанова из религиозно-философского общества "Новое Время", опубликовав мое частное письмо к А. С. Суворину, поднимает вопрос о моих личных отношениях к нему". В тот же день, 29 января, в "Новом времени" напечатана статья А. Столыпина "Апофеоз В. В. Розанова" о расправе над Розановым: "Судилище религиозно-философского общества создало Розанову обстановку по внутреннему содержанию своему, тождественную обстановку суда афинской черни над Аристидом,

невежественных схоластиков над Галилеем и, — в более современном драматическом переложении, — ибсеновских горожан над доктором Штокманом”.

С. 600. *“Давайте, напишемте...”* — из письма А. П. Чехова к А. С. Суворину 30 ноября 1891 г.; Чехов предлагал: “Вы начало, а я конец”.

Фея Титания — царица фей и эльфов в комедии У. Шекспира “Сон в летнюю ночь” (1600).

Саша Амфитеатров и его эпилог

Впервые: Новое время. 1915. 11 ноября. № 14251. Эпиграф из книги очерков А. В. Амфитеатрова “Склоненные ивы”, вошедшей в Собрание сочинений (Спб., 1913. Т. 21).

К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве

Впервые: Новое время. 1915. 9 декабря. № 14279.

С. 608. *“Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Аполлоне Григорьеве”* — статья К. Н. Леонтьева напечатана в “Русской мысли”. 1915. № 9.

“Избранные сочинения” Ап. Григорьева. — Григорьев А. Сочинения. Предисловие Н. Н. Страхова. Спб.: издание Н. Н. Страхова, 1876. Т. 1.

С. 609. *“Заря”* — журнал, издававшийся в Петербурге в 1869—1872 гг.

“Якорь” — журнал, выходивший в Петербурге в 1863—1865 гг., который редактировал А. А. Григорьев.

С. 612. *“Время”* — литературный и политический журнал, выходивший в Петербурге в 1861—1863 гг., программу почвенников в котором развивали Ф. М. Достоевский, Н. Н. Страхов и А. А. Григорьев.

Русский быт — Увы! — совсем не так глядит... — из поэмы Ап. Григорьева “Олимпий Радин” (1845).

“Четыре времени года” — повесть Д. В. Григоровича, опубликованная в журнале “Современник”. 1849. № 12.

По поводу новой книги о Некрасове

Впервые: Новое время. 1916. 8 января. № 14308. Эпиграф из “Коробейников”, VI (1861).

С. 615. *Новая книга В. Евгеньева.* — Евгеньев В. Е. Николай Алексеевич Некрасов. Сб. статей и материалов. М., 1914.

...предсмертный свой труд. — В 1905 г. вышла книга А. Н. Пыпина (1833—1904) “Н. А. Некрасов”.

С. 617. *И какой топор ваш талант* — из письма В. Г. Белинского И. С. Тургеневу 19 февраля 1847 г.

С. 621. *Я лугами иду...* — Н. А. Некрасов. Коробейники (Песня убогого странника).

Владимир Соловьев. Стихотворения

Впервые: Голос Руси. Пг., 1916. 25 апреля. № 818. Статья Розанова напечатана под названием раздела: “Литературное утро”.

С. 622. ...с напечатанием его писем. — Соловьев В. С. Письма. Спб., 1908—1911. Т. 1—3 (под ред. Э. Л. Радлова).

С. 623. ...что-то около 14 лет. — В 1903 г., когда умер М. С. Соловьев, его сыну Сергею было 18 лет.

...разбор и резкую критику богословской системы своего дяди. — Соловьев С. Идея церкви в поэзии Владимира Соловьева // Богословский вестник. 1915. № 1—2.

"Ты — не горяч и не холоден". — Откр. 3, 16.

С. 625. ...когда-то сравнивал их с драгоценными камнями. — В "Мимолетном. 1915 год". Розанов писал о Соловьеве: "Он как-то сравнил с камнями русских поэтов: помню, "Пушкин — алмаз", "Тютчев — жемчуг". Ему есть тоже какой-то самостоятельный камень, особый, ценный, хороший. "Кошачий глаз" (очень красивый и без намеков)? топаз? аквамарин? Может быть — красивая, редкая, "настоящая персидская" бирюза? или кроваво-красный (изумруд, что ли? но он, кажется, зеленый)? Не знаю. Я хочу сказать, что в поэзии его положение *вечно и прекрасно*" (запись 8 июля 1915).

Бердяев о религиозных исканиях Д. С. Мережковского

Впервые: Колокол. 1916. 30 сентября, 7 октября. № 3107, 3112.

С. 625. ...Бердяев посвящает Мережковскому. — Первая часть исследования Н. А. Бердяева "Типы религиозной мысли в России" опубликована в "Русской мысли" в июне 1916 г. ("Возрождение православия (о. С. Булгакове)", вторая часть ("Новое христианство (Д. С. Мережковский)") — в июле 1916 г.

С. 627. ...*"зоологический национализм"*. — В статье "Князь Е. Н. Трубецкой и Д. Д. Муретов" (Колокол. 1916. 12 августа) В. Розанов писал о Вл. Соловьеве: "В грубой полемике своей против Н. Я. Данилевского и его книги "Россия и Европа" и против Н. Н. Страхова и его сочинений "Борьба с Западом в нашей литературе" он употребил термин "зоологический национализм": и хотя это было в 1893—1894 годах минувшего века, его вот и до сих пор словечко не только не умерло, но перебегает поджигательным огоньком в журнальных и газетных полемиках". В книге "Национальный вопрос в России" Вл. Соловьев писал о "зоологическом патриотизме" (Собр. соч. Спб., 1911. Т. 5. С. 393).

С. 628. *Лекция Соловьева "об антихристе"* — Мир искусства. 1900. №9/10. С. 192—195.

"Сравнение Некрасова и Тютчева". — Мережковский Д. С. Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев. Пг., 1915.

Из книги, которая никогда не будет издана

Впервые: Стрелец. Пг., 1916. Кн. 2. С. 137—140.

А. Н. Николюкин

- Аарон*, в Ветхом Завете первосвященник, старший брат Моисея — 283
- Август*, титул римских императоров — 105
- Август* (63 до н. э. — 14 н. э.), римский император (с 27 до н. э.) — 526
- Августин* Аврелий (354—430), теолог, философ, писатель, христианский церковный деятель — 265, 266, 515, 516
- Авессалом*, в Ветхом Завете один из сыновей царя Давида — 326
- Авраам*, в Ветхом Завете патриарх, прародитель еврейского народа — 401, 467, 550
- Агамемнон*, в греческой мифологии царь в Микенах, предводитель греков в Троянской войне — 466
- Агарь*, в Ветхом Завете служанка, наложница Авраама — 466
- Агриппа* Марк Випсаний (ок. 63—12 до н. э.), римский полководец, политический деятель, строитель Пантеона в Риме — 241
- Адам*, в Ветхом Завете прародитель человечества — 11, 442, 488, 514, 515, 539
- Аддисон* Джозеф (1672—1719), английский писатель, издатель просветительских журналов — 107
- Адонис*, в финикийской мифологии бог плодородия — 636
- Адриан* (76—138), римский император (с 117) из династии Антонинов — 509, 510
- Аксаков* Иван Сергеевич (1823—1886), публицист и общественный деятель — 181, 209, 222, 227, 251, 282, 290, 300, 302, 345, 448, 449, 467, 476, 580, 599, 608, 612
- Аксаков* Константин Сергеевич (1817—1860), публицист, историк, лингвист, поэт — 162, 179, 201, 246, 250, 252, 255, 282, 449, 476, 599, 608, 612
- Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель — 140, 243, 289, 423
- Александр I* (1777—1825), российский император (с 1801) — 265, 266, 343, 478, 568
- Александр II* (1818—1881), российский император (с 1855) — 161, 275
- Александр III* (1845—1894), российский император (с 1881) — 413, 476
- Александр Невский* (1220—1263), князь Новгородский (1236—1251), великий князь Владимирский (с 1252), полководец — 316
- Александров* Анатолий Александрович (1861—1930), журналист, поэт, редактор-издатель журнала "Русское обозрение" — 556
- Александрова-Кочетова* Александра Дормидонтовна (1833—1902), певица, профессор Московской консерватории — 602
- Алексеева*, переводчица — 356
- Алексей Михайлович* (1629—1676), русский царь (с 1645) — 313

- Алкивиад* (ок. 450—404 до н. э.), афинский военачальник и политический деятель — 258, 555
- Алмазов Борис Николаевич* (1827—1876), литературный критик, поэт, переводчик — 453
- Амвросий Оптинский* (Александр Михайлович Гренков) (1812—1891), иеросхимонах, старец Оптиной пустыни, православный подвижник — 15, 354, 449
- Амфитеатров Александр Валентинович* (1862—1938), писатель, публицист, литературный и театральный критик — 601—607
- Анаевский Афанасий Евдокимович* (1788—1866), литератор, автор литературных поделок — 119
- Андреев Леонид Николаевич* (1871—1919), писатель — 454—456, 459—461, 556
- Андрей Первозванный*, в Новом Завете апостол, в православии считается первым проповедником христианства в русских землях — 346
- Андромаха*, в греческой мифологии жена Гектора — 343
- Анна Иоанновна* (1693—1740), российская императрица (с 1730) — 617, 630
- Анненков Павел Васильевич* (1813—1887), литературный критик, историк литературы, мемуарист — 143, 144
- Анненский Николай Федорович* (1843—1912), публицист, экономист, общественный деятель — 628
- Ансельм Кентерберийский* (1033—1109), средневековый теолог и философ — 417
- Антиной* (ум. 130), греческий юноша, любимец императора Адриана, обожествленный им после смерти — 509, 510
- Антоний* (Александр Васильевич Вадковский) (1846—1912), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (с 1898) — 529
- Антоний* (Алексей Павлович Храповицкий) (1863—1936), епископ Волынский (1902—1906) — 498
- Антонин Пий* (86—161), римский император (с 138) из династии Антонинов — 604
- Апис*, в древнеегипетской мифологии священный бык, символ плодородия — 635, 636
- Аполлон*, в греческой мифологии бог-целитель, прорицатель, покровитель искусств — 594
- Аппий Клавдий* (Клавдий Аппий) (ум. 449 до н. э.), римский политический деятель, после попытки похитить Виргинию и ареста покончил с собой — 251
- Аракчеев Алексей Андреевич* (1769—1834), политический и военный деятель, пользовавшийся большим влиянием при Александре I — 323, 528, 620
- Аристотель* (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый-энциклопедист — 171, 202, 248, 371, 391, 463, 541
- Арсеньев Константин Константинович* (1837—1919), юрист, литературный критик, публицист, общественный деятель — 185
- Артаксеркс*, один из царей государства Ахеменидов, правивших в V—IV вв. до н. э. — 522
- Аспазия* (Аспасия) (р. ок. 470 до н. э.), афинская гетера, с 445 до н. э. жена Перикла — 555
- Аттила* (ум. 453), предводитель гуннов (с 434) — 115, 116
- Ахитовель* (Ахитофел), в Ветхом Завете советник царя Давида — 326
- Аяксы*, в греческой мифологии два участника Троянской войны — Ойлид и Теламонид — 466
- Багратион Петр Иванович* (1765—1812), генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 г. — 318
- Байрон Джордж Ноэл Гордон* (1788—1824), английский поэт, член палаты лордов (с 1809) — 56, 220, 242, 243, 418, 419, 555, 556, 588, 589
- Бакунин Михаил Александрович* (1814—1876), революционер, теоретик анархизма — 304
- Бальзак Оноре де* (1799—1850), французский писатель — 416

- Барант Эрнест де** (1818—1859), французский атташе, сын посла Франции в Петербурге — 288
- Баратынский** (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844), поэт — 372
- Барклай-де-Толли** Михаил Богданович (1761—1818), генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 г. — 318
- Барсов** Елпидифор Васильевич (1836—1917), фольклорист, историк литературы — 19
- Барсуков** Николай Платонович (1838—1906), историк литературы и общественной мысли, археограф, библиограф, издатель, мемуарист — 342
- Барятинский** Александр Иванович (1815—1879), генерал-фельдмаршал — 314
- Басаргин А.** — см. Введенский А. И.
- Батуев** Николай Александрович (1855—?), ученый-анатом — 365, 370
- Батюшков** Константин Николаевич (1787—1855), поэт — 241, 244, 290, 617
- Белинский** Виссарион Григорьевич (1811—1848), литературный критик, публицист, общественный деятель — 14, 20, 179, 209, 234, 235, 237, 239, 242, 243, 290, 293, 300—307, 339, 541, 544, 545, 582, 609, 617, 618
- Беллерофонт**, в греческой мифологии герой, совершивший ряд подвигов — 208
- Бельтов Н.** — см. Плеханов Г. В.
- Бенкендорф** Александр Христофорович (1783—1844), политический и военный деятель, шеф жандармов и начальник III отделения (политического сыска) — 435, 437, 438, 560
- Бентам** Иеремия (1748—1832), английский философ, социолог, юрист — 114, 515
- Бергсон** Анри (1859—1941), французский философ — 608
- Бердягин** Максим (наст. имя и фам. Михаил Владимирович Бибииков) (1878—1907), эсер-террорист — 548, 549
- Бердяев** Николай Александрович (1874—1948), религиозный философ и публицист — 468, 625, 626, 632, 634
- Бернар** Клод (1813—1878), французский физиолог и патолог — 217
- Бернард** (Бернар) *Клервоский* (1090—1153), французский теолог, аббат монастыря в Клерво — 417
- Бёрне** Людвиг (1786—1837), немецкий публицист и литературный критик — 582
- Берта** (VI в.), французская принцесса, жена англосаксонского (кентского) короля Этельберта — 156
- Бетховен** Людвиг ван (1770—1827), немецкий композитор, пианист, дирижер — 12, 582
- Бирон** Эрнст Иоганн (1690—1772), политический деятель, фаворит императрицы Анны Иоанновны — 630, 631
- Бирюков** Павел Иванович (1860—1931), литератор, общественный деятель, биограф Л. Н. Толстого — 576
- Бисмарк** Отто фон Шёнхаузен (1815—1898), первый рейхсканцлер Германской империи (1871—1890) — 490, 558, 559
- Блан** Луи (1811—1882), французский политический деятель, социалист — 105
- Бларамберг** Павел Иванович (1841—1907), композитор и журналист — 601
- Блудов** Дмитрий Николаевич (1785—1864), политический деятель, дипломат, литератор, председатель Государственного совета (с 1862) и Комитета министров (с 1861) — 323, 325, 599
- Блончи** Иоганн Каспар (1808—1881), швейцарский правовед, историк, политический деятель — 247
- Боборыкин** Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель — 296, 298
- Богданов** Анатолий Петрович (1834—1896), зоолог и антрополог — 56
- Богучарский В.** (наст. имя и фам. Василий Яковлевич Яковлев) (1860/1861 — 1915), публицист, историк, издатель — 628

- Бодэн** (Боден) Жан (1530—1596), французский политический деятель и мыслитель, правовед — 164, 255
- Бокль** Генри Томас (1821—1862), английский историк и социолог — 115
- Бонавентура** Иоанн (собств. Джованни Фиданца) (1221—1274), средневековый теолог и философ — 417
- Бонифаций** (672/675—754), монах-миссионер, проповедник христианства в Германии — 156
- Борджа** (Борджа), знатный род, сыгравший большую роль в политической жизни Италии в XV — нач. XVI в. — 267
- Борк** (Бёрк) Эдмунд (1729—1797), английский политический деятель, философ, публицист — 255
- Боссюэт** (Боссюэ) Жак Бенинь (1627—1704), французский церковный деятель, епископ, теолог — 614
- Боткин** Василий Петрович (1811/1812—1869), писатель-очеркист, публицист, критик, переводчик — 301, 302, 305
- Боткин** Сергей Сергеевич (1859—1910), врач-биохимик, коллекционер — 548
- Брешковская** (Брешко-Брешковская, урожд. Вериго) Екатерина Константиновна (1844—1934), политическая деятельница, одна из лидеров партии эсеров — 597
- Брокгауз** Эдуард (1829—1914), немецкий издатель русского Энциклопедического словаря, внук основателя фирмы Фридриха Арнольда Брокгауза (1772—1823) — 473, 598
- Брут** Луций Юний, римский патриций, возглавивший борьбу против царя Тарквиния Гордого и установивший в 510—509 до н. э. республиканский строй — 167
- Брут** Марк Юний (85—42 до н. э.), римский республиканец, участник заговора против Юлия Цезаря — 468
- Брюсов** Валерий Яковлевич (1873—1924), поэт и прозаик, литературовед, критик, общественный деятель — 410, 412, 510—513
- Буало** Никола (1636—1711), французский поэт, теоретик классицизма — 104
- Будда** (букв. "просветленный"), имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623—544 до н. э.) — 502
- Булгаков** Сергей Николаевич (1871—1944), религиозный философ, богослов, экономист, публицист — 625, 626, 632
- Бугарин** Фаддей (Талеуш) Венедиктович (1789—1859), писатель, журналист, критик, издатель — 339, 340
- Буренин** Виктор Петрович (1841—1926), литературный и театральный критик, поэт — 377
- Буслаев** Федор Иванович (1818—1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства — 21, 164, 184, 275, 570
- Бутлеров** Александр Михайлович (1828—1886), химик-органик — 226, 598
- Бычков** Афанасий Федорович (1818—1899), археограф, директор Публичной библиотеки — 369, 370
- Бэкон** Фрэнсис (1561—1626), английский философ и политический деятель — 171, 202, 247, 248, 418
- Ваал**, древнейшее название бога или богов в Финикии, Палестине, Сирии — 29, 31, 32
- Валла**, в Ветхом Завете наложница Иакова — 466
- Валленштейн** Альбрехт (1583—1634), полководец, имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне (с 1625) — 265
- Вальнев**, студент-филолог — 370
- Василий Великий** (ок. 330—379), христианский церковный деятель, теолог, философ, епископ Кесарийский (Малая Азия) — 628
- Васильев** Владимир Иванович (1828—1900), оперный певец (бас) — 601
- Васильчиков** Александр Илларионович (1818—1881), административный

- деятель, знакомый М. Ю. Лермонтова, секундант на его последней дуэли, мемуарист — 287, 288
- Васнецов Виктор Михайлович** (1848—1926), живописец — 518
- Введенский** (псевд. Басаргин А.) Алекс-сей Иванович (1861—1913), религиозный философ, историк религии, публицист — 451—454, 626
- Велес** (Волос), в славяно-русской мифологии бог — покровитель домашних животных, бог богатства — 132, 539
- Величко Василий Львович** (1860—1903/1904), поэт, публицист, издатель — 470
- Веневитинов Дмитрий Владимирович** (1805—1827), поэт и философ — 617
- Верещагин Василий Васильевич** (1842—1904), живописец — 452
- Верзилины**, члены семьи Петра Семеновича Верзилина, соратника А. П. Ермолова, в доме которых бывал М. Ю. Лермонтов — 288, 289
- Виктор Эммануил II** (1820—1878), король Сардинского королевства (1849—1861), король объединенной Италии (с 1861) — 316
- Вильгельм II** (1859—1941), германский император и прусский король (1888—1918) из династии Гогенцоллернов — 631
- Виргилий** (Вергилий) Марон Публий (70—19 до н. э.), римский поэт — 417, 491, 526
- Виргиния** (ум. 449 до н. э.), девушка из плебейской римской семьи, которую пытался похитить Аппий Клавдий, была убита своим отцом во избежание позора — 251
- Вирсавия**, в Ветхом Завете жена царя Давида, мать царя Соломона — 252, 326, 437
- Витте Сергей Юльевич** (1849—1915), политический деятель, председатель Комитета министров (с 1903), Совета министров (1905—1906) — 359
- Владимиров Леонид Евстафьевич** (1845—?), правовед — 451—454
- Вовчок Марко** (наст. имя и фам. Мария Александровна Вилинская, в первом браке Маркович, во втором — Лобач-Жученко) (1833—1907), украинская и русская писательница и переводчица — 237
- Вольнский** Аким Львович (наст. имя и фам. Хаим Лейбович Флексер) (1861—1926), историк и теоретик искусства, литературный и балетный критик — 472
- Вольнский** Артемий Петрович (1689—1740), политический деятель и дипломат — 630
- Вольней** (наст. фам. Шасбёф) Константин Франсуа (1757—1820), французский философ, писатель, историк — 562, 563
- Вольтер** (наст. имя и фам. Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778), французский писатель и философ — 51, 346, 589
- Воронцов Михаил Семенович** (1782—1856), политический и военный деятель, генерал-фельдмаршал, наместник на Кавказе (1844—1854) — 314
- Вяземский Петр Андреевич** (1792—1878), поэт, литературный критик, мемуарист — 618
- Вяценко-Захарченко** (Вашенко-Захарченко) Михаил Егорович (1825—1912), математик — 52
- Гайдебуров Василий Павлович** (1866 — после 1940), издатель и поэт — 470, 478, 482, 483
- Гайдебуров Павел Александрович** (1841—1893/1894), издатель, публицист, писатель — 478, 482
- Гален** (ок. 130 — ок. 200), римский врач — 309
- Галилей Галилео** (1564—1642), итальянский естествоиспытатель и мыслитель — 418
- Галлер Альбрехт фон** (1708—1777), швейцарско-немецкий естествоиспытатель и поэт — 241
- Гармодий** (VI в. до н. э.), участник заговора против афинских тиранов Гиппарха и Гиппия — 167
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих** (1770—1831), немецкий философ — 202, 226, 227, 242, 302, 539, 542, 611, 625

- Гейне* Генрих (1797—1856), немецкий поэт и публицист — 619
- Геккери* Луи Борхард де Беверваард (1791—1884), барон, нидерландский дипломат — 432, 433
- Гектор*, в греческой мифологии троянский герой — 343
- Генрих Мореплаватель* (1394—1460), португальский принц, организатор экспедиций к северо-западным берегам Африки — 470, 471
- Георгиевский* Александр Иванович (1830—1911), административный деятель, председатель ученого комитета (1873—1898) и член совета министра народного просвещения (с 1871), автор исторических и педагогических трудов — 372
- Гераклит Темный* (ок. 540 — ок. 480 до н. э.), древнегреческий философ — 611
- Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803), немецкий философ, критик, эстетик — 107
- Герострат*, грек из Эфеса, сжегший, чтобы прославиться, храм Артемиды Эфесской в 356 до н. э. — 339
- Герцен* Александр Иванович (1812—1870), писатель, публицист, философ, общественный деятель — 209, 212, 215, 219, 229, 301, 304, 305, 546, 560 — 562, 564—566, 578, 597, 599
- Гершензон* Михаил Осипович (1869—1925), историк русской литературы и общественной мысли, публицист, философ, переводчик — 560, 564, 576
- Гёте* Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель — 12, 107, 302, 304, 381, 419, 440, 544, 556, 562, 582, 593
- Гизо* Франсуа (1787—1874), французский историк и политический деятель — 265, 566
- Гиляров-Платонов* Никита Петрович (1824—1887), публицист, философ, литературный критик, редактор-издатель газеты "Современные известия" — 251
- Гинцбург* Илья Яковлевич (1859—1939), скульптор — 334
- Гиппиус* (в замужестве Мережковская) Зинаида Николаевна (1869—1945), писательница, литературный критик, общественная деятельница, мемуаристка — 634, 635
- Гиппиус* Наталия Николаевна (1880—1963), скульптор, сестра З. Н. Гиппиус — 634
- Гиппиус* Татьяна Николаевна (1877—1957), художница, сестра З. Н. Гиппиус — 634
- Гиппократ* (ок. 460 — ок. 370 до н. э.), древнегреческий врач — 309
- Глебов* Михаил Павлович (1819—1847), друг М. Ю. Лермонтова, секундант на его последней дуэли — 287, 288
- Гоббес* (Гоббс) Томас (1588—1679), английский философ — 164, 630
- Говоруха-Отрок* Юрий Николаевич (псевд. Ю. Николаев) (1850—1896), литературный и театральный критик, публицист, писатель — 136, 142, 351, 352, 354, 355
- Гоголь* Николай Васильевич (1809—1852), писатель — 7, 8, 11, 12, 18—22, 136—144, 146—150, 152, 155, 232, 284, 288—291, 293, 295—298, 304, 305, 320, 366, 420—423, 426, 449, 450, 480, 525, 530, 546, 560, 573—575, 579, 580, 588, 620
- Голенищев-Кутузов* Арсений Аркадьевич (1848—1913), поэт — 356, 370
- Голубов* Константин Ефимович, крестьянин-старообрядец, философ-самоучка — 14
- Гольбах* Поль Анри (1723—1789), французский философ — 346
- Гомер*, полулегендарный древнегреческий эпический поэт — 425, 426
- Гонкуры*, братья Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—1870), французские писатели — 438
- Гончаров* Иван Александрович (1812—1891), писатель — 18, 26, 175, 237, 238, 280, 296, 304, 324, 325, 449, 547, 552, 553, 620
- Гончарова* Н. Н. — см. Пушкина Н. Н.
- Гораций* (Квинт Гораций Флакк) (65 — 8 до н. э.), римский поэт — 104

- Горемыкин* Иван Логгинович (1839—1917), политический деятель, министр внутренних дел (1895—1899) — 479
- Горький* Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков) (1868—1936), писатель, литературный критик, публицист, общественный деятель — 499, 530—532, 556, 584, 594
- Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822), немецкий писатель, композитор, художник — 574, 575
- Градковский* Александр Дмитриевич (1841—1889), историк государственного права, публицист — 141, 293, 588
- Гракси*, братья Тиберий (162—133 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.), римские народные трибуны — 450, 495
- Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855), историк, литератор, общественный деятель — 14, 20, 301, 302, 305, 448, 541, 542, 567, 574, 575, 588
- Греч* Николай Иванович (1787—1867), журналист, издатель, писатель, филолог, переводчик — 339
- Грибоедов* Александр Сергеевич (1795—1829), драматург, поэт, дипломат — 318, 320—326, 339, 341, 544, 616, 620
- Григорович* Дмитрий Васильевич (1822—1899/1900), писатель — 612
- Григорьев* Аполлон Александрович (1822—1864), поэт, литературный и театральный критик, переводчик, мемуарист — 18, 230, 232, 239, 243, 244, 283, 290, 303, 367, 599, 608—610, 612—614, 637
- Грингмут* Владимир Андреевич (1851—1907), публицист, критик, политический деятель, редактор газеты "Московские ведомости" (с декабря 1896) — 262, 264, 266, 267, 556, 557
- Грифцов* Борис Александрович (1885—1950), критик, переводчик, литературовед, искусствовед — 611
- Громека* Михаил Степанович (1852—1883/1884), литературный критик, окончил жизнь самоубийством — 185, 238, 244
- Грот* Яков Карлович (1812—1893), филолог, академик — 524
- Губастов* Константин Аркадьевич (1845—1913), дипломат, близкий друг К. Н. Леонтьева — 259, 554, 556, 557
- Губонин* Петр Ионович (ок. 1825—1894), предприниматель — 274
- Гумбольдт* Александр (1769—1859), немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник — 331
- Гурко* Иосиф Владимирович (1828—1901), военный деятель, генерал-фельдмаршал — 314
- Густав II Адольф* (1594—1632), шведский король из династии Ваза, полководец — 265
- Гюго* Виктор Мари (1802—1885), французский писатель — 435, 619
- Давид*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 1004 — ок. 965 до н. э.) — 252, 285, 326, 402, 437, 532
- Дажбог*, в славяно-русской мифологии бог солнца и небесного огня — 132
- Далматов* (наст. фам. Лучич) Василий Пантелеймонович (1845—1912), актер — 602
- Данилевские* — 368, 370, 372
- Данилевский* Николай Яковлевич (1822—1885), социолог, философ, публицист — 56, 179, 209, 210, 227, 232, 246, 251—253, 255, 256, 283, 367, 448, 449, 475—477, 483, 599, 627, 636
- Данте Алигьери* (1265—1321), итальянский поэт — 184, 478, 479, 481, 482, 557
- Дантес* Жорж Шарль (барон Геккери) (1812—1895), французский монархист, в 1830-е гг. жил в России, убийца А. С. Пушкина — 428—430, 432, 433, 435, 436
- Дарвин* Чарлз Роберт (1809—1882), английский естествоиспытатель — 209, 210, 456

- Даров В.*, псевдоним В. Я. Брюсова
Декандоль Огюст Пирам (1778—1841), французский естествоиспытатель — 365
- Декарт* Рене (1596—1650), французский философ, математик, физик, физиолог — 104, 201, 227, 473, 520
- Деянов Иван Давыдович* (1818—1897), политический деятель, министр народного просвещения (с 1882) — 523—525, 528
- Демосфен* (ок. 384—322 до н. э.), афинский оратор — 343
- Державин* Гаврила Романович (1743—1816), поэт — 240, 290, 343, 424, 617
- Дидро* Дени (1713—1784), французский философ и писатель — 26
- Диккенс* Чарлз (1812—1870), английский писатель — 619
- Диоген Синопский* (ок. 400 — ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ-киник — 444
- Дионисий I Старший* (ок. 432—367 до н. э.), тиран Сиракуз (с 406 до н. э.) — 556
- Дмитриев* Иван Иванович (1760—1837), поэт и политический деятель — 244
- Добролюбов* Александр Михайлович (1876—1945?), поэт и религиозный проповедник — 412, 627
- Добролюбов* Николай Александрович (1836—1861), литературный критик, публицист, постоянный сотрудник журнала "Современник" — 235—239, 243, 244, 248, 303, 543, 550, 565, 566, 613, 614, 618
- Дондукова-Корсакова* Мария Михайловна (1828—1909), общественная деятельница — 599
- Дорбев* Николай Константинович, приват-доцент Московского университета — 357
- Дорошевич* Влас Михайлович (1865—1922), журналист, публицист, театральный и художественный критик, писатель — 479—481
- Достоевская* (урожд. Сниткина) Анна Григорьевна (1846—1918), вторая жена Ф. М. Достоевского, мемуаристка — 573, 574, 582, 583, 586, 588
- Достоевская* Любовь Федоровна (1869—1926), дочь Ф. М. Достоевского, автор книги об отце — 583, 586, 588
- Достоевский* Федор Михайлович (1821—1881), писатель и мыслитель — 7—15, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32—34, 36—41, 43—47, 49, 50, 54—57, 59, 65, 66, 68—70, 72, 75, 77, 81, 83—85, 87, 88, 92, 93, 96, 114, 117, 123, 124, 126, 127, 129, 132, 134—136, 141, 152—156, 175, 227, 232, 237, 242, 243, 257, 260, 277, 280—286, 289—296, 298, 300, 305, 312, 320—322, 361, 371, 409, 422, 423, 426, 436—441, 443—446, 448, 449, 460, 461, 490—501, 530—532, 539—545, 552—556, 573—576, 578—593, 619, 626, 632—634, 637
- Достоевский* Федор Федорович (1871—1921), сын Ф. М. Достоевского, специалист по коневодству и коннозаводству — 583, 586, 588
- Дубельт* Леонтий Васильевич (1792—1862), генерал, возглавлял штаб корпуса жандармов и III отделение (политического сыска) — 541, 542
- Дубровин* Александр Иванович (1855—1918), политический деятель, черносотенец, врач — 538
- Дурова* Надежда Андреевна (1783—1866), писательница, первая в русской армии женщина-офицер — 579
- Дюма* Александр (Дюма-сын) (1824—1895), французский писатель — 480
- Евгеньев-Максимов* (наст. фам. Максимов) Владислав Евгеньевич (1883—1955), литературовед — 615
- Евклид* (III в. до н. э.), древнегреческий математик — 52
- Ездра*, в Ветхом Завете священник, одним из первых вернувшийся из вавилонского плена (VI в. до н. э.) — 466
- Екатерина* (ум. нач. IV в.), христианская мученица — 266

- Екатерина II Алексеевна* (1729—1796), российская императрица (с 1762) — 567, 572, 617
- Елизавета*, в Новом Завете мать Иоанна Крестителя — 266
- Елизавета Петровна* (1709—1761/1762), российская императрица (с 1741), дочь Петра I — 572, 617
- Елисей*, ветхозаветный пророк — 132
- Емельянов-Коханский* (наст. фам. Емельянов) Александр Николаевич (1871—1936), поэт, прозаик, переводчик — 411
- Енох*, в Ветхом Завете потомок Сифа, сына Адама — 484
- Ермолов* Алексей Петрович (1777—1861), военный деятель, генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 1812 г., командующий Кавказским корпусом (1816—1827) — 314, 333
- Ершов* Петр Павлович (1815—1869), поэт — 479
- Жанна д'Арк* (ок. 1412—1431), французская национальная героиня, возглавила борьбу против англичан во времена Столетней войны — 266, 533
- Жезинг* Аделина, гувернантка-француженка, любовница С. Л. Кроненберга — 57
- Жемчужников* Алексей Михайлович (1821—1908), поэт и публицист — 594
- Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852), поэт, переводчик, литературный критик — 241—244, 290, 560, 604, 617—619
- Забелин* Иван Егорович (1820—1908/1909), историк, археолог — 569
- Закревский* Арсений Андреевич (1783—1865), политический и военный деятель, генерал от инфантерии, министр внутренних дел (1828—1831), московский генерал-губернатор (1848—1859) — 450, 451
- Зевс*, в греческой мифологии верховный бог — 435
- Зейдлиц* Карл Карлович (1798—1885), врач, общественный деятель, биограф В. А. Жуковского — 618
- Зелфа*, в Ветхом Завете наложница Иакова — 466
- Зинин* Николай Николаевич (1812—1880), химик-органик — 598
- Златовратский* Николай Николаевич (1845—1911), писатель, публицист, мемуарист — 268
- Золя* Эмиль (1840—1902), французский писатель — 414, 416
- Зосима* (ум. 1478), игумен Соловецкого монастыря — 270
- Иаков*, в Ветхом Завете патриарх, родоначальник "двенадцати колен Израилевых" — 265, 466
- Иван I Калита* (ум. 1340), князь Московский (с 1325), великий князь Владимирский (с 1328) — 313
- Иван IV Грозный* (1530—1584), первый русский царь (с 1547) — 199, 314, 343, 567, 568
- Иванов* Александр Андреевич (1806—1858), живописец — 16
- Иванцов* Николай Александрович, зоолог, публицист — 12
- Игнатьев* Алексей Павлович (1842—1906), политический и военный деятель, генерал от кавалерии, иркутский (1885—1889), киевский (1889—1896), генерал-губернатор — 530
- Иегова* (Яхве) (в рус. перев. Суций), в Ветхом Завете имя Бога, которое он дал сам себе — 490
- Иеремия*, ветхозаветный пророк — 452
- Изида* (Исида), в древнеегипетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, охранительница умерших — 489, 511, 514
- Измаил*, в Ветхом Завете сын Авраама и Агари, родоначальник измаилов-кочевников — 466
- Иисус Христос* — 16, 55, 65, 66, 68—75, 80—83, 88—91, 101, 111, 112, 127—132, 142, 156, 249, 259, 286, 312, 318, 356, 361, 363, 400, 433, 440, 442, 443, 446, 466, 469, 477, 484, 489, 506, 508, 511, 514, 525—527, 529, 537, 560, 598, 615, 625, 629, 632—634

- Илия*, ветхозаветный пророк — 132
- Иловайский* Дмитрий Иванович (1832—1920), историк и публицист — 512, 569
- Иннокентий III* (Джованни Лотарио, граф Сеньи) (1160—1216), папа римский (с 1198) — 441
- Иоанн Богослов*, в Новом Завете апостол и евангелист — 113, 623, 628
- Иоанн Златоуст* (344/354—407), византийский церковный деятель, проповедник, епископ Константинопольский (398—404) — 628
- Иоанн Кронштадтский* (Иоанн Ильич Сергиев) (1829—1908/1909), настоятель Андреевского собора в Кронштадте, религиозный писатель, проповедник — 354, 356, 532—539
- Иоанн Милостивый* (Юлиан Госпитальер) (VI—VII вв.), религиозный подвижник, в некоторых источниках сведения о нем считаются легендой — 53
- Иоанникий* (Иван Максимович Руднев) (1826—1900), митрополит Киевский (с 1891) — 538
- Иов*, ветхозаветный праведник — 79, 251, 267, 286, 310, 336, 455—457, 460, 461, 475, 508, 630
- Иосиф Прекрасный*, в Ветхом Завете сын Иакова — 435
- Исаак Сирин* (VII в.), христианский подвижник и писатель — 43
- Кабе* Этьен (1788—1856), французский публицист, сторонник коммунистического устройства общества — 105, 125
- Каблиц* Иосиф (Осип) Иванович (псевд. Юзов) (1848—1893), публицист — 348—350
- Кавелин* Константин Дмитриевич (1818—1885), историк, правовед, философ, публицист, общественный деятель — 545
- Каин*, в Ветхом Завете сын Адама, убивший своего брата Авеля — 337
- Кальвин* Жан (1509—1564), деятель Реформации в Швейцарии — 105, 247, 249, 614
- Камбиз* (Камбис), персидский царь (530—522 до н. э.) (в тексте в иносказательном смысле) — 635, 636
- Кант* Иммануил (1724—1804), немецкий философ и ученый — 107, 202, 394, 418, 486, 625
- Кантемир* Антиох Дмитриевич (1708—1744), поэт и дипломат — 240, 241, 325
- Карамзин* Николай Михайлович (1766—1826), историк и писатель — 241, 250, 290, 300, 303, 306, 567—572
- Кареев* Николай Иванович (1850—1931), историк и социолог — 373
- Карно* Лазар Никола (1753—1823), французский математик, политический и военный деятель — 267
- Карташев* Антон Владимирович (1875—1960), историк церкви и политический деятель — 634
- Кассандра*, в греческой мифологии троянская пророчица — 180
- Катков* Михаил Никифорович (1818—1887), публицист, критик, издатель журнала "Русский вестник" (с 1856) и газеты "Московские ведомости" (1851—1855 и с 1863) — 262—264, 266, 267, 313, 314, 341, 345, 467, 482, 490, 498, 611, 624
- Катоны*: Катон Марк Порций Старший (234—149 до н. э.), римский политический деятель и писатель, Катон Марк Порций Младший (95—46 до н. э.), римский политический деятель, Катон Валерий (I в. до н. э.), римский грамматик и поэт — 636
- Каутский* Карл (1854—1938), один из лидеров и теоретиков германской и международной социал-демократии — 498
- Кауфман* Константин Петрович (1818—1882), инженер-генерал, туркестанский генерал-губернатор (с 1867) — 314
- Кашипов* Василий Владимирович (1835—1875), издатель, публицист, переводчик — 13
- Квирина*, в римской мифологии бог-покровитель народного собрания, считался также "мирной" ипостасью

- сью Марса, впоследствии отождествлялся с Ромулом — 426
- Киреев** Александр Алексеевич (1833—1910), генерал от кавалерии, публицист — 253
- Киреевский** Иван Васильевич (1806—1856), религиозный философ, литературный критик, публицист — 179, 246—248, 252, 255, 262, 282, 306, 449, 560, 561, 564—567, 599, 608, 614
- Киреевский** Петр Васильевич (1808—1856), фольклорист, археограф, публицист — 251, 563, 599, 608, 614
- Кичеев** Петр Иванович (1845—1902), писатель, публицист, театральный критик — 602
- Клеопатра** (69—30 до н. э.), последняя египетская царица (с 51 до н. э.) из династии Птолемеев — 26, 34, 54, 116
- Климент Зедергольм** (Карл Густав Адольф Зедергольм, в православии Константин Карлович) (1830—1878), иеромонах Оптиной пустыни, религиозный писатель, переводчик — 257, 354
- Ключевский** Василий Осипович (1841—1911), историк, публицист, педагог — 225, 567, 569—573
- Княжнин** (наст. фам. Ивойлов) Владимир Николаевич (1883—1942), поэт, литературный критик, литературовед, библиограф — 608
- Козлов** Иван Иванович (1779—1840), поэт, переводчик — 617
- Колубовский** Яков Николаевич (1863—?), философ и историк русской философии — 368, 472
- Колумб** Христофор (1451—1506), испанский мореплаватель, родом из Генуи — 129, 219, 254
- Кольцов** Алексей Васильевич (1809—1842), поэт — 303, 308, 560
- Комаров** Виссарион Виссарионович (1838—1907/1908), публицист, издатель — 479
- Комиссаржевская** Вера Федоровна (1864—1910), актриса, в 1904 г. создала свой театр — 601
- Коноплянцев** Александр Михайлович, публицист, биограф К. Н. Леонтьева — 609
- Конт** Огюст (1798—1857), французский философ и социолог — 75, 625
- Коперник** Николай (1473—1543), польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира — 126, 195, 418
- Корейша** Иван Яковлевич (ум. 1861), бывший учитель, юридивый, считался прорицателем — 562, 564, 566
- Корнель** Пьер (1606—1684), французский драматург — 491
- Короленко** Владимир Галактионович (1853—1921), писатель, публицист, общественный деятель — 351, 353, 556
- Косоротов** Александр Иванович (1868—1912), писатель и публицист — 602
- Костомаров** Николай Иванович (1817—1885), русский и украинский историк и писатель — 225, 342, 567, 568, 572
- Кочубей** Василий Леонтьевич (1640—1708), генеральный судья Малороссии, казненный за обвинение Мазепы в измене — 434
- Кочубей** Мария (наст. имя Матрена), дочь В. Л. Кочубея, соблазненная Мазепой — 434—436
- Кошелев** Александр Иванович (1806—1883), публицист, журналист, мемуарист, общественный деятель — 247
- Кравчинский** Дмитрий Михайлович, лесовод, директор лесной школы — 520
- Кравчинский-Степняк** (Степняк-Кравчинский, наст. фам. Кравчинский) Сергей Михайлович (1851—1895), революционный народник, писатель — 520
- Краевский** Андрей Александрович (1810—1889), издатель, журналист — 301, 423
- Крестовский** Всеволод Владимирович (1839—1895), писатель — 509
- Кромвель** Оливер (1599—1658), деятель Английской революции, протектор (военный диктатор) Англии (с 1653) — 264

- Кронеберг** (Кроненберг) Станислав Лепольдович (1845—?), магистр права, в январе 1876 г. в Петербургском окружном суде слушалось дело об изъятии им семилетней дочери — 57
- Кротошкин** Петр Алексеевич (1842—1921), революционер, публицист, теоретик анархизма, историк, геолог, географ — 597, 598, 600
- Крылов** Иван Андреевич (1769—1844), баснописец, драматург, журналист — 290
- Крюднер** (Криденер) Варвара Юлия (Барбара Юлиана) (1764—1825), баронесса, мистическая проповедница — 265, 266
- Кудрявцев** Петр Николаевич (1816—1858), писатель, литературный критик, историк — 302, 304
- Кузмин** Михаил Алексеевич (1872—1936), писатель, критик, композитор — 509—511
- Кулиш** Пантелеймон Александрович (1819—1897), украинский и русский писатель, историк, литературный критик, этнограф, публицист — 155
- Купер** Джеймс Фенимор (1789—1851), американский писатель — 617
- Курбский** Андрей Михайлович (1528—1583), боярин, писатель, переводчик — 568
- Кусков** Платон Александрович (1834—1909), поэт, литературный критик, переводчик — 370, 371, 374
- Кутузов** Михаил Илларионович (1745—1813), полководец, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией в Отечественную войну 1812 г. — 599
- Кюве** Жорж (1769—1832), французский зоолог — 104, 215
- Лабзин** Александр Федорович (1766—1825), писатель, публицист, автор и издатель мистических сочинений — 215
- Лавров** Петр Лаврович (1823—1900), философ, социолог, публицист, идеолог народничества — 597
- Лазарев** Михаил Петрович (1788—1851), флотоводец и мореплаватель, главнокомандующий Черноморского флота и портов Черного моря (с 1833) — 318
- Лазарь**, в Новом Завете житель Вифании (селение около Иерусалима), воскрешенный Иисусом Христом — 315, 318, 491
- Ламенэ** (Ламенне) Фелисите Робер де (1782—1854), французский публицист и религиозный философ, аббат — 220
- Ла-Метри** (Ламетри) Жюльен Офре де (1709—1751), французский философ и врач — 346
- Ланге** Фридрих Альберт (1828—1875), немецкий философ и экономист — 226
- Лаплас** Пьер Симон (1749—1827), французский астроном, математик, физик — 276
- Ларош** Герман Агустович (1845—1904), музыкальный критик — 601
- Лассаль** Фердинанд (1825—1864), немецкий политический деятель, социалист, публицист — 272, 498
- Лафарг** Поль (1842—1911), французский политический деятель, публицист, один из основателей Рабочей партии, зять К. Маркса — 276
- Лев XIII** (Джоаккино Печчи) (1810—1903), папа римский (с 1878) — 126
- Левиафан**, в Ветхом Завете морское чудовище как персонификация всех сил зла — 188
- Лейбниц** Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ, математик, физик, языковед — 107, 502, 544
- Ленский** Александр Павлович (1847—1908), актер, режиссер, педагог — 601
- Леонардо да Винчи** (1452—1519), итальянский живописец, скульптор, ученый, инженер — 446, 634
- Леонтьев** Константин Николаевич (1831—1891), религиозный фило-

- соф, писатель, публицист, литературный критик — 179, 181—183, 235, 253—258, 260, 283, 344, 467—469, 473—475, 478, 483, 484, 487, 542, 554—557, 608—612 613—615
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт и прозаик — 46, 242, 243, 284, 287—299, 303, 305, 320, 376, 421—424, 428, 434, 465, 547, 552, 555, 556, 560, 564, 588, 620
- Леру* Пьер (1797—1871), французский философ, один из основателей христианского социализма — 304
- Лесков* Николай Семенович (1831—1895), писатель — 449
- Лессинг* Готхольд Эфраим (1729—1781), немецкий драматург, теоретик искусства, литературный критик — 107
- Лжедмитрий I* (ум. 1606), русский царь-самозванец (с 1605) — 346
- Ливий* Тит (59 до н. э. — 17 н. э.), римский историк — 567
- Линней* Карл (1707—1778), шведский естествоиспытатель — 248, 364
- Лобачевский* Николай Иванович (1792—1856), математик, один из создателей неевклидовой геометрии — 52
- Лойола* Игнатий (ок. 1491—1556), основатель ордена иезуитов — 67, 264
- Локк* Джон (1632—1704), английский философ — 520
- Ломброзо* Чезаре (1835—1909), итальянский судебный психиатр и криминалист — 248
- Ломоносов* Михаил Васильевич (1711—1765), естествоиспытатель, поэт, художник, историк, общественный деятель — 209, 270, 288, 303, 424
- Лопатин* Герман Александрович (1845—1918), революционер, переводчик, публицист — 603
- Лоренс* (Лоранси) Пьер Себастьян (1793—1876), французский католический публицист, основатель ряда периодических изданий — 249
- Лука*, в Новом Завете евангелист — 82
- Любимов* Николай Алексеевич (1830—1897), физик, публицист, один из ближайших сотрудников М. Н. Каткова по издательской деятельности, член совета министра народного просвещения (с 1882) — 264, 473
- Людовик XIV* (1638—1715), французский король (с 1643) из династии Бурбонов — 610, 611, 614, 615
- Людовик XV* (1710—1774), французский король (с 1715) из династии Бурбонов — 362
- Людовик Филипп* (Луи Филипп) (1773—1850), французский король (1830—1848) из младшей (Орлеанской) ветви династии Бурбонов — 566
- Лютер* Мартин (1483—1546), немецкий религиозный реформатор — 67, 105, 106, 249, 265, 335, 407, 433
- Магомед* (Мохаммед, Мухаммед) (ок. 570—632), основатель ислама, в котором почитается как пророк, глава первого мусульманского теократического государства (с 630) — 80, 265, 467
- Мадзини* Джузеппе (1805—1872), итальянский политический деятель, глава революционно-демократического крыла движения по национальному освобождению и объединению Италии — 565
- Мазепа* Иван Степанович (1644—1709), гетман Украины (1687—1708), историческое лицо и персонаж поэмы А. С. Пушкина "Полтава" — 433—435
- Майков* Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — 13, 15, 342, 376, 381, 423, 582
- Майков* Леонид Николаевич (1839—1900), историк литературы, библиограф, этнограф, брат А. Н. Майкова — 366, 369
- Макиавелли* Никколо (1469—1527), итальянский политический мыслитель и историк — 255
- Мальтус* Томас Роберт (1766—1834), английский экономист — 91, 98, 99

- Мария* (Дева Мария), в Новом Завете Богоматерь, мать Иисуса Христа — 479
- Мария*, в Новом Завете жительница Вифании, сестра Лазаря — 111
- Маркс* Адольф Федорович (1838—1904), издатель — 366
- Маркс* Карл (1818—1883), немецкий мыслитель, основоположник коммунистической теории, названной его именем — 268—270, 272, 276, 629
- Марсий*, в греческой мифологии сатиры или силен, состязавшийся с Аполлоном в игре на флейте — 594
- Мартынов* Николай Соломонович (1815—1875), майор в отставке, убийца М. Ю. Лермонтова — 287—289, 299
- Мартынов* Сергей Николаевич, сын Н. С. Мартынова, автор статьи о последней дуэли М. Ю. Лермонтова — 287, 288
- Марфа*, в Новом Завете жительница Вифании, сестра Марии и Лазаря — 111, 318
- Матфей*, в Новом Завете апостол и евангелист — 74, 82, 514
- Матченко* И. П., племянница Н. Н. Стрехова — 608
- Медичи* Козимо Старший (1389—1464), первый правитель Флоренции из рода Медичи (с 1434) — 272
- Медичи* Лоренцо (1449—1492), итальянский поэт, правитель Флоренции (с 1469), внук Козимо Медичи — 272
- Медичисы* (Медичи), знатный итальянский (тосканский) род, правители Флоренции в XV—XVIII вв. — 272
- Мезенцев* Николай Владимирович (1827—1878), начальник штаба корпуса жандармов (с 1864), шеф жандармов (с 1876) — 520
- Мей* Лев Александрович (1822—1862), поэт, драматург, переводчик — 550
- Мейендорф* Александр Казимирович (1798—1865), писатель, общественно-административный деятель, председатель Московского мануфактурного совета — 271
- Менделеев* Дмитрий Иванович (1834—1907), химик, педагог, общественный деятель — 598
- Ментенон* Франсуаза де, маркиза д'Обинье (1635—1719), фаворитка Людовика XIV — 615
- Менишуткин* Николай Александрович (1842—1907), химик — 598
- Меньшиков* Михаил Осипович (1859—1918), публицист, сотрудник газеты "Новое время" — 479, 481, 482, 602
- Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865—1941), писатель, публицист, философ, общественный деятель — 155, 410, 446, 447, 600, 601, 625—630, 632—635
- Меровинги*, первая королевская династия во Франкском государстве (кон. V в. — 751) — 585
- Местр* Жозеф Мари де (1753—1821), французский публицист, политический деятель, религиозный философ — 84, 164
- Метерлинк* Морис (1862—1949), бельгийский драматург и поэт — 411
- Меттерних* (Меттерних-Виннебург) Клеменс (1773—1859), австрийский политический деятель, министр иностранных дел (с 1809), канцлер (1821—1848) — 265
- Мецеровский* Владимир Петрович (1839—1914), писатель и публицист, издатель газеты-журнала "Гражданин" — 304, 339—341, 624
- Микель-Анджело* (Микеланджело) Буонарроти (1475—1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт — 272, 284, 335, 364, 446, 634
- Миллер* Орест Федорович (1833—1889), литературовед, фольклорист, общественный деятель — 243
- Милль* Джон Стюарт (1806—1873), английский философ, экономист, общественный деятель — 91, 209, 212, 229, 515
- Милоков* Павел Николаевич (1859—1943), политический деятель, историк, публицист, один из основателей и лидеров партии кадетов — 253

- Милотин** Николай Алексеевич (1818—1872), политический деятель, товарищ министра внутренних дел (1859—1861), сыграл большую роль в подготовке и проведении крестьянской реформы, автор работ по экономике и статистике — 599
- Минин** (Захарьев-Сухорук) Кузьма Минич (ум. 1616), нижегородский посадский, один из руководителей борьбы против польской интервенции — 452
- Минский** (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855—1937), писатель, философ, теоретик символизма — 502—506, 508, 584
- Михайловский** Николай Константинович (1842—1904), социолог, публицист, литературный критик, идеолог народничества — 116, 168, 175, 194—199, 201—203, 207, 373, 385, 386, 389, 393, 446, 447, 540, 541, 543—545, 551, 552, 591
- Мишле** Жюль (1798—1874), французский историк — 613
- Моисей**, в Ветхом Завете предводитель израильских племен, основатель иудаизма, пророк — 10, 89, 532
- Мольер** (наст. имя и фам. Жан Батист Поклен) (1622—1673), французский комедиограф, актер, театральный деятель — 544, 614
- Монтескье** Шарль Луи (1689—1755), французский правовед и философ — 255
- Мопассан** Ги де (1850—1893), французский писатель — 414, 416, 419
- Морозов** Николай Александрович (1854—1946), народник, ученый, публицист — 600
- Моцарт** Вольфганг Амадей (1756—1791), австрийский композитор — 437
- Мультиановский** Помпей Яковлевич (1839—1897), хирург — 365—367, 369
- Мурильо** Бартоломе Эстебан (1618—1682), испанский живописец — 219, 418
- Мякотин** Венедикт Александрович (1867—1937), историк, публицист — 544—546
- Навроцкий** Василий Васильевич (1851—1911), издатель, публицист — 480
- Надеждин** Николай Иванович (1804—1856), критик, эстетик, издатель журнала "Телескоп" (1831—1836) — 301
- Надсон** Семен Яковлевич (1862—1887), поэт — 540, 541
- Наполеон I** (Наполеон Бонапарт) (1769—1821), французский император (1804—1814, март — июнь 1815), основатель династии Бонапартов — 48, 115, 266, 267, 321, 322, 404, 437, 492
- Нафанаил**, в Новом Завете апостол — 489
- Некрасов** Николай Алексеевич (1821—1877/1878), поэт, прозаик, общественный деятель — 57, 237, 274, 301, 351, 450, 499—501, 550, 564, 565, 587, 588, 591, 604, 615—621, 628, 634
- Немезида** (Немесиды), в греческой мифологии богиня мести — 337
- Нерон** (37—68), римский император (с 54) из династии Юлиев-Клавдиев — 630
- Нестеров** Михаил Васильевич (1862—1942), живописец — 518, 623
- Нестор** (XI—нач. XII в.), древнерусский летописец, монах Киево-Печерского монастыря — 342
- Нечаев** Сергей Геннадиевич (1847—1882), революционер, организатор тайного общества "Народная расправа" — 574, 576
- Никитенко** Александр Васильевич (1804—1877), литературный критик, историк литературы, цензор, мемуарист — 323, 325
- Никитин** Иван Саввич (1824—1861), поэт — 303
- Николай I** (1796—1855), российский император (с 1825) — 271, 523
- Николай Чудотворец** (Николай Мирликийский) (ок. 260—ок. 343), епископ г. Миры в Ликии (Малая Азия), облик которого в значительной степени мифологизирован — 388, 401
- Никольский** Борис Владимирович (ум. 1919), юрист, публицист, админи-

- стративный и политический деятель — 364, 556, 557
- Никон* (Никита Минов) (1605—1681), патриарх (с 1652), низложен на Большом церковном соборе 1666—1667 гг. — 441
- Никон* (Николай Иванович Рождественский) (1851—1918), епископ (с 1904), религиозный писатель, издатель "Троицких листков" (с 1879) — 498
- Ницше* Фридрих (1844—1900), немецкий философ — 78, 248, 344, 419, 486, 555, 556, 625
- Новиков* Николай Иванович (1744—1818), писатель, журналист, издатель — 240, 262, 501
- Ной*, ветхозаветный праведник — 327
- Нокс* Джон (1505/1514—1572), шотландский религиозный реформатор — 264
- Ньютон* Исаак (1643—1727), английский математик, механик, астроном, физик, создатель классической механики — 172, 248, 364, 399, 400, 409
- Одоевский* Владимир Федорович (1803/1804—1869), писатель, философ, музыкальный критик — 599, 617
- Озирис* (Осирис), в древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы — 435, 436, 489
- Орлова-Чесменская* Анна Алексеевна (1785—1848), камер-фрейлина, отличалась религиозно-аскетическими убеждениями — 343
- Осоргина* (Осорыина) Ульяна Устиновна (ум. 1604), муромская помещица, впавшая в нищету, но продолжавшая помогать нуждающимся — 571, 572
- Островский* Александр Николаевич (1823—1886), драматург — 18, 237, 280, 289, 295, 296, 303, 334, 335, 449
- Павел*, в Новом Завете апостол — 354, 509, 561—563
- Павел Прусский* (1821—1885), религиозный писатель, возглавлял раскольничий монастырь в Пруссии, затем присоединился к православию — 14
- Павлов*, врач — 371
- Пальмер* Уильям (ум. 1879), англиканский священник, перешедший в 1855 г. в католичество, многолетний корреспондент А. С. Хомякова — 249, 344
- Панин* Никита Иванович (1718—1783), политический деятель и дипломат, автор конституционных проектов — 599
- Парнелл* Чарлз Стюарт (1846—1891), ирландский политический деятель, активный борец за самоуправление страны (гомруль) — 341
- Паскаль* Блез (1623—1662), французский математик, физик, религиозный философ, писатель — 520
- Парфений* (Петр Агеев) (1807—1878), инок, религиозный писатель — 14
- Пастер* Луи (1822—1895), французский микробиолог — 309, 452
- Пенелопа*, в греческой мифологии жена Одиссея (Улисса) — 429
- Перикл* (ок. 490—429 до н. э.), афинский политический и военный деятель — 555
- Перун*, в индоевропейской и славяно-русской мифологии бог грозы — 539
- Перцов* Петр Петрович (1868—1947), публицист, литературный критик — 427, 428, 431, 433, 557, 601
- Петр* (Симон), в Новом Завете апостол — 131, 361, 469
- Петр I Великий* (1672—1725), русский царь (с 1682, правил с 1689), первый российский император (с 1721) — 145, 195, 221—223, 225, 229, 231, 240, 241, 278, 290, 323—325, 434, 449, 497, 527, 536, 567, 568, 579, 580, 592, 604, 620
- Петрарка* Франческо (1304—1374), итальянский поэт, гуманист — 417, 478
- Петрашевский* (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821—1866), общественный деятель, публицист, социолог, сторонник переустройства общества на

- социалистических началах — 17, 495, 496
- Петрищев* Афанасий Борисович (1872—1933), публицист — 546
- Петров* Григорий Спиридонович (1868—1925), православный священник, депутат II Государственной думы, был лишен сана, умер в эмиграции — 465
- Пешехонов* Алексей Васильевич (1867—1933), общественный и политический деятель, экономист, публицист — 544—546
- Пий IX* (Джованни Мария Мاستаи-Ферретти) (1792—1878), папа римский (с 1846) — 126, 490
- Пирогов* Николай Иванович (1810—1881), хирург и анатом, педагог, общественный деятель — 448
- Писарев* Дмитрий Иванович (1840—1868), публицист, литературный критик, общественный деятель — 540, 544, 565, 637
- Писарев* Модест Иванович (1844—1905), актер, педагог, критик — 602
- Писемский* Алексей Феофилактович (1821—1881), писатель — 357, 612
- Питовев* И. Е., оперный режиссер в Тифлисе — 603
- Платон* (428/427—348/347 до н. э.), древнегреческий философ — 8, 46, 54, 124, 152, 167, 215, 417, 468, 502, 539, 542, 556
- Плева* Вячеслав Константинович (1846—1904), министр внутренних дел, шеф корпуса жандармов (с 1902), убит эсерами — 529
- Плеханов* (псевд. Бельтов Н.) Георгий Валентинович (1856—1918), деятель российской и международной социал-демократии, философ, публицист — 272, 597, 598, 600
- Плещев* Алексей Николаевич (1825—1893), поэт — 550
- Плотин* (ок. 204/205—269/270), древнегреческий философ — 394
- Победоносцев* Константин Петрович (1827—1907), политический деятель, правовед, обер-прокурор Синода (1880—1905) — 516—530
- Погодин* Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель, издатель — 144, 288, 423
- Поджо* (Поджо) *Браччолони* Джованни Франческо (1380—1459), итальянский писатель, гуманист — 419
- Подолинский* Андрей Иванович (1806—1886), поэт — 617
- Поликрат* (ум. ок. 523/522 до н. э.), тиран острова Самос (ок. 540 до н. э.) — 327, 426
- Полифем*, в греческой мифологии великан-киклоп (циклоп) — 466
- Полонский* Яков Петрович (1819—1898), поэт — 380—382
- Помбаль* Себастьян Жозе ди Карвалью-и-Мелу (1699—1782), португальский политический деятель, премьер-министр (1756—1777) — 264
- Понтий Пилат*, римский наместник Иудеи (26—36), согласно Новому Завету, при нем был распят Иисус Христос — 440
- Потанин* Григорий Николаевич (1835—1920), исследователь Центральной Азии и Сибири — 410
- Проплер* Станислав Максимилианович (1855—1931), издатель газеты "Биржевые ведомости" — 479
- Пругавин* Александр Степанович (1850—1920), публицист, историк, этнограф, религиовед — 576
- Прудон* Пьер Жозеф (1809—1865), французский экономист, социалист; теоретик анархизма — 125, 255, 565
- Пушкин* Александр Сергеевич (1799—1837), поэт и прозаик — 14, 20, 84, 136—139, 141, 209, 217, 230—232, 239, 242—244, 284, 285, 289—291, 294—298, 303, 311, 320, 323, 325, 339, 340, 345, 356, 376, 381, 420, 422—440, 449, 481, 487, 509, 510, 513, 515, 523, 547, 552, 555, 556, 558, 560, 561, 571, 579, 580, 587, 589, 616—618, 620, 625
- Пушкина* (урожд. Гончарова, во втором браке Ланская) Наталья Николаевна (1812—1863), жена А. С. Пушкина — 429—431, 433, 435—438
- Пуцин* Иван Иванович (1798—1859), судья Московского надворного су-

- да, декабрист, друг А. С. Пушкина, мемуарист — 438
- Пытин** Александр Николаевич (1833—1904), литературовед — 302, 615
- Рабле** Франсуа (1494—1553), французский писатель — 614
- Радицев** Александр Николаевич (1749—1802), писатель, философ, политический мыслитель — 501
- Радлов** Эрнест Леопольдович (1854—1928), историк философии, переводчик — 622
- Разин** Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671), донской казак, предводитель крестьянской войны 1670—1671 гг. — 115, 116
- Ракшанин** (Рокшанин) Николай Осипович (1858—1903), журналист и театральный критик — 602, 605—607
- Рандаль** Теодор, французский публицист, автор статьи о М. Штирнере — 248
- Рафаэль Санти** (1483—1520), итальянский живописец и архитектор — 12, 219, 272, 364
- Рачинский** Сергей Александрович (1833—1902), ученый-ботаник, деятель народного образования — 358, 599, 611, 614, 615, 636
- Рашель** (наст. имя и фам. Элиза Рашель Феликс) (1821—1858), французская актриса — 601
- Ревекка**, в Ветхом Завете жена сына Авраама Исаака, мать Иакова — 466
- Реджио** (наст. фам. Беклемишев) Александр Николаевич (1822—после 1906), театральный декоратор — 601
- Ренан** Жозеф Эрнест (1823—1892), французский филолог, историк-востоковед, писатель — 209, 212, 215, 217, 229, 556
- Репин** Илья Ефимович (1844—1930), живописец — 530
- Ригер** Франтишек Ладислав (1818—1903), чешский политический и общественный деятель, публицист — 181
- Ризенкампф** Александр Егорович (1821—1895), врач, знакомый Ф. М. Достоевского — 423
- Розанов** Василий Васильевич (1856—1919) — 158, 201, 214, 356, 442, 452, 465, 468, 469, 473—475, 477, 483—487, 596, 607, 613, 614
- Роцин-Инсаров** (наст. фам. Пашенный) Николай Петрович (1861—1899), актер — 602
- Рубинштейн** Антон Григорьевич (1829—1894), пианист, композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель — 353
- Рубинштейн** Яков Антонович (ум. 1902), сочинитель и исполнитель романсов — любитель, музыкальный хроникер, сын А. Г. Рубинштейна — 602
- Руссо** Жан Жак (1712—1778), французский писатель и философ — 124, 187, 220, 248, 265, 266, 289, 303, 345, 346, 515, 516, 555, 588, 590
- Рцы**, псевдоним Ивана Федоровича Романова (1861—1913), писателя, публициста, друга Розанова — 427, 431—439
- Рылеев** Кондратий Федорович (1795—1826), поэт, декабрист — 323
- Рюльман**, врач — 364, 365
- Рюрик** (ум. 879), по летописному преданию, предводитель варяжского военного отряда, обосновавшегося в Новгороде — 442, 461
- Саблер** Владимир Карлович (1847—1929), политический деятель, член Государственного совета, обер-прокурор Синода (1911—1915), религиозный публицист — 522, 523, 528
- Савватий** (ум. 1435), соловецкий подвижник — 270
- Савельев** Александр Иванович (1816—1907), дежурный офицер Инженерного училища — 422, 423
- Савенков** (Савинков) Борис Викторович (псевд. В. Ропшин) (1879—1925), политический деятель, один из лидеров партии эсеров, писатель — 599

- Сад* Донатъен Альфонс Франсуа мар-
киз де (1740—1814), французский
писатель — 413
- Сади* (Саади) (1203/1210—1292), пер-
сидский писатель и мыслитель
— 342
- Салтыков* — см. Щедрин
- Самарин* Александр Дмитриевич
(1871—?), политический деятель,
овер-прокурор Синода (июль—се-
нтябрь 1915) — 623
- Самарин* Юрий Федорович
(1819—1876), историк, философ,
публицист, общественный деятель
— 70, 249, 251, 283, 345, 599
- Самуил*, в Ветхом Завете пророк и пос-
ледний судья израильтян в доцар-
ское время — 526
- Святогор*, герой русских былин — 569
- Семевский* Михаил Иванович
(1837—1892), историк, публицист,
издатель журнала "Русская стари-
на" — 628
- Сенека* Луций Анней (ок. 4 до н. э.
— 65 н. э.), римский политичес-
кий деятель, философ, писатель
— 34
- Сен-Симон* Клод Анри де Рувруа
(1760—1825), французский мыслитель,
сторонник переустройства
общества на социалистических на-
чалах — 105, 276, 583
- Серафим Саровский* (Прохор Сидоро-
вич (Исидорович) Мошнин)
(1759/1760—1833), православ-
ный подвижник — 449, 532,
628
- Сергеенко* Петр Алексеевич
(1854—1930), писатель, биограф Л.
Н. Толстого — 422
- Сергий Радонежский* (Варфоломей Ки-
риллович) (1314/1322—1392), пра-
вославный подвижник, основатель
и игумен Троице-Сергиева мона-
стыря — 441, 569, 628
- Синеус*, брат Рюрика, правивший, со-
гласно преданию, в Белоозере
— 442, 461
- Скабичевский* Александр Михайлович
(1838—1910), литературный критик
и историк литературы — 180
- Скворцов* Василий Михайлович
(1859—1932), чиновник Синода,
редактор и издатель ряда церков-
ных изданий — 518, 519, 529,
538
- Склифосовский* Николай Васильевич
(1836—1904), хирург — 365
- Сковорода* Григорий Саввич
(1722—1794), украинский философ,
поэт, музыкант, педагог — 598
- Скотт* Вальтер (1771—1832), англий-
ский писатель — 617
- Слонимский* Людвиг Зиновьевич
(1850—1918), публицист — 268,
269, 274
- Смирдин* Александр Филиппович
(1795—1857), книгопродавец и кни-
гоиздатель — 339
- Смит* Адам (1723—1790), шотланд-
ский экономист и философ
— 272
- Сократ* (ок. 470—399 до н. э.), древне-
греческий философ — 335, 447, 506,
520, 541
- Соловьев* Владимир Сергеевич
(1853—1900), религиозный фило-
соф, поэт, публицист — 126, 227,
375, 426, 439, 441, 443—445,
462—464, 466—471, 473—477,
482—490, 523, 545, 556, 611,
622—625, 627—630, 635
- Соловьев* Всеволод Сергеевич
(1849—1903), писатель, брат Вл. С.
Соловьева — 464, 622
- Соловьев* Михаил Петрович
(1842—1901), начальник Главного
управления по делам печати, писа-
тель, публицист — 478—483
- Соловьев* Михаил Сергеевич
(1862—1903), педагог, переводчик,
брат Вл. С. Соловьева и издатель
его сочинений — 489, 622
- Соловьев* Сергей Михайлович
(1820—1879), историк, отец
Вл. С. Соловьева — 250, 471,
567—572
- Соловьев* Сергей Михайлович
(1885—1942), поэт, переводчик, пу-
блицист, религиозный деятель,
племянник Вл. С. Соловьева
— 489, 622, 623
- Соловьева* Поликсена Сергеевна
(1867—1924), поэтесса, детская пи-
сательница, сестра Вл. С. Соловье-
ва — 622

- Софокл* (ок. 496—406 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург — 54, 425, 426
- Спасович Владимир Данилович* (1829—1906), юрист, публицист, общественный деятель — 57
- Спенсер Герберт* (1820—1903), английский философ и социолог — 348
- Сперанский Михаил Михайлович* (1772, по другим данным 1771—1839), политический деятель, ближайший советник Александра I (1808—1810), генерал-губернатор Сибири, в конце жизни руководил работой по законодательству — 144, 324, 325, 528, 599
- Спиноза Бенедикт (Барух)* (1632—1677), нидерландский философ — 165, 376, 544
- Стасюлевич Михаил Матвеевич* (1826—1911), историк, журналист, общественный деятель, редактор-издатель журнала "Вестник Европы" (1866—1908) — 438, 544
- Столнер Борис Григорьевич* (1871—1967), философ, переводчик — 543—545
- Столыпин Алексей Аркадьевич* (1816—1858), двоюродный брат матери М. Ю. Лермонтова и его близкий друг, служивший вместе с ним в гусарском полку — 423
- Стоюнин Владимир Яковлевич* (1826—1888), педагог и методист-словесник — 448
- Страхов Николай Николаевич* (1828—1896), философ, публицист, литературный критик — 14, 209—213, 215—219, 226—230, 232, 239, 242, 244, 283, 290, 303, 351, 352, 355—360, 362—364, 366, 368—372, 374, 377, 378, 441, 442, 444, 448, 449, 473, 475—477, 598, 599, 608—615, 627, 636, 637
- Строганов Сергей Григорьевич* (1794—1882), политический деятель, археолог, председатель Московского общества истории и древностей российских (1837—1874) — 184
- Струве Петр Бернгардович* (1870—1944), экономист, философ, историк, публицист, общественно-политический деятель — 272, 611
- Суворин Алексей Сергеевич* (1834—1912), журналист, издатель. С 1876 г. издавал газету "Новое время", а с 1880 — журнал "Исторический вестник" — 373, 483, 600, 601
- Суворов Александр Васильевич* (1730—1800), полководец, генералиссимус (1799) — 520, 521, 599
- Супруненко*, оперный певец — 602—604
- Сухово-Кобылин Александр Васильевич* (1817—1903), драматург — 602
- Сципион Африканский Старший* (ок. 235 — ок. 183 до н. э.), римский полководец, разгромивший войска Ганнибала — 478
- Тамерлан* — см. Тимур
- Тасс (Тассо) Торквато* (1544—1595), итальянский поэт — 184
- Тацит* (ок. 58 — ок. 117), римский историк — 275
- Теккерей Уильям Мейкпис* (1811—1863), английский писатель — 619
- Тернавцев Валентин Александрович* (1866—1940), богослов, чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода, религиозный писатель — 632
- Тиверий (Тиберий)* (42 до н. э. — 37 н. э.), римский император (с 14) из династии Юлиев-Клавдиев — 630
- Тилли Иоганн Церклас* (1559—1632), германский полководец в Тридцатилетней войне, фельдмаршал — 265
- Тимур* (Тамерлан) (1336—1405), среднеазиатский политический деятель, полководец, эмир (с 1370) — 88, 265, 404
- Тихомиров Лев Александрович* (1852—1923), революционный народник, публицист, после 1888 г. монархист, редактор газеты "Московские ведомости" (1909—1913) — 253, 557, 627

- Тихон Задонский* (Тимофей Савельевич Соколов) (1724—1783), епископ, православный подвижник, богослов — 13, 14
- Тихонравов* Николай Саввич (1832—1893), литературовед и археолог — 143, 144, 155, 275, 569, 570
- Толстой* Алексей Константинович (1817—1875), писатель — 345
- Толстой* Дмитрий Андреевич (1823—1889), политический деятель, обер-прокурор Синода (1865—1880), министр народного просвещения (1866—1880), министр внутренних дел и шеф жандармов (с 1882) — 528
- Толстой* Лев Николаевич (1828—1910), писатель и мыслитель — 18, 27, 34, 35, 40, 136, 137, 175, 185, 188, 192, 196, 209, 212, 230, 235, 237, 238, 243, 248, 257, 260, 280, 289, 291, 293—296, 298, 300, 303—305, 320, 322, 334—338, 355, 359, 364, 366—368, 375, 385—388, 396, 397, 399, 400, 407, 409, 422, 423, 426, 446, 447, 449, 475, 492, 525, 537, 538, 547, 550, 553, 556, 575, 576, 581—583, 585—587, 592, 593, 611, 619, 626, 627, 630, 632, 634, 635
- Торквемада* Томас (ок. 1420—1498), глава испанской инквизиции (с 80-х гг.) — 441
- Трейхмюллер* (Тейхмюллер) Густав (1832—1888), немецкий философ — 608
- Трубецкой* Сергей Николаевич (1862—1905), религиозный философ, публицист, общественный деятель — 253
- Трувор*, брат Юриика; правивший, согласно преданию, в Изборске — 442, 461
- Туган-Барановский* Михаил Иванович (1865—1919), экономист, социолог, историк, политический деятель — 271, 272
- Тургенев* Иван Сергеевич (1818—1883), писатель — 18, 21, 26, 28, 40, 41, 136, 141, 175, 209, 212, 237, 243, 280, 289, 293, 296, 298, 300, 304, 311, 312, 322, 325, 334, 335, 351, 352, 354, 355, 381, 449, 547, 550, 553, 574—577, 588, 619, 637
- Тэн* Ипполит (1828—1893), французский литературовед, философ, историк — 209
- Тютчев* Федор Иванович (1803—1873), поэт, публицист, дипломат — 251, 300, 334, 560, 599, 608, 628, 634
- Уайльд* Оскар (1854—1900), английский писатель — 512
- Улисс*, латинизированное Одиссей, в греческой мифологии царь острова Итака — 429
- Урия*, в Ветхом Завете муж Вирсавии, которого царь Давид послал на заведомую гибель — 437
- Усов* Сергей Алексеевич (1827—1886), зоолог, археолог, знаток искусства — 12
- Успенский* Глеб Иванович (1843—1902), писатель — 268
- Утин* Евгений Исаакович (1843—1894), адвокат, публицист — 185
- Ухтомский* Эспер Эсперович (1861—1921), публицист, редактор-издатель газеты "Санкт-Петербургские ведомости" (с 1896) — 475, 484
- Ушинский* Константин Дмитриевич (1824—1870/1871), педагог, теоретик педагогики — 448
- Уэвелль* (Уэвелл) Уильям (1794—1866), английский философ и историк, автор трудов по этике и индуктивной логике — 247
- Фабии*, римский патрицианский род, из которого вышел ряд политических деятелей республиканского Рима — 105
- Фаресов* Анатолий Иванович (1852—1928), литературовед — 576
- Фаустина Старшая* (Анния Галерия Фаустина) (105—141), жена Антонина Пия — 604
- Федоров* Михаил Михайлович, чиновник министерства финансов, редактор "Литературного обозрения", приложения к "Торгово-промышленной газете" — 483

- Фейербах** Людвиг (1804—1872), немецкий философ — 229, 247
- Феофан Затворник** (Георгий Васильевич Говоров) (1815—1894), церковный деятель, епископ, отшельник (с 1872), богослов, религиозный писатель, переводчик — 354, 466
- Феофан Прокопович** (1681—1736), церковный и политический деятель, богослов, религиозный писатель — 240
- Фет** (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892), поэт и переводчик — 260, 560
- Фигнер** Вера Николаевна (1852—1942), революционная народница. В 1884 г. приговорена к вечной каторге, 20 лет провела в Шлиссельбургской крепости, автор воспоминаний — 597, 598
- Филарет** (Василий Михайлович Дроздов) (1782/1783—1867), митрополит Московский (с 1826), богослов, религиозный философ, историк, проповедник — 529, 532
- Филельфо** Франческо (1398—1481), итальянский писатель, эллинист, гуманист — 419
- Филипп** (Федор Степанович Колычев) (1507—1569), митрополит Московский и всея Руси (1566—1568), убит по приказу Ивана IV Грозного — 270
- Филиппов** Тертий Иванович (1825—1899), политический и общественный деятель, публицист, знаток истории церкви — 556, 557
- Филоктет**, в греческой мифологии царь Мелибеи — 251
- Философов** Дмитрий Владимирович (1872—1940), литературный критик, публицист — 634
- Фихте** Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ и общественный деятель — 202, 418
- Фичино** Марсилио (1433—1499), итальянский философ, гуманист — 417
- Флобер** Гюстав (1821—1880), французский писатель — 416
- Флоренский** Павел Александрович (1882—1937), религиозный философ, ученый, инженер — 625, 626, 633
- Фома**, в Новом Завете апостол — 356, 533
- Фома Аквинский** (1225/1226—1274), средневековый философ и теолог — 164
- Фонвизин** Денис Иванович (1744/1745—1792), писатель — 206, 240, 325, 544
- Фонтенель** Бернар Ле Бовье де (1657—1757), французский писатель, ученый-популяризатор — 241
- Фотий** (Петр Никитич Спасский) (1792—1838), церковный деятель, архимандрит, оказывал влияние на Александра I — 343
- Фохт** (Фогт) Карл (1817—1895), немецкий философ и естествоиспытатель — 309
- Франциск Ассизский** (1181/1182—1226), итальянский проповедник, автор мистических сочинений, основатель ордена францисканцев — 441
- Фрумкина** Фрума Мордуховна (ок. 1874—1907), акушерка, террористка — 546, 548, 549
- Фудель** Иосиф Иванович (1864—1918), священник, публицист — 253, 256, 258, 260, 556, 557
- Фурье** Шарль (1772—1837), французский мыслитель, приверженец идеи социалистического переустройства общества — 105, 122, 124, 125, 276, 583, 586
- Херасков** Михаил Матвеевич (1733—1807), писатель — 240, 491
- Хлодвиг I** (ок. 466—511), король франков (с 481) из династии Меровингов — 156
- Хлыстов** Филипп Данилович (Данила Филиппович), костромской крестьянин, один из основателей секты хлыстов — 536
- Хомяков** Алексей Степанович (1804—1860), религиозный философ, писатель, публицист, общественный деятель — 70, 179, 246, 247, 249, 252, 255, 282, 343, 344, 443, 444, 447—454, 599, 608, 614

- Цвингли* Ульрих (1484—1531), деятель Реформации в Швейцарии — 249
- Цезарь* Гай Юлий (102/100—44 до н. э.), римский диктатор, полководец, писатель — 105, 273, 278
- Цертелев* Дмитрий Николаевич (1852—1911), поэт, философ, публицист, общественный деятель — 465, 484
- Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский политический деятель, оратор, писатель — 126, 343
- Чаадаев* Петр Яковлевич (1794—1856), мыслитель, публицист — 13, 14, 443, 445, 571
- Чайковский* Николай Васильевич (1850/1851—1926), участник народного движения, публицист, общественный деятель — 576
- Чайковский* Петр Ильич (1840—1893), композитор — 611
- Чернышевский* Николай Гаврилович (1828—1889), писатель, публицист, литературный критик, философ, общественный деятель, революционный демократ — 550, 565, 597, 637
- Черняев* Михаил Григорьевич (1828—1898), военный и общественный деятель, генерал-лейтенант, участник Крымской войны, туркестанский генерал-губернатор (1882—1884) — 314
- Чехов* Антон Павлович (1860—1904), писатель — 550—554, 600
- Чингисхан* (Тэмуджин, Темучин) (ок. 1155—1227), основатель и великий хан Монгольской империи (с 1206), организатор завоевательных походов — 88, 271
- Шан-Гирей* (урожд. Клингенберг) Эмилия Александровна (1815—1891), падчерица П. С. Верзилина, знакомая М. Ю. Лермонтова — 288
- Шарко* Жан Мартен (1825—1893), французский врач-невропатолог и психотерапевт — 309
- Шатобриан* Франсуа Рене де (1768—1848), французский писатель и мыслитель — 84, 220
- Шварц* Бертольд (ок. 1310—1384), немецкий монах, один из первых изобретателей пороха — 617
- Шевченко* Тарас Григорьевич (1814—1861), украинский поэт, художник, революционный демократ — 316, 317
- Шекспир* Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт — 9, 126, 132, 153, 155, 337, 338, 370, 379, 500, 501, 544
- Шелгунов* Николай Васильевич (1824—1891), публицист, литературный критик, общественный деятель, последователь Н. Г. Чернышевского — 180, 637
- Шеллинг* Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854), немецкий философ — 202, 561, 625
- Шенрок* Владимир Иванович (1853—1910), литературовед — 155
- Шиллер* Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства — 242, 544, 574, 575, 582
- Шопенгауэр* Артур (1788—1860), немецкий философ — 571, 625
- Шперк* Федор Эдуардович (1872—1897), философ, поэт, критик, друг Розанова — 376—378, 470—473, 485—487
- Шперк* Эдуард Федорович (1837—1894), врач, директор института экспериментальной медицины, отец Ф. Э. Шперка — 377
- Штирнер* Макс (наст. имя и фам. Каспар Шмидт) (1806—1856), немецкий философ, теоретик анархизма — 247
- Штраус* Давид Фридрих (1808—1874), немецкий теолог и философ — 209, 212, 217, 229, 556
- Шуазель* Этьен Франсуа де (1719—1785), французский политический деятель, в 1758—1770 гг. фактически руководил всей политической Францией — 264
- Шувалов* Иван Иванович (1727—1797), генерал-адъютант, президент Академии художеств, фаворит Елизаветы Петровны — 288

- Щедрин* (Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин) (1826—1889), писатель, публицист, редактор журнала "Отечественные записки" — 237, 362, 450, 478, 544, 546—549, 589
- Щепкин* Михаил Семенович (1788—1863), актер, реформатор театра — 21
- Эврипид* (Еврипид) (ок. 480—406 до н. э.), древнегреческий драматург — 425, 426
- Эдиссон* (Эдисон) Томас Алва (1847—1931), американский изобретатель и предприниматель — 420
- Энгельгардт* Николай Александрович (1867—1942), писатель, публицист, критик, историк литературы — 470, 479, 482
- Энгельс* Фридрих (1820—1895), немецкий теоретик марксизма и политический деятель, соратник К. Маркса — 498
- Эри* Владимир Францевич (1882—1917), религиозный философ — 626
- Эсхил* (ок. 525—456 до н. э.), древнегреческий драматург — 425
- Эфрон* (Ефрон) Илья Абрамович (1847—1919), издатель русского Энциклопедического словаря — 473, 598
- Юм* Дэвид (1711—1776), английский философ — 202
- Языков* Николай Михайлович (1803—1846/1847), поэт — 244, 289
- Яковлев-Востоков*, актер — 602

Составитель В. М. Персонов

**Легенда о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского**
Опыт критического комментария

Предисловие к первому изданию	7
Предисловие ко второму изданию	8
О легенде "Великий инквизитор"	11
Приложения	114
О Гоголе	136
Пушкин и Гоголь	—
Как произошел тип Акакия Акакиевича	143
Послесловие к комментарию "Легенды о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского"	152

Литературные очерки
Сборник статей

Старое и новое	159
1. Почему мы отказываемся от "наследства 60—70-х годов"?	—
2. В чем главный недостаток "наследства 60—70-х годов"?	168
3. Европейская культура и наше к ней отношение	178
4. Два исхода	185
5. Может ли быть мозаична историческая культура?	194
6. Еще о мозаичности и эклектизме в истории	201
Литературная личность Н. Н. Страхова	209
Три момента в развитии русской критики	234
Поздние фазы славянофильства	246
1. Н. Я. Данилевский	—
2. К. Н. Леонтьев	253
Катков "как государственный человек"	262
Литературно-общественный "кризис"	268
О Достоевском	277
"Вечно печальная дуэль" <М. Ю. Лермонтов>	287
50 лет влияния (Юбилей В. Г. Белинского)	300

С юга	308
1. Около болящих	—
2. В Кисловодском парке	313
3. "Горе от ума"	318
4. Военно-Грузинская дорога	326
О писателях и писательстве (Заметки и наброски)	334
Памяти усопших	348
1. О. И. Каблиц (Юзов)	—
2. Ю. Н. Говоруха-Отрок	351
3. Н. Н. Страхов	355
4. Ф. Э. Шперк	376
5. Я. П. Полонский	380

О писательстве и писателях

1895

По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого	385
--	-----

1896

Декаденты	410
-----------------	-----

1899

Заметка о Пушкине	420
-------------------------	-----

1900

Еще о смерти Пушкина	426
----------------------------	-----

1902

Размолвка между Достоевским и Соловьевым	439
--	-----

1903

Заметка о Мережковском	446
------------------------------	-----

1904

Поминки по славянофильству и славянофилах	447
Литературные новинки <"Жизнь Василия Фивейского" Л. Андреева>	454

1905

Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьева	462
---	-----

1906

Экономический и социальный вопрос у Достоевского (К 25-летию его кончины)	490
Одна из русских поэтико-философских концепций	502

1907	
То же, но другими словами	509
К. П. Победоносцев	516
1908	
О "народо"-божии как новой идее Максима Горького	530
Личность отца Иоанна Кронштадтского	532
1909	
Из воспоминаний и мыслей об Иоанне Кронштадтском	534
На лекции о Достоевском	539
О психологии терроризма	546
1910	
Наш "Антоша Чехонте"	550
Константин Леонтьев и его "почитатели"	554
Наша русская анархия	558
1911	
И. В. Киреевский и Герцен	560
Памяти В. О. Ключевского	567
О происхождении некоторых типов Достоевского (Литература в переплетении с жизнью)	573
1912	
Максим Горький о самоубийствах	594
1913	
Не нужно давать амнистию эмигрантам	596
1914	
А. С. Суворин и Д. С. Мережковский	600
1915	
Саша Амфитеатров и его эпилог	601
К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве	608
1916	
По поводу новой книги о Некрасове	615
Владимир Соловьев. Стихотворения	622
Бердяев о религиозных исканиях Д. С. Мережковского	625
Из книги, которая никогда не будет издана	635
Комментарии	638
Указатель имен	676

Василий
Васильевич
Розанов

Собрание сочинений

Легенда о
Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского

Заведующий редакцией
В. Г. Голобоков

Редакторы
П. П. Апрышко
и *Ж. П. Крючкова*

Оформление художника
Ю. Н. Маркарова

Художественный редактор
О. Н. Зайцева

Технический редактор
Р. Я. Лаврентьева

ИБ № 9910

ЛР № 010273 от 10.12.92.

Сдано в набор 18.03.96.

Подписано в печать 31.07.96.

Формат 60x84 1/16.

Бумага книжно-журнальная офсетная.

Гарнитура "Таймс". Печать офсетная.

Усл. печ. л. 40,92. Уч.-изд. л. 54,06.

Тираж 10 100 экз.

Заказ № 1543. С 016.

Российский государственный
информационно-издательский
Центр "Республика"
Комитета Российской Федерации
по печати.

Издательство "Республика".
125811, ГСП, Москва, А-47,
Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма
"Красный пролетарий".
103473, Москва,
Краснопролетарская, 16.

выпускает

**Собрание сочинений
В. В. Розанова**

В 1994—1996 гг.
вышли следующие тома:

- Т. 1 — Среди художников**
Т. 2 — Мимолетное
Т. 3 — В темных религиозных лучах
Т. 4 — О писательстве и писателях
Т. 5 — Около церковных стен
Т. 6 — В мире неясного и нерешенного
Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского

Подготовлены к выпуску:

- Т. 8 — Во дворе язычников**
Т. 9 — Когда начальство ушло...